



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

СОЧИНЕНІЯ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

Dobrolybov, N. A.,
"

СОЧИНЕНІЯ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

ТОМЪ III.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе четвертое.
Л. Ф. ПАНТЕЛЪЕВА.
1885.

Евт

PG 2933
D 6
1885.
v. 3

ОГЛАВЛЕНІЕ III ТОМА.

Современникъ, 1859.

	СТРАН.
Темное царство. (Сочиненія А. Островскаго.) Двѣ статьи.	
Статья первая (№ 7)	1
Статья вторая (№ 9)	57
Стихотворенія Я. П. Полонскаго (№ 7)	125
Постановленія о литераторахъ, издателяхъ и типографіяхъ (№ 8)	137
Сватовство Ченскаго, или идеализмъ и матеріализмъ. — О неизбѣжности идеализма въ матеріализмѣ, Ю. Савича (№ 8)	143
Лучи и тѣни, фонъ-Лизандера. — Стихотворенія В. Бажанова. — Стихотворенія Александрова (№ 8)	155
(Статья о брошюрѣ „Краткое обзорѣніе дѣятельности Главнаго Педагогическаго Института“, напечатанная въ № 8, и статья о русской сатирѣ въ вѣкѣ Екатерины, напечатанная въ № 10, помѣщены въ I томѣ настоящаго изданія.)	
Отъ Москвы до Лейпцига, И. Бабста (№ 11)	167
Путешествіе на Амуръ, совершенное Р. Маакомъ (№ 12)	185
Потерянный Рай, поэма Іоанна Мильтона, переводъ Елизаветы Жадовской (№ 12)	204

Современникъ, 1860.

Литературные дѣятели прежняго времени, Е. Колбасина (№ 1)	207
(Статья о брошюрѣ „Рѣчи и Отчетъ Московской Практической Академіи Коммерческихъ Наукъ“, напечатанная въ № 1, и статья „Всероссійскія иллюзіи, разрушаемыя розгами“, также напечатанная въ № 1, помѣщены въ I томѣ настоящаго изданія.)	
Повѣсти и рассказы С. Т. Славутинскаго (№ 2)	210
Братчина (№ 2)	225
Заграничныя пренія о положеніи русскаго духовенства. (Русское духовенство) (№ 3)	234
Когда же придетъ настоящій день? (Наканунѣ, повѣсть И. С. Тургенева) (№ 3)	253

	СТРАН.
Кобзарь Тараса Шевченка (№ 3)	294
Сочиненія А. Подолинскаго (№ 4)	303
Благонамѣренность и дѣятельность. (Повѣсти и рассказы А. Плещеева) (№ 7)	312
Перепѣвы. Стихотворенія Обличительнаго поэта (№ 8)	331
Черты для характеристики русскаго простонародья. (Рассказы изъ народ- наго русскаго быта, Марка Вовчка) (№ 9)	340
Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ. (Гроза, драма А. Островскаго) (№ 10) . .	404
La confession d'un poëte, par Nicolas Sémenow. (Исповѣдь поэта, сочине- ніе Николая Семенова) (№ 12)	472

Современникъ, 1861.

(Статья „Отъ дождя да въ воду“, напечатанная въ № 8, помѣщена въ
I томѣ настоящаго изданія.)

Забитые люди. (Сочиненія Ѳ. М. Достоевскаго, два тома. — Униженные и оскорбленные, романъ Ѳ. М. Достоевскаго) (№ 9)	486
--	-----



КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

О П Е Ч А Т К И.

Стран.	1 (1 строка сверху)		Напечатано.	Должно быть.
"	9 (12	" выноски)	читателей	писателей
"	70 (3	" снизу)	именно я,	именно:
"	114 (22	" ")	теорическія	теоретическія
"	194 (2	" сверху)	непрекать	попрекаетъ
"	406 (15	" ")	500	5000
"	451 (6	" ")	сживи	живи
"	458 (27	" ")	можетъ быть	можетъ
"	479 (1	" снизу)	просвора	простора
"			поэта	поэта и

1859.

ТЕМНОЕ ЦАРСТВО.

(Сочиненія А. Островскаго. Два тома. Спб. 1859 г.)

I.

Что жъ за направленье такое, что не успѣешь поворотиться, а тутъ ужъ и выпустятъ исторію,—и хоть бы какой-нибудь смыслъ былъ... Однако жъ разнесли, стало быть, была же какая-нибудь причина.

Гоголь.

Ни одинъ изъ современныхъ русскихъ читателей не подвергался, въ своей литературной дѣятельности, такой странной участи, какъ Островскій. Первое произведеніе его («Картина семейнаго счастія») не было замѣчено рѣшительно никѣмъ, не вызвало въ журналахъ ни одного слова—ни въ похвалу, ни въ порицаніе автора. Черезъ три года явилось второе произведеніе Островскаго: «Свои люди—сочтемся»; авторъ встрѣченъ былъ всѣми, какъ человѣкъ совершенно новый въ литературѣ, и немедленно всѣми признанъ былъ писателемъ необычайно талантливымъ, лучшимъ, послѣ Гоголя, представителемъ драматическаго искусства въ русской литературѣ. Но по одной изъ тѣхъ странныхъ, для обыкновеннаго читателя и очень досадныхъ для автора, случайностей, которыя такъ часто повторяются въ нашей бѣдной литературѣ,—пьеса Островскаго не только не была играна

на театрѣ, но даже не могла встрѣтить подробной и серьезной оцѣнки ни въ одномъ журналѣ. «Свои люди», напечатанные сначала въ «Москвитянинѣ», успѣли выйдти отдѣльнымъ оттискомъ, но литературная критика и не заикнулась о нихъ. Такъ эта комедія и пропала,—какъ будто въ воду канула, на нѣкоторое время. Черезъ годъ Островскій написалъ новую комедію: «Бѣдная невѣста». Критика отнеслась къ автору съ уваженіемъ, называла его безпрестанно авторомъ «Своихъ людей», и даже замѣтила, что обращаетъ на него такое вниманіе болѣе за первую его комедію, нежели за вторую, которую всѣ признали слабѣе первой. Затѣмъ, каждое новое произведеніе Островскаго возбуждало въ журналистикѣ нѣкоторое волненіе, и вскорѣ по поводу ихъ образовались даже двѣ литературныя партіи, радикально противоположныя одна другой. Одну партію составляла молодая редакція «Москвитянина», провозгласившая, что Островскій «четырьмя пьесами создалъ народный театръ въ Россіи», что онъ —

Поэтъ, глашатай правды новой,
Насъ міромъ новымъ окружилъ,
И новое сказалъ намъ слово,
Хоть правдѣ старой послужилъ,—

и что эта старая правда, изображаемая Островскимъ,

Простѣ, но дороже,
Здоровѣй дѣйствуетъ на грудь,

нежели правда шекспировскихъ пьесъ.

Стихи эти напечатаны въ «Москвитянинѣ» (1854 г., № 4) по поводу пьесы «Бѣдность не порокъ», и преимущественно по поводу одного лица ея, Любима Торцова. Надъ ихъ эксцентричностью много смѣялись въ свое время, но они не были пѣвуческой вольностью, а служили довольно вѣрнымъ выраженіемъ критическихъ мнѣній партіи, безусловно восхищавшейся каждою строкою Островскаго. Къ сожалѣнію, мнѣнія эти высказывались всегда съ удивительной заносчивостью, туманностью и неопредѣленностью, такъ что для противной партіи невозможенъ былъ даже серьезный споръ. Хвалители Островскаго кричали, что онъ сказалъ *новое слово*; но на вопросъ: «въ чемъ же состоитъ это новое слово?» — долгое время ничего не отвѣчали, а потомъ сказали, что это *новое слово* есть не что иное, какъ — что бы вы думали? — *народность*! Но народность эта была такъ неловко вытащена на сцену по поводу Любима Торцова и такъ сплетена съ нимъ, что критика, неблагопріятная Островскому, не преминула воспользоваться этимъ обстоятельствомъ, высунула языкъ неловкимъ хвалителямъ и начала дразнить ихъ: «такъ ваше *новое слово* — въ Торцовѣ, въ Любимѣ Торцовѣ, въ пьяницѣ Торцовѣ! Пронюхалъ Торцовъ — ваше идеаль» и т. д. Это показыванье языка было,

разумѣтся, не совсѣмъ удобно для серьезной рѣчи о произведеніяхъ Островскаго; но и то нужно сказать,—кто же могъ сохранить серьезный видъ, прочитавъ о Любимѣ Торцовѣ такіе стихи:

Поэта образы живые
Высокій комикъ въ плоть облекъ...
Вотъ отчего теперь *оперное*
По всѣмъ бѣжитъ единый токъ.
Вотъ отчего театра зала
Отъ верху до низу однимъ
Душевымъ, искреннимъ, роднымъ
Восторгомъ вся затрепетала.
Любимъ Торцовъ предъ ней живой
Стоитъ съ *поднятой* головой,
Бурнусъ напяливъ обветшалый,
Съ растрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, истудалый,
Но съ русской, чистою душой.

Комедія ль въ немъ плачетъ передъ нами,
Трагедія ль хохочетъ вмѣстѣ съ нимъ,—
Не знаемъ мы и вѣдать не хотимъ!
Скорѣй въ театр! Тамъ ломаются толпами,
Тамъ по душѣ теперь гуляетъ бытъ родной;
Тамъ пѣсня русская свободно, звонко льется,
Тамъ человекъ теперь и плачетъ, и смѣется,
Тамъ цѣлый міръ, міръ полный и живой.
И намъ, простымъ, смиреннымъ чадамъ вѣка
Не страшно, весело теперь за человека!
На сердцѣ такъ тепло, такъ вольно дышитъ грудь,
Любимъ Торцовъ душѣ такъ прямо кажется путь! (куда?)
Великорусская на сценѣ жизнь пируетъ,
Великорусское начало торжествуетъ,
Великорусской рѣчи складъ
И въ присказкѣ лихой, и въ пѣснѣ *иреливой,*
Великорусскій умъ, великорусскій взглядъ,
Какъ Волга матушка, широкій и *гулливый.*
Тепло, привольно, любо намъ,
Уставшимъ жить болѣзненнымъ обманомъ!...

За этими стихами слѣдовали ругательства на Рашель и на тѣхъ, кто ею восхищался, обнаруживая тѣмъ *духъ рабскаго, слѣплаго подражанья*. Пусть она и талантъ, пусть геній,—восклицалъ авторъ стихотворенія:—«но намъ *не ко двору* пришло ея искусство!» Намъ, говоритъ, нужна правда, не въ примѣръ другимъ. И при сей вѣр-

ной оказіи стихотворный критикъ ругалъ Европу и Америку и хвалилъ Русь въ слѣдующихъ поэтическихъ выраженіяхъ:

Пусть будетъ фальшь мила Европѣ старой,
Или Америкѣ беззубо-молодой,
Собачей старостью больной...
Но наша Русь крѣпка! Въ ней много силы, жара;
И правду любить Русь; и правду понимаетъ
Дана ей Господомъ святая благодать;
И въ ней одной теперь пріютъ находитъ
Все то, что человека благородитъ!...

Само собою разумѣется, что подобные возгласы по поводу Торцова о томъ, что человѣка благородитъ, не могли повести къ здоровому и безпристрастному разсмотрѣнію дѣла. Они только дали критикѣ противнаго направленія справедливый поводъ придти въ благородное негодованіе и воскликнуть въ свою очередь о Любимѣ Торцовѣ:

„И это называется у кого-то новое слово, это поставляется на видъ, какъ лучшій цвѣтъ всей нашей литературной производительности за послѣдніе годы! За что же такая невѣжественная хула на русскую литературу? Дѣйствительно, такого слова еще не говорилось въ ней, такого героя никогда и не снилось ей, благодаря тому, что въ ней еще свѣжи были старыя литературныя преданія, которыя не допустили бы такого искаженія вкуса. Любимъ Торцовъ могъ явиться на сценѣ во всемъ безобразіи лишь въ то время, когда они начали приходить въ забвеніе... Удивляетъ и непонятно поражаетъ насъ то, что пьяная фигура какого-нибудь Торцова могла вырасти до идеала, что ею хотятъ гордиться, какъ самымъ чистымъ воспроизведеніемъ народности въ поэзіи, что Торцовымъ мѣряютъ успѣхи литературы и навязываютъ его всѣмъ въ любовь, подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ-де намъ „свой“, что онъ у насъ „ко двору!“ Не есть ли это искаженіе вкуса и совершенное забвеніе всѣхъ чистыхъ литературныхъ преданій? Но вѣдь есть же стыдъ, есть литературныя примчія, которыя остаются и послѣ того, какъ лучшія преданія утрачены. За что же мы будемъ срамить себя, называя Торцова „своимъ“ и возводя его въ наши поэтическіе идеалы?“ (От. Зап. 1854 г., № VI).

Мы сдѣлали эту выписку изъ «Отечеств. Записокъ» потому, что изъ нея видно, какъ много вредила всегда Островскому полемика между его порицателями и хвалителями ¹⁾. «Отечеств. Записки» постоянно служили непріятельскимъ станомъ для Островскаго, и большая часть ихъ нападеній обращена была на критиковъ, превозно-

¹⁾ Впрочемъ, читатели могутъ съ большимъ удовольствіемъ пропустить всю исторію критическихъ мнѣній объ Островскомъ и начать нашу статью со второй ея половины. Мы сводимъ на одну ставку критиковъ Островскаго болѣе за тѣмъ, чтобы они сами на себя полюбовались

сившихъ его произведенія. Самъ авторъ постоянно оставался въ сторонѣ, до самаго послѣдняго времени, когда «Отечеств. Записки» объявили, что Островскій, вмѣстѣ съ г. Григоровичемъ и г-жею Евгеніею Туръ, — уже закончилъ свою поэтическую дѣятельность (см. «Отечеств. Записки» 1859 г., № VI). А между тѣмъ все-таки на Островскаго падала вся тяжесть обвиненія въ поклоненіи Любиму Торцову, во враждѣ къ европейскому просвѣщенію, въ обожаніи нашей до-петровской старины, и пр. На его дарованіе ложилась тѣнь какого-то старовѣрства, чуть не обскурантизма. А защитники его все толковали о *новомъ словѣ*, — не произнося его однакожь, — да провозглашали, что Островскій есть первый изъ современныхъ русскихъ писателей, потому что у него какое-то *особенное міросозерцаніе*... Но въ чемъ состояла эта особенность, они объясняли тоже очень запутанно. Большею частью отдѣлывались они фразами, напр., въ такомъ родѣ:

„У Островскаго, одного въ настоящую эпоху литературную, есть свое прочное, новое и *вмѣстѣ идеальное міросозерцаніе*, съ *особеннымъ оттѣнкомъ* (1), обусловленнымъ какъ данными эпохи, такъ, можетъ быть, и данными натуры самого поэта. Этотъ оттѣнокъ мы назовемъ, *нисколько не колеблясь*, кореннымъ русскимъ міросозерцаніемъ, здоровымъ и спокойнымъ, юмористическимъ безъ болѣзненности, прямымъ безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальнымъ, наконецъ, въ справедливомъ смыслѣ идеализма, безъ фальшивой грандіозности или столько же фальшивой сентиментальности“ (Москв. 1853 г., № 1).

«Такъ онъ писалъ—темно и вяло» — и нисколько не разъяснялъ вопроса объ особенностяхъ таланта Островскаго и о значеніи его въ современной литературѣ. Два года спустя, тотъ же критикъ предположилъ цѣлый рядъ статей «О комедіяхъ Островскаго и ихъ значеніи въ литературѣ и на сценѣ» (Москв. 1855 г., № 3), но остановился на первой статьѣ, да и въ той выказалъ болѣе претензій и широкихъ замашекъ, нежели настоящаго дѣла. Весьма безцеремонно нашелъ онъ, что нынѣшней критикѣ *пришлось не по плечу* талантъ Островскаго, и потому она стала къ нему въ положеніе очень комическое; онъ объявилъ даже, что и «Свои люди» не были разобраны потому только, что и въ нихъ уже высказалось *новое слово*, которое критика хоть и видитъ, да *зубомъ нейдетъ*... Кажется, ужъ причины-то молчанія критики о «Своихъ людяхъ» могъ бы знать положительно авторъ статьи, не пускаясь въ отвлеченныя соображенія!... Затѣмъ, предлагая программу своихъ воззрѣній на Островскаго, критикъ говоритъ, въ чемъ, по его мнѣнію, выражалась *самобытность таланта*, которую онъ находитъ въ Островскомъ, — и вотъ его опредѣленія. «Она выражалась—1) въ *новости быта*, выводимаго авторомъ и до него еще непочатаго, — *если исключить нѣкоторые очерки Вельтмана и Дуанскаго* (хороши предшественники для Островскаго!!); 2) въ *новости отношенія автора къ изображаемому имъ быту и выводимымъ лицамъ*; 3) въ *новости*

манеры изображенія; 4) въ новости языка—въ его *цѣлѣтѣистости* (!), *особенности* (?)». Вотъ вамъ и все. Положенія эти не разъяснены критикомъ. Въ продолженіи статьи брошено еще нѣсколько презрительныхъ отзывовъ о критикѣ, сказано, что «*солонъ ей этотъ бытъ* (изображаемый Островскимъ), *солонъ его языкъ, солонъ его типы,—солонъ по ея собственному состоянію*»,—и затѣмъ критикъ, ничего не объясняя и не доказывая, преспокойно переходитъ къ Лѣтописямъ, Домострою и Посошкову, чтобы представить «обозрѣніе отношеній нашей литературы къ народности». На этомъ и покончено было дѣло критика, взявшагося быть адвокатомъ Островскаго противъ противоположной партіи. Вскорѣ потомъ сочувственная похвала Островскому вошла уже въ тѣ предѣлы, въ которыхъ она является въ видѣ увѣсистойаго булыжника, бросаемаго человѣку въ лобъ услужливымъ другомъ: въ первомъ томѣ «Русской Бесѣды» напечатана была статья г. Тертія Филиппова о комедіи: «Не такъ живи, какъ хочется». Въ «Современникѣ» было въ свое время выставлено дикое безобразіе этой статьи, проповѣдующей, что жена должна съ готовностью подставлять спину бьющему ее пьяному мужу, и восхваляющей Островскаго за то, что онъ будто бы раздѣляетъ эти мысли и умѣлъ рельефно ихъ выразить... Въ публикѣ статья эта была встрѣчена общимъ негодованіемъ. По всей вѣроятности, и самъ Островскій (которому опять досталось тутъ изъ-за его непризнанныхъ комментаторовъ) не былъ доволенъ ею; по крайней мѣрѣ, съ тѣхъ поръ онъ уже не подалъ никакого повода еще разъ наклепать на него столь милыя вещи.

Такииъ образомъ, восторженные хвалители Островскаго не много сдѣлали для объясненія публикѣ его значенія и особенностей его таланта; они только помѣшали многимъ прямо и просто взглянуть на него. Впрочемъ, восторженные хвалители вообще рѣдко бываютъ истинно-полезны для объясненія публикѣ дѣйствительнаго значенія писателя: порицатели въ этомъ случаѣ гораздо надежнѣе: выискивая недостатки (даже и тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ), они все-таки представляютъ свои требованія и даютъ возможность судить, насколько писатель удовлетворяетъ или не удовлетворяетъ имъ. Но въ отношеніи къ Островскому и порицатели его оказались не лучше поклонниковъ. Если свести въ одно всѣ упреки, которые дѣлались Островскому со всѣхъ сторонъ, въ продолженіе цѣлыхъ десяти лѣтъ, и дѣлаются еще доселѣ, то рѣшительно будетъ нужно отказаться отъ всякой надежды понять, чего хотѣли отъ него и какъ на него смотрѣли критики. Каждый представлялъ свои требованія и каждый при этомъ бранилъ другихъ, имѣющихъ требованія противоположныя, каждый пользовался непременно какимъ-нибудь изъ достоинствъ одного произведенія Островскаго, чтобы вмѣнить ихъ въ вину другому произведенію, и наоборотъ. Одни упрекали Островскаго за то, что онъ измѣнилъ своему первоначальному направленію и сталъ, вмѣсто живого изображенія жизненной пошлости купеческаго быта, представлять его въ идеальномъ свѣтѣ. Другіе, напротивъ, похваляя

его за идеализацію, постоянно оговаривались, что «Своихъ людей» они считаютъ произведеніемъ недодуманнымъ, одностороннимъ, фальшивымъ даже ¹⁾. При послѣдующихъ произведеніяхъ Островскаго, рядомъ съ упреками за приторность въ прикрашиваніи той пошлой и безцвѣтной дѣйствительности, изъ которой бралъ онъ сюжеты для своихъ комедій, слышались также съ одной стороны восхваленія его за самое это прикрашиваніе ²⁾, а съ другой—упреки въ томъ, что онъ дагеротипически изображаетъ всю грязь жизни ³⁾. Этой противоположности въ самыхъ основныхъ воззрѣніяхъ на литературную дѣятельность Островскаго было бы уже достаточно для того, чтобы сбить съ толку простодушныхъ людей, которые бы вздумали довѣриться критикѣ въ сужденіяхъ объ Островскомъ. Но противорѣчіе этимъ не ограничивалось; оно простиралось еще на множество частныхъ замѣтокъ о разныхъ достоинствахъ и недостаткахъ комедій Островскаго. Разнообразіе его таланта, широта содержанія, охваты-

¹⁾ Такъ, въ разборѣ „Бѣдность не порокъ“ одинъ критикъ упрекалъ Островскаго за то, что въ первомъ своемъ произведеніи онъ „былъ чистымъ сатирикомъ: ничто противодѣйствующее не было выставлено имъ на ряду съ показаннымъ зломъ“ (Москв. 1854 г., № 5). Критикъ „Русской Бесѣды“ объяснялся еще рѣзче. Разбирая пьесу: „Не такъ живи, какъ хочется“, онъ отозвался о „Своихъ людяхъ“ слѣдующимъ образомъ: „Свои люди“ есть, конечно, такое произведеніе, на которомъ лежитъ печать необыкновеннаго дарованія, но оно задумано подъ сильнымъ вліяніемъ отрицательнаго воззрѣнія на русскую жизнь, отчасти смягченнаго еще художественнымъ исполненіемъ, и въ этомъ отношеніи должно отнести его, какъ ни жалко, къ послѣдствіямъ *натуральнаго направленія*“ (Русск. Бесѣд. 1856 г., № 1).

²⁾ Одинъ изъ критиковъ отдалъ преимущество комедіи „Бѣдность не порокъ“—предъ „Своими людьми“ за то, что въ „Бѣдности не порокъ“ „Островскій является уже не однимъ сатирикомъ,—что, рядомъ со зломъ фальшивой цивилизаціи, здѣсь ему видится въ томъ же быту благодушная, простая, крѣпко связанная съ родными преданіями и обычаями жизнь, и все сочувствіе его, при столкновеніи такихъ двухъ враждебныхъ началъ, естественно склоняется на сторону послѣд-наго“ (Москв. 1854 г., № 5). Критикъ „Русской Бесѣды“ также одобряетъ Островскаго за то, что послѣ „Своихъ людей“ *отрицательное* отношеніе къ жизни смѣнилось у него *сочувственнымъ* и, вмѣсто мрачныхъ изображеній, какія мы видѣли въ „Своихъ людяхъ“, появляются образы, созданіе которыхъ внушено другими лучшими впечатлѣніями отъ жизни“.

³⁾ Такъ, въ „Отечеств. Запискахъ“, при разборѣ той же комедіи „Бѣдность не порокъ“, Островскій заслужилъ упрекъ въ томъ, что у него „самыя грязныя стороны дѣйствительности *не только писаны подлыми ея красками, но и возведены въ достоинство идеаловъ*“. Видно, что критику не понравилось самое списываніе грязныхъ сторонъ дѣйствительности. Упрекъ за это постоянно слышался, рядомъ съ упрекомъ въ идеализаціи, и въ недавнее время выраженъ былъ даже въ такой формѣ: „комедія подъ перомъ г. Островскаго измѣнила своему художественному значенію и сдѣлалась простою копіею дѣйствительной жизни“ (Атен. 1859 г., № 8).

ваемаго его произведеніями, безпрестанно подавали поводъ къ самымъ противоположнымъ упрекамъ. Такъ, напр., за «Доходное мѣсто» упрекнули его въ томъ, что выведенные имъ взяточники *не довольно омерзительны* ¹⁾; за «Воспитанницу» осудили, что лица, въ ней изображенныя, *слишкомъ ужъ омерзительны* ²⁾. За «Бѣдную невѣсту», «Не въ свои сани не садись», «Бѣдность не порокъ» и «Не такъ живи, какъ хочется» Островскому приходилось со всѣхъ сторонъ выслушивать замѣчанія, что онъ пожертвовалъ выполненіемъ пьесы для своей основной задачи ³⁾; и за тѣ же произведенія привелось автору слышать совѣты въ родѣ того, чтобы онъ не довольствовался рабскою подражательностью природѣ, а постарался *расширить свой умственный горизонтъ* ⁴⁾. Мало того — ему сдѣланъ

¹⁾ „Эти лица, выведенныя на сцену, должны бы возбудить въ читателѣ или зрителѣ отвращеніе къ себѣ, но они сами по себѣ возбуждаютъ только состраданіе. Взяточничество—эта общественная язва,—не очень омерзительно и ярко выставлено въ ихъ поступкахъ... А можно было бы показать, какъ взяточники и казнокрады всякаго рода терзаютъ, безобразятъ и губятъ всюду, внутри и внѣ, нашу многострадальную, родную матушку Россію“ (Атен. 1858 г., № 10).

²⁾ „Всѣ лица „Воспитанницы“, кромѣ Нади, — вовсе не лица, а какія-то отвлеченныя и фильтрованные дозы разнаго рода человѣческой грязи, отъ которыхъ на душѣ у читателя остается самое тяжелое и непріятное впечатлѣніе“ (Весна, статья Ахмарумова).

³⁾ „Умеченный благородствомъ и новостью *своихъ задачъ*, авторъ не выносилъ ихъ достаточно въ душѣ, не далъ имъ дозрѣть до надлежащей полноты и ясности представленія... Сожми Островскій свою драму въ тѣсныя рамы, умѣрь нѣсколько свои въ высокой степени *благородныя и широкія задачи*, не выброси онъ за-разъ всего, что передумано, перечувствовано имъ въ отношеніи къ избранному драматическому положенію, созданіе получило бы стройность и цѣлость, хотя, можетъ быть, утратило бы нѣсколько своей энергіи“ (Москв. 1853 г., № 1, разборъ „Бѣдной невѣсты“).

„Избравъ для разрѣшенія *своей задачи* драматическую форму, авторъ тѣмъ самымъ принялъ на себя обязанность удовлетворить всѣмъ требованіямъ этой формы, т. е. прежде всего произвести впечатлѣніе на читателя или зрителя драматическою коллизіею и движеніемъ, и этимъ путемъ напечатлѣть въ немъ основную идею комедіи. Въ этомъ отношеніи мы не можемъ остаться совершенно довольны новою тѣсою *г. Островскаго, и пр.*“ (Москв. 1854 г., № 5, разборъ „Бѣдности не порокъ“).

„Въ произведеніяхъ *г. Островскаго задачи* не только правильны, но и полны глубокаго смысла и всегда здравы въ нравственномъ отношеніи... и нельзя не пожалѣть, что именно это произведеніе („Не такъ живи, какъ хочется“), такъ прекрасно задуманное и такъ прекрасно, въ драматическомъ отношеніи, расположенное, по исполненію слабѣе всѣхъ другихъ, дотоѣ писанныхъ произведеній *г. Островскаго*“ (Рус. Бес. 1856 г., № 1).

⁴⁾ „Рабская подражательность — не въ языкѣ только новой комедіи, но и во всемъ почти ея содержаніи, какъ въ концепціи цѣлаго, такъ и въ подробностяхъ. Напрасно стали бы искать въ ней хоть одной идеальной черты: ея нѣтъ ни въ

былъ даже упрекъ въ томъ, что вѣрному изображенію дѣйствительности (т. е. исполненію) онъ отдается слишкомъ исключительно, не заботясь объ *идеѣ* своихъ произведеній. Другими словами, — его упрекали именно въ отсутствіи или ничтожествѣ *задачъ*, которыя другими критиками признавались ужъ слишкомъ широкими, слишкомъ превосходящими средства самаго ихъ выполненія ¹⁾.

Словомъ — трудно представить себѣ возможность середины, на которой можно было бы удержаться, чтобы хоть сколько-нибудь согласить требованія въ теченіе десяти лѣтъ предъявлявшіяся Островскому разными (а иногда и тѣми же самыми) критиками. То — зачѣмъ онъ слишкомъ чернить русскую жизнь, то — зачѣмъ бѣлить и румянить ее? То — для чего предается онъ дидактизму, то — зачѣмъ нѣтъ нравственной основы въ его произведеніяхъ?... То — онъ слишкомъ рабски передаетъ дѣйствительность, то — невѣренъ ей; то — онъ очень ужъ заботится о внѣшней отдѣлкѣ. То — у него дѣйствіе идетъ слишкомъ вяло, то — сдѣланъ слишкомъ быстрый поворотъ, къ которому читатель недостаточно подготовленъ предыдущимъ. То — характеры очень обыкновенны, то — слишкомъ исключительны... И все это часто говорилось по поводу однихъ и тѣхъ же произведеній критиками, которые должны были сходиться, повидимому, въ

лицахъ, ни въ самомъ дѣйстви... Мы прежде всего желали бы автору выйти изъ того тѣснаго круга, въ которомъ онъ до сихъ поръ заключилъ свою дѣятельность, и нѣсколько побольше расширить свой умственный горизонтъ" (Отеч. Записки 1854 г., № 6).

¹⁾ Въ особенности выразилось это въ нахальной статьѣ, недавно напечатанной въ „Атенѣ“. Заключительное слово критики таково: „произведенія г. Островскаго, выражая жизнь дѣйствительную, сами по себѣ не имѣютъ никакой жизни; въ нихъ нѣтъ ни *идеи*, ни дѣйствія, ни характеровъ истинно поэтическихъ... Надобно отдать справедливость автору въ томъ отношеніи, что онъ умѣлъ представить въ нихъ (въ комедіяхъ изъ купеческаго быта) довольно вѣрную, дѣйствительную картину купеческаго и мѣщанскаго быта — и только. Одно произведеніе вышло изъ ряду ихъ, именно я, „Бѣдная невѣста“, но за то она и хуже всѣхъ. Что касается до *богатства мыслей*, разнообразія характеровъ, то въ этомъ отношеніи мы не можемъ сказать ничего утѣшительнаго. Довольно узнать только то, что одно произведеніе служило, такъ сказать, поводомъ другому, по какому-нибудь противоположенію. Такъ, напр., комедія „Свои люди — сочтемся“ имѣетъ въ себѣ въ *pendant* драму „Не такъ живи, какъ хочется“, которую можно назвать также: „Свои люди — сочтемся“. „Бѣдная невѣста“ дала поводъ написать комедію „Не въ свои сани не садись“, или „Богатую невѣсту“; къ нимъ очень близка комедія „Бѣдность не порокъ“, которую можно назвать совершенно справедливо „Бѣдный женихъ“. Изъ этого видно, насколько богата *фантазія* г. Островскаго запасомъ *идей* и образомъ для ихъ *выраженія*“.

Припомнимъ, что долгое время хвалители Островскаго удивлялись именно неисчерпаемому богатству его фантазіи въ созданіи множества новыхъ типовъ и драматическихъ положеній, и намъ будетъ ясно, какъ ничтожна была сочувственная ему критика для уясненія значенія этого писателя.

основныхъ воззрѣнiяхъ. Если бы публикѣ приходилось судить объ Островскомъ только по критикамъ, десять лѣтъ сочинявшимся о немъ, то она должна была бы остаться въ крайнемъ недоумѣнiи о томъ: что же наконецъ думать ей объ этомъ авторѣ? То онъ выходилъ, по этимъ критикамъ, кваснымъ патріотомъ, обскурантомъ, то прямымъ продолжателемъ Гоголя въ лучшемъ его періодѣ; то славянофиломъ, то западникомъ; то создателемъ народнаго театра, то гостинодворскимъ Коцебу; то писателемъ съ новымъ особеннымъ міросозерцаніемъ, то человѣкомъ, нимало не осмысливающимъ дѣйствительности, которая имъ копируется. Никто до сихъ поръ не далъ не только полной характеристики Островскаго, но даже не указалъ тѣхъ чертъ, которыя составляютъ существенный смыслъ его произведеній.

Отчего произошло такое странное явленіе? «Стало быть, была же какая-нибудь причина?» Можетъ быть, дѣйствительно Островскій такъ часто измѣняетъ свое направленіе, что его характеръ до сихъ поръ еще не могъ опредѣлиться? Или, напротивъ, онъ съ самаго начала сталъ, какъ увѣряла критика «Москвитянина», на ту высоту, которая превосходитъ степень пониманія современной критики? Кажется, ни то, ни другое. Причина безалаберности, господствующей до сихъ поръ въ сужденіяхъ объ Островскомъ, заключается именно въ томъ, что его хотѣли непременно сдѣлать представителемъ извѣстнаго рода убѣжденій, и затѣмъ карали за невѣрность этимъ убѣжденіямъ или возвышали за укрѣпленіе въ нихъ, и наоборотъ. Всѣ признали въ Островскомъ замѣчательный талантъ, и вслѣдствіе того всѣмъ критикамъ хотѣлось видѣть въ немъ поборника и проводника тѣхъ убѣжденій, которыми сами они были проникнуты. Людямъ съ славянофильскимъ оттѣнкомъ очень понравилось, что онъ хорошо изображаетъ русскій бытъ, и они безъ церемоніи провозгласили Островскаго поклонникомъ *«благодущной русской старины»* въ пику тлетворному Западу. Какъ человѣкъ, дѣйствительно знающій и любящій русскую народность, Островскій дѣйствительно подалъ славянофиламъ много поводовъ считать его «своимъ», а они воспользовались этимъ такъ неумѣренно, что дали противной партіи весьма основательный поводъ считать его врагомъ европейскаго образованія и писателемъ ретрограднаго направленія. Но, въ сущности, Островскій никогда не былъ ни тѣмъ, ни другимъ, по крайней мѣрѣ, въ своихъ произведеніяхъ. Можетъ быть, вліяніе кружка и дѣйствовало на него, въ смыслѣ признанія извѣстныхъ отвлеченныхъ теорій, но оно не могло уничтожить въ немъ вѣрнаго чутія дѣйствительной жизни, не могло совершенно закрыть предъ нимъ дороги, указанной ему талантомъ. Вотъ почему произведенія Островскаго постоянно ускользали изъ-подъ обѣихъ, совершенно различныхъ мѣрокъ, прикидываемыхъ къ нему съ двухъ противоположныхъ концовъ. Славянофилы скоро увидѣли въ Островскомъ черты, вовсе не служащія проповѣдью смиренія, терпѣнія, приверженности къ обычаямъ отцовъ и ненависти къ Западу, и считали нужнымъ

упрекать его—или въ недосказанности, или въ уступкахъ *отрицательному* воззрѣнію. Самый нелѣпый изъ критиковъ славянофильской партіи очень категорически выразился, что у Островскаго все бы хорошо, «но у него иногда недостаетъ рѣшительности и смѣлости въ исполненіи задуманнаго: ему, какъ будто, мѣшаетъ ложный стыдъ и робкія привычки, воспитанныя въ немъ *натуральнымъ* направлениемъ. Оттого нерѣдко онъ затѣетъ что-нибудь *возвышенное* или *широкое*, а память о *натуральной* мѣркѣ и спугнетъ его замыселъ; ему бы слѣдовало дать волю счастливому внушенію, а онъ, какъ будто, испугается высоты полета, и образъ выходитъ какой-то недодѣланный» («Рус. Бес.»). Въ свою очередь, люди, пришедшіе въ восторгъ отъ «Своихъ людей», скоро замѣтили, что Островскій, сравнивая старинныя начала русской жизни съ новыми началами европеизма въ купеческомъ быту, постоянно склоняется на сторону первыхъ. Это имъ не нравилось, и самый нелѣпый изъ критиковъ такъ-называемой *западной* партіи выразилъ свое сужденіе, тоже очень категорическое, слѣдующимъ образомъ: «дидактическое направление, опредѣляющее характеръ этихъ произведеній, не позволяетъ намъ признать въ нихъ истинно-поэтическаго таланта. Оно основано на тѣхъ началахъ, которыя называются у нашихъ славянофиловъ народными. Имъ-то подчинилъ г. Островскій въ комедіяхъ и драмѣ мысль, чувство и свободную волю человѣка» («Атеней», 1859 г.). Въ этихъ двухъ противоположныхъ отрывкахъ можно найти ключъ къ тому, отчего критика до сихъ поръ не могла прямо и просто взглянуть на Островскаго, какъ на писателя, изображающаго жизнь известной части русскаго общества, а все смотрѣла на него какъ на проповѣдника морали, сообразной съ понятіями той или другой партіи. Отвергнувши эту, заранѣе приготовленную, мѣрку, критика должна была бы приступить къ произведеніямъ Островскаго просто для ихъ изученія, съ рѣшительностью — брать то, что даетъ самъ авторъ. Но тогда нужно было бы отказаться отъ желанія завербовать его въ свои ряды, нужно было бы поставить на второй планъ свои предубѣжденія къ противной партіи, нужно было бы не обращать вниманія на самодовольныя и довольно наглые выходки противной стороны... а это было чрезвычайно трудно и для той, и для другой партіи. Островскій и сдѣлался жертвою полемики между ними, взявши въ угоду той и другой нѣсколько неправильныхъ аккордовъ, и тѣмъ еще болѣе сбивши ихъ съ толку.

Къ счастью, публика мало заботилась о критическихъ перекорахъ, и сама читала комедіи Островскаго, смотрѣла на театрѣ тѣ изъ нихъ, которыя допущены къ представленію, перечитывала оныя и, такимъ образомъ, довольно хорошо ознакомилась съ произведеніями своего любимаго комика. Благодаря этому обстоятельству, трудъ критика значительно облегчается теперь. Нѣтъ надобности разбирать каждую пьесу порознь, рассказывать содержаніе, слѣдить развитіе дѣйствія сцена за сценой, подбирать по дорогѣ мелкія неловкости, выхвалять удачныя выраженія, и т. п. Все это читателямъ уже

очень хорошо известно: содержаніе пьесъ всѣ знаютъ, о частныхъ промахахъ было говорено много разъ, удачныя, мѣткія выраженія давно уже подхвачены публикой и употребляются въ разговорной рѣчи, въ родѣ поговорокъ. Съ другой стороны—навязывать автору свой собственный образъ мыслей тоже не нужно, да и неудобно (развѣ при такой отвагѣ, какую выказалъ критикъ «Атеней», г. Н. П. Некрасовъ, изъ Москвы): теперь уже для всякаго читателя ясно, что Островскій не обскурантъ, не проповѣдникъ плетки, какъ основанія семейной нравственности, не поборникъ гнусной морали, предписывающей терпѣніе безъ конца и отреченіе отъ правъ собственной личности,—равно какъ и не слѣпой, ожесточенный пасквилянтъ, старающійся, во что бы то ни стало, выставить на позоръ *грязная пятна* русской жизни. Конечно, вольному воля: недавно еще одинъ критикъ пытался доказать, что основная идея комедіи «Не въ свои сани не садись» состоитъ въ томъ, что безнравственно купчихѣ лѣзть замужъ за дворянина, а гораздо благонравнѣе выйти за ровню, по приказу родительскому. Тотъ же критикъ рѣшилъ (очень энергически), что въ драмѣ «Не такъ живи, какъ хочется» Островскій проповѣдуетъ, будто «полная покорность волѣ старшихъ, слѣпая вѣра въ справедливость изстари предписаннаго закона и совершенное отреченіе отъ человѣческой свободы, отъ всякаго притязанія на право заявить свои человѣческія чувства, гораздо лучше, чѣмъ самая мысль, чувство и свободная воля человѣка». Тотъ же критикъ весьма остроумно сообразилъ, что «въ сценахъ «Праздничный сонъ до обѣда» осмѣяно суевѣріе во сны» ¹⁾... Но вѣдь теперь два тома сочиненій Островскаго въ рукахъ у читателей.—кто же повѣритъ такому критику?

Итакъ, предполагая, что читателямъ известно содержаніе пьесъ Островскаго и самое ихъ развитіе, мы постараемся только припомнить черты, общія всѣмъ его произведеніямъ или большей части ихъ, свести эти черты къ одному результату и по нимъ опредѣлить значеніе литературной дѣятельности этого писателя. Исполнивши это, мы только представимъ въ общемъ очеркъ то, что и безъ насъ давно уже знакомо большинству читателей, но что у многихъ, можетъ быть, не приведено въ надлежащую стройность и единство. При этомъ считаемъ нужнымъ предупредить, что мы не задаемъ автору никакой программы, не составляемъ для него никакихъ предварительныхъ правилъ, сообразно съ которыми онъ долженъ задумывать и выполнять свои произведенія. Такой способъ критики мы считаемъ очень обиднымъ для писателя, талантъ котораго всѣми признанъ и за которымъ упрочена уже любовь публики и известная доля значенія въ литературѣ. Критика, состоящая въ показаніи того, что *долженъ* былъ сдѣлать писатель и насколько хорошо выполнилъ онъ свою *должность*, бываетъ еще умѣстна изрѣдка, въ приложеніи къ автору начинающему, подающему нѣкоторыя надежды,

¹⁾ Это все въ «Атенеѣ»!

но идущему рѣшительно ложнымъ путемъ и потому нуждающемуся въ указаніяхъ и совѣтахъ. Но вообще она непріятна, потому что ставить критика въ положеніе школьнаго педанта, собравшагося проэкзаменовать какого-нибудь мальчика. Относительно такого писателя, какъ Островскій, нельзя позволить себѣ этой схоластической критики. Каждый читатель съ полной основательностью можетъ намъ замѣтить: «зачѣмъ вы убиваетесь надъ соображеніями о томъ, что вотъ тутъ нужно было бы то-то, а здѣсь недостаетъ того-то? Мы вовсе не хотимъ признать за вами право давать уроки Островскому; намъ вовсе не интересно знать, какъ бы, по вашему мнѣнію, слѣдовало сочинить пьесу, сочиненную имъ. Мы читаемъ и любимъ Островскаго, и отъ критики мы хотимъ, чтобы она осмыслила передъ нами то, чѣмъ мы увлекаемся часто безотчетно, чтобы она привела въ нѣкоторую систему и объяснила намъ наши собственные впечатлѣнія. А если, уже послѣ этого объясненія, окажется, что наши впечатлѣнія ошибочны, что результаты ихъ вредны, или что мы приписываемъ автору то, чего въ немъ нѣтъ,—тогда пусть критика займется разрушеніемъ нашихъ заблужденій, но опять-таки на основаніи того, что даетъ намъ самъ авторъ». Признавая такіа требованія вполнѣ справедливыми, мы считаемъ за самое лучшее—примѣнить къ произведеніямъ Островскаго критику *реальную*, состоящую въ обзорѣни того, что намъ даютъ его произведенія. Здѣсь не будетъ требованій въ родѣ того, зачѣмъ Островскій не изображаетъ характеровъ такъ, какъ Шекспиръ, зачѣмъ не развиваетъ комическаго дѣйствія такъ, какъ Гоголь ¹⁾, и т. п. Всѣ подобныя требованія, по нашему мнѣнію, столько же ненужны, бесплодны и неосновательны, какъ и требованія того, напр., чтобы Островскій былъ комикомъ страстей и давалъ намъ мольеровскихъ тартюфовъ и гарпагоновъ, или чтобы онъ уподобился Аристофану и придалъ комедіи политическое значеніе. Конечно, мы не отвергаемъ того, что лучше было бы, если бы Островскій соединилъ въ себѣ Аристофана, Мольера и Шекспира; но мы знаемъ, что этого нѣтъ, что это невозможно, и все-таки признаемъ Островскаго замѣчательнымъ писателемъ въ нашей литературѣ, находя, что онъ и самъ по себѣ, какъ есть, очень недурень и заслуживаетъ нашего вниманія и изученія...

Точно такъ же реальная критика не допускаетъ и навязыванья автору чужихъ мыслей. Предъ ея судомъ стоятъ лица, созданныя авторомъ, и ихъ дѣйствія; она должна сказать, какое впечатлѣніе производятъ на нее эти лица, и можетъ обвинять автора только за то, ежели впечатлѣніе это неполно, неясно, двусмысленно. Она никогда не позволитъ себѣ, напр., такого вывода: это лицо отличается привязанностью къ стариннымъ предразсудкамъ; но авторъ выставилъ его добрымъ и неглупымъ, слѣдственно авторъ желалъ выставить въ хорошемъ свѣтѣ старинные предразсудки. Нѣтъ, для реальной критики здѣсь представляется прежде всего фактъ: авторъ вы-

¹⁾ Эти замѣчанія дѣйствительно дѣлались Островскому мудрыми критиками.

водить добраго и неглупаго человѣка, зараженнаго старинными предрассудками. Затѣмъ критика разбираетъ, возможно ли и дѣйствительно ли такое лицо; нашедши же, что оно вѣрно дѣйствительности, она переходитъ къ своимъ собственнымъ соображеніямъ о причинахъ, породившихъ его, и т. д. Если въ произведеніи разбираемаго автора эти причины указаны, критика пользуется ими и благодаритъ автора; если нѣтъ,—не пристаётъ къ нему съ ножомъ къ горлу, какъ, дескать, онъ смѣлъ вывести такое лицо, не объяснивши причинъ его существованія? Реальная критика относится къ произведенію художника точно такъ же, какъ къ явленіямъ дѣйствительной жизни: она изучаетъ ихъ, стараясь опредѣлить ихъ собственную норму, собрать ихъ существенныя, характерныя черты, но вовсе не суется изъ-за того, зачѣмъ это овесъ—не рожь и уголь—не алмазъ... Были, пожалуй, и такіе ученые, которые занимались опытами, долженствовавшими доказать превращеніе овса въ рожь; были и критики, занимавшіеся доказываніемъ того, что если бы Островскій такую-то сцену такъ-то измѣнилъ, то вышелъ бы Гоголь, а если бы такое-то лицо вотъ такъ отдѣлалъ, то превратился бы въ Шекспира... Но надо полагать, что такіе ученые и критики не много принесли пользы наукѣ и искусству. Гораздо полезнѣе ихъ были тѣ, которые внесли въ общее сознаніе нѣсколько скрывавшихся прежде или не совсѣмъ ясныхъ фактовъ изъ жизни или изъ міра искусства, какъ воспроизведенія жизни. Если въ отношеніи къ Островскому до сихъ поръ не было сдѣлано ничего подобнаго, то намъ остается только пожалѣть объ этомъ странномъ обстоятельстве и постараться поправить его, насколько хватитъ силъ и умѣнья.

Но, чтобы покончить съ прежними критиками Островскаго, соберемъ теперь тѣ замѣчанія, въ которыхъ почти всѣ они были согласны и которыя могутъ заслуживать вниманія.

Во-первыхъ, всѣми признаны въ Островскомъ даръ наблюдательности и умѣнье представить вѣрную картину быта тѣхъ сословій, изъ которыхъ бралъ онъ сюжеты своихъ произведеній.

Во-вторыхъ, всѣми замѣчена (хотя и не всѣми отдана ей должная справедливость) мѣткость и вѣрность народнаго языка въ комедіяхъ Островскаго.

Въ-третьихъ, по согласію всѣхъ критиковъ, почти всѣ характеры въ пьесахъ Островскаго совершенно обыденны и не выдаются ничѣмъ особеннымъ, не возвышаются надъ пошлою средою, въ которой они поставлены. Это ставится многими въ вину автору, на томъ основаніи, что такія лица, дескать, необходимо должны быть безцвѣтными. Но другіе справедливо находятъ и въ этихъ будничныхъ лицахъ очень яркія типическія черты.

Въ-четвертыхъ, всѣ согласны, что въ большей части комедій Островскаго «недостаетъ (по выраженію одного изъ восторженныхъ его хвалителей) экономіи въ планѣ и въ постройкѣ пьесы», и что вслѣдствіе того (по выраженію другого изъ его поклонниковъ) «драматическое дѣйствіе не развивается въ нихъ послѣдовательно и без-

прерывно, интрига пьесы не сливается органически съ идеей пьесы и является ей какъ бы нѣсколько посторонней».

Въ-пятыхъ, всѣмъ не нравится слишкомъ крутая, *случайная*, развязка комедій Островскаго. По выраженію одного критика, въ концѣ пьесы «какъ будто смерчъ какой проносится по комнатамъ и разомъ перевертываетъ всѣ головы дѣйствующихъ лицъ».

Вотъ, кажется, все, въ чемъ доселѣ соглашалась всякая критика, заговаривая объ Островскомъ... Мы могли бы построить всю нашу статью на развитіи этихъ, всѣми признанныхъ, положеній и, можетъ быть, избрали бы благую часть. Читатели, конечно, поскучили бы немного; но за то мы отдѣлались бы чрезвычайно легко, заслужили бы сочувствіе эстетическихъ критиковъ и даже, — почему знать? — стяжали бы, можетъ быть, названіе тонкаго цѣнителя художественныхъ красотъ и таковыхъ же недостатковъ. Но, къ сожалѣнію, мы не чувствуемъ въ себѣ призванія *воспитывать эстетическій вкусъ публики*, и потому намъ самимъ чрезвычайно скучно братья за школьную указку съ тѣмъ, чтобы пространно и глубокомысленно толковать о тончайшихъ оттѣнкахъ художественности. Предоставляя это гг. Алмазову, Ахшарумову и имъ подобнымъ, мы изложимъ здѣсь только тѣ результаты, какіе даетъ намъ изученіе произведеній Островскаго, относительно изображаемой имъ дѣйствительности. Но предварительно сдѣлаемъ нѣсколько замѣчаній объ отношеніи художественнаго таланта къ отвлеченнымъ идеямъ писателя.

Въ произведеніяхъ талантливаго художника, какъ бы они ни были разнообразны, всегда можно примѣчать нѣчто общее, характеризующее всѣ ихъ и отличающее ихъ отъ произведеній другихъ писателей. На техническомъ языкѣ искусства принято называть это *міросозерцаніемъ* художника. Но напрасно стали бы мы хлопотать о томъ, чтобы привести это міросозерцаніе въ опредѣленные логическія построенія, выразить его въ отвлеченныхъ формулахъ. Отвлеченностей этихъ обыкновенно не бываетъ въ самомъ сознаніи художника; нерѣдко даже въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ онъ высказываетъ понятія, разительнo противоположныя тому, что выражается въ его художественной дѣятельности, — понятія, принятые имъ на вѣру или добытыя имъ посредствомъ ложныхъ, наскоро, чисто внѣшнимъ образомъ составленныхъ силлогизмовъ. Собственный же взглядъ его на міръ, служащій ключемъ къ характеристикѣ его таланта, надо искать въ живыхъ образахъ, создаваемыхъ имъ. Здѣсь-то и находится существенная разница между талантомъ художника и мыслителя. Въ сущности, мыслящая сила и творческая способность обѣ равно присущи и равно необходимы и философу, и поэту. Величіе философствующаго ума и величіе поэтическаго генія равно состоятъ въ томъ, чтобы, при взглядѣ на предметъ, тотчасъ умѣть отличить его существенныя черты отъ случайныхъ, затѣмъ, — правильно организовать ихъ въ своемъ сознаніи и умѣть овладѣть ими такъ, чтобы имѣть возможность свободно вызвать ихъ для всевозможныхъ комбинацій. Но разница между мыслителемъ и художникомъ та, что у

последняго воспримчивость гораздо живѣе и сильнѣе. Оба они черпаютъ свой взглядъ на міръ изъ фактовъ, успѣвшихъ дойти до ихъ сознанія. Но человѣкъ съ болѣе живой воспримчивостью, «художническая натура», сильно поражается самымъ первымъ фактомъ навѣстнаго рода, представившимся ему въ окружающей дѣйствительности. У него еще нѣтъ теоретическихъ соображеній, которыя бы могли объяснить этотъ фактъ; но онъ видитъ, что тутъ есть что-то особенное, заслуживающее вниманія, и съ жаднымъ любопытствомъ всматривается въ самый фактъ, усвоиваетъ его, носитъ его въ своей душѣ сначала какъ единичное представленіе, потомъ присоединяетъ къ нему другіе, однородные факты и образы и, наконецъ, создаетъ типъ, выражающій въ себѣ всѣ существенныя черты всѣхъ частныхъ явленій этого рода, прежде замѣченныхъ художникомъ. Мыслитель, напротивъ, не такъ скоро и не такъ сильно поражается. Первый фактъ новаго рода не производитъ на него живого впечатлѣнія; онъ большею частію едва примѣчаетъ этотъ фактъ и проходитъ мимо него, какъ мимо странной случайности, даже не трудясь усвоить его себѣ. (Не говоримъ, разумѣется, о личныхъ отношеніяхъ: влюбиться, разсердиться, опечалиться — всякій философъ можетъ столь же быстро, при первомъ же появленіи *факта*, какъ и поэтъ.) Только уже потомъ, когда много однородныхъ фактовъ наберется въ сознаніи, человѣкъ съ слабой воспримчивостью обратитъ на нихъ, наконецъ, свое вниманіе. Но тутъ обиліе частныхъ представленій, собранныхъ прежде и непримѣтно покоившихся въ его сознаніи, даетъ ему возможность тотчасъ же составить изъ нихъ общее понятіе и, такимъ образомъ, немедленно перенести новый фактъ изъ живой дѣйствительности въ отвлеченную сферу разсудка. А здѣсь уже приписывается для новаго понятія надлежащее мѣсто въ ряду другихъ идей, объясняется его значеніе, дѣлаются изъ него выводы, и т. д. При этомъ мыслитель, — или, говоря проще, человѣкъ разсуждающій, — пользуется, какъ дѣйствительными фактами, и тѣми образами, которые воспроизведены изъ жизни искусствомъ художника. Иногда даже эти самые образы наводятъ разсуждающаго человѣка на составленіе правильныхъ понятій о нѣкоторыхъ изъ явленій дѣйствительной жизни. Такимъ образомъ, совершенно яснымъ становится *значеніе художнической дѣятельности въ ряду другихъ отправленій общественной жизни*: образы, созданные художникомъ, собирая въ себѣ, какъ въ фокусѣ, факты дѣйствительной жизни, весьма много способствуютъ составленію и распространенію между людьми правильныхъ понятій о вещахъ.

Отсюда ясно, что главное достоинство писателя-художника состоитъ въ *правдѣ* его изображеній; иначе изъ нихъ будутъ ложные выводы, составятся, по ихъ милости, ложныя понятія. Но какъ понимать *правду* художественныхъ изображеній? Собственно говоря, *безусловной неправды* писатели никогда не выдумываютъ; о самыхъ нелѣпыхъ романахъ и мелодрамахъ нельзя сказать, чтобы представляемые въ нихъ *страсти* и пошлости были безусловно-ложны, т. е.

невозможны, даже какъ уродливая случайность. Но *неправда* подобныхъ романовъ и мелодрамъ именно въ томъ и состоитъ, что въ нихъ берутся случайныя, ложныя черты дѣйствительной жизни, не составляющія ея сущности, ея характерныхъ особенностей. Они представляются ложью и въ томъ отношеніи, что если по нимъ составлять теоретическія понятія, то можно придти къ идеямъ совершенно ложнымъ. Есть, напр., авторы, посвятившіе свой талантъ на воспѣваніе сладострастныхъ сценъ и развратныхъ похожденій; сладострастіе изображается ими въ такомъ видѣ, что, если имъ повѣрить, то въ немъ одномъ только и заключается истинное блаженство человѣка. Заключение, разумѣется, нелѣпое, хотя, конечно, и бывають дѣйствительно люди, которые, по степени своего развитія, и неспособны понять другого блаженства, кромѣ этого... Были другіе писатели, еще болѣе нелѣпые, которые превозносили доблести воинственныхъ феодаловъ, проливавшихъ рѣки крови, сожигавшихъ города и грабившихъ своихъ вассаловъ. Въ описаніи подвиговъ этихъ грабителей не было прямой лжи; но они представлены въ такомъ свѣтѣ, съ такими восхваленіями, которыя ясно свидѣлствуютъ, что въ душѣ автора, воспѣвавшаго ихъ, не было чувства человѣческой правды. Такимъ образомъ, всякая односторонность и исключительность уже мѣшаетъ полному соблюденію правды художникомъ. Слѣдовательно, художникъ долженъ — или въ полной неприкосновенности сохранить свой простой, младенчески-непосредственный взглядъ на весь міръ, или (такъ какъ это совершенно невозможно въ жизни) спастись отъ односторонности возможнымъ расширеніемъ своего взгляда, посредствомъ усвоенія себѣ тѣхъ общихъ понятій, которыя выработаны людьми разсуждающими. Въ этомъ можетъ выразиться связь знанія съ искусствомъ. Свободное претвореніе самыхъ высшихъ умозрѣній въ живые образы и, вмѣстѣ съ тѣмъ, полное сознаніе высшаго, общаго смысла во всякомъ, самомъ частномъ и случайномъ фактѣ жизни—это есть идеаль, представляющій полное сліяніе науки и поэзіи и доселѣ еще никѣмъ не достигнутый. Но художникъ, руководимый правильными началами въ своихъ общихъ понятіяхъ, имѣетъ все-таки ту выгоду предъ неразвитымъ или ложно развитымъ писателемъ, что можетъ свободнѣе предаваться внушеніямъ своей художнической натуры. Его непосредственное чувство всегда вѣрно указываетъ ему на предметы; но когда его общія понятія ложны, то въ немъ неизбежно начинается борьба, сомнѣнія, нерѣшительность, и если произведеніе его и не дѣлается оттого окончательно фальшивымъ, то все-таки выходитъ слабымъ, безцвѣтнымъ и нестройнымъ. Напротивъ, когда общія понятія художника правильны и вполнѣ гармонируютъ съ его натурой, тогда эта гармонія и единство отражаются и въ произведеніи. Тогда дѣйствительность отражается въ произведеніи ярче и живѣе, и оно легче можетъ привести разсуждающаго человѣка къ правильнымъ выводамъ и, слѣдовательно, имѣть болѣе значенія для жизни.

Если мы примѣнимъ все сказанное къ сочиненіямъ Островскаго и припомнимъ то, что говорили выше о его критикахъ, то должны будемъ сознаться, что его литературная дѣятельность не совсѣмъ чужда была тѣхъ колебаній, которыя происходятъ вслѣдствіе разногласія внутренняго художническаго чувства съ отвлеченными, извнѣ усвоенными, понятіями. Этими колебаніями и объясняется то, что критика могла дѣлать совершенно противоположныя заключенія о смыслѣ фактовъ, выставившихся въ комедіяхъ Островскаго. Конечно, обвиненія его въ томъ, что онъ проповѣдуетъ отреченіе отъ свободной воли, идіотское смиреніе, покорность, и т. д., должны быть приписаны всего болѣе недогадливости критиковъ; но все-таки значить и самъ авторъ недостаточно оградилъ себя отъ подобныхъ обвиненій. И дѣйствительно, въ комедіяхъ «Не въ свои сани не садись», «Бѣдность не порокъ» и «Не такъ живи, какъ хочется» — существенно дурныя стороны нашего стариннаго быта обставлены въ дѣйствіи такими случайностями, которыя какъ будто заставляютъ не считать ихъ дурными. Будучи положены въ основу названныхъ пьесъ, эти случайности доказываютъ, что авторъ придалъ имъ болѣе значенія, нежели онѣ имѣютъ въ самомъ дѣлѣ, и эта невѣрность взгляда повредила цѣльности и яркости самыхъ произведеній. Но сила непосредственнаго художническаго чувства не могла и тутъ оставить автора, и потому частныя положенія и отдѣльные характеры, взятые имъ, постоянно отличаются неподдѣльной истиною. Рѣдко-рѣдко увлеченіе идеей доводило Островскаго до натяжки въ представленіи характеровъ или отдѣльныхъ драматическихъ положеній, какъ, напримѣръ, въ той сценѣ въ «Не въ свои сани не садись», гдѣ Бородинъ объявляетъ желаніе взять за себя опозоренную дочь Русакова. Во всей пьесѣ Бородинъ выставляется благороднымъ и добрымъ по старинному; послѣдній же его поступокъ вовсе не въ духѣ того разряда людей, которыхъ представителемъ служить Бородинъ. Но авторъ хотѣлъ приписать этому лицу всевозможныя добрыя качества, и въ числѣ ихъ приписалъ даже такое, отъ котораго настоящіе Бородины, вѣроятно, отреклись бы съ ужасомъ. Но такихъ натяжекъ чрезвычайно мало у Островскаго: чувство художественной правды постоянно спасало его. Гораздо чаще онъ какъ будто отступалъ отъ своей идеи, именно по желанію остаться вѣрнымъ дѣйствительности. Люди, которые желали видѣть въ Островскомъ непремѣнно сторонника своей партіи, часто упрекали его, что онъ недостаточно ярко выразилъ ту мысль, которую хотѣли они видѣть въ его произведеніи. Напримѣръ, желая видѣть въ «Бѣдности не порокъ» апопееозу смиренія и покорности старшимъ, нѣкоторые критики упрекали Островскаго за то, что развязка пьесы является не необходимымъ слѣдствіемъ нравственныхъ достоинствъ смиреннаго Мити. Но авторъ умѣлъ понять практическую нелѣпость и художественную ложность такой развязки, и потому употребилъ для нея случайное вмѣшательство Любима Торцова. Такъ точно за лицо Петра Ильича въ «Не такъ живи какъ хочется»

автора упрекали, что онъ не придавъ этому лицу той широты натуры, того могучаго размаха, какой, дескать, свойственъ русскому человѣку, особенно въ разгулѣ. Но художническое чутье автора дало ему понять, что его Петръ, приходящій въ себя отъ колокольнаго звона, не есть представитель широкой русской натуры, забубенной головы, а довольно мелкій трактирный гуляка. За «Доходное мѣсто» тоже слышались довольно забавныя обвиненія. Говорили, зачѣмъ Островскій вывелъ представителемъ честныхъ стремленій такого плохого господина, какъ Жадовъ; сердились даже на то, что взяточники у Островскаго такъ пошлы и наивны, и выражали мнѣніе, что «гораздо лучше было бы выставить на судъ публичный тѣхъ людей, которые *обдуманно и ловко* создаютъ, развиваютъ, поддерживаютъ взяточничество, холопское начало *и со всей энергіей* противятся всѣмъ, чѣмъ могутъ, проведенію въ государственный и общественный организмъ свѣжихъ элементовъ». При этомъ, прибавляетъ требовательный критикъ, «мы были бы самыми напряженными, страстными зрителями то бурнаго, то ловко выдерживаемаго столкновенія двухъ партій» («Атеней» 1858 г., № 10). Такое желаніе, справедливое въ отвлеченіи, доказываетъ, однако, что критикъ совершенно не умѣлъ понять то темное царство, которое изображается у Островскаго, и само предупреждаетъ всякое недоумѣніе о томъ, отчего такія-то лица пошлы, такія-то положенія случайны, такія-то столкновенія слабы. Мы не хотимъ никому навязывать своихъ мнѣній; но намъ кажется, что Островскій погрѣшилъ бы противъ правды, наклепалъ бы на русскую жизнь совершенно чуждыя ей явленія, если бы вздумалъ выставить нашихъ взяточниковъ, какъ правильно организованную, сознательную партію. Гдѣ вы у насъ нашли подобныя партіи? Въ чемъ открыли вы слѣды сознательныхъ, обдуманныхъ дѣйствій? Повѣрьте, что еслибъ Островскій принялся выдумывать такихъ людей и такія дѣйствія, то какъ бы ни драматична была завязка, какъ бы ни рельефно были выставлены всѣ характеры пьесы, произведеніе все-таки въ цѣломъ осталось бы мертвымъ и фальшивымъ. И то уже есть въ этой комедіи фальшивый тонъ въ лицѣ Жадова; но и его почувствовалъ самъ авторъ, еще прежде всѣхъ критиковъ. Съ половины пьесы онъ начинаетъ спускать своего героя съ того пьедестала, на которомъ онъ является въ первыхъ сценахъ, а въ послѣднемъ актѣ показываетъ его рѣшительно неспособнымъ къ той борьбѣ, какую онъ принялъ-было на себя. Мы въ этомъ не только не обвиняемъ Островскаго, но, напротивъ, видимъ доказательство силы его таланта. Онъ, безъ сомнѣнія, сочувствовалъ тѣмъ прекраснымъ вещамъ, которыя говоритъ Жадовъ; но въ то же время онъ умѣлъ почувствовать, что заставить Жадова *оплатъ* всѣ эти прекрасныя вещи—значило бы исказить настоящую русскую дѣйствительность. Здѣсь требованіе художественной правды остановило Островскаго отъ увлеченія внѣшней тенденціей и помогло ему уклониться отъ дороги гг. Соллогуба и Львова. Примѣръ этихъ бездарныхъ фразеровъ показываетъ, что

смастерить механическую куклу и назвать ее *честнымъ чиновникомъ* вовсе не трудно; но трудно вдохнуть въ нее жизнь и заставить ее говорить и дѣйствовать по человѣчески. Занявшись изображеніемъ честнаго чиновника, и Островскій не вездѣ преодолѣлъ эту трудность; но все-таки въ его комедіи натура человѣческая много разъ сказывается изъ-за громкихъ фразъ Жадова. И въ этомъ умѣньи подмѣчать натуру, проникать въ глубь души человѣка, уловлять его чувства, независимо отъ изображенія его внѣшнихъ, официальныхъ отношеній, — въ этомъ мы признаемъ одно изъ главныхъ и лучшихъ свойствъ таланта Островскаго. И поэтому мы всегда готовы оправдать его отъ упрека въ томъ, что онъ въ изображеніи характера не остался вѣренъ тому основному мотиву, какой угодно будетъ отыскать въ немъ глубокомысленнымъ критикамъ.

Точно также мы оправдываемъ Островскаго въ случайности и видимой неразумности развязокъ въ его комедіяхъ. Гдѣ же взять разумности, когда ея нѣтъ въ самой жизни, изображаемой авторомъ? Безъ сомнѣнія, Островскій сумѣлъ бы представить для удержанія человѣка отъ пьянства какіе-нибудь резоны болѣе дѣйствительные, нежели колокольный звонъ; но что же дѣлать, если Петръ Ильичъ былъ таковъ, что резонъ не могъ понимать? Своего ума въ человѣка не вложишь, народнаго суевѣрія не передѣлаешь. Придавать ему смыслъ, котораго оно не имѣетъ, значило бы исказить его и лгать на самую жизнь, въ которой оно проявляется. Такъ точно и въ другихъ случаяхъ: создавать непреклонные драматическіе характеры, ровно и обдуманно стремящіеся къ одной цѣли, придумывать строго соображенную и тонко веденную интригу—значило бы навязывать русской жизни то, чего въ ней вовсе нѣтъ. Говоря по совѣсти, никто изъ насъ не встрѣчалъ въ своей жизни мрачныхъ интригановъ, систематическихъ злодѣевъ, сознательныхъ іезуитовъ. Если у насъ человѣкъ и подличаетъ, такъ больше по слабости характера; если сочиняетъ мошенническія спекуляціи, такъ больше оттого, что окружающіе его очень глупы и довѣрчивы; если и угнетаетъ другихъ, то больше потому, что это никакого усилія не стоитъ:—такъ всѣ податливы и покорны. Наши интриганы, дипломаты и злодѣи постоянно напоминаютъ мнѣ одного шахматнаго игрока, который говорилъ мнѣ: «это вздоръ, будто можно разсчитать заранее свою игру: игроки только напрасно хвалятся этимъ; а на самомъ-то дѣлѣ больше трехъ ходовъ впередъ невозможно разсчитать». И этотъ игрокъ многихъ еще обыгрывалъ: другіе, стало быть, и трехъ-то ходовъ не разсчитывали, а такъ только—смотрѣли на то, что у нихъ подъ носомъ. Такова и вся наша русская жизнь: кто видитъ на три шага впередъ, тотъ уже считается мудрецомъ и можетъ надуть и оплестить тысячи людей. А тутъ хотятъ, чтобы художникъ представлялъ намъ въ русской кожѣ какихъ-нибудь Тартюфовъ, Ричардовъ, Шейлоковъ! По нашему мнѣнію, такое требованіе совершенно нейдетъ къ намъ и сильно отзывается схоластикой. По схоластическимъ требованіямъ, произведеніе искусства не должно

допускать случайности: въ немъ все должно быть строго соображено, все должно развиваться послѣдовательно изъ одной данной точки, съ логической необходимостью *и въ то же время естественностью*! Но если *естественность* требуетъ отсутствія логической *последовательности*? По мнѣнію схоластиковъ, не нужно брать такихъ сюжетовъ, въ которыхъ случайность не можетъ быть подведена подъ требованія логической необходимости. По нашему же мнѣнію, для художественнаго произведенія годятся всякіе сюжеты, какъ бы они ни были случайны, и въ такихъ сюжетахъ нужно для естественности жертвовать даже отвлеченною логичностью, въ полной увѣренности, что жизнь, какъ и природа, имѣетъ свою логику, и что эта логика, можетъ быть, окажется гораздо лучше той, какую мы ей часто навязываемъ.... Вопросъ этотъ, впрочемъ, слишкомъ еще новъ въ теоріи искусства, и мы не хотимъ выставять свое мнѣніе, какъ непредложное правило. Мы только пользуемся случаемъ высказать его по поводу произведеній Островскаго, у котораго вездѣ на первомъ планѣ видимъ вѣрность фактамъ дѣйствительности и даже нѣкоторое презрѣніе къ логической замкнутости произведенія,—и котораго комедіи, несмотря на то, имѣютъ и занимательность, и внутренний смыслъ.

Высказавши эти бѣглыя замѣчанія, мы, прежде чѣмъ перейдемъ къ главному предмету нашей статьи, должны сдѣлать еще слѣдующую оговорку. Признавая главнымъ достоинствомъ художественнаго произведенія жизненную правду его, мы тѣмъ самымъ указываемъ и мѣрку, которою опредѣляется для насъ *степень достоинства* и значенія cadaго литературнаго явленія. Судя по тому, какъ глубоко проникаетъ взглядъ писателя въ самую сущность явленій, какъ широко захватываетъ онъ въ своихъ изображеніяхъ различныя стороны жизни,—можно рѣшить и то, какъ великъ его талантъ. Безъ этого всѣ толкованія будутъ напрасны. Напримѣръ, у г. Фета есть талантъ, и у г. Тютчева есть талантъ; какъ опредѣлить ихъ относительное значеніе? Безъ сомнѣнія, не иначе, какъ разсмотрѣніемъ сферы, доступной каждому изъ нихъ. Тогда и окажется, что талантъ одного способенъ во всей силѣ проявиться только въ уловленіи мимолетныхъ впечатлѣній отъ тихихъ явленій природы; а другому доступна, кромѣ того,—и знойная страстность, и суровая энергія, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихійными явленіями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни. Въ показаніи всего этого и должна бы собственно заключаться оцѣнка таланта обоихъ поэтовъ. Тогда читатели и безъ всякихъ эстетическихъ (обыкновенно очень туманныхъ) разсужденій поняли бы, какое мѣсто въ литературѣ принадлежитъ и тому, и другому поэту. Такъ мы полагаемъ поступить и съ произведеніями Островскаго. Все предыдущее изложеніе привело насъ до сихъ поръ къ признанію того, что вѣрность дѣйствительности, жизненная правда—постоянно соблюдаются въ произведеніяхъ Островскаго и стоятъ на первомъ планѣ, впереди всякихъ задачъ и заднихъ мыслей. Но

этого еще мало: вѣдь и г. Фетъ очень вѣрно выражаетъ неопредѣленные впечатлѣнія природы, и однакожъ отсюда вовсе не слѣдуетъ, чтобы его стихи имѣли большое значеніе въ русской литературѣ. Для того чтобы сказать что-нибудь опредѣленное о талантѣ Островскаго, нельзя, стало быть, ограничиться общимъ выводомъ, что онъ вѣрно изображаетъ дѣйствительность; нужно еще показать, какъ обширна сфера, подлежащая его наблюденіямъ, до какой степени важны тѣ стороны фактовъ, которыя его занимаютъ, и какъ глубоко проникаетъ онъ въ нихъ. Для этого-то и необходимо реальное разсмотрѣніе того, что есть въ его произведеніяхъ.

Общія соображенія, которыя въ этомъ разсмотрѣніи должны руководить насъ, состоятъ въ слѣдующемъ.

Островскій умѣетъ заглядывать въ глубь души человѣка, умѣетъ отличать *натуру* отъ всѣхъ извнѣ принятыхъ уродствъ и наростовъ; оттого внѣшній гнетъ, тяжесть всей обстановки, давящей человѣка, чувствуется въ его произведеніяхъ гораздо сильнѣе, чѣмъ во многихъ рассказахъ, страшно возмутительныхъ по содержанію, но внѣшнею, оффиціальною стороною дѣла совершенно заслоняющихъ внутреннюю, человѣческую сторону.

Комедія Островскаго не проникаетъ въ высшіе слои нашего общества, а ограничивается только средними, и потому не можетъ дать ключа къ объясненію многихъ горькихъ явленій, въ ней изображаемыхъ. Но тѣмъ не менѣе она можетъ наводить на многія аналогическія соображенія, относящіяся и къ тому быту, котораго прямо не касается; это оттого, что типы комедій Островскаго нерѣдко заключаютъ въ себѣ не только исключительно купеческія или чиновничьи, но и общенародныя черты.

Дѣятельность общественная мало затронута въ комедіяхъ Островскаго и, безъ сомнѣнія, потому, что сама гражданская жизнь наша, изобилующая формальностями всякаго рода, почти не представляетъ примѣровъ настоящей дѣятельности, въ которой свободно и широко могъ бы выразиться *человѣкъ*. Зато у Островскаго чрезвычайно полно и рельефно выставлены два рода отношеній, къ которымъ человѣкъ еще можетъ у насъ приложить душу свою,—отношенія *семейныя* и отношенія *по имуществу*. Немудрено поэтому, что сюжеты и самыя названія его пьесъ вертятся около семьи, жениха, невѣсты, богатства и бѣдности.

Драматическія коллизіи и катастрофы въ пьесахъ Островскаго всѣ происходятъ вслѣдствіе столкновенія двухъ партій—*старшихъ* и *младшихъ*, *богатыхъ* и *бѣдныхъ*, *своевольныхъ* и *безответныхъ*. Ясно, что развязка подобныхъ столкновеній, по самому существу дѣла, должна имѣть довольно крутой характеръ и отзываться случайностью.

Съ этими предварительными соображеніями вступимъ теперь въ этотъ міръ, открываемый намъ произведеніями Островскаго, и по-

стараемся всмотрѣться въ обитателей, населяющихъ это *темное царство*. Скоро вы убѣдитесь, что мы не даромъ назвали его *темнымъ*.

II.

Гдѣ больше строгости, тамъ и грѣха больше. Надо судить по человѣчеству.

Островскій.

Предъ нами грустно-покорныя лица нашихъ младшихъ братій, обреченныхъ судьбою на зависимое, страдательное существованіе. Чувствительный Митя, добродушный Андрей Брусковъ, бѣдная невѣста—Марья Андреевна, опозоренная Авдотья Максимовна, несчастныя Даша и Надя—стоятъ передъ нами, безмолвно-покорныя судьбѣ, безропотно-унылыя... Это міръ затаенной, тихо вздыхающей скорби, міръ тупой, ноющей боли, міръ тюремнаго, гробоваго безмолвія, лишь изрѣдка оживляемый глухимъ, безсильнымъ ропотомъ, робко замирающимъ при самомъ зарожденіи. Нѣтъ ни свѣта, ни тепла, ни простора; гнилью и сыростью вѣетъ темная и тѣсная тюрьма. Ни одинъ звукъ съ вольнаго воздуха, ни одинъ лучъ свѣтлаго дня не проникаетъ въ нее. Въ ней вспыхиваетъ по временамъ только искра того священнаго пламени, которое пылаетъ въ каждой груди человѣческой, пока не будетъ залито наплывомъ житейской грязи. Чуть тлѣется эта искра въ сырости и смрадѣ темницы, но иногда на минуту вспыхиваетъ она и обливаетъ свѣтомъ правды и добра мрачныя фигуры томящихся узниковъ. При помощи этого минутнаго освѣщенія мы видимъ, что тутъ страдаютъ наши братья, что въ этихъ одичавшихъ, безсловесныхъ, грязныхъ существахъ можно разобрать черты лица человѣческаго,—и наше сердце стѣсняется болью и ужасомъ. Они молчатъ, эти несчастные узники,—они сидятъ въ летаргическомъ оцѣпенѣніи и даже не потрясаютъ своими цѣпями; они почти лишились даже способности сознавать свое страдальческое положеніе; но, тѣмъ не менѣе, они чувствуютъ тяжесть, лежащую на нихъ, они не потеряли способности ощущать свою боль. Если они безмолвно и неподвижно переносятъ ее, такъ это потому, что каждый крикъ, каждый вздохъ, среди этого смраданаго омута, захватываетъ имъ горло, отдается колючею болью въ груди, каждое движеніе тѣла, обремененнаго цѣпями, грозитъ имъ увеличеніемъ тяжести и мучительнаго неудобства ихъ положенія. И неоткуда ждать имъ отрады, негдѣ искать облегченія: надъ ними

буйно и безотчетно владычествует безмысленное *самодурство*, въ лицѣ разныхъ Большовыхъ, Торцовыхъ, Брусковыхъ, Уланбековыхъ и пр., не признающее никакихъ разумныхъ правъ и требованій. Только его дикіе, безобразные крики нарушаютъ эту мрачную тишину и производятъ пугливую суматоху на этомъ печальномъ кладбищѣ человѣческой мысли и воли.

Но не мертвецы же всѣ эти жалкіе люди, не въ темныхъ же могилахъ родились и живутъ они. Вольный Божій свѣтъ разстилался когда-то и передъ ними, хоть на короткое время, въ давнюю пору ранняго, беззаботнаго дѣтства. Воспоминаніе объ этой золотой порѣ не оставляетъ ихъ и въ смрадной тюрьмѣ, и въ горькой кабалѣ самодурства. Грубые, необузданные крики какого-нибудь самодура, широкіе размахи руки его напоминаютъ имъ просторъ вольной жизни, гордые порывы свободной мысли и горячаго сердца,—порывы, заглушенные въ несчастныхъ страдальцахъ, но погибшіе не совсѣмъ безъ слѣда. И вотъ, черный осадокъ недовольства, безсильной злобы, тупого ожесточенія начинаетъ шевелиться на днѣ мрачнаго омутъ, хочетъ всплыть на поверхность взволнованной бездны и своимъ мутнымъ наплывомъ дѣлаетъ ее еще безобразнѣе и ужаснѣе. Нѣтъ простора и свободы для живой мысли, для душевнаго слова, для благороднаго дѣла; тяжкій самодурный запретъ наложенъ на громкую, открытую, широкую дѣятельность. Но пока живъ человѣкъ, въ немъ нельзя уничтожить стремленія жить, т. е. проявлять себя какимъ бы то ни было образомъ во внѣшнихъ дѣйствіяхъ. Чѣмъ болѣе стремленіе это стѣсняется, тѣмъ его проявленія бываютъ уродливѣе; но совсѣмъ не быть они не могутъ, пока человѣкъ не совсѣмъ замеръ. И такова сила самодурства въ этомъ темномъ царствѣ Торцовыхъ, Брусковыхъ и Уланбековыхъ, что много людей дѣйствительно замираетъ въ немъ, теряетъ и смыслъ, и волю, и даже силу сердечнаго чувства — все, что составляетъ разумную жизнь,—и въ идиотскомъ безсиліи прозябаетъ, только совершая отправления животной жизни. Но есть и живучія натуры; тѣ глубоко внутри себя собираютъ ядъ своего недовольства, чтобы при случаѣ выпустить его, а между тѣмъ неслышно ползутъ подобно змѣѣ, съеживаются, извиваются и перевертываются ужомъ и жабою... Они безмолвны, неслышны, незамѣтны; они знаютъ, что всякое быстрое и размахистое движеніе отзовется нестерпимой болью на ихъ закованномъ тѣлѣ; они понимаютъ, что, рванувшись изъ своихъ желѣзъ, они не выбѣгутъ изъ тюрьмы, а только вырвутъ куски мяса изъ своего тѣла. И вотъ они принимаются за работу, глухую и тихую: изгибаюсь, вертюсь и сжимаюсь, они пробуютъ всѣ возможные манеры—нельзя ли втихомолку высвободить руки, чтобы потомъ распилить свои цѣпи... Начинается воровское, урывчатое движеніе, съ оглядкой, чтобы кто-нибудь не подмѣтилъ его; начинается обманъ и подлость, притворство и зложелательство, ожесточеніе на все окружающее и забота только о себѣ, о достиженіи личнаго спокойствія. Тутъ нѣтъ злобно обдуманыхъ плановъ, нѣтъ сознатель-

ной рѣшимости на систематическую, подземную борьбу. нѣтъ даже особенной хитрости: тутъ просто невольное, вынужденное внѣшними обстоятельствами, вовсе необдуманное и ни съ чѣмъ хорошенько несообразенное, проявленіе чувства самосохраненія. Какъ у насъ невольно и безъ нашего сознанія появляются слезы отъ дыма, отъ умиленія и хрѣна, какъ глаза наши невольно щурятся при внезапномъ и слишкомъ сильномъ свѣтѣ, какъ тѣло наше невольно сжимается отъ холода, — такъ точно эти люди невольно и безсознательно принимаются за плутовскую, лицемерную и грубо-эгоистическую дѣятельность, при невозможности дѣла открытаго, правдиваго и радужнаго... Нечего винить этихъ людей, хотя и не мѣшаетъ остерегаться ихъ: они сами не вѣдаютъ, что творятъ. Подъ страхомъ нагоняя и потасовки, рабски воспитанные, — съ безпрестаннымъ опасеніемъ остаться безъ куска хлѣба, рабски живущіе, — они всѣ силы свои напрягаютъ на пріобрѣтеніе одной изъ главныхъ рабскихъ добродѣтелей — безсовѣстной хитрости. И чего же имъ совѣстится, какую правду, какія права уважать имъ? Вѣдь самодурство властвуетъ надъ ними, давитъ и убиваетъ ихъ совершенно безправно, бессмысленно, безсовѣстно! Въ людяхъ, воспитанныхъ подъ такимъ владычествомъ, не можетъ развиться сознаніе нравственнаго долга и истинныхъ началъ честности и права. Вотъ почему безобразнѣйшее мошенничество кажется имъ похвальнымъ подвигомъ, самый гнусный обманъ — ловкою штукой. Они могутъ васъ надуть, обкрадывать, подводить подъ ножъ, и при всемъ этомъ оставаться искренно радужными и любезными съ вами, сохранять невозмутимое добросердечіе и множество истинно добродѣтельныхъ качествъ. Въ ихъ натурѣ вовсе нѣтъ злости, нѣтъ и вѣроломства; но имъ нужно какъ-нибудь выныть, выбиться изъ гнилого болота, въ которое погружены они сильными самодурами; они знаютъ, что выбраться на свѣжій воздухъ, которымъ такъ свободно дышатъ эти самодуры, можно съ помощью обмана и денегъ; и вотъ они принимаются хитрить, льстить, надуть, начинаютъ и по мелочи, и большими кушамъ, но всегда тайкомъ и рывкомъ, закладывая въ свой карманъ чужое добро. Что за дѣло, что оно чужое? Вѣдь у нихъ самихъ отняли все, что они имѣли, *свою волю и свою мысль*; какъ же имъ разсуждать о томъ, что честно и что безчестно? какъ не захотѣть надуть другого для своей личной выгоды?

Такимъ образомъ, наружная покорность и тупое, сосредоточенное горе, доходящее до совершеннаго идіотства и плачевнѣйшаго обезличенія, переплетаются въ темномъ царствѣ, изображаемомъ Островскимъ, съ рабскою хитростью, гнуснѣйшимъ обманомъ, безсовѣстнѣйшимъ вѣроломствомъ. Тутъ никто не можетъ ни на кого положиться: каждую минуту вы можете ждать, что пріятель вашъ похвалится тѣмъ, какъ онъ ловко обсчиталъ или обворовалъ васъ; компаньонъ въ выгодной спекуляціи легко можетъ забрать въ руки всѣ деньги и документы и засадить своего товарища въ яму за долги; тестъ надуетъ зятя приданымъ; женихъ обочтетъ и обидитъ сваху; не-

вѣста-дочь проведетъ отца и мать, жена обманетъ мужа. Ничего святого, ничего чистаго, ничего праваго въ этомъ темномъ мірѣ: господствующее надъ нимъ самодурство—дикое, безумное, неправое—прогнало изъ него всякое сознаніе чести и права... И не можетъ быть ихъ тамъ, гдѣ повержено въ прахъ и нагло растоптано самодурами человѣческое достоинство, свобода личности, вѣра въ любовь и счастье, и святыня честнаго труда.

А между тѣмъ тутъ же, рядомъ, только за стѣною, идетъ другая жизнь, свѣтлая, опрятная, образованная... Обѣ стороны темнаго царства чувствуютъ превосходство этой жизни и то пугаются ея, то привлекаются къ ней. Но основы этой жизни, ея внутренняя сила совершенно непонятны для жалкихъ людей, отвыкшихъ отъ всякой разумности и правды въ своихъ житейскихъ отношеніяхъ. Только самыя грубыя и внѣшнія, бьющія въ глаза, проявленія этой образованности понятны для нихъ, только на нихъ они нападаютъ, ежели вздумаютъ *не взлюбить* образованность, и только *ихъ подражаютъ*, ежели увлекутся страстью жить *по-благородному*. Старикъ-самодуръ сбръветъ бороду и станетъ наливаться шампанскимъ, вмѣсто водки, дочь его будетъ пѣть *жестокіе* романсы и увлекаться офицерами; сынъ начнетъ кутить и покупать дорогія платья и шали танцовщицамъ: вотъ и весь кодексъ ихъ образованности... За то и тѣ, которые боятся новаго свѣта,—если имъ попадется дурачекъ Вихоревъ или Бальзаминовъ, рады его принять за представителя образованности, и по поводу его излить свое негодованіе на новые порядки... Итакъ, черезъ всю жизнь *самодуровъ*, черезъ все страдальческое существованіе *безответныхъ* проходитъ эта борьба съ волной новой жизни, которая, конечно, зальетъ когда-нибудь всю издавна накопленную грязь и превратитъ топкое болото въ свѣтлую и величавую рѣку, но которая теперь еще только вздымаетъ эту грязь, и сама въ нее всасывается и вмѣстѣ съ нею гніетъ и смердитъ... Теперь новыя начала жизни только еще тревожатъ сознаніе всѣхъ обитателей темнаго царства, въ родѣ далекаго привидѣнія или кошмара. Даже для тѣхъ, которые рѣшаются сами *подражать новой модѣ*, она все-таки тяжела такъ, какъ тяжелъ бываетъ всякій кошмаръ, хотя бы въ немъ представлялись видѣнія самыя прелестныя. И точно какъ послѣ кошмара, даже тѣ, которые повидимому успѣли уже освободиться отъ самодурнаго гнета и успѣли возвратить себѣ чувство и сознаніе,—и тѣ все еще не могутъ найтись хорошенько въ своемъ новомъ положеніи и, не понявъ ни настоящей образованности, ни своего призванія, не умѣютъ удержать и своихъ правъ, не рѣшаются и приняться за дѣло, а возвращаются опять къ той же покорности судьбѣ, или къ темнымъ сдѣлкамъ съ ложью и самодурствомъ.

Таково общее впечатлѣніе комедій Островскаго, какъ мы ихъ понимаемъ. Чтобы нѣсколько рельефнѣе выставить нѣкоторыя черты этого блѣднаго очерка, напомнимъ нѣсколько частныхъ, должен-

ствующихъ служить подтвержденіемъ и поясненіемъ нашихъ словъ. Въ настоящей статьѣ мы ограничимся представленіемъ того нравственнаго растлѣнія, тѣхъ безсовѣстно-неестественныхъ людскихъ отношеній, которыя мы находимъ въ комедіяхъ Островскаго, какъ прямое слѣдствіе тяготѣющаго надъ всѣми самодурства.

Раскрываемъ первую страницу «Сочиненій Островскаго». Мы въ домѣ купца Пузатова, въ комнатѣ, меблированной безъ вкуса, съ портретами, райскими птицами, разноцвѣтными драпери и бутылками настойки. Марья Антиповна, девятнадцати-лѣтняя дѣвушка, сестра Пузатова, сидитъ за пальцами и поетъ: *«Черный цѣтъ, мрачный цѣтъ»*. Потомъ она говоритъ сама съ собой:

„Вотъ ужъ и лѣто проходитъ, и сентябрь на дворѣ, а ты сиди въ четырехъ стѣнахъ, какъ монашенка какая-нибудь, и къ окну не подходи. Куда какъ интересно“!

Дѣйствительно, жизнь дѣвушки не очень интересна: въ домѣ властвуетъ самодуръ и мошенникъ Пузатовъ, братъ Марьи Антиповны; а когда его нѣтъ, такъ подглядываетъ за своею дочерью и за молодой женой сына ворчливая старуха,—мать Пузатова, богомольная, добродушная и готовая за грошъ продать человѣка. Съ этими людьми нѣтъ ни отрады, ни покоя, ни раздолья для молодыхъ женщинъ; онѣ должны умереть съ тоски и съ огорченія на безпрестанное ворчанье старухи да на капризы хозяина. Поневогѣ начинаютъ онѣ изыскивать для себя тайныя развлеченія и, разумѣется, находятъ. Вотъ что говоритъ Марья Антиповна тотчасъ послѣ жалобы на судьбу свою:

„Что жъ, пожалуй, не пускайте, запирайте на замокъ! тиранствуйте! А мы съ сестрицей отпросимся ко всеобщей въ монастырь, разодѣнемся, а сами въ паркъ отличимся, либо въ Сокольники. *Надо какъ-нибудь на хитрости подыматься*“...

Вотъ вамъ первый образчикъ этой невольной, ненужной хитрости. Какъ сложилось въ Марьѣ Антиповнѣ такое разсужденіе, отъ какихъ частныхъ случайностей стала развиваться склонность къ хитрости,—что намъ за дѣло!.. Мы знаемъ общую причину такого настроенія, указанную намъ очень ясно самимъ же Островскимъ, и видимъ, что Марья Антиповна составляетъ не исключительное, а самое обыкновенное, почти всегдашнее явленіе въ этомъ родѣ. Болѣе намъ ничего и не нужно для объясненія ея ранней испорченности. Но Островскій вводитъ насъ въ самую глубину этого семейства, заставляетъ присутствовать при самыхъ интимныхъ сценахъ, и мы не только понимаемъ, мы скорбно чувствуемъ сердцемъ, что тутъ не можетъ быть иныхъ отношеній, какъ основанныхъ на обманѣ и хитрости съ одной стороны, при дикомъ и безсовѣстномъ деспотизмѣ—съ другой. Сцены Марьи Антиповны съ Матреной Саввишной,

женой Пузатова, и ихъ обѣихъ съ кухаркой—объясняютъ всю гнусность разврата, на которомъ все держится въ этомъ домѣ. Матрена Саввишна объясняетъ Машѣ, что ненужно приучать офицеровъ подъ окнами ѣздить, потому что слава дурная пойдетъ, и послѣ не развяжешься. Между тѣмъ у нихъ ужъ послана кухарка къ какимъ-то молодцамъ, которые зовутъ ихъ въ Останкино и просятъ захватить бутылку мадеры. Разумѣется, и это дѣлается втихомолку и съ трепетомъ, потому что, хотъ Пузатова и нѣтъ дома, но мать его за всѣмъ подсматриваетъ и всему мѣшаетъ. Еще только увидавши въ окошко возвращающуюся Дарью, Машенька пугливо восклицаетъ: «ахъ, сестрица, какъ бы она маменькѣ не попалась!» И Дарья дѣйствительно попалась; но она сама тоже непромахъ,—умѣла отвертѣться: «за шолкомъ, говоритъ, въ лавочку бѣжала». Надсмотрщицу провели на этотъ разъ. Но вотъ, среди разговора молодыхъ женщинъ съ кухаркой, раздается маленькій шумъ за сценой; кухарка пугливо прислушивается и говоритъ: «никакъ, матушка, самъ приѣхалъ»... И дѣйствительно, еще изъ передней раздается голосъ Пузатова: «жена! а жена! Матрена Саввишна»!.. Жена подходитъ къ дверямъ и спрашиваетъ: «что такое»? Мужъ отвѣчаетъ: «здравствуй! А ты думала, Богъ, знаетъ что»!.. Этотъ приступъ даетъ уже вамъ мѣрку супружескихъ отношеній Антипа Антипыча и Матрены Саввишны. Ясно, что жена для него въ родѣ резиновой куклы, которою забавляются дѣти: то ноги ей вытянуть, то голову сплюснуть или растянуть, и смотреть, какой изъ этого *вида* будетъ. Ни малѣйшаго сознанія ея человѣческихъ правъ и ни малѣйшей мысли объ уваженіи ея нравственной личности никогда и не бывало у Пузатова. Его отношенія къ ней ограничиваются животными побужденіями и потѣхой своего самодурства. Онъ говоритъ, что жена его, «какъ разрядится, такъ лучше всякой барыни,—вальяжнѣй, ей-богу! Вѣдь тѣ все мелочь, съ позволенія сказать, взглянуть не на что нашему брату. А она у меня таки того... То есть я—насчетъ тѣлосложенія... Ну, и все такое»... И свои обязанности къ женѣ, для приобрѣтенія любви ея, онъ ограничиваетъ тѣмъ же. Вотъ его отзывъ: «чтобъ она меня, молодца такого, да промѣняла на кого-нибудь,—красавца-то этого»!.. А въ чемъ его красота? Вотъ его собственное опредѣленіе: «то ли дѣло: купецъ хорошій, гладкій да румяный,—вотъ какъ я. Ужъ и любить-то есть кого; не то что стрикулистъ чахлый»... Впрочемъ, въ этомъ онъ, можетъ быть, и правъ: не даромъ же у насъ рисуются нариски пышныхъ камелій во фракахъ, господъ, живущихъ на счетъ чужихъ женъ!.. И если Матрена Саввишна потихоньку отъ мужа ѣздитъ къ молодымъ людямъ въ Останкино, такъ это, конечно, означаетъ частію то, что ея развитіе направилось нѣсколько въ другую сторону, частію же и то, что ей ужъ очень тошно приходится отъ самодурства мужа. А самодурство это вотъ какъ, напр., выражается: Антипъ Антипычъ, въ ожиданіи чая, сидитъ и смотритъ по угламъ, наконецъ отпускаетъ, отъ нечего дѣлать, слѣдующую штуку:

Антипъ Антипычъ (*ирозно*). Жена! Поди сюда!

Матрена Савишна. Что еще?

Антипъ Антипычъ. Поди сюда, говорить тебѣ (*ударя кулакомъ по столу*).

Матрена Савишна. Да что ты, очумѣлъ, что ли?

Антипъ Антипычъ. Что я съ тобой сдѣлаю? (*стучитъ по столу*).

Матрена Савишна. Да что съ тобой? (*робко*) Антипъ Антипычъ...

Антипъ Антипычъ. А? испугалась! (*амтется*). Нѣтъ, Матрена Савишна, это я такъ—шутки шучу (*вздыхаетъ*). Что же чайну-то-съ?

Видите, это онъ со скуки такія *шутки шутитъ*! Ему скучно стало чаю дожидаться... Понятно, какія чувства можетъ питать къ такому мужу самая невзыскательная жена.

Но Антипъ Антипычъ — еще прогрессивный и гуманный человекъ въ сравненіи съ своей матушкой. Онъ считаетъ удобнымъ побить жену только во хмѣлю, да и то не совсѣмъ одобряетъ. Выдавая сестру за Ширялова, онъ спрашиваетъ: «ты вѣдь во хмѣлю смирный? не дерешься»? А матушка его, Степанида Трофимовна, такъ и этого не признаетъ: она бранитъ сына, зачѣмъ онъ жену въ страхѣ не держитъ. «Мой покойникъ — говоритъ — какъ меня ни любилъ, какъ ни голубилъ, а въ спальнѣ на гвоздикѣ плетка висѣла про всякій случай». У сына ея нѣтъ плетки, и это она считаетъ уже за упадокъ нравственности... Но жена и безъ плетки видитъ необходимость лицебритъ предъ мужемъ: она, съ притворной нѣжностью, целуетъ его, ласкается къ нему, спрашивается у него и у матушки къ вечернѣ да ко всенощной, хотя и сама обнаруживаетъ нѣкоторую претензію на самодурство и говоритъ, что «не родился тотъ человекъ на свѣтъ, чтобы ее молчать заставилъ». Обманъ и притворство полноправно господствуютъ въ этомъ домѣ и представляютъ намъ какъ будто какую-то особенную религію, которую можно назвать *религіею лицемерства*.

Отставши отъ жены, Пузатовъ переходитъ къ сестрѣ и начинаетъ сватать ей жениховъ. При этомъ дѣлаются опять разные скромные намеки на счетъ тѣлеснаго сложенія, отъ которыхъ не менѣе скромная дѣвушка убѣгаетъ изъ комнаты. Затѣмъ начинается о судьбѣ ея интимный совѣтъ между матерью и сыномъ. Мать предлагаетъ въ женихи Ширялова, котораго рекомендуетъ такъ: «онъ хоть и старенькій, и вдовый, да денегъ-то, Антипушка, больно много—куры не клюютъ. Ну да и человекъ-то степенный, набожный, примѣрный купецъ, въ уваженіи». Сынъ отвѣчаетъ на это законически: «только, матушка, *ужъ больно плутъ*». Подумаешь, что Пузатовъ уважаетъ честность и не любитъ мошенничества. Ничуть не бывало. У него есть свои собственные понятія, по которымъ плутовать слѣдуетъ, но только до какихъ-то предѣловъ, хотя, впрочемъ, онъ и самъ хорошенько не знаетъ, до какихъ именно... А такъ, покажется ему, что этотъ человекъ еще *не больно плутъ*, а вотъ этотъ такъ ужъ *больно плутъ*. И если ужъ больно плутъ,

такъ у него какъ будто и совѣсть зазрѣть. А впрочемъ, послѣдствій особенныхъ и это чувство не имѣетъ. Вотъ что говорятъ мать и сынъ относительно своихъ нравственныхъ понятій. На замѣчаніе сына о плутовствѣ Ширялова, Степанида Трофимовна отвѣчаетъ:

„Ахъ, батюшка мой! Да чѣмъ же онъ плутъ, скажи пожалуйста! *Каждый праздникъ онъ въ церковь ходитъ, да придетъ-то раньше всѣхъ; посты держитъ; великимъ постомъ и чаю не пьетъ съ сахаромъ,—все съ медомъ, либо съ изюмомъ. Такъ-то, голубчикъ! не то, что ты...* А если и обманетъ кою, такъ что за бѣда! Не онъ первый, не онъ послѣдній; человекъ коммерческій: тѣмъ, Антипушко, и торюва-то держится. Не помню пословица-то говорится: „не обмануть—не продать“.

Антипъ Антипычъ. Что говорить! *Отчего не надуть пріятеля, коли рука подойдетъ. Ничего. Можно. Да ужъ, матушка, вѣдь иногда и совѣсть зазрѣтъ (чешетъ затылокъ). Право слово. И смертный часъ вспомнишь.* (Молчаніе). Я и самъ, гдѣ трафится, не хуже его мину-то подведу. Да я вѣдь и скажу потомъ: вотъ, молъ, я тебя такъ и такъ, помазалъ маленько. Вотъ въ прошломъ году, Савву Саввича, при расчетѣ, рубликовъ на пятьсотъ поддѣлъ. Да вѣдь я послѣ сказалъ ему: вотъ, молъ, Савва Саввичъ, промигалъ ты полтысячки, да ужъ теперь, братъ, поздно, говорю: а ты, молъ, не звай. *Посердился немножко, да и опять пріятель.* Что за важность.

Вы видите, что Пузатовъ не считаетъ свои мошенничества дурнымъ дѣломъ, не считаетъ даже обманомъ, а просто—ловкой, умной интукой, которой даже похвалиться можно. И тѣ, кого онъ обдуриваетъ, держатся того же мнѣнія: Савва Саввичъ посердился на то, что допустилъ оплести себя, но потомъ, когда оскорбленное самолюбіе уgomонилось, онъ опять сталъ пріятелемъ съ Антипомъ Антипычемъ. Обманъ тутъ — явленіе нормальное, необходимое, какъ убійство на войнѣ. Быть этого темнаго царства такъ уже сложился, что вѣчная вражда господствуетъ между его обитателями. Тутъ всѣ въ войнѣ: жена съ мужемъ—за его самовольство, мужъ съ женою—за ея непослушаніе или неугожденіе; родители съ дѣтьми за то, что дѣти хотятъ жить своимъ умомъ; дѣти съ родителями за то, что имъ не даютъ жить своимъ умомъ; хозяева съ приказчиками, начальники съ подчиненными воюютъ за то, что они хотятъ все подавить своимъ самодурствомъ, а другіе не находятъ простора для самыхъ законныхъ своихъ стремленій; дѣловые люди воюютъ изъ-за того, чтобы другой не перебилъ у нихъ барышей ихъ дѣятельности, всегда рассчитанной на эксплуатацію другихъ; праздные шатуны бьются, чтобы не ускользнули отъ нихъ тѣ люди, трудами которыхъ они задаромъ кормятся, щеголяютъ и богатѣютъ. И всѣ эти люди воюютъ общими силами противъ людей честныхъ, которые могутъ открыть глаза угнетеннымъ труженикамъ и научить ихъ громко и настоятельно предъявить свои права. Вслѣдствіе такого порядка дѣлъ, всѣ находятся въ осадномъ положеніи, всѣ хлопочутъ о томъ, какъ бы только спасти себя отъ опасности и обмануть бдительность

врага. На всѣхъ лицахъ написанъ испугъ и недовѣрчивость; естественный ходъ мышленія измѣняется, и на мѣсто здравыхъ понятій вступаютъ особенныя, условныя соображенія, отличающіяся скотскимъ характеромъ и совершенно противныя человѣческой природѣ. Известно, что логика войны совершенно отлична отъ логики здраваго смысла. Военная хитрость восхваляется, какъ доказательство ума, направленнаго на истребленіе своихъ ближнихъ; убійство превозносится, какъ лучшая доблесть человѣка; удачный грабежъ, — отнятіе лагеря, отбитіе обоза и пр., — возвышаетъ человѣка въ глазахъ его согражданъ. А между тѣмъ, во всѣхъ законодательствахъ есть наказанія — и за обманъ, и за грабежъ, и за убійство. Мало того, во всѣхъ законодательствахъ признаются смягчающія обстоятельства, и иногда самое убійство извиняется, если побудительныя причины его были слишкомъ неотразимы. А между тѣмъ, какія смягчающія обстоятельства имѣются, напримѣръ, для венгерца или славянина, идущаго на войну противъ итальянцевъ для того, чтобы Австрія могла попрежнему угнетать ихъ? Какою страшною казнію нужно бы казнить каждого венгерскаго и славянскаго офицера или солдата за каждый выстрѣлъ, сдѣланный имъ по французскимъ и сардинскимъ полкамъ! Но такова сила повальнаго ослѣпленія, что за убійство и грабежи на войнѣ не только не казнятъ никого, но еще восхваляютъ и награждаютъ! Точно въ такомъ безумномъ ослѣпленіи находятся всѣ жители темнаго царства, возстающаго передъ нами изъ комедій Островскаго. Они въ постоянной войнѣ со всѣмъ окружающимъ, и потому не требуютъ и не ждутъ отъ нихъ раціональныхъ соображеній, доступныхъ человѣку въ спокойномъ и мирномъ состояніи. Пузатовъ дѣлаетъ такой военный силлогизмъ: «если я тебя не разобью, такъ ты меня разобьешь; такъ лучше же я тебя разобью». И что же сказать противъ такого силлогизма? И не рождается ли онъ самъ собою у всякаго человѣка, поставленнаго въ затруднительное положеніе выбирать между побѣдою и пораженіемъ? Нечего и удивляться, что, рассказывая о томъ, какъ не додалъ денегъ нѣмцу, представившему счетъ изъ магазина, Пузатовъ рассуждаетъ такъ: «а то всѣ ему и отдать? да за что это? Нѣтъ, ужъ опосля честь будетъ. *Они тамъ ломаютъ цѣну, какую хотятъ, а мы съ-дуру то и вѣрятъ. И въ другой разъ то же содѣлаю, коли векселя не возьметъ*». Вы видите, что здѣсь идетъ самая обыкновенная игра: кто лучше играетъ, тотъ и остается въ выигрышѣ.

Но Пузатовъ самъ не любитъ собственно обмана, обмана безъ нужды, безъ надежды на выгоду; не любитъ между прочимъ и потому, что въ такомъ обманѣ выражается не солидный умъ, занятый существенными интересами, а просто легкомысліе, лишенное всякой основательности. Ширялова же, у котораго плутовство переходитъ всякія границы, онъ не одобряетъ больше потому, что ужъ тотъ ни войны, ни мира не разбираетъ, — то во время перемирія стрѣлять начнетъ, то даже по своимъ ударить. «Это, — говоритъ Пузатовъ, — словно жидъ какой: отца родного обманетъ. Право. Такъ вотъ въ

глаза и смотреть всякому. А вѣдь святошей прикидывается». Впрочемъ, и неодобреніе Пузатова нельзя въ этомъ случаѣ принимать серьезно: въ самую минуту его брани на Ширялова, купецъ этотъ является къ Антипу Антипычу въ гости. Антипъ Антипычъ не только очень любезно принимаетъ его, не только внимательно слушаетъ его рассказы о кутежѣ сына-Сеньки, вынуждающемъ старика самого жениться, и о собственныхъ плутовскихъ штукахъ Ширялова, но въ заключеніе еще сватаетъ за него сестру свою, и тутъ же, безъ согласія и безъ вѣдома Марьи Антиповны, окончательно слагиваетъ дѣло. Что его побудило къ этому? Отвѣтъ высказывается въ нѣсколькихъ словахъ, произносимыхъ имъ по уходѣ Ширялова. «Экой воръ мужикъ-то»,—самъ съ собою разсуждалъ Пузатовъ, подмигивая глазомъ, «тонкая бестія! Вѣдь какимъ лазаремъ прикинется! Вишь ты, Сенька виновать!... А ужъ что, братъ, толковать: просто на старости блажь пришла... Что-жъ, мы съ нашимъ удовольствіемъ! Ничего, можно-съ!... *Только, Парамонъ Феранонтычъ, насчетъ, приданого-то кто кого обманетъ,—дѣло темное-съ. Мы тоже съ матушкой на свою руку охужки не положимъ*»... Дѣло, стало быть, очень просто: представилась возможность *выгодно* сбыть сестру; какъ же не воспользоваться случаемъ? Для сестры же тутъ доброе дѣло выходитъ: все-таки будетъ пристроена!...

Таковы люди, таковы людскія отношенія, представляющіяся намъ въ «Семейной картинѣ», первомъ, по времени, произведеніи Островскаго. Въ немъ уже находятся задатки многого, что полнѣе и ярче раскрылось въ послѣдующихъ комедіяхъ. По крайней мѣрѣ видно, что уже и въ это время авторъ былъ пораженъ тѣмъ непріязненнымъ и мрачнымъ характеромъ, какимъ у насъ большею частію отличаются отношенія самыхъ близкихъ между собою людей. Здѣсь же намѣчены отчасти и причины этой мрачности и враждебности: бессмысленное самодурство—однихъ и робкая уклончивость, бездѣятельность—другихъ. Тутъ же чрезвычайно ярко и рельефно выставлены и послѣдствія такого неестественнаго порядка вещей—всеобщій обманъ и мошенничество, и въ семейныхъ, и въ общественныхъ дѣлахъ.

Въ «Своихъ людяхъ» мы видимъ опять ту же религію лицемѣрства и мошенничества, то же бессмысліе и самодурство—однихъ и ту же обманчивую покорность, рабскую хитрость—другихъ, но только въ большемъ развѣтвленіи. Здѣсь намъ представляется нѣсколько степеней угнетенія, указывается нѣкоторая система въ распредѣленіи самодурства, дается очеркъ его исторіи. Самый главный самодуръ, деспотъ всѣхъ къ нему близкихъ, не знающій себѣ никакого *удержу*, есть Самсонъ Силычъ Большовъ. И какой же страхъ онъ внушаетъ всему дому! Аграфена Кондратьевна, жена его, грозитъ своей взрослою дочерью, что «отцу пожалуется»; а та отвѣчаетъ: «васъ на то Богъ и создалъ, чтобы жаловаться; сами-то вы не очень для меня значительны». На вторичную угрозу, она огрызается еще рѣзче: «только и ладить, что отца да отца; бойки вы при немъ разгова-

ривать-то, а попробуйте-ка сами!»! Видно, что Самсонъ Силычъ и для жены, и для дочери представляется чѣмъ-то въ родѣ пугала, и онѣ обѣ, хотя и страшатъ имъ другъ друга, но составляютъ противъ него глухую, затаенную; само собою образовавшуюся оппозицію. Аграфена Кондратьевна, по своей крайней недалекости, не можетъ сама привести въ ясность своихъ чувствъ, и только охами да вздохами выражаетъ, что ей тяжело. Но Липочка очень безцеремонно говоритъ: <у маменьки семь пятницъ на недѣлѣ; тятенька—какъ не пьянъ, такъ молчить, а какъ пьянъ, такъ прибить, того и гляди... Каково это терпѣть образованной барышнѣ!»! Служащiе въ домѣ всѣ насквозь пропитаны тѣми же мрачно-робкими чувствами: мальчикъ Тишка жалуется на вытрепки, получаемыя имъ отъ хозяина; кухарка Ооминишна имѣетъ слѣдующій разговоръ съ Устиньей Наумовной, свахой, прискивающей жениха Липочкѣ, дочери Большова:

Устинья Наумовна. Садись, Ооминишна, — ноги-то старня, ломанья.

Ооминишна. И, матъ! некогда. Вѣдь какой грѣхъ-то: самъ-то что-то изъ городу не ѣдетъ, всѣ подъ страхомъ ходимъ; того и гляди, пьяный пріѣдетъ. А ужъ какой благой-то, Господи! Зародится же вѣдь этакой озорникъ!

Устинья Наумовна. Извѣстное дѣло: съ богатымъ мужикомъ, что съ чортомъ, не скоро сообразишь.

Ооминишна. Ужъ мы отъ него страсти-то видѣли. Вотъ на прошлой недѣлѣ ночью пьяный пріѣхалъ: развоевался такъ, что на-поди. Страсти, да и только! Посуду колотить... „У! — говорить, — такія вы и такія, убью сразу“.

И дѣйствительно, Самсонъ Силычъ держитъ всѣхъ, можно сказать, въ страхѣ Божіемъ. Когда онъ показывается, всѣ смотрятъ ему въ глаза и съ трепетомъ стараются угадать, — что, каковъ онъ? Вотъ небольшая сцена, изъ которой видно, какой трепетъ отъ него распространяется по всему дому. Въ комнату вбѣгаетъ Ооминишна и кричить:

Ооминишна. Самсонъ Силычъ пріѣхалъ, да никакъ хмѣльной!...

Тишка. Фю! попались!

Ооминишна. Бѣги, Тишка, за Лазаремъ; голубчикъ, бѣги скорѣй!..

Аграфена Кондратьевна (показывается на лѣстницѣ). Что, Ооминишна, матушка, куда онъ идетъ-то?

Ооминишна. Да никакъ, матушка, сюда! Охъ, запру я двери-то, ей-богу, запру; пускай его къверху идетъ, а ужъ ты, голубушка, здѣсь посиди.

И къ довершенію всего, оказывается, вѣдь, что Самсонъ Силычъ вовсе и не пьянъ; это такъ только показалось Ооминишнѣ. Но замѣчательно, какъ смѣшиваетъ всѣ понятія, уничтожаетъ всѣ различія этотъ, надъ всѣми тяготѣющій, деспотизмъ: мать, дочь, кухарка, хозяйка, мальчишка-слуга, приказчикъ—все это въ трудную минуту сливается въ одно—въ угнетенную партію, заботящуюся о

своей защитѣ. Ѳоминишна, которая въ другое время бьетъ Тишку и помыкаетъ имъ, упрашиваетъ его и называетъ голубчикомъ; Аграфена Кондратьевна съ жалобнымъ видомъ обращается къ своей кухаркѣ съ вопросомъ: «что, Ѳоминишна, матушка»... Ѳоминишна смотритъ на нее съ состраданіемъ и готовится оказать ей покровительство запоромъ дверей... Только приказчикъ, Лазарь Подхалюзинъ, связанный какимъ-то темнымъ, безусловнымъ союзомъ съ своимъ хозяиномъ, и готовящійся самъ быть маленькимъ деспотомъ, стоитъ нѣсколько въ сторонѣ отъ этого страха, раздѣляемаго всякимъ, кто вступаетъ въ домъ Большова. Въ Подхалюзинѣ намъ является другая, нищая инстанція самодурства, подавленного до сихъ поръ подъ тяжелымъ гнетомъ, но уже начинающаго поднимать свою голову... Разсуждая съ Подхалюзиннымъ, сваха говоритъ ему: «вѣдь, ты самъ знаешь, каково у насъ чадошко Самсонъ-то Силычъ; вѣдь онъ, неровень часъ, и чепчикъ помнетъ». А Подхалюзинъ самоуверенно отвѣчаетъ: «ничего не помнетъ-съ». Въ отвѣтъ Тишкѣ, который грозитъ пожаловаться хозяину на подзатыльники Лазаря, онъ еще рѣшительнѣе: «Хозяину скажу! Что мнѣ твой хозяинъ! Я, коли на то пошло»... начинаетъ онъ, но не договариваетъ. Видно, что и онъ-таки не забылъ еще, каково чадошко Самсонъ Силычъ. Впрочемъ, и Подхалюзинъ такъ куражится уже тогда, когда въ его рукахъ вся механика, подведенная Большовымъ для объявленія себя банкротомъ. Онъ чувствуетъ себя въ положеніи человѣка, успѣвшаго толкнуть своего тюремщика за ту дверь, изъ-за которой самъ успѣлъ выскочить. Но у тюремщика остались ключи отъ воротъ острога: надо ихъ еще вытребовать, а потому Подхалюзинъ, чувствуя себя уже не въ тюрьмѣ, но зная, что онъ еще и не совсѣмъ на свободѣ, безпрестанно переходитъ отъ самодовольной радости къ безпокойству и мѣшаетъ наглость съ раболопствомъ. Онъ уже получилъ домъ и лавки Большова; нужно ему окончательно овладѣть имѣніемъ старика, да еще жениться на его дочери, которая пришлась ему очень по праву. Успѣхъ своихъ надеждъ Подхалюзинъ основываетъ именно на самодурствѣ Большова. Не употребляя долгихъ исканій и не дѣлая особенно злостныхъ плановъ, онъ только подбиваетъ сваху отговаривать прежняго жениха Липочки, изъ благородныхъ, а самъ поддѣльвается къ Большову раболопнымъ тономъ и выраженіемъ своего участія къ нему. Предварительныя соображенія его очень нехитры. Онъ говоритъ самъ себѣ: «а зная-то характеръ Самсона Силыча, каковъ онъ есть, это и очень можетъ случиться. У нихъ такое заведеніе: коли имъ что попало въ голову, ужъ ничѣмъ не выбьешь оттедова. Все равно, какъ въ четвертомъ году захотѣли бороду обрить: сколько ни просили Аграфена Кондратьевна, сколько ни плакали, — нѣтъ, говоритъ, послѣ опять отпущу, а теперь поставлю на своемъ: взяли да и обрили. Такъ вотъ и это дѣло: потрафь я по нихъ, или такъ взойди имъ въ голову — завтра же подъ вѣнецъ, и баста, и разговаривать не смѣй». Ясно, что тутъ весь расчетъ очень немногосложенъ: весь онъ бьетъ на деспотическій характеръ Большова.

Тутъ, разумѣется, хитрости особенной и не можетъ быть, потому что и всякому дураку законъ не писанъ, а самодуру—и подавно, слѣдовательно, съ нимъ ничего *не сообразишь*, по выраженію Устиньи Наумовны. Подхалюзинъ такъ и знаетъ, что онъ идетъ на авось. «Потрафь,—говорить,—я по нихъ, *или такъ взойди имъ въ голову*» — оба шанса равно вѣроятны и равно невѣроятны. А что касается до *потрафленія*, такъ тутъ опять немного нужно соображенія: ври о своей покорности, благодарности, о счастіи служить такому человѣку, о своемъ ничтожествѣ передъ нимъ,—больше ничего и не нужно для того, чтобы ублажить глупаго мужика деспотическаго характера. Изъ всѣхъ родовъ житейской дипломатики — это самый низшій, это не болѣе, какъ расчетъ перваго слѣдующаго хода въ шахматной игрѣ. Большовъ поддается на эту нехитрую штуку, потому что своевольныя привычки давно уже затмили въ немъ всякую сообразительность, ишли всякой возможности смотрѣть на вещи прямо и здраво. Себя самого онъ ставитъ единственнымъ закономъ и средоточіемъ всего, до чего только достигаетъ его дѣятельность. Въ своемъ семействѣ это онъ выражаетъ съ цинической грубостью. О дочери онъ говоритъ: «мое дѣтище: хочу—съ кашей ѣмъ, хочу—масло пахтаю». Оттого и выдача ея, противъ воли, замужъ за Подхалюзина представляется ему не болѣе, какъ занимательнымъ опытомъ. «А вотъ ты заходи-ка ужо къ невѣстѣ, — говоритъ Лазарю: — мы надъ ними *шутку подиутимъ*». Шутка эта состоитъ въ томъ, что онъ внезапно объявляетъ женѣ и дочери, что Лазарь — женихъ Липочки. Всѣ растерялись: и мать, и сваха, и Оминична, и сама невѣста, которая, впрочемъ, какъ образованная, нашла въ себѣ силы выразить рѣшительное сопротивленіе и закричать: «не хочу, не хочу, не пойду я за такого противнаго». Разумѣется, изъ этого сопротивленія ничего не можетъ выдти: Самсона Силыча не уломаешь. А тутъ еще Подхалюзинъ поджигаетъ его, коварно говоря: «видно, тятенька, не бывать-съ по вашему желанію». Этихъ словъ достаточно, чтобы Большовъ насильно соединилъ руки жениха и невѣсты и возразилъ такимъ манеромъ: «какъ же не бывать, коли я того хочу? *На что-жъ я и отецъ, коли не приказывать?* Даромъ, что ли, я ее кормилъ?» Какъ видите, Большовъ изъ отцовскихъ обязанностей признаетъ только одну: давать приказанія дѣтямъ. А что онъ кормилъ дочь, такъ это ужъ благодѣяніе, за которое она должна ему отплатить полнымъ отреченіемъ отъ своей воли. Точно таковъ же онъ и во всей дѣятельности. Онъ самъ замѣчаетъ, напримѣръ, что Подхалюзинъ мошенникъ; но ему до этого дѣла нѣтъ, потому что Подхалюзинъ его приказчикъ и объ его пользѣ старается. Безъ малѣйшей застѣнчивости онъ упрекаетъ его въ неблагодарности, указывая на такіе факты: «вспомни тó, Лазарь, сколько разъ я замѣчалъ, что ты на руку нечистъ? что жъ? Я вѣдь не прогналъ тебя, не ославилъ тебя на весь городъ. Я тебя сдѣлалъ главнымъ приказчикомъ, тебѣ я все свое состояніе отдалъ, да тебѣ же, Лазарь, я отдалъ и дочь—

то своими руками». И все это въ надеждѣ, что Лазарь будетъ славно мошенничать и наживать деньги отъ всѣхъ, кромѣ, разумеется, самого Большова. То же самое и съ Рисположенскимъ, пьянымъ приказнымъ, занимающимся кляузами и дѣлающимъ кое-что по дѣламъ Большова: Самсонъ Силычъ подсмѣивается надъ тѣмъ, какъ его изъ суда выгнали, и очень сурово рѣшаетъ, что его надобно бы въ Камчатку сослать. На вопросъ Рисположенскаго: «за что же въ Камчатку»? Большовъ отрѣзываетъ: «За что! За безобразіе! Такъ неужели жъ вамъ потакать»? Но такой строгій взглядъ на дѣятельность выгнаннаго изъ службы чиновника нисколько не мѣшаетъ Самсону Силычу требовать его услугъ въ дѣлѣ замышленнаго имъ злостнаго банкротства. Большовъ какъ будто считаетъ себя совершенно внѣ тѣхъ нравственныхъ правилъ, которыя признаетъ обязательными для другихъ. Это странное явленіе (столь частое, однако же, въ нашемъ обществѣ) происходитъ оттого, что Большовъ не понимаетъ истинныхъ началъ общественнаго союза, не признаетъ круговой поруки правъ и обязанностей человѣка въ отношеніи къ другимъ и, подобно Пузатову, смотритъ на общество какъ на вражескій станъ. «Мнѣ бы самому какъ-нибудь получше устроиться; а тамъ кто отъ того пострадаетъ, или прибыль получить, мнѣ до этого дѣла нѣтъ; коли пострадаетъ, такъ самъ виноватъ: оплошалъ, стало быть». На такихъ соображеніяхъ держатся всѣ думы Большова, такими соображеніями былъ онъ подвигнутъ и на то, чтобы объявить себя несостоятельнымъ. Островскаго упрекали въ томъ, что онъ не довольно полно и ясно выразилъ въ своей комедіи, какимъ образомъ, вслѣдствіе какихъ особенныхъ вліяній, въ какой послѣдовательности и въ какомъ соотвѣтствіи съ общими чертами характера Большова явилось въ немъ намѣреніе объявить себя банкротомъ. «Злостное банкротство, говорили критики, есть такое преступленіе, которое ужаснѣе простого обмана, воровства и убійства. Оно соединяетъ въ себѣ эти три рода преступленій; но оно еще ужаснѣе потому, что совершается обдуманно, готовится очень долго, требуетъ много коварнаго терпѣнія и самаго нахальнаго присутствія духа. Рѣшиться на такое преступленіе можетъ человѣкъ только при ложныхъ *убѣжденіяхъ*, или вслѣдствіе какихъ-нибудь особенно неблагоприятныхъ нравственныхъ вліяній. У Островскаго не только ничего этого не показано, но даже выставлено банкротство Большова просто какъ прихоть, состоящая въ томъ, что ему *не хочется* платить денегъ». Всѣ подобныя соображенія, будучи вполнѣ вѣрны въ теоретическомъ отношеніи, оказываются, однако же, совершенно неприложимыми къ русской жизни. Въ томъ-то и дѣло, что наша жизнь вовсе не способствуетъ выработкѣ какихъ-нибудь *убѣжденій*, а если у кого они и заведутся, то не даетъ примѣнять ихъ. Одно только *убѣжденіе* процвѣтаетъ въ нашемъ обществѣ,—это *убѣжденіе* въ томъ, что не нужно имѣть (или, по крайней мѣрѣ, обнаруживать) нравственныхъ *убѣжденій*. Но такое-то *убѣжденіе* и у Самсона Силыча есть, хотя оно и не совершенно

ясно въ его сознаніи: вслѣдствіе этого-то убѣжденія онъ и ласкаетъ Лазаря, и ведетъ дѣло съ Рисположенскимъ, и рѣшается на объявленіе себя несостоятельнымъ. Вообще надобно сказать, что съ помощью этого убѣжденія и поддерживается нѣкоторая жизнь въ нашемъ «темномъ царствѣ»: черезъ него здѣсь и карьеры дѣлаются, и выгодныя партіи составляются, и капиталы наживаются, и общее уваженіе пріобрѣтается. Не будь развито это единственное *убѣжденіе* въ «темномъ царствѣ», въ немъ все бы остановилось, заснуло и замерло. Конечно, и люди съ *твердыми* нравственными принципами, съ *честными* и *святыми* убѣжденіями тоже есть въ этомъ царствѣ; но, къ сожалѣнію, это все люди обломовскаго типа. Они и убѣжденія-то свои пріобрѣли не въ практической дѣятельности, не въ борьбѣ съ житейской неправдой, а въ чтеніи хорошихъ книжекъ, горячихъ разговорахъ съ друзьями, въ восторженныхъ клятвахъ предъ женщинами да въ благородныхъ мечтаніяхъ на своемъ диванѣ. Удалось людямъ не быть втянутыми съ малолѣтства въ практическую дѣятельность,—и осталось имъ много свободнаго времени на обдумываніе своихъ отношеній къ міру и нравственныхъ началъ для своихъ поступковъ. Стоя въ сторонѣ отъ практической сферы, додумались они до прекрасныхъ вещей; но за то такъ и остались негодными для настоящаго дѣла и оказались совершенно ничтожными, когда пришлось имъ столкнуться кое съ чѣмъ и кое съ кѣмъ въ «темномъ царствѣ». Сначала ихъ-было побаивались, когда они являлись съ лорнетомъ Онѣгина, въ мрачномъ плащѣ Печорина, съ восторженной рѣчью Рудина; но потомъ поняли, что это все Обломовы, и что если они могутъ быть страшны для нѣкоторыхъ барышень, то, во всякомъ случаѣ, для практическихъ дѣятелей никакъ не могутъ быть опасны. Такъ они и остались внѣ жизни, эти люди честныхъ стремленій и самостоятельныхъ убѣжденій (нерѣдко, впрочемъ, на дѣлѣ измѣнявшіе имъ, вслѣдствіе своей непрактичности). И если нельзя сказать, чтобъ они остались чисты, какъ голуби, въ своихъ столкновеніяхъ съ окружавшими ихъ хищными птицами, то, по крайней мѣрѣ, можно сказать утвердительно, что они оказались безсильны, какъ голуби. Что же касается до тѣхъ изъ обитателей «темнаго царства», которые имѣли силу и привычку къ дѣлу, такъ они всѣ съ самаго перваго шага вступали на такую дорожку, которая никакъ ужъ не могла привести къ чистымъ нравственнымъ убѣжденіямъ. Работающему человѣку никогда здѣсь не было мирной, свободной и общепользной дѣятельности; едва успѣвши осмотрѣться, онъ уже чувствовалъ, что очутился какимъ-то образомъ въ непріятельскомъ станѣ и долженъ, для спасенія своего существованія, какъ-нибудь надуть своихъ враговъ, прикинувшись хотя добровольнымъ переметчикомъ. А тамъ начинаются хитрости, какъ бы обмануть бдительность непріятелей и спастись отъ нихъ; а ежели и это удастся, придумываются непріязненные дѣйствія противъ нихъ, частью въ отмщеніе, частью же для огражденія себя отъ новой опасности. Гдѣ же тутъ развиться правильнымъ понятіямъ объ отноше-

ніяхъ людей другъ къ другу? Гдѣ тутъ воспитаться уваженію человѣческаго достоинства? Здѣсь всѣ въ отвѣтъ за какую-то чужую несправедливость, всѣ дѣлаютъ мнѣ пакости за то, въ чемъ я вовсе не виноватъ, и отъ всѣхъ я долженъ отбиваться, даже вовсе не имѣя желанія побить кого-нибудь. Поневоѣ, человѣкъ дѣлается неразборчивъ и начинаетъ бить, кого попало, не теряя даже сознанія, что въ сущности-то никого бы не слѣдовало бить. Невольно повторись опять сравненіе жизни «темнаго царства» съ ожесточенною войною. На войнѣ, вѣдь, не бѣда, если солдатъ убьетъ такого непріятеля, который ни одного выстрѣла не послалъ въ нашъ станъ: онъ повернулся подъ пулю,—и довольно. Солдата-убійцу не будетъ совѣсть мучить. Такъ точно, что за бѣда, если купецъ обманулъ честнѣйшаго человѣка, который никому въ жизни ни малѣйшаго зла не сдѣлалъ? Довольно того, что онъ покупаетъ товаръ; торговля все равно, что война: не обмануть—не продать!.. Приложите то же самое къ помѣщику, къ чиновнику «темнаго царства», къ кому хотите,—выйдетъ все то же: всѣ въ военномъ положеніи, и никого совѣсть не мучить за обманъ и присвоеніе чужого, оттого именно, что ни у кого нѣтъ нравственныхъ убѣжденій, а всѣ живутъ сообразно съ обстоятельствами.

Такимъ образомъ, мы находимъ глубоко-вѣрную, характеристически-русскую черту въ томъ, что Большевъ въ своемъ злостномъ банкротствѣ не слѣдуетъ никакимъ особеннымъ *убѣжденіямъ* и не испытываетъ *глубокой душевной борьбы*, кромѣ страха, какъ бы не попасться подъ уголовный... Намъ въ отвлеченіи кажутся всѣ преступленія чѣмъ-то слишкомъ ужаснымъ и необычайнымъ; но въ частныхъ случаяхъ они большею частью совершаются очень легко и объясняются чрезвычайно просто. По уголовному суду человѣкъ оказался и грабителемъ, и убійцею; кажется, долженъ бы быть извергъ естества. А смотришь,—онъ вовсе не извергъ, а человѣкъ очень обыкновенный и даже добродушный. И никакихъ у него убѣжденій нѣтъ о похвальности грабежа и убійства; и преступленія свои совершилъ онъ безъ тяжелой и продолжительной борьбы съ самимъ собою, а просто такъ, случайно, самъ хорошенько не сознавалъ, что онъ дѣлалъ. Поговорите съ людьми, видѣвшими много преступниковъ, они вамъ подтвердятъ, что это сплошь да рядомъ такъ бываетъ. Отчего происходитъ такое явленіе? Оттого, что всякое преступленіе есть не слѣдствіе натуры человѣка, а слѣдствіе ненормальнаго отношенія, въ какое онъ поставленъ къ обществу. И чѣмъ эта ненормальность сильнѣе, тѣмъ чаще совершаются преступленія даже натурами порядочными, тѣмъ менѣе обдуманности и систематичности и болѣе случайности, почти безсознательности въ преступленіи. Въ «темномъ царствѣ», разсматриваемомъ нами, ненормальность общественныхъ отношеній доходитъ до высшихъ своихъ предѣловъ, и потому очень понятно, что его обитатели теряютъ рѣшительно всякій смыслъ въ нравственныхъ вопросахъ. Въ преступленія они понимаютъ только внѣшнюю, юридическую его сторону, кото-

рую справедливо презирають, если могутъ какъ-нибудь обойти. Внутренняя же сторона, послѣдствія совершаемаго преступленія для другихъ людей и для общества—вовсе имъ не представляются. Замышляя злостное банкротство, Большовъ и не думаетъ о томъ, что можетъ повредить благосостоянію заимодавцевъ и, можетъ быть, пустить нѣсколько человѣкъ по-міру. Это ему не приходитъ въ голову даже и тогда, какъ ужъ его въ яму посадили. Онъ толкуетъ, что ему страшно на Иверскую взглянуть, проходя мимо Иверскихъ воротъ, жалуется, что на него мальчишки пальцами показываютъ, боятся, что въ Сибирь его сошлютъ; но о людяхъ, разоренныхъ имъ,—ни слова. Мудрено ли же, что онъ такъ легко рѣшается на преступленіе, котораго существеннѣйшая-то мерзость ему и непонятна! Онъ видитъ только, что *«другіе же дѣлаютъ»*. И это для него не оправдательная фраза, не примѣръ только, какъ утверждалъ одинъ строгій критикъ Островскаго. Нѣтъ, тутъ исходная точка, изъ которой выводится вся мораль Большова. Онъ видитъ, что другіе банкротятся, зажиливаютъ его деньги, а потомъ строятъ себѣ на нихъ дома съ бельведерами да заводятъ удивительные экипажи: у него сейчасъ и прилагается здѣсь общее соображеніе: *«чтобы меня не обыграли, такъ я долженъ стараться другихъ обыгрывать»*. И ужъ тутъ нужды нѣтъ, что кредиторы Большова не банкротились и не дѣлали ему подрыва: все равно, съ кого бы ни пришлось, только бы сорвать свою выгоду. Тутъ, какъ и въ сраженіи, разбирать личности нечего. Вотъ, кабы никто не обманывалъ, т. е. кабы войны не было, тогда и Самсонъ Силычъ жилъ бы мирно и честно, никого не надувалъ. А то какъ же ему-то вести себя, когда всѣ кругомъ мошенничаютъ? И кому какая будетъ польза отъ его честности? Не онъ, такъ другіе надуютъ, все единственно. Вотъ разговоръ Большова съ Подхалюзинымъ на этотъ счетъ:

Большовъ. Вотъ ты бы, Лазарь, когда на досугъ баланцъ для меня сдѣлалъ, учелъ бы розничную по панской-то части, ну, и остальное, что тамъ еще. А то торгуемъ, торгуемъ, братецъ, а пользы ни на грошъ. Али сидѣльцы, что ли, грѣшатъ, таскаютъ роднымъ да любовницамъ; ихъ бы малечко усовѣщивать. Что такъ, безъ барыша-то небо коптить? Аль сноровки не знаютъ? Пора бы, кажется.

Подхалюзинъ. Какъ же это можно, Самсонъ Силычъ, чтобы сноровки не знать? Кажется, самъ завсегда въ городѣ бываешь и завсегда толкуешь имъ-съ.

Большовъ. Да что же ты толкуешь-то?

Подхалюзинъ. Извѣстное дѣло-съ, стараюсь, чтобы все было въ порядкѣ и какъ слѣдуетъ-съ. Вы, говорю, ребята, не зѣвайте: видишь, чуть дѣло подходящее, покунатель, что ли, тумакъ навернулся, али цвѣтъ съ узоромъ какой барышнѣ понравился, — взялъ, говорю, и накинулъ рубль или два на аршинъ.

Большовъ. Чай, братъ, знаешь, какъ тѣмцы въ магазинахъ намытъ баръ обираютъ. Положимъ, что мы—не тѣмцы, а христіане православные, да тоже пироги-то съ начинкой ѣдимъ. Такъ-ли, а?

Подхалюзинъ. Дѣло понятное-съ. И жрать-то, говорю, надо тоже по-

естественнѣе, тани да потягивай, только чтобъ, Бже сохрани, какъ не допнуло; вѣдь, не намъ, говорю, послѣ носить. Ну, а *взъясняется, такъ не кто выносить*, — можно, говорю, и просто черезъ руку лишній аршинъ шмыгнуть.

Б о л ь ш о в ъ. *Все единственно: вѣдь, портной украдетъ же.* Эхъ, Лазарь, плохи нынче барыша: не прежнія времена.

Ясное дѣло: вся мораль Самсона Силыча основана на правилѣ: чѣмъ другимъ красть, такъ лучше я украду. Правило это, можетъ быть, не имѣетъ драматическаго интереса, — это ужъ какъ тамъ угодно критикамъ; но оно имѣетъ чрезвычайно обширное приложение во многихъ сферахъ нашей жизни. По этому правилу иной беретъ взятку и кривить душой, думая: все равно, — не я, такъ другой возьметъ, и тоже рѣшить криво. Другой держитъ свои помѣщичьи права, разсчитывая: все равно, — вѣдь если не мой управляющій, то окружной станетъ стѣснять моихъ крестьянъ. Иной подличаетъ передъ начальствомъ, соображая: все равно, — вѣдь если не меня, такъ онъ другого найдетъ для себя, а я только мѣста лишусь. Словомъ—куда ни обернитесь, вездѣ вы встрѣтите людей, дѣйствующихъ по этому правилу: тотъ принимаетъ у себя негодяя; другой обираетъ богатаго простяка, третій сочиняетъ доносъ, четвертый соблазняетъ дѣвушку, — все на основаніи того же милаго соображенія: *«не я, такъ другой»*. Кажется, ясно, что здѣсь такое соображеніе совсѣмъ не имѣетъ значенія примѣра... Оно есть не что иное, какъ выраженіе самаго грубаго и отвратительнаго эгоизма, при совершенномъ отсутствіи какихъ-нибудь высшихъ нравственныхъ началъ.

Слѣдуя внушеніямъ этого эгоизма, и Большовъ задумываетъ свое банкротство. И его эгоизмъ еще имѣетъ для себя извиненіе въ этомъ случаѣ: онъ не только видитъ, какъ другіе наживаются банкротствомъ, но и самъ потерпѣлъ нѣкоторое разстройство въ дѣлахъ именно отъ несостоятельности многихъ должниковъ своихъ. Онъ съ горечью говоритъ объ этомъ Подхалюзину:

„Вотъ ты и знай, Лазарь, какова торговля-то! Ты думаешь что? Такъ вотъ даромъ и бери деньги. Какъ не деньги, скажешь, — видалъ, какъ лагушки прыгаютъ. На-ка, говоритъ, вексель. А по векселю-то съ иного что возьмешь, коли съ него взять-то нечего! У меня такихъ-то векселей тысячъ на сто, и съ протестами; только и дѣло, что каждый годъ подкладывай. Хошь за полтину серебра всѣ отдамъ! Должниковъ-то по нимъ, чай, и съ собаками не сыщешь: которые повымерли, а которые поразбѣжались, — некого и въ яму посадить. А и посадишь-то, Лазарь, такъ самъ не радъ: другой такъ обдержится, что его оттедова куревомъ не выкуришь. Мнѣ, говоритъ, и здѣсь хорошо, а ты проваливай“.

Огражденный такими разсужденіями, Большовъ считаетъ себя совершенно въ правѣ сыграть съ кредиторами маленькую штуку. Сначала въ немъ является только неопредѣленное желаніе — увернуться какъ-нибудь отъ платежа денегъ, — ихъ же пришлось много платить

въ одно время. Онъ придумываетъ только, «какую бы тутъ механику подсмолить»; но этого ни онъ самъ, ни его совѣтникъ, Расположенскій,—не знаютъ еще хорошенько. На вопросъ Большова, Расположенскій отвѣчаетъ: «а тамъ, глядя по обстоятельствамъ». Но тутъ же они придумываютъ—заставить кредиторовъ пойти на сдѣлку,—предложить всѣмъ 25 коп. за рубль, если же кто заартачится, такъ прибавить, а то, пожалуй, и всѣ заплатить. Большовъ говоритъ: «это точно,—поторговаться не мѣшаетъ: не возьмутъ по двадцати-пяти, такъ полтину возьмутъ; а если полтины не возьмутъ, такъ за семь гривенъ обѣими руками ухватятся. Все-таки барышъ. Тамъ что хошь говори, а у меня дочь невѣста, хотъ сейчасъ изъ поля въ полу да съ двора долой. Да и самому-то, братецъ ты мой, отдохнуть пора: прохлажались бы мы, лежа на боку, и торговлю всю эту къ чорту». Вы видите, что рѣшеніе Большова очень добродушно и вовсе не обнаруживаетъ сильной злодѣйской натуры: онъ хочетъ кое-что, по силѣ возможности, вытянуть изъ кредиторовъ, въ тѣхъ видахъ, что у него дочь невѣста, да и самому ему покой нуженъ. Что же тутъ особенно ужаснаго, отъ чего бы Большовъ долженъ былъ необычайное волненіе душевное испытывать? Онъ смотритъ на свой новый замыселъ, какъ на одинъ изъ тѣхъ обмановъ, которыхъ немало довелось ему совершить на своемъ вѣку и которые для него находятся рѣшительно въ порядкѣ вещей. Его одно только и смущаетъ нѣсколько — то, что ему, пожалуй, не удастся чистенько обдѣлать свою операцію. Этого онъ отчасти труситъ и потому все хочетъ устроить съ кредиторами сдѣлку, заплативши имъ по двадцати-пяти копѣекъ. Но Подхалюзинъ говоритъ ему: «а ужъ по мнѣ, Самсонъ Силычъ, коли платить по двадцати-пяти, такъ пристойнѣе совсѣмъ не платить», и Большовъ, — безъ всякихъ возраженій, очень легко соглашается. «А что,—говоритъ онъ:—вѣдь и правда, *храбростью-то никого не удивишь, а лучше тихимъ-то манеромъ дѣльце обдѣлать. Тамъ, постъ, суди Владыко на второмъ пришествіи. Хлопотъ-то только куча*». И ни слова, ни намека на безнравственность задуманнаго дѣла въ отношеніи къ заимодавцамъ Большова. Только о «судѣ Владычнемъ» вспоминаетъ онъ; но и это такъ, больше для формы; «второе пришествіе» играетъ здѣсь роль не болѣе той, какую даетъ Большовъ и «милосердію Божію», въ извѣстной фразѣ своей: «Бонапартъ Бонапартомъ, а мы пуще всего надѣмся на милосердіе Божіе, *да и не о томъ теперь рѣчь*». Именно—не о томъ теперь рѣчь: Большова занимаетъ не судъ на второмъ пришествіи, который еще когда-то будетъ, а предстоящія хлопоты по дѣлу. Хлопоты эти очень смущаютъ его: они вовсе не въ его натурѣ. Надуть разомъ, съ-рывка, хотя бы и самымъ безсовѣстнымъ образомъ, — это ему ничего; но думать, соображать, подготавливать обманъ долгое время, *подводитъ всю эту механику* — на такую хроническую безсовѣстность его не станетъ, и не станетъ вовсе не потому, чтобы въ немъ мало было безсовѣстности и лукавства, — то и другое находится въ немъ съ

избыткомъ,—а просто потому, что онъ не привыкъ серьезно думать о чемъ-нибудь. Онъ самъ это сознаетъ и въ горькую минуту даже высказываетъ Рисположенскому: «то-то вотъ и бѣда, что нашъ братъ, купецъ, дуракъ, — ничего онъ не понимаетъ, а такимъ пѣвкамъ, какъ ты, это и на руку». Можно сказать даже, что и все самодурство Большова происходитъ отъ непривычки къ самобытной и сознательной дѣятельности, къ которой, однакоже, онъ имѣетъ стремленіе, при несомнѣнной силѣ природной смѣтливости. Мы не видимъ изъ комедіи, какъ росъ и воспитывался Большовъ, какія вліянія на него дѣйствовали съ молодости; но для насъ ясно, что онъ воспитывался подъ вліяніями тоже неблагоприятными для здороваго, самостоятельнаго развитія. Въ его дѣйствіяхъ постоянно проглядываетъ отсутствіе *своего ума*; видно, что онъ не привыкъ самъ разумно себя возбуждать къ дѣятельности и давать себѣ отчетъ въ своихъ поступкахъ. А между тѣмъ, его теперешнее положеніе, да и самая натура его, не сломившаяся окончательно подъ гнетомъ, а сохранившая въ себѣ духъ противорѣчія, требуетъ теперь самобытности, которая и выражается въ упрямствѣ и произволѣ. Известно, что упрямство есть признакъ безхарактерности; точно такъ и самодурство есть вѣрное доказательство внутренняго безсилія и холопства. Самодуръ все силится *доказать*, что ему никто не указъ, и что онъ, что захочетъ, то и сдѣлаетъ; между тѣмъ, человѣкъ дѣйствительно независимый и сильный душою, никогда не захочетъ этого доказывать: онъ употребляетъ силу своего характера только тамъ, гдѣ это нужно, не растрачивая ее, въ видѣ опыта, на нелѣпыя затѣи. Большовъ съ услажденіемъ все повторяетъ, что онъ воленъ дѣлать, что хочетъ, и никто ему не указъ: какъ будто онъ самъ все еще не рѣшается вѣрить этому... Видно, что его, можетъ быть, отъ природы и не слабую личность сильно подавили въ свое время и отняли-таки у него значительную долю природной силы души. Оттого, и вышедши на свою волю, онъ не умѣетъ управлять собою. Онъ самодурствуетъ и кажется страшенъ, но это только потому, что ни съ какой стороны ему нѣтъ отпора; борьбы онъ не выдержитъ... Эта черта очень ясно представлена Островскимъ въ другой его комедіи, а потому мы еще возвратимся къ ней. Но она замѣтна и въ Большовѣ, который, даже рѣшаясь на такой шагъ, какъ злостное банкротство, не только старается свалить съ себя хлопоты, но просто самъ не знаетъ, что онъ дѣлаетъ, отступаетъ отъ своей выгоды и даже отказывается отъ своей воли въ этомъ дѣлѣ, сваливая все на судьбу... Подхалюзинъ и Рисположенскій, снюхавшись между собою, подстраиваютъ такъ, что, вмѣсто сдѣлки съ кредиторами, Большовъ рѣшается на объявленіе себя несостоятельнымъ. Но Подхалюзинъ для виду отговариваетъ его отъ такого поступка. Что же отвѣчаетъ Большовъ? Онъ входитъ въ азартъ и говоритъ: «что-жъ, деньги заплатить? Да съ чего же ты это взялъ? Да я *лучше все огнемъ сожгу, а ужъ имъ ни копѣйки не дамъ*. Перевози товаръ, продавай векселя; *пусть тащатъ, воруютъ, кто хочетъ, а ужъ я имъ не плательщикъ*».

Подхалюзинъ сожалѣетъ, что «заведеніе у насъ было превосходное, а теперь все должно въ разстройство придти»; а Большовъ кричитъ: «а тебѣ что за дѣло? не твое было... Ты старайся только,—отъ меня забыть не будешь». Что обуяло его? Подумаешь, что это взрывъ сильной натуры, что ужъ это такая непреклонная воля... Но, во-первыхъ, что же возбудило въ немъ такую рѣшимость, противную его собственной выгодѣ, и почему воля его выражается только въ крикахъ съ Подхалюзинымъ, а не въ дѣятельномъ участіи въ хлопотахъ? Во-вторыхъ,—самъ Большовъ вскорѣ отказывается отъ своей воли. Когда Подхалюзинъ толкуетъ ему, что можетъ случиться «грѣхъ какой», что пожалуй и имѣніе отнимутъ и его самого по судамъ затаскаютъ, Большовъ отвѣчаетъ: «что жъ дѣлать-то, братецъ: ужъ, знать, такая воля Божія, противъ нея не пойдешь». Подхалюзинъ отвѣчаетъ: «Это точно-съ, Самсонъ Силычъ», но въ сущности оно не «точно», а очень нелѣпо. Большовъ не только хочетъ свалить съ себя всякую нравственную отвѣтственность, но даже старается не думать о томъ, что затѣваетъ. Принятое рѣшеніе засѣло въ его головѣ крѣпко, но какъ-то не связалось ни съ чѣмъ въ его мысляхъ и понятіяхъ и осталось для него чужимъ и мертвымъ. Онъ даже старается увѣрить, что это не онъ собственно рѣшилъ, а что «такова ужъ воля Божія: противъ нея не пойдешь». Это черта чрезвычайно распространенная въ нашемъ обществѣ, и у Островскаго она подмѣчена весьма тонко и вѣрно. Она одна говоритъ намъ очень многое и рисуетъ характеръ Большова лучше, чѣмъ могли бы обрисовать его нѣсколько длинныхъ монологовъ. Эта темнота разумѣнія, отвращеніе отъ мышленія, безсиліе воли предъ всякимъ рискованнымъ шагомъ, порождающія этотъ тупоумный, отчаянный фатализмъ и самодурство, противное даже личной выгодѣ, все это чрезвычайно рельефно выдается въ Большовѣ и очень легко объясняетъ отдачу имъ имѣнія своему приказчику и зятю, Подхалюзину,—поступокъ, въ которомъ иные критики хотѣли видѣть непонятный порывъ великодушія и подражаніе королю Лиру. Въ поступкѣ Большова дѣйствительно есть внѣшнее сходство съ поступкомъ Лира, но именно настолько, насколько можетъ комическое явленіе походить на трагическое. Лиръ представляется намъ также жертвой уродливаго развитія; поступокъ его, полный гордаго сознанія, что онъ *самъ, самъ по себѣ* великъ, а не по власти, которую держать въ своихъ рукахъ, поступокъ этотъ тоже служить къ наказанію его надменнаго деспотизма. Но если мы вздумаемъ сравнить Лира съ Большовымъ, то найдемъ, что одинъ изъ нихъ съ ногъ до головы король британскій, а другой—русскій купецъ; въ одномъ все грандіозно и роскошно, въ другомъ все хило, мелко, все рассчитано на мѣдные деньги. Въ Лирѣ дѣйствительно сильная натура, и общее раболѣпство предъ нимъ только развиваетъ ее одностороннимъ образомъ—не на великія дѣла любви и общей пользы, а единственно на удовлетвореніе собственныхъ личныхъ прихотей. Это совершенно понятно въ человѣкѣ, который привыкъ считать

себя источникомъ всякой радости и горя, началомъ и концомъ всякой жизни въ его царствѣ. Тутъ, при внѣшнемъ просторѣ дѣйствій, при легкости исполненія всѣхъ желаній, не въ чемъ высказываться его душевной силѣ. Но вотъ его самообожаніе выходитъ изъ всякихъ предѣловъ здраваго смысла: онъ переноситъ прямо на свою личность весь тотъ блескъ, все то уваженіе, которымъ пользовался за свой санъ, онъ рѣшается сбросить съ себя власть, увѣренный, что и послѣ того люди не перестанутъ трепетать его. Это безумное убѣжденіе заставляетъ его отдать свое царство дочерямъ и чрезъ то. изъ своего варварски-безсмысленнаго положенія, перейти въ простое званіе обыкновеннаго человѣка и испытать всѣ горести, соединенныя съ человѣческой жизнью. Тутъ-то, въ борьбѣ, начинающейся вслѣдъ за тѣмъ, и раскрываются всѣ лучшія стороны его души; тутъ-то мы видимъ, что онъ доступенъ и великодушію, и нѣжности, и состраданію о несчастныхъ, и самой гуманной справедливости. Сила его характера выражается не только въ проклятіяхъ дочерямъ, но и въ сознаніи своей вины предъ Корделіею, и въ сожалѣніи о своемъ крутомъ нравѣ, и въ раскаяніи, что онъ такъ мало думалъ о несчастныхъ бѣднякахъ, такъ мало любилъ истинную честность. Оттого-то Лиръ и имѣетъ такое глубокое значеніе. Смотри на него, мы сначала чувствуемъ ненависть къ этому безпутному деспоту; но, слѣдя за развитіемъ драмы, все болѣе примиряемся съ нимъ, какъ съ человѣкомъ, и оканчиваемъ тѣмъ, что исполняемъ негодованіемъ и жгучею злобой уже *не къ нему, а за него и за цѣлый міръ*—къ тому дикому, нечеловѣческому положенію, которое можетъ доводить до такого безпутства даже людей подобныхъ Лиру. Не знаемъ, какъ на другихъ, но, по крайней мѣрѣ, на насъ «Король Лиръ» постоянно производилъ такое впечатлѣніе.

Въ одной изъ критикъ увѣряли, что и Островскій хотѣлъ своего Большова возвысить до подобнаго же трагизма и собственно для этого вывелъ Самсона Силыча изъ ямы, въ четвертомъ актѣ, и заставилъ его упрашивать дочь и зятя объ уплатѣ за него 25 копѣекъ кредиторамъ. Такое сужденіе обнаруживаетъ полное непониманіе не только Шекспира и Островскаго, но и вообще нравственнаго свойства драматическихъ положеній. По нашему мнѣнію, въ послѣднемъ актѣ Большовъ нисколько не возвышается въ глазахъ читателя и нисколько не теряетъ своего комическаго характера. Въ послѣднихъ сценахъ есть трагическій элементъ, но онъ участвуетъ здѣсь чисто-внѣшнимъ образомъ, такъ какъ есть онъ, напр., и въ появленіи жандарма въ «Ревизорѣ»... Но въ чемъ же здѣсь выразился тотъ внутренній трагизмъ, который заставилъ бы страдать за Большова и примирилъ бы съ его личностью? Гдѣ слѣды той душевной борьбы, которая бы очистила и просвѣтлила заросшую тинной самодурства натуру Большова? Нѣтъ этихъ слѣдовъ, да и не съ тѣмъ писана комедія, чтобы указывать ихъ; послѣдній актъ ея мы считаемъ только послѣднимъ мастерскимъ штрихомъ, окончательно рисующимъ для насъ натуру Большова. которая была оста-

новлена въ своемъ естественномъ ростѣ враждебными, подавляющими обстоятельствами, и осталась равно безсильною и ничтожною, какъ при обстоятельствахъ, благопріятствовавшихъ широкой и самобытной дѣятельности, такъ и въ напасти, опять ее скрутившей. Для насъ и въ послѣднемъ актѣ Большовъ не перестаетъ быть комиченъ: ни одного свѣтлаго луча не проникло въ эту темную душу послѣ переворота, навлеченнаго имъ самимъ на себя. Онъ нимало, не сознаетъ гадости своего поступка, онъ не мучится внутреннимъ стыдомъ; его терзаетъ только стыдъ внѣшній: кредиторы таскаютъ его по судамъ, и мальчишки на него показываютъ пальцами. «Какое сидѣть-то въ ямѣ (говорить онъ), какво по улицѣ-то идти съ солдатомъ! Вѣдь меня сорокъ лѣтъ въ городѣ-то всѣ знаютъ, сорокъ лѣтъ всѣ въ поясѣ кланялись, а теперь мальчишки пальцами показываютъ». Вотъ что у него на первомъ планѣ; а на второмъ является въ его мысляхъ Иверская, но и то не надолго: воспоминаніе о ней тотчасъ смѣняется у него опасеніемъ, чтобы въ Сибирь не угодить. Вотъ его слова: «а тамъ, мимо Иверской: какъ мнѣ взглянуть не нее, матушку? Знаешь, Лазарь: Іуда, вѣдь онъ тоже Христа за деньги продалъ, какъ мы совѣсть за деньги продаемъ... *А что ему за это было?.. Вѣдь я злостный, умиленный... Вѣдь, меня въ Сибирь сошлютъ. Господи! Коли такъ не дадите денегъ, дайте Христа ради (плачетъ)*». — Жаль, что «Своихъ людей» не даютъ на театрѣ: талантливый актеръ могъ бы съ поразительной силой выставить весь комизмъ этого самодурнаго смѣшенія Иверской съ Іудою, ссылки въ Сибирь съ христорадничествомъ. Комизмъ этой тирады возвышается еще болѣе предыдущимъ и дальнѣйшимъ разговоромъ, въ которомъ Подхалюзинъ равнодушно и ласково отказывается платить за Большова болѣе десяти копѣекъ, а Большовъ—то попрекаетъ его неблагодарностью, то грозитъ ему Сибирью, напоминая, что имъ обоимъ одинъ конецъ; то спрашиваетъ его и дочь, есть ли въ нихъ христіанство, то выражаетъ досаду на себя за то, что опростоволосился, и приводитъ пословицу: «сама себя рабабьетъ, коль не чисто жнетъ», —то, наконецъ, дѣлаетъ юродивое обращеніе къ дочери: «ну, вотъ вы теперь будете богаты, заживете по-барски; по гуляньямъ это, по баламъ,—дьявола тѣшить. А не забудьте вы, Алимпіяда Самсоновна, что есть кѣтки съ желѣзными рѣшетками, сидятъ тамъ бѣдные-заключенные... Не забудьте насъ, бѣдныхъ-заключенныхъ». По нашему мнѣнію, вся эта сцена очень близко подходитъ къ той сценѣ въ «Ревизорѣ», гдѣ городничій ругаетъ купцовъ, что они не помнятъ, какъ онъ имъ плутовать помогалъ. Только у Островскаго комическія черты проведены здѣсь нѣсколько тоньше, и притомъ надо сознаться, что внутренній комизмъ личности Большова нѣсколько замаскировывается въ послѣднемъ актѣ несчастнымъ его положеніемъ, изъ-за котораго проницательные критики и навязали Островскому такія идеи и цѣли, какихъ онъ, вѣроятно, никогда и во снѣ не видѣлъ. Хороши должны быть нравственные понятія критика, который полагаетъ, что Большовъ въ

послѣднемъ актѣ выведенъ авторомъ для того, чтобы привлечь къ нему *сочувствіе* зрителей... По нашему мнѣнію, Большовъ къ концу пьесы оказывается пошлѣе и ничтожнѣе, нежели во все ея продолженіе. Мы видимъ, что даже несчастіе и заключеніе въ тюрьму нимало не образумило его, не пробудило человѣческихъ чувствъ, и справедливо заключаемъ, что видно они ужъ навѣкъ въ немъ замерли, что такъ имъ ужъ и спать сномъ непробуднымъ. Онъ и теперь говорить, что 25 копѣекъ отдать кредиторамъ—много, да что ужъ дѣлать-то, когда меньше не берутъ. «Потомать года полтора въ ямѣ-то, да каждую недѣлю будутъ съ солдатомъ по улицамъ водить, а еще, того гляди, въ острогъ перемѣстятъ, такъ радъ будешь и полтину дать». Не явно ли здѣсь комическое безсиліе этой натуры, не могущей ни рѣшиться на смѣлый шагъ, ни выдержать продолжительной борьбы? Не явно ли и нравственное ничтожество этого человѣка, у котораго ни разу во всей пьесѣ не проявлялось чувства законности и сознанія долга? Мало этого: въ его грубой душѣ замерли даже чувства отца и мужа; это мы видѣли и въ первыхъ актахъ пьесы, видимъ и въ послѣднемъ. Горе жены нимало не трогаетъ его, а возмутительная грубость дочери не оскорбляетъ отцовскаго чувства. Олимпиада Самсоновна говоритъ ему: «я у васъ, тятенька, до двадцати лѣтъ жила,—свѣту не видала; что же, мнѣ прикажете отдавать вамъ деньги, а самой опять въ ситцевыхъ платьяхъ ходить?» Большовъ не находитъ ничего лучшаго сказать на это, какъ только попрекнуть дочь и зятя невольнымъ благодѣяніемъ, которое онъ имъ сдѣлалъ, передавши въ ихъ руки свое имѣніе: «вѣдь я,—говорить,—у васъ не милостыню прошу, а свое же добро». Неужели и это отношеніе отца къ дочери не комично? А мораль, которую выводитъ для себя Большовъ изъ всей своей исторіи,—высшій пунктъ, до котораго могъ онъ подняться въ своемъ нравственномъ развитіи: «не гонись за большимъ, будь доволенъ тѣмъ, что есть; а за большимъ погонишься, и послѣднее отнимутъ»! Какую степень нравственнаго достоинства указываютъ намъ эти слова! Человѣкъ, потерпѣвшій отъ собственнаго злостнаго банкротства, не находитъ въ этомъ обстоятельстве другого нравственнаго урока, кромѣ сентенціи, что «не нужно гнаться за большимъ, чтобы своего не потерять»! И черезъ минуту къ этой сентенціи онъ прибавляетъ сожалѣніе, что не умѣлъ ловко обдѣлать дѣльце,—приводитъ пословицу: «сама себя раба бьетъ, коль не чисто жнетъ». Какъ сильно выражается въ этомъ рѣшительная бессмысленность и нравственное ничтожество этой натуры, которая въ началѣ пьесы могла еще кому-нибудь показаться сильною, судя по тому страху, какой она внушаетъ всѣмъ окружающимъ!... И нашлись критики, рѣшившіе, что послѣдній актъ «Своихъ людей» долженъ возбудить въ зрителяхъ сочувствіе къ Большову! ¹⁾

¹⁾ Рѣшаемся привести еще выписку изъ курьезной статьи г. Н. П. Некрасова изъ Москвы, помѣщенной въ послѣднемъ № „Атеней“ и отчасти объясняю-

Но что же въ самомъ дѣлѣ даетъ намъ это лицо комедіи? Неужели смыслъ его ограничивается тѣмъ, что «вотъ, дескать, посмотрите, какіе бываютъ плохіе люди?» Нѣтъ, этого было бы слишкомъ мало для главнаго лица серьезной комедіи, слишкомъ мало для таланта такого писателя, какъ Островскій. Нравственный смыслъ впечатлѣнія, какое выносишь изъ внимательнаго разсмотрѣнія характера Большова, гораздо глубже. Мы уже имѣли случай замѣтить, что одна изъ отличительныхъ чертъ таланта Островскаго состоитъ въ умѣннн заглянуть въ самую глубь души человѣка и подмѣтить не только образъ его мыслей и поведенія, но самый процессъ его мышленія, самое зарожденіе его желаній. Это самое умѣнье видимъ мы и въ обработкѣ характера Большова и находимъ, что результатомъ психическихъ наблюденій автора оказалось чрезвычайно-гуманное воззрѣніе на самыя, повидимому, мрачныя явленія жизни и глубокое

щей собою недолговѣчность этого ученаго журнала. „Спрашивается: къ чему было Большову, попавшему за свой обманъ въ тюрьму, являться опять на сцену? Неужели авторъ хотѣлъ возбудить сочувствіе къ нему, показывая, какъ въ дѣйствительности бываетъ стыдно купцу сидѣть въ ямѣ? Но, вѣдь, всякій имѣетъ право спросить: *чѣмъ же Большовъ заслужилъ сочувствіе?*.. Къ чему же вся эта плаксивая четвертая сцена въ послѣднемъ дѣйствіи? Вѣроятно, къ тому, чтобы показать почтеннѣйшей публикѣ: „смотрите, дескать, какъ не подобаетъ купцу обманывать: пожалуй, самого обмануть еще хуже“. Какая прекрасная мысль, какъ великъ ея нравственный принципъ“!..

Критикъ, очевидно, недалеко ушелъ отъ самого Самсона Силыча въ пониманіи нравственныхъ принциповъ, и потому приведенныя нами выше слова Большова: „не гонись за большимъ, чтобы послѣдняго не потерять“,—принимается за основную идею всей пьесы. Смѣшавъ такимъ образомъ понятія Большова съ идеями самого автора пьесы, критикъ начинаетъ читать слѣдующее наставленіе Островскому: „Чувствуетъ ли авторъ, какъ опасно подчинять искусство дѣйствительности? Замѣчаетъ ли онъ, какъ ничтожна нравственная сторона его произведенія? Неужели истинно-художественное произведеніе можетъ быть основано на такомъ житейскомъ правилѣ: „не обманывай, чтобы не быть обманутымъ“, или—„не рой другому яму,—самъ въ нее попадешь“, или еще ближе къ нашей комедіи — „не обманывай, потому что обманъ не всегда удастся“. Въ чемъ же спасено здѣсь нравственное достоинство человѣка? Осмѣянь ли, по крайней мѣрѣ, обманъ, какъ пошлая сторона природы человѣческой? Нѣтъ... Комедія не говоритъ, насколько обманъ (въ какомъ бы образѣ онъ ни проявлялся) противенъ нравственной природѣ человѣка, а говоритъ только, что купцы, несмотря на нѣдостатки нашихъ законовъ о долгахъ, иногда попадаютъ въ своемъ обманѣ, и ихъ за это сажаютъ въ тюрьму и потомъ отсылаютъ въ Сибирь. Да, нельзя не согласиться,—такъ дѣйствительно бываетъ. Что жъ за необходимость повторять это на сценѣ“!... И непосредственно за наивнымъ вопросомъ критикъ побѣдоносно восклицаетъ: „такъ примѣнилъ г. Островскій выбранное имъ дѣйствіе къ идеѣ произведенія“!...

Мы полагаемъ, что теперь, по прекращеніи „Атенея“, г. „Н. П. Некрасовъ изъ Москвы“ могъ бы съ успѣхомъ писать въ „Орлѣ“ г. Балашевича.

натурѣ, кѣ правственному достоинству человѣческой нату-
ры. — Которое сообщает онъ и своимъ читателямъ. Въ Боль-
шомъ этомъ драматическомъ банкротѣ, мы не видимъ ничего злостнаго,
ничего такого, за что его слѣдовало бы считать из-
вѣстникомъ. Авторъ сводитъ насъ съ официальной, юридической точки
зрѣнія и вводитъ въ самую сущность совершающагося факта, за-
ставляя безчестный замыселъ создаваться и расти предъ нашими
глазами. И что же мы видимъ въ исторіи этого замысла, столь ужас-
наго въ юридическомъ смыслѣ? Ни тѣни сатанинской злобы, ни при-
знака іезуитскаго коварства! Все такъ просто, добродушно, глупо!
Самсонъ Силычъ—вовсе не порожденіе ада, а просто грубое живот-
ное, въ которомъ смолоду заглушены всѣ симпатическія стороны на-
туры и не развиты никакія нравственные понятія. Въ его харак-
терѣ нѣтъ того, что называютъ личной инициативой или свободнымъ
возбужденіемъ себя къ дѣятельности; онъ живетъ такъ, какъ жи-
вется, не рассчитывая и не загадывая много. Самодурствуетъ онъ
потому, что встрѣчаетъ въ окружающихъ не твердый отпоръ, а по-
стоянную покорность; надувается и притѣсняетъ другихъ потому, что
чувствуетъ только, какъ это ему удобно, но не въ состояніи почув-
ствовать, какъ тяжело это имъ; на банкротство рѣшается онъ опять
потому, что не имѣетъ ни малѣйшаго представленія объ обществен-
номъ значеніи такого поступка. Самый законъ является для него не
представителемъ высшей правды, а только внѣшнимъ препятствіемъ,
камнемъ, который нужно убрать съ дороги. Самая совѣсть является
у него не во внутреннемъ голосѣ, а въ насмѣшкахъ прохожихъ, во
взглядѣ на Иверскую, въ опасеніи ссылки въ Сибирь. Короче, —
въ Большовѣ вы видите ясно, что его преступная, безобразная дѣя-
тельность происходитъ именно оттого, что въ немъ не воспитанъ че-
ловѣкъ. Онъ гадокъ для насъ именно тѣмъ, что въ немъ видно почти
полное отсутствіе человѣческихъ элементовъ; и въ то же время онъ
пошлъ и смѣшонъ искаженіемъ и тѣхъ зачатковъ человѣчности, ка-
кіе были въ его натурѣ. Но эта самая гадость и пошлость, пред-
ставленная слѣдствіемъ неразвитости натуры, указываетъ намъ не-
обходимость правильнаго, свободнаго развитія и возстановляетъ предъ
нами достоинство человѣческой природы, убѣждая насъ, что низости
и преступления не лежатъ въ природѣ человѣка и не могутъ быть
удѣломъ естественнаго развитія.

Достиженію этого же результата прекрасно содѣйствуетъ все раз-
витіе пьесы и всѣ остальные лица, группирующіяся около Большова.
Во всей пьесѣ нѣтъ никакихъ особенныхъ махинацій, нѣтъ искус-
ственнаго развитія дѣйствія, въ угоду схоластическимъ теоріямъ и
въ ущербъ дѣйствительной простотѣ и жизненности характеровъ.
Всѣ лица дѣйствуютъ въ своемъ смыслѣ добросовѣстно и ни одно
не впадаетъ въ тонъ мелодрамнаго героя. Достиженію постыдной
цѣли не служатъ здѣсь лучшія способности ума и благороднѣйшія
силы души въ своемъ высшемъ развитіи; напротивъ, вся пьеса ясно
показываетъ, что именно недостатокъ этого развитія и доводитъ лю-

дей до такихъ мерзостей. Во всѣхъ лицахъ замѣтно одно человѣческое стремленіе — высвободиться изъ самодурнаго гнета, подъ которымъ всѣ выросли и живутъ. Большовъ внѣшнимъ образомъ избавился отъ него; но слѣды воспитанія, стѣсняющаго мысль и волю, остались и въ немъ на всю жизнь и сдѣлали его бессмысленнымъ деспотомъ. И до того заразителенъ этотъ нелѣпый порядокъ жизни «темнаго царства», что каждая, самая придавленная личность, какъ только освободится хоть немножко отъ чужаго гнета, такъ и начинаетъ сама стремиться угнетать другихъ. Эти дикія отношенія проведены очень искусно по всей комедіи Островскаго; вотъ почему и сказали мы, что въ ней видимъ цѣлую іерархію самодурства. Въ самомъ дѣлѣ, Большовъ безпрекословно царитъ надъ всѣми; Подхалюзинъ боится хозяина, но уже покрикиваетъ на Ѳоминишну и бьетъ Тишку; Аграфена Кондратьевна, простодушная и даже глуповатая женщина, — какъ огня, боится мужа, но съ Тишкой тоже расправляется довольно энергически, да и на дочь прикрикиваетъ, и если бы сила была, такъ непременно бы сжала ее въ ежовыхъ рукавицахъ. Посмотрите, какъ она расходилась, напримѣръ, во второй сценѣ перваго акта:—«Али ты думаешь, — кричитъ она дочери, — что я не властна надъ тобою приказывать? Говори, безстыжіе твои глаза, съ чего у тебя взглядъ-то такой завистливый? Что ты, притче матери хочешь быть? У меня вѣдь недолго: я и на кухню горшки парить пошлю. Ишь ты! А! Ахъ, матушки вы мои! Посконный сарафанъ сошью, да вотъ на голову тебѣ и надѣну».

Липочка огрызается, а Аграфена Кондратьевна повторяетъ: «уступи верхъ матери! словечко пикнешь, такъ языкъ ниже нитокъ пришью». Но Липочка почерпаетъ для себя силы душевныя въ сознаніи того, что она образованная, и потому мало обращаетъ вниманія на мать и въ распряхъ съ ней всегда остается побѣдительницей: начнетъ ее попрекать, что она не такъ воспитана, да расплачется, мать-то и струситъ, и примется сама же ублажать обиженную дочку. Липочка явно обнаруживаетъ наклонность къ самому грубому и возмутительному деспотизму. Она говоритъ матери: «я вижу, что я другихъ образованнѣе; что жъ мнѣ, потакать вашимъ глупостямъ? какъ же! Есть оказія!» А съ Подхалюзинымъ, при помолвкѣ, они уговариваются: «старикъ почудили на своемъ вѣку, — *будетъ: теперь намъ пора*»... Одинъ только Тишка не обнаруживаетъ еще никакихъ стремленій къ преобладанію, а, напротивъ, служить мишенью, въ которую направляются самодурныя замашки цѣлаго дома: «у насъ, — жалуется онъ, — коли не тотъ, такъ другой, коли не самъ, такъ сама задастъ вытрепку; а то вотъ приказчикъ Лазарь, а то вотъ Ѳоминишна, а то вотъ... всякая шваль надъ тобой командуетъ». Слѣды этого командованья съ безпрестанными вытрепками уже обнаруживаются въ Тишкѣ; онъ уже выучился мошенничать и воровать. А когда наворуетъ денегъ побольше, то и самъ, конечно, примется командовать такъ же безпутно и жестоко, какъ и имъ командовали. Его карьера очень искусно обозначена Островскимъ въ немногихъ

словахъ, произносимыхъ Тишкою въ сценѣ, гдѣ онъ считаетъ свои деньги, оставшись одинъ. «Полтина серебромъ — это Лазарь далъ (за то, что за водкой сходилъ тихонько); да намедни, какъ съ колокольни упалъ, Аграфена Кондратьевна гривенникъ дала; да четвертакъ въ орлянку выигралъ, да третьевось хозяинъ забылъ на прилавкѣ цѣлковый». Вотъ источники пріобрѣтенія для Тишки: сбѣгать за водкой, упасть съ колокольни, выиграть, украсть. Какое нравственное чувство разовьется въ немъ при такой жизни? Какъ онъ будетъ сочувствовать страданіямъ другихъ, когда его самого утѣшали гривенничками за то, что онъ съ колокольни упалъ! Ясно, что и изъ него современемъ выйдетъ Подхалюзинъ... Такова ужъ почва этого «темнаго царства», что на ней другихъ продуктовъ не можетъ вырасти!

Но что такое самъ Подхалюзинъ? Вѣдь это сознательный мошенникъ, съ развитыми понятіями! Не составляетъ ли онъ противорѣчія общему впечатлѣнію комедіи, заставляющей насъ признать всѣ преступленія въ этой средѣ слѣдствіемъ темноты разумнія и неразвитости человѣческихъ сторонъ характера? Напротивъ, Подхалюзинъ окончательно убѣждаетъ насъ въ вѣрности этого впечатлѣнія. Въ немъ мы видимъ, что онъ именно настолько и сносенъ еще, насколько коснулось его вѣяніе человѣческой идеи. Онъ не очертя голову бросается въ обманъ, онъ обдумываетъ свои предпріятія, и вотъ мы видимъ, что сейчасъ же въ немъ ужъ является и отвращеніе отъ обмана въ нагомъ его видѣ, и стараніе замазать свое мошенничество разными софизмами, и желаніе пріискать для своего плутовства какія-нибудь нравственные основанія и въ самомъ обманѣ соблюсти видимую, юридическую добросовѣстность. Есть вещи, о которыхъ онъ вовсе и не думалъ,—какъ, напримѣръ, обмѣриваніе и надуваніе покупателей въ лавкѣ,—такъ тамъ онъ и дѣйствуетъ совершенно равнодушно, безъ зазрѣнія совѣсти. Но когда вышелъ случай несбыкновенный, случай попользоваться большимъ кушемъ изъ имѣнія хозяина, тутъ Подхалюзинъ задумался и началъ себя оправдывать.

„Говорятъ, надо совѣсть знать,—разсуждаетъ онъ: — да извѣстное дѣло, *надо совѣсть знать, да въ какомъ это смыслѣ понимать* нужно? Противъ хорошаго человѣка у всякаго есть совѣсть, а коли онъ самъ другихъ обманываетъ, такъ *какая же тутъ совѣсть!* Самсонъ Силычъ кунецъ богатѣйшій, и тепереча все это дѣло, можно сказать, такъ, для препровожденія времени затѣялъ. А я человѣкъ бѣдный! Если и попользуюсь въ этомъ дѣлѣ чѣмъ-нибудь лишнимъ, такъ и грѣха нѣтъ никакого; *потому онъ самъ несправедливо поступаетъ, противъ закона идетъ.* А мнѣ что его жалѣть? Вышла линія,—ну, и не плошай: онъ свою *политику ведетъ, а ты свою статью ищи.* Еще то ли бы я съ нимъ сдѣлалъ, да не приходится“!

Видите, что и Подхалюзинъ не извергъ, и онъ совѣсть имѣетъ, только понимаетъ ее по-своему. Онъ, какъ и всѣ прочіе, сбить съ толку военнымъ положеніемъ всего «темнаго царства»; обманъ свой

онъ обдумываетъ,—не какъ обманъ, а какъ ловкую и въ сущности справедливую, хотя юридически и незаконную штуку; прямой же неправды онъ не любитъ: свахѣ онъ общалъ двѣ тысячи и даетъ ей сто цѣлковыхъ, упираясь на то, что ей не за что давать болѣе. Рисположенскому онъ отдаетъ деньги по мелочи, и только уже передавши ему нѣсколько сотъ отказывается отъ дальнѣйшей уплаты, находя, что ему «пора ужъ и честь знать». За самого Большова онъ не вовсе отказывается платить кредиторамъ, но только рассчитываетъ, что 25 копѣекъ—много. Притомъ же, въ этомъ случаѣ онъ имѣетъ видимое основаніе для своего поведенія: онъ помнитъ, что самъ Большовъ говорилъ ему, и ссылается на его же собственные слова. Отдавая за него дочь, Самсонъ Силычъ ведетъ такой разговоръ съ будущимъ зятемъ:

Большовъ. Свое добро, самъ нажилъ... кому хочу, тому даю... Да что тутъ разговаривать-то! На милость суда нѣтъ! Бери все, только насъ со старухой корми, да кредиторамъ заплати копѣекъ по десяти.

Подхалюзинъ. Стоягъ-ли, татенька, объ этомъ говорить-съ. Нешто я не чувствую? Свой люди—сочтемся.

Большовъ. Говорятъ тебѣ, бери все, да и кончено дѣло! И никто мнѣ не указъ! Заплати только кредиторамъ. Заплатишь?

Подхалюзинъ. Помилуйте, татенька, первымъ долгомъ-съ.

Большовъ. Только ты смотри — имъ много не давай. *А то ты чай радъ съ-дуру то все отдать.*

Подхалюзинъ. Да ужъ тамъ татенька, сочтемся. Помилуйте, свои люди.

Большовъ. То-то же. *Ты имъ больше десяти копѣекъ не давай.* Будетъ съ нихъ.

Подхалюзинъ очень хорошо вошелъ въ эти соображенія и кротко напоминаетъ ихъ Большову, когда тотъ является къ нему изъ ямы. Претензіи кредиторовъ на 25 коп. онъ не признаетъ справедливою, напротивъ, онъ находитъ, что они «зазнались больно: а не хотятъ ли восемь копѣекъ въ пять лѣтъ». Проникнутый этими мыслями, онъ радушно угощаетъ тестя, вмѣстѣ съ нимъ ругаетъ кредиторовъ, выражаетъ надежду, что «какъ-нибудь отдѣлаемся», ибо «Богъ милостивъ»; но заплатить требуемое кредиторами отказывается, потому что они «просятъ цѣну совсѣмъ несообразную». Съ его точки зрѣнія онъ поступаетъ ничуть не безчестно и не жестоко, а только благоразумно и твердо. Онъ даже выказываетъ значительную степень великодушія, соглашаясь платить за Большова 15 копѣекъ вмѣсто 10-ти и рѣшаясь даже самъ ѣхать къ кредиторамъ, чтобы ихъ упрашивать. Видно, что онъ не лишенъ даже чувства состраданія и нѣкоторой совѣстливости; но ему все хочется отжилить поболѣе, и онъ надѣется, что авось уладить дѣло повыгоднѣе. Здѣсь-то всего болѣе и выказывается въ Подхалюзинѣ мелкій плутъ, образовавшійся прямо вслѣдствіе деспотическаго гнета, тяготѣвшаго надъ нимъ съ малолѣтства. У него нѣтъ и разбойнической рѣшимости от-

казаться от всякой уплаты и бросить все это дѣло Большова на произволъ судьбы, съ тѣмъ, чтобы рѣшиться на новыя походы, съ новыми хлопотами и рискомъ; нѣтъ и умнаго разсчета, отличающаго мошенниковъ высокаго полета и заставляющаго ихъ брать изъ всякой спекуляціи хоть что нибудь, только бы покончить дѣло. Ловкій мошенникъ большой руки, пустившись на такое дѣло, какъ злостное банкротство, не пропустилъ бы случая отдѣлаться 25 копѣйками за рубль; онъ тотчасъ покончилъ бы всю афферу этой выгодной сдѣлкой и былъ бы очень доволенъ. Да и какъ же не быть довольнымъ, успѣвши задаромъ получить три четверти чужого имѣнія? Кромѣ русскаго доморощеннаго плута, всякій удовлетворился бы такимъ результатомъ. Настоящій мошенникъ, по призванію посвятившій себя этой спеціальности, не старается изъ каждаго обмана вытянуть и выторговать себѣ фортуны, не возится изъ-за гроша съ афферой, которая доставила уже рубли; онъ знаетъ, что за те-перешней спекуляціей ожидаетъ его другая, за другой представится третья, и т. д., и потому онъ спѣшитъ обдѣлывать одно дѣло, чтобы взявши съ него что можно, перейти къ другому. Совсѣмъ не такъ поступаетъ нашъ мелкій плутъ, порожденный и возрожденный безсмысленнымъ гнетомъ самодурства. Въ немъ нѣтъ именно этой раз-машистости, которой такъ всѣ восхищаются почему-то въ русскомъ человѣкѣ, но за то много безтолковаго сквалыжничества. Въ поступкѣ Подхалюзина могутъ видѣть нѣкоторые тоже широту русской натуры: «вотъ, дескать, какой,—коли брать и изъ чужого добра, такъ ужъ забирай больше, бери не три-четверти, а девять-десятыхъ»... Но въ самомъ-то дѣлѣ Подхалюзинъ выказываетъ здѣсь именно отсутствіе предприимчивости и увѣренности въ себѣ. Онъ пользуется своимъ обманомъ, какъ находкой, которая разъ попалась, а въ другой разъ и не попадется, пожалуй. Поэтому-то онъ и не расстаётся съ своей афферой, все выжидая,—нельзя ли изъ нея еще чего-нибудь вытянуть: не даромъ же онъ рисковалъ въ самомъ дѣлѣ! Ему такъ непривыченъ, такъ тяжелъ всякій рискъ, что онъ боится и думать о вторичной попыткѣ подобнаго рода... Теперь ему только бы устроиться, а тамъ онъ пойдетъ ужъ на мелкіе обманы, какъ и общается въ заключительномъ обращеніи къ публикѣ, по первому изданію комедіи: «а вотъ мы магазинчикъ открываемъ! Милости просимъ: малаго ребенка пришлете, — въ луковицѣ не обочтемъ съ». Это значитъ, что онъ удовольствуется той практикой, которую прежде объяснялъ приказчикамъ Большова... Развѣ опять *подойдетъ линія*, гдѣ будетъ что-нибудь плохо лежать: тутъ онъ и побольше стянетъ себѣ, что успѣетъ.

Такимъ образомъ, и Подхалюзинъ не представляетъ собою изверга, не есть квинтъ-эссенція всѣхъ мерзостей. Всего гаже онъ въ той сценѣ, гдѣ онъ плачетъ предъ Большовымъ, увѣряя его въ своей привязанности и пр. Но вѣдь тутъ онъ подмазывается къ Самсону Силычу не столько изъ корысти, сколько для того, чтобы выманить у старика обѣщаніе выдать за него Липочку, которую,—надо замѣ-

тять,—Подхалюзинъ любить сильно и искренно... Онъ это ясно доказываетъ своимъ обращеніемъ съ ней въ четвертомъ актѣ, т. е. когда она уже сдѣлалась его женою... А для любви такія ли хитрости прощаемъ мы самымъ нравственнымъ героямъ, въ самыхъ романическихъ исторіяхъ.

Нечего распространяться о томъ, что общему впечатлѣнію пьесы нимало не вредить и Липочка, при всей своей нравственной уродливости. Находятъ, что ея обращеніе съ матерью и потомъ сцена съ отцемъ въ послѣднемъ актѣ переходятъ предѣлы комическаго, какъ слишкомъ омерзительныя. Намъ вовсе этого не кажется, потому что мы не можемъ признать святости кровныхъ отношеній въ такомъ семействѣ, какъ у Большова. На Липочкѣ тоже видна печать домашняго деспотизма: только при немъ образуются эти черствыя, бездушныя натуры, эти холодныя, отталкивающія отношенія къ роднымъ: только при немъ возможно такое совершенное отсутствіе всякаго нравственнаго смысла, какое замѣчается у Липочки. А за исключеніемъ того, что осталось въ Липочкѣ, какъ слѣдъ давившаго ее деспотизма, она ничуть не хуже большей части нашихъ барышенъ, не только въ купеческомъ, но даже и въ дворянскомъ сословіи. Многія ли изъ нихъ не наполняютъ всей своей жизни одной внѣшностью, не утѣшаются въ горѣ нарядами, не забываются за танцами, не мечтаютъ объ офицерахъ? Если я на своемъ вѣку имѣлъ разговоръ съ тремя образованными барышнями, то отъ двухъ изъ нихъ ужъ, конечно, слышалъ я повтореніе извѣстнаго монолога Липочки: <то ли дѣло отличатся съ военными! Ахъ, прелесть, восхищеніе! И усы, и эполеты, и мундиръ, а у иныхъ даже шпоры съ колокольчиками!.. Ужъ какое же есть сравненіе,—военный или штатскій? Военный ужъ сейчасъ видно: и ловкость, и все; а штатскій что? Такъ, какой-то неодушевленный>... Какъ же можно барышенъ, произносящихъ подобныя монологи, серьезно обвинять за что-нибудь? Не ясно-ли, что Липочка все, что ни сдѣлаетъ, сдѣлаетъ по совершенной неразвитости нравственной и умственной, а никакъ не по злонамѣренности или природному звѣрству? Чѣмъ же возмущаться въ личности этой несчастной?

Вообще, чѣмъ можно возмущаться въ «Своихъ людяхъ»? Не людьми и не частными ихъ поступками, а развѣ тѣмъ печальнымъ безмысліемъ, которое тяготѣетъ надъ всѣмъ ихъ бытомъ. Люди, какъ мы видѣли, показаны намъ въ комедіи съ человѣческой, а не съ юридической стороны, и потому впечатлѣніе самыхъ ихъ преступленій смягчается для насъ. Официальнымъ образомъ мы видимъ здѣсь злостнаго банкрота, еще болѣе злостнаго приказчика, ограбившаго своего хозяина, ехидную дочь, хладнокровно отправляющую въ острогъ своего отца, — и всѣ эти лица мы клеймимъ именами злодѣевъ и изверговъ. Но авторъ комедіи вводитъ насъ въ самый домашній бытъ этихъ людей, раскрываетъ передъ нами ихъ душу, передаетъ ихъ логику, ихъ взглядъ на вещи, и мы невольно убѣждаемся, что тутъ нѣтъ ни злодѣевъ, ни изверговъ, а все люди

очень обыкновенные, какъ всѣ люди, и что преступленія, поразившія насъ, суть вовсе не слѣдствія исключительныхъ натуръ, и своей сущности склонныхъ къ злодѣйству, а просто неизбежныя результаты тѣхъ обстоятельствъ, среди которыхъ начинается и проходитъ жизнь людей, обвиняемыхъ нами. Слѣдствіемъ такого убѣжденія является въ насъ уваженіе къ человѣческой натурѣ и личности вообще, смѣхъ и презрѣніе въ отношеніи къ тѣмъ уродливымъ личностямъ, которыя дѣйствуютъ въ комедіи и въ официальном смыслѣ внушаютъ ужасъ и омерзѣніе, и наконецъ—глубокая, непримиримая ненависть къ тѣмъ вліяніямъ, которыя такъ задерживаютъ и искажаютъ нормальное развитіе личности. Затѣмъ мы прямо переходимъ къ вопросу: что же это за вліянія и какимъ образомъ они дѣйствуютъ? Комедія ясно говоритъ намъ, что вредныя вліянія состоятъ здѣсь въ дикомъ, безправномъ самовольствѣ однихъ надъ другими. Самый способъ дѣйствія этихъ вліяній объясняется намъ изъ комедіи очень просто. Мы видѣли, что Большовъ вовсе не сильная натура, что онъ неспособенъ къ продолжительной борьбѣ, да и вообще не любитъ хлопотъ; видѣли мы также, что Подхалюзинъ — человѣкъ смѣтливый и вовсе не привязанный къ своему хозяину; видѣли, что и всѣ домашніе не очень-то расположены къ Самсону Силычу, кромѣ развѣ жены его, совершенно ничтожной и глупой старухи. Что же мѣшаетъ имъ составить открытую оппозицію противъ неистовства Большова? То, что они матеріально зависятъ отъ него, ихъ благосостояніе связано съ его благосостояніемъ? Но въ такомъ случаѣ, отчего Подхалюзинъ, радѣя о пользахъ хозяина, не удерживаетъ его отъ опаснаго шага, на который тотъ рѣшается по неразумію, «такъ, для препровожденія времени»? Потому, конечно, что Подхалюзинъ самъ надѣется тутъ негрѣть руки? Да,—но здѣсь-то и раскрывается въ полной силѣ весь ужасъ нелѣпыхъ отношеній, изображенныхъ намъ въ «Своихъ людяхъ». Видите, здѣсь дѣло не въ личности самодура, угнетающаго свою семью и всѣхъ окружающихъ. Онъ безсиленъ и ничтожен самъ по себѣ; его можно обмануть, устранить, засадить въ яму на конецъ... Но дѣло въ томъ, что съ уничтоженіемъ его не исчезаетъ самодурство. Оно дѣйствуетъ заразительно, и сѣмена его западаютъ въ тѣхъ самыхъ, которые отъ него страдаютъ. Безправное, оно подрываетъ довѣріе къ праву; темное и ложное въ своей основѣ оно гонитъ прочь всякій лучъ истины; бессмысленное и капризное оно убиваетъ здравый смыслъ и всякую способность къ разумной цѣлесообразной дѣятельности; грубое и гнетущее, оно разрушаетъ всѣ связи любви и довѣренности, уничтожаетъ даже довѣріе къ самому себѣ и отучаетъ отъ честной, открытой дѣятельности. Вотъ чѣмъ именно и опасно оно для общества! Самодура уничтожитъ было бы не трудно, если бѣ энергически принялись за это честныя люди. Но бѣда въ томъ, что, подъ вліяніемъ самодурства, самыя честныя люди мельчаютъ и истомляются въ рабской бездѣятельности, а дѣломъ занимаются только люди, въ которыхъ собственно чело

вѣчныя стороны характера наименѣе развиты. И дѣятельность этихъ людей, вслѣдствіе совершеннаго извращенія ихъ понятій подъ вліяніемъ самодурства, имѣетъ тоже характеръ мелкій, частный и грубо-эгоистическій. Цѣль ихъ не та, чтобы уничтожить самодурство, отъ котораго они такъ страдаютъ, а та, чтобы только какъ-нибудь повалить самодура и самимъ занять его мѣсто. И вотъ—Большовъ угодилъ въ яму, и вмѣсто него явился Подхалюзинъ и благоденствуетъ на тѣхъ же правахъ ¹⁾).

Таковы общіе выводы, представляемые намъ комедіею «Свои люди—сочтемся». Мы остановились на ней особенно долго по многимъ причинамъ. Во-первыхъ, о ней до сихъ поръ не было говорено ничего серьезнаго; во-вторыхъ, краткія замѣтки, какія дѣлались о ней мимоходомъ, постоянно обнаруживали какое-то странное пониманіе смысла пьесы; въ-третьихъ, сама по себѣ комедія эта принадлежитъ къ наиболѣе яркимъ и выдержаннымъ произведеніямъ Островскаго; въ-четвертыхъ, не будучи играна на сценѣ, она менѣе популярна въ публикѣ, нежели другія его пьесы... Кромѣ того, она требовала болѣе подробнаго разсмотрѣнія и потому, что въ ней изображаются подвижныя плутовскія натуры, развившіяся подъ гнетомъ самодурства. Таковы здѣсь всѣ лица, исключая Аграфены Кондратьевны. Они дѣятельно подчинились самодурству, растлили свой умъ, сдѣлались сами участниками гадостей, порождаемыхъ деспотическимъ гнетомъ. Разсмотрѣть это нравственное искаженіе представляетъ задачу гораздо болѣе сложную и трудную, нежели указать простое паденіе внутренней силы человѣка подъ тяжестью внѣшняго гнета. А именно натуры послѣдняго разряда, сдавленные, убитыя, потерявшія всякую энергію и подвижность, представляются намъ, главнымъ образомъ, въ послѣдующихъ комедіяхъ

¹⁾ Впрочемъ, въ новомъ изданіи Островскаго и Подхалюзинъ не благоденствуетъ, а уводится къ концу пьесы квартальнымъ, имѣя затѣмъ въ перспективѣ Сибирь. Намъ кажется, что эта прибавка совершенно лишняя. Конечно, авторъ сдѣлалъ ее не по своимъ убѣжденіямъ, а въ угоду нѣкоторымъ, слишкомъ ужъ строгимъ, пуристамъ, требовавшимъ, чтобы порокъ непременно былъ наказанъ. Но мы видѣли, что здѣсь дѣло не въ лицахъ и не во внѣшнемъ фактѣ, а въ самомъ бытѣ, въ самыхъ связяхъ, которыми держится весь этотъ бытъ. Притомъ же мы знаемъ, что если Подхалюзинъ можетъ подвергнуться наказанію, то развѣ за какую-нибудь оплошность свою,—за то, что не совсѣмъ чисто умѣлъ обработать дѣльце. Да притомъ, у него остается еще одинъ ресурсъ: квартальнаго встрѣчаетъ онъ предложеніемъ выпить водочки и поговорить съ нимъ, надѣясь такимъ образомъ уладить дѣло. Квартальный не соглашается и уводитъ его; но мы знаемъ что не отъ квартальнаго зависитъ судьба Подхалюзина и что не всѣ въ темномъ царствѣ такъ несговорчивы, какъ этотъ необыкновенный квартальный... Мы даже почти увѣрены, по опущеніи занавѣса, что при существующихъ общественныхъ отношеніяхъ той среды, въ которой дѣйствуетъ Подхалюзинъ, онъ непременно найдетъ легкое средство вывернуться и оправдаться.

Островскаго, къ которымъ мы должны теперь обратиться. Въ этихъ послѣднихъ мы уже гораздо короче постараемся прослѣдить мертвящее вліяніе самодурства и, преимущественно, остановимся на одномъ его видѣ—на рабскомъ положеніи нашей женщины въ семействѣ. Затѣмъ, въ связи съ тѣмъ же вопросомъ самодурства, и даже въ прямой зависимости отъ него, рассмотримъ значеніе тѣхъ формъ образованности, которыя такъ смущаютъ обитателей нашего «темнаго царства», и наконецъ тѣхъ средствъ, которыя многими изъ героевъ этого царства употребляются для упроченія своего матеріальнаго благосостоянія. Но разсмотрѣніе всѣхъ этихъ вопросовъ и показаніе непосредственной связи ихъ съ самодурствомъ,—какъ оно обнаруживается въ комедіяхъ Островскаго, — должно составить другую статью.

Теперь же мы можемъ, въ заключеніе разбора «Своихъ людей», только спросить читателей: откажутъ ли они изображеніямъ Островскаго, такъ подробно анализированнымъ нами, въ жизненной правдѣ и въ силѣ художническаго представленія? И если эти лица и этотъ бытъ вѣрны дѣйствительности, то думаютъ ли читатели, что тѣ стороны русскаго быта, которыя рисуетъ намъ Островскій, не стоятъ вниманія художника? Рѣшатся ли они сказать, что дѣйствительность, изображаемая имъ, имѣетъ лишь частное и мелкое значеніе и не можетъ дать никакихъ важныхъ результатовъ для человѣка разсуждающаго?.. Отвѣтъ на эти вопросы можетъ показать, достигли ли мы своей цѣли, анализируя факты, представлявшіеся намъ въ комедіяхъ Островскаго... Что касается лично до насъ, то мы никому ничего не навязываемъ, мы даже не выражаемъ ни восторга, ни негодованія, говоря о произведеніяхъ Островскаго. Мы только слѣдимъ за явленіями, имъ изображенными, и объясняемъ, какой смыслъ имѣютъ они для насъ. Читатели, соображаясь съ своими собственными наблюденіями надъ жизнью и съ своими понятіями о правѣ, нравственности и требованіяхъ природы человѣческой, могутъ рѣшить сами—какъ то, справедливы ли наши сужденія, такъ и то, какое значеніе имѣютъ жизненные факты, извлекаемые нами изъ комедій Островскаго.

III.

И нынѣ все дико и пусто кругомъ...
Не шепчутся листья съ гремучимъ ключемъ;
Напрасно пророка о тѣни онъ проситъ:
Его лишь песокъ раскаленный заноситъ,
Да коршунъ хохлатый, степной нелиудимъ,
Добычу терзаетъ и щиплетъ надъ нимъ.

Д Е Р М О Н Т О В Ъ.

Разсматривая комедию Островскаго «Свои люди—сочтемся», мы обратили вниманіе читателей на нѣкоторыя черты русскаго, преимущественно купческаго, быта, отразившіяся въ этой комедіи. Мы сказали, что основа комизма Островскаго заключается, по нашему мнѣнію, въ изображеніи безсмысленнаго вліянія *самодурства*, въ обширномъ значеніи слова, на семейный и общественный бытъ. Въ отношеніяхъ Самсона Силыча Большова ко всѣмъ его окружающимъ, мы видѣли, что самодурство это — бессильно и дряхло само по себѣ, что въ немъ нѣтъ никакого нравственнаго могущества, но вліяніе его ужасно тѣмъ, что, будучи само безсмысленно и безправно, оно искажаетъ здравый смыслъ и понятіе о правѣ во всѣхъ, входящихъ съ нимъ въ соприкосновеніе. Мы видѣли, что подъ вліяніемъ самодурныхъ отношеній развивается плутовство и пронырливость, глохнутъ всѣ гуманныя стремленія даже хорошей натуры, и развивается узкій, исключительный эгоизмъ и враждебное расположеніе къ ближнимъ. Нужно имѣть геніально-свѣтлую голову, младенчески-непорочное сердце и титанически-могучую волю, — чтобы имѣть рѣшимость выступить на практическую, дѣйствительную борьбу съ окружающей средою, нелѣпость которой способствуетъ только развитію эгоистическихъ чувствъ и вѣроломныхъ стремленій во всякой живой и дѣятельной натурѣ.

Но чтобы выйти изъ подобной борьбы непобѣжденнымъ, — для этого мало и всѣхъ исчисленныхъ нами достоинствъ: нужно еще имѣть желѣзное здоровье и, главное, вполне обеспеченное состояніе. А между тѣмъ, по устройству «темнаго царства», — все его зло, вся его ложь тяготѣетъ страданіями и лишеніями именно только надъ тѣми, которые слабы, изнурены и необезпечены въ жизни; для людей же сильныхъ и богатыхъ — та же самая ложь служитъ къ услажденію жизни. Что же имъ за выгода обличать эту ложь, бороться съ этимъ зломъ? Можно ли ожидать, что купецъ Большовъ станетъ требовать, на примѣръ, отъ своего приказчика Подхалюзина, чтобы тотъ разорялъ его, поступая по совѣсти и отговаривая покупателей отъ покупки гнилого товара и отъ платы

за него лишнихъ денегъ? Само собою разумѣется, что ужъ скорѣе самъ приказчикъ могъ бы, проникнувшись добросовѣстностью, послѣдовать такому образу дѣйствій. Но приказчикъ связанъ съ хозяиномъ: онъ сытъ и одѣтъ по хозяйской милости, онъ можетъ «въ люди произойти», если хозяинъ полюбитъ его; а ежели не полюбитъ, то что же такое приказчикъ, со своей непрактической добросовѣстностью? Такъ,—ничтожество!... И вотъ Подхалюзинъ начинаетъ соображать шансы своего положенія. Человѣкъ онъ не гениальный, не герой и не титанъ, а очень обыкновенный смертный. Невозможно и требовать отъ него практическаго протеста противъ всей окружающей его среды, противъ обычаевъ, установившихся вѣками, противъ понятій, которыя, какъ святыня, внушались ему, когда онъ былъ еще мальчишкою, ничего не смыслившимъ... Ясно, что онъ долженъ подчиняться той морали, какая господствуетъ въ атмосферѣ его окружающей,—пойти по той дорожкѣ, которая проторена другими... Не пробовать же ему новой, никому невѣдомой дороги, когда ужъ есть готовый торный проселокъ!

Но съ другой стороны, какъ натура живая и дѣятельная, и Подхалюзинъ задаетъ себѣ нѣкоторые жизненные вопросы и задачи. Задачи его обыкновенно очень мизерны, вопросы—неглубоки, потому что кругъ зрѣнія его очень ограниченъ. Онъ видитъ передъ собою своего хозяина-самодура, который ничего не дѣлаетъ, пьетъ, ѣстъ и проклажается въ свое удовольствіе, ни отъ кого ругательствъ не слышитъ, а, напротивъ, самъ всѣхъ ругаетъ невозбранно,—и въ этомъ гаденькомъ лицѣ онъ видитъ идеаль счастья и высоты, достижимыхъ для человѣка. Что выходитъ изъ тѣснаго круга обыденной жизни, постоянно имъ видимой, о томъ онъ имѣетъ лишь смутныя понятія, да нimalo и не заботится, находя, что то ужъ совсѣмъ другое, объ этомъ ужъ нашему брату и думать нечего... А разъ рѣшивши это, поставивши себѣ такой предѣлъ, за который нельзя переступить, Подхалюзинъ, очень естественно, старается приспособить себя къ такому кругу, гдѣ ему надо дѣйствовать, и для того съеживается и выгибается. Это же и не стоитъ ему большого труда,—дѣло привычное съ малолѣтства: какъ вытянуть по спинѣ аршиномъ или начать объ голову кулаки оббивать,—такъ тутъ поневолѣ выгнешься и сожмешь... И Подхалюзинъ, вынося самъ всякія истязанія и находя, наконецъ, что это въ порядкѣ вещей, глубоко затаиваетъ свои личныя, живыя стремленія, въ надеждѣ, что будетъ же когда-нибудь и на его улицѣ праздникъ. Между тѣмъ, нравственное развитіе идетъ своимъ путемъ, логически-неизбѣжнымъ при такомъ положеніи: Подхалюзинъ, находя, что личныя стремленія его принимаются всѣми враждебно, мало-по-малу приходитъ къ убѣжденію, что дѣйствительно личность его, какъ и личность всякаго другого, должна быть въ антагонизмѣ со всѣмъ окружающимъ, и что, слѣдовательно, чѣмъ болѣе онъ отниметъ отъ другихъ, тѣмъ полнѣе удовлетворитъ себя. Изъ этого начала развивается то вѣчно-осадное положеніе, въ которомъ неизбѣжно находится каждый оби-

татель «темнаго царства», пускающійся въ практическую дѣятельность, съ намѣреніемъ добиться чего-нибудь... Высшія нравственныя правила, для всѣхъ равно обязательныя, существуютъ для него только въ нѣсколькихъ прекрасныхъ реченіяхъ и заповѣдяхъ, никогда не примѣняемыхъ къ жизни; симпатическая сторона натуры въ немъ не развита; понятія, выработанныя наукою, объ общественной солидарности и о равновѣсіи правъ и обязанностей,—ему недоступны. Самые идеалы его (потому что идеалы и у Подхалюзина есть, какъ есть и у городничаго въ «Ревизорѣ») грубы, тусклы, безобразны и безчеловѣчны. Городничій мечтаетъ о томъ, какъ онъ, сдѣлавшись генераломъ, будетъ заставлятъ городничихъ ждать себя по пяти часовъ; такъ точно Подхалюзинъ предполагаетъ: «тятенька подурили на своемъ вѣку,—будетъ: теперь намъ пора». И только бы ему достичь возможности осуществить свой идеалъ: онъ, въ самомъ дѣлѣ, не замедлитъ заставить другихъ такъ же бояться, подличать, фальшивить и страдать отъ него, какъ боялся, подличалъ, фальшивилъ и страдалъ самъ онъ, пока не обезпечилъ себѣ право на самодурство...

Тяжело прослѣдить подобную карьеру; горько видѣть такое искаженіе человѣческой природы. Кажется, ничего не можетъ быть хуже того дикаго, неестественнаго развитія, которое совершается въ натурахъ, подобныхъ Подхалюзину, вслѣдствіе тяготѣнія надъ нимъ самодурства. Но въ послѣдующихъ комедіяхъ Островскаго намъ представляется новая сторона того же вліянія, по своей мрачности и безобразію едва ли уступающая той, которая была нами указана въ прошедшей статьѣ.

Эта новая сторона является намъ въ натурахъ подавленныхъ, безотвѣтныхъ. Такія натуры представляются намъ почти въ каждой изъ комедій Островскаго, съ большею или меньшею ясностью очертаній. Даже въ «Своихъ людяхъ» Аграфена Кондратьевна принадлежитъ къ такимъ натурамъ: но здѣсь она не играетъ видной роли. Ярче выставляются намъ въ послѣдующихъ комедіяхъ лица Мити въ «Бѣдность не порокъ», и дѣтей Брусковыхъ въ пьесѣ «Въ чужомъ пиру похмѣлье», и лица дѣвушекъ почти во всѣхъ комедіяхъ Островскаго. Авдотья Максимовна, Любовь Торцова, Даша, Надя—все это безвинныя, безотвѣтныя жертвы самодурства, и то сглаженіе, *отмываніе* человѣческой личности, какое въ нихъ произведено жизнью, едва-ли не безотраднѣе дѣйствуетъ на душу, нежели самое искаженіе человѣческой природы въ плутахъ, подобныхъ Подхалюзину. Тамъ еще кое-гдѣ пробивается жизнь, самобытность, мерцаетъ минутами лучъ какой-то надежды; здѣсь—тишь невозмутимая, мракъ непроглядный, здѣсь предъ вами стоитъ мертвая красавица въ безлюдной степи, и общее гробовое молчаніе нарушается лишь движеніемъ степного коршуна, терзающаго въ воздухѣ добычу... Жутко, точно на кладбищѣ или въ домѣ купца-раскольника наканунѣ великаго праздника!

Чтобы видѣть проявленіе безотвѣтной, забитой натуры въ раз-

ныхъ положеніяхъ и обстоятельствахъ, мы прослѣдимъ теперь послѣдующія за «Своими людьми» комедіи Островскаго изъ купеческаго быта, начавши съ комедіи «Не въ свои сани не садись».

Но, упомянувши объ этой пьесѣ, мы считаемъ нужнымъ напомнить читателямъ то, что сказано было нами въ первой статьѣ — о значеніи вообще художнической дѣятельности. «Не въ свои сани не садись» вызвало самыя разнообразныя сужденія *объ убѣжденіяхъ* Островскаго. Одни превозносили его за то, что онъ усвоилъ себѣ прекрасныя воззрѣнія славянофиловъ на прелести русской старины; другіе возмутились тѣмъ, что Островскій явился противникомъ современной образованности. Всѣ эти разсужденія могли быть при- скорбны для Островскаго главнымъ образомъ потому, что изъ-за толковъ о его воззрѣніяхъ совершенно забывали о его талантѣ и о лицахъ и явленіяхъ, выведенныхъ имъ. Въ отношеніи къ Островскому такой пріемъ былъ просто не деликатенъ. Мы понимаемъ, что графа Соллогуба, на примѣръ, нельзя было разбирать иначе, какъ спрашивая: что онъ *хотѣлъ сказать* своимъ «Чиновникомъ»? — потому что «Чиновникъ» есть не что иное, какъ модная юридическая — даже не идея, а просто — фраза, драматизированная безъ малѣйшаго признака таланта. Можно такъ обращаться, на примѣръ, и съ стихотвореніями г. Розенгейма: поэзіи у него нѣтъ ни въ одномъ стихѣ; поэтому единственною мѣркою достоинства стихотворенія остается относительное значеніе идеи, на которую оно сочинено. Такимъ образомъ, не входя ни въ какія художественныя разбирательства, можно, на примѣръ, похвалить г. Розенгейма за то, что «Гроза», помѣщенная имъ недавно въ «Русскомъ Словѣ», написана имъ на тему, не имѣющую той пошлости, какъ его чиновничьи и откупныя элегіи. Здѣсь мы можемъ быть совершенно спокойны, обращая вниманіе единственно на воззрѣніе автора, какое желалъ онъ выразить въ пьесѣ. Комедіи Островскаго заслуживаютъ другого рода критики, потому что въ нихъ, независимо отъ теоретическихъ понятій автора, есть всегда художественныя достоинства. Мы уже замѣчали, что общія идеи принимаются, развиваются и выражаются художникомъ въ его произведеніяхъ совершенно иначе, нежели обыкновенными теоретиками. Не отвлеченныя идеи и общіе принципы занимаютъ художника, а живые образы, въ которыхъ проявляется идея. Въ этихъ образахъ поэтъ можетъ, даже непримѣтно для самого себя, уловить и выразить ихъ внутренній смыслъ гораздо прежде, нежели опредѣлить его разсудкомъ. Иногда художникъ можетъ и вовсе не дойти до смысла того, что онъ самъ же изображаетъ; но критика и существуетъ за тѣмъ, чтобы разъяснить смыслъ, скрытый въ созданіяхъ художника, и, разбирая представленныя поэтомъ изображенія, она вовсе не уполномочена привязываться къ теоретическимъ его воззрѣніямъ. Въ первой части «Мертвыхъ душъ» есть мѣста, по духу своему близко подходящія къ «Перепискѣ», но «Мертвыя души» отъ этого не теряли своего общаго смысла, столь противоположнаго теоретическимъ воззрѣніямъ Гоголя. И критика Бѣлин-

скаго не трогала гоголевскихъ теорій, пока онъ являлся предъ нею просто какъ художникъ; она ополчилась на него тогда, когда онъ провозгласилъ себя правоучителемъ и вышелъ къ публикѣ не съ живымъ разсказомъ, а съ книжицею назидательныхъ совѣтовъ.

Не сравнивая значенія Островскаго съ значеніемъ Гоголя въ исторіи нашего развитія, мы замѣтимъ однако, что въ комедіяхъ Островскаго, подъ вліяніемъ какихъ бы теорій онѣ ни писались, всегда можно найти черты глубоко-вѣрныя и яркія, доказывающія, что сознаніе жизненной правды никогда не покидало художника и не допускало его исказить дѣйствительность въ угоду теоріи. А если такъ, то, значить, и основныя черты міросозерцанія художника не могли быть совершенно уничтожены разсудочными ошибками. Онъ могъ брать для своихъ изображеній не тѣ жизненные факты, въ которыхъ извѣстная идея отражается наилучшимъ образомъ, могъ давать имъ произвольную связь, толковать ихъ не совсемъ вѣрно; но если художническое чутье не измѣнило ему, если правда въ произведеніи сохранена, — критика обязана воспользоваться имъ для объясненія дѣйствительности, равно какъ и для характеристики таланта писателя, но вовсе не для брани его за мысли, которыхъ онъ, можетъ быть, еще и не имѣлъ. Критика должна сказать: «вотъ лица и явленія, выводимыя авторомъ; вотъ сюжетъ пьесы; а вотъ смыслъ, какой, по нашему мнѣнію, имѣютъ жизненные факты, изображаемые художникомъ, и вотъ степень ихъ значенія въ общественной жизни». Изъ этого сужденія само собою и окажется, вѣрно ли самъ авторъ смотрѣлъ на созданные имъ образы. Если онъ, напримѣръ, силится возвести какое-нибудь лицо во всеобщій типъ, а критика докажетъ, что оно имѣетъ значеніе очень частное и мелкое, — ясно, что авторъ повредилъ произведенію ложнымъ взглядомъ на героя. Если онъ ставитъ въ зависимость одинъ отъ другого нѣсколько фактовъ, а по разсмотрѣнію критики окажется, что эти факты никогда въ такой зависимости не бывають, а зависятъ совершенно отъ другихъ причинъ, — опять очевидно само собою, что авторъ невѣрно понялъ связь изображаемыхъ имъ явленій. Но и тутъ критика должна быть очень осторожна въ своихъ заключеніяхъ: если, напримѣръ, авторъ награждаетъ, въ концѣ пьесы, негодяя, или изображаетъ благороднаго, но глупаго человѣка, — отъ этого еще очень далеко до заключенія, что онъ хочетъ оправдывать негодяевъ или считаетъ всѣхъ благородныхъ людей дураками. Тутъ критика можетъ разсмотрѣть только: точно ли человѣкъ, выставляемый авторомъ, какъ благородный дуракъ, дѣйствительно таковъ по понятіямъ критики объ умѣ и благородствѣ, — и затѣмъ: такое ли значеніе придаетъ авторъ своимъ лицамъ, какое имѣютъ они въ дѣйствительной жизни?

Таковы должны быть, по нашему мнѣнію, отношенія реальной критики къ художественнымъ произведеніямъ; таковы въ особенности должны они быть къ писателю при обзорѣ цѣлой его литературной дѣятельности. Говоря объ отдѣльномъ произведеніи, кри-

тика может увлечься частностями и ставить въ вину писателю то, что имъ лишь недостаточно выяснено. Но при общей характеристикѣ, частности могутъ остаться въ сторонѣ, и на первомъ планѣ является изображеніе общаго міросозерцанія писателя, какъ оно выразилось во всей массѣ его произведеній. А какъ оно выразилось, это опредѣляется тѣми предметами и явленіями, которые привлекали къ себѣ его вниманіе и сочувствіе и послужили матеріалами для его изображеній.

Сдѣлавши эти объясненія, мы можемъ теперь сказать, что во-все не хотимъ видѣть въ «Не своихъ саняхъ» апологию патриархальнаго, стариннаго быта и попытку доказать преимущества русской необразованности предъ европейскимъ образованіемъ. Мы могли бы въ этой комедіи отыскать даже нѣчто противоположное, но и того не хотимъ, а просто укажемъ на фактъ, служащій основой пьесы. Мы уже видѣли, что основной мотивъ пьесы Островскаго — неестественность общественныхъ отношеній, происходящая вслѣдствіе самодурства однихъ и безправности другихъ. Чувство художника, возмущаясь такимъ порядкомъ вещей, преслѣдуетъ его въ самыхъ разнообразныхъ видоизмѣненіяхъ и передаетъ на позоръ того самаго общества, которое живетъ въ этомъ порядкѣ. И вотъ одно изъ такихъ видоизмѣненій.

Есть на Руси купецъ-самодуръ, добрый, честный и даже, по своему, умный, — но самодуръ. У него есть дочь, которая предъ нимъ безгласна и безправна, какъ всякая дочь предъ всякимъ самодуромъ. Не признавая ея правъ, какъ самостоятельной личности, ей и не даютъ ничего, что въ жизни можетъ ограждать личность: она необразована, у ней нѣтъ голоса даже въ домашнихъ дѣлахъ, нѣтъ привычки смотрѣть на людей своими глазами, нѣтъ даже и мысли о правѣ свободнаго выбора въ дѣлѣ сердца. Выросши въ полный ростъ человѣческій, она все еще ведетъ себя какъ несовершеннолѣтняя, какъ ребенокъ неразумный. Самая любовь ея къ отцу, парализуемая страхомъ, неполна, неразумна и неоткровенна, такъ что дочка втихомолку отъ отца напитывается понятіями своей тетушки, пожилой дѣвы, бывшей въ ученьи на Кузнецкомъ мосту, и затѣмъ съ ея голоса увѣряетъ себя, что влюблена въ молодого прощальгу, отставнаго гусара, на дняхъ пріѣхавшаго въ ихъ городъ. Гусаръ сватается, отецъ отказывается; тогда гусаръ увозитъ дѣвушку, и она рѣшается ѣхать съ нимъ, все толкуя, однако, о томъ, что ѣхать не надо, а лучше къ отцу возвратиться. Но на первой же станціи гусаръ узнаетъ, что отецъ не дастъ ни гроша денегъ за убѣжавшей дочерью, и тотчасъ-же, конечно, прогоняетъ — отъ себя бѣдную дѣвушку. Она возвращается домой; отецъ ругаетъ — и хочетъ запереть ее на замокъ, чтобъ свѣта Божьяго не видѣла — и его передъ людьми не срамила; но ее рѣшается взять за себя молодой купчикъ, который давно въ нее влюбленъ и котораго она сама любила до встрѣчи съ Вихоревымъ. Все кончается благополучно.

Таковъ фактъ, составляющій сущность комедіи «Не въ свои сани не садись». Какой же смыслъ его? Даетъ ли онъ хоть какой-нибудь поводъ къ развитію темы о преимуществахъ стараго быта, къ выраженію славянофильскихъ тенденцій? Кажется, нѣтъ. Смыслъ его тотъ, что самодурство, въ какихъ бы умѣренныхъ формахъ ни выражалось, въ какую бы кроткую опеку ни переходило, все-таки ведетъ—по малой мѣрѣ—къ обезличенію людей, подвергшихся его вліянію; а обезличеніе совершенно противоположно всякой свободной и разумной дѣятельности; слѣдовательно, человѣкъ обезличенный, подъ вліяніемъ тяготѣвшаго надъ нимъ самодурства можетъ нехотя, безсознательно, совершить какое угодно преступленіе и погибнуть—просто по глупости и недостатку.

Это значеніе рассказаннаго нами факта, всего скорѣе и рѣзче бросающееся въ глаза, недостаточно ярко является въ комедіи, потому что въ ней на первый планъ выступаетъ контрастъ умнаго, солиднаго Русакова и добраго, честнаго Бородинна — съ жалкимъ вертопрахомъ Вихоревымъ. За этотъ контрастъ и ухватились критики и надѣлали въ своихъ разборахъ такихъ предположеній, какихъ у автора, можетъ быть, и на умѣ никогда не было. Его обвинили чуть не въ совершенномъ обскурантизмѣ, и даже до сихъ поръ нѣкоторые критики не хотятъ ему простить того, что Русаковъ—необразованный, но все-таки добрый и честный человѣкъ¹⁾. И дѣйствительно, увлекшись негодованіемъ противъ мишурной образованности господъ, подобныхъ Вихореву, сбивающихъ съ толку простыхъ русскихъ людей, Островскій не съ достаточной силой и ясностью выставилъ здѣсь *тѣ причины*, вслѣдствіе которыхъ русскій человѣкъ можетъ увлекаться подобными господами. Но нельзя сказать, чтобы эти причины были совершенно забыты авторомъ: простой и естественный смыслъ факта не укрылся отъ него, и въ «Не своихъ санихъ» мы находимъ разбросанныя черты тѣхъ отношеній, которыя разумѣемъ подъ общимъ именемъ самодурныхъ. Если бъ эти черты были ярче, комедія имѣла бы болѣе цѣльности и опредѣленности; но и въ настоящемъ своемъ видѣ она не можетъ быть названа противною основнымъ чертамъ міросозерцанія автора. Въ темный бытъ Русаковыхъ онъ внесъ лучъ посторонняго свѣта, сгладилъ и уравнилъ нѣкоторыя грубыя черты; но и въ этомъ смягченномъ видѣ, если всмотрѣться внимательнѣе, — сущность дѣла осталась та же. Попробуемъ указать нѣсколько чертъ изъ отношеній Русакова къ дочери и къ окружающимъ; мы увидимъ, что здѣсь основаніемъ всей исторіи является опять-таки то же самодурство, на которомъ утверждаются всѣ семейныя и общественныя отношенія этого «темнаго царства».

¹⁾ Послѣ первой нашей статьи, гдѣ говорилось о критикахъ Островскаго, появились въ журналахъ еще двѣ статьи о немъ. Одна имѣетъ диеирамбическій характеръ, но другая повторяетъ всѣ нелѣпости, приписывавшіяся Островскому въ прежнее время, и оканчивается тѣмъ, что совѣтуетъ ему „мыслить, мыслить и мыслить“. Впрочемъ, обѣ статьи совершенно незначительны.

Максимъ Ѳедотычъ Русаковъ—этотъ лучший представитель всѣхъ прелестей стараго быта, умнѣйшій старикъ, *русская душа*, которою славянофильскіе и кошихинствующіе критики кололи глаза нашей послѣ-петровской эпохѣ и всей новѣйшей образованности, — Русаковъ, на нашъ взглядъ, служить живымъ протестомъ противъ этого темнаго быта, ничѣмъ не осмысленнаго и безнравственнаго въ самомъ корнѣ своемъ. Въ Большовѣ мы видѣли дрянную натуру, подвергнувшуюся вліянію этого быта; въ Русаковѣ намъ представляется: а вотъ какими выходятъ при немъ даже честныя и мягкія натуры!... И дѣйствительно — природная доброта и даже деликатность пробиваются въ Русаковѣ сквозь грубыя формы. Онъ обходится со всѣми ласково, о женѣ и дочери говоритъ съ умиленіемъ; когда Дуня, узнавъ о его рѣшительномъ отказѣ Вихореву, падаетъ въ обморокъ (сцена эта намъ кажется, впрочемъ, утрированной), онъ пугается и даже тотчасъ соглашается измѣнить для нея свое рѣшеніе. Мало этого: у него голова сложена довольно хорошо и изъ нея не выбить здравый смыслъ. Онъ не говоритъ просто: «такъ должно быть *потому*, что я такъ хочу», а старается отыскать резоны для своихъ рѣшеній. Но этимъ и ограничивается то, что могъ онъ сохранить изъ добрыхъ качествъ своей натуры; далѣе начинаются пріобрѣтенія самодурства. Видно, что Русаковъ, по мягкости своей природы, съ самаго начала кротко покорился существующему порядку, признавъ его законность; значить, не было нужды доказывать ему эту законность пинками и колотушками. Оттого въ немъ и въ старости нѣтъ той враждебности и крутости, какую замѣчаемъ въ другихъ самодурахъ, выводимыхъ Островскимъ; оттого онъ не отвергаетъ даже резоновъ въ разговорѣ съ низшими и младшими. Но быть «темнаго царства», въ которомъ онъ выросъ, ничего не далъ ему въ отношеніи резонности: ея нѣтъ въ этомъ бытѣ, и потому Русаковъ впадаетъ въ ту же бессмысленность, въ тотъ же мракъ, въ какомъ блуждаютъ и другіе собратья его, хуже одаренные природою.

Любопытно послушать мораль, до которой успѣлъ онъ возвыситься. Покорность, терпѣніе, уваженіе къ опыту и преданію, ограниченіе себя своимъ кругомъ — вотъ его основныя положенія. Дошелъ онъ до нихъ грубо-эмпирически, сопоставляя факты, но ничѣмъ ихъ не осмысливая, потому что мысль его связана въ то же время самымъ упорнымъ, фаталистическимъ понятіемъ о судьбѣ, распоряжающейся человѣческими дѣлами. Онъ появляется на сцену съ сентенціей о томъ, что «нужно къ старшимъ за совѣтомъ ходить,—старикъ худа не посовѣтуетъ». Далѣе, въ отвѣтъ на сватовство Бородкина, онъ говоритъ: «я, значить, долженъ это дѣло сдѣлать съ разумомъ, потому — мнѣ придется за дочь Богу отвѣчать». На этомъ основаніи онъ судьбою дочери распоряжается вотъ какимъ образомъ: «статочное ли дѣло, чтобъ повѣрить дѣвкѣ, кто ей понравится? Нѣтъ, это не порядокъ: пусть *мнѣ* человѣкъ понравится. Я не за того отдамъ, кого она полюбитъ, а за того,

кого я люблю. Да, кого я люблю, за того и отдамъ». Въ этомъ ужь крѣпко сказывается и самодурство; но оно смягчается въ Русаковѣ слѣдующимъ разсужденіемъ: «какъ дѣвкѣ повѣрить? что она видѣла? кого она знаетъ»? Разсужденіе справедливое въ отношеніи къ дочери Русакова; но ни Русакову, и никому изъ его собратьевъ, не приходитъ въ голову спросить: «отчего жъ она ничего не видѣла и никого не знаетъ? Какая же необходимость была воспитывать ее въ такомъ блаженномъ невѣдѣніи, что всякій ее можетъ обмануть»?.. Если бъ они задали себѣ этотъ вопросъ, то изъ отвѣта и оказалось бы, что всему злу корень опять-таки не что иное, какъ ихъ собственное самодурство. Русаковъ совершенно доволенъ своимъ положеніемъ и въ бары лѣзть не желаетъ, а образованіе онъ считаетъ исключительной принадлежностью баръ; вслѣдствіе того онъ и дочь свою такъ держитъ, что она остается, по его выраженію, *дурагою*. Въ отвѣтъ на сватанье Вихорева онъ говоритъ: «ищите себѣ барышнень, воспитанныхъ, а ужь нашихъ-то дуръ оставьте намъ, мы своимъ-то найдемъ жениховъ какихъ-нибудь дешевенькихъ». Въ этихъ словахъ еще слышится иронія; но Русаковъ и серьезно продолжаетъ въ томъ же родѣ: «ну, какая она барыня, посудите, отецъ: жила здѣсь въ четырехъ стѣнахъ, свѣту не видала... Не за что вамъ и любить ее: она дѣвушка простая, невоспитанная и совсѣмъ вамъ не пара. У васъ есть родные, знакомые, всѣ будутъ смѣяться надъ ней, какъ надъ душой, да и вамъ-то она опротивѣетъ хуже горькой полыни... такъ отдамъ ли я дочь на такую каторгу»!

Въ этихъ разсужденіяхъ всего печальнѣе то, что они совершенно справедливы. Въ самомъ дѣлѣ — не очень-то веселая жизнь ожидала бы Авдотью Максимовну, если бы она вышла за *благороднаго*, хотя бы онъ и не былъ такимъ шелыганомъ, какъ Вихоревъ. Она, въ самомъ дѣлѣ, воспитана такъ, что въ ней вовсе нѣтъ лица человѣческаго. Самая лучшая похвала ей изъ устъ самого отца — *какая же? — та, что «въ глазахъ у нея только любовь, да кротость: она будетъ любить всякаго мужа, надо найти ей такого, чтобы ее-то любилъ»*. Это значитъ — доброта безразличная, безотвѣтная, именно такая, какая въ мягкихъ натурахъ вырабатывается подъ вѣтомъ семейнаго деспотизма и какая всего болѣе нравится самодурамъ. Для людей, привыкшихъ опираться свои дѣйствія на здравый смыслъ и соображать ихъ съ требованіями справедливости и общаго блага, такая доброта противна или, по крайней мѣрѣ, жалка. Немудруeno разсудить, что если человѣкъ со всѣми соглашается, то у него, значитъ, нѣтъ своихъ убѣжденій; если онъ всѣхъ любитъ и всѣмъ другъ, то, значитъ, всѣ для него безразличны; если дѣвушка всякаго мужа любить будетъ, то ясно, что сердце у ней составляетъ даже не кусокъ мяса, а просто какое-то расплывающееся тѣсто, въ которое можно воткнуть что угодно...

Для человѣка, не зараженнаго самодурствомъ, вся прелесть любви заключается въ томъ, что воля другого существа гармонически сли-

вается съ его волей, безъ малѣйшаго принужденія. Оттого-то очарованіе любви и бываетъ такъ неполно и недостаточно, когда взаимность достигается какими-нибудь вымогательствами, обманомъ, покупается за деньги или вообще приобрѣтается какими-нибудь внѣшними и посторонними средствами. Чувство любви можетъ быть истинно хорошо только при внутренней гармоніи любящихъ, и тогда оно составляетъ начало и залогъ того общественнаго благоденствія, которое обѣщается намъ, въ будущемъ развитіи человѣчества, водвореніемъ братства и личной равноправности между людьми. Но самодурство и этого чувства не можетъ оставить свободнымъ отъ своего гнета: въ его свободномъ и естественномъ развитіи оно чувствуетъ какую-то опасность для себя, и потому старается убить прежде всего то, что служить его основаніемъ—личность. Для этого самодуры сочиняютъ свою мораль, свою систему житейской мудрости, и по ихъ толкованіямъ выходитъ, что чѣмъ болѣе личность стерта, неразличима, непримѣтна, тѣмъ она ближе къ идеалу совершеннаго человѣка. «У него такой отличный характеръ, что онъ вынесетъ безропотно всякое оскорбленіе, будетъ любить самаго недостойнаго человѣка»,—вотъ похвала, выше которой самодуръ ничего не знаетъ. А на нашъ взглядъ подобный человѣкъ есть дрянъ; кисель, тряпка; онъ можетъ быть хорошимъ *человѣкомъ*, но только въ лакейскомъ смыслѣ этого слова. На другое же ни на что онъ не годенъ, и отъ него можно ожидать ровно столько же пакостей, сколько и хорошихъ поступковъ: все будетъ зависѣть отъ того, въ какія руки онъ попадетъ. Ничего этого не признаетъ Русаковъ, въ качествѣ самодура, и твердитъ свое: «все зло на свѣтѣ отъ необузданности; мы, бывало, страхъ имѣли и старшихъ уважали, такъ и лучше было... бить некому нынѣшнихъ молодыхъ людей, а то-то надо бы: палка-то по нихъ плачетъ». И о чемъ бы онъ ни говорилъ,—уваженіе къ старшимъ на первомъ планѣ. Даже на Вихорева онъ сердится всего болѣе за то, что тотъ «со старшими говорить не умѣетъ». И на дочь свою, когда та дѣлаетъ попытку убѣдить отца, онъ, при всей своей мягкости, прикрикиваетъ: «да какъ ты смѣешь такъ со мною разговаривать»! А затѣмъ онъ даетъ ей строгій приказъ: «вотъ тебѣ, Авдотья, мое послѣднее слово: или поди ты у меня за Бородкина, или я тебя и знать не хочу». И, чтобы приказъ былъ дѣйствительнѣе, онъ подкрѣпляетъ его попреками: «я тебя растилъ, я тебя берегъ пуще глазу... Что грѣха на душу принялъ, гордость меня одолѣла съ тобой... Наказалъ Богъ по грѣхамъ». Говоря безпристрастно, такое обращеніе нельзя назвать очень гуманнымъ; но въ нашемъ «темномъ царствѣ» и оно еще довольно мягко, и Русаковъ по справедливости можетъ быть названъ лучшимъ изъ самодуровъ.

За то и выработалась же добрая натура Авдотьи Максимовны подѣ влияніемъ этого кроткаго самодурства! Трудно представить болѣе жалкую дѣвушку. Въ сущности, она даже скорѣе комична, нежели жалка, такъ какъ комична Софья Павловна съ своей любовью

къ Молчалину, или Софья Сергѣевна (въ «Новѣйшемъ Оракулѣ» г. Потѣхина) съ нѣжной страстью къ Зильбербаху. Но надъ Авдотьей Максимовной нельзя смѣяться: обстановка ея слишкомъ мрачна. Когда мы одиноко идемъ въ полночь по темному склепу, между могилами, и вдругъ, за одной изъ гробницъ, предъ нами внезапно является какая-нибудь нелѣпая рожа и дѣлаетъ намъ гримасу, — то, какъ бы гримаса ни была смѣшна, трудно засмѣяться въ эту минуту: невольно испугаешься. Такъ и комизмъ нашего «темнаго царства»: дѣло само по себѣ просто забавно, но въ виду самодуровъ и жертвъ, во мракѣ ими задавленныхъ, пропадаетъ охота смѣяться... Авдотья Максимовна въ теченіе всей пьесы находится въ сильнѣйшей ажитации, безсмысленной и пустой. если хотите, но тѣмъ не менѣе возбуждающей въ насъ не смѣхъ, а состраданіе: бѣдная дѣвушка въ самомъ дѣлѣ не виновата, что ее лишили всякой нравственной опоры внутри себя и воспитали только къ тому, чтобы вѣкъ ходить ей на привязи. Сердце у ней доброе, въ характерѣ много довѣрчивости, какъ у всѣхъ несчастныхъ и угнетенныхъ, не успѣвшихъ еще ожесточиться; потребность любви пробуждена; но она не находитъ для себя ни простора, ни разумной опоры, ни достойнаго предмета. Въ Авдотѣ Максимовнѣ не развито настоящее понятіе о томъ, что хорошо и что дурно, не развито уваженіе къ побужденіямъ собственнаго сердца, а въ то же время и понятіе о нравственномъ долгѣ развито лишь до той степени, чтобы признать его, какъ внѣшнюю принудительную силу. Въ этомъ положеніи несчастная дѣвушка и мечется, не зная, куда ей приклонить, наконецъ, свою голову. Отца она любитъ, но въ то же время и боится, и даже какъ-то не совсѣмъ довѣряетъ ему. Бородинъ ей нравился; но ей сказали, что онъ мужикъ необразованный, и она теряетъ, не знаетъ, что думать, и доходитъ до того, что Бородинъ становится ей противенъ. Подвертывается Вихоревъ, который ничего не имѣетъ, кромѣ наглости и вывѣсочной фізіономіи; — она прельщается Вихоревымъ. Но и тутъ она только понапрасну мучить самую себя: ни на одну минуту не стоитъ она на твердой почвѣ, а все какъ будто тонетъ, — то всплыветъ немножко, то опять погрузится... такъ и ждешь, что вотъ-вотъ сейчасъ потонетъ совсѣмъ... При первомъ ея появленіи на сцену, въ концѣ перваго акта, Вихоревъ сообщаетъ ей, что отецъ просваталъ ее за Бородина; она наивно говоритъ: «не беспокойтесь, я за Бородина не пойду». — «А если отецъ прикажетъ?» — спрашиваетъ Вихоревъ. «Нѣтъ, — говоритъ, — онъ насильно не заставитъ.» — «А какъ заставить, — что тогда?» — «Тогда, — идіотски отвѣчаетъ она, — я ужъ право и не знаю, что мнѣ дѣлать съ этимъ дѣломъ... такая-то напасть на меня!» Вихоревъ, для котораго всѣ средства хороши, — предлагаетъ ей уѣхать съ нимъ тихонько; она приходитъ въ ужасъ и восклицаетъ: «ахъ, нѣтъ, нѣтъ, что вы это? Ни за какія сокровища!» Отчего же такой ужасъ? Да просто оттого, видите, что «отецъ проклянетъ меня: каково мнѣ будетъ тогда жить на бѣломъ свѣтѣ». Вслѣдствіе того она просто-

душно совѣтуетъ Вихореву переговорить съ ея отцомъ; Вихоревъ предполагаетъ неудачу; а она успокоиваетъ его такимъ разсужденіемъ: «что же дѣлать! знать моя такая судьба несчастная... Вчера тетенька на картахъ гадала, что-то все дурно выходило, я ужъ не мало плакала». Вихоревъ страшаетъ ее, что уѣдетъ на Кавказъ и будетъ стараться, чтобъ его тамъ застрѣлили; она и къ нему пристаётъ: «нѣтъ, не ѣздите. Что это вы, — какія страсти говорите». Словомъ—дѣвушка со всѣхъ сторонъ подъ страхомъ: тамъ отцовское проклятіе грозитъ, тутъ на картахъ дурно выходить, а вѣдьсь милаго Вихорева, того и гляди, черкесы подстрѣлятъ. И хоть бы какое-нибудь внутреннее противодѣйствіе всѣмъ этимъ ужасамъ явилось въ бѣдной дѣвушкѣ! Она простодушно одинаково вѣритъ—и отцовскому проклятію, и картамъ, и тому, что Вихоревъ поѣдетъ подъ пули,—и всего этого одинаково боится... Правду она говоритъ про себя въ началѣ второго акта: «какъ тѣнь какая хожу, ногъ подъ собою не слышу... только чувствуетъ мое сердце, что ничего изъ этого хорошаго не выйдетъ. Ужъ я знаю, что много мнѣ бѣдной тутъ слезъ пролить». Да и какъ же не пролить при такихъ порядкахъ?..

Къ довершенію горя оказывается, что она еще и Бородкина-то любить, что она съ нимъ, бывало, встрѣтится, такъ не наговорится: у калиточки его поджидаетъ, осенніе темные вечера съ нимъ просиживаетъ,—да и теперь его жалѣетъ, но въ то же время не можетъ никакъ оторваться отъ мысли о необычайной красотѣ Вихорева. Впрочемъ, она очень недовольна собой и говоритъ: «на грѣхъ я его увидѣла». Но самое большое мученье для нея составляетъ—просить отца о согласіи на ея желаніе выйти за Вихорева. Она приступаетъ къ этому съ какой-то особенной торжественностью, заставляетъ Вихорева сначала поклясться, что онъ ее точно любить, потомъ объявляетъ ему, что для доказательства своей любви она рѣшается сама просить отца... «Но если бъ вы знали, чего это мнѣ стоитъ»,—прибавляетъ она, и послѣдующая сцена вполнѣ объясняетъ и оправдываетъ ея страхъ, возможный и понятный единственно только при самодурныхъ отношеніяхъ, на которыхъ основанъ весь семейный бытъ Русаковыхъ. Кажется, чего естественнѣе и легче для дочери—объявить свои желанія отцу, который ее нѣжно любить? Но Авдотья Максимовна, твердя о томъ, что отецъ ее любить, знаетъ, однакоже, какого рода сцена можетъ быть слѣдствіемъ подобной откровенности съ отцомъ, и ея добрая, забитая натура заранѣе трепещетъ и страдаетъ. Въ самомъ дѣлѣ,—и «какъ ты смѣешь»? и «я тебя растилъ и лелѣялъ», и «ты дура», и «нѣтъ тебѣ моего благословенія» — все это градомъ сыплется на бѣдную дѣвушку и доводитъ ее до того, что даже въ ея слабой и покорной душѣ вдругъ подымается кроткій протестъ, выражающійся невольнымъ, безсознательнымъ переломомъ прежняго чувства: отцовскій приказъ идти за Бородкина возбудилъ въ ней отвращеніе къ нему. «Мнѣ давеча было жаль Ваню,—говоритъ она про Бородкина,—а теперь

онъ мнѣ опостылѣлъ... опостылѣлъ». Но это уже крайняя степень реакціи, на которую она способна; далѣе этого она не можетъ итти въ своемъ сопротивленіи чужой волѣ—и падаетъ въ обморокъ. Тутъ происходитъ чувствительная сцена, въ которой Русаковъ умиляется и соглашается выдать дочь за Вихорева, но только — если тотъ возьметъ ее безъ денегъ. Обрадованная Авдотья Максимовна спѣшитъ въ церковь, чтобы на дорогѣ встрѣтить Вихорева и объявить отрадную новость а Вихоревъ увозить ее... Изъ хода дѣла оказывается, что Вихоревъ увезъ Авдотью Максимовну насильно, и это обстоятельство представляется очень важнымъ для старика Русакова. Но для насъ оно не такъ важно, потому что мы видимъ въ комедіи сцену увезенной дѣвушки съ Вихоревымъ на постояломъ дворѣ. Изъ этой сцены мы съ достовѣрностью можемъ заключить, что если Вихоревъ и насильно посадилъ Авдотью Максимовну въ коляску, то онъ сдѣлалъ это единственно по скорости времени, но что она и сама не могла бы устоять противъ Вихорева, если бы онъ сталъ ее уговаривать. И на постояломъ дворѣ она сначала упрашиваетъ: «Викторъ Аркадьичъ, голубчикъ! съ вами я въ огонь и въ воду готова, только пустите меня къ тятенькѣ... Что съ нимъ будетъ?» и пр. Но мольбы ея исчезаютъ предъ волею Вихорева. Сталъ онъ ее уговаривать, да приласкалъ немножко, и вотъ что она уже говоритъ ему: «ненаглядный ты мой! Радость, жизнь моя! Куда хочешь—съ тобой! *Никого я теперь не боюсь и никого мнѣ не жаль.* Такъ бы вотъ улетѣла съ тобой куда-нибудь!» Вслѣдъ затѣмъ она опять воспоминаетъ объ отцѣ, и опять, разумѣется, безплодно. Ей, видите, страшно было рѣшиться уѣхать съ Вихоревымъ; но, разъ попавши къ нему въ руки, она точно также боится и отъ него уйти. Ни разу не проявилась въ ней сильная рѣшимость, свидѣтельствующая о самобытности характера. Кроткая жалоба, смиренная мольба—дальше этого она не смѣетъ итти. Когда Вихоревъ отталкиваетъ ее отъ себя, узнавши, что за ней денегъ не даютъ, она какъ будто возмущается нѣсколько и говоритъ: «не будете вамъ счастья, Викторъ Аркадьичъ, за то, что вы наругались надъ бѣдной дѣвушкой». Но тотчасъ же она сама пугается своихъ словъ и переходитъ къ смиренному тону, въ которомъ даже хочется предположить иронию, какъ она ни неумѣстна въ положеніи Авдотьи Максимовны. Доброта, лишенная всякой способности возмущаться зломъ, и тупая покорность судьбѣ — выражаются въ этихъ словахъ несчастной дѣвушки: «Богъ васъ накажетъ за меня, а я вамъ зла не желаю. Найдите себѣ жену богатую, да такую, чтобъ любила васъ такъ, какъ я; живите съ ней въ радости; а я дѣвушка простая, доживу какъ-нибудь, скоротаю свой вѣкъ, въ четырехъ стѣнахъ сидя, проклиная свою жизнь». И эта гуманно-патетическая тирада обращена къ Вихореву! А Вихоревъ думаетъ: «чтожъ, отчего и не пошлать, если шалости такъ дешево обходятся». А тутъ еще, въ заключеніе пьесы, Русаковъ, на радостяхъ, что урокъ не пропасть даромъ для дочери и еще болѣе укрѣпилъ въ ней прин-

ципъ повиновенія старшимъ, — уплачиваетъ долгъ Вихорева въ гостинницѣ, гдѣ тотъ жилъ. Какъ видите, и тутъ говорится само-дурный обычай: на милость, дескать, нѣтъ образца; хочу—казню, хочу милую... Никто мнѣ не указъ, — ни даже самая правда справедливости.

Такъ вотъ каково положеніе и развитіе двухъ главныхъ лицъ комедіи «Не въ свои сани не садись». Нравится оно вамъ? Хотѣли бы вы быть на мѣстѣ Авдотьи Максимовны? Или, можетъ быть, вамъ было бы пріятно играть роль Русакова и довести кого-нибудь изъ близкихъ вамъ до того положенія, въ какомъ представляется намъ дочь Максима Федотыча? Если такъ, то, конечно, вы должны восхищаться патріархальностью, чистотою и счастьемъ того быта, который изображенъ Островскимъ въ этой комедіи. Но если нѣтъ, то и эта пьеса должна вамъ представляться сильнымъ протестомъ, захватившимъ самодурство въ такомъ его фазисѣ, въ которомъ оно можетъ еще обманывать многихъ нѣкоторыми чертами добродушія и разсудительности.

Но — могутъ сказать намъ — несчастіе, происшедшее въ семействѣ Русаковыхъ, есть не болѣе, какъ случай, совершенно выходящій изъ ряда обыкновенныхъ явленій ихъ жизни. До пріѣзда Вихорева, во всей семьѣ Русаковыхъ была тишь да гладь да Божья благодать. Виною всего горя была зараза новыхъ понятій, привезенная съ Кузнецкаго моста сестрою Русакова — Ариною Федотовной. Самъ Русаковъ говоритъ ей: «твое дѣло, порадуйся! Я ее въ страхѣ воспитывалъ да въ добродѣтели, она у меня какъ голубка была чистая. Ты пріѣхала съ заравой-то своей. Только у тебя и разговору-то было, что глупости... Всѣ рѣчи-то твои были такія вздорныя. Вѣдь тебя нельзя пустить въ хорошую семью: ты ядъ и соблазнъ!» И дѣйствительно, во всей пьесѣ представляется очень ярко и последовательно, какимъ образомъ этотъ ядъ мало-по-малу проникаетъ въ душу дѣвушки и нарушаетъ спокойствіе ея тихой жизни. А въ концѣ изображается опять, какъ живая сила простыхъ, патріархальныхъ отношеній беретъ верхъ надъ язвою современной полуобразованности, возвращаетъ заблудшую дочь въ родительскій домъ и торжествуетъ, въ лицѣ Бородкина, возстановляя ея естественныя права въ кругу всѣхъ ея близкихъ. Такое значеніе, очевидно, хотѣлъ придать пьесѣ самъ авторъ, и на всѣхъ вообще она производитъ впечатлѣніе, не возстановляющее противъ стараго быта, а примиряющее съ нимъ.

На это мы должны сказать, что не знаемъ, что именно имѣлъ въ виду авторъ, задумывая свою пьесу, но видимъ въ самой пьесѣ такія черты, которыя никакъ не могутъ послужить въ похвалу старому быту. Если эти черты не такъ ярки, чтобы бросаться въ глаза каждому, если впечатлѣніе пьесы раздвояется, — это доказываетъ только (какъ мы уже замѣчали въ первой статьѣ), что общія теоретическія убѣжденія автора, при созданіи пьесы, не находились въ совершенной гармоніи съ тѣмъ, что выработала его художническая

натура изъ впечатлѣній дѣйствительной жизни. Но, смотря на художника не какъ на теоретика, а какъ на воспроизводителя явленій дѣйствительности, мы не придаемъ исключительной важности тому, какимъ теоріямъ онъ слѣдуетъ. Главное дѣло въ томъ, чтобъ онъ былъ добросовѣстенъ и не искажалъ фактовъ жизни въ пользу своихъ воззрѣній: тогда истинный смыслъ фактовъ самъ собою выкажется въ произведеніи, хотя, разумѣется, и не съ такою яркостью, какъ въ томъ случаѣ, когда художнической работѣ помогаетъ и сила отвлеченной мысли... Объ Островскомъ даже сами противники его говорятъ, что онъ всегда вѣрно рисуетъ картины дѣйствительной жизни; слѣдовательно, мы можемъ даже оставить въ сторонѣ, какъ вопросъ частный и личный, — то, какія намѣренія имѣлъ авторъ при созданіи своей пьесы. Положимъ, что никакихъ не имѣлъ, а такъ, просто — поразили его случай, нерѣдко совершающійся въ «темномъ царствѣ», котораго изображеніемъ онъ занимается, — онъ взялъ да и записалъ этотъ случай. О смыслѣ его предоставляется судить публикѣ и критикѣ. Критика рѣшила, что смыслъ пьесы — указаніе вреда полуобразованности и восхваленіе коренныхъ началъ русскаго быта. По нашему мнѣнію, это отчасти невѣрно, отчасти недостаточно. Настоящій же смыслъ пьесы вотъ въ чемъ.

Русаковъ есть лучший представитель старыхъ началъ жизни, началъ самодурныхъ. По натурѣ своей онъ добръ и честенъ, его мысли и дѣла направлены ко благу, оттого въ семьѣ его мы не видимъ тѣхъ ужасовъ угнетенія, какіе встрѣчаемъ въ другихъ самодурныхъ семействахъ, изображенныхъ самимъ же Островскимъ. Но это явленіе совершенно случайное, исключительное: въ сущности тѣхъ началъ, на которыхъ основанъ бытъ Русаковыхъ, нѣтъ никакихъ гарантій благосостоянія. Напротивъ, уничтожая права личности, ставя страхъ и покорность основою воспитанія и нравственности, эти начала только и могутъ обуславливать собою произволъ, угнетеніе и обманъ. Русаковъ — случайное исключеніе, и за то первый ничтожный случай разрушаетъ все добро, которое въ его семействѣ было слѣдствіемъ его личныхъ достоинствъ. Онъ полагаетъ, что все зло произошло отъ наущеній Арины Ѳедотовны; но вѣдь это онъ только сваливаетъ съ больной головы на здоровую. Тутъ опять тотъ же силлогизмъ, который не такъ давно приводился противниками грамотности. «Грамотные мужики — кляузники и плуты; они обманываютъ неграмотныхъ; слѣдовательно, не нужно учить мужиковъ грамотѣ». Въ правильномъ своемъ видѣ этотъ силлогизмъ долженъ имѣть слѣдующій видъ: «неграмотные мужики обманываются грамотными; слѣдовательно, надо всѣмъ мужикамъ дать средства учиться, чтобы оградить ихъ отъ обмана». Такъ и здѣсь: Арина Ѳедотовна соблазнила и надула дочь Русакова; что изъ этого? То, что надо было дѣвушкамъ дать средства оградить себя отъ соблазна. Надо было ей самой и жизнь раскрывать, и людей показывать, и приучать ее къ самостоятельности мнѣній и поступковъ: дѣвушка развитая и привыкшая къ обществу не поддалась бы пошлой Аринѣ Ѳедотовнѣ

и не плѣнилась бы пустоголовымъ Вихоревымъ. Но дать ей настоящее, человѣческое развитіе значило бы признать права ея личности, отказаться отъ самодурныхъ правъ, идти наперекоръ всѣмъ преданіямъ, по которымъ сложился быть «темнаго царства»; этого Русаковъ не хотѣлъ и не могъ сдѣлать. Онъ добръ и уменъ настолько, чтобъ не вдаваться въ крайности, чтобъ положить предѣлы и мѣру злоупотребленіямъ, до которыхъ самодурныя права доводятъ другихъ его собратій. Но въ немъ нѣтъ столько силы ума и характера, чтобъ отрѣшиться отъ самыхъ главныхъ основъ своего быта. Онъ остановился на данной точкѣ и все, что изъ нея выходитъ, обсуждаетъ довольно правильно: онъ очень вѣрно замѣчаетъ, что дочь его нетрудно обмануть, что разговоры Арины Федотовны могутъ быть для нея вредны, что невоспитанной купчихѣ не сладко выходить за барина, и пр. Но во всѣхъ его сужденіяхъ замѣтенъ тотъ неразумный, тупой консерватизмъ, который составляетъ одно изъ отличительныхъ свойствъ упрямаго самодурства. Онъ остановился на томъ положеніи дѣлъ, которое уже существуетъ, и не хочетъ допустить даже мысли о томъ, что это положеніе можетъ или должно измѣниться. Онъ сознаетъ, что дочь его невоспитана и собственно потому не годится въ барыни; но онъ не выражаетъ ни малѣйшаго сожалѣнія о томъ, что не воспиталъ ее. По его понятіямъ ужъ это такъ и должно быть: купчиха,—такъ купчиха, а барыня—такъ ужъ та съ тѣмъ и родится, чтобъ быть барыней. Онъ сознаетъ и то, что его дочь не умѣетъ различать людей и потому плѣняется дряннымъ вертопрахомъ Вихоревымъ. Но это не наводитъ его на мысль, что надобно было бы хоть нѣсколько приучить ее имѣть собственныя сужденія о вещахъ. Напротивъ, по его убѣжденію, то-то и хорошо, что она всякаго любить будетъ, кто ни попадись. Право выбирать людей по своему вкусу, любить однихъ и не любить другихъ—можетъ принадлежать, во всей своей обширности, только ему, Русакову, всѣ же остальные должны украшаться кротостью и покорностью: таковъ ужъ уставъ самодурства... При всей своей добротѣ и умѣ, Русаковъ, какъ самодуръ, не можетъ рѣшиться на существенныя измѣненія въ своихъ отношеніяхъ къ окружающимъ, и даже не можетъ понять необходимости такого измѣненія. Все зло происходитъ въ семьѣ оттого, что Русаковъ, боясь дать дочери свободу мнѣнія и право распоряжаться своими поступками, стѣсняетъ ея мысль и чувство и дѣлаетъ изъ нея вѣчно несовершеннолѣтнюю, почти слабоумную дѣвочку. Онъ видитъ, что зло существуетъ и желаетъ, чтобъ его не было; но для этого прежде всего надо ему отстать отъ самодурства; разстаться съ своими понятіями о сущности правъ своихъ надъ умомъ и волею дочери; а это уже выше его силъ, это недоступно даже его понятію... И вотъ онъ сваливаетъ вину на другихъ: то Арина Федотовна съ заразой пришла, то просто—лукавый попуталъ. «Врагъ рода человѣческаго — говоритъ всякимъ соблазномъ соблазняетъ насъ, всякимъ прельщеніемъ»... И не хочетъ понять самой простой истины: что

не нужно усыплять въ человѣкѣ его внутреннія силы и связывать ему руки и ноги, если хотятъ, чтобъ онъ могъ успѣшно бороться съ своими врагами.

И за это самодурство отца дѣвочка и должна поплатиться всѣмъ, что могло-бы доставить ей истинно-счастливую, сознательную, свѣтлую будущность. Общій взглядъ Максима Федотыча на жизнь не могъ не отразиться, наперекоръ его любви, и на развитіи дочери. Онъ умѣлъ уберечь ее отъ всего, что даетъ человѣку средства беречь самого себя и оттого-то онъ такъ плохо уберегъ ее. Кажется, чего бы лучше: воспитана дѣвушка «въ страхъ да въ добродѣтели», по словамъ Русакова, дурныхъ книгъ не читала, людей почти вовсе не видѣла, выходъ имѣла только въ церковь Божію, вольнодумныхъ мыслей о непочтеніи къ старшимъ и о правахъ сердца не могла ни откуда набраться, отъ претензій на личную самостоятельность была далека, какъ отъ мысли—поступить въ военную службу... Чего бы, кажется, лучше? Жила бы себѣ, спокойно и ровно, по плану, разъ навсѣгда начертанному Русаковымъ, и ничто бы, кажется, не должно было увлекать и совращать съ праваго пути это совершенное, кроткое созданіе, эту голубку безотвѣтную. Но шатко, минометно и ничтожно все, чему нѣтъ основанія и поддержки внутри человѣка, въ его разсудкѣ и сознательной рѣшимости. Только тѣ семейныя и общественныя отношенія и могутъ быть крѣпки, которыя вытекаютъ изъ внутренняго убѣжденія и оправдываются добровольнымъ, разумнымъ согласіемъ всѣхъ, въ нихъ участвующихъ. Самодурство, даже въ лицѣ лучшихъ его представителей, подобныхъ Русакову, не признаетъ этого—и за то терпитъ жестокія пораженія отъ первой случайности, отъ первой ничтожной интрижки, даже просто шалости, не имѣющей опредѣленнаго смысла. Что могло быть ничтожнѣе и безсмысленнѣе разсужденій Арины Федотовны? Что могло представиться пошлѣе и нелѣпѣе Вихорева Авдотѣ Максимовнѣ? И однако же, эти двѣ пошлости разстраиваютъ всю гармонию семейнаго быта Русаковыхъ, заставляютъ отца проклинать дочь, дочь—уйти отъ отца, и затѣмъ ставятъ несчастную дѣвушку въ такое положеніе, за которымъ, по мнѣнію самого Русакова, слѣдуетъ не только для нея самой горе и безчестіе на всю жизнь, но и общій позоръ для цѣлой семьи. И въ самодурномъ бытѣ, съ его патріархальными обычаями, не находится въ этомъ случаѣ даже силы примиренія, потому что здѣсь нарушена не только формальность цѣломудрія, но и принципъ повиновенія... Для восстановленія правъ невинной, но опозоренной дѣвушки нужна великодушная выходка Бородкина, совершенно исключительная и несообразная съ нравами этой среды, которой неразвитость и самодурство обуславливаютъ—какъ чрезвычайную легкость проступка Авдотьи Максимовны, такъ и невозможность примиренія.

Такимъ образомъ, мы можемъ повторить наше заключеніе: комедію «Не въ свои сани не садись» Островскій,—намѣренно или ненамѣренно, или даже противъ воли, — доказалъ намъ, что пока

существуютъ самодурныя условія въ самой основѣ жизни, до тѣхъ поръ самыя добрыя и благородныя личности ничего хорошаго не въ состояніи сдѣлать, до тѣхъ поръ благосостояніе семейства и даже цѣлаго общества непрочно и ничѣмъ не обезпечено даже отъ самыхъ пустыхъ случайностей. Изъ анализа характера и отношеній Русакова мы вывели эту истину въ приложеніи къ тому случаю, когда порядочная натура находится въ положеніи самодура и отуманивается своими правами. Въ другихъ комедіяхъ Островскаго мы находимъ еще болѣе сильное указаніе той же истины, въ приложеніи къ другой половинѣ «темнаго царства», — половинѣ зависимой и угнетенной.

И къ Русакову могли имѣть нѣкоторое примѣненіе стихи, поставленные эпиграфомъ этой статьи: и онъ имѣетъ добрыя намѣренія, и онъ желаетъ пользы для другихъ, но «напрасно просить о тѣни» и изсыкаетъ отъ палящихъ лучей самодурства. Но всего болѣе идутъ эти стихи къ тѣмъ несчастнымъ, которые, будучи одарены прекраснѣйшимъ сердцемъ и чистѣйшими стремленіями, изнемогаютъ подъ тнетомъ самодурства, убивающаго въ нихъ всякую мысль и чувство. О нихъ-то думая, мы не разъ вспоминали:

Напрасно пророка о тѣни онъ проситъ:

Его лишь песокъ раскаленный заноситъ.

Да коршунъ хохлатый, стеной нелюдимъ,

Добычу терзаетъ и щиплетъ надъ нимъ.

IV.

Это все больше отъ необузданности, а
то и отъ глупости.

Островскій.

Въ торькой долѣ дочери Русакова мы видимъ много неразумнаго; но тамъ впечатлѣніе смягчается тѣмъ, что угнетеніе все-таки не столь грубо тяготѣетъ надъ ней. Гораздо болѣе нелѣпаго и дикаго представляютъ намъ въ судьбѣ своей угнетенныя личности, изображенныя въ комедіи «Бѣдность не порокъ».

«Бѣдность не порокъ» намъ очень ясно представляетъ, какъ честная, но слабая натура гложется и погибаетъ подъ безсмыслиемъ самодурства. Гордѣй Карпычъ Торцовъ, отецъ Любви Гордѣевны, братъ Любима Торцова и хозяинъ Мити, есть уже самодуръ въ полномъ смыслѣ. Онъ и крутъ, и гордъ, и разсудка не имѣетъ, по

отзыву жены его, Палагеи Егоровны. Цѣлый домъ дрожить передъ нимъ. Особенно грозенъ сдѣлался онъ съ тѣхъ поръ, какъ подружился съ Африканомъ Саввичемъ Коршуновымъ и сталъ «перенимать новую моду». На этой дружбѣ и пристрастїи Гордѣя Карпыча къ новой модѣ и основана завязка комедїи. Читатель помнить, конечно, что Торцовъ хочетъ выдать за Африкана Саввича дочь свою, которая любитъ приказчика Митю, и сама имъ любима... На этомъ основанїи критика предположила, что «Бѣдность не порокъ» написана Островскимъ съ той цѣлью, чтобы показать, какія вредныя послѣдствїя производитъ въ купеческой семьѣ отступленіе отъ старыхъ обычаевъ и увлеченіе новой модой... За это съ одной стороны неумѣренно превозносили Островскаго, съ другой—безпощадно бранили. Мы не станемъ спорить ни съ тѣми, ни съ другими критиками и не станемъ разбирать справедливости ихъ предположенїя. Положимъ даже, что у Островскаго дѣйствительно была та мысль, какою ему приписывали: насъ это мало теперь занимаетъ. Для насъ гораздо интереснѣе то, что въ Гордѣѣ Торцовѣ является намъ новый оттѣнокъ, новый видъ самодурства: здѣсь мы видимъ, какимъ образомъ воспринимается самодуромъ образованность, т. е. тѣ случайныя и ничтожныя формы ея, которыя единственно и доступны его разумѣнію. Объ этомъ мы и поговоримъ теперь.

Самодурство и образованіе—вещи, сами по себѣ, противоположныя, и потому столкновеніе между ними, очевидно, должно кончиться подчиненіемъ одного другому: или самодуръ проникнется началами образованности, и тогда перестанетъ быть самодуромъ, или онъ образованіе сдѣлаетъ слугою своей прихоти, причемъ, разумѣется, останется прежнимъ невѣждою. Последнее произошло съ Гордѣемъ Карпычемъ, какъ бываетъ почти со всѣми самодурами. Онъ никакъ не предполагаетъ, что первый шагъ къ образованности дѣлается подчиненіемъ своего произвола требованїямъ разсудка и уваженїемъ тѣхъ же требованїй въ другихъ. Ему, напротивъ, кажется, что всякая образованность, всякая логика существуетъ только затѣмъ, чтобы служить къ совершеннѣйшему исполненію его прихотей. Оттого онъ и понимаетъ только грубо-матерїальную, чисто-внѣшнюю сторону образованїя. «Что они,—говорить,—пьютъ-то по необразованію своему! Наливки тамъ, вишневки разныя — а не понимаютъ того, что на это есть шампанское!» «А за столомъ-то какое невѣжество: молодецъ въ поддевкѣ прислуживаетъ, либо дѣвка!» «Я, говорить, въ здѣшнемъ городѣ только и вижу невѣжество да необразованіе; для того и хочу въ Москву переѣхать, и буду тамъ *моду всякую подражать*». Находя, что въ этомъ-то подражанїи и состоитъ образованность, онъ пристаётъ къ женѣ, чтобы та на старости лѣтъ надѣла чепчикъ вмѣсто головки, задавала модные вечера съ музыкантами, отстала отъ всѣхъ своихъ старыхъ привычекъ. Но онъ не видитъ никакой надобности измѣнить свои отношенїя къ домашнимъ, дать здравому смыслу хоть какое нибудь участіе въ своемъ семейномъ бытѣ. Требовательность Гордѣя Кар-

ныча стала больше, а простора для дѣятельности всѣхъ окружающихъ онъ не даетъ попрежнему. Жена жалуется, что съ нимъ «нельзя сговорить, при его крутомъ-то характерѣ», особенно послѣ того, какъ *переналъ* эту образованность. «То все-таки разсудокъ имѣлъ, — говорить про него Палагея Егоровна, — а тутъ ужъ совсѣмъ у него помутилось»... Даже о судьбѣ дочери жена не смѣетъ ничего сказать ему: «смотреть звѣремъ, ни словечка не скажетъ, — точно я и не мать... Да, право... ничего я ему сказать не смѣю; развѣ съ кѣмъ поговоришь съ постороннимъ про свое горе, заплачешь, душу отведешь, только и всего»... Отношенія Гордѣя Карпыча ко всѣмъ домашнимъ тоже грубы и притѣснительны въ высшей степени. Отъ дочери онъ только и требуетъ, чтобы изъ его воли не смѣла выходить. На просьбу ея — не выдавать ее за Коршунова, онъ отвѣчаетъ: «ты, дура, сама не понимаешь своего счастья... Одно дѣло — ты будешь жить на виду, а не въ такой глуши; а другое дѣло — я такъ приказываю». И дочь отвѣчаетъ: «я приказу твоему не смѣю послушаться». Приказчика Митю Гордѣй Карнычъ ругаетъ безцеремонно и совершенно напрасно. Узнавши, что онъ посылаетъ матери деньги, Торцовъ замѣчаетъ: «себя-то бы образилъ прежде: матери-то не Богъ-знаетъ что нужно, не въ роскоши воспитана; сама, чай, хлѣвы затворяла»... Въ глазахъ Гордѣя Карпыча это большое преступленіе: матери деньги посылаетъ человѣкъ, а себѣ сюртука новаго не сошьетъ!.. А между тѣмъ Торцовъ и не думаетъ прибавить жалованья усердному приказчику, на что даже самъ кроткій Митя жалуется: «жалованье маленькое отъ Гордѣя Карпыча, все обида да брань, да все бѣдностью попрекаетъ, точно я виноватъ... а жалованья не прибавляетъ»... Вообще — грубость и необузданность безпрестанно и очень сильно проявляются въ Гордѣѣ Карпычѣ. Входя въ комнату приказчиковъ, которые поютъ пѣсню, онъ кричитъ: «что распѣлись! Горланятъ, точно мужичье»!... и начинаетъ ругаться. Во второмъ актѣ, когда Палагея Егоровна устроила вечеринку и позвала ряженныхъ, вдругъ вбѣгаетъ Арина, говорить: «самъ пріѣхалъ», — и всѣ присутствующіе встаютъ въ перепугѣ. Гордѣй Карнычъ входитъ и дѣйствительно — здоровается съ женой и гостями слѣдующимъ привѣтствіемъ: «это что за сволочь! Вонъ!.. Жена, принимай гостя!»... Гость этотъ — Африканъ Саввичъ, и онъ-то ужъ сдерживаетъ нѣсколько порывы гнѣва Гордѣя Карпыча... Ясно, что даже та внѣшность образованія, которая выражается въ манерахъ и приличіяхъ, не далась Гордѣю Карпычу. Онъ могъ надѣть новый костюмъ, завести новую мебель, пристраститься къ «шемнанскому»; но въ своей личности, въ характерѣ, даже во внѣшней манерѣ обращенія съ людьми — онъ не хотѣлъ ничего измѣнить. Во всѣхъ своихъ привычкахъ онъ остался вѣренъ своей самодурной натурѣ, и въ немъ мы видимъ довольно любопытный образчикъ того, какимъ манеромъ на всякаго самодура дѣйствуетъ образованіе. Казалось бы — человѣкъ попалъ на хорошую дорогу: созналъ недостатки того обра-

жизни, какой вель доселѣ, исполнился негодованіемъ противъ невѣжества, понялъ превосходство образованности вообще... Утѣшительное явленіе! Положимъ, что все это въ немъ еще смутно, слабо, невѣрно; но все-таки начало сдѣлано, застои потревожены, дѣятельность получила новое направленіе... Быть можетъ, онъ пойдетъ и дальше по этому пути, и нравъ его смягчится, вся жизнь приметъ новый характеръ... Нѣтъ, не дожидайтесь... Во всякомъ другомъ образованіе возбуждаетъ симпатическія стремленія, смягчаетъ характеръ, развиваетъ уваженіе къ началамъ справедливости, и т. д. Но въ самодурѣ само просвѣщеніе, сама логика, сама добродѣтель принимаютъ свой дикій и безобразный видъ. Отправляясь отъ той точки, что его произволъ долженъ быть закономъ для всѣхъ и для всего, самодуръ радъ воспользоваться тѣмъ, что просвѣщеніе приготовило для удобствъ человѣка, радъ требовать отъ другихъ, чтобъ его воля выполнялась лучше, сообразно съ успѣхами разныхъ знаній, съ введеніемъ новыхъ изобрѣтеній и пр. Но только на этомъ онъ и остановится. Не ждите, чтобъ онъ самъ на себя наложилъ какія-нибудь ограниченія, вслѣдствіе сознанія новыхъ требованій образованности; не думайте, даже, чтобъ онъ могъ проникнуться серьезнымъ уваженіемъ къ законамъ разума и къ выводамъ науки: это вовсе несообразно съ натурою самодурства. Нѣтъ, онъ постоянно будетъ смотрѣть свысока на людей мысли и знанія, какъ на черно-рабочихъ, обязанныхъ готовить матеріалъ для удобствъ его произвола, онъ постоянно будетъ отыскивать въ новыхъ успѣхахъ образованности предлоги для предъявленія новыхъ правъ своихъ, но никогда не дойдетъ до сознанія обязанностей, налагаемыхъ на него тѣми же успѣхами образованности. Иначе и не можетъ онъ поступать, не переставая быть самодуромъ, такъ какъ первое требованіе образованности въ томъ именно и состоитъ, чтобы отказаться отъ самодурства. А отказаться отъ самодурства для какого-нибудь Гордѣя Карпыча Торцова значитъ—обратиться въ полное ничтожество. И вотъ, онъ тѣшится надъ всѣми окружающими: колетъ имъ глаза ихъ невѣжествомъ и преслѣдуетъ за всякое обнаруженіе ими знанія и здраваго смысла. Онъ узналъ, что образованныя дѣвушки хорошо говорятъ, и упрекаетъ дочь, что та говоритъ не умѣетъ; но чуть она заговорила, кричитъ: «молчи, дура»! Увидѣлъ онъ, что образованные приказчики хорошо одѣваются, и сердится на Митю, что у того сюртукъ плохъ; но жалованьишко продолжаетъ давать ему самое ничтожное... Такъ точно и во всей своей жизни—онъ умѣетъ извлечь изъ претензій на образованность только увеличеніе требованій и правъ своихъ, но никакъ не расширеніе своихъ собственныхъ обязанностей... Такова ужъ сущность этого милаго свойства, которое такъ мѣтко названо у Островскаго самодурствомъ! Въ раскрытіи этого-то отношенія самодурства къ образованности заключается для насъ главный интересъ лица Гордѣя Карпыча. Мы во все не понимаемъ, какимъ образомъ нѣкоторые критики могли вывести, что въ этомъ лицѣ и вообще въ комедіи «Бѣдность не по-

рокъ» Островскій хотѣлъ показать вредное дѣйствіе новыхъ понятій на старый русскій бытъ... Изъ всей комедіи ясно, что Гордѣй Карпычъ сталъ такимъ грубымъ, страшнымъ и нелѣпымъ—не съ тѣхъ поръ только, какъ съѣздили въ Москву и перенялъ новую моду. Онъ и прежде былъ въ сущности такой же самодуръ; теперь только прибавилось у него нѣсколько новыхъ требованій.

Подъ вліяніемъ такого человѣка и такихъ отношеній развиваются кроткія натуры Любви Гордѣевны и Мити, представляющія собою образецъ того, до чего можетъ доходить обезличеніе и до какой совершенной неспособности къ самобытной дѣятельности доводитъ угнетеніе даже самую симпатичную, самоотверженную натуру. Митя способенъ къ жертвамъ, онъ самъ терпитъ нужду, чтобы только помогать своей матери; онъ сноситъ всѣ грубости Гордѣя Карпыча и не хочетъ отходить отъ него, изъ любви къ его дочери; онъ, несмотря на гнѣвъ хозяина, пригрѣваетъ въ своей комнатѣ Любима Торцова и даетъ ему даже денегъ на похмѣлье. Словомъ, у Мити такъ много самоотверженія, что, кажется, ему всякія жертвы, всякія опасности должны быть нипочемъ... Не меньшей добротой отличается и Любовь Гордѣевна. А ужъ какъ она любитъ Митю,—этого и сказать нельзя: кажется, душу бы за него отдала съ радостью... Будь это люди нормальные, съ свободной волей и хоть съ нѣкоторой энергіей,—ничто не могло бы разлучить ихъ, или, по крайней мѣрѣ, разлука эта не обошлась бы безъ тяжелой и страшной борьбы. Но посмотрите, какъ разыгрывается вся исторія въ семействѣ Торцова. При самомъ объясненіи въ любви, собираясь просить благословенія у отца, Любовь Гордѣевна говоритъ Митѣ: «а ну, какъ тятенька не захочетъ нашего счастья,—что тогда»? Митя отвѣчаетъ: «что загадывать впередъ? Тамъ—какъ Богъ дастъ. Не знаю, какъ тебѣ, а мнѣ безъ тебя жизнь не въ жизнь». Любочка ничего не находитъ отвѣтить на эти слова. Какъ ясно рисуется здѣсь безсиліе и заботность молодыхъ людей! Они боятся даже подумать о какомъ-нибудь самостоятельномъ шагѣ, стараются прогнать отъ себя даже мысль о предстоящихъ препятствіяхъ. Она съ ужасомъ говоритъ: «что будетъ, если тятенька не согласится»?—а онъ, вмѣсто отвѣта: «какъ Богъ дастъ»... Ясно, что они не въ состояніи исполнить своихъ намѣреній, если встрѣтятъ хоть малѣйшее препятствіе. И дѣйствительно,—въ этотъ самый вечеръ является Гордѣй Карпычъ съ Коршуновымъ, приказываетъ дочери ласкать и цѣловать его и объявляетъ, что это ея женихъ. Палагея Егоровна приходитъ въ ужасъ и въ какомъ-то безсознательномъ порывѣ кричитъ, схватывая дочь за руки: «моя дочь, не отдамъ! батюшка, Гордѣй Карпычъ, не шути надъ материнскимъ сердцемъ! перестань... истомилъ всю душу». Но Гордѣй Карпычъ грозно вопіетъ: «жена! ты меня знаешь: у меня сказано—сдѣлано»,—и жена умолкаетъ. Начинаетъ теперь дочь свою оппозицію. Начинаетъ она тѣмъ, что падаетъ отцу въ ноги и говоритъ: «тятенька! я приказа твоего не смѣю послушаться... Тятенька! не захоти ты моего несчастья на всю мою жизнь! Передумай, т

тенька! Что хочешь, меня заставь. только не принуждай ты меня противъ сердца замужъ идти за немилаго». Кончается же оппозиція тѣмъ, что на суровый отказъ отца невеста отвѣчаетъ: «воля твоя, батюшка», кланяется и отходитъ къ матери, а Коршуновъ велитъ дѣвушкамъ пѣть свадебную пѣсню... Борьба оказалась не очень упорною и продолжительною; но даже и такое проявленіе личныхъ своихъ желаній очень много значитъ въ Любови Гордѣевнѣ. Только крайность огорченія, только тяжелая душевная мука могли заставить ее раскрыть ротъ для произнесенія словъ, несогласныхъ съ волею родителя. Но и тутъ—какія слова: «передумай!» «не захоти!» Какое жалкое положеніе: не имѣть даже ни малѣйшаго помысленія о возможности сдѣлать что-нибудь самому, полагать всю надежду на чужое рѣшеніе, на чужую милость, въ то время, какъ намъ грозить кровная бѣда!.. Каково должно быть извращеніе человѣческой природы въ этомъ ужасномъ семействѣ, когда даже чувство само-сохраненія принимаетъ здѣсь столь рабскую форму!..

Третій актъ комедіи открывается тѣмъ, что воля Гордѣя Карпыча совершилась: гости пируютъ на помолвкѣ его дочери съ Африканомъ Саввичемъ. Старая служанка, Арина, ругаетъ жениха и тоскуетъ объ участи невесты; Палагея Егоровна жалуется на свое горе, что дочка у ней погибаетъ; Митя приходитъ прощаться: онъ рѣшился уѣхать къ матери отъ своей напасти. Слезы и жалобы Палагеи Егоровны выводятъ его, однако, изъ себя, и онъ начинаетъ ей колоть глаза ея трусостью и безсиліемъ. «Не на кого—говорить—вамъ плакаться: сами отдаете. Чѣмъ плакать-то, не отдавали бы лучше. За что дѣвичій вѣкъ заѣдаете, въ кабалу отдаете? Нешто это не грѣхъ?» и пр. У Палагеи Егоровны одинъ отвѣтъ: «знаю я все, да не моя воля; а ты бы, Митя, лучше пожалѣлъ меня». Тутъ Митя приходитъ въ умиленіе и рассказываетъ ей про свою любовь, а она замѣчаетъ: «ахъ ты сердечный! Экой ты горькій паренекъ-то, какъ я на тебя посмотрю»!... Она сожалеетъ объ его горѣ, какъ о такомъ, котораго никакими человѣческими средствами отворотить ужъ невозможно,—какъ будто бы она услышала, напримѣръ, о томъ, что Митя себѣ руки обрубилъ, или—что мать его умерла... Но вотъ и сама Любовь Гордѣевна приходитъ; у Мити расходилось сердце до того, что онъ предлагаетъ Палагее Егоровнѣ снарядить дочку потѣшѣе къ вечеру, а онъ ее увезетъ къ своей матушкѣ, да тамъ и повѣнчается. Рѣшеніе это очень смѣло, но оно не составляетъ обдуманнаго, серьезнаго плана, и ему суждено погибнуть такъ же скоро, какъ оно зародилось. Самъ Митя характеризуетъ свой порывъ такою фразой: «эхъ, дайте душѣ просторъ—разгуляться хочетъ! По крайности, коли придется и въ отвѣтъ идти, такъ ужъ зато буду знать, что потѣшился». Итакъ, это отчаянная, безумная вспышка, къ какимъ бываютъ въ нѣкоторыя мгновенія способны самые робкіе люди. Но у Мити нѣтъ силы поддержать свое требованіе и, встрѣтивъ отказъ отъ матери и отъ дочери, онъ довольно скоро и самъ отказывается отъ своего намѣренія, говоря: «ну, знать

не судьба». А Любовь Гордѣевна—та ужъ вовсе убита, такъ что не можетъ допустить даже и мысли о согласіи на предложеніе Мити... И не мудрено: она вѣдь гораздо ближе къ Гордѣю Карпычу, гораздо болѣе подвергалась вліянію его самодурства, нежели Митя. Оттого она безропотно рѣшается на всякія муки, только чтобъ не выступить изъ отцовскаго приказа. «Нѣтъ, Митя, не бываетъ этому,—говоритъ она:—не томи себя понапрасну, не надрывай мою дуню... И такъ мое сердце все изныло во мнѣ... Поѣзжай съ Богомъ». И Митя отходитъ, зная, что «Любови Гордѣевнѣ за Кориуновымъ не иначе, какъ погибать надобно»; и она это знаетъ, и мать знаетъ,—и всѣ тоскливо и тупо покоряются своей судьбѣ... До такой степени гнетъ самодурства искажилъ въ нихъ человѣческій образъ, заглушилъ всякое самобытное чувство, отнялъ всякую способность къ защитѣ самыхъ священныхъ правъ своихъ, правъ на неприкосновенность чувства, на независимость сердечныхъ влеченій, на наслажденіе взаимной любовью!..

И, вѣдь, если бы еще въ самомъ дѣлѣ сила неодолимая, натура высшаго разряда тяготѣла надъ этими несчастными! А то вовсе нѣтъ!.. Гордѣй Карпычъ не только крайне ограниченъ въ своихъ понятіяхъ, но еще и трусливъ, и слабодушенъ. Это опять-таки—неотъемлемое, неизбежное свойство самодурства. Самодуръ дуритъ, ломается, ртается, пока не встрѣчаетъ себѣ противодѣйствія, или пока противодѣйствіе робко и нерѣшительно... Но у него нѣтъ такой точки опоры, которая могла бы поддержать его въ серьезной и продолжительной борьбѣ. Онъ требуетъ и приказываетъ, но самъ хорошенько не понимаетъ—ни настоящаго смысла своихъ приказаній, ни того, на чемъ они основаны... Кромѣ того, въ немъ есть всегда неопредѣленный, смутный страхъ за свои права: онъ чувствуетъ, что многихъ своихъ претензій не можетъ оправдать никакимъ правомъ, никакимъ общимъ закономъ... Боясь, чтобы другіе этого не примѣтили, онъ употребляетъ обыкновенную мѣру—запугиванье. Известно, какъ скрывается подъ этою мѣрою всякая ничтожность, фальшь, нечистота, словомъ—несостоятельность всякаго рода. Учитель, не довольно свѣдущій, старается быть строже съ учениками, чтобы тѣ его не спрашивали ни о чемъ. Начальникъ, не понимающій дѣла или нечистый на руку, старается напустить на себя важность, чтобы подчиненные не дерзали слишкомъ смѣло судить о немъ. Баринъ, не имѣющій никакого дѣйствительнаго достоинства, старается взять суровостью и грубостью предъ лакеемъ... Благодаря общей апатіи и добродушію людей, такое поведеніе почти всегда удается: иной и хотѣлъ бы спросить отчета,—какъ и почему?—у начальника или учителя, да видитъ, что къ тому приступу нѣтъ, такъ и махнетъ рукой... «Э,—скажетъ,—ну его! Еще обругаетъ ни за что, ни про что!» И вслѣдствіе такого разсужденія, наглая, самодурная глупость и безчестность продолжаютъ безмятежно пользоваться всѣми выгодами своей наглости и всѣми знаками видимаго почета отъ окружающихъ. Всеобщая потачка возвышаетъ гордость

самодура и даже дѣйствительно придаетъ ему силы. Она вознаграждаетъ для него отсутствіе сознанія о своемъ внутреннемъ достоинствѣ. Такъ, господинъ, вывозящій мусоръ изъ города, могъ бы, несмотря на совершенную безцѣнность этого предмета, заломить за него непомѣрные деньги, если бы увидѣлъ, что всѣ окрестные жители, по непонятной иллюзіи, придаютъ ему какую-то особенную цѣну... Но только на подобной иллюзіи и держится значеніе самодура. Только покажись гдѣ-нибудь сильный и рѣшительный отпоръ,—сила самодура падаетъ, онъ начинаетъ трусить и теряться. На первый разъ еще у него станетъ храбрости и упрямства, и это объясняется даже просто привычкой: привыкши встрѣчать безмолвное повиновеніе, онъ съ перваго раза и повѣрить не хочетъ, чтобы могло явиться серьезное противодѣйствіе его волѣ. Вслѣдствіе того, считая сначала за слѣдствіе недоразумѣнія всякій голосъ, имѣющій хоть тѣнь намѣренія ограничить его самовольство, онъ раздражается взрывомъ бѣшенства, пытается запугать еще больше, чѣмъ прежде пугалъ, и этимъ средствомъ по большей части успѣваетъ смирить или заглушить всякое недовольство. Но чуть только онъ увидитъ, что его сознательно не боятся, что съ нимъ идутъ на споръ рѣшительный, что вопросъ ставится прямо: «погибну, но не уступлю»,—онъ немедленно отступаетъ, смягчается, умолкаетъ и переноситъ свой гнѣвъ на другіе предметы, или на другихъ людей; которые виноваты только тѣмъ, что они послабѣе... Всякій, кто учился, служилъ, занимался частными комиссіями, вообще имѣлъ дѣла съ людьми,—пытаясь, вѣроятно, не разъ въ жизни на подобнаго самодура и можетъ засвидѣтельствовать практическую справедливость нашихъ словъ. Бойтесь сказать *мимоходомъ* слово вопреки сердитому и безтолковому начальнику: васъ ждетъ потокъ бранныхъ словъ и угрожающихъ жестовъ, крайне оскорбительныхъ. Мало того,—васъ и послѣдствіи будутъ преслѣдовать неблагоприятное мнѣніе начальника: вы либераль, вы непочтительны къ начальству, голова ваша набита фанаберіей... Но если вы хотите служить и вести дѣла честно, не бойтесь вступать въ серьезный, рѣшительный споръ съ самодурами. Изъ ста случаевъ въ девяносто-девяти вы возьмете верхъ. Только рѣшитесь заранѣе: что вы на полусловъ не остановитесь и пойдете до конца, хотя бы оттого угрожала вамъ дѣйствительная опасность—потерять мѣсто или лишиться какихъ нибудь милостей. Первая ваша попытка заикнуться о вашемъ мнѣніи будетъ предупреждена возвышеніемъ голоса самодура; но вы все-таки возражайте. Возраженіе ваше встрѣчено будетъ бранью или выговоромъ, болѣе или менѣе неприличными, смотря по важности и по привычкамъ лица, къ которому вы обращаетесь. Но вы не смущайтесь: возвышайте вашъ голосъ наравнѣ съ голосомъ самодура, усиливajte ваши выраженія соразмѣрно съ его рѣчью, принимайте болѣе и болѣе рѣшительный тонъ, смотря по степени его раздраженія. Если разговоръ прекратился, возобновляйте его на другой и на третій день, не возвращаясь назадъ, а начиная съ того, на чемъ

остановились вчера,—и будьте увѣрены, что ваше дѣло будетъ выиграно. Самодуръ возненавидитъ васъ, но еще болѣе испугается. Онъ радъ будетъ прогнать и погубить васъ; но, зная, что съ вами много хлопотъ, самъ постарается избѣжать новыхъ столкновений и сдѣлается даже очень уступчивъ: во-первыхъ, у него нѣтъ внутреннихъ силъ для равной борьбы на чистоту, во-вторыхъ, онъ вообще не привыкъ къ какой бы то ни было послѣдовательной и продолжительной работѣ, а бороться съ человѣкомъ, который смѣло и неотступно пристаётъ къ вамъ,—это тоже работа немалая...

Итакъ, Гордѣй Карпычъ, въ качествѣ самодура, очень слабодушенъ и вовсе не имѣетъ выдержки въ своемъ характерѣ. Всѣ качества дѣйствительно-сильной натуры замѣняются у него необузданнымъ произволомъ да тупоумнымъ упрямствомъ. Вотъ чѣмъ объясняется и оправдывается видимая неожиданность развязки, которую далъ Островскій комедіи «Бѣдность не порокъ». При появленіи этой комедіи всѣ критики возстали на автора за произвольность развязки. Внезапная переменъ Гордѣя Карпыча, его ссора съ Африканомъ Саввичемъ и вниманіе къ требованіямъ Любима Торцова показались всѣмъ неестественными. Да тутъ же еще, кстати, хотѣли видѣть со стороны автора навязываніе какого-то великодушія Торцову и какъ будто искусственное облагороживаніе его личности. Теперь, кажется, не нужно доказывать, что такихъ намѣреній не было у Островскаго: характеръ его литературной дѣятельности опредѣлился, и въ одномъ изъ послѣдующихъ своихъ произведеній онъ самъ произнесъ то слово, которое, по нашему мнѣнію, всего лучше можетъ служить къ характеристикѣ направленія его сатиры. Преслѣдованіе самодурства во всѣхъ его видахъ, осмѣиваніе его въ послѣднихъ его убѣжищахъ, даже тамъ, гдѣ оно принимаетъ личину благородства и великодушія,—вотъ, по нашему убѣжденію, настоящее дѣло, на которое постоянно устремляется талантъ Островскаго, даже совершенно независимо отъ его временныхъ воззрѣній и теоретическихъ убѣжденій. Въ трехъ комедіяхъ его изображаются порывы великодушія у самодуровъ, и каждый разъ они являются глухими, ненужными или обидными. Въ «Не своихъ саняхъ» Русаковъ, разжалобившись надъ дочерью, тоже великодушно измѣняетъ свое рѣшеніе и соглашается выдать ее за Вихорева. Спрашивается: зачѣмъ? съ какой стати? Вѣдь онъ, повидимому, вполне убѣжденъ, что замужество съ Вихоровымъ составитъ гибель его дочери. За нѣсколько минутъ ранѣе онъ даже доказываетъ это довольно резонно; за нѣсколько минутъ онъ выказываетъ свою твердость, угрожая лишить дочь своего благословенія въ случаѣ непослушанія. А тутъ вдругъ великодушная уступка! Чѣмъ она вызвана? Отчасти добротою сердца и отцовской любовью, но всего болѣе совершеннымъ отсутствіемъ прочныхъ основъ для принятаго имъ прежде рѣшенія. Человѣкъ, знающій, что онъ дѣлаетъ, и любящій свое дѣло, не отстанетъ отъ него по минутному капризу. Тотъ же Русаковъ не рѣшится сбрить себѣ бороду или надѣть фракъ, какъ бы его дочь ни убивалась

изъ-за этого. А относительно судьбы дочери у него нѣтъ въ головѣ даже такихъ прочно сложившихся и вполне опредѣленныхъ убѣжденій, какъ насчетъ бороды и фрака. Оттого-то и возможно для него въ рѣшеніи о ней такое легкомысліе, которое въ глазахъ нѣкоторыхъ представляется даже умилительнымъ великодушіемъ, такъ же, какъ и уплата долга за Вихорева!...

Тою же неразумностью отличается и великодушіе Торцова. Онъ души не чааетъ въ своемъ будущемъ зятѣ, Африканѣ Саввичѣ. «Можешь ли ты меня теперь понимать»? спрашиваетъ онъ, и ничего, кажется, не желаетъ болѣе, какъ только того, чтобы зятюшка его понялъ. Чтобы угодить ему и скрѣпить свою дружбу съ нимъ, Торцовъ жертвуетъ дочерью, презираетъ ея мольбы и слезы матери, даже самъ видимо унижается и позволяетъ ему обходиться съ собой нѣсколько свысока. Но вотъ Любимъ Торцовъ начинаетъ обижать нареченнаго зятя, зять обиженъ и даетъ это замѣтить Гордѣю Карпычу довольно грубо, заключая свою рѣчь словами: «нѣтъ, теперь *ты* приходи ко мнѣ да покланяйся, чтобы я дочь-то твою взялъ». Этихъ словъ довольно, чтобы взбѣсить Гордѣя Карпыча. Онъ всныльчиво спрашиваетъ: «я къ тебѣ пойду кланяться»? А Коршуновъ подливаетъ масла въ огонь, говоря: «пойдешь, я тебя знаю. Тебѣ нужно свадьбу сдѣлать, хоть въ петлю лѣзть, да только бъ весь городъ удивить, а жениховъ-то нѣтъ... Вотъ несчастье-то твое». Этими словами Коршуновъ совершенно портитъ свое дѣло: онъ употребилъ именно ту форму, которой самодурство никакъ не можетъ переносить, и которая сама опять-таки есть не что иное, какъ нелѣпное порожденіе самодурства. Одинъ самодуръ говоритъ: «ты не смѣешь этого сдѣлать»; а другой отвѣчаетъ: «нѣтъ, смѣю». Тутъ споръ идетъ уже о томъ, кто кого передурить. И если одинъ изъ спорящихъ чего-нибудь добивается отъ другого, то, разумѣется, побѣдителемъ останется тотъ, отъ котораго добиваются; ему вѣдь тутъ и труда никакого не нужно: стоитъ только не дать, и дѣло съ концомъ. Такъ происходитъ и здѣсь. Выслушавъ «не смѣешь» Коршунова, Гордѣй Карпычъ говоритъ: «опосля этого, когда ты такія слова говоришь, я самъ тебя знать не хочу! Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, *за кого* *вздумается*, за того и отдамъ. Съ деньгами, что я за ней дамъ, всякій человѣкъ будетъ... Вотъ за Митьку отдамъ»!... И въ порывѣ гнѣва, онъ нѣсколько разъ повторяетъ: «да, за Митьку отдамъ! На зло ему, за Митрія отдамъ»!... Коршуновъ уходитъ въ ярости, а домашніе всѣ удивлены, принимая слова Гордѣя Карпыча за серьезное рѣшеніе: до такой степени приучены они къ неразумности всѣхъ его поступковъ. Митя, съ наивною заганнаго юноши, очень довѣрчиваго и очень плохо понимающаго истинный смыслъ всего, что вокругъ него происходитъ, даже обращается къ Торцову съ слѣдующей рѣчью: «зачѣмъ же на зло, Гордѣй Карпычъ? Со зломъ такого дѣла не дѣлаютъ. Мнѣ на зло не надобно-съ. Лучше ужъ я всю жизнь буду мучиться. Коли есть ваша такая милость, такъ ужъ вы благословите насъ,

какъ слѣдуетъ, — по-родительски, съ любовію»... Но эти наивныя слова возбуждаютъ, разумѣется, гнѣвное изумленіе въ Торцовѣ, который и не думалъ говорить серьезно объ отдачѣ дочери за Митю. «Что, что! вскрикиваетъ онъ. — Ты ужъ и радъ случаю! Да какъ ты смѣлъ подумать-то? Что она, ровня что ль тебѣ? Съ кѣмъ ты говоришь, вспомни»!... Митя становится передъ нимъ на колѣни, но это смиреніе не обезоруживаетъ Гордѣя Карпыча: онъ продолжаетъ ругаться. Просьбы дочери и жены тоже остаются безсильны. Но тутъ-то является имъ на помощь Любимъ Торцовъ, — озорникъ, съ которымъ Гордѣй Карпычъ ужъ достаточно повозился и никакого ладу не нашелъ... Любимъ говоритъ ему то же, что и Коршуновъ: «да ты поклонись въ ноги Любиму Торцову, что онъ тебя оконфузилъ-то», и Палагея Егоровна прибавляетъ: «именно, Любимушка, надо тебѣ въ ноги поклониться»... Можно бы ожидать, что Гордѣй Карпычъ, на зло домашнимъ, опять упрется и выдумаетъ еще что-нибудь на зло. Но онъ только спрашиваетъ въ недоумѣніи: «что жъ я, извергъ, что ли, какой въ своемъ семействѣ»? Изъ этого вы уже замѣчаете, что его начинаетъ пробивать великодушіе. Разъ онъ уже поставилъ на своемъ, прогнавъ Коршунова, и, слѣдовательно, самолюбіе его удовлетворено покамѣстъ. Къ тому же—онъ ужъ и утомленъ напряженіемъ, которое сдѣлалъ, и не въ состояніи теперь снова собрать ту же энергію для другой борьбы. А тутъ, вмѣстѣ съ кроткими мольбами жены, допекаютъ его разсужденія и назойливыя просьбы брата Любима, который говоритъ съ нимъ смѣло и рѣшительно, безъ всякихъ умолчаній, подкрѣпляя просьбы свои доказательствами, взятыми изъ собственнаго опыта. Гордѣй Карпычъ какъ будто затуманивается; онъ смотритъ вокругъ себя и не знаетъ, какъ ему все это понимать и что дѣлать; онъ ищетъ внутри себя, на чемъ бы опереться въ борьбѣ, и ничего не находитъ, кромѣ своей самодурной воли. Она-то и высказывается въ послѣднемъ его возраженіи: «ты мнѣ что ни говори, а я тебя слушать не хочу»... Но Любимъ не придаетъ особенной важности такому возраженію и продолжаетъ свои настоянія. Гордѣй Карпычъ окончательно сбить съ толку и обезсиленъ; сознаніе всего окружающаго рѣшительно мутится въ его головѣ; онъ никакъ не можетъ отыскать своихъ мыслей, которыя никогда и не были крѣпко связаны между собой, а теперь ужъ совсѣмъ разлетѣлись въ разныя стороны... Въ эту критическую минуту онъ позволяетъ себѣ раскваситься, его прошибаетъ слеза, и онъ, благодаря брата Любима за назиданіе, благословляетъ будущее счастье дѣтей своихъ... Пользуясь его расположеніемъ, и племянникъ его, Гуслинъ, которому Торцовъ запрещалъ жениться, проситъ разрѣшенія и получаетъ его... Гордѣй Карпычъ говоритъ: «теперь просите всѣ, кому что нужно; теперь я сталъ другой человѣкъ»!...

Какой широкій размахъ великодушія, подумаешь!... Такъ и чувствуешь какого-то восточнаго султана, который говоритъ: «все въ моей власти!... Стоитъ мнѣ мигнуть, и съ тебя голову снимутъ; стоитъ сказать слово, и неслыханно-роскошные дворцы вырастутъ

для тебя изъ земли. Проси, чего хочешь! полміра могу я взять и подарить, кому хочу»... Разница только въ размѣрахъ, а сущность дѣла та же самая въ словахъ Торцова. Дай ему какой-нибудь калифатъ, онъ бы и тамъ сталъ распоряжаться такъ же точно, какъ теперь въ своемъ семействѣ. Дурилъ бы, презирая всѣ человѣческія права и не признавая другихъ законовъ, кромѣ своего произвола, а подчасъ удивлялъ бы своимъ великодушіемъ, основаннымъ опять-таки на той мысли, что «вотъ, дескать, смотрите: у васъ правъ никакихъ нѣтъ, а на всемъ моя полная воля; могу казнить, могу и миловать»!... Счастливы мы, читатель, что живемъ въ настоящее время, когда у насъ порывы подобнаго великодушія невозможны!... Ими можно пользоваться въ извѣстныя минуты, какъ воспользовались Митя и Любовь Гордѣевна: ихъ дѣло выиграно, хотя Гордѣй Карпычъ, разумѣется, и не надолго останется великодушнымъ и будетъ послѣ каяться и попрекать ихъ своимъ рѣшеніемъ... Но подобныя выигрыши ненадежны. Когда вы рассчитываете, какъ устроить свою жизнь, то, конечно, не будете основывать своихъ расчетовъ на томъ, что, можетъ быть, выиграете большое состояніе въ лотерею. Такъ точно въ разумной, сознательной жизни невозможно рассчитывать и на выигрышъ великодушія самодура... Пусть лучше не будетъ этихъ благородныхъ, широкихъ барскихъ замашекъ, которыми восторгались старые, до идіотства захолопѣвшіе лакеи; но пусть будетъ свято и неприкосновенно то, что мнѣ принадлежитъ по праву; пусть у меня будетъ возможность всегда употреблять свободно и разумно мою мысль и волю, а не тогда, когда выйдетъ милостивое разрѣшеніе отъ какого-нибудь Гордѣя Карпыча Торцова...

Но безсиліе и внутреннее ничтожество самодурства не выдается еще въ этихъ комедіяхъ съ такой поразительной яркостью, какъ въ небольшой комедіи: «Въ чужомъ пиру похмѣлье». Здѣсь есть все—и грубость, и отсутствіе честности, и трусость, и порывы великодушія,—и все это покрыто такой тупоумной глупостью, что даже люди, наиболѣе расположенные къ славянофильству, не могли одобрить Тита Титыча Брускова, а замѣтили только, что все-таки у него душа добрая... Аграфена Платоновна, хозяйка квартиры, гдѣ живетъ учитель Ивановъ съ дочерью, отзывается о Брусковѣ, какъ о человѣкѣ «дикомъ, властномъ, крутомъ сердцемъ, словомъ сказать — самодуръ». На вопросъ Иванова: что значитъ самодуръ?—она объясняетъ: «самодуръ — это называется, коли вотъ человѣкъ никого не слушаетъ: ты ему хоть колъ на головѣ теши, а онъ все свое. Топнеть ногой, скажетъ: кто я? Тутъ ужъ всѣ домашніе ему въ ноги должны, такъ и лежать, а то бѣда»... Продолжая свою характеристику, она замѣчаетъ, что «насчетъ плутовства — онъ, точно, старикъ хитрый; но хоть и плутовать, а человѣкъ темный. Онъ только въ своемъ домѣ свирѣпъ, а то съ нимъ, что хочешь дѣлай, — дуракъ дуракомъ; на пустомъ спугнуть можно». И дѣйствительно, изъ пьесы оказывается, что всѣ слова Аграфены Пла-

тоновны справедливы. Она же сама, ни съ того ни съ сего, беретъ съ Брускова, зашедшаго въ квартиру Ивановыхъ, тысячу цѣлковыхъ за расписку, въ которой сынъ его, Андрей Титычъ, обѣщается жениться на дочери Иванова. Расписка эта и сама по себѣ ничего не значить, да Ивановъ съ дочерью и не знаютъ о ней, и претензіи никакой не имѣютъ; все это сама хозяйка устроиваетъ, желая ихъ облагодѣтельствовать... Но Брусковъ, какъ темный человѣкъ, вполне освоившійся съ обычаями «темнаго царства», не входитъ ни въ какія соображенія. Во-первыхъ, онъ всегда готовъ къ тому, что его обманутъ, такъ какъ онъ самъ готовъ обмануть всякаго. Поэтому, прочитавъ бумажку, показанную ему Аграфеной Платоновной, онъ преспокойно замѣчаетъ: «это, то есть, насчетъ грабежу. Ну, народецъ»!... И затѣмъ начинаетъ торговаться, нисколько не возмущаясь этой исторіей, а только удивляясь ловкой штукѣ, которую сочинили съ его сыномъ. Во-вторыхъ—онъ ужасно боится всякаго суда, потому что, хоть и надѣется на свои деньги, но все-таки не можетъ сообразить, правъ-ли онъ долженъ быть по суду или нѣтъ,—а знаетъ только, что по суду тоже придется много денегъ заплатить. На этомъ основаніи, только услышавши отъ Аграфены Платоновны, что теперь пойдетъ «дѣло по дѣлу, а судъ по формѣ», онъ чешетъ себѣ затылокъ и говоритъ: «по формѣ?... Нѣтъ, ужъ лучше мы такъ, между себя сдѣлаемся». И это ему, дѣйствительно, гораздо легче ужъ и потому даже, что подобныя сдѣлки для него очень привычны. Онъ такъ объясняется съ женою на этотъ счетъ, возвратясь отъ Ивановыхъ:

Т и т ь Т и т ы ч ь. Настасья! Смѣетъ меня кто обидѣть?

Н а с т а с ь я П а н к р а т ь е в н а. Никто, батюшка Китъ Китычъ, не смѣетъ васъ обидѣть. Вы сами всякаго обидите.

Т и т ь Т и т ы ч ь. Я обижу, я и помилую, а то деньгами заплачу. Я за это много денегъ заплатилъ на своемъ вѣку.

Н а с т а с ь я П а н к р а т ь е в н а. Много, Китъ Китычъ, много.

Т и т ь Т и т ы ч ь. Молчи.

Отсутствіе яснаго сознанія нравственныхъ началъ выражается и въ обращеніи, которое Брусковъ позволяетъ себѣ съ Аграфеной Платоновной и съ Ивановымъ, послѣ того какъ заплатилъ деньги и получилъ расписку. Аграфена Платоновна старается его выпроводить, но онъ усаживается и начинаетъ ругаться, представляя такой резонъ: «нѣтъ, погоди—дай *хоть порука-то за свои деньги*». Но впрочемъ, это онъ такъ-только, зло сорвать хочетъ; въ своихъ ругательствахъ онъ не видитъ ничего оскорбительнаго, да и самъ не задѣтъ за живое. Когда приходитъ Ивановъ и, ничего не зная о происшедшей исторіи, съ недоумѣніемъ смотритъ на Брускова, Титъ Титычъ обращается къ нему съ такой рѣчью: «ты что на меня смотришь? На мнѣ, братъ, ничего не написано. Деньги-то взять умѣли. *Вы меня хоть поподчуйте чѣмъ за мои деньги-то*».

Ивановъ просить его уйти; онъ опять начинаетъ ругаться. Ивановъ гонить его вонъ, — онъ возражаетъ: «что ты кричишь-то? *Я вѣдь ничею, я такъ—шучу съ тобой*». Ивановъ продолжаетъ гнать его, и Брусковъ подходитъ къ нему и, ударяя его по плечу, говоритъ: «поѣдемъ ко мнѣ! *Выпьемъ вмѣстѣ, пріятели будемъ. Что ссориться-то*!» Ивановъ входитъ въ пущій азартъ, и Брусковъ, съ неудовольствіемъ замѣчая: «ишь, ты, какой сердитый!» — уходитъ съ новыми ругательствами... Пришедши домой, онъ велитъ Захару Захарычу, пьянчужкѣ-приказному, писать «такое прошеніе, чтобы трѣхъ человѣкъ въ Сибирь сослать по этому прошенію». Я, говорить, «такъ хочу и никакихъ денегъ для этого не пожалѣю». Но тутъ приходитъ Ивановъ, узнавшій между тѣмъ все дѣло, приносить деньги, взятые Аграфеной Платоновной, и проситъ назадъ, расписку. Брусковъ тотчасъ смекаетъ, что Ивановъ затѣмъ ее проситъ, чтобы потомъ за нее больше содрать. Но старикъ-учитель разжалобилъ его, и онъ спрашиваетъ: «аль отдать? Сахарычъ,—отдать»? Захаръ Захарычъ говоритъ: «ни, ни, ни»!—Но Брусковъ внезапно рѣшаетъ: «а я говорю, что отдать!... Ты молчи, не смѣй разговаривать»!... И расписка отдана и тутъ же разорвана Ивановымъ, а черезъ нѣсколько минутъ Брусковъ находитъ, что «деньги и все это—тлѣнь», и что, слѣдовательно, сынъ его можетъ жениться на дочери Иванова, хотя она и бѣдна... «Мое слово—законъ» — говоритъ онъ и посылаетъ сына сватать дочь учителя. «Да помиуйте, тятенька, онъ не отдастъ», — возражаетъ сынъ. «Я тебѣ приказываю, слышишь,—говоритъ Титъ Титычъ:—какъ онъ смѣетъ не отдать, когда я этого желаю?... Вы не смѣете со мной разговаривать», прибавляетъ онъ.—«А если не отдастъ за тебя, ты лучше мнѣ и на глаза не показывайся»!...

Во всемъ этомъ замѣчательно то, что вся исторія сама по себѣ необыкновенно глупа... Если смотрѣть здраво, то всѣ ея участники хотятъ невозможнаго, или—лучше сказать—сами не смыслятъ, чего они хотятъ. Аграфена Платоновна, не спросясь Ивановыхъ, беретъ съ Андрея Брускова расписку, а съ отца его — деньги. Титъ Титычъ хочетъ услать Ивановыхъ въ Сибирь и основываетъ это на распискѣ, которую его же выгода требуетъ уничтожить. Ивановъ убивается, требуя — даже не уничтоженія, а именно *возвращенія* расписки, что ему вовсе ненужно, и только возбуждаетъ справедливыя подозрѣнія въ Брусковѣ... Все это совершенно нелѣпо и безсмысленно, какъ самъ Брусковъ и вся его жизнь. Но всего глупѣе роль сына Брускова, Андрея Титыча, изъ-за котораго идетъ вся эта исторія и который самъ, по его же выраженію, «какъ угорѣлый ходитъ по землѣ» и только сокрушается о томъ, что у нихъ въ домѣ «все не такъ, какъ у людей», и что его «уродомъ сдѣлали, а не человѣкомъ». И въ самомъ дѣлѣ, — смѣшно посмотрѣть, что съ нимъ дѣлаютъ. Парню ужъ давно за двадцать, смысломъ его природа не обидѣла: по фабрикѣ отцовской онъ лучше всѣхъ понимаетъ дѣло, впередъ знаетъ, что требуется, кромѣ того и къ наукамъ имѣетъ склонность, и искус-

ства любить—«къ скрипкѣ оченно пристрастіе имѣеть», словомъ сказать—парень совершеннолѣтній, добрый и неглухой; возросъ онъ дотого, что ужъ и жениться собирается... И вдругъ онъ «отъ тятеньки скрывается»!.. Только слышалъ, что «самъ пріѣхалъ»,—какъ и кричить: «маменька, спрячьте меня отъ тятеньки», и бѣжить къ матери въ спальню прятаться... Какая тому причина? Та, что тятенька его женить задумалъ насильственнымъ образомъ... Такъ онъ, видите, отбѣгаться думаетъ!.. И способъ-то хорошій выбралъ!.. А зачѣмъ тятенька хочетъ его женить насильно, на то причина одна: что такъ онъ хочетъ... Мать, впрочемъ, представляетъ и другую причину: невѣста, найденная отцомъ, очень богата, «а намъ,—по словамъ Настасьи Панкратьевны,—надо невѣсту съ большими деньгами, *потому сами богаты*»... Логика неопровержимая!.. И Андрей Титычъ ничего хорошенько не можетъ возразить противъ нея: онъ уже доведенъ отцовскимъ обращеніемъ до того, что самъ считаетъ себя «просто пропащимъ человѣкомъ». А обращеніе въ самомъ дѣлѣ хорошее, если послушать его рассказовъ Лизаветѣ Ивановнѣ, дочери Иванова. По его словамъ, у него «крыльяшибены, то есть обрублены, какъ есть». Жениться онъ долженъ не по своему выбору, а по приказу отцовскому. «А коли скажешь, что, молъ, тятенька, эта невѣста не нравится: а, говоритъ, въ солдаты отдамъ!.. Ну, и шабашъ!.. Да ужъ не то, что въ этакое дѣлѣ,—прибавляетъ онъ,—и въ другомъ-то въ чемъ воли не даютъ. Я вотъ помоложе былъ, учиться хотѣлъ, такъ и то не велѣли»!.. Лизавета Ивановна совѣтуетъ ему, выбравши хорошую минуту, рассказать отцу откровенно все,—что онъ способности имѣеть, что учиться хочетъ, и т. п. Андрей Титычъ отвѣчаетъ на это: «онъ такую откровенность задастъ, что мѣста не найдешь. Вы думаете,—онъ не знаетъ, что ученый лучше неученаго?—Только хочетъ на своемъ поставить... Одинъ капризъ, одна только амбиція,—что вотъ я неучень, а ты умнѣе меня хочешь быть».

Ну, скажите, есть ли какая-нибудь возможность вести разумную рѣчь съ этими людьми! Отецъ знаетъ, что ученый лучше неученаго, и сыну извѣстно, что отецъ это знаетъ, и сынъ хочетъ учиться и все-таки отецъ запрещаетъ, и сынъ не смѣетъ ослушаться!.. Отецъ признаетъ себя неучемъ, сознаетъ, что это дурно, и боится, чтобы сынъ его не избѣжалъ этого зла!... Сынъ знаетъ, что отецъ только вслѣдствіе собственнаго невѣжества запрещаетъ ему учиться, и считаетъ долгомъ покориться этому невѣжеству!... Кто разберетъ эту бессмысленную путаницу, внесенную самодурствомъ въ семейныя отношенія? Кто сумѣетъ бросить лучъ свѣта въ безобразный мракъ этой непостижимой логики «темнаго царства»? Подумаешь, что Андрей Титычъ тоже сумасшедшій, какъ его братецъ Капитоша, который представляетъ собой еще одинъ любопытный результатъ семейной дисциплины въ домѣ Брускова... Но всѣ окружающіе говорятъ, что Андрей Титычъ—умный, и онъ даже самъ такъ разумно рассуждаетъ о своемъ братѣ: «не пускаютъ—говорить, меня въ

театръ; ту причину пригоняють, что у насъ одинъ братъ помѣшан-
ный отъ театру; а онъ совсѣмъ не отъ театру, — *такъ съ мало-
лѣтства заколотили очень*... А Андрюша еще не заколоченъ, и
все-таки представляетъ изъ себя какого-то поврежденнаго. Ужъ при-
мирися бы, что ли, съ своимъ положеніемъ, какъ сотни и тысячи
другихъ мирятся! Такъ нѣтъ, — этого не хочетъ онъ, и тѣмъ при-
водитъ въ отчаяніе отца и мать. Мать сокрушается о немъ даже
больше, чѣмъ о другомъ сынѣ своемъ, — дурачкѣ. Положеніе Купи-
доши какъ-то мало беспокоитъ ее: оно ей такъ близко и сродно;
она даже потѣшается надъ нимъ, а печалится больше всего лишь
о томъ, что онъ табачище очень крѣпкій курить. «Купидоша у
насъ совсѣмъ какой-то ума рехнувшій по театру, — объясняетъ она
своей гостьѣ Ненилѣ Сидоровнѣ. — Да табакъ курить, Ненила Си-
доровна, такой крѣпкій, — просто дышать нельзя. Въ комнатахъ та-
кого курить нельзя ни подъ какимъ видомъ, — кого хочешь стош-
нить... Такъ все больше въ кухнѣ пребываетъ. *Вотъ иногда скучно,
позовешь его, а онъ-то и давай кричать по-театральному, — ну, и
утѣшаешься на него.* Съ цѣвчими поетъ басомъ, — голосъ такой
громкій, такъ, какъ словно изъ ружья выпалить». Стало быть, глу-
пость сына имѣетъ даже свою пріятность для матери!... Но умъ
Андрюши внушаетъ ей опасенія очень серьезные: «совсѣмъ — гово-
рить, — отъ дому отбивается: то не хорошо, другое не по немъ,
учиться, говорить, хочу... А на что ему много-то знать? *И такъ
божъ, а какъ обучать-то всему, тогда съ нимъ и не согласишь;
онъ мать-то и уважать не станетъ; хоть изъ дому бѣги*»... Та-
кимъ образомъ, доля самодурства Брускова переходитъ и къ женѣ
его, хоть на словахъ только, — и Андрюша, при всей своей любви
къ знанію и при всѣхъ природныхъ способностяхъ, долженъ вы-
рости неучемъ, для того, чтобы сохранить уваженіе къ отцу и ма-
тери. Они, бѣдняки, чувствуютъ, что умному-то и образованному
человѣку не за что уважать ихъ!...

А отчего же Андрей Титычъ, коли ужъ онъ дѣйствительно че-
ловѣкъ неглупый, не рѣшается въ самомъ дѣлѣ удовлетворить сво-
ей страсти къ ученію, употребивши даже въ этомъ случаѣ нѣко-
торое самовольство? Вѣдь бывали же на Руси примѣры, что маль-
чики, одержимые страстью къ наукѣ, бросали все и шли учиться,
не заботясь ни о мнѣніи родныхъ, ни о какой поддержкѣ въ жиз-
ни... Да, но тѣ мальчики, вѣрно, какъ-нибудь укрылись отъ мерт-
вящаго вліянія самодурства, не были заколочены съ малолѣтства;
оттого у нихъ и могла развиться нѣкоторая рѣшимость на борьбу
съ жизнью, нѣкоторая сила воли. Отъ Андрюши и Капитоши Бру-
сковыхъ невозможно требовать ничего подобнаго. Ихъ, несчастныхъ,
колотили въ ребячествѣ, ими помыкають, а подчасъ потѣшаются,
и взрослыми... Гдѣ ужъ тутъ развиться свѣтлымъ, независимымъ
соображеніямъ и могучей рѣшимости? Андрея Титыча только развѣ-
на то хватить, чтобы впослѣдствіи бушевать, подобно своему отцу,
и дурить надъ другими, въ отместку за то, что другіе надъ нимъ

дурили... Такъ изъ поколѣнія въ поколѣніе и переходитъ эта безобразная іерархія, въ которой тотъ, кто выбрался наверхъ, давить и топчетъ тѣхъ, кто остался внизу. Что же ему дѣлать иначе? На этой сплошной толпѣ байбаковъ, поднявшихъ его степенство вверхъ, онъ только и держится: онъ поневолѣ долженъ больше или меньше давить ее собою, — иначе самъ упадетъ опять подъ ноги другимъ и чего добраго — будетъ растоптанъ... А кому же охота быть растоптаннымъ?

Но тутъ можетъ представляться вопросъ совершенно другого свойства: отчего эти байбаки такъ упорно продолжаютъ поддерживать надъ собою челоуѣка, который ничего имъ хорошаго, окромѣ дурного, не сдѣлалъ и не дѣлаетъ? Отчего Митя безотвѣтенъ предъ Торцовымъ, Андрюша терзается, но не смѣетъ слова сказать Титу Титычу, и пр.? Отчего цѣлое общество терпитъ въ своихъ нравахъ такое множество самодуровъ, мѣшающихъ развитію всякаго порядка и правды? Въ обществѣ, воспитанномъ подъ вліяніемъ Торцовыхъ и Брусковыхъ, нѣтъ рѣшимости на борьбу. Но вѣдь нельзя не сознаться, что если самодуръ, самъ по себѣ, внутренно, несостоятеленъ, какъ мы видѣли это выше, то его значеніе только и можетъ утверждаться на поддержкѣ другихъ. Значитъ, тутъ и особеннаго героизма не нужно: только не давай ему общество этой поддержки, просто—немножко разступись толпа, сжатая для того, чтобы держать на себѣ какого-нибудь Торцова или Брускова, — и онъ самъ собою упадетъ и будетъ дѣйствительно задавленъ, если и тутъ обнаружить претензію на самодурство... Отчего же въ обществѣ столько десятковъ и сотенъ лѣтъ терпится это безсильное, гнилое, дряхлое, явленіе, давно уже отжившее свой вѣкъ въ сознаніи лучшей, истинно образованной части общества? На это есть двѣ важныя причины, которыя очень ясны изъ комедій Островскаго и на которыя мы теперь намѣрены обратить вниманіе читателей.

V.

Въ терпѣньи тяготу сноси
И безъ роптанія проси.

Ломоносовъ.

Первая изъ причинъ, удерживающихъ людей отъ противодѣйствія самодурству, есть—странно сказать—*чувство законности*, а вторая—*необходимость въ матеріальномъ обезпеченіи*. Съ перваго раза обѣ причины, представленныя нами, должны, разумѣется, показаться нелѣпостью. Повидимому, совершенно напротивъ: именно

отсутствие чувства законности и безпечность относительно матеріальнаго благосостоянія могутъ объяснять равнодушіе людей ко всѣмъ претензіямъ самодурства. Люди, разсуждающіе на основаніи отвлеченныхъ принциповъ, сейчасъ могутъ вывести такіа соображенія. Самодурство не признаетъ никакихъ законовъ, кромѣ собственнаго произвола; вслѣдствіе того у всѣхъ, подвергшихся его вліянію, мало-по-малу теряется чувство законности, и они уже не считаютъ поступковъ самодура неправыми и возмутительными и потому переносятъ ихъ довольно равнодушно. Кромѣ того—самодурство, при раздѣлѣ благъ всякаго рода, постоянно, по своему обычаю, обижаютъ ихъ, пользуясь само львиной долей, а имъ ничего не оставляя. Если они терпятъ это, значитъ, у нихъ уже потеряна любовь къ собственному благосостоянію, они привыкли къ неимѣнію ничего, и мало заботятся о томъ, чтобы выйти изъ этого положенія... При такомъ равнодушіи къ матеріальнымъ интересамъ всѣхъ этихъ Митей и Андрюшъ, немудрено самодурамъ помыкать ими по прихоти своей «гнилой фантазіи», какъ выражается Гордѣй Карпычъ.

Такое разсужденіе, при всей своей видимой основательности, весьма легкомысленно. Какъ-таки предположить въ людяхъ совершенное уничтоженіе любви къ самому себѣ, къ своему благосостоянію? И отчего же? Оттого, что кому-то вздумалось взять у меня мое добро!... Нѣтъ, это можно было бы говорить только въ такомъ случаѣ, если бы всѣ, угнетенные самодурами, были очень довольны собой. Но вѣдь мы видимъ, что и Митя, и Андрюша, и Капитоша, и Авдотья Максимовна, и Любовь Гордѣевна очень недовольны своей судьбой. Стало быть, ихъ не безпечность удерживаетъ въ ихъ положеніи, а что-то другое, поглубже... Это другое и есть чувство законности. Не будь этого чувства, т. е. прими угнетенная сторона въ самомъ дѣлѣ то убѣжденіе, что никакого порядка, никакого закона нѣтъ и ненужно, тогда бы и пошло все иначе. Приказанія самодуровъ исполнялись бы только до тѣхъ поръ, пока они выгодны для исполняющихъ; а какъ только Торцовъ коснулся благосостоянія Мити и другихъ приказчиковъ, — они бы, нисколько не думая, взяли, да и «сверзили» его... Вѣдь ихъ же больше, они сильнѣе, чѣмъ Гордѣй Карпычъ... Но они молчали передъ нимъ именно потому, что онъ хозяинъ, что его уважать слѣдуетъ. Самое то, что онъ ихъ обдѣляетъ и обижаютъ, они считаютъ законной принадлежностью его положенія... Настасья Панкратьевна вѣдь безъ всякой ироніи, а, напротивъ, съ замѣтнымъ оттѣнкомъ благоговѣнія говорить своему мужу: «кто васъ, батюшка Кить Китычъ, смѣетъ обидѣть? Вы сами всякаго обидите»!...

Очень страненъ такой оборотъ дѣла; но такова уже логика «темнаго царства». Въ этомъ случаѣ, впрочемъ, именно темнота-то разумѣнія этихъ людей и служитъ объясненіемъ дѣла. Въ общемъ смыслѣ, по нашему, — что такое чувство законности? Это не есть что-нибудь неподвижное и формально-опредѣленное, не есть абсо-

лютый принципъ морали въ извѣстныхъ, разъ навсегда указанныхъ, формахъ. Пронесхожденіе его очень просто. Входя въ общество, я пріобрѣтаю право пользоваться отъ него извѣстною долею извѣстныхъ благъ, составляющихъ достояніе всѣхъ его членовъ. За это пользованіе я и самъ обязываюсь платить тѣмъ, что буду стараться объ увеличеніи общей суммы благъ, находящихся въ распоряженіи этого общества. Такое обязательство вытекаетъ изъ общаго понятія о справедливости, которое лежитъ въ природѣ человѣка. Но для того, чтобъ успѣшнѣе достигнуть общей цѣли, т. е. увеличить сумму общаго блага, люди принимаютъ извѣстный образъ дѣйствій и гарантируютъ его какими-нибудь постановленіями, воспреещающими самовольную помѣху общему дѣлу съ чьей бы то ни было стороны. Вступая въ общество, я обязанъ принять и эти постановленія и обѣщаться не нарушать ихъ. Слѣдовательно, между мною и обществомъ происходитъ нѣкотораго рода договоръ, не выговоренный, не формулированный, но подразумѣваемый самъ собою. Поэтому, нарушая законы общественные и пользуясь въ то же время ихъ выгодами, я нарушаю одну, неудобную для меня, часть условія, и становлюсь лжецомъ и обманщикомъ. По праву справедливаго возмездія, общество можетъ лишить меня участія и въ другой, выгодной для меня, половинѣ условія, да еще и взыскать за то, чѣмъ я успѣлъ воспользоваться не по праву. Я самъ чувствую, что такое распоряженіе будетъ справедливо, а мой поступокъ несправедливъ, — и вотъ въ этомъ-то заключается для меня чувство законности. Но я не считаю себя преступнымъ противъ чувства законности, ежели я совсѣмъ отказываюсь отъ условія (которое, надо замѣтить, по самой своей сущности не можетъ въ этомъ случаѣ быть прочнымъ), добровольно лишаясь его выгодъ и за то не принимая на себя его обязанностей. Я, на примѣръ, если бы поступилъ въ военную службу, можетъ быть; дослужился бы до генерала; но за то, въ солдатскомъ званіи, я обязывался, по правиламъ военной дисциплины, дѣлать честь каждому офицеру. Но я не поступаю въ военную службу или выхожу изъ нея и, отказываясь такимъ образомъ отъ военной формы и отъ надежды быть генераломъ, считаю себя свободнымъ отъ обязательства — прикладывать руку къ козырьку при встрѣчѣ со всякимъ офицеромъ. А вотъ мужики въ отдаленныхъ отъ городовъ мѣстахъ, — такъ тѣ низко кланяются всякому встрѣчному, одѣтому въ нѣмецкое платье. Ну на это ужъ ихъ добрая воля или, можетъ, особымъ образомъ понятое, то же чувство законности!... Мы такого чувства не признаемъ и считаемъ себя правыми, если, не служа, не ходимъ въ департаментъ, — не получая жалованья, не даемъ вычета въ пользу инвалидовъ, и т. п. Точно такъ сочли бы мы себя правыми, если бы, на примѣръ, пріѣхали въ магометанское государство и, подчинившись его законамъ, не признали, однако, ислама. Мы сказали бы: «государственные законы насъ ограждаютъ отъ тѣхъ видовъ насилія и несправедливости, которые здѣсь признаны противозаконными и могутъ нарушить наше

благосостояніе; поэтому мы признаемъ ихъ практически. Но намъ нѣтъ никакой надобности дить въ мечеть, потому что мы вовсе не чувствуемъ потребности молиться пророку, не нуждаемся въ истинахъ и утѣшеніяхъ алкорана и не вѣримъ Магометову раю со всѣми его гуріями, слѣдовательно, отъ ислама ничѣмъ не пользуемся и не хотимъ пользоваться». Мы были бы правы въ этомъ случаѣ по чувству законности въ его правильномъ смыслѣ.

Такимъ образомъ, законы имѣютъ условное значеніе по отношенію къ намъ. Но мало этого: они и сами по себѣ не вѣчны и не абсолютны. Принимая ихъ, какъ выработанныя уже условія прошедшей жизни, мы чрезъ то никакъ не обязываемся считать ихъ совершеннѣйшими и отвергать всякія другія условія. Напротивъ, въ мой естественный договоръ съ обществомъ входитъ, по самой его сущности, и обязательство стараться объ изысканіи возможно лучшихъ законовъ. Съ точки зрѣнія общаго, естественнаго человѣческаго права, каждому члену общества ввѣряется забота о постоянномъ совершенствованіи существующихъ постановленій и объ уничтоженіи тѣхъ, которыя стали вредны или ненужны. Нужно только, чтобъ измѣненіе въ постановленіяхъ, какъ клонящееся къ общему благу, подвергалось общему суду и получило общее согласіе. Если же общее согласіе не получено, то частному лицу предоставляется спорить, доказывать свои предположенія и, наконецъ, отказаться отъ всякаго участія въ томъ дѣлѣ, о которомъ настоящія правила признаны имъ ложными... Такимъ образомъ, въ силу самаго чувства законности устраняется застой и неподвижность въ общественной организаціи, — мысли и воля дается просторъ и работа; нарушеніе формальнаго *statu quo* нерѣдко требуется тѣмъ же чувствомъ законности.

Такъ понимаютъ и объясняютъ чувство законности люди просвѣщенные, люди участвующіе, подобно намъ, въ благодѣяніяхъ цивилизаціи, но не такъ понимаютъ его тѣ темные люди, которыхъ изображаетъ намъ Островскій. Въ его «темномъ царствѣ» вопросъ ставится совершенно иначе. Тамъ господствуетъ вѣра въ однѣ, разъ навсегда опредѣленные и закрѣпленные формы. Знанія здѣсь ограничены очень тѣснымъ кругомъ, работы для мысли—почти никакой; все идетъ машинально, разъ-навсегда заведеннымъ порядкомъ. Отъ этого совершенно понятно, что здѣсь дѣти никогда не вырастаютъ, а остаются дѣтьми до тѣхъ поръ, пока механически не передвинутся на мѣсто отца. Понятно и то, почему средніе терминны, посредствующіе между самодурами и угнетенными, вовсе не имѣютъ опредѣленной личности, а заимствуютъ свой характеръ отъ положенія, въ какомъ находятся: то ползаютъ передъ высшими, то въ свою очередь задираютъ носъ передъ низшими. Точно механическія куколки: поставятъ ихъ на одинъ конецъ—кланяются; передернутъ на другой—вытягиваются и загибаютъ голову назадъ... Настасья Панкратьевна исчезаетъ предъ мужемъ, дышать не смѣетъ, а на сына тоже прикрикиваетъ: «какъ ты смѣешь»? да «съ кѣмъ ты го-

воришь»? То же мы видѣли и въ Аграфенѣ Кондратьевнѣ, въ «Своихъ людяхъ». Та же исторія повторяется и въ другой сферѣ—съ Юсовымъ, въ «Доходномъ мѣстѣ». И все это происходитъ отъ недостатка внутренней самостоятельности, отъ забитости природы. Человѣку съ малыхъ лѣтъ внушаютъ, что онъ самъ по себѣ—ничто, что онъ есть нѣкоторымъ образомъ только орудіе чьей-то чужой воли и что, вслѣдствіе того, онъ долженъ не разсуждать, а только слушаться, слушаться и покоряться. Единственный предметъ, на который можетъ еще быть направленъ его умъ, это — пріобрѣтеніе умѣнья приноровляться къ обстоятельствамъ. Кто сумѣетъ такъ повернуть себя, тому и благо: онъ вынырнетъ... А кто не сумѣетъ, тому бѣда,—задавятъ...

Вслѣдствіе этого-то коснѣнія мысли, вся дѣятельная сторона чувства законности совершенно исчезаетъ въ «темномъ царствѣ», и остается одна пассивная. Какой-нибудь Тишка затвердилъ, что надо слушаться старшихъ, да такъ съ тѣмъ только и остался, и останется на всю жизнь... Въ педагогикѣ есть положеніе, что для дѣтей, неспособныхъ еще къ отвлеченнымъ понятіямъ, воспитатель составляетъ олицетвореніе нравственного закона, и потому необходимо довѣріе ребенка къ воспитателю. Но обязанность воспитателя,—продолжаетъ потомъ педагогика, состоитъ въ томъ, чтобы какъ можно скорѣе сдѣлать себя ненужнымъ для ребенка, пріучивши его понимать нравственный законъ въ его истинной сущности, независимо отъ авторитета воспитателя. Этому послѣдняго правила боятся какъ пожара и разбоя всѣ обитатели «темнаго царства», и всѣ стараются дѣйствовать совершенно въ противоположномъ духѣ. «Слушай старика,—старикъ дурно не посовѣтуетъ»,—говоритъ даже лучший изъ нихъ—Русаковъ, и тоже не признаетъ правъ образованія, которое научаетъ человѣка самого, безъ чужихъ совѣтовъ, различать, что хорошо и что дурно. Отъ этого и выходитъ, что чувство законности только и выражается въ чувствѣ послушанія дѣтерпѣнія, а все остальное дѣлается чисто невозможнымъ для обитателя «темнаго царства», пока онъ самъ не сдѣлается самодуромъ. Тишка мететъ полы въ домѣ Большова, бѣгаетъ за водкой Подхалюзину и крадетъ цѣлковые у хозяина, — и все это для него совершенно законно... За водкой посылаютъ его старшіе, а старшихъ надо слушаться: тутъ ужъ резонъ прямой. Воровать ему не велятъ, но все равно — воровство тоже освящено старшими: сколько разъ приказчики при немъ хвалились ловкой штукой, сколько разъ приказывали ему молчать объ ихъ мошенничествѣ предъ хозяиномъ, сколько разъ самъ хозяинъ давалъ приказчикамъ наставленія, какъ надувать покупателей!... Все это не пропало даромъ для бойкаго мальчика,—и вотъ откуда всѣ мерзости, безмятежно уживающіяся въ немъ съ глубочайшимъ чувствомъ законности... Этимъ-то средствомъ онъ и выбивается изъ ничтожества, въ которомъ находился, и начинаетъ самъ дурить, совершенно съ спокойной совѣстью, счи-

тая и самодурство точно такъ же законнымъ, какъ и прежнее свое униженіе.

Но, разумѣется, выбиваются наверхъ не всѣ, и даже очень немногіе: для этого надо имѣть довольно крѣпкую натуру и потомъ сверхъ-естественнымъ образомъ выворотить ее. Надо заглушить въ себѣ всѣ симпатичныя чувства, притупить свою мысль, кромѣ того, — связать себя на нѣсколько лѣтъ по рукамъ и ногамъ, и при всемъ этомъ умѣть и пожертвовать при случаѣ своимъ самолюбіемъ и личными выгодами, и тонко обдѣлать дѣльце, и ловкое колѣнце выкинуть... На это мастеровъ не очень много... Охотниковъ, правда, безчисленное множество, да не у всякаго есть такая выдержка, какая, напр., была у Павла Ивановича Чичикова; — а безъ выдержки тутъ ничего не добьешься... Потому-то большая часть людей, попавшихъ подъ вліяніе самодура, предпочитаетъ просто терпѣть, съ тупою надеждою, что авось какъ-нибудь обстоятельства переимѣняются... Внутренней силы, которая бы возбуждала ихъ къ противодействию злу, въ нихъ нѣтъ, да и не можетъ быть, потому что они не имѣли возможности даже узнать хорошенько, въ чемъ зло и въ чемъ добро... Оттого-то именно въ нихъ и нѣтъ чувства справедливости и сознанія высшаго нравственнаго добра, а вмѣсто этого есть только чувство законности, въ ея установленномъ и тѣсномъ смыслѣ. Для нихъ поступки и явленія жизни раздѣляются не на хорошіе и дурные, а только на позволенные и непозволенные. Что позволено, что скрѣплено положительнымъ закономъ или хотъ просто приказаніемъ, то для нихъ и хорошо, и наоборотъ. А на что положительныхъ приказаній нѣтъ, о томъ они находятся въ совершенномъ недоумѣніи. Потому-то всегда и бываютъ такъ робки и медленны шаги ихъ при всякомъ новомъ вопросѣ или явленіи, требующемъ измѣненія существующаго порядка... Тутъ мучительное безпокойство овладѣваетъ забитыми бѣдняками, подъ гнетомъ самодурства лишившимися всякой способности разсуждать. Узнавъ, что правило, которому они слѣдовали, отмѣнено или само умерло, они рѣшительно не знаютъ, куда имъ обратиться и за что взяться, — и бываютъ ужасно рады первому встрѣчному, который возьмется вести ихъ. Само собою разумѣется, что этотъ встрѣчный всего чаще бываетъ плутоватый самодуръ, и чѣмъ плутоватѣе онъ, тѣмъ гуще повалитъ за нимъ толпа «несмышленочковъ», желающихъ прожить чужимъ умомъ и подъ чужой волей, хотя бы и самодурной...

Высказанныя нами мысли не составляютъ плодъ какой-нибудь теоріи, заранѣе придуманной: въ нихъ просто заключаются выводы, прямо слѣдующіе изъ явленій русскаго быта, изображенныхъ въ комедіяхъ Островскаго. Безъ всякаго сомнѣнія, художникъ не имѣлъ въ виду доказывать тѣхъ мыслей, какія мы теперь выводимъ изъ его комедій; но онѣ сами собою сказались въ его произведеніяхъ, и сказались удивительно правильно. Лица его комедій постоянно остаются вѣрны тому положенію, въ которое поставлены самодурнымъ бытомъ. Ни однимъ словомъ не возвышаются они надъ уров-

немъ этого быта, не измѣняютъ основнымъ чертамъ ихъ типа, какъ онъ сложился въ самой жизни. Даже въ лучшихъ натурахъ комедій Островскаго мы не видимъ той смѣлости добра, которой могли бы требовать отъ нихъ при другихъ обстоятельствахъ, но которой именно не можетъ быть въ нихъ подъ гнетомъ самодурства. Едва въ слабыхъ вародышѣ виднѣются въ нихъ начала высшаго нравственнаго развитія; но эти начала такъ слабы, что не могутъ служить побужденіемъ и оправданіемъ практической дѣятельности. Оттого всѣ нравственныя основанія поступковъ у честныхъ лицъ въ комедіяхъ Островскаго — выѣшны и очень узко ограничены, и всѣ вертятся только на исполненія чужой воли, безъ внутренняго сознанія въ правотѣ дѣла. Такъ, Авдотья Максимовна, отказываясь бѣжать съ Вихоревымъ, представляетъ только ту причину, что отецъ ее проклянетъ; а бѣжавши съ нимъ, сокрушается только о томъ, что «отецъ отъ нея отступится, и весь городъ будетъ на нее пальцами показывать». У Любови Гордѣевны эта выѣшность подчиненія долгу, не оваренная внутреннимъ убѣжденіемъ, выражается еще рѣзче. Вотъ что говоритъ она Митѣ въ оправданіе своей рѣшимости — идти за Коршунова: «теперь изъ воли родительской мнѣ выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтобъ я шла замужъ. Должна я ему покориться, *такая наша доля дѣвичья. Такъ, знать, тому и быть должно, такъ ужъ оно заведено изстари.* Не хочу я супротивъ отца идти, *чтобъ про меня люди не говорили, да въ примѣръ не ставили.* Хоть я, можетъ быть, сердце свое надорвала черезъ это, да по крайности я знаю, что *я по закону живу* и никто мнѣ въ глаза наемѣться не смѣетъ». Въ этихъ словахъ нѣтъ вѣдь ни тѣни намека на нравственное значеніе поступка; за то есть слово «законъ».... А каковъ онъ и какъ примѣняется здравымъ смысломъ къ данному случаю, — гдѣ же разсуждать объ этомъ дѣвушкѣ: самодурное воспитаніе вовсе не приготовляетъ къ такимъ разсужденіямъ.

Возведеніе послушанія въ высшій абсолютный законъ дѣлается, впрочемъ, и самими самодурами, и даже еще съ большей настоячивостью, чѣмъ угнетенною стороною... Это совершенно понятно: во-первыхъ, самодуръ также почти не имѣетъ истинныхъ нравственныхъ понятій и, слѣдовательно, не можетъ правильно различать добро и зло и, по необходимости, долженъ руководствоваться произволомъ; во-вторыхъ — безусловное послушаніе другихъ очень выгодно для него, потому что затѣмъ онъ можетъ ужъ ничѣмъ не стѣсняться. Но и тутъ, разумѣется, самодурная логика далеко уклоняется отъ общечеловѣческой. По общей логикѣ слѣдовало бы, если ужъ человѣкъ ставитъ какія-нибудь правила и требованія, хотя бы и произвольныя, — то онъ долженъ и самъ ихъ уважать въ данныхъ случаяхъ и отношеніяхъ, наравнѣ съ другими. Самодуръ разсуждаетъ не такъ: онъ считаетъ себя въ правѣ нарушить, когда ему угодно, даже тѣ правила, которыя имъ самимъ признаны и на основаніи которыхъ онъ судитъ другихъ. И такова темнота разумѣ-

нія въ «темномъ царствѣ», что не только самъ самодуръ, но и всѣ, обиженные и задавленные имъ, признають такой порядокъ вещей совершенно естественнымъ. Лучшимъ выраженіемъ этой любопытной стороны въ организаціи «темнаго царства» представляется комедія «Не такъ живи какъ хочется». Въ литературномъ отношеніи пьесу эту признають незамѣчательною, упрекають въ слабости концепціи, находятъ натяжки въ нѣкоторыхъ сценахъ, и пр. Мы не будемъ долго на ней останавливаться,—не потому, чтобъ она того не стоила, а потому, что во-первыхъ, наши статьи и безъ того очень растянулись, а во-вторыхъ, сама пьеса очень проста — и по интригѣ, и по очеркамъ характеровъ, такъ что для объясненія ихъ не нужно много словъ, особенно послѣ того, что говорено было выше. Дѣло въ томъ, что Петръ Ильичъ пьянствуетъ, тиранитъ жену, бросаетъ ее, заводитъ любовницу, а когда она, узнавъ объ этомъ обстоятельстве, хочетъ уйти отъ него къ своимъ родителямъ, общій судъ добрыхъ стариковъ признаетъ ее же виновною... Собравшись домой, она на дорогѣ, на постояломъ дворѣ, встрѣчаетъ отца и мать, рассказываетъ имъ все свое горе и прибавляетъ, что ушла отъ мужа, чтобы жить съ ними, потому что ей ужъ терпѣнья не стало. Отецъ только диву дался, услышавъ такое вольнодумство. «Какъ къ намъ? — восклицаетъ онъ, — зачѣмъ къ намъ? Нѣтъ, поѣдемъ, я тебя къ мужу свезу». Даша говоритъ: «нѣтъ, батюшка, не поѣду я къ нему», — и отецъ, полагая, не рехнулась ли дочь его, — начинаетъ ей такое увѣщаніе:

„Да ты пойми, глупая, пойми — какъ я тебя возьму къ себѣ? Вѣдь онъ мужъ твой!.. *(Встаетъ съ лавки)*. Поѣдѣте: что болтать-то пустяки, чего быть не можетъ!.. Какъ ты отъ мужа бѣжишь, глупая! Ты думаешь, — мнѣ тебя не жаль? Ну, вотъ всѣ вмѣстѣ и поплачемъ о твоёмъ горѣ — вотъ и вся наша помощь! Что я могу сдѣлать? Поплакать съ тобой — я поплачу. Вѣдь я отецъ твой, дитя мое, милое мое! *(Плачетъ и целуетъ ее)*. Ты одно пойми, дочка моя милая: Богъ соединилъ, человѣкъ не разлучаетъ. Отцы наши такъ жили, не жаловались, не роптали. Ужели мы умнѣе ихъ? Поѣдемъ къ мужу“.

Эти безчеловѣчныя слова внушены просто тѣмъ, что старикъ совершенно не въ состояніи понять: какъ же это такъ, — отъ мужа уйти! Въ его головѣ никакъ не помѣщается такая мысль. Это для него такая нелѣпость, противъ которой онъ даже не знаетъ, какъ и возражать, — все равно, какъ бы намъ сказали, что человѣкъ долженъ ходить на рукахъ, а ѣсть ногами: что бы мы стали возражать?... Онъ только и можетъ, что повторять безпрестанно: «да какъ же это такъ?... Да ты пойми, что это такое... Какъ же отъ мужа итти!.. Какъ же это»!..

Казалось бы, то же самое разсужденіе слѣдовало и къ мужу приѣхать. Нѣтъ, онъ внѣ закона!.. Онъ — повелитель своей жены и самодурствуетъ надъ нею, сколько душѣ угодно, даже и въ то время, какъ самъ передъ нею виноватъ и знаетъ это. Онъ узналъ, что

жена провѣдала о его «кралечкѣ», кралечка провѣдала, что онъ женатъ, и прогнала его отъ себя: что же онъ? Совѣстится показаться къ женѣ? Чувствуетъ раскаяніе? Ничего не бывало; онъ еще норювить, воротясь домой, сорвать на ней сердце за свою неудачу у кралечки... Кажется, это ужъ должно бы возмутить родителей бѣдной жены его: въ ихъ глазахъ онъ, кругомъ самъ виноватый, буйствуетъ и, не помня себя, грозитъ даже зарѣзать жену и выбѣгаетъ съ ножомъ на улицу... Даша и говоритъ отцу: «посмотрите сами, каково сладко мое житье». А отецъ совѣтуетъ: «потерпи, подожди!» «Да чего мнѣ отъ него ждать, когда отъ него ужъ и отецъ его отступился», возражаетъ Даша, прикрываясь авторитетомъ. «Ничего, потерпи», твердитъ отецъ, и затѣмъ старается представить ея несчастіе опять-таки праведной карой — все за непослушаніе, за то, что она безъ воли родителей замужъ вышла. Вотъ его рѣчь:

А г л а ф о н ѣ. Все это не дѣло, все ото не дѣло! Охъ, охъ, охъ! Не хорошо! Ты сама права, что-ль? Дѣло сдѣлала, что насъ со старухой бросила? Говори, дѣло сдѣлала? Такъ это и надо? такъ это по закону и слѣдуетъ? Врагъ васъ обуялъ! Вы — точно какъ не люди. Вотъ ты и терпи, и терпи! Да наказанье-то съ кротостью принимай, да съ благодарностью!.. А то — что это? что это? Бѣжать хочеть! Какой это порядокъ? Гдѣ это ты видала, чтобы мужья съ женами порознь жили? Ну, ты его оставишь, бросишь его, а онъ въ отчаяніе придетъ — кто тогда виноватъ будетъ, кто? Ну, а захвораетъ онъ, — кто за нимъ уходить? Это вѣдь первый твой долгъ. А застигнетъ его смертный часъ, захочеть онъ съ тобой проститься, а ты по гордости ушла отъ него...

Д а ш а (бросаясь ему на шею). Батюшка!

А г л а ф о н ѣ. Ты подумай, дочка милая, поменяй... (плача). Глуны вѣдь мы, люди, охъ, какъ глуны! Горды мы!

Замѣтьте, какъ добръ и чувствителенъ этотъ старикъ, и какъ онъ въ то же время жестокосердъ, единственно потому, что не имѣетъ никакого сознанія о нравственномъ значеніи личности и все привыкъ подчинять только внѣшнимъ законамъ, установленнымъ самодурствомъ. Не по чорствости или злобѣ, а совершенно наивно, начинаетъ онъ упрекать свою дочь за прошлое, въ такую минуту, когда сердце ея и безъ того разрывается на части. И потомъ—какіе резоны онъ представляетъ? Онъ не говоритъ, что, дескать, мужи твой будетъ страдать, хворать и пр., такъ неужто тебѣ не жалко его будетъ?—или что-нибудь въ этомъ родѣ, отъ сердца. Нѣтъ, у него совсѣмъ другое основаніе: «кто тогда будетъ виноватъ?» да: «этъ первый твой долгъ»... На основаніи этой, чисто внѣшней, морали онъ и убѣждаетъ дочь: «потерпи, потерпи—все хорошо будетъ».

И вѣдь, дѣйствительно, — глупая случайность приходитъ для оправданія словъ старика, —точно такъ, какъ—

Вѣдь и случается: возьметъ
Да и скончается нупчиха,

Передъ которой глупый песъ
Три ночи вылъ, поднявши носъ.
Тогда попробуй разувѣрить!

Петръ Ильичъ, допившійся до чертиковъ, съ ножомъ въ рукѣ бѣжитъ на Москву-рѣку, ничего не видя и не понимая. Вдругъ слухъ его поражается ударомъ колокола: къ заутренѣ гдѣ-то заблагоуѣстили. Онъ, по машинальной привычкѣ, поднимаетъ руку, чтобы перекреститься, — и видитъ, что въ рукѣ у него ножъ, а стоитъ онъ надъ самой прорубью... Тутъ его страхъ взялъ, хмѣль мгновенно отшибло, онъ вспомнилъ увѣщанія отца и воротился домой съ полнымъ раскаяніемъ. Выслушавши разсказъ его, отецъ довольно нѣжно упрекаетъ ее: «что, дочка, говорилъ я тебѣ»!.. Тѣмъ дѣло и кончается.

Когда вдумашься въ эту исторію, въ ней невольно представляется какой-то страшно-фантастическій смыслъ. Нѣкоторые утверждали, что здѣсь заключается показаніе того, какъ благодѣтеленъ для народа колокольный звонъ, и какъ человѣка въ самыя трудныя минуты спасаютъ набожныя привычки, съ дѣтства усвоенныя. Нѣтъ надобности говорить, до какой степени странно подобное толкованіе. Нѣтъ, совсѣмъ другое представляется намъ въ этой драмѣ, примѣнительно къ общей идеѣ, какую находимъ мы во всѣхъ произведеніяхъ Островскаго. Въ раскаявшемся Петрѣ Ильичѣ мы видимъ безотрадность и безвыходность того положенія, въ которое онъ самъ и всѣ, близко съ нимъ связанные, ввергнуты самодурнымъ бытомъ. Петра Ильича уговариваетъ отецъ, упрашиваетъ тетка, умоляетъ жена, которую убиваетъ его поведеніе, образумливаетъ товарищъ, отвергаетъ дѣвушка, для которой онъ бросаетъ жену — на него ничто не дѣйствуетъ. Никакихъ живыхъ началъ нравственности нѣтъ въ немъ, сердце его грубо и темно совершенно. Даже любовь въ немъ такъ дика, такъ безобразна! Дашу полюбилъ онъ и увезъ отъ отца, а черезъ нѣсколько мѣсяцевъ уже тиранитъ ее и считаетъ наказаніемъ своей жизни безотвѣтную, полносердечную любовь ея. По Грушѣ онъ съума сходитъ; но что же онъ дѣлаетъ, когда она, насмѣявшись надъ нимъ, выпроваживаетъ его? Онъ обращается къ Еремкѣ, у котораго есть знакомый колдунъ, и спрашиваетъ: можетъ онъ приворожить дѣвку, чтобъ любила, *чтобъ не она надо мной, а я надъ ней куражился, какъ душѣ угодно?* Вотъ предметъ его стремленій, вотъ любовь его: возможность куражиться надъ любимой женщиной, какъ душѣ угодно!.. Страшно, какъ подумаешь, что вѣдь обитатели «темнаго царства», сколько мы знаемъ ихъ по Островскому, всѣ имѣютъ такія самодурныя наклонности, если сами не забыты до совершеннаго отреченія отъ своей личности... Что же можетъ вразумить этихъ мрачныхъ людей, что можетъ спасти отъ нихъ тѣхъ несчастныхъ, которые принуждены терпѣть отъ нихъ?.. Ничто, положительно ничто, изъ средствъ обыкновенныхъ. Никакимъ естественнымъ путемъ нельзя дойти до измѣненія ихъ понятій и характера. Нужно что-нибудь чрезвычайное, крайнее, насильствен-

ное, хотя бы и совершенно безтолковое, для того, чтобы отрезвить ихъ. Надо было Петру Ильичу забраться къ проруби на Москвѣ-рѣкѣ, и именно въ то время, когда заблагоговѣстили къ заутренѣ, — для того, чтобы очувствоваться!.. Ну, а если бы этого не случилось?.. Продолжалась бы эта жалкая жизнь Петра Ильича съ женою многіе годы, какъ она у многихъ и продолжается въ «темномъ царствѣ». Да и теперь кто поручится, что раскаяніе Петра Ильича прочно? Есть ли въ его характерѣ какіе-нибудь задатки нравственнаго исправленія? Разумѣется. — это ужъ само по себѣ необходимо, чтобъ пьяница проспался и чтобъ человѣкъ, допившійся до чертиковъ, перегодилъ немножечко, отдохнулъ и собрался съ силами. Но надолго ли это? Не забудьте, что раскаяніе Петра Ильича произошло подъ вліяніемъ призраковъ и чудовищъ, которые ему мерещились въ пьяномъ видѣ... Онъ можетъ увѣрять, и всѣ сосѣди его могутъ вѣрить, что это дѣйствительно водяникъ или другой духъ водилъ его; но вѣдь мы знаемъ достовѣрно, что все это слѣдствіе разстроенной фантазіи, разгоряченнаго мозга. Какая же тутъ гарантія за нравственное исправленіе человѣка? Пока онъ еще чувствуетъ истощеніе отъ минувшей гульбы, да пока живъ въ его памяти страхъ недавняго происшествія, до тѣхъ поръ онъ и поостережется... А тамъ опять примется за прежнее: этого съ достовѣрностью можно ожидать, зная, что въ немъ вовсе не развито внутреннее сознаніе о необходимости честной и полезной жизни... И бѣдная женщина — его жена — должна будетъ попрежнему страдать въ своей горькой долѣ, если опять не совершится какого-нибудь чуда. И старики — отецъ и мать ея — попрежнему будутъ о ней сокрушаться и убѣждать ее терпѣть!.. Имъ-то все-таки легче: они ужъ совсѣмъ обезличились, они всѣ насквозь прониклись ученіемъ, что должно —

Съ терпѣніемъ тяготу сносить

И безъ роптанія просить...

Но выдержать ли несчастная женщина, въ которой молодая натура еще сохраняетъ остатки жизни и все еще протестуетъ по временамъ, хотя и слабо, противъ мрачной силы, безправно и бессмысленно угнетающей ее?...

Навѣрное нѣтъ! Она неизбежно придетъ къ паденію, — не къ тому паденію, подъ которымъ, на пошломъ языкѣ нашей искусственной морали, разумѣется полное наслажденіе любовью, — а къ дѣйствительному паденію, къ потерѣ нравственной чистоты и силы. Это паденіе одинаково можетъ постигнуть и мужчину, какъ женщину; но въ любящей женской натурѣ есть къ нему путь, который каждую минуту можетъ увлечь ее и по которому одинъ шагъ можетъ уже сдѣлать ее преступною и погибшею въ глазахъ общества. Путь этотъ — связь съ мужчиною. Мужчина тоже можетъ въ короткихъ отношеніяхъ съ женщиною искать спасенія отъ мрака и гадостей, окружающихъ его въ практической жизни. Тутъ онъ отдыхаетъ и:

успокоивается, тутъ онъ старается забыться. Но для мужчины подобныя отношенія не гибельны: на нихъ всѣ такъ и смотрятъ, какъ на невинное развлеченіе, они не оставляютъ на немъ пятна позора передъ обществомъ. Онъ каждую минуту можетъ возвратиться отъ нихъ къ своимъ дѣловымъ отношеніямъ, вступить въ свою обычную среду, нисколько не потерявши своего нравственного значенія. Не то съ женщиной: разъ сдѣлавши невѣрный шагъ, она уже теряетъ, по силѣ господствующихъ нравовъ, возможность спокойнаго возврата на прежнюю дорогу. Она унижена, опозорена, отвержена, предъ нею всѣ двери закрыты,—по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, пока она прямо въ лицо обществу надменно не броситъ своего позора, украшеннаго золотомъ какого-нибудь самодура. Тогда, пожалуй, и передъ ней преклонятся, и даже станутъ подличать. Но и въ этомъ случаѣ глубокое нравственное растлѣніе должно совершиться въ ея натурѣ. Такимъ образомъ,—какъ ни иди дѣвушка, вездѣ ей тяжело и опасно, и нѣтъ пути, который не привелъ-бы ее къ потерѣ нравственного достоинства. Пока она не совсѣмъ загрубѣла и опошлѣла,—ее тяготитъ нужда, общее презрѣніе, беззащитность противъ всякаго встрѣчнаго,—такъ что она поневолѣ и незамѣтно должна привыкать и къ обману, и къ бездѣльничеству, и къ житію на чужой счетъ... А потомъ, когда она свыкнется съ своимъ положеніемъ и будетъ безмятежно продавать свои чувства и наслаждаться пышной праздностью,—тогда, при счастливомъ случаѣ, открытое поклоненіе, зависть и низости окружающихъ выгонятъ изъ нея окончательно всякое доброе чувство и втиснутъ ее въ самую глубину разврата... Если же и счастливаго случая не встрѣтится, тогда... тогда объ этихъ женщинахъ даже и не говорятъ нравственные люди, по крайней мѣрѣ, въ трезвомъ видѣ...

Но, вѣдь, и эти женщины были когда-то чистыми, нравственными существами, достойными уваженія самыхъ чопорныхъ пуристовъ формальнаго цѣломудрія. Какъ-же началось ихъ паденіе? Какія причины заставили ихъ ступить на ложный путь? Что рѣшило «первый шагъ» ихъ? Умствовать объ этомъ можно очень много; но мы не хотимъ умствовать, а дѣлаемъ эти вопросы только затѣмъ, что находимъ прямой отвѣтъ на нихъ въ комедіяхъ Островскаго. Отсутствие живаго нравственного развитія, неимѣніе опоры внутри себя и самодурный гнетъ извнѣ—вотъ причины, производящія въ «темномъ царствѣ» безнравственность женщинъ, равно какъ и безнравственность мужчинъ. Мы уже видѣли, какъ выражается отсутствіе нравственной самостоятельности и непріязнь ко всему, вызванная самодурствомъ, въ натурахъ живыхъ и физически страстныхъ. Жена и сестра Пузатова только тѣмъ и живутъ, что обманываютъ его и потихоньку гуляютъ съ молодыми людьми, отпросившись въ церковь. Липочка Большова прельщается военными, боится отца, въ грошъ не ставитъ мать, и потомъ выходитъ за Подхалюзина и прехладнокровно отправляетъ въ яму отца, чтобы не заплатить за него по 25 копѣекъ за рубль, изъ его-же имѣнія... Видѣли мы и то, какъ па-

даютъ и замираютъ подъ самодурнымъ гнетомъ кроткія и нѣжныя женскія натуры. Авдотья Максимовна, въ пору зрѣлости оставшаяся ребенкомъ въ своемъ развитіи, не умѣющая понимать—ни себя самое, ни свое положеніе, ни окружающихъ людей, увлекается наущеніями Арины Ѳедотовны и плѣняется Вихоревымъ... Любовь Гордѣевна, не смѣющая даже сказать отцу о своей любви къ Митѣ, идетъ за Коршунова, къ которому чувствуетъ страхъ и омерзѣніе. Не менѣе безнравственно и положеніе Даши, принужденной поить виномъ своего мужа, чтобы онъ, пьяный, приколотилъ ее... Но все это факты уже конченые; мы видимъ здѣсь уже совершившуюся смерть личности, и можемъ только догадываться о той агоніи, черезъ которую перешла молодая душа, прежде чѣмъ упала въ это положеніе. Но есть у Островскаго пьеса, гдѣ подслушанъ лепетъ чистаго сердца въ ту самую минуту, когда оно только-что еще чувствуетъ приближеніе нечистой мысли, — пьеса, которая объясняетъ намъ весь процессъ душевной борьбы, предшествующей неразумному увлеченію дѣвушки, убиваемой самодурною силой. Пьеса эта, конечно, памятна нашимъ читателямъ, потому что она появилась въ нынѣшнемъ году и обратила на себя общее вниманіе. Мы уже говорили о ней въ «Современникѣ», и потому теперь скажемъ о ней только то, что можетъ прямо относиться къ объясненію нашей мысли. Надя, воспитанница Уланбековой, — добренькая и умненькая дѣвушка, имѣющая очень скромныя и вполне честныя стремленія. Она мечтаетъ о семейномъ счастіи съ любимымъ человѣкомъ, заботится о томъ, чтобы себя «облагородить», такъ, чтобы никому не стыдно было взять ее замужъ; думаетъ о томъ, какой она хорошій порядокъ будетъ вести въ домѣ, вышедши замужъ; старается вести себя скромно, удаляется отъ молодого барина, сына Уланбековой, и даже удивляется на московскихъ барышень, — что онѣ очень бойки въ своихъ разговорахъ про кавалеровъ да про гвардейцевъ. «И откуда онѣ все это знаютъ»? спрашиваетъ она въ недоумѣніи сама себя... Словомъ, это дѣвушка, которая, при другихъ обстоятельствахъ, могла бы вполне соответствовать идеалу многихъ и многихъ людей: она отъ всей души хочетъ, и по своей натурѣ, можетъ быть хорошей женой и хорошей хозяйкой. Дайте ей еще нѣкоторое образованіе, она будетъ и хорошей матерью и воспитательницей своихъ дѣтей. Но она живетъ въ домѣ Уланбековой, этого безобразнаго самодура въ женскомъ платьѣ, — и все должно пропасть для бѣдной Нади. Лицо Уланбековой замѣчательно, какъ примѣръ того, что значитъ самодурство, перенесенное изъ купеческаго дома въ другую сферу. Здѣсь оно могучѣе, вліяніе его обширнѣе, и потому оно еще отвратительнѣе. Купецъ ограничиваетъ свое самодурство упражненіями надъ домашними да надъ близкими людьми; но въ обществѣ онъ не можетъ дурить, потому что, какъ мы видѣли, онъ, въ качествѣ самодура, трусливъ и слабодушенъ предъ всякимъ независимымъ человѣкомъ. Ужъ на что Титъ Титычъ Брусковъ, — и тотъ не посмѣлъ очень вольничать надъ Ивановымъ и, пришедши домой, со-

знавался: «они только тѣмъ и взяли, что я въ ихъ квартирѣ былъ; а пришли-бы они сюда, такъ я-бы ужъ-бы ихъ уконтентовалъ». Буйный Петръ Ильичъ, прогнанный своей кралечкой, тоже расходился, только воротясь домой: «они надо мной насмѣялись, выгнали меня!... А здѣсь я дома,—все въ прахъ разобью, щепки живой не оставлю»,—кричитъ онъ въ иступленіи. Такимъ образомъ, многіе купеческіе самодуры «сердиты да не сильны», и общество очень много отъ нихъ страдать не можетъ. Но родовыя черты самодурства остаются тѣ-же во всѣхъ сферахъ, и чѣмъ сфера обширнѣе, тѣмъ самодурство ужаснѣе и вреднѣе. Кругъ дѣйствія Уланбековой довольно великъ. Во-первыхъ, у ней домашнихъ очень много: воспитанницы, приживалки, ключницы, горничныя, служители... Потомъ, у ней есть крестьяне. Кромѣ того, она представляетъ сильное лицо въ цѣломъ околоткѣ и имѣетъ большое вліяніе. Она и чужія свадьбы насильно устраиваетъ, и на мѣста опредѣляетъ, и отъ суда защищаетъ... А какого качества ея вліяніе, — объ этомъ можно судить по нѣкоторымъ чертамъ. Она проситъ исправника за своего крестника, Неглигентова, чтобъ его столоначальникомъ сдѣлали; исправникъ говоритъ, что мѣста нѣтъ. Уланбекова этимъ обижается, и говоритъ ему: «вы, кажется, не понимаете, кто васъ проситъ». Исправникъ принужденъ обѣщать. По этому поводу приживалка Уланбековой, Василиса Перегриновна, разсуждаетъ: «я и понять не могу, какъ это у него языкъ-то повернулся противъ васъ. Вотъ ужъ сейчасъ необразованіе-то и видно! Положимъ, что Неглигентовъ, по жизни своей, не стоитъ, чтобы объ немъ и разговаривать много, да по васъ-то онъ долженъ сдѣлать для него все на свѣтѣ, какой-бы онъ тамъ ни былъ негодяй... Крестникъ онъ вамъ, ну, и конечно дѣло,—онъ никакихъ и разговоровъ не долженъ слушать... Всѣ это знаютъ, благодѣтельница, что вы, если захотите, такъ можете изъ грязи человѣкомъ сдѣлать; а не захотите, такъ будь хоть семи пядей во лбу,—такъ въ ничтожествѣ и пропадетъ. Самъ виноватъ: отчего не умѣлъ заслужить»... Весь цинизмъ самодурной морали и логики выраженъ здѣсь очень рельефно. Личность самодура ставится здѣсь центромъ всего нравственнаго міра; отъ нея все исходитъ и къ ней все должно возвращаться. Нѣтъ никакихъ правъ, кромѣ милости самодура, никакихъ нравственныхъ правилъ, кромѣ угожденія его волѣ... Такимъ образомъ, вопросъ о законности ставится здѣсь съ безстыдною прямою: законъ есть не что иное, какъ воля самодура, и всѣ должны ей подчиняться, а онъ не долженъ стѣсняться ничѣмъ... Каково жить людямъ подъ такою моралью!...

А вотъ каково. Воспитанницъ своихъ Уланбекова держитъ строго, подъ замкомъ. Если онѣ осмѣлятся раскрыть ротъ, то она говоритъ имъ вотъ что: «я не люблю, когда разсуждаютъ, просто не люблю, да и все тутъ. Этого позволить я не могу никому. Я съ молоду привыкла, чтобъ cadaго моего слова слушались; тебѣ пора это знать! И мнѣ очень странно, моя милая, что ты осмѣливаешься воз-

ражать мнѣ. Я вижу, что избаловала тебя; а вы вѣдь сейчасъ узнаете»... Но за то, по словамъ старика Потапыча, она хорошо одѣваетъ воспитанницъ и не заставляетъ ихъ работать: «хочу, говоритъ,—чтобъ всѣ имъ завидовали». Когда же онѣ выростутъ; отдаетъ ихъ замужъ по своему выбору. Объ этомъ Потапычъ такъ сообщаетъ Леониду, сыну Уланбековой:

„Скажутъ: я тебѣ нашла жениха, и вотъ, скажутъ, тогда-то свадьба; ну, и конецъ, тутъ ужъ и разговаривать ни одна не смѣй! За кого прикажутъ, за того и ступай. Потому что, сударь, я разсуждаю такъ: кому же пріятно, давши воспитаніе, да видѣть непокорность!... А бываетъ, сударь, и такъ, что и женихъ невестѣ не нравится, и невеста жениху, такъ тутъ ужъ очень иньются... такъ даже изъ себя выходятъ... Пожелали онѣ одну воспитанницу отдать за лавочника въ городъ, а онъ, человѣкъ неполированный, вздумалъ было сопротивляться. Мнѣ, говоритъ, невеста не нравится, да я и жениться-то не хочу еще. Такъ въ тѣ поры и городничему жаловались и отцу протопопу; ну и уломали дурака“.

По мнѣнію Потапыча, это значить, что барыня «на всѣхъ свою заботливость простираютъ». Какое же побужденіе къ этой заботливости? Объяснить это старается сама Уланбекова—въ *поученіи*, которое она очень трогательно, со слезами на глазахъ, по словамъ Потапыча, читаетъ воспитанницамъ при выдачѣ ихъ замужъ. «Вы, говоритъ, жили у меня въ богатствѣ и въ роскоши и ничего не дѣлали; теперь ты выходишь за бѣднаго, и живи всю жизнь въ бѣдности, и работай, и свой долгъ исполняй. И позабуди, говоритъ, какъ ты у меня жила, потому что не для тебя я это дѣлала; я себя только тѣшила, а ты не должна никогда объ такой жизни и думать, и всегда ты помни свое ничтожество, и изъ какого ты званія»... И не подумайте, что это говорится со злобою или съ сарказмомъ; вовсе нѣтъ, — это отъ полноты души, отъ искренняго убѣжденія Уланбековой. Въ ней тоже нѣтъ особенной склонности къ злу; вся бѣда въ томъ, что она, въ кругѣ своихъ идей, ничего не можетъ признать, кромѣ себя. Все остальное кажется ей созданнымъ на ея службу, какъ влукъ полевой существуетъ не самъ по себѣ, а собственно на службу человѣкамъ... Что же прикажете дѣлать съ такими понятіями?... А что она дѣйствительно склонна къ тому, чтобы даже добро дѣлать, это доказывается тѣмъ, какъ она заботится о мужьяхъ своихъ воспитанницъ. Потапычъ говоритъ, что которыхъ воспитанницъ выдали за приказныхъ, такъ ужъ мужьямъ жить хорошо. «Потому, если его выгнать хотятъ изъ суда или вовсе выгнали, онъ сейчасъ къ барынѣ къ нашей съ жалобой, и онъ ужъ за него горой, даже самого губернатора безпокоятъ. И ужъ этотъ приказный въ тѣ поры можетъ и пьянствовать, и все, и ужъ никого не боится»... Конечно, вы скажете, что это ужъ тоже нехорошо; но все-таки видно, что Уланбекова—не мучительница какая, не

злодѣйка, а женщина чувствительная, благожелательная и благодѣтельная.

По своей благожелательности (а не по чему другому) Уланбекова задумала отдать Надю за пьяницу Неглигентова. Она очень просто говоритъ объ этомъ Василисѣ Перегриновнѣ: «ты говоришь, что онъ дурную жизнь ведетъ; такъ надобно будетъ свадьбой поторопиться. Надя у меня—дѣвушка хорошихъ правилъ, будетъ его удерживать, а то онъ отъ холостой жизни совсѣмъ избалуется». Надя сидитъ тутъ-же, и слышитъ эти слова, и ничего не смѣетъ сказать противъ нихъ... Наконецъ, она умоляетъ, плачетъ, ей даютъ выговоръ, и говорятъ: «слезы твои для меня ровно ничего не значать. Коли я что захочу сдѣлать, такъ ужъ поставлю на своемъ, никого въ мірѣ не слушаюсь!.. И впередъ знай, что упрямство твое ни къ чему не приведетъ, только разсердишь меня». Говорится все это прилично и солидно, но, разумѣется, Надѣ отъ того не легче. Самодурство здѣсь спрятало свои кулаки и плетку, но оно не лучше отъ этого, а, пожалуй, еще хуже. Въ одной пьесѣ Островскаго есть точно такая сцена въ купеческой семьѣ; та гораздо грубѣе, но все-таки не такъ возмутительна. Это сцена въ «Не сошлись характерами», гдѣ Карпъ Карпычъ сообщаетъ своей дочери о свадьбѣ своей племянницы и по этому поводу разсуждаетъ съ женой своей, Улитой Никитишной. Мы выпишемъ эту сцену для сравненія: она очень коротка.

КАРПЪ КАРПЫЧЪ. А вотъ у насъ скоро свадьба: Матрену въ саду съ приказчикомъ застали, такъ хочу повѣнчать (*Матрена закрываетъ лицо рукавомъ*); тысячу рублей ему денегъ и свадьба на мой счетъ.

УЛИТА НИКИТИШНА. Тебѣ бы только пображничать гдѣ было; затѣмъ и свадьбу-то затѣялъ.

КАРПЪ КАРП. Ну, еще что?

УЛИТА НИК. Ничего больше.

КАРПЪ КАРП. (*строго*). Нѣтъ, ты поговори!

УЛИТА НИК. Ничего, право, ничего.

КАРПЪ КАРП. (*строже*). Нѣтъ, поговори что-нибудь, я послушаю.

УЛИТА НИК. Да что говорить-то, коли не слушаешь.

КАРПЪ КАРП. Что слушать-то! Слушать-то у тебя нечего. Эхъ, Улита Никитишна! (*грозитъ пальцемъ*). Сказано — молчи! Я хочу, чтобъ дѣвка чувствовала, а ты съ своими разговорами... (*Матрена закрываетъ другимъ рукавомъ лицо*). Третью племянницу такъ отдаю. Я всей роднѣ благодѣтель. Вотъ теперь есть еще маленькая, такъ и ту на мѣсто Матрены возьму, и ту въ люди выведу.

Тутъ и ругательство, и угроза, и насиліе, словомъ—самодурство въ полномъ ходу... Но оно не развилось здѣсь до той виртуозности, какъ въ Уланбековой. Тутъ Матрена вѣнчается съ приказчикомъ, съ которымъ застали ее въ саду,—дѣло простое и ясное. Такъ, вѣроятно, выдалъ Карпъ Карпычъ и другихъ своихъ племянницъ. Если бъ онъ могъ придумать выдавать ихъ за тѣхъ, за кого онѣ не

хотятъ и кто ихъ брать не хочетъ, то очень можетъ быть, что эта идея и понравилась-бы ему... Но онъ еще не утончился до подобныхъ выдумокъ; а Уланбекова пустилась уже и въ эту роскошь. Затѣмъ, и самая манера у Карпа Карпыча другая: онъ съ женой своей обращается хуже, чѣмъ Уланбекова съ воспитанницей, онъ не даетъ ей говорить, онъ даже, можетъ быть, бивалъ ее; но все-таки жена можетъ ему дѣлать кое-какія замѣчанія, а Надя передъ Уланбековой совершенно безгласна. Вотъ какъ мало отрады приносятъ цивилизованныя формы самодурства!

И вотъ при этомъ-то, холодно и степенно нанесенномъ ударѣ, появляется въ Надѣ то горькое, рвущее чувство, которое заставляетъ человѣка бросаться безъ памяти, очертя голову, куда случится,—въ воду, такъ въ воду, въ объятія перваго встрѣчнаго, такъ въ объятія! Ея ощущенія переданы въ пьесѣ Островскаго съ изумительной силой и яркостью; такихъ глубоко-истинныхъ очерковъ немного во всѣхъ произведеніяхъ нашей литературы. Мы уже приводили въ «Современникѣ» эту сцену; но не можемъ еще разъ не напомнить читателямъ нѣкоторыхъ мѣстъ ея. «Я и сама не знаю, что со мной вдругъ сдѣлалось», говоритъ Надя. «Какъ только барыня давеча сказала, чтобъ не смѣла я разговаривать, а шла, за кого прикажутъ, такъ у меня все сердце перевернулось. Что, я подумала, за жизнь моя, Господи! *(плачетъ)*. Что въ томъ проку-то, что живу я честно, что берегу себя не только отъ слова какого, а и отъ взгляду-то?... Такъ меня зло даже взяло на себя. Для чего, я думаю, мнѣ беречь-то себя? Вотъ не хочу-жъ, не хочу!... А у самой такъ сердце и замерло,—кажется, еще скажи она слово, я-бъ умерла на мѣстѣ.» Въ этой исповѣди ясно, какимъ безвыходнымъ кругомъ обводитъ самодурство всѣхъ несчастныхъ, захваченныхъ его вліяніемъ—Надя не приучена къ тому, чтобы сохранить власть надъ собою и остаться вѣрною своимъ понятіямъ изъ внутренняго убѣжденія въ ихъ правотѣ и силѣ; у нея скромность и честность имѣютъ прямую цѣль—сохранить себя для замужества... Но естественное чувство ея внезапно оскорбляется приказаніемъ итти за пьянаго и грязнаго негодая... Всѣ ея дѣвическія мечты разбиты, тяжелая доля ея представляется ей во всей своей безжалостной грубости. Прежде она мечтала, какъ будетъ сидѣть съ женихомъ,—словно княжна какая, словно у ней каждый день праздникъ,—какъ она будетъ жить замужемъ, словно въ раю, словно гордясь чѣмъ-то... А теперь у ней другія мысли; она подавлена самодурствомъ, да и впереди ничего не видитъ, кромѣ того-же самодурства: «какъ подумаешь,—говоритъ она,—что станетъ этотъ безобразный человѣкъ издѣваться надъ тобой, да ломаться, да свою власть показывать, загубить онъ твой вѣкъ ни за что!... Не живя ты съ нимъ состаришься... Такъ ужъ, право, молодой баринъ лучше»... И въ самомъ дѣлѣ—она съ своей «отчаянности», какъ выражается она, находитъ, что ей нравится Леонидъ, который за ней давно ужъ ухаживаетъ... Прежде она отъ него бѣгала, а теперь бросилась въ его объятія, вышедши къ нему

вечеромъ въ садъ: онъ свозилъ ее на лодочкѣ на уединенный островъ, ихъ подсмотрѣла Василиса Перегриновна, донесла Уланбековой, и та, пришедши въ великій гнѣвъ, велить тотчасъ послать къ Неглигентову (котораго передъ тѣмъ уже выгнала отъ себя за то, что онъ пришелъ къ ней пьяный—и, слѣдовательно, не выказалъ ей уваженія) сказать ему, что свадьба его съ Надей должна быть какъ можно скорѣе...

Тутъ является и Леонидъ со своими сожалѣніями... Но онъ уже зараженъ воздухомъ самодурства, онъ ничего не можетъ сдѣлать путнаго. Въ «Воспитанницѣ», мимоходомъ, но съ поразительной истиной, выставлено то, какъ эпидемія самодурства, разлитая въ атмосферѣ всего «темнаго царства», непримѣтно, но неизбежно заражаетъ самыя свѣжія натуры. Леонидъ—мальчикъ 18 лѣтъ, не злой и не совсѣмъ глупый; характеръ его еще не сложился. Но посмотрите, какія у него замашки, какъ онъ уже испорченъ въ корнѣ и какъ все окружающее способствуетъ его дальнѣйшему развращенію, какъ все вырабатываетъ изъ него отвратительнѣйшаго самодура. Одни разговоры съ Потапычемъ чего стоятъ! Онъ замѣчаетъ Потапычу, озирая имѣніе: «вѣдь это все мое будетъ». И Потапычъ отвѣчаетъ: «Все, сударь, ваше, и мы ваши будемъ... Какъ, значить, при баринѣ, при покойникѣ, такъ все равно и вамъ должны. Потому—одна кровь... Ужъ это прямое дѣло»... Затѣмъ Леонидъ объясняетъ, что онъ служить не намѣренъ, потому что «тамъ еще писать заставить»... Потапычъ и на это свою рѣчь держать: «нѣтъ, сударь, зачѣмъ же вамъ самимъ дѣло дѣлать! Ужъ это не порядокъ! Вамъ такую службу найдутъ,—самую барственную, великатную; работать будутъ приказные, а вы будете надъ ними надо всѣми начальникомъ. А чины ужъ сами собой пойдутъ»... Затѣмъ Леонидъ жалуется, что дѣвушки отъ него бѣгаютъ. Потапычъ объясняетъ, что это оттого, что маменька его соблюсти желаетъ, и ихъ тоже. Потомъ прибавляетъ:

„Да чтожъ, сударь: маменька ваша, обыкновенно, должны строгость наблюдать, потому какъ онѣ дамы. А вамъ что на нихъ смотрѣть! Вы сами по себѣ должны поступать, какъ всѣ молодые господа поступаютъ. Ужъ вамъ порядку этого терять не должно. Чтожъ вамъ отъ другихъ-то отставать? Это будетъ къ стыду къ вашему.“

Л е о н и д ѣ. Такъ-то такъ, да не умѣю я съ дѣвушками разговаривать.

П о т а п ы ч ѣ. Да вамъ что съ ними разговаривать-то долго? Объ какихъ наукахъ вамъ съ ними разговаривать? Нешто онѣ что понимаютъ! Обыкновенно — и баринъ, ну, вотъ и конецъ...”

И Леонидъ быстро напITYвается этими понятіями. Въ сценѣ съ Надей въ саду онъ выказываетъ себя пустымъ и дряннымъ мальчикомъ, — не больше; но въ послѣдней сценѣ, когда онъ узналъ о гнѣвѣ матери и о судьбѣ, грозящей Надѣ, онъ просто гадокъ... Онъ суется, спрашиваетъ, нельзя ли помочь, жалѣетъ Надю, по-

видимому, но въ сущности ему ужъ нѣтъ до нея дѣла... Бѣдѣ можно помочь однимъ средствомъ: Уланбекова сердита главнымъ образомъ за то, что Гришка, 19-тилѣтній лакей, ея любимецъ, не ночевалъ дома; Гришка ушелъ и завалился на сѣно, мало заботясь о гнѣвѣ барыни; но нужно послать его просить прощенья, — тогда Уланбекова развеселится, и ее можно будетъ упросить за Надю. Василиса Перегриновна язвительно предлагаетъ Леониду — попросить Гришку, чтобъ шелъ къ барынѣ. Но мальчикъ, немного подумавъ, отвѣчаетъ: «нѣтъ, ужъ это ему много чести будетъ»... И рѣшивъ этимъ отвѣтомъ исполненіе грознаго приговора надъ судьбою Нади, онъ опять начинаетъ спрашивать: «что дѣлать», да приставать съ сожалѣніями... Надя ужъ выходитъ изъ терпѣнія, наконецъ, и говоритъ ему: «полноте о такихъ пустякахъ беспокоиться; вы же поѣдете въ Петербургъ скоро; веселитесь себѣ тамъ. А до меня что вамъ за дѣло». Леонидъ обиженъ и спрашиваетъ: «зачѣмъ такъ говорить мнѣ»? «Затѣмъ, что вы мальчикъ еще, — отвѣчаетъ Надя, и заключаетъ: — ужъ ѣхали бъ вы куда-нибудь лучше! А у меня, коли терпѣнья не хватитъ, такъ прудъ-то у насъ недалеко»!.. И Леонидъ, нѣсколько озадаченный, но втайнѣ очень довольный, что можетъ отдѣлаться, говоритъ: «а въ самомъ дѣлѣ, я лучше поѣду къ сосѣдямъ на недѣлю»... И оставляетъ Надю, которая вчера бросилась въ его объятія — по влеченію того же чувства, по которому теперь собирается броситься въ прудъ.

Итакъ, вотъ гдѣ источникъ паденій, вотъ причина нравственнаго растлѣнія, такъ обильно раздитаго по всему «темному царству» самодуровъ! «Пока я думала, что я человѣкъ, какъ и всѣ люди, — говоритъ Надя, — такъ у меня и мысли были другія. А какъ начала она мной, какъ куклой, командовать, да какъ увидѣла я, что никакой мнѣ воли, ни защиты нѣтъ, такъ отчаянность на меня напала... Куда страхъ, куда стыдъ дѣвался... Хоть день, да мой, думаю, — а тамъ что будетъ, то будетъ, ничего я и знать не хочу»... И въ этихъ мысляхъ бросилась дѣвушка на свою погибель, и дѣйствительно только часомъ какимъ-нибудь и попользовалась... Да и тотъ уже отнять у ней, потому что воспоминаніе вчерашней сцены любви уже отравлено, запачкано нынѣшнимъ поведеніемъ Леонида. «Кому я отдалась, на кою расточила я свои чистыя дѣвственныя ласки»! — должна думать теперь несчастная дѣвушка, и стыдъ горькой ошибки будетъ преслѣдовать ее сильнѣе и дольше, нежели печаль объ утраченной невинности. Да собственно говоря — и безнравственность-то ея поступка состоитъ вѣдь только въ томъ, что она сгоряча очень глупо распорядилась собой... А что жъ ей было дѣлать, однако?... Ее ужъ не одно чувство законности удерживало отъ открытаго возстанія противъ воли «благодѣтельницы», а просто безсиліе, невозможность. Куда же ей было дѣваться, гдѣ и какими средствами искать защиты, на какія средства существовать, наконецъ?... Ей, кромѣ того, что она сдѣлала, только одно и осталось: утопиться въ прудѣ... Такъ вѣдь и это тоже не велика радость!..

Здѣсь-то и открывается намъ другая причина, приведенная нами на то, отчего такъ крѣпко держится самодурство, само по себѣ несостоятельное и давно прогнившее внутри. Чувство законности, сдѣлавшееся чисто пассивнымъ и окаменѣлымъ, превратившееся въ тупое благоговѣніе къ авторитету чужой воли, не могло бы такъ кротко и безмятежно сохраняться въ угнетенныхъ людяхъ, при видѣ тѣхъ напѣстей и гадостей самодурства, если бы его не поддерживало что-нибудь болѣе живое и существенное. И дѣйствительно, оно поддерживается постоянно тѣмъ, что въ людяхъ есть неизбѣжное стремленіе и потребность—обеспечить свой матеріальный бытъ. Эта потребность, въ соединеніи съ тупымъ и неразумнымъ чувствомъ законности, чрезвычайно благопріятствуетъ процвѣтанію самодурства. Если бы чувство законности не было въ людяхъ «темнаго царства» такъ неподвижно и пассивно, то, конечно, потребность въ улучшеніи матеріальнаго быта повела бы совсѣмъ къ другимъ результатамъ. Митя не сталъ бы заглазно плакаться на хозяина и молчать передъ нимъ, считая закономъ его волю, а просто напѣлъ бы очень законнымъ дѣломъ—потребовать отъ него прибавки жалованья. Самъ Подхалюзинъ не сталъ бы обмѣривать и обсчитывать, повинуюсь волѣ хозяина, какъ высшему закону, и откладывая гроши себѣ въ карманъ, а просто потребовалъ бы участія въ барышахъ Большова, такъ какъ онъ уже всѣми его дѣлами завѣдывалъ. Тогда, конечно, Большову и банкротство бы не понадобилось. Да и самодурствовать то ему было бы не слишкомъ повадно. Съ другой стороны, если бы надобности въ матеріальныхъ благахъ не было для человѣка, то, конечно, Андрей Титычъ не сталъ бы такъ дрожать передъ тятенькой, и Надя могла бы не жить у Уланбековой, и даже Тишка не сталъ бы уважать Подхалюзина. Но теперь дѣла представляются въ такомъ видѣ: матеріальныя блага нужны всякому человѣку, но они уже захвачены самодурами, такъ что слабая угнетенная сторона, находящаяся подъ ихъ вліяніемъ, должна и въ этомъ зависѣть отъ самодурной милости какого-нибудь Торцова и Уланбековой; можно бы отъ нихъ потребовать того, чѣмъ они владѣютъ не по праву; но чувство законности запрещаетъ нарушать должное уваженіе къ нимъ... Что же изъ этого выходитъ? Слѣдствіе, кажется, ясно: нужно «безъ ропанія просить» у самодуровъ, чтобы они, живя сами, дали жить и другимъ... Но чтобы они исполнили просьбу, нужно снискать ихъ милость; а для этого надо во всемъ съ ними согласиться, имъ покориться и съ «терпѣньемъ тяготу сносить», если придется... А тяготы придется довольно, судя «по крутому-то характеру» Гордѣя Карпыча или г-жи Уланбековой, да и по ихъ непроходимой глупости... Ко всему этому надо себя приготовить, воспитать себя для этого, а именно: *переломить* свой характеръ, *выбить* изъ головы дурь, т. е. собственные убѣжденія, *смирить* себя, т. е. отложить всякую мысль о своихъ правахъ и о человѣческомъ достоинствѣ. Все это самими самодурами очень успѣшно и выполняется надъ всѣми людьми, родящимися въ предѣлахъ ихъ вліянія. Оттого-то у нихъ

и есть всегда подъ руками такъ много безотвѣтныхъ Митей, Андрюшъ, раболѣпныхъ Потапычей, и т. п. Если же въ комъ и послѣ самодурной дрессировки еще останется какое-нибудь чувство личной самостоятельности, и умъ сохранить еще способность къ составленію собственныхъ сужденій, то для этой личности и ума готовъ торный путь! самодурство, какъ мы убѣдились, по самому существу своему тупоумно и невѣжественно, слѣдовательно ничего не можетъ быть легче, какъ надуть любого самодура. Человѣкъ, сохранившій остатки ума, непременно на то и пускается въ этомъ самодурномъ кругѣ «темнаго царства», если только пускается въ практическую дѣятельность; отсюда и произошла пословица, что «умный человѣкъ не можетъ быть не плутомъ».

Такимъ образомъ, подъ самодурами два разряда ихъ воспитанниковъ и кліентовъ—живые и неживые. Неживые, задавленные, неподвижные,—такъ ужъ и лежатъ, не обнаруживая никакихъ попытокъ: перетащить ихъ съ одного мѣста на другое,—ладно, а не перетащить,—такъ и сгниютъ... Живые, напротивъ, все стараются помѣститься получше и поближе около самодура, а если линія подойдетъ, то и ножку ему подставить, чтобы сѣсть на него верхомъ и самимъ задурить. И новый самодуръ ужъ бываетъ хуже, опаснѣй и долговѣчнѣй, потому что онъ хитрѣе прежняго и наученъ его горькимъ опытомъ. Такъ оно все и идетъ: за однимъ самодуромъ другой, въ другихъ формахъ, болѣе цивилизованныхъ, какъ Уланбекова цивилизована сравнительно, на примѣръ, съ Брусковымъ, но въ сущности съ тѣми же требованіями и съ тѣмъ же характеромъ. Живыя натуры угнетаемой стороны пускаются въ плутни для своего обезпеченія, а неживыя стараются своей неподвижностью и покорностью заслужить себѣ милость самодура и капельку живой воды (которую онъ, впрочемъ, даетъ имъ очень рѣдко, чтобы не слишкомъ оживились).

Изъ этихъ короткихъ и простыхъ соображеній не трудно понять, почему тяжесть самодурныхъ отношеній въ этомъ «темномъ царствѣ» обрушивается всего болѣе на женщинъ. Мы обѣщали въ прошедшей статьѣ обратить вниманіе на рабское положеніе женщины въ русской семьѣ, какъ оно является въ комедіяхъ Островскаго. Мы, кажется, достаточно указали на него въ настоящей статьѣ; остается намъ сказать нѣсколько словъ о его причинахъ и указать при этомъ на одну комедію, о которой до сихъ поръ мы не говорили ни слова—на «Бѣдную невѣсту».

По устройству нашего общества женщина почти вездѣ имѣетъ совершенно то же значеніе, какое имѣли паразиты въ древности: она вѣчно должна жить на чужой счетъ. Понятно, какое обидное мнѣніе о женщинѣ складывается въ обществѣ... Правда, что на чужой счетъ живутъ и сами домовладыки этого «темнаго царства», подобные Брускову, Большову, и пр. Но тѣ упорно держатъ за собою какое-то, никѣмъ невыговоренное, но всѣми признанное *право* на тунеядство. При томъ они оправдываются даже правилами по-

литической экономіи: у нихъ есть капиталъ (откуда и какъ онъ добытъ,—до этого ужъ что за дѣло!) и они по праву пользуются процентами... А если проценты эти въ торговлѣ ихъ и оказываются нѣсколько чрезмѣрны, то опять въ этомъ никто не виноватъ: значить, конкуренція слаба. Наконецъ, надо и то разсуждать: самодуръ, по общему сознанію и по его собственному убѣжденію, есть начало, центръ и глава всего, что вокругъ него дѣлается; значить, хоть бы онъ собственно-самъ и ничего не дѣлалъ, но за то дѣятельность другихъ принадлежитъ ему. Отъ него вѣдь даются право и способы къ дѣятельности; безъ него остальные люди ничтожны, какъ говорить Юсовъ въ «Доходномъ мѣстѣ»: «обратили на тебя вниманіе, ну, ты и человѣкъ, дышешь; а не обратили,—что ты»? Такъ, стало быть, о бездѣятельности самихъ самодуровъ и говорить нечего. Надо говорить о другой половинѣ «темнаго царства», о той, которую мы называли угнетаемою. Тутъ всѣ трудятся болѣе или менѣе. Конечно, трудъ этотъ не свободенъ, не самостоятеленъ; трудящіеся во всемъ зависятъ отъ прихоти самодуровъ и часто принуждены дѣлать вовсе не то, что слѣдуетъ, и что имъ хочется... Вспомнимъ, какъ Андрюша Брусковъ порывается учиться, какъ Митя стремится къ тому, чтобы «образовать себя», и какъ имъ это не удастся. Они, стало быть, тоже очень стѣснены въ своей дѣятельности, и именно вслѣдствіе небезопасности своего положенія, вслѣдствіе зависимости ихъ матеріальныхъ средствъ отъ первой прихоти самодура... Но все-таки они еще могутъ надѣяться, что и самодуръ не вдругъ ихъ прогонитъ и броситъ: все же они что-нибудь дѣлаютъ и приносятъ пользу самодуру. Положимъ, Торцовъ не дорожитъ приказчиками, такъ же, какъ Вышневицкій въ «Доходномъ мѣстѣ» чиновниками, и можетъ ихъ мѣнять каждый день. Но на мѣсто смѣненныхъ надо же кого-нибудь опредѣлить; слѣдовательно, Торцовъ имѣетъ вообще нужду въ людяхъ и, слѣдовательно, хоть вслѣдствіе своего консерватизма, не будетъ зря гонять тѣхъ, которые ему не противятся, а угождаютъ. Притомъ же и самыя занятія мужчины, какъ бы они ни были второстепенны и зависимы, все-таки требуютъ извѣстной степени развитія, и потому кругъ знаній мальчика, съ самаго дѣтства, даже въ понятіяхъ самихъ Брусковыхъ, предполагается гораздо обширнѣе, чѣмъ для дѣвочки. Андрюша Брусковъ, напр., по фабрикѣ у отца—первый; для этого надо же ему было хотѣть посмотреть на что-нибудь, если ужъ не учиться систематически, какъ слѣдуетъ. А о дочеряхъ мать этого же Андрюши говоритъ очень наивно: «что дочери! Дочерей и запретъ можно, да и хлопотъ съ ними меньше,—ни учить, ни что». За дочерьми, по ея мнѣнію, только и нуженъ присмотръ, чтобы ихъ отъ парней убересть до замужества; а тамъ уже мужъ будетъ беречь свою жену отъ постороннихъ... Во всѣхъ, до сихъ поръ разсмотрѣнныхъ нами, комедіяхъ Островскаго мы видѣли, какъ всѣ обитатели его «темнаго царства» выражаютъ полнѣйшее пренебреженіе къ женщинѣ, которое тѣмъ болѣе безнадежно, что совершенно добродушно. Тутъ нѣтъ даже и такого раздраженія, съ ка-

кимъ, напр., одинъ господинъ отдѣлялъ купца, осмѣливаго писать о крестьянскомъ вопросѣ. Въ такомъ раздраженіи, какъ он ни высокомеренъ, все-таки виднѣ боязливое вниманіе, какое-то смутное сознаніе, что въ противной сторонѣ все-таки кроется нѣкоторая сила; тонъ пренебреженія здѣсь искусственъ. Ничего подобнаго нѣтъ въ тонѣ отношеній мужей къ женамъ и отцовъ къ дочерямъ въ «темномъ царствѣ» комедій Островскаго. Эти господа не раздражаются не возстаютъ серьезно противъ значенія женщины; они позволяютъ своимъ женамъ даже спорить съ собой... Но просто они не могутъ помѣстить въ головѣ мысли, что женщина есть тоже человѣкъ равный имъ, имѣющій свои права. Да этого и сами женщины не думаютъ. «Ужъ что женщина! курица не птица, женщина не человекъ», — повторяютъ онѣ вмѣстѣ съ Ничкиной въ «Праздничномъ снѣ». Она сама ничего не дѣлаетъ, ничего не пріобрѣтаетъ, не играетъ никакой роли въ обществѣ, не составляетъ никакой инстанціи въ дѣлахъ. Что бы она ни была, все она только по отцу да по мужу... И она безропотно покоряется этому, находя, что такъ быть должно, такъ ужъ испоконъ вѣку заведено, и, стало быть, судьба ужъ такая... Слабыя попытки ея выказать свое значеніе ограничиваются только развѣ разговорами, подобными слѣдующему разговору Улиты Никитишны съ Карпомъ Карпычемъ, въ «Не сошлись характерами». Мы приводимъ этотъ разговоръ, потому что въ немъ кромѣ подтвержденія нашей мысли, находимъ одинъ изъ примѣровъ того мастерства, съ какимъ Островскій умѣетъ передавать неуловимѣйшія черты пошлости и тупоумія, повсюду разлитыхъ въ этомъ «темномъ царствѣ», и служащихъ, вмѣстѣ съ самодурствомъ, главнымъ основаніемъ его быта.

УЛИТА НИКИТИШНА (заваривая чай). Ничего все муаръ антикъ въ мои помыслы...

КАРПЪ КАРПЫЧЪ. Какой это муаръ антикъ?

УЛИТА НИК. Такая матерія...

КАРПЪ КАРП. Ну, и пушай ее...

УЛИТА НИК. Да я такъ... Вотъ кабы Серафимочка замужъ вышла, тамъ ужъ спина бы себѣ, кажется... Всѣ дамы носятъ.

КАРПЪ. КАРП. А ты нешто дама?

УЛИТА НИК. Обязановенно дама.

КАРПЪ КАРП. Да вотъ можешь ты чувствовать, — не могу я слышать этого слова... когда ты себя дамой называешь.

УЛИТА НИК. Да что же такое за слово: — дама? Что въ немъ... (ищетъ слова) постыднаго.

КАРПЪ КАРП. Да коли не люблю! Вотъ тебѣ и сказъ!

УЛИТА НИК. Ну, а Серафимочка дама?

КАРПЪ КАРП. Извѣстно — дама: та ученая, да за бариномъ была. А ты что? Все была баба, а какъ мужъ разбогатѣлъ, дама стала. А ты своимъ умомъ дойди.

УЛИТА НИК. Да, нѣтъ! Все-таки... какъ же!

КАРПЪ КАРП. Сказано—молчи, ну и баста! (молчаніе).

УЛИТА НИК. Когда было это страженіе?

КАРПЪ КАРП. Какое страженіе?

УЛИТА НИК. Ну, вотъ недавно-то. Развѣ не помнишь, что ли?

КАРПЪ КАРП. Такъ что же?

УЛИТА НИК. Такъ много изъ простаго званія въ офицеры произошли.

КАРПЪ КАРП. Вѣдь не бабы же. За свою службу каждый получаетъ, что соотвѣтственно.

УЛИТА НИК. А какъ же вотъ, къ намъ мѣщанка ходитъ, такъ говорила, что когда племянникъ курсъ выдержитъ, такъ и она будетъ благородная.

КАРПЪ КАРП. Да, дожидайся.

УЛИТА НИК. А говорятъ, въ какихъ-то земляхъ изъ женщинъ полки есть.

КАРПЪ КАРП. (смѣется). Гвардія! (молчаніе).

УЛИТА НИК. Говорятъ, грѣшно чай пить.

КАРПЪ КАРП. Это еще отчего?

УЛИТА НИК. Потому — изъ некрещеной земли идетъ.

КАРПЪ КАРП. Мало ли что изъ некрещеной земли идетъ.

УЛИТА НИК. Вотъ тебѣ примѣръ: хлѣбъ изъ крещеной земли, мы его и ѣдимъ во время; а чай — когда пьемъ? Люди къ обѣднѣ, а мы за чай; вотъ теперь вечерня, а мы за чай. Вотъ и значить грѣхъ.

КАРПЪ КАРП. А ты пей во время.

УЛИТА НИК. Нѣтъ, все-таки...

КАРПЪ КАРП. Все-таки молчи. Ума у тебя нѣтъ, а разговаривать любишь. Ну, и молчи! (молчаніе).

УЛИТА НИК. Какая Серафимочка у насъ счастливая! была за баринномъ — барыня стала; и овдовѣла — все-таки барыня. А какъ теперь, если за князя выйдетъ, такъ, пожалуй, княгиня будетъ.

КАРПЪ КАРП. Все-таки по мужѣ.

УЛИТА НИК. Ну, а какъ Серафимочка за князя выйдетъ, неужто я такъ-таки ничего? Вѣдь она мое рожденіе.

КАРПЪ КАРП. Съ тобой говорить, только мысли въ головѣ разбивать. Я было объ дѣлѣ задумалъ, а ты тутъ съ разговоромъ да съ глуостями. Вѣдь нашего бабьяго разговору всю жизнь не переслушаешь. А сказать тебѣ: молчи! такъ вотъ дѣло-то короче будетъ.

Послѣ этого разговора, Карпъ Карповичъ замѣчаетъ про себя, что «кабы на бабъ да не страхъ, съ ними бы и не сообразилъ»... Все, говорить соблазняютъ мужчинъ, и «молодой человѣкъ, который и неопытный, можетъ польститься на ихъ прелесть, а человѣкъ, который въ разумъ входитъ и въ лѣта постоянныя, для того женская прелесть ничего не значить, даже скверно».. Съ этой стороны всѣ и смотрятъ на женщину въ «темномъ царствѣ», да еще и то считаютъ за одолженіе... Женщинъ не продаютъ такъ открыто на рынкахъ, какъ дѣлали на Востокѣ, но нельзя сказать, чтобъ ихъ не продавали вовсе. И даже способъ продажи все еще довольно циниченъ и безстыденъ, какъ это можно видѣть на нѣсколькихъ экземплярахъ свахъ, выведенныхъ Островскимъ въ разныхъ его коме-

діяхъ. Мы не будемъ останавливаться на этихъ лицахъ, потому что и такъ уже давно злоупотребляемъ терпѣніемъ читателя; но не можемъ не указать на сцены сватанья въ «Бѣдной невѣстѣ». Вся эта пьеса отличается совершенной простотой и обыденностью и отсутствіемъ всякихъ рѣзкихъ чертъ, подобныхъ, напримѣръ, разсужденіямъ вдовы Кукушкиной въ «Доходномъ мѣстѣ». Но тѣмъ не менѣе сватанье дѣвушки, заботы матери о ея выдачѣ, разговоры о женщинахъ — все это можетъ навести ужасъ на человѣка, который задумается надъ комедіей... Анна Петровна, мать Марьи Андреевны, — женщина слабая, сырая, позабывчивая, какъ она сама себя рекомендуетъ. Каждый ея шагъ ясно доказываетъ, что она выросла и прожила большую часть жизни тоже подъ какимъ-то гнетомъ, отнявшимъ у нея всякую способность и вкусъ къ самостоятельной дѣятельности. Она ничего сообразить не можетъ, не знаетъ, къ кому обратиться и чѣмъ взяться, суется и мечется безъ всякаго толку и все жалуется на дочь, что та долго замужъ не выходитъ. Сознавая свое полное ничтожество, она твердитъ безпрестанно: «какъ это безъ мужчины въ домѣ, ужъ я и не знаю... Что мы знаемъ тутъ, сидя-то... Вотъ будочникъ бумагу какую-то приносилъ. Кто ее тамъ разберетъ? Вотъ поди жъ ты, женское-то дѣло какое! Такъ и ходишь, какъ дура... Вотъ цѣлое утро денегъ не сочту... Какъ это безъ мужчины, это я ужъ и не знаю; тутъ и безъ бѣды бѣда» — Какъ видите, это ужъ такое ничтожество, что предъ мужемъ или кѣмъ бы то ни было посильнѣе она, вѣроятно, и пикнуть не смѣла. Но воздухъ самодурства и на нее повѣялъ, и она безъ пути, безъ разума распоряжается судьбою дочери, бранить, попрекать ее, не поминаетъ ей долгъ послушанія матери и не выказываетъ никакихъ признаковъ того, что она понимаетъ что такое человѣческое чувство и живая личность человѣка. Все это — прямые и несомнѣнные признаки самодурной закалки, доказывающіе только, какъ она легко пристаетъ даже къ самымъ неспособнымъ. Для самодурства, какъ видно, нѣтъ ни пола ни возраста, ни званія. Женщины, вообще такъ забитыя и презрѣнныя въ «темномъ царствѣ», могутъ тоже самодурничать, да еще какъ! Примѣръ — Уланбекова... Мальчишки и старики, купцы, чиновники, помѣщики, — всѣ, кто хотите, начинаютъ, при первой возможности, самодурничать... Человѣкъ всѣми презрѣнъ, тысячу разъ битъ и оплеванъ, предъ всѣми трепещетъ, кажется, ужъ такое смиренномудріе, что воды не замутишь!.. Но заведись у него хоть одинъ сынишка, или попади къ нему въ руки воспитанникъ, слуга, подчиненный — онъ немедленно начнетъ надъ ними самодурничать, не переставая въ то же время дрожать передъ каждымъ встрѣчнымъ, который ему не кланяется... Такъ ужъ устроено «темное царство», таковы уставы его іерархіи; тутъ личный характеръ человѣка даже мало и значенія-то имѣетъ... «Больше все дѣлается отъ необузданности, а то и отъ глупости», какъ выражается Бородинъ.

Въ первой статьѣ о «темномъ царствѣ» мы старались показать,

какимъ образомъ самыя тяжкія преступленія совершаются въ немъ и самыя безчеловѣчныя отношенія устанавливаются между людьми—безъ особенной злобы и ехидства, а просто по тупоумію и закоснѣлости въ данныхъ понятіяхъ, крайне ограниченныхъ и смутныхъ. Напоминая объ этомъ читателямъ, мы замѣтимъ здѣсь только, что Анна Петровна представляетъ собою одно изъ очень яркихъ проявленій этой *безнравственности по глупости*. Ея отношенія къ дочери глубоко безнравственны: она каждую минуту пилитъ Машеньку и доводитъ ее до страшнаго нервного раздраженія, до истерики, своими непрерывными жалобами и попреками: «я тебя растила. я тебя холила, а ты вотъ чѣмъ платишь!.. Ты хочешь свой капризъ выдержать и нейдешь замужъ, а мать тутъ плачь на старости лѣтъ... Въдъ у насъ ничего нѣтъ: куда я на старости дѣнусь.—въ кухарки мнѣ, что ли итти? Ты только повѣсничать любишь. а мать позабыла, для матери ничего не хочешь сдѣлать... Что жъ, авось добрые люди найдутся, не оставятъ старуху»!.. Такія рѣчи повторяются передъ Марьей Андреевной постоянно, каждый день и каждый часъ. Какова же эта мать. имѣющая до такой степени барышническій взглядъ на дочь! Не ясны ли на ней черты самодурныхъ тенденцій, коснувшихся ея хоть слегка и вовсе несродныхъ ея характеру. но все-таки успѣвшихъ сдѣлать ее несною для окружающихъ? Такая личность и такія отношенія должны возмущать душу... Но Анна Петровна обезоруживаетъ насъ своимъ необычайнымъ добродушіемъ и недалекостью. Въ ней нѣтъ положительной безнравственности, а есть только отсутствіе нравственности, отсутствіе всякихъ гуманныхъ началъ въ ея организмѣ. Выдача дочери замужъ—ея мономанія; что съ этимъ прикажете дѣлать? А что она настаиваетъ на согласіи Маши выйти за Беневоленскаго, такъ это происходитъ отъ двухъ причинъ: во-первыхъ, Беневоленскій возьмется хлопотать объ ихъ дѣлѣ въ сенатѣ, а во-вторыхъ, она не можетъ представить. чтобы дѣвушка было не все равно. за кого ни выходить замужъ. Когда Машенька объявляетъ, что Беневоленскій ей противенъ, Анна Петровна даже сообразить этого никакъ не можетъ. — сначала не обращаетъ вниманія и говоритъ, что у Маши голова вздоромъ набита и что она сама двадцать разъ передумаетъ,—а потомъ, послѣ вторичнаго отказа дочери, объясняетъ его тѣмъ, что «это только капризъ, только чтобъ матери напротивъ что-нибудь сдѣлать». Между тѣмъ надо замѣтить, что она и сама Беневоленскаго вовсе не знаетъ и не одобряетъ. Въ заключительной сценѣ, когда уже все кончено. она хватилась за умъ—сказать Машѣ: «нравится ли онъ тебѣ? Признаться сказать, скоренько дѣло-то сдѣлали; кто его знаетъ,—въ него не влѣзешь». Что станете дѣлать съ такой наивностью? Даже и сердиться нельзя на нее... Только диву даешься. и еще грустнѣе оглянешься на ту среду, въ которой вырастаютъ и прозябаютъ подобныя субъекты...

Въ этой-то средѣ и мается Марья Андреевна, простенькая и мало развитая дѣвушка, но съ натурой очень деликатною и благо-

родною. Мается она всего больше оттого, что мать торопится ее съ рукъ сбыть, и, не довольствуясь свахами, сама хлопочетъ во всѣ стороны насчетъ жениховъ. До какой степени соблюдается деликатность во всемъ этомъ, видно, напримѣръ, изъ письма, которое пишетъ къ Аннѣ Петровнѣ ея пріятель, добрый старичекъ Добротворскій. «На счетъ того пункта, о которомъ вы меня просили,—пишетъ онъ,—я въ назначенномъ вами присутственномъ мѣстѣ былъ: холостыхъ чиновниковъ, для Марьи Андреевны достойныхъ, нѣтъ; есть одинъ, но я сомнѣваюсь, чтобы онъ вамъ понравился, ибо очень великъ ростомъ—весьма много выше обыкновеннаго—и рябой. Но, по справкамъ моимъ отъ секретаря и прочихъ его сослуживцевъ, оказался нравственности хорошей и непьющій. что, какъ мнѣ извѣстно, вамъ весьма желательно. Не прикажете ли посмотреть въ другихъ присутственныхъ мѣстахъ, что и будетъ мною исполнено съ величайшимъ удовольствіемъ». И это письмо Анна Петровна заставляетъ читать саму Машеньку! Понятно, что бѣдная дѣвушка обидѣлась; но мать никакъ не можетъ понять, чѣмъ тутъ обижаться!

А изъ-за чего же терпитъ несчастная всѣ эти оскорбленія? Что ее держитъ въ этомъ омутѣ? Ясно, что: она *бѣдная невеста*, ей некуда дѣваться, нечего дѣлать, кромѣ какъ ждать или искать выгоднаго жениха. Замужество — это ея должность, работа, карьера, назначеніе жизни. Какъ поденщикъ ищетъ работы, чиновникъ—мѣстанищій—подаянія, такъ дѣвушка должна искать жениха... Надѣ этимъ смѣются современные либералы; но интересно бы знать,—что же, въ самомъ дѣлѣ, станетъ у насъ дѣлать дѣвушка, не вышедшая замужъ? Если подумать, такъ и окажется, что Анна Петровна очень резонно говоритъ: «что такое незамужняя женщина? Ничего!.. Что она значить? Ужъ и вдовье-то дѣло плохо, а дѣвичье-то ужъ и совсѣмъ нехорошо! Женщина должна жить съ мужемъ, хозяйничать, воспитывать дѣтей, а ты что жъ будешь дѣлать-то старой дѣвкой? Чулокъ вязать»!.. Слова эти глупо-справедливы, и они-то могутъ служить довольно категорическимъ отвѣтомъ на то, почему у насъ женщина въ семьѣ находится въ такомъ рабскомъ положеніи и почему самодурство тяготѣетъ надъ ней съ особенной силою.

Нѣкоторую самостоятельность можетъ она приобрѣсти, если имѣетъ въ своихъ рукахъ деньги. Эту сторону женской жизни изобразилъ Островскій въ пьесѣ «Не сошлись характерами». Изящный Поль является чрезвычайно внимательнымъ и покорнымъ къ женѣ, надѣясь выпросить у нея денегъ. Но и сами деньги какъ-то не то значатъ въ рукахъ женщины, что у мужчины. Понятіе о богатствѣ какого-нибудь самодура довольно скоро сростается съ понятіемъ о его личности, потому, вѣроятно, что все-таки онъ самъ своими деньгами распоряжается и пускаетъ ихъ въ ходъ. Поэтому, входя въ сношенія съ богачомъ, всякій старается какъ можно болѣе *участвовать* въ его выгодахъ; заводя же сношенія съ женщиной, имѣющей деньги, прямо уже хлопочутъ о томъ, чтобы завладѣть ея достояніемъ. Сама же личность женщины остается безъ всякаго значенія. Это

очень хорошо понимает Серафима Карповна, вѣрная наставленіямъ своего родителя. Выходя замужъ, она заранѣе обѣщаетъ не давать денегъ мужу, говоря: «что жъ я буду тогда безъ капитала? я ничего не буду значить»,—на что родитель отвѣчаетъ многозначительнымъ «обнаковенно»!... И по выходѣ замужъ она сдерживаетъ свое обѣщаніе: когда мужъ попросилъ у нея денегъ, она уѣхала къ папенькѣ, а мужу прислала письмо, въ которомъ, между прочимъ, излагалась такая философія: «что я буду значить, когда у меня не будетъ денегъ?—тогда я ничего не буду значить! Когда у меня не будетъ денегъ,—я кого полюблю, а меня, напротивъ того, не будутъ любить. А когда у меня будутъ деньги. — я кого полюблю, и меня будутъ любить, и мы будемъ счастливы»... И вѣдь справедливо разсуждаетъ Серафима Карповна!...

Но и это, вѣдь, еще рѣдкій случай, чтобы къ женщинѣ въ руки деньги попадали. Для этого надо, чтобы она рано овдовѣла отъ богатаго мужа. А то—съ какой стати къ ней попадутъ деньги? Да и что она съ ними сдѣлаетъ? Разбросаетъ по моднымъ магазинамъ, либо раздастъ по монастырямъ, смотря по лѣтамъ и наклонностямъ. Больше она ничего не въ состояніи сдѣлать. Лучше же ихъ употребить на что-нибудь практически-путное... И по закону-то ей въ наслѣдство идетъ только четырнадцатая часть, а ежели мимо закона, такъ и того не слѣдуетъ... Все равно, вѣдь, не удержатся у ней денежки... Развѣ-что жениха себѣ купить хорошаго... Да и того почти никогда не бываетъ. Въ женихи къ богатымъ невѣстамъ все являются Вихоревы, Баранчевскіе, Бальзаминовы, Препневы... Всѣ эти господа принадлежатъ къ той категоріи, которую опредѣляетъ Неуѣденовъ въ «Праздничномъ снѣ»: «другой сунется въ службу, въ какую бы то ни на есть, послужить безъ году недѣлю, повиляетъ хвостомъ, видитъ—не тяга, умишка-то не хватаетъ, учился-то плохо, двухъ перечесть не умѣетъ, лѣнь-то прежде его родилась, а побарствовать-то хочется: вотъ онъ и пойдетъ бродить по улицамъ да по гуляньямъ,—не объявится ли какая дура съ деньгами»... Дѣйствительно, всѣ эти господа красивы и глупы такъ, что о нихъ вспоминать тошно; большею частью они или служили, или желаютъ служить въ военной службѣ, имѣютъ наклонности къ самодурству и очень любятъ, когда ихъ считаютъ образованными людьми. Но ихъ невѣжество во всѣхъ отношеніяхъ равняется темнотѣ самихъ самодуровъ, и только благодаря самодурной системѣ—запрещать учиться низшимъ и особенно женщинамъ, могутъ они не казаться смѣшными въ этой средѣ. Разбирая «Не въ свои сани не садись», мы уже достаточно говорили о томъ, почему Авдотья Максимовна могла увлечься Вихоревымъ. Здѣсь прибавимъ только указаніе на подобное же отношеніе Марьи Андреевны къ Меричу въ «Бѣдной невѣстѣ». Мы заранѣе отстранили отъ себя разборъ частныхъ художественныхъ достоинствъ въ сценахъ и лицахъ комедій Островскаго; поэтому не будемъ разбирать въ подробности и характеръ Мерича. Но не можемъ не замѣтить, что для насъ это лицо изумительно по ма-

стерству, съ какимъ Островскій умѣлъ въ немъ очертить приличнаго, не злого, не отвратительнаго, но съ ногъ до головы пошлаго человѣка. Это не есть сколокъ съ одного изъ тѣхъ типовъ, которыхъ нѣсколько экземпляровъ представлено въ лучшихъ нашихъ литературныхъ произведеніяхъ: онъ не Онѣгинъ, не Печоринъ, не Грушницкій даже, даже вообще не *литиній* человекъ. У тѣхъ все-таки есть внутри что-то такое, что они считают своимъ достоинствомъ, чѣмъ дорожатъ, чѣмъ воображаютъ себя серьезно проникнутыми. Бѣда только въ томъ, что они мелковаты натурою и лишены серьезнаго развитія, такъ что ничто не можетъ пройти въ глубину ихъ сознанія, ничему не могутъ они отдаться всею душою. Но у Мерица даже и неглубокихъ-то убѣжденій нѣтъ: отъ него всякая истина, всякое серьезное чувство и стремленіе какъ-то отскакиваетъ; онъ какъ будто не только никогда не жилъ сознательной жизнью, но даже вовсе и не понимаетъ, что бы это могло значить... Пошлость безконечная, ничѣмъ не усиленная, не подкрашенная, а настоящая въ натурѣ пошлость—отражается въ каждомъ его словѣ, въ каждомъ его движеніи... И въ этого человѣка влюбляется неглупая дѣвушка, съ хорошими чувствами!... Таковы неизбежныя послѣдствія самодурной системы воспитанія, считающей своимъ долгомъ—какъ можно больше вязать и сжимать молодую натуру и какъ можно долѣе оставлять ее въ непроглядномъ мракѣ...

Марья Андреевна бѣдна, и Мерицъ, разумѣется, на ней не женится: онъ принадлежитъ тоже къ числу тѣхъ, которымъ нужны богатые невѣсты. Но бывають въ «темномъ царствѣ» и такіе случаи, что неразумные бѣдняки женятся на бѣдныхъ дѣвушкахъ... И тутъ-то начинается адъ кромѣшный!... Адъ этотъ хорошо изображенъ Островскимъ въ «Доходномъ мѣстѣ». Читатели наши, конечно, помнятъ исторію молодого Жадова, который, будучи племянникомъ важной особы, раздражаетъ дядю своимъ либерализмомъ и лишается его благосклонности, а потомъ, женившись на хорошенькой и доброй, но бѣдной и глухой, Полинѣ и потерпѣвши нѣсколько времени нужду и упреки жены, приходитъ опять къ дядѣ—уже просить доходнаго мѣста. Изложеніе семейныхъ отношеній и указаніе ихъ вліянія на общественную дѣятельность представляется намъ лучшею стороною этой комедіи. А затѣмъ любопытна внутренняя, душевная сторона жизни этихъ людей, которыхъ мы официально такъ презираемъ и клеймимъ названіями крючкотворцевъ и взяточниковъ. Здѣсь въ полной силѣ выразилось одно изъ главныхъ свойствъ таланта Островскаго—умѣнье заглянуть въ душу человѣка и изобразить его человѣческую сторону, независимо отъ его официального положенія. Объ этомъ много уже говорили мы, разбирая «Своихъ людей», и потому теперь укажемъ только на нѣкоторыя черты, относящіяся спеціально къ чиновникамъ. Благодушіе и особеннаго рода совѣстливость взяточниковъ рисуются нѣсколькими бѣглыми чертами еще въ «Бѣдной невѣстѣ», въ лицѣ добряка Добротворскаго. Но въ «Доходномъ мѣстѣ» черты эти гораздо ярче въ Юсовѣ и Бѣлогубовѣ.

Лица эти прямо наводят насъ на мысль, что всѣ ихъ беззаконія—чисто слѣдствія ложнаго ихъ положенія въ обществѣ и ложныхъ понятій, прибрѣтенныхъ вслѣдствіе фальшивости положенія. А ложное положеніе ихъ есть опять-таки послѣдствіе одной общей причины всѣхъ гадостей «темнаго царства» — самодурства. Въ сферѣ чиновнической оно еще гаже и возмутительнѣе, чѣмъ въ купеческой, потому что здѣсь дѣло постоянно идетъ объ общихъ интересахъ и прикрывается именемъ права и закона. Кромѣ того, здѣсь мы видимъ уже безчисленное множество оттѣнковъ и степеней; и чѣмъ выше, тѣмъ самодурство становится наглѣе внутренно и гибельнѣе для общаго блага, но благообразнѣе и величавѣе въ своихъ формахъ. Съ Юсовымъ, когда онъ былъ мальчишкой, мелкіе чиновники обращались какъ съ собачонкой; Юсовъ съ Бѣлогубовымъ обращается уже не столько грубо; Вышневскій же говоритъ съ Юсовымъ такимъ достойнымъ тономъ, что нужно только благоговѣть, а шокироваться вовсе нечѣмъ. Но въ сущности вся бѣда въ вѣдомствѣ Вышневскаго оттого и происходитъ, что онъ самъ зараженъ самодурствомъ, а за нимъ ужъ и всѣ. Законовъ никакихъ никто не признаетъ, честности никто въ толкъ взять не можетъ, ума не опредѣляютъ иначе, какъ способностью нажиться, главною добродѣтелью признаютъ смиреніе предъ волею старшихъ. Юсовъ простодушно признаетъ, что онъ гордости ни съ кѣмъ не имѣетъ, только вотъ верхоглядовъ не любитъ, нынѣшнихъ образованныхъ-то. «Съ этими—говорить—я строгъ и взыскателенъ; у меня правило—всячески ихъ тѣснить для пользы службы: потому—отъ нихъ вредъ». Немудрено въ немъ такое воззрѣніе, потому что онъ самъ «года два былъ на побѣгушкахъ, разныя комиссіи исправлялъ: и за водкой-то бѣгалъ, и за пирогами, и за квасомъ,—кому съ похмѣлья,—и сидѣлъ-то не на стулѣ, а у окошка, на связкѣ бумагъ, и писалъ-то не изъ чернильницы, а изъ старой помадной банки,—и вотъ вышелъ въ люди»,—и теперь признаетъ, что «все это не отъ насъ, свыше»... И онъ не по злобѣ и не по плутовству тѣснить образованныхъ людей, а у него ужъ въ самомъ дѣлѣ такое убѣжденіе сложилось, что отъ нихъ вредъ для службы... То же убѣжденіе передано и Бѣлогубову, который говоритъ: «что за польза и отъ ученья, когда въ человѣкѣ страху нѣтъ,—трепету передъ начальствомъ». Да иначе думать они и не могутъ, потому что все ихъ окружающее, на каждомъ шагѣ подтверждаетъ ихъ мнѣніе. Даже тѣ образованные, которые спорятъ съ ними,—какъ часто они собственнымъ же поведеніемъ обличаютъ свою неправоту!—Такъ случилось и съ Жадовымъ. Сначала Бѣлогубовъ какъ-то ежился передъ Жадовымъ и признавалъ какую-то силу въ его умственномъ превосходствѣ. Онъ смутно ощущалъ, что унижаться и подличать, зависѣть отъ первой прихоти и отказаться отъ своей воли—не всегда пріятно. Видя, что Жадовъ гораздо свободнѣе и независимѣе въ своихъ поступкахъ, Бѣлогубовъ почти завидовалъ ему. На вопросъ своей невѣсты, почему онъ откладываетъ свадьбу, когда Жадовъ свою не откладываетъ, онъ отвѣчалъ: «со-

всѣмъ другое дѣло-съ. У него дяденька богатый-съ, да и самъ онъ образованный человѣкъ, вездѣ можетъ мѣсто имѣть. Хотѣ и съ учителя поидетъ, — все хлѣбъ-съ. А я что-съ? Пока не дадутъ мѣста столоначальника, ничего не могу-съ»... Но получивши это мѣсто, между тѣмъ какъ Жадовъ и свое-то потерялъ, Бѣлогубовъ начинаетъ уже чувствовать самодовольное сожалѣніе къ Жадову, которое и выражаетъ ему при встрѣчѣ въ трактирѣ. Что же въ самомъ дѣлѣ, къ чему послужило Жадову *ученье безъ трепета*? Только къ тому, что онъ мучился самъ, мучилъ цѣлый годъ жену свою и, наконецъ, пошелъ же къ дядѣ просить Бѣлогубовскаго мѣста... И дядя подѣломъ его отчистилъ... «Вотъ,—говорить,—они, герои-то! Молодой человѣкъ, который кричалъ на всѣхъ перекресткахъ про взяточниковъ, говорилъ о какомъ-то новомъ поколѣніи, — идетъ къ намъ же просить доходнаго мѣста, чтобъ брать взятки!.. Хорошо новое поколѣніе»!

Вообще Вышневскій, утвердившись на своей точкѣ зрѣнія *statu quo*, чрезвычайно логически разбиваетъ въ прахъ всѣ благородныя фразы Жадова и, какъ дважды-два—четыре, доказываетъ ему, что, при настоящемъ порядкѣ вещей, невозможно честнымъ образомъ обезпечить себя и свое семейство. Честные способы пріобрѣтенія слишкомъ ничтожны, да и тѣхъ еще не дадутъ тому, кто не захочетъ угождать, а будетъ противорѣчить. И это вѣдь не бѣдственная случайность, а тяжкая необходимость, вытекающая прямо и неизбежно изъ системы самодурства, развитой въ «темномъ царствѣ». «Будь хоть семи пядей во лбу, но если вамъ не нравится, то останется въ ничтожествѣ; и самъ виноватъ: зачѣмъ не умѣлъ заслужить вашей милости». Вотъ и всѣ права, и вся философія «темнаго царства»! И вовсе не удивительно, если Юсовъ, узнавъ, что все вѣдомство Вышневскаго отдано подъ судъ, выражаетъ искреннее убѣжденіе, что это «по грѣхамъ нашимъ — наказаніе за гордость»... Вышневскій то же самое объясняетъ, только нѣсколько рациональнѣе: «моя быстрая карьера—говорить—и замѣтное обогащеніе вооружили противъ меня сильныхъ людей»... И, сходясь въ этомъ объясненіи оба администратора остаются затѣмъ совершенно спокойны совѣстью относительно законности своихъ дѣйствій... Да и отчего бы не были имъ спокойными, когда ихъ дѣятельность, равно какъ и всѣ ихъ понятія и стремленія, такъ гармонируютъ съ общимъ ходомъ дѣла и устройствомъ «темнаго царства»?..

«Но вѣдь есть же какой-нибудь выходъ изъ этого мрака?.. Островскій, такъ вѣрно и полно изобразивши намъ «темное царство», показавши намъ все разнообразіе его обитателей и давши намъ заглянуть въ ихъ душу, гдѣ мы успѣли разглядѣть нѣкоторыя человѣческія черты, долженъ былъ дать намъ указаніе и на возможность выхода на вольный свѣтъ изъ этого темнаго омута... Иначе—вѣдь

это ужасно—мы остаемся въ неразрѣшимой дилеммѣ: или умереть съ голоду, броситься въ прудъ, сойти съ ума, — или же убить въ себѣ мысль и волю, потерять всякое нравственное достоинство и сдѣлаться раболѣпнымъ исполнителемъ чужой воли, взяточникомъ, мошенникомъ, для того, чтобы безмятежно провести жизнь свою... Если только къ этому приводитъ насъ вся художественная дѣятельность замѣчательнаго писателя, такъ это очень печально»...

Печально, — правда; но что-же дѣлать? Мы должны сознаться: выхода изъ «темнаго царства» мы не нашли въ произведеніяхъ Островскаго. Винить-ли за это художника? Не оглянуться-ли лучше вокругъ себя и не обратить-ли свои требованія къ самой жизни, такъ вяло и однообразно плетущейся вокругъ насъ... Правда, тяжело намъ дышать подѣ мертвящимъ давленіемъ самодурства, бушующаго въ разныхъ видахъ, отъ первой до послѣдней страницы Островскаго; но и окончивши чтеніе и отложивши книгу въ сторону, и вышедши изъ театра послѣ представленія одной изъ пьесъ Островскаго,—развѣ мы не видимъ наяву вокругъ себя безчисленнаго множества тѣхъ-же Брусковыхъ, Торцовыхъ, Уланбековыхъ, Вышневскихъ, развѣ не чувствуемъ мы на себѣ ихъ мертвящаго дыханія?.. Поблагодаримъ-же художника за то, что онъ, при свѣтѣ своихъ яркихъ изображеній, далъ намъ хотѣ осмотрѣться въ этомъ темномъ царствѣ. И то ужъ много значить... Выхода-же надо искать въ самой жизни: литература только воспроизводитъ жизнь и никогда не даетъ того, чего нѣтъ въ дѣйствительности...

Впрочемъ, попытки освобожденія отъ тьмы бываютъ въ жизни: нельзя пройти мимо ихъ и въ комедіяхъ Островскаго. Только эти попытки ужасны, да и притомъ и остаются все-таки только попытками. Лицъ совершенно чистыхъ отъ житейской грязи мы не находимъ у Островскаго. Мыкинъ, въ «Доходномъ мѣстѣ», можетъ быть чистъ, потому что ни въ какихъ общественныхъ службахъ не участвуетъ, а «учительствуетъ понемногу». Но съ нимъ мы такъ мало знакомимся изъ его разговора съ Жадовымъ, что еще не можемъ за него поручиться. Есть еще въ «Бѣдной невѣстѣ» одна дѣвушка, до такой степени симпатичная и высоко нравственная, что такъ-бы за ней и бросился, такъ и не разстался-бы съ ней, нашедши ее. Но и эта дѣвушка уже забрызгана грязью чужихъ пороковъ. Это Дуня, съ которою пять лѣтъ жилъ Беневоленскій до своей женитьбы, и которая теперь пришла, пользуясь свадебной суматохой, взглянуть изъ толпы на невѣсту своего недавняго друга. Она встрѣчается съ самимъ Беневоленскимъ въ проходной комнатѣ, въ родѣ буфета; вмѣстѣ съ нею — подруга ея Паша, которой она передъ этимъ только-что бросила нѣсколько словъ о томъ, какъ онъ надъ нею бывало буйствовалъ, пьяный... Беневоленскій, увидя ее, конфузится и проситъ ее быть поосторожнѣе.—«А хочешь, — сейчасъ дебошъ сдѣлаю»? говоритъ она.—«Дура, дура! что ты»!—въ испугѣ восклицаетъ Беневоленскій; но она его тотчасъ успокоиваетъ, обѣщаясь, что и къ нему больше не придетъ. Затѣмъ, онъ старается ее

выпроводить, и между ними происходит слѣдующая сцена, раскрывающая передъ нами чувства дѣвушки, изумительныя по своей чистотѣ и благородству.

Беневол. Здѣсь, Дуня, тебѣ что же дѣлать? Посмотри невесту и ступай.

Дуня. Ужъ я видѣла. Хороша ея, Паша, — ужъ можно сказать, что хороша!.. (къ Беневоленскому). Только сумѣешь ли ты съ такою женою жить? Ты, смотри, не забуди чужого ея даромъ. Грѣхъ тебѣ будетъ. Остепенись, живи хорошенько. Это вѣдь не со мной: жили, жили, да и былъ таковъ! (умираетъ слезы).

Паша. А ты говорила, что тебѣ его не жаль...

Дуня. Вѣдь я его любила когда-то... Что жъ, надо же когда-нибудь разставаться, не вѣкъ такъ жить. Еще хорошо, что женится: авось будетъ жизнь порядочно. А все-таки, Паша, ты то возьми, — лѣтъ пять жили... вѣдь жалко... Конечно, немного я отъ него добра видѣла... больше слезъ... одного сраму что перенесла. Такъ ни за что прошла молодость, и помянуть нечѣмъ.

Паша. Что дѣлать, Дуня...

Дуня. А вѣдь, бывало, и ему рада-радешенька, какъ пріѣдетъ... Смотри же, живи хорошенько.

Беневол. Ну, ужъ конечно!

Дуня. То-то же. Это ея тебѣ на ея, не то, что я... Ну, прощай, и поминай ликомъ, добромъ нечѣмъ. Что это я, какъ дура, расплакалась, въ самомъ дѣлѣ! Э, махнемъ рукой, Паша, — завьемъ горе веревочкой!

Беневол. Прощай, Дуня.

Дуня. Адье, мусье! Пейдемъ, Паша (уходятъ).

Большей чистоты нравственныхъ чувствъ мы не видимъ ни въ одномъ лицѣ комедій Островскаго. Эта ужъ не та безразличная доброта, которою отличается дочь Русакова, не та овечья кротость какую мы видимъ въ Любови Гордѣевнѣ, не тѣ неопытныя понятія какими руководится Надя... Здѣсь сила сознательной рѣшимости проглядываетъ въ каждомъ словѣ; все существо этой дѣвушки и придавлено и не убито; напротивъ, оно возвышено, просвѣтлено со знаніемъ того добра, которое она приноситъ, отказываясь отъ правъ своихъ на Беневоленскаго. Ей, въ самомъ дѣлѣ, легко было сдѣлать дебошъ и сорвать сердце; но она не хочетъ этого; она чистосердечно отдаетъ справедливость красотѣ невесты, и сердце ея начинаетъ наполняться довольствомъ за счастье своего бывшего друга. Полная благожелательства, она радуется тому, что онъ женится, потому что это даетъ ей надежду на его нравственное исправленіе... А потомъ — какая радушная, чистая заботливость о той, о соперницѣ ея... И, наконецъ, какая граціозная прелесть характера выражается въ самомъ этомъ горѣ, завитомъ веревочкой, и въ этомъ ломаномъ прощаніи, въ которомъ, однако, нельзя не видѣть огорченія и досады все еще любящаго сердца... Да, эта дѣвушка сохранила въ себѣ чистоту сердца и все благородство, доступное человѣку. Но что-же она такое въ нашемъ обществѣ? Не отвержена-ли она имъ?

Да и не этому-ли отверженію, — отчужденію-ли отъ мрака самодурныхъ дѣлъ, кишящихъ въ нашей средѣ общественной, надо приписать и то, что она такъ отрадно сіяетъ передъ нами благородствомъ и ясностью своего сердца?...

Есть въ комедіяхъ Островскаго и еще лицо, отличающееся большою нравственной силой. Это — Любимъ Торцовъ. Онъ грязень, пьянь, тяжелъ; онъ надорванъ жизнью и очень запустилъ самъ себя. Но та же самая жизнь, лишивъ его готовыхъ средствъ къ существованію, унизивъ и заставивъ терпѣть нужду, сдѣлала ему то благодѣяніе, что надломила въ немъ основу самодурства. Онъ — родной братецъ Гордѣя Карпыча и, по его-же рассказамъ, былъ смолоду самодуромъ не хуже его. Но какъ пришлось ему паясничать на морозѣ за пятачекъ, да просить милостыню, да у брата изъ милости жить, такъ тутъ пробудилось въ немъ и человѣческое чувство, и сознаніе правды, и любовь къ бѣднымъ братьямъ, и даже уваженіе къ труду. Прося брата, чтобъ выдалъ дочь за Митю, Любимъ Торцовъ прибавляетъ: «онъ мнѣ уголь дастъ; назябся ужъ я, проголодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; хоть подъ старость-то, да *честно пожить*. Вѣдь я народъ обманывалъ: просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. *Мнѣ работишку дадутъ, у меня будетъ свой горюшокъ шей*»... Изъ этихъ желаній и признаній видно, что дѣйствительно нужда совершила въ натурѣ Любима Торцова переломъ, заставившій его устыдиться прежнихъ самодурныхъ началъ столько-же, какъ и недавняго безпутства.

Въ примѣрѣ Торцова можно отчасти видѣть и выходъ изъ темнаго царства; стоило-бы и другого братца, Гордѣя Карпыча, также проучить на хлѣбѣ, выпрошенномъ Христа-ради, — тогда-бы и онъ, вѣроятно, почувствовалъ желаніе «имѣть работишку», чтобы жить честно... Но, разумѣется, никто изъ окружающихъ Гордѣя Карпыча не можетъ и подумать о томъ, чтобы подвергнуть его подобному испытанію, и, слѣдовательно, сила самодурства попрежнему будетъ удерживать мракъ надъ всѣмъ, что только есть въ его власти!...

А свѣтъ образованія? Онъ долженъ же, наконецъ, разогнать этотъ мракъ? Безъ всякаго сомнѣнія!... Но вспомните и то, какіе результаты дало образованіе въ Вихоревѣ, Бальзаминовѣ, Пржедневѣ, въ Липочкѣ, Капочкѣ, Устенкѣ, въ Аринѣ Ѳедотовнѣ... Оглянитесь-ка вокругъ, — какія сцены, какіе разговоры поражаютъ васъ. Тамъ Расположенскій рассказываетъ, какъ въ странѣ необитаемой жилъ маститый старецъ съ двѣнадцатью дочерьми малъ-мала меньше, и какъ онъ пошелъ на распутье, — не будетъ-ли чего отъ добродетельныхъ дателей; тутъ наряженный медвѣдь съ козой въ гостиную пляшетъ, тамъ Еремка колдуетъ, и колокольный звонъ служитъ къ нравственному исправленію; тамъ говорятъ, что грѣхъ чай пить, и пр., и пр... А разговоры-то! Настасья Панкратьевна скажетъ, что учиться не надо много; а Ненила Сидоровна подхватитъ: «да,

вотъ на счетъ ученья-то: у насъ сосѣдка отдавала сына учиться, а онъ глаза и выкололъ». А то Ненила Сидоровна скажетъ: «молодой человѣкъ, слушайте старшихъ, вы еще не знаете, какъ люди хитры»; а Настасья Панкратьевна подтвердитъ: «да, да, у насъ у кучера поддевку украли — въ одну минуточку»... Или, напримеръ:

Ничкина. Да вотъ еще, скажите вы мнѣ: говорятъ, царь Фараонъ сталъ по ночамъ съ войскомъ изъ моря выходить.

Бальзаминовъ. Очень можетъ быть-съ.

Ничкина. А гдѣ это море?

Бальзаминовъ. Должно быть, недалеко отъ Палестины.

Ничкина. А большая Палестина?

Бальзаминовъ. Большая-съ.

Ничкина. Далеко отъ Царьграда?

Бальзаминовъ. Не очень далеко-съ.

Ничкина. Должно быть, шестьдесятъ верстъ. Ото всѣхъ отъ такихъ мѣстовъ шестьдесятъ верстъ, говорятъ... только Кіевъ дальше...

А припомните-ка разговоръ Карпа Карпыча съ Улитой Никишатишной—о дамахъ!... А разговоръ кучеровъ объ Австрейкѣ! И также—разговоръ Вихорева съ Баранчевскимъ о промышленности политической экономіи, или разговоры Прежнева съ матерью о роляхъ въ обществѣ, или Недопекина съ Лисавскимъ (въ «Утро молодого человѣка») о красотѣ и образованіи, или Капочки съ Устенъкой объ учтивости и общежитіи (въ «Праздничномъ снѣ»). Вотъ вамъ и образование: этакихъ господъ, какъ Недопекинъ, Вихоревъ, такихъ дѣвушекъ, какъ Липочка и Капочка, оно уже произвело довольно. Но чтобъ оно сдѣлало что-нибудь больше, до этого самодуры не допустятъ!... Они и то говорятъ, что образованныхъ-то тѣснить надъ для пользы службы!... А еще что за образованные передъ ними? Кого они испугались-то? Жадова! А Жадовъ самъ признается, что у него воли нѣтъ, энергіи недостаетъ... А въ самомъ дѣлѣ—слабо должно быть самодурство, если ужъ и Жадова стало бояться!.. Вѣдь это хорошій признакъ!...

На этомъ хорошемъ признакѣ мы и остановимся, наконецъ. Не хотимъ дѣлать никакихъ общихъ выводовъ о талантѣ Островскаго. Мы старались показать, что и какъ охватываетъ онъ въ русской жизни своимъ художническимъ чувствомъ, въ какомъ видѣ онъ передаетъ воспринятое и прочувствованное имъ, и какое значеніе въ нашихъ понятіяхъ должно придавать явленіямъ, изображаемымъ въ его произведеніяхъ. Мы нашли у Островскаго полноту изображеній русской жизни, съ ея Подхалюзинскимъ сюртучкомъ, Вихоревскими перчатками, Наденькинымъ заплаканнымъ платочкомъ, Жадовскою тросточкой и съ Торцовской самодурно-безобразной шапкой... Многое мы не досказали, объ иномъ, напротивъ, говорили очень длинно; но пусть простятъ насъ читатели, имѣвшіе терпѣніе дочитать нашу

статью. Виною того и другого былъ болѣе всего способъ выраженія.— отчасти метафорическій,—котораго мы должны были держаться. Говоря о лицахъ Островскаго, мы, разумѣется, хотѣли показать ихъ значеніе въ дѣйствительной жизни; но мы все-таки должны были относиться, главнымъ образомъ, къ произведеніямъ фантазіи автора, а не непосредственно къ явленіямъ настоящей жизни. Вотъ почему иногда общій смыслъ раскрываемой идеи требовалъ большихъ пространеній и повтореній одного и того же въ разныхъ видахъ,—чтобы быть понятнымъ и въ то же время уложиться въ фигуральную форму, которую мы должны были взять для нашей статьи, по требованію самого предмета... Нѣкоторыя же вещи никакъ не могли быть удовлетворительно переданы въ этой фигуральной формѣ, и потому мы почли лучшимъ пока оставить ихъ вовсе. Впрочемъ, тѣ выводы и заключенія, которыхъ мы не досказали здѣсь, должны сами собою прійти на мысль читателю, у котораго достанетъ терпѣнія и вниманія до конца статьи.

Стихотворенія Я. П. Полонскаго. Дополненіе къ стихотвореніямъ, изданнымъ въ 1855 г. Спб. 1859.

Кузнече(и)къ-музыкантъ. Шутка въ видѣ поэмы. Я. П. Полонскаго. Спб. 1859.

Разсказы Я. П. Полонскаго. Спб. 1859.

Задумчивость очень унылая, но не совершенно безотрадная, и томно-фантастическій колоритъ составляютъ отличительные признаки поэзіи г. Полонскаго. Въ его стихѣ нѣтъ той мрачной, демонической силы, отъ которой человѣкъ можетъ содрогнуться и почувствовать, что сердце его обливается кровью. Нѣтъ въ немъ и того размаха, той пылкости воображенія, при которыхъ поэтомъ создается цѣлый волшебный міръ фантастическихъ образовъ, міръ безконечно-разнообразный, яркій и оригинальный. Но въ застѣнчивомъ, часто неловкомъ и даже не всегда плавномъ, стихѣ г. Полонскаго отражается необычайно чуткая воспріимчивость поэта къ жизни природы и внутреннее сліяніе явленій дѣйствительности съ образами его фантазіи и съ порывами его сердца. Онъ не довольствуется пластикой изображеній, не довольствуется и тѣмъ простымъ смысломъ, который имѣютъ предметы для обыкновеннаго глаза. Онъ во всемъ видитъ

какой-то особенный, таинственный смысл; миръ населенъ для нас какими-то чудными видѣніями, увлекающими его далеко за предѣлы действительности. Нельзя не сознаться, что подобное настроеніе, сопровождаемое притомъ могучимъ, гофмановскимъ творчествомъ, очень неблагоприятно и даже опасно для успѣха поэта. Оно легко можетъ перейти въ безсмысленный мистицизмъ или разсыпаться въ нагннутыхъ принаоровленіяхъ и аллегоріяхъ. Последнее мы нерѣдко видаемъ у нѣкоторыхъ нашихъ поэтовъ, думавшихъ брать свои вдохновенія изъ классической древности. Но г. Полонскій довольно удачно умѣетъ избѣжать и того и другого: отъ теологическаго мистицизма избавила его сила образованнаго ума, отъ бездушныхъ аллегорій спасла его таланта. Во всѣхъ стихотвореніяхъ г. Полонскаго, какъ бы они представлялись слабыми или эксцентричными, мы видимъ, что онъ не придумывалъ подобій, не холодно навязывалъ человѣческія думы и тучамъ, и волнамъ, и утесамъ, и насѣкомымъ, и деревьямъ, изъ желанія блеснуть оригинальностью рассказывалъ свои фантастическія грезы,—нѣтъ, у него въ самомъ дѣлѣ являлись въ душѣ эти грезы, предъ нимъ въ самомъ дѣлѣ одушевлялись по временамъ всѣ мертвыя явленія природы. Еще въ прежнихъ его стихотвореніяхъ мы видѣли признаки мечтательности, читая въ нихъ фантастическія впечатлѣнія разныхъ періодовъ жизни поэта. Мы слыхали, какъ въ дѣтствѣ поэтъ мечталъ объ ангелѣ, сидящемъ у него изголовья и, дѣйствительно чувствовалъ его присутствіе:

И мнилось мнѣ: на ложѣ, близъ меня,
Въ сіяньи трепетномъ лампаднаго огня,
Въ блѣдно-серебряномъ сидѣль онъ одѣяньи;
И тихо, шепотомъ я повѣрялъ ему,
И мысли, дѣтскому послушныя уму,
И сердцу дѣтскому доступныя желанья.

А въ другія минуты проходятъ предъ его воображеніемъ въ страшныя чудеса, рассказываемыя въ нашихъ сказкахъ. Во снѣ видятся поэту—и стеклянный дворецъ царь-дѣвицы, и жарь-птица клюющія золотыя плоды, и ключи живой и мертвой воды.

И я вижу во снѣ, какъ на волкѣ верхомъ
Бѣду я по тропинкѣ лѣсной—
Воевать съ чародѣемъ царемъ,
Въ ту страну, гдѣ царица сидитъ подъ замкомъ,
Изнывая за крѣпкой стѣной...

И не только въ разсказахъ няни являлись ему чудеса: вся природа полна была для него таинственной жизни, непонятныхъ признаковъ. Когда-то, безпечнымъ отрокомъ, зашелъ онъ въ лѣсъ, ему стало страшно, что лѣсъ такъ нѣмъ и мраченъ.

Вдругъ свѣжіе листы деревъ со всѣхъ сторонъ,
Какъ будто бабочекъ зеленыхъ миллионъ,
Дрожа задвигались...

Задвигались—и заговорили съ поэтомъ...

Все возбуждаетъ въ немъ вопросъ, все представляетъ ему загадку, предметъ мечтательныхъ думъ,—и въ мірѣ, и въ жизни. Муза его подобна той дѣвѣ, которой онъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній придаетъ такіе думы и вопросы:

Что звенить тамъ вдаль,—и звенить и зоветь?
И зачѣмъ тамъ, въ степи, лишь столбами встаетъ?
И зачѣмъ та рѣка широко разлилась?
Оттого ль разлилась, что весна началась?
И откуда, откуда тотъ вѣтеръ летитъ,
Что, страхая росу, по цвѣтамъ шелеститъ,
Дышитъ запахомъ лишь и, концами вѣтвей
Помывая, влечетъ въ сумракъ влажныхъ аллей?

Вопросы такого рода задаетъ себѣ нерѣдко и самъ поэтъ; подобные образы рисуетъ онъ нерѣдко очень живыми и привлекательными чертами. Природа представляется ему въ видѣ какого-то загадочнаго, но милаго и очень близкаго существа, съ которымъ онъ очень любитъ разсуждать о различныхъ предметахъ, занимающихъ его воображеніе. То волны разсказываютъ ему про морскія чудеса; то лѣсъ говоритъ ему про какую-то чудную красавицу; то подслушиваетъ онъ «листьявъ осиновыхъ шепотъ ласкающій», которымъ убаюкивается молодой дубокъ; то ночь на пути заглядываетъ къ нему подъ рогожу кибитки, между тѣмъ какъ онъ выслушиваетъ цѣлую поэму въ звукѣ дорожнаго колокольчика; то послѣ грозы является у него вопросъ:

Или у природы,
Какъ у сердца въ жизни,
Есть своя улыбка
И свои невзгоды?..

Замѣчательно, что даже въ разсказахъ своихъ г. Полонскій не удаляется отъ того характера, который мы находимъ господствующимъ въ его стихотвореніяхъ. Г. Полонскій разсказываетъ самыя обыденныя, даже отчасти водевильныя приключенія, (какъ, напр., въ «Квартирѣ въ Татарскомъ кварталѣ», гдѣ Хлюстинъ, по незнанію грузинскаго языка и по ошибкѣ въ имени, ведетъ заочные переговоры вовсе не съ той красавицей, въ которую влюбленъ), но въ нихъ всегда рисуется предъ нами—или какая-нибудь оригинальная личность, или странное явленіе душевной жизни, или, наконецъ, придается какая-нибудь таинственность внѣшней обстановкѣ. Одинъ

изъ разсказовъ—«Статуя Весны» особенно близко подходитъ къ характеру стихотвореній г. Полонскаго. Выпишемъ изъ него нѣсколько строкъ, въ которыхъ авторъ говоритъ о развитіи фантазіи въ маленькомъ Илюшѣ:

„Онъ любилъ забиться куда-нибудь въ уголокъ, и когда задумывался, большіе, сѣрые глаза его съ расширенными зрачками долго оставались неподвижными. Рѣдко видѣлъ онъ постороннихъ, еще рѣже выходилъ на улицу... Фигуры кузнецовъ, прохаживавшихся по двору, всегда въ преувеличенномъ видѣ рисовались въ его воображеніи. Однажды, проходя задней лѣстницей, гдѣ-то въ четвертомъ этажѣ услышалъ онъ бранчивый крикъ какой-то женщины и плачъ ребенка. Этого было для него достаточно, чтобъ вообразить, что наверху обитаютъ такіе злые люди, которымъ ничего не стоитъ, повстрѣчавшись съ нимъ, отрѣзать ему ухо для собственнаго удовольствія...

„Несмотря на неопредѣленное чувство грусти, имъ испытываемое, съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе свыкался онъ съ своимъ одиночествомъ, которое было для него вреднѣе великой медленной отравы. Голова его искала здоровой питательной пищи и не находила. Воображеніе (огонь, съ которымъ и дѣтямъ играть опасно), развиваясь въ немъ на счетъ другихъ способностей, постепенно создало ему вокругъ него тотъ странный, фантастическій и Гофмана достойный міръ, котораго никто, ниже самъ великій психологъ и философъ, подозрѣвать не могъ.

„Кто объяснить, какъ это дѣлалось, что мальчикъ всему, каждой мелочи не домѣ, умѣлъ придать какое-то особенное, въ зрѣломъ возрастѣ непонятное, невообразимое значеніе? Каждая вещь была для него чѣмъ-то одушевленнымъ, требующимъ отъ него извѣстной степени сочувствія. Стукъ вбиваемаго гвоздя былъ для него крикомъ несчастнаго, которому не хочется лѣзть въ стѣну... Когда няня, Августа, вѣшала салоуъ свой, онъ былъ увѣренъ, что и гвоздь это чувствуетъ, и салоуъ понимаетъ свое положеніе.

„Кто бы могъ подумать, что природная наблюдательность, самая замѣтная и все-таки никѣмъ незамѣченная черта въ его характерѣ, не только не ослабѣла, но, такъ сказать, помогла играть его прихотливой, въ высшей степени прихотливой фантазіи“?

Какъ Илюша любовался статуею Весны, бывшею у его отца, какъ онъ разбилъ эту статую и что отъ того произошло въ его пылкой фантазіи и слабенькомъ организмѣ, — изображеніе этого и составляетъ все содержаніе разсказа «Статуя Весны». Эксцентрическій Илюша обрисованъ авторомъ съ большою любовью, и нельзя не замѣтить, что подобные характеры находятся въ соотвѣтствіи съ постояннымъ настроеніемъ самого поэта. Оттого-то, несмотря на свою странность, разсказъ объ Илюшѣ нравится намъ именно своей задушевностью и теплотою. Болѣе просты, но тоже не безъ оттѣнка странности въ характерѣ маленькаго героя, два граціозные разсказы «Груня» и «Домъ въ деревнѣ». Разсказы эти помѣщены были въ «Современникѣ» и, вѣроятно, не забыты нашими читателями, по-

чему мы и считаемъ излишнимъ распространяться о нихъ на этотъ разъ.

Стихотворенія г. Полонскаго, нынѣ изданныя, также большею частью должны быть знакомы нашимъ читателямъ: они были уже помѣщены въ разныхъ журналахъ, послѣ 1855 года, и отчасти въ «Современникѣ». Вникая въ смыслъ этихъ стихотвореній и дополняя ими прежде изданныя, мы теперь яснѣе можемъ опредѣлить значеніе мечтательной задумчивости и неясныхъ грезъ поэта. Онъ не мистикъ, — это ясно изъ многихъ стиховъ его, проникнутыхъ уваженіемъ къ наукѣ и любовью къ реальной правдѣ:

Міру, какъ новое солнце, сіяетъ
Свѣточъ науки, и только при немъ
Муза чело украшаетъ
Свѣжимъ вѣнкомъ.

Суевѣрныя впечатлѣнія раннихъ лѣтъ жизни, нелѣпыя сказки нянекъ онъ прогналъ отъ себя. Онъ сознается, что былъ суевѣренъ въ прежнее время:

Но изъ области мечтаній,
Изъ-подъ власти темныхъ силъ,
Я ушелъ — и волхвованій
Мракъ наукой оварилъ.
Муза стала мнѣ являться
Жрицей мысли, безъ оковъ,
И учила не бояться
Ни живыхъ, ни жертвецовъ.

Но что же влечетъ его безпрестанно въ эту область мечтаній? Отчего онъ не удерживается въ предѣлахъ живой, человѣчески-ясной дѣйствительности? Отвѣтъ довольно положительный находимъ въ нѣкоторыхъ его стихотвореніяхъ. Поэтъ радъ бы жить дѣйствительностью: но она для него такъ безотраднa, скучна и бессмысленна, что онъ невольно стремится отъ нея подальше. Какъ скоро онъ принимается изображать что-нибудь въ жизни, совершающейся передъ его глазами, его стихъ становится такъ унылъ и безотраденъ, что невольно щемитъ сердце. Если бъ въ талантѣ г. Полонскаго было менѣе мягкости и какой-то стыдливости, то онъ, при своемъ грустномъ настроеніи, могъ бы извлекать изъ своей лиры страшные звуки негодованія и проклятія. Но проклиная онъ не умѣетъ, и недовольство его выражается въ тихой, задумчивой жалобѣ. Сколько мы знаемъ, только однажды уступилъ онъ общему, восторженному увлеченію прелестями дѣйствительности (мы не имѣемъ здѣсь въ виду граціозныхъ его стихотвореній, воспѣвающихъ наслажденіе чувствомъ любви) — да и то въ ожиданіи грядущихъ благъ. Это было въ то время, когда всѣ были вдохновлены наступающимъ возрожде-

ніемъ Руси посредствомъ безыменной гласности и обличительныя статейки противъ мелкихъ подъячихъ. Въ стихотвореніи, подъячимъ значится 1855 г., Полонскій написалъ:

Поэтъ, въ минуты вдохновенья,
Будь отъ пристрастія далекъ;
Язви насмѣшкою пороки;
Насмѣшка громче наставленья, —
Когда ее на кару зла
Святая правда родила! и пр.

Настроеніе это, довольно оживленное и бодрое, продолжалось въ 1856 г., когда г. Полонскій написалъ слѣдующее стихотвореніе отзывающееся отчасти дидактизмомъ, столь несвойственнымъ его ланту.

НА КОРАБЛѢ.

Стихаетъ. Ночь темна. Свисти, чтобъ мы не спали!..
Еще вчерашняя гроза не унялась:
Тѣ жъ волны бурныя, что съ вечера плескали,
Не закачавъ, еще качаютъ насъ.
Въ безлунномъ мракѣ мы дорогу потеряли,
Разбитымъ фонаремъ не освѣщенъ компасъ.
Неси огня! звони, свисти, чтобъ мы не спали!
Еще вчерашняя гроза не унялась...
Нашъ флагъ порывисто и безпомойно вѣетъ;
Нашъ капитанъ впотьмахъ стоитъ, раздумья полнъ...
Зоря!.. друзья, зоря! Глядите, какъ яснѣетъ —
И капитанъ, и мы, и гребни черныхъ волнъ.
Кто боленъ, кто усталъ, кто бодръ еще, кто плачетъ;
Что бурей сломано, разбито, снесено —
Все ясно: Божій день, вставая, зла не прячетъ...
Но — не погибли мы!.. и много спасено...
Мы мачты укрѣпимъ, мы паруса подтянемъ,
Мы нашимъ тономъ встревожимъ праздныхъ лѣнь —
И дальше въ путь пойдемъ, и дружно пѣсню грянемъ...
Господь, благослови грядущій день!

Къ чему привела эта смѣлая претензія—укрѣпить мачты, и тянуть паруса и встревожить лѣнь праздныхъ,—объ этомъ мы мы разъ говорили въ «Современникѣ». Кто хочетъ, тотъ можетъ и помнить; а намъ теперь нѣтъ надобности распространяться объ этомъ. Здѣсь насъ занимаетъ то настроеніе, подъячимъ дѣйствуетъ лантъ г. Полонскаго. Итакъ, мы видимъ, что поэтъ не прочь надеждъ, не прочь отъ общественныхъ интересовъ. Но вѣра въ

явление правды и добра въ общественной жизни, мечта о силь-
и горячей общественной дѣятельности, къ сожалѣнію, скоро
ивила его, какъ и многихъ другихъ энтузіастовъ недавняго вре-
и, и смѣнилась опять тѣмъ расположеніемъ духа, въ которомъ
юнія мечты кажутся ему уже *сумасшествіемъ*, а въ жизни пред-
вляется какая-то галиматья. Читатели наши могутъ припомнить
хотвореніе «Сумасшедшій», недавно помѣщенное въ «Современ-
гѣ». А вотъ стихотвореніе «Хандра», напечатанное тоже недавно
«Русскомъ Словѣ»:

На старій онъ диванъ ничкомъ
Ложился, протянувши ноги,
И говорилъ, дыша съ трудомъ,
Такие монологи:

„Какая жизнь! о, Боже мой!
Какіе страшные нигмези
Добро-бъ глупцы, добро-бъ злодѣи
Неотразимою враждой
Меня терзали!.. Нѣтъ! съ глупцами
Я бъ тратить словъ не сталъ; съ врагами
Я бъ выступилъ въ открытый бой.
Кто безкорыстно правдѣ служить,
Кто за себя стоитъ — не тужить!
Но какъ бороться съ пустотой,
Полу-слѣпой, полу-глухой,
Которая мутитъ и кружитъ?
Бороться радъ бы — силы нѣтъ...
Подъ бременемъ безплодныхъ лѣтъ
Изнылъ мой духъ, увала радость.
И весь я сталъ ни то, ни се...
И жизнь подчасъ такая гадость,
Что не глядѣлъ бы на нее!
Я только вздоръ одинъ предвижу
Какая-то галиматья
Выходить изъ того, что я
Всёдневно слышу или вижу!
Не только некого любить,
Мнѣ даже некого сердить,
Мнѣ даже глупо ненавидѣть.
Я точно — личность безъ лица.
Такого даже нѣтъ глупца,
Кто бъ захотѣлъ меня обидѣть!
Я вѣчно ною отъ зановъ,
А разомъ вспыхнуть не умѣю.
Когда я плачу — стыдно слезъ,
Когда смѣюсь — за смѣхъ краснѣю...
Какая жизнь! какой хаосъ“!

Это горестное сознание пустоты всего окружающего, соединенъ съ чувствомъ собственного безволия—бороться противъ нея—кого прогнать въ міръ мечтаній. И благо человѣку, если еще можетъ хоть тамъ укрыться: тамъ онъ можетъ, по крайней оѣ остаться человѣкомъ честнымъ и добрымъ. А въ обществѣ... На взглядъ поэта на общество наше; выраженный въ одну изъ грустныхъ минутъ невольныхъ его столкновений съ этимъ обществомъ приведемъ нѣсколько стрѣхъ изъ его стихотворенія «На путъ гостей»:

Славный морозъ. Ночь была бы свѣтла,
Да застилаетъ сіянье
Мѣсяца душу гнетущая мгла —
Жизни застывшей дыханье.
Слышится города шорохъ ночной,
Снѣгъ подметенный скрипитъ подъ ногой...
Дальнихъ огней вижу мутныя звѣзды,
Да запертые подъѣзды...
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!

Что же въ гостяхъ удержало меня?
Или мнѣ было привольно,
Въ сладкомъ забвеніи безплоднаго дня,
Мучить себя добровольно?
Скучно и глупо безъ цѣли болтать...
И не охотникъ я въ карты играть;
Даже, признаться, не радуется ужинъ;
Да и кому я тамъ нуженъ!
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!

Затѣмъ, изобразивъ какъ была граціозна Мери,—невѣста, щая доходнаго мѣста,—какъ Олимпіада ловко играла Листа, а торъ читалъ безтолковые стихи, поэтъ продолжаетъ:

Гости бываютъ тамъ разныхъ сортовъ:
Въ домъ пріѣзжаютъ — вертятся,
И комплиментъ у нихъ мигомъ готовъ;
Изъ дому ѣдутъ — бранятся.
Что занимаетъ ихъ — трудно понять.
Все обо всемъ они могутъ сказать;
Каждый себя самолюбіемъ измучилъ,
Каждому каждый наскучилъ.
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!

Въ люди какъ будто невозможно идешь:
Все будто ищешь чего-то,
Вотъ-вотъ не нынче такъ завтра найдешь...
Одолѣваетъ зѣвота,
Скука томитъ... А проклятый червякъ
Въ сердцѣ унять не хочетъ никакъ:
Или онъ старую рану тревожить,
Или онъ новую гложетъ.
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!

Много есть чудныхъ, прекрасныхъ людей,
Свѣтлыхъ умомъ и вполне благородныхъ,
Но и они, въ родъ блѣдныхъ тѣней,
Меркнуть душою въ гостинныхъ холодныхъ.
Есть у насъ такъ-называемый свѣтъ,
Есть даже люди, а общества нѣтъ:
Русская мысль въ одиночку созрѣла,
Да и гуляетъ безъ дѣла.
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!

Вотъ, вижу, дворникъ сидитъ у воротъ,
Въ шубѣ да въ шапкѣ лохматой:
Точно медвѣдь; на усахъ его ледъ,
Снѣгъ въ бородѣ, въ рукавицѣ лопата...
Спитъ ли онъ, такъ ли прижавшись сидитъ,
Думаетъ думу, морозы бранитъ,
Или, какъ я же, безплодно мечтаетъ,
Или меня поджидаетъ?
Боже мой! Боже мой!
Поздно приду я домой!

И все-то въ нашей общественной жизни возбуждаетъ тяжелое чувство въ поэтѣ. И тѣмъ тяжелѣе для него это чувство, что онъ видитъ необходимость покориться факту; онъ не имѣетъ силъ бороться со зломъ, его смущаетъ холодная правда даже чужого безпощаднаго стиха, какъ онъ говоритъ въ посланіи къ И. С. Аксакову:

Когда мнѣ въ сердце бьетъ, звеня, какъ мечъ тяжелый,
Твой жесткій, безпощадный стихъ,
Съ невольнымъ трепетомъ внимаю невеселой,
Холодной правдѣ словъ твоихъ.

Въ негодованіе душа твоя вникала,
Собратъ, пойму ли я тебя?

На смѣлый голосъ твой откликнуться желал,
Какимъ стихомъ откликнусь я?

Не внемля шопоту соблазна, строгій гений
Ведеть тебя инымъ путемъ,
Туда, гдѣ нѣтъ уже ни жаркихъ увлеченій,
Ни примиренія со зломъ.

И если ты блуждалъ, съ тобой мы врознь блуждали.
Я силы сердца не щадила,
Ты не щадишь труда, и оба мы страдали.
Ты больше мыслилъ, я—любилъ...

И эта любовь, эта поэтическая кротость производить поэта находить въ себѣ силы только грустить о господствѣ не рѣшается выходить на борьбу съ нимъ. Самыя дикія, вѣчныя отношенія житейскія вызываютъ на его губы только улыбку, а не проклятiе, исторгаютъ изъ глазъ его слезу, не жигаютъ ихъ огнемъ негодованія и мщенія. Для объясненія словъ, приведемъ въ примѣръ одно стихотвореніе, которое таемъ однимъ изъ замѣчательныхъ стихотвореній г. Полонскаго. Этого стихотворенія — нелѣпый общественный обычай, по которому женщина любящая и любимая гибнетъ въ общемъ мнѣніи скоро она отдается своему чувству вопреки нѣкоторымъ обязанностямъ; тогда какъ мужчина, бывшій виною ея паденія, койно можетъ обмануть ее и удалиться, извиняясь тѣмъ, что его потухла. Вопль негодованія могъ бы вырваться у другою взявшаго подобную тему; мрачная, возмутительная картина бы нарисоваться изъ такихъ отношеній человѣческаго себѣ нелѣпымъ требованіямъ общества. Но вотъ какіе стихи вышло у Полонскаго:

На устахъ ея — улыбка;
Въ сердцѣ — слезы и гроза.
Съ упоеніемъ и грустью,
Онъ глядитъ въ ея глаза.
Говоритъ она: обманъ твой
Я предвижу — и не лгу,
Что тебя возненавидѣть
И хочу, и не могу.

Онъ глядитъ все такъ же грустно:
Но лицо его горитъ...
Онъ къ плечу ея устами
Припадая, говоритъ:

Берегись меня — я знаю,
Что тебя я погублю,
Оттого что я безумно.
Горючо тебя люблю!...

Вообще—незлобіемъ и добродушіемъ вѣетъ отъ всѣхъ словъ поэта, къ кому бы ни обращались они, — къ благоухающей ли природѣ, къ печальному ли кладбищу, къ коварной ли женщинѣ. Даже въ своихъ отношеніяхъ къ общественной неправдѣ и угнетенію, онъ остается такъ же грустно незлобивъ, какъ и въ своемъ сожалѣніи о прошедшей молодости, или въ досадѣ на дурную погоду. Вотъ отчего грустные стихи г. Полонскаго и проходятъ такъ часто незамѣченными для современныхъ читателей. Намъ теперь нужна энергія и страсть; мы и безъ того слишкомъ кротки и незлобивы; мы не можемъ довольствоваться тѣми поэтами, которые, восхищаясь истиной, раскрытой для нихъ, не дѣлаютъ усилія для того, чтобы поставить ее на высомомъ пьедесталѣ, на видѣ всѣмъ своимъ собратьямъ. Въ стихотвореніяхъ г. Полонскаго мы находимъ нѣсколько пьесъ, которыя доказываютъ, что самъ поэтъ сознаетъ это, но, слѣдуя своей природѣ, не рѣшается выйти изъ своей сферы и измѣнить строй своей лиры. Безъ всякаго сомнѣнія, онъ поступаетъ очень благоразумно, потому что натянутые возгласы о добродѣтели и то уже сбили у насъ съ толку нѣсколькихъ талантливыхъ людей. Немудрено, что на ихъ дорогу попалъ бы и г. Полонскій; приведенное выше стихотвореніе «На кораблѣ», такъ отзывающееся аллегоріей, доказываетъ справедливость этого предположенія. Но, къ счастью, самъ поэтъ лучше другихъ понялъ свои силы и, недовольный окружающей дѣйствительностью, выразилъ свой протестъ противъ нея совершенно особеннымъ образомъ. Онъ нашелъ свою особенную дѣйствительность, населилъ ее своими особыми существами, придавъ имъ мысль и страсти, заставилъ ихъ волноваться, радоваться и страдать по-человѣчески... И въ этомъ фантастическомъ мірѣ находитъ онъ успокоеніе и отраду отъ житейской пошлости, угнетенія и обмана. Лучшимъ примѣромъ того, какъ г. Полонскій одушевляетъ всю природу, можетъ служить шуточная поэма о кузнечикѣ-музыкантѣ (котораго, въ пику всѣмъ грамматикамъ, онъ называетъ *кузнечекъ*). Содержаніе этой поэмы состоитъ въ томъ, что кузнечикъ влюбился въ бабочку, которая сначала была къ нему равнодушна, но потомъ влюбилась въ соловья и улетѣла за нимъ въ лѣсъ. Соловей сначала поласкалъ ее, а потомъ клюнулъ, — она и упала мертвая. Кузнечикъ-артистъ, вмѣстѣ съ однимъ изъ своихъ пріятелей, *гулякою*-кузнечикомъ, отправился ночью ее отыскивать, разузналъ все дѣло отъ осы, наконецъ отыскалъ и похоронилъ молодую сифиду, которую такъ любилъ... Какъ видите, здѣсь соловей играетъ роль злодѣя-обольстителя, и въ этомъ, если хотите, выразилась опять оригинальная натура поэта, полная любви и мирнаго расположенія ко всему живущему. Если угодно, по факту, соловей — губитель и

негодяй, угнетатель невинности; но вѣдь нельзя-же ненавидѣть соловья за его поступокъ съ бабочкой; нельзя винить и бабочку за вѣтренность, а можно только жалѣть ее. Если хотите прилагать это къ человѣческому сердцу (а это приложение многіе читатели и читательницы непремѣнно сдѣлаютъ), то и въ этомъ шуточномъ, фантастическомъ разсказѣ вы можете подмѣтить сердечную боль поэта и грустное недовольство міромъ, въ которомъ нигдѣ нѣтъ счастья... Впрочемъ, мы совѣстимся дѣлать изъ этой поэмки моральные выводы и рѣшаемся обратить на нее вниманіе читателей только какъ на образчикъ того, какимъ образомъ и съ какою простотой и любовью г. Полонскій одушевляетъ и очеловѣчиваетъ всю природу. Въ заключеніе же нашей рецензіи представимъ читателямъ окончаніе этой поэмки, въ которомъ заключается описаніе того, какъ кузнечики хоронили мертвую сильфиду-бабочку.

Сдѣлали носики, положили тѣло.
Подняли и долго поступью несмѣлой
Шли они по травкамъ, или они по кочкамъ.
Впереди, мелькая яркимъ огонечкомъ,
Шелъ свѣтлякъ, и сотни разныхъ насѣкомыхъ,
Нашему артисту вовсе незнакомыхъ,
Шумно просыпались въ перелѣскѣ темномъ.
„А! ба! кто тамъ? что тамъ?“ — слышалось въ сонномъ
Царствѣ. Вдругъ во мракѣ жалкій пискъ раздался:
Муравей какой-то подъ ноги попался
Нашему гулякѣ — онъ его и тиснулъ.
Вслѣдъ за этимъ визгомъ — въ роуцѣ кто-то свиснулъ.
Комары, проснувшись и поднявшись роемъ,
Затрубили въ трубы, точно передъ боемъ;
Но слетѣвшись кучей — и увидѣвъ тѣло,
Взали тономъ ниже (поняли въ чемъ дѣло)...
И, труба плачевно въ разстояннѣ дальномъ,
Огласили воздухъ маршемъ погребальнымъ.
Къ свѣтляку другіе свѣтляки пристали;
Свѣчи ихъ то гасли, то опять мелькали.
Съ жалобнымъ жужжаньемъ поднимались мухи,
И, жужжа, другъ другу повѣряли слухи.
Бабочка — Сильфиды прежняя подруга —
Высунула носикъ, блѣдная съ испуга,
И потомъ, спустившись по листочкамъ, сѣла
На холодный камень и оцѣпенѣла.
Предразсвѣтний вѣтеръ, невидимкой вѣя,
Думалъ, что воскреснетъ молодая фея:
Шевелилъ у мертвой легкими крылами,
И дышалъ въ лицо ей влажными устами,
И потомъ далекимъ проносился стономъ,
И по всѣмъ тропинкамъ отдавался звономъ,

Чашечки лиловыхъ цвѣтиковъ качая.
И роса, какъ слезы, дождно сверкая,
Медленно стекала съ усиковъ цвѣтущей
Повилики, робко по стволамъ ползущей;
И благоухали тысячи растеній;
И сквозъ дымъ дерева въ видѣ привидѣній
Головой кивали. — Тихо раздвигая
Облака, вставала зорька золотая, —
И когда все стало ясно отъ улыбки
Пламенной богини, принесли подъ липы
Мертвую Сильфиду, — тамъ ее сложили,
Вырыли могилку и похоронили.
И когда надъ этой новою могилой
Думалъ злую думу мой артистъ унылый,
Въ жаркихъ искрахъ солнца за лѣсной куртеной
Звучно раздавался рожокъ соловьиный.

Постановленія о литераторахъ, издателяхъ и типографіяхъ. . 1859.

Давно уже замѣчено одно изъ качествъ, не совсѣмъ съ хорошей
юны характеризующее нашу публику. Это качество состоитъ въ
ршенномъ равнодушіи къ познанію тѣхъ законовъ, подъ кото-
и мы живемъ. Юридическое образованіе распространено у насъ
; мало, что нерѣдко приходится встрѣчать людей, специально
ересующихся какой-нибудь частью и не имѣющихъ понятія о
нахъ, къ ней относящихся. Объясняютъ это тѣмъ, что у насъ
общественные дѣятели раздѣляются на два разряда: одни дѣй-
ютъ не своимъ умомъ, а по чужому указанію, слѣдовательно,
имѣютъ надобности справляться съ законами; другіе привыкли
своихъ дѣйствій руководствоваться произволомъ и личными
раженіями, болѣе или менѣе посторонними закону, слѣдова-
но, въ законныхъ соображеніяхъ тоже мало имѣютъ нужды. Но
и мы и примемъ въ извѣстной мѣрѣ справедливость этого объяс-
іа, все-таки мы не вполне еще объяснимъ вопросъ. Объясненіе
можетъ относиться только къ лицамъ служащимъ. Но не надо
вать, что большинство населенія въ государствѣ составляютъ
тѣ, *которые* примѣняютъ законы, а тѣ, *съ которыми* по зако-
ѣ поступаютъ. Эти-то послѣдніе почему же не интересуются за-
ами? Или и они держатся того мнѣнія, что законъ ничего не

значить, а главное дѣло—воля исполнителей, по пословицѣ: «не бойся суда, а бойся судьи»?.. Но вѣдь такое мнѣніе не должно бы существовать въ благоустроенномъ обществѣ. Если же оно существуетъ, то общество само же должно позаботиться о томъ, чтобы уничтожить его. Но какъ уничтожить?..

«Самое вѣрное, самое дѣйствительное средство—литература» кричатъ въ послѣднее время. Мы бы согласились съ этимъ, если бы замѣтили въ кричащихъ болѣе серьезное изученіе условій и принадлежностей литературной дѣятельности въ нашемъ обществѣ. А то вѣдь и въ отношеніи къ литературѣ у насъ существуетъ то же совершенное юридическое невѣденіе, какъ и о множествѣ другихъ предметовъ. Говорятъ о литературѣ, восхищаются ея успѣхами, бранятъ ее, и все это такъ, по капризу, съ вѣтру; никто не хочетъ заняться серьезнымъ изученіемъ предмета, вникнуть въ сущность его, никто не любопытствуетъ даже заглянуть въ законы, которыми литература ограждается! А всѣ кричатъ на разные лады,—то ужъ очень неблагопріятно для литераторовъ и журналистовъ, то черезчуръ ужъ лестно для общаго развитія и громаднаго вліянія литературы. Кто самъ пишетъ—а кто же теперь не пишетъ?—тотъ большею частью смотритъ нѣсколько мрачно: зачѣмъ его статья не напечатана? зачѣмъ долго не помѣщается? отчего не въ томъ видѣ явилась она въ свѣтъ, какъ онъ желалъ? Я, говорить, изложилъ лучшія свои соображенія, самыя завѣтныя мои думы, именно въ этихъ строкахъ, а ихъ то и нѣтъ въ напечатанной статьѣ. Вы, говорить, варвары, вы губители авторскихъ талантовъ и благородныхъ стремленій. и пр., и пр. Другіе, напротивъ, ужасно довольны современной литературой: какіе вопросы поднимаются, какія благородныя мысли высказываются; какъ расширился кругъ дѣйствія литературы, какое вліяніе имѣетъ она на исправленіе существующихъ недостатковъ, на принятіе новыхъ мѣръ для общественнаго устройства, и т. д. И все это говорится большею частью по наслышкѣ, безъ серьезнаго вниканія въ дѣло, потому что кричатъ нынѣ о литературѣ даже такіе господа, которые ничему не учились и ничего не читали. Иной выписываетъ журналы только для того, чтобъ имѣть удовольствіе каждый мѣсяцъ бранить издателей за то, что журналы поздно выходятъ. «Нѣтъ никакой возможности выписывать: небрежно ведутъ дѣло, чуть не мѣсяцемъ всегда опаздываютъ!.. Опаздываютъ, опаздываютъ»!.. кричитъ онъ,—и болѣе знать ничего не хочетъ... А другой считаетъ обязанностью восхищаться тѣмъ, что много новыхъ журналовъ появляется, и готовъ ожидать отъ этого чуть не государственнаго переворота... Разноголосица страшная, и никто не хочетъ уяснить себѣ дѣло серьезнымъ изученіемъ тѣхъ незыблемыхъ основаній, безъ которыхъ у насъ не можетъ существовать никакая литературная дѣятельность! Постыдное равнодушіе къ изученію законовъ обнаруживается и здѣсь, во всей своей силѣ...

При такомъ положеніи дѣлъ истиннымъ благодѣяніемъ можетъ служить книжечка «Постановленія о литераторахъ», и пр. Она со-

ставляетъ не что иное, какъ извлеченіе важнѣйшихъ правилъ изъ цензурнаго устава и дополнительныхъ къ нему постановленій, вошедшихъ въ *первое продолженіе* «Свода Законовъ». Такое извлеченіе чрезвычайно облегчаетъ знакомство съ цензурными постановленіями, если кто захочетъ узнать ихъ существенныя основанія. Не всякому захочется, да и не всѣмъ удобно рыться въ «Сводѣ Законовъ» и въ его продолженіяхъ, чтобы изучить всѣ подробности узаконеній, относящихся къ литературѣ. А здѣсь, въ маленькой книжечкѣ, предлагаются публикѣ главныя статьи этихъ узаконеній, вполне достаточныя для того, чтобы ознакомиться съ характеромъ нашей цензуры. Конечно, въ дѣлахъ человѣческихъ никогда не бываетъ полного соотвѣтствія съ идеаломъ, и потому, знаніе того, что *должно* дѣлаться, еще не вполне соотвѣтствуетъ наглядному познанію того, что *дѣлается*. Но во всякомъ случаѣ—то, что дѣлается, на находя себѣ оправданія въ законѣ, есть только случайное уклоненіе, истинный же характеръ извѣстной дѣятельности всегда болѣе или менѣе опредѣляется законодательствомъ. Вотъ почему изданіе книжки «Постановленіе о литераторахъ» мы считаемъ очень важнымъ и полезнымъ для распространенія въ публикѣ истинныхъ понятій о настоящихъ условіяхъ нашей литературной дѣятельности.

Желая по возможности содѣйствовать распространенію этихъ понятій, мы представимъ здѣсь извлеченіе нѣкоторыхъ правилъ, напечатанныхъ въ книжкѣ, относительно цензурныхъ условій напечатанія статей и книгъ.

По общему цензурному правилу, дозволяются къ печатанію «книги и статьи всякаго рода, на всѣхъ языкахъ», равно какъ «эстампы, рисунки, чертежи, планы, карты, а также и ноты съ присовокупленіемъ словъ», могутъ быть они запрещены только въ слѣдующихъ случаяхъ (§ 3).

„Когда въ оныхъ содержится что-либо клонящееся къ поколебанію ученія *Православной Церкви, ея преданій и обрядовъ, или вообще истинъ и догматовъ Христіанской вѣры*“.

„Когда въ оныхъ содержится что-либо нарушающее неприкосновенность *верховной Самодержавной Власти, или уваженіе къ Императорскому Дому, и что-либо противное кореннымъ государственнымъ постановленіямъ*“.

„Когда въ оныхъ оскорбляются добрыя нравы и благопристойность; и

„Когда въ оныхъ оскорбляется честь какого-либо лица непристойными *выраженіями или предосудительнымъ обнародованіемъ того, что относится до его нравственности или домашней жизни, а тѣмъ болѣе клеветой*“.

Руководствуясь этими правилами, цензура «обращаетъ особенное вниманіе на видимую цѣль и намѣреніе автора, и въ сужденіяхъ своихъ принимаетъ всегда за основаніе явный смыслъ рѣчи, не позволяя себѣ произвольнаго толкованія оной въ дурную сторону». Ограждая этимъ благонамѣренныхъ авторовъ, Уставъ Цензурный даетъ имъ еще болѣе льготы, даже на случай неясности или неловкости

ихъ выраженій: въ статьѣ 7-й постановлено, что «цензура не дѣлаетъ привязки къ словамъ и отдѣльнымъ выраженіямъ»; а въ статьѣ 19-й, — «что цензоръ, не имѣя права перемѣнять что-либо въ представляемыхъ на его разсмотрѣніе рукописяхъ и печатныхъ книгахъ тѣмъ еще менѣе можетъ прибавлять къ онымъ отъ себя какія-либо примѣчанія или толкованія». Омѣтивши краснымъ карандашомъ за-прещаемое мѣсто, цензоръ долженъ возвратитъ рукопись автору или издателю — для перемѣнъ; впрочемъ, для сокращенія времени, особенно въ срочныхъ изданіяхъ, авторъ или издатель «можетъ ввѣрить и самому цензору исправленіе замѣченныхъ имъ мѣстъ по его усмотрѣнію».

Для того, чтобы еще опредѣленнѣе показать цензору, что онъ можетъ пропускать, Цензурный Уставъ даетъ еще, въ дополненіе къ общимъ, слѣдующія частныя правила:

Цензура обязана отличать благонамѣренныя сужденія и умоврѣнія, основанныя на познаніи Бога, человека и природы, отъ дерзкихъ и буйственныхъ мудствованій, равно противныхъ истинной вѣрѣ и истинному любомудрію“ (§ 6).

„Въ разсматриваніи сочиненій историческихъ и политическихъ, цензура ограждаетъ неприкосновенность Верховной власти, строго наблюдая, чтобы въ оныхъ не содержалось ничего оскорбительнаго какъ для Россійскаго правительства, такъ и для правительствъ, состоящихъ въ дружественныхъ съ Россією сношеніяхъ. Равно наблюдаетъ цензура, чтобы на изданіе всякаго сочиненія, въ коемъ описывается событіе, относящееся до Его Императорскаго Величества и Августѣйшей Фамиліи, и при сообщеніи въ газетахъ и журналахъ извѣстій объ Особѣ Императорскаго Величества и Членахъ Императорской Фамиліи, о придворныхъ торжествахъ и сѣздахъ, было испрошено Высочайшее разрѣшеніе чрезъ Министра Императорскаго Двора; изъ сего правила исключены только извѣстія о пріѣздѣ и отъѣздѣ Членовъ Императорской Фамиліи, для коихъ сего разрѣшенія не требуется. При семъ, кромѣ статей, помѣщенныхъ въ газетахъ и журналахъ о Государѣ Императорѣ и Членахъ Августѣйшей Фамиліи, о придворныхъ торжествахъ и сѣздахъ, доставляются Цензурными Комитетами на разсмотрѣніе Министра Двора только выписки изъ книгъ тѣхъ мѣстъ, въ коихъ описывается какое-либо событіе или рассказывается анекдотъ, до сихъ Августѣйшихъ Особъ относящійся. — Дозволяется впускъ изданій съ скопированными почерками рукъ и подписями Особъ Императорской Фамиліи, въ Возѣ почивающихъ, но сіе дозволеніе не распространяется на подписи и почерки Августѣйшихъ Особъ здравствующихъ“.

Въ отношеніи къ научнымъ свѣдѣніямъ, дозволяется «всякое общее описаніе или свѣдѣніе касательно исторіи, географіи и статистики Россіи, если только изложено съ приличіемъ и безъ нарушенія общихъ цензурныхъ правилъ»; только запрещается чиновникамъ обнародывать дѣла и свѣдѣнія, ввѣренныя имъ по службѣ. Также допускаются къ печати «всѣ описанія происшествій и дѣлъ и собственныя о нихъ разсужденія автора, если только сіи описанія и разсужденія непротивны общимъ цензурнымъ правиламъ»; можно

печатать также всякіе документы и записки, «если только они согласны съ общими правилами и не содержатъ въ себѣ изложенія дѣлъ тяжбныхъ и уголовныхъ».

Вообще разсужденіямъ и описаніямъ авторовъ дается по Цензурному Уставу весьма значительный просторъ касательно всѣхъ «предметовъ, относящихся къ наукамъ, словесности и искусствамъ». Дозволяется разсуждать:—и о вновь выходящихъ книгахъ, и о представленіяхъ на публичныхъ театрахъ, и о другихъ зрѣлищахъ, и о новыхъ общественныхъ зданіяхъ, и объ улучшеніяхъ по части народнаго просвѣщенія, земледѣлія, фабрикъ, и т. п.,—если только сіи разсужденія непротивны общимъ правиламъ цензуры. Запрещается же говорить только «о потребностяхъ и средствахъ къ улучшенію какой-либо отрасли государственнаго хозяйства въ Имперіи, когда подъ средствами разумѣются мѣры, зависящія отъ правительства, и вообще сужденія о современныхъ правительственныхъ мѣрахъ» (§ 10. Ценз. Уставъ, ст. 12).

Полагая столь умѣренныя и благоразумныя правила, Ценз. Уставъ дѣлаетъ оговорку, дающую авторамъ еще болѣе возможности сохранить свою литературную самостоятельность: по ст. 15-й Ценз. Уст., цензоръ не долженъ входить въ разборъ частныхъ мнѣній писателя, если только они непротивны общимъ правиламъ цензуры, и не имѣетъ права исправлять слогъ автора, если только явный смыслъ рѣчи не подлежитъ запрещенію (§ 13).

Но всего болѣе дается свободы повѣствователямъ и вообще беллетристамъ. По ст. 13-й «въ вымыслахъ не требуется той строгой точности, каковая свойственна описанію предметовъ высокихъ и сочиненіямъ важнымъ». По статьѣ же 14-й, «цензура, охраняя личную честь каждаго отъ оскорбленій и подробности домашней жизни—отъ нескромнаго и предосудительнаго обнародованія, не препятствуетъ, однако же, печатанію сочиненій, въ коихъ подъ общими чертами осмѣиваются пороки и слабости, свойственные людямъ въ разныхъ возрастахъ, званіяхъ и обстоятельствахъ жизни» (§ 12).

Для того, чтобы каждое, вновь выходящее сочиненіе подвергалось, кромѣ общей цензуры, еще сужденію людей спеціально знакомыхъ съ дѣломъ, о которомъ идетъ рѣчь въ сочиненіи, въ послѣднее время постановлено, чтобы всѣ книги и статьи, имѣющія отношеніе къ административной, законодательной или финансовой дѣятельности, поступали на разсмотрѣніе тѣхъ вѣдомствъ, къ которымъ они, по предмету своему, относятся. Постановленіе это приведено въ § 29 «Постановленій», изъ 42-й статьи Цензурнаго Устава, по первому продолженію въ такомъ видѣ:

„Сочиненія по части законодательства, теоретическаго или историческаго содержанія, или заключающія въ себѣ собственныя разсужденія самихъ авторовъ, рассматриваются въ общей цензурѣ. Тѣ изъ сихъ сочиненій, въ которыхъ теорія законодательства или финансовой и административной науки примѣняется авторомъ къ существующимъ собственно у насъ учрежденіямъ, когда они, по содер-

жанію 41 статьи, не подлежат разсмотрѣнію Второго Отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи, предварительно разсмотрѣнія ихъ въ общей цензурѣ, препровождаются сею послѣднею въ тѣ правительственныя мѣста и учрежденія, до которыхъ сіи сочиненія по предмету своему относятся и именно къ довѣреннымъ чиновникамъ, назначеннымъ для непосредственныхъ по сему предмету сношеній съ С.-Петербургскимъ цензурнымъ комитетомъ, цензорами и редакціями періодическихъ изданій въ С.-Петербургѣ. Сіи довѣренные чиновники назначаются отъ министерствъ: Императорскаго Двора, военнаго, морского, внутреннихъ дѣлъ, финансовъ, государственныхъ имуществъ, юстиціи, главнаго управленія путей сообщенія и публичныхъ зданій, главнаго штаба Его Императорскаго Величества по Военно-Учебнымъ заведеніямъ и Третьяго Отдѣленія Собственной Его Императорскаго Величества Канцеляріи. Довѣренные отъ министерствъ и главныхъ управленій чиновники, состоя въ непосредственныхъ сношеніяхъ съ цензорами и редакціями періодическихъ изданій въ С.-Петербургѣ, получаютъ прямо отъ нихъ подлежащія ихъ разсмотрѣнію сочиненія и статьи и, по разсмотрѣніи, возвращаютъ оныя со своими отзывами; въ случаѣ же сомнѣній, испрашиваютъ разрѣшенія своего главнаго начальства для передачи оного цензурѣ или редакціи. Сіи отзывы принимаются цензурою за главное къ заключенію своему основаніе при окончательномъ разсмотрѣніи сочиненій; въ случаѣ же какихъ-либо сомнѣній, цензурный комитетъ испрашиваетъ разрѣшенія главнаго управленія цензуры. Цензурныя учрежденія вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія, находящіяся не въ С.-Петербургѣ, представляютъ сочиненія и статьи, подлежащія заключенію постороннихъ вѣдомствъ, министру народнаго просвѣщенія, по распоряженію котораго сіи статьи передаются довѣреннымъ отъ министерствъ и главныхъ управленій чиновникамъ, и заключенія сихъ послѣднихъ, или надписи на сочиненіяхъ, ими сдѣланныя, сообщаются цензурнымъ учрежденіямъ, по принадлежности, которыя затѣмъ поступаютъ порядкомъ, предписаннымъ для С.-Петербургскаго цензурнаго комитета. На разрѣшеніе главнаго управленія цензуры представляются цензурными комитетами всѣ сомнѣнія, встрѣчаемыя ими при окончательномъ разсмотрѣніи сочиненій. Если главное управленіе цензуры не согласится съ заключеніемъ сторонняго вѣдомства, то разногласіе представляется министромъ народнаго просвѣщенія, вмѣстѣ съ мнѣніемъ подлежащаго министра или главноуправляющаго, на Высочайшее разрѣшеніе“.

Такимъ образомъ, всѣ выходящія въ Россіи сочиненія вполнѣ гарантируются не только отъ всякихъ богохульныхъ и противозаконныхъ мыслей, но даже и отъ всякихъ разсужденій, могущихъ быть вредными для порядка или оскорбительными для тѣхъ мѣстъ и лицъ, къ которымъ сочиненіе относится.

Впрочемъ, такъ какъ подобное разсмотрѣніе всякаго сочиненія, особенно трактующаго о предметахъ сложныхъ, отнимаетъ много времени и можетъ задерживать изданіе въ свѣтъ книги или статьи, то Цензурный Уставъ дѣлаетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ значительное снисхожденіе авторамъ. Такъ, напримѣръ, «книги медицинскія и ветеринарныя, наравнѣ съ прочими, до наукъ относящимися, разсматриваются общею цензурою»; въ медицинскую же цензуру отправляются только тѣ изъ нихъ, «которыя содержатъ въ себѣ лѣ

чебныя постановленія или правила для составленія лѣкарствъ съ приложеніемъ къ болѣзнямъ» (§ 30). Точно такъ же.—могутъ не подвергаться цензурѣ духовной «книги, относящіяся къ нравственности вообще, даже и тѣ, къ коихъ разсужденія будутъ подкрѣпляемы ссылкой на священное писаніе: духовной же цензурѣ подвергаются изъ нихъ только нѣкоторыя «мѣста совершенно духовнаго содержанія» (§ 25).

Постановляя правила, ограждающія общество отъ безпорядочной и произвольной литературной дѣятельности, несоотвѣтствующей видамъ правительства, законъ опредѣляетъ и наказаніе за ихъ нарушеніе. По различнымъ статьямъ Цензурнаго Устава, преступившіе его правила подвергаются наказаніямъ, смотря по важности преступленія, начиная отъ трехдневнаго ареста и доходя до наказанія плетью и ссылки въ каторжную работу на 10—12 лѣтъ (см. §§ 54—64). Наказаніямъ этимъ подвергаются равно, какъ авторы предосудительныхъ статей, такъ и редакторы журналовъ, издатели книгъ и содержатели типографій.

Таковы главнѣйшія изъ дѣйствующихъ нынѣ постановленій о литераторахъ, издателяхъ и содержателяхъ типографій! Многія изъ любопытныхъ подробностей, изображающихъ порядокъ и ходъ дѣлъ въ цензурныхъ комитетахъ, мы предоставляемъ любознательнымъ читателямъ найти въ самыхъ «постановленіяхъ». Вообще съ этой книжкой не мѣшаетъ познакомиться многимъ, интересующимся литературою. А то у насъ такъ много есть людей, которые толкуютъ о высокой важности литературы, о ея значеніи для общества, о ея вліяніи на разныя отрасли государственной дѣятельности и государственнаго хозяйства, и пр., а сами между тѣмъ не хотятъ ознакомиться даже съ узаконеніями, подъ вліяніемъ которыхъ существовала и существуетъ доселѣ наша литературная дѣятельность. Такое легкомысліе и равнодушіе непростительно!

Сватовство Ченскаго или матеріализмъ и идеализмъ. Спб. 1859.

О неизбѣжности идеализма въ матеріализмѣ. Ю. Савича. (Атеней, 1859 г., № 7).

«Сватовство Ченскаго» нельзя иначе объяснить, какъ статью г. Савича, а статьи г. Савича нельзя оцѣнить безъ «Сватовства Ченскаго». Вотъ почему и рѣшились мы соединить оба эти произведенія, хотя одно изъ нихъ—московское, а другое, по наружности.

петербургское. Впрочемъ, «не судите по наружности»,—гов идеалисты, и нельзя не согласиться съ этой стороной ихъ у Очень можетъ быть, что «Сватовство Ченскаго» принадлежит сквѣ, какъ и статья г. Савича, какъ и самый «Атеней». можетъ быть и то, что Москва, несмотря на свою хлѣбославу,—ужаснѣйшая идеалистка. Вѣдь извѣстно, что

Пріятно къ пышному обѣду
Прибавить мудрую бесѣду.

И о чемъ лучше бесѣдовать, какъ не объ идеализмѣ и материализмѣ въ то время, когда вся почтенная бесѣда сыта и довол Идеализмъ и материализмъ! О, сколько условій для пріятнаго вора соединяетъ въ себѣ эта прекрасная тема!.. Тутъ, во-пер человекъ удаляется въ область чистой мысли, гдѣ ничто неч ничто дѣйствительное не смущаетъ его... Ничто, потому что *материализмъ* вовсе не есть *реализмъ*; нѣтъ, это есть не болѣе, милое отвлеченіе, въ родѣ хорошенькой модели паровоза, на кот конечно, нельзя ѣхать, но для которой за то ненужно ни вод дровъ, ни рабочихъ... Во-вторыхъ, бесѣда объ идеализмѣ и риализмѣ пріятна тѣмъ, что здѣсь можно изощрять свое остроу діалектику въ показаніи антагонизма этихъ двухъ началъ. Въ-трет хороша она потому, что споры съ противниками, не доходя до ственныхъ житейски-важныхъ раздраженій, могутъ, однакожъ, щекотать самолюбіе собесѣдниковъ и чрезъ-то пріятно поддержа разговоръ. Короче,—говоря словами Бальзамина въ пьесѣ О скаго,—«это самый пріятный для общества разговоръ». *Антир* его можетъ быть развѣ только обсужденіе вопроса, предлага Устенъкой, въ той же пьесѣ: «*что тяжеле—ждать и не дожда или — имѣть и потерять?*»

Но зачѣмъ же еще пишутъ люди такъ важно и глубокомыс объ идеализмѣ и материализмѣ? Пусть бы ихъ толковали себ гостиныхъ о столь антиресномъ предметѣ, и оставили бы въ литературу. А то, пожалуй, насъ постигнетъ опять навод статей въ родѣ: «О неизбѣжности классицизма въ романти «Любовь таинственнаго незнакомца къ красавицѣ, скрывающей имя,—или номинализмъ и реализмъ», «Сравнительный разбор ченія *сихъ* и *этихъ* для общества», и т. п. Неужели и объ еще не довольно говорили, неужели и это еще не слишкомъ н для нашей литературы въ настоящее время, когда заря будущ и пр... Намъ казалось, что мы съ дуализмомъ давно уже порѣ мы надѣялись, что теперь только развѣ въ психологіи г. Ки можетъ быть разрываемо человѣческое нераздѣльное существо.. думали, что недостойно образованнаго человека заниматься т серьезно антагонизмами двухъ противоположныхъ началъ въ и въ человекѣ. Съ тѣхъ поръ какъ распространилась общеизвѣ нынѣ истина, что сила есть неизбѣжное свойство матеріи и чт

терія существуетъ для нашего сознанія лишь въ той мѣрѣ, какъ обнаруживаются въ ней какія-нибудь силы, — съ этихъ поръ мы считали совершенно ненужными всѣхъ этихъ Ормуздовъ и Аримановъ... Но нѣтъ,—г. Ю. Савичъ доказываетъ намъ противное. Онъ вообразилъ, что у насъ сильно распространенъ матеріализмъ, — не въ смыслѣ признанія силы, какъ неизбѣжнаго свойства матеріи,—а въ смыслѣ отрицанія всякой силы. Вслѣдствіе этого, онъ ратуетъ страшно противъ матеріалистовъ, во имя идеализма. Зачѣмъ? Это мы можемъ объяснить себѣ только предположеніемъ, что г. Савичу не удавалось развивать своихъ идей словесно въ мудрой бесѣдѣ, равно какъ и автору «Сватовства Ченскаго» (если это не одно и то же лицо...), и они хотятъ наверстать это на литературѣ. Отсутствіе непосредственнаго знакомства съ предполагаемыми противниками замѣтно даже въ приемахъ обоихъ авторовъ, равно какъ и во взглядѣ ихъ на сущность своего предмета. Ихъ основное положеніе таково: «кто дуракъ, тотъ матеріалистъ; слѣдовательно, матеріалисты дураки». И затѣмъ начинается очень остроумное развитіе этого силлогизма. Но вы, можетъ быть, не вѣрите, чтобы въ ученомъ журналѣ, ученая статья могла быть построена на такомъ силлогизмѣ? Вы даже подозреваете, что и въ комедіи «Сватовство Ченскаго» силлогизмъ этотъ не совсѣмъ таковъ, какъ мы представляемъ? Мы беремся доказать наши слова. Начнемъ съ «Сватовства».

Содержаніе комедіи состоитъ въ томъ, что Ченскій, отставной ротмистръ, имѣетъ связь съ княгиней Лапиной, очень богатой старухой. Онъ успѣлъ отъ нея нажить себѣ состояніе и, кромѣ того, взялъ у нея подъ заемное письмо нѣсколько милліоновъ, которые и пустилъ въ торговые обороты. Между тѣмъ, однажды поѣхавши гулять со старухой, онъ вывалилъ ее изъ экипажа, отчего она скоро и умерла, оставивъ завѣщаніе въ пользу своей племянницы, Онинной. Но, по смерти старухи, Ченскій завладѣваетъ всѣми ея бумагами, скрываетъ завѣщаніе и свое заемное письмо, и пишетъ другое завѣщаніе, которымъ все имѣніе отказывается въ его пользу. Дѣло, стало-быть, кончено. Но Ченскій матеріалистъ, слѣдовательно, долженъ быть дуракомъ. Вслѣдствіе этого—онъ никакъ не можетъ сообразить, что ему дѣлать теперь съ завѣщаніемъ старухи и съ заемнымъ письмомъ. Наконецъ, въ качествѣ матеріалиста, т. е. дурака, онъ придумываетъ слѣдующую штуку, для того, чтобы уладить дѣло: онъ рѣшается жениться на племянницѣ старухи — дочери бѣднаго профессора. Тогда, рассуждаетъ онъ, все будетъ прикрито, и совокупнымъ владѣніемъ возстановится законность; заемное письмо на три милліона пойдетъ вмѣсто приданаго бѣдной дѣвушкѣ. Не правда ли, какой матеріальный (разумѣй—глупый) расчетъ!

Итакъ, Ченскій является къ Ониннымъ. Здѣсь-то и встрѣчаетъ онъ идеализмъ. Отецъ дѣвушки, отставной профессоръ Онинъ, проповѣдуетъ все о какихъ-то противоположныхъ началахъ и говоритъ:

же случаѣ грозить посадить Онина въ тюрьму. Тутъ-то выказывается весь идеализмъ Онина. Онъ начинаетъ съ того, что резонируетъ: «уплачивать долги непременно нужно; *не уплачивать ихъ—значитъ воровать особеннымъ образомъ*». Но вслѣдъ затѣмъ, когда Ченскій обращается къ нему съ требованіемъ уплаты, Онинъ умиленно возражаетъ: «*позвольте вамъ сказать, что если бы княгиня жила, то она простила бы мнѣ долгъ*. Она часто намекала мнѣ объ этомъ въ письмахъ». Ну, скажите, не восхитительный ли это идеализмъ! Ничего не имѣя, занимать у богатой родственницы 30 тысячъ, съ тою надеждою, что она проститъ долгъ! Это такая высота идеализма, до которой, кромѣ Онина, только и могъ возвыситься г. Ю. Савичъ въ «Атенеѣ». Г. Савичъ, съ своей стороны, тоже находитъ, что есть такой предѣлъ, за которымъ ни расчета, ни ума не нужно, а нужно только какое-то чувство, безформенное и безпредѣльное. Вотъ его слова:

Тамъ, гдѣ оканчивается умъ человѣческій, начинается чувство, какъ продолженіе ума, какъ настойчивое, но *тщетное* (увы!) стремленіе его къ фигуральному (по риторикѣ Кошанскаго?) выраженію какой-нибудь идеи, по свойству своему *несовмѣстимой ни съ чѣмъ, что предполагаетъ ограниченіе*, и переходящей поэтому въ нѣчто безформенное и безпредѣльное». (Ясно ли: отдача долга предполагаетъ ограниченіе идей займа; поэтому въ чувствахъ Онина уплата и несовмѣстима съ займомъ!) „Оно не ищетъ фактовъ, не требуетъ теорій; въ самомъ себѣ несетъ оно истину, вѣру (въ то, что долгъ простятъ), любовь, и вѣрить, и любить, безъ отрицанія, безъ поясненій“. (Дѣйствительно, Онинъ вѣрилъ прощенію долга по однимъ намекамъ въ письмахъ княгини).

Такъ вотъ этимъ-то высокимъ чувствомъ (неизвѣстно почему называемымъ у г. Савича *религіознымъ*) и руководится Онинъ. Но Ченскій, въ качествѣ матеріалиста, соглашается простить долгъ только въ такомъ случаѣ, ежели Онинъ отдастъ за него дочь. Онинъ уговариваетъ дочь, но та не соглашается. Вслѣдствіе того, задолжавшаго профессора тащутъ въ тюрьму. Но тутъ является бывшая горничная княгини Лапиной, Дарья Семеновна Тюмина, съ которою Ченскій, живя у княгини, имѣлъ связь—*для дешевизны*, какъ онъ выражается, и съ которою прижилъ семерыхъ дѣтей. Эта Тюмина, узнавъ о сватовствѣ Ченскаго, приходитъ къ Онинымъ, ругаетъ его и изображаетъ его матеріализмъ въ самыхъ ужасныхъ чертахъ. Напримѣръ, она рассказываетъ о слѣдующемъ поступкѣ его: «у насъ былъ слуга Федоръ,—говоритъ она,—огромнаго роста, который выѣзжалъ съ княгиней и ходилъ за ней, когда она прогуливалась. Разъ, когда Ченскій говѣлъ и уже отъисповѣдался, Федоръ не угодилъ ему чѣмъ-то; что же Ченскій? Ну его колотить, такъ что долженъ былъ отказаться отъ святаго причастія; и это случалось три недѣли сряду, и Ченскій проговѣлъ три недѣли» (стр. 47).

Столь ужасный *матеріализмъ* возмущаетъ всѣхъ, и вслѣдъ затѣмъ Тюмина, чтобъ помѣшкать женитьбѣ Ченскаго и отмстить ему,

терія сѹществуетъ для нашего сознанія лишь въ той мѣрѣ, какъ обнаруживаются въ ней какія-нибудь силы, — съ этихъ поръ мы считали совершенно ненужными всѣхъ этихъ Ормуздовъ и Аримановъ... Но нѣтъ,—г. Ю. Савичъ доказываетъ намъ противное. Онъ вообразилъ, что у насъ сильно распространенъ матеріализмъ, — не въ смыслѣ признанія силы, какъ неизбѣжнаго свойства матеріи,—а въ смыслѣ отрицанія всякой силы. Вслѣдствіе этого, онъ ратуетъ страшно противъ матеріалистовъ, во имя идеализма. Зачѣмъ? Это мы можемъ объяснить себѣ только предположеніемъ, что г. Савичу не удавалось развивать своихъ идей словесно въ мудрой бесѣдѣ, равно какъ и автору «Сватовства Ченскаго» (если это не одно и то же лицо...), и они хотятъ наверстать это на литературѣ. Отсутствіе непосредственнаго знакомства съ предполагаемыми противниками замѣтно даже въ приемахъ обоихъ авторовъ, равно какъ и во взглядѣ ихъ на сущность своего предмета. Ихъ основное положеніе таково: «кто дуракъ, тотъ матеріалистъ; слѣдовательно, матеріалисты дураки». И затѣмъ начинается очень остроумное развитіе этого силлогизма. Но вы, можетъ быть, не вѣрите, чтобы въ ученомъ журналѣ, ученая статья могла быть построена на такомъ силлогизмѣ? Вы даже подозреваете, что и въ комедіи «Сватовство Ченскаго» силлогизмъ этотъ не совсѣмъ таковъ, какъ мы представляемъ? Мы беремся доказать наши слова. Начнемъ съ «Сватовства».

Содержаніе комедіи состоитъ въ томъ, что Ченскій, отставной ротмистръ, имѣетъ связь съ княгиней Лапиной, очень богатой старухой. Онъ успѣлъ отъ нея нажить себѣ состояніе и, кромѣ того, взялъ у нея подъ заемное письмо нѣсколько милліоновъ, которые и пустилъ въ торговые обороты. Между тѣмъ, однажды поѣхавши гулять со старухой, онъ вывалилъ ее изъ экипажа, отчего она скоро и умерла, оставивъ завѣщаніе въ пользу своей племянницы, Онинной. Но, по смерти старухи, Ченскій завладѣваетъ всѣми ея бумагами, скрываетъ завѣщаніе и свое заемное письмо, и пишетъ другое завѣщаніе, которымъ все имѣніе отказывается въ его пользу. Дѣло, стало-быть, кончено. Но Ченскій матеріалистъ, слѣдовательно, долженъ быть дуракомъ. Вслѣдствіе этого—онъ никакъ не можетъ сообразить, что ему дѣлать теперь съ завѣщаніемъ старухи и съ заемнымъ письмомъ. Наконецъ, въ качествѣ матеріалиста, т. е. дурака, онъ придумываетъ слѣдующую штуку, для того, чтобы уладить дѣло: онъ рѣшается жениться на племянницѣ старухи — дочери бѣднаго профессора. Тогда, рассуждаетъ онъ, все будетъ прикрито, и совокупнымъ владѣніемъ возстановится законность; заемное письмо на три милліона пойдетъ вмѣсто приданаго бѣдной дѣвушкѣ. Не правда ли, какой матеріальный (разумѣй—глупый) расчетъ!

Итакъ, Ченскій является къ Ониннымъ. Здѣсь-то и встрѣчаетъ онъ идеализмъ. Отецъ дѣвушки, отставной профессоръ Онинъ, проповѣдуетъ все о какихъ-то противоположныхъ началахъ и говоритъ:

же случаѣ грозить посадить Онина въ тюрьму. Тутъ-то выказывается весь идеализмъ Онина. Онъ начинаетъ съ того, что резонируетъ: «уплачивать долги непременно нужно; *не уплачивать ихъ—значитъ воровать особеннымъ образомъ*». Но вслѣдъ затѣмъ, когда Ченскій обращается къ нему съ требованіемъ уплаты, Онинъ умиленно возражаетъ: *«позвольте вамъ сказать, что если бы княгиня жила, то она простила бы мнѣ долгъ. Она часто намекала мнѣ объ этомъ въ письмахъ»*. Ну, скажите, не восхитительный ли это идеализмъ! Ничего не имѣя, занимать у богатой родственницы 30 тысячъ, съ тою надеждою, что она проститъ долгъ! Это такая высота идеализма, до которой, кромѣ Онина, только и могъ возвыситься г. Ю. Савичъ въ «Атенеѣ». Г. Савичъ, съ своей стороны, тоже находитъ, что есть такой предѣлъ, за которымъ ни расчета, ни ума не нужно, а нужно только какое-то чувство, безформенное и безпредѣльное. Вотъ его слова:

Тамъ, гдѣ оканчивается умъ человѣческій, начинается чувство, какъ продолженіе ума, какъ настойчивое, но *тщетное* (увы!) стремленіе его къ фигуральному (по риторикѣ Кошанскаго?) выраженію какой-нибудь идеи, по свойству своему *несовмѣстимой ни съ чѣмъ, что предполагаетъ ограниченіе*, и переходящей поэтому въ нѣчто безформенное и безпредѣльное». (Ясно ли: отдача долга предполагаетъ ограниченіе идей займа; поэтому въ чувствахъ Онина уплата и несовмѣстима съ займомъ!) „Оно не ищетъ фактовъ, не требуетъ теорій; въ самомъ себѣ несетъ оно истину, вѣру (въ то, что долгъ простятъ), любовь, и вѣритъ, и любитъ, безъ отрицанія, безъ поясненій“. (Дѣйствительно, Онинъ вѣрилъ прощенію долга по однимъ намекамъ въ письмахъ княгини).

Такъ вотъ этимъ-то высокимъ чувствомъ (неизвѣстно почему называемымъ у г. Савича *религиознымъ*) и руководится Онинъ. Но Ченскій, въ качествѣ матеріалиста, соглашается простить долгъ только въ такомъ случаѣ, ежели Онинъ отдастъ за него дочь. Онинъ уговариваетъ дочь, но та не соглашается. Вслѣдствіе того, задолжавшаго профессора тащутъ въ тюрьму. Но тутъ является бывшая горничная княгини Лапиной, Дарья Семеновна Тюмина, съ которою Ченскій, живя у княгини, имѣлъ связь—*для дешевизны*, какъ онъ выражается, и съ которою прижилъ семерыхъ дѣтей. Эта Тюмина, узнавъ о сватовствѣ Ченскаго, приходитъ къ Онинымъ, ругаетъ его и изображаетъ его матеріализмъ въ самыхъ ужасныхъ чертахъ. Напримѣръ, она рассказываетъ о слѣдующемъ поступкѣ его: «у насъ былъ слуга Ѳедоръ,—говоритъ она,—огромнаго роста, который выѣзжалъ съ княгиней и ходилъ за ней, когда она прогуливалась. Разъ, когда Ченскій говѣлъ и уже отысповѣдался, Ѳедоръ не угодилъ ему чѣмъ-то; что же Ченскій? Ну его колотить, такъ что долженъ былъ отказаться отъ святаго причастія; и это случилось три недѣли сряду, и Ченскій проговѣлъ три недѣли» (стр. 47).

Столь ужасный *материализмъ* возмущаетъ всѣхъ, и вслѣдъ затѣмъ Тюмина, чтобъ помѣшать женитьбѣ Ченскаго и отмстить ему,

сламываетъ его шкатулку, достаетъ оттуда заемное письмо его, завѣщаніе княгини и подложное завѣщаніе, составленное самимъ Ченскимъ, и все это приносить къ Онинымъ въ ту самую минуту, какъ Лиза, испуганная участію отца, соглашается уже выйти за Ченскаго. Тутъ, разумѣется, присутствуетъ и Молвинъ и еще полицейскій офицеръ, который теперь, вмѣсто Онина, долженъ тащить въ тюрьму Ченскаго. Но всѣ присутствующіе, какъ истинные идеалисты, оказываются столь великодушны, что не только не подвергаютъ его суду, но даже оставляютъ ему всѣ деньги, пріобрѣтенныя имъ въ торговыхъ оборотахъ, ограничиваясь лишь тѣмъ, что заставляютъ его жениться на Тюминой. Такимъ образомъ, идеалисты пріобрѣтаютъ довольство и счастіе, вполне вознагражденные за свое поклоненіе идеѣ, а матеріалистъ остается въ дуракахъ, что и доказать надлежало...

Кажется, очевидно—Ченскому ничего нельзя сказать въ заключеніе, кромѣ дурака, и если идеалисты въ «Сватовствѣ» тоже оказываются достаточно глупыми, такъ тѣмъ хуже для Ченскаго. Значитъ, онъ-то еще глупѣе, чѣмъ они, если далъ имъ провести себя.

Но вы, вѣроятно, несмотря на предыдущія выписки изъ «Атенея», все еще не вполне убѣждены, что и г. Савичъ обошелся съ матеріалистами такъ же точно, какъ авторъ «Сватовства Ченскаго». Нѣтъ,—именно такъ. Онъ, видите, съ самаго начала постановилъ вопросъ такимъ образомъ: чтобы система философская могла проникнуть въ глубину общаго сознанія, нужно, чтобы она «въ своей сущности и въ приложеніяхъ была *доказательна безъ доказательствъ, силою одной только истины*». Затѣмъ онъ спрашиваетъ: «гдѣ же такая система?» Оказывается, что всѣ системы сильны доказательствами, а бездоказательныхъ нѣтъ. Изъ этого для г. Савича ясно, что «истина не дается мудрецамъ» и что нужно искать другую, *всеобщую, универсальную истину*, которой бы не только нельзя было доказать, но противъ которой были бы всѣ вѣроятности, представляемыя близорукимъ разумомъ. Затѣмъ слѣдуютъ ругательства на тѣхъ, кто ищетъ доказательной истины путемъ опыта, а не путемъ вѣры въ универсальную, бездоказательную истину: «Наше время,—съ горечью говоритъ г. Ю. Савичъ,—сдѣлалось особенно требовательнымъ и взыскательнымъ; на-слово нынче не вѣрятъ, на всѣ умозрѣнія махнули рукой (*quelle honte!*), и наше—только то, что наука или опытъ сдѣлаютъ доказательнымъ и нагляднымъ (*орреръ, орреръ!*)... Молодое поколѣніе гордится своими новыми убѣжденіями; оно *будто бы* взяло ихъ изъ науки... У насъ впереди идетъ наука, а мы, не разсуждая много, молча слѣдуемъ за ней и только указываемъ на новые источники свѣта желающимъ просвѣтиться по модѣ, на скорую руку. Нынче на все готовое мода; готовые убѣжденія еще легче пріобрѣтаются, чѣмъ готовое платье, и тѣмъ болѣе нравятся, что приходятся всякому по головѣ. Въ чемъ состоятъ эти убѣжденія? Въ отрицаніи всего, что не можетъ быть строго доказано опытомъ»... (стр. 256).

Вообще г. Ю. Савичъ въ своемъ идеализмѣ заносится такъ далеко, что совершенно теряетъ изъ виду человѣческія потребности и всякія условія здраваго смысла. Онъ ужасно крѣпко держится на своей бездоказательной истинѣ, и въ самомъ дѣлѣ нисколько не доказываетъ ее. За то реторика у него въ большомъ ходу, и онъ прибѣгаетъ къ ней даже тамъ, гдѣ вовсе этого не нужно. Напр., неужели нельзя было объяснить достоинство человѣка проще и спокойнѣе, чѣмъ какъ дѣлаетъ это г. Савичъ въ слѣдующихъ строкахъ («Атенеи», стр. 284):

„Не можетъ быть ничего прекраснѣе, ничего выше и благороднѣе человѣка! Всмотритесь только поглубже въ него, и вы согласитесь со мною; всмотритесь, какъ свѣтлый лучъ Божественной сущности прошелъ черезъ матерію въ безконечныхъ міріадахъ жизненныхъ формъ, все подчиняя безусловно и безотвѣтно непреложнымъ законамъ своимъ, и только въ лицѣ человѣка, самъ озаривъ себя свѣтомъ своимъ, узрѣвъ, распозналъ себя, почувствовалъ Бога ¹⁾ — сталъ человекомъ. Сколько свѣта льется отсюда!.. Такъ вотъ гдѣ душа человѣка — завѣтная колыбель добра, правосудія, разума и любви!.. Но, Боже праведный! какъ отступились отъ Тебя люди Твои, какъ дурно пользуются они свободой и разумомъ — лучшими дарами Твоими!.. Сколько втуне протекло вѣковъ, ничѣмъ себя не отмѣтившихъ, или постыдно прославленныхъ самозабвеніемъ человѣка, непониманіемъ Божественныхъ истинъ, злоупотребленіемъ свободы и разума... Да, много зла вопіетъ о правосудіи, и было бы, кажется, довольно одной исторіи человечества, чтобъ получить право отрицать въ человѣкѣ и душу, и разумъ Божественный... Самъ затопталъ себя въ грязь человѣкъ, самъ отвернулся отъ Бога своего и отрекся отъ себя, а истина все-таки свѣтитъ въ душѣ его, и не закрыть ее никакими софизмами. Но пора проснуться! пора заглянуть намъ поглубже въ себя, пора намъ развѣдать, откуда намъ этотъ свѣтъ и отчего, хотъ при случайно-вызванномъ блескѣ его, такъ тревожно бьется сердце, такъ робко шепчутся страсти, смиряется дерзкая мысль, и смутно, неловко становится человѣку, какъ будто стыдно самого себя... Счастливыя ²⁾ минуты! кто васъ не знаетъ, кто не отмѣтилъ васъ хотъ разъ въ своей жизни“?...

Вмѣстѣ съ краснорѣчіемъ, г. Савичъ отличается и замыслова-
тостью, которая въ иныхъ мѣстахъ грозитъ даже перейти въ глубоко-

ловкомъ и живущая въ немъ, составляетъ сущность его разума, какъ сознатель-
ной идеи разума Божественнаго, которая достигаетъ въ человѣкѣ высшаго орга-
ническаго единства, выраженного самосознаніемъ“.

Читателю предоставляется рѣшить, что преобладаетъ въ этомъ отрывкѣ — краснорѣчіе или туманность изложенія. Впрочемъ, оба эти качества находятся въ такомъ близкомъ родствѣ между собой!..

¹⁾ Курсивъ у самого автора.

²⁾ Счастье-то подумаешь, въ чемъ заключается!.. Когда человѣку стыдно, неловко, смутно, тревожно, тогда онъ и счастливъ!.. О, г. Савичъ! Не даромъ ж —
разсуждалъ онъ еще въ прошлогоднемъ Атенеѣ, — „объ отношеніи идеала человѣ-
ческаго блаженства къ идеалу счастья собачьяго“!

сламываетъ его шкатулку, достаетъ оттуда заемное письмо его, завѣщаніе княгини и подложное завѣщаніе, составленное самимъ Ченскимъ, и все это приносить къ Онинымъ въ ту самую минуту, какъ Лиза, испуганная участію отца, соглашается уже выйти за Ченскаго. Тутъ, разумѣется, присутствуетъ и Молвинъ и еще полицейскій офицеръ, который теперь, вмѣсто Онина, долженъ тащить въ тюрьму Ченскаго. Но всѣ присутствующіе, какъ истинные идеалисты, оказываются столь великодушны, что не только не подвергаютъ его суду, но даже оставляютъ ему всѣ деньги, пріобрѣтенныя имъ въ торговыхъ оборотахъ, ограничиваясь лишь тѣмъ, что заставляютъ его жениться на Тюминой. Такимъ образомъ, идеалисты пріобрѣтаютъ довольство и счастье, вполне вознагражденные за свое поклоненіе идеѣ, а матеріалистъ остается въ дуракахъ, что и доказать надлежало...

Кажется, очевидно—Ченскому ничего нельзя сказать въ заключеніе, кромѣ дурака, и если идеалисты въ «Сватовствѣ» тоже оказываются достаточно глупыми, такъ тѣмъ хуже для Ченскаго. Значить, онъ-то еще глупѣе, чѣмъ они, если далъ имъ провести себя.

Но вы, вѣроятно, несмотря на предыдущія выписки изъ «Атея», все еще не вполне убѣждены, что и г. Савичъ обошелся съ матеріалистами такъ же точно, какъ авторъ «Сватовства Ченскаго». Нѣтъ,—именно такъ. Онъ, видите, съ самаго начала постановилъ вопросъ такимъ образомъ: чтобы система философская могла проникнуть въ глубину общаго сознанія, нужно, чтобы она «въ своей сущности и въ приложеніяхъ была *доказательна безъ доказательствъ, силою одной только истины*». Затѣмъ онъ спрашиваетъ: «гдѣ же такая система?» Оказывается, что всѣ системы сильны доказательствами, а бездоказательныхъ нѣтъ. Изъ этого для г. Савича ясно, что «истина не дается мудрецамъ» и что нужно искать другую, *всеобщую, универсальную истину*, которой бы не только нельзя было доказать, но противъ которой были бы всѣ вѣроятности, представляемая близорукимъ разумомъ. Затѣмъ слѣдуютъ ругательства на тѣхъ, кто ищетъ доказательной истины путемъ опыта, а не путемъ вѣры въ универсальную, бездоказательную истину: «Наше время,—съ горечью говоритъ г. Ю. Савичъ,—сдѣлалось особенно требовательнымъ и взыскательнымъ; на-слово нынче не вѣрятъ, на всѣ умо-зрѣнія махнули рукой (*quelle horreur!*), и наше—только то, что наука или опытъ сдѣлаютъ доказательнымъ и нагляднымъ (*орреръ, орреръ!*)... Молодое поколѣніе гордится своими новыми убѣжденіями; оно *будто бы* взяло ихъ изъ науки... У насъ впереди идетъ наука, а мы, не разсуждая много, молча слѣдуемъ за ней и только указываемъ на новые источники свѣта желающимъ просвѣтиться по'модѣ, на скорую руку. Нынче на все готовое мода; готовые убѣжденія еще легче пріобрѣтаются, чѣмъ готовое платье, и тѣмъ болѣе нравятся, что приходятся всякому по головѣ. Въ чемъ состоятъ эти убѣжденія? Въ отрицаніи всего, что не можетъ быть строго доказано опытомъ»... (стр. 256).

Вообще г. Ю. Савичъ въ своемъ идеализмѣ заносится такъ далеко, что совершенно теряетъ изъ виду человѣческія потребности и всякія условія здраваго смысла. Онъ ужасно крѣпко держится на своей бездоказательной истинѣ, и въ самомъ дѣлѣ нисколько не доказываетъ ее. За то реторика у него въ большемъ ходу, и онъ прибѣгаетъ къ ней даже тамъ, гдѣ вовсе этого не нужно. Напр., неужели нельзя было объяснить достоинство человѣка проще и спокойнѣе, чѣмъ какъ дѣлаетъ это г. Савичъ въ слѣдующихъ строкахъ («Атеней», стр. 284):

„Не можетъ быть ничего прекраснѣе, ничего выше и благороднѣе человѣка! Всмотритесь только поглубже въ него, и вы согласитесь со мною; всмотритесь, какъ свѣтлый лучъ Божественной сущности прошелъ черезъ матерію въ безконечныхъ мириадахъ жизненныхъ формъ, все подчиняя безусловно и безотвѣтно непреложнымъ законамъ своимъ, и только въ лицѣ человѣка, самъ озаривъ себя свѣтомъ своимъ, узрѣлъ, распозналъ себя, *почувствовалъ Бога* ¹⁾ — сталъ человекомъ. Сколько свѣта льется отсюда!.. Такъ вотъ гдѣ душа человѣка—завѣтная колыбель добра, правосудія, разума и любви!.. Но, Боже праведный! какъ отступились отъ Тебя люди Твои, какъ дурно пользуются они свободой и разумомъ—лучшими дарами Твоими!.. Сколько втуне протекло вѣковъ, ничѣмъ себя не отмѣтившихъ, или постыдно прославленныхъ самозабвеніемъ человѣка, непониманіемъ Божественныхъ истинъ, злоупотребленіемъ свободы и разума... Да, много зла вопіетъ о правосудіи, и было бы, кажется, довольно одной исторіи человечества, чтобъ получить право отрицать въ человѣкѣ и душу, и разумъ Божественный... Самъ затопталъ себя въ грязь человѣкъ, самъ отвернулся отъ Бога своего и отрекся отъ себя, а истина все-таки свѣтитъ въ душѣ его, и не закрыть ее никакими софизмами. Но пора проснуться! пора заглянуть намъ поглубже въ себя, пора намъ развѣдать, откуда намъ этотъ свѣтъ и отчего, хоть при случайно-вызванномъ блескѣ его, такъ *тревожно* бьется сердце, такъ *робко* шепчутся страсти, смиряется дерзкая мысль, и *смутно, неловко* становится человеку, какъ будто стыдно самого себя... *Счастливыя* ²⁾ минуты! кто васъ не знаетъ, кто не отмѣтилъ васъ хоть разъ въ своей жизни³⁾?...

Вмѣстѣ съ краснорѣчіемъ, г. Савичъ отличается и замысловатостью, которая въ иныхъ мѣстахъ грозитъ даже перейти въ глубоко-

ловѣкомъ и *живущая въ немъ*, составляетъ сущность его разума, какъ сознательной идеи разума Божественнаго, которая достигаетъ въ человѣкѣ высшаго органическаго единства, выраженного *самосознаніемъ*“.

Читателю предоставляется рѣшить, что преобладаетъ въ этомъ отрывкѣ—краснорѣчіе или туманность наложенія. Впрочемъ, оба эти качества находятся въ такомъ близкомъ родствѣ между собою!..

¹⁾ Курсивъ у самого автора.

²⁾ Счастье-то подумаешь, въ чемъ заключается!.. Когда человеку *стыдно, неловко, смутно, тревожно*, тогда онъ и счастливъ!.. О, г. Савичъ! Не даромъ ж разсуждалъ онъ еще въ прошлогоднемъ Атеней,—„объ отношеніи идеала человѣческаго блаженства къ идеалу счастья собачьяго“!

мыслие. Напр. послушайте, какъ г. Савичъ объясняетъ отношеніе разума къ матеріи—числовыми сравненіями.

Отнимите одну часть отъ единицы, и единица превратится въ часть; отнимите всѣ части, и единица превратится въ 0, гдѣ вы не найдете ни конца, ни начала. Такъ и здѣсь: *единичность*, съ одной стороны, *безграничная общность*, съ другой, а части являются посредниками между тѣмъ и другимъ, между всеобщимъ и единичнымъ. Читатель, пожалуй, въ шутку можетъ упрекнуть меня, что я привелъ къ нулю безграничную общность разума: но если, оставивъ шутки, всмотрѣться въ значеніе нуля, то не трудно будетъ убѣдиться, что нуля не существуетъ ни въ смыслѣ цѣлаго, ни въ смыслѣ частей, *хотя его непостижимое существованіе не менѣе того реально*“.

Не угодно ли, въ самомъ дѣлѣ, всмотрѣться въ «непостижимое реальное существованіе несуществующаго нуля»? Какая прекрасная задача послѣ сытнаго обѣда, для лучшаго пищеваренія? И какое торжество для бездоказательной, универсальной истины, открытой г. Савичемъ въ «Атенеѣ»!... Не даромъ же онъ восклицаетъ въ своей статьѣ: «здѣсь истина, здѣсь она—во всемъ величій красоты и могущества своего! А мы, какъ слѣпцы, бродили вокругъ», и пр... Опять слѣдуютъ тѣ же увѣренія, что всѣ ищущіе доказательства для истины—дугаки круглые...

И однако—странное дѣло!—у этихъ самыхъ дураковъ, у этихъ несчастныхъ, не понимающихъ универсальной истины, г. Савичъ нашелъ теорію, которая ему не нравится только потому, что она слишкомъ ужъ высока и идеальна!... Вы, конечно, не повѣрите этому, и потому мы еще разъ приведемъ слова самого г. Савича. Онъ излагаетъ теорію, которую принимаютъ, по его словамъ, материалисты (разумѣй, глупцы),—и вотъ какъ заставляетъ онъ ихъ высказывать свои убѣжденія (стр. 275):

„У насъ теперь, какъ недавно выражался кто-то, на первомъ планѣ стоитъ человѣкъ и его прямое существованіе—благо. *Мы убѣдились (!)*, что абсолютнаго ничего нѣтъ, а все имѣетъ значеніе и достоинство только относительное. А чтобъ мы были честны, великодушны и справедливы, намъ довольно только знать, что мы находимся въ кровномъ родствѣ съ человѣчествомъ; ненужно намъ для этого ни вашихъ принциповъ, ни душъ, съ какими-то врожденными понятіями о добрѣ и злѣ. Это все для насъ слишкомъ абстрактно. Добро и зло—понятія относительныя; не то хорошо, что нравится мнѣ одному, но то, что и вамъ и всѣмъ приходится по сердцу; а гдѣ всѣмъ хорошо, тамъ, повѣрьте, и намъ съ вами будетъ недурно. Вотъ вамъ и абсолютно-хорошее, и тѣмъ-же путемъ можете найти даже и абсолютно-злое, о чемъ наши философы, кажется, и не догадывались. Дѣйствовать каждому за всѣхъ и всѣмъ за cadaго,—вотъ нашъ принципъ, и ведетъ онъ насъ не къ ложному счастью“.

Изложивъ мысли противниковъ, г. Савичъ представляетъ и свои опроверженія,—вотъ въ какомъ родѣ:

Вѣстника» за прошлый годъ—имя его красуется въ числѣ стантовъ, между именами Я. Савурскаго и Ѳ. Тимирязева, ной стороны, и Д. Хитрова, Д. Хомякова, И. Хомякова и С. кова—съ другой. Слѣдовательно, нѣтъ никакой надобности говорить о возвышенности и благородствѣ чувствованій, которыми должны быть проникнуты сорокъ пять сонетовъ г. фонъ-Лизандера. П высокія качества своего нравственного характера г. фонъ-Лиза заявилъ еще во время восточной войны, когда написалъ весьма зное патріотическое стихотвореніе «Нашимъ врагамъ». Но это о тельство все еще было не столь блистательно и рѣшительно то, когда г. фонъ-Лизандеръ сталъ въ ряды побѣдоносной арміи громогласно ополчившейся на защиту гг. Чацкого и Горви страшнаго «Знакомаго человѣка». Этотъ послѣдній подвигъ з отразился на самомъ характерѣ сонетовъ г. фонъ-Лизандера, шая часть которыхъ писана въ 1858 году. Бродить ли онъ і су,—ему тотчасъ представляется грамматическая темнота въ и ной фразѣ «Иллюстраціи», темнота, освѣщаемая только протестъ Эта поэтическая мысль возбуждаетъ въ немъ слѣдующее обра къ *душѣ*, подъ которою можно разумѣть душу несчастнаго, о таннаго «Знакомымъ человѣкомъ»:

О душа! Какъ ни столпились плотно
Вокругъ тебя *печали-великаны* ¹⁾,
Но и въ тѣмъ ²⁾, съ нихъ льющей и подъ ноги
И на грудь, все блещутъ искрометно,
То какихъ-то свѣтлыхъ думъ поляны ³⁾,
То къ какимъ-то звучнымъ днямъ дороги ⁴⁾.

Мы полагаемъ, что эти стихи именно относятся къ *клевѣ обличенію* «Иллюстраціи», потому что только при такомъ об ѣніи и можно найти въ нихъ нѣкоторый смыслъ.

Къ этому же знаменитому дѣлу относятся, вѣроятно, и тѣ въ которыхъ г. Д. фонъ-Лизандеръ увѣряетъ, что морозъ н пятствуетъ ему предаваться благороднымъ порывамъ. Извѣст словамъ Гоголя, «всякому, даже не учившемуся въ семинар что поступокъ «Иллюстраціи» совершился въ ноябрѣ. Вслѣ того, г. фонъ-Лизандеръ и пишетъ, что прежде любовь сог его въ зимній холодъ:

¹⁾ Намекъ на большой форматъ „Иллюстраціи“.

²⁾ Злая иронія надъ самымъ названіемъ „Иллюстраціи“, которое „освѣщеніе“.

³⁾ Здѣсь, вѣроятно, разумѣются „Московскія Вѣдомости“, открывшія поляны, т. е. страницы для протеста.

⁴⁾ Этотъ стихъ, должно быть, относится къ „Русскому Вѣстнику“, и звучно показывалъ дорогу протестантамъ.

мыслие. Напр. послушайте, какъ г. Савичъ объясняетъ отношеніе разума къ матеріи—числовыми сравненіями.

Отнимите одну часть отъ единицы, и единица превратится въ часть; отнимите всѣ части, и единица превратится въ 0, гдѣ вы не найдете ни конца, ни начала. Такъ и здѣсь: *единичность*, съ одной стороны, *безграничная общность*, съ другой, а части являются посредниками между тѣмъ и другимъ, между всеобщимъ и единичнымъ. Читатель, пожалуй, въ шутку можетъ упрекнуть меня, что я привелъ къ нулю безграничную общность разума: но если, оставивъ шутки, всмотрѣться въ значеніе нуля, то не трудно будетъ убѣдиться, что нуля не существуетъ ни въ смыслѣ цѣлаго, ни въ смыслѣ частей, *хотя его непостижимое существованіе не менее того реально*“.

Не угодно ли, въ самомъ дѣлѣ, всмотрѣться въ «непостижимое реальное существованіе несуществующаго нуля»? Какая прекрасная задача послѣ сытнаго обѣда, для лучшаго пищеваренія? И какое торжество для бездоказательной, универсальной истины, открытой г. Савичемъ въ «Атенеѣ»!... Не даромъ же онъ восклицаетъ въ своей статьѣ: «здѣсь истина, здѣсь она—во всемъ величій красоты и могущества своего! А мы, какъ слѣпцы, бродили вокругъ», и пр... Опять слѣдуютъ тѣ же увѣренія, что всѣ ищущіе доказательствъ для истины—дураки круглые...

И однако—странное дѣло!—у этихъ самыхъ дураковъ, у этихъ несчастныхъ, не понимающихъ универсальной истины, г. Савичъ нашелъ теорію, которая ему не нравится только потому, что она слишкомъ ужъ высока и идеальна!... Вы, конечно, не повѣрите этому, и потому мы еще разъ приведемъ слова самого г. Савича. Онъ излагаетъ теорію, которую принимаютъ, по его словамъ, материалисты (разумѣй, глупцы),—и вотъ какъ заставляетъ онъ ихъ высказывать свои убѣжденія (стр. 275):

„У насъ теперь, какъ недавно выражался кто-то, на первомъ планѣ стоитъ человѣкъ и его прямое существованіе—благо. *Мы убѣдились (!)*, что абсолютнаго ничего нѣтъ, а все имѣетъ значеніе и достоинство только относительное. А чтобы мы были честны, великодушны и справедливы, намъ довольно только знать, что мы находимся въ кровномъ родствѣ съ человѣчествомъ; ненужно намъ для этого ни вашихъ принциповъ, ни душъ, съ какими-то врожденными понятіями о добрѣ и злѣ. Это все для насъ слишкомъ абстрактно. Добро и зло—понятія относительныя; не то хорошо, что нравится мнѣ одному, но то, что и вамъ и всѣмъ приходится по сердцу; а гдѣ всѣмъ хорошо, тамъ, повѣрьте, и намъ съ вами будетъ недурно. Вотъ вамъ и абсолютно-хорошее, и тѣмъ-же путемъ можете найти даже и абсолютно-злое, о чемъ наши философы, кажется, и не догадывались. Дѣйствовать каждому за всѣхъ и всѣмъ за cadaго,—вотъ нашъ принципъ, и ведетъ онъ насъ не къ ложному счастью“.

Изложивъ мысли противниковъ, г. Савичъ представляетъ и свои опроверженія,—вотъ въ какомъ родѣ:

Вѣстника» за прошлый годъ—имя его красуется въ числѣ прістантовъ, между именами Я. Савурскаго и Ѳ. Тимирязева, съ ной стороны, и Д. Хитрова, Д. Хомякова, И. Хомякова и С. Хокова—съ другой. Слѣдовательно, нѣтъ никакой надобности говорить о возвышенности и благородствѣ чувствованій, которыми долѣ быть проникнуты сорокъ пять сонетовъ г. фонъ-Лизандера. Правда высокія качества своего нравственного характера г. фонъ-Лизандеръ заявилъ еще во время восточной войны, когда написалъ весьма изное патріотическое стихотвореніе «Нашимъ врагамъ». Но это обстоятельство все еще было не столь блистательно и рѣшительно, к то, когда г. фонъ-Лизандеръ сталъ въ ряды побѣдоносной арміи, т громогласно ополчившейся на защиту гг. Чацкина и Горвица страшнаго «Знакомаго человѣка». Этотъ послѣдній подвигъ замѣ отразился на самомъ характерѣ сонетовъ г. фонъ-Лизандера, бсшая часть которыхъ писана въ 1858 году. Бродить ли онъ по су,—ему тотчасъ представляется грамматическая темнота въ извѣной фразѣ «Иллюстраціи», темнота, освѣщаемая только протестомъ. Эта поэтическая мысль возбуждаетъ въ немъ слѣдующее обращеніе къ *душѣ*, подѣ которою можно разумѣть душу несчастнаго, оклеветаннаго «Знакомымъ человѣкомъ»:

О душа! Какъ ни столпились плотно
Вокругъ тебя *печали-великаны* ¹⁾,
Но и въ тѣмѣ ²⁾, съ нихъ льющей и подѣ ноги
И на грудь, все блещутъ искрометно,
То какихъ-то свѣтлыхъ думъ поляны ³⁾,
То къ какимъ-то звучнымъ днямъ дороги ⁴⁾.

Мы полагаемъ, что эти стихи именно относятся къ *клеветѣ* *обличенію* «Иллюстраціи», потому что только при такомъ объясненіи и можно найти въ нихъ нѣкоторый смыслъ.

Къ этому же знаменитому дѣлу относятся, вѣроятно, и тѣ стихи въ которыхъ г. Д. фонъ-Лизандеръ увѣряетъ, что морозъ не препятствуетъ ему предаваться благороднымъ порывамъ. Известно, словамъ Гоголя, «всякому, даже не учившемуся въ семинаріи» что поступокъ «Иллюстраціи» совершился въ ноябрѣ. Велѣдъ того, г. фонъ-Лизандеръ и пишетъ, что прежде любовь согрѣла его въ зимній холодъ:

¹⁾ Намекъ на большой форматъ „Иллюстраціи“.

²⁾ Злая иронія надѣ самымъ названіемъ „Иллюстраціи“, которое зна „освѣщеніе“.

³⁾ Здѣсь, вѣроятно, разумѣются „Московскія Вѣдомости“, открывшія у поляны, т. е. страницы для протеста.

⁴⁾ Этотъ стихъ, должно быть, относится къ „Русскому Вѣстнику“, котъ звучно показывалъ дорогу протестантамъ.

Но теперь — не то. *Иная пльня* ¹⁾
Въ эту ночь ²⁾ мой зрѣмый слухъ внимаетъ.
Тѣни думъ въ блестящія видѣнья
Тайный звукъ предъ сердцемъ претворяетъ
И роскошный пламень вдохновенья ³⁾
И въ морозъ—грудь жаромъ обливаешь...

На «Иллюстрацію» же, кажется, написалъ г. фонъ-Лизандеръ и слѣдующій сонетъ:

Сѣрый день блеститъ темно и кисло ¹⁾,
Пятна лужъ покрыли грязный дворъ,
Мокрый быкъ глядитъ на нихъ безъ смысла,
Цѣпь воронъ покрыла весь заборъ ²⁾.
У колодца чье-то коромысло
Позабыто, и ужъ съ давнихъ поръ
На бадѣ приподнятой повисло...
Вотъ и все, что видитъ праздный взоръ ³⁾,
Да не больше пищи и для слуха.
Развлекла его бѣдняжка муха
Смертной пѣсней въ лапахъ паука ⁴⁾.
Но и сердце тянетъ пѣсню ту же:
И его облавила не хуже,
Чѣмъ паукъ, смертельная тоска ⁵⁾.

Если мы не ошибаемся въ смыслѣ, какой даемъ этому стихотворенію, г. фонъ-Лизандеръ обладаетъ замѣчательнымъ сатирическимъ талантомъ. Впрочемъ, мысль свою—основную мысль почти всѣхъ его произведеній—о томъ, что ненужно клеветать и вообще лгать,—г. фонъ-Лизандеръ выражаетъ не только въ юмористическомъ тонѣ, но и въ звучныхъ диѳирамбахъ. Напримѣръ, вотъ заключеніе сти-

¹⁾ Нужно разумѣть — пѣвучія прокламаціи „Русскаго Вѣстника“.

²⁾ Метафорическое выраженіе, коимъ обозначаются „обмороженно невѣжество и нечистота сердца; а вмѣстѣ съ тѣмъ опять и колючесть „Иллюстраціи“.

³⁾ Возбужденнаго подпиской противъ „Знакомаго человѣка“.

⁴⁾ Очевидно, здѣсь намекъ на рисунки, помѣщаемые въ „Иллюстраціи“, равно какъ и въ слѣдующемъ стихѣ, гдѣ говорится о *пятнахъ*.

⁵⁾ Эти два стиха, при всей своей художественной прелести, составляютъ не слишкомъ лестный комплиментъ читателямъ „Иллюстраціи“.

⁶⁾ Это нужно относить къ бѣдности рисунковъ въ „Иллюстраціи“.

⁷⁾ Очевидно, здѣсь олицетворяется беззащитное положеніе оклеветаннаго „Знакомаго человѣка“.

⁸⁾ Здѣсь поэтически выражается тоскливое чувство, произведенное во всѣхъ друзьяхъ прогресса поступкомъ „Иллюстраціи“, хуже котораго они ничего не знали на Руси.

Богъ знаетъ, до чего бы могло дойти разстроенное воображеніе г. фонъ-Лизандера, если бы не успокоилъ его «ангель-хранитель» такою пѣсенкой:

Спи, бѣдный, спи! Усыпленіе безпечное —

Лучшее благо сердцамъ.

Въ немъ ты поймешь усыпленіе вѣчное,

То, что могла дать намъ.

И г. фонъ-Лизандеръ спитъ и, можно сказать, спитъ на лаврахъ послѣ знаменитаго протеста. Вирсонкахъ пишетъ онъ стихи, болѣею частью лишенные смысла и всегда нескладные; но «когда складны сны бываютъ»? Будемъ довольны и тѣмъ, что въ сонныхъ стихахъ г. фонъ-Лизандера все таки увѣковѣчена для потомствѣ исторія знаменитаго протеста ¹⁾.

Что касается до характера поэтическаго генія г. Бажанова, мы надѣемся опредѣлить его довольно вѣрно, сказавши, что въ себѣ представляетъ намъ суровый пуританинъ, одержимый эротическими страстями. Съ одной стороны—вотъ какіе обличенія и вѣты:

О смертный! не ропщи на свой удѣлъ;

Вооружись терпѣніемъ и вѣрой,

Неси свой крестъ покорно, — и Господь

Сторицею воздастъ тебѣ въ той жизни

За здѣшнія лишенія твои...

Все тлѣно: богатство, почести и слава;

Ты ничего съ собою не возьмешь

Въ тотъ неизбежный часъ, какъ Ангелъ смерти

Отъ тяжкихъ узъ тѣлесныхъ разрѣшитъ

Безсмертью предназначенную душу; —

Тогда предъ неумытнымъ Судіей

Предстанетъ не вельможа знаменитый

И не богачъ, — предстанетъ человѣкъ,

Съ порочными или добрыми дѣлами,

И приметъ мзду, заслуженную имъ...

Благоговѣй, смирись предъ Провидѣніемъ:

Его рука путемъ тернистымъ бѣдствій

¹⁾ Очень можетъ быть, что г. фонъ-Лизандеръ, или кто-нибудь другой за не (изъ протестантовъ), проснется вновь и сочинитъ протестъ противъ насъ, которомъ докажетъ, что въ „Лучахъ и Тѣняхъ“ нѣтъ ни малѣйшаго намека „Иллюстрацію“ и „Знакомаго человѣка“, и что наши предположенія составляютъ ни болѣе, ни менѣе, какъ „бездоказательное посягательство на мысль поэта, это священнѣйшее достояніе души человѣческой“. Если такой протестъ (ка мы ожидаемъ) состоится, то заранѣе просимъ дозволенія напечатать его „Свистѣй“. „Свистокъ“ будетъ очень счастливъ, если удостоится этой чести!

Но теперь — не то. *Иная ночь* ¹⁾
Въ эту ночь ²⁾ мой зрѣлый слухъ внимаетъ.
Тѣни думъ въ блестящія видѣнья
Тайный звукъ предъ сердцемъ претворяетъ
И роскошный пламень вдохновенья ³⁾
И въ морозъ—грудь жаромъ обливаешь...

«Иллюстрацію» же, кажется, написалъ г. фонъ-Лизандеръ и
ещѣ сонетъ:

Сѣрый день блестятъ темно и кисло ⁴⁾,
Пятна лужъ покрыли грязный дворъ,
Мокрый быкъ глядитъ на нихъ безъ смысла,
Цѣпь воронъ покрыла весь заборъ ⁵⁾.
У колодца чье-то коромысло
Позабыто, и ужъ съ давнихъ поръ
На бадѣ приводятой повисло...
Вотъ и все, что видитъ праздный взоръ ⁶⁾,
Да не больше нищи и для слуха.
Развлекла его бѣдняжка муха
Смертной пѣсней въ лапахъ паука ⁷⁾.
Но и сердце тянетъ пѣсню ту же:
И его облапила не хуже,
Чѣмъ паукъ, смертельная тоска ⁸⁾.

мы не ошибаемся въ смыслѣ, какой даемъ этому стихотворе-
нью. фонъ-Лизандеръ обладаетъ замѣчательнымъ сатирическимъ
талантомъ. Впрочемъ, мысль свою—основную мысль почти всѣхъ
изведеній—о томъ, что ненужно клеветать и вообще лгать,—
фонъ-Лизандеръ выражаетъ не только въ юмористическомъ тонѣ,
но и въ звучныхъ диоирамбахъ. Напримѣръ, вотъ заключеніе сти-

жно разумѣть — пѣвучія прокламаціи „Русскаго Вѣстника“.
сатирическое выраженіе, коимъ обозначаются обыкновенно невѣжество
и жестокость сердца; а вмѣстѣ съ тѣмъ опять и жестокость „Иллюстраціи“.
бужденнаго подпиской противъ „Знакомаго человѣка“.
видно, здѣсь намекъ на рисунки, помѣщаемые въ „Иллюстраціи“, равно
какъ и въ слѣдующемъ стихѣ, гдѣ говорится о *пятнахъ*.
и два стиха, при всей своей художественной прелести, составляютъ не-
маловажный комплиментъ читателямъ „Иллюстраціи“.
нужно относить къ бѣдности рисунковъ въ „Иллюстраціи“.
видно, здѣсь олицетворяется беззащитное положеніе оклеветаннаго
человѣкомъ“.
и поэтически выражается тоскливое чувство, произведенное во всѣхъ
нашахъ прогресса поступкомъ „Иллюстраціи“, хуже котораго они ничего не
знаютъ въ Руси.

Богъ знаетъ, до чего бы могло дойти разстроенное воображеніе г. фонъ-Лизандера, если бы не успокоилъ его «ангель-хранитель» такою пѣсенкой:

Спи, бѣдный, спи! Усыпленіе безпечное —
Лучшее благо сердцамъ.

Въ немъ ты поймешь усыпленіе вѣчное,
То, что могила дастъ намъ.

И г. фонъ-Лизандеръ спитъ и, можно сказать, спитъ на лавочкѣ знаменитаго протеста. Впросонкахъ пишетъ онъ стихишею частью лишенные смысла и всегда нескладные; но «когда складны сны бываютъ»? Будемъ довольны и тѣмъ, что въ стихахъ г. фонъ-Лизандера все таки увѣковѣчена для поэтической исторіи знаменитаго протеста ¹⁾.

Что касается до характера поэтического генія г. Бажанскаго, мы надѣемся опредѣлить его довольно вѣрно, сказавши, что поэтъ представляетъ намъ суровый пуританинъ, одержимый чуждыми страстями. Съ одной стороны—вотъ какіе обличенія въты:

О смертный! не ропщи на свой удѣлъ;
Вооружись терпѣніемъ и вѣрой,
Неси свой крестъ покорно, — и Господь
Сторожею воздастъ тебѣ въ той жизни
За здѣшнія лишенія твои...
Все твое: богатство, почести и слава;
Ты ничего съ собою не возьмешь
Въ тотъ неизбежный часъ, какъ Ангелъ смерти
Отъ тяжкихъ узъ тѣлесныхъ разрѣшитъ
Безсмертью предназначенную душу; —
Тогда предъ неумытнымъ Судіей
Предстанетъ не вельможа знаменитый
И не богачъ, — предстанетъ человекъ,
Съ порочными или добрыми дѣлами,
И приметъ мзду, заслуженную имъ...
Благоговѣй, смиришь предъ Провидѣньемъ:
Его рука путемъ тернистымъ бѣдствій

¹⁾ Очень можетъ быть, что г. фонъ-Лизандеръ, или кто-нибудь другой (изъ протестантовъ), проснется вновь и сочинитъ протестъ противъ того, въ которомъ докажетъ, что въ „Лучахъ и Тѣняхъ“ нѣтъ ни малѣйшаго на „Иллюстрацію“ и „Знакомаго человека“, и что наши предположенія состоятъ ни болѣе, ни менѣе, какъ „бездоказательное посягательство на мысль и это священнѣйшее достояніе души человѣческой“. Если такой протестъ (мы ожидаемъ) состоится, то заранее просимъ дозволенія напечатать „Свистъ“. „Свистокъ“ будетъ очень счастливъ, если удостоится этой че-

Къ небесному блаженству насъ ведетъ;
Здѣсь только тотъ и счастливъ и покоенъ,
Кто, жребіемъ довольствуясь своимъ,
Съ терпѣніемъ удары рока сноситъ.

А съ другой стороны вотъ какія «Воспоминанія старушки»:

Ахъ, — и я была когда-то молода,
И слыла въ селѣ красавицей тогда!..
Какъ пойду, бываю, въ хороводъ,
Мною весь честной любитъ народъ...
Парни-молодцы, какъ мухи къ меду льнутъ
И проходу красной дѣвкѣ не даютъ...
Только слышишь: Мареза, — сной да попляши!
У те голосъ, — у те ножки хороши!..
Кто орѣшковъ, кто гостинцевъ мнѣ сулитъ,
Кто колечкомъ, кто платочкомъ подаритъ, —
А Степанъ, — лихой, удалый молодецъ,
Заручилъ меня, младую, подъ вѣнецъ...
Подъ вѣнцомъ я рдѣла, словно маковъ цвѣтъ,
Говорили: краше дѣвки въ свѣтѣ нѣтъ...
А теперь гдѣ ты, — скажи, моя краса?..
Посѣдѣла темнорусая коса;
По селу едва-едва брожу съ кляукой, —
Одолѣла старость съ хворостью лихой, и пр.

И опять—съ одной стороны сѣтованія на порочность всего міра,

Насъ обуялъ корысти духъ лукавый;
Его рабы, — мы съ самыхъ юныхъ лѣтъ,
До гроба ищемъ тѣнныхъ благъ и славъ,
Какъ будто въ насъ души нетлѣнной нѣтъ, и пр.

другой—восхищеніе женскимъ локономъ и рассказъ о поцѣлуѣ, номъ нѣги безмятежной»... Да еще это-бы не бѣда, — хотя, ко- о, и локонъ подходитъ къ разряду *тѣнныхъ* благъ. Ну, да ужъ кимъ, что имъ еще можно утѣшаться, потому что волосы все- не такъ скоро истлѣютъ, какъ остальные части тѣла... Но вѣдь въ томъ, что г. Бажановъ, въ своемъ пристрастіи къ локону, цитъ ужъ слишкомъ далеко. Онъ восклицаетъ:

Ты одинъ души томленье,
Думы скорбныя мои,
Въ грустный часъ уединенья
Услаждаешь, даръ любви!

СТИХИ находятся въ совершенномъ противорѣчій съ назидатель-

нымъ настроеніемъ г. Бажанова, ихъ нельзя признать законными дѣтьми его пуританской музыки. *Одинъ* локонъ услаждаетъ его лень и скорбь! Каково это вамъ покажется? Какъ будто этотъ конъ—нетлѣнный! Какъ будто нѣтъ для человѣка высшихъ ушеній!

Какъ будто въ насъ души нетлѣнной нѣтъ!..

Точно также не можемъ мы помирить слѣдующихъ противорѣчій музыки г. Бажанова. Въ стихотвореніи «1-е января 1858 г.» онъ высаетъ высоко-благородныя и нравственныя обличенія въ лицо вратному свѣту. Здѣсь онъ говоритъ, между прочимъ:

Прошла гроза, — мы весело, безпечно,
Проводимъ дни въ забавахъ и пирахъ,
Всѣмъ жертвуя для жизни скоротечной,
Изгнавъ изъ сердца стыдъ и страхъ.

А между тѣмъ, при такомъ обличительномъ направленіи, г. Бажановъ занимается воспѣваніемъ того, какъ молодая нѣмка Мальв поджидаетъ молодого француза Проспера, который къ ней,

Забывая покой,
Въ часъ безмолвный, ночной,
На свиданье любви поспѣшаетъ....

Для всякаго другого это было бы ничего; но г. Бажанову—простительно! Конечно, поэтъ можетъ проникаться сатирическимъ духомъ и изображать пустоту и развратъ свѣта очень ярко. Поэты мы не упрекаемъ въ нескромности, наприимѣръ, пьесу «Выборъ ниха», въ которой невѣстою предпочтенъ всѣмъ свѣдой князь,

Въ крестахъ, въ звѣздахъ,
На костыляхъ.

Здѣсь мы видимъ тотъ же духъ, который внушилъ поэту следующие грозныя стихи противъ звѣздъ (въ стихотвореніи «Звѣздочки»

Такъ забудь же мириады
Звѣздъ блестящихъ и большихъ,
И тоскующіе взгляды
Отврати скорѣй отъ нихъ...
Имъ понятны наслажденья,
А печаль для нихъ чужда;
Въ нихъ участя, сожалѣнья
Не найдешь ты никогда...

Такіе строго обличительные стихи совершенно соотвѣтствуютъ общему направленію поэта, и за нихъ можно только хвалить г. Бажанова. Но когда онъ утѣшается тлѣннымъ локономъ и съ наслажденіемъ рисуетъ сцену ночнаго свиданія француза Проспера съ нѣмкой Мальвиной, или представляетъ игривую амуретку корнета съ Наташей (въ стихотвореніи «Мать и Дочь»),—то нельзя не упрекнуть его музу въ легкомысліи и въ измѣнѣ тѣмъ убѣжденіямъ, которыя должны бы лежать краеугольнымъ камнемъ всей поэзіи г. Бажанова. Возвышенный строй его лиры далъ намъ такіа стихотворенія, какъ «Молитва», «Крестъ», «Не ропщи», «На кончину Императора Николая I-го», «Печаль и отрада Россіи» — стихотвореніе, не уступающее высотой чувствованій извѣстному произведенію кн. Вяземскаго «Плачь и Утѣшеніе». Въ этой сферѣ собственно и долженъ былъ бы оставаться г. Бажановъ, и тогда мы почти не имѣли бы возможности упрекнуть его. Но, къ сожалѣнію, слабость природы человѣческой превозмогаетъ силу самыхъ крѣпкихъ пуританскихъ убѣжденій. Рѣзвый купидонъ—говоря мифологически—увлекаетъ самого Зевеса-громовержца; не мудрено, что онъ и г. Бажанова увлекъ къ сочиненію игривыхъ стишковъ о тлѣнномъ локонѣ, принадлежащемъ, можетъ быть, той самой нѣмкѣ Мальвинѣ, которая «въ часъ ночной» поспѣшала на свиданіе съ французомъ Просперомъ... Что дѣлать? Эротическія расположенія овладѣваютъ, вѣрно, и суровыми пуританами, подобными тому, какимъ представляется г. Бажановъ въ своихъ *возвышенныхъ* стихотвореніяхъ. Не будемъ судить за это слишкомъ строго: говорятъ, что отъ стрѣлъ купидона никто не можетъ укрыться, и въ доказательство указываютъ даже на г. Розенгейма. Ужъ какой, кажется, обличитель, — а и тотъ писалъ эротическіе стишки, еще почище (не по языку и не по стиху, впрочемъ), чѣмъ г. Бажановъ. Притомъ же—что нападать на г. Бажанова, когда онъ самъ уже осудилъ такъ строго свою нравственность на первой же страницѣ своей книжки:

Гори ясный, моя лампада,
Молись теплѣй, душа моя...
Я рабъ страстей, стяжанье ада, —
И вѣчныхъ мукъ достоинъ я...

Смотрю въ жизнь прошлую съ боязнью;
Въ ней тщетно добрыхъ дѣлъ ищу;
И, какъ преступникъ передъ казнью,
Томлюсь, страдаю, трепещу...

Моя душа охолодѣла,
Не внемлетъ истинѣ святой
Живая вѣра оскудѣла
И съ ней сокрылся мой покой...

Бѣдный г. Бажановъ! Хоть бы пришелъ къ нему тотъ утѣшитель, который поетъ г. фонъ-Лизандеру:

„Сли бѣдный, сли! Усыпленіе сердечное —
Лучшее благо сердцамъ“!.. и пр.

Стихотворенія г. Александрова тоже нуждаются въ подобіи утѣшитель, ибо авторъ ихъ — необычайный страдалецъ. Половина книжки занимаетъ разсказъ о нѣкомъ господинѣ Задоринѣ и дочери Эммѣ, которую *поэтъ*, какъ отважно называетъ себя г. Александровъ, рисуетъ съ большой любовью и съ отступленіями въ слѣдующаго:

Но къ счастью, ни умомъ,
Ни душою, старшая ея дочь Эмма
Не была похожа на свою мать.
Но я вижу, что вы начинаете терять
Терпѣніе, что такъ вяло идетъ къ концу поэма.
Я надѣюсь, что вы не будете бранить *поэта*
За неправильное названье это;
Тутъ поэмы нѣтъ нисколько,
А просто это одинъ разсказъ,
Которымъ хотѣлъ я васъ
Занять на часъ. И только...
И оттого такъ назвалъ,
Что я ризмы къ Эмма не сискалъ.

Въ этихъ-то отступленіяхъ, которыя уже сами по себѣ сдѣлаютъ страданіе, равно какъ и вся поэма и даже вся книга г. Александрова, безпрестанно встрѣчаются такого рода жалобы:

Теперь нигдѣ отрады не нахожу,
И, какъ путникъ заблудившійся, брожу
Межъ ненавистныхъ мнѣ людей,
Межъ пошлыхъ и холодныхъ богачей, и пр...

Или:

Давно погибли мои надежды и мечты,
Жизнь моя полна душевной пустоты;
Я теперь живу воспоминаньемъ однимъ, и пр...

Въ одномъ изъ мелкихъ стихотвореній, г. Александровъ тоскуетъ:

Время юности живой
Промчалось быстро отъ меня,
Съ глубокой, мрачною тоской
Теперь ни на мигъ не расстаюсь я;

Страданія и мученія больной души
Меня тревожатъ часто среди ночной тиши.

Въ другомъ стихотвореніи объясняется:

Давно во мнѣ уснули страсти
Сномъ холоднымъ мертвеца,
И глубокія морщины изобразили
По вѣсѣмъ направленіямъ лицо;
Холодъ, голодъ и многія напасти,
Душевный жаръ истощилъ, и пр...

Въ стихотвореніи «Дума» говорится:

Съ глубокой душой сижу я подъ окномъ;
И все я думаю только объ одномъ:
Что я лучшія движенія сердца утратилъ
Безплодно, и святія чувства я растратилъ
Въ тяжкомъ и позорномъ бездѣйствіи и снѣ...

Вотъ начало стихотворенія «Ожиданіе»:

Холодъ, голодъ и нищета,
Отъ погибшей юности мечта,
Мои спутники до гроба.
Порой тоска, ненависть, злоба
Меня въ жизни сопровождаютъ,
Часто быструю радость отравляютъ...

И такъ далѣе,— все одно и то же... Страданіе, да и только. Мы или нужнымъ прежде всего указать на это читателямъ, потому что авторъ въ одномъ мѣстѣ говоритъ:

Ты меня опрометчиво не проклинай,
Лучше ты мои страданія узнай...

Конечно, страданія г. Александрова не могутъ имѣть особенной жности и интереса для публики; но столь настойчивое напоминаніе собственныхъ страданій заставило насъ подумать о причинахъ, по которымъ страдалъ г. Александровъ. Мы предались было же мечтаніямъ въ родѣ тѣхъ, какимъ предавался Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, просматривая списокъ мужиковъ, купленныхъ у Сожковича. Кто такой г. Александровъ? Гдѣ и какъ протекла его жизнь? За что тѣшилась надъ нимъ злая судьба? Изъ книжки видно, что г. Александровъ—какой-то самоучка; не только о версификаціи, но даже о правописаніи онъ не имѣетъ никакого понятія, но въ то же время онъ разсуждаетъ объ устройствѣ общества, о

взяткахъ, о банкометахъ и понтерахъ, о балахъ и бокалахъ, упоминаетъ даже о Рафаэлѣ и Перуджино... Трудно разобрать, что такое представляетъ собою авторъ этихъ стихотвореній... Бѣдный ли онъ чиновникъ, на старости лѣтъ лишившійся мѣста по неблагонадежности или вслѣдствіе сокращенія штатовъ? Помѣщикъ ли какого нибудь захолустья, заглянувшій разъ въ жизни въ столицу, увидавшій тамъ двухъ литераторовъ и, вслѣдствіе того, возгорѣвшій стремленіемъ къ литературной славѣ? Или онъ отставной инвалидъ покоящійся на лаврахъ и посвящающій свои досуги служенію музамъ? А можетъ быть, это—самоучка-мѣщанинъ, какихъ такъ много нынѣ развелось на Руси? Можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ, не посчастливилось ему въ жизни, и «голодъ, холодъ, нищета» — можетъ быть, составляютъ для него не стихотворную фразу, а дѣйствительныя лишенія, которыя онъ испыталъ... Но, въ такомъ случаѣ, зачѣмъ онъ толкуетъ о бокалахъ, выпитыхъ имъ на пирахъ, о красавицахъ, съ которыми онъ танцевалъ на блестящихъ балахъ, и пр.?. Ради-ли стихотворной вольности, или тоже по дѣйствительному опыту жизни?.. И что, наконецъ, привело, его къ описанію этихъ страданій? Кто и какъ рѣшился издать эту безобразную книжечку сѣрую, неопрятную, напечатанную рѣшительно безъ всякой корректуры?..

Праздные, забавные вопросы, если смотрѣть на нихъ съ общелитературной точки... Но нельзя отъ нихъ удержаться, когда подумаешь, сколько добродушія и совершеннѣйшей нищеты духа долженъ имѣть авторъ книжечки, подобной стихотвореніямъ г. Александра. Тутъ внутренняя ничтожность и вздорность ничѣмъ не прикрыты: ни звучнымъ стихомъ, ни блестящими современными фразами, ни гордыми претензіями на званіе общественнаго дѣятеля такъ часто принимаемыми у насъ за признакъ внутренней силы. Видно, что авторъ не принадлежитъ къ высоко-образованной фалангѣ протестантовъ противъ «Иллюстраціи», какъ г. фонъ-Лизандеръ, даже не проникнутъ такою выпреннею назидательностью, какъ г. Бажановъ. И однако — въ стихахъ его всегда можно добыть смысла, чего часто недостаетъ сонетамъ г. фонъ-Лизандера; въ книжкѣ г. Александра нѣтъ и того страннаго «служенія Богу мамонѣ», какое замѣтили мы у г. Бажанова. Ясно, что если-бъ г. Александровъ поучился, узналъ-бы хоть грамматику и версификацію, да чуть-чуть усвоилъ-бы себѣ приемы литературные, онъ бы никакъ ужъ не написалъ такихъ безсмыслицъ, какія находимъ у гг. фонъ-Лизандера и В. Бажанова... А между тѣмъ, теперь даже эти господа, которыхъ ученіе привело только къ правильному стоическому сложенію и къ совершеннѣйшей темнотѣ разумѣнія, — даже и эти господа посмотрятъ, пожалуй, съ пренебреженіемъ на г. Александра!.. Да и какъ иначе? Господинъ фонъ-Лизандеръ *имѣетъ имя* въ литературѣ, онъ участвовалъ въ блистательнѣйшихъ литературныхъ экспедиціяхъ; г. Бажановъ тоже — если не имѣетъ, то будетъ имѣть имя: по крайней мѣрѣ стихотворенія его помѣщаются въ нѣ-

которыхъ журналахъ, считающихъ себя весьма серьезными и значительными... А г. Александровъ презрѣнъ вездѣ и всѣми, за то собственно, что говоритъ только о своихъ страданіяхъ, да и тѣхъ не умѣетъ изложить хорошенько—по строгимъ правиламъ искусства... Бѣдный г. Александровъ! Такъ ужъ ему вѣрно судьбой назначено—во всемъ быть страдальцемъ: въ жизни страдалъ онъ; когда онъ стихи свои писалъ,—тоже, должно быть, страдалъ и мучился надъ ними немовѣрно; да и напечатавши свою книжечку,—ничего, вѣроятно, не получилъ и не получить отъ нея, кромѣ огорченія и страданія.

Отъ Москвы до Лейпцига. *И. Бабста.* (Изъ Атеней). Москва, 1859 г.

Двѣ великія партіи существуютъ издавна между русскими учеными по вопросу объ отношеніяхъ Россіи къ другимъ народамъ Европы. Одна партія выражаетъ свое убѣжденіе на этотъ счетъ формулою: «Россія цвѣтетъ, а Западъ гніетъ»; а когда ея представители приходятъ въ нѣкоторый пабосъ, то начинаютъ пѣть про Россію ту самую пѣсню, которую, по свидѣтельству г. Милюкова, въ недавно изданныхъ имъ замѣткахъ о Константинополѣ (стр. 130), оборванный мальчишка въ константинопольской кофейной пѣлъ про Турцію,—а именно:

„Нѣтъ края въ свѣтѣ лучше нашей Турціи, нѣтъ народа умнѣе Османлисовъ! Имъ Аллахъ далъ всѣ сокровища мудрости, бросивъ другимъ племенамъ только крупицы разумѣнія, чтобъ они не вовсе остались верблюдами и могли служить правовѣрнымъ.“

„Нѣтъ города подъ луною, достойнаго быть предмѣстьемъ нашего многомишкетнаго Стамбула ¹⁾, да хранить его пророкъ. Нѣтъ въ немъ счета дворцамъ и мостамъ, дорогимъ камнямъ и лунолицымъ красавицамъ.“

„Если бы Черное море наполнилось вмѣсто воды чернилами, то и его не достало бы описать, какъ сильна и богата Турція, сколько въ ней войска и денегъ, и какъ всѣ народы завидуютъ ея сокровищамъ, могуществу и славѣ.“

Г. Милюковъ завѣряетъ, что его проводникъ изъ грековъ, переведши ему эту пѣснь, нагнулся къ нему и шепнулъ, въ pendant къ ней: «собаки! настоящія собаки!...» (стр. 131).

.. Но дѣло не о собакахъ...

¹⁾ Здѣсь разумѣй Москву съ ея сороками, но никакъ не Петербургъ.

Въ противоположность первой великой партіи, сейчасъ охарактеризованной нами, другая партія должна-бы говорить: «нѣтъ, Россія гнѣтъ, а Западъ цвѣтетъ». Но столь крайней и дерзкой формулы до сихъ поръ въ русской литературѣ еще не появлялось и, конечно, не появится, ибо никто изъ насъ не лишенъ патріотизма. Партія, противная турко-подобной партіи, останавливается на положеніяхъ, гораздо болѣе умѣренныхъ и основательныхъ. Она говоритъ: «каждый народъ проходитъ извѣстный путь историческаго развитія; Западъ вступилъ на этотъ путь раньше, мы позже; намъ остается еще пройти многое, что Западомъ уже пройдено, и въ этомъ шествіи, умудренные чужимъ опытомъ, мы должны остерегаться отъ тѣхъ паденій, которымъ подверглись народы, шедшіе впереди насъ».

Къ этой второй изъ двухъ великихъ партій принадлежитъ и г. Бабстъ, какъ удостовѣряютъ насъ, между прочимъ, его путевыя письма, о которыхъ мы намѣрены теперь говорить. Нужно отдать справедливость г. Бабсту: онъ является въ своихъ письмахъ очень ловкимъ адвокатомъ того дѣла, за которое взялся. На каждомъ шагѣ онъ умѣетъ напомнить намъ, какъ насъ опередила Европа; въ каждомъ нѣмецкомъ городкѣ умѣетъ найти какое-нибудь полезное или пріятное учрежденіе, котораго у насъ еще нѣтъ и долго не можетъ быть; по каждому изъ главнѣйшихъ нашихъ вопросовъ онъ представляетъ такія соображенія и параллели, изъ которыхъ ясно, что если ужъ Западъ гнѣтъ, то и наше процвѣтаніе придется назвать плѣсенью... Приведемъ нѣсколько такихъ параллелей, сдѣланныхъ имъ мимоходомъ, во время краткихъ отдыховъ отъ скаканія по желѣзной дорогѣ, какъ онъ самъ выразился о своемъ путешествіи (стр. 1).

Въ Берлинѣ, говоря о неудобствахъ бюрократіи вообще, г. Бабстъ отдаетъ, однакоже, справедливость прусскому чиновничеству и дѣлаетъ при этомъ слѣдующія замѣчанія (стр. 45—47):

„Взгляните на прусскаго полицейскаго, на берлинскаго *Schutemann*, войдите въ первое присутственное мѣсто, въ почтамтъ, въ тюрьму, и на васъ повеетъ все-таки инымъ воздухомъ; вы чувствуете себя и среди бюрократической атмосферы свободнѣй, самостоятельнѣй; вы знаете, что честь ваша не будетъ и не можетъ быть оскорблена наглымъ поступкомъ, безнаказанною, безсознательною грубостью; вы начинаете сознавать себя человекомъ свободнымъ, который имѣетъ свои права, начинаете понимать, что не вы существуете, работаете и живете для чиновничества, но что послѣднее существуетъ для васъ. Съ нами, русскими, происходятъ, какъ мнѣ показалось, самыя разнообразныя измѣненія съ первымъ шагомъ за-границу. Мы, какъ хамелеоны, непрерывно мѣняемъ цвѣта, покуда, наконецъ, не успѣемъ примѣниться. Сначала русскій является такимъ подобострастнымъ, вѣжливymъ, такъ боязливо подходитъ къ чиновнику на дорогѣ, къ полицейскому, что обращаетъ на себя общее вниманіе. „Вѣроятно, русскій“, случалось мнѣ не разъ слышать о какомъ-нибудь пассажирѣ, о чемъ-то упрашивающемъ чиновника желѣзной дороги, и упрашивающемъ непремѣнно уже о какомъ-нибудь снисхожденіи, о чемъ-нибудь противномъ правиламъ дороги. Чиновники при доро-

гахъ вообще чрезвычайно вѣжливы, и рѣдко встрѣтишь съ ихъ стороны отказъ, если только есть какая-нибудь возможность услужить. Но вотомъ, видя какъ все уродливо, видя, что люди здѣсь свободны, нашъ братъ начинаетъ чувствовать въ себѣ сознаніе собственного достоинства, самостоятельности, начинаетъ хорохориться, и у многихъ прорываются ужъ барскія замашки, своевольничанье и даже грубость,—но это до перваго отпора. Дадутъ окрикъ, укажутъ на законъ, и опять сдѣлаешься—какъ шелковый. Привыкнешь, конечно, обойдешься и станешь дѣйствительно гражданиномъ, уважающимъ законъ, сознающимъ и свои права, и обязанности,—къ сожалѣнію только, кажется, до перваго шага на родной почвѣ, гдѣ мы разомъ обдаемъ иною жизнью, гдѣ вы, и послѣ короткаго отсутствія, несмотря на радость свиданія съ близкими и друзьями, несмотря на родную вашему сердцу жизнь, чувствуете себя сначала неловко и не по себѣ. Вы отвыкли уже немножко отъ дикой обстановки, хотъ и изъ Европы же заимствованной, но дикой по формѣ и перекошенной какъ-то на казацкіе нравы, и въ то же почти мгновеніе вы чувствуете, какъ въ васъ самихъ начинаютъ шевелиться скіевскія привычки, и смотришь — едва ступилъ на родную почву — поровишь уже кого-нибудь выбрать, хотъ извозчика на первый разъ.

„Позвольте вамъ сообщить нѣсколько наблюденій.

„Много пришлось мнѣ проѣхать таможенъ: вездѣ васъ встрѣчаетъ чиновникъ съ холодною вѣжливостью; берутъ ваши вещи, съ невозмутимымъ спокойствіемъ осматриваютъ ихъ; вездѣ довольно народа, все это дѣлается быстро, но безъ шума, безъ суетни, безъ грубости, безъ дикихъ формъ; комнаты, гдѣ смотрятъ вещи,—удобныя; для всѣхъ есть мѣсто, и отпускаютъ васъ очень скоро.

„Но вотъ бросаетъ пароходъ якорь въ Кронштадтѣ. Подъѣзжаетъ лодка съ таможенными чиновниками и солдатами. Былъ съ нами на пароходѣ деньщикъ одного офицера, съ которымъ ѣздили за границу. И онъ, и мы всѣ съ любовью привѣтствовали родной край. „Вотъ они орлы-то наши!“—закричалъ, не выдержавъ, служивый, глядя на усачей таможенныхъ. — „Сейчасъ признаешь. Военственное есть нѣчто“. — Мы засмѣялись, но не прошло и десяти минутъ, какъ слухъ нашъ былъ оскорбленъ самымъ грубымъ ругательствомъ, которымъ чиновникъ чествовалъ одного изъ почтенныхъ, увѣшанныхъ медалями, усачей. Вотъ мы и у пристани въ Петербургѣ. Всѣ наши вещи взяли, ввели всю ватагу пассажировъ въ комнату. У однѣхъ дверей стоятъ два часовыхъ, чтобы никого не пускать въ комнату, гдѣ досматриваются вещи и куда должны входить пассажиры по частямъ. Грѣшно каждому изъ насъ было бы пожаловаться на чиновниковъ петербургской таможни. Они несравненно любезнѣе и обходительнѣе многихъ заграничныхъ. Такъ же вѣжливо спрашиваютъ васъ, нѣтъ ли чего запрещеннаго, всѣми силами стараются скорѣе васъ отпустить: но спросимъ ихъ же самихъ, и каждый изъ нихъ самъ сознается, что внѣшняя обстановка дика, многосложна, запутанна и отзывается осаднымъ положеніемъ. „Что, братъ, военственное есть нѣчто?“ спросилъ я служиваго, съ грустью ожидавшаго своей очереди. — „Точно, ваше благородіе, порядокъ-то тотъ лучше-съ“.

„Ѣдете вы въ Берлинъ на желѣзную дорогу. Законъ говоритъ, и въ каждой каретѣ прибито объявленіе, что, для избѣжанія сумятицы, вы должны извозчику платить впередъ, дабы извозчикъ не имѣлъ права толпиться у подъѣзда къ стациіи. И дѣйствительно, вы пріѣзжаете, носильщики берутъ ваши вещи, вы выходите, извозчикъ отъѣзжаетъ, а на его мѣсто тотчасъ же становится другой. Видѣ

очень просто, кажется. Посмотримъ же на наши станціи. Извозчики кричатъ: кто проситъ прибавки, кто ругается, что не додали; жандармы кричатъ, чтобы отъѣзжали, казаки граціозно трясуть нагайками; а вѣдь ларчикъ такъ простъ открывается, и можно избѣжать всей этой безурядицы. Дѣло только въ томъ, что тамъ нечего полиціи—ни изъяснять закона, ни истолковывать его по своему. Постановленія объ извозчикахъ найдешь прибитыми въ каждой каретѣ или коляскѣ; каждый извозчикъ знаетъ грамотѣ, и онъ не можетъ отговориться незнаніемъ, точно такъ же какъ ни полиція, ни кто иной не можетъ съ него потребовать ничего лишняго. Чего бы мы, слѣдовательно, ни коснулись, какой бы вопросъ ни затронули—результатъ одинъ, что безъ грамотности ничего не сдѣлаешь и что въ образованіи одно спасеніе“.

Замѣтки и сравненія такого рода безпрестанно дѣлаются г. Бабстомъ въ его письмахъ. Осматриваетъ онъ библіотеку въ Бреславскомъ университетѣ:—его поражаетъ обыкновеніе, господствующее здѣсь, снабжать книгами изъ нея учителей гимназій, даже иногородныхъ, и онъ сравниваетъ съ этимъ прекраснымъ обыкновеніемъ печальное положеніе нашихъ библіотекъ, въ которыхъ большая часть книгъ похоронена, какъ въ гробу.—точно будто библіотека имѣетъ единственное назначеніе архива.—Ходитъ онъ въ Берлинѣ по гуляньямъ и музеямъ—онъ обращаетъ вниманіе читателей на то, какъ дешевы и просты у нѣмцевъ изящныя удовольствія, какъ легко доступъ въ музеи, какъ развитъ интересъ къ изящнымъ искусствамъ во всемъ народонаселеніи. Проѣзжая мимо одного мѣстечка, нашъ путешественникъ встрѣчаетъ сцену мирной семейной жизни саксонскаго лѣсничаго; онъ не упускаетъ рассказать, какъ жена лѣсничаго прядетъ ленъ, и пряжу отдаетъ ткать, какъ самъ лѣсничій носитъ пальто изъ грубой парусины, ходитъ пѣшкомъ и пр. И затѣмъ прибавляетъ: «Бѣдный, глупый окружной начальникъ саксонскихъ королевскихъ лѣсовъ! Какъ же ты не дошелъ, много учившись и трудившись, до простой операціи съ попенными деньгами, обращающимися въ хорошихъ лошадей, въ коляски, шляпки, тонкое полотно, вытканное, можетъ быть, изъ той же пряжи, которую продала твоя жена»? (стр. 91). Осматриваетъ г. Бабстъ элементарную школу въ Лейпцигѣ, и тутъ находитъ онъ поводъ сдѣлать нѣсколько любопытнѣйшихъ примѣненій къ нашему быту, указывая на отношенія между собою служащихъ лицъ въ лейпцигской школѣ. Здѣсь, говоритъ онъ, все просто, все показываетъ вамъ, что люди, собранные здѣсь, имѣютъ въ виду одну цѣль, и общими силами, каждый въ своей сферѣ, къ ней стремятся. Директоръ—это тотъ же учитель, только съ большей опытностью, и другіе учителя довѣряютъ ему, но и сами имѣютъ въ своемъ дѣлѣ голосъ и сужденіе. Затѣмъ, переходя къ нашимъ училищамъ, г. Бабстъ разсуждаетъ (стр. 134—135):

Вся разница между такою организаціей училищъ и другою, вышнимъ образомъ, пожалуй, съ нею и сходною, состоитъ въ томъ, что здѣсь директоръ имѣетъ значеніе и первенство дѣйствительно только потому, что онъ ведетъ дѣла заведенія, а вовсе не потому, что онъ старше чиномъ или кавалеръ, тогда какъ

въ нихъ мѣстахъ онъ прежде всего начальникъ и изъ-за начальническаго своего значенія забываетъ свое настоящее положеніе и цѣль своей должности. Въ одномъ мѣстѣ цѣль и назначеніе каждаго директора и учителя. — воспитаніе, образованіе дѣтей, въ другомъ обязанность директора—это быть исправнымъ по службѣ, чтобы была у дѣтей хорошая выправка, чтобы на ногахъ мозолей не было, чтобы дружно кричали дѣти „адравіа желаю!“ чтобы застегнуты были мундиры. Можетъ ли директоръ, будь онъ отличнѣйшій человѣкъ и педагогъ, заботиться и дѣйствовать въ пользу образованія такъ, какъ бы ему хотѣлось, когда—

Скѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ—

на вниманіе его было обращено не на ученіе, а на порядокъ, когда пріѣзжавшіе ревизовать его начальники объ ученіи не только не заботились, но даже и не могли справиться, когда они больше всего смотрѣли на стѣны да на мундиры, когда подъ заботой о нравственности дѣтской разумѣлась забота о стрижкѣ волосъ. Чиновничество всосалось во всѣ стороны нашей педагогической жизни, разлилось до удивительныхъ размѣровъ и породило такую сложную администрацію, которой подобную не встрѣтимъ мы въ цѣломъ мірѣ. Штатный смотритель, стоя въ полномъ мундирѣ униженно передъ директоромъ училищъ, распекаетъ въ свою очередь бѣднаго уѣднаго учителя, осмѣлившася явиться къ нему безъ формы. Каждая гимназія совершенно, подумаешь, на военномъ положеніи, — столько въ ней сторожей и солдатъ: одни для чистоты, другіе для порядка, одни, чтобы по субботамъ сѣчь мальчиковъ, другіе чтобы мыть ихъ. Довольно того, что въ гимназіяхъ на сторожей расходуется гораздо болѣе денегъ, чѣмъ на всѣхъ учителей. Но кому это неизвѣстно? Всѣ мы это хорошо знаемъ, у всѣхъ у насъ оно передъ глазами; наши директора, наши учителя, — первые отъ этого страдаютъ и жаждутъ вытти изъ такого неестественнаго положенія; имъ, главнымъ образомъ, оно невыносимо и грустно, — я же съ своей стороны прибавлю здѣсь одно скромное замѣчаніе, что и за образцами ходить не нужно далеко. Администрація нашихъ частныхъ пансіоновъ, которые въ отношеніи къ ученію не только ни въ чемъ не уступаютъ гимназіямъ, но даже во многомъ превосходятъ ихъ, хотя лучшіе учителя одни и тѣ же и здѣсь и тамъ, — администрація ихъ, своей простотой и экономіей, могла бы во многомъ служить образцомъ для будущей реформы гимназій. И это не мое личное мнѣніе, но многихъ изъ моихъ вочтенныхъ товарищей-учителей. Когда содержатель пансіона съ 4 надзирателями и прислугой изъ пяти, шести человѣкъ можетъ вести заведеніе, гдѣ обучается до 150 мальчиковъ, — неужели же невозможно то же самое и въ гимназіяхъ? Наконецъ, за образцами можно обратиться и въ нашей старинѣ. Она иногда можетъ дать очень спасительные совѣты. Я самъ воспитывался въ гимназій, которая въ 1838 году управлялась директоромъ да совѣтомъ учителей, изъ которыхъ одинъ исправлялъ директорскую должность, когда самъ директоръ отлучался на ревизію уѣдныхъ училищъ. При гимназій былъ всего только одинъ сторожъ (*Calefactor*), и все было въ порядкѣ. Я помню живо наше удивленіе, когда вдругъ явилось разъ въ 1840 году, во время утренней молитвы, новое лицо, и когда намъ объявили, что это инспекторъ. Къ чему? зачѣмъ?—этого, вѣроятно, хорошо никто не могъ объяснить, — ни мы, ни директоръ, ни самъ инспекторъ, ни же кто другой. Инспекторъ былъ прекраснѣйшій человѣкъ, умѣвнѣйшій смислатъ, вносилъ стѣдъ, глубокое уваженіе цѣлаго города, но самъ же сознавался, что онъ — лицо совершенно

лишнее, мало того, — что его появленіе внесло своего рода безурядицу, вмѣстѣ ожидаемаго санше порядка,—безурядицу уже потому, что директоръ не могъ снискать новаго лица, съ которымъ ему пришлось дѣлать свои занятія“.

Вообще письма г. Бабста наполнены указаніями на хорошія стороны европейской жизни, которыхъ еще недостаетъ намъ. И этого еще мало. что онъ признаетъ въ Европѣ много хорошихъ сторонъ: онъ даже не думаетъ, подобно нѣкоторымъ изъ нашихъ мыслителей и ученыхъ, что Европа умираетъ, что въ ней нѣтъ живыхъ элементовъ. Напротивъ, онъ подсмѣивается надъ *широкими натурами*, которыя свысока смотрятъ на *мѣщанскія* привычки Европы. Пусть тамъ и мѣщанскія натуры, замѣчаетъ онъ,—да вотъ умѣли же устроить у себя то, чего широкія натуры никакъ не могутъ добиться, при всемъ своемъ желаніи!.. И при этомъ почтенный профессоръ не сомнѣвается, что Европа все будетъ итти впередъ, и теперь даже лучше—тверже и прямѣе,—чѣмъ прежде. Въ прежнемъ своемъ шествіи она, по мнѣнію почтеннаго профессора, дѣлала много ошибокъ, состоявшихъ именно въ томъ, что вѣрила въ возможность совершить что-нибудь вдругъ, разомъ; теперь она поняла, что этого нельзя, что прогрессъ идетъ медленнымъ шагомъ и что, слѣдовательно, все нужно измѣнять и совершенствовать исподволь, понемножку... На этомъ медленномъ пути у Европы есть теперь надежные путеводители: гласность, общественное мнѣніе, развитіе въ народахъ образованности—и общей, и специальной. Съ этимъ она уже неудержимо пойдетъ впередъ, и никакія катастрофы впредь не увлекутъ ее. Теперь даже и гениальные люди и сильныя личности не нужны Европѣ: безъ нихъ все можетъ устроиться и итти отлично, благодаря дружному содѣйствію общества, умѣющаго избирать достойныхъ и честныхъ дѣятелей для каждаго дѣла. Вотъ подлинныя слова г. Бабста (стр. 17):

„Гениальные государственные люди рѣдки: они являются въ тяжкія переходныя минуты народной жизни; въ нихъ выражаетъ народъ свои задушевные стремленія, свои потребности, свое неукротимое требованіе порвать со старымъ, дабы выйти на новую дорогу и продолжать жизнь свою по пути прогресса: но такіе переходныя эпохи наступаютъ для народа вѣками и, сильно сдается намъ, задачи ихъ и значеніе въ исторіи чуть ли не прошли безвозвратно. Запасъ силъ и знаній въ европейскомъ человѣчествѣ сталъ гораздо богаче, гражданскія права расширились, сознаніе правъ усилилось и, наконецъ, довѣріе къ насильственнымъ переворотамъ, вслѣдствіе горькихъ опытовъ, угасаетъ. *Потребности государственныя и общественныя принимаются всѣми близко къ сердцу, гласность допускаетъ всеобщій народный контроль, уваженіе къ общественному житію въ образованномъ правительствѣ воздерживаетъ его отъ произвольныхъ распоряженій*, и оно же заставляетъ немольно выбирать въ государственныя дѣтели людей, пользующихся извѣстностью, людей, специально знакомыхъ съ частями государственнаго управленія, въ чей лѣвъ которой ихъ ставятъ, а не перваго проходящаго; широко же развитое въ народѣ образованіе, и общее и специальное, даетъ

мнѣнность выбора достойнѣйшаго. Въ Европѣ прошло или проходитъ, по край-
ней мѣрѣ, то время, когда еще думали, что хорошій кавалеристъ можетъ быть
и отличнымъ правителемъ, плохой шефъ полиціи или попросту полиціймейстеръ—
директоромъ важнаго спеціального училища. Такія явленія возможны были прежде,
когда государственная жизнь была проще и не такъ сложна, когда хорошій пол-
ководецъ могъ быть дѣйствительно хорошимъ администраторомъ“.

Такимъ образомъ, по мнѣнію г. Бабста, не одна Россія *«hat
eine grosse Zukunft»*, какъ говоритъ одинъ сладенькій нѣмецъ, ска-
занный вмѣстѣ съ г. Бабстомъ по желѣзной дорогѣ. Европа тоже
имѣетъ будущее, и очень свѣтлое. Намъ еще нужно пройти боль-
шее пространство, чтобы стать на то мѣсто, на которомъ стоитъ
теперь европейская жизнь. И мы должны идти по тому же пути
развитія, только стараясь избѣгать ошибокъ, въ которыя впадали
европейскіе народы, вслѣдствіе ложнаго пониманія прогресса.

Во всемъ этомъ мы совершенно согласны съ г. Бабстомъ. Же-
ланіе его мы раздѣляемъ, не раздѣляемъ только его надеждъ,—ни
относительно Европы, ни относительно нашей будущей непогрѣши-
мости. Мы очень желаемъ, чтобы Европа безъ всякихъ жертвъ и
взблесковъ шла теперь неуклонно и быстро къ самому идеальному
совершенству; но мы не смѣемъ надѣяться, чтобы это совершилось
такъ легко и весело. Мы еще болѣе желаемъ, чтобы Россія достигла
того, что теперь есть хорошаго въ западной Европѣ, и при этомъ
береглась отъ всѣхъ ея заблужденій, отвергла все, что было вред-
наго и губительнаго въ европейской исторіи; но мы не смѣемъ утвер-
ждать, что это такъ именно и будетъ... Намъ кажется, что совер-
шенно логическаго, правильнаго, прямолинейнаго движенія не мо-
жетъ совершать ни одинъ народъ при томъ направленіи исторіи че-
ловѣчества, съ которымъ она является предъ нами съ тѣхъ поръ,
какъ мы ее только знаемъ... Ошибки, отклоненія, перерывы необхо-
димы. Отклоненія эти обуславливаются тѣмъ, что исторія дѣлается
и всегда дѣлалась — не мыслителями и всѣми людьми сообща, а
какою-либо лишь частью общества, далеко неудовлетворявшею тре-
бованіямъ высшей справедливости и разумности. Оттого-то всегда и
у всѣхъ народовъ прогрессъ имѣлъ характеръ частный, а не все-
общій. Дѣлались улучшенія въ пользу то одной, то другой части
общества; но часто эти улучшенія отражались весьма невыгодно на
состояніи нѣсколькихъ другихъ частей. Эти, въ свою очередь, ис-
кали улучшенія для себя, и опять на счетъ кого-нибудь другого.
Расширяясь мало-по-малу, кругъ, захваченный благодѣяніями про-
гресса, задѣлъ, наконецъ, въ западной Европѣ и окраину народа,
тѣхъ мѣщанъ, которыхъ, по мнѣнію г. Бабста, такъ не любятъ наши
широкія натуры. Но что же мы видимъ? Лишь только мѣщане по-
уали на себѣ благодать прогресса, они постарались прибрать ее
въ руки и не пускать дальше въ народъ. И до сихъ поръ массѣ
рабочаго сословія во всѣхъ странахъ Европы приходится поплачи-
ваться, напримѣръ, за прогрессы фабричнаго производства, столь

пріятные для *мѣщанъ*. Стало быть, теперь вся исторія только в томъ, что актеры перемѣнились, а пьеса разыгрывается все та-же. Прежде городскія общины боролись съ феодалами, стараясь получить свою долю въ благахъ, которыя человѣчество, въ своемъ прогрессивномъ движеніи, завоевываетъ у природы. Города отчасти успѣли въ этомъ стремленіи; но только отчасти, потому что въ правахъ имъ, наконецъ, уступленныхъ, только очень ничтожная доля была дѣйствительно отъ феодаловъ; значительную же часть этихъ правъ приобрѣли мѣщане отъ народа, который и безъ того уже былъ очень скуденъ. И вышло то, что прежде феодалы налегали на мѣщанъ и на поселянъ; теперь же мѣщане освободились сами стали налегать на поселянъ, не избавивъ ихъ и отъ феодаловъ. И вышло то, что рабочій народъ остался подъ двумя гнетами и стараго феодализма, еще живущаго въ разныхъ формахъ и подъ разными именами во всей западной Европѣ, и мѣщанскаго сословія захватившаго въ свои руки всю промышленную область. И теперь въ рабочихъ классахъ накапливается новое неудовольствіе, глухо готовится новая борьба, въ которой могутъ повториться всѣ явленія прежней... Спасутъ ли Европу отъ этой борьбы гласность, образованность и прочія блага, восхваляемыя г. Бабстомъ,— за это едва ли кто можетъ поручиться. Г. Бабстъ такъ смѣло выражаетъ свои надежды потому, что предъ взорами его проходятъ все люди средняго сословія, болѣе или менѣе устроенные въ своемъ бытѣ; о роли народныхъ массъ въ будущей исторіи западной Европы почтенный профессоръ думаетъ очень мало. Онъ полагаетъ, кажется, что для нихъ достаточно будетъ отрицательныхъ уступокъ, уже ассигнованныхъ имъ въ мнѣніи высшихъ классовъ, то есть, если ихъ не будутъ бить, грабить, морить съ голоду, и т. п. Но такое мнѣніе— во-первыхъ, не вполне согласуется съ желаніями западнаго пролетарія, а во-вторыхъ, и само по себѣ довольно наивно. Какъ будто можно для фабричныхъ работниковъ считать прочными и существенными тѣ уступки, какія имъ дѣлаются хозяевами и вообще капиталистами, лордами, баронами и т. д... Милостыней не устраивается быть человѣка; тѣмъ, что дано изъ милости, не опредѣляются ни гражданскія права, ни матеріальное положеніе. Если капиталисты и лорды и сдѣлаютъ уступку работникамъ и фермерамъ, такъ ли такую, которая имъ самимъ ничего не стоитъ, или такую, которая имъ даже выгодна... Но какъ скоро отъ правъ работника и фермера страдаютъ выгоды этихъ почтенныхъ господъ,— всѣ права ставятся ни во что, и будутъ ставиться до тѣхъ поръ, пока сила и власть общественная будутъ въ ихъ рукахъ... И пролетарій понимаетъ свое положеніе гораздо лучше, нежели многіе прекраснодушные ученые, надѣющіеся на великодушіе старшихъ братьевъ въ отношеніи къ меньшимъ... Пройдетъ еще нѣсколько времени, и меньшіе братья поймутъ его еще лучше. Горькій опытъ научаетъ понимать многія практическія истины, какъ бы ни былъ человѣкъ идеаленъ. Въ этомъ случаѣ можно указать въ примѣръ на «Задумчивую Исию

вѣдь» г. Макарова, напечатанную въ нынѣшней книжкѣ «Современника». Какія необдуманныя надежды возлагалъ онъ на своего друга, какъ былъ исполненъ мечтами о благахъ, которыя должны были произрасти изъ дружескаго великодушія! И сколько разъ онъ обманывался, сколько разъ практическій другъ толковалъ ему яснѣйшимъ образомъ, что ему дѣло только до себя и что онъ, Макаровъ, тоже долженъ самъ хлопотать для себя, если хочетъ получить что-нибудь, а не надѣяться на идиллическія чувства друга. Но г. Макаровъ все не хотѣлъ вѣрить, все предавался сладостнымъ мечтамъ и дружескимъ изліяніямъ... Долго печальные опыты проходили ему даромъ и не раскрывали глазъ на настоящее дѣло... Но, наконецъ, и онъ вѣдь очнулся же, и написалъ же грозную «Исповѣдь», въ которой не пощадилъ своего гнѣва на свои же прошедшія отношенія...

А что ни гласность, ни образованность, ни общественное мнѣніе въ западной Европѣ не гарантируютъ спокойствіе и довольство пролетарія,—на это намъ не нужно выискивать доказательствъ: они есть въ самой книгѣ г. Бабста. И мы даже удивляемся, что онъ такъ мало придаетъ значенія фактамъ, которые самъ же указываетъ. Можетъ быть, онъ придаетъ имъ частный и временный характеръ, смотритъ на нихъ какъ на случайности, долженствующія исчезнуть отъ дальнѣйшихъ успѣховъ просвѣщенія въ европейскихъ капиталистахъ, чиновникахъ и оптиматахъ? Но тутъ ужъ надо бы привести на помощь исторію, которую призываетъ нѣсколько разъ самъ г. Бабстъ. Она покажетъ, что съ развитіемъ просвѣщенія въ эксплуатирующихся классахъ только форма эксплуатаціи мѣняется и дѣлается болѣе ловкою и утонченною; но сущность все-таки остается та же, пока остается попрежнему возможность эксплуатаціи. А факты, свидѣтельствующіе о необезпеченности правъ рабочихъ классовъ въ западной Европѣ и найденные нами у г. Бабста, именно и выходятъ изъ принципа эксплуатаціи, служащаго тамъ основаніемъ почти всѣхъ общественныхъ отношеній. Но приведемъ нѣкоторые изъ этихъ фактовъ.

Въ Бреславлѣ г. Бабстъ узналъ о безпокойствѣ между рабочими одной фабрики, требовавшими возвышенія заработной платы, и о прекращеніи безпокойства военною силою. Вотъ какъ онъ объ этомъ рассказываетъ и рассуждаетъ (стр. 37—38):

„Вечеромъ, провожая меня наверхъ въ мою комнату, толстый Генрихъ сообщалъ мнѣ, что гдѣ-то около Бреслава было безпокойство между рабочими. „Haben sie was vom Arbeiterkrawall gehört, Herr Professor“. — Nein. — „Es sind Gerüchte dahin gegangen, haben auseinandergejagt?“ (Послали туда кирасиръ, и они разогнали работниковъ.) Дѣло въ томъ, что на нѣкоторыхъ заводахъ хозяева понизили задѣльную плату, работники отказались ходить на работу, конечно, начали собираться, толковать между собой. Это показалось бунтомъ, послали кирасиръ, и бѣдныхъ рабочихъ заставили разойтись и воротиться къ хозяевамъ на прежнихъ условіяхъ. Начли работники дѣйствительно бунтовать, позволи они

себѣ насиліе, безчинства—тогда для охраненія общественнаго спокойствія и благо-
чинія правительство самаго свободнаго государства въ мірѣ не только имѣетъ право; а какое же дѣло правительству до того, чи
работники не хотятъ работать за низкую плату? Употребляетъ ли когда-нибудь
полиція мѣры для вынужденія у фабрикантовъ возвышенія заработной платы
Такие случаи чрезвычайно какъ рѣдки; а потому не слѣдуетъ притѣснять рабо-
чихъ, иначе всѣ проповѣди о благахъ свободной промышленности останутся пустыми
и лишеными всякаго смысла фразами. Кто смѣетъ меня принудить работать
когда я не сошелся въ цѣнѣ? „Да зачѣмъ же они соединяются въ общества? Ог-
рошаютъ общественной безопасности!“—Такъ велите фабрикантамъ прибавить за-
ложанье.—Нѣтъ, это, говорятъ, будетъ противно здравымъ началамъ политическаго
экономіи, — и на этомъ основаніи стачка капиталистовъ допускается, къ нимъ
являются даже на помощь королевско-прусскіе кирасиры, а такое кирасирско
рѣшеніе экономическихъ вопросовъ, должно сознаться, очень вредно. Оно только
доказываетъ, что въ современномъ намъ европейскомъ обществѣ *не выдохлась* *она*
старая феодальная закваска, и старыя привычки смотрѣть на рабочаго какъ на
человѣка подначальнаго и служащаго. Подобные примѣры полицейскаго влѣн-
тельства въ дѣла рабочихъ и фабрикантовъ, *къ сожалѣнію, нередки*, и мы можемъ
утѣшаться *только тѣмъ*, что *лучшіе публичные органы не перестаютъ громко и энер-*
гически возставать противъ всякаго произвольнаго вмѣшательства въ отно-
шенія между хозяевами и рабочими, капиталомъ и трудомъ. Такой произволъ
всегда наноситъ глубокія раны промышленности, и если не на всегда, то, по крайней
мѣрѣ, надолго оставляетъ горечь и озлобленіе между двумя сторонами, а послѣд-
ствія этого бываютъ всегда болѣе или менѣе опасны для общественнаго спо-
койствія“.

Разсужденія г. Бабста очень основательны; но рабочій вовсе не
считаетъ *утѣшительнымъ*, что за него пишутъ въ газетахъ почтенные
люди. Онъ на это смотритъ точно такъ же, какъ (приведемъ срав-
неніе—о ужасъ!—изъ «Свистка»!) глупый Ванька смотрѣлъ на го-
подина, который ему обѣщалъ опубликовать юнкера, скрывшагося
черезъ сквозной дворъ и незаплатившаго извозчику денегъ... Да и
мы можемъ обратить г. Бабсту его фразу совершенно въ противномъ
смыслѣ. *«Лучшіе публичные органы не перестаютъ громко и энер-*
гически возставать противъ всякаго произвольнаго вмѣшательства
въ отношенія между хозяевами и рабочими, капиталомъ и трудомъ;
и, несмотря на то, произволъ этотъ продолжается и попрежнему
наноситъ глубокія раны промышленности. Не печально ли это? Не
говорить ли это намъ о безсиліи лучшихъ органовъ и пр., когда
дѣло касается личныхъ интересовъ сословій? Г. Бабстъ можетъ
намъ отвѣтить, что до сихъ поръ они были безсильны, но, на-
конецъ, получать же силу и достигнуть цѣли. Но когда же это бу-
детъ? Да еще и будетъ ли? Призовите на помощь исторію: гдѣ и
когда существенныя улучшенія народнаго быта дѣлались просто
вслѣдствіе убѣжденія умныхъ людей, не вынужденныя практиче-
скими требованіями народа.

Но положимъ даже, что это «кирасирское рѣшеніе экономиче

скихъ вопросовъ», по выраженію г. Бабста, есть не болѣе, какъ случайность хотя оно, по его же собственному замѣчанію, *случается, къ сожалѣнію, нередко...* А что же сказать объ отношеніи большихъ фабрикъ къ ремесленному производству и о цеховомъ устройствѣ, доставившемъ такіе забавные анекдоты для пятаго письма г. Бабста? Это ужъ никакъ не случайность. Совершенно напротивъ: тутъ видимъ цѣлое учрежденіе, даже усовершенствованное въ послѣднее время, благодаря усиѣхамъ новѣйшей фабричной цивилизаціи. «Послѣ того, — говоритъ самъ Бабстъ, — какъ рушились всѣ послѣдніе остатки крѣпостной зависимости и обязательнаго труда, когда земля сбросила всѣ средневѣковыя узы, стѣсняющія свободу перехода ея изъ рукъ въ руки, слѣдовало бы, конечно, ожидать, чтобы развязали руки и остальнымъ отраслямъ народной промышленности, — но не тутъ-то было! Цеховыя учрежденія остались попрежнему въ полной силѣ; они, слѣдовательно, стѣснили свободное развитіе народнаго труда, затруднили отливъ избытка земледѣльческаго народонаселенія къ промысламъ, и были, смѣло можно сказать, главной причиной бѣдствія во многихъ, даже щедро надѣленныхъ природою и благословенныхъ, мѣстностяхъ южной Германіи» (стр. 99). И въ самомъ дѣлѣ, примѣры, приводимые г. Бабстомъ, удивительны! Напр., парикмахеры тянутъ въ судъ нѣсколько дѣвушекъ за то, что онѣ убирали волосы дамамъ, и тѣмъ учинили подрывъ парикмахерскому цеху. Плотники и столяры спорятъ между собою, кому принадлежитъ право постройки деревянной лѣстницы; токари не дозволяютъ столярамъ придѣлывать къ стульямъ точеныя и рѣзные украшенія. Одинъ цехъ пирожниковъ имѣетъ право печь только слоеные пирожки безъ варенья, а другой — пирожки съ вареньемъ, но безъ масла... Появился въ одномъ городкѣ какой-то третій сортъ пирожковъ, очень понравившихся жителямъ. Но ни одинъ изъ существовавшихъ въ городѣ пирожныхъ цеховъ не имѣлъ права печь ихъ и не позволялъ никому другому. Городъ остался безъ любимыхъ пирожковъ... Вообще, въ каждой мелочи, одинъ цехъ зорко и злобно слѣдитъ за другими, и, по словамъ г. Бабста, присутственные мѣста завалены процессами и жалобами разныхъ цеховъ на нарушеніе ихъ правъ. И между тѣмъ ограниченіе и стѣсненіе промысловъ не только не уничтожается, но еще время отъ времени пополняется и совершенствуется въ Германіи новыми постановленіями. Въ 1845 году введены ремесленные испытанія и регламентація промысловъ, и съ того времени мелкая промышленность въ Пруссіи стала упадать. Несмотря на столь близкій примѣръ, въ 1857 году въ Саксоніи сочиненъ былъ новый ремесленный уставъ, о которомъ г. Бабстъ отзывается какъ о нелѣпѣйшемъ созданіи канцелярской головы. По смыслу его, «вездѣ, при каждомъ удобномъ случаѣ, начальство имѣетъ право вмѣшиваться въ дѣла корпорацій, наблюдать за собраніями, за книгами. Ради ремесленныхъ корпорацій, женщинамъ запрещено заниматься разными ремеслами; ограничена также ремесленная промышленность въ деревняхъ; ни одна деревня не можетъ имѣть болѣе одного сапож-

ника, портного, столяра, и то только съ разрѣшенія начальства», и т. д. (стр. 100). И надо замѣтить, что все это дѣлается въ видахъ покровительства ремесламъ отъ преобладанія большого фабричнаго производства! А фабричное производство, разумѣется, процвѣтаетъ совершенно свободно и съ каждымъ годомъ все болѣе тяготеетъ надъ мелкою промышленностью. Противъ этого возможно одно средство, по замѣчанію г. Бабста,—уничтоженіе всѣхъ стѣсненій и свободная ассоціація ремесленниковъ. Но что же, — стараются ли облегчить пути къ этому тѣ классы, отъ которыхъ зависитъ въ западной Европѣ регламентація или предоставленіе свободы мелкимъ промышленникамъ? Не заботятся ли они, напротивъ, о постановленіи всякаго рода препятствій и затрудненій на этомъ пути?

Конечно, г. Бабстъ и тутъ находитъ возможность утѣшить себя весьма справедливой мыслью, что «свобода труда непременно когда-нибудь восторжествуетъ и разобьетъ въ конецъ послѣдніе остатки средневѣковыхъ промышленныхъ стѣсненій». Конечно, такъ; но мы не знаемъ, до какой степени практично такое утѣшеніе. Въ романтическихъ твореніяхъ оно очень хорошо: когда я читалъ, бывало, романы господина Загоскина и Рафаила Михайловича Зотова, то, въ сомнительныхъ случаяхъ, гдѣ герою или героинѣ угрожала опасность, я всегда успокоивалъ себя тѣмъ, что вѣдь при концѣ непременно порокъ будетъ наказанъ, а добродѣтель восторжествуетъ. Но я не рѣшался прикладывать этого разсужденія къ дѣйствительной жизни, особенно когда увидѣлъ, что въ ней этого вовсе не бываетъ...

Впрочемъ, г. Бабстъ, какъ политико-экономъ, не долженъ быть упрекаемъ въ недостаткѣ практичности...

Порукою за будущее служить для г. Бабста общественное мнѣніе. Въ доказательство великой силы его въ Германіи, онъ приводитъ слѣдующій фактъ. «Посмотрите,—говоритъ онъ,—какое великое значеніе имѣетъ здѣсь общественное мнѣніе: весной 1857 года вышелъ проектъ новаго ремесленнаго устава (о которомъ говорили мы выше), а въ іюнѣ того же года собрались ремесленники въ Хемницѣ и Росвейнѣ, протестовали противъ стѣсненія промышленности, и правительство не рѣшилось предложить устава на обсужденіе палаты». Какое, въ самомъ дѣлѣ, сильное доказательство!.. Ну, а «кирасирское разрѣшеніе промышленныхъ вопросовъ» — одобряется общественнымъ мнѣніемъ? А всѣ стѣсненія цеховъ находятъ себѣ въ общественномъ мнѣніи защиту?.. Да и послѣ протеста ремесленниковъ, что же сдѣлали, — сняли стѣсненія, расширили свободу промысловъ? Ничего не бывало. Отчего же это общественное мнѣніе, заставившее оставить проектъ новаго устава, не заставило въ то же время сдѣлать и нѣкоторыя облегченія для мелкой промышленности? Не оттого ли, что здѣсь общественное мнѣніе (какъ угодно выражаться г. Бабсту) приняло для своего выраженія форму не совсѣмъ обычную? Не оттого ли, что хемницкія и росвейнскія сходбища были — не просто отголоскомъ общественнаго мнѣнія,

крикомъ боли притѣсняемыхъ бѣдняковъ, рѣшившихся, наконецъ, крикнуть, хотя это имъ и запрещено?..

Но, разумѣется, и эта уступка была сдѣлана только потому, что новыя стѣсненія, предложенныя новымъ уставомъ, были собственно никому ненужны. Иначе *общественное мнѣніе* могло бы быть сдержано «кирасирскими возраженіями». И кто бы помѣшалъ въ Хемницѣ произвести въ 1857 г. то, что въ 1859 году производили кирасиры около Бреславля, или что въ 1849 г. прусскіе солдаты дѣлали въ Дрезденѣ? Вѣдь самому же г. Бабсту рассказывалъ старый чехъ, какъ тогда «упоенные побѣдой и озлобленные сопротивленіемъ, солдаты кидались въ дома и выбрасывали съ третьяго этажа обезоруженныхъ непріятелей, женщинъ и дѣтей, какъ они прокалывали плѣнныхъ или сбрасывали ихъ съ моста въ Эльбу» (стр. 88).

Не знаемъ, гдѣ г. Бабстъ нашелъ въ Европѣ существованіе «всеобщаго народнаго контроля» (стр. 17); но мы рѣшительно сомнѣваемся даже въ его возможности при теперешнемъ порядкѣ тамошнихъ дѣлъ. Да помилуйте, какой же тутъ «всеобщій народный контроль», когда въ одинъ мѣсяць путешествія, скача по желѣзной дорогѣ, изъ города въ городъ, г. Бабстъ имѣлъ возможность сдѣлать такого рода наблюденія и замѣтки.

Въ Берлинѣ,—говоритъ онъ,—не успѣли внести мои вещи, не успѣлъ еще я сбросить пальто, а ко мнѣ уже явились за паспортомъ,—точно изъ опасной страны пріѣхалъ. И вѣдь это все Богъ знаетъ для чего. *Завелся такой порядокъ и держится, а зачѣмъ, къ чему эти полицейскія мѣры, это нянчанье съ человекомъ и тѣмъ опасенія,—этого, я думаю, и самый рьяный защитникъ полицейскаго порядка хорошо объяснитъ не въ состояніи*» (стр. 43). Отчего же это, однако, держится? Неужели въ силу того, что всеобщій народный контроль существуетъ и сила общественнаго мнѣнія велика?

Берлинское статистическое бюро, бывшее до 1844 года самостоятельнымъ учрежденіемъ, было въ этомъ году подчинено департаменту торговли. Мѣра эта «вызвала справедливое неудовольствіе со стороны лучшихъ статистиковъ и ученыхъ Германіи; тогда сдѣлана уступка общественному мнѣнію, и въ 1848 г. статистическое бюро подчинено министерству внутреннихъ дѣлъ»... (стр. 56). Съ дрезденскимъ статистическимъ бюро поступлено еще лучше. «Еще въ маѣ,—говоритъ г. Бабстъ,—Энгель, директоръ его, жаловался, что ему нѣтъ покоя отъ камеръ, и что на него негодуетъ особенно дворянская партія (Junkerthum) за нѣкоторыя данныя, имъ выставленныя относительно дворянскихъ имѣній, за напечатаніе приблизительнаго вычисленія ихъ доходовъ... Палата саксонская сильно, должно быть, озлобилась на статистику и отказала бюро въ прибавочныхъ 2000 талерахъ, тогда какъ она же вотировала единогласно 25,000 талеровъ на монументъ въ честь покойнаго короля.... Когда я въ августѣ проѣзжалъ опять черезъ Дрезденъ,—заключаетъ г. Бабстъ,—Энгель вышелъ уже, сказали мнѣ, въ отставку и посвятилъ себя

частнымъ дѣламъ» (стр. 98)... Можетъ быть, и это тоже доказываетъ, что теперь повсюду въ Европѣ (исключая, конечно, Австрію! «гласность допускаетъ всеобщій народный контроль» и что «потребности государственныя принимаются всѣми близко къ сердцу»?

А до какой степени велика ужъ теперь сила образованія въ сравненіи съ силою грубаго произвола, объ этомъ очень краснорѣчиво можетъ свидѣтельствовать г. Бабсту исторія нѣмецкихъ университетовъ, которую онъ такъ хорошо излагаетъ въ своемъ четвертомъ письмѣ. Университетамъ ли ужъ, кажется, не быть опорамъ образованія? Вѣдь это учрежденіе вѣковое, высшее, свободное укоренившееся въ народной жизни, особенно въ Германіи. И чтъ же оказалось? Университеты ограничены, стѣснены, подвергнуты преслѣдованіямъ, въ которыхъ, по словамъ г. Бабста, каждое нѣмецкое правительство какъ будто хотѣло перещеголять другъ друга... И все это прошло такъ, какъ будто бы все было въ порядкѣ вещей. А между тѣмъ какъ безцеремонно поступали съ бѣдняками! Приведемъ слова г. Бабста (стр. 71):

„Не будемъ говорить объ Австріи, гдѣ императоръ Францъ сказалъ въ Олимпіи профессорамъ, что дѣло не въ знаніи, не въ ученіи, а въ томъ, чтобы онъ приготовили подданныхъ богобоязненныхъ и съ хорошимъ поведеніемъ, но даже Пруссія оказала въ дѣлѣ преслѣдованія особенное рвеніе. Въмѣсто того, чтобы предоставить преобразование самимъ университетамъ, вмѣсто того, чтобы обновить ихъ уничтоженіемъ остатковъ средневѣковаго устройства и расширить кругъ ихъ дѣйствія, признавъ за ними право самостоятельности и инициативы во всемъ, что дѣйствительно ихъ касается,—самостоятельности и свободы, безъ которыхъ *universitas literarum* немислима, а не глупыхъ привилегій и исключительности, — нѣмецкія правительства не тронули послѣднихъ, а наложили руку на главное, на жизненную силу университетовъ, на свободу преподаванія“.

Что же это доказываетъ? Неужели опять-таки то, что нынѣ въ западной Европѣ «уваженіе къ общественному мнѣнію въ образованномъ правительствѣ воздерживаетъ его отъ произвольныхъ распоряженій»?..

Нѣтъ, нельзя и думать, чтобы отнынѣ въ западной Европѣ всѣ недостатки и злоупотребленія могли уничтожаться, и всѣ благіе стремленія осуществляться одною силою того общественнаго мнѣнія, какое тамъ возможно нынѣ по тамошней общественной организаціи. Такъ называемое общественное мнѣніе въ Европѣ далеко не есть въ самомъ дѣлѣ, общественное убѣжденіе всей націи, а есть обыкновенно (за исключеніемъ весьма рѣдкихъ случаевъ) мнѣніе известной части общества, известнаго сословія или даже кружка, иногда довольно многочисленнаго, но всегда болѣе или менѣе своекорыстнаго. Оттого-то оно и имѣетъ такъ мало значенія: съ одной стороны оно и не принимаетъ слишкомъ близко къ сердцу тѣ дѣйствія, даже самыя произвольныя и несправедливыя, которыя касаются низшихъ классовъ народа, еще безправныхъ и безгласныхъ

а съ другой стороны и самъ произволъ не слишкомъ смущается неблагоприятнымъ мнѣніемъ тѣхъ, которые сами питаютъ склонности къ эксплуатаціи массы народной и, слѣдовательно, имѣютъ свой интересъ въ ея безправности и безгласности. Если разсмотрѣть дѣло ближе, то и окажется, что между грубымъ произволомъ и просвѣщеннымъ капиталомъ, несмотря на ихъ видимый разладъ, существуетъ тайный, невыговоренный союзъ, вслѣдствіе котораго они и дѣлаютъ другъ другу разныя деликатныя и трогательныя уступки, и щадятъ другъ друга, и прощаютъ мелкія оскорбленія, имѣя въ виду одно: общими силами противостоятъ рабочимъ классамъ, чтобы тѣ не вздумали потребовать своихъ правъ... Самая борьба городовъ съ феодализмомъ была горяча и рѣшительна только до тѣхъ поръ, пока не начала обозначаться предъ тою и другою стороною разница между буржуазіей и работникомъ. Какъ только это различіе было понято, обѣ враждующія стороны стали сдерживать свои порывы и даже дѣлать попытки къ сближенію, какъ бы въ виду новаго, общаго врага. Это повторилось во всѣхъ переворотахъ, постигшихъ западную Европу, и, безъ сомнѣнія, это обстоятельство было очень благоприятно для остатковъ феодализма, какъ для партіи уже ослабѣвавшей. Но для *мъщанъ* эта робость, сдержанность и уступчивость была вовсе невыгодна: вмѣсто того, чтобы окончательно побѣдить слабѣвшую партію и истребить самый принципъ, ее поддерживавшій, они дали ей усилиться, изъ малодушнаго опасенія, что придется подѣлиться своими правами съ остальною массою народа. Вслѣдствіе такихъ своекорыстныхъ ошибокъ, остатки феодализма и принципы его—произволъ, насиліе и грабежъ—до сихъ поръ еще не совсѣмъ искоренены въ западной Европѣ и часто выказываются то здѣсь, то тамъ, въ самыхъ разнообразныхъ, даже цивилизованныхъ формахъ...

Вообще, съ измѣненіемъ формъ общественной жизни, старые принципы тоже принимаютъ другія, безконечно-различныя формы, и многіе этимъ обманываются. Но сущность дѣла остается всегда та же. И вотъ почему необходимо, для уничтоженія зла, начинать не съ верхушки и побочныхъ частей, а съ основанія. Примѣръ этого находимъ мы опять у г. Бабста, въ рассказѣ о германскихъ университетахъ. Извѣстно, что въ XVII и въ началѣ XVIII вѣка университеты составляли реакцію всему, что только являлось новаго и смѣлаго. Это произошло вслѣдствіе того, что, утомленные въ борьбѣ съ духовенствомъ за свою самостоятельность и свободу, они отдались, наконецъ, въ руки тогдашней свѣтской власти и изъ свободной корпораціи сдѣлались чиновничьими учрежденіями. «Изъ нѣмецкихъ университетовъ,—говоритъ г. Бабстъ,—боявшихся за свои привилегіи, подчинившихся, ради сохраненія своихъ, потерявшихъ уже всякій смыслъ, корпоративныхъ формъ, вполнѣ государству, выходили самые ревностные доносчики» (стр. 68). Такимъ образомъ, вліяніе враждебныхъ обстоятельствъ, къ XVII вѣку самый принципъ университетской жизни измѣнился. Вслѣдствіе этой перемѣны

весь характеръ дѣйствій университетовъ сталъ совершенно другой вмѣсто самостоятельности водворилось раболѣпство, вмѣсто стремленія къ развитію—гордость своей неподвижностью, вмѣсто дружнаго содѣйствія всякому совершенствованію—злое стараніе мѣшать всякому развитію... Въ XVII и началѣ XVIII вѣка это выражалось въ самыхъ грубыхъ и неносныхъ формахъ. Карпцовъ представитель лейпцигскаго юридическаго факультета, хвалился тѣмъ что онъ подписалъ 400 смертныхъ приговоровъ; члены галльскаго университета настояли, чтобъ выгнанъ былъ изъ него философъ Вольфъ и дажа принужденъ былъ въ 24 часа оставить прусскія владѣнія, подъ опасеніемъ смертной казни; Спенера и Томазія, в теченіе всей ихъ жизни, преслѣдовали профессора за ихъ вольнодумное направленіе, и т. п. Но времена измѣнились; смертныя казни ужъ не въ ходу; всюду проникли новыя формы общежитія. Измѣнились формы нетерпимости и насилія и въ университетахъ германскихъ; но нетерпимость и насиліе все-таки остались. Въ доказательство этого прочтите у г. Бабста то, что онъ говоритъ о положеніи приватъ-доцентовъ въ университетахъ, и то, что рассказываетъ объ исторіи Бекгауза съ Бекингомъ. По словамъ г. Бабста во многихъ, преимущественно въ маленькихъ нѣмецкихъ университетахъ господствуетъ въ величайшихъ размѣрахъ nepотизмъ; вообще же только тотъ и достигаетъ профессуры, кто поддерживается главными ординарными профессорами. Только они имѣютъ значеніе и голосъ въ факультетѣ. Приватъ-доценты составляютъ ученый пролетаріатъ: ихъ стараются забить на второй планъ, не давать имъ читать главныхъ предметовъ, и т. п. Оттого къ нимъ и слушателей ходитъ очень мало: всѣ находятъ болѣе выгоднымъ слушать ординарныхъ профессоровъ, «потому что какъ ни свободенъ буршъ а чиновникъ и въ немъ сидитъ» (стр. 73). Такимъ образомъ тѣснили и Бекгауза, особенно когда увидѣли, что его лекціи привлекаютъ много слушателей (съ cadaго слушателя, какъ извѣстно, получаютъ деньги въ пользу профессора). На него опрокинулся цѣлый юридическій факультетъ боннскаго университета: сплетни, подсматриваніе за частной жизнью доцента, клеветы и явныя оскорбленія непрерывно преслѣдовали его. Наконецъ, когда онъ объявилъ что будетъ объяснять своимъ слушателямъ пандекты, которые досихъ поръ читались только ординарными профессорами, тогда факультетъ составилъ опредѣленіе, по которому Бекгаузъ потерялъ право читать лекціи... Бекгаузъ жаловался министру; министръ сказалъ, что тутъ его дѣло сторона. Тогда Бекгаузъ обратился къ самому королю, а между тѣмъ напечаталъ всю исторію... Журналы горячо за него вступились; «но чѣмъ кончилось дѣло, не знаю»,—заключаетъ г. Бабстъ...

Все это было въ нынѣшнемъ году, послѣ столькихъ перемѣнъ и маленькихъ реформъ въ устройствѣ университетовъ, послѣ столькихъ и столь громкихъ толковъ о коренной ихъ реформѣ... Не то же ли это самое, въ сущности, что было и въ XVII вѣкѣ? И такъ

будетъ до тѣхъ поръ, пока не измѣнится, наконецъ, самый принципъ университетскаго существованія въ Германіи—отношеніе его къ государственной власти...

Желаніе помочь дѣлу *какъ-нибудь* и *хоть сколько-нибудь*, замазать трещину хоть на короткое время, остановиться на полдорогѣ къ цѣли, удовольствоваться полумѣрой, въ надеждѣ, что потомъ *авось* это сдѣлается само собой, по неминуемымъ законамъ прогресса,—такое направленіе дѣятельности вовсе не есть исключительное свойство русскаго человѣка, какъ полагаютъ нѣкоторые патріоты. Такъ поступали дѣятели всѣхъ народовъ Европы, и отъ этой невыдержанности происходила, разумѣется, большая часть ихъ неудачъ. Въ этомъ смыслѣ мы признаемъ, что народы западной Европы постоянно впадали въ ужасную ошибку. И тѣмъ болѣе мы удивляемся, какимъ образомъ могутъ нѣкоторые ученые люди защищать благодѣтельность паллятивныхъ мѣръ для будущаго прогресса западной Европы, и отвергать реформы общія и рѣшительныя, какъ гибельныя для ея благоденствія. По нѣкоторымъ предметамъ грѣшить въ этомъ отношеніи и г. Бабстъ, хотя нужно признаться, что у него въ иныхъ случаяхъ выражаются требованія довольно широкія. Говоря о предоставленіи гражданскихъ правъ евреямъ и требуя для нихъ рѣшительной полноправности, а не частныхъ льготъ, онъ приводитъ слѣдующее сравненіе: «если вы хотите помочь разумному и дѣловому человѣку въ его предпріятіи, неужели вы найдете болѣе полезнымъ отпускать ему деньги по грошамъ, чѣмъ вручить ему весь капиталъ, чтобы онъ былъ въ состояніи приняться разомъ за производство» (стр. 11). Это сравненіе очень умно, но его слѣдуетъ относить не къ однимъ евреямъ: оно такъ же хорошо приходится и ко всѣмъ общественнымъ преобразованіямъ, необходимымъ для западной Европы... Тратиться по мелочи тамъ рѣшительно не для чего; нужно непременно пустить въ оборотъ весь капиталъ, сколько его найдется.

Впрочемъ, если правду сказать,—въ западной Европѣ часто и мелочь-то общественныхъ реформъ бываетъ фальшивая, либо краденая. Это довольно ясно, напримѣръ, по вопросу о чиновничествѣ, тоже излагаемому у г. Бабста. Видите, какое дѣло.

Бюрократія въ Пруссіи получила страшное развитіе. Штаты чиновниковъ составлены 30—40 лѣтъ тому назадъ и съ тѣхъ поръ почти не измѣнились. Тогда жалованье соотвѣтствовало цѣнамъ на жизненные потребности и было достаточно. Теперь цѣны на все возвысились, а оклады тѣ же. Чиновники и учителя стонутъ, и по всей Германіи раздаются громкіе толки о прибавкѣ имъ жалованья. Но откуда взять прибавку? «Возвышеніе окладовъ—говоритъ г. Бабстъ—не можетъ быть безъ возвышенія бюджета, безъ новыхъ налоговъ; а если вваливаютъ на общество новыя тягости, то оно, кажется, имѣетъ полное право изслѣдовать и спросить: дѣйствительны ли и законны ли тѣ государственныя потребности, на которыя требуютъ съ него денегъ» (стр. 93). И по этому изслѣдованію оказывается

вотъ что: возвышеніе задѣльной платы, при возвышеніи цѣнъ на все, дѣлается только для труда производительнаго; трудъ же прусскихъ чиновниковъ не только непроизводителенъ, но еще и обременителенъ для общества. «Въ Германіи общій и повсемѣстный говоръ, что чиновники и служащіе только мѣшаютъ своей черезчуръ навязчивой опекой развитію народной жизни, что ихъ уже слишкомъ много сравнительно съ потребностями общества, что занятія ихъ во многихъ отношеніяхъ слишкомъ велики.—Сообразивъ все это, придѣмъ къ тому результату, что большую часть занятій и дѣлъ, находящихся въ рукахъ чиновниковъ, можно и пора передать обществу, самимъ гражданамъ, распустить половину служащихъ-рабочихъ и распредѣлить всю получаемую ими доселѣ задѣльную плату между остальными» (стр. 96). Отличная мѣра! Но только что же станется съ распущенною-то половиною прусскихъ чиновниковъ? Вѣдь не надѣ забывать, что они не только чиновники, но и люди, граждане, члены этого самаго общества. Надо же имъ чѣмъ-нибудь себя пропитывать а они, кромѣ чиновническаго занятія, ни къ какому другому неспособны. Что же тутъ дѣлать съ ними? Вѣдь не перебить же ихъ поголовно; а если хоть и въ тюрьму посадишь, то все кормить надобно. Великая ли же будетъ польза самому обществу, если вмѣсто тысячи людей *quasi* дѣлающихъ что-то такое и за то получающихъ съ негоденьги, будутъ эти самыя деньги получать 500 человѣкъ, да кромѣ того обществу на шею насядетъ еще 500 человѣкъ уже рѣшительныхъ тунеядцевъ?.. А вѣдь тѣмъ непремѣнно должно кончиться, если прусское чиновничество будетъ такъ *уполовинено*, по совѣту г. Бабста. Такія *половинныя* мѣры именно и оказываются фальшивыми...

Да, счастье наше, что мы позднѣе другихъ народовъ вступили на поприще исторической жизни. Присматриваясь къ ходу развитія народовъ западной Европы и представляя себѣ то, до чего она теперь дошла, мы можемъ питать себя лестною надеждою, что нашъ путь будетъ лучше. Что и мы должны пройти тѣмъ же путемъ.—это несомнѣнно, и даже нисколько не прискорбно для насъ. Объ этомъ говоритъ и г. Бабстъ: «неужели обидно намъ, когда мы должны притти къ убѣжденію, что, оставаясь вполнѣ самостоятельными, мы все-таки проходимъ и проходили тѣ же эпохи историческаго развитія, какъ и остальные народы Европы? Не будь этого, мы были бы какими-то вырожденками человѣчества» (стр. 103). Что и мы на пути своего будущаго развитія не совершенно избѣгнемъ ошибокъ и уклоненій,—въ этомъ тоже сомнѣваться нечего. Но все-таки нашъ путь облегченъ; все-таки наше гражданское развитіе можетъ нѣсколько скорѣе перейти тѣ фазисы, которые такъ медленно переходило оно въ западной Европѣ. А главное,—мы можемъ и должны итти рѣшительнѣе и тверже, потому что уже вооружены опытомъ и знаніемъ... Только нужно, чтобы это знаніе было дѣйствительнымъ знаніемъ, а не самообольщеніемъ, въ родѣ наивныхъ восторговъ нашей безыменной гласностью и обличительной литературой.

Обольщаться своими успѣхами и приписывать себѣ излишнее значеніе всегда вредно уже и потому, что отъ этого является нѣкоторый позывъ почить на лаврахъ, умиленно улыбаясь... Наклонность къ этому всегда замѣчается у новичковъ въ дѣлѣ и у людей, отъ природы одаренныхъ нѣскольکو маниловскимъ складомъ характера; они всегда готовы сказать: «довольно! пора отдохнуть». Но, къ счастью, у насъ есть такіе энергическіе дѣятели, какъ г. Бабсть, которые своими призывами и указаніями на то, что дѣлается у другихъ, пробуждаютъ и насъ отъ дремотной лѣни... Радуюсь этому прекрасному явленію, мы рѣшились своимъ слабымъ голосомъ аккомпанировать мощной рѣчи г. Бабста, съ кроткимъ намѣреніемъ замѣтить только, что и того, что сдѣлано у другихъ, все еще слишкомъ мало...

Путешествіе на Амуръ, совершенное по распоряженію Сибирскаго отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, въ 1855 году, *Р. Маакомъ*. Одинъ томъ, съ портретомъ графа Муравьева-Амурскаго и съ отдѣльнымъ собраніемъ рисунковъ, картъ и плановъ. Изданіе члена-сореvнователя Сибирскаго отдѣла, С. Ф. Соловьева. Спб. 1859.

Статей, написанныхъ объ Амурѣ въ послѣдніе два года, такъ много, что изъ перечня ихъ могла-бы, пожалуй, составиться даже особенная отрасль русской библіографической науки. Но при всемъ томъ мы до сихъ поръ не знаемъ объ Амурѣ ничего положительнаго. Съ самаго начала, когда Амуръ только-что сталъ входить въ моду, мы знали положительно одно: что весь лѣвый берегъ Амура занятъ нами и что мы черезъ это сдѣлали великое пріобрѣтеніе. Но теперь, послѣ множества статей и всякаго рода извѣстій объ Амурѣ, и это первое положительное свѣдѣніе сдѣлалось какъ-то сбивчивымъ и неопредѣленнымъ. Съ одной стороны мы слышали и читали, что съ пріобрѣтеніемъ Амура мы сдѣлались обладателями *великолѣпнѣйшей рѣки въ мірѣ*, что мы теперь черезъ нее сдѣлались уже очень страшными *соперниками англичанъ въ Индіи*, что посредствомъ Амура суждено намъ сдѣлаться *цивилизаторами Китая*, и пр. Съ другой стороны, напротивъ, раздавались увѣренія, что мы изъ Амура не можемъ извлечь ни малѣйшей пользы, и что англичанъ въ Индіи намъ никогда не видать, какъ ушей своихъ. Кому вѣрить,—невозможно было рѣшить, потому что и заступники, и противники Амура представляли, въ подтвержденіе своихъ словъ, *факты*. Одни гово-

рили, что плаванье по Амуру лучше, чѣмъ по Миссиссипи, что тамъ давно уже устроены русскими правильныя сообщенія, что зродъ туда переселяется густыми массами, что тамъ все даютъ чу не даромъ, и пр. Другіе, напротивъ, стали увѣрять, что ниче подобнаго на Амурѣ нѣтъ и быть не можетъ, что тамъ все дорои ничего не устроено, и т. д. Повѣрять слова тѣхъ и другихъ бы чрезвычайно затруднительно потому, что повѣрка должна была и исходить на мѣстѣ; а между тѣмъ, пока статья, напечатанная въ Петербургѣ, появится на Амурѣ, и пока отвѣтъ на нее оттуда дойдетъ до Петербурга и напечатается, проходило обыкновенно полгода и иногда и больше. А въ это время къ одному неосновательно извѣстію прибавлялось уже нѣсколько другихъ, и чуть-ли не составлялась на ихъ основаніи цѣлая система разсужденій о жизни Амурѣ.

Такое положеніе нашихъ свѣдѣній объ Амурѣ продолжается и сихъ поръ. Поэтому мы съ особеннымъ нетерпѣніемъ ожидали изданія путешествія г. Маака. Г. Маакъ совершилъ экспедицію въ Амуръ, въ 1855 г., по порученію Сибирскаго отдѣла Русскаго Географическаго Общества, на иждивеніе члена-соревнователя Сибирскаго отдѣла, С. Ф. Соловьева, пожертвовавшаго на этотъ предметъ полпуда золота. На его же счетъ издано и описаніе путешествія г. Маака, о типографскомъ изяществѣ котораго было ужъ замѣчено въ «Современникѣ» мѣсяцъ тому назадъ. Изданіе украшено прекрасно сдѣланнымъ портретомъ графа Муравьева-Амурскаго; кромѣ того, къ нему принадлежитъ цѣлый альбомъ великолѣпныхъ рисунковъ, картъ и плановъ. Въ этомъ альбомѣ находится: 17 ландшафтовъ и этнографическихъ рисунковъ, шесть *таблицъ*, въ которыхъ заключаются изображенія разныхъ предметовъ, относящихся болѣею частью къ домашнему быту при-амурскихъ народовъ, — десять ботаническихъ таблицъ, геогностическая карта береговъ Амура, карта распространенія древесныхъ и кустарныхъ растений на берегахъ Амурскаго рѣки, планъ Айгуна и планъ Албазинскаго укрѣпленія. Всѣ рисунки исполнены превосходно; они болѣею частью рисованы первоначально самимъ-же г. Маакомъ, а потомъ перерисованы въ Петербургѣ художникомъ г. Гуномъ; нѣкоторая-же часть рисунковъ взята изъ портфеля г. Мейера, также посѣщавшаго Амурскій край или срисована петербургскими художниками съ предметовъ, привезенныхъ г. Маакомъ.

Какъ видно, г. Соловьевымъ все сдѣлано для изящества и великолѣпія изданія, равно какъ и г. Маакомъ употреблены всѣ усилія для того, чтобы собрать сколько возможно болѣе точныя, полезныя и разнообразныя свѣдѣнія. Отчетъ его о своемъ путешествіи занимаетъ 320 страницъ въ четвертку; онъ идетъ день за день, исполненъ ученыхъ цитатъ, сообщаетъ весьма точныя описанія мѣстностей, растений, ископаемыхъ — вездѣ съ латинскими названіями очень обстоятельно описываетъ одежду, домашнюю утварь, рыболовные и звѣроловные снаряды и т. п. при-амурскихъ народовъ, д

дасть даже филологическія и историческія соображенія. Не довольствуясь этимъ, г. Маакъ приложилъ къ своему отчету особенныя статьи: 1) геогностическія изслѣдованія; 2) обзоръ кустарныхъ и древесныхъ растений; 3) обзоръ животныхъ. Въ этихъ статьяхъ естественно-историческія свѣдѣнія представлены въ систематическомъ порядкѣ и въ ученой обработкѣ, подъ руководствомъ академиковъ Брандта, Рупрехта, гг. Максимовича, Менетріе, Бремера и Герстфельда. Въ концѣ же книги г. Маака находимъ тунгусскій лексиконъ, который составленъ г. Шифнеромъ изъ матеріаловъ, собранныхъ г. Маакомъ. Такимъ образомъ, мы видимъ, что дѣятельность г. Маака была чрезвычайно обширна и многосторонняя, за что и нельзя не отдать ему должной справедливости.

И при всемъ томъ, послѣ книги г. Маака наши свѣдѣнія объ Амурѣ не сдѣлались особенно блестящими. Причиною этого надо считать неблагопріятныя обстоятельства, помѣшавшія полной успѣшности работъ экспедиціи, въ которой находился г. Маакъ. Объ этихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ самъ г. Маакъ, въ предисловіи къ своей книгѣ, говоритъ слѣдующее:

„Всего болѣе мѣшало намъ то, что мы ѣхали чрезвычайно быстро, останавливались рѣдко, и то на короткое время. Особенно поспѣшно было путешествіе наше при плаваніи внизъ по Амуру. Чтобы дать понятіе объ этой поспѣшности и о томъ, какъ она должна была препятствовать нашимъ ученымъ дѣйствіямъ, достаточно указать на одно обстоятельство, подробно изложенное въ историческомъ отчетѣ: спускаясь по Амуру, мы проѣхали всю ту часть его теченія, которая прорѣзываетъ Хинганскій хребетъ, менѣе, чѣмъ въ сутки; а между тѣмъ эта часть Амура имѣетъ болѣе 100 верстъ, длины и берега ея представляютъ одно изъ самыхъ интересныхъ для путешественника мѣстъ во всемъ Амурскомъ краѣ. Конечно, на возвратномъ пути мы ѣхали не такъ быстро; но тогда уже время года не благопріятствовало ученымъ дѣйствіямъ и, сверхъ того, самое путешествіе было сопряжено съ такими трудностями, что работы, имѣвшія цѣлью одно только передвиженіе экспедиціи, поглощали почти все наше время.“

Но отчего-же экспедиція мчалась такъ быстро? Вѣдь она снаряжена была совершенно самостоятельно Сибирскимъ отдѣломъ Географическаго Общества, на иждивеніе г. Соловьева. Что-же могло заставить ее такъ торопиться, вопреки всѣмъ ея существеннымъ надобностямъ? На это г. Маакъ не даетъ положительнаго отвѣта, и читатель долженъ довольствоваться слѣдующими строками, въ которыхъ указывается новое препятствіе для успѣховъ экспедиціи, но все-таки не объясняется его причина.

„Много также мѣшало ученымъ работамъ экспедиціи то обстоятельство, что мы проѣхали большое пространство, и притомъ въ самое благопріятное для такихъ работъ время, не будучи совершенно независимыми въ нашихъ дѣйствіяхъ; въ продолженіе всего почти іюня 1855 г., мы ѣхали вмѣстѣ съ военнымъ отрядомъ, спускавшимся къ Маринскому посту и, составляя какъ бы часть этого отряда,

должны были во всѣхъ нашихъ дѣйствіяхъ сообразоваться съ его движеніемъ. Понятно, что, при такомъ положеніи вещей, интересы науки всякій разъ, когда приходится сталкиваться съ военными соображеніями, должны были уступать“.

Вслѣдствіе такихъ обстоятельствъ, книга г. Маака, по его собственнымъ словамъ, «не заключаетъ въ себѣ даже почти никакихъ общихъ выводовъ». Авторъ излагалъ свои наблюденія въ хронологическомъ порядкѣ, но «по недостаточности матеріаловъ, не рѣшался группировать факты и высказывать какія-либо соображенія о ихъ взаимной связи и значеніи». Такимъ образомъ, г. Маакъ самъ признаетъ свою книгу полезною лишь въ видѣ матеріала для будущихъ путешественниковъ на Амуръ и изслѣдователей этого края. Что-же касается до читающей публики, то она и книгою г. Маака далеко не избавлена еще отъ возможности кривыхъ толковъ и не основательныхъ выводовъ объ Амурѣ. Въ особенности должно это сказать въ отношеніи къ вопросамъ промышленнымъ и торговымъ, которыхъ г. Маакъ почти вовсе не касается, занятый преимущественно естественно-историческими изслѣдованіями и наблюденіями этнографическими.

Само собою разумѣется, что путешествуя въ 1855 году, г. Маакъ не могъ описывать всѣхъ прелестей и совершенствъ, недавно открытыхъ на Амурѣ нашими газетами и журналами. Все дивное устройство Амурскаго края произошло уже гораздо послѣ, преимущественно въ прошломъ году. Въ числѣ панегиристовъ Амура особенно отличался г. Д. Романовъ, въ статьяхъ своихъ, помѣщенныхъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» и въ «Русскомъ Словѣ». Отъ статей въ «Русскомъ Словѣ» онъ недавно, впрочемъ, отказался печатно, говоря, что онѣ напечатаны въ искаженномъ видѣ. Но свои *письма* въ «Русскомъ Вѣстникѣ» онъ не только не отвергалъ, а даже защищалъ въ «Сводѣ Вѣдомостей» противъ возраженій. Возраженія эти принадлежатъ г. Д. Завалишину, который въ теченіе вотъ уже двухъ лѣтъ выбивается изъ силъ, занимаясь разрушеніемъ наивныхъ восторговъ отъ Амура. Свѣдѣнія, представленныя г. Завалишинымъ, до сихъ поръ не встрѣтили серьезнаго, фактическаго опроверженія, хотя нѣкоторыя изъ его статей напечатаны уже очень давно. Первые возраженія его г. Романову помѣщены были въ «Морскомъ Сборникѣ» 1858 г., № XI. Затѣмъ была статья въ 1859 г., въ №№ V и VI «Морского Сборника» и, наконецъ, большая статья, составляющая начало цѣлаго ряда статей, въ № X «Вѣстника Промышленности» подъ названіемъ «Амуръ». Первой статьѣ г. Завалишина далъ онъ спеціальное заглавіе: «Кого обманываютъ и кто окончательно остается обманутымъ»? Во всѣхъ этихъ статьяхъ могутъ быть своего рода ошибки и недосмотры, но изъ нихъ оказывается несомнѣннымъ одно: что восторги, возбужденные Амуромъ, преждевременны и преувеличены. И не потому нельзя ихъ считать основательными, чтобы и самомъ дѣлѣ естественныя условія края были дурны; вовсе нѣтъ.

что они хороши или могут быть хороши, — въ этомъ всѣ соглашались. Но невозможно вѣрить панегиристамъ потому, что, вопреки ихъ увѣреніямъ, этими естественными условіями до сихъ поръ еще мы почти не пользовались и очень немного сдѣлали для того, чтобы хорошо ими воспользоваться впослѣдствіи. Относительно этого предмета, г. Завалишинъ говоритъ въ статьѣ «Морского Сборника», отбѣчая свои слова даже курсивомъ, для большей рельефности:

«Мы всегда считали, что собственно занятіе Амура было деломъ второстепеннымъ, не представлявшимъ ни малѣйшаго затрудненія (кроме тѣхъ, которыя сами создадимъ) и всегда вполне зависящимъ, при извѣстныхъ внѣшнихъ обстоятельствахъ, чисто отъ воли правительства, — да и не отъ приказанія даже его, а просто отъ дозволенія, — а что существенное дѣло именно и состояло въ предварительномъ подготовленіи тѣхъ условій, которыя одни могли сдѣлать занятіе полезнымъ и безъ которыхъ оно легко можетъ обратиться даже во вредъ, — не только здѣшнему краю, но и государству (Мор. Сб. 1859 г. № VII, стр. 39).

Затѣмъ, г. Завалишинъ приводитъ множество фактовъ, доказывающихъ что этого подготовленія до сихъ поръ на Амурѣ не было и нѣтъ. Статьи г. Завалишина очень растянуты, наполнены повтореніями однихъ и тѣхъ-же фактовъ, безпрестанными восклицаніями и обращеніями. Но факты, излагаемые въ нихъ, сами по себѣ очень любопытны и дѣлаются вдвойнѣ интересными по сравненію съ тѣмъ, что писали объ Амурѣ гг. Романовъ, Назимовъ, корреспонденты «Спб. Вѣдомостей», «Иркутскихъ Вѣдомостей» и пр. Мы приведемъ нѣкоторые изъ этихъ фактовъ.

Амуръ, прежде всего, разумѣется, обращаетъ на себя вниманіе, какъ новое, прекрасное средство сообщенія. И вотъ являются статьи, въ которыхъ восхваляется сообщеніе по Амуру. Г. Романовъ сообщилъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», что американцы восхищаются плаваніемъ по Амуру и находятъ его несравненно-удобнѣйшимъ, чѣмъ по Миссиссипи, потому что въ Амурѣ нѣтъ подводныхъ камней и карчей, которыми наполнено русло Миссиссипи. Г. Назимовъ напечаталъ, что еще въ 1857 г. началось правильное лѣтнее сообщеніе по Амуру и что съ будущаго года число пароходовъ удвоится. Мы, разумѣется, этому всему вѣрили. Но вдругъ является г. Завалишинъ и съ крайнимъ скептицизмомъ говоритъ въ одной статьѣ: «всякая рѣка, страна, какія-бы онѣ ни были, все это сами по себѣ (откидывая, разумѣется, крайности) большею частью безразличныя вещи, и будутъ всегда преимущественно тѣмъ, что сумѣютъ изъ нихъ сдѣлать... Вѣдь была-же Миссиссипи слишкомъ 200 лѣтъ въ рукахъ французовъ и испанцевъ; а что они изъ нея сдѣлали, несмотря на всѣ природныя ея преимущества? Къ чему-же говорить это г. Завалишинъ? Да все къ тому-же, чтобы доказать свою мысль, что Амуръ самъ по себѣ — ничего, и что сдѣлано на немъ — очень мало. Въ подтвержденіе своихъ словъ, г. Завалишинъ приводитъ и факты. Онъ говоритъ: здѣсь построены были пароходы «Аргунь» и

«Шилка»; «Аргунь» отправилась въ 1854 г. и *не возвращалась* оказавшись неспособною итти противъ теченія: «Шилка», отправясь въ 1855 году осенью, недалеко отъ Шилкинскаго завода стала на мель и замерзла; въ 1855 г. спущена на устье Амура; но попытка итти противъ теченія и ей не удалась. Кромѣ этихъ двухъ ходилъ по Амуру пароходъ «Надежда»; но и онъ, по тѣснотѣ мѣщенія и по глубокой осадкѣ, оказался неудобнымъ, и послѣ 1855 г., когда на немъ поднимался вверхъ по Амуру графъ П. Тятинъ, не доходилъ болѣе до Усть-Зей. Затѣмъ оставались два парохода, полученные изъ Америки: «Лена» и «Амуръ». Но «Лена» въ 1857 г. совершила только одинъ рейсъ, и то въ одну только сторону, во всю навигацію; она поднялась до Шилкинскаго завода тамъ и зазимовала. Г. Назимовъ восхищался быстротою сообщенія, высчитавъ, что «Лена» совершила въ 30 дней 3000 верстъ но оказалось, что верстъ было не 3000, а съ небольшимъ двѣ, а дней не 30, а болѣе; оказалось также, что на «Ленѣ» ѣхалъ генераль-губернаторъ, который не доѣхалъ на пароходѣ до конца, и бросилъ его. «Слѣдовательно, *была причина*,—говоритъ г. Завалишинъ,—что онъ бросилъ пароходъ? Что-же ожидать тогда частному лицу? А мы всегда говорили, что не можемъ принимать въ счетъ проѣздовъ какого-нибудь значительнаго лица или чрезвычайнаго нарочнаго, для которыхъ дѣлаются особенныя напряженія, а *правильное* сообщеніе и *возможность* сообщенія принимаемъ только тогда, когда они существуютъ для всѣхъ и cadaго» («Мор. Сб.» № 5, стр. 16). А этого-то именно и не находить на Амурѣ г. Завалишинъ. Въ 1858 г. «Лена», по его словамъ въ другой статьѣ («Мор. Сбор.», № 7), плавала столь-же неудачно: отправясь отъ Шилкинскаго завода весною 1858 г., стала на мель, не доходя до Зей, повредилась, дотащиась до Зей, послѣ исправленія медленно поднялась до Стрѣлки, опять спустилась до Зей, и опять кое-какъ послѣ неуспѣшнаго плаванія, безпрестанно становясь на мель, дошла въ началѣ августа до Срѣтенска, гдѣ и осталась на зиму. Остается послѣдній пароходъ «Амуръ»: этотъ въ 1858 г. дошелъ разъ до Усть-Зей, а возвращаясь назадъ, сталъ на мель, да тутъ и замерзъ. По этому поводу было напечатано, что «Амуръ» *зимовалъ* здѣсь г. Завалишинъ замѣчаетъ, что это напоминаетъ *зимнія квартиры* Наполеона въ Россіи. Въ 1858 г. «Амуръ» три раза доходилъ до Усть-Зей, — и то въ послѣдніе два раза уже не вплоть, чтобы и попасть на мель, какъ въ первый разъ. Что-же касается до увеличенія числа пароходовъ на Амурѣ, это было простое предположеніе которое наши наивные публицисты не усомнились выдать за дѣй уже рѣшенное и осуществленное... Въ 1858 г. сообщенія по Амуру производились опять-таки тѣми-же единственными «Леною» и «Амуромъ».

Но изобрѣтеніемъ небывалыхъ пароходовъ не ограничилось усердіе добрыхъ людей, прославлявшихъ наши успѣхи на Амурѣ. Увѣряли (г. Романовъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ»), что уже и безпре

рывныя почтовыя сообщенія устроены—лѣтомъ на лодкахъ, зимою на тройкахъ, съ колокольчиками. При этомъ г. Романовъ съ такою же гордостью, съ какою недавно «Русскій Вѣстникъ» возвѣщалъ, что «русскій народъ благодушенъ и вѣренъ» (см. «Р. В.» 1859 г., № 20),—прибавлялъ: «ни одно государство въ свѣтѣ не можетъ еще *могъ* *мѣстатся* (какъ они дорожатъ *хвастаньемъ*!!) непрерывнымъ сухопутнымъ путемъ отъ морей одной части свѣта въ другую». А у насъ, говоритъ, съ нынѣшней осени (1858 г.) начинается такое сообщеніе: «вы можете взять себѣ подорожную изъ всякаго уѣзднаго города до Николаевска, садитесь въ кибитку, и нигдѣ васъ не потревожатъ верховою или собачьею ѣздою до самаго Восточнаго океана». Дѣйствительно, очень заманчиво; но г. Завалишинъ увѣряетъ, что и это вздоръ. Онъ приводитъ вотъ какіе факты, за 1858 годъ. Письмо изъ Николаевска *отъ 15 іюля* получено въ Читѣ *1 ноября*. Отправившійся изъ Николаевска *въ началѣ августа* штабъ-офицеръ доѣхалъ до Читы *14 ноября*. Съ тѣхъ поръ были курьеры и пассажиры, доѣхавшіе на послѣднемъ пароходѣ до Благовѣщенска; но почты по Амуру изъ Николаевска не слыхали и ничего не получали; а слышали, что было двѣ почты *черезъ Аянъ*. Даже изъ Благовѣщенска (т. е. Усть-Зои) письмо *отъ 2 августа* получено въ Читѣ *20 сентября*. Была-ли еще разъ почта, — не могли дознаться: но что въ послѣдніе мѣсяцы не было почты даже изъ Благовѣщенска, въ томъ удостовѣряетъ, по словамъ Завалишина, посланный нарочно адъютантъ, чтобы узнать отчего нѣтъ почты. На лодкахъ люди, имѣющіе всѣ средства, отправясь немедленно по вскрытіи рѣки изъ Маріинска, прибыли въ Читу 30 іюля. Осенью курьеры проѣзжали отъ Благовѣщенска до Читы не менѣе какъ въ мѣсяцъ. Столько-же времени ѣдутъ и зимнимъ путемъ, даже по казенной надобности. Впрочемъ, г. Завалишинъ увѣряетъ, что вообще лошадей здѣсь обязательно предписано давать *только* курьерамъ; прочіе должны дѣлаться какъ знаютъ. Къ этому онъ прибавляетъ, что по Шилкѣ нѣтъ проѣзда, а что отъ Стрѣлки должны сворачивать по Аргуни, по стародавнимъ станицамъ. Послѣдніе отряды казаковъ, бывшихъ въ нарядѣ на сплавѣ, вмѣсто исхода августа и сентября, какъ рассчитывали, выходили только въ декабрѣ (см. «Мор. Сборн.» № 7, и «Вѣст. Пром.» № 10).

Факты такого рода не могутъ, конечно, свидѣтельствовать въ пользу непрерывныхъ сообщеній и правильныхъ почтъ въ Приамурскомъ краѣ, вплоть до Николаевскаго порта. И если увѣренія г. Завалишина справедливы (а они никѣмъ не опровергнуты), то мы вполне понимаемъ его сожалѣніе о тѣхъ бѣднякахъ, которые, будучи обнадѣжены увѣреніями панегиристовъ, вздумаютъ отправиться въ пріятное путешествіе по Амурскому краю и разочтутъ свое время и издержки по возгласамъ восторженныхъ публицистовъ.

Впрочемъ, несмотря на полное довольство всѣмъ сдѣланнымъ, самъ г. Романовъ признаетъ полезнымъ устроить желѣзную дорогу отъ залива де-Кастри до Джая, потому особенно, что 300 верстъ

отъ устья теченіе Амура представляетъ большія трудности для плаванія... Американецъ Коллинсъ представилъ проектъ другой желѣзной дороги—отъ Читы до устья Селенги, гдѣ уже предполагалось построить *Новый Аспинваль*. Само собою разумѣется, что сначала оба предположенія привѣтствованы были съ восторгомъ. Но г. Завалишинъ напомнилъ о перегрузкахъ, распутицахъ и пр., и вообще наскзалъ столько неудобствъ Коллинсу, что тотъ измѣнилъ свой проектъ. Но какое движеніе имѣлъ онъ потомъ,—неизвѣстно. Что же касается до г. Романова, то ему г. Завалишинъ ставитъ на видъ слѣдующія обстоятельства. Г. Романовъ хотѣлъ заказывать желѣза на Петровскомъ заводѣ и сплавлять по Амуру; но для желѣзной дороги нужно нѣсколько сотъ тысячъ пудъ, а Петровскій заводъ выдѣлываетъ всего до 30,000 п. въ годъ, да и то желѣзо незавиднаго качества и дорого: цѣны самому дурному сорту петровскаго желѣза въ Читѣ—1 р. 60 к., а это—починный пунктъ сплава. Говорятъ, что на Петровскомъ заводѣ изготовлялись рельсы для дороги на золотые прииски въ Нерчинскихъ заводахъ и обошлись въ 4 р. с. за пудъ. Да кромѣ того, надо для дороги и работниковъ, и для нихъ хлѣбъ. А взять этого всего—негдѣ рѣшительно. Самый сплавъ производить некому: сплавъ самый дешевый, по подряду купцовъ Замина и Серебренникова, былъ 50 коп. съ пуда, и хотя эту цѣну находили недешевою, но въ слѣдующемъ году и за такую плату не могли найти вольныхъ подрядчиковъ и принуждены на 1858 г. возложить сплавъ на казачье войско за ту же цѣну. Но слухи о тяжестихъ и бѣдствіяхъ, претерпѣваемыхъ при этомъ рабочими, произвели то, что казаки, назначенные по наряду на сплавъ, платили отъ себя наемщикамъ до 40 к. за одну сплавку, отдавая, сверхъ того, все, что приходилось получать отъ казны. Вслѣдствіе того, на 1859 годъ производили сплавъ казенными рабочими, употребивъ въ дѣло даже каторжныхъ. А чтобы достать людей, сама казна прибѣгала, по словамъ г. Завалишина, къ различнымъ изворотамъ.

„Такъ въ 1857 г. придрались къ недоимкамъ, изъ которыхъ нѣкоторыя произошли вовсе не отъ вины казаковъ, а отъ собственнаго недоразумѣнія начальства, незнавшаго, какъ истолковать двухлѣтнюю льготу отъ повинностей высланнымъ изъ Читы казакамъ, и включать ли въ нее денежный сборъ установленный въ 1851 г.; какъ вдругъ, въ 1857 г., велѣно было не считать его включеннымъ въ льготу, и потребовали, сверхъ текущихъ повинностей, за два старшихъ прежніе года. Я лично знаю одного казака, которому, съ тремя малолѣтними пришлось заплатить за четыре души за два года вдругъ, кромѣ настоящаго, и котораго взяли послѣдняго работника, единственнаго въ семьѣ изъ шести душъ. Если, слѣдовательно, при 50-ти копѣечной платѣ, надо прибѣгать къ такимъ средствамъ, то можно посудить, что будетъ стоить дѣйствительно сплавъ съ пуда въ операциі, гдѣ за все надо будетъ платить по вольнымъ цѣнамъ... Для полноты расчета, надо прибавить, что и въ 1857 и въ 1858 годахъ многіе казаки, съ времени наряда на работы по сплаву, возвратились домой черезъ девять мѣсяцевъ кромѣ того, въ 1858 году было много больныхъ“ („Вѣст. Пром.“ № 10, стр. 55

Если бы казна и даромъ получала работу, то, по замѣчанію г. Завалишина, это еще не могло-бы служить основаніемъ для расчетовъ въ частномъ предпріятіи. Въ казенномъ дѣлѣ могутъ быть обстоятельства и случаи, которые совершенно не должны входить въ кругъ промышленныхъ выгодъ, хотя сами по себѣ эти обстоятельства и имѣютъ, можетъ быть, свою долю вліянія на ходъ торговыхъ и промышленныхъ операцій. Для примѣра г. Завалишинъ рассказываетъ такой случай въ одной изъ мѣстностей Амурскаго края.

„Намъ извѣстенъ случай (а мы говоримъ только о такихъ, которые не остались безызвѣстны и начальству),—что люди, назначенные вывозить только лѣсъ, рубленный подъ надзоромъ офицера совсѣмъ другими, потеряли 15-дней при сдѣлѣ этомъ самому офицеру, браковавшему у нихъ лѣсъ, который они не рубили, заставлявшему вырубить новый и кончившему приѣмкою забракованнаго“ („Вѣстн. Пром.“ № 10, стр. 54).

Подобные случаи, повторяющіеся, какъ извѣстно, во многихъ мѣстахъ Россійской имперіи, вообще весьма невыгодно дѣйствуютъ на экономическое развитіе страны. Немудрено, что и на Амурѣ они производятъ то же дѣйствіе, уничтожая такимъ образомъ всѣ чудеса прогресса, торопливо провозглашеннаго опрометчивыми публицистами... Размышляя о подобныхъ случаяхъ, мы можемъ даже до нѣкоторой степени опредѣлить и причину такой опрометчивости публицистовъ нашихъ; они взглянули на дѣло очень абстрактно,—взяли въ расчетъ самую страну съ ея производительными силами, но не приняли въ соображеніе всей обстановки дѣла,—то есть людей и нравовъ, для которыхъ эта страна открываетъ новое поприще...

Но возвратимся къ желѣзной дорогѣ, проектированной г. Романовымъ.

По расчету г. Романова, нужно 5000 рабочихъ для желѣзной дороги, и онъ рассчитываетъ въ этомъ случаѣ на мѣстные батальоны. Но, по словамъ г. Завалишина, линейныхъ батальоновъ отъ Кяхты до Николаевска всего 4, и изъ нихъ нельзя набрать 5000 рабочихъ. Что же касается до казаковъ, то брать ихъ на работу не годится уже и потому, что они занимаются хлѣбопашествомъ, и «всякій взятый изъ нихъ работникъ уменьшитъ на нѣсколько десятинъ производящую хлѣбъ пашню». И безъ того уже разныя служебныя и неслужебныя требованія разстроили у казаковъ хозяйство въ Нерчинскомъ краѣ, главнымъ для продовольствія Амура. Обстоятельства эти произвели то, что пашня должна была уменьшиться на нѣсколько тысячъ десятинъ; а между тѣмъ, требованія казны на хлѣбъ увеличились, вслѣдствіе передвиженія войскъ въ Забайкальскій край... Еще въ 1852 г. представленъ былъ офиціальныи расчетъ, что каждый взрослый человѣкъ долженъ обрабатывать *шесть* десятинъ, чтобы могли быть удовлетворены обыкновенныя требованія на хлѣбъ въ здѣшнемъ краѣ. А тутъ еще безпрестанно наряжаютъ казаковъ-хлѣбопашцевъ на работы, которыя, равно какъ и требова-

ніе на продовольствіе, все увеличиваются съ приобрѣтеніемъ Амура. Естественно, что при такихъ условіяхъ отнятіе 500 человѣкъ отъ пашни будетъ довольно чувствительно для края, и г. Завалишинъ увѣряетъ даже, что самымъ этимъ работникамъ нечего ѣсть будетъ: негдѣ будетъ достать 120,000 пудъ муки, которые, по его вычисленію, нужны для 5000 работниковъ. Хлѣбъ и то уже прошлую зиму былъ въ Читѣ 80—90 копѣекъ, а провозъ отъ Верхнеудинска до Читы (436 верстъ) былъ рубль серебромъ... («Мор. Сбор.» № 5). А г. Романовъ возвѣстилъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ», что, «благодаря новому пути, даже въ Петропавловскѣ мука продается, вмѣсто прежнихъ трехъ рублей, по 99 копѣекъ!»...

Объяснивши всѣ удобства путей сообщенія въ Амурскомъ краѣ. панегеристы, разумѣется, рѣшили, что черезъ Амуръ должна происходить иностранная торговля Сибири. А рѣшивши это, они немедленно пришли въ умиленіе отъ ея широкаго развитія. «Взглянуть на зарождающуюся иностранную торговлю Сибири, — такъ просто сердце радуется», — восклицаетъ г. Романовъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». «1857-й годъ былъ, можно сказать, первымъ годомъ правильной торговли и начала торговаго пароходства по Амуру. и въ этотъ первый годъ цѣнность всѣхъ грузовъ, передвигавшихся по Амуру, простиралась до 1,000,000 руб. сер. Что же будетъ далѣе при такомъ богатомъ началѣ? И теперь уже жители Иркутска пьютъ кофе съ здѣшнимъ сахаромъ, курятъ сигары, привезенныя черезъ Николаевскъ изъ Манилы и Гаваны, изъ Якутска дѣлаютъ заказы винъ здѣшнимъ американскимъ торговцамъ, и т. д. Не чудаки-ли тѣ люди, которые утверждаютъ, что Амуръ вздоръ и что, кромѣ обремененія издержками, онъ Россіи ничего не принесетъ полезнаго?»... Къ этому прибавлялись извѣстія объ 11 судахъ, бывшихъ уже въ маѣ въ Николаевскѣ, о сахарѣ, доставленномъ по Амуру и продававшемся по 7 р. 50 к. за пудъ въ Иркутскѣ, и пр. Тутъ-же, разумѣется, изъяснялись благія желанія. чтобы частная предприимчивость взялась за дѣло, и раскрывались разныя надежды и ожиданія...

Все это встрѣчаемо было съ великимъ сочувствіемъ большею частью людей, привыкшихъ видѣть въ розовомъ свѣтѣ и будущность и все, что совершается въ *настоящее время, когда, и пр...* Но вотъ нѣсколько *общихъ* соображеній, представленныхъ по этому предмету г. Завалишинымъ въ «Морскомъ Сборникѣ» (№ 7, стр. 48—50).

„Часто, чуть не безпрестанно, дѣлаютъ у насъ упрекъ частной дѣятельности въ недостаткѣ предприимчивости... Полно, такъ ли? Это даетъ поводъ взглянуть въ это дѣло попристальнѣе. *Будьте увѣрены что когда какое-либо явленіе доходитъ до степени общности, то причины его заключаются уже не въ однихъ только людяхъ.* Вездѣ, гдѣ массы подвергаются незаконнымъ требованіямъ со стороны казны, они вымещаютъ это на частныхъ лицахъ. Тогда законная частная дѣятельность становится невозможною; мѣсто ея занимаетъ незаконная, что, въ

ую очередь, опять отражается на казнѣ. Такимъ-то образомъ въ этомъ круговоротѣ все сдвигается съ принадлежащаго ему законнаго и выгоднѣйшаго мѣста; какое правильное движеніе становится невозможнымъ; и вмѣсто его, къ общей бѣдѣ и тратѣ силъ, являются безпорядокъ и случайность; предприимчивость не можетъ существовать только тамъ, гдѣ есть прочное, разумное основаніе для расчета и соображеній въ постоянныхъ элементахъ и строгомъ законномъ огражденіи частной дѣятельности. Великое было бы, конечно, дѣло добиться отъ насъ (и въ этомъ-то и будетъ великая заслуга, несомнѣнно ожидаемая отъ образованія) сознанія справедливости законныхъ требованій; но никакими усиліями, никакими софизмами не добьются никогда спокойнаго подчиненія незаконнымъ требованіямъ, безъ того, чтобъ человекъ не искалъ, въ свою очередь, вознаградить себя за это на счетъ другого, да такъ еще, чтобъ урвать при случаѣ и на запасъ. И вотъ начинается между большинствомъ круговая порука наслѣій и обмановъ; бѣда тому только, кто руководствуется иными правилами: онъ будетъ непремѣнно смолотъ между двумя жерновами.

„Возьмемъ примѣръ: человекъ подражается у казни строить домъ. Что по настоящему онъ долженъ принять въ соображеніе? Цѣнность матеріала, работы, продолжительность затраты капитала, разумные проценты. Все производство обезпечить онъ, повидимому, требуемыми закономъ документами; но едва прикоснулся къ дѣлу, какъ и начинаются всевозможныя трибуляціи. Работники не явились въ время; отговариваются, что ихъ гоняли туда-то, и туда; вмѣсто ихъ наскоро нанимаются другіе, дороже. Матеріалъ не доставляется — потерялъ-де лошадей, на такомъ-то нарядѣ; вмѣсто онаго покупается или самимъ подрядчикомъ или, въ счетъ его, другой матеріалъ; часто вся работа останавливается. Подрядчику, конечно, предоставляется взыскивать съ виновныхъ, съ ихъ поручителей. Но когда еще онъ добьется до удовлетворенія? Иногда проходятъ года... Да это требуетъ и расходовъ и досуга, а между тѣмъ время идетъ. Иногда кончается тѣмъ, что работа передается другому, и первый подрядчикъ терпитъ убытокъ. Впередъ наука, — говоритъ онъ: — и при слѣдующемъ подрядѣ, непременно приметъ все это въ расчетъ: и лишнюю на запасъ заготовку матеріала, и заподраженіе лишнихъ людей, и другіе извѣстные расходы, и заломить цѣну вдвое; или, если сумеетъ поставить силу на своей сторонѣ, самъ прижметъ рабочихъ, второстепенныхъ поставщиковъ; поставитъ похуже матеріалъ, выгадывая на всемъ этомъ... Теперь возьмемъ другой примѣръ: если казна беретъ у хлѣбопашца муку не по принадлежащей цѣнѣ, онъ постарается непремѣнно уменьшить убытокъ дурнымъ качествомъ ея, подмѣсю; если будетъ затрудненіе при сдачѣ — будетъ выгода развѣ приѣмщику, а провіантъ все-таки поступитъ дурной; и это неминуемо отразится на тѣхъ, кто долженъ будетъ волею и неволею употреблять его, и выразится болѣзнями и нерѣдко смертностью“.

Исходя изъ подобныхъ соображеній, г. Завалишинъ не соглашается съ г. Романовымъ въ томъ, что *«край развернется быстро, если будетъ идти такъ же, какъ въ настоящее время»*, и что нужно только дать туда *денегъ и людей*. Напротивъ, онъ приводитъ факты, по которымъ видно, что край вовсе не такъ хорошо устроился. Какъ увѣряютъ, и что денегъ и людей много потрачено. — и все понапрасну. Показанія г. Завалишина говорятъ слѣдующее: вмѣ-

сто *одиннадцати* иностранныхъ судовъ *въ мѣсяцъ*, оказалось *и* *тѣмъ* всего *пять*, и то ничтожнаго количества тоннъ. Сахаръ только въ Иркутскѣ не продавался по 7 р. 50 коп., но и въ Благовѣщенскѣ стоилъ 14 рублей, а на устьи Амура—по 9 р., что провозъ отъ устья до Благовѣщенска обходится едва-дороже, чѣмъ провозъ отъ Нижняго до Кяхты. Изъ этого г. Завалишинъ дѣлаетъ такое сравненіе: «съ одной стороны, сахаръ Россіи, оплатившій или пошлину въ пескѣ, или акцизъ въ Сибири, привезенный гужемъ за 6 и болѣе тысячъ верстъ, не продавался въ Иркутскѣ по 14 р., и даже продавался по 10 р. съ другой стороны—худшаго качества сахаръ, при водяной досылкѣ моремъ и на великолѣпной, не полагающей препятствій рѣкѣ, платя ни пошлины, ни акциза, продается въ Благовѣщенскѣ по 14 р.; во сколько же онъ обошелся бы съ доставкою въ Иркутскъ? А по общему отзыву, эта часть пути—самая трудная и самая дорогая для проѣзда, тѣмъ болѣе для провоза. Въ самомъ дѣлѣ, соображеніе это довольно занимательно. Къ сожалѣнію, для панегиристовъ Амура, оно не имѣло случая поддаться на практикѣ, потому что, по увѣренію г. Завалишина «не только въ Иркутскѣ, но и во всемъ Забайкальи, *никогда* *было* *еще*, *и* *до* *сихъ* *поръ* *нѣтъ* *привоза* *никакихъ* *капитальныхъ* *товаровъ* *по* *Амуру*, *въ* *скольнико-нибудь* *значительномъ* *количествѣ*» («Вѣстн. Пром.» № 10, стр. 61). Оттого *небывалой* *дешевизны* здѣсь дѣйствительно *нѣтъ*; все попрежнему выписывается изъ Россіи, и какъ это ни дорого обходится, но все-же дешевле, черезъ Амуръ.

Такимъ образомъ оказывается, что привозъ не былъ особымъ обильнымъ до сихъ поръ. Остается еще торговля мѣстными изведеніями, особенно вывозъ ихъ за-границу. Въдѣ и на это рассчитывали восторженные поклонники пріобрѣтеннаго нами А. Но г. Завалишинъ поражаетъ ихъ и насъ такимъ плачевнымъ мѣчаніемъ: «какой ужъ тутъ отпускъ за-границу, если съ русскимъ продаютъ сухари по 6 рублей, а свѣжее мясо до 12 р. с. за пудъ!» Въ другой статьѣ онъ объясняетъ, что цѣны стояли въ зиму съ 1857 на 1858 г., по случаю потопленія казеннаго скота, и что при этомъ продавцы требовали еще отъ купателей, чтобы тѣ на каждый фунтъ хорошаго мяса брали съ себя фунтъ дурного... По такимъ-то расчетамъ и вышла торговля на Амурской цѣнности въ миліонъ... При такихъ условіяхъ не только отпускать за-границу было нечего, но и самимъ-то, пожалуй, годнѣе было бы покупать мясо, которое бы привозилось къ Амуру въ консервахъ изъ Англіи. А къ этому еще г. Завалишинъ прибавляетъ слѣдующія обстоятельства:

„Если мука и крупа приходятъ сюда подмоченными, сушеная капуста тронувшись съ мѣста, оказывается съ червями, масло—съ саломъ, медъ и съ водою, постное масло — вытекшимъ, солонина до отправленія—испор-

такъ какая тутъ еще будетъ торговля отпускная, когда частный привозъ съ избыткомъ поглощается своими требованіями, какъ свидѣлствуютъ цѣны, показывая въ то же время и дороговизну сѣлава (которая будетъ еще неминуемо возвышаться), — и что вы при этихъ цѣнахъ будете отпускать за-границу? При томъ, отпускъ за-границу требуетъ другихъ пріемовъ и привычекъ, нежели обычныя у насъ. Голодный все съѣстъ; а для заграничнаго торга нельзя рассчитывать на это обстоятельство: нужно нѣчто иное. А кому же неизвѣстны грязность приготовления и неакуратность, а иногда и недобросовѣстность нашей торговли“?

Остается торговля съ прибрежными жителями по Амуру, и она также нашла себѣ панегиристовъ. Нѣкто г. Паргачевскій, служившій приказчикомъ у г. Зимина и самъ для себя пріобрѣтавшій соболей въ мѣнѣ съ инородцами, увѣрялъ, что русскіе поступаютъ въ торговлѣ съ инородцами такъ благородно и великодушно, какъ никогда не поступалъ ни одинъ народъ въ мірѣ: никого не обижаютъ, не обманываютъ, пріобрѣтаютъ всеобщее сочувствіе и довѣріе, и пр. Вслѣдствіе всего этого г. Паргачевскій выводитъ, между прочимъ, что нужно запретить манчжурамъ продавать водку. Но противъ всѣхъ такихъ увѣреній и требованій г. Завалишинъ возражаетъ вотъ что («Вѣстн. Пром.» № 10. стр. 64—65):

„Во всемъ этомъ нѣтъ правды, и мы не понимаемъ, что за несчастная страсть и манера увѣрять въ невозможномъ и, въ противорѣчіе собственнымъ сужденіямъ и вопреки постоянно повторяющемуся опыту предъ глазами, утверждать, что русскіе поступаютъ иначе, особливо въ приложеніи къ настоящему случаю, видя, какой сортъ людей дѣйствуетъ въ торговыхъ и другихъ предпріятіяхъ по Амуру, гдѣ притомъ и надзоръ, и управа надъ ними почти невозможны. Да, пора бы, право, обратить вниманіе и на то противорѣчіе, что, когда дѣло дойдетъ до подробнаго разбора фактовъ, то все наполнено и частными и офиціальными даже признаніями о печальныхъ явленіяхъ по всѣмъ отраслямъ и частной и общественной дѣятельности, до того, что мы уже хвалимся (а вѣдь все то же, все прежняя замашка всѣмъ тщеславиться) тѣмъ, что безпощадно обнажаемъ свои язвы; когда дойдетъ до непосредственнаго приложенія, до того, чтобы имѣть съ кѣмъ-нибудь дѣло, то и начальники, и частные люди объявляютъ цѣлыя сословія мошенниками, что, конечно, такъ же несправедливо, какъ и общія похвалы. А лишь коснется до общихъ обзрѣній, до возгласовъ частныхъ и офиціальныхъ, тотчасъ русскіе являются образцовыми людьми, идеалами безкорыстія, самопожертвованія, исполнительности и пр... Итакъ, относительно утвержденій г. Паргачевского, повторимъ, что, зная, какіе люди тутъ большею частью дѣйствуютъ, сразу поймешь, что должно происходить, и что есть вещи и дѣла, которыя невозможно, чтобъ не происходили, что торговля должна идти средствами *per fas et nefas*... А что эти торговля продѣлки не любятъ и тутъ гласности, — доказательствомъ самъ г. Паргачевскій, который, по словамъ бывшаго его хозяина Зимина, не хотѣлъ дать отчета, какими средствами онъ, независимо отъ пріобрѣтенныхъ для хозяевъ, пріобрѣлъ и для себя соболей. Увѣренія, что русскіе вели себя будто бы примѣрно, опровергаются вполне предписаніемъ начальства, предъ отправленіемъ въ 1857 году, гдѣ прямо говорится, что дошло до свѣдѣній его о насиліяхъ

и обманахъ, что русскіе продавали винтовки и порохъ даже и тогда, когда не вѣстно было, не употребятъ ли ихъ противъ насъ самихъ. Это не тайна, и то, что торговали и служащіе, которые, какъ неплатящіе повинностей и готовомъ содержаніи, находились, конечно, въ выгодныхъ условіяхъ для торговли особенно подмѣшивая при томъ немножко обмана. Что пріобрѣтенные такимъ образомъ мѣха они могли продавать съ выгодною для себя и съ большею выгодною для купца особенно, когда продавецъ голоденъ,—это ясно; но вѣдь не такая торговля можетъ имѣть залогъ будущаго развитія. Что касается до желанія, чтобъ запретить манчжрамъ продавать водку, то послѣ всего, что печатается объ откупахъ, очень понимаемъ что русскимъ хочется имѣть такой выгодный товаръ (кто не знаетъ, какъ вренъ расчетъ на слабость инородцевъ къ водкѣ и табаку) въ своихъ рукахъ вѣдь, не для своего же употребленія перекупаютъ они сами китайскую водку манчжурскихъ торговцевъ? Что обманывали фальшивою монетою, оловянными натертыми ртутью рублями, — это доказываютъ слѣдственные дѣла; относительно же довѣрчивости инородцевъ къ русскимъ и скрытности противъ манчжуръ и инихъ, — это точь-въ-точь, какъ у насъ все простонародье, особенно изъ бурятъ ни за что не станеть говорить откровенно при русскихъ чиновникахъ, а при нихъ притѣсненія—и ни при комъ, — даже о томъ, что и помимо ихъ сдѣлаю гласнымъ. А развѣ можно при томъ предположить, чтобъ съ при-амурскими инородцами русскіе обращались лучше, чѣмъ со своими“?

Скептическія положенія г. Завалишина, давно уже имъ повторяемыя въ нѣсколькихъ газетахъ и журналахъ, обратили на себѣ нѣкоторое вниманіе хвалителей нашихъ амурскихъ успѣховъ и вслѣдствіе того, напримѣръ, въ Иркутской газетѣ, появились разныя сужденія въ промахахъ и исправленія прежде сообщенныхъ извѣстій. Но все это скрашивалось тѣмъ, что, конечно, теперь еще много нѣтъ, время еще не настало, однако, скоро оно настанетъ, и и станеть непременно, какъ только край станеть заселяться. *«Дети и людей!»* вопіялъ г. Романовъ въ *«Русскомъ Вѣстникѣ»*. *«На колонизировать При-амурскій край,—изъяснялъ корреспондентъ «Сибирскихъ Вѣдомостей» еще въ прошломъ году,—въ большихъ размѣрахъ разпространить тутъ русское населеніе, развитъ пароходство и судоходство по Амуру, т. е. сдѣлать изъ этой рѣки то, къ чему она предназначена самою природою: быть великимъ торговымъ путемъ для Восточной Сибири... Начало всему этому—заключалъ корреспондентъ—положено уже въ предыдущіе годы»...* Затѣмъ слѣдова извѣстія, что близъ устья Амура существуетъ ужъ городъ Нинлаевскъ, что вездѣ строятся казачьи станицы, что много есть уже по Амуру зародышей будущихъ городовъ, и т. п. Это, по крайнѣмъ, было скромно, и потому нельзя было не вѣрить и нельзя было не поддаваться нѣкоторымъ надеждамъ. Но неугомонный г. Завалишинъ разрушаетъ и эти надежды. И, что всего горестнѣе, онъ показываетъ даже, *какъ и отчего* эти надежды несбыточны, и показываетъ такъ ясно и просто, что и усомниться трудно. Возьме изъ его статей нѣсколько фактовъ и по этой части, чтобы до-

нить характеристику того, что донинѣ дѣлалось и теперь дѣлается на Амурѣ.

Начнемъ съ того, что г. Завалишинъ, вопреки всѣмъ увѣреніямъ, что народъ валомъ валить изъ Россіи на Амуръ, утверждаетъ, что добровольныхъ переселенцевъ до сихъ поръ *никого не было*. Какъ ни неожиданно подобное утвержденіе, но ему нельзя не повѣрить уже и потому, что Иркутская газета, прежде говорившая о множествѣ переселенцевъ, сама тоже созналась, что добровольныхъ переселенцевъ дѣйствительно никого не было, но что они непременно будутъ... И то хорошо, разумѣется; но теперь дѣло не о будущемъ: дѣло въ томъ, что теперь нѣтъ переселенцевъ. Были охотники въ 1855 году; но послѣ ихъ не нашлось, несмотря на всѣ вызовы и льготы. Г. Завалишинъ самъ удивляется этому и спрашиваетъ: «кажется, давно ли было, что Амуръ составлялъ идеаль стремленій всего здѣшняго населенія, и когда ничего не требовали, никакихъ льготъ, кромѣ дозволенія, хотя бы безмолвнаго,—хотя бы только непрепятствованія переселяться туда? Какъ же это случилось, что въ такой короткій промежутокъ дѣло повернулось такъ, что переселеніе на Амуръ, въ повсемѣстномъ почти убѣжденіи, сдѣлалось непривлекательнымъ»?.. И въ отвѣтъ на эти вопросы онъ рассказываетъ слѣдующую простую исторію («Вѣстн. Пром.» № 10, стр. 69—71).

„Добровольныхъ переселенцевъ, 1855 года, сплывили на устьѣ Амура, сказавъ имъ, что ихъ поселятъ близко; въ надеждѣ на это, зажиточные взяли съ собой много хлѣба и другихъ хозяйственныхъ предметовъ и пригнали много скота, какъ *вдругъ имъ объявили, что они могутъ взять только небольшое, определенное количество всего*. Такимъ образомъ, тотъ, кто не имѣлъ провожавшихъ его родныхъ или знакомыхъ, съ кѣмъ могъ бы отослать излишнее, — чего не позволяли взять,—бросили даромъ, или продали за безцѣнокъ купцамъ, особенно скотъ (по причинѣ страшной дороговизны прокорма, около Шилкинскаго завода); а тѣ разумѣется, перепродали, при случаѣ, и даже въ казну, съ огромнымъ барышемъ. И вышло то, что этотъ образъ дѣйствія доставилъ выгоду, конечно, однимъ спекулянтамъ-купцамъ, а на переселенцевъ пали *все невыгоды*. Надо сказать, что *такія же точно послѣдствія имѣли и все другія распоряженія, предпринятія будто бы для пользы края и улучшенія участи низшаго класса*. Оттого-то онъ и недовѣрчивъ къ подобнымъ обѣщаніямъ и ничто его такъ не пугаетъ, какъ перемѣны, о которыхъ говорятъ ему, что для него онѣ къ лучшему. Настоящее положеніе добровольныхъ поселенцевъ на устьѣ Амура вотъ каково: можетъ быть, что они разъѣзжаютъ зимою съ колокольчиками и бубенчиками, да въ этомъ ли дѣло и желательный успѣхъ? На четвертый годъ пребыванія своего на мѣстѣ, они не довели хлѣбопашества до одной еще десятины на ревизскую душу, оставались долѣе двухъ лѣтъ на казенномъ продовольствіи и задолжали въ казну, *Вотъ и говорятъ теперь, что они мыслятъ, что нужны мѣры строгости*; но известно, что это средство рѣшительно бесполезно.

„Разумѣется, что послѣ этого нельзя было ожидать болѣе добровольныхъ переселенцевъ, особенно, когда и послѣднія извѣстія отъ выходившихъ съ Амура

не были въ пользу переселенія. Какъ о характеристическомъ явленіи, упоминаетъ о томъ, что нѣкоторые отставные нижніе чины, иные семейные, *были отпущены* а какъ бы, казалось, не остаться на томъ привольѣ, которое, какъ увѣряютъ, существуетъ тамъ для нихъ, особенно когда уже разъ были на мѣстѣ?

„Между казаками также не нашлось добровольныхъ переселенцевъ; вотъ и стали переселять казаковъ—конныхъ по наряду и выбору, пѣшихъ—по жребію. Были, правда, между казаками, такъ-называемые добровольно будто-бы идущіе и другихъ; но это былъ только скрытый наемъ. *Такъ какъ открытый наемъ не допускался, то наемщикъ объявлялъ, что идетъ за такого-то добровольно.* Но тутъ, несмотря на то, что брали иногда огромную плату, эти наемщики были преимущественно изъ такихъ, которымъ или не при чемъ было оставаться, или семья раздѣлялась такъ, что ни отправляющейся, ни остающейся части хозяйствовать было невозможно, или, наконецъ, ихъ побуждала крайняя нужда и деньги. Что же касается до добровольныхъ изъ другого званія, въ небольшомъ числѣ (изъ расформированнаго гарнизоннаго полубатальона), то это *исключительные случаи, объясняемые положеніемъ, въ какомъ они находились.*

„Предполагаютъ еще одно средство: приглашать на Амуръ съ безвыгодныхъ или менѣе выгодныхъ мѣстъ. Но, во-первыхъ, гдѣ нѣтъ естественнаго добровольнаго предпочтенія, тамъ всѣ приманки льготами, въ спомоществованіи отъ театровъ, концертовъ и пр. искусственныя средства—капля въ морѣ; во-вторыхъ, и нашему убѣжденію, это очень вредно для будущаго, когда все же, рано или поздно, придется опять заселять и эти мѣста: вѣдь нельзя же, ради неимѣнія кѣмъ заселить одно мѣсто, превращать другія промежуточныя въ пустыни, да еще искусственными средствами. Хорошо и то, что люди сами живутъ тутъ и хотятъ жить, потому что, какъ бы худо мѣсто ни было, но кто прижился въ немъ, тѣхъ удержать болѣе причинъ и легче, нежели водворять новыхъ.

„Наконецъ, чтобы найти благовидный предлогъ выселить кого-нибудь изъ Амуръ, не выказывая прямого насилія, *прибѣгаютъ къ выселенію разбросанныхъ между государственными крестьянами чрезполосно казаковъ, подъ предлогомъ уничтоженія чрезполосности и сокращенія разстоянія.* Но зачѣмъ же не сдѣлали этого при образованіи войска? и за что эти люди будутъ отвѣчать за чужія ошибки? Мы давно, еще съ 1834 года, настойчиво обращали на это вниманіе. При обращеніи горныхъ крестьянъ въ пѣшіе казаки былъ самый благопріятный случай сдѣлать размѣнъ съ общими государственными крестьянами какъ для уничтоженія чрезполосности, такъ и для сокращенія протяженія и предѣлы соразмѣрности, чтобы сдѣлать возможнымъ доброе управленіе; а то десятый батальонъ, въ одну линію, протянуть слишкомъ на 300 верстъ. Тогда и сдѣлали этого, по доводамъ неосновательнымъ, а теперь выселяютъ для этого цѣлыя селенія“!

Такимъ образомъ и принудительныя переселенія были очень слабы и только разстроивали экономію тѣхъ мѣстъ, откуда выселялся изъ родъ. У казаковъ, которыхъ стали переселять по жребію, первымъ слѣдствіемъ этого была небрежность обработки своей земли и весьмъ естественное стараніе заблаговременно сократить свое хозяйство. Между тѣмъ, новымъ переселенцамъ вѣсть было нечего. Въ 1857 хотѣли переселить на Амуръ цѣлую пѣшую казачью бригаду; 500 с

ействъ было переселено, но затѣмъ переселеніе вдругъ остановилось, по увѣренію корреспондента «Спб. Вѣдомостей»—*вслѣдствіе неопредѣленности нашихъ отношеній къ Китаю*. Но переселеніе началось раньше, чѣмъ получено извѣстіе о заключеніи айгунскаго трактата; когда же отношенія были болѣе неопредѣленны,—до трактата или *послѣ* него?.. Настоящая причина остановки переселенія 3500 семействъ, уже опредѣленныхъ жребіемъ и разстроившихъ свое хозяйство, заключалась въ томъ, что *хлѣба не было*; оттого и объявили, чтобы шли только тѣ, кто можетъ итти на *своемъ содержаніи*, а прочіе могутъ оставаться. Но это объявлено было уже въ августъ, когда здѣсь только доканчиваютъ сѣно и убираютъ хлѣбъ; подъ паръ землю парятъ и поднимаютъ залежи къ слѣдующему году гораздо ранѣе лѣтомъ, и естественно, что всѣ, назначенные жребіемъ къ переселенію, ничего этого не дѣлали... Въ августъ поправляться было уже нѣсколько поздно...

Участь переселенцевъ вообще была незавидна. Несмотря на увѣренія г. Романова, что «страну успѣли и умѣли обезпечить продовольствіемъ, какъ это было всегда, а служащихъ въ ней—теплымъ и удобнымъ помѣщеніемъ».—оказывается, что и продовольствіе, и помѣщенія были въ положеніи весьма печальномъ. Смертность была очень велика: много казаковъ погибло на сплавкѣ 1857 года, много другихъ—при приготовленіи къ ней, когда, по неимѣнію хоть бы временной казармы при амурскихъ магазинахъ, на Ингодѣ, люди жили въ землянкахъ, и больные не вмѣщались въ занимаемыхъ подъ лазареты домахъ. Хотя всѣ отряды едва ли доходили до 500 человекъ, число больныхъ доходило до 100, а смертность въ мѣсяцъ—до 15 человекъ («Мор. Сборн.» № 7, стр. 52). Относительно помѣщеній для поселенцевъ, г. Завалишинъ рѣшительно не согласенъ съ отрадными извѣстіями, которыя сообщались въ газетахъ. Писали, что въ Благовѣщенскѣ строится церковь, построено нѣсколько десятковъ домовъ; г. Завалишинъ увѣряетъ, что церковь не строится, а развѣ только-что, можетъ быть, заложена; дома же въ сущности—не что иное какъ «мазанки въ одинъ плетень, поздно обмазанныя и потому зимою сырыя и холодныя,—отчего болѣзни и ихъ послѣдствія». Писали, что на Амурѣ станицы строятся; г. Завалишинъ говоритъ, что дѣйствительно строятся, но уже и переносятся на другія мѣста, не успѣвъ отстроиться; планы, судя по рисунку, однообразны и неудобны («Мор. Сборн.» № 5 и 7). Вообще хозяйственные распоряженія въ томъ краѣ характеризуются, между прочимъ, слѣдующими эпизодами, рассказанными г. Завалишинымъ:

„Мы остановились на причинахъ разстройства хозяйства, особенно у казаковъ. Первое отягощеніе составили штабныя постройки. Препжіе казаки имѣли значительный капиталъ, который преимущественно и поглощенъ постройками. Ихъ предназначено было окончить въ три года, и аргументъ, который тогда приводили въ причину такой послѣдственности, такъ страненъ, что не знаешь, что и думать. Чтобы понять, во что обошлась дѣйствительная стоимость этихъ построекъ, достаточно

сказать, что чиновникъ особыхъ порученій при мнѣ докладывалъ, что за бревна за которое казна платила 15 коп., давали въ нѣкоторыхъ мѣстахъ по нѣскольку пудовъ хлѣба, стоявшаго тогда въ дорогой цѣнѣ; въ другихъ—военныя бревна по нѣсколькимъ десяткамъ верстъ, и оно обходилось по 1 р. 50 к. с. и дороже; и тому же всѣ передѣлки, неизбежныя при торопливомъ, ошибочномъ и неискусномъ веденіи работъ, разумѣется, не входили въ смѣту.

„Несмотря на такую торопливость и такіе убытки казакамъ, постройки эти достигли вполне цѣли (такъ напр. въ госпиталѣ 2-й бригады нельзя было держать зимою больныхъ) и оставлены недоконченными; слѣдовательно, оказались не такъ необходимыми, какъ говорили, по меньшей мѣрѣ—не такъ къ слѣху. Нынѣ изъ нихъ, какъ штабъ 4-го батальона и госпиталь 1-й бригады, истреблены огнемъ; другія, какъ 12-го батальона, сплавлены на Амуръ, чтобы навлечь в нихъ какую-нибудь пользу; предполагалось сдѣлать то же и со всѣми заданіями штаба 2-й бригады“ („Морск. Сборн.“ № 7, стр. 64).—„Остается разсмотрѣть обычныя жалобы на недостатки будто бы средствъ. Но если разсмотрѣть всѣ средства,—гласныя и негласныя, — то окажется, что средства были огромныя. Путь реквизицій, раскладокъ, нарядовъ, произвольныхъ цѣнъ за продукты и работу, — такъ скользкій и покатистый путь, что разъ вступившему на него уже нѣтъ возврата и движеніе будетъ все ускоряться на пути къ пропасти. Г-нъ министръ внутреннихъ дѣлъ говоритъ, что эти средства не только разорительны для народа, но невыгодны для казны; но кто самъ не слѣдитъ за дѣйствительными случаями, то и вообразить себѣ не можетъ, во что обращается это, повидимому, легкое дѣло начальства, распоряженіе средствами въ послѣднихъ инстанціяхъ. Каково бывало конечное употребленіе такихъ легко добытыхъ средствъ, приведемъ два примѣра лично нами провѣренныхъ. При провозѣ пороха нарядомъ (это еще за прогономъ здѣсь, въ мѣстѣ главнаго начальства, собирали подводныя для одного транспорта шести дней сряду, послѣ опредѣленнаго дня, не считая запрещенія отлучаться изъ селенія до того времени. Само собою разумѣется, что прогоны, платимые за нѣсколько часовъ проѣзда, не могли окупать потери нѣсколькихъ дней. И потому этотъ порохъ, стоявшій казнѣ,—по раздѣлкѣ того, что она платила, — слишкомъ по двадцати рублей пудъ, вдругъ утопили, еще до отправленія, въ Шилкинскій заводъ, въ количествѣ до двухъ тысячъ пудовъ. Другое обстоятельство: когда додутъ матеріалъ, работу, провозъ далеко ниже дѣйствительной ихъ стоимости, говорятъ, что обошлось дешево, а потому изъ остаточныхъ суммъ даютъ награды людямъ, которымъ ужъ никакъ нельзя пожаловаться на скудость содержанія. Я почелъ это за клевету, если бы лично не слышалъ о томъ отъ самихъ, получившихъ подобное награжденіе“ („Вѣстн. Пром.“ № 10, стр. 77).

Вслѣдствіе всѣхъ фактовъ и соображеній, представленныхъ г. Ѳ. валишинымъ, являются слѣдующіе выводы о нашихъ прогрессахъ на Амурѣ:

- 1) *Правильнаго сообщенія по Амуру нѣтъ еще ни зимой, ни для желѣзной дороги нѣтъ никакихъ условій.*
- 2) *Торговли въ настоящемъ смыслѣ нѣтъ—ни русской, ни иностранной; приходъ иностранныхъ судовъ ничтоженъ.*
- 3) *Добровольнаго движенія для заселенія Амура нѣтъ.*
- 4) *Средства были, и средства огромныя; но растрачены.*

такъ какъ слѣдовало, вслѣдствіе чего до сихъ поръ Россія должна была тратиться для Амура, а не Амуръ приносить пользу Россіи.

А окончательный выводъ изъ всего этого—прямо противоположенъ выводамъ, сдѣланнымъ г. Романовымъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Г. Романовъ говоритъ: «край развернется быстро, *если будетъ идти впередъ такъ же, какъ идетъ въ настоящее время*». Г. Завалишинъ утверждаетъ, напротивъ: «край можетъ развернуться только при условіи—*если перемѣнятъ путь, по которому до сихъ поръ шли*; иначе эта быстрота только пособитъ быстрѣе скатиться въ пропасть» («Вѣстн. Пром.», стр. 83).

Таковы два противоположныя воззрѣнія на существующее значеніе нашихъ поселеній на Амурѣ и нашихъ дѣйствій въ этомъ краѣ. Мы представляемъ ихъ читателямъ не съ тѣмъ, чтобы бросить тѣнь на самое пріобрѣтеніе Амура. Вовсе нѣтъ: пріобрѣтеніе останется пріобрѣтеніемъ и будетъ имѣть свою историческую цѣну. Но всякій согласится, что главное дѣло не въ самыхъ земляхъ, а въ томъ, чтобы ими воспользоваться. И въ этомъ-то отношеніи важно всякое указаніе сдѣланныхъ ошибокъ, всякое добросовѣстное разрушеніе несбыточныхъ надеждъ и преувеличенныхъ восторговъ... Можетъ быть, самъ г. Завалишинъ ошибается въ нѣкоторыхъ случаяхъ, и даже иногда преувеличиваетъ дѣло; но намъ кажется, что въ вопросахъ подобнаго рода, какъ вопросъ о заселеніи и значеніи Амура, гораздо лучше преувеличенная осторожность, нежели преувеличенная довѣрчивость. Притомъ, для людей, знакомыхъ съ общимъ порядкомъ дѣлъ въ нашемъ любезномъ отечествѣ, не можетъ быть ничего особенно страннаго и непонятнаго въ разсказахъ г. Завалишина. Очень нерѣдко мы видимъ, какъ частные корыстные расчеты, небрежность, невѣжество или недобросовѣстность обращаютъ въ ничто и даже дѣлаютъ вредными самыя полезныя начинанія. Въ прошломъ мѣсяцѣ мы говорили о томъ, что производила, въ теченіе многихъ лѣтъ, неудовлетворительная администрація на Кавказѣ. Теперь намъ представился случай заговорить объ Амурѣ, и тутъ мы нашли печатно оглашенныя свѣдѣнія о разныхъ распоряженіяхъ низшей администраціи, вредныхъ для развитія края... Какъ и чѣмъ это поправить, и когда это можетъ быть поправлено, — мы не можемъ ничего сказать. Замѣтимъ только, что мы вовсе не хотимъ обвинять отдѣльныя лица и сваливать все на ихъ личные недостатки; это было бы съ нашей стороны очень опрометчиво. Мы очень хорошо понимаемъ, что гдѣ тотъ или другой недостатокъ восходитъ на степень общаго явленія, тамъ нужно искать причинъ его уже не въ свойствахъ того или другого лица, а гораздо глубже,—въ самомъ общественномъ порядкѣ...

Скажемъ, въ заключеніе, что г. Маакъ общается, въ предисловіи къ своей книгѣ, отправиться вскорѣ во вторую экспедицію на Амуръ. Точность и добросовѣстность его нынѣшнихъ замѣтокъ внушаютъ къ нему довѣріе, и мы не можемъ не пожелать, чтобы онъ теперь былъ самостоятельнѣе въ своихъ дѣйствіяхъ, нежели въ

первую экспедицію: тогда онъ, можетъ быть, представить намъ, вольно обстоятельную и точную картину края и разрѣшить хотя отчасти ту путаницу, которая до сихъ поръ существуетъ у насъ свѣдѣніяхъ о нашемъ положеніи на Амурѣ.

Потерянный рай. Поэма Іоанна Мильтона, съ приобщеніемъ поэмы — Возвращенный Рай. Въ двухъ отдѣленіяхъ и пяти пѣсняхъ, переводъ съ прозы, въ стихахъ. *Елизаветы Жадовской.* Москва. 1859.

Изданіе чистенькое; но на это смотрѣть не должно. *Переводъ съ прозы* г-жи Жадовской—безобразнѣйшая спекуляція, какую себѣ можно только представить. Тутъ все есть—и ловкая штука, и бездарность, и прямой обманъ...

Извѣстно, что «Потерянный рай» пришелся очень по вкусу нашей публикѣ. Первый переводъ его вышелъ, кажется, въ 1810 г. и съ тѣхъ поръ появлялось нѣсколько переводовъ и, кажется болѣе десятка изданій его. Прежніе переводы были въ прозѣ; г-жа Елизаветѣ Жадовской вадумалось, что поэма Мильтона будетъ имѣть у насъ еще болѣе успѣха, если переложить ее въ стихи. Кстати-жъ у насъ имя г-жи Жадовской (не этой, а Юліи) имѣетъ очень хорошую извѣстность въ литературѣ. Вотъ и принялась г-жа Елизавета Жадовская — *переводить съ прозы*, то есть перекладывать въ стихи прозаическій старый переводъ. Перевела она выдержки изъ трехъ пѣсенъ «Потеряннаго рая» (4-й, 8-й и 9-й), да одну пѣсню «Возвращеннаго», да часть одной пѣсни изъ «Потеряннаго» перенесла въ «Возвращенный», составила, такимъ образомъ, книжечку стиховъ въ 140 разгонистыхъ страничекъ и издала подъ выше писаннымъ громкимъ заглавіемъ... А затѣмъ на оберткѣ значится *цѣна 1 р. 65 к. сер...* И даже 65! Что, хоть-бы ужъ ровно 60!

Ясно, что спекуляція рассчитана именно на то, что читатели не разберутъ, въ чемъ дѣло, и выпишутъ себѣ отрывочки г-жи Елизаветы Жадовской въ полной увѣренности получить полный стихотворный переводъ поэмы Мильтона. Немудрено, что кое-кто и попадется на эту штуку именно потому, что обманъ ужъ слишкомъ нагло сдѣланъ—и вотъ почему мы спѣшимъ предупредить читателей объ этомъ переводѣ.

О стихахъ г-жи Елизаветы Жадовской можно судить по слѣдующему обращенію къ Мильтону, которое напечатано на особой четверткѣ, въ началѣ книги, очевидно, ради ея утолщенія:

Мильтонъ, Божественный писатель,
Настрой мнѣ лиру самъ мою,
Сердце и душъ очарователь,
Дай повторить мнѣ пѣснь твою;
Ее начну съ четвертой темы,
Ее, ее я пробранчу
Дай дивный ладъ твоей поэмы
И вдохновенье; — такъ начну.

ки препинанія мы оставили такъ, какъ они стоятъ въ подлинномъ. По этому можно судить и о грамотности г-жи Елизаветы Жадовской.

сказали, что г-жа Елизавета Жадовская перекладывала въ русский старый переводъ. Въ этомъ убѣдились мы, во-пер-
отому, что содержаніе каждой пѣсни изложено почти бук-
ходно съ изложеніемъ стараго перевода; а во-вторыхъ, и
сличеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ. Возьмемъ хоть съ начала.
Оза:

стремляетъ онъ (сатана) печальные взоры на вертоградъ райскій, ко-
елестный видъ открыть предъ его глазами; то обращаетъ ихъ къ небо-
сему лучезарному свѣтилу, которое, достигнувъ до средины пути своего
съ высоты своихъ блестящихъ чертоговъ“.

тъ стихотворный *переводъ съ прозы*:

И устремляетъ онъ печальный
Свой взоръ на пышный вертоградъ:
Эдемскихъ прелестей отрадой
Его томится злобный взглядъ.
Тутъ къ небесамъ онъ взоръ вращаетъ,
Гдѣ лучезарный блескъ свѣтилъ
Собой природу освѣщаетъ,
Гдѣ ихъ чертогъ блестящій былъ.

наемъ, что побудило г-жу Елизавету Жадовскую высту-
книжечкою такихъ стиховъ, да еще выступить въ такихъ
ихъ перьяхъ, но считаемъ справедливымъ замѣтить, что «ея
нный рай» — есть явленіе, весьма невзрачное въ русской
урѣ.

3. Считаемъ нужнымъ оговориться, что, охудая переводъ
изаветы Жадовской, мы вовсе не отвергаемъ пользы пере-
русскій языкъ лучшихъ произведеній иностранной поэзіи.
амѣчанія имѣютъ вотъ какой смыслъ: зачѣмъ г-жа Жадов-
драла изъ поэмы Мильтона отрывки, и отрывки далеко не

лучшіе, зачѣмъ перевела ихъ на плохіе стихи съ старой русско. прозы, зачѣмъ перепутала даже и то, что сама выбрала, а главное—зачѣмъ свои вирши издала подъ названіемъ поэмы Мильтона: «Потерянный рай», да еще съ присовокупленіемъ «Возвращеннаго»?.. Такъ нужно понимать наши слова, а никакъ не въ томъ смыслѣ будто мы глумимся надъ Мильтономъ, надъ поэзіей, и утверждаемъ, что намъ никакихъ переводовъ не нужно, что намъ и того, что есть, слишкомъ достаточно. Нѣтъ, не за то осуждаемъ мы г-жу Елизавету Жадовскую, что она переводила Мильтона, а за то, что плохо перевела, перевела не все, что слѣдовало, а выдала такъ, что будто все ею сдѣлано.

Оговорка эта сдѣлана нами не для обычныхъ нашихъ читателей, а изъ предосторожности предъ московскими публицистами. Съ нами ужъ былъ въ нынѣшнемъ году такой случай. Нѣкоторые господа сдѣлали съ гласностью и сатирой то же самое, что г-жа Елизавета Жадовская произвела съ Мильтономъ,—т. е. выдрали кое-какіе отрывочки изъ давно ходившихъ въ обществѣ сужденій и анекдотовъ, перевели ихъ съ простой житейской прозы на патетическую реторику и даже поэзію съ хромыми приемами, прибавили разныя обращенія, въ родѣ обращенія г-жи Елизаветы Жадовской къ Мильтону и пошли писать... Услужливые люди,—да и сами эти сочинители отчасти,—выдали эти плохіе отрывочки за настоящій, полный образецъ гласности и сатиры. Мы, съ свойственною намъ мягкостью и благодушіемъ, осмѣлились замѣтить, что это не совсѣмъ такъ, и предостеречь читающую публику отъ заблужденія. Московскіе публицисты, очень дорого оцѣнившіе отрывочки обличенія и гласности (чуть ли не дороже, чѣмъ переводъ г-жи Е. Жадовской), возстали на насъ цѣлымъ хоромъ,—да вѣдь какъ!... Цѣлый годъ насъ преслѣдовали за то, что мы надъ обличительной литературой глумимся и гласности не уважаемъ... Еще недавно упрекали насъ за это, и, кажется, такъ и въ слѣдующій годъ перейдутъ, не успѣвши смекнуть, въ чемъ дѣло... Но читатели видятъ, что мы не были въ этомъ случаѣ горды и скрытны; мы много разъ склонялись на объясненія съ почтенными публицистами, употребляли всѣ старанія вразумить ихъ, наконецъ, даже избѣгали всего, что могло ввести ихъ въ заблужденіе. Вотъ и теперь,—мы нарочно оговорились въ нашемъ сужденіи о переводѣ г-жи Е. Жадовской, — чтобы московскіе публицисты, въ обличеніяхъ своихъ противъ насъ, не взяли къ слѣдующему году еще лишняго грѣха на душу... Можетъ быть и это не поможетъ; но мы, по крайней мѣрѣ, не будемъ считать себя виноватыми въ недоразумѣніяхъ.

1860.

Литературные дѣятели прежняго времени. Е. Колбасина.
М. 1859.

Г-нъ Колбасинъ, какъ извѣстно нашимъ читателямъ, не лишенъ дарованія для писанія повѣстей. Но кромѣ повѣстей онъ занимается еще и исторіею литературы. Нѣсколько очерковъ его, помѣщенныхъ въ журналахъ, были въ свое время прочитаны безъ скуки. Теперь онъ изданы отдѣльною книжкой. Первое мѣсто между ними занимаетъ біографія И. И. Мартынова, года четыре тому назадъ напечатанная въ «Современникѣ». Главное ея достоинство заключается въ томъ, что она составлена при помощи собственныхъ записокъ Мартынова, бывшихъ въ рукахъ у автора и, слѣдовательно, имѣетъ значеніе первоначальнаго источника. Два другіе очерка: «Кургановъ» и «Воейковъ», меньше по объему, не имѣютъ того значенія, но тоже могутъ быть довольно новы и любопытны для читателей. Знакомыхъ съ бібліографическими трудами послѣдняго времени и съ нашими старинными журналами.

Вообще, изложеніе г. Колбасина довольно правильно и живо, особенно если есть подъ руками у него хорошіе матеріалы. Нѣтъ сомнѣнія, что если онъ будетъ болѣе трудиться и строже судить самого себя, то изъ него можетъ выйти дѣятель, далеко не безполезный въ ряду нашихъ историковъ литературы, начинающимся Галаховымъ и оканчивающимся г. Тихменевымъ.

Взглядовъ особенно новыхъ и смѣлыхъ нѣтъ у г. Колбасина, да это нельзя и винить за это: сколько мы можемъ судить по его литературной карьерѣ ¹⁾.—онъ еще находится въ томъ литературномъ возрастѣ, въ которомъ только собираются матеріалы и перевари-

¹⁾ Первые произведенія его появились не болѣе 10 лѣтъ тому назадъ, въ „Литературныхъ Вечерахъ“ Фумели, 1850 г.

ваются чужія мысли и мнѣнія, а собственные взгляды еще довольно шатки и неопредѣленны. Мы можемъ быть благодарными г. Колбасину ужъ и за то, ежели онъ беретъ изъ чужихъ взглядовъ то, что болѣе подходитъ къ современнымъ требованіямъ и что дѣйствительно оказывается лучшимъ въ сравненіи съ остальнымъ. Упрекать же его можемъ лишь тогда, когда онъ беретъ взгляды отсталые и давно опровергнутые и осмѣянные не только на бумагѣ, но и въ жизни. Но такіе взгляды попадаются у него довольно рѣдко. Мы укажемъ здѣсь на одинъ примѣръ, не очень рѣзкій, но непріятный именно потому, что онъ касается практическихъ отношеній писателей.

Г. Колбасинъ весьма благосклонно смотритъ на старинную моду—имѣть литературныхъ милостивцевъ, хотя и не одобряетъ меценатства невѣжественныхъ вельможъ. Онъ съ умиленіемъ рассказываетъ о томъ, какъ Мартыновъ обращалъ на себя вниманіе разныхъ начальственныхъ лицъ, и о томъ, какъ нѣкто Быковъ нарочно пріѣзжалъ изъ Разани въ Москву и Петербургъ, — на поклонъ Державину, Капнисту и Мерзлякову, и т. п. Изъ этихъ подобострастныхъ отношеній къ писателямъ, г. Колбасинъ выводитъ такое заключеніе: «при всѣхъ недостаткахъ прежней литературы, представители ея своимъ авторитетомъ и вліяніемъ воспитывали, быть можетъ, гораздо болѣе людей въ эстетическомъ и нравственномъ отношеніи, чѣмъ нынѣшніе университеты и различныя заведенія». Мы не хотимъ ратовать за «различныя заведенія», но относительно воспитательнаго вліянія писателей, мнѣніе г. Колбасина очень опоздало. Теперь мы знаемъ характеръ отношеній молодыхъ писателей и всякаго рода юношей къ литературнымъ авторитетамъ того времени. Изъ воспоминаній г. Аксакова мы видѣли, какъ юноши принимались и терпѣлись старцами только до тѣхъ поръ, пока почтительно и съ одушевленіемъ читали ихъ сочиненія; изъ тѣхъ же воспоминаній и изъ библиографическихъ розысканій г. Лонгинова и другихъ мы знаемъ, какъ въ почтенной семьѣ авторитетовъ принять былъ Карамзинъ, лишь только обнаружилъ нѣкоторую самостоятельность, какъ относился къ нимъ даже Батюшковъ. Журналы двадцатыхъ годовъ покажутъ намъ, какъ было встрѣчено ареопагомъ появленіе первыхъ опытовъ Пушкина, въ которыхъ онъ рѣшительно выбился изъ рутины державинскаго и карамзинскаго тона... Можно замѣтить, конечно вполне справедливо, что всѣ эти противники новыхъ талантовъ принадлежали къ числу людей отсталыхъ... Но вѣдь это теперь мы считаемъ ихъ отсталыми, а тогда они еще были въ полномъ цвѣтѣ и пользовались авторитетомъ. Сенковский еще не имѣлъ въ публикѣ репутаціи отсталаго и отжившаго, когда ругалъ Гоголя, г. Шевыревъ еще пользовался уваженіемъ многихъ, когда унижалъ Кольцова и Лермонтова... Вѣдь не только то можно назвать отсталостью, что уже для всѣхъ кажется негоднымъ и ненужнымъ; нѣтъ, отсталость начинается гораздо раньше, — тотчасъ, какъ только человѣкъ замкнулся въ собственномъ авторитетѣ и не хочетъ знать ничего новаго, выходящаго изъ молодой жизни и охватывающаго будущ-

ность. И эта отсталость всегда была въ кружкѣ признанныхъ авторитетовъ, она составляетъ ихъ естественную принадлежность, и только удивительнымъ подвигомъ постоянного самонаблюдения и самоотверженнаго увлечения общимъ дѣломъ, можетъ иной человѣкъ избѣгнуть этой отсталости. Пушкинъ не дожилъ до нея; Жуковский, говорятъ, былъ въ восторгѣ отъ Гоголя,—но не отъ того направленія, въ которое мы цѣнимъ Гоголя. И если Жуковский съ своими друзьями имѣлъ на Гоголя вліяніе, то ужъ, конечно, не благотворное: для Жуковскаго или непонятно, или противно было то *новое*, что проглядывало въ авторѣ «Мертвыхъ душъ»... А кто ратовалъ за это новое? Бѣлинскій, ровесникъ Гоголя. А кто же изъ авторитетовъ призналъ тогда Бѣлинскаго? Да и къ кому могъ бы онъ идти, чтобы получить «эстетическое и нравственное воспитаніе»? Нѣтъ, онъ самъ былъ авторитетомъ, самъ себя воспиталъ, и если искалъ какой-нибудь внѣшней опоры, то развѣ въ молодыхъ друзьяхъ своихъ, изъ которыхъ самъ скоро сдѣлался авторитетомъ, а ужъ никакъ не въ отживавшихъ старцахъ съ почетными именами. Вспомнимъ, что мы и началъ то нападки на Пушкина, въ то время какъ Пушкинъ былъ еще живъ.

И послѣ Бѣлинскаго нѣтъ возврата на путь литературныхъ ухаживаній и поклоненій для русскаго писателя, который сознаетъ въ себѣ силы хоть настолько, чтобы о себѣ-то «смѣть свое сужденіе имѣть», не дожидаясь приговора какой-нибудь знаменитости. Странно теперь жалѣть о томъ добродушномъ времени, когда люди стремились хоть *взглянуть* на прославленнаго писателя и, въ свою очередь, удостоиться отъ него хоть милостиваго взгляда... Теперь это уже сдѣлалось признакомъ мелкости и пошлости натуры, особенно въ тѣхъ людяхъ, которые сами хотятъ выступить на литературное поприще. Въ современной литературѣ нѣтъ *литературнаго генеральства*, и это прекрасно. Мы всѣ проповѣдуемъ «служеніе дѣлу, а не лицамъ»; стыдно было намъ измѣнять этому служенію въ нашихъ собственныхъ отношеніяхъ другъ къ другу. Это очень хорошо сознаетъ молодое поколѣніе писателей, сознаетъ, кажется, и почтенная фаланга людей прославленныхъ. Теперь молодой человѣкъ безъ особеннаго трепета можетъ войти въ собраніе литературныхъ знаменитостей, безъ подобострастія высказать свое мнѣніе, безъ замиранія сердца сдѣлать возраженіе человѣку, прославленному ученостію или талантомъ. Онъ уже не боится встрѣтить тотъ принижающій, высокомерный взглядъ, которымъ, говорятъ, награждали прежде подобныхъ смѣльчаковъ; не боится увидѣть на почтенныхъ лицахъ и той отечески-снисходительной, умильной мины, которая говоритъ: «а, ну-ка, ну-ка, что ты скажешь? развернись-ка, а мы послушаемъ»!.. Нѣтъ, нынѣ молодой человѣкъ, сознающій въ себѣ нѣсколько внутренней силы и желающій трудиться, можетъ гордо и независимо держать себя, не кланяться знаменитостямъ, не просить заслуженные авторитеты, чтобы они удостоили взнуздать его и навьючить окаменѣлостями своихъ взглядовъ и мнѣній... Ему

ненужно этого: права труда, знанія и таланта признаются съ каждымъ годомъ все больше въ литературѣ... Теперь только тотъ захочетъ добиваться разныхъ покровительствъ литературныхъ, кто, пристрасти къ литературной рѣпутациі, болѣе имѣетъ склонности бити баклуши, нежели серьезно трудиться. Вотъ почему мы считаемъ совершенно неумѣстнымъ сожалѣніе г. Колбасина о добромъ старомъ времени, когда юные писатели и вообще люди образованные ѣздили изъ дальнихъ городовъ *на поклонъ* къ литературнымъ знаменитостямъ...

Впрочемъ, такихъ устарѣлыхъ взглядовъ и соображеній немного у г. Колбасина. Большею частью онъ повторяетъ довольно вѣрныя выводы, которые добыты новѣйшими историко-литературными изслѣдованіями. Попадаются у него и мелкія ошибки, въ родѣ тѣхъ, какія были замѣчены въ прошломъ году въ статьѣ о Воейковѣ. (Въ отдѣльномъ изданіи, впрочемъ, исправлено то, что было замѣчено тогда.) Но ошибки эти, очевидно, произошли отъ нѣкоторой небрежности въ составленіи статьи, да и вообще отъ недостатка спеціального знакомства съ предметомъ; ихъ нельзя приписать къ коренному непониманію того, за что авторъ взялся. Напротивъ, мы еще разъ съ удовольствіемъ повторимъ, что въ ряду изслѣдователей русской старины, отъ г. Галахова до гг. Тихменева и Сомовскаго, г. Колбасинъ могъ бы занять довольно видное мѣсто, если бы далъ себѣ трудъ попристальнѣе заняться и поосновательнѣе изучить то, о чемъ пишетъ. Слогъ у него очень чистый, видно знакомство съ литературными приемами, живое, повѣствовательное изложеніе... При такихъ задаткахъ нельзя сомнѣваться, что если онъ еще нѣсколько поучится, займется и будетъ при писаніи поосмотрительнѣе, то въ дальнѣйшихъ своихъ упражненіяхъ по части историко-литературной будетъ, по крайней мѣрѣ, столько же замѣчательнѣе, какъ уже сдѣлался замѣчательнѣе въ своихъ повѣстяхъ и разсказахъ.

Повѣсти и разсказы С. Т. Славутинскаго. Москва. 1860.

Лѣтъ семь тому назадъ была большая мода на повѣсти изъ простонароднаго быта, и по этому случаю глубокихъ критиковъ нашихъ занималъ тогда вопросъ: «можетъ ли простонародная жизнь быть введена собственно въ литературу, безъ всякаго ущерба для истины, цвѣта и значенія своего»? Одинъ изъ глубокомысленнѣйшихъ тогдашнихъ критиковъ рѣшилъ этотъ вопросъ отрицательно, на томъ основаніи, что «искусство имѣетъ свои незыблемыя пра-

вила, сохраненіе которыхъ, рядомъ съ случайнымъ, жесткимъ ходомъ жизни — невозможно; ибо какая есть возможность произвести эстетическій эффектъ и въ то же время цѣликомъ выставить быть, мало подчиняющійся вообще эффекту»? Воззрѣніе это до сихъ поръ тайкомъ сохраняется нѣкоторыми. и еще недавно выразилось, напр., осужденіемъ всѣхъ комедій Островскаго, какъ противныхъ условіямъ искусства и слишкомъ ужъ близкихъ къ жизни. Любопытствующіе могутъ еще долго, вѣроятно, любоваться, какъ это воззрѣніе черезъ неправильные промежутки продолжаетъ прорываться грязнымъ вулканомъ въ «Нашемъ Времени». Но что странно до неприличія въ наше время, то было очень простиительно семь лѣтъ тому назадъ, и мы вполне оправдываемъ глубокомысленнаго критика, вспомнивши о его затруднительномъ положеніи въ виду простонародныхъ рассказовъ того времени.

Нужно вамъ сказать о происхожденіи тогдашней страсти къ подобнымъ рассказамъ, чтобы вы удобнѣе могли понять, почему мы критика считаемъ правымъ и даже весьма проницательнымъ въ этомъ случаѣ.

Семь лѣтъ тому назадъ о крестьянскомъ вопросѣ не было и помину, слѣдовательно, рассказы о жизни крестьянъ (разумѣется, безъ всякаго отношенія къ ихъ юридическимъ правамъ или, правильнѣе сказать, обязанностямъ) никого не могли задѣвать за живое, никому не досаждали. А все другое въ то время казалось очень сомнительнымъ и встрѣчалось съ большимъ недоброжелательствомъ извѣстною частью публики, отъ которой преимущественно зависитъ процвѣтаніе русской литературы. Чтобы никого не раздражать, русскіе писатели изобрѣли-было тогда особенный какой-то, даже не *средній*, а скорѣе *общій* родъ людей, которыхъ званіе, общественное значеніе, сословныя отношенія и проч. оставлялись на догадку читателя, а изображалось только любящее сердце и мечтательное воображеніе. Но и тутъ выходила часто неудача. Изображенъ, напримѣръ, въ повѣсти герой совершенно безъ всякаго званія, и такъ искусно, что слѣдовъ нельзя найти: непомнящій родства, да и только. Но задумается же автору замѣтить въ одномъ мѣстѣ, что герой крутилъ себѣ усы; а въ другомъ мѣстѣ сказано. что онъ въ танцахъ пласть у дамы оборвалъ: сейчасъ же офицеры и раздражаются, — мундиръ, дескать, нашъ мараютъ. И неосторожный авторъ наживаетъ хлопотъ... Въ этой-то крайности и рѣшились, наконецъ, къ мужикамъ обратиться; тѣхъ, дескать, какъ хочешь описывай: они не прочитаютъ, а кто прочитаетъ, такъ тотъ не обидится и на свой счетъ не приметъ. За то ужъ и досталось же бѣднымъ мужичкамъ! За нѣсколькими писателями, дѣйствительно наблюдавшими народную жизнь, потянулись цѣлыя толпы такихъ сочинителей, которыхъ до народа и дѣла-то никогда не было, и думушки-то о немъ въ голову не приходило, а теперь довелось писать о немъ. Говорятъ, въ то время «Сказанія русскаго народа» Сахарова и «Пословицы» Снегирева поднялись въ цѣнѣ, и даже «Быта русскаго на-

рода» Терещенка разошлось нѣсколько экземпляровъ. Съ пом-
такихъ источниковъ, изъ русскаго народнаго быта стали от-
вать драматическія представленія, на манеръ пословицъ Аль
Мюссе, и рассказы въ самомъ безпримѣрномъ родѣ. Тогда-то
тили на себя общее вниманіе гг. Данковскій, Лазаревскій, М
новъ, и многіе имъ подобные. Тогда-то г. Потѣхинъ соч-
«Крестьянку», г. Михайловъ «Ау» и «Африкана», г. Мей-
риллыча», тогда-то принялись за изображеніе простого быта
такіе писатели, которые до того были насквозь пропитаны д
классической древности или полусвѣтскихъ салоновъ: такъ г.
ковъ произвелъ тогда «Дурочку Дуню», а г. Авдѣевъ ухи-
изобрѣсть «Огненнаго змія». Словомъ — простонародная ис-
точно такъ же обуяла тогда литературу, какъ въ 1856 и слѣ-
щихъ годахъ обличительные рассказы о взяточникахъ. Но ра-
была въ томъ, что крестьянскія повѣсти были настолько же
катны, насколько обличенія невѣжливы.

Къ мужикамъ тогда приступали съ тою же манерою, какъ
всѣмъ другимъ членамъ общества, т. е. заставляли ихъ пост-
прикидываться непомнящими родства. Какъ мужикъ съ свое-
ревней связанъ, кѣмъ управляется, какія повинности несетъ
онъ и какъ съ бариномъ, съ управляющимъ, съ окружнымъ
исправникомъ вѣдается—это вы могли открыть весьма въ рѣ-
случаяхъ,—именно, когда попадался вамъ идеальный управля-
какъ въ «Крестьянкѣ», или идеальный исправникъ, какъ въ
шемъ», на примѣръ... Житейская сторона обыкновенно прене-
лась тогда повѣствователями, а бралось, безъ дальнихъ спра-
сердце человѣческое, и такъ какъ для него ни чиновъ, ни бога
не существуетъ, то и изображалась его чувствительность у
стьянъ и крестьянокъ. Обыкновенно герои и героини простои-
ныхъ рассказовъ сгорали отъ пламенной любви, мучились с-
ніями, разочаровывались—совершенно такъ же, какъ «Тама-
г. Авдѣева или «Русскій Черкесь» г. Дружинина. Разниц-
состояла въ томъ, что вмѣсто: «я тебя страстно люблю: въ это
веніе я радъ отдать за тебя жизнь мою», они говорили: «я
страхъ-какъ люблю; я таперича за тебя жить готовъ отдать
впрочемъ, все обстояло, какъ слѣдуетъ быть въ благовоспита-
обществѣ: у г. Писемскаго одна Марфуша даже въ монастыр-
любви ушла, не хуже Лизы «Дворянскаго гнѣзда».

Въ виду такихъ-то данныхъ вышеупомянутый критикъ и
несъ свое рѣшительное сужденіе о невозможности примирить и
простонароднаго быта съ *незыблемыми* законами искусства. И
ствительно: законы искусства требуютъ, чтобы въ повѣсти или
строго и естественно развивалось содержаніе само изъ себя и
ставляло внутреннюю борьбу въ человѣкѣ какихъ-нибудь дву-
чалъ; а жизнь нашихъ мужиковъ совершенно зависитъ отъ с-
ностей разнаго рода—отъ наѣзда становаго, отъ расположенія
управляющаго, отъ болѣзни барской собаки или лошади, отъ в

вости земскаго, и т. п., и, кромѣ того, внутренней борьбы въ нихъ никакой нѣтъ, потому что они, видите ли, «находятся еще въ первобытной непосредственности». Что прикажете дѣлать искусству въ такомъ затруднительномъ случаѣ? Семь лѣтъ тому назадъ, проницательный критикъ не могъ придумать другого разрѣшенія, какъ отказать искусству отъ полного воспроизведенія дѣйствительности простонароднаго быта.

Но повернулось дѣло иначе. Пряничныя и кукольныя фигуры мнимо-русскихъ людей, произведенныя по нуждѣ тароватыми мастерами, тотчасъ же брошены и забыты, какъ только явилась возможность смѣлѣе заглядывать въ другія сферы общества, болѣе знакомыя пишущему сословію и болѣе близкія читающей публикѣ. Пошли изображать чиновниковъ, офицеровъ, откупщиковъ, помѣщиковъ, и крестьяне стали являться въ повѣстяхъ только уже по своимъ отношеніямъ къ этимъ сословіямъ. Но въ это самое время, когда повѣствователи всего менѣе заботились о мужикѣ, и подошла незамѣтно пора настоящихъ рассказовъ изъ народной жизни.

Крестьянскій вопросъ заставилъ всѣхъ обратить вниманіе на отношеніе помѣщиковъ и крестьянъ. Литература хотѣла тотчасъ принять посильное участіе въ разрѣшеніи вопроса, и между прочимъ принялась-было за путь беллетристической обработки существующихъ фактовъ. Но вскорѣ было соображено, что въ минуту серьезнаго и мирнаго разсужденія о дѣлѣ, не деликатно болтать о фактахъ, представляющихъ одну сторону въ нехорошемъ видѣ и могущихъ раздражать ее напоминаніями прошлаго, которое должно уже скоро кончиться. И такъ этотъ предметъ беллетристикою оставленъ въ покое; но не могла быть оставлена безъ вниманія жизнь крестьянъ и существующія условія быта ихъ. Разъясненіе этого дѣла стало уже не игрушкой, не литературной прихотью, а настоятельною потребностью времени. Безъ всякаго шума и грома, безъ особенныхъ новыхъ открытій, взглядъ общества на народъ сталъ серьезнѣе и осмыслился нѣсколько, просто отъ предчувствія той дѣятельной роли, которая готовится народу въ весьма недалекомъ будущемъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ появились и рассказы изъ народнаго быта, совершенно уже въ другомъ родѣ, нежели какіе появлялись прежде. До сихъ поръ ихъ явилось еще очень немного, и къ числу этихъ немногихъ принадлежатъ рассказы г. Славутинскаго, на которые мы хотимъ теперь обратить вниманіе нашихъ читателей.

Г. Славутинскій не возвышается надъ многими, изъ предшествовавшихъ простонародныхъ рассказчиковъ, силою художественнаго таланта, а нѣкоторымъ изъ нихъ уступаетъ. Но преимущество его заключается въ другомъ, именно въ самомъ отношеніи его къ предмету, за который онъ берется. Здѣсь имѣетъ онъ ту особенность, что говоритъ постоянно такъ, какъ взрослый человѣкъ долженъ говорить съ взрослыми людьми о серьезномъ дѣлѣ. Онъ не подлаживается ни къ читателямъ, ни къ народу, не старается, примѣняясь къ нашимъ понятіямъ, смягчить передъ нами грубый колоритъ крестьян-

ской жизни, не усиливается непременно создавать идеальныя лица изъ простаго быта. Онъ не считаетъ нужнымъ и щегольнуть сочувствіемъ къ простому классу, которое съ такими самодовольствомъ старались выставить напоказъ нѣкоторые изъ прежнихъ даже талантливыхъ писателей: «вотъ, молъ, я какой добрый,—какъ снисходительно мужиковъ расписываю; а стоятъ ли они этого?» Напротивъ, г. Славутинскій обходится съ крестьянскимъ міромъ довольно строго: онъ не щадитъ красокъ для изображенія дурныхъ сторонъ его, не прячетъ подробностей, свидѣтельствующихъ о томъ какія грубыя и сильныя препятствія часто встрѣчаютъ въ немъ доброе намѣреніе или полезное предпріятіе. Но, несмотря на это, признаемся, рассказы г. Славутинскаго гораздо болѣе возбуждаютъ въ насъ уваженіе и сочувствіе къ народу, нежели всѣ приторныя идилліи прежнихъ рассказчиковъ. Тѣ, бывало, смотря на народъ съ высоты своего величія, великодушно старались обойти его недостатки и выставить только хорошія стороны; они рассчитывали возбудить въ читателяхъ сожалѣніе, благосклонность къ низшему сословію, и трактовали его съ той обидной ласковостью, которая обыкновенно происходитъ отъ увѣренности въ неизмѣримомъ превосходствѣ собственномъ. Такъ обращаются иногда съ маленькими дѣтьми, больными, сумасшедшими: оставляютъ ихъ говорить и дѣлать глупости, капризничать, спорить, соглашаются съ ними для виду, даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ подчиняются ихъ требованіямъ... Такое обращеніе бываетъ, впрочемъ, ужасно обидно для дѣтей, начинающихъ приходить въ сознаніе, и для здоровыхъ людей, которыхъ другіе считаютъ больными или поврежденными и потому не хотятъ принимать серьезно. Не особенно пріятно было и такое отношеніе писателей къ народу для людей, дѣйствительно сочувствовавшихъ ему и понимавшихъ его жизнь. Оттого-то и пріятно видѣть то мужественное, прямое и строгое воззрѣніе на простой народъ, какое выражается въ рассказахъ г. Славутинскаго. Онъ говоритъ о мужикѣ просто какъ о своемъ братѣ: вотъ, говоритъ, онъ каковъ, вотъ къ чему способенъ, а вотъ чего въ немъ нѣтъ, и вотъ что съ нимъ случается и почему. Читая такой рассказъ, и дѣйствительно ставишь въ уровень съ этими людьми, входишь въ ихъ обстоятельства, начинаешь жить ихъ жизнью, понимаешь естественность и законность тѣхъ или другихъ поступковъ, рассказываемыхъ авторомъ. И несмотря на то, что много признаешь въ нихъ грубымъ и неправильнымъ, все-таки начинаешь болѣе цѣнить этихъ людей, нежели по прежнимъ, сахарнымъ рассказамъ: тамъ было высокомерное снисхожденіе, а здѣсь вѣра въ народъ. Такъ обыкновенно стараются расхваливать пріятеля, котораго считаютъ ниже себя и которому нужно еще составить репутацію; но человека, котораго вы признаете равнымъ вамъ и котораго значеніе и извѣстность уже утверждены, вы разбираете спокойно, смѣло и безпристрастно.

Впрочемъ, приторное любезничанье съ народомъ и насильная идеализація происходили у прежнихъ писателей часто и не отъ

обреженія къ народу, а просто отъ незнанія или непониманія. Внѣшняя обстановка быта, формальныя, обрядовыя проявленія быта, обороты языка доступны были этимъ писателямъ и мно- давались довольно легко. Но внутренній смыслъ и строй всей бытъянской жизни,—особый складъ мысли простолюдина, особен- ное міросозерцаніе — оставались для нихъ по большей части чуждыми. Вотъ отчего нерѣдко писатели, даже хорошо изучившіе народную жизнь, вдругъ переносили въ нее отвлеченную идею, за- шуюся въ ихъ головѣ и обязанную своимъ началомъ вовсе не бытъю быту, а тому кругу, въ которомъ жили сами писатели. *Идея народности* въ томъ же родѣ, какая была въ народныхъ бытъяхъ, сочиненныхъ Нелединскимъ-Мелецкимъ и Дельвигомъ. Въ время было въ употребленіи нѣжное воркованье любящихся и нѣкая задумчивость; цѣликомъ перешло это и въ народныя пѣсни, нѣкоторыхъ красная дѣвица по цѣлымъ днямъ сидитъ въ грусти нѣрежку, поджидаячи милаго, а добрый молодецъ, котораго «по- ни злые толки», хочетъ отъ нихъ въ лѣсъ бѣжать. Авторы, нѣдвно, не предполагали, что у красной дѣвицы есть работа дома, на полѣ, и что если молодецъ убѣжитъ въ лѣсъ, то его пой- ть, и съ нимъ поступлено будетъ какъ съ бродягою. Подобнымъ юмъ,—въ эпоху появленія простонародныхъ повѣстей было въ «постановленіе собственнаго я въ разрѣзъ съ окружающей дѣй- тельностью» и анализъ тонкихъ душевныхъ ощущеній; то же вошло и въ повѣстяхъ простонародныхъ: большею частью нѣя простолюдинъ или простая женщина, какъ-нибудь напятав- я не тѣми понятіями, которыя господствуютъ въ окружающей средѣ, и затѣмъ онъ или она начинаютъ страдать и анализи- ть себя или предоставляютъ анализъ самому автору; поводомъ нѣграданію обыкновенно служитъ любовь къ неровнѣ, и тутъ уже нѣтизмъ въ полномъ ходу. Все это теперь представляется очень нѣнымъ, но въ то время читалось и даже нравилось, потому что нѣвивалось талантливымъ изложеніемъ и вѣрно-скопированными нѣбностями внѣшней обстановки. Дѣйствительно, талантъ и на- ательность авторовъ поражали читателей до того, что искус- ность и натянутость общей постройки повѣсти рѣдко кому въ глаза. Но при этой натянутости, сдѣлавшейся общимъ нѣствомъ простонародныхъ повѣстей тогдашнихъ, онѣ никакъ не нѣпріобрѣсти прочнаго значенія. Натянутость эта происходила— нѣю отъ робости авторовъ, боявшихся выставить цѣликомъ всю нѣю простонародья, какъ она есть, частью же прямо отъ непони- я внутренняго смысла этой жизни и ея отношеній ко всѣмъ нѣмъ явленіямъ русскаго быта. Поэтому, только съ обращеніемъ нѣаго вниманія на всѣ стороны быта низшихъ классовъ и съ нѣеніемъ ихъ значенія въ государственной жизни народа возможно нѣожидать болѣе полного и жизненнаго, естественнаго воспро- нѣденія народнаго быта въ литературѣ. Теперь время подошло къ

ской жизни, не усиливается непременно создавать идеальные личности из простого быта. Онъ не считаетъ нужнымъ и щегольнуть своимъ чувствомъ къ простому классу, которое съ такимъ самодовольствомъ старались выставить напоказъ нѣкоторые изъ прежнихъ даже талантливыхъ писателей: «вотъ, молъ, я какой добрый,—какъ снисходительно мужиковъ расписываю; а стоятъ ли они этого?» Напротивъ, г. Славутинскій обходится съ крестьянскимъ міромъ довольно строго: онъ не щадитъ красокъ для изображенія дурныхъ сторонъ его, не прячетъ подробностей, свидѣтельствующихъ о томъ, какія грубыя и сильныя препятствія часто встрѣчаютъ въ немъ доброе намѣреніе или полезное предпріятіе. Но, несмотря на это признаемся, рассказы г. Славутинскаго гораздо болѣе возбуждаютъ въ насъ уваженіе и сочувствіе къ народу, нежели всѣ приторныя идилии прежнихъ рассказчиковъ. Тѣ, бывало, смотря на народъ съ высоты своего величія, великодушно старались обойти его недостатки и выставить только хорошія стороны; они рассчитывали возбудить въ читателяхъ сожалѣніе, благосклонность къ низшему сословію, трактовали его съ той обидной ласковостью, которая обыкновенно происходитъ отъ увѣренности въ неизмѣримомъ превосходствѣ собственномъ. Такъ обращаются иногда съ маленькими дѣтьми, больными, сумасшедшими: оставляютъ ихъ говорить и дѣлать глупости, капризничать, спорить, соглашались съ ними для виду, даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ подчиняются ихъ требованіямъ... Такое обращеніе бываетъ, впрочемъ, ужасно обидно для дѣтей, начинающихъ приходить въ сознаніе, и для здоровыхъ людей, которыхъ другіе считаютъ больными или поврежденными и потому не хотятъ принимать серьезно. Не особенно пріятно было и такое отношеніе писателей къ народу для людей, дѣйствительно сочувствовавшихъ ему и понимавшихъ его жизнь. Оттого-то и пріятно видѣть то мужественное, прямое и строгое воззрѣніе на простой народъ, какое выражается въ рассказахъ г. Славутинскаго. Онъ говоритъ о мужикѣ просто какъ о своемъ братѣ: вотъ, говоритъ, онъ каковъ, вотъ къ чему способенъ, а вотъ чего въ немъ нѣтъ, и вотъ что съ нимъ случается и почему. Читая такой рассказъ, и дѣйствительно становишься въ уровень съ этими людьми, входишь въ ихъ обстоятельства, начинаешь жить ихъ жизнью, понимаешь естественность и законность тѣхъ или другихъ поступковъ, рассказываемыхъ авторомъ. И несмотря на то, что много признаешь въ нихъ грубымъ и неправильнымъ, все-таки начинаешь болѣе цѣнить этихъ людей, нежели по прежнимъ, сахарнымъ рассказамъ: тамъ было высокомерное снисхожденіе, а здѣсь вѣра въ народъ. Такъ обыкновенно стараются расхваливать пріятеля, котораго считаютъ ниже себя и которому нужно еще составить репутацію; но человека, котораго вы признаете равнымъ вамъ и котораго значеніе и извѣстность уже утверждены, вы разбираете спокойно, смѣло и безпристрастно.

Впрочемъ, приторное любезничанье съ народомъ и насильная идеализація происходили у прежнихъ писателей часто и не от

пренебреженія къ народу, а просто отъ незнанія или непониманія его. Внѣшняя обстановка быта, формальныя, обрядовыя проявленія правовъ, обороты языка доступны были этимъ писателямъ и многимъ давались довольно легко. Но внутренній смыслъ и строй всей крестьянской жизни,—особый складъ мысли простолюдина, особенности его міросозерцанія — оставались для нихъ по большей части закрытыми. Вотъ отчего нерѣдко писатели, даже хорошо изучившіе народную жизнь, вдругъ переносили въ нее отвлеченную идею, зародившуюся въ ихъ головѣ и обязанную своимъ началомъ вовсе не народному быту, а тому кругу, въ которомъ жили сами писатели. Выходила *народность* въ томъ же родѣ, какая была въ народныхъ пѣсняхъ, сочиненныхъ Нелединскимъ-Мелецкимъ и Дельвигомъ. Въ ихъ время было въ употребленіи нѣжное воркованье любящихся и томная задумчивость; цѣликомъ перешло это и въ народные пѣсни, въ которыхъ красная дѣвица по цѣлымъ днямъ сидитъ въ грусти на бережку, поджидая милаго, а добрый молодецъ, котораго «погубили злые толки», хочетъ отъ нихъ въ лѣсъ бѣжать. Авторы, очевидно, не предполагали, что у красной дѣвицы есть работа дома, либо на полѣ, и что если молодецъ убѣжитъ въ лѣсъ, то его поймутъ, и съ нимъ поступлено будетъ какъ съ бродягою. Подобнымъ образомъ,—въ эпоху появленія простонародныхъ повѣстей было въ ходу «постановленіе собственнаго я въ разрѣзъ съ окружающей дѣйствительностью» и анализъ тонкихъ душевныхъ ощущеній; то же самое вошло и въ повѣстяхъ простонародныхъ: большею частью брался простолюдинъ или простая женщина, какъ-нибудь напятавшаяся не тѣми понятіями, которыя господствуютъ въ окружающей ихъ средѣ, и затѣмъ онъ или она начинаютъ страдать и анализировать себя или предоставляютъ анализъ самому автору; поводомъ къ страданію обыкновенно служитъ любовь къ неровнѣ, и тутъ уже романтизмъ въ полномъ ходу. Все это теперь представляется очень забавнымъ, но въ то время читалось и даже нравилось, потому что скрашивалось талантливымъ изложеніемъ и вѣрно-скопированными подробностями внѣшней обстановки. Дѣйствительно, талантъ и наблюдательность авторовъ поражали читателей до того, что искусственность и натянутость общей постройки повѣсти рѣдко кому были въ глаза. Но при этой натянутости, сдѣлавшейся общимъ свойствомъ простонародныхъ повѣстей тогдашнихъ, онѣ никакъ не могли пріобрѣсти прочнаго значенія. Натянутость эта происходила—частью отъ робости авторовъ, боявшихся выставить цѣликомъ всю жизнь простолюдыня, какъ она есть, частью же прямо отъ непониманія внутренняго смысла этой жизни и ея отношеній ко всѣмъ другимъ явленіямъ русскаго быта. Поэтому, только съ обращеніемъ большаго вниманія на всѣ стороны быта низшихъ классовъ и съ уясненіемъ ихъ значенія въ государственной жизни народа возможно было ожидать болѣе полнаго и жизненнаго, естественнаго воспроизведенія народнаго быта въ литературѣ. Теперь время подошло къ

этому, и начатки такого воспроизведенія мы видимъ въ рассказъ г. Славутинскаго.

Въ повѣстяхъ его мы видимъ не отрывочное знаніе той другой особенности жизни, — какого-нибудь обряда, обычая, імѣты, причитанья или поговорки; нѣтъ, въ нихъ находимъ мы и ный пересказъ наблюденій надъ цѣлымъ строемъ жизни и, въ того, пониманіе ея сокровенныхъ тенденцій и принциповъ, нигдѣ никѣмъ невысказанныхъ, но постоянно проявляющихся на дѣлѣ. Этимъ пониманіемъ сущности дѣла, а не одной его внѣшности особенно силенъ г. Славутинскій. Оно придаетъ ему то спокойствіе и увѣренность, съ которыми онъ всегда ведетъ свой рассказъ; видно, что предметъ, за который онъ взялся, вполне находится въ распоряженіи. Владѣя такими данными, человѣкъ съ сильнымъ поэтическимъ талантомъ могъ бы, конечно, создать художественное цѣлое, могъ бы дать прочную, типическую жизнь лицамъ, которыхъ выводитъ, могъ бы сдѣлать свои повѣсти настолько же выше цѣлѣшествовавшихъ попытокъ, насколько пѣсни Кольцова выше романсовъ Дельвига и Мелецкаго. Но для этого, кромѣ знанія и вѣрнаго взгляда, кромѣ таланта рассказчика, нужно еще многое другое. Нужно не только знать, но глубоко и сильно самому переживать эту жизнь, нужно быть кровно-связаннымъ съ этими людьми, нужно самому нѣкоторое время смотрѣть ихъ глазами, думать головой, желать ихъ волей; надо войти въ ихъ кожу и въ ихъ душу. Для всего этого человѣку, который не вышелъ дѣйствительно изъ среды ихъ, нужно имѣть въ весьма значительной степени даръ примѣривать на себя всякое положеніе, всякое чувство и въ то время умѣть представить, какъ оно проявится въ личности другого. Темперамента и характера, — даръ, составляющій достояніе натуры истинно художественныхъ и уже незамѣнимый никакимъ знаніемъ.

Взамѣнъ этого исключительнаго дара, мы находимъ у г. Славутинскаго вѣрный тактъ дѣйствительности, помогающій ему очень легко и искусно выбирать и располагать отдѣльныя черты его рассказовъ. Руководясь этимъ тактомъ, онъ не позволяетъ себѣ ни малѣйшей фальши въ представленіи дѣйствительности и, съ помощью его же, приходитъ иногда къ такимъ идеальнымъ чертамъ, дающимъ самую жизнь, какихъ никогда не могли придумать прежніе салонно-простонародные рассказчики наши.

Мы, противъ обыкновенія нашего, говоримъ о произведеніи г. Славутинскаго въ общихъ чертахъ, не представляя части указаній, доказательствъ и выисокъ; это потому, что мы надѣемся на память нашихъ читателей: двѣ повѣсти г. Славутинскаго «Своя рубашка» (названная въ отдѣльномъ изданіи менѣе заглавно: «Чужая бѣда») и «Трифонъ Аознасьевъ» — были помѣщены въ «Современникѣ» прошлаго года, и читатели собственнымъ вниманіемъ могутъ провѣрить наши слова. Впрочемъ, мы съ стороны готовы, въ подтвержденіе своихъ мнѣній, сказать нѣсколько словъ еще объ одной повѣсти г. Славутинскаго, «Читальщица».

довольно давно уже помещенной въ «Русскомъ Вѣстникѣ», и теперь тоже перепечатанной въ книжкѣ «Повѣстей».

Въ «Читальницѣ» мы видимъ дѣйствующими лица изъ разныхъ сферъ: отецъ Татьяны-читальницы, Нахраповъ,—управляющій откупомъ, купецъ, изъ крестьянскаго рода, впрочемъ; воспитывается она у старушки генеральши Медынской; учить и образуетъ ее старикъ, учитель убадный, извѣстный въ городѣ подъ именемъ *Сенеки*; подъ конецъ живетъ она въ деревнѣ, съ своимъ дѣдомъ, дряхлымъ, спившимся старикомъ. Такимъ образомъ, различныя сферы соприкасаются здѣсь одна съ другой, и авторъ относится ко всѣмъ имъ съ полнымъ безпристрастіемъ. Дѣдъ Татьяны и отецъ ея изображаются въ очень сжатомъ очеркѣ, такимъ образомъ (стр. 31—36):

„Отецъ ея, Андрей Несторовъ Нахраповъ, былъ свободный хлѣбопашецъ села *А-а*. Какъ многіе крестьяне этого села и другихъ окрестныхъ селеній, Андрей съ малолѣтства пошелъ по „питейной части“. Отецъ его, Несторъ Савиновъ, тоже большую часть жизни своей провелъ, служа по кабакамъ да въ питейныхъ конторахъ. Впрочемъ, старшій Нахраповъ, когда сынъ его послѣдовалъ родительскому примѣру, уже нѣсколько времени, какъ оставилъ питейную часть: ему не повезло какъ-то наосладохъ, онъ чуть было не сгнилъ въ острогѣ за черезчуръ уже рискованное дѣльце, а потому и рѣшился домаячить свой вѣкъ дома, въ родномъ утробу. И сталъ Несторъ Савиновъ,—ему было тогда лѣтъ около сорока,—жить да поживать прибрѣтеннымъ всячески прибыткомъ, размахисто погуливая на волюны денежки и нисколько ихъ не сберегаячи. „Будетъ смышленъ Андрюша,—говаривалъ онъ,—и самъ деньгу наживетъ, а я для него не работникъ. Вишь ты: не задалось мнѣ въ *хорошіе* люди выйти, хотя я и не хуже кого другого изъ нашей брати умомъ да хитростью раскидывалъ. Вѣдь чего-чего не принялъ я на своемъ нѣку: и побоевъ, и страху разнаго, и больно много всякихъ трудовъ и скорбей, да и грѣха довольно-таки на душу прихватилъ... А что, много, что-ль, нажитку у меня осталось?... такъ, пустяки сущіе... Но что мое, то мое. Я наживалъ, а самъ и проживу, а Андрюшкѣ, дураку эдакому, ничего не оставлю; да ему такіа деньги и въ прокъ, пожалуй, не пойдутъ. Пускай — какъ пришли, такъ и уходятъ!... И того для Андрюшки довольно, что я его родилъ, да вотъ дорогу широкую указалъ. Чего жъ еще больше-то“?...

„Такія разсужденія Несторъ Савиновъ повершилъ самымъ дѣломъ, а потому сынъ его, Андрюшка, съ одиннадцатилѣтняго возраста сталъ жить на чужой сторонѣ, одинъ-одинехонекъ, безъ присмотра, безъ призора. Много обидъ и горя онъ испытывалъ, много всякаго зла онъ увидѣлъ, и научился помаленьку, но крѣпко-накрѣпко, многимъ дурнымъ дѣламъ. Онъ имѣлъ умъ быстрый, смѣтливый, хитрый, предприимчивый, а нравъ—скрытный, смѣлый до дерзости, необыкновенно упорный и жестокий; совѣсти же онъ совсѣмъ не имѣлъ. Дгать всегда и передъ всѣми, обманывать и обкрадывать всякаго, кто входитъ съ нимъ въ какія либо сношенія, поступать такимъ образомъ иной разъ и не изъ корысти, а изъ какого-то особеннаго удовольствія, для *практики*, какъ онъ выражался, вотъ въ чемъ заключалась вся жизнь Андрея Несторова Нахрапова, вотъ въ какой сферѣ вращались всѣ его стремленія, надежды и дѣйствія. Онъ чрезвычайно скоро постигъ всю грамоту и весь смыслъ той глубоко-растлѣнной среды, которая у насъ въ народѣ слыветъ

подъ названіемъ *мѣстной части*. Двадцати двухъ лѣтъ отъ рожденія онъ уже управлялъ откупомъ въ какомъ-то уѣздномъ городѣ, гдѣ, впрочемъ, недолго онъ былъ. Съ тѣхъ поръ онъ занималъ всегда должности управляющихъ или главныхъ ревизоровъ по большимъ откупамъ. Впрочемъ, часто, очень часто, приводило ему нѣвѣять мѣста и хозяевъ, и почти нигдѣ добромъ онъ не оканчивалъ: то у него, бывало, насчитывали, то онъ насчитывалъ; то у него имущество задерживали, то онъ захватывалъ чужое имущество. Въ такихъ случаяхъ всегда заводили дѣла тяжбы; дѣла эти тянулись, путались, перелутывались, но постоянно и какъ-то въ пользу Нахрабова: онъ изъ воды сухъ выходилъ, а все потому, что со всякимъ чиновнымъ людомъ завсегда старался жить какъ можно лучше, жалѣлъ для этого хозяйскихъ денегъ и хозяйскихъ водокъ. Всѣ рѣшительно чиновники, начиная съ мелкаго приказнаго полицейскихъ и судебныхъ мѣстъ доходя до самого судьи, заступающаго иногда въ уѣздѣ мѣсто представителя благороднаго сословія, находились у него на жалованьи, и всѣ эти признательны чиновники за благостиню, перепавшую имъ отъ Нахрабова, готовы были въ случаѣ всячески помогать такому ловкому человѣку. Впрочемъ, всѣ такіе процессы оканчивались обыкновенно мировыми, и часто обманутые Нахрабова хозяева-откупщики считали совершенно-необходимымъ не только вновь приглашать но даже всячески переманивать его къ себѣ на службу. Упомянемъ здѣсь немножкомъ о тѣхъ блистательныхъ качествахъ Нахрабова, которыя дѣлали онъ столь драгоценнымъ для откупныхъ дѣлъ. Никто лучше его не могъ замѣнить сосѣдняго или управляемаго имъ самимъ откупа, когда этотъ откупъ, по волеи торговъ, долженъ былъ поступить черезъ два-три мѣсяца къ другому откупщику и когда новыи откупщикъ, по неопытности или по скупости, не принималъ отъ прежняго содержателя, по особой сдѣлкѣ съ нимъ, въ завѣдываніе свое откупныя дѣла, еще до окончанія срока содержанія. Никто лучше Нахрабова не умѣлъ сдать въ казенное управленіе дурно идущаго откупа. Никто проворнѣе ловчѣе его не спускалъ съ рукъ ненужнаго больше разиню-партнера въ откупъ заставивъ его напередъ опорожнить свой карманъ для разныхъ помертвованій необходимыхъ будто бы для поддержанія откупного дѣла. Никто смѣлѣе и удальчѣе его не провозилъ въ откупъ дешеваго контрабанднаго вина съ винокурнаго завода какого-нибудь *прогрессиста*-барина. Никто, при случаѣ, не былъ жесточе Нахрабова въ преслѣдованіи дерзкихъ крестьянъ-корчемниковъ, посаженныхъ на покупку себѣ винца подешевле...

„Но разскажемъ, также вератцѣ и о томъ, какъ именно происходили миромы между Нахбравымъ и обманутыми имъ хозяевами. При такихъ великодушныхъ случаяхъ обыкновенно шелъ пиръ горою, и великодушіе обѣихъ сторонъ выказывалось въ широкихъ размѣрахъ. Хозяинъ, подпивши и обнимаясь съ мошенникомъ по нужнымъ ему для извѣстныхъ цѣлей человѣкомъ, говаривалъ, бывало, громко гласно въ такихъ выраженіяхъ: „Ну Богъ тебя простить! Надулъ ты меня, разбойникъ ты эдакой, важно надулъ! Да и то сказать, самъ я виноватъ, не внималъ во время одиннадцатую заповѣдь: „не зѣвай“. Ну, подѣлуемся же... Теперь, братъ, заживемъ мы съ тобой душа въ душу. Я вѣдь на тебя крѣпко и дѣюсь“... А нужный человѣкъ, конечно, никогда забывающій одиннадцатую заповѣдь, цѣловалъ обыкновенно своего патрона и въ плечо, и въ локоть, и въ грудь, даже слезы при этомъ выдавливалъ изъ глазъ, да приговаривалъ тихонько, такъ однако, чтобы никто, кромѣ патрона, не слыхалъ его объясненій: „В

ювать, благодѣтель! врагъ попуталъ, нужда смертная была. А вотъ теперича, да на семъ же мнѣ мѣстѣ провалиться, и пусть глаза мои лопнутъ, если пощечусь хотя на волосъ отъ вашей милости... Да я вѣкъ буду помнить... благодѣтель вы мой великій!.. А вотъ насчетъ-то дѣльца“... и прочее, все въ такомъ же родѣ“.

Какъ видите, выставлены передъ вами два человѣка простого званія не очень привлекательные; но это еще ничего въ сравненіи съ тѣмъ, что развивается дальше, въ исторіи отца Татьяны. Онъ влюбляется въ одну мѣщанскую дѣвушку, хочетъ соблазнить, но не успѣвъ, рѣшается жениться на ней; для успѣха сватовства опять употребляетъ разныя хитрости, дѣйствуя особенно на набожную и безтолковую генеральшу Медынскую, крестную мать дѣвушки, черезъ ея духовника. Дѣвушку почти принуждаютъ выйти за Андрея Несторыча: и между тѣмъ, вскорѣ послѣ свадьбы онъ начинаетъ пилить свою жену—зачѣмъ она унылый видъ имѣетъ и хвораетъ часто. «Вотъ не было печали, такъ черти накачали! Кабы во время знанье да вѣданье! Экую жарь-птицу подхватилъ себѣ!» и пр. въ этомъ родѣ безпрестанно говоритъ онъ въ глаза женѣ своей, и та, разувѣется, сохнетъ еще больше. Родивши дочь, Таню, она окончательно сдѣлалась больна; Андрей Несторычъ бросилъ ее и завелъ себѣ Марю,—дѣвушку, которую онъ соблазнилъ и надъ которой потомъ надругался не въ примѣръ хуже, чѣмъ надъ женой своей. Скоро жена его умерла, и передъ смертью ея онъ пришелъ въ порывистое, изступленное раскаяніе и обѣщалъ, по ея желанію, отдать Таню на воспитаніе къ Медынской. Обѣщаніе это онъ исполнилъ, а самъ между тѣмъ продолжалъ прежнюю жизнь. Но теперь въ немъ проявилось новое настроеніе: онъ былъ вѣчно недоволенъ и озлобленъ, и то, что прежде дѣлалъ изъ расчета, съ самодовольнымъ наслажденіемъ корысти, то теперь сталъ дѣлать съ неудержимыми порывами злости, съ какой-то болью души. Онъ чаще и чаще сталъ обращаться къ прошедшему, припоминать все, что вытерпѣлъ и что заставилъ другихъ потерпѣть, припоминалъ жену свою, и тоска его еще увеличивалась. Заглушалась она только дикимъ, неистовымъ разгуломъ, въ которомъ онъ доходилъ до крайней степени мрачнаго изступленія, до забытья, въ которомъ то воображалъ себя судьей надъ товарищами, то жертвою, осужденною на казнь; иногда онъ заставлялъ даже отпѣвать себя, и ночью носили его въ гробу съ похороннымъ пѣніемъ по отдаленнымъ улицамъ города. Но чаще всего срывалъ онъ зло на своей Марѣ; придравшись къ чему-нибудь, онъ ругалъ ее и потомъ билъ нещадно—за все, про все, за взглядъ, за слово, за молчаніе, за печаль, за веселость; а потомъ, избивъ страшно, требовалъ, чтобы она плясала и тѣшила его самого и гостей. А между тѣмъ онъ любилъ эту женщину, да и она, несмотря ни на что, была къ нему страстно привязана...

Во всемъ этомъ чрезвычайно много правды, и взглядъ автора на основу характера этого лица совершенно вѣренъ. Это одна изъ сильныхъ русскихъ натуръ, хорошая въ основѣ, но безмѣрно жадная до

жизни и между тѣмъ не имѣющая средствъ удовлетворить жадности. Обстоятельства толкнули его въ самый омутъ раньше чѣмъ онъ еще умѣлъ понять, гдѣ добро и гдѣ зло, не пассивно погрузился, но дѣятельно принялся нырять въ омутъ. Но когда онъ утомился, силы стало поменьше, дѣла потише, да тутъ еще и жена-то сгибла по его милости,—ему нехорошо на душѣ и пришло время оглядки на себя, прищипа по напрасно-растраченнымъ юнымъ силамъ, по безумно загуб. жизни. Но, разумѣется, онъ не только не хотѣлъ въ этомъ признать онъ даже не понималъ истиннаго свойства и причины своей х. оттого и старался топить ее въ разгулъ и пьянствѣ. Все это вѣрно соображено и замѣчено авторомъ, и намъ кажется, что такіе характеры, съ такими результатами, гораздо болѣе о близки русской жизни, нежели, напримѣръ, хоть бы пите г. Писемскаго. Но въ то же время мы должны замѣтить, что у вутинскаго сдѣланъ лишь намекъ на развитіе этого характера не приведенъ онъ полно и послѣдовательно, не сдѣланъ художески цѣльно; оттого-то, разумѣется, большинство читателей пускаетъ безъ вниманія это лицо, не замѣтивъ даже основъ характера. Между тѣмъ, въ художественской обработкѣ и при знаніи дѣла, какое видимъ мы у г. Славутинскаго, Андрей Павловъ могъ-бы составить особенный типъ въ нашей литературѣ.

Но обращая вниманія на художественный недостатокъ въ совкѣ характера, мы должны указать и на жизненную прав постановкѣ этого лица. Авторъ не забылъ вліянія среды, въ которой Нахраповъ родился и выросъ, и въ сквозъ всѣ гадости, дѣ. этимъ героемъ, видите, однако, что самъ по себѣ онъ могъ-бы и не таковъ, но все окружающее его было таково, что для въ немъ неглупому человѣку только и надо было—совѣсти не. И хоть слабо развито это въ повѣсти, но все-же замѣтно участие другой силы, которая тянетъ Нахрапова на постыдный. Такъ, между прочимъ, является мимоходомъ Нилъ Александр баринъ-откупщикъ съ изящною важностью, съ большимъ знач въ аристократическомъ губернскомъ кругу, и какъ ни ужасен Нахраповъ, но читатель инстинктомъ чувствуетъ, что этотъ злодѣй никогда не можетъ дойти до такого гнилого безобразія этотъ Нилъ Александровичъ. Жаль только, что въ повѣсти опять-таки не развито съ тою живою обстоятельностью, и имѣетъ такое значеніе въ произведеніяхъ нашихъ писателей-никовъ. Вообще, дѣйствіе въ повѣстяхъ г. Славутинскаго идетъ вычайно быстро; онъ идетъ прямо впередъ, не смотря по сто и не останавливаясь на второстепенныхъ обстоятельствахъ. заключительныя сцены, особенно трагическаго свойства, обр. ваются у него полнѣе и обстоятельнѣе. Такъ въ «Читаль остановился онъ надъ изображеніемъ послѣднихъ дней раскаяв. Нахрапова. Нахраповъ, пьяный, въ дорогѣ убилъ Марю, сове. ненамѣренно; чтобъ скрыть преступленіе, онъ, съ помощью

и сопровождавшего его повѣреннаго по откупѣ, свидѣтелей дѣла, зарылъ Марѳу подлѣ дороги въ лѣску, и самъ-же, по возвращеніи въ городъ, поднялъ дѣло о ея безвѣстной пропажѣ. Полиція, знавшая Нахрапова и Марѳу, употребила всѣ усилія къ разысканію, но ничего не могла узнать; черезъ полгода, весною, когда найдено было тѣло Марѳы, опять было слѣдствіе, и опять безуспѣшное. Но на этотъ разъ стали ходить какіе-то слухи, неблагопріятные Нахрапову; а еще годъ спустя, одинъ изъ служителей откупа, обиженный Нахраповымъ, нашелъ средство опять поднять дѣло, и началось третье слѣдствіе, которое усилило прежнія подозрѣнія. Два года тянулось это дѣло; Нахраповъ почти разорился на веденіе его и наконецъ-таки кончилось оно въ его пользу; какъ вдругъ онъ, истомленный и отчаянный, рѣшился самъ во всемъ признаться. Признаніе это было такъ неожиданно для всѣхъ, что его могли объяснить только расстройствомъ разсудка Нахрапова, и Нилъ Александровичъ даже настоялъ, чтобъ его подвергли освидѣтельствованію въ присутствіи губернскихъ властей. При этомъ свидѣтельствѣ, Нахраповъ выразилъ изумленіе, какимъ образомъ его искреннее признаніе могло заставить думать, что онъ сошелъ съ ума, и прибавилъ, что вѣдь не всякій-же способенъ до конца жизни гнѣвить Бога нераскаянно. Этими отвѣтами остался очень недоволенъ губернаторъ и приказалъ написать въ протоколѣ, что Нахраповъ признанъ *«совершенно»* неповрежденнымъ въ умѣ, и слово *«совершенно»* подчеркнулъ собственноручно.

Тутъ-то и посадили Нахрапова въ острогъ, и тутъ начинаются его сцены съ дочерью. Дочь его, Таня, росла все время въ домѣ старухи Медынской, пользовалась ея ласками, но, къ счастью, была удалена отъ вліянія приживалокъ и дворни, находясь подъ особеннымъ попеченіемъ старика-учителя *Сенеки*. Это былъ добрый и честный человѣкъ, скромный и убогій, но неутомимый и безкорыстный *дѣатель* въ своей средѣ, насколько силъ его хватало... Онъ разсуждалъ: «коли ужъ я живу въ мірѣ. такъ всякое дѣло мірское—хорошее оно — надо его поддержать, не выпускать его изъ глазъ; дурное—надо попробовать, не уступить-ли оно мѣсто хорошему». Разумѣется, дѣйствовать приходилось ему въ очень узенькой сферѣ, и средствъ у него не было, и потому пробы его противъ дурныхъ дѣлъ ограничивались одними увѣщаніями; а много ли же можно сдѣлать увѣщаніемъ? Но на людей простыхъ и юныхъ онъ могъ дѣйствовать благотворно, и подъ его-то вліяніемъ развивалась Таня. *Сенека* убѣдилъ Медынскую, что Танѣ ненужно никакого особеннаго образованія, что онъ одинъ можетъ всему ее выучить, и съ раннихъ лѣтъ сталъ онъ ее готовить на подвигъ жизни. Будучи отчасти мистикомъ, онъ толковалъ ей о высокой цѣли и особенномъ назначеніи ея, приготавливалъ ее къ самоотверженію и труду на пользу общую. И Таня дѣйствительно готовилась на трудъ и горе и привыкла считать чѣмъ то должнымъ и неизбѣжнымъ всѣ тяжелыя и непріятныя происшествія своей жизни. А жизнь ея,

разумѣется, протекала невесело въ домѣ Медынской: сама ст была уже дряхла и почти ничего не понимала; а разные п валки и прислуга смотрѣли на Таню съ пренебреженіемъ. Она престанно воспоминала о судьбѣ матери; дѣянія отца также не отъ нея скрыты, хотя онъ очень рѣдко съ нею видѣлся и с шенно ни о чемъ не рассказывалъ ей, и ее не спрашивалъ. послѣ смерти Медынской онъ самъ пожелалъ, чтобъ она лучше комнатку у старика учителя, а не переходила къ нему. Онъ будто боялся выказать себя передъ нею, да и дѣла его в время были ужъ очень плохи. Онъ пришелъ къ ней только i минуту, когда задумалъ признаться въ убійствѣ, и ей перво крылъ преступленіе. А потомъ, послѣ губернаторскаго рѣшені посадили въ острогъ, и Таня къ нему ходить начала. Сначала оскорблялся тѣмъ, что вотъ родная дочь его по состраданію щаетъ, и былъ молчаливъ и суровъ, но потомъ смягчился, и сталъ съ ней нѣженъ. Скоро онъ умеръ въ острогѣ; его предс ное состояніе изображено довольно живо, равно какъ и впечатл произведенное его смертью на Татьяну. Схоронивши его, Та рѣшилась посвятить себя одинокой и трудовой жизни. Сложені была слабого и болѣзненнаго, и потому ей не трудно было заться отъ супружескаго счастья; но она не пошла въ монас чтобъ тамъ укрыться отъ житейскихъ тревоженій. Ея идеаль въ другомъ родѣ: она осталась сначала у Сенеки — учить ма кихъ дѣтей; потомъ отыскала своего дѣда, который, спившись чалъ побираться по-міру, и уѣхала въ деревню — жить съ н ухаживать за нимъ. Она поддерживала его и себя своими тру зимой и въ ненастьѣ шила она бабьи наряды, весной ходила тать въ огороды, а лѣтомъ на сѣнокосъ. Сначала эти работы мляли ее, но мало-по-малу она свыклась съ ними. Кромѣ того учить крестьянскихъ дѣтей грамотѣ, дѣчить больныхъ, чему в лась тоже у Сенеки, и ходить читать псалтирь по умершим что и названа читальщицей. За труды свои она ничего не пр но принимаетъ вознагражденіе, какое дадутъ; только за чтеніе тиря ничего не беретъ она, искренно вѣруя, что этимъ заслу отдущеніе грѣховъ отца своего...

Таковъ идеальный характеръ, найденный, г. Славутинским глуши русской жизни. Онъ едва намѣченъ, въ рисунокъ его той художественной полноты и яркости, какія мы привыкли в въ замѣчательныхъ произведеніяхъ литературы. Это недостаток ственно исполненія. Но если отбросить въ сторону *незыблемы* бованія искусства, то мы должны отдать полную справедл автору за живую, умную и правдивую передачу дѣйствительн торіи, за прямое и вѣрное указаніе за существующій, не выд ный, а присущій русской жизни идеальный образъ. Пусть это заніе сдѣлано безъ особеннаго изящества и одушевленія; но мы тому, что все-таки указанъ такой фактъ, лучше и чище кот

придумывали наши идеализаторы, при всем своем возвышенном настроении.

Кромѣ «Читальщицы», въ книжкѣ «Повѣстей» помѣщена «Исторія моего дѣда», тоже бывшая въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Это исторія, какъ самъ авторъ предупреждаетъ, — въ родѣ Дубровскаго: богатый крѣдъ-помѣщикъ заѣдаетъ бѣднаго, но гордаго сосѣда. напустившись на него съ неправою тяждою, которую, однако, всѣ оправдываютъ. Здѣсь является передъ нами весь произволъ помѣщичьей власти въ прошломъ столѣтіи и все безправіе, беззащитность — не только крѣпостныхъ, но даже и бѣдныхъ дворянъ передъ прихотью цѣльнаго магната. Разсказъ этотъ составляетъ «отрывокъ изъ записокъ», и къ нему очень идетъ короткій, сжатый и нѣсколько спѣшій тонъ г. Славутинскаго. Впрочемъ, даже и здѣсь иногда, хотѣя читать нѣчто въ родѣ хроники, хочется читателю отдохнуть на подробностяхъ, хочется видѣть болѣе отчетливое, болѣе внутреннее развитіе факта; но это желаніе весьма рѣдко удовлетворяется. Мы думаемъ, что именно этому обязаны разсказы г. Славутинскаго гораздо меньшимъ успѣхомъ въ публикѣ, нежели какого они заслуживаютъ.

Третья изъ напечатанныхъ теперь повѣстей, «Чужая бѣда», знакома читателямъ «Современника». Въ ней болѣе живыхъ картинъ и сценъ, движеніе повѣсти происходитъ болѣе въ самомъ дѣйствіи, а не въ пересказѣ автора. Но и въ ней замѣтенъ тотъ же недостатокъ художественной полноты въ очертаніи образовъ. Личность богатаго старика Терехина, который насквозь видитъ всѣ плутни головы и можетъ имъ противодействовать, но не хочетъ, не желая вмѣшиваться въ чужое дѣло, а потомъ, будучи самъ зацѣтъ за живое, собираетъ всѣ силы на борьбу съ головою, но уже поздно, — личность эта очерчена очень рельефно.. и внутренній миръ этого старика раскрытъ намъ авторомъ гораздо больше, нежели душевная жизнь другихъ лицъ въ его повѣстяхъ. Но и здѣсь авторъ не воспользовался случаемъ воссоздать въ своемъ разсказѣ весь процессъ образованія и развитія такого характера и такого характернаго отношенія одного лица къ обществу. Онъ отчетливо выставилъ намъ Терехина въ томъ моментѣ, въ какомъ онъ засталъ его, намекнулъ даже на причины, отъ которыхъ старикъ сдѣлался такимъ суровымъ и несообщительнымъ, но намекнулъ слабо, въ общихъ чертахъ, и изъ повѣсти мы можемъ *помнить*, если подумаемъ пристально, но не можемъ осязательно и живо *почувствовать*, какъ именно и отчего сложился такой характеръ, и какимъ образомъ проявляется онъ во всѣ стороны жизни. Оттого при чтеніи повѣсти мы почти не имѣемъ руководительной нити, и не можемъ опредѣлить, что именно долженъ онъ сдѣлать въ такомъ-то случаѣ, куда онъ пойдетъ и до чего дойдетъ. Узнавши потомъ изъ разсказа о его поступкѣ, мы видимъ, что такой образъ дѣйствій возможенъ и естественъ; но мы все-таки смутно постигаемъ его внутреннюю необходимость. Вотъ отчего повѣсть не производитъ такого цѣльнаго

и глубокаго впечатлѣнія, какого можно бы ожидать, судя по основ ея мысли и по интересу взятаго хаарактера.

Выходитъ, стало быть, что глубокомысленный критикъ, о к ромъ мы говорили въ началѣ рецензіи, и теперь остается пр съ одной стороны: требованія искусства не удовлетворяются и изведеніемъ, въ которомъ выставлена вся правда народной жиѣ. Но мы смѣемъ думать, что въ настоящемъ случаѣ это—прос случайность, зависящая отъ личности автора и вообще отъ н статка еще въ насъ того чутія къ внутреннему развитію народ жизни, которое такъ сильно у нѣкоторыхъ писателей нашихъ въ о шеніи къ жизни образованныхъ классовъ. Но никакъ не рѣшимся сказать, чтобъ это зависѣло отъ самого предмета, никакъ не со симся, что искусство должно отказаться отъ простонародныхъ цу метовъ, потому что ихъ полное и совершенное воспроизведеніе согласно съ его требованіями. Напротивъ, въ повѣстяхъ же г. (вутинскаго, особенно въ послѣдней, мы видимъ, что гдѣ онъ спѣшитъ впередъ, а отдается своей наблюдательности и остается вается на картинахъ народной жизни, тамъ у него выходятъ . выя, занимательныя страницы, западающія въ память и въ то время неподдѣльно вѣрныя дѣйствительности, какъ и весь. ст повѣстей его. И во всякомъ случаѣ, если ужъ выбирать меѣ искусствомъ и дѣйствительностью, то пусть лучше будутъ неу влетворяющіе эстетическимъ теоріямъ, но вѣрные смыслу дѣйс тельности, рассказы, нежели безукоризненные для отвлечени искусства, но искажающіе жизнь и ея истинное значеніе.

Съ этой точки зрѣнія, мы находимъ особенный интересъ въ вѣстяхъ г. Славутинскаго. Въ нихъ нѣтъ даже ни малѣйшей п тензіи на эстетическія украшенія; онѣ просто—вѣрная перед дѣйствительныхъ фактовъ, безъ прикрасъ, безъ натянутостей, б дидактическихъ основъ. А между тѣмъ въ нихъ всегда оказывае и умная мысль въ результатѣ, и логически вѣрное, понятное, х и не вполне раскрытое, развитіе характеровъ и объясненіе за симости ихъ отъ вліянія окружающей среды, и, наконецъ, являю сами собою даже идеальныя лица русской жизни, съ болѣе живѣ и чистыми тенденціями, нежели сочиненные идеалы образованн общества. И все это выходитъ безъ нарочитыхъ усилій со стор автора, просто по силѣ истины изображаемыхъ предметовъ. По шему умѣнію, писатель, у котораго хотя въ блѣдныхъ очерк проявилось такъ естественно все это богатство русской жизни, служиваетъ полнаго участія публики, еще такъ недавно интер вавшейся сладенькими идилліями народнаго быта. На этомъ ос ваніи мы и остановились такъ долго надъ произведеніями г. Сла тинскаго, желая указать на ихъ значеніе нашимъ читателямъ.

Братчина. Часть I. Спб. 1859.

О происхождении этого почтенного и благонамѣреннаго изданія. вѣроятно, знаютъ наши читатели. О внѣшней сторонѣ исполненія вотъ отчетъ издателя, П. И. Мельникова, помѣщенный въ началѣ книги въ видѣ предисловія:

„Бывшіе студенты Императорскаго Казанскаго Университета на обѣдѣ 5-го ноября 1857 г. положили издать въ пользу недостаточныхъ студентовъ этого заведенія учено-литературный сборникъ на слѣдующихъ основаніяхъ:

„1) Помѣстить въ немъ статьи, написанныя лицами, получившими образованіе въ Казанскомъ Университетѣ.

„2) Издержки по изданію покрыть сборомъ денегъ по подпискѣ, къ которой приглашены всѣ бывшіе студенты Казанскаго Университета.

„3) Вырученныя отъ продажи деньги немедленно отправить по назначенію.

„4) Просить *перваго студента* Казанскаго Университета, Сергѣя Тимофеевича Аксакова дать названіе сборнику.

„5) Редакцію сборника поручить П. Мельникову.

„Покойный Сергѣй Тимофеевичъ Аксаковъ предложилъ назвать сборникъ „Братчиной“ и доставить для него статью „Собіраніе бабочекъ“—одно изъ послѣднихъ произведеній извѣстнаго нашего писателя.

„Съ 5-го ноября 1857 г. до сего времени на изданіе „Братчины“ поступили деньги отъ слѣдующихъ лицъ: А. М. Княжевича 100 руб., П. А. Булгакова 50 р., А. С. Княдякова 25 р.; П. А. Шестакова (изъ Вологды) 20 р., отъ И. Х. Нордстрема и Х. Х. Нордстрема по 15 р., отъ Ѳ. М. Отсолига, г. Эйлера, г. Веретенникова, А. П. Безобразова, А. В. Попова и П. И. Мельникова по 10 р., отъ г. Маршалова, А. И. Артемьева, В. П. Перцова, Е. К. Огородникова Н. И. Второва, М. Н. Ахматова, Н. П. Безобразова (изъ Орла), М. Я. Китарры (изъ Москвы) по 5 р., отъ г. Уржумцева 3 р., отъ И. В. Базилева (изъ Уфы) доставленнаго пожертвованныхъ бывшими казанскими студентами, находящимися въ Оренбургской губерніи, 144 р. Всего 472 р.

„Расходы по изданію книги, напечатанной въ числѣ 1500 экземпляровъ, были слѣдующіе: за наборъ и печать 258 р., за корректуру 18 р., за бумагу 166 р., за брошюровку 30 р. Всего 472 р.

„Всѣ экземпляры „Братчины“, сданы книгопродавцу А. И. Давыдову на комиссію съ обыкновенною уступкою 20 проц. и съ условіемъ, чтобы по мѣрѣ выручки денегъ за продажу экземпляровъ онъ отправлялъ ихъ прямо отъ себя въ Казанскій Университетъ.

„Этотъ отчетъ прилагается здѣсь для свѣдѣнія лицъ, принимавшихъ участіе въ изданіи „Братчины“.

„Вторая часть „Братчина“ будетъ напечатана, когда соберется достаточная для того сумма.

О содержаніи «Братчины» намъ много говорить не приходится. Открывается она статьею С. Т. Аксакова «Собирание бабочекъ», изъ которой видно, что почтенный авторъ «Семейной Хроники» исполненъ страстною любовью не къ однѣмъ птицамъ и рыбамъ, но и къ бабочкамъ. Весьма живо и трогательно описываетъ онъ свою страсть къ ихъ собиранію, драматическую борьбу съ другимъ товарищемъ, который тоже составлялъ собраніе насекомыхъ, восторги свои, когда ему удавалось поймать такую бабочку, какой не было у товарища, и пр. Все это было, надобно замѣтить, въ Казани, во время университетскаго курса. «Какъ будто земля горѣла подъ нашими ногами, такъ быстро пробѣжали мы Новую Горшечную улицу и Арское поле», говоритъ авторъ, описывая свою первую экскурсію. Въ другой разъ, описывая какъ онъ поймалъ рѣдкую бабочку—Кавалера Подалиріуса, онъ говоритъ такимъ образомъ:

„Я такъ былъ пораженъ неожиданностью, что не вдругъ повѣрилъ своимъ глазамъ, но, опомнившись, съ судорожнымъ напряженіемъ смахнулъ рампетой бабочку съ вершины еще цвѣтущаго репейника... Кавалеръ исчезъ; смотрю завернувшійся мѣшечекъ рампетки—и ничего въ немъ не нахожу: онъ пустъ! Мысль, что я брежу на яву, что я видѣлъ сонъ, мелькнула у меня въ головѣ—и вдругъ вижу, въ самомъ сгибѣ флероваго мѣшка, безцѣнную свою добычу, желаннаго, прошеннаго и моленнаго Кавалера, лежащаго со сложенными крыльями, въ самомъ удобномъ положеніи, чтобы взять его и пожать ему грудку. Я торопливо это исполнилъ и, не помня себя отъ восторга, не вынимая бабочки изъ рампетки, побѣжалъ домой. Какъ иступленный закричалъ я, еще издали, своему дядькѣ Евсейчу, который ожидалъ меня у крыльца: „дрожки, дрожки“! добрый мой Евсейчъ, испуганный моимъ голосомъ и страннымъ видомъ, побѣжалъ ко мнѣ навстрѣчу. Но я поспѣшилъ объяснить ему, въ чемъ состояло дѣло, и просилъ, умолялъ, чтобы онъ велѣлъ поскорѣе заложить мнѣ лошадь“.

Дрожки нужны были затѣмъ, чтобы ѣхать сейчасъ же къ Александру Панаеву, другу автора, и показать ему новую находку. «Четверть часа ѣзды до Панаева показались мнѣ долгимъ днемъ», прибавляетъ г. Аксаковъ. Въ заключеніе своего разсказа, авторъ восклицаетъ: «быстро, но горячо прошла по душѣ моей страсть—иначе я не могу назвать ее—ловить и собирать бабочекъ. Она доходила до излишествъ, до крайностей, до смѣшнаго; можетъ быть на нѣсколько мѣсяцевъ она помѣшала мнѣ внимательно слушать лекціи... нужды нѣтъ! Я не жалѣю объ этомъ. *Всякое безкорыстное стремленіе, напряженіе силъ душевныхъ нравственно полезно человеку.* На всю жизнь осталось у меня отрадное воспоминаніе этого времени, многихъ счастливыхъ, блаженныхъ часовъ». Прочитавъ это признаніе и припомнивъ, сколько душевныхъ силъ уходило у автора на собираніе бабочекъ, какъ потомъ на уженіе рыбы и на прекрасное чтеніе плохихъ стиховъ разныхъ знаменитостей по ихъ просьбѣ,—мы могли только воскликнуть отъ глубины души:

Oh, que de biens perdus! Oh, trop heureux enfant!

Статья г. Перовощикова о сочиненіяхъ Пуансо имѣетъ цѣлью обратить на эти сочиненія вниманіе геометровъ и астрономовъ. Стало быть, до насъ съ вами она не касается.

Замѣтки о Неаполѣ М. П. Веселовскаго написаны хорошимъ слогомъ, хотя и уступаютъ въ этомъ «Описанію нижегородской ярмарки», нѣкогда помѣщенному въ «Москвитянинѣ». А жаль: къ изображенію Везувія очень шелъ бы тонъ, съ какимъ г. М. В. говорилъ о цыганскомъ пѣніи и пр. Впрочемъ, при внимательномъ чтеніи нетрудно еще между обѣими статьями отыскать нѣчто родственное.

Разсказъ г. Мартынова «Швейка» принадлежитъ къ числу народныхъ разсказовъ, которыми онъ такъ отличался лѣтъ семь тому назадъ. Народность его состоитъ въ томъ, что швейка говоритъ: «бараня», вмѣсто барыня, «въ самой вещи», вмѣсто въ самомъ дѣлѣ, «напероска» вмѣсто папироска, и пр., да употребляетъ слова въ родѣ: чуль, хизнула, припертень, и т. п.

О томъ, какъ глубоко проникъ г. Мартыновъ въ народную жизнь, свидѣтельствуетъ помѣщенная тутъ же другая статья его: «Замѣтки о бытѣ вятскихъ крестьянъ». Вотъ нѣкоторые пункты этихъ замѣтокъ: «*Пища*. Кушанья и у крестьянъ, какъ обыкновенно, можно раздѣлить на скоромныя (*молосныя*, по мѣстному выговору) и постныя. Національныя блюда русскаго человѣка—одни и тѣ же по цѣлой Россіи. Пци, каша, блины, пироги—гдѣ не отыщется ихъ?» и пр. «*Питья*. Самое любимое національное питье русскаго крестьянина—*квасъ*, какой бы ни былъ, хотя бы, по поговоркѣ, носъ на сторону воротилъ,—все же квасъ, а не вода», и т. д. «*Посуда* употребляется двухъ родовъ: глиняная и деревянная. Къ первой принадлежатъ: горшки, корчаги, плошки; ко второй—чашки, ложки, кадочки, ведра, лоханки. Еще у многихъ—чугуны, котелки; железное: уполовники, ковши. Изъ бересты: бураки, кузова. Ни ножей столовыхъ, ни вилокъ не употребляется: все это при столѣ *замѣняетъ* (?) одинъ ножъ хлѣбникъ». И все о посудѣ. Таковы и всѣ замѣтки. Подъ ними не стыдно было бы подписать свое имя г. Семеновскому.

Всего любопытнѣе въ «Братчинѣ» воспоминанія—о Державинѣ, В. И. Панаева, и о Мейерѣ, П. П. Пекарскаго. Но интересъ ихъ не однороденъ. Въ воспоминаніяхъ о Мейерѣ занимаетъ насъ эта достойная личность, заслужившая такую безграничную любовь и уваженіе всѣхъ своихъ учениковъ. Несмотря на краткость и неполноту воспоминаній г. Пекарскаго, они служатъ любопытнымъ матеріаломъ для изученія этой личности, особенно по тѣмъ подлиннымъ замѣткамъ и мыслямъ самого Мейера, которыя въ нихъ приведены.

Мейеръ, по словамъ г. Пекарскаго, пользовался не только общей любовью, но и безграничнымъ, безусловнымъ авторитетомъ надъ своими слушателями. «Какой бы горячій споръ ни возникалъ въ аудиторіи,—говоритъ г. Пекарскій,—онъ мгновенно прекращался,

если кто-нибудь, вмѣсто всякихъ возраженій, говорилъ: это сказалъ Мейеръ, это его мысль. Въ мое время, да навѣрное и послѣ, у студентовъ юридическаго факультета это считалось неопровержимымъ аргументомъ». Но не надобно думать, чтобы столь гибельное вліяніе на умственную свободу молодого поколѣнія было преднамѣреннымъ съ стороны Мейера. Такой оборотъ дѣла, къ несчастію, неизбеженъ при ребяческомъ положеніи всего, что у насъ есть лучшаго. Профессоръ учитъ своихъ слушателей служить дѣлу, а не лицамъ, проповѣдуетъ имъ самостоятельность мышленія, необходимость собственнаго изслѣдованія и убѣжденія; слушатели очень довольны и начинаютъ съ того, что поклоняются лицу профессора и указаніемъ на его мнѣніе замѣняютъ всякое разумное изслѣдованіе. Прискорбны, конечно, такіе результаты; но къ чести Мейера надо замѣтить, что онъ не хотѣлъ ихъ, не вызывалъ. Это видно даже изъ воспоминаній г. Пекарскаго о томъ, какъ онъ обращался съ студентами. Вотъ, напримѣръ, начало сближенія ихъ съ профессоромъ, котораго сначала очень боялись и лекціи котораго понимали очень плохо.

„Въ тѣ времена, въ Казани, существовалъ на Воскресенской улицѣ кафе-ресторанъ Берти, куда собирались послѣ лекцій нѣкоторые бездомные студенты; туда же первое время, когда еще не успѣлъ обзавестись своимъ хозяйствомъ, ходилъ обѣдать и Мейеръ. Замѣтивъ между студентами своихъ слушателей, онъ тотчасъ же постарался завести съ ними разговоръ. Какъ теперь помню, рѣчь шла о современной литературѣ и, слѣдовательно, о журналистикѣ. Тогдашнія „Отечественныя Записки“ читались съ большою охотою студентами, которые были въ восторгѣ отъ Гоголя и осыпали насмѣшками „Москвитянина“, силившагося тогда въ критическомъ отдѣлѣ возставать противъ „Отечественныхъ Записокъ“. Критика послѣдняго журнала, напротивъ, находила такое одобреніе, что цѣлыя страницы разборовъ многимъ извѣстны были почти наизусть. Однако, студенты не знали автора ихъ и, въ провинціальной наивности, увѣрены были, что нравившіяся имъ критическія статьи писаны самимъ редакторомъ „Отечественныхъ Записокъ“. Мейеръ вывелъ изъ заблужденія студентовъ, рассказавъ съ большимъ увлеченіемъ что за человекъ былъ Бѣлинскій, авторъ неподписанныхъ критикъ, и какое значеніе имѣетъ онъ для нашей литературы. Замѣтить надобно, что въ 40 годахъ въ провинціи всѣ люди зрѣлыхъ лѣтъ и извѣстные своею солидностью, всѣ, кто былъ съ вѣсомъ по своей должности или по владѣемымъ имъ душамъ, находили статьи Бѣлинскаго или головоломными, или еретическими, а потому студенты очень удивились, что ихъ профессоръ, читающій въ аудиторіи такую мудрость, какой они еще и не раскусили хорошенько, удостоиваетъ раздѣлять ихъ мнѣніе касательно Бѣлинскаго. Подъ конецъ бесѣды разговоръ такъ оживился, что студенты совершенно забыли, что разсуждаютъ съ профессоромъ, и не чувствовали того нравственнаго гнета, который, вмѣстѣ съ благоговѣйнымъ поддакиваніемъ всему, что изречетъ профессоръ, убиваетъ всякую самостоятельность мысли и дѣлаетъ изъ юноши какую-то благовоспитанную машину, но не человека.

„Слѣдствіемъ этого сближенія было то, что одинъ изъ студентовъ рискнулъ зайти къ Мейеру и признался откровенно, что его лекціи понимаются весьма плохо, а записываются еще хуже. Мейера сначала это озадачило, но, не пока-

завъ и тѣмъ неудовольствію, онъ вывѣдалъ искусно у гостя, что читаетъ тотъ серьезнаго и какимъ предметомъ преимущественно занимается. Оказалось, что студентъ, кромѣ повѣстей, почти ничего не читалъ, а занимался всѣми предметами одинаково, то есть каждое утро ходилъ на лекціи, а дома списывалъ тетради, которыя ему достались отъ прежняго курса. Мейеръ, выслушавъ все это, предложилъ студенту нѣсколько книгъ, которыя могли быть пособіемъ для слушателей его лекцій, и въ то же время терпѣливо повторилъ все, что казалось въ нихъ труднымъ и непонятнымъ.

„На другой день студентъ съ торжествомъ объявилъ товарищамъ, что онъ былъ у Мейера, что тотъ пояснилъ мѣста, казавшіяся темными, далъ домой книгъ, чтобы заниматься, и, наконецъ, что онъ такой добрый, что ему не стыдно признаться, чего не знаешь или не понимаешь... Съ тѣхъ поръ студенты юридическаго факультета стали чаще ходить къ профессору, лекціи записывались все лучше и лучше, и скоро все темное и непонятное въ нихъ исчезло, самая отвѣченность изложенія перестала пугать слушателей, напротивъ пріучала ихъ къ мысленію и заставляла слѣдить съ напряженнымъ вниманіемъ за каждымъ словомъ профессора.

„Не прошло года, и студенты такъ свыклись съ Мейеромъ, что для нихъ сдѣлаюсь потребностью ходить къ нему за совѣтами, спрашивать разъясненій, брать нужныя книги. Не бывали у Мейера только самые отсталые, потому что имъ всегда было какъ-то неловко передъ наставникомъ; они одни только и не очень жаловали его, благоразумно умалчивая о томъ при товарищахъ. Съ самаго пріѣзда въ Казань, Мейеръ работалъ неутомимо: кромѣ приготовленія къ каждой лекціи, онъ писалъ диссертацию на полученіе званія магистра; между этими занятіями находилъ время (по его словамъ, „для отдохновенія“) учиться итальянскому языку. Однако, множество занятій не мѣшало ему принимать безпрестанно студентовъ, иногда цѣлые часы проводить съ ними, ни разу не показавъ нетерпѣнія, что его такимъ образомъ отрываютъ отъ дѣла. Онъ считалъ одною изъ обязанностей своего званія быть въ постоянныхъ сношеніяхъ съ студентами, причемъ всегда старался знакомиться короче съ характеромъ и наклонностями каждаго изъ нихъ. Мейеръ любилъ даже дѣлать свои заключенія о молодыхъ людяхъ по наружности ихъ. Само собою разумѣется, что ему не разъ случалось обманываться, и часто онъ ожидалъ многого отъ такихъ, которые вовсе не оправдывали потому его блистательныхъ на нихъ надеждъ; однако, были примѣры его особенной провидительности касательно студентовъ. — „Знакомы вы съ Т.“ спросилъ однажды Мейеръ своего слушателя. — „Да, — отвѣчалъ тотъ, — хотя Т. мнѣ и не товарищъ по курсу, однако, я знаю его довольно хорошо“. „Сегодня я его экзаменовалъ и замѣтилъ, что у него вовсе нѣтъ охоты серьезно заниматься; а это жаль: у него такія выразительныя черты лица и такіе умные глаза, что я убѣжденъ, что, при доброй волѣ и самостоятельности, онъ могъ бы сдѣлаться замѣчательнымъ человѣкомъ“. — Предчувствіе профессора оправдывается: студентъ, о которомъ шла рѣчь, сдѣлался писателемъ, его произведенія замѣчены публикой, и отъ дальнѣйшихъ его твореній зависитъ, чтобы сбылись слова Мейера окончательно.

„Когда студентъ являлся на квартиру молодого профессора, то кто бы у него ни былъ изъ постороннихъ, несмотря ни на какія занятія, онъ оставлялъ все, привѣтливо приглашалъ студента занять самое покойное мѣсто, стараясь ободрить молодого человѣка, часто смущеннаго и растроганнаго отъ такого вниманія. Съ

раннего утра Мейеръ былъ уже одѣтъ и сидѣлъ за книгами и тетрадями; тогда больной—онъ позволялъ себѣ надѣвать халатъ, и если его заставлялъ такъ студентъ, то сколько было извиненій передъ гостемъ! Нерѣдко студентъ являлся ему рано утромъ, когда профессоръ не успѣлъ еще обриться; но, чтобы не ставить дожидаться, онъ бросалъ торопливо бритву и являлся съ одною бритвою. Начинался разговоръ, время проходило, между тѣмъ являлись другіе студенты, тутъ уже некогда думать объ окончаніи туалета, и только приближеніи часа, когда надобно идти въ университетъ, заставляло профессора прощаться со своими молодыми гостями.

„Самымъ обыкновеннымъ предлогомъ, чтобы идти къ Мейеру, считались запросы и просьбы о дополненіи и объясненіи прочитаннаго имъ на лекціи. Исполняя это всегда съ величайшей готовностью, профессоръ любилъ рекомендовать то или другое сочиненіе или статью, имѣвшія соотношеніе къ лекціямъ, и которыя у него были въ библіотекѣ. При возвращеніи ихъ, Мейеръ, какъ будто невзначай, выпрашивалъ бравшаго книги, какого онъ мнѣнія о прочитанномъ и послужило ли оно ему на пользу, и поэтому не читать или бѣгло прочитать книгу у Мейера книгу не было никакой возможности. Мейеръ собственно на себя тратилъ очень немного: все, что сберегалъ отъ скромнаго содержанія во время пребыванія за-границей и отъ профессорскаго жалованья потомъ, онъ употреблялъ на пополненіе и умноженіе своей библіотеки“.

Такимъ образомъ Мейеръ вовсе не поднималъ себя передъ студентами на недостижимую высоту величія. Онъ обращался съ ними просто и довѣрчиво, открывалъ имъ самые источники своихъ знаній, старался поставить ихъ по возможности вровень съ собою. Не его вина, если въ студентахъ оказалось слишкомъ мало самостоятельности для этого и если большая часть изъ нихъ умѣла въсѣ его попеченія и труды платить ему только пассивной привязанностью.

Воспоминанія В. И. Панаева о Державинѣ любопытны съ другой стороны. Въ нихъ видимъ мы, что такое была связь молодыхъ поколѣнія писателей со старымъ и въ какихъ формахъ проявлялось благотѣльное вліяніе литературныхъ авторитетовъ на воспитаніе новыхъ людей. Мы обращаемъ на статью В. И. Панаева особенное вниманіе тѣхъ, которые съ одобреніемъ отзываются объ этомъ вліяніи изъ нея увидятъ они, до чего вліяніе доходило. Не угодно ли взять на примѣръ, такія данныя. Отецъ В. И. Панаева пользовался расположеніемъ Державина, ибо «принадлежалъ къ образованнѣйшимъ людямъ своего времени и былъ въ короткихъ отношеніяхъ съ тогдашними литераторами». Въ доказательство дружества его съ Державинымъ, В. И. Панаевъ приводитъ слѣдующее письмо, которымъ отецъ его поздравлялъ Державина съ полученіемъ ордена св. Владиміа 2-й степени.

„Милостивый государь,

„Гаврило Романовичъ!

„По искреннѣйшей преданности и привязанности къ вамъ моею сердечнѣй-

судите о той радости, какую я чувствовалъ, получа извѣстіе о послѣдовавшемъ къ вамъ во второй день сентября Монаршемъ Высочайшемъ благоволеніи. Моя радость была одна изъ тѣхъ, которыхъ источникъ въ самой душѣ находится. Больше я не могу изъяснить. Примите мое поздравленіе съ новыми почестями, на васъ возложенными. Богъ, любящій добродѣтель и правоту сердца, да умножитъ награды и благополучіе ваше—къ удовольствію добрыхъ и честныхъ людей. Съ сими чистосердечнымъ желаніемъ и совершеннымъ высокопочитаніемъ пребуду навсегда,

милостивый государь,
вашего превосходительства
всепокорнѣйшій слуга
Иванъ Панаевъ.

Не правда-ли, что такимъ образомъ писали, бывало, поздравленія помѣщикамъ управляющіе ихъ имѣніи, изъ дворовыхъ?

А вотъ и знакомство самого В. И. Панаева съ Державинымъ. Въ 1814 г., будучи уже кандидатомъ университета и сочинителемъ идиллій, В. И. Панаевъ получилъ отъ своего брата изъ Петербурга извѣстіе, что Державинъ спрашивалъ о немъ и любопытствовалъ прочесть его идилліи. Разумѣется, юный идилликъ съ трепетомъ и радостью послалъ ихъ къ російскому Пиндару, «озаботившись чистенько переписать ихъ». Державинъ отвѣчалъ ему письмомъ, хвалилъ его, но совѣтовалъ не торопиться и вычищать хорошенько слогъ. Въ заключеніе письма указывалъ, какъ на образецъ, на идиллію Бакунина, которую тутъ же и прилагалъ. «Въ благодарственномъ отвѣтномъ письмѣ—говоритъ г. Панаевъ—я, по студентской совѣсти, никакъ не могъ воздержаться, чтобы не сказать откровеннаго своего мнѣнія о стихахъ Бакунина; помню даже выраженія. «Если (писалъ я) литература есть своего рода республика, гдѣ и послѣдній изъ гражданъ имѣетъ свой голосъ, то позвольте сказать, что прекрасное стихотвореніе г. Бакунина едва-ли можетъ назваться идилліею; оно, напротивъ, отзывается и увлекаетъ любезною философіею вашихъ гораціанскихъ одъ». Признаться, я *долго колебался*, оставить или исключить изъ письма моего эту педантическую выходку; но школьное убѣжденіе превозмогло, и письмо было отправлено. Впослѣдствіи, будучи уже въ Петербургѣ, съ удовольствіемъ узналъ я отъ одного изъ ученыхъ посѣтителей Державина, что онъ остался доволенъ письмомъ моимъ, читалъ его гостямъ своимъ, собиравшимся у него по воскресеньямъ, и *хвалилъ мою смѣлость*.

Въ самомъ дѣлѣ, какая смѣлость, какой подвигъ! Видно, что автору многого это стоило, да видно, что и самъ Державинъ не былъ пріученъ къ такимъ жестокимъ нападеніямъ на него и такимъ *республиканскимъ* противорѣчіямъ...

Хорошо также первое свиданіе г. Панаева съ Державинымъ. Прочтите, и увидите, какого нравственнаго вліянія искали въ его

авторитетъ нѣкоторые молодые люди, благоговѣвшіе передъ его талантомъ.

„Съ благоговѣніемъ вступилъ я въ кабинетъ великаго поэта. Онъ стоялъ по среди комнаты, какъ на портретѣ, только, вмѣсто бархатнаго тулупа, въ сѣренъ комъ, серебристомъ бухарскомъ халатѣ, и медленно, шарча ногами, шелъ ко мнѣ на встрѣчу. Отъ овладѣвшаго мною замѣшательства, не помню хорошеенько, въ какихъ словахъ я ему отрекомендовался; помню только, что онъ два раза меня поцѣловалъ, а когда я хотѣлъ поцѣловать его руку, онъ не далъ и, поцѣловавъ меня еще въ лобъ, сказалъ: „Ахъ, какъ похожъ ты на своего дѣдушку!“—На котораго?—спросилъ я и тотчасъ же почувствовалъ, что вопросъ мой былъ некстати, потому что Гавріиль Романовичъ не могъ знать дѣда моего съ отцовской стороны, не выѣзжавшаго никогда изъ Тобольской губерніи. „На Василя Михайловича (Страхова), съ которымъ ходили мы подъ Пугачева“, отвѣчалъ Державинъ. „Ну, садись, продолжалъ онъ: вѣрно, пріѣхалъ сюда на службу“?—Точно такъ, и прошу не отказать мнѣ въ вашемъ, по этому случаю, покровительствѣ.—„Вотъ то-то и бѣда, что не могу быть тебѣ полезнымъ. Иное дѣло, если бы это было лѣтъ за двѣнадцать назадъ: тогда бы я тебѣ пригодился; тогда я служилъ, а теперь отъ всего въ сторонѣ“. Слова эти меня поразили. *Какъ, вскричалъ я: съ вашимъ громкимъ именемъ, съ вашею славой, вы не можете быть мнѣ полезнымъ?*—„Не горячись, возразилъ онъ съ добродушною улыбкою: поживешь, такъ узнаешь. Впрочемъ, если гдѣ намѣтишь, скажи мнѣ: я попробую, попрошу“. За симъ онъ сталъ спрашивать меня о родныхъ, о Казани, о тамошнемъ университетѣ, о моихъ занятіяхъ, совѣтуя и на службѣ не покидать упражненій въ словесности; прощаясь же, просилъ посѣщать его почаще. Раскланявшись, я не вдругъ догадался, какъ мнѣ выйти изъ кабинета, потому что онъ весь, не исключая и самой двери, состоялъ изъ сплошныхъ шкаповъ съ книгами“.

Конечно, бываютъ такія минуты душевнаго восторга, благодарности, любви, когда у человѣка, ни съ того, ни съ сего, противъ всякаго обычая, хочется и руку поцѣловать. Но цѣловать руку у человѣка, къ которому пріѣхалъ, между прочимъ, за тѣмъ, чтобы просить покровительства для пріисканія мѣста, и черезъ 45 лѣтъ рассказывать объ этомъ съ совершенной беззаастѣнчивостью и выставлять, какъ что-то необычайное, замѣчательное, то, что этотъ человѣкъ не далъ вамъ поцѣловать его руку,—все это, признаемся, не внушаетъ намъ особеннаго довѣрія и уваженія къ благотворности нравственной связи тогдашнихъ молодыхъ людей съ литературными корифеями. Не особенно располагаетъ въ пользу этой связи и тѣ практическое употребленіе, которое благоговѣющій юноша желаетъ сдѣлать изъ поэтическаго таланта и изъ громкаго имени обожаемаго имъ писателя.

Вообще отношенія автора воспоминаній (и мы знаемъ, что и одного его) къ Державину были въ высшей степени подобострастны. Въ каждомъ оборотѣ фразы видно это. Онъ, напр., выпросилъ Державина экземпляръ его сочиненій для Казанскаго Общества любителей словесности, и когда тотъ далъ ему экземпляръ, онъ «ис

золилъ себя (!!)) сказать: *не будете-ли такъ милостивы, не означте-ли* на первомъ томѣ вашею рукою, что дарите ихъ обществу? Съ этой надписью они будутъ *еще драгоценнѣе*. И въ Державинѣ не производили тошноты такія рѣчи, и онъ не только не гонялъ отъ себя людей, говорившихъ такимъ образомъ, но даже и не останавливалъ ихъ и не замѣчалъ, что имъ, въ этомъ случаѣ, слѣдуетъ «вычищать слогъ».

Конечно, авторитеты и въ наше время еще очень неразумно принимаются многими; доказательствомъ служить вышеприведенное замѣчаніе г. Пекарскаго объ авторитетѣ Мейера. Но мы знаемъ, что современные авторитеты имѣютъ уже гораздо больше уваженія къ себѣ, и сами стараются отвращать отъ себя курево восхваленій, понимая его гадость и удушливость для живой души. За то они увольняются и отъ обязанности употреблять свой литературный авторитетъ для покровительства на службѣ поклонникамъ своего таланта...

ЗАГРАНИЧНЫЯ ПРЕНІЯ

О ПОЛОЖЕНІИ РУССКАГО ДУХОВЕНСТВА.

Русское духовенство. Берлинъ. 1859.

Книжка эта составлена изъ нѣсколькихъ статей разныхъ авторовъ и издана по поводу вышедшей въ прошломъ году за-границѣ книги «Описаніе сельскаго духовенства въ Россіи». Вотъ уже въ другой разъ приходится намъ говорить объ опроверженіяхъ на эту книгу, а самой книги мы еще не видали. Въ прошломъ году мы уже замѣтили странность такого явленія, разбирая «Мысли свѣтскаго человѣка объ «Описаніи сельскаго духовенства». Не можемъ не повторить и теперь выраженія нашего удивленія, тѣмъ болѣе что въ книгѣ, лежащей теперь передъ нами, мы находимъ много упрековъ автору «Описаніе сельскаго духовенства» именно за то что онъ издалъ книгу свою за-границей, а не на родинѣ. Эти упреки прежде всего поразили насъ своей странностью, и мы считаемъ нелишнимъ привести ихъ и сдѣлать по поводу ихъ нѣсколько замѣчаній.

Въ книжкѣ семь статей. Авторъ первой изъ нихъ, — «Разоблаченіе клеветы на русское духовенство», — говоритъ въ заключеніи своего разбора: «грустно, что *передъ Европою* выставлено въ такъ мрачной картинѣ наше духовенство, и кѣмъ же? служителемъ самъ церкви... Если онъ былъ проникнутъ, дѣйствительно, сознаніемъ недостатковъ и скорбей своего званія, зачѣмъ, подражая Хаму, (крывать наготу отца, *передъ чужими людьми*? Вѣроятно авторъ (

ялся, что духовные слишком скоро узнаютъ всё его преувеличенія, всё его прикрасы, всё обобщенія и представленія частныхъ случаевъ въ видѣ общаго характера всего сословія» (стр. 50). Ясно, что авторъ приписываетъ появленіе книги за-границею тому обстоятельству, что авторъ ея боялся скорыхъ обличеній, если бы издалъ ее въ Россіи.

Другой авторъ въ статьѣ: «Сужденіе о книгѣ—«Описаніе сельскаго духовенства»,—говоритъ въ этомъ же родѣ: «Хорошъ-ли былъ бы сынъ, который бы, замѣтивъ въ нихъ недостатки, сталъ про нихъ кричать вслухъ цѣлаго свѣта? Нѣтъ, любовь къ нимъ, чистая, искренняя любовь, никогда бы на то не рѣшилась; нѣтъ, она скорѣе заставила бы сына обратиться къ самимъ родителямъ или, еще лучше, къ тѣмъ довѣреннымъ лицамъ, которыя бы могли на нихъ имѣть большое вліяніе, обратиться съ просьбою, чтобы они своимъ авторитетомъ озаботились исправить недостатки родителей, столько тяжкіе для любящаго сына... Какъ назвать человѣка, который въ училищѣ, какъ въ лонѣ родительскомъ, получилъ воспитаніе—и чрезъ то средства къ жизни — и потомъ *удалился на страну далече и тамъ рѣшился вслухъ всего свѣта такъ безстыдно позорить мѣсто своего образованія*»? (стр. 133). Далѣе, говоря о томъ, что авторъ «Описанія» изобразилъ только мрачную сторону духовенства, авторъ статьи восклицаетъ: «*И гдѣ же все это? Не въ родной нашей землѣ, гдѣ бы не могли ему повѣрить, а далеко, далеко отъ насъ, за-границею*», и т. д. (стр. 134).

Жалобы эти могутъ показаться очень основательными тѣмъ, кто незнакомъ со всѣми условіями, отъ которыхъ зависитъ въ Россіи выходъ книгъ, трактующихъ о духовныхъ предметахъ. Но стоитъ раскрыть намъ Цензурный Уставъ, и дѣло объяснится. Тамъ мы видимъ, что одинъ изъ основныхъ пунктовъ устава есть то, что недолично пропускать въ печать ничего противнаго православной Церкви. Но этимъ дѣло не ограничивается. Всякая книга и статья, трактующая о предметахъ духовныхъ, не довѣряется разрѣшенію одного общаго, гражданскаго цензора, а отсылается въ духовную цензуру. Подробностей устава духовной цензуры мы не знаемъ; но, на основаніи многихъ фактовъ, которыхъ намъ привелось быть свидѣтелями, полагаемъ, что онъ очень строгъ или очень неопредѣленъ. Такъ, напр., мы постоянно видимъ, что отзывы о *лицахъ* духовнаго званія смѣшиваются съ мнѣніями о самой Церкви, и на этомъ основаніи, какъ противные православію, не пропускаются въ печать, за весьма рѣдкими исключеніями. Такое смѣшеніе понятій нашли мы отчасти и въ книжкѣ «Русское духовенство». Авторъ одной изъ статей ея нападаетъ, напр., на г. Погодина за то, что онъ высказалъ такую мысль: «какъ чиновники въ частной жизни еще не составляютъ юстиціи, такъ точно и духовные, внѣ священнослуженія, еще не составляютъ Церкви». Мысль г. Погодина ясна: онъ именно хочетъ отдѣлить частную личность священника отъ общаго понятія о Церкви, ея ученіи, таинствахъ и пр. Но авторъ

статейки очень рѣзко замѣчаетъ: «удивительно, какъ академикъ и профессоръ могъ высказать такую дикую мысль», и замѣчаніе это сопровождается тремя восклицательными знаками!!! (стр. 58). Очевидно, что авторъ самъ не имѣетъ должнаго понятія о различіи между частными личностями и между тѣмъ служеніемъ, которое на нихъ возложено. Можно сказать безъ преувеличенія, что такое сѣшеніе этихъ двухъ понятій, совершенно различныхъ между собою, господствуетъ, въ большей или меньшей степени, во всемъ нашемъ духовенствѣ. Что оно проявляется и въ центральной его дѣятельности, свидѣтельствуется (не говоря ни о чемъ другомъ) уже и тотъ фактъ, что «Описаніе сельскаго духовенства» до сихъ поръ не дозволено въ Россіи. По отзывамъ людей, читавшихъ ее, и изъ выписокъ, сдѣланныхъ въ опроверженіяхъ, видно, что книга эта вовсе не враждебна христіанской Церкви и ученію православія. Она не подкапываетъ никакихъ догматовъ, не возстаетъ противъ основъ церковнаго строенія, а ограничивается только изложеніемъ темныхъ сторонъ быта сельскаго духовенства, недостатковъ семинарскаго образованія, злоупотребленій, допускаемыхъ консисторіями и архіереями. И между тѣмъ она до сихъ поръ запрещена въ продажѣ, между тѣмъ какъ опроверженія на нее—одно напечатано въ Петербургѣ, другое привезено сюда изъ Берлина и разрѣшено къ свободной продажѣ во всѣхъ книжныхъ лавкахъ.

Мы не осуждаемъ безусловно дѣйствій духовной цензуры: они могутъ оправдываться разными особенными соображеніями. Но мы хотимъ указать на ея характеръ для того, чтобы видна была неосновательность упрека автору «Описанія» за то, что его книга напечатана за-границей. Оправданіе его противъ этого упрека очень просто: онъ не могъ ее напечатать въ Россіи. Если теперь, уже напечатанную, ее не пропускаютъ въ Россію, то какъ же можно думать, что ее дозволили бы, если бъ авторъ или издатель вздумалъ здѣсь представить ее въ цензуру? Если человѣка не пускаютъ ити прямымъ путемъ, — можно ли казнить его за то, что онъ обойдетъ окольнымъ?..

Но, скажутъ намъ, — чего не позволяютъ, того и ненужно дѣлать. Если авторъ зналъ, что его книгу не позволитъ цензура, то онъ не долженъ былъ даже и писать ее, не только-что посылать за-границу. Совершенная правда. Но для автора, — впрочемъ, онъ остается тутъ въ сторонѣ уже и потому, что не самъ издастъ свою книгу, — итакъ—для издателя эти самыя соображенія могли представляться въ другомъ видѣ. Онъ могъ думать: «намѣренія автора не дурны; онъ хочетъ обратить общее вниманіе на бѣдственное положеніе духовенства, для того, чтобы приняты были мѣры къ его улучшенію. По моимъ убѣжденіямъ, законъ этого не запрещаетъ; но тѣ, которые служатъ истолкователями и блюстителями закона, расходятся со мною во взглядѣ на этотъ пунктъ. Попробую же я, обещавши ихъ, предстать на общій судъ прямо съ своими убѣжденіями и съ моимъ пониманіемъ закона». Какова бы ни была степень спра-

медливости этихъ разсужденій, но то достовѣрно, что они *неизбѣжно и неминуемо* являются у людей, которые лишены возможности свободно и прямо выражать свои мысли. Дѣло это очень важно, и о немъ слѣдуетъ серьезно подумать тѣмъ, кого оно касается. Выскажемъ объ этомъ съ своей стороны нѣсколько замѣчаній, въ надеждѣ, что духовная цензура не увидитъ въ нихъ ничего противнаго христіанству и православію.

Во время крымской войны и вслѣдъ за ея окончаніемъ—у насъ оказалась потребность въ перемѣнахъ и улучшеніяхъ по всѣмъ почти частямъ общественнаго быта и государственнаго управленія. Перемѣны эти понемножку начали дѣлаться и теперь дѣлаются; о нихъ стали говорить въ официальныхъ отчетахъ и приказахъ, стали толковать въ обществѣ. Такое положеніе дѣлъ отразилось и въ литературѣ; стали писать о многихъ предметахъ, которые прежде не смѣли появляться въ печати. При этомъ, само собою разумѣется, главное дѣло состояло въ показаніи недостатковъ всего существующаго, для свѣдѣнія и соображенія тѣхъ, кому приходилось придумывать мѣры исправленія и улучшенія; иногда предлагались въ литературѣ и проекты самыхъ улучшеній. Въ числѣ недостатковъ, на которые нападала литература, всегда можно отличить два рода: одни заключаются въ злоупотребленіяхъ или неспособности *личностей*, другіе — въ самой организаціи известной отрасли... Это стремленіе къ обличенію было такъ обще и въ то же время такъ скромно и благонамѣренно, что правительство рѣшилось ему не противиться. Вслѣдствіе этого, какъ общая цензура, такъ и частныя цензуры *стали въдомствъ свѣтскихъ* стали пропускать въ печати много такихъ статей, въ которыхъ указывались не только личныя злоупотребленія, но и нѣкоторые частные недостатки той или другой статьи *свѣтскихъ* законовъ. Все это, конечно, практической пользы принесло очень мало; но за то оживило литературу, дало публикѣ чтеніе дѣльное и близкое къ жизни, вмѣсто прежнихъ приторныхъ идиллій и тупыхъ сказокъ всякаго рода, заставило благословлять наше время, въ которое оглашаются такія вещи и, наконецъ, — смягчило то глухое, безмолвное, но тѣмъ болѣе мрачное и зловѣщее раздраженіе, которое прежде таилось и смутно бродило въ обществѣ и, нередко, отъ злоупотребленій частныхъ, переходило даже на общій характеръ правительственныхъ дѣйствій. Прежде слухи о какихъ-нибудь безпорядкахъ администраціи пересказывались только въ кружкахъ знакомыхъ; но такъ какъ безпорядковъ и злоупотребленій было немало, то слухами о нихъ переполнены были всѣ кружки, заняты всѣ собранія... Слухи эти перемѣшивались, переплетались съ другими, преувеличивались до громадныхъ размѣровъ, задѣвали людей совершенно невинныхъ, шая дѣйствительныхъ негодяевъ, и т. п. Какъ совершенная нецѣльность, слухи эти могли быть вредны для самого общества, но никому не могли принести пользы. Литература *стала* извлечь изъ нихъ пользу, приняла ихъ подъ свой контроль и, затѣмъ, пустила ихъ въ свѣтъ *подъ своей отвѣтственностью*. То;

что напечатано, тѣмъ хорошо, что ужъ твердо и неизмѣнно сидитъ въ книгѣ. Передѣлать, исказить, перевернуть ужъ нельзя: сейчасъ можно справиться; если невѣрно, — отпереться тоже нельзя: улики на лицо; если кто хочетъ отвѣчать, — опять удобство: обвиненіе закрѣплено печатью, у всѣхъ предъ глазами, и, слѣдовательно, отвѣчающій знаетъ, что именно ему опровергать, противъ чего оправдываться. Такъ и идетъ теперь наша свѣтская литература, разумѣется, въ тѣхъ предѣлахъ, какіе указаны ей Цензурнымъ Уставомъ и о которыхъ мы говорили въ одной изъ нашихъ рецензій въ прошломъ году ¹⁾.

Совершенно не то видимъ мы въ вопросахъ, касающихся духовнаго вѣдомства. Современная литература обходитъ эти вопросы, и обходитъ не по пренебреженію къ нимъ, а именно потому, что имѣетъ возможности свободно высказывать свои наблюденія, мнѣнія и предположенія. Нѣкоторые замѣчаютъ, что Церковь и не нуждается въ этомъ, такъ какъ она есть установленіе не человѣческое, а божественное и, слѣдовательно, совершенное и никакимъ перемѣнамъ неподлежащее. Такъ. Но вѣдь никто изъ писателей не думаетъ касаться самыхъ догматовъ православія, самыхъ основъ церковнаго устройства. И во всякомъ случаѣ — на статьи подобнаго рода и могло бы быть налагаемо запрещеніе, если бы только онѣ случились. А затѣмъ, указанія на частныя недостатки духовныхъ лицъ и временныя нужды Церкви могли бы быть печатаемы совершенно свободно. Вѣдь и въ свѣтской цензурѣ до сихъ поръ не запрещено ни одной статьи, которая бы посягала на основной принципъ русскаго государственнаго устройства — самодержавіе, да и не слышно было, чтобъ представлялись въ цензуру подобныя статьи: а между тѣмъ, частныя злоупотребленія обличались, и цензура пропускала ихъ на томъ основаніи, что онѣ не только не разрушаютъ нашего государственнаго принципа, но еще укрѣпляютъ его, когда показываютъ, что всѣ недостатки происходятъ не отъ него, а отъ частныхъ злоупотребленій. То же самое могло бы быть и въ духовномъ вѣдомствѣ. Основамъ православія нисколько не повредить, если станутъ писать, напримѣръ, о духовныхъ консисторіяхъ, о существующихъ отношеніяхъ высшей духовной власти къ низшему причту, объ отношеніяхъ священника къ прихожанамъ, объ организаціи учебной части въ духовныхъ училищахъ, о значеніи различныхъ мѣръ, принимаемыхъ и принимавшихся противъ раскола, и пр., и пр. Вѣдь устройство духовныхъ консисторій, преподаваніе агрономіи и медицины въ семинаріяхъ, и т. п., не опредѣляется ни Священнымъ Писаніемъ, ни Соборами, ни отцами Церкви; это — дѣло временныхъ потребностей и сообразно съ ними можетъ измѣняться. Что же касается до личныхъ недостатковъ духовныхъ служителей, то здѣсь, кажется, нужно бы дать уже полную свободу печатанію

¹⁾ Просимъ читателя справиться въ библіографіи августовской книжки „О временника“ за 1859 г. (томъ III, стр. 187 настоящаго изданія). Прим. издателя.

все, что угодно, безъ всякаго ограниченія, и притомъ тѣмъ съ большею смѣлостью, чѣмъ выше стоитъ духовное лицо, о которомъ пишутъ. Пусть будетъ и ложь печататься—бѣды нѣтъ; служитель Церкви—не чиновникъ, котораго дѣятельность теряется въ сотнѣ другихъ подобныхъ. На священника устремлены взгляды цѣлаго прихода,—нѣсколькихъ сотенъ, иногда и тысячъ человѣкъ. Ложь о немъ, не подъ рукою пущенная и коварно разнесенная шепотомъ, а гласная, напечатанная—всегда вызоветъ опроверженіе, и истина явится послѣ нея еще въ болѣе яркомъ свѣтѣ. Недопущенная въ печать ложь все-таки останется и, затаившись гдѣ-нибудь въ темнотѣ, станетъ оттуда поражать честнаго дѣятеля сплетнями и клеветами, которыхъ даже и опровергнуть нельзя, потому что онѣ неуловимы, а какъ же бороться съ неуловимымъ? Не все же клеветники и злодѣи между людьми пишущими: найдутся и такіе, которые напишутъ чистую правду, изъ искренняго желанія добра. Зачѣмъ же ихъ-то подводить подъ общую мѣрку и не давать ихъ замѣчаніямъ гласности? Неужели въ духовномъ сословіи должны мы подозрѣвать боязнь огласки, опасеніе открыть предъ людьми свои недостатки? Это было бы слишкомъ печально!.. Уступая силѣ общаго направленія, мірскіе люди всѣхъ вѣдомствъ и всѣхъ состояній подвергли себя публичному обличенію и не считаютъ преступниками тѣхъ, кто всенародно и печатно раскрываетъ ихъ недостатки. А духовенство должно бы, кажется, подавать примѣръ смиренномудрія; оно должно бы болѣе всѣхъ другихъ сословій сохранить память о первоначальномъ христіанскомъ обществѣ, въ которомъ существовала открытая, всеобщая исповѣдь; оно должно бы постоянно помнить примѣръ первоверховнаго апостола Павла, который, не убоясь никакихъ послѣдствій, предъ лицомъ новообращенныхъ обличилъ Петра въ слабости и двоедушіи за то, что тотъ неодинаково велъ себя въ глазахъ христіанъ изъ язычниковъ и христіанъ изъ евреевъ. И между тѣмъ что же мы видимъ?—всѣ поднялись на самообличеніе, всѣ стремятся заявить истину о своей жизни и обстановкѣ своего быта; одно духовенство не только молчитъ, но еще смотритъ съ неприязнью и подозрѣніемъ на всякую постороннюю попытку въ этомъ родѣ... Достойно ли это истинныхъ пастырей Церкви, которые должны подавать свѣтскимъ людямъ примѣръ самоотверженія, смиренія и любви къ правдѣ?

Опасаются, чтобы выходки противъ частныхъ лицъ духовныхъ, повторяясь въ печати чаще и чаще, не бросили тѣни вообще на духовенство и не повели къ презрѣнію даже самой Церкви. Но это опасеніе (еслибы оно даже и было основательно) никакъ не можетъ быть успокоено запрещеніемъ печатанія обличительныхъ статей на духовныхъ. Этимъ путемъ не остановишь даже и печатнаго ихъ распространенія, а напротивъ—придашь имъ значеніе, котораго безъ того онѣ не могли бы имѣть. Объ этомъ еще въ двадцатыхъ годахъ Пушкинъ говорилъ, въ посланіи къ цензору:

Чего боишься ты? Повѣрь мнѣ: чьи забавы —
Осмѣивать законъ, правительство и нравы,
Тотъ не подвергнется взысканью твоему,
Тотъ не знакомъ тебѣ,—мы знаемъ, почему,—
И *рукопись* его, не погибая въ Леть,
Безъ подписи твоей разгуливаетъ въ свѣтѣ...

Теперь явилась возможность печатать за-границей, стало бытъ ужъ и не *рукопись* будетъ разгуливать а *книга печатная*, которая, во всякомъ случаѣ, надежнѣе и вѣрнѣе рукописи и скорѣе распространяется. И даже ничтожная вещь, напечатанная за-границей, обратитъ на себя общее вниманіе, именно потому, что она за-границей явилась. Всякій знаетъ, что многихъ вещей здѣсь не дозволяютъ печатать, и потому всякій думаетъ: «а, за-границей печатано! значить что-нибудь новое, что-нибудь такое, чего здѣсь нельзя печатать!» И на этомъ основаніи бросаются достать книгу, платятъ за нее большія деньги и потомъ, какъ диковинкой, хвастаются и даютъ читать тѣмъ, кто не въ состояніи самъ купить... А будь она здѣсь напечатана,—на нее бы и вниманія не обратили. Доказательствомъ этого можетъ служить то самое дѣло, о которомъ мы теперь разсуждаемъ. Въ книжкѣ «Русское духовенство» есть статья: «Духовное званіе въ Россіи». Въ примѣчаніи къ ней отъ издателя сказано, что она заимствована изъ одного русскаго повременнаго изданія. Между тѣмъ мы, даже въ кругу людей, довольно близко интересующихся литературою, никогда и ни отъ кого не слышали ни одного упоминанія объ этой статьѣ. А въ то же время объ «Описаніи сельскаго духовенства» мы уже слышали множество разнообразныхъ разсужденій, и наши знакомые выражали большое изумленіе, когда мы говорили, что до сихъ поръ еще не читали этой книги. Чтобы наше показаніе не принято было за произвольное, мы представимъ, пожалуй, удостовѣреніе въ популярности «Описанія» изъ самыхъ опроверженій, изданныхъ въ Берлинѣ.

Въ предисловіи издателя говорится, что въ «Россіи», неизвѣстнымъ путемъ, появилась она *во множествѣ экземпляровъ* (стр. XII).

Въ первой статьѣ, въ самомъ началѣ, засвидѣтельствовано: «*книгу эту многие читаютъ, перечитываютъ и находятъ, что нѣкоторыя темныя краски, которыми очерчена жизнь сельскаго священника, взяты тутъ съ натуры*» (стр. 1).

Во второй статьѣ, тоже въ началѣ, говорится: «*хотя книга эта напечатана за-границею, но оттуда какими-то путями проникла въ Россію и здѣсь съ увлеченіемъ читается и перечитывается многими*» (стр. 61).

Въ «Мысляхъ свѣтскаго человѣка», тоже перепечатанныхъ въ Берлинской книжкѣ, указано на то, что «*книга сія переведена уже на французскій и нѣмецкій языкъ*» (стр. 353), и что на нее «*упоминаютъ даже въ наставленіе архипастырямъ*» (стр. 357). Вообще, о распространеніи книги говорится вотъ что: «*вредная и безсозна-*

гельная книга, *проникая мало-по-малу во все слои общества, высшую и низшую, производить вездѣ губительныя опустошенія*» (стр. 353).

Итакъ, къ чему же служатъ все предосторожности, вся боязливость относительно печатанія въ Россіи обличительныхъ статей на духовенство? Вѣдь все равно потока не остановишь. До сихъ поръ не писали ничего, потому что еще мало интересовались духовнымъ вопросомъ. Теперь, начиная приходить къ сознательной жизни, захотѣли нѣсколько сознательнѣе взглянуть и на значеніе духовенства въ нравственной жизни народа, и потому стали интересоваться духовенствомъ. А коли уже стали интересоваться, — писать будутъ, какія бы препятствія не ставили... Только, разумѣется, чѣмъ больше станутъ мѣшать, тѣмъ раздраженіе будетъ сильнѣе. Это и очень естественно: люди скромные, люди среднихъ стремленій, махнутъ рукой и замолчатъ; а если кто пойдетъ окольнымъ путемъ, чтобъ только заявить себя, такъ это, разумѣется, на первый разъ самые зазорные люди, и вся пропаганда попадетъ въ ихъ руки...

Впрочемъ, если бы даже и могли остановить печатное слово, — все-таки дѣлу не помогли бы. Общее мнѣніе составляется не по книжкамъ и статейкамъ; напротивъ, книжки и статейки служатъ обыкновенно только отраженіемъ общественнаго мнѣнія. А общее понятіе о духовенствѣ давно уже составлено въ нашемъ обществѣ, и если спросить по совѣсти кого угодно изъ духовныхъ, каждый, конечно, сознается, что понятіе это далеко не въ ихъ пользу. Виною этого предшествующіе факты русской жизни и поведеніе самого духовенства, а ужъ никакъ не литература. Мужики наши ничего не читаютъ; а можно ли сказать, чтобъ они очень уважали священниковъ и причетниковъ? Стоитъ послушать сказки народа и замѣтить, какая тамъ роль дается всегда «попу, попадѣ, поповой дочери и попову работнику», — стоитъ припомнить названія, которыми чествуютъ въ народѣ «поповскую породу», чтобы понять, что тутъ уваженія никакого не сохранилось. О помѣщикахъ нечего и говорить... И замѣчательно, что чѣмъ необразованнѣе помѣщикъ, тѣмъ онъ хуже обходится со священникомъ. На это примѣры есть въ той же берлинской книжкѣ... А все винять литературу!..

Вотъ слова священника Грекова, въ статьѣ «О духовномъ званіи въ Россіи» (стр. 147):

„Вообще, неуваженіе къ священному сану такъ развито у свѣтскихъ людей, что каждый, даже мелкій чиновникъ, одинъ изъ числа тѣхъ, о которыхъ кто-то изъ поэтовъ написалъ: *коллежскій регистраторъ — почтовой станиціи диктаторъ*“, — считаетъ себя не только выше священника, но и прямо требуетъ отъ него подобострастнаго уваженія, а господа познатнѣе, въ особенности помѣщики, игнорируютъ нами, какъ пашками. Иной на своемъ вѣку тѣмъ только и занимается, что перемѣняетъ въ своей деревнѣ священниковъ, интригуя противъ нихъ. спросите: „по какому праву такъ распоряжаются священниками, когда и рабско крестьянъ нынѣ считается уже недостойнымъ просвѣщенія?“ вамъ отвѣтитъ

помѣщикъ не запинаясь: „какъ по какому праву? Моя деревня, моя церковь, мой полъ, мой и приходъ“. Послѣ этого вы, конечно, отгадаете, что у такого владѣльца образованному священнику еще труднѣе жить, чѣмъ необразованному.

Въ подтвержденіе словъ своихъ, священникъ рассказываетъ случай объ одной помѣщицѣ, которая, перемѣнивъ въ короткое время до пяти священниковъ, обратилась наконецъ съ просьбою къ епископу—посвятить ей во священники дьячка ея, который, кромѣ невѣжества, имѣлъ еще физическій недостатокъ — былъ слѣпъ на одинъ глазъ. «Когда же Владыка спросилъ: что ее заставляетъ домогаться имѣть священникомъ собственнаго дьячка?—она отвѣтила: «Владыко святой,—Богъ съ ними, съ учеными; многого требуютъ выполнять, а гдѣ намъ все исполнить?»—«Такъ этотъ же—возразилъ владыка—вовсе ничего не знаетъ».—«Это правда — отвѣтила помѣщица;—но за то онъ у меня такой послушный, какъ мокрая курица» (стр. 149).

Въ другомъ мѣстѣ своей статьи, почтенный священникъ сознается, что «общимъ недостаткомъ духовенства считаютъ обыкновенно недостатокъ доброй нравственности». Онъ удивляется, откуда такое нареканіе на духовенство, и спрашиваетъ: «чѣмъ оно заслуживаетъ такую репутацію?» (стр. 159).

Вообще, всѣ статьи берлинской книжки, имѣющія въ виду защиту духовенства, исполнены жалобъ на его жалкое положеніе и на недостатокъ уваженія къ нему въ обществѣ. Жалобы эти воиномъ справедливы. Но гдѣ же причина такого неуваженія! Причинъ, конечно, много; но мы не ошибемся, если скажемъ, что одну изъ важныхъ причинъ составляетъ рѣшительная невозможность у насъ гласныхъ, печатныхъ сужденій о духовенствѣ. У насъ можно писать только общія похвальные мѣста о духовныхъ; но на это ни одинъ порядочный писатель не рѣшится. Оттого у насъ, при необычайномъ обиліи рассказовъ всякаго рода изъ частной, семейной жизни разныхъ сословій, нигдѣ почти не является участія духовнаго лица: какъ будто они не имѣютъ ни малѣйшаго соприкосновенія съ нашей действительной жизнью... И продолжаютъ они являться только въ устныхъ анекдотахъ, не совсѣмъ скромнаго свойства, да въ простонародныхъ сказкахъ скандальнаго содержанія, да въ сплетняхъ, разносимыхъ изъ дома въ домъ набожными старушками.

Кромѣ того, отсутствіе гласныхъ разсужденій о духовенствѣ, какъ будто ограждая его отъ неосновательныхъ нареканій, а въ самомъ дѣлѣ, напротивъ, подвергая имъ,—въ то же время лишаетъ самихъ духовныхъ всѣхъ удобствъ гласности. Не желая видѣть статей о себѣ, они потому самому принуждены отказаться и отъ всякаго притязанія самимъ возвышать голосъ въ защиту отъ мелкихъ неприятностей и притѣсненій, которымъ иногда подвергаются. Слѣдствіемъ того бываетъ, что ими помыкаютъ очень многіе, какъ людьми совершенно безгласными. Оттого и происходятъ такіе случаи, о ко-

торыхъ говорится, наримѣръ, въ статьѣ «Разоблаченіе клеветъ» (стр. 54—55).

„Что можетъ сдѣлать у насъ, наримѣръ, сельскій священникъ? Помѣщики и земское начальство подозрительно смотрятъ на всякое увеличеніе вліянія духовенства. Въ немъ они могутъ видѣть постоянныхъ свидѣтелей своихъ злоупотребленій и стараться уронить ихъ значеніе и силу. Недавно въ К—ской епархіи донесли губернатору на священниковъ, какъ на бунтовщиковъ, за то, что они стали склонять къ трезвости своихъ прихожанъ и успѣли убѣдить нѣкоторыхъ. Въ одномъ селѣ Н... епархіи священникъ сталъ убѣждать управляющаго не мучить крестьянъ, а ихъ убѣждалъ къ терпѣнію, потому что не долго имъ терпѣть; и его выставили возмутителемъ крестьянъ противъ помѣщика, и онъ лишился мѣста. Случилось священнику нѣсколькихъ раскольниковъ обратиться къ Церкви: ихъ единомышленники сплетаютъ, при посредствѣ земской власти, на него рядъ обвиненій, и онъ также лишается мѣста этого и переводится на другое“.

Если бы относительно духовенства допускалась у насъ полная гласность, то, конечно, было бы менѣе возможности для подобныхъ случаевъ. Обманъ, и особенно обманъ офиціальнѣй, всегда живетъ подъ покровомъ и негласности и тайны. Какъ скоро является возможность публичнаго протеста противъ него, — онъ становится, по крайней мѣрѣ, осторожнѣе, зная, что его всякій можетъ обличить и повѣрить... Только для этого нужно, разумѣется, дать равную возможность и право рѣчи обѣимъ сторонамъ. Иначе дѣло будетъ только испорчено и внушитъ подозрѣніе въ своей правотѣ всѣмъ благонастроеннымъ людямъ.

Разсужденіе это можетъ быть примѣнено и къ настоящему случаю. Мы читаемъ нѣсколько опроверженій на «Описаніе сельскаго духовенства», и очень желали бы вѣрить словамъ ихъ о томъ, что «Описаніе» это гнусно, безнравственно, противно духу православія, и совершенно ложно... Но, по совѣсти, мы не можемъ принять такого рѣшенія, не видавъ самой книги. Изъ отрывочныхъ небольшихъ выписокъ въ пять-шесть строчекъ нельзя видѣть настоящаго смысла полной рѣчи автора, и тѣмъ менѣе можно судить объ истинномъ значеніи всей этой книги. Напротивъ, въ опроверженіяхъ мы находимъ много доказательствъ того, что авторъ «Описанія» сказалъ много правды, а съ другой стороны видимъ крайнее раздраженіе и неосновательность многихъ возраженій. Въ прошломъ году мы видѣли, какъ «Свѣтскій человѣкъ», обвиняя автора за рѣзкость тона, самъ въ то же время не стыдится обременять его весьма грубыми и бездоказательными ругательствами, которыя тѣмъ непріятнѣе видѣть въ печати, что обвиняемый авторъ, очевидно, лишенъ возможности печатно защищаться передъ русской публикой. Теперь мы видимъ, что, кромѣ своей легкомысленности, этотъ разборъ «Свѣтскаго человека» весьма во многомъ расходится съ понятіями самихъ духовныхъ лишушихъ о томъ же предметѣ. Такъ, напр., «Свѣтскій человѣкъ»

пишетъ, что въ «Описаніи» все представлено въ превратномъ видѣ (стр. 373); другая же обличительная статья начинается словами «не одна только ложь и клевета, а частью и грустная правда высказана въ книгѣ» «Описаніе сельскаго духовенства» (стр. 1). «Свѣтскій человѣкъ» возстаетъ противъ желанія автора, чтобы преподаваніе медицины было усилено въ семинаріяхъ, и считаетъ даже болѣе противною мысль, что священники, врачи духовные, должны быть въ своихъ приходахъ вмѣстѣ и врачами тѣлесными. Прикоснувшись къ какому-нибудь мужику, больному позорною болѣзнью, — какъ же тотъ приступитъ священникъ къ совершенію Святыхъ Таинъ? — восклицаетъ «Свѣтскій человѣкъ», полагая, какъ видно, достоинство христіанина въ большей или меньшей эlegantности. Но духовники лица, пишущія противъ «Описанія», напротивъ, признаютъ всю пользу преподаванія медицины въ семинаріяхъ. Вообще, какъ люди болѣе знакомые съ дѣломъ, они гораздо болѣе дѣлаютъ признаній въ справедливости тѣхъ или другихъ замѣтокъ «Описанія». Только сами издатели книги оказываются еще болѣе поверхностными и представляютъ доводы еще болѣе неосновательные и пустые, нежели самъ «Свѣтскій человѣкъ». По всему видно, что они не могли совершенно уразумѣть даже общаго смысла тѣхъ статей, которые попались имъ въ руки для изданія. Всѣ статьи, несмотря на свои частныя противорѣчія въ разныхъ частяхъ, даютъ одинъ общій выводъ — тотъ, что внѣшнее положеніе русскаго духовенства и самаго духовнаго образованія и управленія далеко неудовлетворительно. Самъ «Свѣтскій человѣкъ» соглашается, что преобразованія нужны (стр. 372). Издатели же книги, напротивъ, даютъ понять въ предисловіи, что все должно оставаться въ томъ видѣ, какъ есть, неизмѣннымъ. Они говорятъ, правда, объ ученіи православія; но они указываютъ на его неизмѣнность въ упрекъ тѣмъ, которые пишутъ о дурномъ положеніи духовенства (такъ какъ въ «Описаніи» никто не находитъ выходокъ противъ вѣры православной), слѣдовательно, по ихъ понятіямъ и ученіе вѣры, и положеніе причта, и программы семинарскія — все это одинаково должно остаться неизмѣннымъ.

Кромѣ того, издатели поступаютъ совершенно не христіанскимъ образомъ, пуская въ публику безыменныя обвиненія и ничѣмъ ихъ не подтверждая. Они говорятъ, на примѣръ, что журналы наши стремятся къ разрушенію религіи и нравственности. Такъ, напр., въ одномъ изданіи пишутъ, что молиться все равно въ христіанскомъ храмѣ или въ языческомъ, а въ другомъ — отвергаютъ бракъ. Затѣмъ, издатели говорятъ: «чтобы не вводить читателя въ грустныя размышленія, ограничимся приведенными примѣрами» (стр. IX). Но развѣ два примѣра составляютъ все направленіе всѣхъ журналовъ? Да и гдѣ же еще это было напечатано, и въ какомъ видѣ? Много писали о несчастіяхъ брачной жизни и о непрочности супружескаго блаженства: но вѣдь за это еще нельзя казнить наши журналы такимъ выводомъ, какъ сдѣлали издатели. По нашему, лучше ужъ прямо разбирать статью и доказывать свои обвиненія, нежели пу-

дать такіе уклончивые доносы изъ-за угла, никого не называя, но иже желая возбудить недоброжелательство ко всей русской литературѣ.

Впрочемъ, нужно сказать, что вся книжка, при всемъ разнообразіи и даже нѣкоторой противуположности статей, проникнута духомъ нетерпимости къ чужимъ мнѣніямъ и притязаніемъ—захватить право рѣчи *только* въ свою пользу. Кромѣ того, въ ней найдешь чрезвычайно много фразъ, длинныхъ, водянистыхъ общія мѣста, и очень мало дѣла. Нѣсколько фактовъ приводится въ статьѣ первой: «Разоблаченіе клеветъ», и въ этомъ отношеніи она заслуживаетъ вниманія. Но за то авторъ ея чрезвычайно смутно различаетъ предметы, не умѣетъ логически провести взятой имъ мысли и обнаруживаетъ такіа отсталыя, дикія понятія, которыхъ давно уже не одобряетъ просвѣщенное духовенство и правительство наше. Онъ, напр., обвиняетъ правительство за то, что оно не преслѣдуетъ раскольниковъ, и совѣтуетъ лишать ихъ извѣстныхъ гражданскихъ льготъ и приманивать ихъ изъ раскола, обѣщая эти выгоды въ случаѣ присоединенія къ православію... Признаемся, мы не считаемъ такихъ совѣтовъ согласными съ правилами христіанской любви и правды. Впрочемъ, чтобы насъ не обвинили въ голословности показанія, приведемъ все разсужденіе автора, сдѣлавши нѣсколько примѣчаній юдъ строкою.

„Кто не согласится, что расколъ русскій есть несправедливость, крайнее, безнравственное несправедливо? Всякое несправедливо искореняется только просвѣщеніемъ. Забота правительства должна быть обращена особенно на образованіе народа. Долге всего этому просвѣщенію будутъ противиться раскольники; но они движутся общимъ духомъ, общимъ движеніемъ. Организовать въ одно цѣлое изъ отсадохъ русской жизни, дать ему единство подъ управленіемъ какой-либо ерархіи—въ высшей степени неблагоприятно и вредно. Это значило-бы — среди русскаго государства создать другое, совершенно враждебное всѣмъ началамъ государства, торжественно признать отъ имени правительства вождей, предводителей возмутительной анархической толпы, не хотящей знать ни церковной, ни гражданской власти, не имѣющей ни малѣйшаго уваженія къ ихъ предписаніямъ и распоряженіямъ: это значило-бы еще на долгое, на очень долгое время, даже навсегда, отдалить возможность ихъ присоединенія къ церкви, подчиненія уставамъ государственнымъ, дать возможность образоваться партіи, способной произвести переворотъ въ Россіи, который отодвинетъ ее во времена допетровскія, дать возможность верховнаго господства Пугачева съ его клеветниками ¹⁾).

¹⁾ Трудно совмѣстить въ немногихъ строкахъ болѣе противорѣчій, чѣмъ здѣсь. Если расколъ такъ безсмысленъ, то съ какой стати опасаться, что онъ организуется въ партію, да еще способную произвести переворотъ въ Россіи?.. И если раскольники составляютъ анархическую возмутительную толпу, то какимъ образомъ могутъ они создать особое государство среди русскаго государства? Какъ видно, авторъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о самыхъ первыхъ требо-

Духовенство одно, безъ содѣйствія гражданской власти, ничего не можетъ сдѣлать къ уничтоженію раскола ¹⁾. Расколъ прежде всего есть отчужденіе отъ Церкви, вражда противъ нея; потому слово духовнаго лица выслушивается враждебно и не можетъ имѣть дѣйствія, кромѣ рѣдкихъ случаевъ ²⁾. А такіе плоды могутъ приносить мудрыя дѣйствія гражданской власти, — примѣръ тому показалъ въ недавнее время Уралъ. Раскольники прямо говорятъ, что правительство не хочетъ ихъ присоединенія къ Церкви, что оно велитъ оставаться въ старой вѣрѣ. Въ послѣднее время въ Вятской и Костромской епархіяхъ и, вѣроятно, и въ другихъ сосѣднихъ распространились печатные манифесты отъ имени: то Императора Александра, то Императора Константина, въ которыхъ имъ повелѣвается оставаться въ старой вѣрѣ. Многіе раскольники говорятъ, что если бы Царь хотѣлъ, чтобы мы присоединились къ Церкви, то онъ прямо бы сказалъ; а то мы не слышали отъ него подобнаго слова. Отчего-бы, въ самомъ дѣлѣ, не выдать манифеста къ раскольникамъ не въ видѣ рѣшительнаго призыва, но въ видѣ сильнаго увѣщанія раскольникамъ присоединиться къ Церкви ³⁾. Между раскольниками надобно различать людей различныхъ убѣжденій. Одни привязаны къ расколу съ полною увѣренностью, что здѣсь только они могутъ найти спасеніе. Противъ такихъ людей строгія мѣры и бесполезны, и беззаконны. Хор-

ніяхъ и условіяхъ государственной жизни. Да и почему онъ думаетъ, что партія желающая произвести переворотъ, непременно нуждается, для успѣха, въ этомъ признаніи отъ правительства? Кажется, напротивъ, всякая скрытая партія, всякое тайное общество, какъ скоро оно открыто узаконяется и получаетъ права гражданства, уже чрезъ то самое теряетъ половину своей разрушительной силы.

¹⁾ Хорошо признаніе, если оно вышло изъ устъ духовнаго лица!.. Такъ ли каковы наши миссіонеры, наши проповѣдники вѣры Христовой: имъ нужно ли дѣйствіе гражданской власти, — исправниковъ, становыхъ, окружныхъ, и т. д. А кто же содѣйствовалъ христіанскимъ миссіонерамъ, отправлявшимся на ихъ повѣдь въ отдаленныя страны, къ народамъ дикимъ, невѣдомымъ?.. „Духовенство одно *ничего не можетъ сдѣлать*“! И въ чемъ-же? Въ такомъ дѣлѣ, которое только и можно сдѣлать словомъ духовнаго убѣжденія!.. Понималъ-ли авторъ какъ онъ роняетъ дѣло, которое взялся защищать?..

²⁾ Выше, авторъ самъ-же сказалъ, что расколъ враждебенъ и гражданской власти такъ же, какъ церковной; а ниже онъ говоритъ, что расколъ еще враждебенъ государству, нежели Церкви. Стало бытъ, если гражданская власть выйдетъ въ это дѣло, то она можетъ только увеличить раздраженіе раскольниковъ.

³⁾ Какъ прикажете разсуждать съ подобнымъ авторомъ? То онъ говоритъ, что раскольники составляютъ анархическую толпу, не хотящую знать ни церковной ни гражданской власти; то увѣряетъ, что раскольники потому только не обращаются, что правительство не даетъ приказанія на это!.. Невозможно быть и того ограниченнымъ человѣкомъ, чтобы не замѣтить противорѣчія этихъ двухъ мыслей; и потому мы имѣемъ право предполагать здѣсь въ авторѣ недобросовѣстную уловку. Онъ хотѣлъ подѣйствовать на извѣстныя лица и потому рѣшилъ сначала запугать ихъ тѣмъ, что раскольники, при малѣйшемъ послабленіи, будутъ произведутъ, а потомъ ужъ и приступить къ убѣжденію, что слѣдуетъ манифестъ выдать объ обращеніи раскольниковъ... Уловка эта придумана недурно, но прикрыта ужъ очень неискусно!..

это люди самые упорные въ расколѣ, но слово убѣжденія, согрѣтое любовью евангельскою, во имя вѣчнаго спасенія, скорѣе найдетъ доступъ къ ихъ сердцу. Примеръ обращенія подобныхъ людей изъ раскола къ Церкви представляетъ а. Пареній съ своими товарищами. Есть раскольники, которые слѣдуютъ расколу потому, что слѣдовали ему ихъ отцы, не разсуждая, по упорству и упрямству русскаго характера, и такихъ строгія мѣры могутъ только ожесточить. Просвѣщеніе есть единственное средство вывести ихъ изъ этого состоянія. Есть еще раскольники, которые держатся раскола потому, что здѣсь они находятъ выгоды, возможность безнаказанно удовлетворять своимъ страстямъ, не стѣсняясь законами ни государственными, ни церковными, однимъ словомъ, жить по своей волѣ и наживаться на счетъ простаковъ, не имѣя никакой вѣры. *Можетъ-ли правительство оставить подобныхъ людей безъ стѣсненія?* ¹⁾ *Строгія мѣры противъ нихъ не будутъ посягательствомъ на религіозныя убѣжденія, но только законнымъ преслѣдованіемъ гражданскаго безпорядка. Не костеръ, не пытки* ²⁾ *мы признаемъ нужными противъ нихъ, но только такія мѣры, которыя-бы не составили имъ выгоды внѣшней оставаться въ расколѣ. Они бросятъ расколъ когда увидятъ, что, оставаясь въ немъ, они теряютъ свои внѣшнія выгоды. Были случаи, что бабы, носившія званіе раскольниковъ, изъ-за матеріальныхъ выгодъ служили противъ раскольниковъ* ³⁾. *Конечно, Церковь не приобрететъ изъ нихъ добрыхъ сыновей, но, по крайней мѣрѣ, ихъ дѣти воспитаются въ Церкви, по крайней мѣрѣ, они не будутъ соблазнять и увлекать другихъ къ отпаденію отъ Церкви временными выгодами. Есть еще раскольники, которые охотно-бы перешли въ Церковь, если бы не связывали ихъ отношенія родственныя или коммерческія съ другими раскольниками. Они рады были-бы случаю, который-бы далъ имъ возможность, не подвергая себя преслѣдованію со стороны единовѣрцевъ, перейти къ Церкви. Но такой случай могутъ представить только повелѣнія мѣры правительства. Всего вреднѣе въ дѣлѣ обращенія раскольниковъ непостоянство мѣръ правительства: слабыя мѣры сжываются строгими, строгія*

¹⁾ А можетъ-ли правительство проникнуть въ сердце каждаго изъ раскольниковъ и опредѣлительно сказать, что такой-то держится раскола по убѣжденію, такой-то по привычкѣ, а этотъ—изъ выгодъ? Не потребуется-ли для этого разбирательства нѣчто въ родѣ инквизиціи. И не откроетъ-ли это обширнаго поприща для взятокъ и всякаго рода злоупотребленій чиновниковъ?

²⁾ Какая гуманность! Авторъ не желаетъ жечь и пытать раскольниковъ!.. Еще этого только и недоставало!..

³⁾ Итакъ, авторъ не стыдится, для привлеченія людей къ православію, предлагать нѣчто въ родѣ подкупа!.. Что за іезуитскій складъ мыслей!.. И прочтите дальше: онъ и оправдываетъ-то эту мѣру по-іезуитски. „Конечно,—говоритъ,—они не будутъ добрыми христіанами, да за то вредить не будутъ“!... А гдѣ-же Христовы правила, заповѣдующія пастырямъ заботиться прежде всего и больше всего о спасеніи душъ своихъ пасомыхъ? Можетъ-ли христіанскій пастырь съ такимъ безнравственнымъ равнодушіемъ отзываться о душевномъ благѣ своей паствы? „Они,—говоритъ,—конечно, не исправятся такими мѣрами и не будутъ добрыми сынами Церкви; да это ничего: лишь-бы не вредили!“ Какой коммерческій, барышническій взглядъ на дѣло вѣры!..

слабыми ¹⁾. Поэтому раскольники смотрят на всѣ стѣснительныя мѣры противъ нихъ какъ на вопросъ денежный. Они говорятъ, что вѣрно понадобится отъ нихъ миллионъ, — и везутъ его. Какъ мало вѣрятъ раскольники въ искренность жеманія правительства обратить ихъ въ Церковь, и напротивъ убѣждены, что дѣло идетъ только объ ихъ деньгахъ, — расскажу одинъ случай. Возникло дѣло о возвращеніи въ расколъ мужа и жены. Архіерей пожелалъ самъ поговорить съ ними, чтобы подѣйствовать на нихъ силою убѣжденія. Онъ призывалъ ихъ и началъ говорить имъ сильно о томъ, что они теряютъ вѣчное спасеніе внѣ Церкви. Видимо, обоимъ имъ стало неловко; сила убѣжденія велика... И вотъ жена толкаетъ мужа, мужъ вытаскиваетъ изъ-за пазухи деньги и подаетъ ихъ архіерею. „Что это значитъ“? спрашиваетъ архіерей. „Да ужъ перестаньте говорить, батюшка, мы не знаемъ, что отвѣчать, оставьте насъ въ покоѣ“.

„Можно себѣ представить всю скорбь архіерея... Чтобы дѣйствовать на раскольника путемъ убѣжденія, нужно архіерею имѣть денежные средства, на которыя бы онъ могъ посылать особыхъ, въ тому приготовленныхъ, миссіонеровъ изъ священниковъ ли, или изъ другихъ лицъ, давая имъ хорошее содержаніе. Но архіерей не имѣетъ въ своемъ распоряженіи денегъ на подобныя издержки. Но, во всякомъ случаѣ, неправду говоритъ авторъ (Описанія), что раскольники не переходятъ и всѣ донесенія объ этомъ не болѣе какъ ложь. *Гдѣ только гражданское начальство содѣйствуетъ духовной власти, тамъ дѣйствіе противъ раскола бываютъ плодотворны* ²⁾. Но что дѣлать духовному начальству, когда всѣ его усилія парализуются дѣйствіями свѣтскихъ властей? А между тѣмъ вопросъ о расколѣ вреднѣе для государства, нежели для Церкви; расколъ грозитъ большею опасностью государству, нежели Церкви, отъ которой раскольники, какъ гнилые члены, уже совсѣмъ отдѣлены. Понятно, почему Искандеръ съ своею братіею громко вопіетъ противъ всякихъ строгихъ мѣръ на расколъ. Они видятъ въ этой общинѣ зародышъ демократическаго начала, противнаго Церкви и государству, долженствующее въ ихъ идеяхъ преобразовать общество Русское. Но только ихъ слѣпая, фанатическая любовь къ своимъ идеямъ можетъ въ этомъ тернистомъ полѣ видѣть сѣмя свободы. — Какъ ни ненавистна имъ поставленная отъ Бога власть, но думаю, что они въ тысячу разъ лучше согласятся быть подъ ея управленіемъ, нежели подъ управленіемъ какихъ-нибудь Емельяновъ Пугачевыхъ ³⁾.

¹⁾ Какъ по всему видно, — авторъ желаетъ, чтобы постоянно употреблены были *строія* мѣры.

²⁾ Самъ того не замѣчая, авторъ указываетъ на способъ, которымъ производится обращеніе раскольниковъ. Онъ говоритъ: *тамъ, гдѣ гражданское начальство содѣйствуетъ*“. Значитъ, здѣсь разумѣются не общія правительственныя мѣры, а распоряженія частныхъ, мелкихъ начальниковъ. А чѣмъ могутъ дѣйствовать частныя начальники? Вѣдь не предоставленіемъ гражданскихъ правъ и преимуществъ обращающимся: это превншаетъ имъ власть. Ясно, что они могутъ дѣйствовать только принудительными мѣрами... И авторъ радуется этому, и хочетъ, чтобы вездѣ у насъ распространялось слово истины евангельской подобнымъ образомъ!..

³⁾ Да вѣдь авторъ самъ же говоритъ, что стоитъ манифестъ издать, и всѣ раскольники обратятся! Какія же тутъ опасенія пугачевщины? И стоитъ ли тутъ обращать вниманіе на мнѣнія — хоть бы Искандера съ братіею? Мы не понимаемъ,

Расколъ отличается нетерпимостью къ другимъ вѣрованіямъ и обычаямъ, заклятою враждою противъ всѣхъ, непринлежащихъ ихъ обществу ²⁾. И этотъ духъ вражды, нетерпимости, вмѣстѣ съ крайнимъ невѣжествомъ, придаетъ такой характеръ расколу, что всякое благородное сердце должно обливаться кровью при мысли о немъ“.

Вотъ каковы сужденія автора по поводу раскола! Видно, что онъ не обладаетъ особенно свѣтлымъ взглядомъ и не совсѣмъ искусно прикрываетъ свои затаенныя мысли... И всякій изъ читателей согласится, что подобный авторъ и подобныя разсужденія не могутъ внушить особеннаго довѣрія человѣку безпристрастному. Послѣ этого, какъ же мы можемъ на слово вѣрить его обвиненіямъ противъ автора «Описаніе сельскаго духовенства»?

Но замѣчательно, что даже и этотъ авторъ не можетъ не сознаться въ справедливости многихъ замѣчаній о недостаткахъ духовнаго званія. Такъ, напр., восхваляя семинарское образованіе, онъ, однакоже, не можетъ не признать слѣдующихъ фактовъ (стр. 10).

«Что касается до нравственнаго воспитанія въ духовныхъ училищахъ, то его нельзя назвать вполнѣ удовлетворительнымъ. У насъ болѣе учать, чѣмъ воспитываютъ. Воспитаніе ограничивается почти только отрицательными мѣрами: стараются не допускать воспитанниковъ до шалостей и проступковъ; но мало заботятся о возбужденіи воли къ самостоятельности, о развитіи живаго сознанія своихъ будущихъ обязанностей и стремленія дѣйствовать неуклонно и неустойчиво въ званіи учителя, руководителя, духовнаго отца народа. Безпрекословное повиновеніе даже одному капризу начальника — вотъ что считается обязанностью учителя! Оттого въ характерѣ семинариста образуется какая-то упругость, тучность, способность сживаться съ обстоятельствами, выносить то, чего другоі никогда бы, можетъ быть, не перенесли, но нѣтъ жажды свободной дѣятельности, стремленія простереть свое вліяніе далѣе казенной формы; — яснѣе сказать, нѣтъ желанія и ревности стать чѣмъ-нибудь болѣе, чѣмъ однимъ совершителемъ таинствъ и обрядовъ для народа“...

Можетъ быть автору кажется, что это недостатокъ неважный; но едва ли не онъ-то и служитъ причиною того, до рабства смиреннаго, безпрекословнаго отношенія, въ которомъ находятся часто духовныя лица не только къ своимъ начальникамъ, но и къ помѣщикамъ, значительнымъ прихожанамъ и вообще лицамъ сколько-

потому авторъ какъ будто склоняется на эти мнѣнія, выражая свой страхъ предъ расколомъ: вѣдь онъ же сказалъ, что расколъ есть не что иное, какъ невѣжество, что его держится безсмысленная толпа, незнающая даже никакихъ законовъ, не только-что неспособная составить особое управленіе, и что, наконецъ — они очень склонны къ обращенію, если только правительство выскажетъ ясное желаніе этого... Намъ, кажется, что авторъ совершенно сбился и спутался и наговорилъ совершенно противное тому, что хотѣлъ сказать.

²⁾ Къ сожалѣнію, самъ авторъ не чуждъ такой же нетерпимости въ отношеніи къ раскольникамъ.

нибудь вліятельнымъ... Авторъ статьи самъ сознаетъ это и говорить далѣе (стр. 13).

„Не осуждаемъ намѣреній начальства духовныхъ училищъ; оно имѣетъ въ виду послушаніе инокское и исполненіемъ своихъ приказаній безъ разсужденій думаетъ приучить къ смиренію. Но прямо скажемъ, что оно ошибается и *достигаетъ противоположныхъ результатовъ*. Монашеское послушаніе есть обѣтъ произвольный, и потому не обязательный для всѣхъ; требуй его отъ того, кто сознательно отрекся отъ своей воли! Начальникъ не долженъ забывать, что *онъ не есть законъ, а наблюдатель за исполненіемъ закона*. Зная горькія слѣдствія непослушанія, подчиняются и капризу; но въ душѣ остается скорбное чувство оскорбленнаго достоинства. Опытъ показываетъ, что *безропотно послушные подобнаго рода приказаніямъ въ жизни семейной и общественной сами становятся деспотами*. Ласковое, довѣрчивое, отеческое обращеніе смягчитъ грубость первоначальнаго воспитанія, дастъ свободу развитію мальчиковъ, принесетъ разрѣшеніе на многіе вопросы жизни, укажетъ имъ и настоящій способъ дѣйстванія въ будущемъ ихъ служеніи“.

Говоря о духовныхъ консисторіяхъ, авторъ также не можетъ не согласиться, что ихъ положеніе дурно. Вотъ его слова (стр. 28):

„Консисторіи всѣ ругаютъ: лучшею считаютъ Петербургскую; въ Московской, по крайней мѣрѣ, члены не берутъ взятокъ, а въ провинціальныхъ, говорятъ, они не уступаютъ и подъячимъ въ этомъ дѣлѣ. Рѣшительное преобразование ихъ необходимо не только для спокойствія духовенства, но и для чести человечества. Самые строгіе, самые дѣятельные архіереи, несмотря на все свое желаніе, не въ силахъ исправить это зло при нынѣшнемъ устройствѣ, и украсить Георгіемъ 1-й степени нужно бы того, кто изобрѣлъ бы проектъ, разбивающій на голову это полчище взятчиковъ“.

Архіереевъ авторъ защищаетъ отъ нареканій «Описанія»; но и тутъ не можетъ не замѣтить, что дѣйствительно—«жалкія формы, груды письменныхъ дѣлъ изъ архіерея дѣлаютъ только чиновника; придумайте мѣры къ сокращенію этихъ переписокъ, этой формальности, которою всегда можетъ прикрыться злоупотребленіе, но которая отнимаетъ время отъ дѣлъ духа и жизни» (стр. 41).

Такихъ сознаній довольно много можно найти во всей книжкѣ; но мы обращаемъ вниманіе только на первую статью ея, потому что въ ней только соблюдено еще нѣкоторое уваженіе къ фактамъ и есть дѣльныя указанія. Статья священника Грекова тоже имѣетъ нѣкоторое достоинство, но факты, приводимые въ ней, слишкомъ частны и не даютъ еще права ни на какіе общіе выводы: онъ говоритъ о своемъ приходѣ только. Что же касается до остальныхъ пяти статей, то въ нихъ ничего нѣтъ, кромѣ общихъ мѣстъ риторической амплификаціи. Одинъ, напр., въ опроверженіе того, что нынѣшнее преподаваніе въ семинаріяхъ отстало и схоластично, приводитъ—что бы вы думали?—на 23 страницахъ имена русскихъ архіереевъ, проповѣдниковъ, ученыхъ и вельможъ, получившихъ образованіе въ духовныхъ училищахъ съ XVII вѣка. Между этими именами есть, конечно, никому неизвѣстныя или замѣчательныя

вовсе не съ блестящей стороны, какъ напр. *Красовскій*. Сидоровскій, Исаевъ, Донковъ, Никита Крыловъ, Прокоповичъ-Антонскій, Кирьякъ-Кандратовичъ, Рубанъ, Д. С. С. Шпилевскій, и т. п. Но это бы еще не бѣда. Дурно то, что весь этотъ перечень нейдетъ къ дѣлу. Мы всѣ знаемъ, что первый университетъ основанъ у насъ въ 1775 году, а гимназіи стали открываться въ царствованіе Императора Александра I. Поэтому мы нимало не возстаемъ противъ того, что Ломоносовъ, напр., учился сначала въ московскомъ и кievскомъ духовныхъ училищахъ; но только что же изъ этого? Неужели подобные факты, хотъ бы ихъ было въдесятеро больше, чѣмъ представлено авторомъ, доказываютъ, что нынѣшнее преподаваніе въ семинаріяхъ и то, какое было 20—30 лѣтъ тому назадъ, вполне современны и удовлетворительны?

Другой авторъ, написавшій «О благотворномъ участіи Церкви и пастырей ея въ судьбахъ Россіи», хочетъ доказать, что несправедливо упрекать нынѣшнее наше духовенство въ разныхъ недостаткахъ, потому что оно имѣло полезное вліяніе на нашу исторію... Какъ будто эти двѣ вещи какъ-нибудь вяжутся между собою!...

Противъ такихъ статей спорить нечего; ясно, что авторы ихъ болѣе любятъ фразу, нежели дѣло, и разсужденіе съ ними будетъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее.

Но мы замѣтили еще одну черту во всѣхъ статьяхъ опроверженій,—это противорѣчіе авторовъ въ разныхъ вопросахъ. Мы выше уже указали ихъ нѣсколько. Приведемъ здѣсь еще одно, касающееся предмета довольно важнаго—жалованія духовенству. Одно опроверженіе на «Описаніе» такъ порицаетъ его автора, недовольнаго тѣмъ, что архіереи не согласились на предполагавшееся введеніе жалованья (стр. 23—24):

„Прилично ли, законно ли іерею провозноситъ проклятiе на архіереевъ за то, что они возставали противъ жалованья духовенству? *Везъ всякаго прекословія*, говоритъ апостолъ, *меньшее отъ большаго благословляется*... Неужели авторъ книги не могъ отгадать причинъ, которыя побуждали архіереевъ къ подобной мѣрѣ? 1) Дѣло шло объ епархіяхъ, гдѣ духовенство имѣетъ достаточное содержаніе и безъ того. 2) Опреѣленіе жалованья священникамъ отъ казны могло поставить ихъ на степень чиновниковъ, зависящихъ отъ гражданскаго начальства, а для славы Церкви, для ея значенія, для сохраненія ея чистоты, требуется ея самостоятельность. 3) Вознагражденіе отъ прихожанъ за совершеніе требъ сближаетъ священника съ прихожанами, поставляетъ ихъ въ болѣе тѣсное взаимное отношеніе, заставляетъ священника заботиться о любви прихожанъ, а прихожанъ принимать участіе въ его семейномъ положеніи. Одинъ архіерей писалъ къ Н., что нѣкоторые священники, получающіе жалованье, не хотятъ совершать требъ, не хотятъ служить молебновъ,—требуя за нихъ неумѣреннаго вознагражденія.—Прихожане не терпятъ въ священникѣ корыстолюбія и притязательности, но съ любовью даютъ по мѣрѣ средствъ своихъ, и почли бы себя оскорбленными, если бы священникъ отказался принять приношеніе ихъ усердія. Рассказывали мнѣ примѣры, что прихожане стали удаляться отъ священниковъ, какъ отъ чиновниковъ,

когда тѣ стали жалованье получать; ихъ подкупаютъ, говорятъ они, и особенно этимъ пользовались раскольники, чтобы отдалить народъ отъ духовенства.“

Намъ кажется, что статья эта писана тоже *свѣтскимъ* человекомъ, мало понимающимъ настоящее положеніе и надобности духовенства. Онъ говоритъ, между прочимъ, съ нѣкоторою небрежностью: «средства жизни священниковъ дѣйствительно скудны, но надобно припомнить, что и потребности ихъ ограничены. Они рождены въ этой скудости, въ ней воспитаны и *имъ не тяжело и нести ее*» (стр. 23). Такой отзывъ показываетъ—или человека богатаго изъ духовныхъ, или вовсе не духовнаго. Духовное лицо, священникъ Грековъ, говоритъ вотъ что (стр. 153);

«Порокъ корыстолюбія въ духовенствѣ зависитъ не отъ воспитанія и не отъ природныхъ наклонностей духовнаго сословія, а отъ способовъ его содержанія. Обезпечьте насъ, какъ слѣдуетъ, дайте намъ приличное содержаніе и тогда требуйте отъ насъ совершеннаго безкорыстія. Мы не только не пожалѣемъ тогда о своихъ доходахъ, но, напротивъ, будемъ радоваться, что избавились отъ этой тяжелой и горькой необходимости питаться подаяніемъ.— Это мысль общая всего духовенства, желаніе постоянно высказываемое».

Одно сопоставленіе подобныхъ мѣстъ доказываетъ уже, какъ необходимо для духовенства гласное, печатное обсужденіе вопросовъ, касающихся его внѣшняго положенія и устройства. Пусть не боятся духовные, что подобнымъ обсужденіемъ можетъ быть унижено достоинство православной Церкви. Напротивъ, ничѣмъ оно столько не ослабляется, какъ постояннымъ молчаніемъ о духовномъ сословіи, постояннымъ отчужденіемъ его отъ того движенія, которое совершается въ литературѣ. Образованное общество, съ одной стороны видя недостатки, неизбѣжно существующіе въ духовенствѣ, а съ другой—замѣчая, что всѣ молчатъ о нихъ, между тѣмъ какъ громко говорятъ о всемъ другомъ,—общество имѣетъ полное право думать, что духовенство само враждебно всякому исправленію и усовершенствованію, нетерпимо ко всякому постороннему мнѣнію и жаждетъ навсегда остаться при тѣхъ же порядкахъ, какіе у него существуютъ нынѣ... Такое мнѣніе сдѣлалось теперь почти повсемѣстнымъ въ обществѣ, и духовенство не иначе можетъ измѣнить его, какъ дозволеніемъ свободно и гласно обсуждать его дѣйствія и даже нѣкоторыя условія теперешней организаціи духовнаго вѣдомства.

Надѣмся, что просвѣщенное духовенство приметъ безъ огорченія и безъ всякихъ подозрѣній наши искреннія замѣчанія, имѣющія въ виду единственно общую пользу. Появленіе въ печати этой статьи да послужитъ доказательствомъ того, что духовное вѣдомство не жаждетъ стѣснять благонамѣреннаго и спокойнаго обсужденія относящихся къ нему вопросовъ, до которыхъ, наконецъ, необходимо же когда-нибудь дотронуться.

КОГДА ЖЕ ПРИДЕТЪ НАСТОЯЩІЙ ДЕНЬ?

Schlage die Trommel und fürchte dich nicht
HEINE.

Закаунѣ, повѣсть *И. С. Тургенева*. «Русскій Вѣстникъ», г., № 1).

стетическая критика сдѣлалась теперь принадлежностью чувственныхъ барышень. Изъ разговоровъ съ ними служители чистаго искусства могутъ почерпнуть много тонкихъ и вѣрныхъ заимствованій, и затѣмъ написать критику въ такомъ родѣ. «Вотъ содержаніе новой повѣсти г. Тургенева (разсказъ содержанія). Уже изъ блѣднаго очерка видно, какъ много тутъ жизни и поэзіи савѣжей и благоуханной. Но только чтеніе самой повѣсти можетъ дать понятіе о томъ чутьѣ къ тончайшимъ поэтическимъ отголоскамъ жизни, о томъ остромъ психическомъ анализѣ, о томъ глубокомъ пониманіи невидимыхъ струй и теченій общественной мысли, о томъ дружелюбномъ и вмѣстѣ смѣломъ отношеніи къ дѣйствительности, которыя составляютъ отличительныя черты таланта г. Тургенева. Посмотрите, напримѣръ, какъ тонко подмѣчены эти психическія черты (повтореніе одной части изъ разсказа содержанія и тѣ—выписка); прочтите эту чудную сцену, исполненную такой и прелести (выписка); припомните эту поэтическую живую картину (выписка), или вотъ это высокое, смѣлое изображеніе (выписка). Не правда ли, что это проникаетъ въ глубину души, влаетъ сердце ваше бится сильнѣе, оживляетъ и украшаетъ

вашу жизнь, возвышаетъ предъ вами человѣческое достоинство и великое, вѣчное значеніе святыхъ идей истины, добра и красоты! *Comme c'est joli, comme c'est délicieux!*»

Малому знакомству съ чувствительными барышнями одолжены мы тѣмъ, что не умѣемъ писать такихъ пріятныхъ и безвредныхъ критикъ. Откровенно признаваясь въ этомъ и отказываясь отъ роли «воспитателя эстетическаго вкуса публики», мы избираемъ другую задачу, болѣе скромную и болѣе соразмѣрную съ нашими силами. Мы хотимъ просто подвести итогъ тѣмъ даннымъ, которыя разсѣяны въ произведеніи писателя и которыя мы принимаемъ какъ совершившійся фактъ, какъ жизненное явленіе, стоящее предъ нами. Работа не хитрая, но нужная, потому что, за множествомъ занятій и отдыховъ, рѣдко кому придетъ охота самому всмотрѣться во всѣ подробности литературнаго произведенія, разобрать, провѣрить и поставить на свое мѣсто всѣ цифры, изъ которыхъ составляется этотъ сложный отчетъ объ одной изъ сторонъ нашей общественной жизни, и затѣмъ подумать объ итогѣ и о томъ, что онъ обѣщаетъ и къ чему насъ обязываетъ. А такого рода провѣрка и размышленіе очень небезполезны по поводу новой повѣсти г. Тургенева.

Мы знаемъ, что чистые эстетики сейчасъ же обвинять насъ въ стремленіи навязывать автору свои мнѣнія и предписывать задачи его таланту. Поэтому оговоримся, хоть это и скучно. Нѣтъ, мы ничего автору не навязываемъ, мы заранѣе говоримъ, что не знаемъ, съ какой цѣлью, вслѣдствіе какихъ предварительныхъ соображеній изобразилъ онъ исторію, составляющую содержаніе повѣсти «Наканунъ». Для насъ не столько важно то, что *хотѣлъ* сказать авторъ, сколько то, что *сказалось* имъ, хотя бы и ненамѣренно, просто вслѣдствіе правдиваго воспроизведенія фактовъ жизни. Мы дорожимъ всякимъ талантливымъ произведеніемъ именно потому, что въ немъ можемъ изучать факты нашей родной жизни, которая безъ того мало открыта взору простого наблюдателя. Въ нашей жизни до сихъ поръ нѣтъ публичности, кромѣ официальной; вездѣ мы сталкиваемся не съ живыми людьми, а съ официальными лицами, служащими по той или другой части: въ присутственныхъ мѣстахъ—съ чистописателями, на балахъ—съ танцорами, въ клубахъ—съ картежниками, въ театрахъ—съ парикмахерскими паціентами, и т. д. Всякій хоронитъ дальше свою душевную жизнь; всякій такъ и смотритъ на васъ, какъ будто говорить: «вѣдь я сюда пришелъ, чтобъ танцовать, или чтобъ прическу показать; ну, и будь доволенъ тѣмъ, что я дѣлаю свое дѣло, и не вздумай, пожалуйста, выпытывать отъ меня мои чувства и понятія». И дѣйствительно, никто никого не выпытываетъ, никто никѣмъ не интересуется, и все общество идетъ врозь, досадуя, что должно сходиться въ официальныхъ случаяхъ въ родѣ новой оперы, званнаго обѣда или какого-нибудь комитетскаго засѣданія. Гдѣ же тутъ узнать и изучить жизнь человѣку, не посвятившему себя исключительно наблюденію общественныхъ нравовъ? А тутъ еще какое разнообразіе, ка-

ая даже противоположность въ различныхъ кругахъ и сословіяхъ нашего общества. Мысли, сдѣлавшіяся въ одномъ кругѣ уже пошлыми и отсталыми, въ другомъ—еще жарко оспариваются; что у однихъ признается недостаточнымъ и слабымъ, то другимъ кажется слишкомъ рѣзкимъ и смѣлымъ, и т. п. Что падаетъ, что побѣждаетъ, что начинаетъ водворяться и преобладать въ нравственной жизни общества,—на это у насъ нѣтъ другого показателя, кромѣ литературы и, преимущественно, художественныхъ ея произведеній. Писатель-художникъ, не заботясь ни о какихъ общихъ заключеніяхъ относительно состоянія общественной мысли и нравственности, всегда имѣетъ, однако же, уловить ихъ существеннѣйшія черты, ярко освѣтить и прямо поставить ихъ предъ глазами людей размышляющихъ. Вотъ почему и полагаемъ мы, что какъ скоро въ писатель-художникѣ признается талантъ, т. е. умѣнье чувствовать и изображать жизненную правду явленій, то, уже въ силу этого самаго признанія, произведенія его даютъ законный поводъ къ разсужденіямъ о той средѣ жизни, о той эпохѣ, которая вызвала въ писателѣ то или другое произведеніе. И мѣркою для таланта писателя будетъ здѣсь то, до какой степени широко захвачена имъ жизнь, въ какой мѣрѣ прочны и многообъятны тѣ образы, которые имъ созданы.

Мы сочли нужнымъ высказать это для того, чтобы оправдать свой пріемъ—толковать о явленіяхъ самой жизни на основаніи литературнаго произведенія, не навязывая, въпрочемъ, автору никакихъ заранее сочиненныхъ идей и задачъ. Читатель видитъ, что для насъ именно тѣ произведенія и важны, въ которыхъ жизнь сказала сама собою, а не по заранее придуманной авторомъ программѣ. О «Тысячѣ душъ», напримѣръ, мы вовсе не говорили, потому что, по нашему мнѣнію, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана къ заранее сочиненной идеѣ. Стало быть, тутъ не о чемъ толковать, кромѣ того, въ какой степени ловко составилъ авторъ свое сочиненіе. Положиться на правду и живую дѣйствительность фактовъ, изложенныхъ авторомъ, невозможно, потому что отношеніе его къ этимъ фактамъ не просто и не правдиво. Совсѣмъ не такія отношенія автора къ сюжету видимъ мы въ новой повѣсти г. Тургенева, какъ и въ большей части его повѣстей. Въ «Наканунѣ» мы видимъ неотразимое вліяніе естественнаго хода общественной жизни и мысли, которому невольно подчинилась сама мысль и воображеніе автора.

Поставляя главной задачею литературной критики—разъясненіе тѣхъ явленій дѣйствительности, которыя вызвали извѣстное художественное произведеніе, мы должны замѣтить притомъ, что въ приложеніи къ повѣстямъ г. Тургенева эта задача имѣетъ еще особенный смыслъ. Г. Тургеневъ по справедливости можно назвать представителемъ и пѣвцомъ той морали и философіи, которая господствовала въ нашемъ образованномъ обществѣ въ послѣднее двадцатилѣтіе. Онъ быстро угадывалъ новыя потребности, новыя идеи, вносимыя въ общественное сознаніе, и въ своихъ произведеніяхъ непре-

мѣнно обращалъ (сколько позволяли обстоятельства) вниманіе на во-просъ, стоявшій на очереди и уже смутно начинавшій волновать общество. Мы надѣемся при другомъ случаѣ прослѣдить всю литературу дѣятельность г. Тургенева, и потому теперь не станемъ распространяться объ этомъ. Скажемъ только, что этому чутью автора къ живымъ струнамъ общества, этому умѣнью тотчасъ отзываться на всякую благородную мысль и честное чувство, только-что еще начинающее проникать въ сознаніе лучшихъ людей, мы приписываемъ значительную долю того успѣха, которымъ постоянно пользовался г. Тургеневъ въ русской публикѣ. Конечно, и литературный талантъ самъ по себѣ много помогъ этому успѣху. Но читатели наши знаютъ, что талантъ г. Тургенева не изъ тѣхъ титаническихъ талантовъ, которые, единственно силою поэтического представленія, поражаютъ, захватываютъ васъ и влекутъ къ сочувствію такому явленію или идеѣ, которымъ мы вовсе не расположены сочувствовать. Не бурная порывистая сила, а напротивъ—мягкость и какая-то поэтическая умѣренность служатъ характеристическими чертами его таланта. Поэтому мы полагаемъ, что онъ не могъ бы вызвать общую симпатію публики, если бы касался вопросовъ и потребностей, совершенно чуждыхъ его читателямъ, или еще не возбужденныхъ въ обществѣ. Нѣкоторые замѣтили бы прелесть поэтическихъ описаній въ его повѣстяхъ, тонкость и глубину въ чертеніяхъ разныхъ лицъ и положеній, но, безъ всякаго сомнѣнія, этого было бы недостаточно для того, чтобы сдѣлать прочный успѣхъ и славу писателю. Безъ живого отношенія къ современности всякій, даже самый симпатичный и талантливый повѣствователь, долженъ подвергнуться участи г. Фета, котораго и хвалили когда то, но котораго теперь только десятокъ любителей помнить десятокъ лучшихъ стихотвореній. Живое отношеніе къ современности спасло г. Тургенева и упрочило за нимъ постоянный успѣхъ въ читающей публикѣ. Нѣкоторый глубокомысленный критикъ даже упрекалъ когда-то г. Тургенева за то, что въ его дѣятельности такъ сильно отразились «всѣ колебанія общественной мысли». Но мы, несмотря на это, видимъ здѣсь именно самую жизненную сторону таланта г. Тургенева, и этой стороною объясняемъ, почему съ такой симпатіей, почти съ энтузіазмомъ, встрѣчалось до сихъ поръ каждое его произведеніе.

Итакъ, мы можемъ сказать смѣло, что если уже г. Тургеневъ тронулъ какой-нибудь вопросъ въ своей повѣсти, если онъ изобразилъ какую-нибудь новую сторону общественныхъ отношеній, — это служить ручательствомъ за то, что вопросъ этотъ дѣйствительно поднимается или скоро поднимется въ сознаніи образованнаго общества, что эта новая сторона жизни начинаетъ выдаваться и скоро выкажется рѣзко и ярко предъ глазами всѣхъ. Поэтому, каждый разъ, при появленіи повѣсти г. Тургенева, дѣлается любопытный вопросъ: какія же стороны жизни изображены въ ней, какіе вопросы затронуты?

Вопросъ этотъ представляется и теперь, и въ отношеніи къ новой повѣсти г. Тургенева онъ интереснѣе, чѣмъ когда-либо. До сихъ поръ путь г. Тургенева, сообразно съ путемъ развитія нашего общества, былъ довольно ясно намѣченъ въ одномъ направленіи. Исходя изъ сферы высшихъ идей и теоретическихъ стремленій и направлялся къ тому, чтобы эти идеи и стремленія внести въ грубую и пошлую дѣйствительность, далеко отъ нихъ уклонившуюся. Борьба на борьбу и страданія героя, хлопотавшаго о побѣдѣ своихъ началъ, и его паденіе предъ подавляющею силою людской юшности и составляли обыкновенно интересъ повѣстей г. Тургенева. Разумѣется, самыя основанія борьбы, то есть идеи и стремленія, видоизмѣнялись въ каждомъ произведеніи, или, съ теченіемъ времени и обстоятельствъ, выказывались болѣе опредѣленно и рѣзко. Такимъ образомъ Лишняго человека смѣнялъ Пасынковъ, Пасынкова — Рудинъ, Рудина — Лаврецкій. Каждое изъ этихъ лицъ было жите и полите предыдущихъ, но сущность, основа ихъ характера и всего ихъ существованія была одна и та же. Они были вносителями новыхъ идей въ извѣстный кругъ, просвѣтители, пропагандисты,—хоть для одной женской души, да пропагандисты. За это ихъ очень хвалили и точно—въ свое время они видно очень нужны были, и дѣло ихъ было очень трудно, почтенно и благотворно. Не даромъ же всѣ встрѣчали ихъ съ такой любовью, такъ сочувствовали ихъ душевнымъ страданіямъ, такъ жалѣли объ ихъ бесплодныхъ усиліяхъ. Не даромъ никто тогда и не думалъ замѣтить, что жъ эти господа — отличные, благородные, умные, но въ сущности бездѣльные люди. Рисуя ихъ образы въ разныхъ положеніяхъ и отношеніяхъ, самъ г. Тургеневъ относился къ нимъ обыкновенно съ трогательнымъ участіемъ, сердечной болью объ ихъ страданіяхъ, и то же чувство возбуждалъ постоянно въ массѣ читателей. Когда лишь мотивъ этой борьбы и страданій начиналъ казаться уже недостаточнымъ, когда одна черта благородства и возвышенности характера начинала какъ будто покрываться нѣкоторой пошлостью, г. Тургеневъ умѣлъ находить другіе мотивы, другія черты, и опять попадалъ въ самое сердце читателя и опять возбуждалъ къ себѣ и своимъ героямъ восторженную симпатію. Предметъ казался неистощимымъ.

Но въ послѣднее время въ нашемъ обществѣ обнаружались требованія совершенно отличныя отъ тѣхъ, которыми вызванъ былъ къ жизни Рудинъ и вся его братія. Въ отношеніи къ этимъ лицамъ и понятіяхъ образованнаго большинства произошло коренное измѣненіе. Вопросъ пошелъ уже не о видоизмѣненіи тѣхъ или другихъ мотивовъ, тѣхъ или другихъ началъ ихъ стремленій, а о самой сущности ихъ дѣятельности. Въ теченіе того періода времени, пока рождались передъ нами всѣ эти просвѣщенные поборники истины и добра, краснорѣчивые страдальцы возвышенныхъ убѣжденій, подросли новые люди, для которыхъ любовь къ истинѣ и честность стремлений уже не въ диковинку. Они съ дѣтства, непримѣтно и постоянно,

мѣнно обращалъ (сколько позволяли обстоятельства) вниманіе на вопросъ, стоявшій на очереди и уже смутно начинавшій волновать общество. Мы надѣемся при другомъ случаѣ прослѣдить всю литературную дѣятельность г. Тургенева, и потому теперь не станемъ распространяться объ этомъ. Скажемъ только, что этому чутью автора къ живымъ струнамъ общества, этому умѣнью тотчасъ отзываться на всякую благородную мысль и честное чувство, только-что еще начинающее проникать въ сознаніе лучшихъ людей, мы приписываемъ значительную долю того успѣха, которымъ постоянно пользовался г. Тургеневъ въ русской публикѣ. Конечно, и литературный талантъ самъ по себѣ много помогъ этому успѣху. Но читатели наши знаютъ, что талантъ г. Тургенева не изъ тѣхъ титаническихъ талантовъ, которые, единственно силою поэтического представленія, поражаютъ, захватываютъ васъ и влекутъ къ сочувствію такому явленію или идеѣ, которымъ мы вовсе не расположены сочувствовать. Не бурная порывистая сила, а напротивъ—мягкость и какая-то поэтическая умѣренность служатъ характеристическими чертами его таланта. Поэтому мы полагаемъ, что онъ не могъ бы вызвать общую симпатію публики, если бы касался вопросовъ и потребностей, совершенно чуждыхъ его читателямъ, или еще не возбужденныхъ въ обществѣ. Нѣкоторые замѣтили бы прелесть поэтическихъ описаній въ его повѣстяхъ, тонкость и глубину въ очертаніяхъ разныхъ лицъ и положеній, но, безъ всякаго сомнѣнія, этого было бы недостаточно для того, чтобы сдѣлать прочный успѣхъ и славу писателю. Безъ живого отношенія къ современности всякій, даже самый симпатичный и талантливый повѣствователь, долженъ подвергнуться участи г. Фета, котораго и хвалили когда то, но изъ котораго теперь только десятокъ любителей помнить десятокъ лучшихъ стихотвореній. Живое отношеніе къ современности спасло г. Тургенева и упрочило за нимъ постоянный успѣхъ въ читающей публикѣ. Нѣкоторый глубокомысленный критикъ даже упрекать когда-то г. Тургенева за то, что въ его дѣятельности такъ сильно отразились «всѣ колебанія общественной мысли». Но мы, несмотря на это, видимъ здѣсь именно самую жизненную сторону таланта г. Тургенева, и этой стороной объясняемъ, почему съ такой симпатіей, почти съ энтузіазмомъ, встрѣчалось до сихъ поръ каждое его произведеніе.

Итакъ, мы можемъ сказать смѣло, что если уже г. Тургеневъ тронулъ какой-нибудь вопросъ въ своей повѣсти, если онъ изобразилъ какую-нибудь новую сторону общественныхъ отношеній, — это служить ручательствомъ за то, что вопросъ этотъ дѣйствительно поднимается или скоро поднимется въ сознаніи образованнаго общества, что эта новая сторона жизни начинаетъ выдаваться и скоро выкажется рѣзко и ярко предъ глазами всѣхъ. Поэтому, каждый разъ, при появленіи повѣсти г. Тургенева, дѣлается любопытнымъ вопросъ: какія же стороны жизни изображены въ ней, какіе вопросы затронуты?

Вопросъ этотъ представляется и теперь, и въ отношеніи къ новой повѣсти г. Тургенева онъ интереснѣе, чѣмъ когда-либо. До сихъ поръ путь г. Тургенева, сообразно съ путемъ развитія нашего общества, былъ довольно ясно намѣченъ въ одномъ направленіи. Исходя изъ сферы высшихъ идей и теоретическихъ стремленій и направлялся къ тому, чтобы эти идеи и стремленія внести въ грубую и пошлую дѣйствительность, далеко отъ нихъ уклонившуюся. Сборы на борьбу и страданія героя, хлопотавшаго о побѣдѣ своихъ началъ, и его паденіе предъ подавляющею силою людской пошлости и составляли обыкновенно интересъ повѣстей г. Тургенева. Разумѣется, самыя основанія борьбы, то есть идеи и стремленія, видоизмѣнялись въ каждомъ произведеніи, или, съ теченіемъ времени и обстоятельствъ, выказывались болѣе опредѣленно и рѣзко. Такимъ образомъ Лишняго человѣка смѣнялъ Пасынковъ, Пасынкова — Рудинъ, Рудина — Лаврецкій. Каждое изъ этихъ лицъ было смѣло и полно предыдущихъ, но сущность, основа ихъ характера и всего ихъ существованія была одна и та же. Они были вносители новыхъ идей въ извѣстный кругъ, просвѣтители, пропагандисты,—хоть для одной женской души, да пропагандисты. За это ихъ очень хвалили и точно—въ свое время они видно очень нужны были, и дѣло ихъ было очень трудно, почтенно и благотворно. Не даромъ же всѣ встрѣчали ихъ съ такой любовью, такъ сочувствовали ихъ душевнымъ страданіямъ, такъ жалѣли объ ихъ безплодныхъ усиліяхъ. Не даромъ никто тогда и не думалъ замѣтить, что всѣ эти господа — отличные, благородные, умные, но въ сущности бездѣльные люди. Рисуя ихъ образы въ разныхъ положеніяхъ и столкновеніяхъ, самъ г. Тургеневъ относился къ нимъ обыкновенно съ трогательнымъ участіемъ, сердечной болью объ ихъ страданіяхъ, и то же чувство возбуждалъ постоянно въ массѣ читателей. Когда одинъ мотивъ этой борьбы и страданій начиналъ казаться уже недостаточнымъ, когда одна черта благородства и возвышенности характера начинала какъ будто покрываться нѣкоторой пошлостью, г. Тургеневъ умѣлъ находить другіе мотивы, другія черты, и опять попадалъ въ самое сердце читателя и опять возбуждалъ къ себѣ и своимъ героямъ восторженную симпатію. Предметъ казался неистощимымъ.

Но въ послѣднее время въ нашемъ обществѣ обнаружился требованія совершенно отличныя отъ тѣхъ, которыми вызванъ былъ къ жизни Рудинъ и вся его братія. Въ отношеніи къ этимъ лицамъ въ понятіяхъ образованнаго большинства произошло коренное измѣненіе. Вопросъ пошелъ уже не о видоизмѣненіи тѣхъ или другихъ мотивовъ, тѣхъ или другихъ началъ ихъ стремленій, а о самой сущности ихъ дѣятельности. Въ теченіе того періода времени, пока рисовались передъ нами всѣ эти просвѣщенные поборники истины и добра, краснорѣчивые страдальцы возвышенныхъ убѣжденій, подросли новые люди, для которыхъ любовь къ истинѣ и честность стремленій уже не въ диковинку. Они съ дѣтства, непримѣтно и постоянно,

напитывались тѣми понятіями и стремленіями, для которыхъ прежде лучшіе люди должны были бороться, сомнѣваться и страдать въ зрѣломъ возрастѣ ¹⁾). Поэтому самый характеръ образованія въ нынѣшнемъ молодомъ обществѣ получилъ другой цвѣтъ. Тѣ понятія и стремленія, которыя прежде давали титулъ передового человѣка, теперь уже считаются первой и необходимой принадлежностью самой обыкновенной образованности. Отъ гимназиста, отъ посредственнаго кадета, даже иногда отъ порядочнаго семинариста вы услышите нынѣ выраженіе такихъ убѣжденій, за которыя въ прежнее время долженъ былъ спорить и горячиться, напр., Бѣлинскій. И гимназистъ или кадетъ высказываютъ эти понятія,—такъ трудно, съ бою достававшіяся прежде,—совершенно спокойно, безъ всякаго азарта и самодовольства, какъ вещь, которая иначе и быть не можетъ, и даже немыслима иначе.

Встрѣчая человѣка такъ-называемаго прогрессивнаго направленія, теперь никто изъ порядочныхъ людей уже не предается удивленію и восторгу, никто не смотритъ ему въ глаза съ нѣмымъ благоговѣніемъ, не жметъ ему таинственно руки и не приглашаетъ шепотомъ къ себѣ, въ кружокъ избранныхъ людей,—поговорить о томъ, что несправедливое и рабство гибельны для государства. Напротивъ, теперь съ невольнымъ, презрительнымъ изумленіемъ останавливаются предъ человѣкомъ, который выказываетъ недостатокъ сочувствія къ гласности, безкорыстію, эманципациі, и т. п. Теперь даже люди, въ душѣ нелюбящіе прогрессивныхъ идей, должны показывать видъ, что любятъ ихъ для того, чтобы имѣть доступъ въ порядочное общество. Ясно, что при такомъ положеніи дѣлъ прежніе сѣятели добра, люди Рудинскаго закала, теряютъ значительную долю своего прежняго кредита. Ихъ уважаютъ, какъ старыхъ наставниковъ; но рѣдко кто, вошедши въ свой разумъ, расположенъ выслушивать опять тѣ уроки, которые съ такою жадностью принимались прежде, въ возрастѣ дѣтства и первоначальнаго развитія. Нужно уже нѣчто другое, нужно идти дальше ²⁾).

¹⁾ Насъ уже упрекали однажды въ пристрастіи къ молодому повогвнію, и указывали на пошлость и пустоту, которой оно предается въ большей части своихъ представителей. Но мы никогда и не думали отстаивать всѣхъ молодыхъ людей огуломъ, да это и не согласно было бы съ нашей цѣлью. Пошлость и пустота составляютъ достояніе всѣхъ временъ и всѣхъ возрастовъ. Но мы говорили, и теперь говоримъ, о людяхъ избранныхъ, людяхъ лучшихъ, а не о толпѣ, такъ какъ и Рудинъ и всѣ люди его закала принадлежали вѣдь не къ толпѣ же, а къ лучшимъ людямъ своего времени. Впрочемъ, мы не будемъ неправы, если скажемъ, что и въ массѣ общества уровень образованія въ послѣднее время все-таки возвысился.

²⁾ Противъ этой мысли можетъ, повидимому, свидѣтельствовать необыкновенный успѣхъ, которымъ встрѣчаются изданія сочиненій нѣкоторыхъ нашихъ писателей сороковыхъ годовъ. Особенно яркимъ примѣромъ можетъ служить Бѣлинскій, котораго сочиненія быстро разошлись, говорятъ, въ количествѣ

«Но, скажутъ намъ, вѣдь общество не дошло до крайне^{го} своего развитія; возможно дальнѣйшее совершенствованіе, умствен-
ное и нравственное. Стало быть, нужны для общества и руководи-
тели, и проповѣдники истины, и пропагандисты, словомъ — люди
Рудинскаго типа. Все прежнее принято и вошло въ общее созна-
ніе, — положимъ. Но это не исключаетъ возможности того, что явятся
новые Рудины, проповѣдники новыхъ, высшихъ тенденцій, и опять
будутъ бороться и страдать и опять возбуждать къ себѣ симпатію
общества. Предметъ этотъ, дѣйствительно, неистощимъ въ своемъ со-
держаніи и постоянно можетъ приносить новые лавры такому пи-
сателю, какъ г. Тургеневъ».

Жалко было бы, если бы подобное замѣчаніе оправдалось именно
теперь. Къ счастью, оно, кажется, опровергается послѣднимъ дви-
женіемъ литературы нашей. Разсуждая отвлеченно, нельзя не со-
знаться, что мысль о вѣчномъ движеніи и вѣчной смѣнѣ идей въ
обществѣ, а слѣдовательно и о постоянной необходимости пропо-
вѣдниковъ этихъ идей, вполне справедлива. Но вѣдь нужно же
принять во вниманіе и то, что общества живутъ нѣ за тѣмъ только,
чтобъ разсуждать и мѣняться идеями. Идеи и ихъ постепенное раз-
витіе только потому и имѣютъ свое значеніе, что онѣ, рождаясь
изъ существующихъ уже фактовъ, всегда предшествуютъ измѣне-
ніямъ въ самой дѣйствительности. Извѣстное положеніе дѣлъ со-
здастъ въ обществѣ потребность, потребность эта сознается, вслѣдъ
за общимъ сознаніемъ ея должна явиться фактическая перемѣна въ
пользу удовлетворенія сознанной всѣми потребности. Такимъ обра-
зомъ, послѣ періода *сознаванія* извѣстныхъ идей и стремленій дол-
женъ являться въ обществѣ періодъ ихъ *осуществленія*; за размыш-
леніями и разговорами должно слѣдовать дѣло. Спрашивается те-
перь: что же дѣлало наше общество въ послѣднія 20—30 лѣтъ?
Покаместъ ничего. Оно училось, развивалось, слушало Рудиныхъ,
сочувствовало ихъ неудачамъ въ благородной борьбѣ за убѣжденія,
приготовлялось къ дѣлу, но ничего не дѣлало... Въ головѣ и срдцѣ
накопилось такъ много прекраснаго; въ существенномъ порядкѣ дѣлъ
замѣчено такъ много нелѣпаго и безчестнаго; масса людей, «сознаю-
щихъ себя выше окружающей дѣйствительности», растетъ съ каж-
дымъ годомъ, такъ что скоро, пожалуй, всѣ будутъ выше дѣйстви-
тельности... Кажется, нечего желать, чтобъ мы продолжали вѣчно

12,000 экземпляровъ. Но, по нашему мнѣнію, этотъ самый фактъ служить луч-
шимъ подтвержденіемъ нашей мысли. Бѣлинскій былъ передовой изъ передовыхъ,
дальше его не пошелъ ни одинъ изъ его сверстниковъ, и тамъ, гдѣ расхвачано
въ нѣсколько мѣсяцевъ 12,000 экземпляровъ Бѣлинскаго, Рудинимъ просто дѣ-
лать нечего. Успѣхъ Бѣлинскаго доказываетъ вовсе не то, что его идеи еще
новы для нашего общества и требуютъ большихъ усилій для распространенія, а
именно то, что онѣ дороги и святы теперь для большинства и что ихъ проповѣ-
даніе теперь ужъ не требуетъ отъ новыхъ дѣлателей ни героизма, ни особенныхъ
талантовъ.

и — своимъ томительнымъ путемъ разлада, сомнѣнія и отвлеченныхъ горестей и утѣшеній. Кажется, ясно, что теперь нужны намъ не такіе люди, которые бы еще болѣе «возвышали насъ надъ окружающею дѣйствительностью», а такіе, которые бы подняли — или насъ научили поднять — самую дѣйствительность до уровня тѣхъ разумныхъ требованій, какія мы уже сознали. Словомъ, нужны люди дѣла, а не отвлеченныхъ, всегда немножко эпикурейскихъ, разсужденій.

Сознаніе этого хотя смутно, но уже во многихъ выразилось при появленіи «Дворянскаго гнѣзда». Талантъ г. Тургенева, вмѣстѣ съ его вѣрнымъ тактомъ дѣйствительности, вынесъ его и на этотъ разъ съ торжествомъ изъ труднаго положенія. Онъ умѣлъ поставить Лавреца такъ, что надъ нимъ трудно иронизировать, хотя онъ и принадлежитъ къ тому роду типовъ, на которые мы смотримъ съ усмѣшкой. Драматизмъ его положенія заключается уже не въ борьбѣ съ собственнымъ безсиліемъ, а въ столкновеніи съ такими понятіями и правами, съ которыми борьба дѣйствительно устрашить самаго энергическаго и смѣлаго человѣка. Онъ женатъ, и отступился отъ своей жены; но онъ полюбилъ чистое, свѣтлое существо, воспитанное въ такихъ понятіяхъ, при которыхъ любовь къ женатому человѣку есть ужасное преступленіе. А между тѣмъ, она его тоже любитъ, и его притязанія могутъ непрерывно и страшно терзать ея сердце и совѣсть. Надъ такимъ положеніемъ поневолѣ задумаешься горько и тяжело, и мы помнимъ, какъ болѣзненно сжалось наше сердце, когда Лаврецкій, прощаясь съ Лизой, сказалъ ей: «ахъ Лиза, Лиза! какъ бы мы могли быть счастливы!» и когда она, уже смиренная монахиня въ душѣ, отвѣтила: «вы сами видите, что счастье зависитъ не отъ насъ, а отъ Бога», и онъ началъ было: «да, потому что вы»... и не договорилъ... Читатели и критики «Дворянскаго гнѣзда», поименно, восхищались многимъ другимъ въ этомъ романѣ. Но для насъ существеннѣйшій интересъ его заключается въ этомъ трагическомъ столкновеніи Лавреца, пассивность котораго, именно въ этомъ случаѣ, мы не можемъ не извинить. Здѣсь Лаврецкій, какъ будто измѣняя одной изъ родовыхъ чертъ своего типа, почти не является даже пропагандистомъ. Начиная съ первой встрѣчи съ Лизой, когда она шла къ обѣднѣ, онъ во всемъ романѣ робко склоняется предъ незыблемостью ея понятій, и ни разу не смѣетъ приступить къ ней съ холодными разувѣреніями. Но и это, конечно, потому, что здѣсь пропаганда была бы самымъ дѣломъ, котораго Лаврецкій, какъ и вся его братія, боится. При всемъ томъ намъ кажется (по крайней мѣрѣ, казалось при чтеніи романа), что самое положеніе Лавреца, самая коллизія, изображенная г. Тургеневымъ и столь знакомая русской жизни, должна служить сильною пропагандою и наводить ~~каждаго~~ ~~читателя~~ на рядъ мыслей о значеніи цѣлаго огромнаго ~~отдѣла~~ ~~понятій~~, ~~заправляющихъ~~ нашей жизнью. Теперь, по разнымъ ~~печатнымъ~~ ~~и~~ ~~словеснымъ~~ отзывамъ, мы знаемъ, что были не ~~совсѣмъ~~ ~~правы~~: смыслъ положенія Лавреца былъ понятъ иначе или ~~совсѣмъ~~ ~~не~~ ~~выясненъ~~ многими читателями. Но что въ немъ есть что-т

законно-трагическое, а не призрачное, это было понятно, и это, вмѣстѣ съ достоинствами исполненія, привлекло къ «Дворянскому гнѣзду» единодушное, восторженное участіе всей читающей русской публики.

Послѣ «Дворянскаго гнѣзда» можно было опасаться за судьбу новаго произведенія г. Тургенева. Путь созданія возвышенныхъ характеровъ, принужденныхъ смиряться подъ ударами рока, сдѣлался очень скользкимъ. Посреди восторговъ отъ «Дворянскаго гнѣзда», слышались и голоса, выражавшіе неудовольствіе на Лаврецкаго, отъ котораго ожидали больше. Самъ авторъ счелъ нужнымъ ввести въ свой рассказъ Михалевича, за тѣмъ, чтобы тотъ обругалъ Лаврецкаго байбакомъ. А Илья Ильичъ Обломовъ, появившійся въ то же время, окончательно и рѣзко объяснилъ всей русской публикѣ, что теперь человѣку безсильному и безвольному лучше ужъ и не смѣшивать людей, лучше лежать на своемъ диванѣ, нежели бѣгать, суетиться, шумѣть, разсуждать и переливать изъ пустаго въ порожнее цѣлые годы и десятки лѣтъ. Прочитавши Обломова, публика поняла его родство съ интересными личностями «лишнихъ людей», и сообразила, что эти люди теперь ужъ дѣйствительно лишніе, и что отъ нихъ толку ровно столько же, сколько и отъ добрѣйшаго Ильи Ильича. «Что же теперь создать г. Тургеневъ?»—думали мы, и съ большимъ любопытствомъ принялись читать «Наканунъ».

Чутье настоящей минуты и на этотъ разъ не обмануло автора. Сознавши, что прежніе герои уже сдѣлали свое дѣло и не могутъ возбуждать прежней симпатіи въ лучшей части нашего общества, онъ рѣшился оставить ихъ и, уловивши въ нѣсколькихъ отрывочныхъ проявленіяхъ вѣяніе новыхъ требованій жизни, попробовалъ стать на дорогу, по которой совершается передовое движеніе настоящаго времени.

Въ новой повѣсти г. Тургенева мы встрѣчаемъ другія положенія, другіе типы, нежели къ какимъ привыкли въ его произведеніяхъ прежняго періода. Общественная потребность дѣла, живого дѣла, начало презрѣнія къ мертвымъ принципамъ и пассивнымъ добродѣтелямъ выразилось во всемъ строѣ новой повѣсти. Безъ сомнѣнія, каждый, кто будетъ читать нашу статью, уже прочиталъ теперь «Наканунъ». Поэтому мы, вмѣсто рассказа содержанія повѣсти, представимъ только коротенькій очеркъ главныхъ ея характеровъ.

Героиней романа является дѣвушка, съ серьезнымъ складомъ ума, съ энергической волей, съ гуманными стремленіями сердца. Развитіе ея совершилось очень своеобразно, благодаря особеннымъ обстоятельствамъ семейнымъ.

Отецъ и мать ея были люди очень ограниченные, но не злые; мать даже положительно отличалась добротою и мягкостью сердца. Съ самаго дѣтства Елена была избавлена отъ семейнаго деспотизма, который губить въ зародышѣ такъ много прекрасныхъ натуръ. Она росла одна, безъ подругъ, совершенно свободно, никакой формализмъ не стѣснялъ ее. Николай Артемьичъ Стаховъ, отецъ ея, человѣкъ

туповатый, но корчившій изъ себя философа скептическаго тона и державшійся подалше отъ семейной жизни, сначала только восхищался своей маленькой Еленой, въ которой рано обнаружились необыкновенныя способности. Елена, пока была мала, тоже съ своей стороны обожала отца. Но отношенія Стахова къ женѣ были не всѣмъ удовлетворительны: онъ женился на Аннѣ Васильевнѣ для ея приданаго, не питалъ къ ней никакого чувства, обходился съ нею почти съ пренебреженіемъ и удалялся отъ нея въ общество Августы Христіановны, которая его обирала и дурачила. Анна Васильевна, больная и чувствительная женщина, въ родѣ Марьи Дмитріевны «Дворянскаго гнѣзда», кротко переносила свое положеніе, но не могла на него не жаловаться всѣмъ въ домѣ, и между прочимъ даже дочери. Такимъ образомъ, Елена скоро сдѣлалась повѣренною горестей своей матери и становилась невольно судьей между ею и отцомъ. При впечатлительности ея натуры, это имѣло большое вліяніе на развитіе ея внутреннихъ силъ. Чѣмъ менѣе она могла дѣйствовать практически въ этомъ случаѣ, тѣмъ болѣе представлялось работы ея уму и воображенію. Принужденная съ раннихъ лѣтъ всматриваться во взаимныя отношенія близкихъ ей людей, участвуя и сердцемъ и головой въ разъясненіи смысла этихъ отношеній и произнесенія суда надъ ними, Елена рано приучила себя къ самостоятельному размышленію, къ сознательному взгляду на все окружающее. Семейныя отношенія Стаховыхъ очеркнуты у г. Тургенева очень бѣгло, но въ этомъ очеркѣ есть глубоко вѣрныя указанія, весьма много объясняющія первоначальное развитіе характера Елены. По натурѣ своей она была ребенкомъ впечатлительнымъ и умнымъ; положеніе ея между матерью и отцомъ рано вызвало ее на серьезныя размышленія, рано подняло ее до самостоятельной роли. Она становилась въ уровень съ старшими, дѣлала ихъ подсудимыми предъ собою. И въ то же время размышленія ея не были холодны, съ ними сливалась вся душа ея, потому что дѣло шло о людяхъ слишкомъ близкихъ, слишкомъ дорогихъ для нея, объ отношеніяхъ, съ которыми связаны были самыя святыя чувства, самыя живые интересы дѣвочки. Оттого-то ея размышленія прямо отражались на ея сердечномъ расположеніи: отъ обожанія отца она перешла къ страстной привязанности къ матери, въ которой она стала видѣть существо притѣсненное, страдающее. Но въ этой любви къ матери не было ничего враждебнаго къ отцу, который не былъ ни злодѣемъ, ни положительнымъ дуракомъ, ни домашнимъ тираномъ. Онъ былъ только весьма обыкновенной посредственностью, и Елена охладѣла къ нему, инстинктивно, а потомъ, можетъ, и сознательно, рѣшивши что любить его не за что. Да скоро ту же посредственность увидала она и въ матери, и въ сердцѣ ея, вмѣсто страстной любви уваженія, осталось лишь чувство сожалѣнія и снисхожденія: г. Тургеневъ очень удачно очертилъ ея отношенія къ матери, сказавши что она «обходилась съ матерью, какъ съ больной бабушкой». Мать признала себя ниже дочери; отецъ же, какъ только дочь стала п

перостать его умственно, что было очень нетрудно, охладѣлъ къ ней, рѣшилъ, что она странная, и отступился отъ нея.

А въ ней между тѣмъ все росло и расширялось сострадательное, гуманное чувство. Боль о чужомъ страданіи была возбуждена въ ея ребяческомъ сердцѣ убитымъ видомъ матери, конечно, еще прежде, нежели она стала понимать хорошенько, въ чемъ дѣло. Эта боль давала ей себя чувствовать постоянно, сопровождала ее при каждомъ новомъ шагѣ ея развитія, придавала особенный, задумчиво-серьезный складъ ея мыслямъ, мало-по-малу вызвала и опредѣлила въ ней дѣятельныя стремленія и всѣ ихъ направила къ страстному, неодолимому исканію добра и счастья для всѣхъ. Еще смутны были эти исканія, слабы силы Елены, когда она нашла новую пищу для своихъ размышленій и мечтаній, новый предметъ своего участія и любви—въ странномъ знакомствѣ съ нищей дѣвочкой Катей. На десятомъ году подружилась она съ этой дѣвочкой, тайкомъ ходила къ ней на свиданіе въ садъ, приносила ей лакомства, дарила ей платки, гривеннички—игрушекъ Катя не брала; сидѣла съ ней по цѣлымъ часамъ, съ чувствомъ радостнаго смиренія ѣла ея черствый хлѣбъ; слушала, какъ Катя обѣщалась убѣжать отъ своей злой тетки, чтобы жить *на всей Божьей волѣ*, и сама мечтала о томъ, какъ она надѣнетъ сумку и убѣжитъ съ Катей. Катя скоро умерла, но знакомство съ ней не могло не оставить рѣзкихъ слѣдовъ въ характерѣ Елены. Къ ея чистымъ, человѣчнымъ, сострадательнымъ расположеніямъ оно прибавило еще новую сторону: оно внушило ей то презрѣніе или, по крайней мѣрѣ, то строгое равнодушіе къ ненужнымъ излишествамъ богатой жизни, которое всегда проникаетъ душу не совсѣмъ испорченнаго человѣка въ виду безпомощной нищеты. Скоро вся душа Елены загорѣлась жаждою дѣятельнаго добра, и жажда эта стала на первый разъ удовлетворяться обычными дѣлами милосердія, какія возможны были для Елены. «Нищіе, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видѣла ихъ во снѣ, спрашивала о нихъ всѣхъ своихъ знакомыхъ». Даже «всѣ притѣсненныя животныя, худыя дворовыя собаки, осужденныя на смерть котята, выпавшіе изъ гнѣзда воробьи, даже насѣкомыя и гады находили въ Еленѣ покровительство и защиту: она сама кормила ихъ, не гнушалась ими». Отецъ ея называлъ все это пошлымъ нѣжничаньемъ; но Елена не была сантиментальна, потому что сантиментальность именно характеризуется избыткомъ чувствъ и словъ при совершенномъ недостаткѣ дѣятельной любви, а чувство Елены постоянно стремилось проявиться на дѣлѣ. Пустыхъ ласкъ и нѣжностей она не терпѣла и вообще не придавала значенія словамъ безъ дѣла и уважала только практически-полезную дѣятельность. Даже стиховъ она не любила, даже въ художествѣ толку не знала.

Но дѣятельныя стремленія души зрѣютъ и крѣпнутъ только при дѣятельности просторной и вольной. Надо испробовать нѣсколько разъ свои силы, испытать неудачи и столкновенія, узнать, чего стоятъ разныя усилія и какъ преодолеваются препятствія, для

того, чтобы приобрести отвагу и решимость, необходимые для действительной борьбы, чтобы узнать меру своих сил и уметь найти для них соответственную работу. Елена, при всей свободѣ своего развитія, не могла найти достаточно средствъ для того, чтобы действительно упражнять свои силы и удовлетворять свои стремленія. Ей никто не мѣшалъ дѣлать, что она хочетъ; но дѣлать было нечего. Ее не стѣсняли педантизмомъ систематическаго ученія, и потому она успѣла образоваться, не принявши въ себя множество предразсудковъ, неразлучныхъ съ системами, курсами и вообще съ рутинною образованіемъ. Она много и съ участіемъ читала; но одно чтеніе не могло удовлетворять ее; оно имѣло только то вліяніе, что разсудочная сторона развилась въ Еленѣ сильнѣе другихъ, и умственная требовательность стала пересиливать даже живыя стремленія сердца. Подаваніе милостыни, уходъ за щенками и котятъ, защита мухи отъ паука—тоже не могли удовлетворить ее: когда она стала по-больше и поумнѣе, она не могла не увидѣть всю скудость этой дѣятельности: да притомъ—эти занятія требовали отъ нея весьма мало усилій и не могли наполнять ея существованія. Ей нужно было чего-то больше, чего-то выше; но чего—она не знала, а если и знала, то не умѣла приняться за дѣло. Отъ этого и находилась она постоянно въ какой-то ажитации, всегда ждала и искала чего-то; отъ этого и наружность ея приняла такой особенный характеръ. «Во всемъ ея существѣ, въ выраженіи лица, *внимательномъ и немного пугливомъ*, въ *ясномъ, но измѣнчивомъ* взорѣ, улыбкѣ, какъ будто, *напряженной*, въ *тихомъ и неровномъ*, было что-то нервическое, электрическое, что-то *порывистое и торопливое*»... Ясно, что она еще находится въ неопредѣленныхъ сомнѣніяхъ относительно самой себя, она еще не опредѣлила своей роли. Она поняла, чего ей не нужно, и смотритъ гордо и независимо на обычную обстановку своей жизни; но что ей нужно, и главное—что дѣлать, чтобы достигнуть того, что нужно, — этого она еще не знаетъ, и потому все существо ея напряженно, неровно, порывисто. Она все ждетъ, все живетъ наканунѣ чего-то... Она готова къ самой живой, энергической дѣятельности, но приступить къ дѣлу сама по себѣ, одна—она не смѣетъ.

Въ этой-то несмѣлости, въ этой практической пассивности, при богатствѣ внутреннихъ силъ и при томительной жадѣ дѣятельности—мы и видимъ живую связь героини г. Тургенева со всѣмъ нашимъ образованнымъ обществомъ. По тому, какъ задуманъ характеръ Елены, она представляетъ явленіе исключительное, и если бы на самомъ дѣлѣ она являлась вездѣ выразительницею своихъ возрѣній и стремленій — она-бы оказалась чуждою русскому обществу и не имѣла бы для насъ такого смысла, какъ теперь. Она была бы лицомъ сочиненнымъ, растеніемъ, неудачно пересаженнымъ на нашу почву откуда-нибудь изъ другой земли. Но вѣрное чутье дѣятельности не позволило г. Тургеневу придать своей героинѣ полного соответствія практической дѣятельности съ теоретическими ея по-

нятіями и внутренними порывами души. На это еще не даетъ писателю матеріаловъ наша общественная жизнь. Во всемъ нашемъ обществѣ замѣтно теперь только еще пробудившееся желаніе приняться за настоящее дѣло, сознаніе пошлости разныхъ красивыхъ игрушекъ возвышенныхъ разсужденій и неподвижныхъ формъ, которыми мы такъ долго себя тѣшили и дурачили. Но мы еще все-таки не вышли изъ той сферы, въ которой такъ спокойно было намъ спать, да и не знаемъ хорошенько, гдѣ выходъ; а если кто и узнаетъ, то еще боится открыть его. Это трудное, томительное положеніе общества необходимо кладетъ свою печать и на художественное произведеніе, вышедшее изъ среды его. Въ обществѣ могутъ быть отдѣльныя натуры, отдѣльныя лица могутъ достигать высокаго развитія нравственнаго; вотъ и въ литературныхъ произведеніяхъ являются такія личности. Но все это такъ и остается только въ очеркѣ натуры лица, а въ жизнь не переносится; предполагается возможнымъ, но въ дѣйствительности не совершается. Въ Ольгѣ «Обломова» мы видѣли женщину идеальную, далеко ушедшую въ своемъ развитіи отъ всего остальнаго общества; но гдѣ ея практическая дѣятельность? Она способна, кажется, создать новую жизнь, а живетъ, между тѣмъ, въ той-же пошлости, въ какой и всѣ ея подруги, потому что отъ этой пошлости некуда уйти ей. Штольцъ ей нравится какъ энергическая, дѣятельная натура; а между тѣмъ и онъ, при всемъ искусствѣ автора «Обломова» въ обрисовкѣ характеровъ, является передъ нами только со своими способностями и не даетъ видѣть, какъ онъ ихъ примѣняетъ; онъ лишенъ почвы подъ ногами и плаваетъ передъ нами какъ будто въ какомъ-то туманѣ. Теперь въ Еленѣ г. Тургенева мы видимъ новую попытку созданія энергическаго, дѣятельнаго характера, и не можемъ сказать, чтобы обрисовка самаго характера не удалась автору. Если и рѣдко кому случалось встрѣчать такихъ женщинъ, какъ Елена, за то, конечно, многимъ приходилось замѣчать въ самыхъ обыкновенныхъ женщинахъ зародыши тѣхъ или другихъ существенныхъ чертъ ея характера, возможность развитія многихъ изъ ея стремленій. Какъ идеальное лицо, составленное изъ лучшихъ элементовъ, развивающихся въ нашемъ обществѣ, Елена понятна и близка намъ. Самыя стремленія ея опредѣляются для насъ очень ясно. Елена какъ будто служить отвѣтомъ на вопросы и сомнѣнія Ольги, которая, поживши съ Штольцемъ, томится и тоскуетъ, и сама не можетъ дать себѣ отчета, о чемъ. Въ образѣ Елены объясняется причина этой тоски, необходимо поражающей всякаго порядочнаго русскаго человѣка, какъ-бы ни хороши были его собственные обстоятельства. Елена жаждетъ дѣятельнаго добра, она ищетъ возможности устроить счастье вокругъ себя, потому что она не понимаетъ возможности не только счастья, но даже и спокойствія собственнаго, если ее окружаетъ горе, несчастіе, бѣдность и униженіе ея ближнихъ.

Но какую-же дѣятельность, сообразную съ такими внутренними требованіями, могъ дать г. Тургеневъ своей героинѣ? На это даже

и отвлеченнымъ образомъ трудно отвѣтить; а художественно создать эту дѣятельность, вѣроятно, еще и невозможно для русскаго писателя настоящаго времени. Неоткуда взять дѣятельности, и поневолѣ авторъ заставилъ свою героиню дешевымъ образомъ проявлять свои высокія стремленія въ подачѣ милостыни да въ спасеніи заброшенныхъ котятъ. За дѣятельность, требующую большаго напряженія и борьбы, она и не умѣетъ и боится приняться. Она видитъ во всемъ окружающемъ, что одно давитъ другое, и потому, именно вслѣдствіе своего гуманнаго, сердечнаго развитія, старается держаться въ сторонѣ отъ всего, чтобы какъ-нибудь тоже не начать давить другихъ. Въ домѣ ни въ чемъ не замѣтно ея вліяніе; отецъ и мать ей какъ чужіе; они боятся ея авторитета, но никогда она не обратится къ нимъ съ совѣтомъ, указаніемъ или требованіемъ. Для нея живетъ въ домѣ компаньонка Зоя, молодая, добродушная нѣмка: Елена отъ нея сторонится, почти не говоритъ съ ней, и отношенія ихъ очень холодны. Тутъ-же проживаетъ Шубинъ, молодой художникъ, о которомъ мы сейчасъ будемъ говорить: Елена уничтожаетъ его своими приговорами, но и не думаетъ постараться пріобрѣсти надъ нимъ какое-нибудь вліяніе, которое было-бы ему очень полезно. Во всей повѣсти нѣтъ ни одного случая, гдѣ-бы жажда дѣятельнаго добра заставила Елену вмѣшаться въ дѣла окружающей ее среды и проявить чѣмъ-нибудь свое вліяніе. Мы не думаемъ, чтобъ это зависѣло отъ случайной ошибки автора; нѣтъ, въ нашемъ обществѣ еще очень недавно, да и не между женщинами, а изъ среды мужчинъ, возвышался и блисталъ особенный типъ людей, гордившихся своимъ устраненіемъ отъ окружающей ихъ среды. «Тутъ невозможно сохранить себя чистымъ,—говорили они,—и притомъ вся эта среда такъ мелка и пошла, что лучше удалиться отъ нея въ сторону»... И они точно удалялись, не сдѣлавъ ни одной энергической попытки для исправленія этой пошлой среды, и удаленіе ихъ считалось единственнымъ честнымъ выходомъ изъ ихъ положенія, и прославлялось какъ подвигъ. Естественно, что, имѣя въ виду такіе примѣры и понятія, авторъ не могъ лучше освѣтить домашнюю жизнь Елены, какъ поставивъ ее совершенно въ сторонѣ отъ этой жизни. Впрочемъ, какъ мы сказали, безсилію Елены приданъ въ повѣсти особенный мотивъ, вытекающій изъ ея женственнаго, гуманнаго чувства: она боится всякихъ столкновеній,—не по недостатку мужества, а изъ опасенія нанести кому-нибудь оскорбленіе и вредъ. Никогда не испытавъ полной, дѣятельной жизни, она воображаетъ еще, что ея идеалы могутъ быть достигнуты безъ борьбы, безъ ущерба кому бы то ни было. Послѣ одного случая (когда Инсаровъ героически бросилъ въ воду пьянаго нѣмца), она писала въ своемъ дневникѣ: «да, съ нимъ шутить нельзя, и заступиться онъ умѣетъ. Но къ чему же эта злоба, эти дрожащія губы, этотъ ядъ въ глазахъ? Или можетъ быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцомъ, остаться кроткимъ и мягкимъ»? Эта простая мысль пришла ей

голову только теперь, да и то еще въ видѣ вопроса, котораго она такъ и не разрѣшаетъ.

Въ этой-то неопредѣленности, въ этомъ бездѣйствіи при безпрерывномъ томительномъ ожиданіи чего-то, доживаетъ Елена до двадцатаго года своей жизни. По временамъ ей очень тяжело; она сознаетъ, что силы ея пропадаютъ даромъ, что жизнь ея пуста; она говоритъ про себя: «хоть бы въ служанки куда-нибудь пошла, право; мнѣ было бы легче». Это тяжкое расположеніе увеличивается въ ней тѣмъ, что она ни въ комъ не находитъ отзыва на свои чувства, ни въ комъ не видитъ опоры для себя. Иногда ей кажется, что она желаетъ чего-то, чего никто не желаетъ, о чемъ никто не мыслить въ цѣлой Россіи... Ей становится страшно, и потребность сочувствія развивается сильнѣе, и она напряженно и трепетно ждетъ другой души, которая бы умѣла понять ее, отозваться на ея святыя чувства, помочь ей, научить ее что надо дѣлать. Въ ней являлось желаніе отдаться кому-нибудь, слить съ кѣмъ-нибудь свое существо, и ей становилась неприятною даже эта самостоятельность, съ которою она такъ одиноко стояла въ кругу близкихъ ей людей. Съ шестнадцатилѣтняго возраста она жила собственною своею жизнью, но жизнью одинокою. Ея душа разгоралась и погасала одиноко, она билась, какъ птица въ клѣткѣ, а клѣтки не было; никто не стѣснялъ ее; никто не удерживалъ, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась сама себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то безсмысленнымъ, не то непонятнымъ. «Какъ жить безъ любви, а любить некого», — думала она, и страшно становилось ей отъ этихъ думъ, отъ этихъ ощущеній.

При такомъ-то настроеніи ея сердца, лѣтомъ, на дачѣ въ Кунцовѣ, застаетъ ее дѣйствіе повѣсти. Въ короткій промежутокъ времени являются передъ нею три человѣка, изъ которыхъ одинъ привлекаетъ къ себѣ всю ея душу. Тутъ есть, впрочемъ, и четвертый, эпизодически введенный, но тоже не лишній господинъ, котораго мы тоже будемъ считать. Трое изъ этихъ господъ — русскіе, четвертый — болгаръ, и въ немъ-то нашла свой идеалъ Елена. Посмотримъ на всѣхъ этихъ господъ.

Одинъ изъ молодыхъ людей, страстно, по-своему, влюбленный въ Елену, — художникъ Павелъ Яковлевичъ Шубинъ, хорошенькій и граціозный юноша лѣтъ 25, добродушный и остроумный, веселый и страстный, безпечный и талантливый. Онъ доводится троюроднымъ племянникомъ Аннѣ Васильевнѣ, матери Елены, и потому очень близокъ съ молодой дѣвушкой, и надѣется заслужить ея серьезное расположеніе. Но она постоянно смотритъ на него свысока и считаетъ его неглупымъ, но балованнымъ ребенкомъ, съ которымъ нельзя обращаться серьезно. Впрочемъ, Шубинъ говоритъ своему другу: «было время, я ей нравился»; и дѣйствительно, у него много условій для того, чтобы нравиться; немудрено, что и Елена на минуту придала болѣе значенія его хорошимъ сторонамъ, нежели его недостаткамъ. Но скоро она увидѣла художественность этой на-

туры, увидѣла, что здѣсь все зависитъ отъ минуты, ничего нѣтъ постоянного и надежнаго, весь организмъ составленъ изъ противорѣчій: лѣнь заглушаетъ способности, а даромъ потраченное время вызываетъ потомъ безплодное раскаяніе, поднимаетъ желчь, возбуждаетъ презрѣніе къ самому себѣ, которое, въ свою очередь, служитъ утѣшеніемъ въ неудачахъ и заставляетъ гордиться и любоваться собою. Все это Елена поняла инстинктивно, безъ тяжелыхъ мукъ недоумѣнія, и потому рѣшеніе ея относительно Шубина совершенно спокойно и беззлобно. «Вы воображаете, что во мнѣ все притворно; вы не вѣрите моему раскаянію, не вѣрите, что я могу искренно плакать!» — говоритъ ей однажды Шубинъ въ отчаянномъ порывѣ. И она не отвѣчаетъ: «не вѣрю», а говоритъ просто: «нѣтъ, Павелъ Яковлевичъ. я вѣрю въ ваше раскаяніе, и въ ваши слезы я вѣрю; но мнѣ кажется, самое ваше раскаяніе васъ забавляетъ, да и слезы тоже». Шубинъ такъ и дрогнулъ отъ этого простого приговора, который дѣйствительно долженъ былъ глубоко вонзиться въ его сердце. Онъ самъ никогда не предполагалъ, чтобъ его порывы, противорѣчія, страданія, метанія изъ стороны въ сторону — можно было понять и объяснить такъ просто и вѣрно. При этомъ объясненіи онъ даже перестаетъ дѣлаться «интереснымъ человѣкомъ». И дѣйствительно, какъ только Елена составила о немъ мнѣніе, — онъ уже не занимаетъ ее. Ей все равно — тутъ онъ или нѣтъ, помнить о ней или забыть, любить ее или ненавидить; у ней съ нимъ ничего нѣтъ общаго, хотя она не прочь искренно похвалить его, если онъ сдѣлаетъ что-нибудь достойное его таланта...

Другой начинаетъ занимать ея мысли. Этотъ совершенно въ иномъ родѣ; онъ неуклюжъ, старообразенъ, лицо его некрасиво и даже нѣсколько смѣшно, но выражаетъ привычку мыслить и доброту. Кромѣ того, по словамъ автора, какой-то *«отпечатокъ порядочности»* замѣчался во всемъ его неуклюжемъ существѣ. Это Андрей Петровичъ Берсенева, бывший другъ Шубина. Онъ философъ, ученый, читаетъ исторію Гогенштауфеновъ и другія нѣмецкія книжки и исполненъ скромности и самоотверженія; на возгласы Шубина: «намъ нужно счастья, счастья! Мы завоюемъ себѣ счастье!» — онъ недо- вѣрчиво возражаетъ: «будто нѣтъ ничего выше счастья?» — и затѣмъ между ними происходитъ такой разговоръ:

„ — А напимѣрь? — спросилъ Шубинъ и остановился.

— Да вотъ, напимѣрь, мы съ тобой, какъ ты говоришь, — молоды, мы хорошіе люди, положимъ, каждый изъ насъ желаетъ себѣ счастья. Но такое ли это слово: „счастье“, которое соединило, воспламенило бы насъ обоихъ, заставило бы подать другъ другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

— А ты знаешь такія слова, которыя соединяютъ?

— Да; и ихъ не мало; и ты ихъ знаешь

— Ну-ка, какія это слова?

— Да хоть бы искусство, такъ какъ ты художникъ; родина, наука, свобода, справедливость.

— А любовь?—спросилъ Шубинъ.

— И любовь—соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь, не любовь-наслаждение, любовь-жертва.

Шубинъ нахмурился.

— Это хорошо для нѣмцевъ; я хочу любить для себя; я хочу быть номеръ первымъ.

— Номеромъ первымъ,—повторилъ Берсенева. — А мнѣ кажется, поставить себя номеромъ вторымъ—все назначеніе нашей жизни.

— Если всѣ такъ будутъ поступать, какъ ты советуешь, — промолвилъ съ жалобной гримасой Шубинъ: — никто на землѣ не будетъ ѣсть ананасовъ; всѣ другимъ ихъ предоставлять будутъ.

— Значитъ, ананасы ненужны, а впрочемъ, не бойся: всегда найдутся любители даже хлѣбъ отъ чужого рта отнимать.“

Изъ этого разговора видно, какіе благородные принципы у Берсенева и какъ душа его способна къ тому, что называется самоотверженіемъ. Онъ выражаетъ искреннюю готовность пожертвовать своимъ счастьемъ для одного изъ тѣхъ словъ, которыя онъ называетъ «соединяющими». Этимъ онъ долженъ привлечь сочувствіе такой дѣвушки, какъ Елена. Но тутъ же видно и то, почему онъ не можетъ овладѣть всею ея душою, всей полнотою ея жизни. Это одинъ изъ героевъ пассивныхъ добродѣтелей, человѣкъ, умѣющій многое перенести, многимъ пожертвовать, вообще выказать благородное поведение, когда приведетъ къ тому случай; но онъ не сумѣетъ и не посмѣетъ опредѣлить себя на широкую и смѣлую дѣятельность, на вольную борьбу, на самостоятельную роль въ какомъ-нибудь дѣлѣ. Онъ самъ хочетъ быть номеромъ вторымъ, потому, что въ этомъ видитъ назначеніе всего живущаго, и, дѣйствительно, роль его въ повѣсти напоминаетъ отчасти Бизьменкова въ «Лишнемъ человѣкѣ», и еще болѣе Крупницына въ «Двухъ пріятеляхъ». Онъ, влюбленный въ Елену, становится посредникомъ между нею и Инсаровымъ, котораго она полюбила, великодушно помогаетъ имъ, ухаживаетъ за Инсаровымъ во время его болѣзни, отказывается отъ своего счастья въ пользу друга, хотя и не безъ стѣсненія сердца, и даже не безъ ропота. Сердце у него доброе и любящее, но изъ всего видно, что добро онъ всегда будетъ дѣлать не столько по влеченію сердца, сколько потому, что *надо* дѣлать добро. Онъ находитъ, что надо жертвовать своимъ счастьемъ для родины, науки и пр., и этимъ самымъ онъ осуждаетъ себя быть вѣчнымъ рабомъ и мученикомъ идеи. Онъ отдѣляетъ свое счастье, напр., отъ родины; онъ, бѣдникъ, не умѣетъ возвыситься до того, чтобы понять благо родины нераздѣльно съ своимъ собственнымъ счастьемъ и чтобы не понимать счастья для себя иначе, какъ при благоденствіи родины. Напротивъ, онъ какъ будто боится, что его личное счастье будетъ мѣшать благу родины, торжеству справедливости, успѣхамъ науки, и т. п.

Оттого онъ боится желать себѣ счастья и, по благородству своихъ принциповъ рѣшается жертвовать имъ для означенныхъ имъ идей, считая это, разумѣется, большимъ одолженіемъ съ своей стороны. Ясно, что такого человѣка только и хватитъ на пассивное благородство. Но не ему слиться душою съ какою-нибудь великимъ дѣломъ, не ему позабыть весь міръ для любимой мысли, не ему воспламениться ею и сражаться за нее, какъ за свою радость, свою жизнь, за свое счастье... Онъ дѣлаетъ то, что велитъ ему долгъ, стремится къ тому, что признаетъ справедливымъ по принципу; но дѣйствія его вялы, холодны, неуверенны, потому что онъ постоянно сомнѣвается въ своихъ силахъ. Онъ отлично кончилъ курсъ въ университетѣ, любитъ науку, занимается постоянно и желаетъ быть профессоромъ: кажется, чего проще? Но когда Елена спрашиваетъ его о профессорствѣ, онъ считаетъ нужнымъ съ похвальною скромностью оговориться: «конечно, я очень хорошо знаю все, чего мнѣ недостаетъ для того, чтобы быть достойнымъ такого высокаго... Я хочу сказать, что я слишкомъ мало подготовленъ; но я надѣюсь получить позволеніе съѣздить за-границу»... Точь-въ-точь вступленіе къ академической рѣчи: «надѣюсь, мм. гг., что вы благосклонно извините сухость и блѣдность моего изложенія», и пр...

А между тѣмъ профессорство, о которомъ Берсеньевъ такъ отзывался, составляетъ завѣтную мечту его! На вопросъ Елены, будетъ ли онъ вполне доволенъ своимъ положеніемъ, если получитъ кафедру, онъ отвѣчаетъ: «вполнѣ, Елена Николаевна, вполнѣ. Какое же мнѣ жетъ быть лучшее призваніе? Подумайте, пойти по слѣдамъ Тимофея Николаевича... Одна мысль о подобной дѣятельности наполняетъ меня радостью и смущеніемъ... да, смущеніемъ, котораго... которое происходитъ отъ сознанія моихъ малыхъ силъ». То же сознаніе своихъ малыхъ силъ заставляетъ его упорно не вѣрить тому, что Елена полюбила, а потомъ сокрушаться, что она къ нему стала равнодушна. Это самое сознаніе проглядываетъ и въ томъ, когда онъ рекомендуетъ своего пріятеля Инсарова между прочимъ тѣмъ, что онъ денегъ взаимны не беретъ. Тѣмъ же сознаніемъ отзываются даже его разужденія о природѣ. Онъ говоритъ, что природа возбуждаетъ въ немъ какое-то безпокойство, тревогу, даже грусть, и спрашиваетъ Шубина: «что это значитъ? Сильнѣе ли мы сознаемъ передъ нею, что это лицо, всю нашу неполноту, нашу неясность, или мало того удовлетворенія, какимъ она довольствуется, а другого, есть я хочу сказать—того, чего намъ нужно, у нея нѣтъ»? Въ этъ пустопорожне-романтическомъ родѣ больша часть разсужденій сенева. А между тѣмъ, въ одномъ мѣстѣ повѣсти упоминается, о Фейербахѣ-то говорить!..

Итакъ, Берсеньевъ—весьма хорошій русскій дворянинъ, танный въ началахъ долга и пустившійся потомъ въ ученіе философію. Онъ гораздо дѣльнѣе и надежнѣе Шубина, и е повести по какому-нибудь пути, то онъ пойдетъ охотно и

Но самъ вести онъ не можетъ. не только другихъ, но даже и себя самого: инициативы нѣтъ у него въ натурѣ, и онъ не успѣлъ ее приобрести ни въ воспитаніи, ни въ послѣдующей жизни. Елена сначала почувствовала симпатію къ нему за то, что онъ добрый и все о дѣлѣ говорить. Она даже совѣстится передъ нимъ своего невѣжества, по тому случаю, что онъ все приносить ей книги, которыхъ она читать не можетъ. Но совершенно привязаться къ нему, отдать ему свою душу, свою судьбу она не можетъ: она еще прежде, чѣмъ увидѣла Инсарова, инстинктивно поняла, что Берсенева не то, чего ей нужно. И дѣйствительно, можно съ достовѣрностью утверждать, что Берсенева струсилъ бы, если бы Елена вздумала навязаться ему на шею, и непременно убѣжалъ бы подъ разными, весьма благовидными предлогами.

Впрочемъ, на безлюдьи, въ которомъ жила Елена, она увлеклась было на минуту Берсеновымъ и уже спрашивала себя: не онъ ли тотъ, кого такъ давно и такъ жадно ждала душа ея, кто долженъ былъ вывести ее изъ всѣхъ недоумѣній и указать ей путь дѣятельности? Но самъ же Берсенева привелъ къ ней Инсарова, и очарованіе исчезло...

Въ Инсаровѣ, строго говоря, нѣтъ ничего чрезвычайнаго. Берсенева и Шубинъ, и сама Елена, и, наконецъ, даже авторъ повѣсти характеризуютъ его все болѣе отрицательными качествами. Онъ никогда не лжетъ, не измѣняетъ своему слову, не беретъ займы денегъ, не любитъ разговаривать о своихъ подвигахъ, не откладываетъ исполненія принятаго рѣшенія, его слово не расходится съ дѣломъ, и т. п. Словомъ, въ немъ нѣтъ тѣхъ чертъ, за которыя долженъ горько упрекать себя всякій человѣкъ, имѣющій претензію считать себя порядочнымъ. Но, кромѣ того, онъ — болгаръ, питающій въ душѣ страстное желаніе освободить свою родину, и этой мысли онъ предается весь, открыто и увѣренно, въ ней заключается конечная цѣль его жизни. Онъ не думаетъ ставить свое личное благо въ противоположность съ этой цѣлью; подобная мысль, столь естественная въ русскомъ ученомъ дворянинѣ Берсеновѣ, не можетъ даже въ голову прийти простому болгару. Напротивъ, онъ потому-то и хлопочетъ о свободѣ родины, что въ этомъ видитъ свое личное спокойствіе, счастье всей своей жизни; онъ бы оставилъ въ покоѣ поработленную родину, если бы только могъ найти удовлетвореніе себѣ въ чемъ нибудь другомъ. Но онъ никакъ не можетъ понять себя отдѣльно отъ родины. «Какъ же это можно быть довольнымъ и счастливымъ, когда свои земляки страдаютъ?—думаетъ онъ.—Какъ же можетъ человѣкъ успокоиться, пока его родина поработана и угнетена? И какое занятіе можетъ быть для него пріятно, если оно не ведетъ къ облегченію участи бѣдныхъ земляковъ»? Такимъ образомъ, онъ дѣлаетъ свое задушевное дѣло совершенно спокойно, безъ натяжекъ и фанфаронадъ, такъ же просто, какъ ѣсть и пьеть. Покамѣстъ ему приходится еще мало работать для прямаго выполненія своей идеи; но что же дѣлать? Ему приходится теперь и ѣсть плохо и мало, и даже иной

подать случается; но все-таки пища, хоть и скудная, состав-
 необходимом условіе его существованія. Такъ и освобожденіе
 : онъ учится въ московскомъ университетѣ, чтобы образо-
 вполнѣ и сблизиться съ русскими, и въ теченіе повѣсти до-
 вается покаместъ тѣмъ, что переводить болгарскія пѣсни на
 ій языкъ, составляетъ болгарскую грамматику для русскихъ и
 зую для болгаръ, переписывается съ своими земляками и соби-
 ся ѣхать на родину—подготовлять возстаніе, при первой вспышкѣ
 очной войны (дѣйствіе повѣсти въ 1853 году). Конечно, это
 дная пища для дѣятельнаго патріотизма Инсарова; но онъ свое
 бываніе въ Москвѣ и не считаетъ еще настоящею жизнью, свою
 абую дѣятельность не считаетъ еще настоящимъ счастьемъ, это
 о личнаго чувства. Онъ также живетъ *наканунъ* великаго дня сво-
 оды, въ который существо его озарится сознаніемъ счастья, жизнь
 наполнится и будетъ уже настоящей жизнью. Этого дня ждетъ онъ,
 какъ праздника, и вотъ почему не приходится ему въ голову сомнѣ-
 ваться въ себѣ и холодно рассчитывать и взвѣшивать, сколько имен-
 можетъ онъ сдѣлать и съ какимъ великимъ мужемъ успѣетъ порав-
 няться. Будетъ ли онъ Тимоѣемъ Николаичемъ или Иваномъ Ива-
 нымъ,—до этого ему рѣшительно нѣтъ дѣла; придется ли быть
 номеромъ первымъ или вторымъ,—онъ объ этомъ и не думаетъ. Онъ
 будетъ дѣлать то, къ чему влечетъ его натура; если натура у него
 такая, что лучше не найдется, онъ станетъ первымъ номеромъ, пой-
 деть за ними, и въ обоихъ случаяхъ люди крѣпче и смѣлѣе его, онъ пой-
 нымъ себѣ. Гдѣ стать и до чего дойти,—это опредѣляютъ обстоя-
 тельства; но онъ хочетъ идти, онъ не можетъ нейти, не потому, что—
 бы боялся нарушить какой-нибудь долгъ, а потому, что онъ умеръ
 бы, если бы ему нельзя было двинуться съ мѣста. Въ этомъ огромная
 разница между нимъ и Берсеневымъ. Берсеньвъ тоже способенъ къ
 жертвамъ и подвигамъ; но онъ похожъ при этомъ на ненавистный юноша
 дѣвушку, которая для спасенія отца рѣшается на великодушную
 съ затаенной болью и тяжелой покорностью судьбѣ ждетъ она дня
 свадьбы, и рада была бы, если бѣ что-нибудь ей помѣшало. Инсаровъ,
 напротивъ, дня своихъ подвиговъ, наступленія своей самоотверженной
 дѣятельности ждетъ страстно и нетерпѣливо, какъ влюбленный юноша
 ждетъ дня свадьбы съ любимой дѣвушкой. Одна только боязнь и
 тревожитъ его: какъ бы что-нибудь не разстроило, не отсрочило же-
 ланной минуты. Любовь къ свободѣ родины у Инсарова не въ ра-
 судкѣ, не въ сердцѣ, не въ воображеніи: она у него во всемъ ori-
 низмѣ, и что бы ни вошло въ него, все претворяется силою эт
 чувства, подчиняется ему, сливается съ нимъ. Оттого, при в
 обыкновенности своихъ способностей, при всемъ отсутствіи блеск
 своей натурѣ, онъ стоитъ неизмѣримо выше, дѣйствуетъ на Е
 несравненно сильнѣе и обаятельнѣе, нежели блестящій Шуби
 умный Берсеньвъ, хотя оба они тоже люди благородные и люб
 Елена дѣлаетъ о Берсеньвѣ очень мѣткое замѣчаніе въ своемъ

и нкѣ
 и ост
 рова),
 такой
 Ра
 ихъ? I
 эту ис
 иснут
 еском
 же
 юззіе
 любви
 гую
 реп
 то
 р

никъ (на который вообще авторъ не пожалѣлъ своего глубокомыслія и остроумія): «Андрей Петровичъ, можетъ быть, ученіе его (Инсарова), можетъ быть, даже умнѣе... Но, я не знаю,—онъ *передъ нимъ такой маленький*».

Разсказывать ли исторію сближенія Елены съ Инсаровымъ и любви ихъ? Кажется, ненужно. Вѣроятно, наши читатели хорошо помнятъ эту исторію; да вѣдь этого и не расскажешь. Намъ страшно прикоснуться своей холодной и жесткой рукою къ этому нѣжному поэтическому созданію; сухимъ и безчувственнымъ пересказомъ мы боимся даже профанировать чувство читателя, непременно возбуждаемое поэзіей тургеневскаго разсказа. Пѣвецъ чистой, идеальной женской любви, г. Тургеневъ такъ глубоко заглядываетъ въ юную, дѣвственную душу, такъ полно охватываетъ ее и съ такимъ вдохновеннымъ трепетомъ, съ такимъ жаромъ любви рисуетъ ея лучшія мгновенія, что намъ въ его разсказѣ такъ и чуеться—и колебаніе дѣвственной груди, и тихій вздохъ, и увлажненный взглядъ, слышится каждое біеніе взволнованнаго сердца, и наше собственное сердце мѣтеть и замираетъ отъ томнаго чувства, и благодатныя слезы не разъ подступаютъ къ глазамъ, и изъ груди рвется что-то такое,—какъ будто мы свидѣлись съ старымъ другомъ послѣ долгой разлуки или возвращаемся съ чужбины къ родимымъ мѣстамъ. И грустно, и весело это ощущеніе: тамъ свѣтлыя воспоминанія дѣтства, невозвратно мелькнувшаго, тамъ гордыя и радостныя надежды юности, тамъ идеальныя, дружныя мечты чистаго и могучаго воображенія, еще не смиреннаго, не униженнаго испытаніями житейскаго опыта. Все это прошло и не будетъ больше; но еще не пропасть человѣкъ, который хоть въ воспоминаніи можетъ вернуться къ этимъ свѣтлымъ грезамъ, къ этому чистому, младенческому упоенію жизнью, къ этимъ идеальнымъ, величавымъ замысламъ и—содрогнуться потомъ, при взглядѣ на ту грязь, пошлость и мелочность, въ которой проходитъ его теперешняя жизнь. И благо тому, кто умѣетъ пробуждать въ другихъ такія воспоминанія, вызвать такое настроеніе души.... Талантъ г. Тургенева всегда былъ силенъ этою стороною, его повѣсти постоянно производили своимъ общимъ строемъ такое чистое впечатлѣніе, и въ этомъ, конечно, заключается ихъ существенное значеніе для общества. Не чуждо этого значенія и «Наканунъ» въ изображеніи любви Елены. Мы увѣрены, что читатели и безъ насъ сумѣютъ оцѣнить всю прелесть тѣхъ страстныхъ, нѣжныхъ и томительныхъ сценъ, тѣхъ тонкихъ и глубокихъ психологическихъ подробностей, которыми рисуется любовь Елены и Инсарова съ начала до конца. Въмѣсто всякаго разсказа мы напомнимъ только дневникъ Елены, ея ожиданіе, когда Инсаровъ долженъ былъ прійти проститься, сцену въ часовенкѣ, возвращеніе Елены домой послѣ этой сцены, ея три посѣщенія къ Инсарову, особенно послѣднее ¹⁾, потомъ прощанье съ

¹⁾ Есть люди, которыхъ воображеніе до того засалено и развращено, что въ этой прелестной, чистой и глубоко-нравственной сценѣ полнаго, страстнаго

подадимъ милостыню, сдѣлаемъ благотворительный спектакль, пожертвуемъ даже частью своего достоянія въ случаѣ нужды; но только чтобы этимъ дѣло и ограничилось, чтобы намъ не пришлось хлопотать и бороться съ разными непріятностями изъ-за какого-нибудь бѣднаго или обиженнаго. «Желаніе дѣятельнаго добра» есть въ насъ, и силы есть, но боязнь, неувѣренность въ своихъ силахъ и, наконецъ, незнаніе:—что дѣлать?—постоянно насъ останавливаютъ, и мы, сами не зная какъ,—вдругъ оказываемся въ сторонѣ отъ общественной жизни, холодными и чуждыми ея интересамъ, точь-въ-точь какъ Елена въ окружающей ее средѣ. Между тѣмъ *желаніе* попрежнему кипитъ въ груди (говоримъ о тѣхъ, кто не старается искусственно заглушить это желаніе), и мы все ищемъ, жаждемъ, ждемъ... ждемъ, чтобы намъ хоть кто-нибудь объяснилъ, что дѣлать. Съ болью недоумѣнія, почти съ отчаяніемъ пишетъ Елена въ своемъ дневникѣ: «О, если бы мнѣ кто-нибудь сказалъ, вотъ что ты должна дѣлать! Быть доброю—этого мало: дѣлать добро... да, это главное въ жизни. Но какъ *дѣлать добро*? Кто изъ людей нашего общества, сознающихъ въ себѣ живое сердце, мучительно не задавалъ себѣ этого вопроса? Кто не признавалъ жалкими и ничтожными всѣ тѣ формы дѣятельности, въ которыхъ проявлялось, по мѣрѣ силъ, его желаніе добра? Кто не чувствовалъ, что есть что-то другое, высшее, что мы даже и могли бы сдѣлать, да не знаемъ какъ приняться надобно.. И гдѣ же разрѣшеніе сомнѣній? Мы томительно, жадно ищемъ его въ свѣтлыя минуты своего существованія, и нигдѣ не находимъ. Все окружающее, кажется намъ, или томится тѣмъ же недоумѣніемъ, какъ и мы, или загубило въ себѣ человѣческій образъ и сузило себя до преслѣдованія только своихъ мелкихъ, эгоистическихъ, животныхъ интересовъ. Итакъ, день изо дня проходитъ жизнь, пока она не умерла въ сердцѣ человѣка, и день изо дня ждетъ живою и человѣкъ: не будетъ ли завтра лучше, не разрѣшится ли завтра сомнѣніе, не явится ли завтра тотъ, кто скажетъ намъ, какъ дѣлать добро...

Эта тоска ожиданія давно уже томить русское общество, и сколько разъ уже ошибались мы, подобно Еленѣ, думая, что жданный явился, и потомъ охладѣвали. Она страстно привязалась-было къ Аннѣ Васильевнѣ; но Анна Васильевна оказалась ничтожною, безхарактерною... Почувствовала-было расположеніе къ Шубину, какъ наше общество одно время увлекалось художественностью; но въ Шубинѣ не оказалось дѣльнаго содержанія, одни блѣстки и капризы; а Еленѣ не до того было, чтобы, посреди ея исканій, любоваться игрушками. Увлеклась на минуту серьезною наукою въ лицѣ Берсенева; но серьезная наука оказалась скромною, сомнѣвающейся, выжидающею перваго нумера, чтобы пойти за нимъ. А Еленѣ именно нужно было, чтобы явился человѣкъ, не нумерованный и не выжидающій себѣ назначенія, а самостоятельно и неодолимо стремящійся къ своей цѣли и увлекающій къ ней другихъ. Такимъ-то, наконецъ явился предъ нею Инсаровъ, и въ немъ-то нашла она осуществ

ніе своего идеала, въ немъ-то увидѣла возможность отвѣта на вопросъ: какъ ей дѣлать добро.

Но почему же Инсаровъ не могъ быть русскимъ? Вѣдь онъ въ повѣсти не дѣйствуетъ, а только собирается на дѣло, это и русскій можетъ. Характеръ его тоже возможенъ и въ русской кожѣ; особенно въ такихъ проявленіяхъ. Онъ любитъ сильно и рѣшительно; но неужели невозможно и это для русскаго человѣка?

Все это такъ, и все-таки сочувствіе Елены, такой дѣвушки, какъ мы ее понимаемъ, не могло обратиться на русскаго человѣка съ тѣмъ правомъ, съ тою естественностью, какъ обратилось оно на этого болгара. Все обаяніе Инсарова заключается въ величіи и святости той идеи, которой проникнуто все его существо. Елена, жаждущая дѣятельнаго добра, но незнающая, какъ его дѣлать, мгновенно и глубоко поражается, еще не видавши Инсарова, рассказомъ о его замыслахъ. «Освободить свою родину,—говоритъ она: — эти слова и выговорить страшно—такъ они велики!» И она чувствуетъ, что слово ея сердца найдено, что она удовлетворена, что выше этой цѣли нельзя поставить себѣ и что на всю ея жизнь, на всю ея будущность достанетъ дѣятельнаго содержанія, если только она пойдетъ за этимъ человѣкомъ. И она старается всмотрѣться въ него, ей хочется проникнуть въ его душу, раздѣлить его мечты, войти въ подробности его плановъ. А въ немъ только и есть постоянная, слитая съ нимъ, идея родины и ея свободы; и Елена довольна, ей нравится въ немъ эта ясность и опредѣленность стремленій, спокойствіе и твердость души, могучесть самаго замысла, и она скоро сама дѣлается эхомъ той идеи, которая его одушевляетъ. «Когда онъ говоритъ о своей родинѣ,—пишетъ она въ своемъ дневникѣ,—онъ растетъ, растетъ, и лицо его хорошѣетъ, и голосъ, какъ сталь, и нѣтъ, кажется, тогда на свѣтѣ такого человѣка, предъ кѣмъ бы онъ глаза опустилъ. И онъ не только говоритъ, онъ дѣлалъ и будетъ дѣлать. Я его спрошу»... Черезъ нѣсколько дней она опять пишетъ: «а вѣдь странно, однако, что я до сихъ поръ, до двадцати лѣтъ, никого не любила! Мнѣ кажется, что у Д. (буду называть его Д., мнѣ нравится это имя: Дмитрій) оттого такъ ясно на душѣ, что онъ весь отдался своему дѣлу, своей мечтѣ. Изъ чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тотъ ужъ ни за что не отвѣчаетъ. Не я хочу; *то* хочетъ». И понявши это, она сама хочетъ слиться съ нимъ такъ, чтобы уже не *она* хотѣла, а *онъ*, и *то*, что его одушевляетъ. И мы очень хорошо понимаемъ ея положеніе; увѣрены, что и все русское общество, хотя еще и не увлечется, подобно ей, личностью Инсарова, но пойметъ возможность и естественность чувства Елены.

Мы говоримъ: общество не увлечется само, и основываемъ это предположеніе на томъ, что *этотъ* Инсаровъ все еще намъ чужой человѣкъ. Самъ г. Тургеневъ, столь хорошо изучившій лучшую часть нашего общества, не нашелъ возможности сдѣлать его *нашимъ*. Мало того, что онъ вывезъ его изъ Болгаріи, онъ недоста-

точно приблизилъ къ намъ этого героя даже просто какъ человѣка. Въ этомъ, если хотите смотрѣть даже на литературную сторону, главный художественный недостатокъ повѣсти. Мы понимаемъ одну изъ важныхъ причинъ его, независящихъ отъ автора, и потому не дѣлаемъ упрека г. Тургеневу. Но тѣмъ не менѣе блѣдность очертаній Инсарова отражается на самомъ впечатлѣніи, производимомъ повѣстью. Величіе и красота идей Инсарова не выставляются предъ нами съ такою силою, чтобы мы сами прониклись ими и въ гордомъ одушевленіи воскликнули: идемъ за тобою! А между тѣмъ идея эта такъ свята, такъ возвышенна... Гораздо менѣе человѣчныя, даже просто фальшивыя идеи, горячо проведенныя въ художественныхъ образахъ, производили лихорадочное дѣйствіе на общество; Карлы Мооры, Вертеры, Печорины вызывали толпу подражателей. Инсаровъ ихъ не вызоветъ. Правда, что и мудро было ему выказаться вполне съ своей идеей, живя въ Москвѣ и ничего не дѣлая; вѣдь не въ риторическихъ же разглагольствіяхъ упражняться. Но мы изъ повѣсти мало узнаемъ его и какъ человѣка; его внутренній міръ недоступенъ намъ; для насъ закрыто, что онъ дѣлаетъ, что думаетъ, чего надѣется, какія испытываетъ перемѣны въ своихъ отношеніяхъ, какъ смотритъ на ходъ событій, на жизнь, несущуюся передъ его глазами. Даже любовь его къ Еленѣ остается для насъ не вполне раскрытою. Мы знаемъ, что онъ полюбилъ ее страстно; но какъ это чувство вошло въ него, что въ ней привлекло его, на какой степени было это чувство, когда онъ его замѣтилъ и рѣшился-было удалиться,—всѣ эти внутреннія подробности и многія другія, которыя такъ тонко, такъ поэтически умѣетъ рисовать г. Тургеневъ, остаются темными въ личности Инсарова. Какъ живой образъ, какъ лицо дѣйствительное, Инсаровъ отъ насъ еще далекъ. Елена могла полюбить его со всей силой души своей, потому что она видѣла его въ жизни, а не въ повѣсти: для насъ же онъ близокъ и дорогъ только какъ представитель идеи, которая поражаетъ и насъ, какъ Елену, мгновеннымъ свѣтомъ и озаряетъ мракъ нашего существованія. Поэтому-то мы и понимаемъ всю естественность чувства Елены къ Инсарову, поэтому-то и сами, довольные его непреклонною вѣрностью идеѣ, не замѣчаемъ, на первый разъ, что онъ обозначается передъ нами лишь въ блѣдныхъ и общихъ очертаніяхъ.

И еще хотятъ, чтобъ онъ былъ русскимъ! «Нѣтъ, онъ не могъ бы быть русскимъ»—воскликаетъ сама Елена, въ отвѣтъ на явившееся-было сожалѣніе, что онъ не русскій. И дѣйствительно, такихъ русскихъ не бываетъ, не должно и не можетъ быть, въ настоящее время, по крайней мѣрѣ. Не знаемъ, какъ развиваются и разовьются новыя поколѣнія, но тѣ, которыя мы видимъ теперь дѣйствующими, развивались вовсе не такъ, чтобы могли уподобиться Инсарову. На развитіе каждаго отдѣльнаго человѣка имѣютъ вліяніе не только его частныя отношенія, но и вся общественная атмосфера, въ которой суждено ему жить. Иная развиваетъ героическія

тенденціи, другая—мирныя наклонности; иная раздражаетъ, другая убаюкиваетъ. Русская жизнь сложилась такъ хорошо, что въ ней все вызываетъ на спокойный и мирный сонъ, и всякій безсонный человѣкъ кажется, не безъ основанія, безпокойнымъ и совершенно лишнимъ для общества. Сравните, въ самомъ дѣлѣ, обстоятельства, при которыхъ начинается и проходитъ жизнь Инсарова, съ обстоятельствами, встрѣчающими жизнь каждаго русскаго человѣка..

Болгарія порабощена, она страдаетъ подъ турецкимъ игомъ. Мы слава Богу, никѣмъ не порабощены, мы свободны, мы—великій народъ, не разъ рѣшавшій своимъ оружіемъ судьбы царствъ и народовъ; мы владѣемъ другими, а нами никто не владѣетъ...

Въ Болгаріи нѣтъ общественныхъ правъ и гарантій. Инсаровъ говоритъ Еленѣ: «если бъ вы знали, какой нашъ край благодатный. А между тѣмъ его топчутъ, его терзаютъ; у насъ все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; какъ стадо гоняютъ насъ поганые турки, насъ рѣжутъ...» Россія, напротивъ того, государство благоустроенное; въ ней существуютъ мудрые законы, охраняющіе права гражданъ и опредѣляющіе ихъ обязанности, въ ней царствуетъ правосудіе, процвѣтаетъ благодѣтельная гласность. Церквей ни у кого не отнимаютъ и вѣры не стѣсняютъ рѣшительно ничѣмъ, а напротивъ, поощряютъ ревность проповѣдниковъ въ обличеніи заблудшихъ; правъ и земель не только не отнимаютъ, но еще даруютъ ихъ тѣмъ, кто не имѣлъ доселѣ; въ видѣ стада никого не гоняютъ.

«Въ Болгаріи, говоритъ Инсаровъ,—послѣдній мужикъ, послѣдній нищій и я—мы желаемъ одного и того же, у всѣхъ одна цѣль». Такой монотонности вовсе нѣтъ въ русской жизни, въ которой каждое сословіе, даже каждый кружокъ живутъ своею отдѣльною жинью, имѣютъ свои особыя цѣли и стремленія, свое установленное назначеніе. При существующемъ у насъ благоустройствѣ общественномъ, каждому остается только упрочивать собственное благосостояніе, для чего вовсе не нужно соединяться съ цѣлою націей въ одной общей идеѣ, какъ это происходитъ въ Болгаріи.

Инсаровъ былъ еще младенцемъ, когда турецкій ага похитилъ его мать и потомъ зарѣзалъ, а отецъ его былъ разстрѣлянъ за то, что, желая отмстить агѣ, поразилъ его кинжаломъ. Когда и кого изъ русскихъ людей могли встрѣтить въ жизни подобныя впечатлѣнія? Слыхано ли что-нибудь подобное въ русской землѣ? Конечно, уголовныя преступленія вездѣ возможны; но у насъ, если бы какой-нибудь ага и похитилъ и убилъ или уморилъ потомъ чужую жену, такъ мужа и до отмщенія бы не допустили, ибо у насъ есть законы, для всѣхъ равные и нелицепріятно наказывающіе преступленіе.

Словомъ, Инсаровъ съ молокомъ матери всасываетъ ненависть къ поработителямъ, недовольство настоящимъ порядкомъ вещей. Ему ненужно напрягать себя, ненужно доходить долгимъ рядомъ силлогизмовъ до того, чтобы опредѣлить направленіе своей дѣятельности. Какъ скоро онъ не лѣнивъ и не трусъ, онъ уже знаетъ, что ему дѣлать и какъ вести себя: разбрасываться ему некуда. Да и

задача-то у него *удобопонятная*, какъ говорить Шубинъ: «стоитъ только турокъ вытурить—велика штука!» И Инсаровъ знаетъ, при томъ, что онъ правъ въ своей дѣятельности, не только передъ собственною совѣстью, но и передъ людскимъ судомъ: его замыслы найдутъ сочувствіе во всякомъ порядочномъ человѣкѣ. Представьте же теперь что-нибудь подобное въ русскомъ обществѣ: неудобопредставимо!.. Въ русскомъ переводѣ Инсаровъ выйдетъ не что иное, какъ разбойникъ, представитель «противообщественнаго элемента», о которомъ русская публика знаетъ очень хорошо изъ краснорѣчивыхъ изслѣдованій г. Соловьева, сообщенныхъ «Русскимъ Вѣстникомъ». Кто же, спрашивается, можетъ полюбить такого? Какая благовоспитанная и умная дѣвушка не побѣжитъ отъ него, что есть мочи, съ крикомъ: *quelle horreur!!*

Понятно ли теперь, почему не можетъ быть русскій на мѣстѣ Инсарова? Натуры, подобныя ему, рождаются, конечно, и въ Россіи въ немаломъ количествѣ, но онѣ не могутъ такъ безпрепятственно развиваться и такъ беззастѣнчиво проявлять себя, какъ Инсаровъ. Русскій современный Инсаровъ всегда останется робкимъ, двойственнымъ, будетъ таиться, выражаться съ разными прикрытіями и экивоками... а это-то и уменьшаетъ довѣріе къ нему. Выйдетъ, пожалуй, даже иной разъ, что онъ лжетъ и противорѣчитъ себѣ; а извѣстно, что люди лгутъ обыкновенно либо изъ выгодъ, либо изъ трусости. Какое же сочувствіе можно питать къ корыстолюбцу и трусу, особенно когда душа томится жаждою дѣла и ищетъ мощной головы и руки, которая бы повела ее?

Бываютъ, правда, и у насъ небольшіе герои, нѣсколько похожіе на Инсарова отвагою и сочувствіемъ къ угнетеннымъ. Но они въ нашей средѣ являются смѣшными Донъ-Кихотами. Отличительная черта Донъ-Кихота — непониманіе ни того, за что онъ берется, ни того, что выйдетъ изъ его усилій,—удивительно ярко выступаетъ въ нихъ. Они, напримѣръ, вдругъ вообразятъ, что надо спасти крестьянъ отъ произвола помѣщиковъ; и знать того не хотятъ, что никакого произвола тутъ нѣтъ, что права помѣщиковъ строго опредѣлены закономъ и должны быть неприкосновенны, пока законы эти существуютъ, и что возстановить крестьянъ собственно противъ этого произвола значитъ, не избавивши ихъ отъ помѣщика, подвергнуть еще наказанію по закону. Или, напр., зададутъ себѣ работу: спасти невинныхъ отъ судебной неправды,—какъ будто-бы у насъ судьи по своему произволу такъ и дѣлаютъ, что хотятъ. Дѣла у насъ всѣ, какъ извѣстно, вершатся по закону, а чтобы растолковать законъ такъ или иначе,—на это не геройство нужно, а привычка къ судейскимъ изворотамъ. Вотъ Донъ-Кихоты наши и возятся попусту... А то выдумаютъ вдругъ взятки искоренять, — и ужъ какая тутъ мука пойдетъ бѣднымъ чиновникамъ, берущимъ гривенникъ за какую-нибудь справку! Со свѣту сгонять ихъ наши герои, принимающіе на себя защиту страждущихъ. Оно, конечно, благородно и высоко; да можно ли сочувствовать этимъ неразумнымъ

людямъ? И вѣдь мы еще говоримъ не о тѣхъ холодныхъ служителяхъ долга, которые поступаютъ такимъ образомъ просто по обязанности службы: мы имѣемъ въ виду русскихъ людей, дѣйствительно, искренно сочувствующихъ угнетеннымъ и готовыхъ даже на борьбу для ихъ защиты. И эти-то выходятъ бесполезны и смѣшны, потому что не понимаютъ общаго значенія той среды, въ которой дѣйствуютъ. Да и какъ имъ понять, когда они сами-то въ ней находятся, когда верхушки ихъ тянутся вверхъ, а корень все-таки прикрѣпленъ къ той же почвѣ? Они хотятъ прогнать горе ближнихъ, а оно зависитъ отъ устройства той среды, въ которой живутъ и горюющіе, и предполагаемые утѣшители. Какъ же тутъ быть? Всю эту среду перевернуть,—такъ надо будетъ повернуть и себя; а подите-ка, сядьте въ пустой ящикъ да и попробуйте его перевернуть вмѣстѣ съ собою. Какихъ усилій это потребуетъ отъ васъ! — между тѣмъ какъ подойдя со стороны, вы однимъ толчкомъ могли бы справиться съ этимъ ящикомъ. Инсаровъ именно тѣмъ и беретъ, что не сидитъ въ ящикѣ: притѣснители его отечества — турки, съ которыми онъ не имѣетъ ничего общаго; ему стоитъ только подойти да и толкнуть ихъ, насколько силы хватитъ. Русскій же герой, являющійся обыкновенно изъ образованнаго общества, самъ кровно связанъ съ тѣмъ, на что долженъ возставать. Онъ находится въ такомъ положеніи, въ какомъ былъ бы, напр., одинъ изъ сыновей турецкаго аги, вздумавшій освободить Болгарію отъ турокъ. Трудно даже предположить такое явленіе; но если бы оно случилось, то, чтобы сынъ этотъ не представлялся намъ глупымъ и забавнымъ малымъ, нужно, чтобы онъ отрекся ужъ отъ всего, что его связывало съ турками:—и отъ вѣры, и отъ національности, и отъ круга родныхъ и друзей, и отъ житейскихъ выгодъ своего положенія. Нельзя не согласиться, что это ужасно трудно и что подобная рѣшительность требуетъ нѣсколько другого развитія, нежели какое обыкновенно получаетъ сынъ турецкаго аги. Немного легче дается геройство и русскому человѣку. Вотъ отчего у насъ симпатичныя, энергическія натуры и удовлетворяютъ себя мелкими и ненужными бравадами, не достигая до настоящаго, серьезнаго героизма, т. е. до отреченія отъ цѣлой массы понятій и практическихъ отношеній, которыми они связаны съ общественной средою. Робость ихъ предъ громадою противныхъ силъ отражается даже на теоретическомъ ихъ развитіи: они боятся или не умѣютъ доходить до корня и, задумывая, напр., карать зло, только и бросаются на какое-нибудь мелкое проявленіе его и утомляются страшно, прежде чѣмъ успѣютъ даже подумать объ его источникѣ. Не хочется имъ поднять руки на то дерево, на которомъ и они сами выросли; вотъ они и стараются увѣрить себя и другихъ, что вся гниль его только снаружи, что только счистить ее стоитъ, и все будетъ благополучно. Выгнать изъ службы нѣсколько взяточниковъ, наложить опеку на нѣсколько помѣщичьихъ имѣній, обличить цаловальника, въ одномъ кабакѣ продавашаго дурнаго качества водку,—вотъ и воцарится правосудіе, крестьяне во всей Россіи

будутъ благоденствовать и откупа сдѣлаются превосходною вещью для народа. Такъ искренно думаютъ многіе, и дѣйствительно тратятъ всѣ свои силы на подобные подвиги, и за то не шутя считаютъ себя героями.

Намъ рассказывали объ одномъ подобномъ героѣ, человѣкѣ, какъ говорили, чрезвычайно энергическомъ и талантливомъ. Еще будучи въ гимназіи, онъ затѣялъ дѣло съ однимъ гувернеромъ, по тому поводу, что онъ утаиваетъ бумагу, назначаемую для выдачи воспитанникамъ. Дѣло пошло какъ то неловко; герой нашъ умѣлъ задѣть и инспектора, и директора, и былъ исключенъ изъ гимназіи. Сталъ онъ готовиться въ университетъ, а между тѣмъ принялся давать уроки. При одномъ изъ первыхъ же уроковъ онъ замѣтилъ, что мать дѣтей, которыхъ онъ училъ, ударила по щекѣ свою горничную. Онъ вспыхнулъ, поднялъ въ домѣ гвалтъ, привелъ полицію и формально обвинилъ хозяйку дома въ жестокомъ обращеніи съ прислугой. Потянулось слѣдствіе, въ которомъ онъ ничего, разумѣется, не могъ доказать, и его чуть не присудили къ строгому наказанію за ложное показаніе и клевету. Уроковъ послѣ этого онъ ужъ не могъ достать. Опредѣлился, съ большимъ трудомъ, по чьей-то особенной милости на службу: дали ему переписать какое-то рѣшеніе очень нелѣпаго свойства; онъ не вытерпѣлъ и заспорилъ; ему сказали, чтобъ молчалъ,—онъ не послушался; ему велѣли убираться вонъ. Отъ нечего дѣлать, принялъ онъ приглашеніе одного изъ своихъ бывшихъ товарищей—ѣхать съ нимъ на лѣто въ деревню; пріѣхавъ, увидалъ, что тамъ дѣлается, да и принялся толковать—и своему товарищу, и отцу его, и даже бурмистру и мужикамъ — о томъ, какъ незаконно больше трехъ дней на барщину крестьянъ гонять, какъ непозволительно сѣчь ихъ безъ всякаго суда и расправы, какъ безчестно таскать по ночамъ крестьянскихъ женщинъ въ барскій домъ, и т. п. Кончилось тѣмъ, что мужиковъ, которые его съ участіемъ послушали, перепороли, а ему старый баринъ велѣлъ запречь лошадей и попросилъ его не являться больше въ ихъ краяхъ, если хочетъ цѣлъ остаться. Кое-какъ переколотившись лѣто, герой нашъ къ осени поступилъ въ университетъ, благодаря тому, что на экзаменѣ попадались ему все вопросы незадорные, на которыхъ нельзя было разгуляться и заспорить. Поступилъ онъ на медицинскій факультетъ и занимался дѣйствительно хорошо; но въ практическомъ курсѣ, когда профессоръ у кровати больного объяснялъ свою премудрость, онъ никогда не могъ удержаться, чтобъ не *оборвать* отсталаго или шарлатанящаго профессора: какъ только тотъ совреть что-нибудь, такъ онъ и пойдетъ ему доказывать, что это чепуха. Вслѣдствіе такихъ выходокъ, герой нашъ не оставленъ при университетѣ, не посланъ за-границу, а назначенъ въ какой-то отдаленный госпиталь. Здѣсь онъ на первыхъ же порахъ уличилъ смотрителя и грозилъ на него жаловаться; потомъ въ другой разъ поймалъ и пожаловался, за что получилъ выговоръ отъ главнаго доктора; получая выговоръ, онъ, конечно, очень крупно поговорилъ

и вскорѣ былъ переведенъ изъ госпиталя... Досталось ему вслѣдъ затѣмъ провожать какую-то партію: онъ принялся шумѣть за солдатъ съ начальникомъ партіи и съ чиновникомъ, завѣдывавшимъ продовольствіемъ. Видя, что слова не помогаютъ, написалъ рапортъ, что солдаты не доѣдаютъ и не допиваютъ по милости чиновника и что начальникъ партіи этому потакаетъ. По прибытіи на мѣсто—слѣдствіе; допрашиваютъ солдатъ, тѣ говорятъ: довольны; герой нашъ приходитъ въ негодованіе, говоритъ дерзости генералъ-штабъ-доктору и, мѣсяцъ спустя, разжальвается въ фельдшерскіе помощники. Пробывши двѣ недѣли въ этой должности и не выдержавъ нарочито-звѣрскаго обращенія съ нимъ, онъ застрѣливается.

Не правда ли,—явленіе необыкновенное, сильная, порывистая натура? А между тѣмъ посмотрите, на чемъ гибнетъ онъ. Во всѣхъ его поступкахъ нѣтъ ничего такого, что бы не составляло прямой обязанности всякаго честнаго человѣка на его мѣстѣ; а ему нужно, однако, много героизма, чтобъ поступать такимъ образомъ, нужна самоотверженная рѣшимость погибнуть за добро. Спрашивается теперь: если ужъ въ немъ есть эта рѣшимость, то не лучше ли воспользоваться ею для дѣла большого, которымъ бы дѣйствительно достигалось что-нибудь существенно-полезное? Но въ томъ-то и бѣда, что онъ не сознаетъ надобности и возможности такого дѣла и не понимаетъ того, что его окружаетъ. Онъ не хочетъ видѣть круговой поруки во всемъ, что дѣлается передъ его глазами, и воображаетъ, что всякое, замѣченное имъ зло есть не болѣе какъ злоупотребленіе прекраснаго установленія, возможное лишь какъ рѣдкое исключеніе. При такихъ понятіяхъ, русскіе герои только и могутъ, разумѣется, ограничиваться мизерными частностями, не думая объ общемъ, тогда какъ Инсаровъ, напротивъ, частное всегда подчиняетъ общему, въ увѣренности, что «и то не уйдетъ». Такъ, въ отвѣтъ на вопросъ Елены, отомстилъ ли онъ убійцѣ своего отца, Инсаровъ говоритъ: «я не искалъ его. Я не искалъ его не потому, чтобы я не могъ убить его,—я бы очень спокойно убилъ его,—но потому, что тутъ не до частной мести, когда дѣло идетъ объ освобожденіи народа. Одно помѣшало бы другому. Въ свое время и то не уйдетъ». Вотъ въ этой любви къ общему дѣлу, въ этомъ предчувствіи его, которое даетъ силу спокойно выдерживать отдѣльныя обиды, и заключается великое превосходство болгара Инсарова предъ всѣми русскими героями, у которыхъ общаго дѣла-то и въ поминѣ нѣтъ.

Впрочемъ, и подобныхъ-то героевъ у насъ очень немного, да и изъ нихъ большая часть не выдерживаетъ себя до конца. Гораздо многочисленнѣе въ нашемъ образованномъ обществѣ другой разрядъ людей—занимающихся размышленіями. Изъ этихъ тоже есть много такихъ, которые хоть и размышляютъ, но ничего не умѣютъ понять; но объ этихъ мы не говоримъ. Мы хотимъ указать только на тѣхъ, дѣйствительно съ свѣтлою головою людей, которые путемъ долгихъ сомнѣній и исканій дошли до того же единства и ясности

идей, съ какимъ является передъ нами, безъ всякихъ особенныхъ усилій, Инсаровъ. Эти люди понимаютъ, гдѣ корень зла, и знаютъ, что надо дѣлать, чтобы зло прекратить; они глубоко и искренно проникнуты мыслью, до которой добились наконецъ. Но—въ нихъ нѣтъ уже силы для практической дѣятельности; они столько ломали себя, что натура ихъ какъ-то надсѣлась и обезсилѣла. Они съ сочувствіемъ смотрятъ на приближеніе новой жизни, но сами итти ей навстрѣчу не могутъ и ими не можетъ удовлетвориться свѣжее чувство человѣка, жаждущаго дѣятельнаго добра и ищущаго себѣ руководителя.

Никто изъ насъ не беретъ готовыми человѣчными понятіямъ, во имя которыхъ нужно потомъ вести жизненную борьбу. Оттого ни въ комъ и нѣтъ той ясности, той цѣльности возрѣній и дѣйствій, которая такъ естественна, хоть бы, напр., въ Инсаровѣ. У него впечатлѣнія жизни, дѣйствующія на сердце и пробуждающія его энергію, постоянно подкрѣпляются требованіями разсудка, всѣмъ теоретическимъ образованіемъ, которое онъ получаетъ. У насъ совершенно наоборотъ. Одинъ изъ нашихъ знакомыхъ, держащійся передовыхъ мнѣній и сгорающій тоже жаждою дѣятельнаго добра, но человѣкъ кротчайшій и безвреднѣйшій въ мірѣ, вотъ что рассказывалъ намъ о своемъ развитіи, въ объясненіе своей теперешней бездѣятельности.

«По натурѣ своей — говорилъ онъ — я былъ мальчикъ очень добрый и впечатлительный. Я, бывало, плакалъ и метался, слушая рассказъ о какомъ-нибудь несчастіи, я страдалъ при видѣ чужого страданія. Помню, что я не спалъ ночи, терялъ аппетитъ и не могъ ничего дѣлать, когда кто-нибудь въ домѣ былъ боленъ; помню, что не разъ приходилъ я въ нѣкотораго рода бѣшенство, при видѣ истязаній, какія чинилъ одинъ мой родственникъ надъ своимъ сыномъ, моимъ пріятелемъ. Все, что я видѣлъ, все, что слышалъ, развивало во мнѣ тяжелое чувство недовольства; въ душѣ моей рано началъ шевелиться вопросъ: да отчего же все такъ страдаетъ и неужели нѣтъ средства помочь этому горю, которое, кажется, всѣхъ одолѣло? Я жадно искалъ отвѣта на эти вопросы, и скоро мнѣ дали отвѣтъ, разумный и систематическій. Я началъ учиться. Первая пропись, которую я написалъ, была такова: «истинное счастье заключается въ спокойствіи совѣсти». На разспросы мои о совѣсти, мнѣ объяснили, что она караетъ насъ за дурные поступки и награждаетъ за хорошіе. Все мое вниманіе устремилось теперь на то, чтобы узнать, какіе поступки хороши, какіе дурны. Это было не трудно: кодексъ нравственности былъ готовъ — и въ прописяхъ, и въ домашнихъ наставленіяхъ, и въ особомъ курсѣ. «Почитай старшихъ», «Не надѣйся на свои силы, ибо ты—ничто», «Будь доволенъ тѣмъ, что имѣешь, и не желай большаго», «Терпѣніемъ и покорностью приобрѣтается любовь общая» и пр. въ такомъ родѣ писалъ я въ прописяхъ. Дома и отъ всѣхъ окружающихъ слышалъ я то же самое; а въ разныхъ курсахъ узналъ я, что совершеннаго

счастья на землѣ не можетъ быть, но что насколько оно возможно, настолько достигнуто въ благоустроенныхъ государствахъ, изъ которыхъ наилучшее есть мое отечество. Я узналъ, что Россія теперь не только велика и обильна, но что и порядокъ въ ней господствуетъ самый совершенный; что стоитъ только исполнять законы и приказанія старшихъ да быть умѣреннымъ, и тогда полнѣйшее благополучіе ожидаетъ человѣка, какого бы онъ ни былъ званія и состоянія. Отрадны мнѣ были всѣ эти открытія, и я жадно ухватился за нихъ, какъ за лучшее рѣшеніе всѣхъ моихъ сомнѣній. Вздумалъ было я повѣрять ихъ моимъ неопытнымъ умомъ, но многое пришлось мнѣ не подъ силу, а что оказывалось доступнымъ, то выходило такъ. вѣрно. И вотъ, я довѣрчиво и восторженно предался новооткрытой системѣ, въ ней заключилъ всѣ свои стремленія и лѣтъ двѣнадцати былъ уже маленькимъ философомъ и страшнымъ партизаномъ законности. Я дошелъ до того убѣжденія, что во всякомъ несчастіи виноваты самъ человѣкъ, или тѣмъ, что не поберегся, не остерегся, или тѣмъ, что не хотѣлъ довольствоваться малымъ. или тѣмъ, что не проникнуть достаточнымъ уваженіемъ къ закону и къ волѣ старшихъ. Собственно законъ я еще не совсѣмъ хорошо представлялъ себѣ, но онъ олицетворялся для меня во всякомъ начальствѣ и старшинствѣ. Оттого въ этотъ періодъ моей жизни я постоянно стоялъ за учителей, начальниковъ и т. д., и былъ очень любимъ начальствомъ и старшими классами. Разъ меня чуть не выкинули въ окно товарищи: одинъ учитель сказалъ цѣлому классу: «свиньи вы!»; всѣ пришли въ азартъ по окончаніи класса, а я принялся защищать учителя и доказывать, что онъ имѣлъ полное право сказать это. Въ другой разъ исключенъ былъ одинъ изъ нашихъ товарищей за грубость начальству; всѣ жалѣли о немъ, потому что онъ былъ лучшій между нами, но я утверждалъ, что онъ наказаніе вполне заслужилъ, и очень удивлялся, какъ онъ, будучи такимъ умнымъ мальчикомъ, не могъ понять, что покорность старшимъ есть первый долгъ нашъ и первое условіе счастья. Такъ съ каждымъ днемъ укрѣплялся я въ своихъ понятіяхъ законности и, мало по-малу, привыкъ смотрѣть на большинство людей только какъ на орудіе исполненія высшихъ приказаній. Я порывалъ такимъ образомъ живую связь съ душою человѣка, я пересталъ тревожиться бѣдствіями своихъ собратій, пересталъ отыскивать возможность облегчить ихъ. «Сами виноваты», говорилъ я про себя, и сталъ даже питать къ нимъ не то злобу, не то презрѣніе, какъ къ людямъ, неумѣющимъ пользоваться спокойно и смирно тѣми благами, которыя имъ предлагаются по силѣ общественнаго благоустройства. Все, что было добраго въ моей натурѣ, обратилось въ другую сторону—къ поддержанію правъ старшихъ надъ нами. Я чувствовалъ, что въ этомъ заключается самоотверженіе, отреченіе отъ собственной самостоятельности, убѣжденъ былъ, что дѣлаю это въ видахъ общей пользы, и считалъ себя чуть не героемъ. Я знаю, что многіе такъ и остаются на этой степени, а другіе ее видоизмѣняютъ слегка и увѣряютъ,

что они совсѣмъ перемѣнились. Но мнѣ, къ счастью, дѣйствительно пришлось перемѣнить свое направленіе довольно рано. Лѣтъ четырнадцать я самъ имѣлъ уже старшинство кое надъ чѣмъ и въ классѣ, и въ домѣ и, разумѣется, оказался при этомъ очень плохъ. Я умѣлъ дѣлать все, что отъ меня требовали, но что и какъ мнѣ требовать—этого я не зналъ. При всемъ томъ я былъ суровъ и недоступенъ. Но скоро мнѣ стало совѣстно, и я принялся повѣрять свои прежнія понятія о начальствѣ. Поводомъ къ этому былъ одинъ случай, пробудившій опять живыя ощущенія въ моемъ мертвѣвшемъ сердцѣ. Какъ старшій братъ и умница, я училъ, между прочимъ, одну изъ сестеръ моихъ. Мнѣ дано было право присуждать ей наказанія за лѣность, ослушаніе и пр. Разъ она что-то была разсѣянна и никакъ не хотѣла понять моихъ толкованій; я велѣлъ ей стать на колѣни. Она тотчасъ собралась съ мыслями и, принявши внимательный видъ, стала просить, чтобъ я повторилъ еще разъ свои слова. Но я потребовалъ, чтобъ она прежде исполнила приказаніе—стала на колѣни; она заупрямилась. Тогда я схватилъ ее за руки, поднялъ съ мѣста, потомъ положилъ ей свои локти на плечи и изовсѣхъ силъ надавилъ внизъ. Бѣдная дѣвушка опустилась на колѣни и взвизгнула: у ней свихнулась нога при этомъ движеніи. Я очень испугался; но когда мать стала бранить меня за такое обхожденіе съ сестрой, я очень хладнокровно старался доказать, что она сама виновата, что еслибъ она тотчасъ послушалась моего приказанія, то ничего бы этого и не было. Однако же, втайнѣ я мучился, тѣмъ болѣе, что сестру свою я очень любилъ. Въ это время выяснилась мнѣ мысль, что вѣдь и старшіе могутъ быть неправы и дѣлать недѣлости, и что уважать нужно собственно законъ, какъ онъ есть, а не какъ проявляется въ толкованіяхъ того или другого лица. Тутъ пошла у меня критика дѣйствій лицъ, и я изъ консервативной безответственности стремительно перескочилъ въ *opposition légale*. Но долгое время я приписывалъ все дурное однимъ только частнымъ злоупотребленіямъ и нападалъ на нихъ—не во имя насущныхъ потребностей общества, не изъ состраданія къ несчастнымъ братьямъ, а просто во имя положительнаго закона. Въ то время я, конечно, съ жаромъ сталъ бы говорить противъ жестокаго обращенія съ неграми, но, подобно нѣкому московскому публицисту, отъ всей души обвинилъ бы Брауна, совершенно противозаконно вздумавшаго освободить негровъ. Но я былъ еще тогда очень молодъ (вѣроятно, моложе почтеннаго публициста), мысль моя двигалась и бродила; я не могъ остановиться на этомъ и, послѣ многихъ соображеній, дошелъ, наконецъ, до сознанія, что и законы могутъ быть несовершенны, что они имѣютъ относительное, временное и частное значеніе и должны подлежать перемѣнамъ съ теченіемъ времени и по требованіямъ обстоятельствъ. Но опять, во имя чего такъ рассуждалъ я? Во имя высшаго, отвлеченнаго закона справедливости, а вовсе не по внушенію живаго чувства любви къ собратьямъ, вовсе не по сознанію тѣхъ прямыхъ, настоятельныхъ надобностей, которыя ука-

зываются идущей передъ нами жизнью. И что же? Вотъ я сдѣлалъ и послѣдній шагъ: отъ отвлеченнаго закона справедливости я перешелъ къ болѣе реальному требованію человѣческаго блага; я всѣ свои сомнѣнія и умишленія привелъ, наконецъ, къ одной формулѣ: человѣкъ и его счастье. Но вѣдь эта формула была въ душѣ моей еще въ дѣтствѣ, прежде чѣмъ я началъ обучаться разнымъ наукамъ и писать назидательныя прописи. И, сказать ли?—теперь я ее лучше понимаю и основательнѣе могу доказать; но тогда я чувствовалъ ее сильнѣе, она болѣе была связана съ моимъ существомъ, и даже, кажется, я готовъ былъ тогда больше сдѣлать для нея, чѣмъ теперь. Я стараюсь теперь не дѣлать ничего противорѣчащаго сознанному мною закону, стараюсь не отнимать счастье у людей; но этой пассивной ролью я и ограничиваюсь. Броситься на поискъ счастья, приблизить его къ людямъ, разрушить все, что ему мѣшаетъ—это я могъ бы только тогда, если бы мои дѣтскія чувства и мечты безпрепятственно развились и окрѣпли. А между тѣмъ они глохли и умирали во мнѣ лѣтъ пятнадцать, и только теперь я снова возвращаюсь къ нимъ, и нахожу ихъ блѣдными, тощими, слабыми. Мнѣ еще нужно возстановлять ихъ, прежде чѣмъ употреблять въ дѣло; да и кто знаетъ, удастся ли возстановить?»...

Намъ кажется, что въ этомъ разсказѣ есть черты далеко не исключительныя, а напротивъ, могущія служить общимъ указаніемъ на тѣ препятствія, какія встрѣчаетъ русскій человѣкъ на пути самостоятельнаго развитія. Не всѣ съ одинаковою силою привязываются къ морали прописей, но никто не уходитъ отъ ея вліянія, и на всѣхъ она дѣйствуетъ парализующимъ образомъ. Чтобы избавиться отъ нея, человѣкъ долженъ много силъ потерять, и много утратить вѣры въ себя при этой непрерывной вознѣ съ безобразной путаницей сомнѣній, противорѣчій, уступокъ, изворотовъ, и т. п.

Такимъ образомъ, кто сохранилъ у насъ силу на геройство, такъ тому незачѣмъ быть героемъ, цѣли настоящей онъ не видитъ, взяться за дѣло не умѣетъ и потому только донкихотствуетъ. А кто понимаетъ, что нужно и какъ нужно, такъ тотъ уже всего себя на это пониманіе и положилъ, и въ практической дѣятельности шагу ступить не умѣетъ, и сторонится отъ всякаго виѣшательства, какъ Елена въ домашней средѣ. Да еще Елена все-таки смѣлѣе и свободнѣе, потому что на нее подѣйствовала только общая атмосфера русской жизни, но, какъ мы сказали уже, не наложила своей печати рутина школьнаго образованія и дисциплины.

Выходитъ, что наши лучшіе люди, какихъ мы видали до сихъ поръ въ современномъ обществѣ, только что способны понять жажду дѣятельнаго добра, сжигающую Елену, и могутъ оказать ей сочувствіе, но никакъ не сумѣютъ удовлетворить этой жажды. А это еще передовые, это еще называются у насъ «дѣтели общественныя». А то большая часть умныхъ и впечатлительныхъ людей бѣжитъ отъ гражданскихъ доблестей и посвящаетъ себя различнымъ музамъ. Хоть бы тѣ же Шубинъ и Берсенева въ «Наканунѣ»:

славныя натуры, и тотъ. и другой умѣютъ цѣнить Инсарова, даже стремятся душою вслѣдъ за нимъ; еслибъ имъ немножко другое развитіе, да другую среду, они бы тоже не стали спать. Но что же имъ дѣлать тутъ, въ этомъ обществѣ? Перестроить его на свой ладъ? Да ладу-то у нихъ нѣтъ никакого, и силъ-то нѣтъ. Починивать въ немъ кое-что, отрѣзывать и отбрасывать понемножку разныя дрязги общественнаго устройства? Да не противно ли у мертваго зубы вырывать, и къ чему это поведетъ? На это способны только герои въ родѣ господъ Паншиныхъ и Курнатовскихъ.

Кстати — здѣсь можемъ мы сказать нѣсколько словъ о Курнатовскомъ, тоже одномъ изъ лучшихъ представителей русскаго образованнаго общества. Это новый видъ Паншина, только безъ свѣтскихъ и художественныхъ талантовъ, и болѣе дѣловой. Онъ очень честенъ и даже великодушенъ; въ доказательство его великодушія Стаховъ, прочашій его въ женихи Еленѣ, приводитъ фактъ, что онъ, какъ только достигъ возможности безбѣдно существовать своимъ жалованьемъ, тотчасъ отказался въ пользу братьевъ отъ ежегодной суммы, которую назначилъ ему отецъ. Вообще въ немъ много хорошаго: это признаетъ даже Елена, изображающая его въ письмѣ къ Инсарову. Вотъ ея сужденія, по которымъ однимъ только мы и можемъ, впрочемъ, составить понятіе о Курнатовскомъ: онъ въ ходѣ повѣсти не участвуетъ. Разсказъ Елены. впрочемъ, такъ полонъ и мѣтокъ, что больше намъ ничего и не нужно, и потому, вмѣсто перифраза, мы прямо приведемъ ея письмо къ Инсарову:

„Поздравь меня, милый Дмитрій, у меня женихъ. Онъ вчера у насъ обѣдалъ; папенька познакомился съ нимъ, кажется, въ англійскомъ клубѣ и пригласилъ его. Разузнется, онъ прѣзжалъ вчера не женихомъ. Но добрая мамаша, которой папенька сообщилъ свои надежды, шепнула мнѣ на ухо, что это за гость. Зовутъ его Егоръ Андреевичъ Курнатовскій: онъ служитъ оберъ-секретаремъ при сенатѣ. Опишу тебѣ сперва его наружность. Онъ небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложенъ; черты у него правильны, онъ коротко остриженъ, носятъ большіе бакенбарды. Глаза у него небольшіе (какъ у тебя), каріе, быстрые, губы плоскія, широкія; на глазахъ и на губахъ постоянная улыбка, офиціальная какая то: точно она у него дежуритъ. Держится онъ очень просто, говоритъ отчетливо, и все у него отчетливо: онъ ходитъ, смѣется, ѣстъ, словно дѣло дѣлаетъ. „Какъ она его изучила!“ думаешь ты, можетъ быть, въ эту минуту. Да; для того, чтобы описать тебѣ его. Да и какъ же не изучать своего жениха! Въ немъ есть что то желѣзное... и тупое и пустое, въ то же время и честное; говорятъ, онъ, точнѣе очень честенъ. Ты у меня тоже желѣзный, да не такъ какъ этотъ. За столомъ онъ сидѣлъ возлѣ меня, противъ насъ сидѣлъ Шубинъ. Сперва рѣчь зашла о книжъ-то коммерческихъ предпріятіяхъ; говорятъ, онъ въ нихъ толкъ знаетъ чуть было не бросилъ своей службы, чтобы взять въ руки большую фабрику. Вотъ не догадался! Потомъ Шубинъ заговорилъ о театрѣ: г. Курнатовскій объявилъ, и, я должна сознаться, безъ ложной скромности, что онъ въ хужествѣ ничего не смыслитъ. Это мнѣ тебя напомнило... Но я подумала: и мы съ Дмитриемъ все-таки иначе не понимаемъ художества. Этотъ какъ с

хотѣлъ сказать: я не понимаю его, да оно и ненужно, но въ благоустроенномъ государствѣ допускается. Къ Петербургу и къ *сomme il faut* онъ, впрочемъ, довольно равнодушенъ, онъ разъ даже называлъ себя пролетаріемъ. Мы, говоритъ, чернорабочіе. Я подумала: если бы Дмитрій это сказалъ, мнѣ бы это не понравилось. А этотъ пускай себѣ говоритъ! Пусть хвастается! Со мною онъ былъ очень вѣжливъ; но мнѣ все казалось, что со мной бесѣдуетъ очень, очень снисходительный начальникъ. Когда онъ хочетъ похвалить кого, онъ говоритъ, что у такого-то *есть правила* — это его любимое слово. Онъ долженъ быть самоуверенъ, трудолюбивъ, способенъ къ самопожертвованію (ты видишь, я безпристрастна), т. е. къ пожертвованію своихъ выгодъ, но онъ большой деспотъ. Бѣда попасться ему въ руки! За столомъ заговорили о взяткахъ.

„ — Я понимаю, — сказалъ онъ, — что во многихъ случаяхъ берущій взятку не виноватъ: онъ иначе поступить не могъ. А все-таки, если онъ попался, должно его раздавить.

„Я вскрикнула. — Раздавить невиноватаго!

„ — Да, ради принципа.

„ — Какого? — спросилъ Шубинъ. Курнатовскій не то смѣшался, не то удивился, и сказалъ: этого нечего объяснять. — Папаша, который, кажется, благоговѣетъ передъ нимъ, подхватилъ, что, конечно, нечего, и, къ досадѣ моей, разговоръ этотъ прекратился. Вечеромъ пришелъ Берсенева и вступилъ съ нимъ въ ужасный споръ. Никогда я еще не видала нашего добраго Андрея Петровича въ такомъ волненіи. Господинъ Курнатовскій вовсе не отрицалъ пользы науки, университетовъ и т. д. А между тѣмъ я понимала негодованіе Андрея Петровича. Тотъ смотритъ на все это какъ на гимнастику какую-то. Шубинъ подошелъ ко мнѣ послѣ стола и сказалъ: вотъ этотъ и нѣкто другой (онъ твоего имени произнести не можетъ) — оба практическіе люди, а посмотрите, какая разница: тамъ настоящій, живой, жизнью данный идеалъ, а здѣсь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дѣльность безъ содержанія. — Шубинъ уменъ, и я, для тебя, запомнила его умныя слова; а по моему, что же общаго между вами? Ты *отришь*, а тотъ *нѣтъ*, потому что только въ самого себя *отричь* нельзя“.

Елена сразу поняла Курнатовскаго и отозвалась о немъ не совсѣмъ благосклонно. А между тѣмъ вникните въ этотъ характеръ и припомните своихъ знакомыхъ дѣловыхъ людей, съ честью подвижающихся для пользы общей; навѣрное многіе изъ нихъ окажутся хуже Курнатовскаго, а найдутся ли лучше — за это поручиться трудно. А все отчего? Именно оттого, что жизнь, среда не дѣлаетъ насъ ни умными, ни честными, ни дѣтельными. И умъ, и честность, и силы къ дѣтельности мы должны приобрѣтать изъ иностранныхъ книжекъ, которыя притомъ нужно еще согласить и со-размѣрить со Сводомъ Законовъ. Немудрено, что за этой трудной работой холодѣетъ сердце, замираетъ все живое въ человѣкѣ, и онъ превращается въ автомата, мѣрно и неизмѣнно совершающаго то, что ему слѣдуетъ. И все-таки, опять повторить: это еще лучшіе. Тамъ, за ними, начинается другой слой: съ одной стороны совсѣмъ сонные Обломы, уже окончательно потерявшіе даже обаяніе красно-

рѣчія, которымъ плѣняли барышень въ былое время, съ другой— дѣятельные Чичиковы, неусыпные, неустанные, героическіе въ достиженіи своихъ узенькихъ и гаденькихъ интересцевъ. А еще дальше возвышаются Брусковы, Большовы, Кабановы, Уланбековы, и все это злое племя предъявляетъ свои права на жизнь и волю русскаго люда... Откуда тутъ взяться героизму, а если и народится герой, такъ гдѣ набраться ему свѣта и разума для того, чтобы не пропасть его силъ даромъ, а послужить добру да правдѣ? И если наберется наконецъ, то гдѣ ужъ геройствовать надломленному и надорванному, гдѣ ужъ грызть орѣхи беззубой бѣлкѣ? Лучше же и не обольщаться понапрасну, лучше выбрать себѣ какую-нибудь спеціальность да и зарыться въ ней, заглушая недостойное чувство невольной зависти къ людямъ, живущимъ и знающимъ, зачѣмъ они живутъ.

Такъ и поступили въ «Наканунѣ» Шубинъ и Берсенева. Шубинъ расходился-было, узнавши о свадьбѣ Елены съ Инсаровымъ, и началъ: «Инсаровъ... Инсаровъ... Къ чему ложное смиреніе? Ну, положимъ, онъ молодецъ, онъ постоять за себя; да будто ужъ мы такая совершенная дрянь? Ну, хоть я, развѣ дрянь? Развѣ Богъ меня такъ-таки всѣмъ и обидѣлъ?» и пр... И тотчасъ же свернулъ бѣднякъ на художество: «можетъ,—говорить,—и я современемъ прославлюсь своими произведеніями»... И точно—онъ сталъ работать надъ своимъ талантомъ, и изъ него замѣчательный ваятель выходитъ. И Берсенева, добрый, самоотверженный Берсенева, такъ искренно и радушно ходившій за больнымъ Инсаровымъ, такъ великодушно служившій посредникомъ между нимъ, своимъ соперникомъ, и Еленой, и Берсенева, это золотое сердце,—какъ выразился Инсаровъ,—не можетъ удержаться отъ ядовитыхъ размышленій, убѣдившись окончательно во взаимной любви Инсарова и Елены. «Пусть ихъ!—говорить онъ.—Не даромъ мнѣ говаривалъ отецъ: мы съ тобой, братъ, не сибариты, не аристократы, не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, мы—труженики, труженики и труженики. Надѣвай же свой кожаный фартукъ, труженикъ, да становись за свой рабочій станокъ, въ своей темной мастерской! А солнце пусть другимъ сіяетъ! И въ нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!» Какимъ адомъ зависти и отчаянія вѣютъ эти несправедливые попреки,—неизвѣстно кому и за что!.. Кто-жъ виноватъ во всемъ, что случилось? Не самъ ли Берсенева? Нѣтъ, русская жизнь виновата: «кабы были у насъ путные люди, по выраженію Шубина, не ушла бы отъ насъ эта дѣвушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, какъ рыба въ воду». А людей путныхъ или непутныхъ дѣлаетъ жизнь, общій строй ея въ извѣстное время и въ извѣстномъ мѣстѣ. Строй нашей жизни оказался таковъ, что Берсенева только и осталось одно средство спасенія: «изсушать умъ наукою безплодной». Онъ такъ и сдѣлалъ, и ученые очень хвалили, по словамъ автора, его сочиненія: «О нѣкоторыхъ особенностяхъ древнегерманскаго права въ дѣлѣ судебныхъ наказаній» и «О значеніи

городского начала въ вопросѣ цивилизаціи». И еще благо, что хоть въ этомъ могъ найти спасеніе...

Вотъ Еленѣ — такъ не оставалось никакого ресурса въ Россіи послѣ того, какъ она встрѣтилась съ Инсаровымъ и поняла иную жизнь. Оттого-то она не могла ни остаться въ Россіи, ни возвратиться въ нее одна, послѣ смерти мужа. Авторъ очень хорошо умѣлъ понять это и предпочелъ лучше оставить ея судьбу въ неизвестности, нежели возвратить ее подъ родительскій кровъ и заставить доживать свои дни въ родной Москвѣ, въ тоскѣ одиночества и бездѣйствія. Призывъ родной матери, дошедшій до нея почти въ ту самую минуту, какъ она лишилась мужа, не смягчилъ ея отвращенія отъ этой пошлой, безцвѣтной, бездѣйственной жизни. «Вернуться въ Россію! Зачѣмъ? Что дѣлать въ Россіи?» — написала она матери и отправилась въ Зару, чтобы потеряться въ волнахъ возстанія.

И какъ хорошо, что она приняла эту рѣшимость! Что, въ самомъ дѣлѣ, ожидало ее въ Россіи? Гдѣ для нея тамъ цѣль жизни, гдѣ жизнь? Возвратиться опять къ несчастнымъ котяткамъ и мухамъ, подавать нищимъ деньги, не ею выработанныя и Богъ знаетъ какъ и почему ей доставшіяся, радоваться успѣхамъ въ художествѣ Шубина, трактовать о Шеллингѣ съ Берсеновымъ, читать матери «Московскія Вѣдомости», да видѣть, какъ на общественной аренѣ подвизаются *правила* въ видѣ разныхъ Курнатовскихъ, — и нигдѣ не видѣть настоящаго дѣла, даже не слышать вѣянія новой жизни... и понемногу, медленно и томительно вянуть, хирѣть, замирать... Нѣтъ, ужъ если разъ она попробовала другой жизни,дохнула другимъ воздухомъ, то легче ей броситься въ какую угодно опасность, нежели осудить себя на эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь... И мы рады, что она избѣгла нашей жизни и не оправдала на себѣ эти безнадежно-печальныя, раздирающія душу предвѣщанія поэта, такъ постоянно и безпощадно оправдывающіяся надъ самыми лучшими, избранными натурами въ Россіи:

Вдали отъ солнца и природы,
Вдали отъ свѣта и искусства,
Вдали отъ жизни и любви,
Мелькнутъ твои молодые годы,
Живыя помертвѣютъ чувства,
Мечты развѣются твои.

И жизнь твоя пройдетъ незрима,
Въ краю безлюдномъ, безыменномъ,
На незамѣченной землѣ, —
Какъ исчезаетъ облакъ дыма
На небѣ тускломъ и туманномъ,
Въ осенней безпредѣльной мглѣ.

Намъ остается свести отдѣльныя черты, разбросанныя въ этой статьѣ (за неполноту которой просимъ извиненія у читателей), и сдѣлать общее заключеніе.

Инсаровъ, какъ человѣкъ сознательно и всецѣло проникнутый великой идеей освобожденія родины и готовый принять въ ней дѣятельную роль, не могъ развиваться и проявить себя въ современномъ русскомъ обществѣ. Даже Елена, такъ полно умѣвшая полюбить его и такъ слиться съ его идеями, и она не можетъ оставаться среди русскаго общества, хотя тамъ — всѣ ей близкіе и родные. Итакъ, великимъ идеямъ, великимъ сочувствіямъ нѣтъ еще мѣста среди насъ?... Все героическое, дѣятельное должно бѣжать отъ насъ, если не хочетъ умереть отъ бездѣйствія или погибнуть напрасно? Не такъ ли? Не таковъ ли смыслъ повѣсти, разобранной нами?

Мы думаемъ, что нѣтъ. Правда, для широкой дѣятельности нѣтъ у насъ открытаго поприща; правда, наша жизнь проходитъ въ мелочахъ, въ плутняхъ, интрижкахъ, сплетняхъ и подличаньи; правда — наши гражданскіе дѣятели лишены сердца и часто крѣпколобы — наши умники палецъ о палецъ не ударятъ, чтобы доставить торжество своимъ убѣжденіямъ, наши либералы и реформаторы отпрявляютъ въ своихъ проектахъ отъ юридическихъ тонкостей, а не отъ стона и вопля несчастныхъ братьевъ. Все это такъ. Но мы все-таки думаемъ, что *теперь* въ нашемъ обществѣ есть уже мѣсто великимъ идеямъ и сочувствіямъ, и что недалеко время, когда этимъ идеямъ можно будетъ проявиться на дѣлѣ.

Дѣло въ томъ, что какъ бы ни была плоха наша жизнь, но въ ней уже оказалась возможность такихъ явленій, какъ Елена. И мало того, что такіе характеры стали возможны въ жизни, они уже охвачены художническимъ сознаніемъ, внесены въ литературу, возведены въ типъ. Елена — лицо идеальное, но черты ея намъ знакомы, мы ее понимаемъ, сочувствуемъ ей. Что это значитъ? То, что основа ея характера — любовь къ страждущимъ и притѣсненнымъ, желаніе дѣятельнаго добра, томительное исканіе того, кто бы показалъ, какъ дѣлать добро, — все это наконецъ чувствуется въ лучшей части нашего общества. И чувство это такъ сильно и такъ близко къ осуществленію, что оно уже не обольщается, какъ прежде, ни блестящимъ, но безплоднымъ умомъ и талантомъ, ни добросовѣстной, но отвлеченной ученостью, ни служебными добродѣтелями, ни даже добрымъ, великодушнымъ, но пассивно-развитымъ сердцемъ. Для удовлетворенія нашего чувства, нашей жажды нужно болѣе: нуженъ — человѣкъ, какъ Инсаровъ, — но русскій Инсаровъ.

На что-жъ онъ намъ? Мы сами говорили выше, что намъ ~~не~~ нужно героевъ-освободителей, что мы народъ владѣтельный, а ~~не~~ порабощенный...

Да, извнѣ мы ограждены, да если бъ и случилась внѣшняя борьба, то мы можемъ быть спокойны. У насъ для военныхъ подвиговъ всегда было довольно героевъ, и въ восторгахъ, какіе донинѣ испытываютъ барышни отъ офицерской формы и усиковъ, можно видѣть

неоспоримое доказательство того, что общество наше умѣетъ цѣнить этихъ героевъ. Но развѣ мало у насъ враговъ внутреннихъ? Развѣ не нужна борьба съ ними и развѣ не требуется геройство для этой борьбы? А гдѣ у насъ люди, способные къ дѣлу? Гдѣ люди цѣльные, съ дѣтства охваченные одной идеей, сжившіеся съ ней такъ, что имъ нужно—или доставить торжество этой идеѣ, или умереть? Нѣтъ такихъ людей, потому что наша общественная среда до сихъ поръ не благопріятствовала ихъ развитію. И вотъ отъ нея-то, отъ этой среды, отъ ея пошлости и мелочности и должны освободить насъ новые люди, которыхъ появленія такъ нетерпѣливо и страстно ждетъ все лучшее, все свѣжее въ нашемъ обществѣ.

Трудно еще явиться такому герою: условія для его развитія и особенно для перваго проявленія его дѣятельности крайне неблагопріятны, а задача гораздо сложнѣе и труднѣе, чѣмъ у Инсарова. Врагъ виѣшній, притѣснитель привилегированный гораздо легче можетъ быть застигнутъ и побѣжденъ, нежели врагъ внутренній, разсѣянный повсюду въ тысячѣ разныхъ видовъ, неуловимый, неуязвимый, а между тѣмъ тревожащій васъ всюду, отравляющій всю жизнь вашу и не дающій вамъ ни отдохнуть, ни осмотрѣться въ борьбѣ. Съ этимъ внутреннимъ врагомъ ничего не сдѣлаешь обыкновеннымъ оружіемъ; отъ него можно избавиться только перемѣнивши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, въ которой онъ зародился, выросъ и усилился, и обвѣявши себя такимъ воздухомъ, которымъ онъ дышать не можетъ.

Возможно ли это? Когда это возможно? Изъ этихъ вопросовъ можно отвѣчать категорически только на первый. Да, это возможно и вотъ почему. Мы говорили выше о томъ, какъ наша общественная среда подавляетъ развитіе личностей, подобныхъ Инсарову. Но теперь мы можемъ сдѣлать дополненіе къ своимъ словамъ: среда эта дошла теперь до того, что сама же и поможетъ явленію такого человѣка. Вѣчная пошлость, мелочность и апатія не могутъ же быть законнымъ удѣломъ человѣка, и люди, составляющіе общественную среду нашу и закованные въ ея условія, давно уже поняли всю тяжесть и нелѣпость этихъ условій. Одни скучаютъ, другіе рвутся всѣми силами куда-нибудь, только бы избавиться отъ этого гнета. Разные исходы придумывались, разные средства употреблялись, чтобы чѣмъ-нибудь оживить мертвость и гнилость нашей жизни; но все это было слабо и недѣйствительно. Наконецъ, теперь появляются уже такія понятія и требованія, какія мы видимъ въ Еленѣ; требованія эти принимаются обществомъ съ сочувствіемъ; мало того—они стремятся къ дѣятельному осуществленію. Это значитъ, что ужъ старая общественная рутина [отживаетъ свой вѣкъ; еще нѣсколько колебаній, еще нѣсколько сильныхъ словъ и благопріятныхъ фактовъ, и явятся дѣятели!

Выше мы замѣтили, что рѣшимость и энергію сильной натуры убиваетъ у насъ еще въ самомъ началѣ то идиллическое восхищеніе всѣмъ на свѣтѣ, то расположеніе къ лѣнивому самодовольству

и сонному покою, которое встрѣчаетъ каждый изъ насъ, еще ребенкомъ, во всемъ окружающемъ и къ которому его тоже стараются приучить всевозможными совѣтами и наставленіями. Но въ послѣднее время и это условіе сильно измѣнилось. Вездѣ и во всемъ замѣтно самосознаніе, вездѣ понята несостоятельность стараго порядка вещей, вездѣ ждутъ реформъ и исправленій, и никто уже не убаюкиваетъ своихъ дѣтей пѣснью о томъ, какое непостижимое совершенство представляетъ современный порядокъ дѣлъ въ Россіи. Напротивъ, теперь каждый ждетъ, каждый надѣется, и дѣти теперь подрастаютъ, напитываясь надеждами и мечтами лучшаго будущаго, а не привязываясь насильно къ трупу отжившаго прошедшаго. Когда придетъ ихъ чередъ приняться за дѣло, они уже внесутъ въ него ту энергію, послѣдовательность и гармонію сердца и мысли, о которыхъ мы едва могли приобрѣсти теоретическое понятіе.

Тогда и въ литературѣ явится полный, рѣзко и живо очерченный, образъ русскаго Инсарова. И не долго намъ ждать его: за это ручается то лихорадочное, мучительное нетерпѣніе, съ которымъ мы ожидаемъ его появленія въ жизни. Онъ необходимъ для насъ, безъ него вся наша жизнь идетъ какъ-то не въ зачетъ, и каждый день ничего не значить самъ по себѣ, а служить только кануномъ другого дня. Придетъ же онъ наконецъ, этотъ день! И, во всякомъ случаѣ, канунъ недалекъ отъ слѣдующаго за нимъ дня: всего-то какая-ни будь ночь раздѣляетъ ихъ!...

Кобзарь. Тараса Шевченка. Коштомъ Платона Семеренка. Спб. 1860 г.

Появленіе стихотвореній Шевченка интересно не для однихъ только страстныхъ приверженцевъ малороссійской литературы, но и для всякаго любителя истинной поэзіи. Его произведенія интересуютъ насъ совершенно независимо отъ стараго спора о томъ, возможна-ли малороссійская литература: споръ этотъ относился къ литературѣ книжной, общественной, цивилизованной, — какъ хотите называйте, — но, во всякомъ случаѣ, къ литературѣ искусственной, а стихотворенія Шевченка именно тѣмъ и отличаются, что въ нихъ искусственнаго ничего нѣтъ. Конечно, по-малороссійски не выйдетъ хорошо «Онѣгинъ» или «Герой нашего времени»; такъ же какъ не выйдутъ статьи г. Безобразова объ аристократіи или моральныя статьи г-жи Туръ о французскомъ обществѣ. Конечно, всѣ эти статьи можно перевести и на малороссійскій языкъ, но считать этотъ языкъ дѣй-

ствительно малороссійскимъ будетъ великое заблужденіе. Тѣ малороссы, которымъ доступно все, что занимаетъ Онѣгина и г-жу Туръ, говорятъ уже почти по-русски, усвоивши себѣ весь кругъ названій предметовъ, постепенно образовавшійся въ русскомъ языкѣ цивилизаціею высшихъ классовъ общества. Настоящіе же малороссы, свободные отъ вліянія русскаго языка, такъ же чужды языку книжной литературы, какъ и наши простолюдины. Вѣдь и у насъ языкъ литературы—собственно не русскій, и черезъ сто лѣтъ надъ нами, конечно, будутъ такъ же смѣяться, какъ мы теперь смѣемся надъ языкомъ *ассамблей* петровскаго времени. Но у насъ безтолковая смѣсь пяти языковъ организовалась довольно скоро и составила то, что мы теперь называемъ языкомъ образованнаго общества. Это оттого, во-первыхъ, что намъ ужъ рѣшительно нечѣмъ было взяться; новыя понятія и новые предметы врываются толпой, назвать ихъ не умѣемъ, да и около насъ негдѣ взять; а между тѣмъ названіе нужно, во что бы то ни стало. Поневолѣ брали готовое или выдумывали какъ попадется. Во-вторыхъ, книжныя понятія и слова хотя и не прошли въ народъ, но все-таки захватили у насъ довольно значительную часть общества и проникли въ законодательство. Въ Малороссіи эта масса общества, занятаго литературнымъ языкомъ, несравненно меньше, да нѣтъ и имъ такой нужды перевертывать на свой ладъ каждое названіе вновь являющагося у нихъ предмета: они получаютъ эти названія не изъ какого-нибудь латинскаго языка,—гдѣ ужъ какъ ни бейся, а надобно «us» отбросить и дать слову свое склоненіе,—а изъ языка родственнаго, имѣющаго почти тѣ же формы. Такимъ образомъ слова, принятые въ русскомъ, цѣликомъ входятъ въ малороссійскій языкъ, и случается встрѣчать такія малороссійскія статьи, въ которыхъ почти только *що, ажъ, бо, чи*, и тому подобныя частицы и напоминаютъ объ особенностяхъ нарѣчія.

Но само собою разумѣется, что никто не откажетъ малороссійскому, какъ всякому другому, народу въ правѣ и способности говорить своимъ языкомъ о предметахъ своихъ нуждъ, стремленій и воспоминаній; никто не откажется признать народную поэзію Малороссіи. И къ этой-то поэзіи должны быть отнесены стихотворенія Шевченка. Онъ—поэтъ совершенно народный, такой, какого мы не можемъ указать у себя. Даже Кольцовъ неидетъ съ нимъ въ сравненіе, потому что складомъ своихъ мыслей и даже своими стремленіями иногда отдаляется отъ народа. У Шевченка, напротивъ, весь кругъ его думъ и сочувствій находится въ совершенномъ соотвѣтствіи со смысломъ и строемъ народной жизни. Онъ вышелъ изъ народа, жилъ съ народомъ, и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни былъ съ нимъ крѣпко и кровно связанъ. Былъ онъ и въ кругу образованнаго общества, малорусскаго и великорусскаго, но долгое время встрѣчалъ въ немъ лишь отталкивающую презрительную грубость, притѣсненія, насилія, несправедливость, и за то, при первыхъ же лучахъ нравственнаго, свободнаго сознанія, тѣмъ сильнѣе устремился онъ душою къ своей бѣдной родинѣ, припоминая ея сказанія, по-

вторая ея пѣсни, представляя себѣ ея жизнь и природу. Что вытерпѣлъ Шевченко въ юныхъ лѣтахъ и на чемъ воспитывался умъ и талантъ его, объ этомъ онъ самъ разсказалъ недавно въ письмѣ къ одному изъ редакторовъ «Народнаго Чтенія» («Нар. Чт.» 1860 г., кн. II, стр. 229—236). Мы рѣшаемся привести почти все это письмо, полагая, что разсказы о судьбѣ людей, подобныхъ Шевченку, должны получать самую широкую извѣстность въ нашей публикѣ. Вотъ разсказъ Шевченка:

„Я—сынъ крѣпостнаго крестьянина, Григорія Шевченка. Родился въ 1814 году февраля 25, въ селѣ Кирилѣвкѣ, Звенигородскаго уѣзда Кіевской губерніи, въ имѣніи одного помѣщика. Лишившись отца и матери на осьмомъ году жизни, пріютился я въ школѣ у приходскаго дьячка, въ видѣ школяра-*пописача*. Эти школяры въ отношеніи къ дьячкамъ то же самое, что мальчики, отданные родителями или иною властью, на выучку къ ремесленникамъ. Права надъ ними мастера не имѣютъ никакихъ опредѣленныхъ границъ: они—полные рабы его. Всѣ домашнія работы и выполненіе всевозможныхъ прихотей самого хозяина и его домашнихъ—лежать на нихъ безусловно. Предоставляю вашему воображенію представить, чего могъ требовать отъ меня дьячокъ, — замѣтите, горькій пьяница, — и что я долженъ былъ исполнять съ рабской покорностію, не имѣя ни единого существа въ мірѣ, которое заботилось бы, или могло заботиться, о моемъ положеніи. Какъ бы то ни было, только въ теченіе двухъ-лѣтней тяжелой жизни въ такъ-называемой школѣ, прошелъ я *Грамматку*, *Часловецъ* и наконецъ *Псалтырь*. Подъ конецъ моего школьнаго курса, дьячокъ посылалъ меня читать, вмѣсто себя, *Псалтырь* по усопшихъ крѣпостныхъ душахъ и благоволилъ платить мнѣ за то десятую копѣйку, въ видѣ поощренія. Моя помощь доставляла суровому учителю возможность предаваться больше прежняго любимому своему занятію, вмѣстѣ съ своимъ другомъ, Іоною Лимаремъ, такъ что, по возвращеніи отъ молитвословнаго подвига, я почти всегда находилъ ихъ обоихъ мертвецки пьяными. Дьячокъ мой обходился жестоко не со мною однимъ, но и съ другими, и мы всѣ глубоко его ненавидѣли. Безтолковая его придиричивость сдѣлала насъ въ отношеніи къ нему лукавыми и мстительными. Мы надували его при всякомъ удобномъ случаѣ и дѣлали ему всевозможныя пакости. Этотъ первый деспотъ, на котораго я наткнулся въ моей жизни, поселилъ во мнѣ на всю жизнь глубокое отвращеніе и презрѣніе ко всякому насилію одного человѣка надъ другимъ. Мое дѣтское сердце было оскорблено этимъ исчадіемъ деспотическихъ семинарій миллионъ разъ, и я кончилъ съ нимъ такъ, какъ вообще оканчиваютъ выведенные изъ терпѣнія беззащитные люди,—мestью и бѣгствомъ. Найдя его однажды безчувственно пьянымъ, я употребилъ противъ него собственное его оружіе—розги и, насколько хватило дѣтскихъ силъ, отплатилъ ему за всѣ его жестокости. Изъ всѣхъ пожитковъ пьяницы дьячка драгоцѣннѣйшею вещью казалась мнѣ всегда какая-то книжечка съ *кушитами*, то-есть гравированными картинками, вѣроятно, самой плохой работы. Я не счелъ грѣхомъ или не устоялъ противъ искушенія похитить эту драгоцѣнность, и ночью бѣжалъ въ мѣстечко Лысянку.

„Тамъ я нашелъ себѣ новаго учителя въ особѣ маляра-дьякона, который, какъ я вскорѣ убѣдился, очень мало отличался своими правилами и обычаями отъ моего перваго наставника. Три дня я терпѣливо таскалъ на гору ведрами воду

изъ рѣчки Тикача и растиралъ на желѣзномъ листѣ краску мѣдянку. На четвертій день терпѣнье мнѣ измѣнилось, и я бѣжалъ въ село Тарасовку къ дѣячкуну-малюру, славившемуся въ околотѣ изображеніемъ великомученика Никиты и Ивана Воина. Къ сему-то Апеллесу обратился я, съ твердою рѣшимостью—перенести всѣ испытанія, какъ думалъ я тогда, неразлучныя со всякою наукою. Усвоить себѣ его великое искусство хотѣ въ самой малой степени желалъ я страстно. Но—увы!—Апеллесъ посмотрѣлъ внимательно на мою лѣвую руку и отказалъ мнѣ вострѣзъ. Онъ объявилъ мнѣ, къ моему крайнему огорченію, что во мнѣ нѣтъ способностей ни къ чему, ни даже къ *шевесту* или *бондарству*.

„Потерявъ всякую надежду сдѣлаться когда-нибудь хотѣ посредственнымъ маляромъ, съ сокрушеннымъ сердцемъ возвратился я въ родное село. У меня была въ виду скромная участь, которой мое воображеніе придавало, однакожъ, какую-то простодушную прелесть: я хотѣлъ сдѣлаться, какъ выражается Гомеръ, „пастыремъ стадъ непорочнымъ“, съ тѣмъ, чтобы, ходя за громадскою *ватагою*, читать свою любезную краденную книжку съ кунштниками. Но и это не удалось мнѣ. Помѣщику, только-что наслѣдовавшему достояніе отца своего, понадобился расторопный мальчикъ, и образованный школяръ-бродяга попалъ прямо въ тиковую журтку, въ такіе же шаровары и наконецъ—въ комнатные казачки.

„Изобрѣтеніе комнатныхъ казачковъ принадлежитъ цивилизаторамъ заднѣпровской Украйны—полякамъ; помѣщики иныхъ національностей перенимали и перенимаютъ у нихъ казачковъ, какъ выдумку, неоспоримо умную. Въ краю нѣкогда казацкомъ сдѣлать казака ручнымъ съ самаго дѣтства—это то же самое, что въ Лапландіи покорить произволу человѣка быстроногаго оленя... Польскіе помѣщики былаго времени содержали казачковъ, кромѣ лакейства, еще въ качествѣ музыкантовъ и танцоровъ. Казачки играли для панской потѣхи веселыя двусмысленныя пѣсенки, сочиненныя народною музыкою съ-горя подъ пьяную руку, и пускались передъ панами, какъ говорятъ поляки, *сюды-туды-наприсюды*. Новѣйшіе представители вельможной шляхты, съ чувствомъ просвѣщенной гордости, называютъ это покровительствомъ украинской народности, которымъ-де всегда отличались ихъ предки. Мой помѣщикъ, въ качествѣ русскаго нѣнца, смотрѣлъ на казачка болѣе практическимъ взглядомъ и, покровительствуя моей народности на свой манеръ, вмѣнилъ мнѣ въ обязанность только молчаніе и неподвижность въ уголку передней, пока не раздастся его голосъ, повелѣвающій подать стоящую тутъ же возлѣ него трубку, или налить у него передъ носомъ стаканъ воды. По врожденной мнѣ продерзости характера, я нарушалъ барскій наказъ, напѣвая, чуть слышнымъ голосомъ гайдамацкія унылыя пѣсни и срисовывая картины суздальской школы, украшавшія панскіе покои. Рисовалъ я карандашемъ, который—признаюсь въ этомъ безъ всякой совѣсти—укралъ у конторщика.

„Баринъ мой былъ человѣкъ дѣятельный: онъ безпрестанно ѣздилъ то въ Кіевъ, то въ Вильно, то въ Петербургъ и таскалъ за собой въ обозѣ меня, для сидѣнья въ передней, подаванья трубки и тому подобныхъ надобностей. Нельзя сказать, чтобы я тяготился своимъ тогдашнимъ положеніемъ: оно только теперь приводитъ меня въ ужасъ и кажется мнѣ какимъ-то дикимъ и несвязнымъ сномъ. Вѣроятно, многіе изъ русскаго народа посмотрятъ когда-то по моему на свое прошедшее. Странствуя съ своимъ бариномъ съ одного постоялаго двора на другой, я пользовался всякимъ удобнымъ случаемъ украсть со стѣны лубочную картинку и составилъ себѣ такимъ образомъ драгоценную коллекцію. Особенными

моими любимцами были историческіе герои, какъ-то: Соловей-Разбойникъ, Кульневъ, Кутузовъ, казакъ Платовъ и другіе. Впрочемъ, не жажда стяжанія удерживала мною, но непреодолимое желаніе срисовать съ нихъ какъ только возможно вѣрныя копія.

„Однажды, во время пребыванія нашего въ Вильно, въ 1829 г., декабря 6, панъ и пани уѣхали на балъ въ такъ-называемые *рессурсы* (дворянское собраніе), по случаю тезоименства въ Божѣ почившаго императора Николая Павловича. Въ домѣ все успокоилось, уснуло. Я зажегъ свѣчку въ уединенной комнатѣ, развернулъ свои краденныя сокровища и, выбравъ изъ нихъ казака Платова, принялся съ благоговѣніемъ копировать. Время летѣло для меня незамѣтно. Уже я добрался до маленькихъ казачковъ, гарцующихъ около дюжихъ копытъ генеральскаго коня, какъ позади меня отворилась дверь и вошелъ мой помѣщикъ, возвратившійся съ бала. Онъ съ остервенѣніемъ выдралъ меня за уши и надавалъ пощечинъ—не за мое искусство, нѣтъ! (на искусство онъ не обратилъ вниманія), — а за то, что я могъ бы сжечь не только домъ, но и городъ. На другой день онъ велѣлъ кучеру Сидоркѣ выпоротъ меня хорошенько, что и было исполнено съ достоюющимъ усердіемъ.

„Въ 1832 году мнѣ исполнилось восемнадцать лѣтъ, и такъ какъ надежды моего помѣщика на мою лакейскую расторопность не оправдались, то онъ, внявъ неотступной моей просьбѣ, законтрактовалъ меня на четыре года разныхъ живописныхъ дѣлъ цеховому мастеру, нѣкому Ширяеву, въ С.-Петербургѣ. Ширяевъ соединялъ въ себѣ всѣ качества дьячка-спартаца, дьякона-малара и другаго дьячка — хиромантика; но, несмотря на весь гнетъ тройственнаго его генія, я, въ свѣтлыя весеннія ночи, бѣгалъ въ Лѣтній садъ рисовать со статуй, украшающихъ сіе прямолинейное созданіе Петра. Въ одинъ изъ такихъ сеансовъ познакомился я съ художникомъ Иваномъ Максимовичемъ Сошенкомъ, съ которымъ и до сихъ поръ нахожусь въ самыхъ искреннихъ братскихъ отношеніяхъ. По совету Сошенка, я началъ пробовать акварелью портреты съ натуры. Для многочисленныхъ, грязныхъ пробъ, терпѣливо служилъ мнѣ моделью другой мой землякъ и другъ, казакъ Иванъ Ничипоренко, дворовый человѣкъ нашего помѣщика. Однажды помѣщикъ увидѣлъ у Ничипоренко мою работу, и она ему до того понравилась, что онъ началъ употреблять меня для снятія портретовъ съ любимыхъ своихъ любовницъ, за которые иногда награждалъ меня цѣлыми рублемъ серебра.

„Въ 1837 году Сошенко представилъ меня конференцъ-секретарю Академіи Художествъ, В. И. Григоровичу, съ просьбою—освободить меня отъ моей жалкой участи. Григоровичъ передалъ его просьбу В. А. Жуковскому. Тотъ сторговался предварительно съ моимъ помѣщикомъ и просилъ К. П. Брюлова написать съ него, Жуковскаго, портретъ, съ цѣлью разыграть его въ частной лотерей. Великій Брюловъ тотчасъ согласился, и вскорѣ портретъ Жуковскаго былъ у него готовъ. Жуковскій, съ помощью графа М. Ю. Віельгорскаго, устроилъ лотерею въ 2500 рубл. ассигнаціями, и этою цѣною куплена была моя свобода, въ 1833 году апрѣля 22.

„Съ того же дня началъ я посѣщать классы Академіи Художествъ и вскорѣ сдѣлался однимъ изъ любимыхъ учениковъ-товарищей Брюлова. Въ 1844 году удостоился я званія свободнаго художника.

„О первыхъ литературныхъ моихъ опытахъ скажу только, что они начались

въ же Лѣтнемъ саду, въ свѣтлыхъ безлунныхъ ночи. Украинская строгая колго чуждалась моего влуса, извращеннаго жизнью въ школѣ, въ помѣщичьей передней, на постоянныхъ дворахъ и въ городскихъ квартирахъ; но когда же свободн возвратило мнѣ чувствамъ чистоту первыхъ лѣтъ дѣтства, ценныхъ подъ убогою батьковскою стрѣхою, она, спасибо ей, обняла и прятала меня на чужой сторонѣ. Изъ первыхъ, слабыхъ моихъ опытовъ, написанныхъ въ Лѣтнемъ саду, напечатана только одна баллада *Причинка*. Какъ и написались послѣдовавшія за нею стихотворенія, объ этомъ теперь я не хочу охоты распространяться. Краткая исторія моей жизни, набросанная въ этомъ нестройномъ разсказѣ въ угожденіе вамъ, сказать правду, обошлась дороже, чѣмъ я думала. Сколько лѣтъ потерянныхъ! сколько цѣтовъ ушедшихъ! И что же я купилъ у судьбы своими усиліями не погибнуть? Едва ли не страшное уразумѣніе своего прошедшаго. Оно ужасно, оно тѣмъ болѣе для ужасно, что мои родные братья и сестра, о которыхъ мнѣ тяжело было писать въ своемъ разсказѣ, до сихъ поръ — крѣпостные. Да, крѣпостный голъ, она крѣпостные до сихъ поръ“!

(такъ, вотъ какія впечатлѣнія ложились на душу юноши за Бломъ простой жизни «подъ убогою батьковскою стрѣхою»; вотъ встрѣтилъ онъ «въ школѣ, въ помѣщичьей передней, на постоянныхъ дворахъ и въ городскихъ квартирахъ»... Подобныя впечатлѣнія способны были убить юную душу, развратить всѣ нравственныя силы, загубить и затоптать человѣка. Но видно богато одаренъ душевными силами этотъ мальчикъ, что онъ вышелъ, и не совсѣмъ, можетъ быть, невредимо изъ всего этого. А если вышелъ, то онъ не могъ не обратиться къ своей Украинѣ, не посвятить всего себя тому, что вѣяло на него святыней чивоспоминанія, что освѣжало и согрѣвало его въ самыя трудныя темныя минуты жизни... И онъ остался вѣренъ своимъ перильнымъ днямъ, вѣренъ своей Украинѣ. Онъ поетъ преданія рошлой жизни, поетъ ея настоящее—не въ тѣхъ кругахъ, ко е наслаждаются плодами новѣйшей русской цивилизаціи, а въ , гдѣ сохранилась безыскусственная простота жизни и близость природѣ. Оттого-то онъ такъ близокъ къ малороссійскимъ думамъ снямъ, оттого-то въ немъ такъ и слышно вѣяніе народности. смѣло могъ сказать о своихъ думахъ:

Думи мої, думи мої,
Квіти мої, діти!
Виростає васъ, доглядає васъ,—
Де жъ мині васъ діти?
Въ Україну идіть, діти,
Въ нашу Україну,
По-підъ тинню, скротами,
А я — тутъ загину.
Тамъ найдете щире серце,
И слово ласкаве,

Тамъ найдете щирю правду
А ще, може, й славу...
Привитай же, моя ненько,
Моя Україно,
Моїхъ дітокъ неразумнихъ,
Якъ свою дитину.

И мы не сомнѣваемся, что Украина съ восторгомъ приметъ «Кобзаря», давно ужъ ей, впрочемъ, знакомаго. Онъ близокъ къ народной пѣснѣ, а извѣстно, что въ пѣснѣ вылилась вся прошедшая судьба, весь настоящій характеръ Украины; пѣсня и дума составляютъ тамъ народную святыню, лучшее достояніе украинской жизни: въ нихъ горитъ любовь къ родинѣ, блещетъ слава прошедшихъ подвиговъ; въ нихъ дышитъ и чистое, нѣжное чувство женской любви, особенно любви материнской; въ нихъ же выражается и та тревожная оглядка на жизнь, которая заставляетъ казака, свободного отъ битвы, «искать свою долю». Весь кругъ жизненныхъ насущныхъ интересовъ охватывается въ пѣснѣ, сливается съ нею, и безъ нея сама жизнь дѣлается невозможною. По словамъ Шевченка,—

Наша дума, наша пісня,
Не вмере, не загине...
Отъ де, люде, наша слава,
Слава України!
Безъ золота, безъ каменю,
Безъ хитрої мови,
А голосна та правдива,
Якъ Господа слово.

У Шевченка мы находимъ всѣ элементы украинской народной пѣсни. Ея историческія судьбы внушили ему цѣлую поэму «Гайдамаки», чудно-разнообразную, живую, полную силы и совершенно вѣрную народному характеру, или по крайней мѣрѣ характеру малороссійскихъ историческихъ думъ. Поэтъ совершенно проникается настроеніемъ эпохи, и только въ лирическихъ отступленіяхъ виденъ современный рассказчикъ. Онъ не отступилъ, напр., предъ изображеніемъ того случая, когда гайдамацкій герой Гонта убиваетъ своихъ малолѣтнихъ дѣтей, узнавъ, что ихъ сдѣлали католиками въ іезуитскомъ коллегіумѣ; онъ долго останавливается надъ этимъ эпизодомъ и съ любовью рисуетъ подробности и послѣдствія убійства. Не отступилъ онъ и предъ изображеніемъ произведенныхъ гайдамаками ужасовъ, въ главѣ «Бенкетъ у Лисянці»; не отступилъ предъ трудною задачею воспроизвести народные сцены въ Чигиринѣ (въ главѣ: «Свято въ Чигирини»). Много надо поэтической силы, чтобы приняться за такіе предметы и не измѣнить имъ ни однимъ стихомъ, не внести своего, современнаго воззрѣнія ни въ одномъ намекѣ. А Шевченко именно выполнилъ свое дѣло такъ, что во всей

поэмѣ сохранено полное единство и совершенная вѣрность характеру казачьихъ возстаній на ляховъ, сохранившемуся почти неизмѣннымъ до довольно поздняго времени. Сила казачьей ненависти къ ляхамъ выражается у Шевченка въ восклицаніи казака Еремы, у котораго похитили они невѣсту. «Отчего не умеръ я вчера, еще не зная объ этомъ,—говоритъ онъ... А теперь если и умру, такъ все равно—изъ гроба встану, для того, чтобы мучить ляховъ».

Но въ лирическихъ отступленіяхъ, какъ сказали мы, является предъ нами современный поэтъ, любящій славу родимаго края и съ грустной отрадой припоминающій подвиги отважныхъ предковъ. Приведемъ одно изъ такихъ отступленій, которое особенно поразило насъ своею глубокою грустью ¹⁾:

Гомоніла, Україна,
Довго гомоніла,
Довго, довго кровъ степами
Текла — черновіла.
Текла — текла, та й висохла...
Степи зеленіють;
Діди лежать, а надъ ними
Могили синіють.
Та що съ того, що високі?
Ніхто їхъ не знає,
Ніхто щиро не заплаче,
Ніхто не згадає.
Тільки вітеръ тихесенько
Повіє надъ ними,
Тільки роса ранесенько
Слезамъ дрібними
Іхъ уміє. Зійде сонце,
Осушить, пригріє;
А унуки? імъ байдуже,
Жито собі сіють.
Богато їхъ, а хто скаже,
Де Гонти могила, —
Мученика праведного
Де похоронили?
Де Залізняка, душа щира,
Де одпочиває?
Тяжко! важко!...

¹⁾ Мы приводимъ всѣ стихи въ подлинникѣ; они, кажется, такъ понятны, что нѣтъ надобности переводить ихъ. Замѣтимъ только, что по орфографіи, принятой въ книгѣ Шевченка и сохраненной нами, і—есть острое наше и, а и—тотъ средній звукъ между и и ѣ, который такъ характеризуетъ малороссійское нарѣчіе.

Кромѣ «Гайдамаковъ», въ «Кобзарѣ» напечатаны еще «Иванъ Підкова», «Тарасова Нічъ», «Гамалія» — небольшія пьесы тоже историческо-казацкаго содержанія.

Не менѣе любопытны пьесы и въ другомъ родѣ, пьесы изображающія *лихо* и *недолю* обыкновенной жизни и нѣжныя чувства дѣвической и материнской любви. Особенно живо и поэтично изображаются эти чувства въ трехъ прелестныхъ поэмахъ: «Тополя», «Наймичка» и «Катерина». Въ «Катеринѣ» вы видите несчастье бѣдной дѣвушки, которая полюбила *москаля*, офицера. Начинается поэма добродушнымъ обращеніемъ:

Кохайтєся, чернобріві,
Та не зъ Москалями,
Бо Москалі — чужі люде,
Роблять лихо зъ вами.
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине;
Піде въ свою Московщину,
А дівчина гине.

Но эта откровенная, простая мораль, такъ добросердечно высказываемая, вовсе не кладетъ дидактическаго оттѣнка на всю повѣсть, которая, напротивъ, вся исполнена самой свѣжей, неподдѣльной поэзіи. У Катерины родился сынъ, и она идетъ въ «Московщину» — отыскивать отца его. Прощаніе матери съ ней, ея путь, ея встрѣча съ милымъ, который ее отталкиваетъ, все это изображено съ тою нѣжностью грусти, съ тою глубиною и кротостью сердечнаго сожалѣнія, равныя которымъ встрѣчаются именно только въ малороссійскихъ пѣсняхъ. Въ «Наймичкѣ» представляется исторія дѣвушки, подкинувшей своего ребенка къ бездѣтнымъ старикамъ, потомъ нанявшейся къ нимъ въ служанки, всю свою жизнь заключившей въ материнской любви и только предъ смертью открывшей сыну, что она — мать его. Весь этотъ рассказъ получаетъ особенную прелесть отъ той совершенной простоты, съ которою изображается все дѣло. Ни одного фразистаго мѣста, ни одного хвастливаго стиха; все такъ ровно, спокойно, какъ будто покорная, тихая преданность этой матери перешла въ душу самого поэта...

Вообще, спокойная грусть, непохожая ни на безплодную тоску нашихъ романическихъ героевъ, ни на горькое отчаяніе, заливаемое часто разгуломъ, но тѣмъ не менѣе тяжелая и сжимающая сердце, составляетъ постоянный элементъ стихотвореній Шевченка. Какъ вообще въ малороссійской поэзіи, грусть эта имѣетъ созерцательный характеръ, переходитъ часто въ вопросъ, въ думу. Но это не рефлексія, это движеніе не головное, а прямо выливающееся изъ сердца. Оттого оно не охлаждаетъ теплоты чувства, не ослабляетъ его, а только дѣлаетъ его сознательнѣе, яснѣе, — и оттого, конечно, еще

іжеле. Воть *размышленіє* поета по поводу оскорбленій, которыхъ втерпѣлась въ селѣ Катерина, родивши сына:

Оттаке-то на сімъ світі
Роблять людямъ люде!
Того вяжуть, того ріжуть,
Той самъ себе губить...
А за віщо? Святий знає!
Свѣтъ, бачця, широкий,
Та нема въ немъ прихилитись
Въ світі одинокимъ.
Тому доля запродала
Одъ краю до краю,
А другому оставила
Те, де заховаютъ.
Де жъ ті люде, де жъ ті добрі,
Що серце збиралось
Зъ ними жити, іхъ любити?
Пропали, пропали!

Въ такомъ родѣ постоянно бывають думы поета. Мы не беремъ а себя оцѣнки и указанія всѣхъ поэтическихъ достоинствъ Шевенка; мы указываемъ только на нѣкоторыя стороны его произведеній, могущія и въ великоруссахъ, мало знакомыхъ съ Малоросіей, какъ мы, пробудить сочувствіе. Поэтому мы и беремъ болѣе общія вещи, такія мысли и чувства, которыя, будучи народно-українскими, понятны и близки, однако, всякому, кто не совсѣмъ изратилъ въ себѣ лучшіе чловѣческіе инстинкты. Думаемъ, что маленькія разницы малороссійскаго нарѣчія отъ русскаго не помѣшали читателямъ понять наши выписки.

Сочиненія А. И. Подолннскаго. Два тома. Спб. 1860 г.

Одинъ глубокомысленный фельетонистъ, а можетъ быть и библіографъ, говорилъ недавно гдѣ-то, что нашу эпоху въ литературѣ можно назвать «эпохою полныхъ собраній». Оно, если хотите, нестроумно и даже нескладно, но, тѣмъ не менѣе, справедливо. ~~Он~~ не собиралъ и не издавалъ своихъ сочиненій въ послѣдніе годы! ~~Люди~~, которыхъ всѣ до того забыли, что уже никто о нихъ понятія не имѣетъ, вдругъ являються съ полнымъ собраніемъ своихъ сочи-

неній... Теперь недостаетъ, кажется, только полного собранія твореній барона Розена, Федора Кони, Грекова, Ознобишина и г-жи Каролины Павловой, для того, чтобы составилаь полная русская библіотека всѣхъ нашихъ поэтовъ. Можно надѣяться, что скоро этотъ недостатокъ будетъ пополненъ, какъ пополнился теперь одинъ изъ пробѣловъ въ нашей литературѣ изданіемъ стихотвореній А. И. Подолинскаго.

Что сказать объ этомъ поэтѣ? Рывшись нѣкогда въ старинныхъ журналахъ, мы помнимъ, что имъ восхищались «Галатея» и «Сынъ Отечества», что его жестоко отдѣлалъ однажды за «Борскаго» экзистентъ Надоумко, что потомъ о немъ говорили какъ о большомъ талантѣ, къ сожалѣнію, попавшемъ на ложную дорогу и сбившемся съ толку. Первый сказалъ это тотъ же Надоумко, который оканчиваетъ свой жестокій разборъ «Борскаго» объясненіемъ, что «сказать по совѣсти, сія поэма не приноситъ большой чести нашей литературѣ, но за то она дѣлаетъ честь, и честь величайшую,—таланту поэта, скрывающемуся въ ней, какъ въ первовесенней, едва завернувшейся почкѣ». Въ подтвержденіе своихъ словъ Надоумко приводитъ два мѣста, дѣйствительно принадлежащія къ числу лучшихъ въ поэмѣ,—одно психологически-тонкаго свойства, а другое въ описательномъ родѣ. Последнее въ самомъ дѣлѣ недурно, особенно для того романтическаго времени. Это—описаніе возвращенія Борскаго въ отцовскій домъ, послѣ долгаго отсутствія.

Но годы странствій протекли,
И нынѣ Борскій видитъ снова
Предѣлы отческой земли
И сѣни дѣдовскаго крова.
Гремя, съ воротъ упалъ затворъ,
Они скрипятъ, и торопливо
Проходитъ Борскій длинный дворъ,
Поросшій плющемъ и крапивою.
Какой повсюду мертвый сонъ!
Кругомъ былого нѣтъ и тѣни!
Но вотъ къ крыльцу подходитъ онъ:
Полуистлѣвшія ступени
Трещать и съ грохотомъ глухимъ,
Что шагъ, колеблются подъ нимъ.
Хоть бы одна душа родная
На эготъ шумъ отозвалась!
Лишь стая ласточекъ взвилась,
Въ испугѣ гнѣзда покидая,
И кверху съ крикомъ понеслась...

Выписавши эти стихи, Надоумко дѣлаетъ такое воззваніе: «ахъ, г. Подолинскій! г. Подолинскій! Умоляемъ васъ, отъ лица всей русской литературы, сохранить въ вашемъ сердцѣ сей священный отъ

Весты, коимъ оно исполнено! Изберите только для себя другую, достойнѣйшую васъ дорогу къ святилищу музъ! Дай Богъ, чтобы Борскій былъ послѣднимъ вашимъ шагомъ на распутіи лживаго романтизма! И да увидить въ васъ русская поэзія не дополненіе къ толпѣ гаеровъ, тѣшащихъ по заказу литературную чернь, но истиннаго поэта, составляющаго ея честь и украшеніе» («Вѣстн. Евр.» 1829 г., № 7).

Сущность этого мнѣнія перешла и въ позднѣйшіе отзывы Бѣлинскаго. Въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» (Бѣл., ч. I, стр. 87) онъ говоритъ: «Подолінскій подалъ о себѣ самыя лестныя надежды и, къ несчастію, не выполнилъ ихъ. Онъ владѣлъ поэтическимъ языкомъ и не былъ лишенъ поэтическаго чувства. Мне кажется, что причина его неуспѣха заключается въ томъ, что онъ не созналъ своего назначенія и шелъ не по своей дорогѣ». Это было писано въ 1834 г., а черезъ восемь лѣтъ, въ «Обозрѣніи Литературы» 1841 года, Бѣлинскій даетъ слѣдующій отзывъ: «Подолінскій былъ человекъ съ замѣчательнымъ дарованіемъ: въ его мелкихъ стихотвореніяхъ и въ поэмахъ много чувства и поэтическихъ мѣстъ; но у него никогда не бывало цѣлаго, особенно въ поэмахъ, которыя бѣдны содержаніемъ, слабы по концепціи, блѣдны по выполненію» (Бѣл., ч. VI, стр. 63).

Всѣ эти отзывы заставляютъ предполагать, что были какія-то враждебныя вліянія, увлекавшія на ложный путь «замѣчательный талантъ» Подолінскаго, и что иначе онъ бы чудеса надѣлалъ. Что же это были за вліянія, и на какой путь они влекли Подолінскаго и какой путь былъ бы для него пригоднѣе и болѣе свойственъ его таланту?

Намъ кажется, что вліянія эти были совершенно тѣ же, какъ и на всѣхъ нашихъ поэтовъ двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ: Байронъ и Байронъ, и больше ничего. Когда теперь съ этой мыслью читаешь раздирательныя поэмы Подолінскаго: «Нищаго», «Борскаго», то оно выходитъ ужасно забавно. Такъ и представляется трехлѣтній мальчикъ, пылающій воинственнымъ энтузіазмомъ и собирающійся сейчасъ же отправиться на пораженіе враговъ отечества. По всему видно, что г. Подолінскій одаренъ былъ отъ природы кротчайшею душою, незлобнѣйшимъ, чувствительнѣйшимъ сердцемъ, склоннымъ къ умиленію, восторгу и всѣмъ симпатическимъ чувствамъ... Онъ былъ бы радъ довольствоваться малымъ, все видѣть въ радужномъ свѣтѣ, довѣряться первому встрѣчному... Но встрѣчный-то этотъ и оказался Байронъ!.. Можете себѣ представить, что произошло въ душѣ скромнаго и робкаго человека, когда онъ познакомился съ разрушительнымъ негодованіемъ великаго поэта. Не поддаться ему онъ не могъ; Байронъ и не такихъ покорялъ своей силой, а г. Подолінскій и не такому, какъ Байронъ, непременно поддался бы. Но сшить какъ-нибудь съ своей натурой байроническія тенденціи онъ тоже не могъ: онѣ были ему чужды едва ли не болѣе, чѣмъ трехлѣтнему мальчику представленіе о дѣйствительной жизни. Вникните, въ самомъ дѣлѣ, въ его положеніе: онъ долженъ

непремѣнно находить, что ничто уже его не привлекаетъ, ничто не зажигаетъ въ немъ страсти, отъ всего онъ отрекся,—а между тѣмъ онъ никакъ не можетъ представить: что же бы такое могло его особенно разжигать и отъ чего бы ему съ такимъ страданіемъ нужно было отрекаться? Онъ себѣ жилъ спокойно въ своей колеѣ, въ даль не пускался, ни о какихъ душевныхъ пожарахъ понятія не имѣлъ, а тутъ вдругъ оказывается, что душа у него испепелена и что онъ ничѣмъ не долженъ воспламеняться!.. Затрудненіе, въ какомъ онъ долженъ очутиться, можетъ быть уподоблено только слѣдующему казусу. Проѣзжаете вы на почтовыхъ черезъ незнакомый городишко; вамъ хорошо ѣхать, вы пообѣдали на предыдущей станціи, задремали во время остановки, выглянули-было изъ дилижанса, да и опять спрятались, не находя ничего интереснаго въ разсматриваніи городской мѣстности и предпочитая свой послѣобѣденный сонъ. Но вдругъ предъ вами предстаётъ существо, начинающее самымъ энергическимъ манеромъ ругать весь городъ: что и Дворянская улица дрянъ, и Марья Петровна зла, и Василій Григорьевичъ глупъ, и Сидора Карпыча дочь неспособна любви внушить, и т. д. Вамъ собственно нѣтъ никакого дѣла до этого: вы ни съ кѣмъ въ городѣ не знакомы, вы себѣ ѣдете да дремлете. Но вдругъ вы поставлены въ необходимость послѣдовать примѣру энергическаго ругателя и тоже приняться за этотъ городъ: что тутъ станете дѣлать? Конечно, вы можете тоже сказать, что дочь Сидора Карпыча любви вамъ не внушаетъ; но вы сами чувствуете, что въ этомъ мало заслуги съ вашей стороны, потому что вы въ глаза не видали ни Сидора Карпыча, ни его дочери, а если бъ увидали, такъ еще, можетъ, и полюбили бы. И голосъ вашъ невольно дѣлается робкимъ, и вы, вмѣсто проклятій недостойному городу, скромно изрекаете: «я не хочу здѣсь обѣдать», подразумевая: «потому что я ужъ пообѣдалъ недавно».

То же самое произошло со многими изъ нашихъ поэтовъ, начитавшихся Байрона. Байронъ, какъ извѣстно, проклиналъ и презираетъ все: и небо и землю, и исторію и философію, и любовь и политику... Наши тоже хотѣли пуститься на эту дорогу; но оказалось, что они рѣшительно не знаютъ, ни неба, ни земли, ни философіи, ни исторіи, ни любви, ни политики... Поэтому, когда герой Байрона говоритъ, напр., что ему противно общество и даже любовь не услаждаетъ его, то мы переводили это такимъ образомъ:

Теперь меня ужъ не влечетъ
Ни зовъ друзей, ни шумъ застольный,
Ни зовъ къ восторгамъ милыхъ дѣвъ,
Ни взоръ, исполненный приманокъ,
Ни звукъ бокаловъ, ни напѣвъ,
Ни пляска рѣзвая цыганокъ.,.

Эти стихи мы припомнили изъ одной элегіи поэта Вашилова,

вамъ, конечно, неизвѣстнаго; но это ничего: возьмите и другихъ,— то же самое выйдетъ...

Подолінскій никакъ не могъ остановиться на такихъ предметахъ, какъ Башиловъ: онъ былъ для этого слишкомъ идеаленъ и кротокъ. Но за то онъ такъ-таки и не нашелъ, что же бы за вещь такая была, которая должна бы его привлекать, а между тѣмъ не привлекаетъ... Поэтому онъ вездѣ говоритъ объ этомъ въ общихъ чертахъ: *все*, говорить, мнѣ опротивѣло, *ничто* меня не утѣшаетъ, я отъ *веселія* бѣгу, я *хладенъ* сталъ душою... И все это отъ вліянія какого-то незримаго демона:

Я незримаго присутствіе
Сердцемъ сжатымъ познаю;
Льетъ онъ холодъ и безчувствіе
Въ душу грустную мою;
Онъ любви и вдохновенія
Развѣваетъ дымомъ сны,
Съ нимъ и слезы умиленія,
Какъ ребячество, смѣшны...
И зародышъ наслажденія
Умерщвляетъ злобный духъ,
Какъ младенца до рожденія
Въ лонѣ матери недугъ.

Видите, — несмотря на всю пустоту и дрянность окружающей жизни, скромный поэтъ нашъ не прочь бы насладиться ея посильными дарами; онъ не потому ихъ отвергаетъ, чтобы ужъ понялъ ихъ ничтожность и не считалъ ихъ интересными и пріятными; нѣтъ, онъ просто боится, онъ точно какъ Шпекинъ у Гоголя: ему чрезвычайно хочется, ему очень любопытно и важно распечатать письмо Хлестакова, но какой-то голосъ шепчетъ ему въ одно ухо: не смѣй, не смѣй, не распечатывай. Ну, сами посудите,—въ такомъ-то положеніи какой же Байронъ можетъ быть?...

Многіе изъ нашихъ поэтовъ увлекались байронизмомъ; но Подолінскій былъ съ нимъ всѣхъ смѣшнѣе. Въ его стихотвореніяхъ вы видите человѣка, который положительно не знаетъ, что дѣлать съ собой: у него просто нѣтъ и не бывало глубины и энергіи страсти, а онъ долженъ увѣрять себя и другихъ, что все въ мірѣ недостойно его страсти. Но что же именно недостойно? Вотъ въ этомъ-то и затрудненіе, тутъ-то и начинается его горе. Ему собственно все нравится, и онъ долженъ придумывать, что бы объявить для себя постылымъ. Ну и придумаетъ. Вотъ, напримѣръ, ему кажется, что ужъ пѣсню соловья никто не можетъ слушать безъ особеннаго умиленія, кромѣ человѣка самаго разочарованнаго; вслѣдствіе такого убѣжденія онъ и увѣряетъ: мнѣ все, говорить, въ жизни постыло, я все въ мірѣ презираю, ничто не въ силахъ увлечь меня, и даже,—говорить,—

Едва на пѣсню соловья
Отозвалась душа моя...

Или вдругъ представляется ему, что кто не восхищается видомъ горъ въ Швейцаріи, такъ ужъ это самъ сатана. И вотъ герой его, для полной обрисовки его отчужденія отъ всего міра, посылается въ Швейцарію, которую поэтъ называетъ «отчизною Телля». Что же онъ тамъ дѣлаетъ?

*Въ отчизнѣ Телля видѣлъ онъ
Съ снѣгами слитый небосклонъ
И горы льдистою громадой;
И гулъ паденія лавинъ
Съ какой-то горестной отрадой
Онъ слушалъ въ сумракѣ долинъ.*

Здѣсь любопытно именно то, что онъ занимался этимъ «въ отчизнѣ Телля»... И поэтъ серьезно полагаетъ, что ужъ если въ отчизнѣ Телля горы не взволновали человѣка, то что же послѣ этого остается для него—не только въ отчизнѣ Телля, но и въ цѣломъ мірѣ!..

Итакъ, вліяніе Байрона на Подолинскаго состояло главнымъ образомъ въ томъ, что разрушило мирную идиллію, которую поэтъ нашъ, по натурѣ своей, наклоненъ былъ сдѣлать изъ всего въ мірѣ. Но въ немъ не было силы удержаться на отрицаніи; онъ даже дошелъ до того, что отрицанье и сомнѣнье есть грѣхъ, дѣйствіе кичливаго ума, на которое влечетъ человѣка духъ злобы. Всякое недовольство происходитъ оттого, что

*Онъ несбыточными снами
Божеству приличныхъ думъ
Заразилъ нашъ гордый умъ.*

Пришедши къ такому сознанію, поэтъ сталъ искать себѣ успокоенія въ мірѣ сладкихъ грезъ, въ мистическихъ созерцаніяхъ; у него же мечтательность была однимъ изъ существенныхъ свойствъ таланта. Этой стороною, равно какъ и нѣжностью, томностью чувства, онъ нѣсколько напоминаетъ одного изъ современныхъ поэтовъ, Полонскаго. Но, кромѣ степени таланта, между ними есть еще и та разница, что въ основѣ поэзіи Полонскаго, даже въ фантастическихъ ея проявленіяхъ, мы видимъ гуманное начало, видимъ близость его къ людямъ и жизни; у Подолинскаго же ээирность, фантазія составляютъ самую сущность поэзіи. Онъ, по его собственному признанію въ изображеніи поэта,—

*Въ мірѣ необъятный, въ мірѣ иной
Перелета воображеньемъ,*

*На міръ существенный съ презрѣнємъ
Глядитъ, какъ житель неземной,
И часто грудь его страдаетъ:
Не зная радостей земныхъ,
Онъ ихъ надменно отвергаетъ,
А замѣнить не можетъ ихъ...*

Это значитъ, что для него поэзія уже не есть произведеніе впечатлѣній внѣшняго міра, возбуждавшихъ ту или иную реакцію въ его душѣ, а въ самомъ дѣлѣ наитіе какихъ-то невещественныхъ, заоблачныхъ силъ, уносящихъ поэта на седьмое небо. Вслѣдствіе такого воззрѣнія, поэтъ и на все смотритъ фантастическимъ образомъ. Напримѣръ, слезы, по его мнѣнію, опять не просто фізіологическій процессъ, а слѣдствіе какой-то особенной, благодатно-фантастической исторіи, происшедшей съ Адамомъ. Слезы эти понравились Адаму:

*Слезъ врачующую силу
Праотецъ благословилъ
И въ возмездье за могилу
Внука плакать научилъ...*

Видите ли какъ: это, стало быть, дѣло условное, секретъ, который бы могъ составить монополію, если бы внукъ Адамовъ не разболталъ его всѣмъ, а передалъ бы опять-таки одному кому-нибудь изъ своего рода!..

Подобной чепухой занимается поэтъ постоянно и очень серьезно увѣряетъ, что—

*Теряясь въ наслажденьи,
Онъ чувствуетъ, онъ слышитъ въ отдаленьи
Созвучье стройное міровъ.*

Это ужъ совершенно напоминаетъ г. Гербея, у котораго тоже

*Душа утопала въ волшебномъ сіяньи,
Летѣла въ невѣдомый міръ,
И тамъ за хаосомъ, въ дали мірозданья,
Впивала надзвѣздный эфиръ.*

Первое произведеніе, обратившее на г. Подолинскаго вниманіе публики (въ 1827 г.), была поэма «Дивъ и Пери». Это было самое безопасное подражаніе Байрону; основа пьесы—борьба добра и зла—принадлежитъ байроническому направленію, но смягченіе и просвѣтленіе злой силы подъ вліяніемъ добра было очень подъ стать таланту Подолинскаго, и въ этой поэмѣ оказалось дѣйствительно нѣсколько нѣжныхъ, задушевныхъ стиховъ. Вотъ откуда и пошло

преданіе о «блестящихъ надеждахъ», поданныхъ Подолинскимъ въ началѣ его поприща. Эти надежды были уже преданіемъ въ 1834 году и, конечно, еще раньше потерялись бы, или даже вовсе бы не родились, если бь кто-нибудь раньше вздумалъ разсудить: могутъ ли въ поэзіи произвести что-нибудь воображеніе и чувство, направленные совершенно фантастически и оторванные отъ всякой почвы? Какъ только родился этотъ вопросъ, который уже самъ собою подразумѣвалъ отвѣтъ отрицательный, — такъ Подолинскій и уничтожился, исчезъ въ русской литературѣ. Въ 1837 г. появилась его поэма «Смерть Пери», которая несравненно лучше «Дива и Пери»; но на эту поэму никто уже не обратилъ никакого вниманія. Ясно уже было, что мистика не въ состояніи дать живого, удовлетворительнаго содержанія поэзіи; а г. Подолинскій ушелъ въ мистику очень далеко и сдѣлался въ поэзіи чѣмъ-то въ родѣ того, что былъ Кифа Мокіевичъ въ философіи. Онъ спрашивалъ, напр., цвѣты:

Скажите, такъ же ли, какъ люди,
И вы страдаете, цвѣты?
Не бьются-ль сердцемъ ваши груди?
Васъ не волнуютъ-ли мечты? и пр.

Онъ думаетъ о себѣ:

Я прахомъ разсыплюсь, я буду землею,
Но чувство, кто знаетъ, утрачу-ль?
Кто знаетъ, любовью не вздрогну-ль чужой,
Отрадной слезой не заплачу-ль?

Одинъ изъ его героевъ сидитъ съ своей возлюбленной ночью на берегу моря и страшно тоскуетъ. Она его спрашиваетъ, отчего ему такъ тяжело. Онъ говоритъ, что не хочетъ нарушить грустною мыслію своею сладкій сонъ ея души. Но она настаиваетъ. Тогда онъ разражается:

Такъ взгляни-жъ на это море,
Какъ роскошно на просторѣ
Блещетъ тканью золотой,
Озаренное луной!
Что же, если-бъ перлъ вселенной,
Неожиданно, мгновенно,
Мѣсяцъ на небѣ потухъ,
И упалъ на волны вдругъ
Мракъ холодный и угрюмый?..

Съ простой, реальной точки зрѣнія все это очень смѣшно, послѣ подобныхъ стишковъ отъ Подолинскаго для живого наслажденія

денія намъ ждать нечего. Но мы не можемъ разстаться съ нимъ, не сказавши, что любители ратклифовскаго могутъ у него найти весьма дикія легенды, въ родѣ Дѣвичь-Горы и пана Бурлая, патриоты—стихотворенія на француза и на войну, гдѣ говорится между прочимъ о нашихъ врагахъ:

Завидно имъ, что есть держава,
Гдѣ власть — святыня, Царь — любовь,
Гдѣ съ каждымъ вѣкомъ вновь и вновь
Мужаетъ сила, крѣпнетъ слава;
Гдѣ твердо къ благу все идетъ,
Гдѣ было-бъ чуждо, было-бъ ново
Корысти, смуть и страха слово
Что къ намъ ихъ ненависть зоветъ.

Наконецъ, чистые эстетики тоже могутъ быть увѣрены, что почерпнуть своего рода наслажденіе изъ стихотвореній г. Подолинскаго, ибо у него есть эротическія и описательныя пьески, ничѣмъ не уступающія произведеніямъ гг. Захарія Тура, Всеволода Крестовскаго и другихъ самоновѣйшихъ поэтовъ. Существованіе въ наше время подобныхъ поэтовъ и служить лучшимъ оправданіемъ полнаго собранія сочиненій Подолинскаго, изданныхъ очень изящно и продающихся по три цѣлковыхъ.

БЛАГОНАМЪРЕННОСТЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

Повѣсти и рассказы А. Плещеева. Москва 1860. Двѣ части.

Повѣсти г. Плещеева печатались во всѣхъ нашихъ лучшихъ журналахъ и были прочитываемы въ свое время. Потомъ о нихъ забывали. Толковъ и споровъ повѣсти его никогда не возбуждали ни въ публикѣ, ни въ литературной критикѣ: никто ихъ не хвалилъ особенно, но и не бранилъ никто. Большею частью,—повѣсть прочитывали и оставались довольны; тѣмъ дѣло и кончалось...

Указанный нами весьма достовѣрный фактъ говорить, конечно, не въ пользу особенной оригинальности и яркости таланта автора, да и самъ онъ, очевидно, не претендуетъ на эти качества. Слѣдовательно, и мы можемъ уволить себя отъ скучнѣйшихъ эстетическихъ разсужденій о достоинствахъ и недостаткахъ собственно литературнаго таланта г. Плещеева. Мы это дѣлали не разъ и при обзорѣ литературной дѣятельности другихъ писателей: но за иныхъ на насъ вскидывались приверженцы «вѣчныхъ» красотъ искусства, полагающіе, что о произведеніяхъ, напримѣръ, гг. Тургенева и Майкова нельзя разсуждать иначе, какъ прикидывая къ нимъ шекспировскую и дантовскую мѣрку. За г. Плещеева никто, кажется, не подыметъ на насъ: всякій понимаетъ, что смѣшно, говоря объ обыкновенныхъ журнальныхъ рассказахъ, становиться на ходули и, спотыкаясь на каждомъ словѣ, важно возвѣщать автору и читателямъ сбивчивые принципы доморощенной эстетики. Мы полагаемъ, что этотъ беззубый пріемъ неприличенъ также и при разборѣ повѣстей г-жи Кохановской, «Первой Любви» Тургенева, «Тысячи Душъ» г. Писемскаго, и т. п. Но есть господа, слишкомъ уже погрузившіеся въ патріотическую эстетику и полагающіе, что произ-

веденіямъ нашихъ лучшихъ талантовъ можно приписывать великое значеніе съ той же самой точки зрѣнія, съ какой поставляются на удивленіе вѣкамъ творенія Гомера и Шекспира. При всемъ уваженіи къ нашимъ первостепеннымъ талантамъ, мы не считаемъ удобнымъ разсматривать ихъ съ такой точки. и потому, при разборѣ русскихъ повѣстей, стихотвореній и пр., мы всегда старались указывать не на «вѣчное и абсолютное», на вѣки нерушимое художество ихъ, а на тотъ прямой смыслъ, который имѣютъ они для насъ, для нашего общества и времени. Сочинить брошюрку о томъ, что эпосъ Гомера воскресъ въ усовершенствованномъ видѣ въ «Мертвыхъ душахъ», провозгласить Лермонтова Байрономъ, поставить Островскаго выше Шекспира—это все не новость въ русской литературѣ. Да еще и не то бывало: теперь, вѣроятно, уже никто не помнитъ, кто у насъ писалъ историческіе романы лучше Вальтеръ-Скотта, кто у насъ приравнивался къ Гёте, чьи чухоночки гречанокъ Байрона милѣй, кто въ Россіи воскресилъ Корнеля геній величавый, кто на сибѣгахъ возростилъ Θεокритовы нѣжныя розы, и пр., и пр. А все это было провозглашаемо въ русской литературѣ и даже возбуждало споры и толки. Теперь по возможности стараются удерживаться отъ такой смѣшной игры въ имена, но сущность современныхъ эстетическихъ разсужденій о «вѣчныхъ, общечеловѣческихъ, міровыхъ» достоинствахъ нашихъ писателей постоянно напоминаетъ намъ наивность старинныхъ восклицаній о россійскихъ Гомерахъ и нашихъ родныхъ Байронахъ...

Такъ какъ о великомъ міровомъ значеніи таланта г. Плещеева никто не думаетъ, то мы, значить, можемъ быть спокойны, отстраняя отъ себя эстетическій судъ надъ ними и обращаясь къ вопросу, который насъ интересуетъ гораздо болѣе, именно — къ характеру содержанія его произведеній. Г. Плещеевъ написалъ довольно много: передъ нами лежатъ два томика, въ нихъ восемь повѣстей; да тутъ еще нѣтъ «Папироски» и «Дружескихъ совѣтовъ», напечатанныхъ имъ въ 1848 и 1849 г., да нѣтъ «Пашинцева» («Рус. Вѣстн.» 1859 г. № 21—23), «Двухъ Карьеръ» («Совр.» 1859 г., № 12) и «Призванія» («Свѣточъ» 1860 г., № 1—2),—трехъ большихъ повѣстей, напечатанныхъ имъ уже послѣ изданія его книжекъ. Изъ нихъ тоже могло бы составиться почти такихъ же два томика. Все это было прочитано безъ неудовольствія, нѣкоторое время занимало собою извѣстную часть русской публики, наравнѣ съ произведеніями другихъ беллетристовъ, незаслужившихъ подозрѣнія въ гениальности. Что же, сказалось ли что нибудь въ этой массѣ печатной бумаги, имѣетъ ли этотъ десятокъ большихъ и малыхъ повѣстей какое-нибудь отношеніе къ тому, что занимаетъ теперь наше общественное вниманіе? Или это повѣсти просто для упражненія въ процессѣ чтенія, въ родѣ произведеній гг. Каменскаго, Воскресенскаго, Вонлярлярскаго и нѣкоторыхъ новѣйшихъ, имена которыхъ могутъ быть незнамы отчасти и читателямъ «Современника»?..

Намъ пріятно на этотъ вопросъ отвѣчать, что рассказы г. Пле-

Щева никакъ не могутъ быть отнесены къ послѣднему разряду. Элементъ общественный проникаетъ ихъ постоянно, и этимъ отличается отъ множества безцвѣтныхъ разсказовъ тридцатыхъ и пятидесятыхъ годовъ. Тогдашніе разсказы, какъ извѣстно, отличались тѣмъ, что въ нихъ человѣкъ представлялся животнымъ не общественнымъ, а изолированнымъ. Нужно было автору два-три-четыре лица для развитія сюжета,—такъ эти два-три-четыре лица и являлись въ повѣсти, безъ всякаго отношенія къ остальному міру, какъ будто бы они жили на необитаемомъ островѣ, гдѣ все нужное являлось для нихъ по щучьему велѣнію. Для развязки же обыкновенно приводился, неизвѣстно откуда, какой-нибудь таинственный *deus ex machina*, въ родѣ богатаго дядюшки, сердитаго начальника, пожара, наводненія, благодѣтельнаго вельможи, и т. п. Это было, впрочемъ, болѣе въ тридцатыхъ годахъ; въ пятидесятыхъ же обыкновенно герои, заброшенные на необитаемый островъ, сами начинали чувствовать разочарованіе и уѣзжали съ острова, оставляя героинь плакать и сокрушаться: тѣмъ дѣло и кончалось... Всѣ эти продѣлки мало веснулись г. Плещеева, такъ какъ начало его литературной дѣятельности относится къ сороковымъ годамъ,—когда была въ ходу литература Горемыкъ, Бѣдныхъ людей, Петербургскихъ вершинъ и угловъ,—и возобновилась она только въ послѣдніе годы, когда во всей силѣ процвѣтало обличительное направленіе. Во все время жалкой безцвѣтности пятидесятыхъ годовъ г. Плещеевъ не появлялся въ печати и, такимъ образомъ, спасся отъ необходимости бѣжать съ своими героями на необитаемый островъ и остался въ дѣйствительномъ мірѣ мелкихъ чиновниковъ, учителей, художниковъ, небольшихъ помѣщиковъ, полусвѣтскихъ барынь и барышень, и т. п. Мірокъ этотъ знакомъ ему, какъ видно, довольно хорошо и изображается имъ съ полной откровенностью. Въ исторіи каждаго героя повѣстей г. Плещеева вы видите, какъ онъ связанъ съ своей средою — какъ этотъ мірокъ тяготѣетъ надъ нимъ своими требованіями и отношеніями, словомъ—вы видите въ героѣ животное табунное, а не уединенное. Элементъ общественности присутствуетъ въ каждой повѣсти...

Таково главное достоинство разсказовъ г. Плещеева; но нужно признаться, что это достоинство принадлежитъ ему наравнѣ съ очень многими изъ современныхъ беллетристовъ. Что человѣкъ вполнѣ зависитъ отъ общества, въ которомъ живетъ, и что поступки его обуславливаются тѣмъ положеніемъ, въ какомъ онъ находится, — это уже сдѣлалось теперь почти неизбѣжной точкой отправленія для всякаго мало-мальски здравомыслящаго повѣствователя. Далѣе—что устройство нашей общественной среды несовсѣмъ удовлетворительно и что житейскія отношенія наши совсѣмъ не благопріятствуютъ нормальному развитію и свободной здоровой дѣятельности человѣка,—объ этомъ тоже написано у насъ весьма много разсказовъ, даже самыми посредственными беллетристами. Разладъ человѣка, хотя сколько-нибудь порядочнаго, съ окружающею дѣйствительностью сдѣлался

общей темой современной литературы. Въ этомъ предметѣ сходятся всѣ партіи, всѣ направленія, всѣ оттѣнки литературныхъ мнѣній. Возьмете ли вы «Русскій Вѣстникъ» или «Библіотеку для Чтенія», «Сынъ Отечества» или «Моду» — вездѣ одно и то же. Поэтому изображеніе антагонизма честныхъ стремленій съ пошлостью окружающей среды само по себѣ теперь уже недостаточно для привлеченія общаго участія; нужно, чтобъ изображеніе было ярко, сильно, чтобы взяты были новыя положенія, открыты въ предметѣ новыя стороны, — тогда только произведеніе будетъ имѣть прочный успѣхъ, и авторъ выдвинется на замѣтное мѣсто въ литературѣ.

Повѣсти г. Плещеева не выходятъ изъ уровня, который установился вообще для произведеній той школы беллетристовъ, которую, пожалуй, по главному ея представителю, мы можемъ назвать тургеневскою. Постоянный мотивъ ея тотъ, что *«среда заѣдаетъ человека»*. Мотивъ хорошій и очень сильный: но имъ до сихъ поръ не умѣли еще у насъ хорошо воспользоваться. Человѣкъ *«заѣденный средою»* изображался иногда въ повѣстяхъ тургеневской школы довольно живо; но самая *«среда»* и ея отношенія къ человѣку рисовались блѣдно и слабо. Изображеніе *«среды»* приняла на себя щедрина школа, но та взяла только официальную сторону дѣла, да и то (и это главное) — въ проявленіяхъ чрезвычайно мелкихъ. Оттого во всѣхъ нашихъ повѣстяхъ, — обличительныхъ или художественныхъ, все равно, — всегда есть много недоговореннаго и — главное — всегда есть мѣсто двумъ вопросамъ: съ одной стороны — чего же именно добиваются эти люди, никакъ неумѣющіе ужиться въ своей средѣ? а съ другой стороны, — отчего же именно зависитъ противоположность этой среды со всякимъ порядочнымъ стремленіемъ и на чемъ въ такомъ случаѣ опирается ея сила?

Сколько ни подбирай отвлеченностей для рѣшенія этихъ вопросовъ, они не прояснятся, пока не будутъ переработаны въ общемъ сознаніи самые факты общественной жизни, отъ которыхъ зависитъ вся сущность дѣла. Эта переработка фактовъ постоянно совершается въ самой жизни; но для ускоренія и большей полноты сознательной работы общества можетъ быть полезна и беллетристика, и полезна тѣмъ болѣе, чѣмъ больше художественной полноты и силы будутъ имѣть ея образы. До сихъ поръ школа *«разѣдающей среды»* не дала намъ вполнѣ художественныхъ рассказовъ потому именно, что никогда въ ней не являлось полного соотвѣтствія между двумя элементами, изъ борьбы которыхъ слагалось содержаніе повѣсти. Вы видѣли человѣка заѣденнаго; но вамъ не было ярко и полно представлено, какая сила его ѣстъ, почему именно его ѣдятъ и зачѣмъ онъ позволяетъ себя ѣсть: на все это вы находили въ повѣстяхъ развѣ намеки, а никакъ не полные отвѣты. Такимъ образомъ, исполненіе всегда было въ этихъ повѣстяхъ далеко ниже идеи, которая бы могла придать имъ жизненность, и оттого всѣ повѣсти этого рода имѣютъ лишь временный, историческій смыслъ, тотчасъ исчезающій,

какъ скоро въ обществѣ возникаютъ нѣсколько новыя комбинаціи житейскихъ отношеній и новыя требованія отъ жизни.

Теперь покамѣстъ повѣсти, о которыхъ мы говоримъ, читаются, хотя уже и не съ тѣмъ интересомъ, какъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ. Но уже и теперь являются запросы, которымъ герои подобныхъ повѣстей рѣшительно не въ состояніи удовлетворить. У свѣжаго и здравомыслящаго читателя при чтеніи, напр., хоть бы повѣстей г. Плещеева тотчасъ является вопросъ: чего же именно хотятъ эти благонамѣренные герои, изъ-за чего они убиваются? И для разрѣшенія своего вопроса, читатель вникаетъ въ обстоятельства, служащія источникомъ бѣдъ для благородныхъ героевъ. Но тутъ мы не встрѣчаемъ ничего опредѣленнаго: все такъ туманно, отрывочно, мелко, что не выведешь общей мысли, не составишь себѣ понятія о цѣли жизни этихъ господъ. Они горячатся (какъ Костинъ) изъ-за Фредерики Бремеръ и Жоржъ Занда, и тѣмъ навлекаютъ на себя нерасположеніе «среды»; вразумляютъ (какъ Городковъ) высшаго начальника относительно негодности своего ближайшаго начальника, и черезъ то сами попадаютъ въ опалу; вопіютъ (какъ Костинъ опять) о пользѣ обличительной литературы и тѣмъ возстановляютъ противъ себя нужныхъ людей... Изъ всего этого видно, что у нихъ есть добрыя стремленія, есть желаніе, чтобы людямъ было лучше жить на свѣтѣ, чтобы уничтожилось все, что мѣшаетъ общему благу. Но даютъ ли они себѣ ясное понятіе о томъ, что нужно для осуществленія ихъ желаній? Сознаютъ ли они, какія обязанности налагаются на нихъ самихъ, какъ скоро они убѣждаются въ необходимости достиженія той цѣли, которая кажется имъ святою и высокою? Нѣтъ, они постоянно отличаются самымъ ребяческимъ, самымъ полнымъ отсутствіемъ сознанія того, къ чему они идутъ и какъ слѣдуетъ идти. Все, что въ нихъ есть хорошаго, — это желаніе, чтобы кто-нибудь пришелъ, вытащилъ ихъ изъ болота, въ которомъ они вязнутъ, взвалилъ себѣ на плечи и потащилъ въ мѣсто чистое и свѣтлое. Они бы не стали противиться такому переселенію; напротивъ, были бы очень рады. Но надо согласиться, что въ этомъ особенной заслуги съ ихъ стороны нѣтъ, и что если есть люди, лишеныя даже желанія выйти изъ болота, такъ и это еще не даетъ намъ права считать героями тѣхъ, которые *желаютъ* изъ него выбраться.

Намъ скажутъ, что въ Костинѣ, Городковѣ и пр. намъ и не выставляются *герои* и *идеалы*, а просто показывается, какъ жизнь ломаетъ и переламинаетъ иногда своимъ жерновомъ доброе стремленіе, зародыши добра и честности. Но мы и не требуемъ непременно *идеальности*, мы хотимъ только большей *опредѣленности* и *сознательности* въ этихъ лицахъ. И это нужно намъ потому, что мы хотимъ сочувствовать честнымъ лицамъ повѣсти, а между тѣмъ для насъ очень трудно сочувствіе къ людямъ ничтожнымъ, безцвѣтнымъ, пассивнымъ, къ людямъ ни то ни се... Да и самый художественный интересъ повѣсти требуетъ, чтобы въ изображеніи борьбы

выставлялись враги, которыхъ силы уравнивались бы чѣмъ-нибудь. А тутъ — представляется громадное чудовище, называемое «дурною средою» или «пошлою дѣйствительностью», и противъ этого чудовища выводятся какіе-то пухленькіе младенцы, наивные, ничего незнающіе и неумѣющіе, ко всему довѣрчивые и по своему внутреннему безсилію находящіеся дѣйствительно въ полной зависимости отъ окружающей «среды». Скажутъ, что другихъ нѣтъ, что среда-то наша именно такими и дѣлаетъ всѣхъ людей, попадающихъ въ нее. Положимъ. Но въ такомъ случаѣ, что же остается писателю? Остается причислить къ той же «средѣ» и своихъ героевъ и уже относиться къ нимъ точно такъ же отрицательно, какъ относится онъ ко всему, ихъ окружающему. Если наша среда не только сама не хороша, но губитъ и все хорошее, что въ нее попадаетъ, и если дурное начало такъ въ ней сильно, что до сихъ поръ невозможно было выискать достаточно твердаго и дѣятельнаго характера, который бы устоялъ противъ нея и поставилъ на своемъ; если такъ, то ясно, что въ этой средѣ нечего и искать, кромѣ предмета для самой беспощадной сатиры. Такимъ образомъ, отношеніе автора къ своимъ благороднымъ юношамъ будетъ совершенно другое: не сочувствіе мечтательнымъ и неопредѣленнымъ ихъ стремленіямъ будетъ онъ возбуждать въ читателѣ, а скорѣе насмѣшку надъ тѣмъ, что они, кромѣ своихъ отвлеченныхъ фантазій, ничему существенно-полезному не обучаются. Герои г. Плещеева, напр., обыкновенно поступаютъ на службу; тамъ не уживаются или просто не получаютъ хода и удаляются въ отставку. Затѣмъ они пробуютъ литературную работу; но у нихъ таланта не хватаетъ. Послѣ того имъ остается лишь два средства существованія: давать уроки и переписывать бумаги. Больше они ничего не умѣютъ, ни къ чему не способны. Хоть бы веслами работать умѣли, — на Неву или на Волгу перевозчиками бы нанялись, или если бы расторопность была — поступили бы въ дворники, а то мостовую мостить, съ шарманкой ходить, раекъ показывать пошли бы, когда ужъ больно тошно приходится имъ въ своей-то средѣ... Такъ вѣдь ничего не умѣютъ, никуда сунуть носа не могутъ. А тоже на борьбу лѣзутъ, за счастье человѣчества вступаются, хотятъ быть общественными дѣятелями... Да спрашивается, — что они могутъ дѣлать-то, тщедушные и кабинетные люди? Мечтатели они всѣ, а не дѣятели и даже не проектеры. Мечтаютъ-то они очень хорошо, благородно и смѣло; но всякій изъ насъ можетъ сказать имъ: «какое дѣло намъ, мечтаешь ты или нѣтъ?» — и тѣмъ покончить разговоръ съ ними. Разсуждая психологически, конечно, нельзя не уважить прекрасныхъ свойствъ души Костина и Городкова; но для общественнаго дѣла, смѣемъ думать, отъ нихъ такъ же мало могло быть толку, какъ и отъ другихъ юношей, о которыхъ рассказываетъ г. Плещеевъ въ другихъ повѣстяхъ. За что же будемъ мы имъ сочувствовать? Зачѣмъ же писать симпатическіе рассказы объ ихъ мечтахъ и внутреннихъ страданіяхъ, не приводящихъ ни къ чему путному?

За такія жосткія строки насъ, разумѣется, упрекнуть въ неблагодарствѣ и сухости сердца, въ недостаткѣ симпатіи къ высокимъ стремленіямъ и въ фаталистическомъ поклоненіи факту. Мы заранѣе признаемъ справедливость всѣхъ подобныхъ упрековъ и потому продолжаемъ свои объясненія, предавшись судьбѣ.

Да, прекраснымъ стремленіямъ души мы не придаемъ никакого практическаго значенія, пока они остаются только стремленіями; да, мы цѣнимъ только факты, только по дѣйствіямъ признаемъ достоинство людей. Почему мы такъ судимъ, объясняется очень просто. Прекрасными стремленіями мы признаемъ всѣ естественныя, неиспорченныя стремленія человѣческой природы; всѣ прекрасныя стремленія мы признаемъ слѣдствіемъ естественныхъ, нормальныхъ потребностей человѣка. Какъ скоро требованіе искусственно, мы его признаемъ дурнымъ, вреднымъ или смѣшнымъ, какъ бы оно ни было прекрасно и величественно. Ежели правда, что Неронъ сжегъ Римъ, чтобы имѣть живой матеріалъ для описанія пожара Трои, то, при всемъ великолѣпіи подобнаго зрѣлища и при всей эстетичности цѣли, мы будемъ считать подобную фантазію отвратительною, какъ противную нормальной человѣческой природѣ. Такъ точно отвратительны, напр., факирокія истязанія надъ собою, браминское презрѣніе къ паріямъ, кулачное право, и т. п. Потому именно все это и гадко (а въ иныхъ проявленіяхъ и смѣшно), что составляетъ искаженіе человѣческой природы. Сущность природы собственно человѣка опредѣлить вкратцѣ довольно мудрено; но что во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, такъ это ея способность къ развитію. Для того, чтобы имѣть возможность развиваться, она требуетъ избѣжанія всякихъ столкновеній и помѣхъ. А для этого она, очевидно, предписываетъ человѣку не мѣшать и другимъ, потому что иначе онъ и самъ себѣ помѣшаетъ, остановить и стѣснить себя въ своемъ развитіи. Такимъ образомъ, признавая въ человѣкѣ одну только способность къ развитію и одну только склонность къ дѣятельности (какого бы то ни было рода) и отдыху, мы изъ этого одного прямо можемъ вывести — съ одной стороны естественное требованіе человѣка, чтобъ его никто не стѣснялъ, чтобъ предоставили ему пользоваться его личными неотъемлемыми средствами и безмездными, никому не принадлежащими, благами природы, а съ другой стороны — столь же естественное сознаніе, что и ему не нужно посягать на права другихъ и вредить чужой дѣятельности. Это самый простой законъ, по которому птица не старается свить гнѣздо именно на томъ мѣстѣ, гдѣ уже вьетъ гнѣздо другая птица, стадо барановъ спокойно раздѣляетъ между собою лугъ, гдѣ пасется, и т. п. А между тѣмъ къ этому закону и сводятся всѣ стремленія къ независимости, самостоятельности и строгой справедливости, всѣ гуманныя чувства, всѣ антипатіи къ деспотизму и рабству. Все это такія качества, которыя вовсе не составляютъ высшаго, тысячелѣтними цивилизаціи выработаннаго и съ большимъ трудомъ, въ университетахъ, академіяхъ и эстетикахъ добываемаго совершенства. Напро-

тивъ, качества эти *должны* быть присущи каждому человѣку, даже на самой низшей степени развитія. Вспомнимъ хоть Карамзина, нашего незабвеннаго исторіографа: по его словамъ, даже «народы дикіе любятъ свободу и независимость». Что же касается до гуманных чувствъ, т. е. до того, чтобы никому не мѣшать и ни у кого не отнимать ничего.—такъ этотъ принципъ мы даже у хищныхъ животныхъ видимъ: волки не бросаются другъ на друга, чтобы отнять добычу, а предпочитаютъ ее добывать сами; шакалы и гіены ходятъ цѣлыми стаями, и кровопролитныя войны между ними весьма необычны; вообще—воронъ ворону глаза не выклюнетъ.

Но волки овецъ таскаютъ; значить, принципъ нестѣсненія чужой дѣятельности у нихъ слабъ?—Да вѣдь мы не говоримъ, чтобы уваженіе къ чужому и чувство гуманности было (и въ волкахъ и въ людяхъ) слѣдствіемъ какихъ-нибудь возвышенныхъ идей. Мы выводимъ его изъ простаго расчета: «буду лучше свое дѣло дѣлать, чѣмъ другимъ мѣшать; такъ будетъ мнѣ выгоднѣе, и спокойнѣе». На этомъ-то основаніи и волкъ не дерется съ волкомъ, а хватается овцу, еще ни кѣмъ незахваченную, изъ-за которой исторіи быть не можетъ. Это онъ дѣлаетъ вслѣдствіе естественнаго побужденія — голода, такъ же точно, какъ человѣкъ срываетъ цвѣтокъ, удитъ рыбу, убиваетъ и жаритъ себѣ какую-нибудь утку или куропатку. Тутъ не можетъ быть борьбы съ подобнымъ себѣ, нѣтъ враждебныхъ столкновеній съ своей породой,—вотъ о чемъ именно мы говоримъ. Человѣкъ, терпѣливо просидѣвшій цѣлый день за уженьемъ какихъ-нибудь ершей, не захочетъ, однако, стащить рыбу изъ чужого садка, предполагая, что это можетъ кончиться нехорошо. И съ другой стороны человѣкъ, владѣющій садкомъ, можетъ спокойно смотрѣть на чужихъ рыбаковъ, ловящихъ рыбу въ свободныхъ мѣстахъ рѣки, но не останется равнодушнымъ, когда потащутъ рыбу изъ его садка. Тутъ естественное требованіе, чтобы ему не мѣшали и не стѣсняли его правъ, вызываетъ его даже на борьбу,—и здѣсь опять тотъ же расчетъ: чтобы мнѣ не потерять возможности дѣйствовать безпрепятственно и свободно, надо избѣгать всякихъ помѣхъ; но ужъ если помѣха явилась, то надо тотчасъ удалить ее. Иначе вся свобода дѣятельности уничтожается, всякая возможность естественнаго развитія останавливается.

Все это отступленіе мы сдѣлали къ тому, чтобы показать, какъ просты и естественны для человѣка тѣ стремленія и понятія, которыя обыкновенно выставляются въ герояхъ повѣстей нашихъ какъ что-то особенное, высшее, поднимающее ихъ надъ уровнемъ обыкновенной толпы. Если посмотрѣть просто и безпристрастно, то окажется, что желаніе избавиться отъ стѣсненій и любовь къ самостоятельной дѣятельности такъ же точно неотъемлемо принадлежать человѣку, какъ желаніе пить, ѣсть, любить женщину. Было время, когда можно было удивить всякимъ фокусомъ, и люди, по цѣлымъ недѣлямъ лишавшіе себя пищи и питавшіеся только водою, возбуждали удивленіе толпы и считались нравственными феноменами.

Но теперь мы не уважаемъ подобныхъ заслугъ, равно какъ не уважаемъ человѣка и за то, если онъ лишилъ себя способности любить женщину или заглушилъ въ себѣ собственную волю до того, что уже превратился въ автомата, только исполняющаго чужія приказанія. Всѣ подобныя личности и всѣ подобныя продѣлки мы признаемъ искаженіемъ человѣческой природы и нарушеніемъ естественнаго порядка вещей. Значить, нормальнымъ положеніемъ мы признаемъ то, чтобы человѣкъ пилъ, ѣлъ, любилъ женщину, сознавалъ свою личность, стремился къ свободной дѣятельности. Послѣ этого, съ какой же стати требовать отъ насъ симпатіи къ человѣку только за то, что онъ пьетъ и ѣстъ, или ненавидитъ стѣсненіе? Неужели это съ его стороны заслуга, а не естественное, неизбежное требованіе его организма? Человѣку не нравится, когда велятъ дѣлать не то, что онъ хочетъ, и не такъ, какъ онъ хочетъ: какое образованіе, какое душевное величіе нужно для этого—неправда ли!! Подумайте-ка, въ самомъ дѣлѣ: вѣдь онъ чувствуетъ, что ему руки связываютъ, вѣдь ему тяжело, что онъ стѣсненъ, вѣдь онъ желаетъ дѣлать что-нибудь по своему разуму и волѣ!.. Бѣдный благородный юноша или мужъ! Какъ не пролить слезы сочувствія надъ его участью!

И точно, слезы проливались, благородные юноши изображались въ повѣстяхъ десятками и, несмотря на свою очевидную пошлость, занимали собою нашихъ талантливѣйшихъ писателей и въ общемъ мнѣніи признавались за людей весьма способныхъ и нужныхъ. На это были, говорятъ, въ свое время и свои причины; но теперь мы можемъ смотрѣть на дѣло немножко иначе. Требуя отъ людей дѣла, мы строже можемъ допрашивать всякихъ мечтателей, какъ бы ни были высоки ихъ мечтанія; и по допросѣ окажется, что мечтатели эти—весьма ничтожные люди.

«Нѣтъ, неправда! — закричатъ поклонники Гамлетовъ Щигровскаго уѣзда и всѣхъ, имъ подобныхъ: — отчего же, если высокія мечты этихъ героевъ такъ естественны и просты, — отчего же они не раздѣляются цѣлымъ міромъ? Отчего только у немногихъ избранныхъ натуръ проявляются эти стремленія, а большинство не только не понимаетъ ихъ, но даже старается имъ противодѣйствовать? Не есть ли великая заслуга уже и то, что эти мечтатели умѣли понять и усвоить истинныя человѣческія стремленія, тогда какъ все вокругъ ихъ искажено, развращено, предано лжи или совершенно безразлично ко всему?»

Подобные вопросы и замѣчанія приходится слышать очень часто; но всѣ они происходятъ только отъ поверхностнаго взгляда на дѣло. Конечно, можно признать извѣстную долю заслуги въ человѣкѣ, даже и ничего не сдѣлавшемъ для общества, только уже за то, что онъ силою размышленія и самостоятельныхъ наблюденій дошелъ до сознанія ложности того, что всѣми окружающими его выдается за истину. Среди выродившихся субъектовъ человѣческой породы замѣчательнѣе былъ бы экземпляръ, настолько сохранившій въ себѣ

первоначальный типъ человѣчества, что никакими силами нельзя стереть и уничтожить его. О такой личности можно бы написать и любопытную повѣсть, и надъ воспроизведеніемъ или созданіемъ ея могъ бы не безплодно потрудиться самый первостепенный талантъ какого угодно европейскаго народа. Но вѣдь не такія личности видимъ мы въ нашей литературѣ. Намъ не представляютъ внутренней работы и нравственной борьбы человѣка, сознавашаго ложность настоящаго порядка и упорно, неотступно добивающагося истины; новаго Фауста никто намъ и не думалъ изображать, хоть у насъ есть даже и повѣсть съ такимъ названіемъ... Нѣтъ, наши благородные юноши обыкновенно получаютъ свои возвышенныя стремленія довольно просто и безъ большихъ хлопотъ: они учатся въ университетѣ и наслушиваются прекрасныхъ профессоровъ, или въ гимназій еще нападаютъ на молодого пылкаго учителя, или входятъ въ кружокъ прекрасныхъ молодыхъ людей, одушевленныхъ благороднѣйшими стремленіями, свято чтущихъ Грановскаго и восхищающихся Мочаловымъ, или наконецъ читаютъ хорошія книжки, т. е. «Отечественныя Записки» сороковыхъ годовъ. Весьма часто всѣ эти счастливыя случайности сходятся вмѣстѣ и помогаютъ одна другой. Такимъ образомъ развитіе простыхъ человѣческихъ стремленій совершается въ добрыхъ юношахъ безъ особенныхъ героическихъ усилій: имъ хочется ѣсть, имъ со всѣхъ сторонъ говорятъ: пойдѣмте обѣдать, и они идутъ. Вотъ и все.

А отчего же другіе нейдутъ? Отчего изъ людей, точно также учившихся и слышавшихъ прекрасныя наставленія, выходятъ взяточники, фаты, формалисты, мелкіе деспоты, и т. д., и т. д.?

И на эти вопросы легко отвѣтить: отъ глупости, или, лучше сказать, отъ наивности. Видя, что естественная склонность къ самостоятельной, нормальной дѣятельности встрѣчаетъ препятствіе на прямой дорогѣ, всѣ эти люди пробуютъ свернуть съ нея немножко, въ надеждѣ, что, обошедши одно препятствіе, они опять могутъ попасть на свой прежній путь. Расчетъ опять тотъ же: «лучше я обойду, чѣмъ драться и лѣзть на проломъ». Но здѣсь расчетъ оказывается ошибочнымъ, потому что препятствіе не одно, а тысячи ихъ, и чѣмъ далѣе человѣкъ уклоняется отъ первоначальнаго пути, тѣмъ сильнѣе умножаются и препятствія. И онъ уже поневолѣ принужденъ вилять, нырять, наклоняться, перескакивать, топтать, что можетъ, по дорогѣ, и самого себя подставлять подъ всякія мерзости, гдѣ нужно, — чтобы только какъ-нибудь продолжать свое странствіе. Человѣкъ въ наивности своей думаетъ: «заплачу деньги за полученіе мѣста, если нельзя получить иначе; за то я принесу пользу на этомъ мѣстѣ». Но оказывается, что единовременной платой нельзя отдѣлаться, нужны и потомъ расходы, если не въ видѣ прямыхъ денежныхъ приношеній, то въ видѣ разныхъ обѣдовъ, вечеровъ, экстренныхъ распоряженій по должности, и т. п. Для поддержанія этого оказывается нужнымъ дѣлать безвозвратные займы, принимать благодарности, брать взятки; чтобы получать взятки и

благодарности, надо кривить душою въ дѣлахъ, при этомъ необходимо награждать негодяевъ и тѣснить честныхъ людей, и т. д. Такъ и запутывается человѣкъ, при каждомъ шагѣ все-таки думая, что онъ избираетъ наилучшее средство для устраненія помѣхъ и доставленія простора своей дѣятельности.

Благородные юноши, которыми такъ долго и усердно занималась наша литература, не запутываются такимъ образомъ, и потому представляются гораздо выше остальной толпы. Но всмотрѣвшись въ нихъ пристальнѣе, вы найдете, что если они не заблуждаются, такъ это единственно потому, что никуда нейдутъ, а сидятъ все на одномъ мѣстѣ. Они ничуть не проникательнѣе тѣхъ, которые пошли по окольной дорогѣ, ничуть не яснѣе ихъ понимаютъ высокую важность охраненія своихъ человѣческихъ стремленій неприкосновенными отъ постороннихъ помѣхъ, они только—лѣнивѣе. При началѣ жизненнаго поприща у тѣхъ и другихъ одинаково есть желаніе итти прямо, свободно и сознательно къ цѣли полезной и доброй; тѣмъ и другимъ одинаково представляются громадныя препятствія, которыя на первыхъ же шагахъ нужно преодолѣть. И ни тѣ, ни другіе не имѣютъ достаточно бодрости и силы, чтобы прямо начать борьбу съ этими препятствіями: одни хотятъ обойти и, такимъ образомъ, теряютъ изъ виду цѣль и попадаютъ въ отвратительное болото всяческаго разврата, а другіе остаются на мѣстѣ и сидятъ, сложивъ руки, съ презрѣніемъ и желчью отзываясь о тѣхъ, которые ударились въ сторону, и дожидаясь, не явится ли какой-нибудь титанъ да не отодвинетъ ли гору, заслонившую имъ путь. И—что все забавнѣе—эти господа начинаютъ жаловаться не на свою лѣнь и на безсиліе, и даже не на гору, ставшую на ихъ пути, а на своихъ товарищей, отправившихся въ обходъ. И общая людямъ склонность въ дѣятельности выражается въ нихъ тѣмъ, что они нападаютъ на несчастныхъ путниковъ и стараются толкнуть ихъ на прямую дорогу. «Да вѣдь тутъ нельзя итти;—возражаютъ бѣдняки:—такъ мы найдемъ другую дорогу».—Нѣтъ вы должны итти здѣсь!—кричатъ разгорячившіеся юноши, а между тѣмъ и сами нейдутъ, и горы не прокапываютъ, не сравниваютъ, не взрываютъ и не называютъ, нѣтъ ли гдѣ тропинки, по которой бы можно подняться. Они сами ничего не знаютъ, ничего не умѣютъ, къ грубой работѣ неспособны, шумнаго взрыва не вынесутъ ихъ нервы; они ничѣмъ не могутъ помочь путникамъ, кромѣ крика: «не ходите туда, а идите здѣсь»... тогда какъ здѣсь-то и нельзя итти, не прокладывая новой дороги.

«Но все-таки они понимаютъ, что ненужно уклоняться въ сторону, а слѣдуетъ держаться прямой дороги; оттого они никакъ не могутъ попасть въ тину вонючаго болота, въ которое погружаются другіе на окольной дорогѣ: вотъ за что заслуживаютъ они уваженія».

Нимало. Если мы будемъ такъ легко расточать наше уваженіе всѣмъ, кто не дѣлаетъ мерзостей, то принуждены будемъ согласиться со всѣми нелѣпостями г. Ахшарумова, который именно съ этой точки

находить какія-то великія патріархальныя доблести въ Ильѣ Ильичѣ Обломовѣ. Людей *«гордыхъ тѣмъ, что не вредятъ»*, очень много на свѣтѣ; но мы не желаемъ даже г. Ахшарумову наслаждаться такой гордостью. Идиллическія мечты о счастливомъ уединеніи отъ людей — теперь вовсе не кстати. Элементъ общественный вступилъ въ свои права, и мы должны разсматривать себя какъ членовъ общества, обязанныхъ что-нибудь дѣлать для него, такъ какъ иначе мы будемъ ему вредны уже однимъ своимъ тунеядствомъ.

Да и можно ли назвать истиннымъ пониманіемъ и убѣжденіемъ то смутное, робкое полужнаніе, которымъ отличаются доблестные представители лучшихъ стремленій въ нашей литературѣ? По нашему мнѣнію, убѣжденіе и знаніе только тогда и можно считать истиннымъ, когда оно проникло внутрь человѣка, слилось съ его чувствомъ и волею, присутствуетъ въ немъ постоянно, даже безсознательно, когда онъ вовсе о томъ и не думаетъ. Такое знаніе, если оно относится къ области практической, непременно выразится въ дѣйствіи, и не перестанетъ тревожить человѣка, пока не будетъ удовлетворено. Это своего рода жажда, незаглушаемая, неотлагаемая. Когда я мучусь жаждой въ безводной равнинѣ, и вдругъ вижу ручеекъ, то я брошусь къ нему, несмотря на то, что онъ окруженъ колючими кустами, изъ которыхъ выглядываютъ змѣи. Самое худое, что я могу потерпѣть въ этихъ кустахъ, — это смерть: но вѣдь я все равно умру же отъ жажды, стало быть, я ничѣмъ не рискую... Такъ дѣйствуетъ и истинное, живое, полное убѣжденіе: человѣкъ можетъ подвергаться опасности умереть, добываясь его осуществленія; но это ничего не значитъ, — онъ точно также умеръ бы и отъ того, если бы принужденъ былъ заглушить свое убѣжденіе... Найдите же хоть въ комъ-нибудь изъ добрыхъ юношей нашей литературы такую рѣшительность и полноту убѣжденій. Не найдете ни въ одномъ.

Но это бы еще ничего; мы уже сказали, что не требуемъ героизма, а хотимъ только большей сознательности и опредѣленности стремленій въ добрыхъ юношахъ. И этого не находимъ. Они заражены очень высокимъ мнѣніемъ о своей чистотѣ и твердости, и потому никакъ не хотятъ оглянуться вокругъ себя и уразумѣть хорошенько свои отношенія ко всему окружающему. Въ наивности и неумѣлости они не уступаютъ самому простодушному изъ тѣхъ людей, которые всю жизнь идутъ въ сторону отъ прямой дороги, воображая, что — все равно — придутъ къ той же точкѣ. Первое, что представляется въ нашихъ юношахъ, это жалоба на своихъ спутниковъ. Они хотятъ идти прямо, но толпа около нихъ стремится въ сторону и ихъ тащитъ за собою; прямостремительные юноши начинаютъ волноваться и шумѣть на толпу, зачѣмъ она не такъ идетъ, начинаютъ жаловаться на толчки, получаемые ими отъ бѣгущихъ мимо нихъ, утверждаютъ, наконецъ, что нѣтъ возможности идти прямо, ибо толпа не пускаетъ... Но благонамѣренные, прямые юноши не даютъ себѣ труда даже подумать серьезно о томъ, отчего же, однако,

ихъ спутники именно въ этомъ мѣстѣ сворачиваютъ въ сторону? Неужели такъ, по прихоти, безъ всякой причины и надобности? Если бы они задали себѣ этотъ вопросъ, то увидѣли бы, что причина не въ толпѣ идущихъ, а въ препятствіи, стоящемъ на дорогѣ; что прямую дорогу всякій бы охотнѣе выбралъ, если бъ не встрѣтилось на ней особенныхъ неудобствъ, и что вовсе не толпа виновата въ томъ, если прямой путь стремительныхъ юношей затрудняется. Стоило бы немножечко подумать, и всѣ эти жалобы на «среду», на ея неприготовленность, пошлость и злонамѣренность исчезли бы сами собою. Положимъ, что и «среду» похвалить не за что: вмѣсто того, чтобы проложить прямую дорогу, она дѣлаетъ такіе крюки, изъ которыхъ потомъ и выбраться не можетъ: это очень глупо и нерасчетливо. Но вѣдь и юноши-то сами не пролагаютъ дороги, а толкуются на одномъ мѣстѣ, въ бездѣльи и недоумѣніи, сваливая вину на другихъ и даже не понимая, что другіе измѣняютъ прямое направление рѣшительно по той же самой причинѣ, по которой они сами останавливаются. Доблестные юноши мало имѣютъ человѣчества въ груди и смотрятъ на все какъ то официально, при всей видимой враждѣ своей ко всякой формалистикѣ: они воображаютъ, что человѣкъ идетъ въ сторону и дѣлаетъ подлости именно потому, что ужъ это такое его назначеніе, такъ сказать—должность, чтобы дѣлать подлости; а не хотятъ подумать о томъ, что, можетъ быть, этому человѣку и очень бы хотѣлось пройти прямо и не сдѣлать подлости, и онъ очень бы радъ былъ, если бъ кто провелъ его прямой дорогой,—да не оказалось къ тому близкой возможности. Благонамѣренные юноши возстаютъ ужаснѣйшимъ манеромъ, напимѣръ, на взяточниковъ, на дурныхъ помѣщиковъ, на свѣтскихъ фатовъ, и т. п. Все это прекрасно и благородно; но, во-первыхъ, безплодно, а во-вторыхъ—даже и не вполне справедливо. Въ официальной сухости своихъ понятій о людяхъ и въ самообольщеніи собственной гордости, добрые юноши полагаютъ, что только имъ однимъ доступны человѣческія стремленія, а другіе всѣ уже совершенно имъ чужды. Они воображаютъ, что чиновникъ чувствуетъ особенное наслажденіе отъ неправаго разрѣшенія дѣла, что помѣщикъ отъ природы призванъ къ тому, чтобы сѣчь и обременять работами своихъ крестьянъ, что свѣтскій франтикъ бываетъ наверху блаженства, ломая свои ноги еженощно въ теченіе цѣлой зимы и просиживая по цѣлымъ часамъ за своимъ туалетомъ. Юноши никакъ не хотятъ понять того, что все это дѣлается вслѣдствіе общаго человѣческаго стремленія—найти себѣ возможно лучшее положеніе, обезпечить себѣ возможность свободной и покойной жизни. Сдѣлайте такъ, чтобы чиновнику было равно выгодно—рѣшать ли дѣла честно или нечестно,—неужели вы думаете, что онъ все-таки сталъ бы кривить душой, по какому-то темному дьявольскому влеченію натуры? Дайте дѣламъ такое устройство, чтобы «расправы» съ крестьянами не могли приводить помѣщика ни къ чему, кромѣ строгаго суда и наказанія,—вы увидите, что «расправы» прекратятся. Поставьте ка-

кого угодно фата. даже аристократической породы и военного звания, въ такое общество, въ которомъ танцмейстерское совершенство встрѣчается съ насмѣшливой улыбкой, на туалетъ не обращаютъ вниманія и предъявляютъ человѣку болѣе серьезныя требованія: и онъ—даже онъ!—сдѣлается серьезнѣе. Надѣмся, что противъ этихъ положеній спорить не станутъ: о нихъ уже такъ часто и такъ много говорено было въ «Современникѣ», а теперь мы встрѣчаемъ повтореніе тѣхъ же мыслей и въ другихъ изданіяхъ. На такой мысли основана даже цѣлая повѣсть г. Плещеева: «Пашинцевъ», напечатанная въ прошломъ году въ «Русскомъ Вѣстникѣ». Пашинцевъ этотъ — ни то, ни се, «ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ»; есть у него и хорошія наклонности, и не глупъ онъ, и сердце у него доброе, но воспитанъ онъ дурно и фатовства въ немъ много. Пріѣхавши изъ Петербурга въ губернскій городъ, онъ попадаетъ въ идеально хорошую семью и начинаетъ серьезно работать надъ своимъ развитіемъ; но, познакомившись съ обществомъ губернскимъ и получивъ тамъ нѣкоторые успѣхи, онъ опять тонетъ въ его грязи и пошлости. Въ заключеніи здравомысль повѣсти, г. Заборскій, повторяетъ о немъ старую пѣсню,—что его «среда заѣла». Мы противъ этого и не споримъ; мы требуемъ только продолженія и распространенія этой мысли. Пашинцевъ, какъ и множество другихъ героевъ повѣстей этого рода, вовсе не представляетъ феномена; вся среда, заѣдающая его, состоитъ именно изъ такихъ же людей, какъ и онъ самъ: у всѣхъ есть добрыя наклонности, но нѣтъ инициативы въ характерѣ, нѣтъ рѣшимости на самостоятельную дѣятельность. Теперь обратитесь же къ каждому изъ членовъ этой «среды» съ вопросомъ г-жи Простаковой: портной учился у другого, другой у третьяго, и т. д.... То-есть, одного заѣла среда, другого среда, третьяго среда, да вѣдь изъ этихъ — одного, другого, третьяго—среда-то и состоитъ; кто же или что же сдѣлало ее такою заѣдающею? Въ чемъ главная-то причина, корень-то всего? Намъ кажется, что благородные юноши, нейдущіе по дурной дорогѣ, а стоящіе на одномъ мѣстѣ, прежде всего, на досугѣ, должны были бы объ этомъ подумать и сообразно съ тѣмъ расположить свои дѣйствія, или, по крайней мѣрѣ, свои наставленія путникамъ, сворачивающимъ въ сторону.

Между тѣмъ, юноши вовсе объ этомъ не думаютъ, и вымещаютъ свой гнѣвъ на первомъ встрѣчномъ. Въ другой повѣсти г. Плещеева, «Благодѣяніе», это выражается довольно хорошо. Прекрасный юноша Городковъ принятъ на службу и облагодѣтельствованъ важнымъ лицомъ; у важнаго лица правитель канцеляріи — Юконцовъ, взяточникъ и негодяй; этотъ Юконцовъ дѣлается ближайшимъ начальникомъ Городкова и начинаетъ ему пакостить. Городковъ, въ своей наивности воображающій, что важное лицо и благодѣтель его только по невѣдѣнію терпитъ при себѣ такого человѣка, какъ Юконцовъ, принимается *вразумлять* благодѣтеля на счетъ Юконцова. Понятно, что изъ этого выходитъ. Затѣмъ благодѣтель хочетъ выдать за Го-

родкова свою отцвѣтшую любовницу и дѣлаетъ ему это предложеніе черезъ Юконцова же. Городковъ ругаетъ Юконцова и говоритъ: «не можетъ быть, чтобъ генералъ былъ такъ низокъ и безсовѣстенъ; это вы сами выдумали нарочно». Разумѣется, все это передается генералу, и вслѣдъ за тѣмъ Городковъ выгоняется изъ службы и умираетъ отъ чахотки. Спрашивается: какая же причина его гибели? Его же собственная наивность. Вольно же ему было предполагать, что благодѣтель его такъ добръ и глупъ вмѣстѣ, вольно ему было видѣть препятствіе для своей честности въ Юконцовѣ, который вовсе не былъ настоящимъ самостоятельнымъ препятствіемъ, а былъ (пожалуй, и не теперь, а гораздо прежде, но все-таки былъ) такимъ же несчастнымъ путникомъ, принужденнымъ — или остановиться въ началѣ пути, или уклониться въ окольные дорожки, такъ какъ прямая дорога была заставлена.

«Такъ, значить, надо считать главнымъ препятствіемъ это важное лицо, благодѣтеля Городкова»?.. Боже мой, какой наивный вопросъ!.. Неужели нужно отвѣчать на него?.. Нѣтъ, нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ: благодѣтель Городкова тоже долженъ быть отнесенъ къ несчастнымъ и неразумнымъ путникамъ, — и не только онъ, но и его начальникъ, и начальникъ его начальника, и всякій человѣкъ вообще, вся среда...

Кто же виноватъ во всемъ этомъ, гдѣ же коренное начало всѣхъ этихъ помѣхъ, толчковъ и безпокойствъ?

А гдѣ начало толчковъ, которые вы получаете въ узкомъ переулкѣ, выводящемъ къ какой-нибудь ярмарочной площади? — Не виноватъ тутъ никто: васъ толкаетъ и тѣснитъ одинъ, потому что его тѣснитъ другой, а того третій. Но вся причина въ томъ, что къ ярмарочной выставкѣ всѣ спѣшатъ, а улица тѣсна... Хотите не испытывать толчковъ въ своемъ путешествіи для закупокъ нужныхъ вамъ вещей? Не деритесь по напрасну съ людьми, бѣгущими вмѣстѣ съ вами, — а постарайтесь устроить, вмѣсто кратковременной ярмарки, постоянный торгъ, да сдѣлайте улицу пошире. Тогда и не будетъ никакой давки, и «среда» перестанетъ обременять насъ.

Но чтобъ устроить такой торгъ, надо имѣть капиталъ, и довольно большой; а юноши наши тѣмъ-то и плохи, что ихъ одолѣла всяческая скудость и нищета. Недостатку *большого* капитала еще можно бы помочь: не даромъ у насъ нынче развились акціонерныя компаніи и все дѣлается на паяхъ и въ складчину. Но, къ несчастью, этимъ бѣднякамъ и въ складчинѣ-то участвовать нечѣмъ: ничего-то они не умѣютъ, ничего не знаютъ, ни на что не годятся. Ежели ихъ дожидаться, то придется капиталъ составлять медлениѣ, чѣмъ Акакій Акакіевичъ скапливалъ деньги на шинель. Вмѣстѣ съ прекрасными желаніями, въ нихъ господствуетъ такая вялость, запуганность, такое младенчество возрѣнія, что на нихъ столько же мало надежды въ практическомъ отношеніи, какъ и на пустѣйшихъ фатовъ и закоренѣлыхъ взяточниковъ. У г. Плещеева (мы беремъ примѣры только изъ его повѣстей, но могли бы привести и много

другихъ), напимѣрь, Костинъ — чего, кажется, добродѣтели? А между тѣмъ, припомните эту повѣсть (она была въ «Современникѣ»): какая наивность, какое незнаніе жизни, какая неопредѣленность въ средствахъ и цѣли, и какая бѣдность средствъ у этого прекраснаго, безукоризненнаго юноши!.. Онъ умираетъ въ чахоткѣ (безукоризненные герои у г. Плещеева, подобно какъ у г. Тургенева и другихъ, умираютъ отъ изнурительныхъ болѣзней), ничего нигдѣ не сдѣлавши; но мы не знаемъ, что бы могъ онъ дѣлать на свѣтѣ, если бы даже и не подвергся чахоткѣ и не былъ непрерывно заѣдаемъ средою. Намъ пришло въ голову: что если бы Костина поселить въ Англіи, не давши ему, разумѣется, готоваго содержанія, что бы онъ сталъ тамъ дѣлать, на что бы годился?.. По всей вѣроятности, и тамъ умеръ бы съ голоду, если бы не нашелъ случая давать уроки русскаго языка... Да тамъ о немъ и не пожалѣли бы, потому что людей, одаренныхъ благонамѣренностью, но не запасшихся мужествомъ и средствами для осуществленія своихъ благихъ намѣреній, тамъ давно уже перестали цѣнить.

Признаемся, мы бы не стали всего этого говорить по поводу повѣстей г. Плещеева, если бы видѣли, что онъ самъ не возвышается надъ поклоненіемъ благонамѣренности своихъ героевъ. Но мы замѣтили въ немъ и другое, болѣе простое и правильное отношеніе къ нимъ, въ которомъ уже обнаруживается требованіе дѣла, а не однихъ желаній и надеждъ. Если г. Плещеевъ съ преувеличенною симпатіей рисуеъ намъ своихъ Костиныхъ и Городковыхъ, такъ это, конечно, зависитъ отъ того, что другихъ, болѣе выдержанныхъ практически типовъ, въ томъ же направленіи, до сихъ поръ еще не представляло русское общество. Что же дѣлать? Недавно мы видѣли, какъ одинъ изъ талантливѣйшихъ нашихъ писателей пробовалъ созданіе дѣльнаго, практическаго характера, и какъ ему мало удалось это созданіе, несмотря на то, что онъ взялъ еще не русскаго человѣка и далъ ему такую цѣль жизни, которая представляла полную возможность наполнить его исторію самой живой дѣятельностью... Видно, еще не пришло время созданія дѣятельныхъ и твердыхъ и въ то же время честныхъ характеровъ въ нашей литературѣ. Но оно приближается: самыя попытки доказываютъ это, какъ бы онѣ ни были неудачны. А съ другой стороны о томъ же самомъ свидѣтельствуетъ и распространеніе ироническаго воззрѣнія на всѣхъ «лишнихъ людей», которымъ такъ много симпатизировали прежде.

Это ироническое отношеніе замѣчаемъ мы и во многихъ повѣстяхъ г. Плещеева. Его герои вообще раздѣляются на три разряда: одни умираютъ отъ чахотки,—это лучшіе (смотри выше); другіе спиваются съ кругу,—это тоже не совсѣмъ дурные; третьи устраиваются такъ-себѣ, женятся на богатыхъ, успѣшно служатъ, и т. п.,—это ужъ совсѣмъ пустые. Собственно говоря, если смотрѣть съ общественной точки, то между этими тремя разрядами разницы оказывается мало: всѣ бездѣльнычаютъ,—не столько потому, что нельзя ничего дѣлать, сколько потому, что лѣнны и ничего не умѣютъ, и всѣ губятъ

себя и тѣхъ, кто ихъ любить, не по злости и не съ намѣреніемъ, а просто по невинности разсудка и по безхарактерности. Поземцевъ (въ повѣсти «Призваніе»), принадлежащій къ послѣднему разряду, женится и губить свою жену, грубымъ образомъ заводя связь съ какой-то кокеткой и дѣлая женѣ безсовѣстные упреки; Будневъ, второго разряда, точно также безтолково женится и губить свою жену тѣмъ, что влюбляется въ какую-то дѣвчонку, на которую тратится, скрываетъ отъ жены причину своихъ долгихъ отлучекъ, своей печали и, наконецъ, запиваетъ горькую. Такъ точно Пашинцевъ (удостоенный авторомъ даже несчастной смерти) разстраиваетъ семейное счастье, принявшись «развивать» и привязавши къ себѣ дѣвушку, къ которой самъ ничего не чувствовалъ и которая была уже невѣстой другого; то же самое дѣлаетъ и Ивельевъ, принадлежащій къ самому послѣднему разряду (въ «Шалости»). Положимъ, что Ивельевъ это дѣлаетъ просто отъ бездѣлья, изъ празднаго любопытства, а Пашинцевъ съ долею искренняго убѣжденія, что онъ принесетъ пользу дѣвушкамъ; но результаты-то одни и тѣ же. Какъ видите, если сдѣлать *résumé* изъ повѣстей г. Плещеева, то выйдетъ, что хорошо толкующіе и благонамѣренные юноши не могутъ даже «гордиться тѣмъ, что не вредятъ». Костинъ, Городковъ, Заборскій, правда, не дѣлаютъ того, что другіе; но и они по неумѣнью соображать свои средства съ предстоящимъ имъ дѣломъ, тоже скорѣе способны вредить тѣмъ, кто ихъ любить, нежели приносить пользу. Костинъ, напримѣръ, совершенно безвинно сдѣлался причиной страданій бѣдной женщины, полюбившей его, жены того помѣщика, у котораго былъ онъ учителемъ дѣтей: и бѣда была не въ томъ, что она полюбила его, а въ томъ, что онъ ничего не могъ для нея сдѣлать, не могъ даже убѣжать куда съ нею, такъ какъ самъ не имѣлъ ни пристанища, ни копѣйки, да и никакого таланта за душою.

Разумѣется, если разсуждать психологически, то мы никакъ не поставимъ Костина на одну доску съ какимъ-нибудь Поземцевымъ или даже Пашинцевымъ. Какъ можно! Но въ отношеніи къ дѣлу отъ нихъ отъ всѣхъ, по нашему мнѣнію, одинъ толкъ. Вотъ почему намъ пріятно то отрицательное, насмѣшливое отношеніе автора къ подобнымъ героямъ, какое мы видимъ въ «Шалости», въ «Наслѣдствѣ», въ «Призваніи» и др. Намъ кажется только, что такое отношеніе надобно еще распространить... Намъ теперь вовсе не нужны люди съ хорошими мечтами и съ идиллическими ожиданіями. Мы прожили довольно, стали нѣсколько опыты и сами уже большею частью понимаемъ, что хорошее—хорошо, а дурное—дурно. Руководителей для этого намъ ненужно. Даже для искорененія общественныхъ неправдъ не такъ уже нужно слово убѣжденія, какъ нужно практическое пособіе. Мошенничать, обманывать, извиваться, ползать, топтать другихъ и каждую минуту бояться за себя, чтобъ тоже не затоптали,—это никому не можетъ быть пріятно, за это никто не станетъ особенно держаться. Поэтому нечего кричать лю-

дѣлѣ: не ползите, а идите прямо, не купайтесь въ лужѣ, не ѣшьте гнилаго хлѣба: это всякій радъ сдѣлать и безъ насъ. А нужно позаботиться, чтобы выровнять дорогу, заготовить свѣжаго провіанта. Иначе самые искренніе, благонамѣренные крики будутъ имѣть то же значеніе, какъ и фразистая поддѣлка подъ филантропію, и какой-нибудь современный Костинъ рискуетъ быть поставленъ на одну доску съ г. Кокоревымъ: отъ воззваній того и другого польза одинаковая.

Нечего опасаться, что практическія начинанія дѣльныхъ людей встрѣтятъ противодѣйствіе въ «средѣ». Среда эта, по преимуществу состоящая изъ людей добродушныхъ, спокойныхъ и даже отчасти апатичныхъ, довольно живо и вѣрно изображена во многихъ повѣстяхъ г. Плещеева, даже чисто-анекдотическаго характера. Изъ всѣхъ этихъ рассказовъ, сценъ и описаній этого простого быта безъ всякихъ претензій можно видѣть, что, при всей видимой апатіи и неразвитости этихъ людей, есть у нихъ что-то гнетущее, отъ чего они хотѣли бы избавиться, есть смутное сознаніе неудовлетворительности своего положенія. Уже одна возможность такихъ исторій, какъ описана въ повѣсти «Отецъ и дочь», съ казначеемъ, у котораго начальникъ взялъ казенныя деньги безъ расписки и потомъ отрекся, — или хотѣ такихъ, какъ въ «Чиновницѣ», гдѣ назначеніе чиновника на мѣсто зависитъ отъ горничной жены важнаго начальника, — одна возможность такихъ происшествій должна пробуждать чувство положительнаго недовольства. Никакого сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что всѣ эти «отсталые, невѣжественные, закоснѣлые въ рутинѣ», и пр., и пр., люди, какъ ихъ честятъ прогрессивные юноши, съ радостью примутъ все, что можетъ имъ представить прочныя гарантіи въ общественной жизни и возможность не мошенничая пользоваться ея благами. Только не накидывайтесь на нихъ безъ всякаго права и резона, не требуйте отъ нихъ того, за что не можете вознаградить ихъ. У нихъ нѣтъ самоотверженія, нѣтъ и инициативы: въ этомъ ихъ горе, ихъ вина, если хотите. Но вѣдь инициативою-то въ своемъ характерѣ и вы не можете похвастать, о добродѣтеляхъ и благонамѣренныхъ юноши, выставленные намъ на показъ нашей литературою! Самоотверженіе ваше тоже болѣе отрицательное и пассивное, такъ что мы значительную долю его приписываемъ лѣни, обломовщинѣ. Вы не лѣзете за неправымъ стяжаніемъ и почетомъ, за чинами, орденами и отличіями, за домами и деревнями: такъ, — да вѣдь вы и ни за чѣмъ не лѣзете. Конечно, Тентетниковъ не ѣздитъ покупать мертвыхъ душъ, какъ Чичиковъ; да онъ, если бы и захотѣлъ, такъ не могъ и не сумѣлъ бы этого сдѣлать: онъ и въ своемъ-то имѣніи не выдержалъ, упрыгался на первыхъ же порахъ и прекратилъ всякій надзоръ надъ работами. Что же тутъ за самоотверженіе? Этакимъ-то самоотверженіемъ Обломовъ и выработалъ себѣ свой характеръ.

Да, перечитывая повѣсти г. Плещеева, мы всего болѣе рады были въ нихъ вѣянію этого духа сострадательной насмѣшки надъ

платоническимъ благородствомъ людей, которыхъ такъ возносили иные авторы. Начальные типы пустыхъ либеральчиковъ, безъ всякаго уже сочувствія къ нимъ, набросаны уже были въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ г. Тургенева. Но у г. Тургенева эти господа были постоянно второстепенными лицами и какъ бы оттѣняли собою главныхъ героевъ, которые уже истинно проникнуты благонамѣренностью и дѣйствительно «заѣдены средою», въ родѣ того, какъ Паншинъ при Лаврецкомъ или Пигасовъ при Рудинѣ. У г. Плещеева эти лица—главныя, они составляютъ часто основу и цѣль повѣсти, и изъ ихъ изображеній все болѣе выясняется требованіе дѣла и дѣла, вмѣсто громкихъ словъ, младенческихъ мечтаній, несбыточныхъ надеждъ и вѣрованій.

Было одно время, когда воспѣвалась любовь къ женщинѣ, и надъ страданіями платоническихъ любовниковъ читательницы проливали слезы, а читатели меланхолически задумывались. Потомъ стали смѣяться надъ платонической любовью, и платоническія горести ни въ комъ уже не встрѣчали особеннаго сочувствія. Какимъ-то страннымъ случаемъ дѣло повернулось у насъ на общественные вопросы, и вотъ мы двадцать лѣтъ читали повѣсти и романы, въ которыхъ воспѣвалась *платоническая любовь къ общественной дѣятельности*, платоническій либерализмъ и благородство. Надъ этимъ новымъ платонизмомъ тоже проливали слезы и задумывались; но пора очнуться и отъ этого. Если платонизмъ въ женской любви смѣшонъ, то въ тысячу разъ смѣшнѣе платонизмъ въ любви къ родинѣ, къ народу, къ правдѣ, и пр.

Мы надѣемся, что слова наши не покажутся никому странными и непонятными: въ то время, когда все проникнуто стремленіемъ къ положительности и реализму, можно ожидать одобренія мысли о томъ, что платоническая, бездѣятельная, плаксивая и отвлеченная любовь къ общему дѣлу никуда не годится. Можно, кажется, надѣяться и на то, что наши будущіе талантливые повѣствователи дадутъ намъ героевъ съ болѣе здоровымъ содержаніемъ и дѣятельнымъ характеромъ, нежели всѣ платоническіе любовники либерализма, являвшіеся въ повѣстяхъ школы, господствовавшей до сихъ поръ.

Перефразы. Стихотворения Обличительного поэта. Спб. 1860 г.

Пустота, блѣдность, мелочность и отсутствіе искренности въ современной русской поэзіи—въ послѣднее время особенно ясно обнаружались у насъ въ особомъ родѣ стихотворныхъ произведеній, который годъ отъ году все болѣе распространяется. Этотъ особый родъ—нѣчто среднее между подражаніемъ и пародіей, хотя часто и безъ претензіи на значеніе пародіи. Стихотвореніями подобнаго рода наполнены теперь всѣ наши журналы, какъ юмористическіе, такъ и серьезные: вся разница въ томъ, что они печатаютъ пустенькіе стишки безъ поэзіи, вполнѣ сознавая ихъ отрицательный смыслъ, а другимъ этого сознанія недостаетъ. Оттого, напримѣръ, Пр. Вознесенскій, Знаменскій, Гейне изъ Тамбова, Амосъ Шишкинъ, Обличительный поэтъ, и пр., и пр., не имѣютъ претензій на поэтическое творчество: ихъ дѣло—перефразировка и пересмѣиванье общихъ мѣстъ и всякихъ нелѣпостей, забравшихся въ поэзію; а гг. Аполлонъ Капелькинъ, Апухтинъ, Крестовскій, Лиліеншвагеръ, Розенгеймъ, Зоринъ, З. Туръ, Случевскій, Кусковъ, Пилянкевичъ, Вейнбергъ, Кроль, Поповъ, и пр., и пр.,—полагаютъ навѣрное, что они, между прочимъ, горятъ небеснымъ огнемъ и призваны повѣдать міру нѣчто художественное. Можетъ быть, современемъ они и дѣйствительно что-нибудь повѣдаютъ, такъ какъ они всѣ только еще начали свою литературную карьеру, на нашей памяти; но мы не хотимъ заглядывать въ будущее, а говоримъ о настоящемъ. Въ настоящемъ же трудно рѣшить, кому отдать преимущество—этимъ ли добродушнымъ юношамъ, серьезно и искренно творящимъ свои стихи, или тѣмъ господамъ, которые не занимаются версификаціею иначе, какъ на смѣхъ. У тѣхъ и другихъ замѣчаемъ мы отсутствіе душевнаго жара, недостатокъ страсти и убѣжденія, много чужого, ничего собственнаго; тѣ и другіе одинаково повторяютъ зады, тѣ и другіе одинаково ненужны, бесполезны, ничтожны. У однихъ, правда, можно замѣтить (если очень внимательно и снисходительно всматриваться) порывъ къ чему-то, желаніе что-то выразить, хоть и неудачное желаніе, но все-таки искреннее; но за то у другихъ видно большее уваженіе къ требованіямъ здраваго смысла и значительно меньшая склонность удаляться отъ простыхъ понятій и чувствъ обыкновенныхъ смертныхъ. Притомъ же послѣдніе и тѣмъ хороши, что никого не вызываютъ на эстетическую критику и не повергаютъ въ мечтательное настроеніе духа. Словомъ, мы, по своему личному вкусу, склонны къ тому мнѣнію, что ужъ если писать стихи, какими въ послѣдніе годы наполнялись всѣ наши журналы, то ужъ лучше всего писать ихъ на смѣхъ, или, по крайней, мѣрѣ съ примѣсью ироніи.

Отчего вдругъ такое строгое осужденіе нашимъ стихотворцамъ,

изъ которыхъ иныхъ самъ же «Современникъ» не разъ поощрялъ и пускалъ въ ходъ? Такой вопросъ можетъ прійти въ голову многимъ читателямъ, и мы считаемъ нелишнимъ объяснить.

Записные любители литературы, слѣдящіе за всѣми ея мелочами, помнятъ, конечно, что около 10 лѣтъ, почти тотчасъ послѣ того, какъ перестали печататься въ «Отечественныхъ Запискахъ» посмертныя стихотворенія Кольцова и Лермонтова, т. е. съ 1844 или 1845 года, въ нашихъ журналахъ стихотворенія почти не печатались; исключеніе составлялъ одинъ «Москвитянинъ». Съ 1854—55 г. опять стихи сдѣлались почти необходимостью каждой журнальной книжки. Искать причину такого мелкаго явленія въ міровыхъ событіяхъ, конечно, немножко забавно; но, кажется, міровыя событія дѣйствительно тутъ не совсѣмъ въ сторонѣ. Дѣло въ томъ, что художественный, младенчески-беззаботный и граціозно-ребяческій періодъ нашей поэзіи былъ ужъ завершёнъ Пушкинымъ: Лермонтовъ не выказалъ вполнѣ своихъ силъ и до конца жизни не умѣлъ, что называется, стать на свои ноги, потому и не могъ образовать новаго направленія; Кольцовъ остается особнякомъ до сихъ поръ: его оригинальные опыты оказались тоже недостаточно сильными, чтобы повернуть нашу лирику на новый путь. Послѣ нихъ нуженъ былъ поэтъ, который бы умѣлъ осмыслить и узаконить сильные, но часто смутные и какъ будто безотчетные порывы Кольцова, и вложить въ свою поэзію положительное начало, жизненный идеалъ, котораго не доставало Лермонтову. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что естественный ходъ жизни произвелъ бы такого поэта; мы даже можемъ утверждать это, не какъ предположеніе или выводъ, но какъ совершившійся фактъ. Но, къ сожалѣнію, наступившія вслѣдъ за тѣмъ событія уничтожили всякую возможность высказаться и развиваться въ новомъ талантѣ тому направленію, которое съ двухъ разныхъ сторонъ, послѣ Пушкина, пробивалось у насъ въ Кольцовѣ и Лермонтовѣ. Общественная жизнь остановилась; вся литература остановилась; естественно, что и лирика должна была остановиться. И въ самомъ дѣлѣ, немного можно насчитать стихотвореній изъ того времени, которыя бы не составляли болѣе или менѣе красиваго перифраза пушкинскихъ мотивовъ, или же попытокъ въ гейневскомъ родѣ,—а сущность поэзіи Гейне, по понятіямъ тогдашнихъ стихотворцевъ нашихъ, состояла въ томъ, чтобы сказать съ римами какую-нибудь безсвязицу о тоскѣ, любви и вѣтрѣ. Сначала это казалось временнымъ и случайнымъ безсиліемъ, происходящимъ отъ небойкости наличныхъ поэтическихъ дарованій и отъ узости ихъ воззрѣній на свое призваніе; тогда думали исправить ихъ критикой и насмѣшкой. Читатели «Современника» припомнятъ, можетъ быть, пародіи, появлявшіяся въ немъ съ самаго начала 1847 года. Но года черезъ три оказалось, что и пародировать нечего: пустота содержанія въ лирикѣ дошла до того, что превосходила всякую пародію. И, что всего хуже, ясно было что причина этой пустоты кроется гораздо глубже, нежели въ литературныхъ талантахъ и воз-

зрѣніяхъ того или другого автора: она скрывалась въ томъ, что въ самой жизни какъ будто замерло или затаилось все, на что могъ бы могучимъ и живымъ звукомъ отозваться поэтъ. Тогда литераторы и журналисты разсудили, каждый про себя, но совершенно согласно другъ съ другомъ.—что не стоитъ и печатать мертвыхъ и затхлыхъ стиховъ, если нельзя печатать сколько-нибудь путныхъ произведеній. Дѣло совершенно понятное, точно такъ, какъ вполне понятно и то, почему «Москвитянинъ» въ эту эпоху составлялъ исключеніе и набивалъ каждую книжку множествомъ стихотвореній: его поприще нисколько не стѣснялось общимъ состояніемъ литературы; онъ печаталъ стихи г. Шевырева, М. Дмитриева, Ѳ. Миллера, Н. Берга, и т. п. Гг. Фетъ и Языковъ также въ это время печатались въ «Москвитянинѣ»; къ нимъ подѣ-стать являлись по временамъ и другіе. Въ прочихъ же журналахъ появлялось обыкновенно развѣ по три-четыре стихотворенія въ годъ, и то почти исключительно съ именами Фета и Майкова, которые тутъ-то и утвердили свою репутацію. Въ 1850 году г. Щербина оживилъ-было нѣсколько дѣтскій театръ нашей поэзіи нѣсколькими новыми маріонетками; но тѣ очень скоро потеряли занимательность.

Въ 1844—55 гг. русская жизнь была такъ сильно встряхнута нѣсколькими радостными и горестными событіями, что перенести ихъ молча было невозможно. Литература заговорила, публика стала слушать; стихи полились вслѣдъ за прозой, на нихъ стали обращать вниманіе. Ихъ всегда было много, но прежде на нихъ и смотрѣть не стоило; теперь они касались или могли касаться того, что всѣхъ занимало: нельзя было совсѣмъ пренебрегать ими. Во множествѣ вещей рутинныхъ, вялыхъ и нелѣпыхъ попадались, однакоже, и пьески, обнаруживающія живое чувство и свѣтлую мысль: эти пьески должны были явиться въ свѣтъ, а своимъ появленіемъ онѣ, разумѣется, прокладывали дорогу и другимъ. Съ расширеніемъ круга предметовъ, доступныхъ вообще литературѣ, расширялся и кругъ содержанія лирической поэзіи: теперь опять стало можно ожидать появленія мощнаго таланта, который охватитъ весь строй нашей жизни, согласитъ съ нимъ свой напѣвъ и поставитъ свою поэзію въ уровень съ живою дѣйствительностью. А въ ожиданіи такого поэта стали внимательнѣе присматриваться ко всему, въ чемъ можно было предполагать хоть какіе-нибудь задатки дарованія: извѣстно, что когда чего-нибудь нетерпѣливо ждешь, то при малѣйшемъ шорохѣ предполагаешь приближеніе ожидаемаго предмета.

Таково, по нашему мнѣнію, естественное основаніе для печатанія множества посредственныхъ стишковъ, появляющихся въ нашихъ журналахъ; это явленіе имѣетъ нѣкоторую аналогію съ тѣмъ реторическимъ движеніемъ, которое, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, такъ шумно давало себя чувствовать возгласами о нашемъ быстромъ прогрессѣ и о «настоящемъ времени, когда», и пр. Но множество разрушенныхъ иллюзій должно, наконецъ, научить человѣка быть менѣе наивнымъ; для того, чтобы это наученіе ускорилося, весьма полезны

стихотворенія похуже, да и старается ихъ исказить еще больше. Напр., у г. Фета есть пренелѣпное стихотвореніе:

Буря на небѣ вечернемъ,
Моря сердитаго шумъ,
Буря на морѣ, и думы,
Много мучительныхъ думъ, и пр.

Само по себѣ, это стихотвореніе—пародія; его иначе никто и не приметъ, какъ за написанное на смѣхъ (если не предупредить, разумѣется, что тутъ бездна поэтическихъ красотъ). Обличительный поэтъ пишетъ на это пародію:

Звѣзды на небѣ вечернемъ;
Робкій волнуется умъ...
Волны на морѣ и думы —
Много мучительныхъ думъ;
Пьянство ночное въ трактирѣ,
Рѣзкій вакхическій шумъ;
Звѣзды, и волны, и думы —
Хоръ возрастающихъ думъ.

Неужели стоило нарочно придумывать чепуху, ничуть не болѣе яркую, чѣмъ та, для осмѣянія которой она придумана?

Такова большая часть стихотвореній Обличительнаго поэта: они вялы и робки. Напримѣръ, въ двухъ или трехъ пьесахъ онъ пародируетъ г. Бенедиктова: извѣстно, какія метафоры и тропы употребляетъ этотъ поэтъ. Въ пародіи на него желательна такая смѣлость, которая бы презирала всѣ требованія здраваго смысла и заботилась только о трескотнѣ фразы: пародіи же Обличительнаго поэта далеко не достигаютъ даже той смѣлости, какою отличается и самъ г. Бенедиктовъ, сочиняющій свои стихи не на смѣхъ, а очень серьезно.

Въ «Перепѣвахъ» есть пародіи и на греческія стихотворенія Щербины, и на пѣсни его о природѣ, и на философическій родъ Огарева, и на еврейскія пѣсни Мея, и на римскіе очерки Майкова—не говоря уже о Фетѣ, доставившемъ Обличительному поэту странную канву. Но рѣдкія пародіи имѣютъ цѣну сами по себѣ, какъ забавныя стихотворенія; а какъ обличенія названныхъ стихотворцевъ, кому же онѣ теперь нужны? Всѣ почти пьесы, перепѣтыя Обличительнымъ поэтомъ, давнымъ давно забыты даже любителями, не говоря о большинствѣ публики. Бесплодность направленія, общаго этимъ стихотвореніямъ, также теперь ужъ не новость. Теперь даже сами «поэты» сознаютъ это, только не хотятъ признаться. Оттого-то въ новѣйшихъ произведеніяхъ русской музы и замѣтно порыванье къ чему-то, только стихотворцы не знаютъ еще сами,—къ чему, а если и знаютъ, то на бѣду себѣ же. Они узнаютъ, на-

примѣръ, что мысль нужна въ поэзіи, и вслѣдствіе того привязываютъ къ своимъ стихамъ какой-нибудь моральный хвостъ, совсѣмъ другого цвѣта, некстати, неловко, словомъ такъ, какъ дѣлаетъ часто г. Жемчужниковъ. На это есть одна пародія въ «Перепѣвахъ», по нашему мнѣнію недурная:

Бдемъ мы лѣсомъ, песками сыпучими;
Солнышка близокъ закатъ;
Сосны вокругъ насъ иглами колючими,
Какъ исполины, грозятъ.
Пѣсню ямщикъ затянулъ нашъ унылую...
Камень, песокъ да сосна...
Такъ бы все плакалъ подъ пѣсню тоскливую:
Родиной вѣтъ она.

А то вообразить, что «обличать» надо: и выходить г. Розенгеймъ! Или придумать, что надо собственное міросозерцаніе сочинить, непохожее на простой взглядъ, а имѣющее въ себѣ нѣчто мистическое и символическое: является г. Кусковъ! Всѣ подобныя стремленія, какъ они ни неудачны, доказываютъ, однакоже, что художественный индифферентизмъ къ общественной жизни и нравственнымъ вопросамъ, въ которомъ такъ счастливо прежде покоились гг. Фетъ, Майковъ (до своихъ патріотическихъ твореній) и другіе, — теперь уже совсѣмъ не удастся новымъ людямъ, выступающимъ на стихотворное поприще. Кто и хотѣлъ бы сохранить прежнее безстрастіе къ жизни, — и тотъ не рѣшается, видя, что «чистая художественность» теперь привлекаетъ общее вниманіе единственно только въ твореніяхъ Кузьмы Пруткова. Такимъ образомъ, всѣ эти *amorgoso*, *far-niente*, вечера и дѣвы — съ облаками, луной, соловьями и ручьями — пропадаютъ сами собою. Пусть ихъ печатаются еще нѣсколько времени, — это послужитъ только къ болѣе рѣшительному ихъ паденію. Мѣсяца три тому назадъ, въ нѣсколькихъ журналахъ разомъ появились «весенніе звуки», «весеннія ночи», и «весеннія мечты», кажется. Все это было очень тепло, живописно, мило, словомъ — художественно; но мы нѣсколько разъ заставляли чтеніе этихъ стиховъ у нашихъ знакомыхъ, сопровождаемое такимъ постояннымъ смѣхомъ, съ какимъ едва ли прочтутся «Перепѣвы» Обличительнаго поэта.

Мы думаемъ, что теперь время и пародіи быть нѣсколько строже къ себѣ; иначе и она испытаетъ то же, что испытываетъ комедія нравовъ. «Бригадиръ» теперь не соберетъ въ театръ многочисленной публики; такъ точно и пародія на «Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ» не будетъ ходить по рукамъ и переписываться съ жадностью. Скоро пораженъ будетъ забвеніемъ и тотъ родъ пародій, который направленъ исключительно на художественные недостатки прежнихъ поэтовъ. Вопросъ чистаго искусства уже проигранъ фактически; надъ нимъ и хлопотать не стоитъ.

Но для насмѣшки и пародіи предстоитъ еще большая работа: сопровождать русскую жизнь въ новомъ пути, который ей теперь открывается, и преслѣдовать свисткомъ всякаго, кто безъ толку сунется на этотъ путь и начнетъ тутъ вертѣться, дѣла не дѣлая, а только мѣшая другимъ. И надо замѣтить, что исполненіе подобной задачи, въ виду настоящихъ дѣятелей русской лирики, легче, нежели когда-нибудь. Трудно пародировать истиннаго поэта, съ цѣлью выставить его дурныя стороны; еще труднѣе пародировать цѣлое литературное направленіе, ежели оно, хотя и ложно въ извѣстныхъ отношеніяхъ, но согрѣто огнемъ истинной поэзіи. Ложь и правда такъ въ этомъ случаѣ сливаются, недостатки такъ переплетаются живыми достоинствами, что рѣдкая пародія, задѣвая одни, можетъ не тронуть другія; а какъ скоро истинное достоинство задѣто—пародія неудачна. Чтобы съ полнымъ успѣхомъ ее сдѣлать въ указанныхъ нами случаяхъ, надо быть самому поэтомъ, противопоставлять талантъ таланту. Для пародированія современной русской лирики вовсе не нужно имѣть поэтического дарованія; нужно только умѣть писать стихи и понять, въ чемъ дѣло. И для того, чтобы понять, даже ума особеннаго не нужно. Все дѣло въ томъ, что совокупность современныхъ поэтовъ нашихъ лишена страсти и энергіи и оттого не можетъ имѣть сосредоточенности, а страдаетъ, напротивъ, разбросанностью, неопредѣленностью, нерѣшительностью. Стихи нашихъ новѣйшихъ стихотворцевъ—дѣланые. Это совсѣмъ не то, что выходитъ у человѣка, котораго извѣстное впечатлѣніе или мысль поразили такъ, что не могутъ изъ сердца выйти, преслѣдуютъ, мучать его, не даютъ ему ничего другого видѣть и слышать, пока онъ имъ не дастъ жизни въ стихѣ, соотвѣтственномъ его внутреннему о нихъ представленію. Нѣтъ, наши поэтики не такъ воспріимчивы къ жизни: если ихъ что и поразитъ, то не надолго; ихъ вниманіе и участіе раздѣлено между многими предметами, и ничто особенно не западаетъ имъ въ душу. Они скажутъ себѣ: «а изъ этого бы недурно стихи написать», и если досугъ есть—напишутъ, а то, пожалуй, и оставятъ... Предметъ ихъ стихотворенія не связанъ съ ними кровно и душевно, имъ не жалко его бросить. Мы говоримъ это такъ утвердительно не на основаніи какихъ-нибудь личныхъ знакомствъ, а на основаніи самихъ стихотвореній, которыя намъ приводилось читать. Во всѣхъ ихъ вы видите, что авторъ не воспринялъ въ себя свой предметъ, не слился съ нимъ, не положилъ души своей на его изображеніе: вы читаете описанія, очень живыя иногда,—мнѣнія, иногда умныя,—чувства, повидимому, искреннія, и совсѣмъ тѣмъ вы остаетесь въ полнѣйшемъ невѣдѣніи объ авторѣ. Десять стиховъ Лермонтова скажутъ вамъ о его характерѣ, взглядѣ, направленіи гораздо больше, нежели о какомъ-нибудь новѣйшемъ цитѣ десятки стихотвореній, въ которыхъ онъ, кажется, и мыслить, и чувствуетъ. Это отъ того, что тамъ вы видите самостоятельное, живое, личное воззрѣніе поэта, а здѣсь всѣ мысли—готовыя, чувства—рутинныя, взгляды отъ общихъ началъ примѣняются къ част-

ному предмету или случаю, а не отъ предмета возводятся къ общимъ началамъ. Такъ иногда вы слушаете юношу, который описываетъ красавицу: греческій носъ, южные глаза, матовый цвѣтъ лица, и т. д.,—паспортъ, изложенный хорошимъ слогомъ... Это значитъ что юноша не любитъ красавицу; не такъ сталъ бы онъ говорить, если бъ любилъ: не до этихъ формальныхъ опредѣленій было бы ему, онъ поспѣшилъ бы вамъ сказать, какъ она *на него* взглянула, что *онъ* при ней почувствовалъ, и, конечно, одной-двумя чертами онъ изобразилъ бы вамъ и красавицу, и себя самого, и свои взаимныя отношенія, гораздо лучше, чѣмъ самымъ длиннымъ описаніемъ ея прелестей.

Наши поэтики не нашли еще своей суженой красавицы, не полюбили еще всей душою; можетъ быть, многіе и неспособны страстно полюбить, но всѣ увѣряютъ, что любятъ. Вотъ тутъ-то и надо ловить и обличать ихъ; тутъ-то и годится пародія. Если она и никого не исправитъ, то, по крайней мѣрѣ, облегчитъ, можетъ быть, будущему таланту отысканіе настоящей красавицы и избавитъ его отъ напрасныхъ метаній изъ стороны въ сторону, которыми такъ страдаютъ наши новѣйшіе стихотворцы.

ЧЕРТЫ

ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКАГО ПРОСТОНАРОДЬЯ.

(Разсказы изъ народнаго русскаго быта, *Марка Вовча*.
Издание К. Солдатенкова и П. Щепкина. М. 1859.)

Въ прошломъ году нѣкоторыя обстоятельства, всего болѣе досадныя для насъ самихъ, помѣшали намъ подробно говорить о малороссійскихъ разсказахъ Марка Вовча, переведенныхъ г. Тургеневымъ. Мы должны были ограничиться только небольшою выдержкою изъ статьи г. Костомарова, написанной имъ для «Современника» еще тогда, когда «Народні Оповідання» только-что появились въ малороссійскомъ подлинникѣ. Надѣмся быть нѣсколько счастливѣе теперь, при появленіи новой книжки разсказовъ Марка Вовча, еще болѣе любопытныхъ для насъ, такъ какъ они взяты изъ жизни народа великорусскаго.

Мы вовсе не изъ-землячества интересуемся изображеніями изъ великорусскаго быта болѣе, чѣмъ малороссійскаго. У насъ есть на это другія причины, заключающіяся въ тѣхъ мнѣніяхъ, какимъ въ послѣднее время подвергался великорусскій крестьянинъ, преимущественно передъ малорусскимъ. Узкій патріотизмъ, всѣ человѣческіе интересы подчиняющій землячеству, достаточно надоѣдаетъ и въ нѣмцахъ какого-нибудь ландграфства Гессенъ-Гамбургскаго или княжества Лихтенштейнскаго; мы можемъ отъ него и освободить себя. У насъ нѣтъ причинъ разъединенія съ малорусскимъ народомъ; мы не понимаемъ, отчего же, если я изъ Нижегородской губерніи, а другой изъ Харьковской, то между нами уже не можетъ быть столько общаго. какъ если бы онъ былъ изъ Псковской. Если

сами малороссы не совсѣмъ довѣряють намъ, такъ этому виной такія историческія обстоятельства, въ которыхъ участвовала административная часть русскаго общества, а ужъ никакъ не народъ. Да это, впрочемъ, понимаетъ масса людей въ самой Малороссіи: *москалями* зовуть тамъ солдатъ, такъ точно, какъ *панами* зовуть помѣщиковъ...

Сами рассказы Марка Вовчка служатъ доказательствомъ того, что благоразумные малороссы умѣють цѣнить народъ русскій, не дѣлая рѣзкой разницы между Малой и Великой Россіей. Новая книжка «Народныхъ рассказовъ» проникнута тѣмъ же характеромъ и тенденціями, какъ и прежнія «Народні Оповідання». Великія силы, таящіяся въ народѣ, и разные способы ихъ проявленія подѣвліяніемъ крѣпостнаго права — вотъ что видимъ мы въ этихъ рассказахъ. Тонъ автора, обрывисто цѣвучій, характеръ рассказа, грустный и задумчивый, второстепенныя подробности, полныя чистой и свѣжей поэзіи въ описаніяхъ и бѣглыхъ замѣткахъ—все это осталось таково же, какъ и въ прежнихъ рассказахъ. Только имена людей и мѣстъ, изображенія природы, игры и пѣсни вводятъ насъ въ великорусскій бытъ, да еще отношенія крестьянъ къ крѣпостному праву имѣють здѣсь свой особенный оттѣнокъ.

Эта-то особенность и занимаетъ насъ всего болѣе. Въ малороссійскихъ рассказахъ мы видѣли злоупотребленія помѣщичьей власти, и злоупотребленія нерѣдко довольно крутыя. Это даже подало, говорятъ, поводъ одному извѣстному русскому критику объявить произведенія Марка Вовчка «мерзостно-отвратительными картинками», и, причисливши ихъ къ обличительной литературѣ, вслѣдствіе этого отвергнуть въ авторѣ ихъ всякій талантъ литературный. Мы не читали статейки строгаго критика, потому что давно уже перестали интересоваться его литературными приговорами; но тѣмъ не менѣе, мы понимаемъ процессъ, посредствомъ котораго онъ составилъ свое заключеніе. Онъ—приверженецъ теоріи «искусства для искусства»; рассказы Марка Вовчка нашли себѣ хвалителей тоже въ числѣ приверженцевъ этой теоріи. Можете себѣ представить, что именно правилось въ этихъ рассказахъ такимъ хвалителямъ. Мы сами слышали, какъ двое художественныхъ цѣнителей восхищались необыкновенною прелестью и поэтичностью одного мѣста, которое, кажется, такъ читается: «геть, геть, далеко въ полѣ крестъ надъ его могилой виднѣтся». Строгій критикъ, осудившій Марка Вовчка, оказался даже нѣсколько благоразумнѣе подобныхъ цѣнителей, понявши, что «геть геть, далеко въ полѣ» еще не есть чрезвычайная высота художественности. А что онъ ничего другого не въ состояніи былъ понять въ «Народныхъ рассказахъ», такъ это опять совершенно естественно, и весьма странно было бы тотъ, кто сталъ бы ожидать отъ него такого пониманія. Тогда онъ сдѣлался бы отступникомъ теоріи «искусства для искусства»; а можетъ ли онъ отступить отъ нея? Безъ нея что бы онъ сталъ дѣлать на свѣтѣ, куда бы годился онъ? Безъ нея онъ долженъ былъ бы исчезнуть, какъ

исчезъ Иванъ Александровичъ Чернокнижниковъ, какъ исчезалъ Кузьма Петровичъ Прутковъ на то время, когда у насъ поднимались великіе общественные вопросы...

Но дѣло не въ приговорахъ художественнаго критика: Богъ съ нимъ,—вѣдь его никто не принимаетъ серьезно, стало быть художественныя потѣхи его остаются совершенно безвредными. Мы имѣемъ въ виду другіе толки, другія мнѣнія, о которыхъ считаемъ удобнымъ поговорить теперь, по поводу книжки Марка Вовчка. Мнѣнія эти довольно распространены въ извѣстной части нашего общества, называющей себя образованною, и между тѣмъ они обнаруживаютъ не только непониманіе дѣла, но и крайнее легкомысліе или самую неразумную недобросовѣстность. Мнѣнія, о которыхъ мы говоримъ, касаются характеристики русскаго крестьянина и его отношеній къ крѣпостному праву. Крѣпостное право приходитъ къ своему концу и дѣлается достояніемъ исторіи; о немъ нечего толковать, оно отжило свой вѣкъ. Но факты, тяготѣвшіе надъ государствомъ въ теченіе столѣтій, не проходятъ даромъ, не остаются безъ всякаго слѣда. Какое-нибудь мѣстничество держится въ нравахъ, спустя два столѣтія послѣ его уничтоженія закономъ; можно ли требовать, чтобы внезапно пересоздались всѣ отношенія, бывшія слѣдствіемъ такого явленія, какъ крѣпостное право? Нѣтъ, еще долго будетъ оно отзываться намъ—и въ книжкахъ, и въ гостинныхъ разговорахъ, и въ цѣломъ устройствѣ нашихъ житейскихъ отношеній. Понятія не только отживающаго поколѣнія, не только того, которое теперь дѣйствуетъ, но и того, которое еще только готовится выступить на общественную службу, сложились, если не прямо на основаніи крѣпостнаго, несвободнаго устройства, то, во всякомъ случаѣ, не безъ сильнаго его вліянія. До послѣдняго времени нельзя было съ достаточною прямоюю возставать противъ этихъ понятій, потому что основаніе ихъ,—крѣпостное начало,—было узаконено и принято государствомъ. Теперь это начало отвергнуто, признано противнымъ правамъ человѣчества, лишено покровительства законовъ, и, стало быть, понятія и требованія, имъ порожденныя и воспитанныя, находятъ себѣ осужденіе въ томъ самомъ, что прежде служило имъ оградой. Теперь дѣло литературы—преслѣдовать остатки крѣпостнаго права въ общественной жизни и добивать порожденныя имъ понятія, возводя ихъ къ коренному ихъ началу. Марко Вовчокъ, въ своихъ простыхъ и правдивыхъ рассказахъ, является почти первымъ и весьма искуснымъ борцомъ на этомъ поприщѣ. Въ послѣднихъ своихъ рассказахъ онъ даже не старается, какъ въ прежнихъ, выставять передъ нами преимущественно то, что называется обыкновенно «злоупотребленіемъ помѣщичьей власти». Что ужъ толковать о злоупотребленіи того, что само по себѣ дурно,—о злоупотребленіи пьянства или воровства, напримѣръ! Что ужъ говорить о такихъ явленіяхъ, къ которымъ подавало поводъ крѣпостное право, но безъ которыхъ оно могло иногда и обходиться! Нѣтъ, авторъ беретъ теперь нормальное положеніе крестьянина у

помѣщика, не злоупотребляющаго своимъ правомъ, и кротко, безъ гнѣва, безъ горечи рисуетъ намъ это грустное, безотрадное положеніе. И изъ этихъ очерковъ,—въ которыхъ каждый, кто хоть немного имѣлъ дѣло съ русскимъ народомъ, узнаетъ знакомыя черты,—изъ этихъ очерковъ возстаетъ передъ нами характеръ русскаго простолюдина, сохранившій основныя черты свои посреди всѣхъ обезличивающихъ, давящихъ, убивающихъ отношеній, которымъ онъ былъ подчиненъ въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій. На нѣкоторыя черты этого характера мы и хотимъ теперь обратить вниманіе.

Извѣстно, что о русскомъ народѣ существуютъ два мнѣнія, противоположныя другъ другу въ самомъ корнѣ. Одни полагаютъ, что русскій человѣкъ ни на что самъ по себѣ не годится и представляетъ не болѣе, какъ нуль: если подставить къ нему какія-нибудь иностранныя цифры, то выйдетъ что-нибудь, а если нѣтъ, такъ онъ и останется въ полнѣйшемъ ничтожествѣ. Другіе, напротивъ, имѣютъ о русскихъ то же понятіе, какое имѣютъ насчетъ обезьянъ нѣкоторые простолюдины, увѣряющіе, что обезьяна все понимаетъ и говоритъ умѣетъ, только изъ хитрости скрываетъ свои дарованія. У насъ, видите ли, что ни мужикъ, то геній; мы не учены, да намъ и науки никакой не нужно,—русскій мужикъ топоромъ больше сдѣлаетъ, чѣмъ англичане со всѣми ихъ машинами; все онъ умѣетъ и на все способенъ, да только,—не знаю ужъ почему, — не показываетъ своихъ способностей. Эти два мнѣнія многими распространяются не только на Великую, но и на Малую и Бѣлую Россію и на все славянское племя. Первое мнѣніе, какъ извѣстно, теперь уже отстало: оно процвѣтало до 1812 г. Отечественная война показала намъ, что мы такое есть на свѣтѣ, и мы до того прониклись славою двѣнадцатаго года, что наконецъ сдѣлали-таки его смѣшнымъ—и у себя, и передъ иностранцами. Такимъ образомъ, въ одной каррикатурной исторіи Россіи, изданной во Франціи во время восточной войны, Олегъ идетъ на Константинополь съ крикомъ: «не посраимъ русской земли, умремъ за вѣру и отечество! *Мы тѣ же герои что и въ 1812 году*!» То же кричитъ и Игорь и Святославъ, и т. д. Дѣйствительно, двѣнадцатый годъ сдѣлался для насъ неисчерпаемымъ источникомъ самохвальства и замѣною всѣхъ добродѣтелей. Толкуютъ намъ о взяткахъ, а мы вспоминаемъ двѣнадцатый годъ, указываютъ на комиссаріатъ—мы обращаемся къ двѣнадцатому году, говорятъ о движеніи идей—мы сейчасъ же къ двѣнадцатому году и къ Пушкину... Такъ было до 1857 года, въ концѣ котораго появились первыя официальныя распоряженія объ освобожденіи крестьянъ. Тутъ общество осмотрѣлось и, все продолжая восхищаться Пушкинымъ и двѣнадцатымъ годомъ, сдѣлало однакоже болѣе точное опредѣленіе своихъ мнѣній. Оно нашло, что двѣнадцатый годъ, какъ и Пушкинъ, не принадлежитъ всему народу безъ исключенія, что не всякая голь перекатная способна понимать прелесть Евгенія Онѣгина, да не всѣмъ поголовно принадлежитъ и заслуга вымораживанія французовъ. Рѣшено было, что въ Россіи дви-

женіе идей и движеніе доблестей совершалось въ одной извѣстной части народа, и о высокомъ значеніи этой части въ судьбахъ всей Россіи, именно въ этомъ отношеніи, «Московскій Вѣстникъ» уже обѣщаль намъ представить статью одного знаменитаго русскаго писателя. Будемъ ждать обѣщанной статьи, и тогда, если позволятъ обстоятельства, попробуемъ вникнуть въ подробности дѣла, защищаемаго знаменитымъ писателемъ, а теперь будемъ продолжать изложеніе того, какъ въ образованной части общества сформировалось въ послѣднее время нѣсколько болѣе опредѣленное понятіе о доблестяхъ русскаго народа. Доблести эти, по новѣйшей редакціи, принадлежать собственно «извѣстной части», масса же народа, хотя тоже, конечно, имѣетъ ихъ, но еще не можетъ быть вполне признана ихъ обладательницею, ибо еще не начала жить «сознательной жизнью». Это мнѣніе такъ было хорошо выдуманно, что къ нему пристали всѣ—и тѣ, которые увѣряли, что русскій человѣкъ—нуль, и тѣ, которые давали понять, что онъ — хитрая обезьяна. Первые говорили: «ну да, когда кто-нибудь возьмется за дѣло и внушить русскому человѣку, что и какъ надо дѣлать, такъ онъ и сдѣлаетъ... Мы вѣдь о томъ именно и говорили, что онъ *самъ по себѣ, безъ руководителя*, никуда не годится». Другіе тоже восклицали: «ну да, и мы вѣдь стояли на томъ, что русскій человѣкъ способенъ ко всему; а само собой разумѣется, что надо эту способность направить, надо умѣть его вести хорошенько». Такимъ образомъ всѣ согласились, что русскій человѣкъ есть существо удобо-руководимое и неотлагаемо нуждающееся въ руководствѣ, въ мирномъ, такъ сказать, и отеческомъ попеченіи о развитіи и направленіи его рукъ, ума и воли. Читатель, конечно, безъ комментаріевъ понимаетъ, что значить такое соединеніе противоположныхъ мнѣній и гдѣ тутъ главный жизненный пунктъ... Замѣтимъ еще, что здѣсь-то и спеціализировалось понятіе о русскомъ человѣкѣ, какъ о великорусскомъ крестьянинѣ по преимуществу. Славянское племя было вызываемо на сцену только въ разговорахъ уже весьма выпреннаго свойства, и то преимущественно людьми, любящими толковать о гнѣніи Европы. Но что же касается до общепринятыхъ толковъ, то въ нихъ великорусскій крестьянинъ явно отдѣлялся даже отъ малорусскихъ и даже бѣлорусскихъ своихъ собратій.

Отосительно бѣлорусскаго крестьянина дѣло давно рѣшенное: забить окончательно, такъ что даже лишился употребленія человѣческихъ способностей. Не знаемъ, въ какой степени ложно это мнѣніе, потому что не изучали спеціально бѣлорусскаго края; но повѣрить ему, разумѣется, не можемъ. Цѣлый край такъ вотъ взяли да и забили,—какъ бы не такъ! Это такъ же, какъ итальянцевъ — забили, разслабили, лишили любви къ родинѣ и къ свободѣ!... Посмотрите-ка теперь на нихъ... Во всякомъ случаѣ вопросъ о характеристикѣ бѣлоруссовъ долженъ скоро быть разъясненъ трудами мѣстныхъ писателей. Кстати,—мы уже слышали, что съ будущаго года предположено изданіе «Бѣлорусскаго Вѣстника», редакцію котораго

принимаетъ на себя нѣкто г. А. Крейцъ, человѣкъ, на усердіе и благородство направленія котораго можно надѣяться.

Что касается до малорусскихъ крестьянъ, то они заслужили отзывы гораздо болѣе благопріятные. Наше образованное общество училось исторіи; а извѣстно, что въ исторіи говорится о кровавой, смертельной борьбѣ Украйны за свою народность. Кромѣ того, наше образованное общество отличается вкусомъ къ изящнымъ искусствамъ и поэзіи; а извѣстно, что Малороссія изобилуетъ прелестными пѣснями, прославляющими казацкую удаль и нѣжныя семейныя чувства. Все это, въ соединеніи съ тѣмъ обстоятельствомъ, что крѣпостное право водворено въ Малороссіи очень недавно (это тоже извѣстно изъ исторіи), и поставило нашихъ образованныхъ людей въ необходимость нѣсколько выгородить малороссовъ изъ того повальнаго осужденія на удобо-руководимость, которымъ характеризовали русскаго человѣка. «Малороссъ лѣнивъ, упрямъ, но гордъ и независимъ по характеру; у него тотчасъ слагается протестъ противъ всякаго нарушенія его правъ, и хотя протестъ этотъ остается недѣятельнымъ, но все же онъ заявляется». Такъ благоволили отзываться о малороссахъ весьма умные люди, такіе, которые даже перестали гордиться тѣмъ, что они малороссовъ лишь изрѣдка, да и то въ шутку, называютъ хохлами. Разумѣется, къ своему разсужденію они все-таки прибавляли, что руководство необходимо и малороссу, потому что и онъ тоже необразованъ и грубъ, но что, во всякомъ случаѣ, надо стараться, чтобы не было поводовъ къ такимъ попеченіямъ о немъ, какія изображены въ «Народныхъ Оповіданняхъ» Марка Вовчка.

Къ великоруссамъ вообще были гораздо суровѣе. Не то чтобы ихъ считали достойными такого обращенія, какое выставлено въ малороссійскихъ разсказахъ, а такъ, знаете, находили, что для великорусса это бы ничего: онъ, дескать, привыкъ, и не очень чувствителенъ къ подобному обхожденію. Тонкія и деликатныя чувства въ немъ заглохли; сознанія собственнаго достоинства и чувства чести для него не существуетъ, правъ собственной личности и личности другого онъ не понимаетъ, и потому весьма многія вещи, которыя возмущаютъ насъ до глубины души, не возбуждаютъ въ немъ ни малѣйшаго негодованія, не вызываютъ даже слабаго протеста. Мало того: русскій мужикъ даже не понимаетъ иныхъ мѣръ, кромѣ строгости. Напрасно будете вы взывать къ его человѣческому достоинству, къ святымъ чувствамъ долга и права: онъ не пойметъ васъ, потому что эти чувства ему незнакомы. Для него нужны инныя побужденія; нужно, чтобы требованія долга олицетворялись въ извѣстномъ начальствѣ, съ строгою карою за каждое преступленіе ихъ. Оттого-то необходимо удержатъ еще на долгое время тѣлесное наказаніе въ крестьянскихъ общинахъ, оттого-то опасно выводить ихъ изъ-подъ благодѣтельнаго, отеческаго надзора помѣщиковъ.

Такъ толкуютъ многіе умные люди, даже печатно. Раскройте любую книжку «Журнала землевладѣльцевъ», изъ котораго недавно

перепечатаны великолѣпные «Вечера съ разговоромъ», извѣстные, вѣроятно, нашимъ читателямъ по выпискѣ изъ нихъ въ «Свисткѣ». Да обратитесь и къ «Сельскому благоустройству»,—и тамъ найдете то же самое, и ежели захотите поискать, то отыщите нѣчто подобное и въ другихъ журналахъ, только, разумѣется, нѣсколько въ иныхъ формахъ. Мы выставили самую грубую, т. е. самую простую форму мнѣнія о томъ, что, вслѣдствіе чего бы то ни было, мужикъ русскій имѣетъ теперь низшую породу, нежели прочіе люди, принадлежащіе къ привилегированнымъ классамъ. А бываетъ форма гораздо болѣе замысловатая. Напримѣръ: «удивительно созданъ русскій человѣкъ! Какая сила терпѣнія, какое величіе самоотверженія! Мы кричимъ и хлопчемъ, едва насъ пальцемъ тронетъ кто-нибудь, а русскій мужичекъ безропотно переноситъ всевозможныя тягости и обремененія и, въ надеждѣ на милость Божію, спокойно идетъ своею сѣренькой полоской, неустанно работая и зная, что не ему будутъ принадлежать плоды трудовъ его. Мы эгоистически рассчитываемъ каждый свой шагъ, принесетъ-ли онъ намъ пользу, а простого русскаго человѣка пошлите на вѣрную смерть,—онъ пойдетъ безпрекословно, даже не спрашивая, зачѣмъ его посылаютъ»... и т. д., и т. д. Вы видите, что сущность мнѣнія та же самая: мужикъ, дескать, грубъ и необразованъ, и потому не имѣетъ ни сознанія правъ своей личности, ни собственнаго разума и воли. Но форма здѣсь, очевидно, дипломатическая, и потому въ подобныхъ формахъ высказываются обыкновенно такіе образованные люди, которые готовятся къ ораторскимъ торжествамъ и въ ожиданіи ихъ даютъ обѣды знаменитымъ иностранцамъ и предъ *оними* расточаютъ свое краснорѣчіе.

Но справедливы ли въ сущности мнѣнія образованныхъ и краснорѣчивыхъ людей? Точно ли существенная и отличительная черта русскаго простого человѣка — «недостатокъ инициативы», необходимость посторонняго понуканья? «Громъ не грянетъ,—мужикъ не перекрестится», говорятъ въ свое подкрѣпленіе краснорѣчивые знатоки русской народности, выдавая этотъ пошлый афоризмъ какого-то грамотея за *народную* русскую пословицу. Но что они подъ громомъ-то разумѣютъ? Не *аплодисменты* ли, о которыхъ говоритъ Щедринъ въ началѣ своихъ «Губернскихъ очерковъ»? Не душеспасительное ли русское слово, убѣждающее русскаго человѣка работать не въ прокъ себѣ? Да если взять юридическую точку зрѣнія и трактовать крестьянина, какъ вещь себѣ не принадлежащую, то, конечно, выйдетъ, что у него и не должно быть никакой инициативы, что она была бы преступленіемъ, и что такъ какъ за преступленіе наказываютъ, то онъ очень хорошо дѣлаетъ, что ее не обнаруживаетъ. Но оставьте крѣпостное воззрѣніе, да оставьте не въ формальностяхяхъ только, а совсѣмъ, въ самой сущности оставьте, и постарайтесь представить себѣ русскаго мужичка, какъ обыкновеннаго независимаго человѣка, какъ гражданина, пользующагося всѣми правами и преимуществами свободнаго государства. Если у васъ доста-

нетъ на это воображеніе и если вы хоть немножко знаете основаніе характера и быта русскаго простонародья, то въ вашемъ воображеніи тотчасъ явится картина людей, очень хорошо и умно умѣющихъ располагать своими поступками. А чтобы помочь вамъ въ подобномъ представленіи, мы беремъ книжку Марка Вовчка и напомнимъ вамъ нѣсколько русскихъ характеровъ, въ ней изображенныхъ.

Надо замѣтить прежде всего, что характеры эти не воспроизведены со всей художественною полнотою, а только лишь намѣчены въ коротенькихъ рассказахъ Марка Вовчка. Мы не можемъ искать у него эпопеи нашей народной жизни,—это было бы ужъ слишкомъ много. Такой эпопеи мы можемъ ожидать въ будущемъ, а теперь покамѣстъ нечего еще и думать о ней. Самосознаніе народныхъ массъ далеко еще не вошло у насъ въ тотъ періодъ, въ которомъ оно должно выразить всего себя поэтическимъ образомъ; писатели изъ образованнаго класса до сихъ поръ почти всѣ занимались народомъ, какъ любопытной игрушкой, вовсе не думая смотрѣть на него серьезно. Сознаніе великой роли народныхъ массъ въ экономіи человѣческихъ обществъ едва начинается у насъ, и рядомъ съ этимъ смутнымъ сознаніемъ появляются серьезные, искренно и съ любовью сдѣланныя наблюденія народнаго быта и характера. Въ числѣ этихъ наблюденій едва ли не самое почетное мѣсто принадлежитъ очеркамъ Марка Вовчка. Въ нихъ много отрывочнаго, недосказаннаго, иногда фактъ берется случайный, частный, рассказывается безъ поясненія его внутреннихъ или внѣшнихъ причинъ, не связывается необходимымъ образомъ съ обычнымъ строемъ жизни. Но строгой оконченности и всесторонности, повторяемъ, невозможно еще требовать отъ нашихъ рассказовъ изъ крестьянской жизни: она еще не открываетъ намъ себя во всей полнотѣ, да и то, что открыто намъ, мы не всегда умѣемъ или не всегда можемъ хорошо выразить. Для насъ довольно и того, что въ рассказахъ Марка Вовчка мы видимъ желаніе и умѣнье прислушиваться къ этому еще отдаленному для насъ, но сильному въ самомъ себѣ, гулу народной жизни; мы чуемъ въ нихъ присутствіе русскаго духа, встрѣчаемъ знакомые образы, узнаемъ ту логику, тѣ требованія и наклонности, которыя мы и сами замѣчали когда-то, но пропускали безъ вниманія. Вотъ чѣмъ и дороги для насъ эти рассказы; вотъ почему и цѣнимъ мы такъ высоко ихъ автора. Въ немъ видимъ мы глубокое вниманіе и живое сочувствіе, въ немъ находимъ мы широкое пониманіе той жизни, на которую смотрятъ такъ легко и которую понимаютъ такъ узко и убого многіе изъ образованнѣйшихъ нашихъ экономистовъ, славянистовъ, юристовъ, либераловъ, нувеллистовъ, и пр., и пр.

Въ книжкѣ Марка Вовчка шесть рассказовъ, и каждый изъ нихъ представляетъ намъ женскіе типы изъ простонародья. Рядомъ съ женскими лицами рисуются, большею частью нѣсколько въ тѣни, и мужскія личности. Это обстоятельство ближайшимъ образомъ объясняется, конечно, тѣмъ, что авторъ рассказовъ Марка Вовчка — женщина. Но мы увидимъ, что выборъ женскихъ лицъ для этихъ

разказовъ оправдывается и самою сущностью дѣла. Возьмемъ прежде всего разказъ «Маша», въ которомъ это высказывается съ особенной ясностью.

Мы помнимъ первое появленіе этого разказа. Люди, еще вѣрующіе въ святость и неприкосновенность крѣпостного права, пришли отъ него въ ужасъ и съ негодованіемъ упрекали вольнодумную цензуру, осмѣлившуюся пропустить такой разказъ. А въ разказѣ раскрывается естественное и ничѣмъ незаглушимое развитіе въ крестьянской дѣвчкѣ любви къ свободѣ и отвращенія къ рабству. Ничего преступнаго тутъ нѣтъ, какъ видите; но на приверженцевъ крѣпостныхъ отношеній подобный разказъ дѣйствительно долженъ былъ произвести потрясающее дѣйствіе. Онъ залеталъ въ ихъ послѣднее убѣжище, сбивалъ ихъ съ послѣдней позиціи, въ которой они считали себя неприступными. Видите ли, они, какъ люди гуманные и просвѣщенные, согласились, что крѣпостное право въ основаніи своемъ противно правамъ человѣчества. Они вполне понимаютъ, что принадлежность человѣка другому такому же человѣку есть нелѣпость, несообразная съ успѣхами современнаго просвѣщенія. Все это такъ... Но вслѣдъ за тѣмъ они говорили, что вѣдь мужикъ еще не созрѣлъ до настоящей свободы, что онъ о ней и не думаетъ, и не желаетъ ея, и вовсе не тяготится своимъ положеніемъ, — развѣ ужъ только гдѣ барщина очень тяжела и приказчикъ крутъ... «Да и помилуйте, откуда заберется мужику въ голову мысль о свободѣ? Книгъ онъ не читаетъ, не только запрещенныхъ, а и вовсе никакихъ (а вѣдь извѣстно, что все это вольнодумство не отъ чего другого, какъ отъ книгъ происходитъ); съ литераторами незнакомъ; дѣла у него довольно, такъ что утопій сочинять и недосугъ... Живетъ онъ себѣ, какъ жили отцы и дѣды, и если его теперь хотятъ освободить, такъ это чисто по милости, по великодушію... И повѣрьте, что мужикъ не скоро еще очнется, не скоро въ толкъ возьметъ, что такое и зачѣмъ даютъ ему... Многіе, очень многіе еще всплачутся по прежней жизни». Такъ увѣряли умные и просвѣщенные землевладѣльцы и ихъ единомышленники и считали невозможнымъ всякое возраженіе. И вдругъ, представьте себѣ — имъ не возражаютъ даже, а прямо уличаютъ ихъ во лжи, оспариваютъ дѣйствительность факта, на который они ссылаются. Имъ разказываютъ случай, доказывающій, что и въ крестьянскомъ сословіи возможна и естественна любовь къ свободному труду и независимой жизни, и что развитіе этого чувства не нуждается даже въ пособіи литературы. Вотъ какой простой случай имъ разказываютъ.

У крестьянской старушки воспитываются двѣ сироты: племянница ея Маша и племянникъ Оедя. Оедя — какъ быть мальчикъ, веселый, смирный, покорный; а Маша съ малолѣтства выказываетъ большую своеобычливостъ. Она не довольствуется тѣмъ, чтобы выслушать приказаніе, а непременно требуетъ, чтобы сказали ей, зачѣмъ и почему; ко всему она прислушивается и присматриваетъ

и чрезвычайно рано обнаруживаетъ склонность имѣть свое сужденіе. Будь бы дѣвочка у строгаго отца съ матерью, у нея эту дурь, разумѣется, мигомъ бы выбили изъ головы, какъ обыкновенно и дѣлается у насъ съ сотнями и тысячами дѣвочекъ и мальчиковъ, обнаруживающихъ въ дѣтствѣ излишнюю пытливость и неумѣстную претензію на преждевременную дѣятельность разсудка. Но, къ счастью или несчастью Маши, тетка ея была добрая и простая женщина, которая не только не карала Машу за ея юркость, но даже и сама-то ей поддавалась и очень конфузилась, когда не могла удовлетворить разспросамъ племянницы или переспорить ее. Такимъ образомъ, Маша получила убѣжденіе, что она имѣетъ право думать, спрашивать, возражать. Этого ужъ было довольно. На седьмомъ году случилось съ ней происшествіе, которое дало особенный оборотъ всѣмъ ея мыслямъ. Тетка съ Ѳедей поѣхала въ городъ; Маша осталась одна караулить избу. Сидитъ она на заваленкѣ и играетъ съ ребятишками. Вдругъ проходитъ мимо барыня; остановилась, посмотрѣла и говоритъ Машѣ: «что это такъ расшумѣлась? Свою барыню знаешь? А? чья ты»? Маша оробѣла, что ли, не отвѣтила, а барыня-то ее и выбранила: «дура ростешь, не умѣешь говорить». Маша въ слезы. Барынѣ жалко стало. «Ну, поди,—говоритъ,—ко мнѣ, дуручка». Маша нейдетъ; барыня приказываетъ ребятишкамъ подвести къ ней Машу. Маша ударилась бѣжать, да такъ и не пришла домой. Воротилась тетка съ Ѳедей изъ города,—нѣтъ Маши; пошли искать, искали-искали, не нашли; ужъ на возвратномъ пути она сама къ нимъ вышла изъ чьего-то коноплянника. Тетка хотѣла ее домой вести, — нейдетъ. «Меня, — говоритъ, — барыня возьметъ, не пойду я». Кое-какъ тетка ее успокоила и тутъ же ей наставленіе дала, что надо барыню слушаться, хоть она и сурово прикажетъ...

„ — А если не послушаешься? — промолвила Маша.

„ — Тогда горя не оберешься, голубчикъ, говорю ¹⁾. — Любо развѣ кару-то принимать?..

„ Ѳедей даже смутился, смотреть на сестру во всѣ глаза.

„ — Убѣжать можно, — говоритъ Маша, — убѣжать далеко... Вотъ Тростянскіе лѣтось бѣжали.

„ — Ну, и поймали ихъ, Маша... А которые на дорогѣ померли.

„ — А пойманныхъ-то въ острогъ посадили, распинали всячески,—говорилъ Ѳедей.

„ — Натерпѣлись они стыда и горя, дитятко,—я говорю; а Маша все свое: „Да чего всѣ за барыню такъ стоятъ“?

„ — Она барыня,—толкуемъ ей,—ей права даны, у ней казна есть... такъ ужъ ведется.

„ — Вотъ что,—сказала дѣвочка.—А за насъ-то кто-жъ стоитъ?

„ Мы съ Ѳедей переглянулись: что это на нее нашло?

¹⁾ Рассказъ веденъ отъ лица тетки.

„ — Неразумная ты головка, дитятко, говорю.

„ — Да кто-жъ за насъ?—твердить.

„ — Сами мы за себя, да Богъ за насъ,—отвѣчаю ей“ (стр. 29).

И съ той поры у Маши только и рѣчей, что про барыню. «И кто ей отдалъ насъ? и какъ? и зачѣмъ? и когда? Барыня одна,—говорить,—а насъ-то сколько! Пошли-бы себѣ отъ нея, куда захотѣли: что она сдѣлаетъ?» Старушка-тетка, разумѣется, не могла удовлетворить Машу, и дѣвочка должна была сама доходить до разрѣшенія своихъ вопросовъ. Между тѣмъ скоро пришлось ей примѣнить и на практикѣ свой радикальный образъ мыслей. Барыня вспомнила про Машу и велѣла старостѣ посылать ее на работу въ барскій садъ. Маша уперлась: «не пойду», говорит, да и только. Теткѣ стало жалко дѣвочку: сказала старостѣ, что больна Маша. За эту отговорку и ухватила дѣвченка: какъ только господская работа, она больна. Ужъ барыня и къ себѣ ее требовала и допрашивала: «чѣмъ больна?»—«Все болитъ», отвѣчаетъ Маша. Барыня побранить, погрозить и прогнать ее. А на другой разъ опять то же.

Сколько ни уговаривалъ Машу братъ ея, сколько ни просила тетка, на которую барыня тоже гнѣвалась за племянницу,—ничто не помогало. Маша не только не хотѣла работать, да еще при этомъ и держала себя такъ, какъ будто бы она была въ полномъ правѣ, какъ будто бы то, что она дѣлала, такъ и должно было дѣлать ей. Она не хотѣла, напримѣръ, попросить у барыни, чтобъ освободила ее отъ работы. «Стоило только поклониться, попроситься,—разсуждаетъ простодушная тетка,—барыня ее отпустила бы сама; да не такая была Маша наша. Она, бывало, и глазъ-то на барыню не подниметъ, и голосъ-то глухо звучить... А вѣдь извѣстенъ нравъ барскій: ты обмани—да поклонись низко, ты злой человѣкъ—да почтителенъ будь, просися, молися: ваша, молъ, власть казнить и миловать—простите! и все тебѣ простится; а чуть возмутился сердцемъ, слово горькое сорвалось,—будь ты и правдивъ, и честенъ,—милости надъ тобой не будетъ: ты грубіянь! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а вѣдь какъ она Машу дожимала! «Погодите,—бывало на насъ грозитъ,—я васъ всѣхъ проучу!» Хоть она и не карала еще, да съ такими посулками время не весело шло».

А въ Машѣ отвращеніе отъ барской работы дошло до какого-то ожесточенія, вызывало ее на безсознательный, безумный героизмъ. Разъ братъ упрекнулъ ее, что она отъ работы отговаривается болѣзнью, а въ пляскахъ да играхъ предъ всей деревней отличается. «Развѣ,—говорить,—ты думаешь, до барыни не дойдетъ? Нехорошо, что ты насъ подъ барскій гнѣвъводишь». Послѣ этого Маша перестала ходить на улицу. Скучно ей, тоскливо смотреть она изъ окошка на игры подругъ, слеза бѣжитъ у ней по щекѣ, а не выйдетъ изъ избы. Тетка стала посылать ее къ подругамъ, братъ сталъ упрашивать, чтобы она перестала сердиться на его попрекъ: «я,—

говорить, — Одея, не сердита, а только ты не упрашивай меня понапрасну, — не пойду». Такъ и не ходила, а по ночамъ не спала, да по огороду все гуляла, одна одинешенька; и никому того не сказывала, — да разъ невзначай тетка ее подстерегла... «Богъ съ тобой, Маша, — говоритъ ей тетка. — Жить бы тебѣ, какъ люди живутъ. Отбыла барщину, да и не боишься ничего... А то вотъ по ночамъ бродишь, а днемъ показаться за ворота не смѣешь». — «Не могу, — шепчетъ, — не могу! Вы хоть убейте меня — не хочу». Такъ и оставили ее...

Между тѣмъ Маша выросла, стала невѣстой, красавицей. Старуха-тетка начинаетъ ей загадывать о замужней жизни и пророчить счастье замужемъ. Но Машѣ и то не по праву: «что жъ замужемъ-то, одинаково, — говоритъ. — Какое счастье!»... Тетка толкуетъ, что не все горе на свѣтѣ, есть и счастье. «Есть, да не про нашу честь», отвѣчаетъ Маша съ горькой усмѣшкой... Слушая такія рѣчи, Одея начинаетъ задумываться и пригорюниваться. Но Одея не можетъ предаваться своимъ думамъ: онъ отбываетъ барщину. Маша же продолжаетъ упорно отказываться отъ всякой работы. Всѣ на деревнѣ стали дивиться и роптать на бездѣлье Маши, а барыня однажды такъ разсердилась, что велѣла немедленно силою привести къ себѣ Машу. Привели ее. Барыня бросилась къ ней, бранится и серпъ ей въ руки суетъ: «выжни мнѣ траву въ цвѣтникѣ». Да и стала надъ нею: «жни»! Маша какъ взмахнула серпомъ — прямо себѣ по рукѣ угодила. Кровь брызнула, барыня перепугалась: «ведите ее домой скорѣе! вотъ платочекъ — руку перевязать»! Тѣмъ дѣло и кончилось; Маша не оцѣнила даже барской милости: какъ пришла домой, такъ сорвала съ руки барынинъ платочекъ и далеко отъ себя бросила...

Упрямое сопротивленіе Маши всякому наряду на работу, ея тоска, ея странные запросы — дурно подѣйствовали на ея брата. И онъ закручинился, и онъ отъ работы отбился. Старуха-тетушка наша, что парня пора женить, и говоритъ ему разъ о невѣстахъ. «Коли свои, — говоритъ, — не по праву, такъ бы въ Дерновку съѣздилъ, тамъ есть дѣвушки хорошія». — «Дерновскія всѣ вольныя», отозвалась Маша. — «Что жъ что вольныя, — вразумляетъ тетка... Развѣ вольныя не выходятъ за барскихъ? Лишь бы имъ женихъ нашъ приглянулся». — «Если бы я вольная была, — заговорила Маша, а сама такъ и задрожала, — я бы, говоритъ, лучше на плаху головою». Одея очень огорчился этимъ отзывомъ. «Ужъ очень ты барскихъ-то обижаешь, Маша, — проговорилъ онъ, и въ лицѣ измѣнился: — они тоже вѣдь люди Божіи, только что безчастные». Да и вышелъ съ тѣмъ словомъ... Тетка начала по обычаю уговаривать Машу, говоря, что кручиной да слезами своей судьбѣ не поможешь, а развѣ-что вѣку не доживешь. А Маша отвѣчаетъ, что оно и лучше умереть-то скорѣе. «Что мнѣ тутъ-то, — говоритъ, — на свѣтѣ-то?»

Такъ живетъ бѣдная семья, страдая отъ неумѣстно-поднятыхъ и беззаконно разросшихся вопросовъ и требованій дѣвочки. У дурной помѣщицы, у сердитаго управляющаго подобная блажь имѣла бы,

свѣтъ. Одинъ разъ я сижу подлѣ нея—
Федя—бодро такъ, весело... „здравствуйте“, говорить. ...
ствуй, здравствуй, голубчикъ“! Маша только взглянула: чего, —
такое?

„ — Маша,—говоритъ Федя!—ты умирать собиралась,—молода еще, видно, ты умирать-то.

„Самъ посмѣивается. Маша молчитъ.

„ — Да ты очнись, сестрица, да прислушайся: я тебѣ вѣсточку привесъ.

„ — Богъ съ тобой и съ вѣсточкой,—отвѣтила.—Ты-себѣ веселись, Федя, а мнѣ покой дай.

„Какая вѣсточка, Федя, скажи мнѣ“, спрашиваю.

„ — Услышь, тетушка, милая!—и обнялъ меня крѣпко-крѣпко и поцѣловалъ.— Очнись, Маша! — за руку Машу схватилъ и приподнялъ ее. — Барыня объявила намъ: кто хочетъ откупаться на волю—откупайся...

„Какъ вскрикнетъ Маша, какъ бросится брату въ ноги! Цѣлуетъ и слезами обливается, дрожитъ вся, голосъ у ней обрывается: „откупи меня, родной, откупи! Благослови тебя Господи! Милый мой! откупи меня! Господи, помоги же намъ, помоги!..

„Федя-то самъ рѣкою разливается, а у меня сердце покатилося, — стою, смотрю на нихъ.

„ — Погоди-жъ, Маша,—проговорилъ Федя,—дай опомниться-то! Обсудить, обдумать надо хорошенько.

„ — Не надо, Федя! Откупайся скорѣй... скорѣй, братецъ милый!

„ — Помѣхи еще есть, Маша, — я вступилась: — придется продать почтиаи послѣднее. Какъ, чѣмъ кормиться-то будемъ?

„ — Я буду работать... Братецъ! безустанно буду работать. Я выпрошу, заплачу у людей... Я закабалюсь, куда хочешь, только выкупи ты меня! Родной мой, выкупи! Я вѣдь изныла вся! Я дня веселаго, сна спокойнаго не знала, Пожалѣй ты моей юности! Я вѣдь не вижу — я томлюсь... Охъ, выкупи меня, выкупи! Иди къ ней...

„Одѣваетъ его, торопитъ, сама молить-рыдаетъ... Я и не опомнилась, какъ она его выпроводила... Сама по избѣ ходитъ, руки ломаетъ... И мое сердце трепещетъ, словно въ молодости, — вотъ что затѣвается! Трудно мнѣ было сообразиться, еще труднѣй успокоиться...

„Ждемъ мы Федю, ждемъ не дождемся! Какъ завидѣла его Маша, горько заплакала, а онъ еще издали кричитъ: „слава Богу!“ Маша такъ и упала на лавку, долго еще плакала... Мы унимать: „пускай поплачу,—говорить, — не тревожьтѣ;

сладко мнѣ и любо, словно я на свѣтъ Божій нарождаюсь сизнову! Теперь мнѣ работу давайте. Я здорова... я сильная какая! если-бъ вы знали“!..

„Вотъ и откупились мы. Избу, все продали... Жалко мнѣ было покидать, и Оедѣ сгруснулось: садилъ, растилъ,—все прощай! Только Маша веселая и бодрая — слезки она не выронила. Какое! Словно она изъ живой воды вышла,—въ глазахъ блескъ, на лицѣ румянецъ; кажется, что каждая жилка радостью дрожитъ... Дѣло такъ и кипитъ у нея... „Отдохни, Маша“!—„Отдохнуть? я работать хочу“!—и засмѣется весело! Тогда я впервые узнала, что за смѣхъ у нея звонкій! Тогда Маша бѣлоручкой была, а теперь Машу первой руководѣльницей, первой работницей величаютъ. И женихи къ намъ толпой... А барыня-то гнѣвалась—Боже мой! Сосѣди смѣются: „Холопка глупая васъ отуманила! Она нарочно больною притворилась... Вѣдь вы, небось, даромъ почти ее отпустили“? Барыня и въ правду Машей не дорожилась.

„Поселились мы въ избушкѣ ветхой, въ городѣ, да трудиться стали. Богъ намъ помогаль, мы и новую избу срубили... Оедѣ женился. Маша замужъ пошла... Свекоръ въ ней души не слышитъ: „она меня словно дочь родная утѣшаетъ; что это за веселая! что это за работящая“!—Больна съ той поры не бывала“.

«Фантазія! Идиллія въ социальномъ вкусѣ! Мечты будущаго золотого вѣка»! закричали послѣ этого разсказа практическіе люди съ гуманными взглядами, но съ тайною симпатіею къ крѣпостнымъ отношеніямъ. «Гдѣ это видно, чтобы въ простой мужицкой натурѣ могла въ такой степени развиться любовь къ свободѣ и сознаніе правъ своей личности? Если когда-нибудь и бывало что-нибудь подобное, такъ это чрезвычайно эксцентрическій случай, обязанный своимъ происхожденіемъ какимъ-нибудь особеннымъ обстоятельствамъ... Разсказъ о Машѣ вовсе не представляетъ картины изъ русскаго быта; онъ есть просто заоблачная выдумка, нравоучительная притча, которая такъ же точно прилична Испаніи, Бразиліи, какъ и Россіи. Авторъ взялъ не типъ русской простой женщины, а явленіе исключительное, и потому разсказъ его фальшивъ и лишенъ художественнаго достоинства. Требованіе художественности состоитъ въ томъ, чтобы воплощать», и пр...

Тутъ почтенные ораторы пускались въ разсужденія о художественности и чувствовали себя совершенно въ своей тарелкѣ.

Но они могли разсуждать, сколько имъ угодно, а разсказъ сдѣлалъ впечатлѣніе на публику. Людямъ, незаинтересованнымъ въ дѣлѣ, и въ голову не пришло возражать противъ возможности и естественности такого факта, какой разсказанъ въ «Машѣ». Напротивъ, онъ казался вполне нормальнымъ и понятнымъ для всякаго, знакомаго съ крестьянской жизнью. Въ самомъ дѣлѣ, неужели, даже разсуждая аргіогі, возможно отвергать въ крестьянинѣ присутствіе того, что мы считаемъ необходимой принадлежностью человѣческаго смысла у каждаго изъ людей? Сознаніе своей личности уже непременно предполагаетъ и сознаніе о ея неприкосновенности, о ея правахъ. А неужели мы рѣшимся поставить русскихъ мужиковъ на

степень существъ, даже не сознающихъ своей личности? Это ужъ было бы слишкомъ...

Но, пожалуй, ставьте ихъ куда угодно, факты докажутъ вамъ, что такія лица, какъ Мапа и Оедя, далеко не составляютъ исключенія въ массѣ русскаго народа. Такихъ проявленій самостоятельности, какія выказались въ Машѣ, конечно, нельзя встрѣтить часто. Но это ничего не значитъ. Форма можетъ быть та или другая—это зависитъ отъ обстоятельствъ,—но сущность дѣла остается та же. Люди говорятъ разными языками; одинъ бываетъ разговорчивъ, другой нѣтъ. одинъ имѣетъ громкій голосъ, а другой—слабый,—бываютъ даже и совсѣмъ нѣмые, но все-таки остается неподлежащею сомнѣнію та истина, что человѣкъ имѣетъ даръ слова. Такъ точно, при всемъ разнообразіи степеней, въ какихъ проявляется въ русскомъ простолюдинѣ мысль о своихъ естественныхъ правахъ и стремленіе освободиться отъ обременнаго, барщиннаго труда—никакого сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что эта мысль и стремленіе существуютъ. Что крестьянинъ нашъ находится въ такомъ положеніи, въ которомъ подобныя стремленія встрѣчаютъ обыкновенно препятствія почти неодолимая, это опять несомнѣнно и извѣстно всѣмъ и каждому. Но именно сила-то этихъ препятствій и даетъ намъ мѣру того, какъ сильны внутреннія стремленія простолюдина, которыя сохраняютъ свою жизненность даже посреди самыхъ неблагоприятныхъ обстоятельствъ. Взгляните, въ самомъ дѣлѣ, на положеніе крестьянскаго мальчика или дѣвочки, и подивитесь, какъ у нихъ могутъ сохраниться человѣческія стремленія. Отецъ, мать, всѣ родные, подчиненные крѣпостной власти, свыкшіеся съ своимъ положеніемъ и извѣдавшіе, можетъ быть, собственнымъ горькимъ опытомъ все неудобство самостоятельныхъ проявленій своей личности,—всѣ стараются, изъ желанія добра мальчику, съ малыхъ лѣтъ внушить ему безпрекословную покорность чужому приказу, отреченіе отъ собственного разума и воли. Умственные способности раскрываются въ ребенкѣ какъ бы для того только, чтобы понять весь ужасъ, всѣ бѣдствія, какія можетъ навлечь на человѣка склонность къ разсужденіямъ, вопросамъ и требованіямъ. Всякая свободная, естественная логика замѣняется житейскими правилами, примѣняемыми къ рабскому положенію ребенка, въ родѣ тѣхъ увѣщаній, какі—я тетка дѣлала Машѣ, говоря, что «извѣстенъ нравъ барскій: будь в негодай, да поклонись—и все ничего; будь и чистъ, и святъ, да скажи слово поперекъ—и нѣтъ тебя хуже». Исходный пунктъ всѣхъ этихъ разсужденій—отрицаніе личности въ подчиненномъ существѣ, признаніе его за тварь, за вещь, для которой нѣтъ другого закона бытія, кромѣ произвола того, кому она подчинена... Къ такимъ понятіямъ приходятъ люди послѣ долгаго ряда страданій, униженій. убѣдившись въ своемъ безсиліи противъ судьбы: и для того только, чтобы предохранить близкихъ людей отъ подобныхъ же страданій и безплодныхъ попытокъ, стараются они внушить и имъ эти понятія. Многое и принимается слабымъ разсудкомъ и слабою волею

ребенка; тамъ, гдѣ подобныя внушенія поддерживаются еще практически—пинками да кулаками за всякій вопросъ, за каждое возраженіе,—тамъ и вырастаютъ робкія, безотвѣтныя, тупыя существа, ни на что негодныя, кромѣ какъ на то, чтобы всякому подставлять свою спину: кто хочетъ—побей; а кто хочетъ—садись да поѣзжай... Но это исключенія; въ общей массѣ людей невозможно исказить человѣческую природу до такой степени, чтобы въ ней не осталось и слѣда естественныхъ инстинктовъ и здраваго смысла. Одинъ изъ знаменитыхъ современныхъ публицистовъ Европы замѣтилъ недавно, что если бѣ деспотизмъ могъ только надъ двумя поколѣніями въ мірѣ процарствовать спокойно, безъ протестовъ противъ него, онъ бы могъ навѣки считать обезпеченнымъ свое господство: двухъ поколѣній ему достаточно было бы, чтобы исказить въ свою пользу смыслъ и совѣсть народа. Но въ томъ-то и дѣло, что деспотизмъ и рабство, противные природѣ человѣка, никогда не могли достигнуть *нормальности*, никогда не могли покорить себѣ вполне и умъ и совѣсть человѣка. Подчиняясь силѣ, даже заставляя себя строить силлогизмы въ пользу этого подчиненія, человѣкъ, однако же, невольно чувствовалъ, что силлогизмы эти условны и случайны, и что естественныя, истинныя, гораздо высшія требованія справедливости—совершенно имъ противоположны. Отсюда постоянно напряженное, неспокойное, недовольное положеніе массъ, даже безропотно, повидимому, подчинившихся наложенному на нихъ закону рабства. Въ исторіи всѣхъ обществъ, гдѣ существовало рабство, вы видите родъ спиральной пружинки: пока она придавлена—держится неподвижно, но чуть давленіе ослаблено или снято—она немедленно выскакиваетъ кверху. По прямому закону ея устройства она естественно стремится къ расширенію, и только посторонняя сила можетъ ее сдерживать. Такъ и людская воля и мысль могутъ сдерживаться въ положеніи рабства посторонними силами; но какъ бы эти силы ни были громадны, онѣ не въ состояніи, не сломавши, не уничтоживши спиральной пружинки, отнять у нея способность къ расширенію, точно такъ же, какъ не въ состояніи, не истребивши народа, уничтожить въ немъ склонность къ самостоятельной дѣятельности и свободному разсужденію.

Къ счастью, не отнимается эта склонность и у нашихъ простолюдиновъ. Между крестьянскими дѣтьми вы встрѣтите нерѣдко такихъ же наивныхъ радикаловъ, какъ и между дѣтьми другихъ сословій. Вѣроятно, каждому изъ нашихъ читателей не разъ случалось ловить дѣтей въ ихъ мечтахъ и воздушныхъ замкахъ, провозглашаемыхъ ими во всеуслышаніе. Случалось, вѣроятно, входить и въ разсужденіе съ дѣтьми по этому поводу, съ цѣлью довести ихъ *ad absurdum*. Вспомните же, какъ трудно обыкновенно достигалась подобная задача. Для ребенка не существуетъ наша условная, житейская логика, наши приличія, наше положительное законодательство. Тамъ, гдѣ взрослому человѣку можно остановить однимъ словомъ: «не вѣрно, не принято», и т. п.,—съ ребенкомъ нѣтъ воз-

возможности справиться. Маша никакъ не можетъ понять, отчего всѣ такъ стоять за барыню, и почему ея всѣ боятся: «она вѣдь одна, а насъ много; пошли бы всѣ, куда захотѣли,—что она сдѣлаетъ»?... Такія дѣтскія разсужденія, ставящія въ тупикъ взрослога человѣка, чрезвычайно часто случается слышать; они общи всѣмъ дѣтямъ, которыхъ не совсѣмъ забили при самомъ началѣ развитія. Въ крестьянскихъ дѣтяхъ они встрѣчаются не только не меньше, чѣмъ въ дѣтяхъ другихъ сословій, но даже еще чаще. Причина понятна: крестьянскія дѣти, говоря вообще, свободнѣе воспитываются, отношенія между младшими и старшими тамъ проще и ближе, ребенокъ раньше дѣлается дѣятельнымъ членомъ семьи и участникомъ общихъ трудовъ ея. А съ другой стороны, и то много значитъ, что естественный, здравый смыслъ ребенка тамъ меньше искажается искусственными, повидимому удовлетворительными отвѣтами, какіе находитъ мальчикъ или дѣвочка образованнаго сословія. Мы вѣдь съ раннихъ лѣтъ изучаемъ множество наукъ въ родѣ міеологіи и геральдики и съ малолѣтства искажаемъ свой разсудокъ разными казуистическими тонкостями и софизмами. Крестьянскій ребенокъ въ своей необразованной семьѣ не можетъ слышать ничего подобнаго, и потому долго остается вѣренъ природѣ и здравому смыслу, пока, наконецъ, не угомонитъ его тяготѣніе внѣшней силы, вооруженной всѣми пособіями новѣйшей цивилизаціи и опирающейся на всѣ силлогизмы и хрип, изобрѣтенныя просвѣщенными и краснорѣчивыми людьми...

Вотъ эта-то сила, тяготѣющая надъ простолюдиномъ и останавливающая нормальный ходъ его мысли, и оставляетъ обыкновенно болѣе свободы женщинѣ, нежели мужчинѣ; и вотъ почему сказали мы выше, что самая сущность дѣла оправдываетъ выборъ женскаго лица для изображенія живыхъ, свободныхъ стремленій мысли и воли въ крестьянскомъ сословіи. Крестьянскій мальчикъ рано надѣваетъ на себя тягу, испытываетъ на дѣлѣ несостоятельность всѣхъ своихъ думъ и мечтаній и приучается регулярно убивать свою мысль и заглушать свои высшія стремленія. Дѣвушка, какъ ни много раздѣляетъ она общіе труды съ мужчинами, все-таки имѣетъ нѣсколько болѣе свободы предаться своимъ мыслямъ. Самый родъ многихъ занятій благопріятствуетъ этому: за пряжей, тканьемъ, шитьемъ и вязаньемъ гораздо удобнѣе думать и мечтать, нежели при сѣяньи, паханьи, жнитвѣ, молотьбѣ, рубкѣ дровъ, и пр. Притомъ же, можно предполагать, что и у крестьянъ, какъ вообще во всѣхъ сословіяхъ, воспріимчивость и воображеніе сильнѣе у женщинъ, нежели у мужчинъ. И дѣйствительно, припомнивъ многія наблюденія надъ жизнью простолюдыя, мы находимъ, что женщины здѣсь вообще болѣе мужчинъ склонны къ разсужденіямъ о предметахъ возвышенныхъ—о душѣ; о будущей жизни, о началѣ міра, и т. п. Знахарство, врачебное искусство, знаніе травъ и наговоровъ принадлежитъ преимущественно женщинамъ. Сказки, легенды и всякаго рода преданія хранятся въ устахъ старушекъ; рассказы о святыхъ мѣстахъ и чужихъ земляхъ также разносятся по Руси странниками и богомол-

ками. На разговоръ о томъ, какъ на свѣтѣ правды не стало, и какъ всѣ въ мірѣ беззаконствуютъ, можно въ нѣсколько минутъ навести всякую бабу. Правда, заключеніе разговора будетъ неотрадное: «все, дескать, это по грѣхамъ нашимъ, и видно ужъ такъ намъ на роду написано, судьба наша такая несчастная, и ничего съ нею не подѣлаешь»... Но говорится это больше по привычкѣ; а когда станешь продолжать разговоръ и предлагать средства для выхода изъ настоящаго положенія, то и окажется, что самая фаталистическая старуха не прочь бы ими воспользоваться, да только боятся и не довѣряетъ.

У мужчинъ замѣчается тотъ же видимый фатализмъ; но это опять не фатализмъ вѣры, а фатализмъ отчаянія: такъ больной, убѣжденный въ неизбежности близкой смерти и потерявшій довѣренность къ лѣкарямъ, не хочетъ принимать лѣкарства. Такъ и мужикъ, отчаявшись въ возможности выйти изъ своего положенія, не хочетъ и говорить о немъ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы больному хотѣлось умереть и чтобы мужику было сладко его положеніе. И тотъ, и другой приняли бы съ радостью всякое средство, которое могло бы послужить къ ихъ дѣйствительному облегченію. Мало того, — врачи-психологи говорятъ — и нельзя не вѣрить этому, — что всякій больной, самый отчаянный, до послѣдней рѣшительной минуты не теряетъ надежды на возможность такого средства, не перестаетъ въ глубинѣ души ждать его, хотя, повидимому, уже совершенно покорился своей участи и готовится къ смерти. То же самое и съ людьми, находящимися въ стѣсненномъ положеніи и, повидимому, примирившимися съ нимъ: они отчаялись и смирились только видимо, а внутри ихъ непремѣнно бродитъ желаніе и надежда выйти изъ этого положенія. Первые слухи объ освобожденіи были встрѣчены крестьянами очень недовѣрчиво. Намъ не разъ случалось, въ отвѣтъ на эту новость, слышать отъ мужика: «давно ужъ объ этомъ толкуютъ; да гдѣ ужъ тому быть? И такъ вѣкъ иживемъ». Но, при всемъ своемъ недовѣріи и наружномъ равнодушіи, тотъ же крестьянинъ спрашивалъ о подробностяхъ разныхъ правительственныхъ распоряженій, относящихся къ дѣлу освобожденія. А потомъ, когда стало ясно, что съ нимъ не шутятъ, вопросъ объ освобожденіи сталъ для крестьянъ нашихъ рѣшительно на первомъ планѣ, какъ самое важное и жизненное дѣло. Теперь нѣтъ уголка во всей Россіи, гдѣ бы не рассказывали о томъ, какъ, при началѣ дѣла освобожденія, помѣщичьи крестьяне собирали сходки и отправляли депутаціи — или къ помѣщику, или къ священнику, или даже къ земскимъ властямъ, чтобы разузнать, что и какъ намѣрены рѣшить на счетъ ихъ... Памятенъ также и тотъ азартъ, съ которымъ народъ, въ Петербургѣ, бросился къ сенатской книжной лавкѣ, когда однажды, въ началѣ 1856 года, разнесся слухъ, что вышелъ и продается указъ объ освобожденіи крестьянъ.

Да и безъ этихъ демонстрацій, есть одинъ фактъ, безмолвный, но убѣдительно свидѣтельствующій въ пользу того, что отвращеніе

къ крѣпостному состоянію, крѣпостному труду сильно развито въ массѣ. Совсѣмъ отказаться отъ работы, протестовать прямо крестьянинъ не можетъ. Отдѣлываться отъ барскихъ приказовъ такъ, какъ Маша въ разсказѣ Марка Вовчка, возможно очень рѣдко, да и то въ одиночку, а не скопомъ, не цѣлой гурьбою. Какъ скоро подобная склонность, отказаться отъ барской работы, обнаруживалась по мѣстамъ, то послѣдствія, какъ извѣстно, бывали для крестьянъ очень непріятныя. Поэтому, волей-неволей, надо было работать. Но что же, однако? Во всей Россіи, во всѣхъ крѣпостныхъ имѣніяхъ, безъ всякаго, конечно, соглашенія и уговора, крестьяне заявляютъ свой протестъ противъ обязательнаго труда особымъ способомъ: они работаютъ плохо. Большею частью они даже сами не умѣютъ формулировать объясненія для своихъ поступковъ, но фактъ, что барщинская работа очень неспора, — повсемѣстенъ. Кромѣ профессора Горлова и (вѣроятно) его усердныхъ слушателей и поклонниковъ въ университетѣ, всѣ согласны въ томъ, что вольнонаемный трудъ несравненно спорѣе и выгоднѣе обязательнаго. Объ этомъ даже многіе землевладельцы писали въ своемъ журналѣ. Чего же вамъ еще? Отъ чего происходитъ это явленіе, какъ не отъ безсознательнаго присутствія въ каждомъ мужикѣ, въ каждой бабѣ крестьянской того же чувства, которое такъ ясно и сознательно выразилось въ Машѣ Марка Вовчка? Разница въ степени развитія и въ формѣ проявленія, а основа и здѣсь и тамъ одна и та же.

Да, мы находимъ, что въ «Машѣ» разсказанъ не исключительный случай, чуждый нашей жизни и могущій произойти развѣ съ — одною изъ ста тысячъ крестьянскихъ душъ, — какъ претендуютъ — плантаторы и художественные критики. Напротивъ, мы смѣло говоримъ, что въ личности Маши схвачено и воплощено высокое стремленіе, общее всей массѣ русскаго народа, терпѣливо, но неотступно ожидающей свѣтлаго праздника освобожденія. Мы никогда не согласимся съ тѣми, кто хочетъ отрицать въ народѣ даже это ожиданіе, утверждая, что онъ еще не получилъ вкуса къ самостоятельной жизни, къ свободному распоряженію своими поступками. Благодаря историческимъ трудамъ послѣдняго времени и еще болѣе новѣйшимъ событіямъ въ Европѣ, мы начинаемъ немножко понимать внутренній смыслъ исторіи народовъ, и теперь менѣе, чѣмъ когда-нибудь, можемъ отвергать постоянство во всѣхъ народахъ стремленія, — болѣе или менѣе сознательнаго, но всегда проявляющагося въ фактахъ, — къ возстановленію своихъ естественныхъ правъ на нравственную и матеріальную независимость отъ чужого произвола. Въ русскомъ народѣ это стремленіе не только существуетъ наравнѣ съ другими народами, но, вѣроятно, еще сильнѣе, нежели у другихъ. Говоримъ это вовсе не потому, чтобы раздѣляли хоть малѣйшую долю мнѣнія о превосходствѣ славянскаго племени надъ всѣми прочими и о данномъ ему свыше призваніи —

Хранить для міра достоянье
Высокихъ жертвъ и чистыхъ дѣлъ,
Хранить племенъ святое братство,
Любви живительный сосудъ,
И вѣры пламенной богатство,
И правду, и безкровный судъ,—

В подобныя прелести, о которыхъ такъ звучно умѣетъ пѣть гость Хомяковъ. Нѣтъ, безъ всякихъ тонкихъ соображеній о племѣнныхъ различіяхъ, мы просто смотримъ на предшествующія со- и на результатъ ихъ—современное положеніе народа. Всякому, что человѣкъ совсѣмъ голодный съ большимъ аппетитомъ будетъ свой обѣдъ, нежели тотъ, кто передъ обѣдомъ успѣлъ трахать; тотъ, у кого вовсе нѣтъ никакихъ средствъ къ жизни, тѣ ихъ отыскивать энергичнѣе и упорнѣе, нежели тотъ, у кого хоть плохая возможность прожить кое-какъ. Изъ всѣхъ европейскихъ народовъ самый консервативный, самый преданный установленнымъ законамъ и преданіямъ, конечно, англичане; и это какъ имъ болѣе понятно. Они имѣли время внутренняго броженія, время, когда они должны были дорогою цѣною покупать себѣ самыя необходимыя права; но, купивши ихъ, они успокоились, если не вполне удовлетворенные, то, по крайней мѣрѣ, обеспеченные въ самыхъ своихъ необходимыхъ своихъ требованіяхъ. При этой обеспеченности, дальнѣйшія стремленія сами собою получаютъ характеръ спокойный, умѣренный, чуждый всякой порывистости и лихорадочности. Человѣкъ, запасшійся зонтикомъ, хотя и чувствуетъ непріятность дождемъ, но все-таки онъ прикрытъ хоть нѣсколько, и потому имѣетъ надобности бѣжать къ дому такъ торопливо, какъ тѣ, у которыхъ нечѣмъ прикрыться... Вотъ этого-то зонтика, подъ которымъ переносить дождь большая часть европейскихъ народовъ, и спѣла дать намъ наша предшествующая исторія. Мы еще только начинаемъ вступать на тотъ путь, которымъ прошла Европа; мы еще только и глядѣть-то стали на свое путешествіе и едва начинаемъ искать дорогу. Отъ этого идемъ мы робко, неровно, какъ бы на ощупь; отъ этого и кажется, что у насъ нѣтъ инициативы. Но мы чувствуемъ надобность идти, хотя бы до первой станціи; намъ нельзя остановиться на одномъ мѣстѣ, нельзя и остановиться на дорогѣ. Ясно, начало нашего пути должно быть совершаемо съ большою рѣшительностью, спѣшностью и твердостью, нежели продолженіе пути, которое мы видимъ теперь у другихъ народовъ. Наши нужды насильственныя, безъ удовлетворенія ихъ труднѣе прожить, нежели безъ удовлетворенія того, къ чему стремятся теперь европейскіе народы. Гласная реформа въ Англіи, свобода прессы во Франціи, третья какимъ-нибудь Фавромъ или Оливье, безъ сомнѣнія, вещи необходимыя, и современемъ онѣ будутъ достигнуты; но для нихъ еще намъ терпѣть, онѣ далеко не такъ существенны и настоятельны, какъ законное обезпеченіе гражданскихъ правъ и матеріальнаго быта.

милліоновъ народа, до сихъ поръ болѣе или менѣе терпѣвшихъ отъ тяжелаго вліянія произвола. Для этихъ милліоновъ дѣло идетъ не о какой-нибудь прибавкѣ къ правамъ, которыя они уже приобрѣли прежде, а чисто на-чисто о созданіи хотя какихъ-нибудь правъ, потому что подъ вліяніемъ крѣпостного принципа они, если не *de jure*, то *de facto*, не имѣли вовсе никакихъ. Ясно, что жажда приобретенія этихъ правъ, если ужъ она разъ почувствована, должна быть сильнѣе, нежели всякое стремленіе къ расширенію правъ уже существующихъ; ясно, что здѣсь именно всего сильнѣе можетъ обнаружиться дѣятельность народнаго духа, и потому этотъ предметъ заслуживаетъ особеннаго вниманія всѣхъ людей, истинно-любящихъ народное благо. Многіе до сихъ поръ полагаютъ, что народъ, еще не получившій свободы, не долженъ заслуживать и серьезнаго вниманія, такъ какъ онъ живетъ и дѣйствуетъ не самъ по себѣ, а какъ ему велятъ. И это разсужденіе было бы справедливо, если бы оно относилось къ массѣ окончательно обезсиленной и совершенно лишенной всѣхъ человѣческихъ стремленій. Но мы уже сказали, что не вѣримъ даже въ возможность подобнаго обезличенія цѣлаго народа и, ни въ какомъ случаѣ, не можемъ навязать его народу русскому. А если потребность возстановить независимость своей личности существуетъ, то намъ нѣтъ надобности знать, получила ли она формальное разрѣшеніе или нѣтъ: будетъ ли она освящена формальнымъ образомъ, или нѣтъ,—во всякомъ случаѣ она проявится въ фактахъ народной жизни, рѣшительно и неотлагаемо. Заглушить эту потребность или повернуть ее по своему никто не въ состояніи; это рѣка, пробивающаяся черезъ всѣ преграды и не могущая остановиться въ своемъ теченіи, потому что подобная остановка была бы противна ея естественнымъ свойствамъ.

Но какое же именно направленіе можетъ принять на практикѣ это стремленіе къ приобретенію самостоятельности и свободы? Известно, что эти понятія самыя неопредѣленныя, и, можетъ быть, ни одно изъ словъ, обращающихся въ разговорномъ обиходѣ человѣчества, не возбуждало столько споровъ, какъ слово «свобода». Ученые и философствующие люди доселѣ не могутъ окончательно согласиться въ опредѣленіи этого понятія; какъ же пойметъ его нашъ простолюдинъ? Многіе увѣряютъ, что, по глупости и необразованности своей, подъ свободой онъ будетъ разумѣть возможность ничего не дѣлать, никого не слушаться, каждый день напиваться и буйнить; читатели наши уже знаютъ, къ какому разряду принадлежатъ люди, провозглашающіе такое мнѣніе. Потому мы о нихъ не станемъ распространяться, а скажемъ только, что эти люди, отзываясь подобнымъ образомъ о крестьянахъ, судятъ по себѣ, не принимая въ соображеніе разницы условій, подъ которыми вырастаютъ они и простолюдины. Для изученія этой разницы имъ опять надо обратиться къ Марку Вовчку: у него найдутъ они поучительный рассказъ въ этомъ смыслѣ, подъ названіемъ «Игрушечка».

Въ «Игрушечкѣ» разсказывается исторія развитія прекрасной

дѣтской натуры, подобной Машѣ, но только натуры барской. Сравните оба разсказа, и вы увидите, какъ несравненно больше залоговъ правильнаго, здороваго развитія заключаетъ въ себѣ жизнь простолюдина, нежели жизнь барченка или барышни. Тамъ и требованія проще, и цѣль ближе и опредѣленнѣе, и самый способъ разсужденія не такъ искаженъ. Самое печальное и гибельное искаженіе мысли простолюдина состоитъ въ томъ, что онъ теряетъ ясное сознаніе своихъ человѣческихъ правъ, своей личной самобытности и непринадлежности никому другому. На этомъ пути онъ, дѣйствительно, доходитъ до величайшихъ нецѣлостей, насильственно убивая въ себѣ самыя законныя требованія и стремленія своей природы. Но такъ какъ природныя требованія всегда сохраняютъ извѣстную долю силы надъ человѣкомъ, то всегда есть надежда навести бѣдняка на правильную точку зрѣнія. А какъ скоро ужъ онъ на эту точку станетъ, — онъ ее примѣнитъ и къ дѣлу; въ этой практичности состоитъ особенность крестьянской мысли, и въ этомъ заключается ея сила. Мы обыкновенно философствуемъ для препровожденія времени, иногда для пищеваренія, и большею частью о предметахъ, до которыхъ намъ дѣла нѣтъ и которыхъ мы никакимъ образомъ измѣнить не въ состояніи, да и не намѣрены. Крестьянину вовсе не до такой умственной роскоши; онъ человѣкъ рабочій, онъ задумывается надъ тѣмъ, что можетъ имѣть отношеніе къ его жизни, и задумывается именно для того, чтобы въ душѣ своей найти основаніе для практической дѣятельности. Припомните, о чемъ разсуждала, чего допытывалась Маина и къ чему ее привели всѣ ея размышленія. Намъ кажется, что въ ея лицѣ авторъ весьма удачно выставилъ главнѣйшіе вопросы, съ которыхъ должна начинаться работа мысли въ цѣломъ сословіи. Первый вопросъ, разумѣется, долженъ касаться личной неприкосновенности: «что же это такое? Я не хочу, а меня тащатъ; зачѣмъ — неизвѣстно, по какому праву — непонятно; этого не должно быть». Въ этомъ простомъ разсужденіи заключается уже зародышъ всѣхъ возможныхъ правъ и гарантій общественныхъ. Извѣстенъ процессъ мышленія: когда я хочу объяснить чей-нибудь поступокъ со мной, я ставлю самого себя на мѣсто другого и стараюсь придумать, что могло бы заставить меня на этомъ мѣстѣ поступить такимъ образомъ; если никакихъ достаточныхъ мотивовъ не оказывается, я признаю поступокъ несправедливымъ. Поэтому, если ребенокъ задумывается надъ тѣмъ, по какому праву другіе посягаютъ на его личность, и кончаетъ тѣмъ, что не находитъ тутъ никакого права, то уже въ этомъ разсужденіи вы находите гарантію того, что въ ребенкѣ нѣтъ склонности посягать самому на чужую личность. Такимъ образомъ люди, возстающіе противъ насилія и произвола, тѣмъ самымъ даютъ уже намъ нѣкоторое ручательство въ томъ, что они сами не будутъ прибѣгать къ насилію и не дадутъ простора своему произволу; желаніе неприкосновенности для своей личности заставитъ ихъ уважать и личность другихъ. Конечно, и въ людяхъ, дѣйствующихъ произвольно и насильственно,

надобно тоже предполагать присутствіе нѣкотораго желанія, чтобы съ ними не поступали такъ, какъ они съ другими; но позволительно думать, что вслѣдствіе совершенно уродливаго развитія, даже это желаніе въ нихъ не довольно сильно и притомъ подвержено множеству ограниченій. Замѣчено, что люди, гордые и деспотичные съ низшими, почти всегда являются подлыми ласкателями и безпрекословными овечками передъ высшими. Замѣчено также, что самые неумолимые, самые несносные управляющіе въ помѣщичьихъ имѣніяхъ бываютъ изъ лакеевъ, и что вообще лакеи себя держатъ предъ мужиками гораздо высокомернѣе, чѣмъ ихъ господа. Читатель можетъ самъ дополнить эти наблюденія еще нѣсколькими примѣрами изъ болѣе обширнаго круга, и онъ непременно придетъ къ заключенію, что употребленіе насилія надъ другими заглушаетъ или, по крайней мѣрѣ, очень ослабляетъ въ человѣкѣ способность истинно и глубоко возмущаться противъ насилія надъ нимъ самимъ. Въ послѣднее время мы видали, правда, что люди, весь свой вѣкъ не знавшіе другого закона, кромѣ произвола, вдругъ начали кричать противъ произвола, когда онъ задѣвалъ ихъ интересы. Но за то эти люди обыкновенно покричатъ, пошумятъ, да и отстанутъ: энергически, дѣятельно защищать то, что они считаютъ своимъ правомъ, они не могутъ, потому что сознаніе права вообще у нихъ очень потускнѣло и стерлось.

Итакъ, первое, что является непререкаемой истиной для простого смысла, есть неприкосновенность личности. Рядомъ съ этимъ неизбежно является и понятіе объ обязанности и правахъ труда. «Я не имѣю права на стѣсненіе чужой личности, такъ какъ никто не имѣетъ права стѣснять меня самого; значить, я не могу рассчитывать жить на чужой счетъ: это значило бы отнимать у другихъ плоды ихъ трудовъ, т. е. насиловать, порабощать ихъ личность. Стало быть, я необходимо долженъ заботиться самъ объ обезпеченіи своей жизни, долженъ работать: живя своимъ трудомъ, я не буду имѣть надобности отнимать чужое и, вмѣстѣ съ тѣмъ, имѣя матеріальное обезпеченіе, буду имѣть средства постоянно сохранять свою собственную независимость». Таковы простѣйшія соображенія, изъ которыхъ вытекаетъ обязанность трудиться, ясная, какъ день, для всякаго простого человѣка. И эти соображенія не выдуманы нами теоретически: они прочно и глубоко лежатъ въ душѣ каждаго простолюдина. Ему обыкновенно даже и въ голову не приходитъ, чтобы можно было жить на свѣтѣ, ничего не дѣлая: такъ онъ далеко отъ этого на практикѣ. Скажите любому крестьянину въ рабочую пору, чтобы онъ отдохнулъ, бросилъ работу, вы получите простой отвѣтъ: а гдѣ жъ мы хлѣба-то возьмемъ? Не поработашь, такъ и не поѣшь.

Стоитъ только обернуть разсужденіе, приводящее къ мысли объ обязанности работать, и мы получимъ выводъ о правахъ труда. «Если я долженъ работать для своего обезпеченія, потому что не могу и не долженъ воспользоваться плодами трудовъ моего сосѣда,

то очевидно, что и сосѣдъ долженъ имѣть въ виду то же самое соображеніе. Онъ долженъ работать для себя, и я никакъ не могу и не считаю справедливымъ отдавать ему то, что я заработалъ». И вотъ мы прямо приходимъ къ требованіямъ и рѣшеніямъ, къ которымъ пришла Маша у Марка Вовчка, и которыя въ гораздо меньшей, едва замѣтной, степени, проявляются во всемъ крѣпостномъ населеніи русскомъ. «Что мнѣ работать на другихъ? Лучше я ничего не буду дѣлать»,—такъ рассуждаютъ люди, лишенные полныхъ правъ на свой трудъ, и — или вовсе отказываются отъ труда, гдѣ можно, какъ Маша, напимѣрь, или стараются употребить какъ можно меньше усилій и усердія для чужой работы, какъ дѣлаютъ помѣщичьи крестьяне по всей Россіи. Отсюда мы можемъ сдѣлать простой выводъ о томъ, куда направятся крестьянскія силы, какъ скоро они получатъ право свободно располагать своимъ трудомъ: какъ Маша, при первой вѣсти о возможности свободы, закричала, что она работать будетъ, хоть закабалить себя, только бы заработать свой выкупъ, такъ точно и цѣлая масса, послѣ освобожденія, обратится къ усиленному труду, къ заботамъ объ улучшеніи своего положенія. Теперь вѣдь ужъ *весь* трудъ освобожденнаго работника—*ею*, ему принадлежитъ неотъемлемо, значить, чѣмъ больше онъ потрудится, тѣмъ больше и приобрѣтетъ, тѣмъ лучше будетъ и его положеніе. При такихъ условіяхъ даже и временное лишеніе личной свободы не такъ тяжело. Замѣчательно, что Маша, для приобрѣтенія свободы, хочетъ *закабалить* себя: это значитъ, что для нея главнымъ образомъ не то тяжело, что она не можетъ дѣлать всего, что хочетъ, а то горько, что она должна отречься отъ правъ на свой трудъ безъ всякаго резона, Богъ-вѣсть зачѣмъ. Отдавая себя въ кабалу, она знаетъ, что тутъ условія дѣлаются обязательными съ обѣихъ сторонъ; она будетъ въ кабальной работѣ, а за нее за то выплатятъ выкупъ. Такимъ образомъ, для нея видно здѣсь начало и основаніе ея рабства; да виденъ и конецъ, и притомъ конецъ, до нѣкоторой степени, все-таки сообразный со смысломъ, такъ какъ кабальный терминъ рассчитывается пропорціонально величинѣ уплаты и стоимости работы закабаленнаго. Ничего подобнаго не было въ томъ состояніи, подъ которымъ жила Маша у своей барыни: тамъ ни начала, ни конца, ни входа, ни выхода, ни смысла, ни расчета,—одинъ только произволъ и, вслѣдствіе того, полное отсутствіе всякихъ личныхъ гарантій и опредѣленныхъ правъ; что захотятъ, то съ тобой и сдѣлаютъ, безъ резона, безъ отчета, безъ отвѣта... Это-то всего болѣе и невыносимо для человѣка, у котораго хоть чуть-чуть начинается просыпаться требованіе справедливости, отъ природы присущее всѣмъ людямъ, но во многихъ заглушаемое приниженіемъ и придушеніемъ ихъ личности.

Такимъ образомъ, предполагая, что крестьяне получаютъ свободу, мы видимъ вслѣдъ за этимъ, какъ прямой результатъ—увеличеніе количества и возвышеніе качества ихъ труда. Само собою разумѣется, что мы не смѣемъ прилагать всѣхъ вышеизложенныхъ рассужденій,

какъ непремѣннаго условія къ правительственнымъ мѣрамъ освобожденія, приводимымъ теперь къ концу въ редакціонной комиссіи. Мы говорили только о томъ, что должно быть вообще, по требованію логики и наблюденій надъ крестьянскимъ бытомъ и характеромъ: но мы нимало не хотимъ касаться специально-хозяйственныхъ и административныхъ вопросовъ, подлежащихъ разсужденію комиссіи, и заранѣе опредѣлять возможныя послѣдствія тѣхъ мѣръ, какія будутъ приняты правительствомъ. Мѣры эти весьма естественно могутъ произвести свои особыя дѣйствія, весьма различныя отъ тѣхъ, какія мы можемъ предвидѣть, разсуждая о дѣлѣ въ общихъ чертахъ и представляя только логическія его опредѣленія. Но наша задача состоитъ только въ указаніи на нѣкоторыя черты народнаго характера, а вовсе не въ опредѣленіи способа дѣйствій крестьянскихъ комитетовъ и комиссій, до которыхъ намъ здѣсь совсѣмъ нѣтъ дѣла. Поэтому останавливаясь на самыхъ общихъ намекахъ на то, какимъ образомъ должна быть принята и употреблена свобода каждымъ простолюдиномъ нашимъ, мы теперь возвратимся къ той параллели, къ которой, какъ мы сказали, подаетъ поводъ разсказъ «Игрушечка».

«Игрушечка» есть не болѣе, какъ искаженіе имени: Аграфена, Груша, Грушечка, но искаженіе, полное грустнаго и тяжелаго значенія. Эта Груша, крестьянская дѣвочка, въ самомъ дѣлѣ, была весь свой вѣкъ игрушечкой своей барышни и барыни, а барышня и барыня, загубившія ея вѣкъ, были въ сущности совершенно невинныя, добрыя созданія, которыя никогда бы не согласились мучить, губить людей: онѣ могли только *играть*, забавляться ими. Вся барская жизнь, изображенная въ «Игрушечкѣ», полна такой идилліи, что становится совѣстно сказать жесткое слово объ этихъ господахъ. Ни малѣйшаго слѣда какого нибудь расчета, преднамѣренности, злобы или хитрости не видно во всей ихъ жизни, во всѣхъ ихъ, даже самыхъ дурныхъ, поступкахъ. Какъ они живутъ и что ихъ занимаетъ, это намъ всего лучше расскажетъ сама «Игрушечка» (стр. 132—135).

„Господа наши были молоды. Нашу барыню всѣ красавицей величали. Такая была высокая да статная, чернобровая, бѣлая, — только лѣнивая... Господи, какая она ужъ лѣнивая-то уродилась! И глянетъ-то она на тебя въ полъ-глаза. Всей работы у нея было, всего дѣла, что изъ горницы въ горницу плаваетъ, склонивши головку на бокъ, и длиннымъ своимъ платьемъ шелковымъ шуршитъ. Оживится немножко она развѣ, какъ гости наѣдутъ, говорливыя, да веселыя, да осудливыя. Поднимутъ на зубки и чепчики разные, и генеральшу московскую, похвалятъ о городѣ Парижѣ да побранятъ свой уѣздъ, — тогда и наша барыня голову подниметъ и заговоритъ себѣ громче... Баринъ поживѣе ея былъ, веселыя пѣсенки все пѣвалъ, да насвистывалъ. Говорили, что *не башковатъ* онъ, ну да за то смиренъ былъ. Съ барынею они жили согласно. И она была барыня добрая. Никого они не карали, не казнили, они и сердиться-то рѣдко сердились. Приди кто изъ людей съ какой просьбой къ нимъ — *ничего, не отпишутъ, развѣ только пускать не велитъ, коли докучило, или пообмануло*, да

не сдѣлаютъ—забудутъ. Жили да поживали наши господа довольны да веселы, мирны да спокойны. Вотъ это сидятъ, бывало въ гостиной; баринъ сидитъ, а барыня ласками по юртицѣ поводитъ, и вдругъ ей въ голову пришло: „мой другъ, — говоритъ барину, — а вѣдь голубне-то обои были бы лучше въ гостиной“! — Баринъ такъ и вскочить горошкомъ. — „Душечка, какая мысль тебѣ хорошая пришла! Гдѣ у меня-то разсудокъ до сихъ поръ былъ“? И давай себя по лбу ласкать... „Ну такого дѣла откладывать нечего, сегодня же въ городъ похлѣмъ, а къ воскресенью чтобы все готово было“. — „Да, да! — подхватить барыня, — прїѣдетъ Анна Петровна и Клавдія Ивановна, — вотъ удивятся-то! А ужъ Анна Ѳедоровна такъ разсердится, что за обѣдомъ ничего ѣсть не станетъ. Непременно къ воскресенью, мой дружокъ“! И примутся хлопотать, примутся суетиться. Въ страсть эти дни живутъ: все имъ чудится, что карета во дворъ въѣзжаетъ. „Охъ, кто-то прїѣхалъ, кажется“, говорятъ, а сами въ лицѣ мѣняются. Удивить хотятъ, видите, и вдругъ — если бѣ застали, что стѣны ободраны! А имъ тревои, другихъ заботъ у нихъ, кажись, и не бывало. Никогда я не видала, чтобы баринъ нашъ призадумался, чтобы барыня всплакула, — нешто безденежье, или барышня захвораетъ. А безденежье ихъ часто пристукивало. Любили они оба и жить роскошно, и наряжаться богато. Барыня все шелковня разныя платья носила, да въ тонкихъ кружевахъ ходила. Баринъ тоже щеголь великій былъ: шейный платочекъ все голубинимъ крылышкомъ завязывалъ, да бывало иной разъ съ утра до самаго обѣда бьется и не сладитъ. „Вотъ день то несчастный выдался“, — вздохнетъ: — „никакъ не слажу“!... И барыня къ нему тутъ на помощь придетъ, и Арину Ивановну кликнуть, да словно къ вѣнцу прибираютъ, — вся около нея въ заботѣ такой, хлопотаетъ... А ужъ какъ вырядится онъ — такимъ брындикомъ выйдетъ, передъ зеркалами останавливается, да такъ прїятно на себя поглядываетъ и рукой все себя по щекѣ поглаживаетъ...

„Это еще все бы не разоръ былъ, если бѣ только не мѣняли они всего до ниточки каждый годъ по скольку разъ. Мало ли на одинъ домъ шло? И къ Рождеству, и къ Святой, бывало, все обновляютъ. И какъ ужъ весело тогда баринъ хлопочетъ! Самъ картины прибываетъ... Вѣдь чудно покажется какъ сказать, а скажу правду: до страсти любилъ онъ воздики вбивать, и случись, что по усердію кто ему услужить постыжится, то такъ огорчится... Потому ужъ вся такъ и знали, сами не брались никогда, а ему приотвѣтятъ молотокъ. И правду тоже надо сказать, что ужъ никто такъ воздика не вбьетъ: такъ онъ наловчился, что только глянеть — и потрафитъ, куда надо воздику...

Поѣдутъ ли въ городъ господа — чего они не накупятъ! И самоваровъ наведутъ, и сушеная горошку, а дома подъ самоварами въ кладовой полки ломятся, и горошку садовники на цѣлый годъ запасаютъ; понаведутъ они обои штофные, какихъ-то рыбокъ горькихъ въ банкахъ, табакерки съ музыкой... Разносчики-ли наѣдутъ — купцы хитрые, зоркіе — сколько они денегъ оберутъ! „Не берите, батюшка, — говорятъ барину, — это очень дорого, вы вотъ себѣ подешевке возьмите“. Барыня словно подожжетъ: „подавай мнѣ самое дорогое“! Да и купитъ такое жъ самое въ три-дорога. Еще, бывало, и сдачи не возьметъ. И поглядываетъ на купцовъ бородатыхъ: „вотъ я вамъ пустилъ нитъ въ глаза! А купцы отъ радости даже вздыхать почнутъ... А какъ именнини сѣрвыаютъ, или

рожденіе! Пойдутъ тутъ сборы да приборы такіе, — сохрани Боже! И вина выписываютъ, и конфеты выписываютъ, и шаль и чепчикъ баринѣ, и шейный платочекъ и желтыя перчатки барину... „Да ужъ кстати, будутъ посылать,—говорятъ,—то выписать и то, и вотъ это-бъ выписать“, и пятое-десятое... Да такъ наберется, что на почту телегу надо посылать... Хотя много имъ утѣхи на именинахъ бывало, да много-жъ и хлопотъ, и тревогъ не мало: вѣдь совѣмъ измучатся, пока отбудутъ, ходючи да думаячи тяжело: что лучше къ обѣду подать? да какъ цвѣты уставить? да чѣмъ генеральшу бы удивить и покойнаго сна ее лишить? *Изморятся, бывало, словно на барщины*“.

Это изображеніе барской жизни надо причислить къ лучшимъ страницамъ послѣдней книги Марка Вовчка. Въ добродушномъ тонѣ рассказчицы намъ слышится уже не раздраженный, озлобленный памфлетизмъ, не страстная борьба, а спокойный, неліцепріятный, торжественный судъ исторіи надъ самой сущностью, надъ принципомъ крѣпостного права. Въ этомъ рассказѣ видны намъ не только пустота и ничтожество добрыхъ господъ, выросшихъ въ крѣпостныхъ понятіяхъ, но ясно просвѣчиваютъ самыя основныя причины этой пустоты и ничтожества. Вы видите, что этихъ людей забили и обезличили хуже, чѣмъ всякаго крестьянина; ихъ лишили сознанія своего достоинства и обязанностей, у нихъ отняли всякую возможность серьезно взглянуть на себя, у нихъ вынули душу и замѣнили ее нѣсколькими условными требованіями и сентенціями житейской цивилизаціи. вмѣсто всѣхъ вѣлній здраваго смысла, имъ съ малолѣтства вбито въ голову и срослось съ ними понятіе, что они должны жить на чужой счетъ, сами ничего не дѣлая, что это ихъ право, ихъ призваніе на землѣ. Сообразно съ этимъ призваніемъ ведено было все ихъ воспитаніе, все умственное и нравственное развитіе. Оттого они ничему не выучены, ничего не умѣютъ, ни къ чему не склонны особенно, оттого они не знаютъ, чѣмъ наполнить пустоту своего времени, оттого они не умѣютъ даже рассчитать своихъ расходовъ, предвидѣть свое безденежье, сообразить, что имъ нужно купить и чего ненужно. У нихъ не можетъ быть подобнаго расчета, потому что имъ сказано; «ты имѣешь то-то и можешь наслаждаться тѣмъ-то»; но никогда не дано даже и мысли о томъ, что они собственными трудами должны пріобрѣсти право на пользованіе благами жизни. Мысль о трудѣ, какъ необходимомъ условіи жизни и основаніи общественной нравственности, столько же недоступна имъ, какъ и мысль объ уваженіи въ каждомъ человѣкѣ его естественныхъ, неотъемлемыхъ правъ. Имъ никогда не придетъ въ голову взглянуть на себя серьезно, задать себѣ вопросъ—зачѣмъ они живутъ на свѣтѣ и что такое составляютъ они среди общества, отъ котораго требуютъ и получаютъ всякаго рода блага и услуги. Вотъ объ нихъ-то можно съ полнымъ правомъ сказать, что въ нихъ нѣтъ никакой инициативы и что жизнь ихъ лишена всякаго внутренняго смысла. Сами по себѣ они—ничто; они живутъ животною, почти автоматическою жизнью, покамѣстъ не истощены средства, достав-

шіяся имъ по милости судьбы; какъ скоро этихъ средствъ нѣтъ, они—несчастнѣйшія, безпомощнѣйшія существа. Лишенные всякихъ ресурсовъ къ обезпеченію своего существованія, лишенные всякой опоры въ себѣ самихъ, не понимая даже того, что значить уваженіе къ самому себѣ, они готовы на всевозможныя униженія и пошлости, чтобы только перебиться какъ-нибудь. Игрушечники господа, промотавши безъ толку все свое имѣнье, переѣзжаютъ на житье къ тетенькѣ, старой ханжѣ и скрягѣ, которая каждый день попрекаетъ ихъ и читаетъ имъ наставленія. И они принуждены безмолвно и покорно сносить ея обращеніе: имъ ничего болѣе не остается, какъ жить у кого-нибудь изъ милости, предаваясь совершенно капризамъ того, кто ихъ кормитъ. За то у нихъ остается привилегія дармоѣдства и ничего-недѣланья...

А между тѣмъ ничего-недѣланье то привито къ нимъ искусственно! Естественная, ничѣмъ и никогда незаглушаемая потребность дѣятельности не теряетъ и надъ ними своего вліянія. Бѣда только въ томъ, что, по своему уродливому воспитанію, ни баринъ, ни барыня не только вѣяться ни за что не умѣютъ, но даже не могутъ и придумать для себя какой-нибудь дѣльной работы: такъ ограниченъ кругъ ихъ знаній и стремленій! И прискиваютъ они для себя специальности въ родѣ вбиванія гвоздиковъ да повязыванья галстука голубинымъ крылышкомъ, и придумываютъ труды и заботы въ родѣ перемѣны обоевъ и мебели... Вѣдь вотъ пристрастился же этотъ господинъ къ вбиванію гвоздиковъ и сдѣлался весьма искуснымъ мастеромъ своего дѣла: почему же не быть бы ему искуснымъ плотникомъ, сапожникомъ, обойщикомъ? И конечно, будь бы онъ иначе воспитанъ и находился въ другихъ обстоятельствахъ, — такъ онъ бы и нашелъ какое-нибудь полезное занятіе для себя и не былъ бы такимъ паразитнымъ существомъ, способнымъ только заѣдать чужой вѣкъ и чужіе труды. Тогда бы онъ былъ и гораздо самостоятельнѣе, тверже, независимѣе, не зналъ бы этихъ маленькихъ, но для него тяжкихъ огорченій, которыя онъ испытываетъ при неудачной повязкѣ галстука или въ то время, какъ въ гостиной стѣны ободраны. Тогда естественно получилъ бы онъ склонность и рассчитывать и обдумывать свою жизнь и не впадалъ бы въ такое положеніе, которое описываетъ «Игрушечка». «Пиръ у господъ за пирами, а тутъ глядь — денегъ нѣтъ. Вотъ, сядутъ тогда они въ гостиной и сидятъ — пріуныли. Одинъ въ окошко глядитъ, другой въ другое; «ахъ-ахъ, ха-ахъ», — ахаютъ. А прошла бѣда, продали или заложили деревеньку, денежки зазвенѣли опять, и опять обѣды званые, гости нахлынули, пиръ горой, и весело живетъ, и хорошо имъ» (разумѣется, опять до перваго безденежья). Ничего нельзя представить глупѣе такого положенія, и только съ малолѣтства къ нему приученные въ состояніи переварить его. За то какую же и скукуто они испытываютъ: недаромъ ходятъ изъ угла въ уголъ, да смотрятъ въ-полглаза, точно сонные; недаромъ убиваютъ время надъ повязываньемъ галстука голубинымъ крылышкомъ. Да и обѣды-то,

и вечера-то они больше затѣмъ даютъ, чтобы чѣмъ-нибудь занять и развлечь себя: тоска ихъ одолеваетъ смертная, а помочь не знаютъ чѣмъ и не думаютъ, что тутъ серьезная помощь нужна...

И у такихъ-то родителей, въ такой жизни хочетъ развиться живая, пытливая натура дѣвочки, ихъ дочери! Нечего и говорить, что стремленія ея не получаютъ удовлетворенія и всѣ попытки остаются совершенно безуспѣшными. Но исторія ея развитія, такъ знакомая во многихъ подробностяхъ каждому изъ насъ, свидѣтельствуется съ одной стороны — какъ сильны и незаглушимы въ человѣкѣ естественныя, природныя требованія мысли и сердца, и съ другой стороны — какое безчисленное множество препятствій противопоставляется имъ въ барской жизни и нашемъ уродливомъ воспитаніи.

Откуда, въ самомъ дѣлѣ, у дочери такихъ родителей, видящей вокругъ себя все то, что выше описано, можетъ родиться склонность къ самымъ радикальнымъ вопросамъ, къ пытливой, недѣтски-серьезной думѣ о жизни и ея условіяхъ? Откуда въ ней уваженіе къ требованіямъ справедливости, презрѣніе къ самоуниженію и рабству? Никто ей не внушаетъ ничего подобнаго, ничто кругомъ не располагаетъ къ такимъ мыслямъ... Но достаточно одного: чтобы милые родители избавили ее отъ своего надзора и не заботились объ ея нравственномъ воспитаніи, достаточно этого, чтобы естественныя стремленія человѣческой природы явственно выразились въ ней и получили свою силу. Достаточно было самаго легкаго соприкосновенія съ бѣдной дѣвочкой, съ «Игрушечкой», которой она помыкала, чтобы расшевелить въ ней природныя требованія добра и правды... Но все это ни къ чему не могло повести: естественно человѣку дышать, но не можетъ же онъ дышать безъ воздуха; естественно зерну прозябать, но не взойдетъ же сѣмя, брошенное на голую каменную плиту; такъ не разовьется и живой организмъ человѣческій, попавши въ среду такого бездушнаго, автоматическаго, барскаго существованія, какое мы видимъ у игрушечкиныхъ господъ. Вотъ исторія барышни, большею частью вертящаяся около ея отношеній къ «Игрушечкѣ».

Барышня увидала на улицѣ въ деревнѣ дѣвочку: «дай мнѣ эту дѣвочку»!—Привели ее въ барскій домъ, заставили играть съ барышней. На другой день послѣ того господъ собирались выѣзжать въ другую вотчину, и дѣвочку надо было отпустить. Но барышня заупрямилась: «хочу дѣвочку съ собою взять». Такъ и сякъ ее уговаривать, — нѣтъ, слушать ничего не хочетъ, плачетъ. Дѣлать нечего, барыня велѣла снарядить дѣвочку въ дорогу. Мать ея бѣдная приходитъ, съ горькими слезами упрашиваетъ: «отдайте дочку». Барыня отвѣчаетъ кротко и резонно: «Я бы тебѣ отдала, да барышня не пускаетъ, — очень ей твоя дочка понравилась; *ты не плачь, пожалуйста: она вѣдь скоро барышню прискутитъ, — дѣтская забава не надолго—тогда сейчасъ твою дочку мы перешлемъ къ тебѣ*». И не подозревая, сколько людоедства заключается въ

этомъ добродушномъ отвѣтѣ, барыня довершаетъ его, говоря своей ключницѣ и приживалкѣ, Аринѣ Ивановнѣ: «Ахъ, какъ жалко мнѣ эту женщину,—просто, я на нее смотрѣть не могу! Идите, душечка Арина Ивановна, скажите ей что-нибудь, *дайте ей вотъ денегъ...* ну отдайте что-нибудь изъ моихъ вещей похуже... только поскорѣе, чтобъ она шла себѣ, *чтобъ тутъ не плакала*». Видите ли, какое положеніе безвыходное: барыня здѣсь сама точно на барщинѣ, точно чиновникъ, исполняющій свой долгъ: «по совѣсти, какъ человекъ, я вамъ сочувствую, но по точному смыслу законовъ я долженъ васъ посадить въ тюрьму». Такъ и она: у ней доброе сердце, она сама мать, ей жалко бѣдную женщину; но *noblesse oblige*, и помѣщичье право тоже *oblige*,—противъ своей воли она должна отнять дочь у матери... А чтобъ утѣшить мать, она хочетъ дать ей за дочь нѣсколько *денегъ*, какъ будто не отъ этой самой женщины и подобныхъ ей получила она свои деньги: дешевое великодушіе!.. И цѣль этого великодушія главная та, чтобы избавить себя отъ зрѣлища слезъ и отчаянія матери: чтобъ она шла себѣ, чтобы только *тутъ не плакала*...

Барышня, требуя себѣ Грушу, которую тутъ же и назвали Игрушечкой, разумѣется, и не подозреваетъ всей безнравственности своихъ требованій, потому что она еще не имѣетъ понятія о юридическихъ отношеніяхъ, существующихъ между нею и крестьянской дѣвочкой. Ей просто хочется имѣть подругу, и она не отпускаетъ отъ себя ту, которая ей понравилась. Но въ ея положеніи нельзя безнаказанно имѣть никакихъ требованій: окружающая жизнь немедленно обращаетъ самое простое ея желаніе въ деспотическое насиліе и безчеловѣчный произволъ. Вотъ, напр., сцена, показывающая намъ, какъ ребенокъ развращается гнуснѣйшимъ образомъ въ самомъ дѣтскомъ возрастѣ.

Игрушечку любитъ барышня, и за то терпѣть не можетъ Арина Ивановна. Разъ приходитъ въ барскіе хоромы мужичекъ, съ поклономъ и гостинцемъ отъ матери къ Игрушечкѣ; Арина Ивановна не пускаетъ его, онъ упрашиваетъ, она бранится. Игрушечка, играя съ барышней недалеко отъ дѣвичьей, услышала ихъ споръ и зарыдала. Барышня тотчасъ пристала: «о чемъ плачешь»? Та сказала. Тогда, несмотря на увѣщанія Арины Ивановны, барышня настоятельно потребовала, чтобы мужичка пустили и гостинецъ Игрушечкѣ отдали; даже сама дверь растворила мужичку. Поговорила съ мужичкомъ дѣвочка, разумѣется, припомнила свою мать, родной домъ, и принялась плакать, рассматривая свой гостинецъ—двѣ рубашечки, да глиняную уточку, да пряничекъ медовый. Арина Ивановна принялась насмѣхаться надъ рубашечками и хотѣла ихъ взять да «зашвырнуть куда-нибудь подальше». Но барышня не позволила и Арину Ивановну прогнала изъ комнаты. Между тѣмъ Игрушечка все плачетъ, и барышня все подлѣ нея сидитъ, да поглядываетъ на нее призадумавшись. Богъ-вѣсть, что она думала; можетъ, приходила къ мысли, зачѣмъ же это она такое горе дѣлаетъ бѣдной

дѣвочкѣ, разлучая ее съ матерью. Но въ комнату, переждавши не много, опять входитъ Арина Ивановна. Происходитъ слѣдующая сцена (стр. 127).

„ — Что вы, Зинаида Петровна, такъ заскучали? — спрашиваетъ барышню Арина Ивановна.

„Барышня вздохнула и на меня пальчикомъ показала...

„ — Она все плачетъ по своей мамѣ, она къ своей мамѣ хочетъ.

„ — Да пусть себѣ хочетъ! Чего-жъ вамъ-то беспокоиться? Не хотите — не пустимъ, мой ангелъ, вы не беспокойтесь!

„ — А плачетъ?

„ — Мало-ли что! Да вы вѣдь ее взяли себѣ въ забаву, вы ея госпожа, мое сокровище, — что съ ней захотите, то и сдѣлаете: плакать прикажете — плачь! прикажете веселиться — веселись!

„ — А какъ она не станетъ?

„ — Не станетъ? Да мы ее такъ проучимъ, что она у насъ шелковая будетъ!

„ — Мнѣ жалко Игрушечку...

„ — Вотъ то-то и есть, что вы все жалѣете! И проку изъ нея не будетъ. Вы не жалѣйте!

„ — Жалко Игрушечку, — твердитъ барышня, — жалко Игрушечку!

„ — Говорю, перестаньте жалѣть, перестанетъ она и плакать, и всю ея блажь какъ рукой сниметъ“.

Такъ въ самомъ зародышѣ подавляются добрыя и справедливыя стремленія барышни. У ней есть не только доброта, по которой она жалѣетъ плачущую дѣвочку, но и зачатки уваженія къ человѣческимъ правамъ и недовѣріе къ насильственному праву собственнаго произвола: когда ей говорятъ, что можно заставить Игрушечку дѣлать, что угодно, она возражаетъ: «а какъ она не станетъ»? Въ этомъ возраженіи уже видно инстинктивное проявленіе сознанія о томъ, что каждый имѣетъ свою волю, и что насиліе чужой личности можетъ встрѣтить противодѣйствіе совершенно законное. Но всѣ эти зародыши здоровой мысли тотчасъ же уничтожаются рабскимъ внушеніемъ подлой ключницы и приживалки, а главное — самое положеніе барышни очень благопріятствуетъ заглушенію здоровыхъ тенденцій. Между тѣмъ какъ Маша и ей подобные упорно идутъ дальше и дальше въ своихъ разсужденіяхъ и запросахъ, однажды проявившихся, Зиночка рада, напротивъ, усыпить все, что поднимается изъ глубины ея сознанія. Дѣло понятное: для Маши, кромѣ естественнаго влеченія, и самый интересъ жизни состоитъ въ томъ, чтобы добиться теоретическаго и практическаго торжества здоровыхъ понятій: вѣдь искаженіе человѣческаго смысла и господство произвола обрушивается на нее всякаго рода стѣсненіями и насиліями. Барышня находится совершенно въ обратномъ отношеніи къ вопросу. Производя въ ней сначала нѣкоторое замѣшательство и неловкость, какъ все противное естественнымъ требованіямъ организма, принципъ произвола и насилія принимается ею, однакоже, довольно

легко и скоро проникаетъ въ ея существо. Онъ убиваетъ въ ней нравственную жизнь, онъ ядовитъ для нея, такъ же точно, какъ и для тѣхъ, которымъ приходится страдать отъ нея; но способъ его дѣйствія на нее и другихъ чрезвычайно различенъ: тѣхъ онъ отравляетъ, какъ обыкновенный ядъ, производящій мучительныя конвульсіи; на нее онъ дѣйствуетъ какъ опиумъ, дающій ей плѣнительные призраки, но чрезъ то самое притупляющій и медленно губящій здравыя силы организма. Трудно отказаться отъ отравы хашиша тому, кто разъ допустилъ себя ею увлечься; еще труднѣе отказаться отъ нравственнаго яда произвола и господства, когда они приносятъ намъ, хотя тоже призрачныя, но для человѣка, стоящаго еще на низшихъ ступеняхъ развитія, весьма привлекательныя удобства. Основаніе уваженія къ чужимъ правамъ заключается, какъ мы говорили, прежде всего въ инстинктъ самосохраненія, въ желаніи оградить неприкосновенность и своихъ собственныхъ правъ; а если постоянныя примѣры показываютъ ребенку, что онъ можетъ нарушать чужія права безнаказанно, то гдѣ жъ его слабой мысли найти достаточную опору противъ соблазна? Первоначальнымъ побужденіемъ къ труду служитъ также естественная необходимость упражнять свои силы, и, слѣдовательно, охота трудиться должна находиться въ прямой пропорціи съ количествомъ силъ человѣка, которое опять зависитъ во многомъ отъ упражненія. Поэтому естественно, что пока силъ мало, то и охота къ труду слаба, и ежели никакихъ другихъ побужденій къ работѣ нѣтъ, то ребенокъ очень охотно привыкаетъ лѣниться, отчего силы его, оставаясь безъ упражненія, такъ и не получаютъ надлежащаго развитія. Это мы видимъ не только въ физическомъ, но и въ нравственномъ развитіи: при началѣ ученія дѣти очень неохотно принимаются за всякій урокъ, гдѣ имъ нужно много соображать и добиваться толку; они предпочитаютъ, чтобъ имъ все было растолковано и чтобъ съ ихъ стороны требовалось только пассивное воспріятіе. Многіе родители и заботятся объ этомъ: цѣлую толпу учителей, гувернеровъ и репетиторовъ приглашаютъ, чтобъ разжевать и положить въ ротъ ихъ дѣтямъ всякое знаніе; за то такія дѣти и остаются на весь вѣкъ обезьянами, иногда очень учеными и вообще понятливыми, но неспособными возвыситься до само-бытнѣйшей человѣческой мысли.

И не одними матеріальными удобствами способствуетъ положеніе барышни искаженію ея мысли и чувства: неестественное само въ себѣ, положеніе это вызываетъ такіе уродливые факты, которые еще болѣе сбиваютъ ее съ толку. Возьмемъ для примѣра хоть продолженіе той же сцены Зиночки съ Игрушечкою.

Выслушавши совѣты Арины Ивановны, барышня приступаетъ къ дѣвочкѣ съ приказаніемъ, чтобъ та веселилась, при чемъ Арина Ивановна покатывается со смѣху.

„ — Веселись, Игрушечка, — приказывает барышня; — веселись и маму свою сейчас забудь. Слышишь, что я тебя приказываю? Ну, забыла свою маму?

„ — Нѣтъ, — говорю, — не забыла!

„ Арина Ивановна ко мнѣ:

„ — Да ты смѣешь-ли такъ отвѣчать барышнѣ, а? что? Ахъ, ты, грубіанка! Велятъ тебѣ смѣяться — сейчасъ у меня смѣйся!

„ *Смѣюсь я передъ ней, слезы свои горькія ллотаючи.*

„ — Ну, вотъ видите, мой ангелъ, она и смѣется, — утѣшаетъ барышню Арина Ивановна. *А барышня глядитъ на меня такими-то пытливыми глазами.*

„ — Игрушечка, — говоритъ — какъ же ты и плачешь и смѣешься? *А я вотъ не стала-бъ.*

„ — И, голубчикъ, равняетесь съ кѣмъ! — ей на это Арина Ивановна. — Ей что прикажутъ, то она и можетъ.

„ — Вотъ, Игрушечка, ты какая! — проговорила барышня: — вотъ какая“!... (стр. 128).

Совѣты и увѣренія Арины Ивановны, какъ видите, подтверждаются фактами, которые производятъ на барышню непріятное, но неотразимое впечатлѣніе. Она *пробуетъ* себя и Игрушечку, приказываетъ ей веселиться, она еще не довѣряетъ, чтобы подобныя истязанія надъ подобнымъ же ей человѣкомъ могли быть дѣйствительны. И что же? Бѣдный ребенокъ, запуганный и безпомощный, поддается: это озадачиваетъ и даже какъ будто огорчаетъ барышню: она чувствуетъ, что тутъ что-то неладно. «Я бы этого не сдѣлала», говоритъ она, переходя отсюда къ мысли, что и Игрушечка, какъ такой же человѣкъ, не должна была бы этого дѣлать. Но тутъ сейчасъ готово объясненіе, что Игрушечка вовсе не «такой же человѣкъ», а холопка, которая «что ей прикажутъ, то и можетъ»... Фактъ на лицо: отчего же и не повѣрить такому объясненію, тѣмъ болѣе, что оно усыпляетъ инстинктивное безпокойство барышни ~~и~~: этотъ счетъ, снимаетъ съ нея нравственную отвѣтственность и льститъ ея тщеславію, поднимая ее на степень существа высшаго, по праву могущаго распоряжаться волею и личностью другихъ людей!.. Такимъ образомъ, мысль о своемъ родствѣ со всѣми людьми и полнотѣ правности каждаго человѣка, мысль о солидарности человѣчески ~~и~~ отношеній быстро заглушается въ ней при самомъ зарожденіи. Остается только на первыхъ порахъ какое-то обидное сожалѣніе, какъ будто разочарованіе въ надеждахъ на друга: «вотъ, Игрушечка, ты какая»! восклицаетъ барышня въ первую минуту. Но потомъ и это проходитъ: она сама, уже безъ подстреканій Арины Ивановны, начинаетъ въ послѣдствіи стращать Игрушечку: «не скучай; ты знаешь. — я все съ тобой могу сдѣлать; я вѣдь тебя баловать не буду», и пр...

Такія сцены, повторяясь каждый день и каждый часъ, способны убить всякій здравый смыслъ и человѣческое чувство уже прежде, нежели они успѣютъ проявиться. Такъ и бываетъ со многими. Но

Зиночка, какъ мы сказали, оставлена родителями на произволъ судьбы въ обществѣ Игрушечки, и никто, кромѣ Арины Ивановны, не внушаетъ ей барской теоріи. Это спасаетъ ея нравственныя силы и даетъ имъ возможность развиться хоть до степени пытливаго и упорнаго желанія и исканія, если не настоящей самодѣтельности. Нѣкоторые вопросы преслѣдуютъ ее очень серьезно: ей все хочется знать, отчего и какъ. Она спрашиваетъ Игрушечку о ея прежней жизни, о деревенскихъ работахъ; та рассказываетъ. Послѣ этихъ разсказовъ, — говоритъ Игрушечка, — «случалось, что такъ меня она обниметъ крѣпко да и говоритъ мнѣ: — Игрушечка, я бѣ сама не дошла, какъ все это дѣлается. Кто-жъ у васъ додумался, Игрушечка?» — «Я не знаю, — говорю ей, — кто додумался, а всѣ у насъ умѣютъ». — «Можетъ, твоя мама Игрушечка?» — «Можетъ, — говорю». Тѣмъ разумѣется и ограничивались объясненія съ Игрушечкой, да это еще было лучшее, что барышня могла слышать. Съ отцомъ и матерью дѣло ужъ вовсе не шло на ладъ. Разъ, напр., Игрушечка расплакалась, услыхавши, что продано ея родное село, и, стало быть, она ужъ туда больше не вернется. Барышня потолковала съ ней, посмотрѣла на нее, да и задумалась «Какъ, — говоритъ, — это все на свѣтѣ дѣлается!» — Да что? спрашиваетъ Игрушечка. — «Да какъ же, — говоритъ Зиночка, — ты замѣчаешь ли, что когда одни плачутъ, другіе смѣются; одни говорятъ одно, а другіе опять совсѣмъ другое. Вотъ ты плачешь, что Тростино продали, а мама и папа всегда въ радости, когда деньги получаютъ». И вдругъ, въ тревогѣ, она бросается къ Игрушечкѣ: «Да нельзя развѣ, чтобъ всѣ веселы были? Нельзя, Игрушечка?» — Видно нельзя, говоритъ. — «Отчего жъ?» — Да не бываетъ, такъ, — говоритъ та: — вотъ вѣдь и мы съ вами, все мы вмѣстѣ, а мысли у насъ разныя приходятъ. — «Да отчего жъ такъ? Отчего?» На этомъ разговорѣ застаютъ дѣвочекъ Арина Ивановна и допрашиваетъ, о чемъ такъ горячо разсуждаютъ. Но барышня уже не довѣряетъ ей и не хочетъ сказывать; тогда Арина Ивановна напускается на Игрушечку, дѣлаетъ тревогу и докладываетъ господамъ, что Игрушечка барышню пугаетъ и въ слезы вводитъ. Тѣ приходятъ и начинаютъ допросъ. Эта сцена тоже очень характерна и показываетъ, какое участіе въ воспитаніи дочери принимаютъ добрые господа, не лишенные, впрочемъ, привычекъ образованнаго общества. Мать спрашиваетъ:

„ — Зиночка, что такое было? О чемъ ты съ Игрушечкой говорила? Поди ближе и скажи мамѣ.

„ — Говорили, что одни люди плачутъ, а другіе люди веселы...

„ — Что, дружочекъ?

„ Удивилась очень барыня, и баринъ во всѣ глаза глядитъ; а барышня опять.

„ — Что одни люди смѣются, а другіе въ слезахъ.

„ Барыня съ баринѣмъ переглянулись и оба на барышню досмотрѣли.

„ — Ну, скажи, мама, — заговорила барышня: — скажи мнѣ, отчего это такъ

„Вскочила она къ барынѣ на колѣни, обнимаетъ и прижимается къ ней, и въ глаза глядитъ—ждетъ слова отъ нея заветнаго, а барыня ей въ отвѣтъ:

„ — Умныя дѣти, мой дружочекъ, никогда не плачутъ.

„ — А бываетъ же скучно, мама, и умнымъ, бываетъ чего-то больно, будто и скучно...

„А барыня: „умныя дѣти, дружочекъ мой, всегда веселы“.

„ — Ахъ, Боже мой, какая ты мама! Ну, глупыя скучаютъ, плачутъ—развѣ ужъ тебѣ ихъ совсѣмъ и не жалко?

„ — Глупыхъ дѣтей наказываютъ, Зиночка, — отозвался баринъ, взявши себя за подбородокъ,—и они сейчасъ умнѣютъ.

„ — Да Зиночка у насъ умница, — говоритъ барыня: — она никогда у насъ не скучаетъ, никогда не плачетъ. Это какой-то мужичокъ иногда приходитъ, подъ окномъ у нея плачетъ, а Зиночка умница.

„Поднялись и пошли себѣ. Выходя, говоритъ барыня Арина Ивановна:

„ — Вы напугали меня, Арина Ивановна; я думала—Богъ-знаетъ что такое, а вышло пустяки такіе, что даже и понять-то трудно“.

Тѣмъ и покончилась исторія; барышня только вздохнула тяжело, и слезы у ней къ глазамъ подступили...

Въ такихъ-то условіяхъ томится живая душа, жаждущая знанія, правды, порывающаяся разрѣшить себѣ загадку жизни. Когда она подросла немножко, ей и гувернантокъ выписывали: одна была тихая, добрая, но педантическая въ своемъ дѣлѣ и вовсе неумѣлая нѣмочка: она все дѣлала по пунктамъ и никакъ не хотѣла удовлетворить любознательности ученицы, любившей забѣгать и впередъ и въ сторону. Не сошлись онѣ и, видя, что дѣло нейдетъ на ладъ, нѣмочка сама просила, чтобъ ее отпустили. Пріѣхала на ее мѣсто вертлявая француженка; та принялась болтать и рассказывать, ~~и~~ сначала совершенно околдовала Зиночку и прибрала къ рукамъ весь домъ. Но и француженка не удовлетворила пытливую дѣвочку: ~~еѣ~~ надо было знать корень и причину всего: надо было серьезно раз- ~~о~~ брать и понять каждую вещь, а у Матильды Яковлевны все был ~~о~~ разумеется, легко, мило, поверхностно и—пусто. Черезъ нѣсколь- ~~к~~ времени барышня сама это замѣтила, охладѣла къ француженкѣ ~~ѣ~~ перестала ее и спрашивать, а все сама задумывалась. Ари- ~~на~~ Ивановна приписывала ея скуку тому, что мамзель ее ученіемъ ~~за-~~ мучила; но Зиночка отвѣчала печально: «да я ничего не знаю ~~и~~ ничему не выучилась,—какъ же задумчива?» И стала она все боль- ~~ше~~ и больше задумываться, да и кончила тѣмъ, что на пятнадцатомъ году стала умомъ мѣшаться. Грустное и тихое было ея помѣша- тельство,—все она задумывалась да плакала, особенно когда видѣла чужія слезы. Игрушечка хотѣла утѣшать ее: полноте, говоритъ, — со всѣми плакать не станетъ васъ. «Игрушечка, — отвѣчала помѣ- шанная: когда плачетъ человѣкъ, ты знаешь ли, какъ ему больно! А я знаю! Я знаю, какъ больно!» Вскорѣ въ этомъ помѣшательствѣ она и умерла.

Мы нарочно остановились на нѣкоторыхъ чертахъ характера и

развитія этой дѣвушки, чтобы яснѣе указать разницу условій, отъ которыхъ зависитъ направленіе мысли и воли — въ образованномъ обществѣ и въ простыхъ классахъ. Каждый согласится, что въ нашемъ воспитаніи, даже самомъ лучшемъ, очень мало серьезности, мало пищи для пытливаго ума, гораздо больше ненужныхъ и непонятныхъ формальностей и отвлеченностей, нежели отвѣтовъ на живые вопросы о мірѣ и людяхъ, весьма рано возникающіе въ дѣтской душѣ. Слѣдовательно, всѣ мы, считающіе себя образованными, подвергались болѣе или менѣе той нравственной порчѣ и тому медленному умерщвленію силъ духа, которое такъ ярко рисуется намъ въ сценахъ Зиночки съ Ариной Ивановной и съ милыми родителями. Къ этому прибавимъ еще, что внѣшнее положеніе весьма многихъ людей въ такъ-называемомъ образованномъ обществѣ совершенно схоже съ положеніемъ Зиночки: нѣтъ надобности самому трудиться, есть возможность распоряжаться другими и употреблять ихъ для своихъ капризовъ, есть поводъ считать себя чѣмъ-то высшимъ, чѣмъ эта масса людей, какъ будто созданныхъ только для службы намъ. Все это чрезвычайно деморализируетъ и разслабляетъ человѣка, и вотъ гдѣ истинная причина той общей вялости, мелочности и пустоты, на которую такъ много и такъ давно жалуются серьезные люди въ нашемъ образованномъ обществѣ. Рѣшимся выговорить слово правды: цѣлая поколѣнія жили и прожили у насъ, не сдѣлавъ ничего путнаго и показавъ только, что они негодны къ настоящему дѣлу, потому именно, что въ ихъ понятіяхъ и привычкахъ всегда бродила закваска крѣпостныхъ воззрѣній, и вся жизнь ихъ слагалась, съ самаго начала, подъ вліяніемъ крѣпостного устройства. Пригнетая и сдавливая однихъ внѣшнимъ образомъ, оно въ то же время еще рѣшительнѣе, внутренно и существенно, губило и тѣхъ самыхъ, которые хотѣли жить угнетеніемъ другихъ. Оно ихъ разслабило, опошло, развратило, обездушило и сдѣлало гораздо жалче, гораздо ничтожнѣе и негоднѣе тѣхъ, которыхъ они эксплуатировали своимъ произволомъ... Хорошо, что теперь уже прекратилась возможность такой эксплуатаціи; а то Богъ знаетъ, до чего бы она довела и ту и другую сторону...

Послѣ смерти барышни еще продолжается грустная исторія Игрушечки; но мы уже не будемъ на ней останавливаться, — Игрушечка такъ и осталась до конца жизни игрушечкою судьбы и добрыхъ господъ своихъ. Хотѣла было она хорошо, счастливо пристроиться: полюбился ей Андрей, барскій столяръ, и она ему понравилась. Да пришли они просить барскаго разрѣшенія на свадьбу въ то время, какъ господа послѣднюю вотчину, и Андрея съ Игрушечкою въ томъ числѣ, продали. Приходъ ихъ только напомнилъ барынѣ, что ей жалко разстаться съ Игрушечкой, и она принялась упрашивать новаго владѣльца, чтобъ онъ уступилъ ей эту дѣвушку. Тотъ согласился. Игрушечка заикнулась было, что любитъ Андрея, но барыня жалостливо возразила: «ахъ, ахъ, Игрушечка! Не стыдно ли тебѣ, и ты могла бы меня оставить? Ахъ, какъ можно! Боже мой! Все

насъ покидаетъ!» И заплакала. Повели ее подъ руки въ карету, посадили; и Игрушечку втокнули тоже, и помчались онѣ... Андрей только издали смотрѣлъ на это, блѣдный какъ смерть. Новый баринъ его былъ очень крутъ, не какъ прежніе господа. Черезъ два мѣсяца Игрушечка узнала, что въ селѣ ихъ «несчастье случилось... Шестъ человѣкъ на поселенье пошло... Андрей шестымъ»... (стр. 171). Такъ погибла ея послѣдняя надежда на счастье, на возможность быть, наконецъ, чѣмъ-то побольше «игрушечки».

Въ «Игрушечкѣ» видимъ мы лицо совершенно пассивное: постоянно тоскливое, грустное расположеніе—вотъ ея единственный протестъ на свою несчастную судьбу. И немудрено: вспомнимъ, что она оторвана отъ своихъ, выхвачена насильно изъ простой народной жизни и брошена въ этотъ тихій омутъ, гдѣ ее держать для забавы, насильно заставляютъ веселиться и безпрестанно запугиваютъ и при-давливаютъ. Простотѣ и свѣжести первыхъ лѣтъ жизни, первыхъ впечатлѣній дѣтства, надо приписать еще и то, что она въ этой обстановкѣ не сдѣлалась подлой и лстивой холопкой, доносчицей и смутьянкой, подобной тѣмъ «благороднымъ» приживалкамъ, типъ которыхъ находимъ мы въ Василисѣ Перегриновнѣ, въ «Воспитанницѣ» Островскаго.

Но въ самой покорности несчастныхъ, вынужденныхъ покориться поневолѣ, мы видимъ часто гораздо болѣе рѣшимости и энергіи, нежели въ суетливыхъ исканіяхъ и метаньяхъ изъ стороны въ сторону, въ которыхъ такъ часто изживаютъ у насъ цѣлый вѣкъ даже очень хорошіе люди. Для дополненія параллели, которую мы приводили выше, мы укажемъ теперь на коротенькій рассказъ Марка Вовчка «Саша».

Исторія простая: Саша привезена изъ деревни въ горничныя къ барынѣ; барынинъ племянникъ соблазнилъ ее, да потомъ такъ привязался къ ней, что хотѣлъ на ней жениться. Какъ только онъ женитьбѣ заикнулся, Сашѣ сейчасъ косы обрѣзали и заперли ее въ темную... Онъ ходилъ, плакалъ, кланчилъ, бился, какъ рыба обледѣлъ, наконецъ выпросилъ Сашѣ свободу, поклявшись, что не будетъ пытаться жениться на ней. И пошло все своимъ чередомъ—только Сашѣ такъ горько было, что все опостылѣло, и она выпростила у господъ позволеніе въ монастырь итти, гдѣ и умерла вскорѣ. А онъ—«и до сей поры ходитъ на ея могилу и все молится тамъ». Жениться не захотѣлъ; всегда ходитъ печальный такой: «нѣтъ,—говорить,—никто ужъ меня не повеселитъ такъ, какъ моя Саша — ко-койница! Богъ судья дяденькѣ и тетенькѣ»!..

Изъ остова рассказа уже видно отчасти, какая разница между этими двумя людьми. Но вотъ нѣсколько частныхъ чертъ, ясно рисующихъ оба характера.

Саша отдалась молодому человѣку вполне, беззавѣтно; она исчезла въ немъ, заключила всѣ чувства и стремленія въ любви къ нему. Когда узнали объ ихъ любви и стали надъ ней издѣваться, она говорила: «что жъ, люди смѣются, пускай себѣ! Я люблю его,

я ею! Что жъ мнѣ о себѣ думать-то? Думай онъ. Хорошо ему—весело, что смѣются—смѣйтесь; а обидно ему покажется—самъ онъ знаетъ, что сдѣлать. А я послушаюсь его слова, его приказу». Это разсужденіе какъ нельзя болѣе сообразно съ положеніемъ Саши и показываетъ въ ней очень умный взглядъ на свои отношенія къ молодому барину. Полюбивши ее и воспользовавшись ея расположеніемъ, онъ дѣлался естественно ея заступникомъ, покровителемъ, связывался съ нею единствомъ интересовъ, и онъ первый долженъ былъ бы понимать это, если былъ бы человѣкъ здраво и честно развитый. Саша считала его такимъ и понимала за него то, до чего онъ еще не сумѣлъ возвыситься съ своимъ образованіемъ. Онъ былъ человѣкъ добрый и честный въ душѣ, хотя и легкомысленный; онъ очень полюбилъ Сашу, и самъ признался ей: «я вѣдь тебя обмануть собирался, Саша, обмануть хотѣлъ и потомъ бросить,—ты прости меня! Не бросилъ—силъ не было, потому что полюбилъ крѣпко». И онъ точно не бросилъ ее: до конца жизни любилъ, и по смерти любилъ. Но его воспитаніе и положеніе были таковы, что не давали ему никакой возможности серьезно вникнуть въ свои обязанности и поступить такъ, какъ предписывало и требованіе честности, и даже собственное сердце. Саша покорна своей судьбѣ; что же ей, въ самомъ дѣлѣ, предпринять можно въ ея положеніи? Она тутъ не при чемъ; у ней нѣтъ ни силы, ни воли; онъ долженъ все устроить, и будь бы у него сердце и смыслъ Саши—онъ бы не призадумался надъ ничтожными препятствіями, представлявшимися ему, и не сталъ бы потомъ плакаться на дяденьку и тетеньку. Но въ томъ-то и дѣло, что *такой* смыслъ, *такой* характеръ не даются людямъ его положенія. Саша порабощена внѣшнимъ образомъ, и снимите съ нея этотъ гнетъ,—она способна подняться до какихъ угодно нравственныхъ и умственныхъ высотъ. А любимый ею юноша лишенъ внутренне всякой самостоятельности, всякой опоры въ себѣ самомъ, и порабощенъ всѣмъ существомъ своимъ забавнымъ ничтожностямъ, которыя такъ цѣнятся въ свѣтѣ. Онъ жалуется, что отецъ съ дѣтства забилъ и запугалъ его; но отецъ отцомъ, а главное-то все-таки въ томъ, что ему не хочется потерять нѣкоторыхъ преимуществъ своего положенія, хотя и ничтожныхъ, но уже привычныхъ ему и льстящихъ его тщеславію. Онъ настолько образованъ, что понимаетъ отчасти ихъ ничтожность, но понимаетъ теоретически, холоднымъ соображеніемъ, безъ участія сердца. Оттого-то онъ и для борьбы не находитъ въ себѣ силъ, да и покориться то не можетъ съ достоинствомъ и твердостью. Вотъ, напримѣръ, разговоръ его съ Сашей. «Скажи, Саша, скажи, что дѣлать?—спрашиваетъ онъ ее въ тоскѣ.—Мучусь я, и голова кругомъ идетъ... Охъ, Саша, если бы можно мнѣ было жениться на тебѣ».—«*Женись*»,—говоритъ Саша очень просто, понимая, что тутъ никакой невозможности нѣтъ.—«А люди-то что скажутъ?—возражаетъ онъ.—Подумай-ка, Саша, какъ люди-то напустятся,—дядя, жена его злая еще пуще,—всѣ, всѣ родные! Заклюютъ они насъ, Саша! Умеръ бы я теперь съ ра-

достью». И заплакалъ. А Саша опять говоритъ ему простой отвѣтъ: *«ну, умремъ, коли хочешь»*. Она на все готова; по ней, если съ нимъ нельзя жить, то и умереть нипочемъ... Но онъ поплакалъ, поплакалъ и рѣшилъ: *«нѣтъ,—говорить,—нѣтъ умереть отъ своей руки (благочестіе тутъ напало!)»*; лучше я женюсь на тебѣ, Саша,— *будь что будетъ*. И храбро прибавляетъ: *«что мнѣ они? что мнѣ ихъ бояться?»*.. И точно, ему отъ нихъ даже наслѣдства получать не приходится; а между тѣмъ онъ выговариваетъ свое рѣшеніе, точно геройскій подвигъ совершаетъ, и придаетъ ему несравненно больше значенія, чѣмъ Саша своей готовности умереть, высказанной ею совершенно искренно и съ прямою рѣшимостью исполнить ее на дѣлѣ. И чѣмъ же разрѣшается его геройство? тѣмъ, что онъ проситъ у тетеньки съ дяденькой позволенія жениться на Сашѣ, съ приговоромъ, что вѣдь *«всѣ мы равны передъ Богомъ, тетенька»*, а потомъ слезливо смотреть, какъ барыня тутъ же, при немъ, его возлюбленной косы обрѣзываетъ... Тутъ и поняла его Саша, и когда онъ потомъ пришелъ къ ней въ ея чуланчикъ, она *«не обрадовалась и не опечалилась при видѣ его, а такъ, будто скучнѣе ей стало»*. Въ другой разъ собрался онъ какъ-то къ тетенькѣ съ требованіемъ, и такъ бодро пошелъ; подруга Саши обрадовалась и испугалась, а Саша говоритъ ей: *«ахъ, милая, сядь да утишься: не изъ тучи громъ... Пошелъ онъ къ господамъ,—и храбръ онъ, пока идетъ; а лицомъ къ лицу станеть, руки у него опустятся—оробѣетъ. Я знаю его; повѣрь моему слову»*. И точно, такъ и вышло: храбрость кончилась тѣмъ, что онъ обѣщалъ теткѣ оставить мысль о женитьбѣ на Сашѣ... За то Сашѣ свободу дали; подруга ея опять стала выражать надежду, что *«можетъ послѣ»*... Но Саша уже совершенно осмотрѣлась въ своемъ положеніи и поняла его во всѣхъ частяхъ. Вотъ что она отвѣчаетъ: *«попусту не надѣйся; онъ пугливъ болѣе. Не всякую вѣдь любовь въ люди показать хочется, милая! Какъ не цвѣтно наряжена, не красно убрана, то дома въ уголкѣ под лавку хоронять: «сиди, любовь, утѣшай меня, а въ люди не выходи, осудятъ люди и хозяина пристыдятъ»*. И на возраженіе подруги, что *«онъ вѣдь любитъ ее»*, она прибавляетъ: *«ахъ, себя—то самого еще больше любить, скажу тебѣ»*. Въ другой разъ, когда подруга совѣтуетъ ей: *«да прямо скажи ему, научи его»*,—Саша отвѣчаетъ: *«на цѣлый вѣкъ не научишь, голубушка. Эта грамотка не дается ученьемъ»*. И, такимъ образомъ, понявши, что ей нечего ждать и надѣяться, Саша точно недолго ждала: пошла въ монастырь, да и тамъ немного пожила: исчезло то, что ее привязывало къ жизни, исчезли и ея жизненные силы... А онъ ничего—живетъ, и все къ ней на могилку ходитъ... И зачѣмъ шляется?..

Подобное же явленіе, но нѣсколько съ другой развязкою съ мужской стороны, раскрывается передъ нами въ разсказѣ *«Надѣжа»*. Вникнувши въ этотъ разсказъ, мы еще яснѣе понимаемъ ту разницу, которая отличаетъ чувства и поступки простого человѣка отъ чувствъ и поступковъ людей, развращенныхъ неестественнымъ своимъ вос-

питаніємъ и положеніємъ. Общее разслабленіе, болѣзненность, неспособность къ сосредоточенной и глубокой страсти характеризуетъ если не всѣхъ, то большинство нашихъ «цивилизованныхъ» собратій. Оттого-то они и мечутся безпрестанно то туда, то сюда, сами не зная, чего имъ нужно и чего имъ жалко. Желаютъ они такъ, что жить безъ того не могутъ, и все-таки ничего не дѣлаютъ для осуществленія своихъ желаній; страдаютъ они такъ, что умереть лучше,— а живутъ себѣ, ничего, только меланхолическій видъ принимаютъ. Не то у простого человѣка: онъ или неглижируетъ, вниманія не обращаетъ на предметъ, и уже не толкуетъ о своихъ желаніяхъ; или, ужъ если привяжется, если рѣшится, то привяжется и рѣшится энергически сосредоточенно, неотступно. Страсть его глубока и упорна, и препятствія не страшатъ его, когда ихъ нужно одолѣть для достиженія страстно-желаннаго и глубоко-задуманнаго. Если же нельзя достигнуть, простой человѣкъ не останется, сложа руки; по малой мѣрѣ, онъ измѣнитъ все свое положеніе, весь образъ своей жизни: убѣжитъ, въ солдаты наймется, въ монастырь пойдетъ; часто онъ просто, естественнымъ образомъ не переживаетъ неудачи въ достиженіи цѣли, которая уже проникла все существо его и сдѣлалась ему необходима для жизни; если же физическое сложеніе его слишкомъ крѣпко и можетъ вынести больше, нежели сколько нужно для крайняго раздраженія нервовъ и фантазіи,—онъ не церемонится покончить съ собою насильственнымъ образомъ. И это тоже служить для насъ свидѣтельствомъ, какъ для простого, здороваго человѣка, разъ почувствовавшаго свою личность и ея права, несносна жизнь безплодная, бесполезная, автоматическая, безъ принциповъ и стремленій, безъ смысла и правды, жизнь, подобная той, какую проводятъ, напримѣръ, Игрушечкины господа и многіе другіе въ томъ же родѣ.

Въ «Надѣжѣ» мы видимъ дѣвушку, полюбившую крестьянскаго парня и ожидающую, что онъ на ней посватается. Тутъ то же положеніе: надъ ней смѣются, ей колютъ глаза ея женихомъ, потому что завидуютъ ей дѣвушки—женихъ ея Иванъ лучше всѣхъ парней на селѣ,—она сноситъ все и ждетъ, пока онъ порѣшитъ дѣло. А онъ поѣхалъ въ другое село, тамъ у него пріятель завелся, фабричный,—подпоили тамъ его, сосватали, да и женили на роднѣ этого фабричнаго. Воротился онъ къ себѣ въ село, очнулся, увидѣлъ, что надѣлалъ, да ужъ поздно было. Тутъ начинаются страданія бѣдной Надѣжи, которую на смѣхъ поднимаютъ многіе, а пуще всѣхъ жена Ивана, баба бойкая и безстыжая. Горько Надѣжѣ: и любовь ея была сильна, такъ что ей тошно жить безъ милаго, да и натура у ней вѣжная, деликатная, что называется,—такъ что попреки и насмѣшки глубоко язвятъ ее и заставляютъ тяжело страдать. Ивану тоже не легко: онъ горячо любитъ Надѣжу, да и совѣсть его неспокойна,—чувствуетъ онъ, что виноватъ предъ дѣвушкой, что загубилъ ея вѣкъ. Оба страдаютъ, но страдаютъ внутренно, сосредоточенно, молча: ни она никому не пожаловалась, ни онъ никому ни слова не

сказалъ, и между собой они ничего не говорили, да и видѣлись издали. Разъ онъ хотѣлъ остановить ее и высказать свое горе, но она отъ него убѣжала; онъ издалека слѣдилъ за ней, а самъ изсохъ, пожелтѣлъ, измѣнился весь. Наконецъ, не выдержалъ онъ, зашелъ разъ въ избу къ Надѣжиной теткѣ, горько заплакалъ передъ Надѣжей, а она только и могла сказать ему: «ты забудь, что я на свѣтѣ живу, не томи, не мучь меня, желанный»!.. Тутъ вломилась вдругъ въ избу жена Ивана, слѣдившая за мужемъ, началась горячая перебранка; Надѣжа бросилась вонъ изъ избы... Вечеръ былъ холодный, дождливый; она, сама не своя, простояла прижавшись у плетня, пока тетка выпроводила ссорившихся и отыскала ее. Этого вечера было довольно, чтобы окончательно ее сгубить. Слегла она въ этотъ же вечеръ и больше не встала. Иванъ какъ безумный ходилъ это время; передъ смертью Надѣжи, когда она ужъ лежала безъ памяти, прибѣжалъ онъ къ ней, посмотрѣлъ, поплакалъ, да потомъ и самъ слегъ. «въ четвергъ схоронили Надѣжу, а въ среду на другой недѣлѣ и Ивана на погостъ отнесли»...

Разсказъ этотъ болѣе, нежели какой-нибудь другой изъ разсказовъ Марка Вовчка, можно заподозрить въ идеализаціи: мы такъ привыкли смотрѣть на крестьянина какъ на существо грубое, недоступное *тонкимъ* ощущеніямъ любви, нѣжности, совѣстливости, и т. п. Но едва ли мы можемъ вполне довѣрять нашимъ наблюденіямъ на этотъ счетъ: чувства простолюдина немногорѣчивы вообще, а мы такъ привыкли къ краснорѣчію, что легко можемъ не замѣтить самаго сильнаго чувства, если оно не украшено риторикой. Притомъ же, простолюдинъ передъ нами постарается затаить даже и то немногое, что передъ своимъ братомъ онъ бы и могъ высказать. Судить намъ о нѣжныхъ чувствахъ крестьянъ по ихъ поведенію передъ нами—будетъ столько же основательно, какъ судить о кротости сострадательности воиновъ по ихъ дѣйствіямъ во время сраженій. Мы, къ несчастью, должны признать справедливость наблюденія, — давно, впрочемъ, сдѣлавшагося общимъ мѣстомъ, — что мундиръ сюртукъ не внушаютъ особеннаго довѣрія крестьянамъ.

Но, сколько можно судить по нѣкоторымъ частнымъ случаямъ — по отрицательнымъ признакамъ, мы готовы утверждать, что такъ ~~он~~ рода нѣжныя, деликатныя натуры существуютъ и въ простомъ классѣ, по крайней мѣрѣ, въ той же мѣрѣ, какъ въ другихъ сословіяхъ. Надо замѣтить, что подобныя натуры вообще встрѣчаются рѣже, чѣмъ намъ кажется. Мы часто восхищаемся нѣжною прелестью дѣвицы, плачущей о смерти собачки и приходящей въ восторгъ отъ искусства какого-нибудь художника въ родѣ павловскаго Штраусса. Но вѣдь не въ этомъ состоитъ истинная нѣжность и деликатность души. Не въ безплодныхъ сожалѣніяхъ и восторгахъ надо искать ее, а въ дѣйствительной чуткости души къ страданіямъ и радостямъ другихъ. Прежде чѣмъ разсудокъ успѣетъ опредѣлить образъ поведенія, требуемый въ извѣстномъ случаѣ, человѣкъ деликатный, по первому внушенію сердца, уже старается расположить свои дѣйствія

такъ, чтобы они принесли какъ можно болѣе добра и удовольствія для другихъ. или, по крайней мѣрѣ, чтобы никому не причинили непріятностей. Сущность деликатнаго характера состоитъ въ томъ, что ему въ тысячу разъ легче самому перенести какое-нибудь неудобство, даже несчастіе, нежели заставлять другихъ переносить его. Если онъ потеряетъ вашу вещь, онъ продастъ послѣднее, останется безъ гроша самъ, но, во что бы то ни стало, постарается вознаградить васъ за потерю. Если онъ далъ вамъ денегъ взаймы и видитъ, что вы нуждаетесь, онъ самъ будетъ переносить нужду, но не спроситъ своего долга. Если онъ самъ занялъ, онъ не успокоится, пока не расквитается съ вами. Главная его мысль, главная забота—о томъ, чтобы не стѣснить кого-нибудь, не быть кому-нибудь въ тягость. И точно, можетъ быть такой человѣкъ не доставитъ вамъ особеннаго удовольствія (и даже навѣрное не доставитъ, если вы его къ тому не вызовете), но за то и никакой непріятности онъ вамъ не сдѣлаетъ. Онъ постоянно и чутко смотритъ, не помѣшалъ ли онъ вамъ, не скучно ли вамъ съ нимъ, не стѣсняетесь ли вы его присутствіемъ или обращеніемъ съ вами, и т. п. Въ нормальномъ своемъ положеніи, т. е. въ соединеніи съ энергіей характера и правильно развитымъ сознаниемъ своего достоинства, такая деликатность составляетъ одно изъ высшихъ достоинствъ человѣка. Въ ней соединяются тогда и честность, и справедливость, и дѣятельное участіе въ судьбѣ ближняго... Но вслѣдствіе ложнаго направленія воспитанія и вообще извращеннаго общественнаго устройства, врожденная деликатность нѣжныхъ натуръ большею частью принимаетъ неправильное развитіе. Извѣстно, что у насъ въ воспитаніи господствуетъ начало слѣпago авторитета, способное убить дѣятельную силу въ самыхъ энергическихъ и гордыхъ натурахъ. Но если тѣ еще способны къ борьбѣ и нерѣдко выбиваются изъ-подъ нравственнаго гнета, налагаемаго на нихъ, то натуры нѣжныя и тонкія всегда склоняются подъ этимъ гнетомъ, и очень рѣдко въ состояніи бываютъ подняться. Онѣ обыкновенно бываютъ богато одарены отъ природы; чуткая воспріимчивость очень рано обогащаетъ ихъ множествомъ разнообразныхъ наблюденій и, такимъ образомъ, облегчаетъ имъ широкое развитіе разсудка и воображенія и даетъ пищу для сердечныхъ стремленій. Но ничего нѣтъ легче, какъ *забить* такія натуры: для нихъ упрекъ хуже, чѣмъ строгое наказаніе для другого, насмѣшка тяжеле, чѣмъ для другого брань, неудачная и строго осужденная попытка повергаетъ ихъ въ уныніе и заставляетъ опустить руки. Имъ можно съ дѣтства натвердить, что они глупы,—и они не станутъ разсуждать при другихъ. И не то, чтобы они повѣрили въ свою глупость, нѣтъ: они убѣждены въ глубинѣ души, что они умнѣе многихъ, даже, можетъ быть, всѣхъ окружающихъ, но природная деликатность не позволяетъ имъ высказывать при другихъ сужденій, которыя могутъ показаться и кажутся глупыми. «Что же за охота людямъ слушать то, что имъ представляется глупымъ», думаютъ они, и хранятъ свои мысли при себѣ.

Позже, вышедши на практическую дѣятельность, волей-неволей показавши себя, попавши въ другой кругъ, въ которомъ замѣчаютъ уже не пренебреженіе, а уваженіе къ себѣ, они все-таки не могутъ освободиться изъ-подъ вліянія прежнихъ впечатлѣній и остаются молчаливы, скромны и переносливы гораздо болѣе, чѣмъ бы имъ слѣдовало. Разсудокъ заставляетъ ихъ знать себѣ цѣну, но онъ рѣдко бываетъ въ силахъ побѣдить ихъ закоренѣлое недовѣріе къ себѣ, во многихъ случаяхъ превращающееся въ чистое малодушіе. У нихъ нѣтъ предпріимчивости, потому что они постоянно опасаются взяться за что-нибудь выше своихъ силъ; они сторонятся отъ управленія всякимъ дѣломъ, боясь, чтобы своимъ вліяніемъ не стѣснить другихъ; они не хотятъ даже правильно оцѣнить результатовъ своей дѣятельности, изъ опасенія поставить себя слишкомъ высоко и заслонить чью-нибудь чужую заслугу. Такимъ образомъ, они постоянно въ борьбѣ и противорѣчіи съ собственнымъ разсудкомъ, вѣчно недовольны собой, вѣчно страдаютъ отъ самоосужденія, и нерѣдко дѣйствительно отказываются отъ роли, въ которой могли бы быть полезнѣе всякаго другого. Нужно уже слишкомъ сильно возбудить въ нихъ страсть къ чему-нибудь, чтобы вызвать ихъ на энергическую, рискованную дѣятельность, въ которой нужно доставлять не только удовольствія, но и непріятности другимъ, и идти наперекоръ многому. И надо прибавить, однако, что и самая страстность у подобныхъ людей принимаетъ обыкновенно оттѣнокъ нѣкоторой робости: далекая отъ порывистости, страсть имѣетъ у нихъ хроническій, продолжительный, но тихій, сдержанный характеръ. Для дѣла это бываетъ даже хорошо, но для нихъ и тутъ мало радости: они все боятся компрометировать и себя и свое дѣло и сдѣлаться смѣшными, сожальютъ о недостаткѣ энергіи въ себѣ, сокрушаются о своей апатичности, и т. п. Спокойное разсужденіе доказываетъ имъ, что у нихъ и энергія есть, и страстности достаточно, и что апатія далеко отъ нихъ; но—спокойный разсудокъ гораздо менѣе имѣетъ на нихъ вліянія, нежели они сами думаютъ. Недовѣріе къ себѣ проникающее въ ихъ натуру, заставляетъ ихъ недовѣрять и разсудку, а чуткая, болѣзненная воспріимчивость беретъ свое.

Такимъ образомъ, неблагопріятныя обстоятельства могутъ весь из несчастно направить врожденную нѣжность и деликатность души: они могутъ лишить ее энергіи и привести къ отчаянію въ самомъ себѣ. Обратимся же теперь къ крестьянскому міру: кто не согласится, что тамъ развѣ въ видѣ рѣдкаго исключенія могутъ встрѣтяться обстоятельства, которыя бы лелѣяли правильное и полное развитіе нѣжной, доброй натуры! Напротивъ, вся обстановка жизни тамъ ведетъ къ тому, чтобы натура твердая огрубѣла и ожесточилась, а слабая, нѣжная—запугалась, сжалась и пропала въ покорномъ отчаяніи. Такъ зачастую и бываетъ, и вотъ гдѣ, намъ кажется, можно найти объясненіе двухъ противоположныхъ мнѣній о русскомъ народѣ, одного—что онъ звѣрь дикій, а другого—что онъ скотина безгласная. И къ тому и къ другому можетъ приближаться не одинъ

русскій мужикъ, а всякій человѣкъ, какого бы то ни было сословія и народа. Полной гармоніи чувствъ, такъ-называемыхъ въ психологiи—симпатическихъ и эгоистическихъ, т. е. полного и неразрывнаго сліянія самопожертвованія съ самосохраненіемъ мы еще не достигли въ человѣческихъ обществахъ. Поэтому, вездѣ встрѣчаются два разряда натуръ—однѣ съ преобладаніемъ эгоизма, стремящагося наложить свое вліяніе на другихъ, а другія съ избыткомъ преданности, побуждающимъ отречься отъ своихъ интересовъ въ пользу другихъ. При несчастномъ развитіи, натуры перваго рода дѣлаются враждебными всему, что *не ихъ*, забываютъ всѣ права и становятся способными ко всевозможнымъ насиліямъ; а натуры послѣдняго разряда теряютъ всякое уваженіе къ своему человѣческому достоинству и допускаютъ другихъ помыкать собою, дѣлаясь дѣйствительно чѣмъ-то въ родѣ укрощеннаго домашняго животнаго...

Къ несчастью, надо признаться, что обѣ крайности въ крестьянскомъ нашемъ сословіи выражаются несравненно ярче, нежели въ другихъ классахъ общества. Но обратилось ли это въ природу простолюдина? Точно ли надо вѣрить, что вкусъ къ рабству, привычка возить кого-нибудь на своихъ плечахъ и быть погоняемымъ—сдѣлались второю натурою мужика? И точно ли надо, съ другой стороны, серьезно опасаться, что тѣ мужики, которые желаютъ свободы, непременно распорядятся съ нею звѣрски, принявшись буйствовать, какъ только ихъ предоставятъ самимъ себѣ? Мы не думаемъ, именно потому, что, при всѣхъ искаженіяхъ крестьянскаго развитія, мы видимъ въ народныхъ массахъ нашихъ много того, что мы называли «деликатностью». Мы знаемъ, что это слово многимъ покажется очень страннымъ въ примѣненіи къ крестьянству, но мы не умѣемъ найти лучшаго выраженія. Смиреніе, покорность, терпѣніе, самопожертвованіе и прочія свойства, воспѣваемые въ нашемъ народѣ профессоромъ Шевыревымъ, Тертіемъ Филиповымъ и другими славянофилами того же закала, составляютъ жалкое и безобразное искаженіе этого прекраснаго свойства деликатности. Но, произведенное насильственно, это искаженіе и поддерживается постоянно искусственными комбинаціями разнаго рода. А какъ скоро жизнь получитъ свой естественный ходъ, тогда и внутреннія свойства человѣка скоро примутъ свое прямое направленіе. Звѣрства человѣкъ не станетъ показывать, если его къ тому не вынудятъ,—это ужъ всякому понятно: нынче ужъ перестали вѣрить даже и въ то, что змѣя стремится непременно ужалить человѣка безъ всякой причины, просто по ненависти къ человѣческому роду; тѣмъ менѣе вѣрятъ въ существованіе подобныхъ мнѣически-змѣиныхъ натуръ между людьми. Точно такъ же нельзя вѣрить и существованію овецъ, которыя бы за честь считали попасть на зубы льву, или людей, отъ природы имѣющихъ склонность къ тому, чтобы ихъ таскали за носъ и плевали имъ въ фізіономію. Если мы видимъ, что множество людей позволяютъ подвергать себя подобнымъ экспериментамъ, то повѣрьте, что это дѣлается не иначе, какъ по необходимости. Съ этой стороны.

значить, бояться нечего: искаженная, убитая и обращенная во вредъ простолюдину «деликатность» его приметъ свое естественное направленіе при первой возможности.

Но и въ теперешнемъ искаженномъ состояніи крестьянскаго быта и мысли, мы видимъ слѣды живого, хорошаго направленія этой деликатности. Сюда причисляемъ мы прежде всего сознаніе, о которомъ мы говорили выше и которое въ простомъ классѣ несравненно развитѣе, нежели въ сословіяхъ, обеспеченныхъ постояннымъ доходомъ,—сознаніе, что надо жить своимъ трудомъ и не дармоѣдствовать. Извѣстно, что «міроѣдъ» на всей Руси составляетъ одно изъ самыхъ позорныхъ названій, а этимъ именемъ величаютъ не только какого-нибудь старосту, земскаго или сотскаго, но и всякаго мужика, разжирѣвшаго на мірской счетъ. Въ крестьянскомъ сословіи почти невообразимъ тотъ разрядъ людей, къ которому принадлежитъ такое множество прекрасныхъ, образованныхъ, молодыхъ и старыхъ господъ въ большихъ городахъ, — господъ, многіе годы очень недурно проживающихъ «на шарамыжку», безъ всякихъ опредѣленныхъ средствъ и съ вѣчными, тоже неопредѣленными, долгами. Между крестьянами сохраняется обыкновенно очень вѣрный и умный взглядъ на людей, вышедшихъ изъ среды ихъ и нажившихъ себѣ большое состояніе разными темными путями. Намъ самимъ случалось говорить съ мужиками, помнившими карьеру нѣкоторыхъ извѣстныхъ богачей, вышедшихъ изъ престолярства: не только преклоненія предъ богатствомъ, такъ обыкновеннаго между нашими просвѣщенными и «учеными» людьми, мы не замѣтили здѣсь, но даже встрѣтили очень суровое сужденіе о средствахъ необычайнаго обогащенія милліонеровъ, о которыхъ шла рѣчь. Изъ словъ крестьянина видно было, что онъ очень хорошо понимаетъ эти средства, но что душа его отвращается отъ нихъ и что ежели бы ему даже представился случай ими воспользоваться, то онъ не рѣшился бы. Говорятъ, наши мужики лукавы и при случаѣ надуютъ васъ самымъ мошенническимъ образомъ, чтобы зашибить себѣ лишнюю копейку. Да, бываетъ и это, хотя не такъ часто, какъ рассказываютъ и притомъ болѣе въ городахъ и придорожныхъ или торговыхъ мѣстахъ, имѣющихъ много случаевъ позаимствоваться моралью о высшихъ классовъ общества. Но надо замѣтить, во-первыхъ, что нужда чего не заставитъ дѣлать; а во-вторыхъ, что обманъ и надутьство крестьяне позволяютъ себѣ по большей части относительно другихъ классовъ общества, съ которыми они не только не чувствуютъ никакого родства и солидарности, но даже, напротивъ, находятъ себя въ правѣ быть недоувѣрчивыми и враждебными. Съ своимъ же братомъ, въ своемъ обществѣ, они, по общимъ отзывамъ, бываютъ очень честны. И это не удивительно: съ одной стороны—надобность трудиться для своего обезпеченія понимается простыми людьми гораздо живѣе и осуществляется легче, нежели въ высшихъ классахъ общества, которыхъ члены надѣляются достаточнымъ запасомъ матеріальныхъ удобствъ еще прежде своего рожденія; объ этомъ

мы говорили много, разбирая рассказъ «Маша». Съ другой стороны, уваженіе къ личности и правамъ другихъ, и, вслѣдствіе того, внимательность къ общему мнѣнію также гораздо сильнѣе въ людяхъ простыхъ, нежели въ тѣхъ, кто поставленъ судьбою въ положеніе болѣе благопріятное для лѣни и капризовъ. Какимъ образомъ въ людяхъ послѣдняго разряда развивается пренебреженіе къ чужимъ правамъ и на мѣсто всякаго закона ставится вздорный, самолюбивый произволъ, это мы видѣли въ воспитаніи барышни, описанной намъ «Игрушечкою». Что дѣлается у нихъ изъ общественнаго мнѣнія, показываетъ намъ баринъ, отказывающійся жениться на Сашѣ, изъ опасенія, «что скажутъ»?... Основаніе этого опасенія, конечно, можетъ быть выведено изъ добраго источника — уваженія къ общественному мнѣнію; присутствіе того же начала мы видимъ, на примѣръ, и въ Надѣжѣ. Но всматриваясь ближе въ тотъ и другой случай, мы находимъ между ними большую разницу. Скажемъ здѣсь объ этой разницѣ нѣсколько словъ, чтобы еще дополнить сдѣланную уже нами прежде параллель между простолюдинами и людьми «образованными» въ нашемъ обществѣ.

Наше образованное общество, какъ извѣстно, не имѣетъ себѣ подобнаго въ безразличности, съ которою оно смотритъ на общественную мораль. Люди, завѣдомо негодные, уличенные, осужденные, принимаются у насъ въ хорошемъ обществѣ, какъ будто бы за ними ничего дурного съ роду не бывало. Являясь въ домъ къ человѣку, извѣстному своей честностью, вы никакъ не можете быть поэтому увѣрены, что не встрѣтитесь у него съ людьми очень и очень нечистыми. Въ другихъ земляхъ, даже не пользующихся особенной славой гражданскаго героизма, бывали примѣры, что люди, уличенные, на примѣръ, въ казнокрадствѣ, видѣли вдругъ, что съ ними вмѣстѣ никто обѣдать не хочетъ, а другіе, при одномъ подозрѣніи ихъ въ такомъ же дѣлѣ, приходили въ такое волненіе, что лишали себя жизни. У насъ нѣтъ надобности въ такой крутой мѣрѣ, и невозможно ожидать подобныхъ манифестацій: общественное сознаніе нейдетъ дальше сплетенъ. На какомъ вамъ угодно балу или великосвѣтскомъ вечерѣ, за званымъ обѣдомъ, въ какомъ хотите собраніи, гдѣ довольно много публики, разговоритесь съ первымъ попавшимся на глаза болтуномъ о другихъ господахъ, которые будутъ подвергаться вамъ на глаза: Боже мой, сколько грязныхъ исторій, отвратительныхъ анекдотовъ, безобразныхъ сценъ передадутъ вамъ чуть не о половинѣ присутствующихъ!.. Этотъ вышелъ въ люди наущничествомъ и шпіонствомъ, тотъ залѣзъ въ казенный сундукъ, тотъ находится на содержаніи у такой-то старухи, чрезъ которую и сдѣлалъ карьеру; одинъ занимался контрабандой, другой сводничествомъ, третій тиранить крестьянъ, четвертый—отъявленный взяточникъ, пятый—шулеръ... Болтунъ вамъ, можетъ быть, и прибавить и перевертъ многое: но замѣчательно, что все собравшееся общество не разъ уже слышало подобныхъ болтуновъ, знаетъ все, что говорятъ о каждомъ изъ присутствующихъ, и нимало не заботится даже о

томъ, чтобы хоть удостовѣриться въ справедливости или ложности слуховъ. «Говорятъ, что онъ наворовалъ все, что теперь имѣетъ; да и точно, откуда бы вдругъ взялся безъ того его богатству? Но, впрочемъ, что намъ за дѣло? Обѣды у него хорошіе; князь такой-то и генералъ такой-то къ нему ходятъ, и по службѣ онъ хорошо идетъ; стало быть, и намъ не стать предъ нимъ спесивиться и гнушаться его знакомствомъ». Такъ обыкновенно разсуждаютъ у насъ и жмутъ руку негодяю, котораго въ душѣ готовы презирать, да не смѣютъ. Мы не хотимъ пускаться здѣсь въ разборъ причинъ такого состоянія образованнаго нашего общества, предоставляя себѣ разсмотрѣть это при другомъ случаѣ. Здѣсь же отмѣтимъ только фактъ, что общественный судъ о нравственномъ достоинствѣ людей если и существуетъ у насъ, то лишь въ видѣ сплетенъ и разговоровъ, ничего незначащихъ для практики; вся же строгость общественнаго мнѣнія обращена на принятыя формы и приличія. Несоблюденіе ихъ карается безпощадно; съ людьми «неприличными» не знакомятся; людей, неумѣющихъ держать себя, не пускаютъ въ порядочное общество,—развѣ если они ужъ очень богаты... Такимъ образомъ, забота о всякаго рода щепетильностяхъ наполняетъ всю нашу жизнь, опредѣляетъ всѣ наши дѣйствія, отъ повязки галстука и часа обѣда, отъ подбора мягкихъ словъ въ разговорѣ и ловкаго поклона—до выбора себѣ рода занятій, предмета дружбы и любви, развитія въ себѣ тѣхъ и другихъ вкусовъ и наклонностей. Не сущность дѣла, а лишь принятая и условленная форма обращаетъ на себя общее вниманіе. А чѣмъ обуславливается принятая форма, по чему судятъ о ея достоинствѣ? По тому, на сколько въ ней выражается барство въ дурномъ его смыслѣ, т. е. съ произволомъ и тунеядствомъ. неприлично быть актеромъ—не потому, что это пустое занятіе, а потому, что актеръ, видите ли, наемникъ, за деньги выдѣлывающій всякія штуки передъ публикой, т. е. человѣкъ, все-таки хоть какимъ-нибудь трудомъ доставлющій себѣ хлѣбъ. Это ужъ не годится: порядочный человѣкъ долженъ не нуждаться въ трудѣ для поддержки своего существованія: онъ долженъ быть бѣлоручкою и бездѣльникомъ, а трудъ—это плебейское дѣло... Не такъ лестно служить въ арміи, какъ въ гвардіи. Почему? Не потому, чтобы въ гвардіи представлялось болѣе возможности принести пользу службѣ, а всего болѣе потому, что тамъ форма лучше и что гвардейская экипировка и содержаніе, будучи гораздо дороже, съ перваго же взгляда обичаютъ человѣка, который можетъ тратить много денегъ. неприлично шутить съ прислугою,—не изъ опасенія, чтобы своею шуткою случайно не оскорбить человѣка, который, по своему положенію, не можетъ отвѣтить на нее обратно, а, напротивъ, изъ боязни, чтобы на наши шутки слуга и самъ не вздумалъ отвѣтить шуткою и, такимъ образомъ, не сталъ бы съ нами за панибрата... Нельзя же нитися на простой дѣвушкѣ—не потому, чтобы она не могла удовлетворить стремленіямъ образованнаго человѣка и понять его интересы, а просто потому, что она нашихъ пріемовъ не знаетъ, и на-

нерами и разговоромъ будетъ насъ компрометировать. Вотъ къ чему сводится вся боязнь барина, который не смѣетъ жениться на Сашѣ, хотя онъ любитъ ее, находить въ ней полное удовлетвореніе и не можетъ не видѣть, что она умнѣе и чище его самого и всѣхъ его родныхъ и знакомыхъ, которыхъ мнѣнія онъ боится...

Не тотъ характеръ имѣетъ страхъ общественнаго суда въ простомъ быту. Есть, правда, и тамъ свои привычки, которыя всѣмъ слѣдуетъ соблюдать; но и несоблюденіе ихъ не возстановляетъ всего общества противъ виновнаго. Молодой парень можетъ, напр., брить себѣ бороду, нуждающійся бѣднякъ можетъ въ воскресенье, вмѣсто храма Божія, отправиться работать на свою полосу,—это не вызоветъ преслѣдованій со стороны односельцевъ. За то дѣйствительные нравственные грѣхи судятся очень строго, и если общее мнѣніе не имѣетъ часто серьезныхъ практическихъ послѣдствій, такъ это отъ рѣшительной невозможности привести въ дѣйствіе общее желаніе. При въѣздѣ въ деревню, вашъ ямщикъ встрѣчается съ мужичонкомъ, котораго онъ не преминетъ обругать и которому волѣдъ пошлетъ еще нѣсколько недобрыхъ словъ, называя его, между прочимъ, Ванькою-воромъ. Вы спрашиваете, что это значитъ, и ямщикъ объясняетъ вамъ похожденія Ваньки, изъ которыхъ видно, что онъ дѣйствительно воръ всесвѣтный и отъявленный. «Такъ зачѣмъ же вы его у себя держите и даете ему шлаться на волѣ?» — «Да что же намъ съ нимъ дѣлать-то?» — возражаетъ крестьянинъ. — Въ солдаты сдать его хотѣли — не годится, дескать, не приняли... Колотили сколько разъ — нейдетъ... Чтожъ тутъ будешь дѣлать! Вѣдь не судиться же съ нимъ». — «А отчего жъ бы и не судиться?» — «Э!» — съ досадою крикнетъ ямщикъ въ отвѣтъ, и только рукой махнетъ, не желая словъ тратить. Изъ его восклицанія и жеста поймите его положеніе и сообразите, сколько ему надо нравственной чистоты и твердости, чтобы не развратиться въ конецъ подъ вліяніемъ тяготящихся надъ нимъ обстоятельствъ разнаго рода. Немудрено, что и въ крестьянскомъ быту общее мнѣніе часто бываетъ нелѣпо; иногда нечестно по неискренности, иногда совсѣмъ скрыто по малодушію. Противъ всего этого мы не думаемъ спорить; мы даже готовы прибавить, что во всѣхъ случаяхъ, гдѣ нужно собирать голоса и по нимъ узнавать общее мнѣніе, въ крестьянскомъ сословіи, вслѣдствіе его непривычки вести собственные дѣла по своему собственному желанію, оказывается гораздо больше безтолковщины, чѣмъ гдѣ-либо. Но мы утверждаемъ одно, что тамъ болѣе внимательности къ достоинству человѣка, менѣе безразличія къ тому, каковъ мой сосѣдъ и какимъ я кажусь моему сосѣду. Забота о *доброй славі* тамъ встрѣчается чаще, чѣмъ въ другихъ сословіяхъ, и въ видѣ болѣе нормальномъ. Известно, что естественная потребность заслужить доброе расположеніе людей переходитъ нерѣдко въ болѣзненное исканіе репутаціи, для которой нерѣдко и совершаются всевозможныя гадости. Но это именно бываетъ у людей «образованнаго» общества, которые, обогащаясь всякаго рода познаніями, открываютъ для себя

множество цѣлей и путей, но чтобы достигнуть этихъ цѣлей, не имѣютъ достаточно силъ, да и на счетъ пути-то оказываются очень лѣнивы... Видя, что существеннаго-то не могутъ достигнуть, они начинаютъ гоняться за видимостью: «пусть, дескать, я не богатъ, да другіе будутъ говорить, что богатъ—все пріятнѣе». Такое искаженіе репутаціи въ простомъ языкѣ называется просто надувательствомъ и шельганствомъ, и стремленіе къ доброй славѣ никакъ нельзя съ нимъ смѣшивать. Это послѣднее есть прямое послѣдствіе благожелательства къ людямъ и уваженія къ ихъ личности. Въ своемъ крайнемъ развитіи, оно переходитъ опять въ излишнюю угодливость, робость, боязнь общественнаго мнѣнія,—и это мы нерѣдко видимъ въ нашихъ крестьянахъ, которыхъ вообще всѣ обстоятельства жизни такъ и ведутъ къ пресловутому *смирномуудрію* славянофиловъ. Но, во всякомъ случаѣ, по своему основанію и существеннымъ свойствамъ, эта чуткость народа къ общественному мнѣнію, къ доброй славѣ служить однимъ изъ доказательствъ способности его къ высокому гражданскому развитію, на началахъ живыхъ и справедливыхъ.

Мы отдалились отъ разсказа о Надѣжѣ, по поводу котораго заговорили о деликатности, объ уваженіи къ личности другого и о доброй славѣ, какъ выраженіи того, довольны или недовольны нами наши ближніе. Но мы опять приходимъ именно къ этому разсказу, и въ немъ хотимъ показать разницу воззрѣній на то, что постыдно и что не постыдно въ простомъ и въ такъ-называемомъ цивилизованномъ обществѣ. Надѣжа страдаетъ отъ намековъ и насмѣшекъ подругъ. Надѣжа считаетъ себя обезславленною; а между тѣмъ, какъ видно изъ разсказа, Иванъ не соблазнилъ ее, не сдѣлалъ ей того, что на житейскомъ языкѣ нашемъ называется «безчестьемъ» дѣвушки. Страдаетъ и Иванъ, и всѣ дѣйствующія лица этой исторіи признаютъ его глубоко виновнымъ, хотя онъ и не воспользовался любовью дѣвушки. Отчего жъ они оба страдаютъ и сокрушаются? Чего имъ стыдно и тяжело? По нашимъ житейскимъ понятіямъ онъ ничѣмъ не обязанъ передъ ней, она ничѣмъ не осрамила себя передъ нимъ и передъ людьми, потому что не дала ему ничего сдѣлать надъ собою неприличнаго... Да, но понятія простыхъ людей не таковы. Мы знаемъ, что на счетъ физической чистоты они не очень даже и заботятся, и мы говоримъ поэтому, что деревенскіе нравы очень развратны. Пожалуй, смотрите на это, какъ хотите, но согласитесь, что въ отчаяніи Надѣжи и Ивана нравственная сторона дѣла понятна гораздо выше и чище, нежели въ нашихъ житейскихъ сужденіяхъ и привычкахъ. Надѣжа знаетъ, что она хоть и сохранила свое физическое цѣломудріе, но поругана въ самыхъ святыхъ, самыхъ задушевныхъ своихъ чувствахъ; онъ тоже знаетъ, что нарушилъ внутренний миръ дѣвушки, отравилъ ея душевное спокойствіе и осквернилъ святую ея сердца уже тѣмъ, что привлекъ на ея тайну нескромное и насмѣшливое вниманіе постороннихъ людей. Припомнимъ же и сравнимъ съ этой тонкостью и гуманностью чувства грубость

какого-нибудь Андрея Колосова, котораго гуманные друзья его считают еще лучшимъ изъ многихъ!.. И точно, онъ лучше другихъ: вѣдь другіе-то поступаютъ, большею частью, какъ князь Н., описанный въ «Лишнемъ человѣкѣ»...

Но отчего же Надѣжа стыдится своего чувства, если оно такъ чисто? Да она и не то, чтобы стыдилась, а ей просто чего-то неловко. Она живетъ какъ будто подъ вліяніемъ той мысли, что на нее всѣ подруги сердятся за предпочтеніе, оказанное ей Иваномъ, думаютъ, что она его завлекла, и потомъ насмѣхаются надъ нею за неудачу... Болѣзненное развитіе ея тонкой и нѣжной организаціи дѣлаетъ ее слишкомъ робкою и подозрительною: она сама себя считаетъ отверженною обществомъ. Притомъ же, въ ней дѣйствительно страдаетъ ея достоинство: она вдругъ очутилась въ положеніи человѣка, которому ни съ того, ни съ сего дали въ обществѣ пощечину. Конечно, если разсудить хладнокровно, такъ это само по себѣ вздоръ: при обсужденіи нравственнаго достоинства человѣка надо смотрѣть на то, заслуживалъ ли онъ быть битымъ; а тамъ—битъ ли онъ былъ въ дѣйствительности или нѣтъ,—это уже другой вопросъ, вопросъ силы, а не права. Но спрашиваемъ: много ли въ образованномъ обществѣ найдется людей, которые могли бы возвыситься надъ фактомъ пощечины и не сконфузиться—не только если самимъ придется незаслуженно получить ее, но даже если случится быть хоть свидѣтелями при подобномъ казусѣ?..

Здравостью и основательностью общественнаго мнѣнія едва ли какое-нибудь сословіе въ общемъ составѣ своемъ можетъ особенно похвалиться. Не могутъ ими похвалиться и простолюдины: тотъ же рассказъ «Надѣжа», рисуя намъ отношенія къ ней подругъ ея, показываетъ намъ всю грубость и ошибочность ихъ сужденій. Это обстоятельство не осталось для насъ незамѣченнымъ, и мы не намѣрены его оправдывать, хотя и должны оговорить, что подобнаго рода ложныя и невѣжественныя понятія гораздо простительнѣе крестьянамъ, нежели другимъ, высшимъ классамъ общества, имѣющимъ претензію на образованность. Мы уже говорили выше о томъ, какъ много препятствій въ своемъ развитіи встрѣчаетъ крестьянинъ, и какъ много внутренней силы нужно ему имѣть для того, чтобы уберечься отъ полнаго искаженія въ себѣ здраваго смысла и чистой совѣсти. И при этомъ-то положеніи все еще мы видимъ здѣсь существованіе такихъ натуръ, въ которыхъ хотъ слабо и неровно, но неугасимо горятъ живые человѣческіе инстинкты, такъ что оскорбленіе и неудовлетвореніе ихъ влечетъ за собою смерть самаго организма. Такія лица, какъ Надѣжа, съ перваго взгляда представляющіяся исключительными, оказываются, при внимательномъ разсмотрѣніи обстоятельствъ и характера, вовсе не такъ рѣдкими въ крестьянскомъ сословіи, какъ мы привыкли думать. Повторяемъ, если не чаще, чѣмъ въ средѣ благовоспитанныхъ юношей и барышень, то, по крайней мѣрѣ, столько же часто встрѣчаются деликатныя натуры, подобныя Надѣжѣ, и въ простолюдинѣ.

Да еще это пассивная сторона, пассивная роль подобных натуръ. Сама по себѣ Надѣжа прекрасная личность; но ее надо поконить и лелѣять, и отъ нея за то дожидаться нѣжности и ласки. А чуть на нее невзгода, она и сожметъ вся, и спрячется въ самое себя, и ничего, кромѣ горькихъ слезъ, отъ нея не добьешься... Бываютъ въ простонародьи натуры столь же нѣжныя и благожелательныя, но поэнергичнѣе, подѣятельнѣе. Такія натуры тоже не покажутся совсѣмъ непонятными тому, для кого не совсѣмъ чуждо изученіе нашего простонародья. Одну изъ такихъ личностей видимъ мы въ «Катеринѣ» Марка Вовчка.

Катерина тоже очень чутка къ насмѣшкамъ, упрекамъ и даже простымъ шуткамъ, имѣющимъ самый невинный характеръ. Еще маленькой дѣвочкой привезла ее барыня изъ Малороссіи въ великорусскую деревню: здѣсь показались странными—и ея языкъ, и рубашка вышитая, и взглядъ томный и задумчивый... Стали ее тормошить дѣвчонки и смѣяться надъ ней. Само собою разумѣется, что у маленькой дѣвочки не могло быть твердаго разумаго сознанія о смыслѣ и достоинствѣ всего, что она дѣлаетъ; она не могла подобно философу какому-нибудь, продолжать дѣлать свое, презирая крики толпы; она должна была принимать къ сердцу выходки псдругъ. Если бъ она была сварлива, она стала бы со всѣми ссориться и защищать себя силою; но ея деликатность, инстинктивное уваженіе къ себѣ и къ другимъ не допускали ее до этого. Потому она просто переставала дѣлать то, что другимъ казалось страннымъ или смѣшнымъ. Осмѣяли разъ ея рукавчики шитые на рубашкѣ—она больше ни разу не надѣла своей вышитой рубашки. Подкараулили ее разъ у курганчика, къ которому она одна уходила, и подслушали малорусскую пѣсню, которую она тамъ пѣла, да стали приставать къ ней и спрашивать—она перестала ходить къ кургану и никогда больше не пѣла той пѣсни... Но, вмѣстѣ съ этой чуткостью ко всякому внѣшнему впечатлѣнію, Катерина обладала внутреннею силою, которая непременно требовала себѣ исхода, непременно должна была выразиться въ какой-нибудь дѣятельности. Долго обстоятельства жизни шли наперекоръ стремленіямъ Катерины: ее увезли съ собой господъ въ другую вотчину, незнакомую; ее выдали замужъ за человѣка, котораго она не могла любить. Она никому не пожаловалась на свою судьбу, слова не сказала о своемъ житьѣ-бытьѣ, никого не допустила даже пожалѣть ее въ глаза, и съ мужемъ не ссорилась, а «только опустить глаза и неподвижная такая станеть, строгая и суровая передъ нимъ»... Хотѣлось ей найти себѣ какое-нибудь дѣло въ жизни, да не находилось такого дѣла. Выучилась она пѣть хорошо, такъ что душа рвалась и томила отъ ея пѣсенъ. На всѣ свадьбы ее первую приглашали, и она пѣла тамъ грустныя пѣсни, и душу отводила себѣ. Да не довольно ей было этого: тяжело ей было до того, что она было пѣть пріучилась. Разъ ей сказала подружка: «Катерина, голубушка! не пей много: тутъ чужіе люди есть—осудятъ тебя: лучше ты спой намъ!» Тогда

она отвѣтила вотъ что: <ахъ, вы, люди безжалостные! Все вамъ пой да пой,—отдохнуть не дадите! Дайте отдохнуть, дайте выпить вина забывчиваго>! Горько, видно, казалось ей жить на свѣтѣ безъ дѣла, безъ пользы. Такъ бы, можетъ, и загубила она свою душу, да, къ счастью, отыскалось ей дѣло: прослышала она про знахарку въ око- лодкѣ и рѣшилась выучиться у ней лѣчить болѣзни; она же съ малолѣтства имѣла страсть разсматривать да узнавать всякіе цвѣты и травы. Вотъ какъ рассказываетъ сама знахарка о приходѣ къ ней Катерины (стр. 57).

„Приходить ко мнѣ, спрашиваетъ:—„какъ мнѣ на свѣтѣ жить“?—А сама во всѣ глаза глядитъ на меня,—перепугала. „Живи, косатка, какъ люди“, говорю.— „Нѣтъ, скажи, какъ мнѣ жить, мнѣ“!—„Сядь-ка, да перекрестись, да молитву про- читай: на тебя напущено“. Она сѣла, перекрестилась и заплакала. А тутъ у меня травы висятъ по стѣнамъ, и на окнѣ на солнышкѣ сушились.—„На что тебѣ травы столько“? — спрашиваетъ. — „Людямъ помогаю“.—„Помоги же и мнѣ, родная“!— „Да что у тебя болитъ-то? скажи“.—„Душа моя болитъ“!—проговорила тихо, а у самой слезы потекли.—„А голова не болитъ“?—„И голова болитъ, и вся я больна“!— Вотъ я ей травку даю; она поклонилась и пошла. Я-было вздремнула, слышу — опять стучатся, опять она.—„Что тебѣ“?—„Научи меня, родная, какими ты зель- ями лѣчишь“?—Я разсердилась и гоню ее, а она ужъ такъ-то плачетъ, разли- вается.—„Не научишь, то убей меня тутъ! Все равно я пропаду... *Я вотъ,—гово- ритъ,—ужъ сколько маялась на свѣтѣ—все пусто да пусто, никою не радую, и ничто меня не веселитъ, и дѣла у меня нѣтъ душевнаго никакого*“.—Я ду- маю — дурѣетъ она, а жалко мнѣ ее. Я тамъ и показала ей кое-что, больше для утѣхи ей. „Гдѣ-жъ, думаю, ей запомнить“! А она вѣдь запомнила все. На- чада, слышу, ужъ сама лѣчить. Досадно мнѣ и обидно было, что она у меня кусокъ хлѣба отбиваетъ. Разъ она пришла, и полны руки травъ. Я ее неласково встрѣчаю, а она словно не видитъ.—„Знаешь эти травы, бабушка“?—„Не знаю, говорю, да и знать не хочу“.—„Нѣтъ, говоритъ, ты возьми. Я тебѣ это принесла. Полезныя травы, цѣлющія“! — „Ты на чемъ ихъ испробовала-то, что руча- ешься“?—„Да на себѣ, бабушка“.—„Какъ на себѣ“?—„А такъ, говоритъ: вѣдь я прежде-то всегда сама поплюю: не свалить—тогда и людямъ даю“.—Удивила она меня, ей-Богу! А говоритъ-то вѣдь такъ, вѣдь сердце ей вѣрится... И вотъ съ той поры она мнѣ травы-то всякія носитъ. Спасибо ей, не обидѣла меня за мою науку“.

И какъ только нашла себѣ Катерина <дѣло душевное>, тотчасъ она и пить бросила, и ласковая такая стала, привѣтливая. Сама за себя она стала спокойна, только чужая печаль все крушила ее и не давала ей покою. У всякаго больного разспрашивала она прежде, нѣтъ ли у него печали какой. Одна больная сказала ей: <что раз- сказывать-то? Чужая бѣда никому не разумна>.—„Ужъ мнѣ ли не разумна!—отвѣтила Катерина:—мнѣ ли не горька! Нѣту на свѣтѣ бѣломъ, нѣту мнѣ чужой печали,—все моя печаль. Пожила бы ты съ мое — узнала бы>! Больная удивилась и, вспомнивъ про мужа Катерины, котораго та не хотѣла утѣшить и полюбить, какъ онъ

любилъ ее, проговорила въ видѣ возраженія: «а мужъ-то твой»? герина не разсердилась, а только подумала немного и сказала: его печаль—моя печаль, да не мое дѣло помочь ему!.. Не своей лей за бѣду я ему стала; а у него воля была неразумная». Какъ рко высказывается въ этихъ простыхъ словахъ сознательная, самостоятельная энергія характера Катерины!.. Она далеко выше, на примѣръ. Игрушечки или Саши: она не дастъ распоряжаться своей душою, не предастся тому, съ кѣмъ связала ее судьба противъ воли; она хочетъ всѣхъ любить, всѣхъ видѣть счастливыми, но она ищетъ свободнаго простора для своей дѣятельности и любви. Если ее приведутъ насильно и скажутъ: «осчастливь вотъ этого, а не того», вся натура ея возмутится противъ такого насилія, и при всей ея любвеобильности. у нея не достанетъ силъ для выполненія приказанія. Мягкость и нѣжность ея натуры призываютъ ее посвятить себя на пользу ближнихъ; но отъ этого вольнаго служенія далека до отреченія отъ своей личности, до допущенія себя сдѣлаться игрушкой чужого произвола. Нѣтъ, въ ней сознаніе своего достоинства, своей самостоятельности настолько же сильно, какъ и сознаніе кровнаго родства ея съ людьми и взаимной обязанности людей поддерживать другъ друга въ общихъ трудахъ и заботахъ жизни. Только благопріятныхъ обстоятельствъ развитія да болѣе обширнаго круга дѣятельности недостаетъ ей для того, чтобы занять высокое мѣсто въ ряду лучшихъ дѣятелей, которыхъ память сохраняется въ исторіи и въ преданіяхъ народныхъ.

Рѣдко встрѣчаются лица, до такой степени чисто сохранившіяся отъ двухъ противоположныхъ крайностей—отъ доведенія благодушія до потери собственной свободы и отъ эгоистическаго возвышенія собственной личности до забвенія правъ другихъ. Но надо замѣтить, что рѣдки они не въ одномъ простонародьи; во всѣхъ классахъ общества мы видимъ, къ сожалѣнію, что если въ человѣкѣ преобладаетъ доброта, то ужъ она до того доходитъ, что имъ всѣ помыкаютъ, а если въ немъ самолюбіе сильно, то онъ надъ другими озорничаетъ. сколько можетъ. При такомъ ходѣ дѣлъ, мы нерѣдко еще удивляемся нравственнымъ качествамъ иныхъ людей за то только, что они не столько подличаютъ, или не столько вольничаютъ надъ другими, сколько могли бы по своему положенію. Такъ мы восхваляемъ добраго помѣщика, берущаго не слишкомъ обременительныя оброки съ крестьянъ, честнаго откупщика, у котораго въ откуп продается сносная водка, чиновника, хотя и кривящаго душою приказу начальства, но умѣющаго держать себя не слишкомъ лакейски, и пр., и пр. Принужденные имѣть такую мѣрку оцѣнки нравственнаго достоинства людей среди нашего общества мы должны быть очень довольны, когда видимъ хоть возможное появленіе въ крестьянскомъ сословіи такихъ личностей, какъ герина. Если бы изъ такихъ людей состояло большинство, то, конечно, исторія, не только наша, но и всего человѣчества, имѣла бы совершенно иной характеръ. Намъ важно ужъ и то, что подъ грудой

дряни, нанесенной съ разныхъ сторонъ на наше простонародье, мы въ немъ еще находимъ довольно жизненной силы, чтобы хранить и заставлять пробиваться наружу добрые человѣческіе инстинкты и здравыя требованія мысли. Часто эти обнаруживанія природныхъ силъ бываютъ слабы, едва примѣтны, часто замираютъ, едва пробившись на свѣтъ Божій; рѣдко сохраняются они такъ упорно противъ всѣхъ невзгодъ, какъ мы видѣли въ Машѣ и Катеринѣ. Но и то уже много, если мы замѣтимъ хоть въ слабой степени присутствіе въ народѣ тѣхъ началъ, которыя такъ ярко выразились въ этихъ двухъ женщинахъ. А что мы ихъ замѣтимъ, если будемъ внимательно и съ любовью наблюдать бытъ простонародья, — за это можно смѣло ручаться. Затѣмъ уже не трудно намъ будетъ сообразить, отчего развитіе этихъ началъ въ народѣ по большей части останавливается такъ рано и нерѣдко совсѣмъ заглушается; не хитро также будетъ понять и то, въ какой степени самъ простолюдинъ бываетъ виновенъ въ неполнотѣ или совершенной остановкѣ своего развитія, и въ какой степени виноваты въ этомъ мы всѣ, причисляющіе себя къ людямъ образованнымъ. Удостоивши же подумать объ этомъ, мы должны прійти къ вопросу о томъ: что намъ дѣлать, чтобы устранить по возможности все, что такъ страшно мѣшаетъ развитію хорошихъ качествъ народа?

Вопроса этого мы не станемъ рѣшать здѣсь; рѣшеніе его несравненно легче вывести, нежели понятнымъ образомъ написать въ русской книгѣ: длинная и трудная можетъ изъ этого выйти исторія! Но мы можемъ здѣсь еще разъ обратить вниманіе читателей на мысль, развитіе которой составляетъ главную задачу этой статьи, — мысль о томъ, что народъ способенъ ко всевозможнымъ возвышеннымъ чувствамъ и поступкамъ наравнѣ съ людьми всякаго другого сословія, если еще не больше, и что слѣдуетъ строго различать въ немъ послѣдствія внѣшняго гнета отъ его внутреннихъ и естественныхъ стремленій, которыя совсѣмъ не заглохли, какъ многіе думаютъ. Кто серьезно проникнется этой мыслью, тотъ почувствуетъ въ себѣ болѣе довѣрія къ народу, больше охоты сблизиться съ нимъ, въ полной надеждѣ, что онъ пойметъ, въ чемъ заключается его благо, и не откажется отъ него по лѣни или малодушію. Съ такимъ довѣріемъ къ силамъ народа и съ надеждою на его добрыя расположенія, можно дѣйствовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое дѣло крѣпкія, свѣжія силы и предохранить ихъ отъ того искаженія, какому они такъ часто подвергаются при настоящемъ порядкѣ вещей.

Искаженіе это доставляетъ много страданій несчастнымъ, но служить, большею частью, къ выгодѣ тѣхъ, кто поставленъ выше ихъ, кто владѣетъ ими. Но не надо забывать, что бываетъ оборотъ и въ противную сторону: не все натуры мягкія и податливыя, какъ Саша или Надѣжа, не все твердыя и благоразумныя, какъ Катерина, не все отрицательно-упорныя противъ зла, какъ Маша, — встрѣчаются и другія, суровыя и безпощадныя натуры, въ которыхъ внутренняя

реакція всякому посягательству на ихъ личность развивается до размѣровъ поистинѣ сокрушительныхъ и получаетъ наступательный характеръ. Насъ заставилъ подумать объ этомъ обстоятельстве (котораго, впрочемъ, упускать изъ виду ни въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ) характеръ Ефима, въ рассказѣ Марка Вовчка «Купеческая дочка». Мы ничего еще не говорили объ этомъ рассказѣ; обратимся же кстати къ нему и закончимъ нашу статью, растянувшуюся такъ неимоверно и неожиданно для насъ самихъ.

Ефимъ — мужикъ, кучеръ барскій, высокій бородачъ, смуглый, румяный; глаза у него такъ и сверкаютъ, лицо такое удалое, гордое, улыбка веселая да насмѣшливая. Барыня его горничную наняла, купеческую дочку бѣдную, Анну Акимовну. Съ перваго раза понравилась ему она, и съ перваго же раза обидѣла: прошла мимо его — не взглянула, на первый вопросъ его — едва слово молвила. Задѣла она его за живое своей спесью, и пошелъ онъ ее неотступно преслѣдовать, рѣшившись во что бы то ни стало смирить ее, овладѣть ею. Множество дѣлалъ онъ ей всяческихъ маленькихъ непріятностей; ссорились они постоянно, и между тѣмъ все больше другъ другомъ интересовались. Прошелъ годъ; дворня замѣчаетъ, что у Анны Акимовны разговоръ все такъ-то на Ефима сводится. «Вотъ Ефимъ поѣхалъ лошадей ковать; Ефимъ пѣсни хорошо поетъ; вотъ Ефимъ бы жениться, и на комъ это ему Богъ приведетъ?» — такъ разсуждаютъ дворовые при Аннѣ Акимовнѣ, а она сама ничего, только слушаетъ, да старается похитрѣе на эту рѣчь навести. Догадался про ея хитрость поваренокъ Миша и пересказалъ Ефиму; замѣтила Анна Акимовна, что Ефимъ что-то знаетъ, и вышла у нихъ ссора нешуточная; Анна Акимовна попрекнула Ефима мужичествомъ.

„ — Зазнался, зазнался ты очень, — накинулась на него Анна Акимовна. — Вотъ ужъ посади за столъ... Забылъ кто ты такой... что за вельможа?... ты о себѣ думаешь?

„Ефимъ сталъ передъ нею, головой покачиваетъ.

„ — Ты-то отъ какихъ князей родъ ведешь?

„ — Да какъ ты смѣешь равняться-то? Безсовѣстный ты такой! Мой батюшка купецъ былъ, свою торговлю велъ...

„ — Да-съ, да-съ! Намъ не безызвѣстно-съ! Ну, что вы, купцы? Вѣдь одинъ обманъ отъ васъ только. Я вотъ хоть бы вчера платокъ купилъ; божилось лихое твоё племя: износу нѣтъ, — а вотъ посмотри-ка, — весь свѣтится!

„И покойно такъ рассказываетъ, платокъ развертываетъ; а она-то дрожитъ.

„ — Я барынѣ жаловаться буду! — крикнула. — Ты не смѣй издѣваться мужикъ безтолковый.

„ — Постой, постой, — заговорилъ Ефимъ, словно изумился.

„ — Да, — мужикъ безтолковый! — кричитъ Анна Акимовна.

„Ефима словно кто противъ шерсти повелъ; кудрями онъ тряхнулъ и бороду погладилъ.

„ — Погоди, погоди! — началъ онъ, сдерживая свой голосъ звучный. — Говоришь ты: мужикъ... Ну, признаюсь тебѣ самъ, точно, я мужикъ. И изъ деревни...

я недавно — тоже признаюсь. Жилъ я, пахалъ, сѣялъ, кормился самъ и продавалъ, и съ людьми чисто поступалъ, дружно жилъ. Я праву веселаго. А ты купеческая дочка, Анна Акимовна, чѣмъ ты взяла? Что изъ себя-то ты взглядна? Это сущій пустякъ. Первое дѣло — душа, нравъ. Ты задорна, строптивая больно.

„ — Какъ ты смѣешь? — запищала она. А онъ свое:

„ — Лѣтъ ты хоть немолодыхъ, а уваженія тебѣ ни отъ кого нѣту... Какъ ты себѣ ни величайся, какъ ни кичись, — идутъ люди, а сами и не спросятъ; что это за Анна Акимовна на свѣтѣ живетъ?.. Мой-то батюшка землю пахалъ, и всякъ скажетъ: „добрый мужичокъ былъ покойникъ“! А твой, хоть и въ лѣсныхъ шубахъ ходилъ, да слава-то нехороша“.

Размолвились они шибко, и говорить другъ съ другомъ перестали, только за столомъ одинъ другому все шпильки разные подпускаютъ. А между тѣмъ оба похудѣли, поблѣднѣли, оба задумываются и пригорюниваются, когда одни. Наконецъ, Ефимъ пошелъ рѣшительно. Разъ, послѣ долгихъ насмѣшекъ Анны Акимовны надъ мужиками и мужицкими привычками, Ефимъ выговорилъ: «эхъ, матушка Анна Акимовна! А я, мужикъ, вѣдь за васъ посвататься хотѣлъ. Что? — думаю, — дѣвушка она хоть нетолковая, хоть вздорная, ерошливая, да за обозомъ сбредеть». Она вспыхнула и вздрогнула; а онъ продолжалъ: «полноте, матушка, не извольте гнѣваться: нездоровье приключится. Опаски насчетъ сватовства не имѣйте. Пришла было дурь въ голову, и прошла. Всякъ сверчокъ знай свой шестокъ. Мы себѣ ровню повысмотримъ». И точно, Ефимъ сталъ почти каждый день уходить со двора, принарядившись; приходилъ съ цѣснею и весь повеселѣлъ. Анна Акимовна притихла; ждетъ, что будетъ. Разъ вечеромъ приходитъ Ефимъ и объявляетъ въ людской, что хочетъ итти къ барынѣ — позволенья просить жениться; потомъ обращается къ купеческой дочкѣ: «ужъ вы, Анна Акимовна, стараго гнѣва не помните, не обидьте мою суженую. Дѣвочка славная!» Анна Акимовна поблѣвла вся и губы у ней задрожали. Поблѣвла вся и вышла. Спряталась въ уголку на лѣстницѣ и принялась горько плакать; долго плакала и къ ужину не пришла... Какъ сказали объ этомъ Ефиму, онъ прямо къ ней бросился, обнялъ ее крѣпко и цѣловать сталъ... Она такъ и ахнула, глянула на него, узнала, да такъ и обвилась руками около его шеи, а сама плачетъ-плачетъ...

„ Онъ ее на рукахъ вынесъ изъ того угла. Она выриваться, — не пускаетъ; поставилъ противъ мѣсяца-свѣта:

„ — Ага, купеческая дочка, Анна Акимовна! — промолвилъ: — теперь ты моя!

„ И такъ вымолвилъ, словно онъ врага своего лютаго колонилъ; и у самого слезы двѣ скатились, и такая усмѣшка злобная! Страшно и чудно на него смотрѣть тогда было“...

Женились они. Съ перваго же дня свадьбы, Ефимъ началъ чудить надъ женою, смирять ее. Попросилъ онъ ее, чтобы на дѣвич-

никъ и на свадьбу позвала своихъ знакомыхъ и родню дальнюю—купчихъ; она позвала. Ефимъ никого отъ себя на дѣвичникъ не пригласилъ, и Анна Акимовна была очень рада: она очень боялась убогихъ гостей,—чуть дверь отворится, она въ лицѣ измѣнится, но никто не пришелъ изъ убогихъ, купчихи однѣ сидѣли и орѣхи щелкали. За то на другой день, только что изъ-подъ вѣнца, въ дверяхъ уже молодые были встрѣчены съ хлѣбомъ-солью мужиченкомъ въ лаптишкахъ и въ зипунишкѣ ветхонькомъ. Отворили дверь,—вся изба полна мужиками въ лаптяхъ. Анна Акимовна зашаталась и могла только прошептать «злодѣй!» Купчихи попятились назадъ, надулись; Ефимъ попросилъ ихъ не спесивиться, погулять на свадьбѣ; онѣ отъ него къ стѣнѣ отвернулись; тогда Ефимъ имъ и двери настежь... Анна Акимовна такъ была убита, что на другой же день захворала серьезно. Ефимъ затужилъ, закручинился, цѣлыя ночи надъ нею просиживалъ и все глядѣлъ на нее; но и тутъ былъ суровъ съ нею, и только разъ нѣжными словами упрашивалъ ее, чтобы дѣчилась. Она только отвернулася. Послѣ того онъ сталъ еще суровѣе; а когда она выздоровѣла, то житья ей не давалъ,—все за прежнюю гордость отплачивалъ. «Утерiali,—говорить,—вы, Анна Акимовна, свое-то княжество за мною! Вотъ вѣдь маху-то дали,—просто бѣда!» Она все молчитъ, а онъ все глядитъ на нее, какъ на своего врага жестокаго, да приговариваетъ иной разъ съ усмѣшкою: «жгуча крапива родится, да уварится!» Она сохла и чахла отъ его попрековъ; да ему и самому нелегко было жить такъ; постарѣлъ онъ, сморщился, веселость свою потерялъ, усмѣшка стала у него язвительная, да и слова такія бѣдкія и злобныя... Недолго выдержала Анна Акимовна; умерла она осенью, тихо, безъ мученій. Ефима не было дома въ это время: усланъ былъ куда-то барынею. Какъ воротился, увидѣлъ ее на столѣ—сталъ тутъ, ни слова не сказавши, и «простоялъ цѣлую ночь, не шевельнулся, не вздохнулъ. На утро пошелъ, гробъ купилъ, къ священнику зашелъ, попросилъ, и могилу вырылъ ей самъ. Сзывалъ на похороны. Совсѣмъ спокоенъ человѣкъ былъ, кажись, а все чего-то страшно было; все сердце недоброе чуюло, вѣщало...» И точно, вышло недоброе.

„Отнесли на погостъ Анну Акимовну, и въ сырую землю схоронили. Заходили съ кладбища люди; поминальный обѣдъ былъ, и Ефимъ самъ распоряжался. Какъ разошлись всѣ, онъ лошадей на водопой повелъ и говорить Мишѣ:

„ — Миша, слушай да помни! Коли я пропаду, все мое добро отказываю жениной теткѣ; пусть ей все отдадутъ. Слышалъ?

„Перепугался до смерти Миша.

„ — Слышу, говорить.

„ — Ну, помни!.. И поскакалъ.

„Вбѣжалъ Миша въ людскую, дрожить всѣмъ тѣломъ.

„ — Ефимъ хочетъ руку на себя наложить!

„Всполошили всѣхъ: добѣжали къ водопой. Всѣ лошади подъ горою къ рѣкѣ привязаны, а Ефима нѣтъ нигдѣ... Окликать, искать, и нашли его ману!

около колодца, стараго, заброшеннаго... А въ колодцѣ томъ давно еще дѣвочка утонула,—и дна въ немъ не было. Около этого самаго колодца шапку его нашли, скинули людей съ баграми и съ крюками, да съ говоромъ шумнымъ Ефима мертваго выволокли“ (стр. 113).

Нѣтъ сомнѣнія, что въ Ефимѣ всякій признаетъ черты чисто-русскаго характера, и притомъ характера не сглаженнаго образованностью, т. е. обычнаго именно въ простонародьи. Это дуроломство, эта неспособность къ мирному забвенію и прощенію, эта бессмысленная охота неотступно и бесконечно пилить человѣка попреками, въ то же время чувствуя къ нему сильную привязанность,—это все такія черты, какія любятъ приписывать русскому человѣку и сонмъ его порицателей, и партія его квазі-защитниковъ. Послѣдніе видятъ здѣсь, конечно, величіе духа, находятъ прототипы подобныхъ характеровъ въ Иванѣ Грозномъ и Петрѣ Великомъ и даже иногда для параллели тревожатъ суровыя добродѣтели спартанцевъ и древнихъ римлянъ. Мы признаемся, что почтенные защитники русскаго народа хватаютъ немножко далеко. Восхищаться такимъ характеромъ, какъ у Ефима, довольно трудно для человѣка, нелишеннаго сердца. Но одного нельзя отнять у него—силы; одного нельзя не признать, что опасно шутить этой силой.

Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, какимъ страшнымъ мщеніемъ отплатилъ онъ за оскорбленіе своего самолюбія Аннѣ Акимовнѣ! И какой фатальный, неотразимый характеръ имѣетъ его мщеніе! Если бъ онъ просто задумалъ и холодно исполнилъ свой планъ—довести дѣвушку до замужества съ нимъ,—это была бы жалкая интрига, свидѣтельствующая только о черствости и злости его. Но тутъ дѣло шло не такъ: онъ самъ полюбилъ ее, оттого-то онъ и обидѣлся такъ глубоко ея пренебреженіемъ; добиваясь ея любви, онъ удовлетворялъ скорѣе потребности сердца, нежели голосу мести; онъ не могъ хотѣть загубить ее,—доказательство въ томъ, что онъ не перенесъ ея гибели. Но какая-то сила подталкиваетъ его на безпрестанныя и жестокія оскорбленія ея. Сила эта дика, неразумна, губительна для него самого; но онъ не силенъ преодолѣть ея влеченіе, потому что враждебныя обстоятельства не дали въ немъ достаточно развиться гуманнымъ и разумнымъ требованіямъ природы. Побѣда надъ гордой женщиной доставила ему двойное наслажденіе — и удовлетвореніе самолюбія, и достиженіе взаимности, которой онъ добивался. Но злоба его была сильнѣе любви: онъ былъ столько гордъ и самонадѣянъ, что не могъ слишкомъ дорого цѣнить полученную взаимность женщины; а оскорбленія, ею нанесенныя, запали глубоко въ его сердце, и онъ не могъ забыть и простить ихъ. Никакой покорностью, никакимъ пожертвованіемъ нельзя было умиловить его; ему самому было тяжело, его гнала какая-то тоска, онъ становился все мрачнѣе, по мѣрѣ того, какъ исполнялъ свое мщеніе надъ любимой женой; но остановиться не могъ. Въ немъ проснулось какое-то ненасытное, бесконечное желаніе унижать ее, вымещать надъ

ней свою тоску и свое терпѣніе, надругаться надъ нею, какъ будто въ намѣреніи возстановить, такимъ образомъ, свои собственные поправ-
ныя права, свое достоинство, которое видѣлъ униженнымъ и пре-
зрѣннымъ. Все его поведеніе объясняется тѣмъ общимъ закономъ
реакціи, по которому крайность вызываетъ всегда другую крайность.
Много лѣтъ прожилъ Ефимъ, не думая о своемъ человѣческомъ
достоинствѣ и вынося, по своему положенію, множество унижитель-
ныхъ условій. Но представился случай, гдѣ его достоинство особенно
больно было поражено—въ столкновеніи съ женщиной, которая ему
нравилась и которой положеніе онъ считалъ равнымъ своему; горечь
обида пробудила въ немъ сознаніе; а разъ подумавши о своемъ уни-
женіи, почувствовавъ его, онъ со всей энергіей своей натуры устре-
мился къ тому, чтобы поднять свое достоинство. Женильба на Аннѣ
Акимовнѣ была для него недостаточна; онъ не могъ ясно сознавать
всю великость того шага, который дѣлала «купеческая дочка», вы-
ходя за него, мужика; для того, чтобы вполнѣ чувствовать свою
побѣду, ему нужно было постоянное напоминаніе о ней, непрерыв-
ное упражненіе правъ побѣдителя надъ своею жертвою. Сколько онъ
ни обижалъ ее, сколько ни смирялъ, сколько ни издѣвался надъ
нею, все ему казалось мало. Она покорно и молча признала свое
бессиліе, признала его права надъ ней, а ему все казалось, что онъ
еще недостаточно доказалъ и возстановилъ предъ нею свое достоин-
ство. Оттого его мщеніе было бессмысленно, невольное, мучительно
для него самого, и ничѣмъ не могло удовлетвориться, сдѣлалось
условіемъ жизни. Умирая, Ефимъ думалъ, вѣроятно, что онъ еще
не довольно показалъ себя, и если бы его жена воскресла, нѣтъ со-
мнѣнія что онъ началъ бы съ ней опять ту же исторію, при пер-
вомъ удобномъ случаѣ. Вѣдь онъ было пришелъ въ разумъ во время
ея болѣзни—сталъ ее уговаривать нѣжными словами; но она отвер-
нулась тогда отъ него, и онъ сдѣлался еще суровѣе, еще безпо-
щаднѣе.

Величія духа тутъ, конечно, мало; но въ натурѣ, дѣйствующей
такимъ образомъ, нельзя отрицать присутствія силы, которая, бу-
дучи иначе воспитана и направлена, могла бы получить болѣе ра-
зумный человѣческій характеръ. Прибавимъ еще, что сила эта вовсе
не есть исключительная принадлежность немногихъ натуръ, а со-
ставляетъ явленіе довольно обыкновенное въ нашемъ простонародьѣ.
Обстоятельства неблагопріятствуютъ правильному ея развитію и
упражненію; оттого она проявляется большею частью въ дѣйствіяхъ
уродливыхъ, незаконныхъ, даже преступныхъ. Нельзя хвалить этого,
но можно все-таки въ самыхъ недостаткахъ и преступленіяхъ разли-
чать то, что производится внѣшнимъ гнетомъ обстоятельствъ, отъ
того, что даетъ сама натура человѣка. Къ чему ведутъ наше просто-
народье всѣ внѣшнія обстоятельства, его окружающія? Какой ха-
рактеръ долженъ сообщаться всѣмъ его наклонностямъ отъ того по-
ложенія, въ которомъ оно находится? Едва ли кто-нибудь изъ са-
мыхъ заклятыхъ поборниковъ плантаторства станетъ утверждать, что

положеніе нашихъ крестьянъ могло способствовать развитію въ нихъ прямоты, силы, гражданскаго героизма, и т. п. Не нужно доказывать, что все окружающее, быть и воспитаніе нашего простонародья, вело его, въ большей или меньшей степени, къ развитію пороковъ слабости,—неизбѣжно соединенныхъ съ рабскимъ или крѣпостнымъ, вообще угнетеннымъ состояніемъ,—лести, обмана, подличанья, продажности, лѣни, воровства и пр., вообще, всѣхъ тѣхъ пороковъ, въ которыхъ надо дѣйствовать тайкомъ, изподтишка, а не употреблять открытую силу, найти прямо, глядя въ лицо опасности... И при всемъ томъ посмотрите, какъ много сохранилось въ народѣ именно этого энергическаго, отважнаго элемента. Мы не станемъ здѣсь указывать на доблестные подвиги нашихъ крестьянъ для спасенія погибающихъ въ огнѣ и въ водѣ, не будемъ припоминать ихъ храбрости въ охотѣ на медвѣдя, или хоть бы въ послѣдней войнѣ. Что бы ни доказывали всѣ подобные факты, мы оставляемъ ихъ въ сторонѣ; мы заговорили о порокахъ и преступленіяхъ, и потому, не выходя изъ этой колѣи, укажемъ только на уголовную статистику низшихъ классовъ нашего народа. Прочтите хоть рядъ извѣстій въ этомъ родѣ, въ бывшемъ «Русскомъ Дневникѣ» или въ нынѣшней «Сѣверной Пчелѣ», и постарайтесь дать себѣ отчетъ о преобладающемъ характерѣ преступленій. Вы придете въ удивленіе, если привыкли считать русскій народъ только плутоватымъ, а впрочемъ, слабымъ и апатичнымъ: южныя страсти встрѣчаете вы на каждомъ шагу, кровавыя сцены изъ-за любви и ревности, отравленія, зарѣзыванья, зажигательства; примѣры мщенія самаго звѣрскаго попадаютъ вамъ безпрестанно въ этихъ извѣстіяхъ; а извѣстно, любятъ ли у насъ все дѣлать извѣстнымъ, и какъ много, вслѣдствіе того, доходитъ до публики изъ того, что дѣлается...

Что вывести изъ этого? Намъ кажется возможнымъ одно заключеніе: народъ не замеръ, не опустился, источникъ жизни не изсякъ въ немъ; но силы, живущія въ немъ, не находя себѣ правильнаго и свободнаго выхода, принуждены пробивать себѣ неестественный путь и поневолѣ обнаруживаться шумно, сокрушительно, часто къ собственной гибели. Какъ это дурно, нечего и говорить; какъ желательно, чтобы силы народа направились лучше и служили въ пользу, а не во вредъ ему самому,—этого тоже объяснять ненужно. Но, къ сожалѣнію, еще очень многимъ нужно доказывать, что эти силы существуютъ въ народѣ и что дурное или хорошее направленіе ихъ зависитъ отъ обстоятельствъ народной жизни, а не отъ того, чтобы масса народа нашего принадлежала къ какой-нибудь особенной породѣ, способной только либо къ апатіи, либо къ звѣрству. Еще немало у насъ, въ образованномъ обществѣ, такихъ господъ, которымъ ничего не стоитъ обвинить повально цѣлый народъ въ неспособности къ гражданской жизни и всякому самостоятельному устройству, равно какъ немало и такихъ, которые готовы такъ защищать народъ и приписать ему такіа возвышенныя чувствованія, что, слушая ихъ, слѣдуетъ только оплакивать совершенную гибель

народнаго достоинства. Для тѣхъ и другихъ господъ мы считаемъ весьма полезнымъ внимательное размышленіе надъ книжкою рассказовъ Марка Вовча. Чтобы облегчить имъ этотъ трудный процессъ, мы пробовали въ этой статьѣ анализировать нѣкоторыя, наиболѣе любопытныя, черты народной жизни, представленныя въ «Народныхъ разсказахъ» очень живо и ярко, но, при бѣгломъ и поверхностномъ чтеніи, могшія не возбудить въ читателяхъ того вниманія, какого онѣ заслуживаютъ. Чтобы расширить кругъ сужденія о качествахъ нашего народа, мы старались также провести нѣсколько параллелей между людьми простого званія и между лицами того общества, которое называетъ себя образованнымъ, на томъ основаніи, что, одолѣвши пять-шесть головолomныхъ наукъ, въ размѣрахъ германскихъ гимназическихъ курсовъ, но съ грѣхомъ пополамъ, и ударившись въ ранній космополитизмъ, оно разорвало связь съ народомъ и потеряло способность даже понимать основныя черты его характера. Не много преимуществъ, въ отношеніи къ нравственнымъ качествамъ, нашли мы въ этомъ обществѣ; не много оказалось въ немъ правъ на особенное возвышеніе его предъ простонародьемъ. Не заходя далеко, а только раскрывая подробнѣе смыслъ немногихъ рассказовъ Марка Вовча, такъ вѣрныхъ русской дѣйствительности, мы нашли, что неестественныя, крѣпостныя отношенія, существовавшія до сихъ поръ между народомъ и высшими классами, будучи матеріально и нравственно вредны для крестьянъ, были еще болѣе губительны для самихъ владѣльцевъ. Людямъ, въ положеніи Игрушечкиныхъ господъ, они приносили, повидимому, нѣкоторую выгоду внѣшнюю; но черезъ это самое они, во всей своей нечѣстности и безчеловѣчій, вливались въ душу этихъ господъ, дѣлались основаніемъ ихъ морали, изгоняли изъ нихъ здравыя понятія и дѣлали ихъ нигде негодными,—между тѣмъ какъ на «Машу», «Катерину», «Надёжу» и всѣхъ, находившихся въ ихъ положеніи, тѣ же отношенія дѣйствовали болѣе внѣшнимъ образомъ, не проникая внутрь ихъ уже и потому, что были всегда тяжелы и непріятны. Правда, и въ этомъ классѣ людей крѣпостное устройство произвело значительное искаженіе понятій и стремленій: въ Надёжѣ и ея подругахъ, въ безотвѣтной Игрушечкѣ, въ свирѣпомъ Ефимѣ мы видѣли, какъ ложно развиваются въ нихъ нерѣдко самыя добрыя начала, самыя естественныя требованія. Но это, во всякомъ случаѣ, дѣйствіе не прямое, а посредственное, не положительное, а отрицательное, и, главное, — это ложное развитіе естественныхъ началъ вовсе не доставляетъ бѣднякамъ выгоды, даже и внѣшней. Ихъ можно сравнить съ людьми, которые вынуждены ѣсть хлѣбъ пополамъ съ мякиной: долгое употребленіе такой пищи, конечно, имѣетъ вліяніе на организмъ и искажаетъ его здоровье; но едва-ли кто-нибудь станетъ утверждать, что, поѣвши нѣсколько лѣтъ мякиннаго хлѣба, человѣкъ дѣлается неспособнымъ ѣсть чистый хлѣбъ. Напротивъ, тѣхъ людей, которымъ бывшее крѣпостное устройство и всѣ общественныя отношенія, бывшія слѣдствіемъ его, шли въ прокъ, можно уподо-

бить гастрономамъ, разслабившимъ и изнѣжившимъ свой желудокъ тончайшими изобрѣтеніями поварскаго искусства: ясно, что они, во-первыхъ, будутъ гораздо крѣпче держаться за свой изящный столъ, нежели бѣдняки за свою мякину, а во-вторыхъ, если ужъ принуждены будутъ сѣсть на грубую пищу, то гораздо скорѣе погибнуть отъ нея, нежели тѣ же бѣдняки, переведенные съ мякины на чистый хлѣбъ...

Прочитавъ наши отрывочныя и несвязныя замѣчанія (которыя въ печати представляются еще болѣе несвязными, нежели какъ были въ рукописи), одни, конечно, найдутъ ихъ давно знакомыми и излишними, а другіе—неосновательными, преувеличенными и неправдоподобными. Бóльшая часть людей, любящихъ литературу, замѣтитъ при этомъ, что въ статьѣ нашей вовсе нѣтъ *критики* Марка Вовчка. Мы привыкли къ подобнымъ замѣчаніямъ и, кажется, уже не одинъ разъ объясняли, какъ мы понимаемъ задачи критики русскихъ беллетристическихъ произведеній. Но теперь кстати будетъ сказать еще нѣсколько словъ объ этомъ предметѣ, въ заключеніе нашей статьи.

Мы сказали въ началѣ, что Маркъ Вовчокъ не даетъ намъ поэмы народной жизни, что у него видимъ мы только намеки, абрисы, а не полныя, отдѣланныя картины. Слѣдовательно, нечего намъ было и пускаться въ опредѣленіе абсолютно-эстетическихъ достоинствъ «Разсказовъ». Нужно было показать, въ какой степени ясны, живы и вѣрны эти намеки, и въ какой мѣрѣ важны тѣ явленія жизни, къ которымъ они относятся. Мы и обратились къ этому пути: мы анализировали характеры, изображенные Маркомъ Вовчкомъ, приводили обстоятельства, способствовавшія правильному или ложному ходу ихъ развитія, припоминали русскую дѣйствительность и говорили, насколько, по нашему мнѣнію, вѣрно и живо воспроизведены авторомъ русскіе характеры, насколько обширно значеніе тѣхъ явленій, которыхъ онъ коснулся. По нашимъ соображеніямъ вышло, что книжка Марка Вовчка вѣрна русской дѣйствительности, что рассказы его касаются чрезвычайно важныхъ сторонъ народной жизни и что въ легкихъ наброскахъ его мы встрѣчаемъ штрихи, обнаруживающіе руку искуснаго мастера и глубокое, серьезное изученіе предмета. Для подтвержденія этихъ выводовъ, мы пускались въ довольно пространныя разсужденія о свойствахъ нашего простонародья и о разныхъ условіяхъ нашей общественной жизни. Теперь читателю представляется рѣшить, вѣрно ли, во-первыхъ, поняли мы смыслъ рассказовъ Марка Вовчка и, во-вторыхъ, справедливы-ли, и насколько справедливы наши замѣчанія о русскомъ народѣ. Рѣшая эти два вопроса, читатель тутъ же рѣшитъ для себя и вопросъ о степени достоинства книги Марка Вовчка. Если мы исказили ея смыслъ, или наговорили небывальщины о народной жизни, т. е. если явленія и лица, изображенные Вовчкомъ, вовсе не рисуютъ намъ нашего народа, какъ мы старались доказать,—а просто рассказываютъ исключительные, курьезные случаи,

не имѣющіе никакого значенія, то очевидно, что и литературное достоинство «Народныхъ разсказовъ» совершенно ничтожно. Если же читатель согласится съ нами во взглядѣ на смыслъ разобранной нами книги, если онъ признаетъ общность и великое значеніе тѣхъ чертъ, какія нами указаны въ книгѣ Марка Вовчка, то, разумѣется, онъ не можетъ не признать высокаго достоинства въ литературномъ явленіи, такъ разносторонне, живо и вѣрно изображающемъ нашу народную жизнь, такъ глубоко заглядывающемъ въ душу народа.

- Такимъ образомъ, литературно-критическая цѣль наша будетъ достигнута безъ помощи эстетическихъ туманностей. всегда очень скучныхъ и бесплодныхъ.

Что касается до другой цѣли, которую мы имѣли въ виду въ этой статьѣ,—она также не чужда литературѣ. Именно, пользуясь книгою Марка Вовчка, мы хотѣли привлечь вниманіе людей пишущихъ на вопросъ о внѣшнемъ положеніи и внутреннихъ свойствахъ народа, готоваго теперь вступить въ новый періодъ своей жизни. До сихъ поръ мы слышали самые разнорѣчивые отзывы о нашемъ простонародьи, и — нечего скрывать — всего громче высказывались самыя невѣжественныя и враждебныя мнѣнія. Литература, по своему существу, долженствующая быть проводникомъ идей просвѣщенныхъ, а не невѣжественныхъ, сдѣлала, однако, очень мало по этому вопросу, который теперь для насъ несравненно важнѣе не только циническаго описанія разныхъ видовъ розы, или лекцій о санскритскомъ эпосѣ, но даже и всѣхъ достоинствъ г-жи Свѣчиной. Мы можемъ насчитать въ нашей литературѣ рядъ именъ въ родѣ: статскаго совѣтника Григорія Бланка, магистра Николая Безобразова, графа Н. Толстого, Орлова-Давыдова и т. п., можемъ припомнить мнѣнія въ родѣ того, что грамота портитъ мужика, что палка необходима для порядка въ народѣ, и т. д. Но мало наберемъ мы людей, которые бы съ любовью и знаніемъ дѣла старались возстановить предъ публикой достоинство народа и защитить его полное право на участіе во всѣхъ преимуществахъ гражданской жизни. Противъ мракобѣсія и палки возставали много; но и тутъ самыя блестящія статьи были написаны съ точки зрѣнія отвлеченнаго права и общихъ требованій цивилизаціи, и едва ли была хоть одна статья, въ которой бы толково разбиралось, до какой степени и при какихъ условіяхъ *нашъ народъ* можетъ обойтись безъ палки и не получить вреда отъ грамоты. Видно, къ сожалѣнію, что литература наша еще мало имѣетъ общаго съ народомъ. Участъ разсказовъ Марка Вовчка служить новымъ тому доказательствомъ: уже около двухъ лѣтъ они извѣстны публикѣ изъ «Русскаго Вѣстника»; въ началѣ нынѣшняго года вышли они отдѣльной книжкой; а журналы наши до сихъ поръ едва сказали о нихъ «нѣсколько теплыхъ словъ» по журнальной рутинѣ. А наполнялись они въ это время важными разсужденіями о первой любви, о художественности г. Никитина, о нравственности Елены въ «Наканунѣ», и тому подобныхъ художествахъ. Одинъ критикъ взялся-было сказать свое слово о Маркѣ

къ, да и то доказалъ только полную несостоятельность свою —
ить о предметѣ, такъ далеко превосходящемъ его разумѣніе...
если же такъ и суждено нашей литературѣ навсегда остаться
зенькой сферѣ пошленькаго общества, волнуемаго карточными
тишками, любовью къ звѣздамъ и боязнью пожелать чего-нибудь
тно и твердо? Неужели только эта грошовая «образованность»,
ющая изъ человѣка ученаго попугая и подставляющая ему,
го живыхъ требованій природы, рутинныя сентенціи отжившихъ
итетовъ всякаго рода, — неужели она только будетъ всегда кра-
ься передъ нами въ лучшихъ произведеніяхъ нашей литературы,
ать собою нашихъ талантливыхъ публицистовъ, критиковъ,
овъ? Не пора ли ужъ намъ, отъ этихъ тощихъ и чахлыхъ вы-
овъ неудавшейся цивилизации, обратиться къ свѣжимъ, здоро-
росткамъ народной жизни, помочь ихъ правильному успѣш-
росту и цвѣту, предохранить отъ порчи ихъ прекрасные и
ные плоды? Событія зовутъ насъ къ этому, говоръ народной
и доходить до насъ, и мы не должны пренебрегать никакимъ
емъ прислушаться къ этому говору.

[итатели, признающіе истину этихъ соображеній, — надѣмся, —
утъ и извинять намъ длинноту нашей статьи.

ЛУЧЪ СВѢТА ВЪ ТЕМНОМЪ ЦАРСТВѢ ¹⁾.

(Гроза. Драма въ пяти дѣйствіяхъ. А. Н. Островскаго. Спб. 1860.)

Незадолго до появленія на сценѣ «Грозы», мы разбирали очень подробно всѣ произведенія Островскаго. Желая представить характеристику таланта автора, мы обратили тогда вниманіе на явленія русской жизни, воспроизводимыя въ его пьесахъ, старались уловить ихъ общій характеръ и попытаться, таковъ ли смыслъ этихъ явленій въ дѣйствительности, какимъ онъ представляется намъ въ произведеніяхъ нашего драматурга. Если читатели не забыли, — мы пришли тогда къ тому результату, что Островскій обладаетъ глубокимъ пониманіемъ русской жизни и великимъ умѣніемъ изображать рѣзко и живо самыя существенныя ея стороны. «Гроза» вскорѣ послужила новымъ доказательствомъ справедливости нашего заключенія. Мы хотѣли тогда же говорить о ней, но почувствовали, что намъ необходимо пришлось бы при этомъ повторить многія изъ прежнихъ нашихъ соображеній, и потому рѣшились молчать о «Грозѣ» предоставивъ читателямъ, которые поинтересовались нашимъ мнѣніемъ, повѣрить въ ней тѣ общія замѣчанія, какія мы высказали объ Островскомъ еще за нѣсколько мѣсяцевъ до появленія этой пьесы. Наше рѣшеніе утвердилось въ насъ еще болѣе, когда увидѣли, что по поводу «Грозы» появляется во всѣхъ журналахъ и газетахъ цѣлый рядъ большихъ и маленькихъ рецензій, травявшихъ дѣло съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. Мы мали, что въ этой массѣ статей скажется, наконецъ, объ Островскомъ и о значеніи его пьесъ что-нибудь побольше того, нежели

¹⁾ См. статьи „Темное царство“, въ „Современникѣ“ 1859 г. № V (Томъ III, стр. 1 настоящаго изданія).

мы видѣли въ критикахъ, о которыхъ упоминали въ началѣ первой статьи нашей о «Темномъ царствѣ» ¹⁾). Въ этой надеждѣ и сознаніи того, что наше собственное мнѣніе, о смыслѣ и характерѣ произведеній Островскаго, высказано уже довольно опредѣленно, мы и сочли за лучшее оставить разборъ «Грозы».

Но теперь, снова встрѣчая пьесу Островскаго въ отдѣльномъ изданіи и припоминая все, что было о ней писано, мы находимъ, что сказать о ней нѣсколько словъ съ нашей стороны будетъ совсѣмъ нелишнее. Она даетъ намъ поводъ дополнить кое-что въ нашихъ замѣткахъ о «Темномъ царствѣ», провести далѣе нѣкоторыя изъ мыслей, высказанныхъ нами тогда, и—кстати—объясниться въ короткихъ словахъ съ нѣкоторыми изъ критиковъ, удостоившихъ насъ прямою или косвенною бранью.

Надо отдать справедливость нѣкоторымъ изъ критиковъ: они умѣли понять различіе, которое раздѣляетъ насъ съ ними. Они упрекаютъ насъ въ томъ, что мы приняли дурную методу — разсматривать произведеніе автора и затѣмъ, какъ результатъ этого разсмотрѣнія, говорить, что въ немъ содержится и каково это содержимое. У нихъ совсѣмъ другая метода: они прежде говорятъ себѣ—что *должно* содержаться въ произведеніи (по ихъ понятіямъ, разумѣется) и въ какой мѣрѣ все *должное* дѣйствительно въ немъ находится (опять сообразно ихъ понятіямъ). Понятно, что, при такомъ различіи воззрѣній, они съ негодованіемъ смотрятъ на наши разборы, уподобляемые однимъ изъ нихъ «пріисканію морали къ баснѣ». Но мы очень рады тому, что, наконецъ, разница открыта, и готовы выдержать какія угодно сравненія. Да, если угодно, нашъ способъ критики походить и на пріисканіе нравственнаго вывода въ баснѣ: разница,—напримѣръ, въ приложеніи къ критикѣ комедій Островскаго,—и будетъ лишь настолько велика, насколько комедія отличается отъ басни, и насколько человѣческая жизнь, изображаемая въ комедіяхъ, важнѣе и ближе для насъ, нежели жизнь ословъ, лисицъ, тростиннокъ и прочихъ персонажей, изображаемыхъ въ басняхъ. Во всякомъ случаѣ, гораздо лучше, по нашему мнѣнію, разобрать басню и сказать: «вотъ какая мораль въ ней содержится, и эта мораль кажется намъ хороша, или дурна, и вотъ почему»,—нежели рѣшить съ самаго начала: въ этой баснѣ должна быть такая-то мораль (напр., почтеніе къ родителямъ), и вотъ какъ должна она быть выражена (напр., въ видѣ птенца, послушавшагося матери и выпавшаго изъ гнѣзда); но эти условія не соблюдены, мораль не та (напр., небрежность родителей о дѣтяхъ), или высказана не такъ (напр., въ примѣрѣ кукушки, оставляющей свои яйца въ чужихъ гнѣздахъ),—значитъ басня не годится. Этотъ способъ критики мы видѣли не разъ въ приложеніи къ Островскому, хотя никто, разумѣется, и не захочетъ въ томъ признаться, а еще на насъ же,

¹⁾ См. „Современникъ“ 1859 г. № VII. (Томъ III, стр. 1—12 наст. изд.).
Прим. изд.

ЛУЧЪ СВѢТА ВЪ ТЕМНОМЪ ЦАРСТВѢ ¹⁾.

(Гроза. Драма въ пяти дѣйствіяхъ. А. Н. Островскаго. Спб. 1860.)

Незадолго до появленія на сценѣ «Грозы», мы разбирали очень подробно всѣ произведенія Островскаго. Желая представить характеристику таланта автора, мы обратили тогда вниманіе на явленія русской жизни, воспроизводимыя въ его пьесахъ, старались уловить ихъ общій характеръ и попытаться, таковъ ли смыслъ этихъ явленій въ дѣйствительности, какимъ онъ представляется намъ въ произведеніяхъ нашего драматурга. Если читатели не забыли, — мы пришли тогда къ тому результату, что Островскій обладаетъ глубокимъ пониманіемъ русской жизни и великимъ умѣніемъ изображать рѣзко и живо самыя существенныя ея стороны. «Гроза» вскорѣ послужила новымъ доказательствомъ справедливости нашего заключенія. Мы хотѣли тогда же говорить о ней, но почувствовали, что намъ необходимо пришлось бы при этомъ повторить многія изъ прежнихъ нашихъ соображеній, и потому рѣшились молчать о «Грозѣ», предоставивъ читателямъ, которые поинтересовались нашимъ мнѣніемъ, повѣрить въ ней тѣ общія замѣчанія, какія мы высказали объ Островскомъ еще за нѣсколько мѣсяцевъ до появленія этой пьесы. Наше рѣшеніе утвердилось въ насъ еще болѣе, когда мы увидѣли, что по поводу «Грозы» появляется во всѣхъ журналахъ и газетахъ цѣлый рядъ большихъ и маленькихъ рецензій, трактовавшихъ дѣло съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. Мы думали, что въ этой массѣ статей скажется, наконецъ, объ Островскомъ и о значеніи его пьесъ что-нибудь побольше того, нежели что

¹⁾ См. статьи „Темное царство“, въ „Современникѣ“ 1859 г. № VII, IX. (Томъ III, стр. 1 настоящаго изданія). Прим. изд.

мы видѣли въ критикахъ, о которыхъ упоминали въ началѣ первой статьи нашей о «Темномъ царствѣ» ¹⁾. Въ этой надеждѣ и сознаніи того, что наше собственное мнѣніе, о смыслѣ и характерѣ произведеній Островскаго, высказано уже довольно опредѣленно, мы и сочли за лучшее оставить разборъ «Грозы».

Но теперь, снова встрѣчая пьесу Островскаго въ отдѣльномъ изданіи и припоминая все, что было о ней писано, мы находимъ, что сказать о ней нѣсколько словъ съ нашей стороны будетъ совсѣмъ нелишнее. Она даетъ намъ поводъ дополнить кое-что въ нашихъ замѣткахъ о «Темномъ царствѣ», провести далѣе нѣкоторыя изъ мыслей, высказанныхъ нами тогда, и—кстати—объясниться въ короткихъ словахъ съ нѣкоторыми изъ критиковъ, удостоившихъ насъ прямою или косвенною бранью.

Надо отдать справедливость нѣкоторымъ изъ критиковъ: они умѣли понять различіе, которое раздѣляетъ насъ съ ними. Они упрекаютъ насъ въ томъ, что мы приняли дурную методу — разсматривать произведеніе автора и затѣмъ, какъ результатъ этого разсмотрѣнія, говорить, что въ немъ содержится и каково это содержимое. У нихъ совсѣмъ другая метода: они прежде говорятъ себѣ—что *должно* содержаться въ произведеніи (по ихъ понятіямъ, разумѣется) и въ какой мѣрѣ все *должное* дѣйствительно въ немъ находится (опять сообразно ихъ понятіямъ). Понятно, что, при такомъ различіи воззрѣній, они съ негодованіемъ смотрятъ на наши разборы, уподобляемые однимъ изъ нихъ «пріисканію морали къ баснѣ». Но мы очень рады тому, что, наконецъ, разница открыта, и готовы выдержать какія угодно сравненія. Да, если угодно, нашъ способъ критики походить и на пріисканіе нравственнаго вывода въ баснѣ: разница,—напримѣръ, въ приложеніи къ критикѣ комедій Островскаго,—и будетъ лишь настолько велика, насколько комедія отличается отъ басни, и насколько человѣческая жизнь, изображаемая въ комедіяхъ, важнѣе и ближе для насъ, нежели жизнь ословъ, лисицъ, тростиннокъ и прочихъ персонажей, изображаемыхъ въ басняхъ. Во всякомъ случаѣ, гораздо лучше, по нашему мнѣнію, разобрать басню и сказать: «вотъ какая мораль въ ней содержится, и эта мораль кажется намъ хороша, или дурна, и вотъ почему»,—нежели рѣшить съ самаго начала: въ этой баснѣ должна быть такая-то мораль (напр., почтеніе къ родителямъ), и вотъ какъ должна она быть выражена (напр., въ видѣ птенца, послушавшагося матери и выпавшаго изъ гнѣзда); но эти условія не соблюдены, мораль не та (напр., небрежность родителей о дѣтяхъ), или высказана не такъ (напр., въ примѣрѣ кукушки, оставляющей свои яйца въ чужихъ гнѣздахъ),—значитъ басня не годится. Этотъ способъ критики мы видѣли не разъ въ приложеніи къ Островскому, хотя никто, разумѣется, и не захочетъ въ томъ признаться, а еще на насъ же,

¹⁾ См. „Современникъ“ 1859 г. № VII. (Томъ III, стр. 1—12 наст. изд.).
Прим. изд.

съ больной головы на здоровую, свалить обвиненіе, что мы приступаемъ къ разбору литературныхъ произведеній съ заранѣе принятыми идеями и требованіями. А между тѣмъ чего же яснѣе,—развѣ не говорили славянофилы: слѣдуетъ изображать русскаго человѣка добродѣтельнымъ и доказывать, что корень всякаго добра — жизнь по старинѣ; въ первыхъ пьесахъ своихъ Островскій этого не соблюлъ, и потому «Семейная картина» и «Свои люди» недостойны его и объясняются только тѣмъ, что онъ еще подражалъ тогда Гоголю. А западники развѣ не кричали: слѣдуетъ научать въ комедіи, что суевѣріе вредно, а Островскій колокольнымъ звономъ спасаетъ отъ гибели одного изъ своихъ героев; слѣдуетъ вразумлять всѣхъ, что истинное благо состоитъ въ образованности, а Островскій въ своей комедіи позоритъ образованнаго Вихорева передъ неучемъ Бородкинымъ; ясно, что «Не въ свои сани не садись» и «Не такъ сживи, какъ хочется» — плохія пьесы. А приверженцы художественности развѣ не провозглашали: искусство должно служить вѣчнымъ и всеобщимъ требованіямъ эстетики, а Островскій, въ «Доходномъ мѣстѣ», низвелъ искусство до служенія жалкимъ интересамъ минуты; потому «Доходное мѣсто» недостойно искусства и должно быть причислено къ обличительной литературѣ!... А г. Некрасовъ, изъ Москвы, развѣ не утверждалъ: Большовъ не долженъ въ насъ возбуждать сочувствія, а между тѣмъ 4-й актъ «Своихъ людей» написанъ для того, чтобы возбудить въ насъ сочувствіе къ Большову; стало быть, четвертый актъ лишній!... А г. Павловъ (Н. Ф.) развѣ не извѣвался, давая разумѣть такія положенія: русская народная жизнь можетъ дать матеріалъ только для балаганныхъ представленій; въ ней нѣтъ элементовъ для того, чтобы изъ нея соорудить что-нибудь сообразное «вѣчнымъ» требованіямъ искусства; очевидно поэтому, что Островскій, берущій сюжеты изъ прстонародной жизни, есть не болѣе, какъ балаганный сочинитель... А еще одинъ московскій критикъ развѣ не строилъ такихъ заключеній: драма должна представлять намъ героя, проникнутаго высокими идеями; героиня «Грозы», напротивъ, вся проникнута мистицизмомъ, слѣдовательно, не годится для драмы, ибо не можетъ возбуждать нашего сочувствія; слѣдовательно, «Гроза» имѣетъ только значеніе сатиры, да и то неважной, и пр., и пр...

Кто слѣдилъ за тѣмъ, что писалось у насъ по поводу «Грозы», тотъ легко припомнить и еще нѣсколько подобныхъ критикъ. Нельзя сказать, чтобъ всѣ онѣ были написаны людьми совершенно убогими въ умственномъ отношеніи; чѣмъ же объяснить то отсутствіе прямого взгляда на вещи, которое во всѣхъ нихъ поражаетъ безпристрастнаго читателя? Безъ всякаго сомнѣнія, его надо приписать старой критической рутинѣ, которая осталась во многихъ головахъ отъ изученія художественной схоластики въ курсахъ Кошанскаго, Ивана Давыдова, Чистякова и Зеленецкаго. Извѣстно, что по мнѣнію сихъ почтенныхъ теоретиковъ, критика есть приложение къ извѣстному произведенію общихъ законовъ, излагаемыхъ въ курсахъ тѣхъ

же теоретиковъ: подходить подъ законы—отлично; не подходить—плохо. Какъ видите, придумано недурно для отживающихъ стариковъ: покаместъ такое начало живетъ въ критикѣ, они могутъ быть увѣрены, что не будутъ считаться совсѣмъ отсталыми, что бы ни происходило въ литературномъ мірѣ. Вѣдь законы прекрасно установлены ими въ ихъ учебникахъ, на основаніи тѣхъ произведеній, въ красоту которыхъ они вѣрують; пока все новое будутъ судить на основаніи утвержденныхъ ими законовъ, до тѣхъ поръ изящнымъ и будетъ признаваться только то, что съ ними сообразно, ничто новое не посмѣетъ предъявить своихъ правъ; старички будутъ правы, вѣруя въ Карамзина и не признавая Гоголя, какъ думали быть правыми почтенные люди, восхищавшіеся подражателями Расина и ругавшіе Шекспира пьяныхъ дикаремъ, вслѣдъ за Вольтеромъ, или преклонявшіеся предъ «Мессіадой» и на этомъ основаніи отвергавшіе «Фауста». Рутинерамъ, даже самымъ бездарнымъ, нечего бояться критики, служащей пассивною повѣркою неподвижныхъ правилъ тупыхъ школяровъ,—и въ то же время—нечего надѣяться отъ нея самымъ даровитымъ писателямъ, если они вносятъ въ искусство нѣчто новое и оригинальное. Они должны идти наперекоръ всѣмъ нареканіямъ «правильной» критики, на зло ей составить себѣ имя, на зло ей основать школу и добиться того, чтобы съ ними сталъ соображаться какой-нибудь новый теоретикъ, при составленіи новаго кодекса искусства. Тогда и критика смиренно признаетъ ихъ достоинства; а до тѣхъ поръ она должна находиться въ положеніи несчастныхъ неаполитанцевъ, въ началѣ нынѣшняго сентября,—которые, хоть и знаютъ, что не нынче такъ завтра къ нимъ Гарибальди придетъ, а все-таки должны признавать Франциска своимъ королемъ, пока его королевскому величеству не угодно будетъ оставить свою столицу.

Мы удивляемся, какъ почтенные люди рѣшаются признавать за критикою такую ничтожную, такую унижительную роль. Вѣдь, ограничивая ее приложеніемъ «вѣчныхъ и общихъ» законовъ искусства къ частнымъ и временнымъ явленіямъ, черезъ это самое осуждаютъ искусство на неподвижность, а критикѣ даютъ совершенно приказное и полицейское значеніе. И это дѣлаютъ многіе отъ чистаго сердца! Одинъ изъ авторовъ, о которомъ мы высказали свое мнѣніе нѣсколько непочтительно, напомнилъ намъ, что неуважительное обращеніе судьи съ подсудимымъ есть преступленіе. О наивный авторъ! Какъ онъ преисполненъ теоріями Кошанскаго и Давыдова! Онъ совершенно серьезно принимаетъ пошлую метафору, что критика есть трибуналъ, предъ который авторы являются въ качествѣ подсудимыхъ! Вѣроятно, онъ принимаетъ также за чистую монету и мнѣніе, что плохіе стихи составляютъ грѣхъ предъ Аполлономъ, и что плохихъ писателей въ наказаніе топятъ въ рѣкѣ Летѣ!.. Иначе—какъ же не видѣть разницы между критикомъ и судьей? Въ судъ тянутъ людей по подозрѣнію въ проступкѣ или преступленіи, и дѣло судьи рѣшить, правъ или виноватъ обвиненный; а писатель развѣ обви-

няется въ чемъ-нибудь, когда подвергается критикѣ? Кажется, тѣ времена, когда занятіе книжнымъ дѣломъ считалось ересью и преступленіемъ, давно уже прошли. Критикъ говоритъ свое мнѣніе, нравится или не нравится ему вещь; и такъ какъ предполагается, что онъ не пустозвонъ, а человѣкъ разсудительный, то онъ и старается представить резоны, почему онъ считаетъ одно хорошимъ, а другое дурнымъ. Онъ не считаетъ своего мнѣнія рѣшительнымъ приговоромъ, обязательнымъ для всѣхъ; если ужъ брать сравненіе изъ юридической сферы, то онъ скорѣе адвокатъ, нежели судья. Ставши на извѣстную точку зрѣнія, которая ему кажется наиболѣе справедливою, онъ излагаетъ читателямъ подробности дѣла, какъ онъ его понимаетъ, и старается имъ внушить свое убѣжденіе въ пользу или противъ разбираемаго автора. Само собою разумѣется, что онъ при этомъ можетъ пользоваться всѣми средствами, какія найдетъ пригодными, лишь бы они не искажали сущности дѣла: онъ можетъ васъ приводить въ ужасъ или въ умиленіе, въ смѣхъ или въ слезы, заставляя автора дѣлать невыгодныя для него признанія или доводить его до невозможности отвѣчать. Изъ критики, исполненной такимъ образомъ, можетъ произойти вотъ какой результатъ: теоретики, справясь съ своими учебниками, могутъ все-таки увидѣть, согласуется ли разобранное произведеніе съ ихъ неподвижными законами, и, исполняя роль судей, порѣшать правъ или виновать авторъ. Но извѣстно, что въ гласномъ производствѣ нерѣдки случаи, когда присутствующіе въ судѣ далеко не сочувствуютъ тому рѣшенію, какое произносится судьей сообразно съ такими-то статьями кодекса: общественная совѣсть обнаруживаетъ въ этихъ случаяхъ полный разладъ со статьями закона. То же самое еще чаще можетъ случаться и при обсужденіи литературныхъ произведеній: когда критикъ-адвокатъ надлежащимъ образомъ поставитъ вопросъ, сгруппируетъ факты и броситъ на нихъ свѣтъ извѣстнаго убѣжденія,—общественное мнѣніе, не обращая вниманія на кодексы піитики, будетъ уже знать, чего ему держаться.

Если внимательно присмотрѣться къ опредѣленію критики «судомъ» надъ авторами, то мы найдемъ, что оно очень напоминаетъ то понятіе, какое соединяютъ съ словомъ «критика» наши провинціальныя барыни и барышни и надъ которымъ такъ остроумно подсмѣивались, бывало, наши романисты. Еще и нынѣ не рѣдкость встрѣтить такія семейства, которыя съ нѣкоторымъ страхомъ смотрятъ на писателя, потому что онъ «на нихъ критику напишетъ». Несчастные провинціалы, которымъ разъ забрела въ голову такая мысль, дѣйствительно представляютъ изъ себя жалкое зрѣлище подсудимыхъ, которыхъ участь зависитъ отъ почерка пера литератора. Они смотрятъ ему въ глаза, конфузятся, извиняются, оговариваются, какъ будто въ самомъ дѣлѣ виноватые, ожидающіе казни или милости. Но надо сказать, что такіе наивные люди начинаютъ выводиться теперь и въ самыхъ далекихъ захолустяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ какъ право «смѣть свое сужденіе имѣть» перестаетъ быть достоя-

нѣтъ только извѣстнаго ранга или положенія, а дѣлается доступно всѣмъ и каждому, вмѣстѣ съ тѣмъ и въ частной жизни появляется болѣе солидности и самостоятельности и менѣе трепета предъ всякимъ постороннимъ судомъ. Теперь уже высказываютъ свое мнѣніе просто затѣмъ, что лучше его объявить, нежели скрывать; высказываютъ потому, что считаютъ полезнымъ обмѣнъ мыслей, признаютъ за каждымъ право заявлять свой взглядъ и свои требованія, наконецъ, считаютъ даже обязанностью cadaго участвовать въ общемъ движеніи, сообщая свои наблюденія и соображенія, какія кому по силамъ. Отсюда далеко до роли судьи. Если я вамъ скажу, что вы по дорогѣ платокъ потеряли, или что вы идете не въ ту сторону, куда вамъ нужно, и т. п.,—это еще не значитъ, что вы мой подсудимый. Точно такъ же не буду я вашимъ подсудимымъ и въ томъ случаѣ, когда вы начнете описывать меня, желая дать обо мнѣ понятіе вашимъ знакомымъ. Входя въ первый разъ въ новое общество, я очень хорошо знаю, что надо мною дѣлаютъ наблюденія и составляютъ мнѣнія обо мнѣ; но неужели мнѣ поэтому слѣдуетъ воображать себя передъ какимъ-то ареопагомъ и заранѣе трепетать, ожидая приговора? Безъ всякаго сомнѣнія, замѣчанія обо мнѣ будутъ сдѣланы: одинъ найдетъ, что у меня носъ великъ, другой — что борода рыжая, третій—что галстухъ дурно повязанъ, четвертый—что я угрюмъ, и т. д. Ну, и пусть ихъ замѣчаютъ, мнѣ-то что за дѣло до этого? Вѣдь моя рыжая борода—не преступленіе, и никто не можетъ спросить у меня отчета, какъ я смѣю имѣть такой большой носъ. Значитъ, тутъ мнѣ и думать не о чемъ: нравится или нѣтъ моя фигура, это дѣло вкуса, и высказывать мнѣнія о ней я никому запретить не могу; а съ другой стороны, меня и не убудетъ отъ того, что замѣтятъ мою неразговорчивость, ежели я дѣйствительно молчаливъ. Такимъ образомъ, первая критическая работа (въ нашемъ смыслѣ)—подмѣчаніе и указаніе фактовъ — совершается совершенно свободно и безобидно. Затѣмъ другая работа—сужденіе на основаніи фактовъ—продолжаетъ точно также держать того, кто судить, совершенно въ равныхъ шансахъ съ тѣмъ, о комъ онъ судить. Это потому, что, высказывая свой выводъ изъ извѣстныхъ данныхъ, человѣкъ всегда и самого себя подвергаетъ суду и повѣркѣ другихъ относительно справедливости и основательности его мнѣнія. Если, напримѣръ, кто-нибудь на основаніи того, что мой галстухъ повязанъ не совсѣмъ изящно, рѣшить, что я дурно воспитанъ, то такой судья рискуетъ дать окружающимъ не совсѣмъ высокое понятіе о его логикѣ. Точно такъ, если какой-нибудь критикъ упрекаетъ Островскаго за то, что лицо Катерины въ «Грозѣ» отвратительно и безнравственно, то онъ не внушаетъ особеннаго довѣрія къ чистотѣ собственнаго нравственнаго чувства. Такимъ образомъ, пока критикъ указываетъ факты, разбираетъ ихъ и дѣлаетъ свои выводы, авторъ безопасенъ, и самое дѣло безопасно. Тутъ можно претендовать только на то, когда критикъ искажаетъ факты, лжетъ. А если онъ представляетъ дѣло вѣрно, то какимъ

бы тономъ онъ ни говорилъ, къ какимъ бы выводамъ онъ ни приходилъ, отъ его критики, какъ отъ всякаго свободнаго и фактами подтверждаемаго разсужденія, всегда будетъ болѣе пользы, нежели вреда—для самого автора, если онъ хорошъ, и во всякомъ случаѣ для литературы—даже если авторъ окажется и дуренъ. Критика—не судейская, а обыкновенная, какъ мы ее понимаемъ, — хороша уже и тѣмъ, что людямъ, не привыкшимъ сосредоточивать своихъ мыслей на литературѣ, даетъ, такъ сказать, экстрактъ писателя и тѣмъ облегчаетъ возможность понимать характеръ и значеніе его произведеній. А какъ скоро писатель понятъ надлежащимъ образомъ, мнѣніе о немъ не замедлитъ составиться, и справедливость будетъ ему отдана, безъ всякихъ разрѣшеній со стороны почтенныхъ составителей кодексовъ.

Правда, иногда объясняя характеръ извѣстнаго автора или произведенія, критикъ самъ можетъ найти въ произведеніи то, чего въ немъ вовсе нѣтъ. Но въ этихъ случаяхъ критикъ всегда самъ выдаетъ себя. Если онъ вздумаетъ придать разбираемому творенію мысль болѣе живую и широкую, нежели какая дѣйствительно положена въ основаніе его авторомъ, то очевидно, онъ не въ состояніи будетъ достаточно подтвердить свою мысль указаніями на самое сочиненіе, и, такимъ образомъ, критика, показавши, чѣмъ бы могло быть разбираемое произведеніе, чрезъ то самое только яснѣе выкажетъ бѣдность его замысла и недостаточность исполненія. Въ примѣръ подобной критики можно указать, на примѣръ, на разборъ Бѣлинскимъ «Тарантаса», написанный съ самой злой и тонкой ироніей; разборъ этотъ многими принимался былъ за чистую монету, но и эти многіе находили, что смыслъ, приданный «Тарантасу» Бѣлинскимъ, очень хорошо проводится въ его критикѣ, но съ самымъ сочиненіемъ графа Соллогуба ладится плохо. Впрочемъ, такого рода критическія утрировки встрѣчаются очень рѣдко. Гораздо чаще другой случай—что критикъ дѣйствительно не пойметъ разбираемаго автора и выведетъ изъ его сочиненія то, чего совсѣмъ и не слѣдуетъ. Такъ и тутъ бѣда не велика: способъ разсужденій критика сейчасъ покажетъ читателю, съ кѣмъ онъ имѣетъ дѣло, и будь только факты налицо въ критикѣ,—фальшивыя умствованія не надуютъ читателя. На примѣръ, одинъ, г. П—ій, разбирая «Грозу», рѣшился послѣдовать той же методѣ, какой мы слѣдовали въ статьяхъ о «Темномъ царствѣ», и, изложивши сущность содержанія пьесы, принялся за выводы. Оказалось, по его соображеніямъ, что Островскій въ «Грозѣ» вывелъ на смѣхъ Катерину, желая въ ея лицѣ опозорить русскій мистицизмъ. Ну, разумѣется, прочитавши такой выводъ, сейчасъ и видишь, къ какому разряду умовъ принадлежитъ г. П—ій и можно ли полагаться на его соображенія. Никого такая критика не собьетъ съ толку, никому она не опасна...

Совсѣмъ другое дѣло та критика, которая приступаетъ къ авторамъ, точно къ мужикамъ, приведеннымъ въ рекрутское присутствіе, съ форменною маркою, и кричитъ то «лобъ», то «затылокъ!», смотря

по тому, подходить новобранецъ подъ мѣру или нѣтъ. Тамъ расправа короткая и рѣшительная; и если вы вѣрите въ вѣчные законы искусства, напечатанные въ учебникѣ, то вы отъ такой критики не отвертитесь. Она по пальцамъ докажетъ вамъ, что то, чѣмъ вы восхищаетесь, никуда не годится; а отъ чего вы дремлете, зѣваете или получаете мигрень, это-то и есть настоящее сокровище. Возьмите, напримѣръ, хоть «Грозу»: что это такое? Дерзкое оскорбленіе искусства, ничего больше.—и это очень легко доказать. Раскройте «Чтенія о словесности» заслуженнаго профессора и академика Ивана Давыдова, составленныя имъ съ помощью перевода лекцій Блэра, или загляните хоть въ кадетскій курсъ словесности г. Плаксіна,—тамъ ясно опредѣлены условія образцовой драмы. Предметомъ драмы непремѣнно должно быть событіе, гдѣ мы видимъ борьбу страсти и долга, съ несчастными послѣдствіями побѣды страсти, или съ счастливыми, когда побѣждаетъ долгъ. Въ развитіи драмы должно быть соблюдаемо строгое единство и послѣдовательность; развязка должна естественно и необходимо вытекать изъ завязки; каждая сцена должна непремѣнно способствовать движенію дѣйствія и подвигать его къ развязкѣ; поэтому, въ пьесѣ не должно быть ни одного лица, которое прямо и необходимо не участвовало бы въ развитіи драмы, не должно быть ни одного разговора, не относящагося къ сущности пьесы. Характеры дѣйствующихъ лицъ должны быть ярко обозначены, и въ обнаруженіи ихъ должна быть необходима постепенность, сообразно съ развитіемъ дѣйствія. Языкъ долженъ быть сообразенъ съ положеніемъ cadaго лица, но не удаляться отъ чистоты литературной и не переходить въ вульгарность.

Вотъ, кажется, всѣ главныя правила драмы. Приложимъ ихъ къ «Грозѣ».

«Предметъ драмы дѣйствительно представляетъ борьбу въ Катеринѣ между чувствомъ долга супружеской вѣрности и страсти къ молодому Борису Григорьевичу. Значить, первое требованіе найдено. Но затѣмъ, отправляясь отъ этого требованія, мы находимъ, что другія условія образцовой драмы нарушены въ «Грозѣ» самымъ жестокимъ образомъ.

«И, во-первыхъ—«Гроза» не удовлетворяетъ самой существенной внутренней цѣли драмы—внушить уваженіе къ нравственному долгу и показать пагубныя послѣдствія увлеченія страстью. Катерина, эта безнравственная, безстыжая (по мѣткому выраженію Н. Ф. Павлова) женщина, выбѣжавшая ночью къ любовнику, какъ только мужъ уѣхалъ изъ дому, эта преступница представляется намъ въ драмѣ не только не въ достаточно мрачномъ свѣтѣ, но даже съ какимъ-то сіяніемъ мученичества вокругъ чела. Она говоритъ такъ хорошо, страдаетъ такъ жалобно, вокругъ нея все такъ дурно, что противъ нея у васъ нѣтъ негодованія: вы ее сожалеете, вы вооружаетесь противъ ея притѣснителей, и, такимъ образомъ, въ ея лицѣ оправдываете порокъ. Слѣдовательно, драма не выполняетъ своего

моментъ эстетической теоріи, докажутъ вамъ солидность нашего образованія; легкость изложенія и остроуміе помогутъ намъ увлечь ваше вниманіе, и вы, сами не замѣчая, придете къ полному согласію съ нами. Только пусть ни на минуту не заходитъ въ вашу голову сомнѣніе въ нашемъ полномъ правѣ предписывать автору обязанности и затѣмъ *судить* его, вѣренъ ли онъ этимъ обязанностямъ, или провинился передъ ними...

Но вотъ въ этомъ-то и горе, что отъ подобнаго сомнѣнія не убежитъ теперь ни одинъ читатель. Презрѣнная толпа, прежде благоговѣнно, разинувъ ротъ, внимавшая нашимъ вѣщаніямъ, теперь представляетъ плачевное и опасное для нашего авторитета зрѣлище массы, вооруженной, по прекрасному выраженію г. Тургенева, «обоюдо-острымъ мечомъ анализа». Всякій говоритъ, читая нашу громосную критику: «вы предлагаете намъ свою «бурю», увѣряя что въ «Грозѣ» то, что есть,—лишнее, а чего нужно, того недостаетъ. Но вѣдь автору «Грозы», вѣроятно, кажется совсѣмъ противное; позвольте намъ разобрать васъ. Расскажите, анализируйте намъ пьесу, покажите ее, какъ она есть, и дайте намъ ваше мнѣніе о ней, на основаніи ея же самой, а не по какимъ-то устарѣлымъ соображеніямъ, совсѣмъ ненужнымъ и постороннимъ. По вашему. того-то и того-то не должно быть; а можетъ быть, оно въ пьесѣ-то и хорошоприходится, такъ тогда почему жъ не должно?» Такъ осмѣливается резонировать теперь всякій читатель, и этому обидному обстоятельству надо приписать то, что, наприимѣръ, великолѣпныя критическія упражненія Н. Ф. Павлова по поводу «Грозы» потерпѣли такое рѣшительное фіаско. Въ самомъ дѣлѣ, на критика «Грозы» въ «Нашемъ Времени» поднялись всѣ—и литераторы и публика. и, конечно, не за то, что онъ осмѣлился показать недостатокъ уваженія къ Островскому, а за то, что въ своей критикѣ онъ выразилъ неуваженіе къ здравому смыслу и доброй волѣ русской публики. Давно уже всѣ видятъ, что Островскій во многомъ удалился отъ старой сценической рутины, что въ самомъ замыслѣ каждой изъ его пьесъ есть условія, необходимо увлекающія его за предѣлы извѣстной теоріи, на которую указали мы выше. Критикъ, которому эти отклоненія не нравятся, долженъ былъ начать съ того, чтобъ ихъ отмѣтить, охарактеризовать, обобщить, и затѣмъ прямо и откровенно поставить вопросъ между ними и старой теоріей. Это была обязанность критика не только передъ разбираемымъ авторомъ, но еще больше передъ публикой, которая такъ постоянно одобряетъ Островскаго, со всѣми его вольностями и отклоненіями, и съ каждой новой пьесой все больше къ нему привязывается. Если критикъ находитъ, что публика заблуждается въ своей симпатіи къ автору, который оказывается преступникомъ противъ его теоріи, то онъ долженъ былъ начать съ защиты этой теоріи и съ серьезныхъ доказательствъ того, что отклоненія отъ нея не могутъ быть хороши. Тогда онъ, можетъ быть, и успѣлъ бы убѣдить нѣкоторыхъ и даже многихъ, такъ какъ у Н. Ф. Павлова нельзя отнять того, что онъ владѣетъ

фразою довольно ловко. А теперь—что онъ сдѣлалъ? Онъ не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на тотъ фактъ, что старые законы искусства, продолжая существовать въ учебникахъ и преподаваться съ гимназическихъ и университетскихъ кафедръ, давно ужъ, однако, потеряли святыню неприкосновенности въ литературѣ и въ публикѣ. Онъ отважно принялся разбивать Островскаго по пунктамъ своей теоріи, насильно заставляя читателя считать ее неприкосновенною. Онъ счелъ удобнымъ только поиронизировать на счетъ господина, который, будучи «ближнимъ и братомъ» г. Павлова по мѣсту въ первомъ ряду креселъ и по «свѣжимъ» перчаткамъ, осмѣлился, однако, восхищаться пьесою, которая была такъ противна Н. Ф. Павлову. Такое пренебрежительное обращеніе съ публикою, да и съ самымъ вопросомъ, за рѣшеніе котораго критикъ взялся, естественно должно было возбудить большинство читателей скорѣе противъ него, нежели въ его пользу. Читатели дали замѣтить критику, что онъ съ своей теоріей вертится, какъ бѣлка въ колесѣ, и потребовали, чтобъ онъ вышелъ изъ колеса на прямую дорогу. Округленная фраза и ловкій силлогизмъ показались имъ недостаточными: они потребовали серьезныхъ подтвержденій для самыхъ посылокъ, изъ которыхъ г. Павловъ дѣлалъ свои заключенія и которыя выдавалъ какъ аксіомы. Онъ говорилъ: это дурно, потому что много лицъ въ пьесѣ, не содѣйствующихъ прямому развитію хода дѣйствія. А ему упорно возражали: да почему же въ пьесѣ не можетъ быть лицъ, не участвующихъ прямо въ развитіи драмы? Критикъ увѣрялъ, что драма потому уже лишена значенія, что ея героиня безнравственна; читатели останавливали его и задавали вопросъ: съ чего же вы берете, что она безнравственна? и на чемъ основаны ваши нравственные понятія? Критикъ считалъ пошлостью и сальностью, недостойною искусства,—и ночное свиданіе, и удалой свистъ Кудряша, и самую сцену признанія Катерины передъ мужемъ; его опять спрашивали: отчего именно находить онъ это пошлымъ, и почему свѣтскія интрижки и аристократическія страсти достойнѣе искусства, нежели мѣщанскія увлеченія? Почему свистъ молодого парня болѣе пошлъ, нежели раздирательное пѣніе итальянскихъ арій какимъ-нибудь свѣтскимъ юношей? Н. Ф. Павловъ, какъ верхъ своихъ доводовъ, рѣшилъ свысока, что пьеса, подобная «Грозѣ», есть не драма, а балаганное представленіе. Ему и тутъ отвѣтили: а почему же вы такъ презрительно относитесь о балаганѣ? Еще это вопросъ, точно ли всякая прилизанная драма, даже хотъ бы въ ней всѣ три единства соблюдены были, лучше всякаго балаганнаго представленія. Относительно роли балагана въ исторіи театра и въ дѣлѣ народнаго развитія мы еще съ вами поспоримъ. Последнее возраженіе было довольно подробно развито печатно. И гдѣ же раздалось оно? Добро бы въ «Современникѣ», который, какъ извѣстно, самъ имѣетъ при себѣ «Свистокъ», слѣдовательно, не можетъ скандализироваться свистомъ Кудряша, и вообще долженъ быть склоненъ ко всякому балаганству. Нѣтъ, мысли о балаганѣ высказаны были въ «Библио-

текъ для Чтенія», извѣстной поборницѣ всѣхъ правъ «искусства», высказаны г. Анненковымъ, котораго никто не упрекнетъ въ излишней приверженности къ «вульгарнымъ» началамъ. Если мы вѣрно поняли мысль г. Анненкова (за что, конечно, никто поручиться не можетъ), онъ находитъ, что современная драма съ своей теоріей дальше отклонилась отъ жизненной правды и красоты, нежели первоначальные балаганы, и что для возрожденія театра необходимо прежде возвратиться къ балагану и сызнова начинать путь драматическаго развитія. Вотъ съ какими мнѣніями столкнулся г. Павловъ даже въ почтенныхъ представителяхъ русской критики, не говоря уже о тѣхъ, которые благомыслящими людьми обвиняются въ презрѣніи къ наукѣ и въ отрицаніи всего высокаго! Понятно, что здѣсь уже нельзя было отдѣлаться болѣе или менѣе блестящими репликами, а надо было приступить къ серьезному пересмотру основаній, на которыхъ утверждался критикъ въ своихъ приговорахъ. Но какъ скоро вопросъ перешелъ на эту почву, критикъ «Нашего Времени» оказался несостоятельнымъ и долженъ былъ замять свои критическія разглагольствія.

Очевидно, что критика, дѣлающаяся союзницей школяровъ и принимающая на себя ревизовку литературныхъ произведеній по параграфамъ учебниковъ, должна очень часто ставить себя въ такое жалкое положеніе: осудивъ себя на рабство предъ господствующей теоріей, она обрекаетъ себя вмѣстѣ съ тѣмъ и на постоянную, бесплодную вражду ко всякому прогрессу, ко всему новому и оригинальному въ литературѣ. И чѣмъ сильнѣе новое литературное движеніе, тѣмъ болѣе она противъ него ожесточается и тѣмъ яснѣе выказываетъ свое беззубое безсиліе. Отыскивая какого-то мертваго совершенства, выставляя намъ отжившіе, индифферентные для насъ, идеалы, швыряя въ насъ обломками, оторванными отъ прекраснаго цѣлаго, адепты подобной критики постоянно остаются въ сторонѣ отъ живого движенія, закрываютъ глаза отъ новой, живущей красоты, не хотятъ понять новой истины, результата новаго хода жизни. Они смотрятъ свысока на все, судятъ строго, готовы обвинять всякаго автора, за то, что онъ не равняется съ ихъ chefs-d'oeuvre'ами, и нахально пренебрегаютъ живыми отношеніями автора къ своей публикѣ и къ своей эпохѣ. Это все, видите ли, «интересы минуты»,—можно ли серьезнымъ критикамъ компрометировать искусство, увлекаясь такими интересами! Бѣдные, бездушные люди! какъ они жалки въ глазахъ человѣка, умѣющаго дорожить дѣломъ жизни, ея трудами и благами! Человѣкъ обыкновенный, здравомыслящій, беретъ отъ жизни, что она даетъ ему, и отдаетъ ей, что можетъ; но педанты всегда забираютъ свысока и парализуютъ жизнь мертвыми идеалами и отвлеченіями. Скажите, что подумать о человѣкѣ, который, при видѣ хорошенькой женщины, начинаетъ вдругъ резонировать, что у нея станъ не таковъ, какъ у Венеры Милосской, очертаніе рта не такъ хорошо, какъ у Венеры Медицейской, взглядъ не имѣетъ того выраженія, какое на-

ходимъ мы у рафаэлевскихъ мадоннъ, и т. д., и т. д. Всѣ разсужденія и сравненія подобнаго господина могутъ быть очень справедливы и остроумны; но къ чему могутъ привести они? Докажутъ ли они вамъ, что женщина, о которой идетъ рѣчь, нехороша собой? Въ состояніи ли они убѣдить васъ даже въ томъ, что эта женщина менѣе хороша, чѣмъ та или другая Венера? Конечно, нѣтъ, потому что красота заключается не въ отдѣльныхъ чертахъ и линіяхъ, а въ общемъ выраженіи лица, въ томъ жизненномъ смыслѣ, который въ немъ проявляется. Когда это выраженіе симпатично мнѣ, когда этотъ смыслъ доступенъ и удовлетворителенъ для меня, тогда я просто отдаюсь красотѣ всѣмъ сердцемъ и смысломъ, не дѣлая никакихъ мертвыхъ сравненій, не предъявляя претензій, освященныхъ преданіями искусства. И если вы хотите живымъ образомъ дѣйствовать на меня, хотите заставить меня полюбить красоту, то умѣйте уловить въ ней этотъ общій смыслъ, это вѣяніе жизни, умѣйте указать и растолковать его мнѣ: тогда только вы достигнете вашей цѣли. То же самое и съ истиною: она не въ діалектическихъ тонкостяхъ, не въ вѣрности отдѣльныхъ умозаключеній, а въ живой правдѣ того, о чемъ разсуждаете. Дайте мнѣ понять характеръ явленія, его мѣсто въ ряду другихъ, его смыслъ и значеніе въ общемъ ходѣ жизни, и повѣрьте, что этимъ путемъ вы приведете меня къ правильному сужденію о дѣлѣ гораздо вѣрнѣе, чѣмъ посредствомъ всевозможныхъ силлогизмовъ, подобранныхъ для доказательства вашей мысли. Если до сихъ поръ невѣжество и легковѣріе такъ еще сильны въ людяхъ, это поддерживается именно тѣмъ способомъ критическихъ разсужденій, на который мы нападаемъ. Вездѣ и во всемъ преобладаетъ синтезъ; говорятъ заранѣе: это полезно, и бросаются во всѣ стороны, чтобы прибрать доводы, почему полезно; оглушаютъ васъ сентенціей: вотъ какова должна быть нравственность, — и затѣмъ осуждаютъ какъ безнравственное все, что не подходитъ подъ сентенцію. Такимъ образомъ постоянно и искажается человѣческій смыслъ, и отнимается охота и возможность разсуждать каждому самому. Совсѣмъ не то выходило бы, когда бы люди приучились къ аналитическому способу сужденій: вотъ какое дѣло, вотъ его послѣдствія, вотъ его выгоды и невыгоды; взвѣсьте и разсудите, въ какой мѣрѣ оно будетъ полезно. Тогда люди постоянно имѣли бы передъ собою данныя, и въ своихъ сужденіяхъ исходили бы изъ фактовъ, не блуждая въ синтетическихъ туманахъ, не связывая себя отвлеченными теоріями и идеалами, когда-то и кѣмъ-то составленными. Чтобы достигнуть этого, надобно, чтобы всѣ люди получили охоту жить своимъ умомъ, а не полагаться на чужую опеку. Этого, конечно, еще не скоро дождемся мы въ человѣчествѣ. Но та небольшая часть людей, которую мы называемъ «читающей публикой», даетъ намъ право думать, что въ ней эта охота къ самостоятельной умственной жизни уже пробудилась. Поэтому, мы считаемъ весьма неудобнымъ третировать ее свысока и надменно бросать ей сентенціи и приговоры, основанные богъ-знаетъ на какихъ

теоріяхъ. Самымъ лучшимъ способомъ критики мы считаемъ изложеніе самого дѣла такъ, чтобы читатель самъ, на основаніи выставленныхъ фактовъ, могъ сдѣлать свое заключеніе. Мы группируемъ данныя, дѣлаемъ соображенія объ общемъ смыслѣ произведенія, указываемъ на отношеніе его къ дѣйствительности, въ которой мы живемъ, выводимъ свое заключеніе и пытаемся обставить его возможно лучшимъ образомъ, но при этомъ всегда стараемся держаться такъ, чтобы читатель могъ совершенно удобно произнести свой судъ между нами и авторомъ. Намъ не разъ случалось принимать упреки за нѣкоторые ироническіе разборы: «изъ вашихъ же выписокъ и изложенія содержанія видно, что этотъ авторъ плохъ или вреденъ,—говорили намъ,—а вы его хвалите,—какъ вамъ не стыдно». Признаемся, подобные упреки нисколько насъ не огорчали: читатель получалъ не совсѣмъ лестное мнѣніе о нашей критической способности,—правда; но главная цѣль была все-таки достигнута,—негодная книга (которую иногда мы и не могли прямо осудить) такъ и показалась читателю негодною, благодаря фактамъ, выставленнымъ предъ его глазами. И мы всегда были того мнѣнія, что только фактическая, реальная критика и можетъ имѣть какой-нибудь смыслъ для читателя. Если въ произведеніи есть что-нибудь, то покажите намъ, что въ немъ есть; это гораздо лучше, чѣмъ пускаться въ соображенія о томъ, чего въ немъ нѣтъ и что бы должно было въ немъ находиться.

Разумѣется, есть общія понятія и законы, которые всякій человѣкъ непремѣнно имѣетъ въ виду, рассуждая о какомъ бы то ни было предметѣ. Но нужно различать между этими естественными законами, вытекающими изъ самой сущности дѣла, и между положеніями и правилами, установленными въ какой-нибудь системѣ. Есть извѣстныя аксіомы, безъ которыхъ мышленіе невозможно, и ихъ всякій авторъ предполагаетъ въ своемъ читателѣ, такъ же, какъ всякій разговаривающій—въ своемъ собесѣдникѣ. Довольно сказать о человѣкѣ, что онъ горбатъ или косъ, чтобы всякій увидѣлъ въ этомъ недостатокъ, а не преимущество его организаціи. Такъ точно достаточно замѣтить, что такое-то литературное произведеніе безграмотно или исполнено лжи, чтобы этого никто не считалъ достоинствомъ. Но когда вы скажете, что человѣкъ ходитъ въ фуражкѣ, а не въ шляпѣ, этого еще недостаточно для того, чтобы я получилъ о немъ дурное мнѣніе, хотя въ извѣстномъ кругу и принято, что порядочный человѣкъ не долженъ фуражку носить. Такъ и въ литературномъ произведеніи—если вы находите несоблюденіе какихъ-нибудь единствъ, или лица не необходимыя для развитія интриги, такъ это еще ничего не говоритъ для читателя, непредубѣжденнаго въ пользу вашей теоріи. Только то, что каждому читателю должно показаться нарушеніемъ естественнаго порядка вещей и оскорбленіемъ простаго здраваго смысла, могу я считать нетребующимъ отъ меня опроверженій, предполагая, что эти опроверженія сами собою явятся въ умѣ читателя, при одномъ моемъ указаніи на

фактъ. Но никогда не нужно слишкомъ далеко простираť подобное предположеніе. Критики, подобные Н. Ф. Павлову, г. Некрасову изъ Москвы, г. Пальховскому и пр., тѣмъ и грѣшатъ особенно, что предполагаютъ безусловное согласіе между собою и общимъ мнѣніемъ гораздо въ большемъ количествѣ пунктовъ, чѣмъ слѣдуетъ. Иначе сказать,—они считаютъ непреложными, очевидными для всѣхъ аксіомами множество такихъ мнѣній, которыя только имъ кажутся абсолютными истинами, а для большинства людей представляютъ даже противорѣчіе съ нѣкоторыми общепринятыми понятіями. Напримѣръ, всякому понятно, что авторъ, желающій сдѣлать что-нибудь порядочное, не долженъ искажать дѣйствительность: въ этомъ требованіи согласны и теоретики, и общее мнѣніе. Но теоретики въ то же время требуютъ, и тоже полагаютъ, какъ аксіому, — что авторъ долженъ совершенствовать дѣйствительность, отбрасывая изъ нея все ненужное и выбирая только то, что спеціально требуется для развитія интриги и для развязки произведенія. Сообразно съ этимъ вторымъ требованіемъ, на Островскаго напускались много разъ съ великою яростью; а между тѣмъ оно не только не аксіома, но даже находится въ явномъ противорѣчій съ требованіемъ относительно вѣрности дѣйствительной жизни, которое всѣми признано, какъ необходимое. Какъ вы, въ самомъ дѣлѣ, заставите меня вѣрить, что въ теченіе какого-нибудь получаса въ одну комнату, или одно мѣсто на площади, приходятъ одинъ за другимъ десять человѣкъ, именно тѣ, кого нужно, именно въ то время, какъ ихъ тутъ нужно, встрѣчаютъ, кого имъ нужно, начинаютъ ех abrupto разговоръ о томъ, что нужно, уходятъ и дѣлаютъ что нужно, потомъ опять являются, когда ихъ нужно. Дѣлается ли это такъ въ жизни, похоже ли это на истину? Кто не знаетъ, что въ жизни самое трудное дѣло подогнать одно къ другому благопріятныя обстоятельства, устроивъ теченіе дѣлъ сообразно съ логической надобностью. Обыкновенно человѣкъ знаетъ, что ему дѣлать, да не можетъ такъ потратить, чтобы направить на свое дѣло всѣ средства, которыми такъ легко распоряжается писатель. Нужныя лица не приходятъ, письма не получаются, разговоры идутъ не такъ, чтобы подвинуть дѣло... У всякаго въ жизни много своихъ дѣлъ, и рѣдко кто служитъ, какъ въ нашихъ драмахъ, машиною, которою двигаетъ авторъ, какъ ему удобнѣе, для дѣйствія его пьесы. То же надо сказать и о завязкѣ съ развязкою. Много ли мы видимъ случаевъ, которые бы въ своемъ концѣ представляли чистое, логическое развитіе начала? Въ исторіи мы еще можемъ примѣтить это въ теченіе вѣковъ; но въ частной жизни не то. Правда, что историческіе законы и здѣсь тѣ же самыя, но разница въ разстояніи и размѣрѣ. Говоря абсолютно и принимая въ соображеніе безконечно малыя величины, конечно, мы найдемъ, что шаръ—тотъ же многоугольникъ; но попробуйте играть на бильярдѣ многоугольниками, совсѣмъ не то выйдетъ. Такъ точно и историческіе законы о логическомъ развитіи и необходимомъ возмездіи — представляются въ происшествіяхъ частной жизни далеко не такъ

ясно и полно, какъ въ исторіи народовъ. Придавать имъ нарочно эту ясность, значитъ насиловать и искажать существующую дѣйствительность. Будто бы въ самомъ дѣлѣ всякое преступленіе носить въ себѣ самомъ свое наказаніе? Будто оно всегда сопровождается мученіями совѣсти, если не внѣшнею казнью? Будто бережливость всегда ведетъ къ достатку, честность награждается общимъ уваженіемъ, сомнѣніе находитъ свое разрѣшеніе, добродѣтель доставляетъ внутреннее довольство? Не чаще ли видимъ противное, хотя, съ другой стороны, и противное не можетъ быть утверждаемо, какъ общее правило... Нельзя сказать, чтобъ люди были злы по природѣ, и потому нельзя принимать для литературныхъ произведеній принциповъ въ родѣ того, что, на примѣръ, порокъ всегда торжествуетъ, а добродѣтель наказывается. Но невозможно, даже смѣшно сдѣлалось строить драмы и на торжествѣ добродѣтели! Дѣло въ томъ, что отношенія человѣческія рѣдко устраиваются на основаніи разумнаго расчета, а слагаются большею частью случайно, и затѣмъ значительная доля поступковъ однихъ съ другими совершается какъ бы безсознательно, по рутинѣ, по минутному расположенію, по вліянію множества постороннихъ причинъ. Авторъ, рѣшающійся отбросить въ сторону всѣ эти случайности, въ угоду логическимъ требованіямъ развитія сюжета, обыкновенно теряетъ среднюю мѣру и дѣлается похожъ на человѣка, который все измѣряетъ на тахімит. Онъ, на примѣръ, нашелъ, что человѣкъ можетъ, безъ непосредственнаго вреда для себя, работать пятнадцать часовъ въ сутки, и на этомъ расчетѣ основываетъ свои требованія отъ людей, которые у него работаютъ. Само собою разумѣется, что расчетъ этотъ, возможный для экстренныхъ случаевъ, для двухъ-трехъ дней, оказывается совершенно нелѣпымъ, какъ норма постоянной работы. Таковымъ же нерѣдко оказывается и логическое развитіе житейскихъ отношеній, требуемое теоріею отъ драмы.

Намъ скажутъ, что мы впадаемъ въ отрицаніе всякаго творчества и не признаемъ искусства иначе, какъ въ видѣ дагеротипа. Еще больше, — насъ попросятъ провести дальше наши мнѣнія и дойти до крайнихъ ихъ результатовъ, то есть, что драматическій авторъ, не имѣя права ничего отбрасывать и ничего подгонять нарочно для своей цѣли, оказывается въ необходимости просто записывать всѣ ненужные разговоры всѣхъ встрѣчныхъ лицъ, такъ что дѣйствіе, продолжавшееся недѣлю, потребуетъ и въ драмѣ ту же самую недѣлю для своего представленія на театрѣ, а для иного происшествія потребуются присутствіе всѣхъ тысячъ людей, прогуливающихъ по Невскому проспекту или по Англійской набережной. Да, оно такъ и придется, если оставить высшимъ критеріумомъ въ литературѣ все-таки ту теорію, которой положенія мы сейчасъ оспаривали. Но мы вовсе не къ тому идемъ; не два-три пункта теоріи хотимъ мы исправить; нѣтъ, съ такими исправленіями она будетъ еще хуже, запутаннѣе и противорѣчивѣе; мы просто не хотимъ ее вовсе. У насъ есть для сужденія о достоинствѣ авторовъ и произве-

деній другія основанія, держась которыхъ мы надѣемся не прійти ни къ какимъ нелѣпостямъ и не разойтись съ здравымъ смысломъ массы публики. Объ этихъ основаніяхъ мы уже говорили и въ первыхъ статьяхъ объ Островскомъ, и потомъ въ статьѣ о «Наканунѣ»; но, можетъ быть, нужно еще разъ вкратцѣ изложить ихъ.

Мѣрою достоинства писателя или отдѣльнаго произведенія мы принимаемъ то, насколько служатъ они выраженіемъ естественныхъ стремленій извѣстнаго времени и народа. Естественныя стремленія человѣчества, приведенныя къ самому простому знаменателю, могутъ быть выражены въ двухъ словахъ: «чтобъ всѣмъ было хорошо». Понятно, что, стремясь къ этой цѣли, люди, по самой сущности дѣла, сначала должны были отъ нея удалиться: каждый хотѣлъ, чтобъ ему было хорошо, и, утверждая свое благо, мѣшалъ другимъ; устроиться же такъ, чтобъ одинъ другому не мѣшалъ, еще не умѣли. Такъ неопытные танцоры не умѣютъ распорядиться своими движеніями и безпрестанно сталкиваются съ другими парами, даже въ довольно пространной залѣ. Послѣ, по привычкѣ, они станутъ лучше расходиться даже и въ залѣ меньшаго объема и при большемъ количествѣ танцующихъ. Но пока они не приобрѣли ловкости, до тѣхъ поръ, разумѣется, и невозможно допустить, чтобы въ залѣ пускались въ вальсъ многія пары; чтобы не переколотиться другъ объ друга, необходимо многимъ пережидать, а самымъ неловкимъ—и вовсе отказаться отъ танцевъ и, можетъ быть, сѣсть за карты, проиграть, и даже много... Такъ было и въ устройствѣ жизни: болѣе ловкіе продолжали отыскивать свое благо, другіе сидѣли, принимались за то, за что не слѣдовало, проигрывали; общій праздникъ жизни нарушался съ самаго начала, многимъ стало не до веселья; многіе пришли къ убѣжденію, что къ веселью только тѣ и призваны, кто ловко танцуетъ. А ловкіе танцоры, устроившіе свое благосостояніе, продолжали слѣдовать естественному влеченію и забирали себѣ все больше простора, все больше средствъ для веселья. Наконецъ они теряли мѣру; остальнымъ становилось отъ нихъ очень тѣсно, и они вскакивали съ своихъ мѣстъ и подпрыгивали—уже не за тѣмъ, чтобы танцовать хотѣли, а просто потому, что имъ даже сидѣть-то стало неловко. А между тѣмъ въ этомъ движеніи оказалось, что и между ними есть люди, нелишенные нѣкоторой легкости,—и тѣ пробовали вступить въ кругъ веселящихся. Но привилегированные, первоначальныя танцоры смотрѣли на нихъ уже очень непріязненно, какъ на непризванныхъ, и не пускали ихъ въ кругъ. Начиналась борьба, разнообразная, долгая, большею частью неблагопріятная для новичковъ: ихъ осмѣивали, отталкивали, ихъ осуждали платить издержки праздника, у нихъ отнимали ихъ дамъ, а у дамъ кавалеровъ, ихъ совсѣмъ прогоняли съ праздника. Но чѣмъ хуже становится людямъ, тѣмъ они сильнѣе чувствуютъ нужду, чтобъ было хорошо. Лишеніями не удовлетворишь требованій, а только раздражишь; только принятіе пищи можетъ утолить голодъ. До сихъ поръ, поэтому, борьба не кончена; естественныя стремленія, то какъ будто заглушаясь, то

появляясь сильнѣе, все ищутъ своего удовлетворенія. Въ этомъ состоятъ сущность исторіи.

Во всѣ времена и во всѣхъ сферахъ человѣческой дѣятельности появлялись люди, настолько здоровые и одаренные натурою, что естественныя стремленія говорили въ нихъ чрезвычайно сильно, незаглушаемо. Въ практической дѣятельности они часто дѣлались мучениками своихъ стремленій, но никогда не проходили безслѣдно, никогда не оставались одинокими; въ общественной дѣятельности они приобрѣтали партію, въ чистой наукѣ дѣлали открытія, въ искусствахъ, въ литературѣ образовали школу. Не говоримъ о дѣятеляхъ общественныхъ, которыхъ роль въ исторіи всякому должна быть понятна послѣ того, что мы сказали на предыдущей страницѣ. Но замѣтимъ, что и въ дѣлѣ науки и литературы за великими личностями всегда сохранялся тотъ характеръ, который мы обозначили выше,—сила естественныхъ, живыхъ стремленій. Съ искаженіемъ этихъ стремленій въ массѣ совпадаетъ водвореніе многихъ нелѣпыхъ понятій о мірѣ и человѣкѣ; эти понятія, въ свою очередь, мѣшали общему благу. Чтобы не заходить далеко, вспомнимъ, сколько зла причинили человѣчеству нелѣпости фетишизма и всякаго рода космогоническія бредни, а потомъ астрологическія и кабалистическія мистеріи на разные лады. Люди чистой науки, дѣлавшіе астрономическія и физическія открытія, или устанавливавшіе новыя философскія начала, умѣли слушать голосъ естественныхъ, здравыхъ требованій ума и помогали человѣчеству избавляться отъ тѣхъ или другихъ искусственныхъ комбинацій, вредившихъ устройству общаго благоденствія. Съ каждымъ изъ этихъ людей человѣчество дѣлало новый шагъ въ развитіи правильныхъ, естественныхъ понятій, и по важности этихъ шаговъ можемъ мы опредѣлять личное достоинство каждаго дѣятеля. То же самое прилагается и къ людямъ прикладныхъ знаній: техникамъ, механикамъ, агрономамъ, врачамъ, и пр... То же видимъ и въ области искусствъ, и въ литературѣ.

Литератору до сихъ поръ предоставлена была небольшая роль въ этомъ движеніи человѣчества къ естественнымъ началамъ, отъ которыхъ оно отклонилось. По существу своему, литература не имѣетъ дѣятельнаго значенія: она только или предполагаетъ то, что нужно сдѣлать, или изображаетъ то, что уже дѣлается и сдѣлано. Въ первомъ случаѣ, то есть въ предположеніяхъ будущей дѣятельности, она беретъ свои матеріалы и основанія изъ чистой науки; во второмъ,—изъ самыхъ фактовъ жизни. Такимъ образомъ, вообще говоря литература представляетъ собою силу служебную, которой значеніе состоитъ въ пропагандѣ, а достоинство опредѣляется тѣмъ, что какъ она пропагандируетъ. Въ литературѣ, впрочемъ, являлось сихъ поръ нѣсколько дѣятелей, которые въ своей пропагандѣ стояли такъ высоко, что ихъ не превзойдутъ ни практическіе дѣятели блага человѣчества, ни люди чистой науки. Эти писатели были сренены такъ богато природою, что умѣли, какъ бы по инстинкту, приблизиться къ естественнымъ понятіямъ и стремленіямъ, кото-

еще только искали современные имъ философы съ помощью строгой науки. Мало того, то, что философы только предугадывали въ теоріи, гениальные писатели умѣли это схватывать въ жизни и изображать въ дѣйствіи. Такимъ образомъ, служа полнѣйшими представителями высшей степени человѣческаго сознанія въ извѣстную эпоху, и съ этой высоты обозрѣвая жизнь людей и природы и рисуя ее передъ нами, они возвышались надъ служебною ролью литературы и становились въ рядъ историческихъ дѣятелей, способствовавшихъ человечеству въ яснѣйшемъ сознаніи его живыхъ силъ и естественныхъ наклонностей. Таковъ былъ Шекспиръ. Многія изъ его пьесъ могутъ быть названы открытіями въ области человѣческаго сердца; его литературная дѣятельность подвинула общее сознаніе людей на нѣсколько ступеней, на которыя до него никто не поднимался и которыя только были издали указываемы нѣкоторыми философами. И вотъ почему Шекспиръ имѣетъ такое всемірное значеніе: имъ обозначается нѣсколько новыхъ ступеней человѣческаго развитія. Но за то Шекспиръ и стоитъ внѣ обычнаго ряда писателей; имена Данте, Гёте. Байрона часто присоединяются къ его имени, но трудно сказать, чтобъ въ каждомъ изъ нихъ такъ полно обозначалась цѣлая новая фаза общечеловѣческаго развитія, какъ въ Шекспирѣ. Что же касается до обыкновенныхъ талантовъ, то для нихъ именно остается та служебная роль, о которой мы говорили. Не представляя міру ничего новаго и невѣдомаго, не намѣчая новыхъ путей въ развитіи всего человечества, не двигая его даже и на принятомъ пути, они должны ограничиваться болѣе частнымъ, специальнымъ служеніемъ: они приводятъ въ сознаніе массъ то, что открыто передовыми дѣятелями человечества, раскрываютъ и проясняютъ людямъ то, что въ нихъ живетъ еще смутно и неопредѣленно. Обыкновенно это происходитъ не такъ, впрочемъ, чтобы литераторъ заимствовалъ у философа его идеи, потомъ проводилъ ихъ въ своихъ произведеніяхъ. Нѣтъ, оба они дѣйствуютъ самостоятельно, оба исходятъ изъ одного начала—дѣйствительной жизни, но только различнымъ образомъ принимаютъ за дѣло. Мыслитель, замѣчая въ людяхъ, на примѣръ, недовольство настоящимъ ихъ положеніемъ, соображаетъ всѣ факты и старается отыскать новыя начала, которыя бы могли удовлетворить возникающія требованія. Литераторъ-поэтъ, замѣчая то же недовольство, рисуетъ его картину такъ живо, что общее вниманіе, установленное на ней, само собою наводитъ людей на мысль о томъ, что же именно имъ нужно. Результатъ одинъ, и значеніе двухъ дѣятелей было бы одно и то же; но исторія литературы показываетъ намъ, что, за немногими исключеніями, литераторы обыкновенно опаздываютъ. Тогда какъ мыслители, привязываясь къ самымъ незначительнымъ признакамъ и неотступно преслѣдуя попавшуюся мысль до самыхъ послѣднихъ ея основаній, нерѣдко подмѣчаютъ новое движеніе въ самомъ еще ничтожномъ его зародышѣ,—литераторы по большей части оказываются менѣе чуткими: они подмѣчаютъ и рисуютъ возникающее движеніе тогда уже, когда оно довольно яв-

ственно и сильно. За то, впрочемъ, они ближе къ понятіямъ массы и больше имѣютъ въ ней успѣха; они подобны барометру, съ которымъ всякій справляется, между тѣмъ, какъ метеоролого-астрономическихъ выкладокъ и предвѣщаній никто не хочетъ знать. Такимъ образомъ, признавая за литературою главное значеніе пропаганды, мы требуемъ отъ нея одного качества, безъ котораго въ ней не можетъ быть никакихъ достоинствъ, именно — *правды*. Надо, чтобы факты, изъ которыхъ исходитъ авторъ и которые онъ представляетъ намъ, были переданы вѣрно. Какъ скоро этого нѣтъ, литературное произведеніе теряетъ всякое значеніе; оно становится даже вреднымъ, потому что служить не къ просвѣтлѣнію человѣческаго сознанія, а, напротивъ, еще къ большому помраченію. И тутъ уже напрасно стали бы мы отыскивать въ авторѣ какой-нибудь талантъ, кромѣ развѣ таланта вранья. Въ произведеніяхъ историческаго характера правда должна быть фактическая; въ беллетристикѣ, гдѣ происшествія вымышлены, она замѣняется логическою правдою, то есть разумною вѣроятностью и сообразностью съ существующимъ ходомъ дѣлъ.

Но правда есть необходимое условіе, а еще не достоинство произведенія. О достоинствѣ мы судимъ по широтѣ взгляда автора, вѣрности пониманія и живости изображенія тѣхъ явленій, которыхъ онъ коснулся. И прежде всего, по принятому нами критерию, мы различаемъ авторовъ, служащихъ представителями естественныхъ, правильныхъ стремленій народа, отъ авторовъ, служащихъ органами разныхъ искусственнымъ тенденцій и требованій. Мы уже видѣли, что искусственныя общественныя комбинаціи, бывшія слѣдствіемъ первоначальной неумѣлости людей въ устройствѣ своего благосостоянія, во многихъ заглушили сознаніе естественныхъ потребностей. Въ литературахъ всѣхъ народовъ мы находимъ множество писателей, совершенно преданныхъ искусственнымъ интересамъ и нимало не заботящихся о нормальныхъ требованіяхъ человѣческой природы. Эти писатели могутъ быть и не лжецы; но произведенія ихъ, тѣмъ не менѣе, ложны, и въ нихъ мы не можемъ признать достоинствъ, развѣ только относительно формы. Всѣ, напримѣръ, пѣвцы иллюминацій, военныхъ торжествъ, рѣзни и грабежа по приказу какого-нибудь честолюбца, сочинители льстивыхъ дионирамбовъ, надписей и мадригаловъ—не могутъ имѣть въ нашихъ глазахъ никакого значенія, потому что они весьма далеки отъ естественныхъ стремленій и потребностей народныхъ. Въ литературѣ они то же въ сравненіи съ истинными писателями, что въ наукѣ астрологи и алхимики предъ истинными натуралистами, что сонники предъ курсомъ фізіологіи, гадательныя книжки предъ теоріей вѣроятностей. Между авторами, неудаляющимися отъ естественныхъ понятій, мы различаемъ людей, болѣе или менѣе глубоко проникнутыхъ насущными требованіями эпохи, болѣе или менѣе широко обнимающихъ движеніе, совершающееся въ человѣчествѣ, и болѣе или менѣе сильно ему сочувствующихъ. Тутъ степени могутъ

быть безчисленны. Одинъ авторъ можетъ исчерпать одинъ вопросъ, другой десять, третій можетъ всѣ ихъ подвести подъ одинъ высшій вопросъ и его поставить на разрѣшеніе, четвертый можетъ указать на вопросы, которые поднимаются еще за разрѣшеніемъ этого высшего вопроса, и т. д. Одинъ можетъ холодно, эпически излагать факты, другой съ лирической силой ополчаться на ложь и воспѣвать добро и правду. Одинъ можетъ брать дѣло съ поверхности и указывать надобность внѣшнихъ и частныхъ поправокъ; другой можетъ забирать все съ корня и выставлять на видъ внутреннее безобразіе и несостоятельность предмета, или внутреннюю силу и красоту новаго зданія, воздвигаемаго при новомъ движеніи человѣчества. Сообразно съ широтою взгляда и силою чувства авторовъ будетъ разниться и способъ изображенія предметовъ, и самое изложеніе у каждаго изъ нихъ. Разобрать это отношеніе внѣшней формы къ внутренней силѣ уже нетрудно; самое главное для критики — опредѣлить, стоитъ ли авторъ въ уровень съ тѣми естественными стремленіями, которыя уже пробудились въ народѣ или должны скоро пробудиться по требованію современнаго порядка дѣлъ; затѣмъ—въ какой мѣрѣ умѣлъ онъ ихъ понять и выразить, и взялъ ли онъ существо дѣла, корень его, или только внѣшность, обнялъ ли общность предмета, или только нѣкоторыя его стороны.

Считаемъ излишнимъ распространяться о томъ, что мы здѣсь разумѣемъ не теоретическое обсужденіе, а поэтическое представленіе фактовъ жизни. Въ прежнихъ статьяхъ объ Островскомъ мы достаточно говорили о различіи отвлеченнаго мышленія отъ художническаго способа представленія. Повторимъ здѣсь только одно замѣчаніе, необходимое для того, чтобы поборники чистаго искусства не обвинили насъ опять въ навязываньи художнику «утилитарныхъ темъ». Мы нисколько не думаемъ, чтобы всякій авторъ долженъ былъ создавать свои произведенія подѣ вліяніемъ извѣстной теоріи: онъ можетъ быть какихъ угодно мнѣній, лишь бы талантъ его былъ чутокъ къ жизненной правдѣ. Художественное произведеніе можетъ быть выраженіемъ извѣстной идеи, не потому, что авторъ задался этой идеей при его созданіи, а потому, что автора его поразили такіе факты дѣйствительности, изъ которыхъ эта идея вытекаетъ сама собою. Такимъ образомъ, напр., философія Сократа и комедіи Аристофана, въ отношеніи къ религіозному ученію грековъ, служатъ выраженіемъ одной и той же общей идеи — разрушенія древнихъ вѣрованій; но вовсе нѣтъ надобности думать, что Аристофанъ задавалъ себѣ именно эту цѣль для своихъ комедій: она достигается у него просто картиною греческихъ нравовъ того времени. Изъ его комедій мы рѣшительно убѣждаемся, что въ то время, когда онъ писалъ, царство греческой миеологіи уже прошло; т. е. онъ практически приводитъ насъ къ тому, что Сократъ и Платонъ доказываютъ философскимъ образомъ. Такова и вообще бываетъ разница въ способѣ дѣйствія произведеній поэтическихъ и собственно теоретическихъ. Она соотвѣтствуетъ разницѣ въ самомъ способѣ

мышленія художника и мыслителя: одинъ мыслить конкретнымъ образомъ, никогда не теряя изъ виду частныхъ явленій и образовъ, а другой стремится все обобщить, слить частные признаки въ общей формулѣ. Но существенной разницы между истиннымъ знаніемъ и истинной поэзіей быть не можетъ: талантъ есть принадлежность натуры человѣка, и потому онъ несомнѣнно гарантируетъ намъ извѣстную силу и широту естественныхъ стремленій въ томъ, кого мы признаемъ талантливымъ. Слѣдовательно и произведенія его должны создаваться подъ вліяніемъ этихъ естественныхъ, правильныхъ потребностей натуры; сознаніе нормальнаго порядка вещей должно быть въ немъ ясно и живо, идеалъ его простъ и разуменъ, и онъ не отдастъ себя на служеніе неправдѣ и безсмыслицѣ, не потому, чтобы не хотѣлъ, а просто потому, что не можетъ,—не выйдетъ у него ничего хорошаго, если онъ и вздумаетъ понасиловать свой талантъ. Подобно Валааму, захочетъ онъ проклинать Израиля, и, противъ его воли, въ торжественную минуту вдохновенія, въ его устахъ явятся благословенія вмѣсто проклятій. А если и удастся ему выговорить слово проклятія, то оно лишено будетъ внутренняго жара, будетъ слабо и невразумительно. Намъ нечего ходить далеко за примѣрами: наша литература изобилуетъ ими едва ли не болѣе всякой другой. Возьмите хоть Пушкина и Гоголя: какъ бѣдны и трескучи заказныя стихотворенія Пушкина; какъ жалки аскетическія попытки Гоголя въ литературѣ! Доброй воли было у нихъ много, но воображеніе и чувство не давали достаточно матеріала для того, чтобы сдѣлать истинно поэтическую вещь на заказныя, искусственныя темы. Да и не мудрено: дѣйствительность, изъ которой почерпаетъ поэтъ свои матеріалы и свои вдохновенія, имѣетъ свой натуральный смыслъ, при нарушеніи котораго уничтожается самая жизнь предмета и остается только мертвый остовъ его. Съ этимъ-то остовомъ и принуждены были всегда оставаться писатели, хотѣвшіе, вмѣсто естественнаго смысла, придать явленіямъ другой, противный ихъ сущности.

Но, какъ мы уже сказали, естественныя стремленія человѣка и здравыя, простыя понятія о вещахъ искажены и почти заглушены во многихъ. Вслѣдствіе неправильнаго развитія, часто людямъ представляется совершенно нормальнымъ и естественнымъ то, что въ сущности составляетъ нелѣпѣйшее насиліе природы. Съ теченіемъ времени человѣчество все болѣе и болѣе освобождается отъ искусственныхъ искаженій и приближается къ естественнымъ требованіямъ и воззрѣніямъ: мы уже не видимъ таинственныхъ силъ въ каждомъ лѣсѣ и озерѣ, въ громѣ и молніи, въ солнцѣ и звѣздахъ; мы уже не имѣемъ въ образованныхъ странахъ кастъ и паріевъ; мы не перемѣшиваемъ отношеній двухъ половъ, подобно народамъ Востока; мы не признаемъ класса рабовъ существенной принадлежностью государства, какъ было у грековъ и римлянъ; мы отрицаемся отъ инквизиціонныхъ началъ, господствовавшихъ въ средневѣковой Европѣ. Если все это еще и встрѣчается нынѣ по мѣстамъ, то не

иначе, какъ въ видѣ исключенія; общее же положеніе измѣнилось къ лучшему. Но все-таки и теперь еще люди далеко не пришли къ ясному сознанію всѣхъ естественныхъ потребностей, и даже не могутъ еще согласиться въ томъ, что для человѣка естественно, что нѣтъ. Общую формулу, — что человѣку естественно стремиться къ лучшему, — всѣ принимаютъ; но разногласія возникаютъ изъ-за того, что же должно считать благомъ для человѣчества. Мы полагаемъ, напримѣръ, что благо въ трудѣ, и потому трудъ считаемъ естественнымъ для человѣка; а «Экономическій указатель» увѣряетъ, что людямъ естественно лѣниться, ибо благо состоитъ въ пользованіи капиталомъ. Мы думаемъ, что воровство есть искусственная форма пріобрѣтенія, къ которой человѣкъ вынуждается крайностью; а Крыловъ говоритъ, что это есть естественное качество иныхъ людей и что—

Вору дай хоть миллионъ,
Онъ воровать не перестанетъ.

А между тѣмъ Крыловъ—знаменитый баснописецъ, а «Экономическій указатель» издается г. Вернадскимъ, докторомъ и статскимъ совѣтникомъ: мнѣніями ихъ пренебрегать невозможно. Что тутъ дѣлать, какъ рѣшить? Намъ кажется, что окончательнаго рѣшенія тутъ никто не можетъ брать на себя; всякій можетъ считать свое мнѣніе самымъ справедливымъ, но рѣшеніе въ этомъ случаѣ болѣе, нежели когда-нибудь, надо предоставить публикѣ. Это дѣло до нея касается, и только во имя ея можемъ мы утверждать наши положенія. Мы говоримъ обществу: «намъ кажется, что вы вотъ къ чему способны, вотъ что чувствуете, вотъ чѣмъ недовольны, вотъ чего желаете». Дѣло общества сказать намъ, ошибаемся мы или нѣтъ. Тѣмъ болѣе, въ такомъ случаѣ, какъ разборъ комедій Островскаго, мы прямо можемъ положиться на общій судъ. Мы говоримъ: «вотъ что авторъ изобразилъ; вотъ что означаютъ, по нашему мнѣнію, воспроизведенные имъ образы, вотъ ихъ происхожденіе, вотъ смыслъ; мы находимъ, что все это имѣетъ живое отношеніе къ вашей жизни и нравамъ и объясняетъ вотъ какія потребности, которыхъ удовлетвореніе необходимо для вашего блага». Скажите, кому же иначе судить о справедливости нашихъ словъ, какъ не тому самому обществу, о которомъ идетъ рѣчь и къ которому она обращается? Его рѣшеніе должно быть одинаково важно и окончательно—и для насъ, и для разбираемаго автора.

Авторъ нашъ принимается публикою очень хорошо; значить, одна половина вопроса рѣшается положительнымъ образомъ: публика признаетъ, что онъ вѣрно понимаетъ и изображаетъ ее. Остается другой вопросъ: вѣрно ли мы понимаемъ Островскаго, приписывая его произведеніямъ извѣстный смыслъ? Нѣкоторую надежду на благопріятный отвѣтъ подаетъ намъ, во-первыхъ, то обстоятельство, что критики, противоположныя нашему воззрѣнію, не были осо-

бенно одобряемы публикой, и, во-вторыхъ, то, что самъ авторъ оказывается согласнымъ съ нами, такъ какъ въ «Грозѣ» мы находимъ новое подтвержденіе многихъ изъ нашихъ мыслей о талантѣ Островскаго и о значеніи его произведеній. Впрочемъ, еще разъ, — наши статьи и самыя основанія, на которыхъ мы утверждаемъ свои сужденія, у всѣхъ предъ глазами. Кто не захочетъ согласиться съ нами, тотъ, читая и повѣряя наши статьи по своимъ наблюденіямъ, можетъ прійти къ собственному заключенію. Мы и тѣмъ будемъ довольны.

Теперь, объяснившись относительно основаній нашей критики, просимъ читателей извинить намъ длинноту нашихъ объясненій. Ихъ бы, конечно, можно было изложить на двухъ-трехъ страницахъ, но тогда бы этимъ страницамъ долго не пришлось увидѣть свѣта. Длиннота происходитъ оттого, что часто безконечнымъ перефразомъ объясняется то, что можно бы обозначить просто однимъ словомъ; но въ томъ-то и бѣда, что эти слова весьма обыкновенныя въ другихъ европейскихъ языкахъ, русской статьѣ даютъ обыкновенно такой видъ, въ которомъ она не можетъ явиться передъ публикой. И приходится поневолѣ перевертываться всячески съ фразой, чтобы ввести какъ-нибудь читателя въ сущность излагаемой мысли.

Но обратимся же къ настоящему предмету нашему — къ автору «Грозы».

Читатели «Современника» помнятъ, можетъ быть, что мы поставили Островскаго очень высоко, находя, что онъ очень полно и многосторонне умѣлъ изобразить существенныя стороны и требованія русской жизни. Другіе авторы брали частныя явленія, временныя. внѣшнія требованія общества, и изображали ихъ съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, какъ, напр., требованіе правосудія, вѣротерпимости, здоровой администраціи, уничтоженія откуповъ, отмѣненія крѣпостного права, и пр. Иные авторы брали болѣе внутреннюю сторону жизни, но ограничивались очень тѣснымъ кругомъ и подмѣчали такія явленія, которыя далеко не имѣли общенароднаго значенія. Таково, напр., изображеніе, въ безчисленномъ множествѣ повѣстей, людей, ставшихъ по развитію выше окружающей ихъ среды, но лишенныхъ энергіи воли и погибающихъ въ бездѣйствіи. Повѣсти эти имѣли значеніе, потому что ясно выражали собою негодность среды, мѣшающей хорошей дѣятельности, и хотя смутно-сознаваемое требованіе энергическаго примѣненія на дѣлѣ началъ, признаваемыхъ нами за истину въ теоріи. Смотри по различію талантовъ, и повѣсти этого рода имѣли больше или меньше значенія; но всѣ онѣ заключали въ себѣ тотъ недостатокъ, что попадали лишь въ небольшую (сравнительно) часть общества и не имѣли почти ни-

какого отношенія къ большинству. Не говоря о массѣ народа, даже въ среднихъ слояхъ нашего общества мы видимъ гораздо больше людей, которымъ еще нужно пріобрѣтеніе и уясненіе правильныхъ понятій, нежели такихъ, которыя съ пріобрѣтенными идеями не знаютъ, куда дѣваться. Поэтому, значеніе указанныхъ повѣстей и романовъ остается весьма спеціальнымъ и чувствуется болѣе для кружка извѣстнаго сорта, нежели для большинства. Нельзя не сознаться, что дѣло Островскаго гораздо плодотворнѣе: онъ захватилъ такія общія стремленія и потребности, которыми проникнуто все русское общество, которыхъ голосъ слышится во всѣхъ явленіяхъ нашей жизни, которыхъ удовлетвореніе составляетъ необходимое условіе нашего дальнѣйшаго развитія. Мы не станемъ теперь говорить того, о чемъ говорили подробно въ нашихъ первыхъ статьяхъ; но кстати замѣтимъ здѣсь странное недоумѣніе, происшедшее относительно нашихъ статей у одного изъ критиковъ «Грозы» — г. Аполлона Григорьева. Нужно замѣтить, что г. А. Григорьевъ одинъ изъ восторженныхъ почитателей таланта Островскаго; но, должно быть, отъ избытка восторга, — ему никогда не удастся высказать съ нѣкоторой ясностью, за что же именно онъ цѣнитъ Островскаго. Мы читали его статьи и никакъ не могли добиться толку. Между тѣмъ, разбирая «Грозу», г. Григорьевъ посвящаетъ намъ нѣсколько страничекъ и обвиняетъ насъ въ томъ, что мы прицѣпили ярлычки къ лицамъ комедій Островскаго, раздѣлили всѣ ихъ на два разряда *самодуровъ* и *забитыхъ личностей*, и въ развитіи отношеній между ними, обычныхъ въ купеческомъ быту, заключили все дѣло нашего комика. Высказавъ это обвиненіе, г. Григорьевъ восклицаетъ, что нѣтъ, не въ этомъ состоитъ особенность и заслуга Островскаго, а въ *народности*. Но въ чемъ же состоитъ народность, — г. Григорьевъ не объясняетъ, и потому его реплика показалась намъ очень забавною. Какъ будто мы не признавали народности у Островскаго! Да мы именно съ нея и начали, ею продолжали и кончили. Мы искали, какъ и насколько произведенія Островскаго служатъ выраженіемъ народной жизни, народныхъ стремленій: что это, какъ не народность? Только что мы не кричали про нее съ восклицательными знаками черезъ каждыя двѣ строки, а постарались опредѣлить ея содержаніе, чего г. Григорьеву не заблагоразсудилось ни разу сдѣлать. А если бъ онъ это попробовалъ, то, можетъ быть, пришелъ бы къ тѣмъ же результатамъ, которые осуждаетъ у насъ, и не сталъ бы попусту обвинять насъ, будто мы заслугу Островскаго заключаемъ въ вѣрномъ изображеніи семейныхъ отношеній купцовъ, живущихъ по-старинѣ. Всякій, кто читалъ наши статьи, могъ видѣть, что мы вовсе не купцовъ только имѣли въ виду, указывая на основныя черты отношеній, господствующихъ въ нашемъ бытѣ, и такъ хорошо воспроизведенныхъ въ комедіяхъ Островскаго. Современныя стремленія русской жизни, въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ, находятъ свое выраженіе въ Островскомъ, какъ комикѣ, съ отрицательной стороны. Рисуя намъ въ яркой картинѣ ложныя отношенія со всѣми ихъ послѣдствіями, онъ черезъ то

самое служить отголоскомъ стремленій, требующихъ лучшаго устройства. Произволь съ одной стороны и недостатокъ сознанія правъ своей личности съ другой, — вотъ основанія, на которыхъ держится все безобразіе взаимныхъ отношеній, развиваемыхъ въ большей части комедій Островскаго; требованія права, законности, уваженія къ человѣку—вотъ что слышится каждому внимательному читателю изъ глубины этого безобразія. Что же, развѣ вы станете отрицать обширное значеніе этихъ требованій въ русской жизни? Развѣ вы не сознаетесь, что подобный фонъ комедій соотвѣтствуетъ состоянію русскаго общества болѣе, нежели какого бы то ни было другого въ Европѣ? Возьмите исторію, вспомните свою жизнь, оглянитесь вокругъ себя,—вы вездѣ найдете оправданіе нашихъ словъ. Не мѣсто здѣсь пускаться намъ въ историческія изысканія; довольно замѣтить, что наша исторія до новѣйшихъ временъ не способствовала у насъ развитію чувства законности (съ чѣмъ и г. Пироговъ согласенъ; зри—Положеніе о наказаніяхъ въ Кіевскомъ округѣ), не создавала прочныхъ гарантій для личности и давала обширное поле произволу. Такого рода историческое развитіе, разумѣется, имѣло слѣдствіемъ упадокъ нравственности общественной: уваженіе къ собственному достоинству потерялось, вѣра въ право, а слѣдовательно, и сознаніе долга—ослабли, произволь попиралъ право, подъ произволь подтачивалась хитрость. Нѣкоторые писатели, лишенные чутья нормальныхъ потребностей и сбитые съ толку искусственными комбинаціями, признавая эти несомнѣнные факты, хотѣли ихъ узаконить, прославить, какъ норму жизни, а не какъ искаженіе естественныхъ стремленій, произведенное неблагоприятнымъ историческимъ развитіемъ. Такъ, напримѣръ, произволь хотѣли присвоить русскому человѣку, какъ особенное, естественное качество его природы—подъ названіемъ «широты натуры»; плутовство и хитрость тоже хотѣли узаконить въ русскомъ народѣ подъ названіемъ смѣтливости и лукавства. Нѣкоторые критики хотѣли даже въ Островскомъ видѣть пѣвца широкихъ русскихъ натуръ; оттого-то и поднято было однажды такое бѣснованіе изъ-за Любима Торцова, выше котораго ничего не находили у нашего автора. Но Островскій, какъ человѣкъ съ сильнымъ талантомъ и, слѣдовательно, съ чутьемъ истины, съ инстинктивною склонностью къ естественнымъ, здравымъ требованіямъ, не могъ поддаваться искушенію, и произволь, даже самый широкій, всегда выходилъ у него, сообразно дѣйствительности, произволомъ, тяжелымъ, безобразнымъ, беззаконнымъ, — и въ сущности пьесы всегда слышался протестъ противъ него. Онъ умѣлъ почувствовать, что такое значить подобная широта натуры, и заклеилъ, ошельмовалъ ее нѣсколькими типами и названіемъ самодурства.

Но не онъ сочинилъ эти типы, такъ точно, какъ не онъ выдумалъ и слово «самодуръ». То и другое взялъ онъ въ самой жизни. Ясно, что жизнь, давшая матеріалы для такихъ комическихъ положеній, въ какихъ ставятся часто самодуры Островскаго, жизнь, давшая имъ и приличное названіе, не поглощена уже вся ихъ влія-

ніемъ, а заключаетъ въ себѣ задатки болѣе разумнаго, законнаго, правильнаго порядка дѣлъ. И дѣйствительно, послѣ каждой пьесы Островскаго, каждый чувствуетъ внутри себя это сознаніе, и, оглядываясь кругомъ себя, замѣчаетъ то же въ другихъ. Слѣдя пристальнѣе за этой мыслью, всматриваясь въ нее дольше и глубже, замѣчаешь, что это стремленіе къ новому, болѣе естественному, устройству отношеній заключаетъ въ себѣ сущность всего, что мы называемъ прогрессомъ, составляетъ прямую задачу нашего развитія, поглощаетъ всю работу новыхъ поколѣній. Куда вы ни оглянитесь, вездѣ вы видите пробужденіе личности, предъявленіе ею своихъ законныхъ правъ, протестъ противъ насилія и произвола, большею частью еще робкій, неопредѣленный, готовый спрятаться, но все-таки уже дающій замѣтить свое существованіе. Возьмите хоть законодательную и административную сторону, которая хотя въ частныхъ своихъ проявленіяхъ всегда имѣетъ много случайнаго, но въ общемъ характерѣ все-таки служить указателемъ положенія народа. Особенно этотъ указатель вѣренъ тогда, когда законодательныя мѣры запечатлѣны характеромъ льготъ, уступокъ и расширенія правъ. Мѣры обременительныя, стѣсняющія народъ въ его правахъ, могутъ быть вызваны, вопреки требованію народной жизни, просто дѣйствіемъ произвола, сообразно выгодамъ привилегированнаго меньшинства, которое пользуется стѣсненіемъ другихъ; но мѣры, которыми уменьшаются привилегіи и расширяются общія права, не могутъ имѣть свое начало ни въ чемъ иномъ, какъ въ прямыхъ и неотступныхъ требованіяхъ народной жизни, неотразимо дѣйствующихъ на привилегированное меньшинство, даже вопреки его личнымъ, непосредственнымъ выгодамъ. Взгляните же, что у насъ дѣлается въ этомъ отношеніи: крестьяне освобождаются, и сами помѣщики, утверждавшіе прежде, что еще рано давать свободу мужику, теперь убѣждаются и сознаются, что пора развязаться съ этимъ вопросомъ, что онъ дѣйствительно созрѣлъ въ народномъ сознаніи... А что же иное лежитъ въ основаніи этого вопроса, какъ не уменьшеніе произвола и не возвышеніе правъ человѣческой личности? То же самое и во всѣхъ другихъ реформахъ и улучшеніяхъ. Въ финансовыхъ реформахъ, во всѣхъ этихъ коммиссіяхъ и комитетахъ, разсуждавшихъ о банкахъ, о податяхъ и пр., что видѣло общественное мнѣніе, чего отъ нихъ надѣялось, какъ не опредѣленія болѣе правильной, отчетливой системы финансоваго управленія, и, слѣдовательно, введенія законности вмѣсто всякаго произвола? Что заставило предоставить нѣкоторыя права гласности, которой прежде такъ боялись,—что, какъ не сознаніе силы того общаго протеста противъ безправія и произвола, который въ теченіе многихъ лѣтъ сложился въ общественномъ мнѣніи и, наконецъ, не могъ себя сдерживать? Что сказалось въ полицейскихъ и административныхъ преобразованіяхъ, въ заботахъ о правосудіи, въ предположеніяхъ гласнаго судопроизводства, въ уменьшеніи строгостей къ раскольникамъ, въ самомъ уничтоженіи откуповъ?.. Мы не говоримъ о практиче-

скомъ значеніи всѣхъ этихъ мѣръ, мы только утверждаемъ, что самая попытка приступить къ нимъ доказываетъ сильное развитіе той общей идеи, на которую мы указали: хотя бы всѣ онѣ рушились или остались безуспѣшными, это бы могло показать только—недостаточность или ложность средствъ, принятыхъ для ихъ исполненія, но не могло бы свидѣтельствовать противъ потребностей, ихъ вызвавшихъ. Существованіе этихъ требованій такъ ясно, что въ литературѣ нашей они выразились немедленно, какъ только оказалась фактическая возможность ихъ проявленія. Сказались они и въ комедіяхъ Островскаго, съ полнотою и силою, какую мы встрѣчали у немногихъ авторовъ. Но не въ одной только степени силы достоинство комедій его: для насъ важно и то, что онъ нашелъ сущность общихъ требованій жизни еще въ то время, когда они были скрыты и высказывались весьма немногими и весьма слабо. Первая его пьеса появилась въ 1847 году; извѣстно, что съ того времени до послѣднихъ годовъ, даже лучшіе наши авторы почти потеряли слѣдъ естественныхъ стремленій народныхъ и даже стали сомнѣваться въ ихъ существованіи, а если иногда и чувствовали ихъ вѣяніе, то очень слабо, неопредѣленно, только въ какихъ-нибудь частныхъ случаяхъ, и, за немногими исключеніями, почти никогда не умѣли найти для нихъ истиннаго и приличнаго выраженія. Общее положеніе отразилось, разумѣется, отчасти и на Островскомъ; оно, можетъ быть, во многомъ объясняетъ ту долю неопредѣленности нѣкоторыхъ его пьесъ, которая подала поводъ къ такимъ нападкамъ на него въ началѣ пятидесятихъ годовъ. Но теперь, внимательно соображая совокупность его произведеній, мы находимъ, что чутье истинныхъ потребностей и стремленій русской жизни никогда не оставляло его; оно иногда и не показывалось на первый взглядъ, но всегда находилось въ корнѣ его произведеній. За то—кто хотѣлъ безпристрастно доискаться коренного ихъ смысла, тотъ всегда могъ найти, что дѣло въ нихъ представляется не съ поверхности, а съ самаго корня. Эта черта удерживаетъ произведенія Островскаго на ихъ высотѣ и теперь, когда уже всѣ стараются выражать тѣ же стремленія, которыя мы находимъ въ его пьесахъ. Чтобы не распространяться объ этомъ, замѣтимъ одно: требованіе права, уваженіе личности, протестъ противъ насилія и произвола вы находите во множествѣ нашихъ литературныхъ произведеній послѣднихъ лѣтъ; но въ нихъ, большею частью, дѣло не проведено жизненнымъ, практическимъ образомъ, почувствована отвлеченная, философская сторона вопроса и изъ нея все выведено: указывается *право*, а оставляется безъ вниманія реальная *возможность*. У Островскаго не то: у него вы находите не только нравственную, но и житейскую, экономическую сторону вопроса, а въ этомъ-то и сущность дѣла. У него вы ясно видите, какъ самодурство опирается на толстой мошнѣ, которую называетъ «Божіимъ благословеніемъ», и какъ безотвѣтность людей передъ нимъ опредѣляется матеріальною отъ него зависимою. Мало того, вы видите, какъ эта матеріальная сторона во

всѣхъ житейскихъ отношеніяхъ господствуетъ надъ отвлеченною, и какъ люди, лишенные матеріальнаго обезпеченія, мало цѣнятъ отвлеченныя права и даже теряютъ ясное сознаніе о нихъ. Въ самомъ дѣлѣ, сытый человѣкъ можетъ разсуждать хладнокровно и умно, слѣдуетъ ли ему ѣсть такое-то кушанье; но голодный рвется къ пищѣ, гдѣ ни завидитъ ее и какова бы она ни была. Это явленіе, повторяющееся во всѣхъ сферахъ общественной жизни, хорошо замѣчено и понято Островскимъ, и его пьесы яснѣе всякихъ разсужденій показываютъ внимательному читателю, какъ система безправія и грубаго, мелочнаго эгоизма, водворенная самодурствомъ, прививается и къ тѣмъ самымъ, которые отъ него страдаютъ; какъ они, если мало-мальски сохраняютъ въ себѣ остатки энергіи, стараются употребить ее на пріобрѣтеніе возможности жить самостоятельно, и уже не разбираютъ при этомъ ни средствъ, ни правъ. Мы слишкомъ подробно развивали эту тему въ прежнихъ статьяхъ нашихъ, чтобы опять къ ней возвращаться; притомъ же мы, припомнивши стороны таланта Островскаго, которыя повторялись въ «Грозѣ», какъ и въ прежнихъ его произведеніяхъ, должны все-таки сдѣлать коротенькій обзоръ самой пьесы и показать, какъ мы ее понимаемъ.

По настоящему, этого бы и ненужно; но критики, до сихъ поръ написанныя на «Грозу», показываютъ намъ, что наши замѣчанія не будутъ лишни.

Уже и въ прежнихъ пьесахъ Островскаго мы замѣчали, что это не комедіи интригъ и не комедіи характеровъ собственно, а нѣчто новое, чему мы дали бы названіе «пьесъ жизни», если бы это не было слишкомъ обширно и потому не совсѣмъ опредѣленно. Мы хотимъ сказать, что у него на первомъ планѣ является всегда общая, независящая ни отъ кого изъ дѣйствующихъ лицъ, обстановка жизни. Онъ не караетъ ни злодѣя, ни жертву; оба они жалки вамъ, нерѣдко оба смѣшны, но не на нихъ непосредственно обращается чувство, возбуждаемое въ васъ пьесою. Вы видите, что ихъ положеніе господствуетъ надъ ними, и вы вините ихъ только въ томъ, что они не выказываютъ достаточно энергіи для того, чтобы выйти изъ этого положенія. Сами самодуры, противъ которыхъ естественно должно возмущаться ваше чувство, по внимательномъ разсмотрѣніи, оказываются болѣе достойны сожалѣнія, нежели вашей злости: они и добродѣтельны, и даже умны по своему, въ предѣлахъ, предписанныхъ имъ рутиною и поддерживаемыхъ ихъ положеніемъ; но положеніе это таково, что въ немъ невозможно полное, здоровое человѣческое развитіе. Мы видѣли это особенно въ анализѣ характера Русакова.

Такимъ образомъ, борьба, требуемая теоріею отъ драмы, совершается въ пьесахъ Островскаго не въ монологахъ дѣйствующихъ лицъ, а въ фактахъ, господствующихъ надъ ними. Часто сами персонажи комедіи не имѣютъ яснаго и вовсе никакого сознанія о смыслѣ своего положенія и своей борьбы; но за то борьба весьма отчетливо и сознательно совершается въ душѣ зрителя, который

невольно возмущается противъ положенія, порождающаго такіе факты. И вотъ почему мы никакъ не рѣшаемся считать ненужными и лишними тѣ лица пьесъ Островскаго, которыя не участвуютъ прямо въ интригѣ. Съ нашей точки зрѣнія, эти лица столько же необходимы для пьесы, какъ и главные: они показываютъ намъ ту обстановку, въ которой совершается дѣйствіе, рисуютъ положеніе, которымъ опредѣляется смыслъ дѣятельности главныхъ персонажей пьесы. Чтобы хорошо узнать свойства жизни растенія, надо изучать его на той почвѣ, на которой оно растетъ; оторвавши отъ почвы, вы будете имѣть форму растенія, но не узнаете вполне его жизни. Точно такъ не узнаете вы жизни общества, если вы будете разсматривать ее только въ непосредственныхъ отношеніяхъ нѣсколькихъ лицъ, пришедшихъ почему-нибудь въ столкновеніе другъ съ другомъ: тутъ будетъ только дѣловая, офиціальная сторона жизни, между тѣмъ какъ намъ нужна будничная ея обстановка. Посторонніе, недѣятельные участники жизненной драмы, повидимому, занятые только своимъ дѣломъ каждый,—имѣютъ часто однимъ своимъ существованіемъ такое вліяніе на ходъ дѣла, что его ничѣмъ и отразить нельзя. Сколько горячихъ идей, сколько обширныхъ плановъ, сколько восторженныхъ порывовъ рушится при одномъ взглядѣ на равнодушную, прозаическую толпу, съ презрительнымъ индифференцизмомъ проходящую мимо насъ! Сколько чистыхъ и добрыхъ чувствъ замираетъ въ насъ, изъ боязни, чтобы не быть осмѣянными и поруганными этой толпой! А съ другой стороны, и сколько преступленій, сколько порывовъ произвола и насилія останавливается предъ рѣшеніемъ этой толпы, всегда какъ будто равнодушной и податливой, но въ сущности весьма неуступчивой въ томъ, что разъ ею признано. Поэтому, чрезвычайно важно для насъ знать, каковы понятія этой толпы о добрѣ и злѣ, что у ней считается за истину и что за ложь. Этимъ опредѣляется нашъ взглядъ на положеніе, въ какомъ находятся главные лица пьесы, а, слѣдовательно, и степень нашего участія къ нимъ.

Въ «Грозѣ» особенно видна необходимость такъ-называемыхъ «ненужныхъ» лицъ: безъ нихъ мы не можемъ понять лица героини и легко можемъ исказить смыслъ всей пьесы, что и случилось съ большею частью критиковъ. Можетъ быть, намъ скажутъ, что все-таки авторъ виноватъ, если его такъ легко не понять; но мы замѣтимъ на это, что авторъ пишетъ для публики, а публика если не сразу овладѣваетъ вполне сущностью его пьесъ, то и не искажаетъ ихъ смысла. Что же касается до того, что нѣкоторыя подробности могли быть отдѣланы лучше,—мы за это не стоимъ. Безъ сомнѣнія, могильщики въ «Гамлетѣ» болѣе кстати и ближе связаны съ ходомъ дѣйствія, нежели, напримѣръ, полусумасшедшая барыня въ «Грозѣ»; но мы вѣдь не то толкуемъ, что нашъ авторъ—Шекспиръ, а только то, что его постороннія лица имѣютъ резонъ своего появленія и оказываются даже необходимыми для полноты пьесы, разсматриваемой какъ она есть, а не въ смыслѣ абсолютнаго совершенства.

«Гроза», какъ вы знаете, представляетъ намъ идиллію «темнаго царства», которое мало-по-малу освѣщаетъ намъ Островскій своимъ талантомъ. Люди, которыхъ вы здѣсь видите, живутъ въ благословенныхъ мѣстахъ: городъ стоитъ на берегу Волги, весь въ зелени; съ крутыхъ береговъ видны далекія пространства, покрытыя селеньями и нивами; лѣтній благодатный день такъ и манитъ на берегъ, на воздухъ, подъ открытое небо, подъ этотъ вѣтерокъ, освѣжительно вѣющій съ Волги... И жители, точно, гуляютъ иногда по бульвару надъ рѣкой, хоть ужъ и приглядѣлись къ красотамъ волжскихъ видовъ; вечеромъ сидятъ на заваленкахъ у воротъ и занимаются благочестивыми разговорами; но больше проводятъ время у себя дома, занимаются хозяйствомъ, кушаютъ, спятъ, — спать ложатся очень рано, такъ что непривычному человѣку трудно и выдержать такую сонную ночь, какую они задаютъ себѣ. Но что же имъ дѣлать, какъ не спать, когда они сыты? Ихъ жизнь течетъ такъ ровно и мирно, никакіе интересы міра ихъ не тревожатъ, потому что не доходятъ до нихъ; царства могутъ рушиться, новыя страны открываться, лицо земли можетъ измѣняться, какъ ему угодно, міръ можетъ начать новую жизнь на новыхъ началахъ, — обитатели городка Калинова будутъ себѣ существовать попрежнему въ полнѣйшемъ невѣдѣніи объ остальномъ мірѣ. Изрѣдка забѣжитъ къ нимъ неопредѣленный слухъ, что Наполеонъ съ двадцатью языкъ опять подымается, или что антихристъ родился; но и это они принимаютъ болѣе какъ курьезную штуку, въ родѣ вѣсти о томъ, что есть страны, гдѣ всѣ люди съ песьими головами: покачаютъ головой, выразятъ удивленіе къ чудесамъ природы, и пойдутъ себѣ закусить... Смолоду еще показываютъ нѣкоторую любознательность по пищи взять ей неоткуда: свѣдѣнія заходятъ къ нимъ, точно въ древней Руси временъ Даниила Паломника, только отъ странницъ, да и тѣхъ ужъ нынче немного настоящихъ-то, приходится довольствоваться такими, которыя «сами, по немощи своей, далеко не ходили, а слышать много слыхали», какъ Оеклуша въ «Грозѣ». Отъ нихъ только и узнаютъ жители Калинова о томъ, что на свѣтѣ дѣлается; иначе они думали бы, что весь свѣтъ таковъ же, какъ и ихъ Калиновъ, и что иначе жить, чѣмъ они, совершенно невозможно. Но и свѣдѣнія, сообщаемыя Оеклушами, таковы, что неспособны внушить большого желанія промѣнять свою жизнь на иную. Оеклуша принадлежитъ къ партіи патріотической и въ высшей степени консервативной; ей хорошо среди благочестивыхъ и наивныхъ калиновцевъ: ее и почитаютъ, и угощаютъ, и снабжаютъ всѣмъ нужнымъ; она пресерьезно можетъ увѣрять, что самые грѣшки ея происходятъ отъ того, что она выше прочихъ смертныхъ: «простыхъ людей, — говоритъ, — каждаго одинъ врагъ смущаетъ, а къ намъ, страннымъ людямъ, къ кому шесть, къ кому двѣнадцать приставлено, вотъ и надо ихъ всѣхъ побороть». И ей вѣрять. Ясно, что простой инстинктъ самосохраненія долженъ заставить ее не сказать хорошаго слова о томъ, что въ другихъ земляхъ дѣлается. И въ самомъ дѣлѣ, при-

слушайтесь къ разговорамъ купечества, мѣщанства, мелкаго чиновничества въ уѣздной глуши, — сколько удивительныхъ свѣдѣній о невѣрныхъ и поганныхъ царствахъ, сколько рассказовъ о тѣхъ временахъ, когда людей жгли и мучили, когда разбойники города грабили, и т. п., — и какъ мало свѣдѣній о европейской жизни, о лучшемъ устройствѣ быта! Даже въ такъ-называемомъ образованномъ обществѣ, въ обьевропеившихся людяхъ, на множество энтузіастовъ, восхищающихся новыми парижскими улицами и мабилемъ, развѣ вы не найдете почти такое же множество солидныхъ цѣнителей, которые запугиваютъ своихъ слушателей тѣмъ, что нигдѣ, кромѣ Австріи, во всей Европѣ порядка нѣтъ, и никакой управы найти нельзя!.. Все это и ведетъ къ тому, что Оеклуша высказываетъ такъ положительно: «бла-алѣпіе, милая, бла-алѣпіе, красота дивная! Да что ужъ и говорить, — въ обѣтованной землѣ живете!» Оно несомнѣнно такъ и выходитъ, какъ сообразить, что въ другихъ-то земляхъ дѣлается. Послушайте-ка Оеклушу.

„Говорятъ, такія страны есть, милая дѣвушка, гдѣ и царей-то нѣтъ православныхъ, а салтаны землей правятъ. Въ одной землѣ сидитъ на тронѣ салтанъ Махнутъ турецкій, а въ другой — салтанъ Махнутъ персидскій; и судъ творятъ они, милая дѣвушка, надъ всѣми людьми, и что ни судятъ они, все неправильно. И не могутъ они, милая дѣвушка, ни одного дѣла разсудить праведно, — такой ужъ имъ предѣлъ положенъ. У насъ законъ праведный, а у нихъ, милая, неправедный; что по нашему закону такъ выходитъ, а по ихнему все наоборотъ. И всѣ судьи у нихъ, въ ихнихъ странахъ, тоже все неправедные; такъ имъ, милая дѣвушка, и въ просьбахъ пишутъ: „суди меня, судья неправедный“! А то есть еще земля, гдѣ всѣ люди съ песьими головами“.

«За что же такъ съ песьими»? спрашиваетъ Глаша. «За невѣрность», коротко отвѣчаетъ Оеклуша, считая всякія дальнѣйшія объясненія излишними. Но Глаша и тому рада: въ томительномъ однообразіи ея жизни и мысли, ей пріятно услышать сколько-нибудь новое и оригинальное. Въ ея душѣ смутно пробуждается уже мысль, «что вотъ, однако же, живутъ люди и не такъ, какъ мы; оно, конечно, у насъ лучше, а впрочемъ, кто ихъ знаетъ! Вѣдь и у насъ нехорошо; а про тѣ земли-то мы еще и не знаемъ хорошенько; кое-что только услышишь отъ добрыхъ людей»... И желаніе знать побольше да поосновательнѣе закрадывается въ душу. Это для насъ ясно изъ словъ Глаши, по уходѣ странницы: «вотъ еще какія земли есть! Какихъ-то, какихъ-то чудесъ на свѣтѣ нѣтъ! А мы тутъ сидимъ; ничего не знаемъ. Еще хорошо, что добрые люди есть: нѣтъ, нѣтъ, да и услышишь, что на бѣломъ свѣтѣ дѣлается; а то бы такъ дураками и померли». Какъ видите, неправедность и невѣрность чужихъ земель не возбуждаетъ въ Глашѣ ужаса и негодованія; ее занимаетъ только новое свѣдѣніе, которое представляется ей чѣмъ-то загадочнымъ, — «чудесами», какъ она выражается. Вы видите, что она не довольствуется объясненіями Ое-

клуши, которыя возбуждаютъ въ ней только сожалѣніе о своемъ невѣжествѣ. Она, очевидно, на полдорогѣ къ скептицизму. Но гдѣ жъ ей сохранить свое недовѣріе, когда оно безпрестанно под-
рывается разсказами, подобными Оеклушинымъ? Какъ ей дойти до
правильныхъ понятій, даже просто до разумныхъ вопросовъ, когда
ея любознательность заперта въ такомъ кругѣ, который очерченъ
около нея въ городѣ Калиновѣ? Да еще мало того, какъ бы она
осмѣлилась не вѣрить да допытываться, когда старшіе и луч-
шіе люди такъ положительно успокоиваются въ убѣжденіи, что
принятые ими понятія и образъ жизни — наилучшіе въ мірѣ, и
что все новое происходитъ отъ нечистой силы? Страшна и тяжела
для каждаго новичка попытка итти наперекоръ требованіямъ и
убѣжденіямъ этой темной массы, ужасной въ своей наивности и
искренности. Вѣдь она проклянетъ насъ, будетъ бѣгать, какъ за-
чумленныхъ, не по злобѣ, не по расчетамъ, а по глубокому убѣ-
жденію въ томъ, что мы сродни антихристу; хорошо еще, если
только полоумнымъ сочтеть и будетъ подсмѣиваться... Она ищетъ
знанія, любитъ разсуждать, но только въ извѣстныхъ предѣлахъ,
предписанныхъ ей основными понятіями, въ которыхъ путается раз-
судокъ. Вы можете сообщить калиновскимъ жителямъ нѣкоторыя
географическія знанія; но не касайтесь того, что земля на трехъ
китахъ стоитъ и что въ Іерусалимѣ есть пупъ земли — этого они
вамъ не уступятъ, хотя о пупѣ земли имѣютъ такое же ясное по-
нятіе, какъ о Литвѣ, въ «Грозѣ». — «Это братецъ ты мой, что та-
кое»? спрашиваетъ одинъ мирный гражданинъ у другого, показы-
вая на картину. — «А это литовское разореніе, отвѣчаетъ тотъ. —
Битва! видишь! Какъ наши съ Литвой бились». — «Что жъ это та-
кое Литва»? — «Такъ она Литва и есть», отвѣчаетъ объясняющій. —
«А говорятъ, братецъ ты мой, она на насъ съ неба упала», продол-
жаетъ первый; но собесѣднику его мало до того нужды; «ну съ неба,
такъ съ неба» отвѣчаетъ онъ... Тутъ женщина вмѣшивается въ
разговоръ: «толкуй еще! Всѣ знаютъ, что съ неба; и гдѣ былъ ка-
кой бой съ ней, тамъ для памяти курганы насыпаны». — «А что,
братецъ ты мой! Вѣдь это такъ точно!» восклицаетъ вопрошатель,
вполнѣ удовлетворенный. И послѣ этого спросите его, что онъ ду-
маетъ о Литвѣ! Подобный исходъ имѣютъ всѣ вопросы, задаваемые
здѣсь людямъ естественной любознательностью. И это вовсе не от-
того, чтобы люди эти были глупѣе, безтолковѣе многихъ другихъ,
которыхъ мы встрѣчаемъ въ академіяхъ и ученыхъ обществахъ.
Нѣтъ, все дѣло въ томъ, что они своимъ положеніемъ, своею жизнью
подъ гнетомъ произвола, всѣ приучены уже видѣть безотчетность и
безсмысленность, и потому находятъ неловкимъ и даже дерзкимъ
настойчиво доискиваться разумныхъ основаній въ чемъ бы то ни
было. Задать вопросъ, — на это ихъ еще станетъ; но если отвѣтъ
будетъ таковъ, что «пушка сама по себѣ, а мортира сама по себѣ»,
то они уже не смѣютъ пытаться дальше и смиренно довольствуются
даннымъ объясненіемъ. Секретъ подобнаго равнодушія къ логикѣ

заключается прежде всего въ отсутствіи всякой логичности въ жизненныхъ отношеніяхъ. Ключъ этой тайны даетъ намъ, на примѣръ, слѣдующая реплика Дикого, въ «Грозѣ». Кулигинъ, въ отвѣтъ на его грубости, говоритъ: «за что, сударь, Савель Прокофѣичъ, честнаго человѣка обижать изволите»? Дикой отвѣчаетъ вотъ что:

„Отчетъ. что ли, я стану тебѣ давать? Я и поважнѣе тебя никому отчета не даю. Хочу такъ думать о тебѣ, такъ и думаю! Для другихъ ты честный человѣкъ, а я думаю, что ты разбойникъ,—вотъ и все. Хотѣлось тебѣ это слышать отъ меня? Такъ вотъ слушай! Говорю, что разбойникъ, и конецъ! Что жъ ты судиться, что ли, со мной будешь? Такъ ты знай, что ты червякъ. Захочу—помилую, захочу — раздаваю“.

Какое теоретическое разсужденіе можетъ устоять тамъ, гдѣ жизнь основана на такихъ началахъ! Отсутствіе всякаго закона, всякой логики—вотъ законъ и логика этой жизни. Это не анархія, но нѣчто еще гораздо худшее (хотя воображеніе образованнаго европейца и не умѣетъ представить себѣ ничего хуже анархіи). Въ анархіи такъ ужъ и нѣтъ никакого начала: всякъ молодецъ на свой образецъ, никто никому не указъ, всякій на приказаніе другого можетъ отвѣчать, что я, молъ, тебя знать не хочу, и, такимъ образомъ, всѣ озорничаютъ и ни въ чемъ согласиться не могутъ. Положеніе общества, подверженнаго такой анархіи (если только она возможна), дѣйствительно ужасно. Но вообразите, что это самое анархическое общество раздѣлилось на двѣ части:—одна оставила за собою право озорничать и не знать никакого закона, а другая принуждена признавать закономъ всякую претензію первой и безропотно сносить всѣ ея капризы, всѣ безобразія... Не правда ли, что это было бы еще ужаснѣе? Анархія осталась бы та же, потому что въ обществѣ все-таки разумныхъ началъ не было бы, озорничества продолжались бы попрежнему; но половина людей принуждена была бы страдать отъ нихъ и постоянно питать ихъ собою, своимъ смиреніемъ и услужливостью. Ясно, что при такихъ условіяхъ озорничество и беззаконіе приняли бы такіе размѣры, какихъ никогда не могли бы они имѣть при всеобщей анархіи. Въ самомъ дѣлѣ, что ни говорите, а человѣкъ одинъ, предоставленный самому себѣ, не много надурить въ обществѣ и очень скоро почувствуетъ необходимость согласиться и сговориться съ другими въ видахъ общей пользы. Но никогда этой необходимости не почувствуетъ человѣкъ, если онъ во множествѣ подобныхъ себѣ находитъ обширное поле для упражненія своихъ капризовъ, и если въ ихъ зависимомъ, униженномъ положеніи видитъ постоянное подкрѣпленіе своего самодурства. Такимъ образомъ, имѣя общимъ съ анархіею отсутствіе всякаго закона и права, обязательнаго для всѣхъ, самодурство въ сущности несравненно ужаснѣе анархіи, потому что даетъ озорничеству больше средствъ и простора и заставляетъ страдать большее число людей,—и опаснѣе ея еще въ томъ отношеніи, что можетъ держаться гораздо дольше.

Анархія (повторимъ, если только она возможна вообще) можетъ служить только переходнымъ моментомъ, который самъ себя съ каждымъ шагомъ долженъ образумливать и приводить къ чему-нибудь болѣе здравому; самодурство, напротивъ, стремится узаконить себя и установить, какъ незыблемую систему. Оттого оно, вмѣстѣ съ такимъ широкимъ понятіемъ о своей собственной свободѣ, старается, однако же, принять всѣ возможные мѣры, чтобы оставить эту свободу навсегда только за собой, чтобы оградить себя отъ всякихъ дерзкихъ попытокъ. Для достиженія этой цѣли оно признаетъ какъ будто нѣкоторыя высшія требованія, и хотя само противъ нихъ тоже проступается, но предъ другими стоитъ за нихъ твердо. Нѣсколько минутъ спустя послѣ реплики, въ которой Дикой такъ рѣшительно отвергалъ, въ пользу собственнаго каприза, всѣ нравственные и логическія основанія для сужденія о человѣкѣ,—этотъ же самый Дикой напускается на Кулигина, когда тотъ для объясненія грозы выговорилъ слово электричество. «Ну, какъ же ты не разбойникъ,—кричитъ онъ: — гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобъ мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, оборониться. Что ты, татаринъ, что ли? Татаринъ ты? А, говори: татаринъ»? И ужъ тутъ Кулигинъ не смѣетъ отвѣтить ему: «хочу такъ думать и думаю, и никто мнѣ не указъ». Куда тебѣ,—онъ и объясненій-то своихъ представить не можетъ: принимаютъ съ ругательствами, да и говорить-то не даютъ. Поневолѣ тутъ резонировать перестанешь, когда на всякій резонъ кулакъ отвѣчаетъ, и всегда въ концѣ концовъ кулакъ остается правымъ...

Но — чудное дѣло!—въ своемъ непререкаемомъ, безотвѣтственномъ темномъ владычествѣ, давая полную свободу своимъ прихотямъ, ставя ни во что всякіе законы и логику, самодуры русской жизни начинаютъ, однако же, ощущать какое-то недовольство и страхъ, сами не зная передъ чѣмъ и почему. Все, кажется, попрежнему, все хорошо: Дикой ругаетъ, кого хочетъ; когда ему говорятъ: «какъ это на тебя никто въ цѣломъ домѣ угодить не можетъ!»—онъ самодовольно отвѣчаетъ: «вотъ поди жъ ты!» Кабанова держитъ попрежнему въ страхѣ своихъ дѣтей, заставляетъ невѣстку соблюдать всѣ этикетны старины, ѣстъ ее какъ ржа желѣзо, считаетъ себя вполне непогрѣшимой и убажается разными Оеклушами. А все какъ-то неспокойно, нехорошо имъ. Помимо ихъ, не спросясь ихъ, выросла другая жизнь, съ другими началами, и хоть далеко она, еще и не видна хорошенько, но уже даетъ себя предчувствовать и посылаетъ нехорошія видѣнія темному произволу самодуровъ. Они ожесточенно ищутъ своего врага, готовы напуститься на самаго невиннаго, на какогонибудь Кулигина; но нѣтъ ни врага, ни виновнаго, котораго могли бы они уничтожить: законъ времени, законъ природы и исторіи беретъ свое, и тяжело дышатъ старые Кабановы, чувствуя, что есть сила выше ихъ, которой они одолѣть не могутъ, къ которой даже и подступить не знаютъ какъ. Они не хотятъ уступать (да никто покамѣстъ и не требуетъ отъ нихъ уступокъ), но съеживаются,

сокращаются; прежде они хотѣли утвердить свою систему жизни на вѣки нерушимую, и теперь тоже стараются проповѣдывать; но уже надежда измѣняетъ имъ, и они въ сущности хлопчуть только о томъ, какъ бы на ихъ вѣкъ стало... Кабанова разсуждаетъ о томъ, что «послѣднія времена приходятъ», и когда Оеклуша рассказываетъ ей о разныхъ ужасахъ настоящаго времени — о желѣзныхъ дорогахъ, и т. п.,—она пророчески замѣчаетъ: «и хуже, милая, будетъ».—Намъ бы только не дожить до этого, со вздохомъ отвѣчаетъ Оеклуша.—«Можетъ и доживемъ», фаталистически говоритъ опять Кабанова, обнаруживая свои сомнѣнія и неувѣренность. А отчего она тревожится? Народъ по желѣзнымъ дорогамъ ѣздитъ,—да ей-то что отъ этого? А вотъ видите ли: она, «хоть ты ее всю золотомъ осыпь», не поѣдетъ по дьявольскому изобрѣтенію; а народъ ѣздитъ, все больше и больше, не обращая вниманія на ея проклятія; развѣ это не грустно, развѣ не служить свидѣтельствомъ ея безсилія? Объ электричествѣ провѣдали люди, — кажется, что тутъ обиднаго для Дикіхъ и Кабановыхъ? Но видите ли, Дикой говоритъ, что «гроза въ наказанье намъ посылается, чтобъ мы чувствовали», а Кулигинъ не чувствуетъ, или чувствуетъ совсѣмъ не то, и толкуетъ объ электричествѣ. Развѣ это не своеволие, не пренебреженіе власти и значенія Дикого? Не хотятъ вѣрить тому, чему онъ вѣритъ,—значитъ, и ему не вѣрятъ, считаютъ себя умнѣе его; разсудите, къ чему же это поведетъ? Не даромъ Кабанова замѣчаетъ о Кулигинѣ: «вотъ времена-то пришли, какіе учителя проявились! Коли старикъ такъ разсуждаетъ, чего ужъ отъ молодыхъ-то требовать!» и Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старыхъ порядковъ, съ которыми она вѣкъ изжила. Она предвидитъ конецъ ихъ, старается поддержать ихъ значеніе, но уже чувствуетъ, что нѣтъ къ нимъ прежняго почтенія, что ихъ сохраняютъ уже неохотно, только поневолѣ, и что при первой возможности ихъ бросятъ. Она уже и сама какъ-то потеряла часть своего рыцарскаго жара; уже не съ прежней энергіей заботится она о соблюденіи старыхъ обычаевъ, во многихъ случаяхъ она ужъ махнула рукой, поникла предъ невозможностью остановить потокъ, и только съ отчаяніемъ смотритъ, какъ онъ затопляетъ мало-по-малу пестрые цвѣтники ея прихотливыхъ суевѣрій. Точно послѣдніе язычники предъ силою христіанства, такъ понижаютъ и стираются порожденія самодуровъ, застигнутыя ходомъ новой жизни. Даже рѣшимости вступить на прямую открытую борьбу въ нихъ нѣтъ; они только стараются какъ-нибудь обмануть время, да разливаются въ безплодныхъ жалобахъ на новое движеніе. Жалобы эти всегда слышались отъ стариковъ, потому что всегда новыя поколѣнія вносили въ жизнь что-нибудь новое, противное прежнимъ порядкамъ; но теперь жалобы самодуровъ принимаютъ какой-то особенно мрачный, похоронный тонъ. Кабанова только тѣмъ и утѣшается, что еще какъ-нибудь, съ ея помощью, пролипятъ старые порядки до ея смерти; а тамъ пусть будетъ, что угодно,—она ужъ не увидитъ. Провожая сына въ дорогу, она замѣчаетъ, что

все дѣлается не такъ, какъ нужно по ея: сынъ ей и въ ноги не кланяется,—надо этого именно потребовать отъ него, а самъ не догадался; и женѣ своей онъ не «приказываетъ», какъ жить безъ него, да и не умѣетъ приказать, и при прощаньи не требуетъ отъ нея земного поклона; и невѣстка, проводивши мужа, не воеетъ и не лежитъ на крыльцѣ, чтобы показать свою любовь. По возможности, Кабанова старается водворить порядокъ, но уже чувствуетъ, что невозможно вести дѣло совершенно по-старинѣ; наприимѣръ, относительно вытья на крыльцѣ она уже только замѣчаетъ невѣсткѣ въ видѣ совѣта, но не рѣшается настоятельно требовать... За то проводы сына внушаютъ ей такія грустные размышленія:

„Молодость-то что значить! Смѣшно смотрѣть-то даже на нихъ! Кабы не свои, насмѣялась бы досыта. Ничего-то не знаютъ, никакого порядка. Проститься-то путемъ не умѣютъ. Хорошо еще, у кого въ домѣ старшіе есть, — ими домъ-то и держится, пока живы. А вѣдь тоже, мутые, на свою волю хотятъ: а выйдутъ на волю-то, такъ и путаются на позоръ, на смѣхъ добрымъ людямъ. Конечно, кто и пожалѣетъ, а больше все смѣются. Да не смѣяться-то нельзя: гостей позовутъ—посадить не умѣютъ, да еще, гляди, позабудутъ кого изъ родныхъ. Смѣхъ да и только! Такъ-то вотъ старина-то и выводится. Въ другой домъ и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, такъ плюнешь, да вонъ скорѣе. Что будетъ, какъ старики-то перемрутъ, какъ будетъ свѣтъ стоять, ужъ я и не знаю. Ну, да ужъ хоть то хорошо, что не увижу ничего“.

Пока старики перемрутъ, до тѣхъ поръ молодые успѣютъ состарѣться,—на этотъ счетъ старуха могла бы и не беспокоиться. Но ей, видите ли, важно не то собственно, чтобы всегда было кому смотрѣть за порядкомъ и научать неопытныхъ; ей нужно, чтобы всегда нерушимо сохранялись именно тѣ порядки, остались неприкосновенными именно тѣ понятія, которыя она признаетъ хорошими. Въ узости и грубости своего эгоизма, она не можетъ возвыситься даже до того, чтобы помириться на торжествѣ принципа, хотя бы и съ пожертвованіемъ существующихъ формъ; да и нельзя отъ нея ожидать этого, такъ какъ у нея собственно нѣтъ никакого принципа, нѣтъ никакого общаго убѣжденія, которое бы управляло ея жизнью. Она въ этомъ случаѣ гораздо ниже того сорта людей, которыхъ принято называть просвѣщенными консерваторами. Тѣ расширили нѣсколько свой эгоизмъ, сливши съ нимъ требованіе порядка общаго, такъ что для сохраненія порядка они способны даже жертвовать нѣкоторыми личными вкусами и выгодами. На мѣстѣ Кабановой они бы, наприимѣръ, не стали предъявлять уродливыхъ и унижительныхъ требованій земныхъ поклоновъ и оскорбительныхъ «наказовъ» отъ мужа женѣ, а озаботились бы только о сохраненіи общей идеи—что жена должна бояться своего мужа и покорствовать свекрови. Невѣстка не испытывала бы такихъ тяжелыхъ сценъ. Хотя и была бы точно такъ же въ полной зависимости отъ старухи. И результатъ былъ бы тотъ, что какъ бы ни плохо было молодой

женщинѣ, но терпѣніе ея продолжалось бы несравненно дольше, будучи испытываемо медленнымъ и ровнымъ гнетомъ, нежели когда оно раздражалось рѣзкими и жестокими выходками. Отсюда ясно, разумѣется, что для самой Кабановой и для той старины, которую она защищаетъ, гораздо выгоднѣе было бы отказаться отъ нѣкоторыхъ пустыхъ формъ и сдѣлать частныя уступки, чтобы удержать сущность дѣла. Но порода Кабановыхъ не понимаетъ этого: они не дошли даже до того, чтобы представлять или защищать какой-нибудь принципъ внѣ себя,—они сами принципъ, и потому все, касающееся ихъ, они признаютъ абсолютно важнымъ. Имъ нужно не только, чтобы ихъ уважали, но чтобы уваженіе это выражалось именно въ извѣстныхъ формахъ: вотъ еще на какой степени стоятъ они! Оттого, разумѣется, внѣшній видъ всего, на что простирается ихъ вліяніе, болѣе сохраняетъ въ себѣ старины и кажется болѣе неподвижнымъ, чѣмъ тамъ, гдѣ люди, отказавшись отъ самодурства, стараются уже только о сохраненіи сущности своихъ интересовъ и значенія; но въ самомъ то дѣлѣ внутреннее значеніе самодуровъ гораздо ближе къ своему концу, нежели вліяніе людей, умѣющихъ поддерживать себя и свой принципъ внѣшними уступками. Оттого-то такъ и печальна Кабанова, оттого-то такъ и бѣшенъ Дикой: они до послѣдняго момента не хотѣли укоротить своихъ широкихъ замашекъ и теперь находятся въ положеніи богатаго купца наканунѣ банкротства. Все у него по прежнему, и праздникъ онъ задаетъ сегодня, и миллионный оборотъ порѣшилъ поутру, и кредитъ еще не подорванъ; но уже ходятъ какіе то темные слухи, что у него нѣтъ наличнаго капитала, что его аферы ненадежны, и завтра нѣсколько кредиторовъ намѣрены предъявить свои требованія; денегъ нѣтъ, отсрочки не будетъ, и все зданіе шарлатанскаго призрака богатства будетъ завтра опрокинуто. — Дѣло плохо... Разумѣется, въ подобныхъ случаяхъ, купецъ устремляетъ всю свою заботу на то, чтобы надуть своихъ кредиторовъ и заставить ихъ вѣрить въ его богатство: такъ точно Кабановы и Дикіе хлопочутъ теперь о томъ, чтобы только продолжилась вѣра въ ихъ силу. Поправить свои дѣла они ужъ и не рассчитываютъ; но они знаютъ, что ихъ своевольство еще будетъ имѣть довольно простора до тѣхъ поръ, пока всѣ будутъ робѣть передъ ними; и вотъ почему они такъ упорны, такъ высокомерны, такъ грозны даже въ послѣднія минуты, которыхъ уже немного осталось имъ, какъ они сами чувствуютъ. Чѣмъ менѣе чувствуютъ они дѣйствительной силы, тѣмъ сильнѣе поражаетъ ихъ вліяніе свободнаго, здраваго смысла, доказывающее имъ, что они лишены всякой разумной опоры, тѣмъ наглѣе и безумнѣе отрицаютъ они всякія требованія разума, ставя себя и свой произволъ на ихъ мѣсто. Наивность, съ которой Дикой говоритъ Кулигину: «хочу считать тебя мошенникомъ, такъ и считаю; и дѣла мнѣ нѣтъ до того, что ты честный человѣкъ, и отчета никому не даю, почему такъ думаю»,—эта наивность не могла бы высказаться во всей своей самодурной нелѣпости, если бы Кулигинъ

не вызвалъ ее скромнымъ запросомъ: «да за что же вы обижаете честнаго человѣка»?... Дикой хочетъ, видите, съ перваго же раза оборвать всякую попытку требовать отъ него отчета, хочетъ показать, что онъ выше не только отчетности, но и обыкновенной логики человѣческой. Ему кажется, что если онъ признаетъ надъ собою законы здраваго смысла, общаго всѣмъ людямъ, то его важность сильно пострадаетъ отъ этого. И вѣдь въ большей части случаевъ такъ дѣйствительно и выходитъ,—потому что его претензіи бываютъ противны здравому смыслу. Отсюда и развивается въ немъ вѣчное недовольство и раздражительность. Онъ самъ объясняетъ свое положеніе, когда говоритъ о томъ, какъ ему тяжело деньги выдавать. «Что ты мнѣ прикажешь дѣлать, когда у меня сердце такое! Вѣдь ужъ знаю, что надо отдать, а все добромъ не могу. Другъ ты мнѣ, и я тебѣ долженъ отдать, а приди ты у меня просить — обругаю. Я отдать—отдамъ, а обругаю. Потому только заикнись мнѣ о деньгахъ, у меня всю внутреннюю разжигать станетъ; всю внутреннюю разжигаетъ, да и только... Ну, и въ тѣ поры ни за что обругаю человѣка». Отдача денегъ, какъ фактъ матеріальный и наглядный, даже въ сознаніи самого Дикого пробуждаетъ нѣкоторое размышленіе: онъ сознаетъ, какъ онъ нелѣпъ, и сваливаетъ вину на то, «что сердце у него такое»! Въ другихъ случаяхъ онъ даже и не сознаетъ хорошенько своей нелѣпости; но, по сущности своего характера, непремѣнно долженъ при всякомъ торжествѣ здраваго смысла чувствовать такое же раздраженіе, какъ и тогда, когда приходитъ необходимость выдавать деньги. Ему тяжело расплачиваться вотъ почему: по естественному эгоизму онъ желаетъ, чтобы ему было хорошо; все окружающее его убѣждаетъ, что это хорошее достается деньгами; отсюда прямая привязанность къ деньгамъ. Но тутъ его развитіе останавливается, эгоизмъ его остается въ предѣлахъ отдѣльной личности и знать не хочетъ ея отношеній къ обществу, къ своимъ ближнимъ. Ему надо побольше денегъ,—это онъ знаетъ, и потому желалъ бы ихъ только получать, а не отдавать. Когда же, по естественному ходу дѣлъ, доходитъ до отдачи, то онъ сердится и ругается: онъ принимаетъ это какъ несчастіе, наказаніе, въ родѣ пожара, наводненія, штрафа, а не какъ должную, законную расплату за то, что для него дѣлаютъ другіе. Такъ и во всемъ: по желанію себѣ добра, онъ хочетъ простора, независимости; но знать не хочетъ закона, опредѣляющаго пріобрѣтеніе и пользованіе всякими правами въ обществѣ. Онъ только хочетъ больше, какъ можно больше правъ для себя; когда же нужно признать ихъ за другими, онъ считаетъ это посягательствомъ на его личное достоинство, и сердится, и старается всячески оттянуть дѣло и воспрепятствовать ему. Даже когда онъ и знаетъ, что ужъ непремѣнно надо уступить, и уступить потомъ, а все-таки прежде постарается напакостить. «Я отдать — отдамъ, а обругаю»! И надо полагать, что чѣмъ значительнѣе выдача денегъ и чѣмъ настоятельнѣе необходимость ея, тѣмъ сильнѣе ругается Дикой... Изъ этого слѣдуетъ,—что, во-пер-

выхъ, ругательство и все бѣшенство его, хотя и непріятны, но не особенно страшны; и кто, убоявшись ихъ, отступился бы отъ денегъ и подумалъ, что ихъ ужъ и получить нельзя, тотъ поступилъ бы очень глупо; во-вторыхъ, что напрасно было бы надѣяться на исправленіе Дикого посредствомъ какихъ-нибудь вразумленій: привычка дурить ужъ въ немъ такъ сильна, что онъ подчиняется ей даже вопреки голосу собственнаго здраваго смысла. Ясно, что его никакія разумныя убѣжденія не остановятъ до тѣхъ поръ, пока съ ними ни соединяется осязательная для него, внѣшняя сила: Кулигина онъ ругаетъ, не внимая никакимъ резонамъ; а когда его самого однажды на перевозѣ, на Волгѣ, гусарь обругалъ, такъ онъ съ гусаромъ не посмѣлъ связаться, а опять-таки выместилъ свою обиду дома: двѣ недѣли послѣ этого всѣ прятались отъ него по чердакамъ да по чуланамъ...

Всѣ подобныя отношенія даютъ вамъ чувствовать, что положеніе Дикихъ, Кабановыхъ и всѣхъ подобныхъ имъ самодуровъ далеко уже не такъ спокойно и твердо, какъ было нѣкогда, въ блаженные времена патріархальныхъ нравовъ. Тогда, если вѣрить сказаніямъ старыхъ людей, Дикой могъ держаться въ своей высокомерной прихотливости, не силою, а всеобщимъ согласіемъ. Онъ дурилъ, не думая встрѣтить противодѣйствія, и не встрѣчалъ его: все окружающее было проникнуто одной мыслью, однимъ желаніемъ — угодить ему; никто не представлялъ другой цѣли своего существованія, кромѣ исполненія его прихотей. Чѣмъ больше сумасбродствовалъ какой-нибудь дармоѣдъ, чѣмъ наглѣе попиралъ онъ права человѣчества, тѣмъ довольнѣе были тѣ, которые своимъ трудомъ кормили его и которыхъ онъ дѣлалъ жертвами своихъ фантазій. Благоговѣйные рассказы старыхъ лакеевъ о томъ, какъ ихъ вельможные бары травили мелкихъ помѣщиковъ, надругались надъ чужими женами и невинными дѣвушками, сѣкли на конюшнѣ присланныхъ къ нимъ чиновниковъ, и т. п., — рассказы военныхъ историковъ о величіи какого-нибудь Наполеона, безстрашно жертвовавшего сотнями тысячъ людей для забавы своего генія, воспоминанія галантныхъ стариковъ о какомъ-нибудь Донъ-Жуанѣ ихъ времени, который «никому спуску не давалъ» и умѣлъ опозорить всякую дѣвушку и перессорить всякое семейство, — всѣ подобныя рассказы доказываютъ, что еще и не очень далеко отъ насъ это патріархальное время. Но, къ великому огорченію самодурныхъ дармоѣдовъ, — оно быстро отъ насъ удаляется, и теперь положеніе Дикихъ и Кабановыхъ далеко не такъ пріятно: они должны заботиться о томъ, чтобы укрѣпить и оградить себя, потому что отовсюду возникаютъ требованія, враждебныя ихъ произволу и грозящія имъ борьбою съ пробуждающимся здравымъ смысломъ огромнаго большинства человѣчества. — Отсюда возникаетъ постоянная подозрительность, щепетильность и придиристичность самодуровъ: сознавая внутренно, что ихъ не за что уважать, но не признаваясь въ этомъ даже самимъ себѣ, они обнаруживаютъ недостатокъ увѣренности въ себѣ мелочностью своихъ требованій и

постоянными, кстати и некстати, напоминаніями и внушеніями о томъ, что ихъ должно уважать. Эта черта чрезвычайно выразительно проявляется въ «Грозѣ», въ сценѣ Кабановой съ дѣтьми, когда она, въ отвѣтъ на покорное замѣчаніе сына: «могу ли я, маменька, васъ послушаться» возражаетъ: «не очень-то нынче старшихъ-то уважаютъ!» — и затѣмъ начинаетъ пилить сына и неvěстку, такъ что душу вытягиваетъ у посторонняго зрителя.

„КАВАНОВЪ. Я, кажется, маменька, изъ вашей воли ни на шагъ.

„КАБАНОВА. Повѣрила бы я тебѣ, мой другъ, кабы своими глазами не видала, да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтеніе родителямъ отъ дѣтей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болѣзней отъ дѣтей переносятъ.

„КАВАНОВЪ. Я, маменька...

„КАБАНОВА. Если родительница что когда и обидное, по вашей гордости, скажетъ, такъ, я думаю, можно бы перенести!—А,—какъ ты думаешь?

КАВАНОВЪ. Да когда же я, маменька, не переносилъ отъ васъ?

„КАБАНОВА. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны съ насъ, дураковъ, и взыскивать.

„КАВАНОВЪ (вздыхая,—въ сторону). Ахъ ты Господи! (матери). Да смѣемъ ли мы, маменька, подумать!

„КАБАНОВА. Вѣдь отъ любви родители и строги-то къ вамъ бываютъ, отъ любви васъ и бранятъ-то, все думаютъ добру научить. Ну, а это нынче не правится. И пойдутъ дѣтки-то по людямъ славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даетъ, со свѣту сживетъ... А, сохрани Господи, какимъ-нибудь словомъ снохѣ не угодить, — ну, и пошелъ разговоръ, что свекровь заѣла совсѣмъ.

КАВАНОВЪ. Нешто, маменька, кто говоритъ про васъ?

КАБАНОВА. *Не слыхала, мой другъ, не слыхала, мать не хочу. Ужъ кабы я слышала, я бы съ тобой, мой милый, тогда не такъ заговорила“.*

И послѣ этого сознанія, старуха все-таки продолжаетъ на цѣлыхъ двухъ страницахъ пилить сына. Она не имѣетъ на это никакихъ резоновъ, но у ней сердце неспокойно: сердце у нея вѣщунъ, оно даетъ ей чувствовать, что что-то неладно, что внутренняя, живая связь между нею и младшими членами семьи давно рушилась, и теперь они только механически связаны съ нею и рады были бы всякому случаю развязаться.

Мы очень долго останавливались на господствующихъ лицахъ «Грозы», потому что, по нашему мнѣнію, исторія, разыгравшаяся съ Катериною, рѣшительно зависитъ отъ того положенія, какое неизбежно выпадаетъ на ея долю между этими лицами, въ томъ бытѣ, который установился подъ ихъ вліяніемъ. «Гроза» есть, безъ сомнѣнія, самое рѣшительное произведеніе Островскаго; взаимныя отношенія самодурства и безгласности доведены въ ней до самыхъ трагическихъ послѣдствій; и при всемъ томъ большая часть читавшихъ и видѣвшихъ эту пьесу соглашается, что она производитъ впечатлѣніе менѣе тяжелое и грустное, нежели другія пьесы Остров-

скаго (не говоря, разумѣется, объ его этюдахъ чисто-комическаго характера). Въ «Грозѣ» есть даже что-то освѣжающее и ободряющее. Это «что-то» и есть, по нашему мнѣнію, фонъ пьесы, указанный нами и обнаруживающій шаткость и близкій конецъ самодурства. Затѣмъ, самый характеръ Катерины, рисующійся на этомъ фонѣ, тоже вѣетъ на насъ новою жизнью, которая открывается намъ въ самой ея гибели.

Дѣло въ томъ, что характеръ Катерины, какъ онъ исполненъ въ «Грозѣ», составляетъ шагъ впередъ, не только въ драматической дѣятельности Островскаго, но и во всей нашей литературѣ. Оно соотвѣтствуетъ новой фазѣ нашей народной жизни, онъ давно требовалъ своего осуществленія въ литературѣ, около него вертѣлись наши лучшіе писатели; но они умѣли только понять его надобность и не могли уразумѣть и почувствовать его сущности: это сумѣлъ сдѣлать Островскій. Ни одна изъ критикъ на «Грозу» не хотѣла, или не умѣла, представить надлежащей оцѣнки этого характера: по-этому мы рѣшаемся еще продлить нашу статью, чтобы съ нѣкоторой обстоятельностью изложить, какъ мы понимаемъ характеръ Катерины и почему созданіе его считаемъ такъ важнымъ для нашей литературы.

Русская жизнь дошла, наконецъ, до того, что добродѣтельныя и почтенныя, но слабыя и безличныя существа не удовлетворяютъ общественнаго сознанія и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность въ людяхъ, хотя бы и менѣе прекрасныхъ, но болѣе дѣятельныхъ и энергичныхъ. Иначе и невозможно: какъ скоро сознаніе правды и права, здравый смыслъ проснулись въ людяхъ, они непременно требуютъ не только отвлеченнаго съ ними согласія (которымъ такъ блистали всегда добродѣтельные герои прежняго времени), но и внесенія ихъ въ жизнь и въ дѣятельность. Но чтобы внести ихъ въ жизнь, надо побороть много препятствій, подставляемыхъ Дикими, Кабановыми, и т. п.; для преодоленія препятствій нужны характеры предприимчивые, рѣшительные, настойчивые. Нужно, чтобы въ нихъ воплотилось, съ ними слилось то общее требованіе правды и права, которое, наконецъ, прорывается въ людяхъ сквозь всѣ преграды, поставленныя Дикими-самодурами. Теперь большая задача представлялась въ томъ, какъ же долженъ образоваться и проявиться характеръ, требуемый у насъ новымъ поворотомъ общественной жизни. Задачу эту пытались разрѣшать наши писатели, но всегда болѣе или менѣе неудачно. Намъ кажется, что всѣ ихъ неудачи происходили оттого, что они просто логическимъ процессомъ доходили до убѣжденія, что такого характера ищетъ русская жизнь, и затѣмъ кроили его сообразно съ своими понятіями о требованіяхъ доблести вообще и русской въ особенности. Такимъ образомъ и явился, напримѣръ, Калиновичъ, чуть не таскающій купца за бороду, чтобъ тотъ пожертвовалъ десять тысячъ на пользу общества, и истязавшій въ тюрьмѣ стараго князя, на любовницѣ котораго женился, чтобъ составить себѣ карьеру.

Такъ явился и Штольцъ, отлично управляющій имѣніями и умѣющій живо уничтожать фальшивые векселя, при помощи благотѣльнаго начальства. Явился Инсаровъ, бросающій нѣмца въ воду, не соглашающійся жить даромъ, въ гостяхъ на дачѣ у пріятеля, и даже рѣшающійся жениться на любимой дѣвушкѣ!! Явилась и княжна Зинаида, нѣчто среднее между Печоринымъ и Ноздревымъ въ юбкѣ... Все это были претензіи на сильные, цѣльные характеры. Но верхъ ихъ представлялъ въ прошломъ году Ананій Яковлевъ, по поводу котораго московскій господинъ Аполлонъ Майковъ напечаталъ такую удивительную статейку въ «Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ», что я не постигаю, какъ Кузьма Прутковъ до сихъ поръ не составилъ изъ нея новой серіи афоризмовъ. Вамъ извѣстно, можетъ быть, что Ананій Яковлевъ, извѣстясь о младенцѣ, котораго въ его отсутствіи прижила жена его съ помѣщикомъ, воспаляется гнѣвомъ и, весьма почтительно объясняясь съ помѣщикомъ, грубитъ, однакоже, бурмистру, колотитъ свою жену и, наконецъ, разъярившись до нельзя, хватается младенца объ уголь головой, послѣ чего бѣжитъ въ лѣсъ, но, проголодавшись, предаетъ себя въ руки правосудія. Лицо, очевидно, сильное, хотя болѣе въ физическомъ, нежели въ нравственномъ и литературномъ смыслѣ. Но не эта сила рвется наружу изъ тайниковъ русской жизни, и не таково должно быть ея проявленіе. Оттого-то мы вовсе не понимаемъ, какимъ образомъ можно «Горькую судьбину» возвышать надъ уровнемъ безчисленнаго множества повѣстей, комедій и драмъ, обличающихъ крѣпостное право, тупость чиновничества и грубость русскаго мужика. Если вы даете ее намъ, какъ пьесу безъ особенныхъ претензій, просто мелодраматическій случай, въ родѣ жестокихъ произведеній Сю, то мы ничего не говоримъ и останемся даже довольны: все-таки это лучше, нежели, напр., умильные представленія г. Н. Львова и графа Соллогуба, поражающія васъ полнымъ искаженіемъ понятій о долгѣ и чести. Но если вы претендуете на какое-то болѣе высокое и общее значеніе этой пьесы, то мы рѣшительно не видимъ никакой возможности согласиться съ вами. Ананій Яковлевъ, взятый не какъ малодушное исключеніе, а какъ типъ, представляется намъ клеветою на русскую натуру и русскую жизнь, которая такъ же мало способна развивать характеры, подобные Ананію, какъ и помѣщиковъ, подобныхъ Чеглову. Одно изъ двухъ: если Ананій точно сильная натура, какъ его и хочетъ представить авторъ,—тогда онъ гнѣвъ свой долженъ обратить прямо на причину своего несчастія, либо совсѣмъ преодолѣть себя по соображенію, что тутъ никто не виноватъ; такія развязки постоянно мы и видимъ въ русской жизни. когда сильные характеры сталкиваются съ враждебными обстоятельствами. Если же онъ просто малодушный и безтолковый озорникъ, какъ выходитъ по сущности дѣла, то нужно признаться, что положеніе, взятое для него въ пьесѣ, вовсе нейдетъ къ этому типу, да и развито совсѣмъ не такъ, чтобы ярко обозначить его существенныя черты. Впрочемъ,—Богъ съ ней, съ этою пьесой: она уже за-

быта теперь, какъ забыть князь Луповицкій и другія благонамѣренныя, но фальшивыя произведенія, имѣвшія претензію на представленіе характеристическихъ народныхъ типовъ. Мы остановились на минуту передъ нею потому только, что многіе принимали Ананія за чисто-русскій типъ. А намъ, напротивъ, показалось, что въ немъ просто дается намъ утрировка того, что у нѣкоторыхъ писателей называется «широкою русской натуры». Авторъ «Горькой судьбины», по нашему мнѣнію, ненамѣренно достигаетъ результата, подобнаго тому, какой достигался комедіями, писанными по повелѣнію Петра Великаго противъ раскольниковъ. Извѣстно, что въ тѣхъ комедіяхъ раскольникъ всегда выставлялся какимъ-то дикимъ и безсмысленнымъ чудовищемъ, и, такимъ образомъ, комедія говорила: «смотрите, вотъ они каковы; можно ли довѣряться ихъ ученію и соглашаться на ихъ требованія»? Такъ точно и «Горькая судьбина», рисуя намъ Ананія Яковлева, говоритъ: «вотъ каковъ русскій человѣкъ, когда онъ почувствуетъ немножко свое личное достоинство и, вслѣдствіе того, расходится!» И критики, признающіе за «Горькой судьбиной» общее значеніе и видящіе въ Ананіи типъ, дѣлаются соучастниками этой клеветы, конечно, ненамѣренной со стороны автора.

Не такъ понять и выраженъ русскій сильный характеръ въ «Грозѣ». Онъ прежде всего поражаетъ насъ своею противоположностью всякимъ самодурнымъ началамъ. Не съ инстинктомъ буйства и разрушенія, но и не съ практической ловкостью—улаживать для высокихъ цѣлей свои собственные дѣлишки—не съ безсмысленнымъ, трескучимъ пафосомъ, но и не съ дипломатическимъ, педаантскимъ расчетомъ является онъ передъ нами. Нѣтъ, онъ сосредоточенно-рѣшителенъ, неуклонно вѣренъ чутью естественной правды, исполненъ вѣры въ новые идеалы и самоотверженъ, въ томъ смыслѣ, что ему лучше гибель, нежели жизнь при тѣхъ началахъ, которыя ему противны. Онъ водится не отвлеченными принципами, не практическими соображеніями, не мгновеннымъ пафосомъ, а просто *натурою*, всѣмъ существомъ своимъ. Въ этой цѣльности и гармоніи характера заключается его сила и существенная необходимость его въ то время, когда старыя, дикія отношенія, потерявъ всякую внутреннюю силу, продолжаютъ держаться внѣшнею механическою связью. Человѣкъ, только логически понимающій нелѣпость самодурства Дикихъ и Кабановыхъ, ничего не сдѣлаетъ противъ нихъ уже потому, что предъ ними всякая логика исчезаетъ; никакими силлогизмами вы не убѣдите цѣпь, чтобы она распалась на узникъ, кулакъ, чтобы отъ него не было больно прибитому; такъ не убѣдите вы и Дикого поступать разумнѣе, да не убѣдите и его домашнихъ—не слушать его прихотей: приколотить онъ ихъ всѣхъ, да и только, что съ этимъ дѣлать будешь? Очевидно, что характеры, сильные одной логической стороною, должны развиваться очень убого и имѣть весьма слабое вліяніе на общую дѣятельность тамъ, гдѣ всею жизнью управляетъ не логика, а чистѣйшій произволъ. Не очень благопріятно господство Дикихъ и для развитія людей, сильныхъ такъ-

называемымъ практическимъ смысломъ. Что ни говорите объ этомъ смыслѣ, но въ сущности онъ есть не что иное, какъ умѣнье пользоваться обстоятельствами и располагать ихъ въ свою пользу. Значитъ, практическій смыслъ можетъ вести человѣка къ прямой и честной дѣятельности только тогда, когда обстоятельства располагаются сообразно съ здравой логикой и, слѣдовательно, съ естественными требованіями человѣческой нравственности. Но тамъ, гдѣ все зависитъ отъ грубой силы, гдѣ неразумная прихоть нѣсколькихъ Дикихъ или суевѣрное упрямство какой-нибудь Кабановой разрушаетъ самые вѣрные логическіе расчеты и нагло презираетъ самыя первыя основанія взаимныхъ правъ, тамъ умѣнье пользоваться обстоятельствами, очевидно, превращается въ умѣнье примѣняться къ прихотямъ самодуровъ и поддѣлываться подъ всѣ ихъ нелѣпости, чтобы и себѣ проложить дорожку къ ихъ выгодному положенію. Подхалюзины и Чичиковы — вотъ сильныя практическіе характеры «темнаго царства»: другихъ не развивается между людьми чисто-практическаго закала, подъ вліяніемъ господства Дикихъ. Самое лучшее, о чемъ можно мечтать для этихъ практиковъ, это уподобленіе Штольцу, т. е. умѣнье обдѣлывать кругленько свои дѣлишки безъ подлостей; но общественный живой дѣятель изъ нихъ не явится. Не больше надеждъ можно полагать и на характеры патетическіе, живущіе минутою и вспышкою. Ихъ порывы случайны и кратковременны; ихъ практическое значеніе опредѣляется удачей. Пока все идетъ согласно ихъ надеждамъ, они бодры, предприимчивы; какъ скоро противодѣйствіе сильно, они падаютъ духомъ, охлаждаютъ, отступаются отъ дѣла и ограничиваются безплодными, хотя и громкими, восклицаніями. И такъ какъ Дикой и ему подобные вовсе неспособны отдать свое значеніе и свою силу безъ сопротивленія, такъ какъ ихъ вліяніе врѣзало уже глубокіе слѣды въ самомъ бытѣ и потому не можетъ быть уничтожено однимъ разомъ, то на патетическіе характеры нечего и смотрѣть, какъ на что-нибудь серьезное. Даже при самыхъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, когда бы видимый успѣхъ ободрялъ ихъ, т. е. когда бы самодуры могли понять шаткость своего положенія и стали дѣлать уступки, — и тогда патетическіе люди не очень много бы сдѣлали! Они отличаются тѣмъ, что, увлекаясь внѣшнимъ видомъ и ближайшими послѣдствіями дѣла, никогда почти не умѣютъ заглянуть въ глубину, въ самую сущность дѣла. Оттого они очень легко удовлетворяются, обманутые какими-нибудь частными, ничтожными признаками успѣха ихъ началъ. Когда же ошибка ихъ станетъ ясною для нихъ самихъ, тогда они дѣлаются разочарованными, впадаютъ въ апатію и ничего-недѣланье. Дикой и Кабанова продолжаютъ торжествовать.

Такимъ образомъ, перебирая разнообразныя типы, являвшіеся въ нашей жизни и воспроизведенные литературою, мы постоянно приходили къ убѣжденію, что они не могутъ служить представителями того общественнаго движенія, которое чувствуется у насъ теперь и о которомъ мы, — по возможности подробно, — говорили выше. Видя

это, мы спрашивали себя: какъ же однако, опредѣлятся новыя стремленія въ отдѣльной личности? какими чертами долженъ отличаться характеръ, которымъ совершится рѣшительный разрывъ съ старыми, нелѣпыми и насильственными отношеніями жизни? Въ дѣйствительной жизни пробуждающагося общества мы видѣли лишь намеки на рѣшеніе нашихъ вопросовъ, въ литературѣ—слабое повтореніе этихъ намековъ; но въ «Грозѣ» составлено изъ нихъ цѣлое, уже съ довольно ясными очертаніями; здѣсь является передъ нами лицо, взятое прямо изъ жизни, но выясненное въ сознаніи художника и поставленное въ такія положенія, которыя даютъ ему обнаруживаться полнѣе и рѣшительнѣе, нежели какъ бываетъ въ большинствѣ случаевъ обыкновенной жизни. Такимъ образомъ, здѣсь нѣтъ дагеротипной точности, въ которой нѣкоторые критики обвиняли Островскаго; но есть именно художественное соединеніе однородныхъ чертъ, проявляющихся въ разныхъ положеніяхъ русской жизни, но служащихъ выраженіемъ одной идеи.

Рѣшительный, цѣльный русскій характеръ, дѣйствующій въ средѣ Дикихъ и Кабановыхъ, является у Островскаго въ женскомъ типѣ, и это не лишено своего серьезнаго значенія. Извѣстно, что крайности отражаются крайностями и что самый сильный протестъ бываетъ тотъ, который поднимается, наконецъ, изъ груди самыхъ слабыхъ и терпѣливыхъ. Поприще, на которомъ Островскій наблюдаетъ и показываетъ намъ русскую жизнь, не касается отношеній чисто общественныхъ и государственныхъ, а ограничивается семействомъ; въ семействѣ же кто болѣе всего выдерживаетъ на себѣ весь гнетъ самодурства, какъ не женщина? Какой приказчикъ, работникъ, слуга Дикого можетъ быть столько загнанъ, забитъ, отрѣшенъ отъ своей личности, какъ его жена? У кого можетъ накопѣть столько горя и негодованія противъ нелѣпыхъ фантазій самодура? И, въ то же время, кто менѣе ея имѣетъ возможности высказать свой ропотъ, отказаться отъ исполненія того, что ей противно? Слуги и приказчики связаны только матеріально, людскимъ образомъ; они могутъ оставить самодура тотчасъ, какъ найдутъ себѣ другое мѣсто. Жена, по господствующимъ понятіямъ, связана съ нимъ неразрывно, духовно, посредствомъ таинства; что бы мужъ ни дѣлалъ, она должна ему повиноваться и раздѣлять съ нимъ бессмысленную жизнь. Да если бъ, наконецъ, она и могла уйти, то куда она дѣнется, за что примется? Кудряшъ говоритъ: «я нуженъ Дикому, поэтому я не боюсь его и вольничать ему надъ собою не дамъ». Легко человѣку, который пришелъ къ сознанію того, что онъ дѣйствительно нуженъ для другихъ; но женщина, жена? Къ чему нужна она? Не сама ли она, напротивъ, все беретъ отъ мужа? Мужъ ей даетъ жилище, поить, кормить, одѣваетъ, защищаетъ ее, даетъ ей положеніе въ обществѣ... Не считается ли она, обыкновенно, обремененіемъ для мужчины? Не говорятъ ли благоразумные люди, удерживая молодыхъ людей отъ женитьбы; «жена-то вѣдь не лапотъ, съ ноги не сбросишь»? И въ общемъ мнѣніи самая главная разница жены отъ

лаптя въ томъ и состоитъ, что она приносить съ собою цѣлую обузу заботъ, отъ которыхъ мужъ не можетъ избавиться, тогда какъ лапоть даетъ только удобство, а если неудобенъ будетъ, то легко можетъ быть сброшенъ... Находясь въ подобномъ положеніи, женщина, разумѣется, должна позабыть, что и она такой же человѣкъ, съ такими же самыми правами, какъ и мужчина. Она можетъ быть только деморализоваться, и если личность въ ней сильна, то получить наклонность къ тому же самодурству, отъ котораго она столько страдала. Это мы и видимъ, напримѣръ, въ Кабанихѣ, точно такъ, какъ мы видѣли въ Уланбековой. Ея самодурство только уже и мельче и оттого, можетъ быть, еще бессмысленнѣе мужского: размеры его меньше, но за то въ своихъ предѣлахъ, на тѣхъ, кто ужъ ему попался, она дѣйствуетъ еще несноснѣе. Дикой ругается, Кабанова ворчитъ; тотъ прибѣтъ, да и кончено, а эта грызетъ свою жертву долго и неотступно; тотъ шумитъ изъ-за своихъ фантазій и довольно равнодушенъ къ вашему поведенію, покамѣстъ оно до него не коснется; Кабаниха создала себѣ цѣлый мірокъ особенныхъ правилъ и суевѣрныхъ обычаевъ, за которые стоитъ со всѣмъ тупоуміемъ самодурства. Вообще — въ женщинѣ, даже достигшей положенія независимаго и соп атоге упражняющейся въ самодурствѣ, видно всегда ея сравнительное безсиліе, слѣдствіе вѣкового ея угнетенія: она тяжеле, подозрительнѣй, бездушнѣй въ своихъ требованіяхъ; здравому разсужденію она не поддается уже не потому, что презираетъ его, а скорѣе потому, что боится съ нимъ не справиться: «начнешь, дескать, разсуждать, а еще что изъ этого выйдетъ, — оплетутъ какъ разъ» — и, вслѣдствіе того, она строго держится старины и различныхъ наставленій, сообщенныхъ ей какою-нибудь Оеклушею...

Ясно изъ этого, что если ужъ женщина захочетъ высвободиться изъ подобнаго положенія, то ея дѣло будетъ серьезно и рѣшительно. Какому-нибудь Кудряшу ничего не стоитъ поругаться съ Дикимъ; оба они нужны другъ другу, и, стало быть, со стороны Кудряша не нужно особеннаго героизма для предъявленія своихъ требованій. За то его выходка и не поведетъ ни къ чему серьезному: поругается онъ, Дикой погрозитъ отдать его въ солдаты, да не отдастъ; Кудряшъ будетъ доволенъ тѣмъ, что отгрызся, а дѣла опять пойдутъ попрежнему. Не то съ женщиной: она должна имѣть много силы характера уже и для того, чтобы заявить свое недовольство, свои требованія. При первой же попыткѣ, ей дадутъ почувствовать, что она ничто, что ее раздавить могутъ. Она знаетъ, что это дѣйствительно такъ, и должна смириться; иначе, надъ нею исполнять угрозу — прибѣютъ, запрутъ, оставятъ на покаяніи, на хлѣбѣ и на водѣ, лишатъ свѣта дневного, испытаютъ всѣ домашнія исправительныя средства добраго стараго времени, и приведутъ-таки къ покорности. Женщина, которая хочетъ итти до конца въ своемъ возстаніи противъ угнетенія и произвола старшихъ въ русской семьѣ, должна быть исполнена героическаго самоотверженія, должна на все рѣ-

шиться и ко всему быть готова. Какимъ образомъ можетъ она выдержать себя? Гдѣ взять ей столько характера? На это только и можно отвѣчать тѣмъ, что естественныхъ стремленій человѣческой природы совсѣмъ уничтожить нельзя. Можно ихъ наклонять въ сторону, давить, сжимать, но все это только до извѣстной степени. Торжество ложныхъ положеній показываетъ только, до какой степени можетъ доходить упругость человѣческой натуры; но чѣмъ положеніе неестественнѣе, тѣмъ ближе и необходимѣе выходить изъ него. И значитъ, ужъ одно очень неестественно, когда его не выдерживаютъ даже самыя гибкія натуры, наиболѣе подчинявшіяся вліянію силы, производившей такія положенія. Если ужъ и гибкое тѣло дитяти не поддается какому-нибудь гимнастическому фокусу, то очевидно, что онъ невозможенъ для взрослыхъ, которыхъ члены болѣе тверды. Взрослые, конечно, и не допустятъ съ собою такого фокуса; но надъ дитятею легко могутъ его попробовать. Гдѣ беретъ дитя характеръ для того, чтобы ему воспротивиться всѣми силами, хотя бы за сопротивленіе обѣщано было самое страшное наказаніе? Отвѣтъ одинъ: въ невозможности выдержать то, къ чему его принуждаютъ... То же самое надо сказать и о слабой женщинѣ, рѣшающейся на борьбу за свои права: дѣло дошло до того, что ей ужъ невозможно дальше выдерживать свое униженіе, вотъ она и рвется изъ него, уже не по соображенію того, что лучше и что хуже, а только по инстинктивному стремленію къ тому, что выносимо и возможно. *Натура* замѣняетъ здѣсь и соображенія разсудка, и требованія чувства и воображенія: все это сливается въ общемъ чувствѣ организма, требующаго себѣ воздуха, пищи, свободы. Здѣсь-то и заключается тайна цѣльности характеровъ, появляющихся въ обстоятельствахъ, подобныхъ тѣмъ, какія мы видѣли въ «Грозѣ», въ обстановкѣ, окружающей Катерину.

Такимъ образомъ, возникновеніе женскаго энергическаго характера вполне соотвѣтствуетъ тому положенію, до какого доведено самодурство въ драмѣ Островскаго. Оно дошло до крайности, до отрицанія всякаго здраваго смысла; оно болѣе, чѣмъ когда-нибудь, враждебно естественнымъ требованіямъ человѣчества и ожесточеннѣе прежняго силится остановить ихъ развитіе, потому что въ торжествѣ ихъ видитъ приближеніе своей неминуемой гибели. Черезъ это оно еще болѣе вызываетъ ропотъ и протестъ даже въ существахъ самыхъ слабыхъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ самодурство, какъ мы видѣли, потеряло свою самоувѣренность, лишилось и твердости въ дѣйствіяхъ, утратило и значительную долю той силы, которая заключалась для него въ наведеніи страха на всѣхъ. Поэтому, протестъ противъ него не заглушается уже въ самомъ началѣ, а можетъ превратиться въ упорную борьбу. Тѣ, которымъ еще сносно жить, не хотятъ теперь рисковать на подобную борьбу, въ надеждѣ, что и такъ не долго прожить самодурству. Мужъ Катерины, молодой Кабановъ, хотъ и много терпитъ отъ старой Кабанихи, но все же онъ свободнѣе, онъ можетъ и къ Савелу Прокофѣичу выпить сбѣгать, онъ и въ Москву

сблизить отъ матери и тамъ развернется на волю, а коли плохо ему ужъ очень придется отъ старухи, такъ есть на комъ вылить свое сердце — онъ на жену вскинется... Такъ и живетъ себѣ, и воспитываетъ свой характеръ, ни на что не годный, все въ тайной надеждѣ, что вырвется какъ-нибудь на волю. Женѣ его нѣтъ никакой надежды, никакой отрады, передышаться ей нельзя; если можетъ, то пусть живетъ безъ дыханья, забудеть, что есть вольный воздухъ на свѣтѣ, пусть отречется отъ своей природы и сольется съ капризнымъ деспотизмомъ старой Кабанихи. Но вольный воздухъ и свѣтъ, вопреки всѣмъ предосторожностямъ погибающаго самодурства, врываются въ келью Катерины; она чувствуетъ возможность удовлетворить естественной жадѣ своей души, и не можетъ долѣе оставаться неподвижною: она рвется къ новой жизни, хотя бы пришлось умереть въ этомъ порывѣ. Что ей смерть? Все равно—она не считаетъ жизнью и то прозябаніе, которое выпало ей на долю въ семьѣ Кабановыхъ.

Такова основа всѣхъ дѣйствій характера, изображеннаго въ «Грозѣ». Основа эта надежнаѣе всѣхъ возможныхъ теорій и пафосовъ, потому что она лежитъ въ самой сущности даннаго положенія, влечетъ человѣка къ дѣлу неотразимо, не зависитъ отъ той или другой способности или впечатлѣнія въ частности, а опирается на всей сложности требованій организма, на выработкѣ всей натуры человѣка. Теперь любопытно, какъ развивается и проявляется подобный характеръ въ частныхъ случаяхъ. Мы можемъ прослѣдить его развитіе по личности Катерины.

Прежде всего, насъ поражаетъ необыкновенная своеобразность этого характера. Ничего нѣтъ въ немъ внѣшняго, чужого, а все выходитъ какъ-то изнутри его; всякое впечатлѣніе перерабатывается въ немъ и затѣмъ срастается съ нимъ органически. Это мы видимъ, напримѣръ, въ простодушномъ разсказѣ Катерины о своемъ дѣтскомъ возрастѣ и о жизни въ домѣ у матери. Оказывается, что воспитаніе и молодая жизнь ничего не дали ей: въ домѣ ея матери было то же, что у Кабановыхъ, — ходили въ церковь, шили золотомъ по бархату, слушали разсказы странницъ, обѣдали, гуляли по саду, опять бесѣдовали съ богомолками и сами молились... Выслушавъ разсказъ Катерины, Варвара, сестра ея мужа, съ удивленіемъ замѣчаетъ: «да вѣдь и у насъ то же самое». Но разница опредѣляется Катериною очень быстро въ пяти словахъ: «да здѣсь все какъ будто изъ-подъ неволи»! И дальнѣйшій характеръ показываетъ, что во всей этой внѣшности, которая такъ обыденна у насъ повсюду, Катерина умѣла находить свой особенный смыслъ, примѣнять ее къ своимъ потребностямъ и стремленіямъ, пока не налегла на нее тяжелая рука Кабанихи. Катерина вовсе не принадлежитъ къ буйнымъ характерамъ, никогда не довольнымъ, любящимъ разрушать, во что бы то ни стало. Напротивъ, это характеръ по преимуществу созидающій, любящій, идеальный. Вотъ почему

она старается все осмыслить и облагородить въ своемъ воображеніи; то настроеніе, при которомъ, по выраженію поэта,

Весь міръ мечтою благородной
Передъ нимъ очищенъ и омытъ, —

это настроеніе до послѣдней крайности не покидаетъ Катерину. Всякій внѣшній диссонансъ она старается согласить съ гармоніей своей души, всякій недостатокъ покрываетъ изъ полноты своихъ внутреннихъ силъ. Грубые, суевѣрные рассказы и бессмысленныя бредни странницъ превращаются у ней въ золотые, поэтическіе сны воображенія, не устрашающіе, а ясные, добрые. Бѣдны ея образы, потому что матеріалы, представляемые ей дѣйствительностью, такъ однообразны; но и съ этими скудными средствами ея воображеніе работаетъ неутомимо и уноситъ ее въ новый міръ, тихій и свѣтлый. Не обряды занимаютъ ее въ церкви: она совсѣмъ и не слышитъ, что тамъ поютъ и читаютъ; у ней въ душѣ иная музыка, иныя видѣнія, для нея служба кончается непримѣтно, какъ будто въ одну секунду. Ее занимаютъ деревья, странно нарисованныя на образахъ, и она воображаетъ себѣ цѣлую страну садовъ, гдѣ все такія деревья, и все это цвѣтеть, благоухаетъ, все полно райскаго пѣнія. А то увидитъ она въ солнечный день, какъ «изъ купола свѣтлый такой столбъ внизъ идетъ, и въ этомъ столбѣ ходитъ дымъ, точно облака», — и вотъ она уже видитъ, «будто ангелы въ этомъ столбѣ летаютъ и поютъ». Иногда представится ей, — отчего бы и ей не летать? и когда на горѣ стоитъ, то такъ ее и тянетъ летѣть: вотъ такъ бы разбѣжалась, подняла руки, да и полетѣла. Она странная, сумасбродная съ точки зрѣнія окружающихъ; но это потому, что она никакъ не можетъ принять въ себя ихъ воззрѣній и наклонностей. Она беретъ отъ нихъ матеріалы, потому-что иначе взять ихъ не откуда; но не беретъ выводовъ, а ищетъ ихъ сама, и часто приходитъ вовсе не къ тому, на чемъ успокоиваются они. Подобное отношеніе къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ мы замѣчаемъ и въ другой средѣ, въ людяхъ, по своему воспитанію, привыкшихъ къ отвлеченнымъ разужденіямъ и умѣющихъ анализировать свои чувства. Вся разница въ томъ, что у Катерины, какъ личности непосредственной, живой, все дѣлается по влеченію натуры, безъ отчетливаго сознанія, а у людей развитыхъ теоретически и сильныхъ умомъ — главную роль играетъ логика и анализъ. Сильные умы именно и отличаются той внутренней силой, которая даетъ имъ возможность не поддаваться готовымъ воззрѣніямъ и системамъ, а самимъ создавать свои взгляды и выводы, на основаніи живыхъ впечатлѣній. Они ничего не отвергаютъ сначала, но ни на чемъ не останавливаются, а только все принимаютъ къ свѣдѣнію и перерабатываютъ по своему. Аналогическіе результаты представляетъ намъ и Катерина, хотя она и не резонируетъ и даже не понимаетъ сама своихъ ощущеній, а водится прямо натурою. Въ сухой, однообразной жизни своей

юности, въ грубыхъ и суевѣрныхъ понятіяхъ окружающей среды, она постоянно умѣла брать то, что соглашалось съ ея естественными стремленіями къ красотѣ, гармоніи, удовольствію, счастью. Въ разговорахъ странницъ, въ земныхъ поклонахъ и причитаньяхъ она видѣла не мертвую форму, а что-то другое, къ чему постоянно стремилось ея сердце. На основаніи ихъ она строила себѣ иной міръ безъ страстей, безъ нужды, безъ горя, міръ весь посвященный добру и наслажденію. Но въ чемъ настоящее добро и истинное наслажденіе для человѣка, она не могла опредѣлить себѣ; вотъ отчего эти внезапные порывы какихъ-то безотчетныхъ, неясныхъ стремленій, о которыхъ она вспоминаетъ: «Иной разъ, бывало, рано утромъ въ садъ уйду, еще только солнышко восходитъ,—упаду на колѣни, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу; такъ меня и найдутъ. И объ чемъ я молилась тогда, чего просила—не знаю; ничего мнѣ ненужно, всего у меня было довольно». Бѣдная дѣвочка, не получившая широкаго теоретическаго образованія, незнающая всего, что на свѣтѣ дѣлается, непонимающая хорошенько даже своихъ собственныхъ потребностей, не можетъ, разумѣется, дать себѣ отчета въ томъ, что ей нужно. Покамѣстъ она живетъ у матери, на полной свободѣ, безъ всякой житейской заботы, пока еще не обозначились въ ней потребности и страсти взрослаго человѣка, она не умѣетъ даже отличить своихъ собственныхъ мечтаній, своего внутренняго міра — отъ внѣшнихъ впечатлѣній. Забываясь среди богомолковъ въ своихъ радужныхъ думахъ и гуляя въ своемъ свѣтломъ царствѣ, она все думаетъ, что ея удовольствіе происходитъ именно отъ этихъ богомолковъ, отъ лампадокъ, зажженныхъ по всѣмъ угламъ въ домѣ, отъ причитаній, раздающихся вокругъ нея: своими чувствами она одушевляетъ мертвую обстановку, въ которой живетъ, и сливается съ ней внутренній міръ души своей. Это періодъ дѣтства, для многихъ тянущійся долго, очень долго, но все-таки имѣющій свой конецъ. Если конецъ приходитъ очень поздно, если человѣкъ начинаетъ понимать, чего ему нужно, тогда уже, когда большая часть жизни изжита,—въ такомъ случаѣ ему ничего почти не остается, кромѣ сожалѣнія о томъ, что такъ долго принималъ онъ собственные мечты за дѣйствительность. Онъ находится тогда въ печальномъ положеніи человѣка, который, надѣливъ въ своей фантазіи всѣми возможными совершенствами свою красавицу и связавъ съ нею жизнь свою, вдругъ замѣчаетъ, что всѣ совершенства существовали только въ его воображеніи, а въ ней самой нѣтъ и слѣда ихъ. Но характеры сильные рѣдко поддаются такому рѣшительному заблужденію: въ нихъ очень сильно требованіе ясности и реальности, и оттого они не останавливаются на неопредѣленностяхъ и стараются вырваться изъ нихъ во что бы то ни стало. Замѣтивъ въ себѣ недовольство, они стараются прогнать его; но видя, что оно не проходитъ, кончаютъ тѣмъ, что даютъ полную свободу высказаться новымъ требованіямъ, возникающимъ въ душѣ, и затѣмъ уже не успокоятся, пока не достигнутъ ихъ удовлетворенія. А тутъ и сама

жизнь приходит на помощь — для однихъ благоприятно, расширеніемъ круга впечатлѣній, а для другихъ трудно и горько — стѣсненіями и заботами, разрушающими гармоническую стройность юныхъ фантазій. Послѣдній путь выпалъ на долю Катеринѣ, какъ выпадаетъ онъ на долю большей части людей въ «темномъ царствѣ» Дикихъ и Кабановыхъ.

Въ сумрачной обстановкѣ новой семьи начала чувствовать Катерина недостаточность внѣшности, которою думала довольствоваться прежде. Подъ тяжелой рукою бездушной Кабанихи нѣтъ простора ея свѣтлымъ видѣніямъ, какъ нѣтъ свободы ея чувствамъ. Въ порывѣ нѣжности къ мужу, она хочетъ обнять его, — старуха кричитъ: «что на шею виснешь, безстыдница? Въ ноги кланяйся!» Ей хочется остаться одной и погрузить тихонько, какъ бывало, а свекровь говоритъ: «отчего не воешь?» Она ищетъ свѣта, воздуха, хочетъ помечтать и порѣзвиться, полить свои цвѣты, посмотреть на солнце, на Волгу, послать свой привѣтъ всему живому, — а ее держать въ неволѣ, въ ней постоянно подозрѣваютъ нечистые, развратные замыслы. Она ищетъ прибѣжища по прежнему въ религіозной практикѣ, въ посѣщеніи церкви, въ душеспасительныхъ разговорахъ, но и здѣсь не находитъ уже прежнихъ впечатлѣній. Убитая дневной заботой и вѣчной неволей, она уже не можетъ съ прежней ясностью мечтать объ ангелахъ, поющихъ въ пыльномъ столбѣ, освѣщенномъ солнцемъ, не можетъ вообразить себѣ райскихъ садовъ съ ихъ невозмущаемымъ видомъ и радостью. Все мрачно, страшно вокругъ нея, все вѣетъ холодомъ и какой-то неотразимой угрозой: и лики святыхъ такъ строги, и церковныя чтенія такъ грозны, и рассказы странницъ такъ чудовищны... Они все тѣ же въ сущности, они нисколько не измѣнились, но измѣнилась она сама, въ ней уже нѣтъ охоты строить воздушныя видѣнія, да ужъ и не удовлетворяетъ ее то неопредѣленное воображеніе блаженства, которымъ она наслаждалась прежде. Она возмужала, въ ней проснулись другія желанія, болѣе реальныя; не зная иного поприща, кромѣ семьи, иного міра, кромѣ того, какой сложился для нея въ обществѣ ея городка, она, разумѣется, и начинаетъ сознавать изъ всѣхъ человѣческихъ стремленій то, которое всего неизбѣжнѣе и всего ближе къ ней, — стремленіе любви и преданности. Въ прежнее время ея сердце было слишкомъ полно мечтами, она не обращала вниманія на молодыхъ людей, которые на нее заглядывались, а только смѣялась. Выходя замужъ за Тихона Кабанова, она и его не любила, она еще и не понимала этого чувства; сказали ей, что всякой дѣвушкѣ надо замужъ выходить, показали Тихона, какъ будущаго мужа, она и пошла за него, оставаясь совершенно индифферентною къ этому шагу. И здѣсь тоже проявляется особенность характера: по обычнымъ нашимъ понятіямъ, ей бы слѣдовало противиться, если у ней рѣшительный характеръ; но она и не думаетъ о сопротивленіи, потому что не имѣетъ достаточно основаній для этого. Ей нѣтъ особенной охоты выходить замужъ, но нѣтъ и отвращенія отъ за-

мужества; нѣтъ въ ней любви къ Тихону, но нѣтъ любви и ни къ кому другому. Ей все равно покажѣсть, вотъ почему она и позволяетъ дѣлать съ собою что угодно. Въ этомъ нельзя видѣть ни безсилія, ни апатіи, а можно находить только недостатокъ опытности, да еще слишкомъ большую готовность дѣлать все для другихъ, мало заботясь о себѣ. У ней мало знанія и много довѣрчивости, вотъ отчего до времени она не выказываетъ противодѣйствія окружающимъ и рѣшается лучше терпѣть, нежели дѣлать на зло имъ. Но когда она пойметъ, что ей нужно, и захочетъ чего-нибудь достигнуть, то добьется своего, во что бы то ни стало: тутъ-то и проявится вполнѣ сила ея характера, не растраченная въ мелочныхъ выходкахъ. Сначала, по врожденной добротѣ и благородству души своей, она будетъ дѣлать всѣ возможные усилія, чтобы не нарушить мира и правъ другихъ, чтобы получить желаемое съ возможно-большимъ соблюденіемъ всѣхъ требованій, какія на нее налагаются людьми, чѣмъ-нибудь связанными съ ней; и если они сумѣютъ воспользоваться этимъ первоначальнымъ настроеніемъ и рѣшатся дать ей полное удовлетвореніе. — хорошо тогда и ей, и имъ. Но если нѣтъ, — она ни передъ чѣмъ не остановится, — законъ, родство, обычай, людской судъ, правила благоразумія — все исчезаетъ для нея предъ силою внутренняго влеченія; она не щадитъ себя и не думаетъ о другихъ. Такой именно выходъ представился Катеринѣ, и другого нельзя было ожидать среди той обстановки, въ которой она находится.

Чувство любви къ человѣку, желаніе найти родственный отзывъ въ другомъ сердцѣ, потребность нѣжныхъ наслажденій естественнымъ образомъ открылись въ молодой женщинѣ и измѣнили ея прежнія, неопредѣленные и безплодные мечты. «Ночью, Варя, не спится мнѣ, — рассказываетъ она, — все мерещится шепотъ какой-то: кто-то такъ ласково говоритъ со мной, точно голубь воркуетъ. Ужъ не снятся мнѣ, Варя, какъ прежде, райскія деревья, да горы; а точно меня кто-то обнимаетъ такъ горячо, горячо, или ведетъ меня куда-то, и я иду за нимъ, иду»... Она сознала и уловила эти мечты уже довольно поздно; но, разумѣется, онѣ преслѣдовали и томили ее задолго прежде, чѣмъ она сама могла дать себѣ отчетъ въ нихъ. При первомъ ихъ появленіи, она тотчасъ же обратила свое чувство на то, что всего ближе къ ней было, — на мужа. Она долго усиливалась сроднить съ нимъ свою душу, увѣрить себя, что съ нимъ ей ничего не нужно, что въ немъ-то и есть блаженство, котораго она такъ тревожно ищетъ. Она со страхомъ и недоумѣніемъ смотрѣла на возможность искать взаимной любви въ комъ-нибудь, кромѣ него. Въ пьесѣ, которая застаётъ Катерину уже съ началомъ любви къ Борису Григорьичу, все еще видны послѣднія, отчаянные усилія Катерины — сдѣлать себѣ милымъ своего мужа. Сцена ея прощанія съ нимъ даетъ намъ чувствовать, что и тутъ еще не потеряно для Тихона, что онъ еще можетъ сохранить права свои на любовь этой женщины; но эта же сцена въ короткихъ, но рѣзкихъ очеркахъ пе-

редаетъ намъ цѣлую исторію истязаній, которыя заставили вытерпѣть Катерину, чтобы оттолкнуть ея первое чувство отъ мужа. Тихонъ является здѣсь простодушнымъ и пошловатымъ, совсѣмъ не злымъ, но до крайности безхарактернымъ существомъ, не смѣющимъ ничего сдѣлать вопреки матери. А мать—существо бездушное, кулакъ-баба, заключающая въ китайскихъ церемоніяхъ—и любовь, и религію, и нравственность. Между нею и между своей женой Тихонъ представляетъ одинъ изъ множества тѣхъ жалкихъ типовъ, которые обыкновенно называются безвредными, хотя они въ общемъ-то смыслѣ столь же вредны, какъ и сами самодуры, потому что служатъ ихъ вѣрными помощниками. Тихонъ самъ по себѣ любитъ жену и готовъ бы все для нея сдѣлать; но гнетъ, подъ которымъ онъ выросъ, такъ его изуродовалъ, что въ немъ никакого сильнаго чувства, никакого рѣшительнаго стремленія развиться не можетъ. Въ немъ есть совѣсть, есть желаніе добра, но онъ постоянно дѣйствуетъ противъ себя, и служить покорнымъ орудіемъ матери, даже въ отношеніяхъ своихъ къ женѣ. Еще въ первой сценѣ появленія семейства Кабановыхъ на бульварѣ мы видимъ, каково положеніе Катерины между мужемъ и свекровью. Кабаниха ругаетъ сына, что жена его не боится; онъ рѣшается возразить: «да зачѣмъ же ей бояться? Съ меня и того довольно, что она меня любитъ». Старуха тотчасъ же вскидывается на него: «какъ, зачѣмъ бояться! Какъ, зачѣмъ бояться! Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станетъ бояться, меня и подавно: какой же это порядокъ-то въ домѣ будетъ! Вѣдь ты, чай, съ ней въ законѣ живешь. Али, по вашему, законъ ничего не значить»? Подъ такими началами, разумѣется, чувство любви въ Катеринѣ не находитъ просвора и прячется внутрь ея, сказываясь только по временамъ судорожными порывами. Но и этими порывами мужъ не умѣетъ пользоваться: онъ слишкомъ забить, чтобы понять силу ея страстнаго томленія. «Не разберу я тебя, Катя,—говоритъ онъ ей:—то отъ тебя слова не добьешься, не то что ласки, а то такъ сама лѣзешь». Такъ обыкновенно дюжинныя и испорченныя натуры судятъ о натурѣ сильной и свѣжей: они, судя по себѣ, не понимаютъ чувства, которое схоронилось въ глубинѣ души, и всякую сосредоточенность принимаютъ за апатію; когда же, наконецъ, не будучи въ состояніи скрываться долѣе, внутренняя сила хлынетъ изъ души широкимъ и быстрымъ потокомъ,—они удивляются и считаютъ это какимъ-то фокусомъ, причудою, въ родѣ того, какъ имъ самимъ приходитъ иногда фантазія впасть въ паѳосъ или кутнуть. А между тѣмъ, эти порывы составляютъ необходимость въ натурѣ сильной и бываютъ тѣмъ разительнѣе, чѣмъ они дольше не находятъ себѣ выхода. Они неумышленны, не соображены, а вызваны естественной необходимостью. Сила натуры, которой нѣтъ возможности развиваться дѣятельно, выражается и пассивно—терпѣніемъ, сдержанностью. Но только не смѣшивайте *этого* терпѣнія съ тѣмъ, которое происходитъ отъ слабаго развитія личности въ человѣкѣ и которое кончаетъ тѣмъ, что привыкаетъ къ оскорбленіямъ и тяго-

стямъ всякаго рода. Нѣтъ, Катерина не привыкнетъ къ нимъ никогда; она еще не знаетъ, на что и какъ она рѣшится, она ничѣмъ не нарушаетъ своихъ обязанностей къ свекрови, дѣлаетъ все возможное, чтобы хорошо уладиться съ мужемъ, но по всему видно, что она чувствуетъ свое положеніе и что ее тянетъ вырваться изъ него. Никогда она не жалуется, не бранитъ свекрови; сама старуха не можетъ на нее взвести этого; и однако же, свекровь чувствуетъ, что Катерина составляетъ для нея что-то неподходящее, враждебное. Тихонъ, который какъ огня боится матери и притомъ не отличается особенною деликатностью и нѣжностью, совѣстится, однако, передъ женою, когда по повелѣнію матери долженъ ей наказывать, чтобы она безъ него «въ окна глазъ не палила» и «на молодыхъ парней не заглядывалась». Онъ видитъ, что горько оскорбляетъ ее такими рѣчами, хотя хорошенько и не можетъ понять ея состоянія. По выходѣ матери изъ комнаты, онъ утѣшаетъ жену такимъ образомъ: «все къ сердцу-то принимать, такъ въ чахотку скоро попадешь. Что ее слушать-то! Ей вѣдь что-нибудь надо же говорить. Ну и пускай она говоритъ, а ты мимо ушей пропускай!» Вотъ этотъ индифферентизмъ точно плохъ и безнадеженъ; но Катерина никогда не можетъ дойти до него, хотя по наружности она даже меньше огорчается, нежели Тихонъ, меньше жалуется, но въ сущности она страдаетъ гораздо больше. Тихонъ тоже чувствуетъ, что онъ не имѣетъ чего-то нужнаго; въ немъ тоже есть недовольство; но оно находится въ немъ на такой степени, на какой, на примѣръ, можетъ быть влеченіе къ женщинѣ у десятилѣтняго мальчика съ развращеннымъ воображеніемъ. Онъ не можетъ очень рѣшительно добиваться независимости и своихъ правъ—уже и потому, что онъ не знаетъ, что съ ними дѣлать; желаніе его больше головное, внѣшнее, а собственно натура его, поддавшись гнету воспитанія, такъ и осталась почти глухою къ естественнымъ стремленіямъ. Поэтому, самое исканіе свободы въ немъ получаетъ характеръ уродливый и дѣлается противнымъ, какъ противенъ цинизмъ десятилѣтняго мальчика, безъ смысла и внутренней потребности повторяющаго гадости, слышанныя отъ большихъ. Тихонъ, видите, слышанъ отъ кого-то, что онъ «тоже мужчина», и потому долженъ въ семьѣ имѣть извѣстную долю власти и значенія; поэтому, онъ себя ставитъ гораздо выше жены и, полагая, что ей ужъ такъ и Богъ судилъ терпѣть и смиряться, — на свое положеніе подъ началомъ у матери смотритъ какъ на горькое и унижительное. Затѣмъ, онъ наклоненъ къ разгулу, и въ немъ-то главнымъ образомъ и ставитъ свободу: точно какъ тотъ же мальчикъ, не умѣющій постигнуть настоящей сути, отчего такъ сладка женская любовь, и знающій только внѣшнюю сторону дѣла, которая у него и превращается въ сальности! Тихонъ, собираясь уѣзжать, съ безстыднѣйшимъ цинизмомъ говоритъ женѣ, упрашивающей его взять ее съ собою: «съ такою-то неволи отъ какой хочешь красавицы жены убѣжишь! Ты подумай то: какой ни на есть, а я все-таки мужчина,—всю жизнь вотъ такъ жить, какъ

ты видишь, такъ убѣжишь и отъ жены. Да какъ я знаю теперича, что недѣли двѣ никакой грозы на меня не будетъ, кандаловъ этихъ на ногахъ нѣтъ, такъ до жены ли мнѣ? Катерина только и можетъ отвѣтить ему на это: «какъ же мнѣ любить-то тебя, когда ты такія слова говоришь»? Но Тихонъ не понимаетъ всей важности этого мрачнаго и рѣшительнаго упрека; какъ человѣкъ, уже махнувшій рукою на свой разсудокъ, онъ отвѣчаетъ небрежно: «слова — какъ слова! Какія же мнѣ еще слова говорить»!—и торопится отдѣлаться отъ жены. А зачѣмъ? Что онъ хочетъ дѣлать, на чемъ отвести душу, вырвавшись на волю? Онъ объ этомъ самъ рассказываетъ потомъ Кулигину: «на дорогу-то маменька читала-читала мнѣ наставленія-то, а я какъ выѣхалъ, такъ загулялъ. Ужъ очень радъ, что на волю-то вырвался. И всю дорогу пилъ, и въ Москвѣ все пилъ; такъ это кучу, что на-поди. Такъ, чтобы ужъ на цѣлый годъ отгуляться»!... Вотъ и все! И надо сказать, что въ прежнее время, когда еще сознаніе личности и ея правъ не поднялось въ большинствѣ, почти только подобными выходками и ограничивались протесты противъ самодурнаго гнета. Да и нынче еще можно встрѣтить множество Тихоновъ, упивающихся если не виномъ, то какими-нибудь разсужденіями и спичами, и отводящихъ душу въ шумъ словесныхъ оргій. Это именно люди, которые постоянно жалуются на свое стѣсненное положеніе, а между тѣмъ заражены гордою мыслью о своихъ привилегіяхъ и о своемъ превосходствѣ надъ другими: «какой ни на есть, а все-таки я мужчина,—такъ каково мнѣ терпѣть-то». То есть: «ты терпи, потому что ты баба и, стало быть, дрянъ, а мнѣ надо волю,—не потому чтобъ это было человѣческое, естественное требованіе, а потому, что таковы права моей привилегированной особы»... Ясно, что изъ подобныхъ людей и замашекъ никогда и не могло, и не можетъ ничего выйти.

Но не похоже на нихъ новое движеніе народной жизни, о которомъ мы говорили выше и отраженіе котораго нашли въ характерѣ Катерины. Въ этой личности мы видимъ уже возмужалое, изъ глубины всего организма возникающее требованіе права и простора жизни. Здѣсь уже не воображеніе, не наслышка не искусственно возбужденный порывъ являются намъ, а жизненная необходимость натуры. Катерина не капризничаетъ, не кокетничаетъ своимъ недовольствомъ и гнѣвомъ, — это не въ ея натурѣ; она не хочетъ импонировать на другихъ, выставиться и похвалиться. Напротивъ, живетъ она очень мирно и готова всему подчиниться, что только не противно ея натурѣ; принципъ ея, если бъ она могла сознать и опредѣлить его, былъ бы тотъ, чтобы какъ можно менѣе своей личностью стѣснять другихъ и тревожить общее теченіе дѣлъ. Но за то, признавая и уважая стремленія другихъ, она требуетъ того же уваженія и къ себѣ, и всякое насиліе, всякое стѣсненіе возмущаетъ ее кровно, глубоко. Если бъ она могла, она бы прогнала далеко отъ себя все, что живетъ неправо и вредитъ другимъ; но, не будучи въ состояніи сдѣлать этого, она идетъ обратнымъ путемъ—сама бѣжитъ

отъ губителей и обидчиковъ. Только бы не подчиниться ихъ началамъ, вопреки своей натурѣ, только бы не помириться съ ихъ неестественными требованіями, а тамъ что выйдетъ—лучшая ли доля для нея или гибель,—на это она ужъ не смотритъ: въ томъ и другомъ случаѣ для нея избавленіе... О своемъ характерѣ Катерина сообщаетъ Варѣ одну черту еще изъ воспоминаній дѣтства: «такая ужъ я зародилась горячая! Я еще лѣтъ шести была, не больше.—такъ что сдѣлала! Обидѣли меня чѣмъ-то дома, а дѣло было къ вечеру, ужъ темно — я выбѣжала на Волгу, сѣла въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли, верстъ за десять»... Эта дѣтская горячность сохранилась въ Катеринѣ; только вмѣстѣ съ общей возмужалостью, прибавилась въ ней и сила выдерживать впечатлѣнія и господствовать надъ ними. Взрослая Катерина, поставленная въ необходимость терпѣть обиды, находитъ въ себѣ силу долго переносить ихъ, безъ напрасныхъ жалобъ, полусопротивленій и всякихъ шумныхъ выходокъ. Она терпитъ до тѣхъ поръ, пока не заговоритъ въ ней какой-нибудь интересъ, особенно близкій ея сердцу и законный въ ея глазахъ, пока не оскорблено въ ней будетъ такое требованіе ея натуры, безъ удовлетворенія котораго она не можетъ оставаться спокойною. Тогда она ужъ ни на что не посмотритъ. Она не будетъ прибѣгать къ дипломатическимъ уловкамъ, къ обманамъ, и плутнямъ, — не такова она. Если ужъ нужно непременно обманывать, такъ она лучше постарается перемочь себя. Варя совѣтуетъ Катеринѣ скрывать свою любовь къ Борису; она говоритъ: «обманывать-то я не умѣю, скрыть-то ничего не могу», и вслѣдъ за тѣмъ дѣлаетъ усиліе надъ своимъ сердцемъ, и опять обращается къ Варѣ съ такой рѣчью: «не говори мнѣ про него, сдѣлай милость не говори! Я его и знать не хочу! *Я буду мужа любить. Тиха, голубчикъ мой, ни на кого тебя не променяю*»! Но усиліе уже выше ея возможности; черезъ минуту она чувствуетъ, что ей не отдѣлаться отъ возникшей любви: «развѣ я хочу о немъ думать, — говоритъ она: — да что дѣлать, коли изъ головы нейдетъ». Въ этихъ простыхъ словахъ очень ясно выражается, какъ сила естественныхъ стремленій, непримѣтно для самой Катерины, одерживаетъ въ ней побѣду надъ всѣми внѣшними требованіями, предразсудками и искусственными комбинаціями, въ которыхъ запутана жизнь ея. Замѣтимъ, что теоретическимъ образомъ Катерина не могла отвергнуть ни одной изъ этихъ комбинацій, не могла освободиться ни отъ какихъ отсталыхъ мнѣній; она пошла противъ всѣхъ нихъ, вооруженная единственно силою своего чувства, инстинктивнымъ сознаніемъ своего прямого, неотъемлемаго права на жизнь, счастье и любовь... Она нимало не резонируетъ, но съ удивительною легкостью разрѣшаетъ всѣ трудности своего положенія. Вотъ ея разговоръ съ Варварой.

„ВАРВАРА. Ты какая-то мудреная, Богъ съ тобой! А по моему — дѣлай, что хочешь, только бы шито да крыто было.

„КАТЕРИНА. Не хочу я такъ, да и что хорошаго! *Ужъ я лучше буду терпѣть, пока терпится.*

„ВАРВАРА. А не стерпится, что жъ ты сдѣлаешь?

„КАТЕРИНА. Что я сдѣлаю?

„ВАРВАРА. Да, что сдѣлаешь?

„КАТЕРИНА. *Что мнѣ только захочется, то и сдѣлаю.*

„ВАРВАРА. Сдѣлай, попробуй, такъ тебя здѣсь заѣдятъ.

„КАТЕРИНА. А что мнѣ! Я уйду, да и была такова.

„ВАРВАРА. Куда ты уйдешь? Ты мужняя жена.

„КАТЕРИНА. Эхъ, Варя, не знаешь ты моего характеру! *Конечно, не дай Богъ этому случиться, а ужъ коли очень мнѣ здѣсь опостылитъ, такъ не удержатъ меня никакой силой. Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рѣжь.*

Вотъ истинная сила характера, на которую во всякомъ случаѣ можно положиться! Вотъ высота, до которой доходитъ наша народная жизнь въ своемъ развитіи, но до которой въ литературѣ нашей умѣли подниматься весьма немногіе, и никто не умѣлъ на ней такъ хорошо держаться, какъ Островскій. Онъ почувствовалъ, что не отвлеченныя вѣрованія, а жизненные факты управляютъ человекомъ, что не образъ мыслей, не принципы, а натура нужна для образованія и проявленія крѣпкаго характера; и онъ умѣлъ создать такое лицо, которое служить представителемъ великой народной идеи, не нося великихъ идей ни на языкѣ, ни въ головѣ, самоотверженно идетъ до конца въ неравной борьбѣ и гибнетъ, вовсе не обрекая себя на высокое самоотверженіе. Ея поступки находятся въ гармоніи съ ея натурой, они для нея естественны, необходимы, она не можетъ отъ нихъ отказаться, хотя бы это имѣло самыя гибельныя послѣдствія. Претендованные въ другихъ твореніяхъ нашей литературы, сильные характеры похожи на фонтанчики, бьющіе довольно красиво и бойко, но зависящіе въ своихъ проявленіяхъ отъ посторонняго механизма, подведеннаго къ нимъ; Катерина, напротивъ, можетъ быть уподоблена большой, многоводной рѣкѣ: она течетъ, какъ требуетъ ея природное свойство; характеръ ея теченія измѣняется сообразно съ мѣстностью, черезъ которую она проходитъ, но теченіе не останавливается; ровное дно, хорошее — она течетъ спокойно, камни большіе встрѣтились — она черезъ нихъ перескакиваетъ, обрывъ — льется каскадомъ, запружаютъ ее — она бушуетъ и прорывается въ другомъ мѣстѣ. Не потому бурлитъ она, чтобы водѣ вдругъ захотѣлось пошумѣть или разсердиться на препятствія, а просто потому, что это ей необходимо для выполненія ея естественныхъ требованій, для дальнѣйшаго теченія. Такъ и въ томъ характерѣ, который воспроизведенъ намъ Островскимъ: мы знаемъ, что онъ выдержитъ себя, несмотря ни на какія препятствія; а когда силъ не хватитъ, то погибнетъ, но не измѣнитъ себѣ. Высокіе ораторы правды, претендующіе на отреченіе отъ себя для великой идеи, весьма часто оканчиваютъ тѣмъ, что отступаются

отъ своего служенія, говоря, что борьба со зломъ еще слишкомъ безнадежна. что она повела бы только къ напрасной гибели, и пр. Они справедливы, и нельзя ихъ упрекать въ малодушіи; но во всякомъ случаѣ нельзя не видѣть въ этомъ, что «идея», которой они хотятъ служить, составляетъ для нихъ что-то внѣшнее, безъ чего они могутъ обойтись, что они умѣютъ очень хорошо отдѣлать отъ своихъ личныхъ, прямыхъ потребностей. Ясно, что какъ бы ни былъ великъ ихъ азартъ въ пользу идеи, онъ всегда будетъ гораздо слабѣе и ниже того простого, инстинктивнаго, неотразимаго влеченія, которое управляетъ поступками личностей въ родѣ Катерины, даже и не думающихъ ни о какихъ высокихъ «идеяхъ».

Въ положеніи Катерины мы видимъ, что, напротивъ, всѣ «идеи», внушенныя ей съ дѣтства, всѣ принципы окружающей среды—возстаютъ *противъ* ея естественныхъ стремленій и поступковъ. Страшная борьба, на которую осуждена молодая женщина, совершается въ каждомъ словѣ, въ каждомъ движеніи драмы, и вотъ гдѣ оказывается вся важность вводныхъ лицъ, за которыхъ такъ упрекаютъ Островскаго. Всмотритесь хорошенько: вы видите, что Катерина воспитана въ понятіяхъ одинаковыхъ съ понятіями среды, въ которой живетъ, и не можетъ отъ нихъ отрѣшиться, не имѣя никакого теоретическаго образованія. Разказы странницъ и внушенія домашнихъ хотъ и перерабатывались ею по своему, но не могли не оставить безобразнаго слѣда въ ея душѣ: и дѣйствительно, мы видимъ въ пьесѣ, что Катерина, потерявъ свои радужныя мечты и идеальныя, выпренныя стремленія, сохранила отъ своего воспитанія одно сильное чувство—*страхъ* какихъ-то темныхъ силъ, чего-то невѣдомаго, чего она не могла ни объяснить себѣ хорошенько, ни отвергнуть. За каждую мысль свою она боится, за самое простое чувство она ждетъ себѣ кары; ей кажется, что гроза ее убьетъ, потому что она грѣшница: картина геенны огненной на стѣнѣ церковной представляется ей уже предвѣстіемъ ея вѣчной муки... А все окружающее поддерживаетъ и развиваетъ въ ней этотъ страхъ: Ѳеклуши ходятъ къ Кабанихѣ толковать о послѣднихъ временахъ; Дикой твердитъ, что гроза въ наказаніе намъ посылается, чтобъ мы чувствовали; пришедшая барыня, наводящая страхъ на всѣхъ въ городѣ, показывается нѣсколько разъ съ тѣмъ, чтобы зловѣщимъ голосомъ прокричать надъ Катериною: «всѣ въ огнѣ горѣть будете въ неугасимомъ». Всѣ окружающіе полны суевѣрнаго страха, и всѣ окружающіе, согласно съ понятіями и самой Катерины, должны смотрѣть на ея чувство къ Борису какъ на величайшее преступленіе. Даже удалой Кудряшъ, *esprit-fort* этой среды, и тотъ находитъ, что дѣвкамъ можно гулять съ парнями, сколько хочешь, — это ничего, а бабамъ надо ужъ взаперти сидѣть. Это убѣжденіе такъ въ немъ сильно, что, узнавъ о любви Бориса къ Катеринѣ, онъ, несмотря на свое удалство и нѣкотораго рода безчинство, говоритъ, что «это дѣло бросить надо». Все противъ Катерины. даже и ея собственныя понятія о добрѣ и злѣ; все должно заставить ее—

заглушить свои порывы и завянуть въ холодномъ и мрачномъ формализмѣ семейной безгласности и покорности, безъ всякихъ живыхъ стремленій, безъ воли, безъ любви,—или же научишься обманывать людей и совѣсть. Но не бойтесь за нее, не бойтесь даже тогда, когда она сама говоритъ противъ себя: она можетъ на время или покориться повидимому, или даже пойти на обманъ, какъ рѣчка можетъ скрыться подъ землею или удалиться отъ своего русла; но текущая вода не остановится и не пойдетъ назадъ, а все-таки дойдетъ до своего конца, до того мѣста, гдѣ можетъ она слиться съ другими водами и вмѣстѣ бѣжать къ водамъ океана. Обстановка, въ которой живетъ Катерина, требуетъ, чтобы она лгала и обманывала: «безъ этого нельзя,—говоритъ ей Варвара,—ты вспомни, гдѣ ты живешь; у насъ на этомъ весь домъ держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало». Катерина поддается своему положенію, выходитъ къ Борису ночью, прячетъ отъ све-крови свои чувства въ теченіе десяти дней... Можно подумать: вотъ и еще женщина сбилась съ пути, выучилась обманывать домашнихъ и будетъ развратничать втихомолку, притворно лаская мужа и нося отвратительную маску смиренницы! Нельзя было бы строго винить ее и за это: положеніе ея такъ тяжело! Но тогда она была бы однимъ изъ дюжинныхъ лицъ того типа, который такъ уже изношенъ въ повѣстяхъ, показывавшихъ, какъ «среда заѣдаетъ хорошихъ людей». Катерина не такова: развязка ея любви при всей домашней обстановкѣ видна заранѣе, еще тогда, какъ она только подходитъ къ дѣлу. Она не занимается психологическимъ анализомъ, и потому не можетъ высказывать тонкихъ наблюденій надъ собою; что она о себѣ говоритъ, такъ ужъ это, значить, сильно даетъ ей знать себя. А она, при первомъ предложеніи Варвары о свиданіи ея съ Борисомъ, вскрикиваетъ: «нѣтъ, нѣтъ, не надо! что ты, сохрани Господи: *если я съ нимъ хоть разъ увижусь, я убью изъ дому, я ужъ не пойду домой ни за что на свѣтъ*»! Это въ ней не разумная предосторожность говорить, это—страсть; и ужъ видно, что какъ она себя ни сдерживала, а страсть выше ея, выше всѣхъ ея предразсудковъ и страховъ, выше всѣхъ внушеній, слышанныхъ ею съ дѣтства. Въ этой страсти заключается для нея вся жизнь; вся сила ея натуры, всѣ ея живыя стремленія сливаются здѣсь. Къ Борису влечетъ ее не одно то, что онъ ей нравится, что онъ и съ виду и по рѣчамъ не похожъ на остальныхъ, окружающихъ ее; къ нему влечетъ ее и потребность любви, не нашедшая себѣ отзыва въ мужѣ, и оскорбленное чувство жены и женщины, и смертельная тоска ея однообразной жизни и желаніе воли, простора, горячѣй, беззапретной свободы. Она все мечтаетъ, какъ бы ей «полетѣть невидимо, куда бы захотѣла»; а то такая мысль приходитъ: «кабы моя воля, каталась бы я теперь на Волгѣ; на лодкѣ, съ пѣснями, либо на тройкѣ на хорошей, обнявшись»... «Только не съ мужемъ», подсказываетъ ей Варя, и Катерина не можетъ скрыть своего чувства и сразу ей открывается, вопросомъ: «а ты почему знаешь?»

Видно, что замѣчаніе Варвары для нея самой объяснило многое: рассказывая такъ наивно свои мечты, она еще не понимала хорошенько ихъ значенія. Но одного слова достаточно, чтобы сообщить ей мыслямъ ту опредѣленность, которую она сама боялась имъ дать. До сихъ поръ она еще могла сомнѣваться, точно ли въ этомъ новомъ чувствѣ то блаженство, которое она такъ томительно ищетъ. Но разъ произнесши слово тайны, она уже и въ мысляхъ своихъ отъ нея не отступится. Страхъ сомнѣнія, мысль о грѣхѣ и о людскомъ судѣ, — все это приходитъ ей въ голову, но уже не имѣетъ надъ нею силы; это уже такъ, формальности, для очистки совѣсти. Въ монологѣ съ ключемъ (послѣднемъ во второмъ актѣ) мы видимъ женщину, въ душѣ которой опасный шагъ уже сдѣланъ, но которая хочетъ только какъ-нибудь «заговорить» себя. Она дѣлаетъ попытку стать нѣсколько въ сторону отъ себя и судить поступокъ, на который она рѣшилась, какъ дѣло постороннее; но мысли ея всѣ направлены къ оправданію этого поступка. «Вотъ, — говорить, — долго ли погибнуть-то... Въ неволѣ-то кому весело... Вотъ хоть я теперь — живу, маюсь, просвѣту себѣ не вижу... свекровь сокрушила меня»... и т. д. — все оправдательныя статьи. А потомъ еще облегчительныя соображенія: «видно ужъ судьба такъ хочетъ... Да какой же и грѣхъ въ этомъ, если я на него взгляну разъ... Да хоть и поговорю-то, такъ все не бѣда. А можетъ такого случая-то еще во всю жизнь не выйдетъ»... Этотъ монологъ возбудилъ въ нѣкоторыхъ критикахъ охоту иронизировать надъ Катериною, какъ надъ безстыжею ипокриткою; но мы не знаемъ большаго безстыдства, какъ увѣрять, будто бы мы, или кто-нибудь изъ нашихъ идеальныхъ друзей, не причастны такимъ сдѣлкамъ съ совѣстью... Въ этихъ сдѣлкахъ не личности виноваты, а тѣ понятія, которыя имъ вбиты въ голову съ малолѣтства и которыя такъ часто противны бываютъ естественному ходу живыхъ стремлений души. Пока эти понятія не выгнаны изъ общества, пока полная гармонія идей и потребностей природы не восстановлена въ человѣческомъ существѣ, до тѣхъ поръ подобныя сдѣлки неизбежны. Хорошо еще и то, если дѣлая ихъ, приходятъ къ тому, что представляется натурою и здравымъ смысломъ, и не падаютъ подъ гнетомъ условныхъ наставленій искусственной морали. Именно на это и стало силы у Катерины, и чѣмъ сильнѣе говорить въ ней натура, тѣмъ спокойнѣе смотритъ она въ лицо дѣтскимъ бреднямъ, которыхъ бояться приучили ее окружающіе. Поэтому намъ кажется даже, что артистка, исполняющая роль Катерины на петербургской сценѣ, дѣлаетъ маленькую ошибку, придавая монологу, о которомъ мы говоримъ, слишкомъ много жара и трагичности. Она очевидно хочетъ выразить борьбу, совершающуюся въ душѣ Катерины, и съ этой точки зрѣнія она передаетъ трудный монологъ превосходно. Но намъ кажется, что сообразнѣе съ характеромъ и положеніемъ Катерины въ этомъ случаѣ — придавать ей словамъ больше спокойствія и легкости. Борьба собственно уже кончена, остается лишь небольшое раздумье, старая ветошь покрываетъ еще Катерину, и она мало по

малу сбрасываетъ ее съ себя... Окончаніе монолога выдаетъ ея сердце: «будь, что будетъ, а я Бориса увижу», заключаетъ она, и въ забытіи предчувствія восклицаетъ: «ахъ, кабы ночь поскорѣй»!

Такая любовь, такое чувство не уживется въ стѣнахъ Кабановскаго дома, съ притворствомъ и обманомъ. Катерина хоть и рѣшилась на тайное свиданіе, но въ первый же разъ, въ восторгѣ любви, говоритъ Борису, увѣряющему, что никто ничего не узнаетъ. «Э, что меня жалѣть, никто не виновать,—сама на то пошла. Не жалѣй, губи меня! Пусть всѣ знаютъ, пусть всѣ видятъ, что я дѣлаю... Коли я для тебя грѣха не побоялась, побоюсь ли я людскаго суда»?.

И точно, она ничего не боится, кромѣ лишенія возможности видѣть ея избраннаго, говорить съ нимъ, наслаждаться съ нимъ этими лѣтними ночами, этими новыми для нея чувствами. Пріѣхалъ мужъ, и жизнь ей стала не въ жизнь. Надо было таиться, хитрить; она этого не хотѣла и не умѣла: надо было опять воротиться къ своей черствой, тоскливой жизни,—это ей показалось горче прежняго. Да еще надо было бояться каждую минуту за себя, за каждое свое слово, особенно передъ свекровью; надо было бояться еще и страшной кары для души... Такое положеніе невыносимо было для Катерины: дни и ночи она все думала, страдала, экзальтировала свое воображеніе, и безъ того горячее, и конецъ былъ тотъ, что она не могла вытерпѣть—при всемъ народѣ, столпившемся въ галлерей старинной церкви, покаялась во всемъ мужу. Первое движеніе его было страхъ, что скажетъ мать. «Не надо, *не говори, матушка здѣсь*», шепчетъ онъ растерявшись. Но мать уже прислушалась и требуетъ полной исповѣди, въ заключеніе которой выводитъ свою мораль: «что, сынокъ, *куда воля-то ведетъ*»?

Трудно, конечно, болѣе насмѣяться надъ здравымъ смысломъ, чѣмъ какъ дѣлаетъ это Кабаниха въ своемъ восклицаніи. Но въ «темномъ царствѣ» здравый смыслъ ничего не значитъ: съ «преступницею» приняли мѣры, совершенно ему противныя, но обычные въ томъ быту: мужъ, по повелѣнію матери, побилъ маленько свою жену, свекровь заперла ее на замокъ и начала ѣсть поѣдомъ... Кончены воля и покой бѣдной женщины: прежде хотъ ее попрекнуть не могли, хотъ могла она чувствовать свою полную правоту передъ этими людьми. А теперь вѣдь, такъ или иначе, она передъ ними виновата, она нарушила свои обязанности къ нимъ, принесла горе и позоръ въ семью; теперь самое жестокое обращеніе съ ней имѣетъ уже поводы и оправданіе. Что остается ей? Пожалѣть о неудачной попыткѣ вырваться на волю и оставить свои мечты о любви и счастья, какъ уже покинула она радужныя грезы о чудныхъ садахъ съ райскимъ пѣніемъ. Остается ей покориться, отречься отъ самостоятельной жизни и сдѣлаться безпрекословной угодницей свекрови, кроткою рабою своего мужа и никогда уже не дерзать на какія-нибудь попытки опять обнаружить свои требованія... Но нѣтъ, не таковъ характеръ Катерины; не за тѣмъ отразился въ ней новый

типъ, создаваемый русской жизнью, — чтобы сказаться только бесплодной попыткой и погибнуть послѣ первой неудачи. Нѣтъ, она уже не возвратится къ прежней жизни: если ей нельзя наслаждаться своимъ чувствомъ, своей волей вполне законно и свято, при свѣтѣ бѣлаго дня, передъ всѣмъ народомъ, если у нея вырываютъ то, что нашла она и что ей такъ дорого, она ничего тогда не хочетъ въ жизни, она и жизни не хочетъ. Пятый актъ «Грозы» составляетъ апофеозу этого характера, столь простого, глубокаго и такъ близкаго къ положенію и къ сердцу cadaго порядочнаго человѣка въ нашемъ обществѣ. Никакихъ ходуль не подставилъ художникъ своей героинѣ, онъ не далъ ей даже героизма, а оставилъ ее той же простой, наивной женщиной, какой она являлась передъ нами и до «грѣха» своего. Въ пятомъ актѣ у ней всего два монолога, да разговоръ съ Борисомъ; но они полны въ своей сжатости такой силы, такихъ многозначительныхъ откровеній, что, принявшись за нихъ, мы боимся закомментировать еще на цѣлую статью. Постараемся ограничиться нѣсколькими словами.

Въ монологахъ Катерины видно, что у ней и теперь нѣтъ ничего формулированнаго; она до конца водится своей натурой, а не заданными рѣшеніями, потому что для рѣшеній ей бы надо было имѣть логическія, твердыя основанія, а между тѣмъ всѣ начала, которыя ей даны для теоретическихъ разсужденій, рѣшительно противны ея натуральнымъ влеченіямъ. Оттого она не только не принимаетъ геройскихъ позъ и не произноситъ изреченій, доказывающихъ твердость характера, а даже, напротивъ — является въ видѣ слабой женщины, не умѣющей противиться своимъ влеченіямъ, и старается *оправдывать* тотъ героизмъ, какой проявляется въ ея поступкахъ. Она рѣшилась умереть, но ее страшитъ мысль, что это грѣхъ, и она какъ бы старается доказать намъ и себѣ, что ее можно и простить, такъ какъ ей ужъ очень тяжело. Ей хотѣлось бы пользоваться жизнью и любовью; но она знаетъ, что это — преступленіе, и потому говоритъ въ оправданіе свое: «что-жъ, ужъ все равно, ужъ душу свою я вѣдь погубила»? Ни на кого она не жалуется, никого не винить, и даже на мысль ей не приходитъ ничего подобнаго; напротивъ, она предъ всѣми виновата, даже Бориса она спрашиваетъ, не сердится ли онъ на нее, не проклинаетъ ли... Нѣтъ въ ней ни злобы, ни презрѣнія, ничего, чѣмъ такъ красуются обыкновенно разочарованные герои, самовольно покидающіе свѣтъ. Но не можетъ она жить больше, не можетъ, да и только; отъ полноты сердца говоритъ она: «ужъ измучилась я... Долго ль мнѣ еще мучиться? Для чего мнѣ теперь жить, — ну, для чего? Ничего мнѣ не надо, ничего мнѣ не мило, и свѣтъ Божій не милъ! — а смерть не приходитъ! Ты ее кличешь, а она не приходитъ. Что ни увижу, что ни услышу, только тутъ (показывая на сердце) больно». При мысли о могилѣ ей дѣлается легче, — спокойствіе какъ будто проливается ей въ душу. «Такъ тихо, такъ хорошо... А объ жизни и думать не хочется... Опять жить?... Нѣтъ, нѣтъ, не надо... не

хорошо. И люди мнѣ противны, и домъ мнѣ противенъ, и стѣны противны! Не пойду туда! Нѣтъ, нѣтъ, не пойду... Придешь къ нимъ—они ходятъ, говорятъ,—а на что мнѣ это>?... И мысль о горечи жизни, какую надо будетъ терпѣть, до того терзаетъ Катерину, что повергаетъ ее въ какое-то полугорячее состояніе. Въ послѣдній моментъ особенно живо мелькаютъ въ ея воображеніи всѣ домашніе ужасы. Она вскрикиваетъ: «а поймаютъ меня да воротятъ домой насильно!.. Скорѣй, скорѣй»... И дѣло кончено: она не будетъ болѣе жертвою бездушнѣйшей свекрови, не будетъ болѣе томиться взаперти, съ безхарактернымъ и противнымъ ей мужемъ. Она освобождена!..

Грустно, горько такое освобожденіе; но что же дѣлать, когда другого выхода нѣтъ... Хорошо, что нашлась въ бѣдной женщинѣ рѣшимость хоть на этотъ страшный выходъ. Въ томъ и сила ея характера, оттого-то «Гроза» и производитъ на насъ впечатлѣніе освѣжающее, какъ мы сказали выше. Безъ сомнѣнія, лучше бы было, если бы возможно было Катеринѣ избавиться другимъ образомъ отъ своихъ мучителей, или ежели бы эти мучители могли измѣниться и примирить ее съ собою и съ жизнью. Но ни то, ни другое—не въ порядкѣ вещей. Кабанова не можетъ оставить того, съ чѣмъ она воспитана и прожила цѣлый вѣкъ; безхарактерный сынъ ея не можетъ вдругъ, ни съ того ни съ сего, приобрести твердость и самостоятельность до такой степени, чтобы отречься отъ всѣхъ нелѣпностей, внушаемыхъ ему старухой; все окружающее не можетъ перевернуться вдругъ такъ, чтобы сдѣлать сладкою жизнь молодой женщины. Самое большее, что они могутъ сдѣлать, — это простить ее, облегчить нѣсколько тягость ея домашняго заключенія, сказать ей нѣсколько милостивыхъ словъ, можетъ быть подарить право имѣть голосъ въ хозяйствѣ, когда спросятъ ея мнѣнія. Можетъ быть, этого и достаточно было бы для другой женщины, забитой, безсильной, и въ другое время, когда самодурство Кабановыхъ покоилось на общемъ безгласіи и не имѣло столько поводовъ выказывать свое наглое презрѣніе къ здравому смыслу и всякому праву. Но мы видимъ, что Катерина не убила въ себѣ человѣческую природу и что она находится только внѣшнимъ образомъ, по положенію, своему, подъ гнетомъ самодурной жизни; внутренно же, сердцемъ и смысломъ—сознаетъ всю ея нелѣпость, которая теперь еще увеличивается тѣмъ, что Дикіе и Кабановы, встрѣчая себѣ противорѣчіе и не будучи въ силахъ побѣдить его, но желая поставить на своемъ, прямо объявляютъ себя противъ логики, то-есть ставятъ себя дураками предъ большинствомъ людей. При такомъ положеніи дѣлъ, само собою разумѣется, что Катерина не можетъ удовлетвориться великодушнымъ прощеніемъ отъ самодуровъ и возвращеніемъ ей прежнихъ правъ въ семьѣ: она знаетъ, что значить милость Кабановой и каковы могутъ быть права невѣстки при такой свекрови... Нѣтъ, ей бы нужно было не то, чтобы ей что-нибудь уступили и облегчили, а то, чтобы свекровь, мужъ, всѣ окружающіе—сдѣлались способны

удовлетворить тѣмъ живымъ стремленіямъ, которыми она проникнута, признать законность ея природныхъ требованій, отречься отъ всякихъ принудительныхъ правъ на нее и переродиться до того, чтобы сдѣлаться достойными ея любви и довѣрія. Нечего и говорить о томъ, въ какой мѣрѣ возможно для нихъ такое перерожденіе...

Менѣе невозможности представляло бы другое рѣшеніе—бѣжать съ Борисомъ отъ произвола и насилія домашнихъ. Несмотря на строгость формальнаго закона, несмотря на ожесточенность грубаго самодурства, подобные шаги не представляютъ невозможности сами по себѣ, особенно для такихъ характеровъ, какъ Катерина. И она не пренебрегаетъ этимъ выходомъ, потому что она не отвлеченная героиня, которой хочется смерти по принципу. Убѣжавши изъ дому, чтобы свидѣться съ Борисомъ, и уже задумывая о смерти, она однако вовсе не прочь отъ побѣга: узнавши, что Борисъ ѣдетъ далеко, въ Сибирь, она очень просто говоритъ ему: «возьми меня съ собой отсюда». Но тутъ-то и всплываетъ передъ нами на минуту камень, которой держитъ людей въ глубинѣ омута, названнаго нами «темнымъ царствомъ». Камень этотъ — матеріальная зависимость. Борисъ ничего не имѣетъ и вполне зависитъ отъ дяди — Дикого; Дикой съ Кабановыми уладили, чтобы его отправить въ Кяхту, и, конечно, не дадутъ ему взять съ собой Катерину. Оттого онъ и отвѣчаетъ ей; «нельзя, Катя; не по своей волѣ я ѣду, дядя посылаетъ, ужъ и лошади готовы», и пр. Борисъ — не герой, онъ далеко не стоитъ Катерины. Она и полюбила-то его больше на безлюдьи. Онъ хватилъ «образованія», и никакъ не справится ни съ старымъ бытомъ, ни съ сердцемъ своимъ, ни съ здравымъ смысломъ, — ходитъ, точно потерянный. Живетъ онъ у дяди потому, что тотъ ему и сестрѣ его долженъ часть бабушкина наслѣдства отдать, «если они будутъ къ нему почтительны». Борисъ хорошо понимаетъ, что Дикой никогда не признаетъ его почтительнымъ и, слѣдовательно, ничего не дастъ ему; да этого мало, Борисъ такъ разсуждаетъ: «нѣтъ, онъ прежде наломается надъ нами, наругается всячески, какъ его душѣ угодно, а кончить все-таки тѣмъ, что не дастъ ничего, или такъ какую-нибудь малость, да еще станетъ разсказывать, что изъ милости далъ, что и этого бы не слѣдовало». А все-таки онъ живетъ у дяди и сноситъ его ругательства: зачѣмъ?—неизвѣстно. При первомъ свиданіи съ Катериной, когда она говоритъ о томъ, что ее ждетъ за это, Борисъ прерываетъ ее словами: «ну, что объ этомъ думать, благо намъ теперь хорошо». А при послѣднемъ свиданіи плачется: «кто жъ это зналъ, что намъ за нашу любовь такъ мучиться съ тобой! Лучше бы бѣжать мнѣ тогда!» Словомъ, это одинъ изъ тѣхъ весьма нерѣдкихъ людей, которые не умѣютъ дѣлать того, что понимаютъ, и не понимаютъ того, что дѣлаютъ. Типъ ихъ много разъ изображался въ нашей беллетристикѣ — то съ преувеличеннымъ состраданіемъ къ нимъ, то съ излишнимъ ожесточеніемъ противъ нихъ. Островскій даетъ ихъ намъ такъ, какъ они есть, и съ особеннымъ, свойственнымъ ему умѣньемъ

рисуетъ двумя-тремя чертами ихъ полную незначительность, хотя, впрочемъ, не лишенную извѣстной степени душевнаго благородства. О Борисѣ нечего распространяться; онъ, собственно, долженъ быть отнесенъ тоже къ *обстановкѣ*, въ которую попадаетъ героиня пьесы. Онъ представляетъ одно изъ обстоятельствъ, дѣлающихъ необходимымъ фатальный конецъ ея. Будь это другой человѣкъ и въ другомъ положеніи, тогда бы и въ воду бросаться не надо. Но въ томъ-то и дѣло, что среда, подчиненная силѣ Дикихъ и Кабановыхъ, производитъ обыкновенно Тихоновъ и Борисовъ, неспособныхъ воспрянуть и принять свою человѣческую природу, даже при столкновеніи съ такими характерами, какъ Катерина. Мы сказали выше нѣсколько словъ о Тихонѣ; Борисъ—такой же въ сущности, только «образованный». Образование отняло у него силу дѣлать пакости,—правда; но оно не дало ему силы противиться пакостямъ, которыя дѣлаютъ другіе; оно не развило даже въ немъ способности такъ вести себя, чтобы оставаться чуждымъ всему гадкому, что кишитъ вокругъ него. Нѣтъ, мало того, что не противодѣйствуетъ,—онъ подчиняется чужимъ гадостямъ, онъ волей-неволей участвуетъ въ нихъ и долженъ принимать всѣ ихъ послѣдствія. Но онъ понимаетъ свое положеніе, толкуетъ о немъ и нерѣдко даже обманываетъ, на первый разъ, истинно-живыя и крѣпкія натуры, которыя, судя по себѣ, думаютъ, что если человѣкъ такъ думаетъ, такъ понимаетъ, то такъ долженъ и дѣлать. Смотря съ своей точки, этакія натуры не затруднятся сказать «образованнымъ» страдальцамъ, удаляющимся отъ горестныхъ обстоятельствъ жизни: «возьми и меня съ собой, я пойду за тобою всюду». Но тутъ-то и окажется безсиліе страдальцевъ; окажется, что они и не предвидѣли, и что они проклинали себя, и что они рады бы, да нельзя, и что воли у нихъ нѣтъ, а главное—что у нихъ нѣтъ ничего за душою, и что для продолженія своего существованія они должны служить тому же самому Дикому, отъ котораго вмѣстѣ съ нами хотѣли бы избавиться.

Ни хвалить, ни бранить этихъ людей нечего; но нужно обратить вниманіе на ту практическую почву, на которую переходитъ вопросъ; надо признать, что человѣку, ожидающему наслѣдства отъ дяди, трудно сбросить съ себя зависимость отъ этого дяди, и затѣмъ надо отказаться отъ излишнихъ надеждъ на племянниковъ, ожидающихъ наслѣдства, хотя бы они и были «образованы» по самое нельзя. Если тутъ разбирать виноватаго, то виноваты окажутся не столько племянники, сколько дяди, или, лучше сказать, ихъ наслѣдство.

Впрочемъ, о значеніи матеріальной зависимости, какъ главной основы всей силы самодуровъ въ «темномъ царствѣ», мы пространно говорили въ нашихъ прежнихъ статьяхъ. Поэтому здѣсь только напоминаемъ объ этомъ, чтобы указать рѣшительную необходимость того фатальнаго конца, какой имѣетъ Катерина въ «Грозѣ», и, слѣдовательно, рѣшительную необходимость характера, который бы, при данномъ положеніи, готовъ былъ къ такому концу.

Мы уже сказали, что конецъ этотъ кажется намъ отраднымъ; легко понять, почему: въ немъ данъ страшный вызовъ самодурной силѣ, онъ говоритъ ей, что уже нельзя итти дальше, нельзя долѣе жить съ ея насильственными, мертвящими началами. Въ Катеринѣ видимъ мы протестъ противъ кабановскихъ понятій и нравственности, протестъ, доведенный до конца, провозглашенный и подъ домашней пыткой, и надъ бездной, въ которую бросилась бѣдная женщина. Она не хочетъ мириться, не хочетъ пользоваться жалкимъ прозябаніемъ, которое ей даютъ въ обмѣнъ за ея живую душу. Ея гибель—это осуществленная пѣснь плѣна вавилонскаго: играйте и пойте намъ пѣсни сіонскія,—говорили Іудеямъ ихъ побѣдители; но печальный пророкъ отозвался, что не въ рабствѣ можно пѣть священные пѣсни родины, что лучше пусть языкъ ихъ прилипнетъ къ гортани и руки отсохнутъ, нежели примутся они за гусли и запоютъ сіонскія пѣсни на потѣху владыкъ своихъ. Несмотря на все свое отчаяніе, эта пѣснь производитъ высоко-отрадное, мужественное впечатлѣніе: чувствуешь, что не погибъ бы народъ еврейскій, если бы весь и всегда одушевленъ былъ такими чувствами...

Но и безъ всякихъ возвышенныхъ соображеній, просто по человѣчеству, намъ отрадно видѣть избавленіе Катерины—хоть черезъ смерть, коли нельзя иначе. На этотъ счетъ мы имѣемъ въ самой драмѣ страшное свидѣтельство, говорящее намъ, что жить въ «темномъ царствѣ» хуже смерти. Тихонъ, бросаясь на трупъ жены, вытащенный изъ воды, кричитъ въ самозабвеніи: «хорошо тебѣ, Катя! А я-то зачѣмъ остался жить на свѣтѣ да мучиться!» Этимъ восклицаніемъ заканчивается пьеса, и намъ кажется, что ничего нельзя было придумать сильнѣе и правдивѣе такого окончанія. Слова Тихона даютъ ключъ къ уразумѣнію пьесы для тѣхъ, кто бы даже и не понялъ ея сущности ранѣе; они заставляютъ зрителя подумать уже не о любовной интригѣ, а обо всей этой жизни, гдѣ живые завидуютъ умершимъ, да еще какимъ—самоубійцамъ! Собственно говоря, восклицаніе Тихона глупо: Волга близко, кто же мѣшаетъ и ему броситься, если жить тошно? Но въ томъ-то и горе его, то-то ему и тяжело, что онъ ничего, рѣшительно ничего сдѣлать не можетъ, даже и того, въ чемъ признаетъ свое благо и спасеніе. Это нравственное растлѣніе, это уничтоженіе человѣка дѣйствуетъ на насъ тяжелѣе всякаго, самаго трагическаго происшествія: тамъ видишь гибель одновременную, конецъ страданій, часто избавленіе отъ необходимости служить жалкимъ орудіемъ какихъ-нибудь гнусностей; а здѣсь—постоянную, гнетущую боль, расслабленіе, полутрупъ, въ теченіе многихъ лѣтъ согнивающій заживо... И думать, что этотъ живой трупъ—не одинъ, не исключеніе, а цѣлая масса людей, подверженныхъ тлетворному вліянію Дикихъ и Кабановыхъ. И не чаять для нихъ избавленія—это, согласитесь, ужасно! За то какою же отрадною, свѣжею жизнью вѣетъ на насъ здоровая личность, находящая въ себѣ рѣшимость покончить съ этой гнилою жизнью, во что бы то ни стало!..

На этомъ мы и кончаемъ. Мы не говорили о многомъ—о сценѣ ночного свиданія, о личности Кулигина, не лишенной тоже значенія въ пьесѣ, о Варварѣ и Кудряшѣ, о разговорѣ Дикого съ Кабановой, и пр., и пр. Это оттого, что наша цѣль была указать общій смыслъ пьесы, и, увлекаясь общимъ, мы не могли достаточно входить въ разборъ всѣхъ подробностей. Литературные судьи останутся опять недовольны: мѣра художественнаго достоинства пьесы недостаточно опредѣлена и выяснена, лучшія мѣста не указаны, характеры второстепенные и главные не отдѣлены строго, а всего пуще—искусство опять сдѣлано орудіемъ какой-то посторонней идеи!.. Все это мы знаемъ, и имѣемъ только одинъ отвѣтъ: пусть читатели разсудятъ сами (предполагая, что всѣ читали или видѣли «Грозу»),—*точно ли идея,—указанная нами,—совсѣмъ посторонняя «Грозѣ», навязанная нами насильно, или же она дѣйствительно вытекаетъ изъ самой пьесы, составляетъ ея сущность и опредѣляетъ прямой ея смыслъ?..* Если мы ошиблись, пусть намъ это докажутъ, дадутъ другой смыслъ пьесѣ, болѣе къ ней подходящій... Если же наши мысли сообразны съ пьесою, то мы просимъ отвѣтить еще на одинъ вопросъ: *точно ли русская живая натура выразилась въ Катеринѣ, точно ли русская обстановка во всемъ, ее окружающемъ, точно ли потребность возникающаго движенія русской жизни сказалась въ смыслѣ пьесы, какъ она понята нами?* Если «нѣтъ», если читатели не признаютъ здѣсь ничего знакомаго, родного ихъ сердцу, близкаго къ ихъ насущнымъ потребностямъ, тогда, конечно, нашъ трудъ потерянъ. Но ежели «да», ежели наши читатели, сообразивъ наши замѣтки, найдутъ, что точно русская жизнь и русская сила вызваны художникомъ въ «Грозѣ» на рѣшительное дѣло, и если они почувствуютъ законность и важность этого дѣла, тогда мы довольны, что бы ни говорили наши ученые и литературные судьи.

La Confession d'un poète, par Nicolas Sémenow. Paris 1860.
(Исповѣдь поэта, сочин. *Николая Семенова*. Парижъ.)

Все, что написано по-французски, принадлежитъ собственно къ французской литературѣ и потому, по настоящему, не должно бы имѣть мѣста въ *русской* библіографіи. Но мы питаемъ большую нѣжность къ нашимъ соотечественникамъ, на какомъ бы языкѣ они ни говорили, и никакъ не хотимъ уступить ихъ иноземцамъ. Г. Кокоревъ, графъ Соллогубъ, Наркисъ Атрѣшковъ, Николай-де-Жеребцовъ, инженеръ-полковникъ Комаровъ и другіе французскіе литераторы изъ русскихъ остаются постоянно близки нашему сердцу не менѣе тѣхъ русскихъ писателей, которые простираютъ свое презрѣ-

ніе къ иностраннымъ языкамъ до того что *Blinde Kuh* переводятъ «слѣпая корова»... Нашъ патріотизмъ такъ великъ, что никакой языкъ, даже языкъ статей г. Аполлона Григорьева, не помѣшаетъ намъ тотчасъ признать нашего соотечественника, гдѣ бы мы его ни встрѣтили, не только въ Парижѣ, но даже въ первомъ и третьемъ отдѣленіи Санктпетербургской Академіи Наукъ. Не упрекайте же насъ за намѣреніе разбирать въ числѣ русскихъ книгъ французское сочиненіе г. Семенова.

Въ отношеніи къ этому автору мы имѣемъ, впрочемъ, и другія причины, почему обращаемъ на него вниманіе. Главная причина та, что намъ жаль юный (можетъ, онъ и старый, но изъ учтивости всегда говорится—юный) талантъ, до сихъ поръ не нашедшій себѣ достойной оцѣнки. Представьте себѣ, молодой россійскій юноша ощутилъ вдругъ призваніе къ творчеству и неразлучное съ нимъ стремленіе къ славѣ. Онъ горитъ желаніемъ раскрыть свою душу предъ цѣлымъ міромъ. Россія, какъ ни огромно ея протяженіе, тѣсна для него, удивленія семидесяти милліоновъ, говорящихъ по-русски, мало ему... Онъ хочетъ заявить себя предъ Европой, онъ желаетъ поразить блескомъ своего генія весь образованный міръ. И вотъ онъ прибѣгаетъ къ всемірному языку—сочиняетъ книжку по-французски, спѣшитъ въ Парижъ, печатаетъ свою рукопись въ великолѣпной типографіи Дюбюиссона въ *Rue-Soc-Néon*, можетъ быть самой литературной изъ парижскихъ улицъ, нѣчто въ родѣ Армянскаго переулка въ Москвѣ,—отдаетъ свою книжку на попеченіе г. *Amiot*, раздѣляющаго съ Франкомъ любовь нашихъ соотечественниковъ, и ждетъ, что заговорить о немъ Европа. Онъ имѣетъ всѣ шансы для прославленія своего имени: лучшіе изъ соотечественниковъ прочтутъ его по-французски скорѣе, чѣмъ если бы онъ писалъ по-русски; въ мнѣніи каждаго порядочнаго русскаго, романъ его будетъ заранѣе выигрывать 50 процентовъ уже потому, что онъ идетъ изъ Парижа; кромѣ того, сокровища таланта русскаго автора доступны теперь для удивленія всѣхъ образованныхъ людей Европы; но особенно важно то, что новое французское твореніе должно вызвать похвалы парижской прессы; а такъ какъ извѣстно, что журналистика всего міра повторяетъ то, что говорится въ Парижѣ, то, безъ всякаго сомнѣнія, имя г. Семенова скоро разнесется во всѣ концы вселенной и прогремитъ въ обоихъ полушаріяхъ.

Такъ, конечно, рассчитывалъ юный романистъ и, можетъ быть, въ мечтахъ своихъ возносился уже выше Вандомской колонны, противъ которой помѣщается книжный магазинъ г. Амьо, его издателя. Судите же, каково должно быть его разочарованіе: прошло около года послѣ изданія его романа, и никто не заикнулся о немъ. Парижская пресса прошла его молчаніемъ, и онъ можетъ рассчитывать развѣ попасть въ будущій *Annuaire des deux Mondes*, который съ особенной любовью занимается состояніемъ русской науки и литературы, считая въ числѣ главныхъ ея представителей гг. Лешкова и Луганскаго, или, какъ онъ выражается, *Leschkoff* и *Louganski*.

Г. Семеновъ ждалъ всемірной славы, а ея-то и нѣтъ... Мало того, и сама Россія осталась до сихъ поръ въ невѣдѣніи о твореніи, давшемъ Европѣ новое доказательство русскаго генія. Русскіе журналы заняты были поздними сожалѣніями о томъ, что Россія потеряла г-жу Свѣчину, столь благодѣтельно дѣйствовавшую на развитіе истинной цивилизаціи за-границей; но никто не пожалѣлъ о томъ, что русскіе читатели, не знающіе по-французски, лишены счастья познакомиться съ талантомъ г. Семенова... Мало того, даже въ петербургскіе салоны не проникъ розовый томикъ г. Семенова, несмотря даже на то, что онъ многократно и съ особенной настоятельностью обращается къ свѣтскимъ дамамъ и молодымъ джентльменамъ. Правда, онъ пепелитъ ихъ молніями своего гнѣва, но тѣмъ интереснѣе долженъ бы онъ казаться: поэтъ во гнѣвѣ!... Вѣдь это море въ бурю! И если вы стоите на берегу, въ полной безопасности, какъ же не полюбоваться на величественное явленіе природы!... Но *habent sua fata libelli*—глубокомысленно замѣтили бы мы, если бы назначали свою рецензію для «Отечественныхъ Записокъ». Несмотря на всѣ шансы успѣха, книжка г. Семенова прошла незамѣченною, и уже перешла теперь на толкучіе рынки Латинскаго квартала, гдѣ продается за четверть цѣны. По всему видно, что нашего романиста постигла участь Матрены, которую обезсмертилъ Крыловъ въ одномъ изъ своихъ комментаріевъ на собственные басни:

И сдѣлалась Матрена
Ни пава, ни ворона.

Отъ русской литературы г. Семеновъ бѣжалъ, а французская не признала его.

Такъ не будетъ же этого,—сказали мы сами себѣ:—мы не допустимъ погибнуть въ безвѣстности нашего соотечественника, не оставимъ его ни въ тѣхъ, ни въ сѣхъ! Если французскія павы не хотятъ признать его, то мы будемъ благороднѣе ихъ и убѣдимъ русскую литературу принять г. Семенова въ свою среду, какъ настоящую кровную ворону!...

Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ пробѣжать романъ, чтобы увидѣть, что авторъ его, хотя и пишетъ по-французски, но по своимъ понятіямъ, стремленіямъ и сочувствіямъ остался истинно-русскимъ человѣкомъ, принадлежащимъ къ нашему лучшему обществу. Чтобы убѣдить васъ въ этомъ, мы расскажемъ вкратцѣ содержаніе «Исповѣди поэта», предполагая, что вы имѣете несчастье до сихъ поръ еще не знать ея.

Надо замѣтить прежде всего, что г. Семеновъ говоритъ не отъ своего имени, а отъ имени нѣкотораго поэта, по имени Евгенія. Сужденіе самого автора о его героѣ можно находить въ заключительномъ письмѣ его друга, графа Н. По мнѣнію графа, «сердце Евгенія заключало въ себѣ сокровища доброты и благородства, горячую любовь къ истинѣ и справедливости; онъ былъ страстенъ и

порывистъ; ненависть его, если онъ ненавидѣлъ, доходила до изступленія; но этотъ недостатокъ искупался въ немъ тысячами достоинствъ: онъ былъ прямодушенъ, мужественъ, какъ его предки, безкорыстенъ, преданъ, тѣмъ кого любилъ, до того, что готовъ былъ жертвовать для нихъ всѣмъ, даже жизнью. Но, что особенно отличало его, это духъ изумительной правоты, свободной отъ всякихъ предразсудковъ, и поэтический ароматъ, исходявшій изъ его души» (стр. 214). Итакъ, вотъ съ кѣмъ вы имѣете дѣло: этотъ изумительный Евгеній, это совершенство въ нѣкоторомъ родѣ—разсказываетъ вамъ исторію своего сердца.

На балѣ *mademoiselle* Евлаліи, содержанки вышеупомянутаго графа N* (какъ видно, г. Семеновъ хотѣлъ дать Европѣ понятіе о нашей гласности, и потому многія лица въ своемъ романѣ не означаетъ, иначе какъ только буквами), — Евгеній влюбился въ прелестную испанку, Инесу, которую содержалъ баронъ Ризенштейнъ. Вы не пугайтесь, что дѣло начинается такъ прозаически: сейчасъ же дойдетъ и до поэзіи. Испанка дала Евгенію свой альбомъ, чтобъ онъ импровизировалъ въ него стихи. Онъ сначала-было окрысился, потому что «смѣшно же воспѣвать прелестные глазки *d'une courtisane*» — какъ это приличнѣе сказать по-русски—мы ужъ и не знаемъ. Но такъ какъ Евгеній—человѣкъ *bien élevé*, то онъ и не могъ сдѣлать невѣжливости — даже куртизанкѣ—и взялъ альбомъ, съ намѣреніемъ, однакоже, написать испанкѣ *quelque bonne méchanceté*. Эта *bonne méchanceté* весьма удачно импровизирована была имъ изъ нѣсколькихъ общихъ мѣстъ, до сихъ поръ, впрочемъ, принимаемыхъ за остроуміе въ извѣстномъ кругѣ общества. Чтобы дать вамъ понятіе о томъ, какъ нашъ поэтъ (или г. Семеновъ — на сей разъ это все равно) мастерски владѣетъ французскимъ языкомъ и стихомъ, мы выписываемъ его импровизацію.

L'amour est cher à Pétersbourg.
Aux yeux de plus d'une sirène
Bourse vide est preuve certaine
D'un manque de cœur et d'amour.

Or, je suis un trop pauvre hère,
Et pour qui t'aime, ange malin,
La bourse a tort d'être légère
Alors que le cœur est trop plein.

Je dissimule en vain ma plaie
Sous les replis d'un madrigal.
C'est pour l'amour triste monnaie,
Quand il demande un capital.

Отдавши испанкѣ альбомъ, поэтъ удалился и пошелъ играть въ карты. Но черезъ часъ пошелъ ее отыскивать. Онъ ее нашелъ въ

дальней, слабо освѣщенной комнатѣ, читающую его стихи и плачущую. Произошло, разумѣется, объясненіе, изъ котораго оказалось, что испанка имѣетъ возвышенныя чувства, вовсе не торгуетъ собою, любить Евгенія, но только не хочетъ обманывать своего любовника... Объясненіе было прервано на самомъ интересномъ мѣстѣ; но тѣмъ не менѣе дѣло было кончено. Испанки, какъ извѣстно всѣмъ, даже не читавшимъ писемъ В. П. Боткина, страстны и рѣшительны; слѣдовательно, ничего нѣтъ удивительнаго, что Инеса на другое же утро бросила свою великолѣпную квартиру, продала мебель, отослала вырученныя деньги къ Ризенштейну, своему бывшему любовнику, наняла маленькую квартиру, и къ вечеру прибѣжала къ Евгенію съ объявленіемъ, что она его навѣки. Вотъ что значить поэзія, особенно такая, въ которой поэтъ называетъ себя *«un raucge hère»*, избѣгая такимъ образомъ вульгарнаго *raucge diable* и въ то же время счастливо приближаясь къ языку Шиллера и Гёте!...

Все было прекрасно, несмотря на то, что *raucge hère* былъ дѣйствительно небогатъ: онъ получалъ сто цѣлковыхъ въ мѣсяцъ отъ своихъ родителей, а остальное приходило ему случайно—то при счастливой игрѣ, то за удачныя стишки. Испанка, однакоже, не тяготилась своимъ положеніемъ, потому что безъ ума была отъ Евгенія и его талантовъ. Но поэтъ всегда найдетъ себѣ причину печали: онъ вздумалъ тосковать о томъ, что Инеса досталась ему не дѣвою!.. Надо сказать, что онъ самъ какъ *«jeune homme élégant et distingué»*, по его собственному признанію, имѣлъ-таки на своемъ вѣку не одну интрижку, и даже не задолго до встрѣчи съ Инесою только-что бросилъ какую то княгиню С*. Связь его съ этой княгиней не была тайною, и Инеса знала про нее, но (по своей испорченности, очевидно) и не думала оскорбляться этимъ и ревновать прошедшее своего Евгенія. Но поэтъ нашъ не изъ такихъ: нося въ сердцѣ своемъ «горячую любовь къ истинѣ и справедливости», онъ питаетъ, какъ видно, не менѣе горячую любовь и къ кое-чему другому,—онъ не можетъ никакъ примириться съ мыслью, что «другой владѣлъ его Инесою, другой покрывалъ это прекрасное тѣло своими ласками». Вслѣдствіе того, «одно утро, держа ее въ своихъ объятіяхъ, онъ былъ охваченъ холоднымъ бѣшенствомъ, безумнымъ желаніемъ задушить ее»... Къ счастью, на этотъ разъ смертоубійственное намѣреніе не исполнилось, и мысли поэта приняли другой оборотъ, хотя въ томъ же разрушительномъ направленіи: ему захотѣлось во что бы то ни стало убить Ризенштейна. Онъ не могъ только придумать приличнаго предлога для дуэли... Но, къ счастью, оказалось, что баронъ одержанъ былъ той же, истинно-нѣмецкой страстью—убивать своихъ ближнихъ. Такимъ образомъ, въ то самое время, какъ Евгений обдумывалъ проектъ ссоры съ барономъ, предупредительный нѣмецъ самъ къ нему явился и безъ всякихъ предисловій освѣдомился, не желаетъ ли поэтъ драться съ нимъ. Поэтъ отвѣчалъ: «съ величайшимъ удовольствіемъ», и на другой день они

дрались и, разумѣется, Евгеній убилъ Ризенштейна (иначе бы и романа продолжать нельзя было). Послѣ дуэли произошла прелестная сцена. Ночь передъ дуэлью Евгеній провелъ съ Инесой; въ семь часовъ утра, когда она еще спала, онъ отправился; покончивъ дѣло, онъ вернулся къ ней и засталъ ее за чаемъ. «Зачѣмъ ты сегодня такъ рано поднялся и ушелъ»? спросила она его. — «Я дрался съ Ризенштейномъ и убилъ его», отвѣчалъ поэтъ. — «Правда»? спросила она. — «Честное слово»! отвѣчалъ онъ. — «О, благодарю», воскликнула она и бросилась ему на шею... Потомъ они принялись, конечно, за чай...

Послѣ этого происшествія поэтъ съ испанкою стали жить спокойнѣе, только поэтъ надѣлалъ долговъ. Чтобъ заплатить ихъ, онъ написалъ романъ; романъ не годился. Но редакторъ журнала, куда Евгеній адресовался, былъ человѣкъ, какихъ мало даже между журналистами, благороднѣйшими людьми въ мірѣ, какъ извѣстно. Онъ сказалъ поэту: «вашъ романъ плохъ, и надо думать, что вы очень стѣснены въ дѣлахъ, если рѣшились подписать ваше имя подъ такимъ произведеніемъ: вотъ же вамъ тысяча рублей, которые вы желали получить за вашъ романъ. Мы съ вами сочтемся, когда вы напишете что-нибудь достойное васъ». Подобный героизмъ, рисковавшій быть принятымъ за самую оскорбительную иронию, — исполнилъ радостью и признательностью сердце поэта. Онъ взялъ деньги, — разумѣется, съ твердымъ намѣреніемъ немедленно отплатить за нихъ геніальнымъ твореніемъ, и жилъ нѣсколько времени спокойно съ своей Инесой: Проживши деньги и не написавши ничего, онъ рѣшился вступить въ службу, съ жалованьемъ 500 рублей въ годъ. Это было не много, но все-таки... Неизвѣстно, сколько бы времени продлилось счастье поэта, если бъ не помѣшали его родители. Они пріѣхали изъ провинціи въ Петербургъ, узнали, разумѣется, исторію своего сына, и въ одинъ день, когда поэтъ попросилъ у отца денегъ впередъ, отецъ принялся убѣждать его — оставить Инесу. Поэтъ сказалъ, что лучше пусть возьмутъ жизнь его. Послѣ отца, принялась мать за дѣло; поэтъ былъ непоколебимъ. Правда, что резоны родителей не отличались особенной убѣдительностью. «Мы увѣрены, что она превосходная женщина, потому что ты не полюбилъ бы такъ сильно женщину обыкновенную. Но повѣрь, что ея любовь не стоитъ любви твоихъ родителей; а мы принуждены будемъ отвратить отъ тебя наше сердце, если ты не разорвешь этой связи»... Вотъ что говорили они своему сыну. Онъ бы могъ, конечно, спросить ихъ: въ силу какихъ же соображеній отвращается отъ него ихъ сердце за то, что онъ любитъ прекрасную женщину? Но ему не пришло этого въ голову, или, лучше сказать, онъ въ глубинѣ души совершенно понималъ и даже одобрялъ соображенія своихъ родителей; единственный аргументъ его противъ нихъ состоялъ въ томъ, что онъ съ Инесою достойны были составить исключеніе изъ общаго правила... Такимъ образомъ, онъ довелъ своихъ родителей до того, что они отказались давать ему его жалованье — 100 цѣлковыхъ, и обѣщали лишить наслѣдства.

Онъ побѣждалъ къ Инесѣ рассказать ей все. Она посоветовала ему обмануть родителей, сказавши, что онъ ее бросилъ; онъ тотчасъ ощутилъ благородное негодованіе, на которое она отвѣчала, что не могутъ же они жить вдвоемъ на 500 рублей, которые онъ получаетъ въ департаментѣ, и что если онъ не умѣетъ для нея достать больше, то она не хочетъ для него жить на чердакѣ. Само собою разумѣется, что эти слова обнаружили поэту всю ничтожность и гнусность его возлюбленной; онъ бросился отъ нея къ своимъ родителямъ и объявилъ, что покончилъ съ нею. Родители заплатили его долги, благословили его и уѣхали изъ Петербурга съ облегченнымъ сердцемъ. Но сынъ не могъ утѣшиться, и черезъ мѣсяцъ, когда Инеса явилась къ нему просить прощенія и соглашалась переносить съ нимъ бѣдность,—онъ не могъ устоять. Онъ написалъ родителямъ, что отказывается отъ ихъ денегъ,—конечно, не отъ тѣхъ, которые пошли въ уплату долговъ его, а на будущее время,—и рѣшился жить съ Инесою на 500 р. въ годъ. Лѣто они прожили отлично, къ осени пришли нужды и долги,—Инеса захворала; къ поэту пріѣхала тетушка и во что бы то ни стало задумала женить его на богатой невѣстѣ—дѣвицѣ Даровой. Евгенийъ сначала уперся, но потомъ, имѣя въ виду свое стѣсненное положеніе, нашель, что это наилучшій возможный выходъ. Свои мысли на этотъ счетъ сообщилъ онъ Инесѣ, объяснивъ, конечно, что все это дѣлается для ея счастія. Она отвѣчала; «что дѣлать, если нѣтъ другого выхода; но только это очень тяжело. Не лучше ли, если я наймусь въ какой-нибудь магазинъ? Тогда я тебѣ не буду стоять такъ много». Поэтъ нашель средство, предлагаемое Инесою, неудовлетворительнымъ, и рѣшился обдѣлать свои дѣла съ дѣвицею Даровой. Для этого онъ немедленно нашель денегъ взаймы, на обновленіе своего гардероба, и нанялъ квартиру уже отдѣльно отъ Инесы. Несмотря на то, слухи о связи его дошли до дѣвицы Даровой чрезъ нѣкоего господина Равенфельса; узнавъ объ этомъ, поэтъ написалъ къ нему письмо, начинавшееся словами: «вы подло оклеветали меня», и оканчивавшееся требованіемъ, чтобъ онъ отказался отъ клеветы, подѣ страхомъ, въ противномъ случаѣ, получить публичную пощечину. Равенфельсъ отрекся, и все обдѣлалось благополучно. Къ довершенію своего удовольствія, поэтъ нашель возможность доставлять развлеченія Инесѣ: графъ N., его другъ, предложилъ ей ложу въ театрѣ и всякія увеселенія вмѣстѣ съ его любовницею. Все шло, стало быть, какъ нельзя лучше. Одно только беспокоило поэта: онъ сталъ замѣчать, что Инеса уже не такъ радостно встрѣчаетъ его, не такъ пламенно ласкаетъ, какъ прежде. Къ тому же онъ однажды встрѣтилъ у нея князя N* (не смѣшивайте съ вышереченнымъ графомъ N*), молодого красавца и богача, великолѣпнѣйшаго изъ петербургскихъ Донъ-Жуановъ. Вы, безъ сомнѣнія, предчувствуете, что случилось?... Да, читатели, трагическая развязка явилась: однажды, поздно вечеромъ, пришелъ поэтъ къ своей Инесѣ, ждалъ ея возвращенія съ бала, ждалъ цѣлую ночь—и дождался только въ

девять часовъ утра... Сдерживая свое бѣшенство, онъ спросилъ ее, зачѣмъ она такъ рано вышла сегодня утромъ; она отвѣтила, что выходила на минуту къ кому-то возлѣ; тогда онъ уличилъ ее въ вѣроломствѣ и проклялъ! Она умоляла, она плакала, она объясняла, что князь N* напоилъ ее и заставилъ потерять сознание. Поэтъ былъ непреклоненъ въ своемъ гнѣвѣ! Инеса внушала ему неодолимое отвращеніе... Да и какъ иначе! Помилуйте, онъ, поэтъ Евгений, съ своею чистою душою, со всѣми сокровищами своего сердца, удостоилъ полюбить ее, — ее, «чье тѣло другой покрывалъ уже прежде него своими ласками»; онъ столько сдѣлалъ для ея счастья — убилъ другого, написалъ плохой романъ, поссорился съ благоразумными родителями. даже... даже рѣшился жениться на дѣвицѣ Даровой, которую не любилъ... А она, — вѣроломная, безсовѣстная Инеса! — она позволила себѣ слушать любезности красавца Донъ-Жуана, рѣшилась съ нимъ ужинать, рѣшилась... впрочемъ, правда, послѣ ужина она ужъ ни на что не рѣшалась: она потеряла сознание... Но все равно: тѣмъ хуже для нея. Поэтъ никогда не проститъ ей подобнаго цинизма, ибо любить истину и справедливость и отличается отъ простыхъ смертныхъ поэтическимъ ароматомъ, истекающимъ изъ души его. На этотъ разъ ароматъ былъ силенъ: поэтъ далъ Инесѣ *coup de pied* такой энергическій, что она *alla rouler à l'autre bout de la chambre*. Затѣмъ написалъ покаянное письмо къ любезнымъ родителямъ и сдѣлался боленъ: родители пріѣхали къ покаившемуся блудному сыну. Инеса тоже раскаялась и написала къ поэту письмо, съ мольбами — не проклинать и простить ее. Но онъ не смягчился: преступленіе ея было ужъ слишкомъ велико! Поэтому онъ отвѣчалъ ей: «я васъ не прощаю и не проклиная, потому что я слишкомъ презираю васъ». Восхищенный такимъ отвѣтомъ, отецъ поэта увезъ его къ себѣ въ провинцію.

Затѣмъ идетъ не очень интересный для насъ рассказъ о жизни поэта въ провинціи и за-границей. Въ провинціи онъ завелъ-было интрижку съ *madame R.*, въ Москвѣ имѣлъ связь съ княгиней О., которую бросилъ черезъ мѣсяцъ, чтобы ѣхать за-границу. Путь лежалъ черезъ Петербургъ. Здѣсь Евгений узналъ, что Инеса на содержаніи у князя N., и получилъ уже къ ней совершенное омерзеніе. Она поймала его въ маскарадѣ, начала-было просить прощенія, но онъ не далъ ей выговорить слова, обругалъ самымъ отчаяннымъ манеромъ и ушелъ, задыхаясь отъ гнѣва. Исполнивъ этотъ долгъ совѣсти, онъ отправился за-границу. Здѣсь онъ продолжалъ грустить объ Инесѣ, хотя уже нерѣдко, «увлеченный красотою какой-нибудь римлянки или венеціанки, забывалъ Инесу въ ихъ объятіяхъ». Но настоящій праздникъ сердца былъ для него въ Испаніи: андалузянки, одна другой плѣнительнѣе, заставляли его забывать одну для другой; онъ переѣзжалъ изъ Гренады въ Малагу, изъ Малаги въ Севилью, и пр., утопать въ наслажденіяхъ любви съ новыми избранницами... Но въ Севильѣ онъ былъ обезпокоенъ письмомъ Инесы, которая, какъ оказалось, вразумлена была строгими рѣчами поэта и

искупила свою вину: она бросила князя N., принялась содержать себя работой, разстроила свое здоровье и давно бы умерла съ голоду, если бы не нашла помощи у графа N., друга Евгения. Теперь графъ и Инеса просили Евгения пріѣхать и простить преступницу передъ ея смертью. Поэтъ немедленно явился, простилъ, и Инеса умерла съ спокойной совѣстью. Затѣмъ поэтъ перевезъ ея бренные останки въ свою деревню, наслѣдованную имъ отъ дяди, и черезъ годъ съ небольшимъ самъ тихо угасъ отъ грусти по своей Инесѣ, которую въ глубинѣ своего сердца не переставалъ любить, несмотря на всѣ ея преступленія. Передъ смертью онъ почувствовалъ вдохновеніе и сочинилъ французскіе стихи, отъ которыхъ мы избавляемъ читателей.

Романъ на этомъ кончается; но у него есть мораль, въ видѣ письма графа N. къ одному изъ общихъ друзей о смерти Евгения. Здѣсь-то находимъ мы описаніе высокихъ качествъ поэта, приведенное нами выше; здѣсь же передаются и окончательныя, зрѣлыя сужденія поэта о людяхъ, о добродѣтеляхъ и порокахъ, и въ особенности о женщинахъ. Сущность этихъ сужденій состоитъ въ томъ, что не слѣдуетъ быть слишкомъ жестокимъ къ потеряннѣмъ женщинамъ, ибо онѣ по большей части не получили возвышенныхъ идей при своемъ воспитаніи и впадаютъ въ порокъ по невѣдѣнію или по необходимости. Прочитавъ это, мы нашли, такъ сказать, ключъ къ нравственному смыслу, сокрытому въ романѣ. Мы увидѣли, что въ примѣрѣ Инесы представляется намъ возможность добрыхъ чувствъ даже въ такомъ глубокомъ омутѣ развращенія, въ какой неоднократно впадала прекрасная испанка. Такая идея показалась намъ истинно-гуманною, благородною и возвышенною. Мы, признаемся, порадовались за то, что нашъ соотечественникъ выступаетъ передъ Европою представителемъ такихъ прогрессивныхъ понятій... «Вотъ, молъ, каковы наши! Смотрите и поучайтесь! Многіе ли у васъ дошли до той высоты цивилизаціи, которая выражается въ романѣ г. Николая Семенова?... Послѣ этого и говорите, что русскіе варвары, что мы отстали въ цивилизаціи! Извините, мы перегнали васъ»!...

Полные справедливой патріотической гордости вслѣдствіе такихъ мыслей, мы дали прочитать романъ г. Семенова одной французкѣ, въ надеждѣ возбудить ея удивленіе къ нашей цивилизаціи вообще, и къ поэту г. Семенова въ особенности. Надежды наши оправдались, только не совсѣмъ такъ, какъ мы ожидали. Французка, прочитавъ «Исповѣдь поэта», точно почувствовала удивленіе и, отдавая намъ книгу, сказала:

— Я не знаю русскаго общества; но никогда не думала я, чтобъ въ немъ до сихъ поръ господствовали такіе варварскіе нравы и понятія...

— Какъ-такъ?—воскликнули мы, и тотчасъ предположили: вѣрно наша цивилизація зашла ужъ такъ далеко, что европейцы не въ со-

стояніи даже понять ее! Но оказалось, что и тутъ наше предположеніе было не вполне вѣрно.

— Какъ же иначе думать о васъ,—продолжала француженка.— Вы мнѣ даете автора, который пишетъ русскую повѣсть по-французски, значить, хочетъ сказать что-нибудь любопытное и новое— не только для русскихъ, но и для другихъ націй, напримѣръ и для насъ, бѣдныхъ французовъ. Что же онъ намъ говоритъ? Онъ показываетъ намъ, какъ диковинку, что въ женщинѣ, бывшей нѣсколько разъ на содержаніи у разныхъ лицъ, могутъ сохраниться добрыя расположенія. Онъ бы лучше принялся доказывать, что человѣкъ, обѣдавшій каждый день въ теченіе тридцати лѣтъ, тѣмъ не менѣе сохраняетъ и на тридцать-первомъ году потребность ѣсть, и умереть съ голоду, если не поѣсть какихъ-нибудь дней десять. Это было бы столько же ново и умно!... Повѣрьте, что у насъ вы не найдете человѣка, который бы сомнѣвался въ истинѣ, съ такимъ трудомъ открытой вашимъ авторомъ... У насъ уже никто не говоритъ объ этомъ, такъ какъ никто не хочетъ прослыть пошлякомъ. Но еще это куда бы ни шло: у васъ цивилизація такъ нова, что вамъ простительно говорить съ эмфазомъ всякія пошлости, которыя у насъ всякій понимаетъ безъ словъ (можете представить, какъ меня коробило при такихъ комплиментахъ!)... Но я никакъ не думала, чтобъ вы до сихъ поръ стояли на такихъ отсталыхъ пошлостяхъ, да и тѣхъ хорошенько не понимали... Никогда я не думала, чтобъ допотопные азіатскіе взгляды на женщину до сихъ поръ были въ такомъ ходу у васъ, какъ мнѣ показалъ вашъ прелестный романистъ...

— Однако,—возразилъ я,—гдѣ же вы нашли слѣды азіатскихъ взглядовъ? По моему мнѣнію, поэтъ г. Семенова—человѣкъ образованный, прогрессивный, передовой, можно сказать, во всѣхъ отношеніяхъ...

Француженка принялась хохотать; я принялъ обиженную физиономію, какъ человѣкъ, обиженный въ святѣйшихъ своихъ интересахъ. Тогда француженка вошла въ азартъ и съ чрезвычайной живостью стала мнѣ говорить слѣдующее:

— Ну, не права ли жъ я была, сказавъ, что азіатскія понятія у васъ господствуютъ? Если вы называете поэта г. Семенова передовымъ человѣкомъ, то что жъ другіе-то? По вашему, стало быть, ужъ и это много, что онъ, послѣ всего, что сдѣлала и вытерпѣла для него любимая женщина, рѣшился простить ее? Можетъ быть, у васъ нашлись бы такіе, которые бы и этого не сдѣлали? Да, судя по роману и по вашимъ словамъ, можно думать, что дѣйствительно такъ. Вѣдь родители Евгенія требовали жъ, чтобъ ихъ сынъ бросилъ Инесу, хотя она и прекрасная женщина... Какой резонъ, какое право имѣли они для такого требованія? Они говорили, что такая женщина скоро утѣшится съ другимъ, а Евгеній увѣрялъ, что нѣтъ, но всѣ были согласны, что если утѣшится, то будетъ недостойной и преступной женщиной... О, какая мораль, какой нравственный кодексъ!... Да понимаете ли вы, сколько дикости самой

свирѣпой заключается въ такихъ разсужденіяхъ?... Вѣдь это турецкіе паши, — ваши благовоспитанные люди, — «передовые», какъ вы говорите!... Мало того, что они требуютъ любви и вѣрности въ настоящемъ, сами позволяя себѣ всевозможныя уклоненія, въ родѣ женитьбы вашего поэта, — нѣтъ, они простираютъ свои посягательства и на прошедшее и на будущее любимой женщины, — все-таки не принимая за то никакихъ обязательствъ на себя... Нѣтъ, это хуже, чѣмъ турки... Турокъ покупаетъ женщину, какъ вещь, и имѣетъ логичность — продолжать смотрѣть на нее какъ на вещь. Если продавецъ надулъ его и продалъ вещь не въ томъ видѣ, какъ говорилъ, — турокъ не вымещаетъ этого на самой вещи, а винить продавца; если женщина надоѣла ему, онъ ее бросаетъ или перепродаетъ; онъ ее ужъ, по крайней мѣрѣ, и не считаетъ преступницей за то, что она будетъ принадлежать другому. У васъ турецкія понятія, какъ я вижу, вполне сохранились: вы смотрите на женщину, какъ на вещь, которая должна *принадлежать* мужчине; вы находите, что мужчина есть властелинъ, имѣющій полное право для своей забавы купить, похитить, обольстить и потомъ бросить женщину... Это все у васъ называется «шалостями», немножко побольше сбиванія цвѣтныхъ головокъ тросточкою въ саду, немножко поменьше разорѣнія птичьихъ гнѣздъ... Ну, что же, — если женщины позволяютъ до сихъ поръ такъ поступать съ собой, такъ и пользуйтесь ихъ слабостью: на то вы турки, на то вы азіаты... Но зачѣмъ же вы къ этому примѣшиваете какія-то высшія требованія? Какъ вы можете быть столько нелѣпы, чтобы считать, на примѣръ, для женщины обязательною любовь къ вамъ, послѣ того, какъ вы ее бросите? Да если бъ Евгеній вашъ былъ человѣкъ сколько-нибудь развитой и порядочный, онъ бы сказалъ своимъ родителямъ и себѣ самому прежде всего: «конечно, если я Инесу брошу, то она должна утѣшиться съ кѣмъ-нибудь другимъ; глупо и смѣшно было бы требовать, чтобы она вѣчно обо мнѣ плакала, и если бъ это случилось, то не имѣло бы даже особенной заслуги, а только показало бы нѣкоторую особенность ея характера. Но изъ того, что она утѣшится, вовсе не слѣдуетъ, что ея чувства не истинны и не прочны, что ими можно играть по моей прихоти». Зеркала, вазы, статуэтки, и другія вещи, украшающія наши комнаты, конечно, разлетятся въ дребезги, если въ нихъ пускать каменьями; но кто же въ этомъ виновать? Зеркало сдѣлано, чтобы смотрѣться въ него, а не за тѣмъ, чтобы въ него камни бросать. Такъ и женщина, и любовь, — онѣ вѣдь существуютъ вовсе не за тѣмъ, чтобы вы производили надъ ними свои свирѣпыя опыты... Если мужчина, для испытанія вѣрности своей возлюбленной, станетъ ее бить, морить голодомъ, ухаживать за другой, а къ ней подпустить одного изъ своихъ друзей — богача и красавца, умнаго и ловкаго Ловеласа, и будетъ потомъ въ претензіи, что она ему измѣнила, — я назову такого мужчину сумасшедшимъ... Нѣтъ, мало того, въ цивилизованномъ народѣ и сумасшествія такого не можетъ быть, — надо прибавить, что это сума-

спешій изъ варваровъ, изъ дикихъ... Чтобы удостовѣриться въ достоинствѣ своихъ часовъ, онъ ихъ хлопъ изо всей силы о камень, и увѣряетъ, что они никуда не годятся, потому что скомкались и разбились отъ удара... И какъ же это вы до сихъ поръ еще не понимаете и не знаете, что любовь, какъ дружба, какъ жалованье, какъ слава, какъ все на свѣтѣ, должна быть заслуживаема и поддерживаема. Вы ничего не дѣлаете, бьете баклуши и вините родъ человѣческій за то, что онъ вамъ не собираетъ національной подписки, не строитъ великолѣпныхъ дворцовъ и виллъ, не задаетъ вамъ каждый день праздниковъ, а просто-на-просто оставляетъ васъ едва съ кускомъ хлѣба. Да помилуйте, вы должны еще и за этотъ кусокъ быть благодарны:—и его вы не заслужили... Вѣроятно у васъ есть люди, которые, ничего не дѣлая, считают себя въ правѣ пользоваться всѣмъ, чѣмъ другіе, и даже больше? Это должно быть такъ, судя по вашимъ воззрѣніямъ на любовь. Вы все хотите получить и сохранить, не обязывая себя ни къ чему. Вы не храните себя въ юности для первой избранницы вашего сердца, вы очень свободно удовлетворяете первому физическому желанію, даже часто прежде, чѣмъ оно сдѣлается очень настоящимъ. Но отъ женщины вы требуете, чтобы она себя хранила для васъ отъ начала до конца своей жизни. Если она созрѣла, желанія проснулись, она встрѣчаетъ человѣка, который имъ способенъ удовлетворить, который ей нравится, она должна, по вашему, или бѣжать отъ этого человѣка (созерцая въ туманѣ васъ, ея будущаго обладателя), или же отдать ему всю свою жизнь, навѣки, несмотря на все, что потомъ случится. Онъ ее броситъ, она почувствуетъ новыя расположенія, ея понятія выростутъ и расширятся, — все равно: она должна оставаться вѣрна своему первому увлеченію, своему первому господину, — иначе вы ее обвините въ измѣнѣ, въ непостоянствѣ, въ дурномъ поведеніи, вы на нее смотрите какъ на преступницу... Ну, скажите пожалуйста, на что это похоже. Гдѣ же тутъ взаимность, гдѣ тутъ равенство отношеній между двумя любящими существами, давно признанное у насъ въ Европѣ и извѣстное также и вамъ, какъ вы говорите? Поэтъ вашъ мѣсяца не можетъ прожить, чтобы не завести интрижки, и отъ этого вовсе не считаетъ себя недостойнымъ обладать Инесой. Напротивъ, онъ полагаетъ, что дѣлаетъ ей милость, возвращаясь къ ней... А она... для нея онъ не находитъ достаточно обидныхъ словъ, чтобы выразить всю ея гнусность, когда она сошлась съ другимъ послѣ того, какъ онъ ее бросилъ!.. Бесовѣстный человѣкъ! Да онъ долженъ былъ бы сгорѣть отъ стыда, когда она стала со слезами просить у него прощенья за одинъ такой поступокъ, какихъ онъ зналъ за собою десятки! Если ужъ человѣческое сознаніе такъ глубоко спало въ немъ прежде, такъ хотъ бы оно проснулось!.. Но нѣтъ, вѣрно ужъ это не его вина, а вина вашихъ нравовъ: онъ не только имѣлъ безстыдство смотрѣть ей прямо въ глаза при этомъ,— онъ нашелъ въ себѣ дикую силу обругать ее!.. О, какая гадость, какая гнусность!.. И послѣ этого, по мнѣнію вашего автора, Инеса

могла продолжать любить его!.. Нѣтъ. извините меня,—если бъ это была русская барышня, я бы ничего не могла вамъ говорить, но Инеса не русская, она не могла не почувствовать величайшаго отвращенія къ безстыдству и безсердечію вашего поэта... Вѣроятно, г. Семеновъ изобразилъ всю эту исторію въ такомъ видѣ потому, что такое развитіе всего сообразнѣе съ вашими нравами. Но повѣрьте мнѣ, что для насъ, французовъ, тутъ есть нравственная невозможность: никогда французъ не позволитъ себѣ такого турецкаго суда надъ женщиной, и никогда француженка не протянетъ руки чловѣку, имѣвшему несчастье показаться передъ нею такимъ бессмысленнымъ и безнравственнымъ животнымъ. Мы имѣемъ, конечно, свои недостатки относительно семейнаго устройства, но, по крайней мѣрѣ, у насъ нѣтъ такихъ дикихъ взглядовъ на женщину, какими отличаются у васъ «передовые» люди, подобные поэту г. Семенова. У насъ женщина не собственность, а въ настоящемъ смыслѣ подруга мужчины, и потому о прошедшемъ ея онъ заботится лишь настолько, насколько оно касается настоящаго. Конечно, женщину, еще сохранившую любовь къ другому, мужчина можетъ упрекать, зачѣмъ она сошлась съ нимъ, не оставивъ прежняго чувства. Но далѣе этого мы нейдѣмъ; ревности къ прошедшему, страсти обладать женщиной исключительно во всѣ времена, у насъ уже нѣтъ. Мы умѣемъ пользоваться настоящимъ. Бывало, препятствіемъ къ счастью влюбленныхъ служило даже прошедшее ихъ отцовъ и дѣдовъ: если у него былъ дѣдъ маркизъ, а у нея мѣщанинъ, или наоборотъ, то считалось для нихъ безчестнымъ сходиться. Теперь это осталось только какъ рѣдкое исключеніе у нѣкоторыхъ глупыхъ фамилій. Потомъ, прошедшее самой женщины было большимъ препятствіемъ для счастья; но французы могутъ гордиться тѣмъ, что они вышли и изъ этого предразсудка раньше и рѣшительнѣе другихъ. Теперь, впрочемъ, только у васъ, я думаю, эта нелѣпость и осталась... Скажите, какъ вы сходитесь съ мужчинами? Вы имѣете, на примѣръ, прогрессивныя мнѣнія; сходясь съ чловѣкомъ тѣхъ же мнѣній, вы требуете, чтобъ онъ непремѣнно съ дѣтства имѣлъ ихъ, или нѣтъ? Если онъ воспитанъ былъ въ отсталыхъ, жалкихъ понятіяхъ и перешелъ черезъ множество разныхъ системъ, чтобы дойти до истины,—вы отвергаете его? Вы ревнуете, зачѣмъ онъ первый жаръ своей юной души посвятилъ на защиту мнѣній недостойныхъ, и вслѣдствіе того считаете его преступнымъ, отказываете ему въ вашемъ уваженіи?... Вѣроятно, нѣтъ... Отчего же вы не хотите приложить того же къ женщинѣ? Вѣдь вы признаете, что молодая дѣвушка можетъ имѣть чувства и желанія? Если она имъ удовлетворяетъ, но неудачно, такъ что потомъ должна искать другихъ удовлетвореній,—дѣлаетъ ли она преступленіе? Вы говорите, что эта переменна удовлетворенія всегда ведетъ къ развращенію; я не понимаю этого. Есть дѣвушки, которыя такъ воспитаны, что уже съ десяти лѣтъ думаютъ о томъ, какъ бы повыгоднѣе продать себя,—однѣ въ замужество, другія—такъ. Если онѣ съ этимъ расчетомъ и остаются на всю жизнь, то, конечно,

это женщины безъ сердца, женщины развратныя, съ которыми сходиться нехорошо и опасно. Но вы знаете, конечно, какъ дѣлается большая часть первыхъ «паденій» женщины. Ловкость, лукавство и наглость мужчины приходятъ на подмогу къ естественной потребности любви въ дѣвушкѣ, и она отдается, — чисто, искренно, довѣрчиво... Ничего нѣтъ легче, какъ обольстить дѣвушку, для человѣка наглаго; но что же тутъ позорнаго для нея-то? И какой же мужчина, знающій эти дѣла, захочетъ тиранить бѣдную женщину за то, что онъ ее встрѣтилъ не раньше, а позже другого? Если она ему нравится своей личностью и характеромъ, то какая же ему надобность до того, что къ ней прежде его прикасался кто-нибудь? Неужели вы до сихъ поръ такъ скотски-чувственны, что для васъ всего дороже маленькая особенность физическаго акта?... У насъ это вывелось... У насъ умѣютъ уважать чувства женщины, и самолюбіе мужчины удовлетворяется не тѣмъ, что онъ сумѣлъ воспользоваться первой неопытностью, а тѣмъ, если онъ умѣетъ внушить серьезное чувство женщинѣ, уже узнавшей жизнь и мужчинъ, и потому гораздо болѣе осмотрительной и разборчивой. Впрочемъ, чтожъ я вамъ это толкую? Вы должны знать это хоть по французской литературѣ. Право женщины на ея чувства и полная законность ихъ, обязанность мужчины давать любовь за любовь и не придавать увлеченіямъ женщины громаднхъ размѣровъ въ сравненіи съ его собственными — все это было темою сотни романовъ. Послѣ Манонъ Леско, я думаю, произведенія въ этомъ смыслѣ не прерывались до послѣдняго времени... И послѣ этого, на томъ же самомъ языкѣ вашъ господинъ Семеновъ рассказываетъ намъ безстыдное поведеніе своего поэта, выставляя его еще благороднымъ... Да вѣрно онъ не читалъ толкомъ ни одной французской книги! Онъ хоть бы въ Беранже заглянулъ: изъ однѣхъ его пѣсень онъ понялъ бы, куда ушли наши взгляды, и постыдился бы писать свою казацкую чепуху»!..

Въ безсвязныхъ и порывистыхъ, отчасти обидныхъ для насъ, но вовсе безвредныхъ словахъ француженки, я понялъ ясно только слѣдующее: что Европа гніетъ, французская нація развращена до мозга костей, француженки потеряли всякое нравственное чувство, и г. Семеновъ напрасно потратилъ свой талантъ на вразумленіе такихъ глубоко падшихъ народовъ, какъ всѣ европейцы, знающіе по-французски и, слѣдовательно, напитанные идеями аббата Прево и Беранже. Послѣ этого я надѣюсь, что если г. Семеновъ еще не издалъ своего новаго романа «Profil de Don Juan moderne», возвращеннаго на оберткѣ «Исповѣди поэта», то онъ и не издастъ его по-французски, а переведетъ на родной языкъ, для назиданія отечественной публики.

1861.

ЗАБИТЫЕ ЛЮДИ.

(Сочиненія *Θ. М. Достоевскаго*. Два тома. Москва. 1860 г.)

Униженные и оскорбленные, романъ въ 4-хъ частяхъ.
Θ. М. Достоевскаго. «Время», 1861 г. № I—VII.

«Опять о забитыхъ личностяхъ! Мало еще было толковано о нихъ въ «Темномъ царствѣ», мало вообще надоѣдалъ ими «Современникъ» въ своемъ критическомъ отдѣлѣ! И вѣдь пришла же человѣку въ голову безобразная мысль—превратить дѣло художественной критики въ патологическіе этюды о русскомъ обществѣ... Вотъ хоть бы теперь: на очереди стоитъ чрезвычайно важный для искусства вопросъ о сущности и степени творческаго таланта одного изъ замѣчательнѣйшихъ дѣятелей нашей литературы, вопросъ тѣмъ болѣе интересный, что о немъ, въ теченіе пятнадцати лѣтъ, были высказаны самыя разнообразныя мнѣнія. Появленіе «Бѣдныхъ людей» было встрѣчено величайшимъ восторгомъ всей литературной партіи, признавшей Гоголя; Бѣлинскій провозгласилъ, что хотя г. Достоевскій и многимъ обязанъ Гоголю, какъ Лермонтовъ Пушкину, но что тѣмъ не менѣе, онъ—самъ по себѣ вовсе не подражатель Гоголя, а талантъ самобытный и громадный. Онъ началъ такъ, прибавлялъ Бѣлинскій, какъ не начиналъ еще ни одинъ изъ русскихъ писателей. Мало того,—Бѣлинскій пророчествовалъ такимъ образомъ: «талантъ г. Достоевскаго принадлежитъ къ разряду тѣхъ, которые постигаются и признаются не вдругъ. Много, въ продолженіе его по-

прищя, явится талантовъ, которыхъ будутъ противопоставлять ему, но кончится тѣмъ, что о нихъ забудутъ именно въ то время, когда онъ достигнетъ апогея своей славы» («Отечественныя Записки» 1846 г. № III, стр. 20). Это было писано еще въ то время, когда въ ходу были повѣсти гг. Солмогуба, Луганскаго, Гребенки и т. п.; г. Гончаровъ еще не появлялся тогда съ «Обыкновенной исторіей»; гг. Тургеневъ и Григоровичъ едва напечатали нѣсколько незначительныхъ рассказовъ; объ Островскомъ, Писемскомъ, Толстомъ и другихъ, впослѣдствіи прославившихся писателяхъ, не было еще ни слуху ни духу. Прошло съ тѣхъ поръ еще три года: новые писатели возникали и пріобрѣтали себѣ почетную извѣстность; г. Достоевскій все продолжалъ писать, и ни одно изъ его новыхъ произведеній не сравнилось съ первою его повѣстью. Въ половинѣ 1849 года литературная дѣятельность его прекратилась, и литература не выразила при этомъ особенныхъ сожалѣній. Если въ теченіе десятилѣтняго молчанія г. Достоевскаго иногда и вспоминали о немъ, то развѣ за тѣмъ, чтобы посмѣяться надъ собственнымъ простодушіемъ, съ которымъ производили его въ геніи за первую повѣсть, и о непомѣрномъ самолюбіи, до котораго довело его общее поклоненіе. Но два года тому назадъ, г. Достоевскій снова появился въ литературѣ, хотя имя его было уже слишкомъ блѣдно предъ новыми свѣтилами, загорѣвшимися на горизонтѣ русской словесности въ послѣднее десятилѣтіе. Въ эти два года онъ напечаталъ четыре большихъ произведенія, и объ нихъ еще не произнесенъ безпристрастный судъ критики. Теперь именно и предстоитъ для критика задача—опредѣлить, насколько развился и возмужалъ талантъ г. Достоевскаго, какія эстетическія особенности представляетъ онъ въ сравненіи съ новыми писателями, которыхъ еще не могла имѣть въ виду критика Бѣлинскаго, какими недостатками и красотами отличаются его новыя произведенія и на какое дѣйствительно мѣсто ставятъ они его въ ряду такихъ писателей, какъ гг. Гончаровъ, Тургеневъ, Григоровичъ, Толстой и пр. Критику предстоитъ художественный вопросъ, существенно важный для исторіи нашей литературы,—а онъ собирается толковать о забытыхъ людяхъ,—предметъ даже вовсе не эстетическомъ».

Всякій разъ, какъ я начинаю писать критическую статью, меня начинаютъ осаждать требованія и возгласы подобнаго рода. По мнѣнію одного критика, мнѣ отъ нихъ нѣтъ другого спасенія, какъ признаться откровенно, что рѣшеніе вопросовъ подобной важности—мнѣ не подъ силу. Я бы, пожалуй, и готовъ признаться; но вѣдь это, во-первыхъ, для самолюбія обидно, а во-вторыхъ—зачѣмъ же мнѣ клепать на себя? Разумѣется, критика должна служить приложеніемъ вѣчныхъ законовъ искусства къ частному произведенію, должна, какъ въ зеркалѣ, представить достоинства и недостатки автора, указать ему вѣрный путь, а читателямъ—мѣста, которыми они должны или не должны восхищаться. Такова вѣдь должна быть настоящая критика? Да, но знаете ли, что чистая теорія критики,

такъ же точно неприложима бываетъ, какъ теорія о томъ, какъ сдѣлаться богатымъ и счастливымъ, или какъ пріобрѣсти любовь женщинъ. Еще ежели попадетъ такая теорія на человѣка, имѣющаго всѣ шансы нравиться женщинамъ, ежели придется теорія богатства и счастья по человѣку умѣренному, аккуратному, искательному и ловкому,—такъ, пожалуй, будетъ и на дѣло похоже: у такого человѣка есть залогомъ на счастье и богатство, приближающіе его къ принципамъ книжной теоріи. А что, какъ эта мораль изъ прописей, предлагаемая подъ видомъ «руководства къ счастливой и богатой жизни» и состоящая въ томъ, что «будь бережливъ», «никогда не давай воли своимъ страстямъ», «довольствуйся малымъ», «сноси терпѣливо всѣ оскорбленія отъ тѣхъ, отъ кого находишься въ зависимости», и пр. т. п.,—что, ежели эта мораль будетъ примѣняема къ натурѣ горячей, расточительной, безпокойной? Вѣдь не стоитъ тогда и изучать теорію счастья, точно такъ, какъ не стоитъ робкому и безобразному старцу заниматься изученіемъ «искусства нравиться женщинамъ», когда тамъ на первомъ планѣ стоятъ развязность, молодость и благообразіе, ежели уже не красота. То же самое и съ критикой: хорошо, если вамъ попадается произведеніе, приближающееся хоть сколько-нибудь къ идеальнымъ требованіямъ, имѣющее какіе-нибудь шансы «быть долговѣчнымъ и счастливымъ», т. е. составить собою что-нибудь самобытное, замѣчательное, не по отношенію къ какимъ-нибудь другимъ интересамъ, а по своему внутреннему достоинству. Тогда можно и съ эстетической точки зрѣнія заняться имъ, можно и въ художественныя тонкости пуститься, и всѣ пятнышки въ немъ прослѣдить. Да это сдѣлается тогда само собою, по тому же невольному чувству, по которому вы хлопчете, чтобы прекрасной картинѣ дано было хорошее освѣщеніе, и невольно дѣлаете движеніе, чтобы согнать съвшую на нея муху... Но подымать вѣчные законы искусства, толковать о художественныхъ красотахъ по поводу созданій современныхъ русскихъ повѣствователей—это (да простятъ мнѣ г. Анненковъ и всѣ его послѣдователи!) такъ же смѣшно, какъ развивать теорію генераль-баса въ поощреніе тапѣра, не сбивающагося съ такта, или пуститься въ изложеніе математической теоріи вѣроятностей по поводу ошибки ученика, невѣрно рѣшившаго уравненіе первой степени.

Для людей, которые всѣ уткнулись въ «свою литературу», для которыхъ нѣтъ другихъ событій общественной жизни, кромѣ выхода новой книжки журнала, дѣйствительно долженъ казаться громадно-важнымъ ихъ муравейникъ. Зная только отвлеченныя теоріи искусства (имѣвшія, впрочемъ, когда-то свое жизненное значеніе), да занимаясь сравненіемъ повѣстей г. Тургенева, на примѣръ, съ повѣстями г. Шишкина, или романовъ г. Гончарова съ романами г. Карновича,—точно немудрено прійти въ паѳосъ и воскликнуть:

Такой-то муравей былъ силы непомѣрной...

Но повѣрьте, что только праздные люди могутъ толпиться около этого муравья и по цѣлымъ часамъ любоваться, какъ онъ показываетъ свою силу. У большинства людей есть свои занятія, и если имъ любопытно подчасъ видѣть проявленіе силы, то ужъ не такой-же.

Я бы хотѣлъ здѣсь поговорить о размѣрахъ силы, проявляющейся въ современной русской беллетристикѣ, но это завело бы слишкомъ далеко... Лучше ужъ до другого раза. Предметъ этотъ никогда не уйдетъ. А теперь обращусь собственно къ г. Достоевскому и, главное, къ его послѣднему роману, чтобы спросить читателей: забавно было бы или нѣтъ, заниматься эстетическимъ разборомъ такого произведенія?

Романъ г. Достоевскаго очень недуренъ, до того недуренъ, что едва ли не его только и читали съ удовольствіемъ, чуть ли не о немъ только и говорили съ полною похвалою... Явился было ему соперникъ въ «Чужомъ имени» г. Ахшарумова, но со второй же части, говорятъ, обнаружилась въ этомъ романѣ такая неблаговидная пошлость во вкусѣ романовъ Полевого, что читатели бросили романъ недочитаннымъ. «Бѣдные дворяне» г. Потѣхина тоже, говорятъ, остались далеко позади «Униженныхъ и оскорбленныхъ». Словомъ сказать, романъ г. Достоевскаго до сихъ поръ представляетъ лучшее литературное явленіе нынѣшняго года. А попробуйте примѣнить къ нему правила строго-художественной критики.

Большая часть нашихъ читателей, конечно, знаетъ содержаніе «Униженныхъ и оскорбленныхъ». Поэтому постараюсь изложить главные черты романа въ самыхъ короткихъ словахъ.

Разсказъ веденъ отъ лица Ивана Петровича, «неудавшагося литератора». Герой романа—князь Валковскій. Иванъ Петровичъ воспитанъ у помѣщика Ихменева, который вмѣстѣ съ тѣмъ управляетъ и сосѣднимъ имѣніемъ князя Валковскаго. Валковскій очень довѣряетъ Ихменеву и даже посылаетъ къ нему подъ надзоръ въ деревню 19-лѣтняго сына своего Алешу, накутившаго что-то въ Петербургѣ. Но черезъ годъ князь пріѣхалъ въ имѣніе, поссорился съ Ихменевымъ,—по наговорамъ, будто тотъ интриговалъ, чтобы женить Алешу на своей 17-лѣтней дочери, Наташѣ,—отнялъ у него управленіе имѣніемъ, сдѣлалъ на него начесть и завелъ процессъ. Для «хожденія по дѣлу» Ихменевъ переѣхалъ въ Петербургъ. Вотъ завязка романа.

Въ Петербургѣ, конечно, Ихменевы встрѣтили Ивана Петровича; онъ страстно влюбился въ Наташу, она въ него, они объяснились между собою и съ родителями, получили радостное согласіе и свѣтъ—подождать годикъ, пока Иванъ Петровичъ заработаетъ себѣ что-нибудь побольше теперешняго. Но, между тѣмъ, Алеша тоже началъ бывать у Ихменевыхъ, тайкомъ отъ отца; старики его принимали ласково, потому что онъ и въ 21 годъ былъ милымъ и незлобнымъ ребенкомъ. Онъ влюбился въ Наташу, а Наташа въ него,—да такъ, что въ одинъ прекрасный вечеръ бѣжала къ нему изъ дома

родительскаго. Иванъ Петровичъ все это зналъ, всему помогалъ, переносилъ вѣсти отъ дочери къ родителямъ, отъ родителей къ дочери, и пр. Но скоро дѣятельность его раздвояется: онъ поселился въ квартирѣ одного старика, умершаго на его рукахъ; къ старику ходила внучка, дѣвочка лѣтъ 13, Нелли; явилась она и къ Ивану Петровичу, но, не найдя дѣдушки, тотчасъ убѣжала. Иванъ Петровичъ успѣлъ ее выслѣдить, спасъ ее отъ развратной женщины, которая уже продала было ее какому-то кутилѣ, и поселилъ у себя. Съ этихъ поръ Иванъ Петровичъ мечется безпрестанно отъ Нелли къ Наташѣ и отъ Наташи къ Нелли. Между тѣмъ, князь Валковскій, видя, что сынъ не отстаётъ отъ Наташи, выдумалъ остроумное средство: пріѣхалъ къ Наташѣ и при немъ же попросилъ ея согласія на замужество съ его сыномъ. Всѣ были очень рады такому обороту дѣла, но вѣтренный Алеша, въ которомъ только препятствія еще и поддерживали любовь, совсѣмъ теперь успокоился насчетъ Наташи, сталъ пропадать по нѣскольку дней, ѣздить по баламъ, и уже безъ всякаго принужденія знакомиться и сходитьсѣ съ невѣстой, которую приготовилъ ему отецъ. Черезъ нѣсколько дней онъ, разумѣется, влюбился въ нее такъ же страстно, какъ и въ Наташу, а еще черезъ нѣсколько дней убѣдился, что онъ ее любитъ болѣе Наташи. Расчетъ князя-отца оказался вѣренъ; его скоро поняла и Наташа и очень энергически, какъ по писанному, все высказала князю. Князь обидѣлся и за то черезъ нѣсколько дней весьма цинически и съ приправою разныхъ оскорбленій высказалъ то же самое, то есть признался во всѣхъ своихъ расчетахъ Ивану Петровичу. Между прочимъ, пріѣхавъ къ нему въ квартиру, князь увидалъ Нелли, и она была имъ страшно испугана и сдѣлалась больна. Иванъ Петровичъ опять въ хлопотахъ: тутъ больная, тамъ идетъ къ развязкѣ; отецъ Алешинъ хочетъ женить его, невѣста его, Катя, хочетъ познакомиться съ Наташей, чтобы попросить у нея прощенія и согласія; отецъ Наташи горячится изъ-за дочери и—то ее проклинаятъ, то хочетъ вызывать князя на дуэль; мать рвется къ дочери, сама Наташа еле на ногахъ держится. Наконецъ все устраивается: Алеша уѣзжаетъ въ деревню, вмѣстѣ съ Катей и ея семействомъ, Наташа рѣшается идти къ родителямъ. Чтобы смягчить отца и приготовить его къ прощенію, употребляютъ орудіемъ маленькую Нелли, заставляя ее рассказывать ему свою исторію, или, лучше сказать, исторію ея матери. Дѣло состоитъ въ томъ, что мать Нелли была обольщена однимъ господиномъ, бѣжала отъ отца, была имъ проклята, потомъ ограблена и брошена своимъ любовникомъ и умерла въ сыромъ углу, отъ чахотки и голода, напрасно вымаливая прощеніе у отца. Рассказъ, точно, производитъ сильное впечатлѣніе, такъ что Ихменевъ рѣшается идти къ Наташѣ. Но это оказывается рѣшительно не нужно: Наташа сама прибѣжала къ родителямъ и, разумѣется, встрѣчена была съ распростертыми объятіями. Вслѣдъ затѣмъ, при посредствѣ пріятеля Ивана Петровича, ходока Маслобоева, открылось, что Нелли—дочь князя Валковскаго; что обольститель ея матери былъ именно

онъ, и что—мало того—онъ былъ женатъ на матери Нелли законнымъ образомъ. Но уликъ законныхъ противъ князя не было, и нельзя было предпринять противъ него никакихъ мѣръ. Алеша, разумѣется, женился на Катѣ. Униженные и оскорбленные такъ и остались неотомщенными. Нелли скоро затѣмъ умерла; а Наташа съ родителями отправилась въ провинцію, гдѣ старикъ Ихменевъ выхлопоталъ себѣ какое-то мѣсто, проигравъ окончательно свой процессъ съ княземъ и лишившись своей послѣдней деревеньки, Ихменевки.

Въ романѣ очень много живыхъ, хорошо отдѣланныхъ частныхъ, герой романа хотъ и мѣтитъ въ мелодраму, но по мѣстамъ выходитъ недуренъ; характеръ маленькой Нелли обрисованъ положительно хорошо: очень живо и натурально очеркнуть также и характеръ старика Ихменева. Все это даетъ право роману на вниманіе публики, при общей бѣдности хорошихъ повѣстей въ настоящее время. Но все это еще не возвышаетъ его настолько, чтобы примѣнять общія художественныя требованія ко всѣмъ его частностямъ и сдѣлать его предметомъ подробнаго эстетическаго разбора.

Возьмите, напримѣръ, хотъ самый приѣмъ автора: исторію любви и страданій Наташи съ Алешой рассказываетъ намъ человѣкъ, самъ страстно въ нее влюбленный и рѣшившійся пожертвовать собою для ея счастья. Я признаюсь,—всѣ эти господа, доводящіе свое душевное величіе до того, чтобы зазнамо цѣловаться съ любовникомъ своей невѣсты и быть у него на-побѣгушкахъ, мнѣ вовсе не нравятся. Они или вовсе не любили, или любили головою только, и выдумать ихъ въ литературѣ могли только творцы, болѣе знакомые съ головою, нежели съ сердечною любовью. Если же эти романическіе самоотверженцы точно любили, то какіе же должны быть у нихъ тряпичныя сердца, какія куричыя чувства! А этихъ людей показывали еще намъ, какъ идеаль чегото! Первый, сколько помнится, устроилъ подобную комбинацію любовнаго самоотверженія г. Тургеневъ и недавно повторилъ ее въ «Наканунѣ», имѣя, впрочемъ, на этотъ разъ осторожность дать понять читателю, что Берсенева еще самъ не отдавалъ себѣ яснаго отчета въ своихъ чувствахъ къ Еленѣ, когда понадобилось его содѣйствіе Инсарову. Г. Достоевскій тоже не въ первый разъ беретъ такого героя: его ужъ мы видѣли въ мечтателѣ «Бѣлыхъ ночей». Но то была шутка въ сравненіи съ нынѣшнимъ его романомъ. Теперь мы видимъ умнаго, благороднаго и развитаго человѣка, который тоже попалъ въ такую комбинацію и собирается намъ рассказать объ этомъ. Какъ бы мы ни смотрѣли на нравственное достоинство его подвига, но намъ любопытно слѣдить за нимъ въ его рассказѣ. Изъ всѣхъ униженныхъ и оскорбленныхъ въ романѣ—онъ униженъ и оскорбленъ едва ли не болѣе всѣхъ; представить, какъ въ его душѣ отражались эти оскорбленія, что онъ выстрадалъ, смотря на погибающую любовь свою, съ какими мыслями и чувствами принимался онъ помогать мальчишкѣ, обольстителю своей невѣсты, какія безконечныя варіаціи любви, ревности, гордости, состраданія, отвращенія, ненависти разыгрывались въ его сердцѣ;

что чувствовалъ онъ, когда видѣлъ приближеніе разрыва между своей невѣстой и ея любовникомъ,—представить все это въ живомъ, подлинномъ разсказѣ самого оскорбленнаго человѣка,—это задача смѣлая, требующая огромнаго таланта для ея удовлетворительнаго исполненія. Одной неудачной попыткой на разъясненіе одной частицы такой задачи Эрнестъ Федо сразу приобрѣлъ себѣ европейскую извѣстность и массу поклонниковъ. Что же, если бы мы нашли хорошее, поэтическое рѣшеніе *всей* задачи! Кромѣ того, что у насъ было бы художественное цѣлое,—намъ разъяснился бы цѣлый рядъ характеровъ, цѣлый рядъ нравственныхъ явленій; мы знали бы, какъ намъ судить объ этихъ кроткосердыхъ герояхъ, и какую цѣну приписывать ихъ гуманному обезличенію себя, такъ какъ мы знаемъ теперь, напримѣръ, послѣ комедій Островскаго, какъ намъ смотрѣть на патріархальную размашистость русской натуры.

Г. Достоевскій извѣстенъ любовью къ рисованію психологическихъ тонкостей. Мнѣніе о его, кажется, «Двойникѣ», что это «собственно не повѣсть, а психологическое развитіе», подало даже поводъ къ одному очень извѣстному анекдоту. Потому можно было надѣяться, что г. Достоевскій именно попадетъ на ту идею, о которой я говорилъ. Тогда бы, разумѣется, могъ быть толкъ и о художественности исполненія. Но на самомъ дѣлѣ, вы въ романѣ не только слабаго изображенія внутренняго состоянія Ивана Петровича не находите, но даже не видите ни малѣйшаго намека на то, чтобы авторъ объ этомъ заботился. Напротивъ, онъ избѣгаетъ всего, гдѣ бы могла раскрыться душа человѣка любящаго, ревнующаго, страдающаго. Пять мѣсяцевъ, въ которые Алеша успѣлъ прельстить Наташу и увлечь ее за собою,—не удостоены и пяти строчекъ. Первые полгода жизни Алеши съ Наташею пропущены почти безъ всякихъ объясненій. Дѣйствіе романа продолжается какой-нибудь мѣсяцъ, и тутъ Иванъ Петровичъ непрерывно на-побѣгушкахъ, такъ что ему наконецъ раза два дѣлается дурно, и онъ чуть не схватываетъ горячку. Но вотъ и все: что именно у него на душѣ, мы этого не знаемъ, хотя и видимъ, что ему нехорошо. Словомъ, предъ нами не страстно-влюбленный, до самопожертвованія любящій человѣкъ, разсказывающій о заблужденіяхъ и страданіяхъ своей милой, объ оскорбленіяхъ, нанесенныхъ его сердцу, о поруганіи его святыни; передъ нами просто авторъ, неловко взявшій извѣстную форму разсказа, не подумавъ о томъ, какія она на него налагаетъ обязанности. Оттого тонъ разсказа рѣшительно фальшивый, сочиненный; и самъ разсказчикъ, который по сущности дѣла долженъ бы быть дѣйствующимъ лицомъ, является намъ чѣмъ-то въ родѣ наперсника старинныхъ трагедій. Къ нему приходитъ отецъ Наташи—сообщить о своихъ намѣреніяхъ; за нимъ присылаетъ ея мать—разспросить о Наташѣ; его зоветъ къ себѣ Наташа, чтобы излить предъ нимъ свое сердце; къ нему обращается Алеша—высказать свою любовь, вѣтренность и раскаяніе; съ нимъ знакомится Катя, невѣста Алеши, чтобы поговорить съ нимъ о любви Алеши

къ Наташѣ; ему попадаетъся Нелли, чтобы выказать свой характеръ, и Маслобоевъ, чтобы разузнать и рассказать объ отношеніяхъ Нелли къ князю; наконецъ самъ князь везетъ его къ Борелю и даже напивается тамъ, чтобы высказать Ивану Петровичу всю гадость своего характера. А Иванъ Петровичъ все слушаетъ, и все записываетъ. Вотъ и все его участіе въ романѣ.

Если уже таково отношеніе къ дѣлу даже того самаго лица, которое берется рассказывать намъ о своемъ кровномъ дѣлѣ, то нельзя ожидать, чтобы онъ сумѣлъ очень глубоко ввести насъ въ сердечную жизнь другихъ дѣйствующихъ лицъ. И точно—романъ представляетъ намъ калейдоскопъ происшествій, которыхъ случайными свидѣтелями можемъ мы сдѣлаться на улицѣ, въ гостиной или на иномъ чердакѣ, и при этомъ представленіи стоитъ нѣкто, изъясняющій, что означаютъ и почему выходятъ такіа-то и такіа-то вещи. Завязка романа, напримѣръ, основывается на любви Наташи къ Алешѣ. Наташа представлена дѣвушкою умною, серьезною, съ хорошо развитымъ нравственнымъ чувствомъ, безъ особенныхъ, и даже безъ всякихъ, чувственныхъ поползновеній. Алеша—мальчишка уже въ 21 годъ. вѣтренный, циническій, лишенный всякой нравственной основы въ характерѣ до того, что онъ не конфузится никакой своей пакости, а напротивъ—тотчасъ же самъ о ней рассказываетъ, прибавляя, что знаетъ, какъ это дурно, и вслѣдъ затѣмъ опять повторяетъ ту же пакость. Думая похвалить его невинность, рассказчикъ говоритъ, между прочимъ: «онъ не могъ бы солгать, а если бъ и солгалъ, то вовсе не подозрѣвая въ этомъ дурного». Видите, это былъ наивный, милый ребенокъ, невѣдающій разницы добра и зла, хотя и достигшій 21 года, воспитанный въ свѣтскомъ петербургскомъ обществѣ, испытавшій въ немъ кое-что и притомъ бывшій сыномъ такого отца, какъ князь Валковскій. Идеализируя характеръ Алеши (какъ и слѣдуетъ по правиламъ рыцарскаго великодушія, говоря о соперникѣ), рассказчикъ замѣчаетъ, что онъ «могъ бы сдѣлать и дурной поступокъ, принужденный чьимъ-нибудь сильнымъ вліяніемъ, но, сознавъ послѣдствія такого поступка, умеръ бы отъ раскаянія». А черезъ двѣ страницы происходитъ сцена встрѣчи Алеши съ убѣжавшей изъ дому Наташей. Иванъ Петровичъ пробуетъ напомнить ему: что, говоритъ, вы дѣлаете,—какой страшный ударъ наносите ея отцу и матери, и пр... Алеша отвѣчаетъ: «да, это ужасно... Я это и прежде говорилъ... Но что же дѣлать? измѣнить нельзя»... А тутъ еще и измѣнять-то было нечего. И Алеша, вырвавши дочь изъ семейства, не умеръ отъ раскаянія, да и потомъ, бросивъ Наташу и женившись на Катѣ, тоже не умеръ... Словомъ сказать, по описанію, это обаятельный, милый ребенокъ, только очень вѣтренный, а по ходу дѣла—это рано развращенный, эгоистическій и пустой мальчишка, неимѣющій никакого направленія, никакого убѣжденія, поддающійся на минуту всякому постороннему вліянію, но постоянно вѣрный только влеченіямъ своихъ капризовъ и чувственности, которыхъ онъ не умѣетъ даже

стыдиться. Трудно сказать, въ чемъ заключается его обаятельность, чѣмъ онъ могъ подѣйствовать на умную и серьезную дѣвушку, какъ Наташа. Она краснѣетъ за него, когда онъ начинаетъ врать Ивану Петровичу разную чепуху въ тотъ самый моментъ, какъ онъ встрѣтилъ Наташу, чтобы увезти ее къ себѣ; она умоляетъ Ивана Петровича взглядомъ—не судить его строго... Ну, скажите, какое же увлеченіе, какая любовь при такихъ отношеніяхъ.

Но мало ли бываетъ аномалій, а г. Достоевскій имѣетъ, такъ сказать, привилегію на ихъ изображеніе. Отъ г. Голядкина до Оомы Оомича въ «Селѣ Степанчиковѣ», онъ изобразилъ на своемъ вѣку много болѣзненныхъ, ненормальныхъ явленій. Могъ взяться и за изображеніе исключительной, ненатуральной любви Наташи къ дряннѣйшему фату, который, по всѣмъ ожиданіямъ здраваго смысла, не могъ не казаться ей противнымъ. Положимъ даже, что самая ненормальность-то, странность подобныхъ отношеній и поразила художника, и заставила его заняться ихъ воспроизведеніемъ. Но вѣдь мы знаемъ, что художникъ — не пластинка для фотографіи, отражающая только настоящій моментъ: тогда бы въ художественныхъ произведеніяхъ и жизни не было, и смысла не было. Художникъ дополняетъ отрывочность схваченнаго момента своимъ творческимъ чувствомъ, обобщаетъ въ душѣ своей частныя явленія, создаетъ одно стройное цѣлое изъ разрозненныхъ чертъ, находитъ живую связь и послѣдовательность въ безсвязныхъ, повидимому, явленіяхъ, сливаетъ и перерабатываетъ въ общности своего міросозерцанія разнообразныя и противорѣчивыя стороны живой дѣйствительности. Оттого истинный художникъ, совершая свое созданіе, имѣетъ его, въ душѣ своей, цѣлымъ и полнымъ, съ началомъ и концомъ его, съ его сокровенными пружинами и тайными послѣдствіями, непонятными часто для логическаго мышленія, но открывшимися вдохновенному взору художника. Такими именно истинный художникъ представляетъ свои созданія и для другихъ; они для всѣхъ дѣлаются просты, понятны, законны. Вещи, самыя чуждыя для насъ въ нашей привычной жизни, кажутся намъ близкими въ созданіи художника: намъ знакомы, какъ будто родственныя, и мучительныя исканія Фауста, и сумасшествіе Лира, и ожесточеніе Чайльд-Гарольда; читая ихъ, мы до того подчиняемся творческой силѣ генія, что находимъ въ себѣ силы, даже изъ-подъ всей грязи и пошлости, обсыпавшей насъ, просунуть голову на свѣтъ и свѣжій воздухъ и сознать, что дѣйствительно — созданіе поэта вѣрно человѣческой природѣ, что такъ должно быть, что иначе и быть не можетъ... Разумѣется, не всѣ геніи, и не отъ всѣхъ можно ожидать подобнаго эффекта, но все же, до извѣстной степени, онъ есть и въ каждомъ художественномъ произведеніи, и притомъ поэты съ меньшимъ талантомъ обыкновенно являются публикѣ съ созданіями, въ которыхъ и идеи отразились сравнительно меньшей важности и обширности; но все-же хоть что-нибудь, хоть въ самыхъ маленькихъ размѣрахъ, но отразилось что-нибудь полно и самобытно: иначе не-

чего искать въ произведеніи и признаковъ художественнаго таланта.

Такъ пусть бы въ романѣ г. Достоевскаго отразилась въ своей полнотѣ хоть такая маленькая, миниатюрная задача жизни ¹⁾: какъ можетъ смрадная козявка, подобная Алешѣ, внушить къ себѣ любовь порядочной дѣвушкѣ. Разъясни намъ авторъ хоть это, — мы бы готовы были прослѣдить его шагъ за шагомъ, и вступить съ нимъ въ какія угодно художественныя и психологическія разсужденія. Но вѣдь и этого нѣтъ: пять мѣсяцевъ, въ которые возникла и дошла до своего страшнаго пароксизма любовная горячка Наташи, не удостоены ни одной страничкой. Сердце героини отъ насъ скрыто, и авторъ, повидимому, смыслить въ его тайнахъ не больше нашего. Мы съ довѣріемъ обращаемся къ нему и спрашиваемъ: какъ же это могло случиться? А онъ отвѣчаетъ: вотъ подите же, — случилось да и только. — Да пожалуй прибавить къ этому: чрезвычайно странный случай... а впрочемъ, это бываетъ. — Не угодно ли искать художественнаго смысла въ подобномъ произведеніи?

А потомъ, когда Наташа уже совершила свой странный шагъ, нелѣпость котораго она понимала еще раньше, потомъ — какъ она жила съ Алешей? Какой процессъ совершился въ душѣ ея съ первыхъ дней этой новой жизни до того дня, когда мы въ первый разъ опять видимъ ее въ разговорѣ съ Иваномъ Петровичемъ, и когда она высказываетъ рѣшеніе, что съ Алешей должна разстаться? Обо всемъ этомъ мы имѣемъ нѣсколько незначительныхъ словъ, вброшенныхъ мимоходомъ въ описаніе квартирной обстановки Наташи и ровно ничего не объясняющихъ... Какъ видно, не это интересовало автора, не тутъ было для него главное дѣло. Въ чемъ же? Разобрать трудно уже и потому, что дѣйствіе романа страннымъ и ненужнымъ образомъ двоится между исторіей Наташи и исторіею маленькой Нелли, чѣмъ рѣшительно нарушается стройность впечатлѣнія. Но какъ обѣ эти исторіи вертятся около князя Валковскаго, то можно полагать, что основу романа, зерно его, составляетъ именно воспроизведеніе характера этого князя. Но, всматриваясь въ изображеніе этого характера, вы найдете съ любовью обрисованное сплошное безобразіе, собраніе злодѣйскихъ и циническихъ чертъ, но вы не найдете тутъ человѣческаго лица... Того примиряющаго, разрѣшающаго начала, которое такъ могуче дѣйствуетъ въ искусствѣ, ставя передъ вами полного человѣка и заставляя проглядывать его человѣческую природу сквозь всѣ наплывныя мерзости, — этого начала нѣтъ никакихъ слѣдовъ въ изображеніи личности князя. Оттого-то вы не можете ни почувствовать сожалѣнія къ этой личности, ни возненавидѣть ее той высшей ненавистью, которая направляется уже не противъ личности собственно, но противъ типа,

¹⁾ Не говорю, чтобъ художникъ задавалъ себѣ задачу, а чтобъ у него отразилась, разрѣшилась она сама собою, хотя бы не вѣдомо для него; а то опять скажутъ, что я навязываю художнику утилитарныя темы.

противъ извѣстнаго разряда явленій. И вѣдь хоть бы неудачно, хоть бы какъ-нибудь попробовалъ авторъ заглянуть въ душу своего главнаго героя... Нѣтъ, ничего, ни попытки, ни намека... Какъ и что сдѣлало князя такимъ, какъ онъ есть? Что его занимаетъ и волнуетъ серьезно? Чего онъ боится и чему, наконецъ, вѣрить? А если ничему не вѣрить, если у него душа совсѣмъ вынута, то какимъ образомъ и при какихъ посредствахъ произошелъ этотъ любопытный процессъ? Мы въ правѣ требовать отъ автора объясненій на подобныя вещи, даже не предъявляя на него особенно громадныя претензій. Не говоря о гигантахъ поэзіи, мы имѣемъ даже у себя произведенія, удовлетворяющія этимъ скромнымъ требованіямъ: мы знаемъ, напримѣръ, какъ Чичиковъ и Плюшкинъ дошли до своего настоящаго характера, даже знаемъ отчасти, какъ облѣнился Илья Ильичъ Обломовъ... Но г. Достоевскій этимъ требованіемъ пренебрегъ совершенно. Какъ же послѣ этого разбирать характеръ князя съ эстетической точки зрѣнія?

Да и вообще надо быть слишкомъ наивнымъ и несвѣдущимъ, чтобы серьезно и пространно, съ доказательствами, выписками и примѣрами, разбирать эстетическое значеніе романа, который даже въ изложеніи своемъ обнаруживаетъ отсутствіе претензій на художественное значеніе. Во всемъ романѣ дѣйствующія лица говорятъ какъ авторъ; они употребляютъ его любимыя слова, его обороты; у нихъ такой же складъ фразы... Исключенія чрезвычайно рѣдки. Начиная съ того, что всѣ лица называютъ другъ-друга непременно *голубчикомъ* (исключая, можетъ быть, князя), и оканчивая тѣмъ, что они всѣ любятъ вертѣться на одномъ и томъ же словѣ и тянуть фразу, какъ самъ авторъ,—во всемъ виденъ самъ сочинитель, а не лицо, которое говорило бы отъ себя. Можно бы обо всемъ этомъ долго толковать; если бъ мнѣ не было скучно убѣждать читателей въ томъ, что для меня въ сущности вовсе неинтересно; можно бы сгруппировать нѣсколько выписокъ, которыя всѣ вмѣстѣ представили бы нѣчто довольно комическое. Но отъ всего этого я хочу уволить себя. Приведу, пожалуй, одну только выписку, за то длинную,—это когда Наташа, понявши намѣреніе князя, объясняетъ ему, что значило его сватовство. Сначала Наташа исторически излагаетъ предшествовавшія обстоятельства до того вечера, когда Алеша объявилъ Катѣ, невѣстѣ своей, что любитъ Наташу. Затѣмъ она продолжаетъ.

„Вы спросили себя въ тотъ вечеръ: „что теперь дѣлать? Алеша во всемъ *подчинится*, но въ этомъ ужъ ни за что не *подчинится*: вполне испытано. Мало того, чѣмъ больше его гнать, мучить, тѣмъ больше въ немъ будетъ *сопротивленія*; потому что онъ именно таковъ, какъ всѣ слабые, но честные люди; не гоните ихъ, не *преслѣдуйте*, они не подумаютъ *сопротивляться*; а *преслѣдуйте*, то вы сами же разожжете въ нихъ *сопротивленіе*, которое безъ нашего *преслѣдованія* имъ бы и въ голову можетъ быть не пришло. Соблазномъ

тоже, оказалось, теперь нельзя взять: прежнее вліяніе еще слишкомъ сильно, и вы только въ этотъ вечеръ вполнѣ догадались, какъ оно сильно. Что жъ дѣлать“?

„Вы и придумали:

„Что, если прекратить надъ нимъ всякое преслѣдованіе? Что, если снять съ него то, чѣмъ тяготится теперь его сердце; снять то, что онъ считаетъ своимъ долгомъ, обязанностью? Вѣдь, можетъ быть, тогда въ немъ пройдетъ и жаръ и все влеченіе къ этимъ обязанностямъ.

„Вотъ, напримѣръ, онъ любитъ теперь эту Наташу; чего жъ лучше: сказать ему прямо, что не только онъ можетъ теперь ее любить, но даже *позволяется* ему исполнить въ отношеніи къ ней всѣ свои *обязанности*, все, чѣмъ онъ страдаетъ за эту Наташу, и не только *позволить*, но даже какъ нибудь обратить это *позволеніе* чуть не въ приказъ; сказать ему, что онъ *долженъ* на ней жениться, чаще твердить ему, что это его *обязанность*,—однимъ словомъ все, что онъ говорилъ самъ себѣ каждый день свободно, отъ сердца, все это обратить теперь даже въ принужденіе. Ну, что тогда будетъ?

„— Наталья Николавна! — вскричалъ князь: — все это одно разстройство вашего воображенія, ваша мнительность; вы виѣ себя, вы преувеличиваете! И князь съ видомъ сожалѣнія пожалъ плечами.

„— Вотъ что тогда будетъ, — продолжала Наташа, какъ будто не обращая ни малѣйшаго вниманія на слова князя. — Во-первыхъ, думали вы, я окончательно привлеку къ себѣ его сердце, и онъ устыдится всякой недовѣрчивости ко мнѣ; а это мнѣ очень пригодится теперь! Первое впечатлѣніе будетъ, положимъ, невыгодно; онъ *обрадуется*. Онъ хотъ и увлекается *новой любовью*, но вѣдь онъ самъ еще не знаетъ про эту *новую любовь*; онъ до сихъ поръ еще думаетъ и увѣренъ, что по прежнему, какъ полгода назадъ, съ тѣмъ же жаромъ, съ тою же страстью любить свою Наташу. Онъ хотъ и привязался къ Катеринѣ Федоровнѣ, но думаетъ, что это только такъ; ему хорошо, весело съ нею, — извѣстно почему; да онъ и не спрашиваетъ объ этомъ! И хотъ сердце каждый день влечетъ его все сильнѣе и сильнѣе къ *новой любви*, но онъ совершенно увѣренъ, что тамъ, въ *прежней любви*, у Наташи все по старому и никакихъ нѣтъ переменъ. Онъ потому еще обрадуется, что, дѣйствительно, до сихъ поръ еще любить эту Наташу; вѣдь она другъ его, онъ такъ привыкъ къ ней; онъ даже о своей *Катѣ* (съ которой онъ теперь на *ты*) ѣдетъ къ ней, къ первой, разсказывать; онъ столько разъ видѣлъ ея *страданія* и столько самъ *страдалъ* отъ ея *страданій*!... И потому онъ *обрадуется*, положимъ такъ, да и пусть его; оно даже и хорошо *радость* обновляетъ, черезъ *радость* старое забывается; одно горе памятно; все это только на минуту; за то будущее выиграно...

„За то онъ, первый разъ во всѣ эти полгода, ляжетъ спать спокойно съ облегченнымъ сердцемъ: оно уже не будетъ болѣть за Наташу. Онъ не будетъ просыпаться во снѣ и съ тоскою думать: „какъ-то она? что-то она? чѣмъ это кончится? чѣмъ устроится“? Теперь все хорошо, и на другой же день онъ почувствуетъ совсѣмъ *неволю*, безъ всякаго *расчета*, что, слава Богу, онъ уже не должникъ; теперь все устроилось, и она уже все получила, что онъ даже больше ей отдалъ, чѣмъ сама она думала; онъ отдастъ ей всю свою будущность, и должна же она оцѣнить это, тогда какъ до сихъ поръ, онъ долженъ былъ цѣнить все, чѣмъ жертвовала ему Наташа. Вотъ и легче на душѣ и дышится сво-

боднѣе, и такъ *невольно это все подумается, такъ безъ расчёту, съ такимъ добрымъ, теплымъ чувствомъ!* А вы смотрите, да про себя думаете: „это все хорошо: нѣсколько дней пройдетъ, и съ нимъ случится то же самое, что бываетъ со всѣми влюбленными скоро послѣ свадьбы: препятствій нѣтъ, все достигнуто, и любовь сама собою охладѣваетъ; тамъ наступаетъ скука; тамъ хочется новаго; жизнь не любить покоя; сердцу хочется жить“...

„А тутъ какъ нарочно *новая любовь* еще прежде началась; она ужъ есть и изобрѣтать ее не надобно...

„ — Романы, романы, — произнесъ князь вполголоса, какъ будто про себя: — уединеніе, мечтательность и чтеніе романовъ!

„ — Да, на этой-то *новой любви* вы все и основали, — продолжала Наташа, не слыхавъ и не обративъ вниманія на слова князя, вся въ лихорадочномъ жару и все болѣе и болѣе увлекаясь: — и какіе шансы для этой *новой любви*! Вѣдь она началась еще тогда, когда онъ еще не узналъ всѣхъ совершенствъ *этой дѣвушки*! Въ ту самую минуту, когда онъ, въ тотъ вечеръ открывается *этой дѣвушкѣ*, что не можетъ ее любить, потому что долгъ и другая любовь запрещаютъ ему это, — *эта дѣвушка*, вдругъ, выказываетъ передъ нимъ столько благородства столько сочувствія къ нему и къ своей соперницѣ, столько сердечнаго прощенія, что онъ, хотъ и вѣрилъ въ ея красоту, но и не думалъ до этого мгновенія чтобъ она была такъ прекрасна! Онъ и ко мнѣ тогда пріѣхалъ, — только и говорилъ что о ней; она слишкомъ сильно поразила его. Да, онъ на завтра же непременно долженъ былъ почувствовать неотразимую потребность увидѣть опять *это прекрасное существо*, хотя изъ одной только благодарности. Да и почему жъ къ ней не ѣхать? Вѣдь та, *прежняя*, уже не страдаетъ, судьба ея рѣшена, вѣдь той цѣмъ вѣкъ отдается, а тутъ одна какая нибудь минутка... И что за благодарная была бы эта Наташа, если бъ она ревновала даже къ этой минуткѣ? И вотъ, незамѣтно отнимается у этой Наташи, вмѣсто минуты, день, другой, третій... А между тѣмъ въ это время *дѣвушка* высказывается передъ нимъ, въ совершенно неожиданномъ, новомъ и своеобразномъ видѣ; она такая благородная энтузіастка и въ то же время она такой наивный ребенокъ, и въ этомъ такъ сходна съ нимъ характеромъ. Они клянутся другъ-другу въ дружбѣ, въ братствѣ, неразлучности на всю жизнь. Правда, они съ любовью говорятъ между собой и о Наташѣ, но они хотятъ жить втроемъ, всегда. „Въ какія нибудь пять-шесть часовъ разговора“ вся душа его открывается для новыхъ ощущеній, и сердце его отдается все... Тутъ еще новыя идеи и причина ихъ опять *Латя*. Онъ еще, можетъ быть, не сейчасъ начнетъ сравнивать, думаете вы, но это неминуемо. Придетъ это время; онъ сравнитъ свою *прежнюю любовь* съ своими новыми, свѣжими ощущеніями: тамъ все знакомое, всегдашнее; тамъ такъ серьезны, требовательны; тамъ его ревнуютъ, бранятъ; тамъ слезы... А если и начинаютъ съ нимъ шалить, играть, то какъ будто не съ ровней, а съ ребенкомъ... а главное: все такое *прежнее, извѣстное*“...

Силлогизмы Наташи поразительно вѣрны, какъ будто она имъ въ семинаріи обучалась. Психологическая проницательность ея удивительна, постройка рѣчи сдѣлала бы честь любому оратору, даже изъ древнихъ. Но, согласитесь, вѣдь очень примѣтно, что Наташа

говорить слогомъ г. Достоевскаго? И слогъ этотъ усвоенъ большею частью дѣйствующихъ лицъ.

Надо еще замѣтить, что г. Достоевскій (какъ весьма многіе, впрочемъ, изъ нашихъ литераторовъ) любитъ возвращаться къ однимъ и тѣмъ же лицамъ по нѣскольку разъ и пробовать съ разныхъ сторонъ тѣ же характеры и положенія. У него есть нѣсколько любимыхъ типовъ, напримѣръ, типъ рано развившагося, болѣзненнаго, самолюбиваго ребенка,—и вотъ онъ возвращается къ нему и въ Нечкѣ, и въ Маленькомъ героѣ, и теперь въ Нелли... Характеръ Нелли — тотъ же, что характеръ Кати въ Нечкѣ, только обстановка ихъ различна. Есть типъ человѣка, отъ болѣзненнаго развитія самолюбія и подозрительности доходящаго до чрезвычайныхъ уродствъ и даже до помѣшательства, и онъ даетъ намъ г. Голядкина, музыканта Ефимова (въ «Нечкѣ»), Оому Оомича (въ «Селѣ Степанчиковѣ»). Есть типъ циника, бездушнаго человѣка, лишь съ энергіей эгоизма и чувственности,—онъ его намѣчаетъ въ Быковѣ (въ «Бѣдныхъ людяхъ»), неудачно принимается за него въ «Хозяйкѣ», не оканчивается въ Петрѣ Александровичѣ (въ «Нечкѣ»), и, наконецъ, теперь раскрываетъ вполне въ князѣ Валковскомъ (котораго, кстати, даже и зовутъ тоже Петромъ Александровичемъ). Къ этому есть еще у г. Достоевскаго идеаль какой-то дѣвушки, который ему никакъ не удастся представить: Варенька Доброселова въ «Бѣдныхъ людяхъ», Настенька въ «Селѣ Степанчиковѣ», Наташа въ «Униженныхъ и оскорбленныхъ» — все это очень умныя и добрыя дѣвицы, очень похожія на автора по своимъ понятіямъ и по манерѣ говорить, но въ сущности очень безцвѣтныя. Авторъ умѣетъ помѣстить ихъ въ очень интересную обстановку, но это и все, что для нихъ онъ дѣлаетъ. Надо признаться, что даже Варенька Доброселова интересуется насъ болѣе своими несчастіями и тѣми разсказами, которые г. Достоевскій сочинилъ за нее, нежели сама по себѣ, просто какъ поэтическое созданіе.

Эта бѣдность и неопредѣленность образовъ, эта необходимость повторять самого себя, это неумѣнье обработать каждый характеръ даже настолько, чтобъ хотъ сообщить ему соотвѣтственный способъ внѣшняго выраженія,—все это, обнаруживая, съ одной стороны, недостатокъ разнообразія въ запасѣ наблюденій автора, съ другой стороны прямо говорить противъ художественной полноты и цѣльности его созданій... и думаете ли вы, любители эстетики, что можно было бы помочь г. Достоевскому, или оказать услугу искусству, сдѣлавши доскональный—*détaillé et raisonné*—разборъ художественныхъ несовершенствъ и достоинствъ этого романиста? И неужели полагаете вы, что покаместъ литература имѣетъ хотъ малѣйшую возможность, хотъ издалика, прислушиваться къ общественнымъ интересамъ и хотъ неяснымъ, кроткимъ лепетомъ выразить свое къ нимъ участіе,—неужели думаете вы возбудить въ комъ-нибудь интересъ даже самыми блестящими эстетическими этюдами по поводу... ну, да просто такъ, *à propos de bottes*, изъ-за появленія новой драмы.

г. Потѣхина, новаго отрывка г. Гончарова, новаго романа г. Достоевскаго?... Развѣ дождемся такого времени, когда литература опять разорветъ уже рѣшительно всякую (и теперь, правда, слишкомъ слабую) связь съ обществомъ и ограничена будетъ одними только собственными, домашними интересами, когда литераторы принуждены будутъ писать только о литераторахъ и только для литераторовъ,— тогда, вѣроятно, съ успѣхомъ будутъ повторяться и явленія въ родѣ Мерзляковскаго разбора Россіады, или въ родѣ прекрасной статьи г. Боткина о Фетѣ. Но пока литература (то есть собственно изящная), не достигая дѣйствительно художественнаго значенія, имѣетъ по крайней мѣрѣ практическій смыслъ, дозвоьте же придать нѣсколько практическій характеръ и самой критикѣ.

Г. Достоевскій, вѣроятно, не будетъ на меня сѣтовать, что я объявляю его романъ, такъ сказать, «ниже эстетической критики». Я вѣдь имѣлъ въ виду вообще современную нашу литературу, и если провѣрилъ свою мысль нѣсколькими бѣглыми замѣчаніями о его романѣ, такъ это потому, что онъ мнѣ попался подъ руку. А если бы взять другія изъ твореній, имѣвшихъ у насъ успѣхъ въ послѣдніе годы, такъ многія изъ нихъ оказались бы, можетъ быть, еще болѣе несостоятельными. Г. Достоевскій, по крайней мѣрѣ какъ намъ кажется, судя по нѣкоторымъ мѣстамъ его сочиненій, не имѣетъ такихъ претензій, не придаетъ себѣ такой важности, какъ другіе. Онъ изобразилъ нѣкоторыя свои литературныя отношенія въ запискахъ Ивана Петровича: я не считаю нескромнымъ сказать это, потому что самъ авторъ явно не хотѣлъ скрываться. Онъ съ такими подробностями рассказываетъ тамъ содержаніе «Бѣдныхъ людей», какъ первой повѣсти Ивана Петровича,—что нѣтъ возможности ошибиться. Такъ тутъ-то онъ, между прочимъ, сознается, что писалъ многое вслѣдствіе необходимости, писалъ къ сроку, напisyвалъ по три съ половиною печатныхъ листа въ два дня и двѣ ночи; называетъ себя почтовою клячею въ литературѣ; смѣется надъ критикомъ, увѣрявшимъ, что отъ его сочиненій пахнетъ потомъ и что онъ ихъ слишкомъ обдѣлываетъ¹⁾. Словомъ, г. Достоевскій смотритъ повидимому на свои произведенія, какъ мы всѣ, обыкновенные люди,—не какъ на несокрушимый памятникъ для потомства, а просто—какъ на журнальную работу. А ужъ извѣстно, что такое журнальная работа: тутъ не до обработки, не до подробностей, не до строгости къ себѣ въ развитіи мысли... Довольно того, что хоть кое-какъ успѣешь бросить эту мысль на бумагу. Можно это сравнить вотъ съ чѣмъ: вы поэтъ, въ васъ сейчасъ родилось чувство, васъ поразило впечатлѣніе, которое вы можете изобразить великолѣпными стихами. У васъ уже мелькаютъ въ головѣ образы, готово нѣсколько стиховъ, нѣсколько мѣткихъ выраженій... Но вамъ мѣшаютъ, отъ васъ требуютъ немедленнаго отчета въ вашемъ впечатлѣніи, у васъ, наконецъ, во-

¹⁾ Такой именно отзывъ былъ когда-то о г. Достоевскомъ, и даже, если не ошибаюсь, въ „Современникѣ“.

все отнимаютъ возможность предаться влеченію вашего чувства и пріискать для него живые звуки. Дѣлать нечего, вы берете карандашъ и записную книжку и набрасываете шероховатой прозой остоу того прекраснаго стихотворенія, которое уже слагалось у васъ въ головѣ. Такъ поступаетъ постоянно, въ теченіе всей своей карьеры, журнальный работникъ. Человѣкъ, конечно, все-таки виденъ, — вѣдь и въ остоу стихотворенія можно разобрать до нѣкоторой степени, каковаго полета поэтъ могъ написать его; уцѣлѣютъ, пожалуй, и нѣсколько удачныхъ страницъ, какъ внезапно сложившійся стихъ попадаетъ въ черновой набросокъ. Но въ общемъ, все это будетъ очень жалко. Одно лишь остается неизмѣннымъ, при спѣшной ли работѣ, при многотрудной ли провѣркѣ каждой страницы, — это общій характеръ убѣжденій человѣка, его воззрѣній на жизнь, его симпатій и антипатій. Отъ торопливости въ работѣ можно дѣлать частныя ошибки, высказываться неясно или односторонне, впадать въ мелкія противорѣчія и дѣлать скачки, теряя нить строгихъ логическихъ выводовъ. Но если бы кто противорѣчіе общихъ убѣжденій и симпатій въ своихъ сочиненіяхъ сталъ оправдывать спѣшностью работы, тотъ показалъ бы только, что онъ неспособенъ ни къ какимъ убѣжденіямъ.

И вотъ почему, если мы обратимся отъ отвлеченныхъ эстетическихъ разсужденій къ идеямъ и положеніямъ, развиваемымъ у известнаго автора, то найдемъ самое лучшее средство къ уразумѣнію сущности его таланта. Тутъ уже мѣрка нашихъ требованій измѣняется: авторъ можетъ ничего не дать искусству, не сдѣлать шага въ исторіи литературы собственно, и все-таки быть замѣчательнымъ для насъ по господствующему направленію и смыслу своихъ произведеній. Пусть онъ и не удовлетворяетъ художественнымъ требованіямъ, пусть онъ иной разъ и промахнется, и выразится нехорошо: мы ужъ на это не обращаемъ вниманія, мы все-таки готовы толковать о немъ много и долго, если только для общества важенъ почему-нибудь смыслъ его произведеній. Есть, конечно, писатели, у которыхъ ни для чего нѣтъ *своего глаза*, которые ни о чемъ не могутъ сказать *своихъ словъ*; произведенія такихъ господъ — сплошная, гладкая, большею частью удобочитаемая пошлость, въ родѣ обыкновенныхъ газетныхъ фельетоновъ, повѣстей г. Толбина или князя Кутушева, или стихотвореній г. Грекова, Апухтина, и т. п. Говорить о нихъ, точно, нечего. Есть другіе, у которыхъ отразится въ головѣ какая-нибудь мизерная, давно ходячая, односторонняя или фальшивая идея, и они надъ нею трудятся: объ этихъ можно иной разъ и поговорить, смотря по удачѣ исполненія. Вотъ г. Колбасинъ, напримѣръ, овладѣлъ идеею, что «всѣ мужчины измѣнщики и истинной любви не понимаютъ»: онъ и написалъ на эту тему съ полдюжины повѣстей изъ быта всѣхъ европейскихъ націй. Если кому кажется, что г. Колбасинъ повѣствуетъ превосходно, тотъ можетъ, пожалуй, говорить и о г. Колбасинѣ, — какъ, молъ, онъ хорошо проводить свою идею! У другихъ писателей встрѣчаются идеи не

столько пошлыя и маленькія, но за то болѣе фальшивыя. Вотъ, на-
примѣръ, по міросозерцанію г. Писемскаго выходитъ, что русскій
человѣкъ ни въ чемъ мѣры не знаетъ, — что, ежели онъ не уми-
раетъ съ голоду, то пьянствуетъ; если не подъ башмакомъ у
жены, то колотить ее; если не видитъ себѣ ни откуда ни
пинка, ни плети, то бросается на всѣхъ, какъ звѣрь дикій; если
взятокъ не беретъ, то норовитъ всякаго въ кандалы заковать за
взятый гривенникъ. Ну, и объ этомъ нужно поговорить, опять-таки
если кому покажется, что въ сочиненіяхъ г. Писемскаго идеи эти
выходятъ ужъ очень убѣдительны.

Но есть другого рода писатели, интересные совсѣмъ другимъ
образомъ. Это тѣ, у которыхъ художественное чутье, хотя бы даже
и слабое, направлено здраво, въ которыхъ не только вѣрно отра-
жаются явленія жизни, но которымъ доступенъ, болѣе или менѣе, и
общій таинственный смыслъ ея. Такіе писатели становятся замѣча-
тельными художниками, если ихъ воспріимчивость многообъемлюща,
если жизнь открывается имъ не въ отдѣльныхъ только явленіяхъ,
а во всемъ своемъ стройномъ теченіи, если чутки они не къ одной
только внѣшней сторонѣ явленій, но и къ ихъ внутренней связи и по-
слѣдовательности. Тогда они создаютъ что-нибудь прочно остаю-
щееся въ литературѣ и служатъ двигателями общественнаго со-
знанія. Но и люди съ болѣе ограниченою воспріимчивостью, съ
болѣе слабымъ, только бы вѣрнымъ, чутьемъ, не проходятъ безъ
слѣда и заслуживаютъ вниманія, если хоть одну черту разъяснили,
или даже только указали намъ въ этой жизни, которая у всѣхъ насъ
предъ глазами, всѣхъ задѣваетъ собою и, однако же, такъ немно-
гихъ наводитъ на серьезную думу, такъ немногими понимается.

II.

Въ произведеніяхъ г. Достоевскаго мы находимъ одну общую
черту, болѣе или менѣе замѣтную во всемъ, что онъ писалъ: это
боль о человѣкѣ, который признаетъ себя не въ силахъ или, нако-
нецъ, даже не въ правѣ быть человѣкомъ настоящимъ, полнымъ,
самостоятельнымъ человѣкомъ, самимъ по себѣ. «Каждый человѣкъ
долженъ быть человѣкомъ и относиться къ другимъ, какъ человѣкъ
къ человѣку», — вотъ идеаль, сложившійся въ душѣ автора помимо
всякихъ условныхъ и парціальныхъ воззрѣній, повидимому даже
помимо его собственной воли и сознанія, какъ-то а priori, какъ
что-то составляющее часть его собственной натуры. И между тѣмъ,
вступая въ жизнь и оглядываясь вокругъ себя, онъ видитъ, что

исканія челоѣка сохранить свою личность, остаться самимъ собою, никогда не удаются, и кто изъ ищущихъ не успѣетъ рано умереть въ чахоткѣ или другой изнурительной болѣзни, тотъ въ результатѣ доходить только—или до ожесточенія, нелюдима, сумасшествія, или до простаго, тихаго отупѣнія, заглушенія въ себѣ челоѣческой природы, до искренняго признанія себя чѣмъ-то гораздо ниже челоѣка. Есть много такихъ, которые даже какъ будто рождаются съ этимъ послѣднимъ сознаніемъ, которыхъ мысль о своемъ челоѣческомъ значеніи какъ будто никогда съ роду не посѣщала. Это—точно существа другаго міра, точно въ нихъ ничего нѣтъ общаго съ остальнымъ челоѣчествомъ... Что за причина такого перерожденія, такой аномаліи въ челоѣческихъ отношеніяхъ? Какъ это происходитъ? какими существенными чертами отличаются подобныя явленія? къ какимъ результатамъ ведутъ они? Вотъ вопросы, на которые естественнымъ и необходимымъ образомъ наводятъ читателя произведенія г. Достоевскаго. Правда, разрѣшенія всѣхъ предложенныхъ вопросовъ у него нѣтъ; но если бы онъ ихъ рѣшилъ, то, конечно, и не сталъ бы писать о нихъ повѣсти. Литературное произведеніе искреннее, а не заказное, только тогда и возможно, когда первая основа и крайнее рѣшеніе взятаго факта составляетъ еще вопросъ, разгадка котораго занимаетъ самого автора. Но у сильныхъ талантовъ самый актъ творчества такъ проникается всею глубиною жизненной правды, что иногда изъ простой постановки фактовъ и отношеній, сдѣланной художникомъ, рѣшеніе ихъ вытекаетъ само собою. У г. Достоевскаго не достало на это силы дарованія, его разсказы нужны дополненія и комментаріи. Но тѣмъ не менѣе, вопросъ у него поставленъ, и никто изъ читателей не можетъ самъ избавиться отъ этого вопроса послѣ прочтенія его повѣстей. Самъ тонъ каждой повѣсти, мрачный, унылый, болѣзненный,—такъ и вышибаетъ изъ сердца раздражительный вопросъ, такъ и подымаетъ въ васъ какую-то нервную боль... Подобное впечатлѣніе очень не нравилось многимъ; одинъ критикъ прямо обвинялъ г. Достоевскаго именно за мрачный колоритъ его повѣстей: критику, неизвѣстно почему, казалось, что русской литературѣ нужны разсказы веселенькіе, граціозные, розовые. Желаніе его исполнилось скоро: послѣ отзыва его о г. Достоевскомъ (въ началѣ 1849 г.) дѣйствительно русская литература вдалась въ разсказы великосвѣтской жизни, изъ нравовъ древней Аркадіи, перенесенной въ Костромскую губернію, изъ сферы супружескихъ непріятностей во всѣ времена и у всѣхъ народовъ, изъ круга образованныхъ молодыхъ людей, очень много и неопредѣленно разсуждавшихъ о возвышенныхъ предметахъ... Много авторитетныхъ именъ (теперь—увы!—теряющихъ свое обаяніе!) создано въ этотъ недолгій промежутокъ, до тѣхъ поръ, пока опять не завладѣлъ общимъ вниманіемъ новый родъ литературы—обличительный. Прошелъ и этотъ родъ—еще скорѣе, чѣмъ родъ шигровскихъ гамлетовъ, пошехонскихъ пастушекъ и подмосковныхъ графинь,—и прошелъ не потому, чтобы представители его бѣдны были талантами, а потому, что съ самаго начала пошли они

по ложной дорогѣ. У однихъ по необходимости, вслѣдствіе внѣшнихъ требованій, а у другихъ и наивно, простосердечно. — міросозерцаніе явилось чрезвычайно узкимъ и одностороннимъ: въ чиновникѣ такъ и видѣли только чиновника; въ бѣдѣ, происшедшей отъ взяточничества городничаго, такъ и видѣли только слѣдствіе его взяточничества; всякаго становаго изображали, какъ конечную цѣль и крайнюю исходную точку существующихъ порядковъ. «Быть или не быть благоденствію въ Россіи» — это зависѣло отъ того, будетъ или не будетъ служить становымъ честный чиновникъ Фроловъ: на этой мысли была у насъ построена цѣлая комедія, не безъ успѣха игравшаяся на Александринскомъ театрѣ. Никто, кажется, исключая г. Щедрина, не вздумалъ заглянуть въ душу этихъ чиновниковъ — злодѣевъ и взяточниковъ — да посмотрѣть на тѣ отношенія, въ какихъ проходятъ ихъ жизнь. Никто не приступилъ къ разсказу объ ихъ подвигахъ съ простою мыслью: «бѣдный человѣкъ! Зачѣмъ же ты крадешь и грабишь? Вѣдь не родился же ты воромъ и грабителемъ, вѣдь не изъ особаго же племени вышло, въ самомъ дѣлѣ, это такъ-называемое *кративное сѣмя*»? Только у г. Щедрина и находимъ мы по мѣстамъ подобные запросы, и за то онъ до сихъ поръ остается не только выше всѣхъ своихъ сверстниковъ по обличительной литературѣ, но и вообще выше многихъ изъ литераторовъ нашихъ, увлекавшихъ нашу публику разсказами съ претензіею на широкое пониманіе жизни. Но нельзя не видѣть, что и у г. Щедрина «обличеніе» перетягиваетъ. Ни въ одномъ изъ «Губернскихъ очерковъ» его не нашли мы въ такой степени живого, до боли сердечной прочувствованнаго отношенія къ бѣдному человечеству, какъ въ его «Запутанномъ дѣлѣ», напечатанномъ 12 лѣтъ тому назадъ. Видно, что тогда были другіе годы, другія силы, другіе идеалы. То было направленіе живое и дѣйственное, направленіе истинно-гуманическое, не сбитое и не разслабленное разными юридическими и экономическими сентенціями. Тогда, къ вопросу о томъ, отчего человѣкъ злится или воруетъ, относились такъ же, какъ и къ вопросу, зачѣмъ онъ страдаетъ и всего боится; съ любовью и болью начинали приниматься за патологическое изслѣдованіе подобныхъ вопросовъ, и если бы продолжалось это направленіе, оно, безъ сомнѣнія, было бы плодотворнѣе всѣхъ за нимъ послѣдовавшихъ. Нынѣ у насъ рѣшенія просты: если люди воруютъ, значитъ — полиція плохо дѣлаетъ свое дѣло; если взятки берутся, значитъ — начальникъ колпакъ... и т. п. А тогда выходило иной разъ: воруетъ человѣкъ оттого, что работы не нашелъ себѣ и съ голоду умираетъ; взятки беретъ, — чтобъ пятнадцать душъ семейства прокормить... Результаты очень непохожіе въ нравственномъ отношеніи: одинъ будитъ въ васъ человѣческое чувство и мужественную мысль, другой ведетъ васъ въ полицію и заставляетъ замирать на юридической формѣ.

Г. Достоевскій въ первомъ же своемъ произведеніи явился замѣчательнымъ дѣятелемъ того направленія, которое назвалъ я по

преимуществу гуманическимъ. Въ «Бѣдныхъ людяхъ». написанныхъ подъ свѣжимъ вліяніемъ лучшихъ сторонъ Гоголя и наиболѣе жизненныхъ идей Бѣлинскаго, г. Достоевскій со всею энергіей и свѣжестью молодого таланта принялся за анализъ поразившихъ его аномалій нашей бѣдной дѣйствительности и въ этомъ анализѣ умѣлъ выразить свой высоко-гуманный идеалъ. Идеалъ этотъ не принадлежалъ ему исключительно и не имъ внесенъ въ русскую литературу. Въ видѣ сентенцій о томъ, какъ «самый презрѣнный и даже преступный человѣкъ есть тѣмъ не менѣе братъ нашъ», и т. п., гуманическій идеалъ проявлялся еще въ нашей литературѣ конца прошлаго столѣтія, вслѣдствіе распространенія у насъ въ то время идей и сочиненій Руссо. Но эти привозныя сентенціи плохо тогда ладили съ русской жизнью, и мало было людей, которые бы могли серьезно и глубоко ими проникнуться. Державинъ все воспѣвалъ ничтожество людей вообще и величіе нѣкоторыхъ сановниковъ въ особенности; о правахъ же человѣческихъ думалъ такъ мало. что умиленно восторгался тѣмъ, какъ ему—

И знать и мыслить позволяютъ!..

Про Карамзина, конечно, нечего и говорить: чтобы видѣть, до какой степени сознаніе общихъ человѣческихъ правъ и интересовъ было ему чуждо, довольно перелистовать его «Письма русскаго путешественника», особенно изъ Франціи. У Пушкина проявляется кое гдѣ уваженіе къ человѣческой природѣ, къ человѣку, какъ къ человѣку, но и то большею частью въ эпикурейскомъ смыслѣ. Вообще же онъ былъ слишкомъ мало серьезенъ, или, говоря словами эстетиковъ, слишкомъ гармониченъ въ своей натурѣ, для того чтобы заниматься какими-нибудь аномаліями жизни. Онъ во всемъ видѣлъ только прекрасное и рисовалъ только поэтическія стороны: прелесть роскошнаго пира, стройность колоннъ, идущихъ въ битву, грандіозность падающей лавины, «благоуханіе словеснаго елѣя», пролившагося на него съ какой-то «высоты духовной», и пр., и пр. Только Гоголь, да и то не вдругъ, вноситъ въ нашу литературу гуманическій элементъ: въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» выразился онъ уже очень ясно. но, какъ видно, важность его не вполне оцѣнилъ тогда самъ Гоголь. По крайней мѣрѣ, «Ревизоръ» обработанъ въ этомъ отношеніи довольно слабо, что и подало поводъ нѣкоторымъ называть всю комедію фарсомъ и всѣ лица—карикатурами. Но чѣмъ далѣе, тѣмъ сильнѣе выказывалась у Гоголя гуманическая сторона его таланта, и даже вопреки своей воли, въ ожиданіи свѣтлыхъ и чистыхъ идеаловъ, онъ все изображалъ своимъ могучимъ словомъ «бѣдность да бѣдность, да несовершенства нашей жизни». По этому-то пути направился и г. Достоевскій.

Въ разныхъ видахъ и случаяхъ представилъ намъ г. Достоевскій недостатокъ уваженія человѣка къ самому себѣ и недостатокъ уваженія къ человѣку другихъ людей. Кажется бы, дѣло простое—ду-

мается, когда читаешь эти повѣсти:—человѣкъ родился, значитъ, долженъ жить, значитъ, имѣть право на существованіе; это естественное право должно имѣть и естественныя условія для своего поддержанія, т. е. средства жизни. А такъ какъ эта потребность средствъ есть потребность общая, то и удовлетвореніе ея должно быть одинаково общее, для всѣхъ, безъ подраздѣленій, что вотъ, дескать, такіе-то имѣютъ право, а такіе-то нѣтъ. Отрицать чье-нибудь право въ этомъ случаѣ—значитъ отрицать самое право на жизнь. А если такъ, то въ предѣлахъ естественныхъ условій рѣшительно всякій человѣкъ долженъ быть полнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ и, вступая въ сложныя комбинаціи общественныхъ отношеній, вносить туда вполнѣ свою личность и принимаясь за соотвѣтственную работу, хотя бы и самую ничтожную, тѣмъ не менѣе — никакъ не скрадывать, не уничтожать и не заглушать свои прямые человѣческія права и требованія. Кажется, ясно. А между тѣмъ—отчего же этотъ Макаръ Алексѣевичъ Дѣвушкинъ «прячется, скрывается, трепещетъ», непрерывно стыдится за свою жизнь, «да вокругъ себя смущеннымъ взоромъ поводитъ, да прислушивается къ каждому слову», и единственное утѣшеніе находитъ въ томъ, что онъ человѣкъ маленькій, человѣкъ ничтожный? Отчего Горшковъ этотъ — «жалкій, хилой такой; колѣнки у него дрожатъ, руки дрожатъ, голова дрожитъ, робкій, боится всѣхъ, ходитъ стороночкой»? Отчего это отецъ Покровскаго имѣетъ такой видъ, что «онъ чего-то какъ будто стыдится, что ему какъ будто самого себя совѣстно», и въ разговорахъ съ сыномъ — «приподымается немного со стула, отвѣчаетъ тихо, подобострастно, почти съ благоговѣніемъ»? А отчего г. Голядкинъ въ мучительныхъ и безплодныхъ попыткахъ «быть въ своемъ правѣ» и «итти своей дорогой» — съеживается до послѣднихъ уступокъ своего настоящаго права и, наконецъ, не выдержавъ въ слабой головѣ своей идеи, что подъ его право всѣ подкапываются, мѣшается въ разсудкъ? Отчего также г. Прохарчинъ двадцать лѣтъ скряжничаетъ и бѣдствуетъ, все отъ мысли о необезпеченности и, наконецъ, отъ этой мысли захварываетъ и умираетъ? Отчего этотъ молодой чиновникъ Шумковъ считаетъ себя извергомъ человѣчества и мѣшается на томъ, что его отдадутъ въ солдаты за то, что онъ, увлекшись нѣжностями съ невѣстою, не успѣлъ переписать къ сроку порученной отъ его превосходительства бумаги, которая къ тому-же вовсе и не была срочною? Отчего маленькая Нечка такъ уничтожается передъ Катей? Отчего Росталевъ отрекается отъ своей воли предъ Юмою Юмичемъ и считаетъ себя рѣшительно недостойнымъ любви Настеньки, своей гувернантки, которую страстно любить? Отчего Наташа теряетъ свою волю и разсудокъ, и Иванъ Петровичъ почтительно сторонится предъ вертопрахомъ Алешкою? Отчего старикъ Ихменевъ, перенося всевозможныя мученія отцовской любви, не хочетъ простить свою дочь, чтобъ не показать вида уступки князю и его сыну? Отчего маленькая Нелли такъ дико принимаетъ одолженія Ивана Петровича и идетъ соби-

рать милостыню, чтобы на собранные деньги купить ему разбитую ею чашку? Гдѣ причина всѣхъ этихъ дикихъ, поразительно-странныхъ людскихъ отношеній? Въ чемъ корень этого непонятнаго разлада между тѣмъ, что должно бы быть по естественному, разумному порядку, и тѣмъ, что оказывается на дѣлѣ?

Мы уже сказали, что прямого отвѣта на такіе запросы не даетъ ни одно лицо, ни одна повѣсть Достоевскаго въ отдѣльности. Чтобы найти отвѣтъ, мы должны группировать ихъ и пояснять одни другими.

Люди, которыхъ человѣческое достоинство оскорблено, являются намъ у г. Достоевскаго въ двухъ главныхъ типахъ: кроткомъ и ожесточенномъ. Первые не дѣлаютъ уже никакого протеста, склоняются подъ тяжестью своего положенія и серьезно начинаютъ увѣрять себя, что они—нуль, ничего, и что если его превосходительство заговорить съ ними, то они должны считать себя счастливыми и облагодѣтельствованными. Другіе, напротивъ: видя, что ихъ право, ихъ законныя требованія, то, что имъ свято, съ чѣмъ они въ міръ вошли, попирается и не признается, они хотятъ разорвать со всѣмъ окружающимъ, сдѣлаться чуждыми всему, быть достаточными самимъ для себя и ни отъ кого въ мірѣ не попросить и не принять ни услуги, ни братскаго чувства, ни добраго взгляда. Само собою понятно, что имъ не удастся выдержать характеръ и оттого они вѣчно недовольны собою, проклиная себя и другихъ, задумываютъ самоубійство, и т. п.

Между этими двумя крайностями стоитъ еще разрядецъ людей, которыхъ можно, пожалуй, отнести скорѣе къ первому типу: это люди, потерявшіе широкое сознаніе своего человѣческаго права, но замѣнившіе его какою-нибудь узенькою фикціею условнаго права, утвердившіеся въ этой фикціи и бережно ее хранящіе. При всякомъ случаѣ, гдѣ подобные господа воображаютъ, что ихъ личное достоинство въ опасности, они готовы повторять, напримѣръ, что «я титулярный совѣтникъ», «мнѣ самъ Василій Петровичъ руку подастъ», «меня штабъ-офицерша Похлестова знаетъ», и т. п. Это тоже люди трусливые, подозрительные, щепетильные, обидчивые до нелзя и сами всѣхъ болѣе несчастные своей обидчивостью.

Кто наблюдалъ въ нашемъ обществѣ надъ тѣмъ, что называется «мелкимъ людомъ», тотъ знаетъ, что кроткіе и покорившіеся люди тоже иногда бываютъ обидчивыми и щепетильными. Это зависитъ отъ отношеній: предъ начальникомъ отдѣленія помощникъ столоначальника—пасъ, смирился совершенно; но съ другими помощниками онъ считаетъ себя «въ своемъ правѣ» и за это право держится ревниво и угрюмо. Последняя сторона развита г. Достоевскимъ въ «Двойникѣ», въ которомъ много хорошихъ мѣстъ погибло, къ сожалѣнію, въ общей растянутости и неудачной фантастичности рассказа. Но мы покамѣстъ обратимся теперь къ анализу первой черты,—совершеннаго смиренія и тупого успокоенія на своемъ положеніи, каково оно вышло.

Кажется, тутъ бы и говорить не о чемъ: человѣкъ убѣдился, что онъ глупъ, или безобразенъ, или манеръ не имѣетъ,—ну, и ладно, и бросить эту матерію... Что тутъ канитель-то тянуть! И еще ему же спокойнѣе: знаетъ, что слѣпъ, такъ и подсматривать нечего... Сиди да слушай, что другіе скажутъ. И какой интересъ—описывать то, какъ слѣпой не видитъ?...

Но вотъ въ томъ-то и заслуга художника: онъ открываетъ, что слѣпой-то не совсѣмъ слѣпъ; онъ находитъ въ глупомъ-то человѣкѣ проблески самаго яснаго здраваго смысла; въ забитомъ, потерянномъ, обезличенномъ человѣкѣ онъ отыскиваетъ и показываетъ намъ живыя, никогда-незаглушимыя стремленія и потребности человѣческой природы, вынимаетъ въ самой глубинѣ души запрятанный протестъ личности противъ внѣшняго, насильственнаго давленія, и представляетъ его на нашъ судъ и сочувствіе. Такія открытія дѣлаетъ намъ Гоголь въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ своихъ; то же, только въ нѣсколько затѣйливой формѣ, находимъ мы въ «Бѣдныхъ людяхъ» г. Достоевскаго и отчасти въ другихъ его повѣстяхъ.

Чиновникъ Дѣвушкинъ, напримѣръ, живетъ-себѣ: дожилъ до сѣдыхъ волосъ, прослужилъ безъ малаго тридцать лѣтъ тихо и скромно, ни о чемъ не задумываясь, ни на что не претендуя. «Что это вы пишете мнѣ—объясняется онъ съ Варенькой—про удобства, про покой и про разныя разности? Маточка моя, я не брюзгливъ и не требователенъ, никогда лучше теперешняго не жилъ; такъ чего же на старости-то лѣтъ привередничать? *Я сытъ, одѣтъ, обутъ; да и куда намъ затѣи затѣвать! Не графскаго рода!..* Родитель былъ не изъ дворянскаго званія, и со всей-то семьей своей былъ бѣднѣе меня по доходу.—Я не нѣженка!» И точно онъ не нѣженка: квартиру занимаетъ за перегородкой въ кухнѣ, платитъ за нее два цѣлковыхъ и утѣшается тѣмъ, что онъ «ото всѣхъ особнячкомъ, помаленьку живетъ, втихомолочку живетъ»... «Сытъ я», говоритъ,—а за столъ платитъ пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ: можно представить, какая тутъ сытость. Обутъ и одѣтъ онъ,—тоже соотвѣтственно, но все повторяетъ «я не ропщу и доволенъ, жалованья достаточно, вотъ уже нѣсколько лѣтъ достаточно». Относительно своего умственного состоянія онъ тоже сознаетъ, что онъ человѣкъ неученый, на мѣдныя деньги учился, и слога не имѣетъ, и высокихъ матерій понимать не можетъ, а потому далеко и не лѣзетъ. Съ общественнымъ своимъ положеніемъ онъ примирился отлично. Онъ дошелъ до такихъ выводовъ, успокоительныхъ и резонныхъ: «всякое состояніе опредѣлено Всевышнимъ на долю человѣческую. Тому опредѣлено быть въ генеральскихъ эполетахъ, этому служить титулярнымъ совѣтникомъ; такому-то повелѣвать, а такому-то повиноваться. Это уже по способности человѣка рассчитано; иной на одно способенъ, а другой на другое, а способности устроены самимъ Богомъ». Утвердившись въ такихъ цѣлительныхъ мысляхъ, Макарь Алексѣичъ вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно теряетъ всякую опору внутри себя, въ собственномъ разсудкѣ, и вышею, единственною мѣрою своихъ достоинствъ счи-

таетъ уже не собственное сознаніе, а мнѣніе начальства и формальныя отношенія. Достоинства свои онъ описываетъ такимъ образомъ: «состою я уже около 30 лѣтъ на службѣ, служу безукоризненно, поведенія трезваго, въ безпорядкахъ никогда не замѣченъ. Какъ гражданинъ, считаю себя *собственнымъ сознаніемъ моимъ*, какъ имѣющаго свои недостатки, но *виѣсть съ тѣмъ и добродѣтели*. *Уважаемъ начальствомъ, и сами его превосходительство мною довольны* (собственное-то сознаніе куда пошло!); и хотя еще они доселѣ не оказывали мнѣ особенныхъ знаковъ благорасположенія, но я знаю, что они довольны». Далѣе Макаръ Алексѣичъ опять показываетъ, какъ сильно его собственное сознаніе: я, говоритъ, «въ большихъ проступкахъ и продерзостяхъ никогда не замѣченъ, чтобы этакъ противъ постановленій что-нибудь, или въ нарушеніи общественнаго спокойствія,—въ этомъ я никогда не замѣченъ, этого не было; *даже крестикъ выходилъ*»... Какъ видите, *крестикъ* составляетъ въ нѣкоторомъ родѣ базисъ философіи Макара Алексѣича и самый высшій послѣдній аргументъ его. Онъ не лишенъ и амбиціи, но она удовлетворяется тоже довольно легко: онъ разъ, на примѣръ, выпилъ неосторожно, дебошу надѣлалъ, по его словамъ, и послѣ того пишетъ къ Варенькѣ, утѣшая ее: «вы,—говоритъ,—обо мнѣ не беспокойтесь; спѣшу вамъ объявить, что амбиція моя мнѣ всего дороже, и увѣдомляю васъ, что *изъ начальства еще никто ничего не знаетъ, да и не будетъ знать, такъ что они всѣ будутъ питать ко мнѣ уваженіе по прежнему*». Вообще Макаръ Алексѣичъ до того дошелъ, что даже сапоги и шинель носить не для себя, а для другихъ, въ особенности же для его превосходительства; и чай пьетъ тоже больше для другихъ, и все для другихъ изъ амбиціи. «По мнѣ все равно, хоть бы и въ трескучій морозъ безъ шинели и безъ сапоговъ ходить—я перетерплю, и все вынесу, мнѣ ничего: *человѣкъ-то я простой, маленькій*». Но «*сапоги нужны для поддержки чести и добраго имени; въ дырявыхъ же сапогахъ и то и другое пропало*». То есть какъ же пропало? А такъ, что «вдругъ его превосходительство замѣтятъ и невзначай какъ-нибудь отнесутся на мой счетъ—бѣда»!.. Изъ этому кодексу морали и житейской мудрости, выработавшемся въ головѣ Макара Алексѣича, прибавьте умилительно-подловатое впечатлѣніе, оставшееся въ немъ отъ сцены, когда у него отлетѣла пуговица въ присутствіи генерала, и генералъ далъ ему сто рублей и пожалъ руку. Сцена эта, дѣйствительно превосходная, много разъ была цитирована, и потому, конечно, памятна читателямъ. А вотъ мысли о ней самого Макара Алексѣича. «Клянусь вамъ,—пишетъ онъ Варенькѣ,—что какъ ни погибалъ я отъ скорби душевной, въ лютые дни нашего злополучія, глядя на васъ, на ваши бѣдствія, и на себя, на униженіе мое и мою неспособность, несмотря на все это, клянусь вамъ, что не такъ мнѣ сто рублей дороги, какъ то, что его превосходительство сами мнѣ, соломѣ, пьяницѣ, руку мою недостойную пожать изволили! Этимъ они *меня самому себѣ возвратили*. Этимъ поступкомъ *они мой духъ воскресили*, жизнь мнѣ *слаще*

навыки содлали, и я твердо увѣренъ, что я какъ ни грѣшенъ предъ Всевышнимъ, но молитва о счастіи и благополучіи его превосходительства дойдетъ до престола Его!»! Въ этихъ изліяніяхъ душевныхъ вы видите доброту, чувствительность, благородство, если хотите—даже утонченную деликатность Макара Алексѣича; но, согласитесь, что вѣдь вамъ жалко то униженіе, въ какое онъ ставитъ себя, и только сила состраданія прогоняетъ въ васъ то чувство отвращенія, которое иначе невольно возбуждилось бы въ васъ такимъ искаженіемъ человѣческой природы... Забитый, тощій песъ Улисса, съ воємъ и ласкою встрѣчающій своего господина, неизмѣримо ближе и равнѣе съ нимъ, нежели этотъ чиновникъ съ благодѣтельнымъ его превосходительствомъ. Полное отсутствіе какого бы то ни было сознанія о своемъ достоинствѣ, полное признаніе своего ничтожества, исключеніе себя изъ того рода существъ, къ которому равно принадлежитъ и Макаръ Алексѣичъ и его благодѣтель,—вотъ что видите вы въ изліяніяхъ его благодарности. А онъ, между тѣмъ, счастливъ, самъ счастливъ собственнымъ униженіемъ, и въ умиленіи молить Бога простить ему «ропотъ и *либеральныя мысли*», которыя онъ позволялъ себѣ подчасъ «въ прежнее грустное время»...

Вотъ образецъ того, что нужно въ общемъ механизмѣ для успѣшнаго теченія дѣлъ. Кажется, ничего не можетъ быть лучше. Общество, достигнувшее того, что въ немъ вырабатываются подобные типы, можетъ, кажется, назваться образцовымъ, совершеннымъ, безукоризненнымъ въ смыслѣ государственной теоріи. Здѣсь не только установлена и поддерживается извѣстнаго рода іерархія... Это бы еще не штука: мало ли что можно установить и поддержать силою,—и кардинальское управленіе держится до сихъ поръ въ Ріиѣ... Но здѣсь не то: здѣсь установившаяся іерархія не имѣетъ даже необходимости быть поддерживаема: такъ ясна для всѣхъ ея польза и необходимость, до такой степени заслужила она внутреннее одобреніе каждаго, даже наименѣе ею ублагодвореннаго, до такой степени всѣ при ней сознаютъ себя счастливыми и довольными... Нельзя всѣмъ быть богатыми, всѣмъ талантливыми, всѣмъ красивыми; нельзя всѣмъ начальствовать, всѣмъ быть на первыхъ мѣстахъ; но истинный идеалъ государства состоитъ въ томъ, чтобы всякій былъ доволенъ на своемъ мѣстѣ, всякій признавалъ законность и глубокую справедливость своего положенія и съ такою же охотою повиновался, съ какою другіе повелѣваютъ, такъ же былъ спокоенъ и счастливъ при своихъ десяти цѣлковыхъ жалованья, какъ другіе—при двадцати тысячахъ дохода. Вотъ тогда можетъ осуществиться идеалъ золотого вѣка; тогда, если даже кто и непріятности отъ другихъ потерпитъ,—и это не разстроитъ ни общаго хода дѣлъ, ни его собственнаго счастія, потому что и въ непріятностяхъ этихъ онъ будетъ видѣть дѣло законное и полезное и будетъ примиряться съ ними, какъ съ годовыми переменами. Всякій членъ идеальной іерархіи будетъ разсуждать, какъ разсуждаетъ, напримѣръ, Макаръ Алексѣичъ о начальническихъ распекаціяхъ, по поводу насмѣшника, дерзнувшего

иронически о нихъ отозваться: «отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь?... Ну, да положимъ и такъ, напримѣръ, для тона распечь, — ну, и для тона можно; нужно приучать, нужно острастку давать... А такъ какъ разные чины бываютъ, и каждый чинъ требуетъ совершенно соотвѣтственной по чину распеканціи, то естественно, что послѣ этого и тонъ распеканціи выходитъ разночинный;—это въ порядкѣ вещей! *Да вѣдь на томъ и свѣтъ стоитъ, что всѣ мы одинъ передъ другимъ тону задаемъ, что всякъ изъ насъ одинъ другою распекаетъ. Безъ этой предосторожности и свѣтъ бы не стоялъ, и порядка бы не было*».

Вообразите себѣ идеальное государство, которое бы въ основаніе своей организаціи положило подобную философію и въ которомъ всѣ члены прониклись бы ею глубоко и искренно, всѣмъ сердцемъ. всѣмъ существомъ своимъ: что за счастливое было бы государство! Какое вѣчно-нерушимое спокойствіе, какая непрерывная тишина, какой миръ и благодушіе царили бы въ немъ! Никто бы не домогался того, чего не дано ему; никто не рвался бы съ мѣста, на которомъ поставленъ; никто не разсуждалъ бы о томъ, что выше его званія. Отъ бѣдняка мысль сдѣлаться богатымъ была бы такъ же далека, какъ желаніе пролѣзть сквозь игольные уши; столоначальникъ не думалъ бы критиковать распоряженій своего секретаря, какъ не критикуетъ онъ наступленія ночи послѣ дня, и наоборотъ; даже какой-нибудь юноша изъ мелкой сошки, посаженный за переписку бумагъ, точно такъ не вздумалъ бы тогда мечтать о подвигахъ, о славѣ, и т. п., какъ теперь не приходитъ ему въ голову мечтать, напримѣръ, о превращеніи своемъ въ крокодила, обитающаго въ Египтѣ, или въ допотопнаго мастодонта, открытаго въ сѣверныхъ льдахъ. Всюду разлито было бы благодатное спокойствіе, безъ всякихъ порывовъ и тревоженій. Всѣ были бы на своихъ мѣстахъ. Одни ѣздили бы въ коляскахъ, жили въ великолѣпныхъ палатахъ, занимались распеканіемъ другихъ; другіе ходили бы пѣшкомъ по грязи, въ дырявыхъ сапогахъ, жили въ сырыхъ углахъ и получали распеканціи, — но тѣ и другіе одинаково были бы спокойны и довольны своей участью. Тѣ и другіе существовали бы рядомъ, другъ подлѣ друга, такъ же безмятежно, какъ существуютъ дубъ и крапива, хотя и отнесенные Линнеемъ къ одному разряду по его системѣ, но нимало не помышляющіе о соблазнительномъ равенствѣ другъ съ другомъ. Не было бы тогда гнусной зависти, непозволительныхъ стремленій, всякого рода опасеній и подкоповъ: люди жили бы какъ святые въ царствѣ небесномъ: много будетъ въ раю обитателей, много степеней блаженства, но низшія степени будутъ братски сочувствовать высшимъ и сами наслаждаться отблескомъ того высшаго блаженства, котораго удостоены избранные. Такъ было бы и на землѣ въ томъ идеальномъ государствѣ, въ которомъ бы всѣ члены прониклись тѣми чистыми понятіями объ общественной іерархіи, какія сейчасъ были приведены... И что всего важнѣе—подобное устройство могло бы длиться вѣчно, потому что оно не заключаетъ въ себѣ никакихъ

элементовъ разрушенія,—ничего, что бы объшало, хотъ въ отдаленномъ будущемъ, нарушить общее спокойствіе и блаженство. Идеальное общество, основанное на здравыхъ понятіяхъ объ общественной іерархіи, могло бы существовать цѣлые вѣка спокойно, мирно и счастливо, и развѣ какой-нибудь геологическій переворотъ могъ бы разрушить его идеальныя совершенства...

Но, къ величайшему сожалѣнію друга человѣчества, не отыскивается философскій камень, не бываетъ полнаго совершенства на землѣ, нѣтъ нигдѣ такого идеальнаго общества, какое мы предполагали... Говорятъ, въ давнія времена, которыхъ мы съ вами, читатель, уже и не припомнимъ, было нѣчто подобное устроено въ Индіи, да и то при помощи самого Брами. Парія отъ Брамина былъ такъ же далекъ, и пропасть между ними была почти такъ же непреходима, говорятъ, какъ пропасть между Макаромъ Алексѣичемъ и его превосходительствомъ. А на томъ свѣтѣ, говорятъ, изъ семи круговъ, въ которыхъ давались смертнымъ разные виды блаженства, самымъ высшимъ считался тотъ, гдѣ человѣкъ терялъ совершенно свою личность, волю, сознаніе, погружался въ лоно Брами и рѣшительно, безъ слѣда, уничтожался въ немъ. Это была высшая точка верховнаго блаженства, какую только могло вообразить себѣ индійское ученіе. Кажется, чего бы лучше: общество съ подобными началами не должно бы погибнуть, но должно бы постоянно расширять кругъ своихъ счастливыхъ членовъ... Но—таково несовершенство человѣческой природы!—и индійское ученіе и устройство рушилось, и если теперь остается еще, то лишь въ жалкихъ подражаніяхъ и передѣлкахъ, далекихъ отъ совершенствъ первоначальнаго образца. Нѣчто подобное устроили-было отцы іезуиты въ Парагвайской республикѣ; но и тамъ успѣхъ былъ далеко не полонъ. О другихъ слабыхъ попыткахъ достигнуть идеала, дѣланныхъ, на примѣръ, въ Неаполѣ, въ Австріи и въ другихъ странахъ, не стоитъ и говорить. Теорія принималась хорошо, проводилась въ разныхъ учрежденіяхъ, преподавалась въ школахъ, проповѣдывалась въ церквахъ монахами разныхъ орденовъ, проникала даже въ домашнее воспитаніе, захватывая, такимъ образомъ, человѣка въ самые нѣжные, самые впечатлительные его годы: но — все не въ прокъ! Большинство принимало теорію, не имѣло ничего сказать противъ нея; но не могло или не умѣло успокоиться на ней. Какое-то исканіе не переставало тревожить людей, и вотъ какая-нибудь пустая случайность, ничтожное столкновеніе,—и все взволновано, и идеаль непрерывной тишины взлетѣлъ прахомъ на воздухъ... Моралисты утверждали, что все это отъ растлѣнности человѣческаго рода и отъ помраченія ума его; другіе, напротивъ, кричали, что теорія будто бы идеальной организаціи, состоящая въ обезличеніи человѣка, противна естественнымъ требованіямъ человѣческой природы, и потому должна быть отвергнута, какъ негодная, и уступить мѣсто другой, признающей всѣ права личности и принципъ безконечнаго развитія,

безконечнаго шествія впередъ, то-есть прогресса, въ противоположность застою.

Мы, то есть русскіе, и преимущественно литераторы, обыкновенно держали себя въ сторонѣ отъ всѣхъ этихъ споровъ, происходившихъ на западѣ Европы. Мы въ это время занимались своими вопросами: о торговлѣ древнѣйшей Руси, о талантѣ г. Щербины, объ Іаковѣ мнихѣ, о зооморфическихъ божествахъ у славянъ; восхищались пѣніемъ Маріо и письмами Ивана Александровича Чернокнижникова, жалѣли о почти единовременной кончинѣ Жуковскаго, Гоголя и Загоскина, и удивлялись ковамъ англичанъ, готовившимся противъ насъ... Словомъ — мы, какъ и всегда, дѣлали свое дѣло, и въ то, что насъ не касается, не мѣшались: «помаленечку, втихомолочку жили, никого не трогая,—старались, чтобъ воды не замутить». Тѣмъ не менѣе, во время уже очень недавнее, когда кто-то крикнулъ: «прогрессъ»! да и спрятался,—и пошли съ тѣхъ поръ хвалить прогрессъ и бранить застои на чемъ свѣтъ стоитъ. Какъ и почему случилось это—объясните! Говорятъ, потому, что прогрессъ необходимъ человѣку, что скорѣе зарѣзать его можно, чѣмъ заставить не желать прогресса... Не знаю, можетъ, оно и такъ. Посмотримъ, не отвѣтятъ ли намъ что-нибудь взятые нами лица, воспроизведенныя художническою силою. Извѣстно, что вѣдь художникъ всегда безпристрастенъ: къ спорамъ и теоріямъ онъ не прикасается, а наблюдаетъ только факты жизни да и рисуетъ ихъ, какъ умѣетъ,—вовсе не думая, кому это послужить, для какой идеи пригодится. И поэтому-то именно, замѣчательный художникъ важенъ въ общественномъ смыслѣ: въ жизни-то еще когда наберешь фактовъ, да и тѣ будутъ блѣдны, отрывочны, побужденія неясны, причины смѣшаны; а тутъ, пожалуй, и одно или два явленія представлены, да за то такъ, что послѣ нихъ уже никакого сомнѣнія не можетъ быть относительно цѣлаго разряда подобныхъ явленій.

Нужно сказать, что нѣкоторая доля художнической силы постоянно сказывается въ г. Достоевскомъ, а въ первомъ его произведеніи сказала даже въ значительной степени. Отъ него не ускользнула правда жизни, и онъ чрезвычайно мѣтко и ясно положилъ грань между официальнымъ настроеніемъ, между внѣшностью, форменностью человѣка, и тѣмъ, что составляетъ его внутреннее существо, что скрывается въ тайникахъ его натуры и лишь по временамъ, въ минуту особеннаго настроенія, мелькомъ проявляется на поверхности. Изъ наблюденій автора, переданныхъ намъ въ его разсказахъ, оказывается, что вѣдь ни одного человѣка нѣтъ, кто бы въ самомъ дѣлѣ, всѣмъ сердцемъ и душою возлюбилъ идеальную организацію, обѣщающую столько мира и довольства людямъ. Даже люди, наиболѣе ею пропитанные, и тѣ безпрестанно проговариваются и уклоняются. Да вотъ хоть бы самъ Макаръ Алексѣичъ: вы, можетъ быть, думаете, что онъ въ самомъ дѣлѣ успокоился на томъ, что «всякому свое мѣсто назначено, а мѣста по способностямъ распредѣлены» и т. д.? Вовсе нѣтъ; это когда онъ резонируетъ въ

спокойномъ положеніи, такъ и говоритъ такимъ образомъ. А чуть что-нибудь задѣнетъ его за живое,—онъ совсѣмъ мѣняется, и лѣзутъ ему въ голову сами собою «либеральныя мысли». Онъ тогда спрашиваетъ: «отчего же это такъ все случается, что вотъ хорошій-то человѣкъ въ заустѣннѣ находится, а къ другому кому счастье само напрашивается?... Знаю, знаю, маточка (спѣшить онъ прибавить, обращаясь къ Варенькѣ),—что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правдѣ-истинѣ,—зачѣмъ одному еще въ чревѣ матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой изъ Воспитательнаго дома на свѣтъ Божій выходитъ? И вѣдь бываетъ же такъ, что счастье-то часто Иванушкѣ-дурачку достается. Ты, дескать, Иванушка-дурачокъ, ройся въ мѣшкахъ дѣдовскихъ, пей, ѣшь, веселись, а ты такой-сякой, только облизывайся; ты, дескать, на то и годишься, ты, братецъ, вотъ какой! Грѣшно, маточка (снова спѣшить оговориться боязливый Макаръ Алексѣичъ), оно грѣшно этакъ думать, *да тутъ поневолю какъ то грѣхъ въ душу лѣзетъ*». Разчувствовавшись, Макаръ Алексѣичъ уже не ограничивается и сомнѣніями, а даже до негодованія доходить, и задѣваетъ людей почище себя: «что фракъ-то на немъ сидитъ гоголемъ, что въ лорнетку-то золотую онъ на васъ смотритъ, безстыдникъ,—такъ ужъ ему все съ рукъ сходить, такъ ужъ и рѣчь его непристойную снисходительно слушать надо! *Полно, такъ ли, голубчики*? Какъ хотите, а вѣдь это чуть не вызовъ со стороны бѣднаго чиновника: видно, не совсѣмъ же угомонилось его сердце, не совсѣмъ успокоился онъ на томъ, что «если бы мы другъ-другу тону не задавали, то и свѣтъ бы не стоялъ, и порядку бы не было». Нѣтъ, онъ издаетъ теперь вопли сердечные и сознаетъ за собою право вопить и жаловаться: «а еще люди богатые не любятъ,—замѣчаетъ онъ,—чтобы бѣдняки на худой жребій вслухъ жаловались,—дескать, они беспокоятъ, они-де назойливы. *Да и всегда бѣдность назойлива; спатъ, что ли, мышаютъ ихъ стоны голодные*»?.. И переполненное горечью сердце внушаетъ ему такія мысли, вызываетъ наружу такіе инстинкты, которыхъ онъ самъ испугался и отрекся бы въ обыкновенномъ положеніи, но которые теперь сами собою, неодолимо являются во всей своей силѣ. «Теперь на меня *такая тоска нашла*,—пишетъ разогорченный Дѣвушкинъ,—*что я самъ моимъ мыслямъ до глубины души сталъ сочувствовать*, и хотя я самъ знаю, маточка, что этимъ сочувствіемъ не возьмешь, но все-таки *нѣкоторымъ образомъ справедливость воздашь себѣ*. И подлинно, родная моя, часто самого себя, безъ всякой причины, *уничтожаешь*, въ грошъ не ставишь и ниже щепки какой-нибудь сортируешь. А если сравненіемъ выразиться, такъ это, можетъ быть, отъ того происходитъ, что я самъ *запуганъ и заманъ*, какъ хотъ бы и тотъ бѣденекій мальчикъ, что милостыни у меня просилъ». Вотъ этакія-то мысли, западая въ человѣка и развиваясь въ немъ съ чрезвычайно быстрой и силою, при помощи его природныхъ инстинктовъ,—и губятъ всеобщую тишину и спокойствіе въ томъ идеальномъ обще-

ственномъ механизмѣ, который такъ отрадно рисовался намъ выше. И нельзя сказать, чтобы авторъ здѣсь выдумывалъ, клеветалъ на человѣческую природу. Можно замѣтить, пожалуй, что Макаръ Алексѣичъ, для своего образованія и положенія, является уже слишкомъ мѣткимъ оппонентомъ противорѣчій официальныхъ основъ жизни съ ея дѣйствительными требованіями; но это потому, что, сочиняя въ теченіе полугода, чуть не каждый день, письма къ Варенькѣ, Макаръ Алексѣичъ изощрилъ свой слогъ; а съ другой стороны—почему же и автору немножко не прійти къ нему на помощь? Но помощь эта касается единственно словеснаго выраженія мыслей; сами же мысли чисто принадлежатъ Макару Алексѣичу,—это скажетъ всякій, хоть недолгое время, хоть разъ бывавшій въ его положеніи. Макаръ Алексѣичъ формулировалъ свои тяжкія сомнѣнія въ письмахъ къ Варенькѣ; другіе не формулируютъ ихъ иначе, какъ своимъ поведеніемъ, разными странными поступками и печальными ихъ результатами. Если вы, напримѣръ, имѣли бы терпѣніе хоть перелистывать безконечнаго г. Голядкина, — вы увидѣли бы, что и онъ мучится и сходитъ съ ума совершенно по тѣмъ же общимъ причинамъ,—вслѣдствіе неудачнаго разлада бѣдныхъ остатковъ его чело-вѣчности съ официальными требованіями его положенія. Голядкинъ не такъ бѣденъ и давленъ, какъ Дѣвушкинъ; онъ можетъ себѣ позволять даже нѣкоторый комфортъ; даже въ своемъ кругу видитъ людей, которыхъ *официально* имѣетъ право считать ниже себя, такъ какъ онъ состоитъ помощникомъ столоначальника въ департаментѣ. Вслѣдствіе того, онъ приобрѣлъ нѣкоторое условное уваженіе къ себѣ и какое-то смутное понятіе о «своемъ правѣ». Но тутъ онъ и спутался. Случилось обстоятельство, при которомъ нужно было выставить вовсе не это чиновное право, а совсѣмъ другое: ему понравилась дѣвушка. Какъ искатель незавидный, онъ былъ отстраненъ, и вотъ тутъ-то перевертываются вверхъ дномъ всѣ его понятія. Макаръ Алексѣевичъ нашелъ возможность удовлетворить добротѣ своего сердца, быть полезнымъ для любимаго существа, и потому въ немъ все больше и яснѣе развивается гуманное сознаніе, понятіе объ истинномъ человѣческомъ достоинствѣ. Яковъ Петровичъ Голядкинъ, напротивъ, получилъ нѣсколько афронтовъ отъ родныхъ своей возлюбленной и отъ своего соперника и потому, оскорбленный въ своемъ человѣческомъ чувствѣ, но не умѣя хорошенько сознать этого, прямо хватается за свое чиновное право. «Это моя частная жизнь, это не касается моихъ официальныхъ отношеній», находитъ онъ сказать, когда ему отказываютъ отъ званаго обѣда въ домѣ родителя его возлюбленной. И затѣмъ его мысли совершенно разстраиваются; онъ уже не знаетъ, что же онъ — въ правѣ или не въ правѣ... Онъ чувствуетъ только одно, что тутъ что-то не такъ, не ладно. Хочетъ онъ объясниться со всѣми—врагами и недругами.—все не удается, характера не хватаетъ... И приходитъ онъ къ *idée fixe*, къ пункту своего помѣшательства: что жить въ свѣтѣ можно только интригами, что хорошо на свѣтѣ только тому, кто хитритъ, подли-

часть, другихъ обижаетъ... И вотъ у него является на умъ рѣшимость — тоже хитрить, тоже подкопы вести, интриговать... Но гдѣ ужъ ему пускаться на такія штуки? Не такъ онъ жилъ прежде, не такъ приготовленъ, характеръ у него не такой... «Натура-то твоя такова: душа ты правдивая, — рассуждаетъ онъ самъ съ собою. — Нѣтъ, ужъ лучше мы съ тобой потерпимъ, Яковъ Петровичъ, — пождемъ и потерпимъ». И къ этому прибавляется еще у него мысль, тоже обличающая его характеръ, — мысль, что все еще «можетъ объясниться и устроиться къ лучшему». Оттого-то онъ никакъ не можетъ ни на что рѣшиться, даже высказаться порядкомъ не можетъ, и, несмотря на «присутствіе страшной энергіи въ себѣ», вѣчно мнется, трусить и ворочается съ половины дороги. Все, что въ немъ было живого, здраваго и сознательнаго, какъ-то не выливалось въ обычную форму, въ которой онъ доселѣ сидѣлъ такъ хорошо, и, едва поднявшись, осѣдало опять на дно его души, но осѣдало какъ-то беспорядочно, болѣзненно, совершенно не подѣстать къ стройности чиновнаго механизма, въ которомъ онъ былъ вставленъ. Характеризуя его противорѣчія, авторъ между прочимъ говоритъ: «позволить обидѣть себя онъ никакъ не могъ согласиться, а тѣмъ болѣе — дозволить затереть себя какъ ветошку, и наконецъ дозволить это совсѣмъ развращенному человѣку... Не споримъ, впрочемъ, не споримъ: можетъ быть, если бъ кто захотѣлъ, если бъ ужъ кому, напримѣръ, вотъ такъ непремѣнно захотѣлось обратить въ ветошку господина Голядкина, то и обратилъ бы, обратилъ бы безъ сопротивленія и безнаказанно (господинъ Голядкинъ самъ въ иной разъ это чувствовалъ), и вышла бы ветошка, а не Голядкинъ, — такъ, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта была бы съ амбіціей, была бы съ одушевленіемъ и чувствами, *хотя бы и съ безответной амбіціей и съ безответными чувствами и далеко въ грязныхъ складкахъ этой веточки скрытыми, но все-таки съ чувствами*». Мнѣ кажется, трудно лучше характеризовать положеніе забитыхъ людей, подобныхъ Голядкину, людей, дѣйствительно какъ будто превращенныхъ въ тряпицу и только въ грязныхъ складкахъ хранящихъ остатки чего-то человѣческаго, неслышнаго, безотвѣтнаго, но все какъ то по временамъ дающаго себя чувствовать. Вотъ оно дало себя чувствовать и г. Голядкину, и всею тяжестью обрушились тяжкія сомнѣнія и вопросы на бѣдный разсудокъ и фантазію Якова Петровича. «Такъ это не такъ? Тутъ не каждый въ своемъ правѣ? Тутъ берутъ интригами? Давай же, когда такъ, и я буду интриговать... Да гдѣ мнѣ интриговать? Натура у меня глупая — правдивая, — никогда окольными путями... Но другіе же всѣ окольными путями ходятъ, иначе человѣка затрутъ, а я затереть себя не могу позволить... А что, въ самомъ дѣлѣ, если бъ я»... И господинъ Голядкинъ, вообще склонный къ меланхоліи и мечтательности, начинаетъ себя раздражать мрачными предположеніями и мечтами, возбуждать себя къ несвойственной его характеру дѣятельности. Онъ раздвояется, самого

себя онъ видитъ вдвойнѣ... Онъ группируетъ все подленькое и житейски ловкое, все гаденькое и успѣшное, что ему приходитъ въ фантазію; но отчасти практическая робость, отчасти остатокъ гдѣ-то въ далекихъ складкахъ скрытаго нравственнаго чувства препятствуетъ ему принять всѣ придуманныя имъ пронырства и гадости на себя, и его фантазія создаетъ ему «двойника». Вотъ основа его помѣшательства. Не знаю, вѣрно ли я понимаю основную идею «Двойника»; никто, сколько я знаю, въ разъясненіи ея не хотѣлъ забираться далѣе того, что «герой романа—сумасшедшій». Но мнѣ кажется, что если ужъ для каждаго сумасшествія должна быть своя причина, а для сумасшествія, рассказаннаго талантливымъ писателемъ на 170 страницахъ—тѣмъ болѣе, то всего естественнѣе предлагаемое мною объясненіе, которое само собою сложилось у меня въ головѣ при перелистываньи этой повѣсти (всю ее сплошь я, признаюсь, одолѣть не могъ). Авторъ, кажется, самъ не чуждъ былъ такого объясненія: такъ, по крайней мѣрѣ, представляется по нѣкоторымъ мѣстамъ повѣсти. Напр., первое признаніе г. Голядкинымъ своего двойника описывается авторомъ такъ: это былъ «не тотъ г. Голядкинъ, который служилъ въ качествѣ помощника своего столоначальника; *не тотъ, который любилъ стучеваться и зарываться въ толпу*, не тотъ, наконецъ, *чья походка ясно выговаривалась: «не троньте меня, и я васъ трогаю не буду»*, или: «*не троньте меня,—вѣдь я васъ не затрагиваю*»,—нѣтъ, это былъ другой г. Голядкинъ, совершенно другой, но вмѣстѣ съ тѣмъ и совершенно похожій на перваго». И далѣе безпрестанно г. Голядкинъ-младшій ведетъ себя съ такою ловкостью и безстыдствомъ, какія только въ мечтахъ и возможны: онъ ко всѣмъ подбивается, передъ всѣми семенить, бѣгаетъ съ портфелемъ его превосходительства, изъ чего г. Голядкинъ-старшій заключаетъ, что онъ уже «по особому»... Г. Голядкинъ-младшій всегда умѣетъ остаться правымъ, ускользнуть отъ объясненій, отвернуться и подольститься, когда нужно; онъ способенъ даже заставить другого заплатить за съѣденные имъ растегай; и при всемъ томъ онъ со всѣми хорошъ, онъ смѣло разсуждаетъ тамъ, гдѣ Голядкинъ-старшій умильно теряется, онъ сидитъ въ гостиной тамъ, куда Голядкинъ-старшій и въ переднюю показать носъ боится... Нечего и говорить, что г. Голядкинъ все это самого же себя рисуетъ въ видѣ двойника своего. Выдумывая его небывалые, фантастическіе подвиги, онъ имѣетъ мысль, что вотъ поступиай онъ только такимъ образомъ (какъ *нѣкоторые люди* и поступаютъ)—и по службѣ онъ успѣвалъ бы, и насмѣшкамъ товарищей не подвергался, и не былъ бы затертъ какимъ-нибудь выскочкой, раньше его получившимъ коллежскаго, и главное—не былъ бы такъ безбожно обиженъ драгоцѣнною Кларою Олсуфьевною и ея родными. Но вмѣсто того, чтобы любоваться на подобные подвиги, г. Голядкинъ возмущается противъ нихъ всею долею того забитаго, загнаннаго сознанія, какая ему осталась послѣ ровнаго и тихаго гнета жизни, столько лѣтъ непрерывно покоившагося на немъ. Ему про-

тивны даже въ мечтахъ тѣ поступки, тѣ средства, которыми выбиваются «нѣкоторые люди»; онъ съ постояннымъ страхомъ отбрасываетъ свои же мечты на другое лицо и всячески позорить и ненавидить его. Въ минуты же просвѣтлѣнія, когда онъ опять начинаетъ яснѣе сознавать свою собственную личность, онъ вспоминаетъ о своихъ поползновеніяхъ на хитрость, ему мерещится строгій голосъ старичка Антона Антоныча: «а что, и вы тоже собирались хитрить»?—и блѣднѣетъ, теряется,—и снова представляется ему образъ его двойника, который бы изъ всего этого вывернулся, посеменивъ ножками, и еще сильнѣе растетъ раздраженіе г. Голядкина противъ такой подлой, зловредной личности... Порою къ нему возвращаются прежнія мысли, что, можетъ быть, все устроится къ лучшему,—и вотъ ему разъ представляется даже, будто Клара Олсуфьевна, плѣненная его качествами, присылаетъ ему письмо, въ которомъ приказываетъ увезти ее отъ злостныхъ и неблагонамѣренныхъ интригантовъ. И г. Голядкинъ точно отправляется подъ окна Клары Олсуфьевны — ждать ее, а отсюда уже отвозятъ его въ сумасшедшій домъ...

Ну, посудите же—зачѣмъ было сходить съ ума человѣку? Оставайся бы онъ только вѣренъ безмятежной теоріи, что онъ въ своемъ правѣ, и всѣ въ своемъ правѣ, что если новый коллежскій раньше его произведенъ,—такъ этому такъ и слѣдуетъ быть, и что если Клара Олсуфьевна его отвергла, такъ опять это значитъ, что ему къ ней и соваться не слѣдовало,—словомъ, продолжай онъ итти своей дорогой, никого не затрагивая, и помни, что все на свѣтѣ законнѣйшимъ образомъ распредѣляется по способностямъ, а способности самою натурою даны, и т. д.—вотъ и продолжалъ бы человѣкъ жить въ прежнемъ довольствѣ и спокойствіи. Такъ вѣдь нѣтъ же: встало что-то со дна души и выразилось мрачнѣйшимъ протестомъ, къ какому только способенъ былъ ненаходчивый г. Голядкинъ,—сумасшествіемъ... Не скажу, чтобъ г. Достоевскій особенно искусно развилъ идею этого сумасшествія, но надо признаться, что тема его—раздвоеніе слабого, безхарактернаго и необразованнаго человѣка между робкою прямою дѣйствій и платоническимъ стремленіемъ къ интригѣ, раздвоеніе, подъ тяжестью котораго сокрушается наконецъ разумъ бѣдняка,—тема эта, для хорошаго выполнения, требуетъ таланта очень сильнаго. При хорошей обработкѣ, изъ г. Голядкина могло бы выйти не исключительное, странное существо, а типъ, многія черты котораго нашлись бы во многихъ изъ насъ. Припомните ваши встрѣчи съ чиновнымъ людомъ; припомните тѣхъ, которые называютъ себя людьми неискательными, спокойными, любящими по правдѣ жить. Вспомните, какъ они любятъ говорить о своей неискательности, и какъ иногда вдругъ круто измѣняется направленіе разговора, при упоминаніи о комъ-нибудь изъ ихъ сослуживцевъ, начальниковъ или знакомыхъ, успѣвающимъ больше другихъ. Тутъ сейчасъ пойдетъ: и «хорошо тому жить, у кого бабушка ворожить» и «правдой вѣкъ не проживешь», и жалобы

на собственную неспособность къ подлостямъ, и ироническое, какъ будто уничижительное перечисленіе собственныхъ заслугъ: «что, дескать, мы — что по шести то часовъ спины не разгибаемъ, да дѣла-то всѣ нами держатся — эка важность... А вотъ — пойти къ его превосходительству на балъ, да полку тамъ отхватать, да по утрамъ вмѣсто дѣла-то по магазинамъ разѣзжать — его супруги комиссіи исполнять—вотъ это дѣло, вотъ съ этимъ и въ честь попадешь... А мы—что? Клячи водовозныя, волю подъяремныя—только въ черную работу и годимся»... и т. д. А затѣмъ разговоръ непременно принимаетъ такой оборотъ: что вѣдь «и мы, дескать, могли бы подличать, и мы могли бы финтить»... и въ доказательство расскажутъ вамъ нѣсколько случаевъ, гдѣ точно человѣку удобно было сподличать, а онъ не захотѣлъ... Во всѣхъ подобныхъ господахъ рѣшительно сидитъ тенденція г. Голядкина къ сумасшедшему дому; дайте имъ только побольше мечтательности и меланхоліи—и переходъ будетъ не далекъ...

Господинъ Голядкинъ, впрочемъ, человѣкъ ужъ совсѣмъ сумасшедшій; оставимъ его. А вотъ еще есть лицо у г. Достоевскаго, тоже сумасшедшій, но скорѣе только маноманъ — г. Прохарчинъ. Человѣкъ этотъ тоже сообразилъ, должно быть, еще при началѣ своего служебнаго поприща, что «одному на семь свѣтѣ назначено въ каретахъ ѣздить, другому въ худыхъ сапогахъ по грязи шлепать», и, причисливъ себя къ послѣднему разряду, нанялъ себѣ уголъ и живетъ, не думая пытаться судьбы своей. Но прочнаго спокойствія нѣтъ у него на душѣ; характеръ у него боязливый, какъ у всѣхъ забитыхъ, и хотъ онъ твердо вѣруеть въ нерушимость своей философіи, но на свѣтѣ видитъ и случайности разнаго рода: болѣзни, пожары, внезапныя увольненія отъ службы по желанію начальства... Бѣдняка начинаетъ преслѣдовать мысль о непрочности, о *необезпеченности* его положенія. Мысль, конечно, очень естественная. Натураленъ и результатъ ея—рѣшеніе откладывать и копить деньги, на всякій случай. Но исполненіе уже дико, хотя тоже понятно въ г. Прохарчинѣ: онъ прячетъ звонкую монету себѣ въ тюфякъ... Да и куда же ему дѣвать, въ самомъ дѣлѣ? Въ сундукъ положить—утащатъ; поручить кому-нибудь — никому довѣриться нельзя; въ ломбардъ положить — помилуйте, это значитъ прямо объявить себя богачемъ, Крезомъ какимъ-то. «У него деньги въ ломбардѣ лежатъ» — знаете ли вы, какъ звучитъ эта фраза въ кругу мелкихъ чиновниковъ, а тѣмъ болѣе обитателей угловъ!... Вотъ г. Прохарчинъ и прячетъ деньги въ тюфякъ, и 10 лѣтъ прячетъ, и 15, и 20, можетъ быть и больше, и даже самъ, кажется, высчитать хорошенько не можетъ, сколько у него тамъ спрятано; а потревожить тюфякъ—боится любопытныхъ глазъ... Живетъ онъ довольно спокойно, т. е. передъ всякимъ сторонится, всего робѣетъ и радъ, что его не трогаютъ. Вдругъ вмѣстѣ съ нимъ поселяются новые жильцы—хорошіе люди, но «надсмѣшники». Замѣтивъ боязливость Прохарчина и постоянную мысль его о необезпеченности, — давай они между собою

сочинять слухи—то о сокращеніи штатовъ, то объ экзаменахъ для старыхъ чиновниковъ, то о желаніи его превосходительства уволить всѣхъ чиновниковъ съ непрезентабельной фигурой, то вообще о тяжелыхъ временахъ... И что бы вы думали! Вѣдь совсѣмъ сбился съ толку бѣдняжка Прохарчинъ: ходитъ самъ не свой, лица на немъ нѣтъ, такъ и ждетъ, что его выгонять изъ службы, и тогда что же съ нимъ будетъ? Запасецъ хоть и сдѣланъ, да вѣдь уже его теперь истощать придется, а пополнять неоткуда... Волненіе Прохарчина выразилось, какъ водится, между прочимъ, тѣмъ, что онъ, встрѣтаясь съ какимъ-то закоснѣлымъ пьянчужкой, хватилъ черезъ край и привезенъ домой въ безчувствіи и больной. Едва очнувшись, онъ началъ бредить и тосковать о томъ, что вотъ живешь-живешь, да и съ сумочкой; нынче нуженъ, завтра нуженъ, а потомъ и не нуженъ, и ступай по-міру... Его начинаютъ убѣждать, что ему бояться нечего: человѣкъ онъ хорошій, смирный, и пр... Онъ отвѣчаетъ: «да вотъ онъ вольный, я вольный; а какъ лежишь, лежишь, да и того»...—Чего?—«Анъ и вольнодумецъ»... Всѣ приходятъ въ ужасъ и негодованіе при одной мысли, что Прохарчинъ можетъ быть вольнодумцемъ; но онъ возражаетъ: «стой, я не того... ты пойми только, баранъ ты: я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потомъ и не смирный, сгрубилъ; пряжку тебѣ, и пошелъ вольнодумецъ»!... Словомъ сказать, господинъ Прохарчинъ сдѣлался истиннымъ вольнодумцемъ: не только въ прочность мѣста, но даже въ прочность собственнаго смиренія пересталъ вѣрить. Точно будто вызвать на бой кого-то-хочетъ: «да что, дескать, вѣчно, что ли, я пресмыкаться-то буду? Вѣдь я и сгрублю, пожалуй,—я и сгрубить могу... Только, что тогда будетъ»?... Но разгулялся этакъ господинъ Прохарчинъ передъ смертью: въ ту же ночь, не осиливъ волненія, онъ умеръ, возбудивъ общее сожалѣніе въ жильцахъ. А по смерти его нашли въ тюфякѣ, въ разныхъ сверточкахъ, серебряной монеты на 2497 рублей съ полтиною ассигнаціями, отчего жильцы, и въ особенности хозяйка, пришли уже въ негодованіе...

Господинъ Прохарчинъ, какъ забитый, запуганный человѣкъ, ясенъ; о немъ и распространяться нечего. О его внезапной тоскѣ и страхѣ отставки тоже нечего много разсуждать. Привести развѣ мнѣніе его сожителей, во время его болѣзни: «всѣ охали и ахали; всѣмъ было и жалко и горько, и всѣ межъ тѣмъ дивились, что вотъ какъ же это такимъ образомъ могъ совсѣмъ заробѣть человѣкъ? И изъ чего жъ заробѣлъ? Добро бы былъ при мѣстѣ большомъ, женой обладалъ, дѣтей поразвелъ; добро бъ его тамъ подъ-судъ какой ни-на-есть притянули; а то вѣдь и человѣкъ совсѣмъ дрянъ, съ однимъ сундукомъ и съ нѣмецкимъ замкомъ; лежалъ слишкомъ двадцать лѣтъ за ширмами, молчалъ, свѣту и горя не зналъ, скопидомничалъ, и вдругъ вздумалось теперь человѣку, съ пошлаго, съ празднаго слова какого-нибудь, совсѣмъ перевернуть себѣ голову, совсѣмъ заботиться о томъ, что на свѣтѣ вдругъ стало жить тяжело... А и не разсудилъ человѣкъ, что всѣмъ тяжело!.. Прими онъ вотъ

только это въ расчетъ,—говорилъ потомъ Океаніевъ,—что вотъ встѣлъ тяжело, такъ берегъ бы человекъ свою голову, пересталъ бы куралесить и потянулъ бы свое кое-какъ, куда слѣдуетъ».

И вѣдь правъ Океаніевъ: дѣйствительно, Прохарчинъ оттого и погибъ, что съ пути здоровой философіи сбился.

Но кто же не сбивался съ нея? У кого не бывало случаевъ, порывовъ, увлеченій, внезапно нарушавшихъ ровный ходъ мирно устроеннаго механизма жизни? Вотъ еще, пожалуй, примѣръ, изъ г. Достоевскаго: юный чиновникъ, Вася Шумковъ, изъ низкаго состоянія трудолюбіемъ и благоправіемъ вышелъ, за почеркъ и кротость любимъ начальствомъ и самимъ его превосходительствомъ, Юліаномъ Мастаковичемъ; получаетъ отъ него частныя бумаги для переписки, да еще за эту честь и деньгами отъ него награждается время отъ времени. Къ этому еще онъ имѣетъ преданнаго друга Аркашу; мало того, онъ полюбилъ, заслужилъ взаимность и уже женихомъ объявленъ... Чего ему еще! Онъ переполненъ счастіемъ; жизнь ему улыбается. Триста рублей жалованья, да частныхъ отъ Юліана Мастаковича—житье съ женою хотъ куда! Они же такъ любятъ другъ друга! Вася ничего не помнитъ, ни о чемъ не думаетъ, кромѣ своей невѣсты; у него есть бумаги, данныя для переписки Юліаномъ Мастаковичемъ; сроку остается два дня, но Вася, съ свойственнымъ влюбленному юношѣ легкомысліемъ, говоритъ: «еще успѣю», и не выдерживаетъ, чтобъ въ вечеръ подъ новый годъ не отправиться съ пріателемъ къ невѣстѣ... Но, возвратившись домой и засѣвши на цѣлую ночь писать, онъ поражается суровой дѣйствительностью: всѣхъ бумагъ никакъ не перепишешь къ сроку,—а завтра къ тому же новый годъ, надо еще итти—расписаться у его превосходительства. Напрасно Аркаша его удерживаетъ, обѣщая за него расписаться,—Вася боится, что Юліанъ Мастаковичъ могутъ обидѣться. Напрасно также добрый другъ уговариваетъ его не сокрушаться, напоминая о великодушіи Юліана Мастаковича: это еще болѣе убиваетъ Васю. Какъ! онъ, ничтожный червякъ, презрѣнное, жалкое существо,—удостоенъ такого высокаго вниманія, получаетъ частныя порученія, слышитъ милостивыя слова... и вдругъ—что же?—нерадѣніе, неисполнительность, неблагодарность! Всю чудовищность, всю черноту своего поступка Вася и измѣрить не можетъ, ибо соразмѣряетъ ее съ разстояніемъ, раздѣляющимъ его отъ Юліана Мастаковича,—а кто же можетъ измѣрить это разстояніе?! У бѣдняка голова кружится при одномъ взглядѣ на эту страшную пропасть... Онъ было думаетъ итти къ Юліану Мастаковичу и принести повинную; но какъ рѣшиться на подобную дерзость? Другъ его хочетъ объясниться за своего друга, даже отправляется къ его превосходительству, но заговорить тоже не рѣшается. Бѣдный Вася сидитъ за письмомъ два дня и двѣ ночи, у него мутится въ головѣ, онъ уже ничего не видитъ и водить сухимъ перомъ по бумагѣ. Наконецъ, любовь, ничтожество, гнѣвъ Юліана Мастаковича, недавнее счастье, черная **неблагодарность**, страхъ за

свое полнѣйшее безсиліе—сламываютъ несчастнаго; онъ убѣждается, что ему теперь одна дорога—въ солдаты, и мѣшается на этой мысли. Юліанъ Мастаковичъ благодушно замѣтилъ: «Боже, какъ жаль! И дѣло-то, порученное ему, было неважное, и вовсе неспѣшное... Такъ-таки, ни изъ-за чего погибъ человѣкъ»!

Положимъ, что г. Достоевскій слишкомъ ужъ любить сводить съ ума своихъ героевъ; положимъ, что у Васи его ужъ до-нельзя *слабое сердце* (такъ и повѣсть называется). Но всмотритесь въ основу этой повѣсти, — вы придете къ тому же результату: что идеальная теорія общественнаго механизма, съ успокоеніемъ всѣхъ людей на своемъ мѣстѣ и на своемъ дѣлѣ, вовсе не обезпечиваетъ вообще благоденствія. Оно точно, будь на мѣстѣ Васи писальная машинка, было бы превосходно. Но въ томъ-то и дѣло, что никакъ человѣка не усовершенствуешь до такой степени, чтобъ онъ ужъ совершенно машиною сдѣлался; въ большой массѣ еще такъ — это мы видимъ въ военныхъ эволюціяхъ, на фабрикахъ и пр., но пошло дѣло по одиночкѣ—не сладишь. Есть такіе инстинкты, которые никакой формѣ, никакому гнету не поддаются и вызываютъ человѣка на вещи совсѣмъ несообразныя, чрезъ что, при обычномъ порядкѣ вещей, и составляютъ его несчастіе. Вотъ хотя бы для этого Васи;—если ужъ пробудилось въ немъ чувство, если ужъ онъ не можетъ отстранить отъ себя человѣческихъ потребностей, то ужъ гораздо лучше было бы для него вовсе и не имѣть этого похвальнаго сознанія о своемъ ничтожествѣ, о своемъ безпредѣльнѣйшемъ, жалкомъ недостойнствѣ предъ Юліаномъ Мастаковичемъ. Смотря на дѣло обыкновеннымъ образомъ, онъ сказалъ бы просто: «ну, что же дѣлать,—не успѣлъ; обстоятельства такія вышли»,—и остался бы довольно спокоенъ. А много ли найдемъ мы людей въ положеніи Васи, которые бы способны были къ такой храбрости? Бóльшая часть, проникнутая сознаніемъ своего безсилія и величіемъ начальнической милости, — съ трепетомъ возится за его порученіемъ, и хоть не сходить съ ума, но сколько выдерживаетъ опасеній, сомнѣній, сколько тяжелыхъ часовъ переживаетъ, ежели что-нибудь не сдѣлается, или сдѣлается не совсѣмъ такъ, какъ поручено... И все это вѣдь не изъ-за дѣла (до котораго Васѣ и всякому другому подобному ни малѣйшей нужды нѣтъ), а именно изъ-за того, какъ взглянуть, что скажутъ,—изъ-за того, что отъ этого взгляда жизнь Васи зависитъ, въ этомъ словѣ вся его участь можетъ заключаться.

Говорятъ, отрадно человѣку имѣть за собою кого-нибудь, кто о немъ заботится, за него думаетъ и рѣшаетъ, всю его жизнь, всѣ его поступки и даже мысли устраиваетъ. Говорятъ, это такъ согласно съ естественной инерціей человѣка, съ его потребностью отдаваться кому-нибудь беззавѣтно, поставить для души какой-нибудь образецъ и владыку, въ волѣ котораго можно бы почивать спокойно. Все это очень можетъ быть справедливо, въ извѣстной степени, и можетъ оправдываться даже исторіею. Но едва ли это мнѣніе можетъ найти себѣ оправданіе въ тенденціяхъ современныхъ обществъ. Оттого ли,

что общества новыхъ временъ вышли изъ состоянія младенчества, въ которомъ естественное чувство безсилія необходимо заставляетъ искать чужого покровительства; оттого ли, что прежніе, извѣстные намъ изъ исторіи покровители и опекуны обществъ часто такъ плохо оправдывали надежды людей, довѣрившихъ имъ свою участь, — но только теперь общественныя тенденціи повсюду принимаютъ болѣе мужественный, самостоятельный характеръ. Высокія добродѣтели слѣпой, безумной преданности, безусловнаго довѣрія къ авторитетамъ, безотчетной вѣры въ чужое слово — становятся все рѣже и рѣже; мертвенное подчиненіе всего своего существа извѣстной формальной программѣ — и въ орденѣ іезуитовъ осталось уже едва ли не на бумагѣ только. «Естественная человѣку инерція» признается уже какимъ-то отрицательнымъ качествомъ, въ родѣ способности воды замерзать; напротивъ, на первомъ планѣ стоитъ теперь *иниціатива*, т. е. способность человѣка самостоятельно, самому по себѣ, браться за дѣло, — и о достоинствахъ человѣка судятъ уже по степени присутствія въ немъ иниціативы и по ея направленію. Все какъ-то стремится стать на свои ноги, и жить по милости другихъ считаетъ недостойнымъ себя. Такое измѣненіе тенденцій произошло въ обществахъ новыхъ народовъ Европы съ конца прошлаго столѣтія. Можемъ сказать, что измѣненіе это не миновало отчасти и насъ. Не касаясь другихъ сферъ, недоступныхъ въ настоящее время нашему описанію, возьмемъ хотя литературу. То ли она представляетъ теперь, что за полвѣка назадъ? Съ одной стороны, литература въ своемъ кругу — лицо самостоятельное, не ищущее *милостицесъ* и не нуждающееся въ нихъ: только иногда, очень рѣдко, какой-нибудь стихотворецъ пришлетъ изъ далекой провинціи журнальному сотруднику водянистые стихи, съ просьбою о *протекціи* для помѣщенія ихъ въ такомъ-то журналѣ. Да эти чудаки большею частью оказываются людьми стараго вѣку, на склонѣ лѣтъ взыгравшими поэтическимъ вдохновеніемъ. Съ другой стороны, посмотрите и на отношеніе публики къ литературѣ: недоступныхъ пьедесталовъ ужъ нѣтъ, непогрѣшимые авторитеты не признаются, мнѣніе, что «ужъ, конечно, верхъ совершенства, если написано такимъ-то», вы едва ли часто услышите; а отзывъ, что «это прекрасно потому, что такимъ-то одобрено», вѣроятно еще рѣже. Всякій, худо ли, хорошо ли, старается судить самъ, пускать въ ходъ собственный разумъ, и теперь самый обыкновенный читатель не затруднится отозваться, вовсе не съ чужого голоса, — что, напримѣръ, «Свои собаки» Островскаго — безцвѣтны и не новы, «Первая любовь» Тургенева — пошлость, «Полемическія красоты» Чернышевскаго — нахальны до неприличія, и т. п. Другіе читатели выскажутъ опять, можетъ быть, мнѣнія совершенно противоположныя, и, расхваливъ «Первую любовь», назовутъ гнилью «Обломова»... Тѣ и другіе могутъ ошибаться; но все же это люди, говорящіе свое мнѣніе и не боящіеся того, что высказываютъ его о лицахъ уважаемыхъ, даровитыхъ, высоко поставленныхъ и признанныхъ въ литературѣ. Мы не станемъ

говорить, что способствовало такому измѣненію въ читающей публикѣ, и даже согласимся, пожалуй, что на первый разъ это всеобщее разнузданіе литературныхъ сужденій произвело страшный сумбуръ: всякій поретъ дичь, какая только ему придетъ въ голову. Но вѣдь какъ же иначе и дѣлаются всѣ человѣческія дѣла? Вѣдь только Минерва вышла изъ головы Юпитера во всеоружіи, а наши земныя дѣла все начинаются понемножку, съ ошибками и недостатками. Да чего вамъ лучше—сами то гражданскія общества съ чего начались, какъ не со столпотворенія вавилонскаго?

Слѣдовало бы ожидать, что, при всеобщемъ стремленіи къ поддержанію своего человѣческаго достоинства, исчезнутъ и тѣ забытыя личности, которыхъ нѣсколько экземпляровъ взяли мы у г. Достоевскаго. Однакожъ, оглянитесь вокругъ себя—вы видите, что онѣ не исчезли, что герои г. Достоевскаго — явленіе вовсе не отжившее. Отчего жъ они такъ крѣпятся? Хорошо, что ли, имъ? Нѣтъ, мы видѣли, что никому изъ нихъ не приноситъ особеннаго счастья его забитость, безотвѣтность и отреченіе отъ собственной воли, отъ собственной личности. Замерло, что ли, въ нихъ все человѣческое? Нѣтъ, и не замерло. Мы нарочно прослѣдили четыре лица, болѣе или менѣе удачно изображенныхъ авторомъ. и нашли, что живы эти люди, и жива душа ихъ. Они тупѣютъ, забываются въ полуживотномъ снѣ, обезличиваются, стираются, теряютъ повидимому и мысль и волю, и еще нарочно объ этомъ стараются, отгоняя отъ себя всякія наводненія мысли и увѣряя себя, что это не ихъ дѣло... Но искра Божья все-таки тлѣется въ нихъ, и никакими средствами, пока живъ человѣкъ, невозможно потушить ее. Можно стереть человѣка, обратить въ грязную ветошку, но все-таки гдѣ нибудь, въ самыхъ грязныхъ складкахъ этой ветошки, сохранится и чувство, и мысль,—хоть и безотвѣтныя, незамѣтныя, но все же чувство и мысль...

«А что же въ нихъ, если они незамѣтны и безотвѣтны, — скажетъ читатель. Все равно, значить, что ихъ и нѣтъ. И вотъ поэтому-то вѣроятно и продолжаютъ до сихъ поръ существовать эти несчастныя созданія, забытыя до степени грязной ветошки, объ которую обтираютъ ноги».

Мало ли что незамѣтно, читатель. — незамѣтно потому, что не хотятъ замѣчать. Незамѣтно до поры до времени, но бываетъ такая пора, что все выходитъ наружу. Вѣдь вотъ г. Достоевскій нашелъ же возможность подсмотрѣть живую душу въ отупѣвшихъ, одеревенѣлыхъ чертахъ своихъ героевъ. А бываютъ такіе случаи, что «безотвѣтное» чувство, глубоко запрятанное въ человѣкѣ, вдругъ громко отзовется, и всѣ услышатъ его. Дѣло въ томъ, что въ человѣкѣ ничѣмъ не заглушимо чувство справедливости и правомѣрности; онъ можетъ смотрѣть безмолвно на всякія неправды, можетъ терпѣть всякія обиды безъ ропота, не выразить ни однимъ знакомъ своего негодованія; но все-таки онъ не можетъ быть нечувствителенъ къ неправдѣ, насколько ее видитъ и понимаетъ, все-таки въ душѣ его больно отзывается обида и униженіе, и терпѣнію даже самаго уби-

таго и трусливаго человѣка всегда есть предѣлъ. Вмеѣстѣ съ тѣмъ, въ человѣкѣ необходимо есть чувство любви; всякій имѣетъ кого-нибудь, дорогого для себя,—друга, жену, дѣтей, родныхъ, любовницу. На нихъ примѣриваетъ онъ свое положеніе, ихъ сравниваетъ съ другими, объ ихъ довольствѣ думаетъ, и со стороны ему разсуждается вольнѣе и яснѣе. Себя, положимъ, Макарь Алексѣвичъ обрекъ на горькую долю и о себѣ не жалѣетъ: я ужъ, говорить, таковскій, — пусть мною всѣ помыкають... и не доѣмъ-то я — не бѣда, и обидять-то меня—такъ не великъ баринъ. Но вотъ его чувство обращается на чистое, нѣжное существо, которое дѣлается ему всего дороже въ жизни, на Вареньку: онъ уже предается сожалѣнію о ея несчастіяхъ, находитъ ихъ незаслуженными, заглядываетъ въ кареты и видитъ, что тамъ барыни сидятъ все гораздо хуже Вареньки: ему уже приходятъ въ голову мысли о несправедливости судьбы, ему становится какъ-то враждебнымъ весь этотъ людъ, разъѣзжающій въ каретахъ и перепархивающій изъ одного великолѣпнаго магазина въ другой, словомъ, скрытая боль, накинѣвшая въ груди, подымается наружу и даетъ себя чувствовать. И бываетъ это вовсе не такъ рѣдко, какъ можно предполагать, не зная дѣла; бываетъ это тѣмъ чаще, что въ большинствѣ случаевъ человѣкъ загнанный и забитый бываетъ крайне стѣсненъ и въ матеріальномъ отношеніи, а между тѣмъ принужденъ бываетъ выполнять разныя общественныя условія. Макарь Алексѣвичъ сокрушается, что скажутъ его превосходительство, увидѣвъ его плачевный вицъ-мундиръ, говорить, что пьетъ чай собственно для другихъ, до глубины души возмущается насмѣшкою департаментаго сторожа, давшаго ему щетки почистить шинель, подъ тѣмъ предлогомъ, что объ его шинель казенную щетку можно испортить... Въ самомъ дѣлѣ, каково положеніе: поставленъ человѣкъ въ кругу другихъ, долженъ вести съ ними дѣло, быть одѣтымъ, какъ они, пить и ѣсть, какъ они, и въ то же время онъ лишенъ всякой возможности даже хотъ подражаніе сносное устроить. Ужъ не говоря объ отличныхъ сапогахъ,—хотъ бы какіе-нибудь сапоги,—такъ и тѣхъ нѣтъ; были одни да и у тѣхъ подошвы отстали... Понятны трагическія восклицанія Макара Алексѣича: «пожалуй, и самъ я скажу, что не нужно его, малодушія-то; да при всемъ этомъ рѣшите сами, въ какихъ сапогахъ я завтра на службу пойду! Вотъ оно что, маточка; а вѣдь подобная мысль погубить человѣка можетъ, совершенно погубить». И мало ли людей, страдающихъ и изнывающихъ въ подобныхъ заботахъ? еще если есть любимое существо, если есть семейство? Сколько горя, сколько тоски самой прозаической, но оттого не меньше тягостной и ужасной! Средь этихъ-то заботъ чувствуетъ человѣкъ, до чего онъ униженъ, до чего онъ обиженъ жизнью; тутъ-то посылаетъ онъ желчныя укоры тому, на чемъ, повидимому, такъ сладостно покоится въ другое время, по изложенной выше философіи Макара Алексѣича. И въ этомъ-то пробужденіи человѣческаго сознанія онъ всего болѣе заслуживаетъ наше сочувствіе, и

возможностью подобных сознательных движений онъ искупаетъ ту противную, апатичную робость и безотвѣтность, съ которою всю жизнь подставляетъ себя чужому произволу и всякой обидѣ.

Но отчего же подобныя вспышки «Божьей искры» такъ слабы, такъ бѣдны результатами? Отчего пробужденное на мигъ сознаніе засыпаетъ снова такъ скоро? Отчего человѣческіе инстинкты и чувства такъ мало проявляются въ практической дѣятельности, ограничиваясь больше вздохами да пустыми мечтами?

Да оттого и есть, что у людей, о которыхъ мы говоримъ, ужъ характеръ такой. Вѣдь будь у нихъ другой характеръ, — не могли бы они и быть доведены до такой степени униженія, пошлости и ничтожества. Вопросъ, значить, о томъ, отчего образуются въ значительной массѣ такіе характеры, какія общія условія развиваютъ въ человѣческомъ обществѣ инерцію, въ ущербъ дѣятельности и подвижности силъ.

Можетъ быть вина въ нашемъ національномъ характерѣ? Но вѣдь этимъ вопросъ не рѣшается, а только отдалается: отчего же національный характеръ сложился такой, по преимуществу инертный и слабый? Придется только рѣшеніе, вмѣсто настоящаго времени, перенести на историческую почву.

Притомъ же это еще вопросъ спорный: вѣдь не мало кричатъ у насъ и о ширинѣ и размахистости русской натуры. Не произнесемъ своего сужденія о всемъ народѣ: мы имѣемъ въ виду лишь одинъ ограниченный кругъ его. Но признаться надобно — забавны восторги этой размахистостью, выражающеюся въ томъ, что иные господа парятся въ баняхъ, поддавая на каменку шампанское, другіе бьютъ посуду и зеркала въ трактирахъ, третьи — проводятъ всю жизнь въ псовой охотѣ, а въ прежнія времена такъ еще обращали эту охоту и на людей, зашивая мелкопомѣстныхъ лизоблюдовъ въ медвѣжьи шкуры и потомъ травя ихъ собаками... Этакая-то размахистость водится во всякомъ невѣжественномъ обществѣ, и вездѣ падаетъ съ развитіемъ образованія. Но гдѣ же наша размахистость въ кругу обыкновенныхъ людей, да и откуда ей взяться? Возьмите у насъ хоть незрѣлыхъ еще юношей, учащихъ наукамъ: чего они ждутъ, какую себѣ цѣль предполагаютъ въ жизни? Вѣдь всѣ мечты большей части ограничены карьерой, вся цѣль жизни въ томъ, чтобы лучше устроиться. Это несравненно рѣже встрѣчаете вы у другихъ народовъ Европы. Не говоря о французахъ, которые имѣютъ репутацію хвастунишекъ, — возьмите другихъ, хоть, на примѣръ, скромныхъ нѣмцевъ. Рѣдкій нѣмецкій студентъ не легаетъ въ душѣ какой-нибудь любимой идеи, — у нихъ все больше ударяются въ теорію, — какой-нибудь громадной мечты. Или онъ откроетъ новыя начала философіи и проложитъ новые пути для мысли; или радикально преобразуетъ существующіе педагогическіе методы, и послѣ него человѣчество будетъ воспитываться на новыхъ основаніяхъ; или онъ будетъ великимъ композиторомъ, поэтомъ, художникомъ... Наконецъ, если и угомонится онъ, сузятся его стремленія, рѣшится

онъ быть учителемъ какой-нибудь сельской школы,—и тутъ онъ задаетъ себѣ вопросъ и думаетъ, какъ онъ будетъ учить, какъ пріобрѣтетъ расположеніе мальчиковъ и уваженіе общины, и т. п. Во всемъ этомъ вы видите что-то дѣятельное и самостоятельное: «я то-то сдѣлаю,—а что я за это получу, ужъ тамъ само собою слѣдуетъ»... Это не тотъ складъ размашистыхъ мечтаній, какъ, напр., у городничаго, мечтающаго, что его сдѣлаютъ генераломъ за то, что Хлестаковъ женится на его дочери... Мы взяли въ примѣръ нѣмца; возьмите кого хотите другого, вездѣ вы найдете болѣе широкій размахъ воображенія, болѣе инициативы въ самыхъ мечтахъ и планахъ, нежели у насъ. Англичанинъ, напр., вышедъ изъ школы и переставъ мечтать о томъ, чтобы быть Чатамомъ, Веллингтономъ или Байрономъ, начинаетъ, положимъ, строить планы обогащенія. Это конечно, и у насъ возбуждаетъ мечты многихъ. Но какая же разница и въ средствахъ и въ размѣрахъ! Наши мечтатели о богатствѣ большею частью ухватываются за рутинныя средства, берутъ то, что подъ рукою и что плохо лежитъ, и нерѣдко останавливаются на достиженіи всевозможнаго комфорта. Между тѣмъ англичанинъ въ своихъ соображеніяхъ—изобрѣтетъ нѣсколько машинъ, переѣдетъ нѣсколько разъ всѣ океаны, оснуетъ нѣсколько колоній, устроитъ нѣсколько фабрикъ, сдѣлаетъ нѣсколько громадныхъ оборотовъ и затмитъ собою всѣхъ Ротшильдовъ... И что всего важнѣе,—онъ вѣдь пойдетъ исполнять свою задачу, и хоть половины не выполнитъ, но кое-чего все-таки достигнетъ... То же надо сказать и о французахъ: мы напрасно такъ ужъ наповаль и осуждаемъ ихъ, какъ пустозвоновъ. Нѣтъ, и они исполняютъ по временамъ задачи не маленькія, и во всякомъ случаѣ размахъ у нихъ шире нашего. Мы вонъ возимся надъ какимъ-нибудь энциклопедическимъ словаремъ, надъ какими-нибудь измѣненіями въ паспортной или акцизной системѣ... А они—«составимъ, говорятъ, энциклопедію»—и составили, не чета нашей; «издадимъ, говорятъ, совсѣмъ новый кодексъ»—и издали тотчасъ; «отмѣнимъ то и другое въ нашей жизни»—и отмѣнили. Даже въ нынѣшнемъ, ополченномъ и униженномъ французскомъ обществѣ, все-таки въ строѣ разговора, въ поведеніи каждаго француза вы замѣчаете еще довольно широкія замашки. Тамъ вы слышите: при встрѣчѣ съ Ламорисьеромъ, я ему скажу, что онъ поступилъ безчестно; въ другомъ мѣстѣ: у меня почти готова записка императору относительно его итальянской политики; въ третьемъ: нѣтъ, я напишу Персиньи, что такія мѣры не годятся,—и пр., въ такомъ родѣ... Вы видите, что человѣкъ считаетъ себя чѣмъ-то, даетъ себѣ трудъ судить и спорить и никакъ не хочетъ безусловно повергаться въ прахъ предъ каждымъ словомъ хоть бы Moniteur'a. Правда, что онъ ничего серьезнаго большею частью не дѣлаетъ, но по крайней мѣрѣ духомъ не падаетъ и не предается тому робкому, безнадежному чувству безсилія, при которомъ можно «обратить человѣка въ грязную ветошку».

А почему у насъ это «обращеніе въ ветошку» такъ легко и

удобно,—объ этомъ проницательный читатель не ждетъ, конечно, отъ насъ рѣшительныхъ объясненій: для нихъ еще время не пришло. Приведемъ лишь нѣсколько самыхъ общихъ чертъ, на которыя находимъ указанія даже прямо въ произведеніяхъ автора, по поводу котораго намъ представляются всѣ эти вопросы.

Прежде всего, припомните, что говорилъ Макаръ Алексѣичъ, когда избытокъ тоски вызываетъ изъ глубины души его нѣсколько смѣлыхъ сужденій. «Знаю, что это грѣшно... Это вольнодумство... Грѣхъ мнѣ въ душу лѣзетъ»... Вы видите, что самая мысль его связана суевѣрнымъ ужасомъ грѣха и преступленія. И кто же изъ насъ не знаетъ происхожденія этого суевѣрнаго страха? Какой отецъ, отпуская дѣтей своихъ въ школу, училъ ихъ надѣяться только на себя и на свои способности и труды, ставить выше всего науку, искать только истиннаго знанія и въ немъ только видѣть свою опору, и т. п. Напротивъ, не говорили ли всякому изъ насъ: «старайся заслужить вниманіе начальства, будь смиренѣе, исполняй безпрекословно что тебѣ прикажутъ, не умничай. Ежели захочешь умничать, такъ и изъ праваго выйдешь нечравымъ: начальство не полюбить,—что тогда выйдетъ изъ тебя? Пропадешь»... Въ такихъ началахъ, въ такихъ внушеніяхъ мы выросли. Насъ съ дѣтства наши кровные родные старались приучить къ мысли о нашемъ ничтожествѣ, о нашей полной зависимости отъ взгляда учителя, гувернера, и вообще всякаго высшаго по положенію лица. Припомните, какъ часто случалось намъ слышать отъ домашнихъ: «молодецъ, тебя учитель хвалитъ», или наоборотъ: «скверный мальчишка,—начальство тобою недовольно,—и при этомъ не принималось никакихъ объясненій и оправданій. А часто ли случалось вамъ слышать, чтобы васъ похвалили за какой-нибудь самостоятельный поступокъ, чтобы сказали даже просто: «молодецъ, ты вотъ это дѣло очень хорошо изучилъ и можешь его дальше повести», или что-нибудь въ этомъ родѣ?

Такимъ образомъ, направленные съ дѣтства, какъ мы вступаемъ въ дѣйствительную жизнь? Не говорю о богачахъ и баричахъ; до тѣхъ намъ дѣла нѣтъ; мы говоримъ о бѣдномъ людѣ средняго класса. Нѣкоторые и по окончаніи ученическаго періода не выходятъ изъ-подъ крыла родительскаго; за нихъ просятъ, кланяются, подличаютъ, велятъ и имъ кланяться и подличать, выхлопатываютъ мѣстечко, нерѣдко теплое... Подобные птенцы имѣютъ шансы дойти до степени извѣстныхъ. Но огромное большинство бѣдняковъ, не имѣющихъ ни кола, ни двора, не знающихъ, куда приклонить голову,—что дѣлаетъ это большинство? По необходимости тоже подличаетъ и кланяется, и выкланиваетъ себѣ на первый разъ возможность жить безбѣдно гдѣ-нибудь въ углу на чердакѣ, тратя по двугривенному въ день на свое пропитаніе,—да и это еще по чьей-нибудь милости, потому что, собственно говоря, нужды въ людяхъ нигдѣ у насъ не чувствуется, да и сами эти люди не чувствуютъ, чтобы они были на что-нибудь нужны... Замѣьте, что вѣдь у насъ, если человѣкъ мало-мальски чему поучился, то ему нѣтъ другого выхода, кромѣ

какъ въ чиновники. Въ послѣднее время всякій, обученный до степени кое-какого знанія хотя одного иностраннаго языка, норовить сыскать себѣ средства жизни посредствомъ литературы; но литература наша тоже наводнена всякаго рода претендентами, и не можетъ достаточно питать ихъ. Поневоля опять обращается цѣлая масса людей ежегодно къ чиновнической дѣятельности, и поневоля терпитъ все, сознавая свою ненужность и коренную бесполезность. Болѣзненное чувство господина Прохарчина, что вотъ онъ сегодня нуженъ, завтра нуженъ, а послѣ завтра можетъ и ненужнымъ сдѣлаться, какъ и вся его канцелярія,—одно это чувство объясняетъ намъ достаточную долю той покорности и кротости, съ которою онъ переноситъ всѣ обиды и всѣ тяготы жизни.

Да и какъ же быть иначе? Гдѣ взять силъ и рѣшимости для противодѣйствія? Будь еще дѣло между личностями, одинъ на одинъ,—тогда бы, можетъ быть, раздраженное человѣческое чувство выказалось сильнѣе и рѣшительнѣе; а вѣдь тутъ и личностей-то нѣтъ никакихъ, кромѣ неповинныхъ, потому что не свою волю творятъ. Мы видѣли даже, что начальникъ Макара Алексѣича, напри-мѣръ, — благодѣтельное лицо Юліанъ Мастаковичъ—очень милый человѣкъ... Кто же тѣснитъ и давитъ Макара Алексѣича? Обстоятельства! А что дѣлать противъ обстоятельствъ, когда они сложились такъ прочно и неизмѣнно, такъ неразлучны съ нашимъ порядкомъ, съ нашей цивилизаціей? Ихъ громадность въ состояніи подавить и не одного Макара Алексѣича, который сознается: «случается мнѣ рано утромъ, на службу спѣша, заглядываться на городъ, какъ онъ тамъ пробуждается, встаетъ, дымится, кипитъ, гремитъ,—тутъ иногда предъ такимъ зрѣлищемъ такъ умалишься, что какъ будто бы щелчекъ какой получилъ отъ кого-нибудь по любопытному носу, да и поплетешься, тише воды, ниже травы, своею дорогою, и рукой махнешь»!... Подобное же впечатлѣніе производятъ чудеса современной цивилизаціи, нагроможденные въ Петербургѣ, на Аркадія, друга Васи Шумкова. Но ужъ мы не станемъ его здѣсь выписывать...

Да, человѣкъ поглощается и уничтожается общимъ впечатлѣніемъ того громаднаго механизма, котораго онъ не въ состояніи даже обнять своимъ разсудкомъ. Подобно древнему язычнику, падавшему ницъ предъ невѣдомыми, грандіозными явленіями природы, падаетъ нынѣшній смертный предъ чудесами высшей цивилизаціи, которая хоть и тяжело отзывается на немъ самомъ, но поражаетъ его своими гигантскими размѣрами. Тутъ уже нѣтъ рѣчи о борьбѣ, тутъ и для характеровъ болѣе-сильныхъ возможно только бесплодное раздраженіе, желчныя жалобы и отчаяніе. Возьмите хоть опять послѣдній романъ г. Достоевскаго. Вотъ, напри-мѣръ, сильный, горячій характеръ маленькой Нелли; но посмотрите, какъ она поставлена, и можетъ ли ей въ этой обстановкѣ прійти хоть малѣйшая мысль о борьбѣ—постоянной и правильной? Ея мать умерла, задолжавъ Бубновой; ее нечѣмъ похоронить; Нелли осталась безпомощна, безза-

щитна. Бубнова беретъ ее къ себѣ и вступаетъ, разумѣется, надъ нею во всѣ права воспитательницы и госпожи. Ее бьютъ, мучатъ и тиранятъ всячески, что же съ этимъ дѣлать? Бубнова—ея благодѣтельница, и не будь она, такъ другая на ея мѣстѣ могла бы дѣлать то же самое... Нелли даже злобно рада своимъ побоямъ: она считаетъ ихъ уплатою за кусокъ хлѣба и за отрепье, какое даетъ ей Бубнова. Но ей тяжело другое: она видитъ, къ чему ее готовить Бубнова, ей и обидно, и страшно, и горько... Но опять — что же она сдѣлаетъ? Вѣдь не зарѣзать же Бубнову! А убѣжать отъ нея—куда убѣжишь, чтобы не нашли? И вотъ она продана, и избавляется случайнымъ образомъ, когда уже надъ нею готово совершиться мерзкое преступленіе... Затѣмъ — она знаетъ, что она дочь, законная дочь князя. Но что же изъ этого? Нужны документы, у ней ихъ нѣтъ; нужно быть юристомъ, чтобы затѣять дѣло, да и то у князя есть деньги и связи, подѣйствительнѣе всѣхъ юристовъ... Бѣдная Нелли хотъ и попадаетъ подъ конецъ къ добрымъ людямъ, но ее постоянно возмущаетъ чувство, что она живетъ у чужихъ людей, изъ милости...

Ну, да это, положимъ, ребенокъ. Возьмемъ изъ того же романа другое лицо—Ихменева. Это характеръ крѣпкій, но крѣпкій не на борьбу, а на упорство въ раздраженіи. Свой гнѣвъ, свою горечь онъ изливаетъ то на безотвѣтную жену, то на дочь, которую страстно любить, но тѣмъ не менѣе проклиняетъ нѣсколько разъ. Отчего онъ всю силу не употребить прямо куда слѣдуетъ, — противъ своего обидчика—князя?... Да онъ бы и желалъ этого болѣе всего на свѣтѣ; но въ дѣлахъ съ княземъ надо соблюдать установленныя церемоніи и условія. Затѣявъ процессъ—ну и идетъ онъ неспѣшно, годами, по законному порядку. Порядокъ этотъ оказывается въ пользу князя,—сколько не апеллируй—все въ его пользу... Приходится платить, продавать съ аукціона Ихменевку... Вѣдь знаетъ и чувствуетъ старикъ, что это несправедливо, оскорбительно, безсовѣстно; но какъ же это передѣлаешь? И въ чемъ тутъ сила? Даже и не въ князѣ: убей Ихменевъ князя, а деревню его все-таки продадутъ... Да и убить-то князя нельзя: онъ такъ хорошо огражденъ! Ихменевъ возымѣлъ-было это намѣреніе, узнавъ, что князь сказалъ одному чиновнику, что «вслѣдствіе нѣкоторыхъ семейныхъ обстоятельствъ» хочетъ возратить старику штрафныя съ него 10 тысячъ. Это значило назначать плату за безчестье его дочери. Старикъ расходился и рѣшилъ вызвать князя на дуэль. Вотъ рассказъ Ивана Петровича объ успѣхахъ его попытки.

„Отъ меня онъ кинулся прямо къ князю, не засталъ его дома и оставилъ ему записку: въ запискѣ онъ писалъ, что знаетъ о словахъ его, сказанныхъ чиновнику, что считаетъ ихъ себѣ смертельнымъ оскорбленіемъ, а князя низкимъ человѣкомъ, и вслѣдствіе всего этого вызываетъ его на дуэль, предупреждая при этомъ, чтобъ князь не смѣлъ уклоняться отъ вызова, иначе будетъ обезчещенъ публично.

„Анна Андреевна рассказывала мнѣ, что онъ воротился домой въ такомъ волненіи и разстройствѣ, что даже слегъ. Съ ней былъ очень нѣженъ, но на разпросы ея отвѣчалъ мало и видно было, что онъ чего-то ждалъ съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ. На другое утро пришло по городской почтѣ письмо; прочтя его, онъ вскрикнулъ и схватилъ себя за голову. Анна Андреевна обмерла отъ страха. Но онъ тотчасъ же схватилъ шляпу, палку и выбѣжалъ вонъ.

„Письмо было отъ князя. Сухо, коротко и вѣжливо онъ извѣщалъ Ихменева, что въ словахъ своихъ, сказанныхъ чиновнику, онъ никому не обязанъ никакимъ отчетомъ. Что хотя онъ очень сожалѣетъ Ихменева за проигранный процессъ, но, при всемъ своемъ сожалѣніи, никакъ не можетъ найти справедливымъ, чтобъ проигравшій въ тяжбѣ имѣлъ право, изъ мщенія, вызывать своего соперника на дуэль; что же касается до „публичнаго безчестія“, которымъ ему грозили, то князь просилъ Ихменева не беззакониться объ этомъ, потому что никакого публичнаго безчестія не будетъ, да и быть не можетъ; что письмо его немедленно будетъ представлено куда слѣдуетъ и что предупреденная полиція навѣрно въ состояніи принять надлежащія мѣры къ обезпеченію порядка и спокойствія.

„Ихменевъ съ письмомъ въ рукѣ тотчасъ же бросился къ князю. Князя опять не было дома; но старикъ успѣлъ узнать отъ лакея, что князь теперь вѣрно у графа N. Долго не думая, онъ побѣжалъ къ графу. Графскій швейцаръ остановилъ его, когда уже онъ поднимался на лѣстницу. Взбѣшенный до послѣдней степени, старикъ ударилъ его палкой. Тотчасъ же его схватили, вытащили на крыльцо и передали полицейскимъ, которые препроводили его въ часть. Доложили графу. Когда случившійся тутъ князь объяснилъ честолюбивому старичку, что это тотъ самый Ихменевъ, отецъ той самой Натальи Николаевны (а князь не разъ прислуживалъ графу по *этимъ дѣламъ*), то вельможный старичокъ только засмѣялся и перемѣнилъ гнѣвъ на милость; сдѣлано было распоряженіе отпустить Ихменева на всѣ четыре стороны; но выпустили его только на третій день, при чемъ (навѣрно по распоряженію князя) объявили старичку, что самъ князь упросилъ графа его помиловать.

„Старикъ воротился домой, какъ безумный, бросился на постель и цѣлый часъ лежалъ безъ движенія; наконецъ приподнялся и, къ ужасу Анны Андреевны, объявилъ торжественно, что *на такіе* прокликаетъ дочь и лишаетъ ее своего родительскаго благословенія.

„Анна Андреевна пришла въ ужасъ, но надо было помогать старичку, и она, сама чуть не безъ памяти, весь этотъ день и почти всю ночь ухаживала за нимъ, примачивала ему голову уксусомъ, обкладывала льдомъ. Съ нимъ былъ жаръ и бредъ“.

Вотъ вамъ и все. Но въ князѣ тутъ сила, а въ томъ, что каковъ бы онъ ни былъ, онъ всегда огражденъ отъ всякой попытки Ихменевыхъ, и т. п. — своимъ экипажемъ, швейцаромъ, связями, наконецъ даже полицейскимъ порядкомъ. необходимымъ для охраненія общественнаго спокойствія.

Такъ, стало быть, положеніе этихъ несчастныхъ, забитыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ людей совсѣмъ безвыходно? Только имъ

и остается, что молчать и терпѣть, да, обратившись въ грязную ве-
тошку, хранить въ самыхъ дальнихъ складкахъ ея свои безотвѣт-
ныя чувства?

Не знаю, можетъ быть и есть выходъ; но во всякомъ случаѣ
вы наивны, читатель, если бы ожидали отъ меня подробныхъ разъ-
ясненій по этому предмету. Пробовалъ я когда-то начинать подоб-
ныя объясненія, но никогда не доходили они, какъ слѣдуетъ, до
своего назначенія. Теперь ужъ и писать не стану. Да и вообще—
неужели вы, читатели, до сихъ поръ не замѣтили, что мы съ на-
шею литературою все повторяемъ только зады? Произвела жизнь
наша, много лѣтъ тому назадъ, извѣстный разрядъ личностей; лѣтъ
двадцать тому назадъ художники ихъ примѣтили и описали; теперь
критикъ опять пришлось обратиться къ разбору произведеній одного
изъ этихъ художниковъ; вотъ она сгруппировала, съ картинъ ху-
дожника, нѣсколько личностей, кое-что обобщила, сдѣлала кое-какіе
выводы и замѣчанія... И вотъ все, что покаместъ мы можемъ. Мы
нашли, что забитыхъ, униженныхъ и оскорбленныхъ личностей у
насъ много въ среднемъ классѣ, что имъ тяжело и въ нравствен-
номъ и въ физическомъ смыслѣ, что, несмотря на наружное при-
мирение съ своимъ положеніемъ, они чувствуютъ его горечь, готовы
на раздраженіе и протестъ, жаждутъ выхода... Но тутъ и кончается
предѣлъ нашихъ наблюденій. Гдѣ этотъ выходъ, когда и какъ—это
должна показать сама жизнь. Мы только стараемся идти за нею и
представлять для людей, которые не любятъ или не умѣютъ слѣ-
дить сами за ея явленіями, то или другое изъ общихъ положеній
дѣйствительности. Берите же, пожалуй, фактъ, намекъ или указа-
ніе, сообщенное въ печати, какъ матеріалъ для вашихъ соображе-
ній; но главное, слѣдите за непрерывнымъ, стройнымъ, могучимъ,
ничѣмъ несдержимымъ теченіемъ жизни, и будьте живы, а не мертвы.
Со времени появленія Макара Алексѣича съ братією, жизнь уже сдѣ-
лала многое, только это многое еще не формулировано. Мы замѣ-
тили, между прочимъ, общее стремленіе къ возстановленію человѣ-
ческаго достоинства и полноправности во всѣхъ и каждомъ. Мо-
жетъ быть, здѣсь уже и открывается выходъ изъ горькаго положе-
нія загнанныхъ и забитыхъ, конечно, не ихъ собственными уси-
ліями, но при помощи характеровъ, менѣе подвергшихся тяжести
подобнаго положенія, убивающаго и гнетущаго. И вотъ этимъ-то
людямъ, имѣющимъ въ себѣ достаточную долю инициативы, полезно
вникнуть въ положеніе дѣла, полезно знать, что большая часть
этихъ забитыхъ, которыхъ они считали, можетъ быть, пропавшими
и умершими нравственно,—все-таки крѣпко и глубоко, хотя и за-
таенно даже для себя самихъ, хранятъ въ себѣ живую душу и
вѣчное, неисторжимое никакими муками. сознаніе своего человѣче-
скаго права на жизнь и счастье.



PG
2933
D6
1885
v.3



Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

--	--	--

